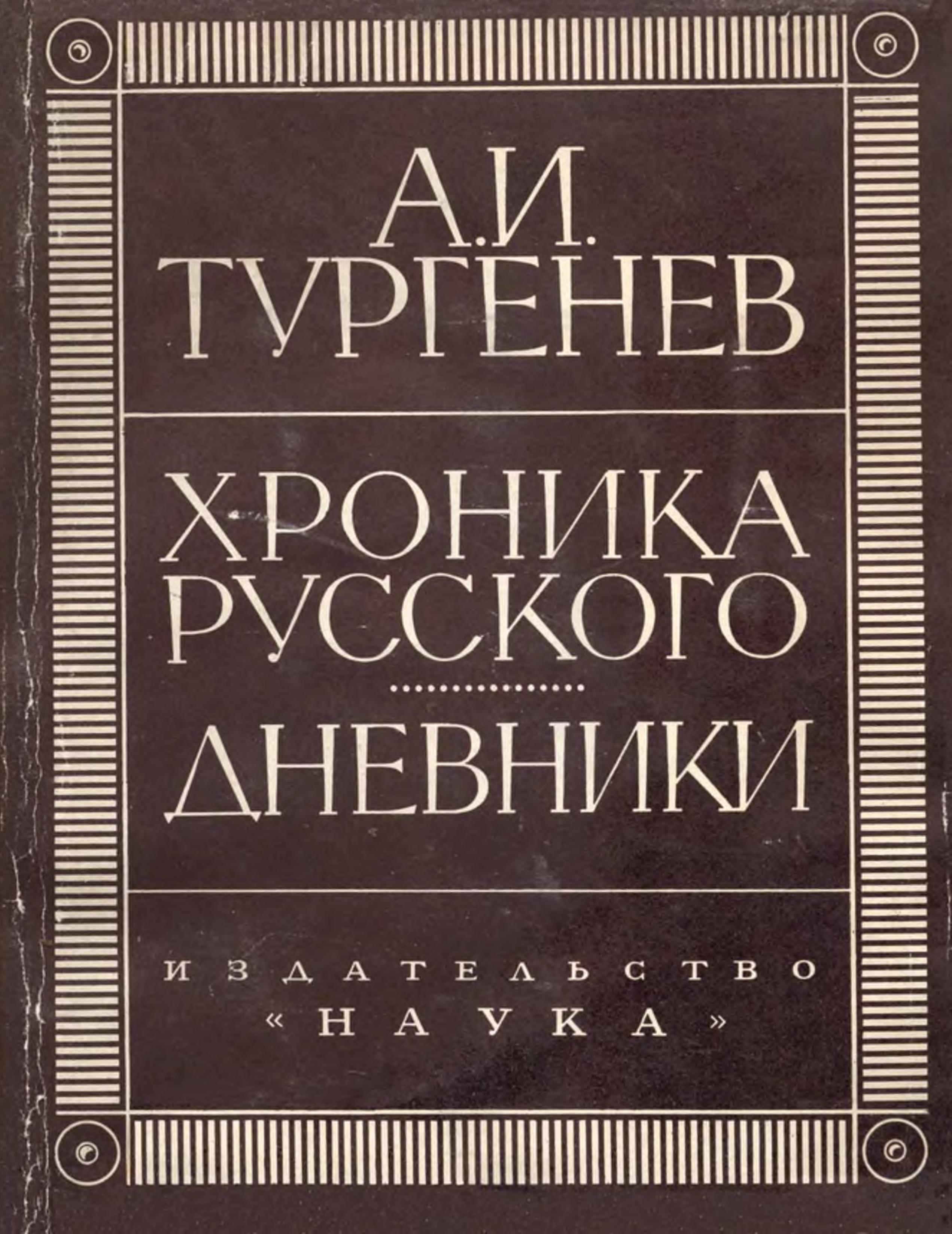
А.И. ТУРГЕНЕВ


А.И.
ТУРГЕНЕВ
ХРОНИКА
РУССКОГО
ДНЕВНИКИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»

А.И. ТУРГЕНЕВ

ХРОНИКА РУССКОГО

ДНЕВНИКИ (1825–1826 гг.)

А.И. ТУРГЕНЕВ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Литературные Памятники



А. И. ТУРГЕНЕВ

ХРОНИКА РУССКОГО

ДНЕВНИКИ
(1825—1826 гг.)

ИЗДАНИЕ
ПОДГОТОВИЛ
М. И. ГИЛЛЕЛЬСОН

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА · ЛЕНИНГРАД
1964

Ответственный редактор
академик М. П. АЛЕКСЕЕВ



ПРЕДИСЛОВИЕ

Заглавие этой книги принадлежит Пушкину. «Хроникой русского» назвал Пушкин письма своего близкого друга Александра Ивановича Тургенева, печатая их в своем «Современнике»; под таким наименованием корреспонденции А. И. Тургенева были известны и всем литераторам пушкинского круга; нередко называл их так и сам автор.

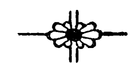
«Хроника русского» — серия писем, посылавшихся А. И. Тургеневым в Россию во время его продолжительных заграничных странствований. В этом издании впервые объединены все эти письма, увидевшие свет в русских журналах между 1827—1845 гг. Собранные вместе, они образуют памятник первоклассного исторического и литературного значения.

Ценность этих писем понимали уже Пушкин, Вяземский, Жуковский, читавшие их вслух, восхищавшиеся ими и хлопотавшие о помещении их в печати. В самом деле, это — письма широко и разносторонне образованного литератора пушкинской поры, обладавшего острой наблюдательностью, неисчерпаемым стремлением к знанию, умением живо, непринужденно, с присущей ему индивидуальной экспрессией передавать свои впечатления от всего, что он узнал и увидел; особое значение эти письма имеют потому, что о жизни Западной Европы он сумел рассказать с точки зрения передового русского человека своего времени, во всех подробностях, но без педантизма, с живостью умного наблюдателя.

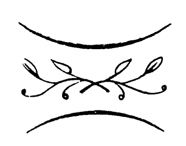
Убежденный гуманист, непоколебимый противник крепостного права, А. И. Тургенев не мог ужиться в самодержавной России. Аракчеевский курс Александра I, а затем вступление на престол Николая I окончательно закрыли путь к большим законодательным преобразованиям, о которых так мечтал А. И. Тургенев. После восстания декабристов он остался верен либеральным идеям своей юности. Связав свою судьбу с судьбой своего брата Н. И. Тургенева, приговором Верховного суда осужденного на вечное изгнание, А. И. Тургенев оказался в оппозиционном лагере вместе с другими передовыми дворянскими писателями. С 1825 по 1845 г., почти двадцать лет с небольшими перерывами, А. И. Тургенев провел за границей — во Франции, Германии, Англии, Италии, Швейцарии. Во всех этих странах он приобрел много друзей. Круг его знакомств был чрезвычайно обширен.

Он хорошо знал Гете и Гумбольдта, Вальтера Скотта и Т. Мура, Ламартина и Шатобриана, Стендаля и Мериме, Гюго и Бальзака... Трудно найти сколько-нибудь примечательное лицо европейской истории первой половины XIX в. — литератора, ученого, политического деятеля, артиста, музыканта, художника, — о котором не было бы сказано в письмах А. И. Тургенева: он записал свои беседы с ними, рассказал об их жизни, занес в свои дневники отзывы о них современников. «Хроника русского» — это прежде всего летопись западноевропейской культуры первой половины XIX в., занесенная в памятные тетради на месте действия, под непосредственным впечатлением событий, участником которых он сделался, и знаменательных встреч, которых всюду искал этот неутомимый странствователь и собеседник.

Помимо «Хроники русского», в настоящем издании печатаются впервые заграничные дневники А. И. Тургенева за 1825—1826 гг., когда завязывались его широкие связи с передовыми деятелями Западной Европы и когда события, происходившие в России, — декабрьское восстание, суд над декабристами, начало реакции, — заставляли его с особой тревогой думать о судьбах его родины.



ХРОНИКА РУССКОГО





А. И. ТУРГЕНЕВ.
(Портрет работы К. П. Брюллова, 1833).

I. ПИСЬМО ИЗ ДРЕЗДЕНА
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ *)

О русском журнале. О парижских периодических изданиях: «Католике» («le Catholique»), «Британском обозрении» («la Revue Britannique»), «Глобусе» («le Globe»). О Дюгальде Стюарте, сочинителе книги «Сокращенная история наук метафизических, нравственных и политических». О духе журнала и критике. О Шатобриане и новом издании его сочинений. О Вальтере Скотте и сочиненной им «Истории Наполеона». О Козлове.

Спешу отвечать тебе первоначально наскоро и поверхностно на некоторые из твоих литературных запросов и объявленное тобою намерение участвовать в издании журнала. Письмо твое обрадовало меня и развеселило надеждою твоей деятельности, хотя и журнальной. Я сообщил Жуковскому желание твое и получил в ответ, что он по возможности будет сообщать тебе статьи и материалы для статей журнала; что он позволяет тебе взять, где хочешь, все, что попадется его еще не напечатанного, и употреблять, по твоему расположению. Готов и я служить и *гримствовать* ** для тебя и даже пилигримствовать, для того, чтобы делиться с тобою котомкою *пилигрима-Гримма.* В голове моей теперь много планов и беглых мыслей от чтения, уже не беглого, но методического и с помощию его и моих ученых и полуученых корреспондентов и моего трения здешнего с юристами и литераторами, я мог бы быть в самом деле деятельным тебе сотрудником...

...Получаю Парижский журнал, «le Catholique», о котором ты меня спрашиваешь. Его издает барон Экштейн, читающий немецкие книги, и

* Это письмо писано не автором и не для печати. Решившись на приятельскую нескромность, я надеюсь на снисхождение дружбы и благодарность читателей, которые, вероятно, пожелают, чтобы многое из того, что у нас записными авторами неминуемо печатается, имело достоинство и занимательность сего рукописного отрывка, случайно попавшего в печать. *В.*

** Гримм был род литературного лазутчика в Париже, в последнюю половину прошлого века, в связи со всеми писателями и примечательными людьми той эпохи.[1] После него осталась «Переписка литературная, философическая и критическая», в 16 томах. *В.*

темно, но иногда глубокомысленно и не совсем по-французски, пишущий.[2] Со временем сообщу тебе историю сего журнала и сведения о личности издателя. Тут есть все и обо всем. Много или почти все сериозно, ибо религия занимает первое место в его журнале. Издатель — друг иезуитов и сражается под знаменами Мейстра, Ламене и Бональда; но мнения его отличаются от их немецким просвещением, или лучше, немецкою начитанностию. Его нельзя переводить: для этого слог Экштейна не довольно классический, мысли или полумысли его не довольно ясны и в его сочинениях, как и в его жизни и происхождении, есть какой-то clair-obscur; но он не всегда неприятен и есть выходки примечательные и суждения справедливые, хотя иногда и резкие à la Вяземский. У него в Париже, особливо между дамами, много читателей, хотя и не совершенных почитателей, ибо для этого нужен еще и характер чистый и ясный, а он изменял партии, пока в «Католике» не выставил собственного знамени, если только *ультрамонтанизм* можно назвать независимым или собственным мнением. В «Revue Britannique» [3] много хорошего; но она не дает полного понятия об английском просвещении и о степени, на которую многие науки там возведены. Это взгляд с одной стороны, а в Англии, собственно так называемой, свет не под одним окном и темных мест мало, хотя и не *все лучи* света там в полном блеске. Некоторые не доходят еще или не вполне дошли, хотя и никто не закрывает окон. Там философия *умозрительная* слабо светит; но зато *практическая* в полном, ярком свете. Я читаю Дюгальда Стюарта и не нарадуюсь ясностию идей и языка, и чистотою его нравственной и практической философии. Но и он не знал немцев, темных, но глубоких и только изредка встречается с нелюбезным ему незнакомцем, Кантом; но где они встречаются, там, не зная друг друга, подают друг другу руку и сливаются для нас в одном свете, благотворном и все оживляющем и сохраняющем все хорошее, спасительное для человечества. Когда-то, с непростительною для шотландца легкостию, Дюг. Стюарт трунил над Кантом; [4] но Шлегель, в предисловии к одному каталогу немецких книг, в Лондоне изданному, прекрасно и убедительно для беспристрастных, отвечал ему и старался вразумить английскую публику насчет немецкой словесности. С тех пор Д. Стюарт стал осторожнее. Он переведен и на французский: не знаю, хорошо ли? Есть другие журналы об Англии, французские и немецкие, которые я здесь пробегаю. Они могли б быть обильными запасами для русского журнала. В свое время я назову их. Но прежде всего советую подписаться на «Globe»,[5] французский, под фирмою Кузеня (Cousin), а иные думают и Гизо издаваемый. В нем почти одна литература, но серьезная и важная. О политике только тогда, когда она имеет отношение к литературе или к какой-либо книге. Я не весь образ мыслей, в сем журнале господствующий, одобряю, но привожу его в пример рассмотрения литературы и наук, со стороны их влияния на гражданское общество. Например: там недавно была статья о *темной* и *светлой* или просвещенной Франции. Красноречивый пример влияния доброго просвещения на промышленность и нравст-

венность народную и даже на финансы правительства! Числами показывается ясно и доказывается то, что по сию пору доказывали одними теоретическими соображениями или умозрением: настоящая *нравственная статистика* королевства! К ней приложена и карта, иллюминованная по просвещению. Результаты удивительны и основываются на фактах, самим правительством доставленных автору! Кто бы подумал, что в той же пропорции, как благосостояние гражданское улучшается в провинциях, как подати лучше и больше платятся, так и просвещение сильнее и повсеместнее. Один пример вместо многих: из *темной Франции*, коей население втрое многочисленнее, поступает 17 членов во французские академии, а из *светлой*, втрое меньшего населения, 65. В такой же соразмерности и число учащихся и неучащихся в народных школах. Вот к каким последствиям приводят цифры и вот как могут быть наставительны таблицы статистические! Законы нравственные, самые отвлеченные, также верны и положительны, как и законы мира вещественного, то есть тем же верным расчетам подвержены случайные, по-видимому, явления нравственного мира, каким и явления видимого мира. Правительство французское имеет, то есть может иметь, правила, коими должно руководствоваться для своей цели, какова бы она ни была, и выбирать лучшую, зная, в чем состоит сие лучшее. Когда оно знает, что 32 светлые департамента, в коих не растет ни виноград, ни шелк, несмотря на то, платят ему втрое больше, нежели 54 департамента, богатые шелком и вином, но скудные промышленностью и во мраке состоящие под светлым небом, то оно знает: и какими средствами и к какой цели идти. От его *воли* все зависит, все, *кроме времени*. Я желал бы, чтоб в сем смысле издавался и журнал, в котором ты участвовать намерен: без *сердца*, но с душою, благом государственным и уважением к порядку дышащею; без полемики, оскорбительной для кого бы то ни было, но с *примерами лучшего* во всяком роде. Сердитые и разгоряченные советники и критики нам надоели, и всегда, а особливо теперь, подозрительны читателям. Скромное, хотя и сильное выражение и представление всего полезного, одушевленное снисходительностью к слабым и любовью ко благу людей, убедительнее действует на них и побеждает все противное. Это есть характер истинного беспристрастия (не равнодушия), и этот характер замечаю в «Глобусе», хотя иногда не без досады читаю некоторые статьи его. Но кто без греха? Мне кажется, журналист не должен слишком увлекаться тем, что ныне почитается *духом времени*, и им одним ценить настоящие произведения. Пусть бережет его от сего поползновения история разных *духов*, в разные времена господствовавших. И тогда он не будет, подобно некоторым из русских читателей, сердиться на Карамзина за то, что в Несторово время исцеляли больных не магнетизмом, а «*травами и молитвою*». И в магнетизме и в сухих травах, оживленных верою, найдет он историческую истину, которая переходит из века в век и всегда священна для мудрого, испытующего времена и лета. Это нимало не помешает его критике, если она будет только благоразумна. Вот ссылка из французской книги: «La Critique consiste à

sentir dans le présent les arrêts de l'avenir. Elle est une prophétie et c'est pourquoi elle est essentiellement contemporaine».* Это не противоречие, а по моему мнению, глубокая истина. Пусть критик угадает, отыщет в настоящем то, что подтвердит в нем и потомство, и тогда, оказав услугу современникам, получит он право на признательность тех, кои после нас его читать будут; между тем как то, или те, к коим он прилагал общие истины, останутся только в сих приложениях и будут обязаны ему своим постыдным бессмертием.

Ты спрашиваешь меня о новом издании сочинений Шатобриана. Доставлю тебе разбор его примечательного предисловия,[6] в котором часто не у места важничает он: и своим бывшим величием министерским и тем, что *посидел над всеми развалинами* (Je me suis assis sur toutes les ruines): то есть на развалинах египетских, греческих, иерусалимских и — на государственных французских. Но как думать о своей ничтожной, крошечной личности (чья бы она впрочем ни была) при виде сих несокрушимых, утомивших время!

Leur main indestructible a fatigué le Tems.

Но талант автора виден у него и в слабостях человека. Мы еще не все томы получили, но уже прочли «Абенсерага», которого в изгнании *мучило отечество* (la patrie le tourmentoit). Прелестное и счастливое выражение несчастия, непобедимой тоски по отчизне! Loin des tours vermeilles, il n'y avoit ni fruits agréables, ni fontaines limpides, ni fraîche verdure, ni soleil digne d'être regardé. Si l'on montroit à quelque banni les plaines de la Bagrada, il secouoit la tête et s'écrioit en soupirant: «Grenade».** Счастлив, кто может только вздохнуть при этом, а не плакать безутешно! Вся душа рыцарства выражена в следующем ответе. На вопрос Бланки, отвечает Мавр: «Je t'aimerai plus que la gloire et moins que l'honneur».*** Я послал Шатобриану Дашкова книжки о Иерусалиме и о Серальской библиотеке.[7]

Истории Наполеоновой, Вальтера Скотта, выходит, как слышу, шесть томов.[8] В Париже открыли ему архивы. Он пополняет теперь ими недостатки своей рукописи. Будет издавать весною. И в ней, вероятно, так как и во всей истории, будет Гетево: Dichtung und Wahrheit. Постараюсь сообщить тебе или оригинальное, или копию с оригинального письма В. Скотта, к одному англичанину писанного, которое распространяет исторический свет на его авторство. Тут есть ошибки против языка, коих нет в его сочинениях и не может быть в таком классическом авторе, каков он; следовательно, он *не один* автор своих сочинений: есть исправительный редактор.

---

* «Критика состоит в том, чтобы предчувствовать в настоящем приговоры грядущего. Она пророчество и потому преимущественно современна».

** Далеко от *башен румяных* не было ни приятных плодов, ни источников чистых, ни свежей зелени, ни солнца, на которое можно было бы заглядеться. Указывали ль одному из изгнанников на равнины Баграды, он качал головою и восклицал вздыхая: «Гренада!».

*** Я стану любить тебя более славы и менее чести!

Прежде он был больше поэт в своих романах; теперь, сказывают, он истощается в воображении и принялся за историю, для коей оно, однако ж, также нужно. Но он, а следовательно, и его воображение теперь зрелее, если и не блистательнее. «L'imagination est comme ces sources, qui ne coulent que le matin et que dessèchent au milieu du jour les ardeurs du soleil».* Так, или почти так, говорят о нем где-то. Один наш Козлов делает исключение из сего правила: его воображение воспламенилось, когда солнце зашло для него и видимый мир скрылся.[9]

Э. А.[10]

23/11 декабря 1826.

II. ПИСЬМО ИЗ ДРЕЗДЕНА
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Съезд германских натуралистов в Дрездене. Об энциклопедиях и предисловии Гизо к новой энциклопедии. О лекциях исторических. О французском журнале, до немецкой литературы относящемся. О книге Бутервека. О графине Рек и поэте Тидге.

...Пришлю при первом случае описание бывшего здесь в сем году съезда естествоиспытателей из всей Германии, с исчислением всего, что читано или о чем рассуждаемо было, и надежд для будущего, от сей умственной деятельности в Германии. Сколько открытий в первом зародыше, сколько новых метод, трудолюбием и гением германским усовершенствованных! Эти семена не затеряются: они сохранятся в журналах, созреют и принесут плод во время свое неуклонным стремлением немецких ученых к расширению области наук и к улучшению метод, столь сильно содействующих порывам гения...

Можно написать прекрасную статью (и назвать ее *предохранительною*) о разных энциклопедиях, в Германии, Франции и Англии ныне выходящих. В «Revue Encyclopédique» есть предисловие Гизо к «Encyclopédie progressive», издаваемой во Франции, и сравнение плана сей книги с другими того же рода, английскими и немецкими. Он умно, и для француза довольно беспристрастно, судит; но все еще нам не должно увлекаться его рассуждениями о пользе энциклопедий и беречься их. Я не в обыкновенном смысле, страха ради д'Аламберта, охуждаю их, а в отношении к роду познаний, чтением энциклопедическим приобретаемых, и к слишком легкой удобности знать о *многом очень мало*. Статья об энциклопедиях привести

---

* Воображение подобно источникам, которые льются только утром и в полдень иссыхают от солнечного зноя.

может ко многим полезным рассуждениям о народном воспитании и просвещении. А если захочется покритиковать, то и Гизо упрекнуть можно, что сколько он ни желает отстать от французского чванства, все еще думает об одних французских философах, когда говорит, что в XVIII веке философия умозрительная не шагнула, а только пустила в ход свою мелкую монету. А когда жили Кант, Шеллинг, Фихте, Гегель, Якоби, с братиею в Германии, а Дюгальд Стюарт в Англии? Но для Гизо Европа во Франции, а Франция в Париже...

Доставлю также для журнала исчисление предметов (table des matières), по коему профессор Гассе преподает нам здесь историю. Можно видеть из происшествий и лиц, коими оттеняет и отличает он каждую эпоху, образ и методу его преподавания. К тому же можно самому наполнять его рамы и выводить свои заключения. Точки, на которые он указывает, лучезарны и его исторический фарос довольно верен. Жаль, что для слушателей своих он должен читать по-французски, а не на природном языке.

В Париже и Страсбурге выходит, на французском языке, «Германская библиотека», литературный журнал («Bibliothèque allemande»). Участники в издании большею частию адвокаты. Тут и старая и новейшая литература, и, кажется, все довольно беспристрастно. Вышло уже девять книжек, в коих я не нашел много нового, но в русский журнал почти все годится...

Хорошею жатвою для русского журнала может быть и книга Бутервека «Мелкие сочинения философского, эстетического и литературного содержания». Вышла только 1-я часть, и в ней литературная аутобиография самого Бутервека: образец сочинений в сем роде и истинно авторское самоотвержение. Он говорит о себе, как о другом; критикует и ценит свои творения строго и осуждает весьма здраво и основательно то, что всей публике в нем нравилось. Тут же есть статья о Шиллере и его сочинениях, прекрасная. Вот что говорит он между прочим: «Поэзия Шиллера родная сестра философии. Она основывается на понятии о бесконечном. По истинному праву слывет он *сердцевозносителем* (der Herzerhebende). Учители его были Шекспир, Гете. Шиллерова Муза пребывает уныло-задумчивою и тогда, когда улыбается (Schillers Muse bleibt melancholisch auch wenn sie lächelt)». Но главная статья в сей книге для перевода на русский язык: Мысли о литературе. Роды словесности прекрасно означены; замечательно также тут и рассуждение о журналах, разделении их, влиянии на литературу и на народ, различии их от газет, как литературных, так и политических. Автор говорит, что «Английский зритель» и другие английские периодические листы, в том роде писанные, должны служить примером журналистам, желающим придать изданиям своим прочное достоинство, особливо же, если хотят они соединить эстетический интерес с нравственным. Чем более обозреваю область наук и литературы, тем более удостоверяюсь, что весьма легко, с пользою для читателей, действовать благонамеренному журналисту и при самой строгой цензуре. Кажется, Карамзин говаривал, что цензура для таланта то же, что рифмы для истинного поэта...

Когда-нибудь ознакомлю вас и с графинею Рек и с вечерами ее. Она известна своим авторством («Путешествием в Италию» и сочинением о Калиостро) и радушием, с коим собирает у себя здешних ученых, литераторов, музыкантов и чужестранцев. У нее живет поэт Тидге, который вчера прочел нам две первые песни своей «Урании». В них много прекрасных стихов и высоких мыслей...[1]

Э. А.

Декабрь, 1826 г.

III. ПИСЬМА ИЗ ДРЕЗДЕНА*

О типографической деятельности немцев и материалах для иностранной библиографии. Об исторических Résumés, немецких и французских. О пользе немецких и английских биографий; о биографиях немецких ученых и академиков французских. О путешествии французского консула Гамбы по Южной России и за Кавказом. О сочинениях Ейро, «Записках» Уврара и Огинского, новых «Мессеньенах» Казимира Делавиня; новом портрете Жуковского. Об италианской опере «Петр Великий» и благородном спектакле в Дрездене. О Китайском романе, изданном Абель-Ремюза. О новых письмах Вутье о Греции. О нападках журналиста Кинда на Гете. Об «Истории революции французской», сочинение Минье. О молодом русском поэте Беке.

15/3, 21/9 января, 1827 г.

...Передо мною лежит кипа немецких объявлений о разных книгах, издаваемых на разных языках. В некоторых из этих типографических афишек находятся выписки и краткие известия об авторах. Сообщу их при первом случае. В них увидите главнейшую часть всей германской ученой и литературной деятельности. Все это может пригодиться, пополнит библиографические статьи журнала, а читателям русским, желающим выписывать книги, даст знать о цене оных и о качестве издания. Желательно, чтобы в каждой книжке журнала была библиографическая статья об иностранных книгах, но универсальная, до всех отраслей наук и словесности относящаяся.** Для нас и не совсем новое ново. В больших изданиях немецких классиков, например: Гердера, Гете и проч., нужно только предостеречь, что они долго, часто год, два, три года, выходят, часто долее, чем иной автор живет в потомстве. Мы подписались на Гердера и Гете, но бог знает, когда увидим последние части оных. Издания в 16-ю долю очень дешевы, но не милы, отдаленностью окончания оных. Не худо бы исчислить все издания

* Извлечение.

** Это желание многих особ, которых мнение уважать почитаю долгом. В будущих книжках «Телеграфа» иностранную библиографию постараюсь сделать постоянною статьею библиографического отделения. *Изд.*[1]

многотомных авторов, в одном томе издаваемых: Вольтера, Шекспира, Вальтера Скотта, Байрона и проч. и Résumés, кои теперь во Франции и в Германии, в разных видах, выходят и носят на себе печать национальности.[2] Тут любопытно было бы сравнить Résumés немецкие с французскими. Немцы и в 16-ю долю листа хотят быть степенными, учеными немцами и пишут для народа и для ученых в одно время. И это смешение целей (извините) не вредит, большею частию, главной цели таких книжек, то есть народности оных; ибо и низшие классы могут читать их с пользою, а для высших и для ученых они служат повторением известного, но вкратце и в малом объеме. Так, например, профессор Гассе написал историю Ломбардии en Résumé,[3] и я знаю ученых, во всей силе слова сего, кои с удовольствием прочли ее (между прочими Беттихер, известный археолог), в то время, как французские Résumés и нашему брату не всегда в пору. Я не мог дочесть Résumé русской истории и бросил книжонку Раббе,[4] впрочем, и на немецкий язык переведенную, ибо немцы все, и дурное и хорошее, переводят. Это юродо-универсальность в них досадна иногда для их почитателей и читателей.

Я давно уже думал, что нашим журналистам должно знакомить нас с немецкими и английскими биографиями ученых. Они рождают жар к просвещенным занятиям, к наукам, который благодетельно для ума и сердца светит и согревает в одно время. Назову биографии Геерена, Иоанна Мюллера и Гейне.[5] Из старика Шлецера можно и для России многое взять, любопытное и занимательное. Советую также обратить внимание и на биографии французских академиков, славным Кювье (между прочим, о Палласе) изданные, и вы обогатите нашу словесность неизвестными ей сокровищами и укажете читателям пути гения и трудолюбия, которое часто достигает, а иногда и обгоняет первого. Эта часть принадлежит по праву биографу Озерова и Дмитриева.[6]

Я забыл указать на новую книгу, которая трепещет de l'intérêt du moment: это путешествие французского консула Гамбы в Персию, вышедшее в Париже в самое то время, как пришло туда известие о впадении персиян в наши пределы, и обратившее внимание Франции и Англии описанием тех самых земель, за кои и в коих теперь сражаются. Оно в двух частях, с атласом, видами и изображениями костюмов. Можно купить без карт и костюмов. Последние нам русским известны; но текст и предмет книги любопытны и важны указаниями и советами, кои автор дает нам и французам о восстановлении древнего пути торгового, чтобы вырвать трезубец у Британии *Нептуновны*, овладеть, вопреки ей, азиатскими сокровищами и открыть путь нашим в Азию. Книга называется «Voyage dans la Russie méridionale et particulièrement au delà du Caucase, depuis 1820—1824» (2 т.) — Гамба был два раза в России. Должно непременно перевесть на русский язык существенное из предисловия, в котором объяснена цель книги, и из самого текста, где указаны средства, пути, предметы торговли: можно оживить для журнала эту мнимую сушь портретами Ермолова, Вельяминова и

других. Вот книги, кои журналистам должно ловить на лету и в ту же минуту на вертел для читателей.

Есть еще любопытная книжка «Les trois Epoques des tems modernes, ou les révolutions religieuse, politique et commerciale». В этой брошюре, писанной Ейро, есть мысли, хотя автор и многое пустомелит о России, как и в большой 3-томной книге своей о французской юриспруденции. Недавно прочел я две части «Записок» Уврара (les Mémoires d'Ouvrard), также и две части «Записок» Огинского.[7] Они теперь ходят по русским и дамским рукам, следовательно, не скоро ко мне возвратятся. Но когда выручу их, познакомлю вас с ними короче.

Читали ль вы новые семь «Мессениен» Казимира Делавиня? Глядя на снег, который оживил вчера холодность здешних немцев и посадил их в длинные плетеные коробки, называемые здесь санями, без подрезей, движимые лошадьми с колокольчиками, я вспомнил два стиха Делавиня:

Quel parfum de patrie apporte ce vent frais!
Que la patrie est belle au moment qu'on la quitte! [8]

Кто бы думал, что первый, *свежий* стих, из Делавиня? Но есть и знойные, прекрасные, например о Корсике...

Идем по трескучему, шестиградусному морозу смотреть большой портрет Жуковского, вчера живописцем Боссе конченный. Жуковский представлен идущим в деревьях: вдали Монблан и его окрестности. Портрет сей выставлен будет в Петерб‹ургской› академии. Сходство большое! Но я сначала не был доволен выражением. Авось Боссе исправил по моим замечаниям...

Недавно играли здесь италианцы оперу «Петр Великий».[9] Музыка, краденная из Россини. Сюжет оперы несообразный, и костюмы смешные. В роще, летом, Петр Великий и Головин в шубейках и в шапках; Лефорт и кн. Меншиков в старинных мундирах, а придворные и Сенат во французских шитых кафтанах, в розовых шелковых штанах и в адвокатских париках. Екатерина I в польском наряде, фрейлины ее в сарафанах, с длинными рукавами. Петр I мистифирует сардамского корабельщика, который приехал навестить его со своею свояченицею. Она выходит за Головина, который еще в Сардаме любил ее, но женится по высочайшему повелению. Здесь теперь и благородный спектакль французский и немецкий, в пользу бедных, но не греков. Играют некоторые дипломаты и наш кн. М...., княжна Кауниц, графиня Пальфи и проч. Мы видели первое представление. В зале публичной устроен театр, вмещающий 500 зрителей. Давали пьесу Пикара, переведенную Шиллером: играли без претензии и слушали без строгой критики. В оркестре играли кн. Голицын, граф Гудович.

Имеете ли роман китайский, изданный Abel-Rémusat? [10] В предисловии, о романах вообще и Вальтера Скотта, найдете поживу для журнала. На сих днях вышли в Париже новые письма Вутье о Греции. Они все принадлежат журналу, как по содержанию, так и по *трепещущему интересу*, коим

оживлены. Любопытную статью для России можно составить из переговоров Вутье в Риме, с кардиналом, о присоединении греческой церкви к римской и о надеждах, возродившихся в ватиканской политике по сему случаю. Конечно, Греция не приняла бы никаких подобных предложений и не погубила бы души для самого спасения отечества; но любопытно видеть неизменяемость, постоянство папизма, все еще помышляющего о завоеваниях, когда от колосса отпадают собственные члены. В этой же книге помещены и греческие народные песни и другие опыты народной поэзии.

Вчера ввечеру были мы на литературной вечеринке у здешней живописицы m-lle Winkel,[11] которая собирает всю ученую, поэтическую и пишущую братию. Мы слышали тут журналиста Кинда, именем и ростом, который нападал на Гете за то, что он сюжет для «Германа и Доротеи» украл у какого-то современного журналиста, слово в слово описавшего в рейнском журнале анекдот, служащий основанием сочинению Гете. Все восстали против несправедливости нападения, как будто бы Гете имел нужду скрывать заимствованную *быль* (factum), которую он возвысил, украсил, сотворил снова в своей прекрасной поэзии. С равною справедливостию можно бы обличать в покраже мрамора для Венеры Фидиаса или создателя Аполлона. Тут дело не в глыбе мрамора, а в формах и в выражении божественности идеальной. Так же, как Корреджио не краскам обязан своей мадонной, так и Доротея Гете, вся хотя и в натуре, но Гетем созданной, им идеализированной. Скорее Корреджио мог найти вдохновение для изображения своей мадонны в богодухновенных песнях церковных, нежели Гете в журналах современных своего Германа. Слушая крошку-Кинда, который, важничал, читая нам свои исторические документы против Гете, я невольно вспомнил нашего Крылова:

Ай Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!

Вместе с тем вспомнил и стихи Шиллера и применил их к Гете:

Und was er bildet, was er schaft,
Das dankt er seiner Dichterkraft,

а не повести о французских эмигрантах на Рейне. Но этой вылазке обязаны мы ответом антиквария Беттихера, который, выслушав Кинда, сел на его место и рассказал нам анекдот, коего он сам был свидетелем в Веймаре, у герцогини. В разговоре Гете с Гердером последний однажды сказал ему, что, конечно, он заимствовал содержание «Германа и Доротеи» из анекдотов о французских эмигрантах в 1792 году. Тут Гете с жаром отвечал Гердеру, что он почти все сюжеты свои брал из натуры и из истории, следовательно, из других, но что именно простой сюжет этой идиллии он ни от кого не заимствовал, а сам изобрел. И в этом можно ему верить, ибо не нужно большого творческого труда, чтобы выдумать происшествие, которое, конечно, с большим или меньшим изменением, не раз могло тогда случиться,

во время похождений эмигрантов французских на Рейн и во всей Германии. Теперь, и здесь и в других местах Германии, какой-то дух брани против Гете распространился,* но враги так мелки, что их едва и замечают в борьбе с гигантом; а они, несмотря на то, продолжают гомозиться, забывая, чем Гете обязана Германия и что он истинный представитель не одной только поэзии немецкой, но всей германской *цивилизации*. Он живое выражение всей их интеллектуальной национальности, более чем Шекспир английской, а Вольтер французской, ибо он выражает немцев и в поэзии, и в учености, и в чувстве, и в философии, действует на них, а через них и на всю европейскую литературу; служит вместе и верным, всеобъемлющим зеркалом германизма, коего он сам есть создание; между тем как Шекспир создал вкус и народность англичан в поэзии, а Вольтер образовал век свой и французов, а не ими образован. Я не умаляю и не возвышаю Гете, а ставлю его на его место в Германии, в применении к месту занимаемому Шекспиром в Англии и Вольтером во Франции.

Я на днях перечитывал Минье «Историю революции французской, от 1789 до 1814 года», в двух частях.[13] В ней много обозрений, портретов, прекрасных, и есть страницы красноречивые. Например: о казни Людовика XVI и в нескольких строках верный портрет коронованного праведника и мученика. Много любопытного и о живых, между прочим, об обер-церемониймейстере Талейране, который *встречал и провожал* все власти.

У нас здесь русский поэт, юноша Бек. В стихах его, хотя и весьма молодых, виден уже истинный талант и какой-то вкус, тем же талантом угаданный. Он же и живописец и едва ли не музыкант. Не знаю, удастся ли мне прислать тебе стихов его. Жуковский не советует ему писать стихи для печати, полагая что это слишком рано заронит в нем искру авторского самолюбия и увлечет его к занятиям, кои должны быть для него теперь еще чужды. Он испытывает силы свои в переводе Вергилия, с латинского, и образует вкус свой по древним и новым классикам...

Э. А.

---

* Присовокупив биографию и портрет Гете к следующей книжке «Телеграфа», мы поместим после того одну из бранчивых статей, переведенную из нового немецкого журнала.[12] Публике нашей должно знакомиться со всеми новостями и движениями европейских литератур. *Изд.*

IV. ПИСЬМО ИЗ ДРЕЗДЕНА*

Публичное признание Вальтера Скотта, что он автор романов, известных под его именем. О странных закладах.

10 марта 1827 г.

Сию минуту прочел я в «Morning-Chronicle», от 27 февраля, статью, которую желал бы целиком перевесть, но не успею: выписываю существенное. Наконец, Вальтер Скотт объявил себя автором своих сочинений, единственным (total and undivided author). В статье «Утренней хроники» «Interesting theatrical Dinner» («Любопытный театральный обед») под особым заглавием «Public avowal by Sir Walter Scott of being author of the Waverley Novels» («Публичное признание Вальтера Скотта, что он автор романов Веверлея») заключается разгадка долгой тайны. Известие сие взято сокращенным образом из эдинбургской газеты, но и в сокращении оно занимает полторы колонны длинной английской газеты. Все происходило за первым годичным обедом Эдинбургского театрального фонда (т. е., вероятно, суммы, на которую содержится Эдинбургский театр). Вальтер Скотт председательствовал за обедом, то есть был Chairman, который обыкновенно для возглашения тостов выбирается на весь обед. Это называется: *быть на кафедре* (to be in the chair). Когда сняли скатерть и осталось на столе одно вино, за *полною чашею*, так, как предложил Вальтер Скотт, восхвалил он драматическое искусство. По словам его, оно было первым наслаждением его детства, и любовь к сему искусству росла вместе с ним; даже и на закате жизни ничто так не веселит его, как простая повесть хорошо рассказанная (and even in the decline of life, nothing amused so much as when a common tale is well told). В. Скотт пробежал вкратце в речи своей историю драматического искусства у древнейших и новейших народов, осуждал века, в которые оно было презираемо и в гонении, даже и от законодателей; но это, по его мнению, было тогда же, когда и духовенству запрещено было жениться, а мирянам читать Библию. Далее упомянул он о каждой блистательной для театра эпохе, в особенности и о том, чем и кем каждая отличалась, и кончил тостом за theatrical fund. Гости (convives) отвечали троекратным и трижды повторенным криком: «With three times three» (трижды три). Когда присутствовавший за сим же обедом лорд Мидаубанк (Meadowbank), желая отплатить В. Скотту за тост в честь театральной компании, провозгласил здоровье *of the great unknown* (*великого неизвестного*, как обыкновенно В. Скотта называют), он сказал в речи своей, между прочим, что он предлагает тост «могущественного волшебника, Минстреля нашей отчизны (*в сию минуту восклицания и английское: ура! огласили всю залу*), который вызвал из гроба не привидения протекших столетий, но существенности (the mighty magician, the minstrel of our Country, who had conjured not

* Извлечение.

the fantoms of departed ages, but realities), того, который ныне предстоит обличенный пред глазами и любовью его отчизны (now stands revealed before the eyes and affections of his country)». Вальтер Скотт отвечал ему и, между прочим, сказал, «что он судебным образом допрошен перед своим отечеством и может быть почитаем за *обвиняемого*, который призван в тяжбе перед лордом Мидаубанком; но он уверен, что каждый беспристрастный суд присяжных разрешил бы его *вердиктом* (определением судебным) *о недоказанности*. Он не полагает нужным входить в изъяснение причин своего долгого молчания. Может быть, поступал он таким образом из одного своенравия. Однако же он обязан сказать ныне, что достоинство его творений (если есть в них достоинство) и погрешности оных должны быть безраздельно приписаны ему одному (*долгие и громкие рукоплескания*). Он пугается, мысля о том, что сделал. *Я не смею оглянуться на это* (вероятно, это цитат из Шекспира). Он слишком далеко зашел в признании своем и знает, что оно будет доведено до сведения публики. Открывая себя за автора, он хочет тем сказать, что он автор цельный и нераздельный. За исключением цитатов, нет в его творениях ни одного слова, которое не принадлежало бы ему собственно или не было ему надоумлено чтением. (He was now before the bar ot his country, and might he unterstood to be on trial before Lord Meadowbank as an offender; yet he was sure, that every impartial jury would bring in a verdict of not proven. He did not now think it necessary to enter into the reasons of his long silence. Perhaps he might have acted from caprice; he had now to say, however, that the merits of these works, if they had any, and their faults, were entirely imputable to himself (*long and loud cheering*). He was afraid to think on what he had done. «*Look on't again I dare not*». He had thus far unbosomed himself and he knew that it would be reported to the public. He meant, when he said that he was the author, that he was total and undivided author. With the exception of quotations, there was not a single word that was not derived from himself, or suggested in the course of his reading).

Лорд Мидаубанк в исчислении заслуг В. Скотта сказал: «Что ему предоставлено было творениями своими дать имя бессмертное отечеству. Он более сделал для него, проливая свет на его летописи, прославляя деяния его воинов и государственных мужей, чем кто бы ни был из живших некогда или рожденных на отечественной земле. Он раскрыл особенные красоты своего отечества перед глазами иностранцев» («It has been left for him, by his writings, to give his country an imperishable name. He had done more for his country, by illuminating its annals, by illustrating the deeds of its warriors and statesmen, than any man, that ever existed, or was produced, within its territory. He has opened up the peculiar beauties of this country to the eyes of foreigners»).

После тостов, 1-го в честь королю и 2-го герцогу Кларанскому, The Chairman Walter Scott предложил тост оплакиваемому Йоркскому герцогу, желая, чтобы в память его выпито было в торжественном молчании (which he wished to be drank in solemn silence): «он уделял досуг свой театру». Тут уже предложил он *жентлеманам* налить *полные чаши* и стал говорить о те-

атре. Подобие сей речи можно разве найти в прологе Шиллера, напечатанном перед Валленштейном: Об искусстве мимики, и в предисловии Тальмы к «Запискам о Лекене».[1] Теперь Вальтера Скотта провозгласили и будут называть *The great Known* (Великий Известный).

Переходя от дела к безделью, скажу, что обычаи английские и здесь в чести. Два странные заклада занимают нашу публику. Один из здешних модников бился об заклад, что проедет час по улицам в санях (NB, у нас лето или весна), но пробил. Другой, первый дрезденский *Fashionable* (лондонский *модник*), бился на 100 луидоров, что один месяц и один день будет ходить всюду в розовом платье, в розовых сапогах и в розовой шляпе, или какого другого цвета, по назначению противной стороны. Он будет на всех вечеринках и у себя принимать всех в этом наряде. Что сказали бы в Петербурге или Москве, если бы кто вздумал пуститься на такую проказу?

Э. А.

V. ИНОСТРАННАЯ ПЕРЕПИСКА

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

О Карамзине и молчании о нем литературы нашей; об ответе на немецкую рецензию на него написанную. О записках Босвеля о Джонсоне и возможности составить подобные записки о Карамзине. О покойном короле саксонском; черты из характера его и жизни. О некоторых членах королевского саксонского дома. Об издаваемых Мартенсом дипломатических актах. Об издании переписки Гете с Шиллером и переписки Якоби. О Линднере.

Дрезден. 1827.

Ты прав: негодование твое справедливо. Вот уже скоро год, как не стало Карамзина, и никто не напомнил русским, чем он был для них. Журналисты наши, исчислив кратко, впрочем не безошибочно, труды его и лета жизни, возвестив России, что наставника, дееписателя, мудреца ее не стало, исполнили долг современных некрологов; но не умели или не хотели воспользоваться правом своим возбуждать народное внимание, народное чувство к важным событиям в государстве. Конечно, в числе особенностей нашей словесности можно поставить и судьбу ее преобразователя, единственного, полного представителя не нашего, но европейского просвещения в России, соединенного в нем с познанием всего отечественного, с познанием, коему можно уподобить только одну любовь его к отечеству. И сей великий сын России, любивший судьбу ее, и в первом мерцании нашей славы воинской, при Игоре и Святославе, и в годину искушения, при Ольговичах и татарах, и во время внутренних преобразований, при Годунове и Петре, и в блестящий век Екатерины и Александра, и, наконец, умиравший с любовью

в сердце и с верою в будущее постепенное возрождение империи, — Карамзин не имеет еще ценителя ни главного труда его, на других бессмертных его заслуг, оказанных России и языку ее. По сию пору один государь, представитель народной благодарности, указал Карамзину место его в храме славы. Между тем как во Франции часть населения Парижа подвиглась на погребение генерала-оратора (Фуа); в Англии, в журналах оппозиции и министерских, ежедневно извещают публику (письмо сие писано во время болезни Каннинга) об успехах выздоровления министра — у нас, кто по сию пору прервал гробовое молчание о Карамзине? Кто из нас положил цветок на уединенную могилу его? Мы, жившие его жизнью, страдавшие его страданиями, мы, одолженные ему лучшими благами ума и души, что мы сделали? Опустили его в могилу, бросили горсть земли на землю его и смолкли, как умершие.[1]

Ты обвинял меня в бездействии в самое то время, когда я собирался послать в немецкие ученые ведомости написанное мною возражение на одну рецензию, в «Лейпцигской ученой газете» напечатанную, в которой Карамзина хвалили за его историю и хулили за чужие ошибки.[2] Жалею о Карамзине и о друзьях славы его, что не им, а мне досталось защищать его. Уступил бы им охотно в этом и остался бы при единственном сокровище, которого у меня, как у Карамзина славы, никто не отнимет, остался бы при моей любви к его памяти, при моей к нему благодарности, при воспоминании о последней, тихой минуте его жизни.

Мое письмо было пространнее, но, перечитав его в тишине сердца, выключил я из него все выпалки на лужницких старцев[3] и все, Карамзина недостойное. Да живет память его и в каждом движении нашего сердца и в каждой строке о нем! Чем иным можем доказать нашу любовь к нему, как не жизнию, его достойною, как не чувствами, подобными тем, кои сам питал он и к друзьям и к недругам, ненавидя порок, но любя и прощая всех.*

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ДРУГИХ ПИСЕМ)

Париж.

Знаете ли вы книгу Босвеля (Bosswell) о Джонсоне? Это весьма известная книга и, конечно, лучшая из всех биографий. Босвел был несколько лет приятелем Джонсона и записывал все, что он говорил о различных предме-

* Дрезденский корреспондент обещает прислать в «Телеграф» и немецкую рецензию и ответ свой, который, вероятно, теперь уже напечатан в немецких ведомостях. Кажется, часть замечаний критических рецензента падает на сказания Карамзина о Винете. Но дело в том, что Карамзин не мог знать сомнения немецких критиков об историческом бытии Винеты, ибо сии сомнения возникли в 1816 г., когда Карамзин печатал свою «Историю». Прежде никто не сомневался в существовании Винеты, и Иоанн Миллер блистательно описал ее падение и поглощение развалин ее волнами морскими.[4] *Изд.*

тах, так что книга представляет теперь, кроме множества весьма умных, замечательных рассуждений, разговоров, кроме полного изображения характера Джонсона, также и характер времени, в которое он жил. Эту книгу желал бы я дать теперь в руки всем приятелям Карамзина. Едва ли кто вел постоянный журнал разговоров его. Но многое может быть сохранено: один вспомнит одно, другой другое. Я не вижу иного средства передать потомству что-либо о Карамзине, достойное Карамзина. Биографии порядочной никто у нас написать не в состоянии; да и что лучше такой Босвелевской, живой биографии? [5]

Лейпциг. 5 мая.

Вчера получено здесь известие о кончине короля саксонского. Здесь начинается ярмарка: все в движении, все гуляет и толкует о торговле попрежнему. Читают манифест нового короля Антония и отходят, отлагая до другого времени в этой сфере деятельности торговой и промышленной, почтить память усопшего, 54 года управлявшего мудро Саксониею, и в дурное время семилетней войны ее сохранившего, и утраты 1814 года перенесшего с христианскою твердостью.[6] Старший из королей был примером царственной мудрости. Несмотря на строгий католицизм свой, он духом и делом наблюдал терпимость и его *лебединою песнью* было постановление о правах взаимных католического и протестантского исповеданий, изданное в прошедшем лете, как бы в предчувствии близкой смерти. Сей государственный акт обеспечивает протестантов в правах их, коих равенство с правами католиков утверждено окончательно Венским конгрессом. Прежде протестанты имели гораздо более прав, и католическая придворная церковь. несмотря на исповедание королем католической религии, не имела колоколов до 1807 или 1808 года. Сей акт, в прошедшем месяце изданный, может быть почитаем постановлением, единственным в своем роде в европейских законодательствах. Вероятно, и другие государства последуют оному. Честь королю и венец бессмертия в том мире, и честь министру его графу Эйнзиделю и моему безногому приятелю редактору Титману! Покойный король, во все время долголетнего царствования своего, держался мудрой осторожности, терпимости и строгой экономии государственной. В самом законодательстве, чувствуя нужды в исправлении, в пополнении онаго, поступал он с большою усмотрительностью. Понукал законодателей и поручал рассмотрение новых проектов людям испытанного благоразумия и просвещенным. Стюбель и Титман, два легиста, трудящиеся над проектами уголовных законов, весьма несовершенных и устаревших в Саксонии, уверяли меня, что нельзя быть благоразумнее, благонамереннее и более готовым на все доброе и полезное, как был король. Ave sancta anima! Девизом его были невинность и надежда, и символом надежды в невинности избрал он два цвета для герба государственного: белый в зеленом. Говорят, что непосредственный по закону на-

следник короля Антония, второй брат короля умершего, Максимилиан откажется от престола в пользу сына своего Фридриха. Мы познакомились с обоими сыновьями его, Фридрихом и Иоанном, и обедали у сего последнего в Дрездене: оба нам очень понравились умом и образованностью своею. Оба служат в важных государственных местах и деятельно; занятия государственной службы не мешают им заниматься литературою, искусствами, сочинять стихи. Супруга Иоанна, милая, умная женщина, сестра умного короля баварского. Престол не без надежды, ибо братья очень дружны. Я знал профессора, который занимался с ними юриспруденциею и прошел полный курс оной.

Здесь печатаются у Брокгаузена два тома Мартенса (молодого) актов дипломатических: Causes célèbres du droit des gens, rédigées par le Baron Charles de Martens. Я видел их в листах в типографии Брокгаузена и нашел то, что ожидал, то есть редкое и любопытное собрание актов дипломатических дяди его Мартенса, бывшего профессора в Геттингене и раштадского негоциатора.[7] В этой книге будет много замечательного и относительно до России, например: акты о Матвееве в Лондоне.[8]

Переписка Гете с Шиллером, объявленная в Лейпцигском каталоге,[9] еще не вышла, а переписка германского Платона, Якоби (в двух частях), с первыми литераторами и философами Германии слишком толста для посылки. Выберу из нее письмо для журнала: много прелестных. Вся жизнь, нравственная и умственная, немцев отражается в сих двух томах.[10]

Я познакомился с Линднером. Это истинный мудрец в христианстве, человек глубокого ума и глубоких сведений, с простотою евангельскою, не скрывает света, но действует, им озаряемый, как педагог и профессор. Зато некоторые из здешних книжников ему и недоброжелательствуют: его лишили кафедры в гимназии. Улыбка его значительная, и вся физиогномия выражает добродушие с глубокомыслием и тонкою проницательностию. Ясность в идеях и в выражении оных необыкновенная: оттого и дети его любят и понимают и профессоры (разумеется, беспристрастные) находят глубокомысленным. Это человек по моему сердцу: скромен, но говорит охотно и свободно.

N. N.[11]

VI. ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА ИЗ ПАРИЖА

Скоро будет новый прием в Академию: графа Сегюра, историка французской войны в России и Петра Великого.[1] Теперь еще вакансия (она уже была замещена, как видим из газет, Понжервилем, переводчиком Лукреция; переводчик, желая не одному черту свечку ставить, нашел в Лукреции догматы бессмертия души).[2] Кандидаты академического бессмертия по обыкновению разъезжают с визитами по 39 бессмертным, в надежде избрания.

Журнал «Фигаро» предлагает нынешним тринадцати кандидатам нанять для сих разъездов один *омнибус*, по шести су на каждого бессмертного.

Шатобриан скоро выдаст первые томы своей Французской истории.[3] Он говорил одному из наших литераторов в Париже: *Начну крещением Кловиса и окончу кровавым крещением Людовика XVI.*

Сын бывшего подольского губернатора, а ныне пер Франции, граф Сен-При пишет Историю Петра Великого. Он известен по сию пору только переводом некоторых творений русского театра[4] и собственною трагедией, которую только еще здесь слушают на *вечеринках*, а не читают, и статьею об Испании, в «Revue française» напечатанною, где много оригинальных и новых замечаний о сей старой монархии.[5]

VII. ПИСЬМО ИЗ ПАРИЖА

2 генваря 1832.

Холера сюда не приближается: она все еще на севере Англии; в Сундерланде совершенно прекратилась; но в Нюкастле свирепствует с большею силою, нежели в Сундерланде. По последним известиям в один день было 45 новых больных. Холера оказалась еще в двух (всего 4) местах, около Нюкастля. Здесь о ней не думают, и это весьма благоразумно, ибо беззаботливость о холере есть лучшее средство предосторожности. Если б то же действие беззаботливость или равнодушие имели на политические болезни Франции, то результат долженствовал бы быть выгодный; ибо, как мне кажется и казалось с самого приезда сюда, французы весьма мало заботятся о политических делах. — Журналы делают свое ремесло, наполняя свои колонны всякою всячиною, правдою и ложью, и журналисты должны часто сами знать, что возвещают ложь, — но где же взять правды? А журнал между тем должен выйти, и журналист должен обедать: английские журналы живут не артиклями, а объявленьями, advertisements, кои одни только приносят им барыш, — и потому, во время засухи новостей, они могут воздержаться печатать всякий вздор. Здесь политические писачки только выезжают на собственных своих *leading articles* и на новостях, — и чем более уродливости, невероятности, extravagance, тем более это привлекает читателя. Таков человек! Доверенность его всегда растет вместе с невероятностью. Если министр Лудвика XIV говорил королю: «Toutes les fois qu'il plaît à Votre Majesté de créer un office, Dieu crée un sot pour l'acheter», — то теперь можно сказать журналистам, что каждая ложь порождает сотни легковерных, глотающих все с охотою.

Я слышал, что на публичных лекциях Cuvier всегда присутствует жена и дочь — вероятно, м-lle Duvancelle. Но Кювье, говорят, простудился и не мог читать в последний раз лекции. — На днях было до 6 градусов морозу. Сего дня теплее, и я ездил в кабриолете в Bois de Boulogne. Наступление

нового года заметно для меня только тем, что надобно давать на водку, где живу, завтракаю и обедаю.

1 генваря. Вчера слышал за обедом похвалы оперы, которую вчера же давали на Итальянском театре, я пошел смотреть ее, и нашел то, чего желал, т. е. глупую итальянскую оперу с буфонством. Я всегда был охотник до всякого рода шутов и буфонов, и Lablache вчера меня позабавил в роли капельмейстера в «La prova d'una opera seria». Но это привело меня поздно в постель — отчего я поздно встал и едва, до прогулки в кабриолете, имел время прочесть длинный артикль Кормененя о liste civile, в котором он доказывает, что le Roi citoyen требует une liste civile, вдвое превосходящую короля английского, Наполеонову в 1815, и равную почти à celle de Charles X. В денежных делах с французами шутить опасно; и liste civile может сделать более недоброжелателей Филиппу, нежели различные политические системы. Сего дня за обедом мой сосед растолковал мне многое о государственном долге французском и о caisse d'amortissement, чего я прежде не знал. По сему я вижу, что с этой стороны французские финансы не в таком дурном положении, как я полагал по отчетам. Народ, конечно, платит более 250 м<иллионов> как проценты государственного долга; но казна платит действительно процентов гораздо менее, именно, как говорил мой сосед, только 150 м(иллионов); остальной капитал, представляемый 40 м(иллионами) процентов и 40 м(иллионами) для amortissement был уже выкуплен системою печатания; так что, в случае нужды, правительство может, без новых налогов, выпустить опять в обращение капитал, представляемый 40 м<иллионами> выкупленных процентов. Замечательно, что это был первый серьезный разговор, который я имел с французом, и не знаю как это случилось, ибо доселе он толковал только об опере. Не знаю, кто этот француз; но, кажется, он не только практически понимает финансы. Он соглашается, что французы вообще не понимают в финансах ничего.

VIII. ПИСЬМО ИЗ ФЛОРЕНЦИИ В СИМБИРСК

1

Взамен твоего я отдам и тебе отчет в моем трехнедельном странствии от Женевы до Флоренции. В Лозанну приехал я на пароходе, успел заглянуть только в книжные лавки и не побывал даже у домика в винограднике, где жил Сережа, и куда обыкновенно захаживал, бывавши в Лозанне. В 4 часа пополудни выехал из Лозанны в Берн: как ни грустно было у кладбища, на горе, на том самом месте, где недавно прощался я с Жуковским, но счастие брата меня успокоивало. Я никогда не путешествовал с таким легким духом: мысль о брате, некогда столь тяжкая, превратилась в радостную спутницу. С горы еще раз взглянул я на Леман, на

желто-зеленые рощи и на снежные горы, его облегающие. Прелести осени были во всем блеске. Я остановился пить чай в городке Mouton, обошел его при лунном сиянии: старина швейцарская с римскими древностями. Ночевал в Паерне (по-немецки Peterlingen), где родился наш Жомини, живущий теперь в Лозанне, в кругу своего семейства.

В Паерне луна осветила мне несколько остатков от развалин римских и бенедиктанского аббатства, здесь некогда процветавшего. На другой день, 25 октября, я при рассвете проехал Морат или Муртен, где 1500 бернцов разбили грозные ополчения Карла Дерзкого (60 000).[1] Над костями погибших в битве было здание (ossuaire de Morat), но французы в 1798 году разрушили его. Туман мешал мне видеть Моратское озеро. К обеду приехал я в Берн, отыскал секретаря нашей миссии; Северин был тогда в Веве с русскими. Здесь пробыл я три дня; осмотрел город и некоторые окрестности: все ожило в воспоминании. В воскресенье был в русской церкви, где видел великую княгиню, бывшую супругу цесаревича. Зашел к австрийскому послу Бомбелю, который снабдил меня открытым листом для таможни Миланской, служившим мне почти во всю дорогу, даже и в Италии до самой границы Тосканской. К сожалению, я не мог видеть жены Бомбеля, знаменитой Иды, прославленной Бонштетеном и матерью ее m-me Brun, которая недавно публиковала новую книгу о Риме. Прусский поверенный в делах пригласил меня на дачу обедать, и я провел у него с бернцами и с частию дипломатического корпуса весь вечер, нагулявшись прежде по окрестным горам Берна. На даче у великой княгини и в Гофвиле побывать не успел: все это видел прежде, а с тех пор в училище Фелленберга существенных перемен не сделано. Русских там уже нет. Слушал прекрасную проповедь, на бернском наречии, в главной здешней протестантской церкви, и кормил яблоками медведей, коих здесь в честь городского имени (Берн от Bär) держать положено в двух отдельных каменных ямах у городских ворот.

От медведей зашел в городскую тюрьму: осмотрел ее во всех подробностях. Француз-печник был моим cicerone. В огромном здании только две печи: каждая нагревает половину здания парами; вся топка стоит правительству в день 16 башей или два рубля с $1/4$ бумажками. Сия масса паров нагревает 140 кубических футов: выгода не только экономическая, но и для здоровья заключенных — нет вредных испарений; парами же можно нагревать гораздо скорее, нежели обыкновенным теплом. В столовых и в рабочих комнатах проведены трубы. В Лозанне, где penitentiary, или исправительная тюрьма, также в большом совершенстве, этого улучшения не допустили. Сими экономическими подробностями обязан я французу, печнику-инженеру. В тюрьме до 400 заключенных. Содержание хорошее и надзор строгий, но человеколюбивый. В спальнях преступников стены, у коих стоят кровати, обделаны тесом, дабы сырость не вредила лежащему. Тут жизнь и здоровье преступников также драгоценны, как и добрых граждан. Пересмотрел музей, где в портретах повторил историю

Швейцарии и Берна в особенности. Здесь и бюст Галлера, о котором можно сказать то же, что Карамзин сказал о Петре I: «Европа назвала его Великим». В Минеральном кабинете, подле нерчинских малахитов, лежат корнвальские и лаутербергские. Заходил в Бернские знаменитые бани, на островке, обтекаемом быстрою Арвою; но в этих банях полиция запретила уже приносить жертвы Венере. Меня встретила не нимфа Арвы, но Брокенская ведьма... Пасмурная старина является в бернских зданиях. Под аркадами, или под навесами, ходить покойно; но они темнят город, и без того уже довольно мрачный. Одна большая улица напоминает die Zeile, Невскую перспективу Франкфурта.

28 октября, рано по утру выехал я в Арау, по дороге к Герцогенбушу, обедал в Моргентале; в это время собирали овощи, заметно везде довольство в жителях и здоровье в краснощеких бернянках. Я проехал в тот день два старинные и живописные городка: Аарбург (город на Ааре), единственная в Швейцарии искусственная крепость: прочие твердыни все натуральные; но и крепость Аарбургская обращена теперь в магазин. Городок Ольтен уже в Солотурнском кантоне: его стесняет Аара между двух утесов; кое-где в окрестностях открывают римские древности. По сию пору погода мне благоприятствовала, и солнце во всю дорогу блистало на осенних красотах швейцарской природы; но к вечеру туман скрыл от меня Аару, куда мы приехали в 6 часов. Я не мог видеть, но только слышал быстрый Рейсс. Оставив камердинера с вещами в трактире, я побежал отыскивать знаменитого Чокке, историка и литератора, а теперь публициста и оратора Швейцарии, который знал меня по Бонштетену. Он издал уже более 40 томов своих сочинений и не перестает трудиться; живет над рекою, на возвышенном месте и работает не в одном кабинете, но и в огороде своем: он Вальтер Скотт Швейцарии, но только не тори... Чокке начал извиняться передо мною в издании одной книги, о которой здесь говорить не место, но скоро разговор оживился разнообразностию предметов. Он точно говорит как книга. Фразы его обдуманы, выражения избранные, и, кажется, иначе и напечатать нельзя было бы то, что он говорил. Натурально, что главным сюжетом моих разговоров была Швейцария и настоящие смуты в оной.* Результатом решительного его убеждения было то, что она теперь успокоена надолго и что трудно снова раздражить ее партии междоусобием. При этом случае Чокке нападал на швейцарских аристократов, называя их беспрестанно Spießaristocraten, он напомнил, как они и в старину угнетали достойных: Галлер унес с собою в могилу горе свое, что не мог попасть в Бернский совет, даже и тогда, когда заслужил европейскую славу. Гений его парил на высотах Парнаса, проник в недра природы, но не в совет нечестивых его соотчичей. Он рассказал много подробностей о своей жизни, о своих связях с Бонштетеном, с Лагарпом, m-me Сталь, у коей не согласился быть по предложению Бонштетена в зва-

* 1833 года осенью.

нии учителя; о свидании с Каподистрио, и проч.; все это и многое другое, «что видел, слышал за горами», — будем мы — бог даст — читать в уголку села Т‹ургене›ва, в моем журнале.[2] — Чокке проводил меня до своего садика, напоил домашнею наливкой, освежил доморощенным виноградом и предложил мне письма в разные города Швейцарии, как некогда Вальтер Скотт снабдил меня ими к своим шотландским приятелям-поэтам. Я опять переехал шумную Рейсс по канату; ибо за год или два перед сим сорвала она старый каменный мост, а новый еще недостроен. Мгла была самая густая, так что я на другой только день мог рассмотреть окрестности сельско-городского жилища Чокке. В кабинете его почти одни портреты: под Вашингтоном ветка с могилы его, подаренная ему американцем. Я застал 12-летнего сына Чокке в чтении историка Иоанна Мюллера.

Вот образчик воспитания в протестантской Швейцарии. В католической гнездятся еще иезуиты и учатся всемирной истории по книге отца иезуита Лорике. Об этой, *образцовой в своем роде* книге прочти в записках моих о свидании с иезуитами, на границе Швейцарии, о самом авторе Лорике — в записках о Франции. 29 октября осмотрел книжную лавку знаменитого не в одной Швейцарии издателя — книгопродавца Зауерлендера, и, запасшись снова книгами для Италии, столь *запоздалой* по европейской словесности, я отправился в Баден-Баден (5 часов от Арау). Католический священник был моим спутником, и я расспрашивал его о пяти римских епископствах Швейцарии, о иезуитах в Фрибурге, где он обучался богословию. Мы проехали Ленцбург: недаром он называется городком *весны:* он весь в цветах! Из Ленцбурга в Мелинген — и наконец в Баден. Между тем как мне готовился здесь обед, я обегал колодцы, бани (серно-вонючие), осмотрел бани для бедных и берегом Лиммата из нового возвратился в старый Баден. В этом году здесь было необыкновенное стечение «чающих движения воды».

В два часа выехал из Бадена и в 6-м вечера приехал в Цюрих; немедленно отправился к старому приятелю, нашему академику, а здешнему советнику Горнеру, который по астрономической части сопутствовал Крузенштерну в его всемирном странствии;[3] расспросил его о фамилии Тоблер: только еще одна старушка — сестра того Тоблера, который нас в Симбирске и в Т‹ургене›ве воспитывал, в живых; но я не мог в тот же вечер отыскать ее! Горнер записал меня в кабинете чтения, который здесь не уступает женевскому в богатстве журналов и периодических сочинений; с тою разницею, что цюрихский превосходит все прочие швейцарские многочисленностию книг и журналов немецких: ибо здесь господствует уже соседственная германская литература, так, как в Женеве французская. Я освежил голову чтением политической и литературной новизны и простился с Горнером, вероятно, надолго... На другой день с рассветом вышел я на площадку Lindenhof, которая возвышается над прелестным Лимматом. К счастию, небо опять прояснилось, и я насмотрелся на красоты озера. Посреди Лимматского залива — старинная башня, окружен-

ная водою: она служит городскою тюрьмою, но «теперь пуста», — сказал мне гордо цюрихский гражданин. В лавке «Орел и Фюсли», с молодости нам знакомой, накупил я книг, а в другой того же имени портрет Герена, Чокке, Гегеля и многих других, знакомых и наставников наших: украшу ими сельский или московский кабинет мой. Был на плаце, где стоит памятник Геснеру: это гулянье, обсаженное рощами и аллеями, образуется Лимматом и Силлою. Урна на высоком пьедестале, в нише коего поставлен бюст поэта весны и Швейцарии. Надпись из его «Смерти Авеля». Память Геснера должна быть священна для тех, которые читали его в молодости и отчасти образовали сердце свое по его книгам. Ни один из авторов не оставил во мне таких благодетельных, располагающих к добру и к сельской жизни впечатлений, как Геснер, коего читали мы в Т<ургене>ве с незабвенным Тоблером. Вообще мы, Т<ургене>вы, с благодарностию вспоминаем о Цюрихе: это отчизна Тоблеров, Лафатера, с коим отец мой был в дружеской и религиозной переписке, отчизна Геснера, воспитавшего в нас любовь к сельской природе, к сельским нравам, в грустное время ссылки отца нашего... Как жаль, что на другом конце цюрихского гулянья — нет памятника Лафатеру!

Недавно основан здесь первый Швейцарский университет,[4] и в день моего приезда должны были начаться лекции; я пошел к педелю, купил каталог, справился о профессорах, но ни одной лекции в первый день не было. Знаменитый Океп, натуралист, прославившийся своими открытиями в царстве животных, смелостию мнений, своими счастливыми дефинициями, — сделан ректором при открытии университета. Я читал прекрасную, оригинальную речь его и все акты университетские. Швейцарцы, несмотря на патриотизм свой, неохотно посылают в Цюрих детей своих и предпочитают иногда иностранные университеты национальному; между тем у некоторых правительств здешний университет в дурной славе, хотя вряд ли он ее заслуживает? Считают в этом году до 200 студентов. Между профессорами есть отличные, особливо по медицинской части. Новое университетское здание еще не кончено. Если швейцарцы признают Цюрих своими Афинами, то, вероятно, и университет процветет со временем. Главное неудобство учредить общий национальный университет в Швейцарии — разноязычие и разноверие кантонов. Католики недовольно просвещены, чтобы позволить детям своим учиться в протестантском университете; а особый университет для католиков строить трудно; ибо в католических кантонах вообще нет большой жажды в науках, и они довольствуются запоздалыми, мрачными школами иезуитов. К тому же женевцы, вадтцы, нейшательцы, где бы нашлось более охотников до академического учения, употребляют французский, тесинский кантон и смежные с Италией швейцарцы — италианский, а в Цюрихе все преподается на немецком языке. Бернские аристократы не согласятся также посылать детей своих в Цюрих, где уровень на все сословия, так, как английские лорды все еще посылают детей в Кембридж и Оксфорд, где учились они,

а не в новый Лондонский университет, во многом опередивший старших и слишком устаревших братьев своих, коих профессор-философ Дюгальд-Стюарт сравнивал с кораблями на якоре в быстрой реке стоящими: поток стремится, а они ни с места! — Но настанет скоро и для них година возрождения. Английские университеты не устоят пред требованием времени.

Из университета прошел я в городскую библиотеку, в коей до 80 тысяч волюмов. Все залы уставлены портретами бургомистров цюрихских, бюстами Песталоцци, Лафатера и бюстом Людовика XVIII, кем-то библиотеке подаренным. Здесь хранится несколько любопытных манускриптов, между коими письма Иоанны Грей, кажется, к Генриху IV. Большой рельеф Пфифера главной части Швейцарии, на коем можно распознать все местечки, горы, озера и реки, — словом, весь лабиринт гор и ущелий, пересекаемых Рейссом, Лимматом, Аарою и другими речками.

В полдень сел я в почтовую коляску, и к вечеру, т. е. к ужину, приехал в Люцерн. Здесь достопамятен для меня более всего трактир с тремя милыми хозяйками, дочерьми честного хозяина. Меня ввели в общую залу, где я нашел англичан, разматывающих шерсть для 3 сестер-граций. Одна из них начала приготовлять мне особо ужин, но я подсел к хозяйскому столу и под конец веселого вечера подружился нежно с моей соседкой. Она проводила меня до порога моей спальни, по старинному швейцарскому обычаю, и мы условились завтракать на другой день вместе. 31 октября, рано по утру, отправился я к соборному канонику (Люцернский кантон католический, хотя есть и протестанты) Бузингеру, сочинителю лучшего описания Люцерна и его окрестностей. Служанка встретила меня словами: «Каноник еще почивает» — à cette replique j'ai reconnu l'église. «Но когда ж проснется?» — «Ровно в 8 часов и прямо в церковь!» — «Нельзя ли разбудить его в $7^1/_2$? Я проезжий и желаю познакомиться с ученым прелатом». — «Попытаюсь», — отвечала служанка, — и мы провели полчаса вместе, переговорили о многом. Каноник подарил мне свою интересную книгу и, кажется, не досадовал более на меня и на служанку за похищенные полчаса у Морфея, отпустив меня с приветствием: «Ich sehe schon, weß Geistes Kind Sie sind». Я спешил к моей Алойзе завтракать, но забежал взглянуть на умирающего льва, вытесанного в утесе, по рисунку Торвальдсена, в память швейцар, погибших во Франции, защищая короля ее. Один из швейцарских офицеров соорудил товарищам своим этот монумент и сохранил имена погибших в капелле, близ льва поставленный. Лев, как живой, но умирающий! Утес, в коем он иссечен, омывает светлая вода. Инвалид швейцарского войска — сторожем при памятнике и показывает королевский мундир с медалью, который получил он из рук Людовика XVIII.

Нежно распрощался я с моим хозяином и пустился чрез Мерлишахен, истинно швейцарскую деревеньку, коей строения похожи на красные русские избы, в Кюснахт, какое имя в истории швейцарской! Мальчишка проводил меня к развалинам замка Геслера, на горе стоящего и

никому более не страшного. Басня или быль о Телле ожила в душе моей, особливо, когда из Кюснахта я прошел в так называемую hohle Gasse, где Телль подстерег Геслера и где на большой дороге сооружена *избавителю* каплица, на фронтоне коей картина, изображающая смерть Геслера и под ней следующая, полустертая патриотическая эпиграмма:

Hochmuth vom Tell erschossen,
Davon ist Freiheit ersprossen,
Wie lang wird aber solche währen?
Noch lang — wenn wir die Aelten wären.[5]

За сею капеллою начинается вид Цугского озера. Я ехал по берегу к деревеньке Immensee... И в осеннем убранстве окрестности озера прелестны! Там, где оно оканчивается, лежит местечко Арт: из Арта была та девица, которой брат убил бургфохта, ее обесчестившего. Дома старинные, исписанные библейскою и швейцарскою историею, фигурами Телля, Винкельрида и прочих героев Швейцарии. Один дом особенно измалеван сценами историческими и надписями. Штауфахер униженно стоит перед австрийским ландфохтом, из коего выходят слова:

Ich will euch Bauern schon verleiden.

Стих, конечно, не шиллеровский, но выражает верно характер ландфохта. Кстати о Шиллере: чем более видишь Швейцарию, чем более знакомишься с ее стариною, тем более удивляешься верности картин, характеров, изображению нравов в трагедии Шиллера «Вильгельм Телль». История шапки, перед которой Телль не хотел снять своей, также вся вымалевана на домах.[6]

Из Арта отправился я в Гольдау: это местечко, вновь построенное, прославилось ужасным землетрясением, поглотившим в 1806 году весь прежний городок, у подошвы горы стоявший. Теперь один хаос из камней, от разрушения распавшихся, прикрывает бездну, поглотившую Гольдау: никто из жителей не спасся, кроме отсутствовавших. Погибли и путешественники, и бернцы, приехавшие погостить у родственников. Вид окрестностей ужасен еще и по сию пору; но новые домики, покрытые черным тесом, как чешуею, красивы. Из Гольдау проехал я к Ловерцерскому озеру: Lowerzersee — еще одно из прекрасных озер Швейцарии, на котором цветут два островка, положением своим и красотою похожие на Isolo madre и на Isolino в островах Боромейских Большого озера. На одном из них швейцарская хижина, а над нею живописный обломок древней башни. Мы ехали берегом озера до самого Швица. Здесь колыбель Швейцарии. Я пошел прямо в старинный собор, где гремели органы: собор окружен гробами. Дамы были все в черном национальном костюме: на голове какие-то черные, прозрачные по бокам опахалы, похожие на крылья бабочки. Эта эмблема женского сердца как-то безобразит голову, тем более, что волосы подобраны кверху, виски обнажены и весь убор без

локонов. Началось пение, сопровождаемое игрою органов, кои оправдали *громкую* славу свою в швейцарских кантонах. Не дослушав вечерней молитвы, — я пошел к гробам читать надписи и нечаянно остановился у памятника знаменитого в последнее время швейцарского патриота и швицского гражданина Алойса Рединга, коего предок, Рудольф Рединг von Biberegg, отличился в Моргартенской битве за свободу отечества, столь характеристически описанной Иоанном Мюллером (1315 года). На могиле Алойса Рединга простой камень, с крестом и с надписью: «Aloisius Reding de Biberegg, comes, cujus nomen summa laus». Он умер в 1818 году. Подле него могила брата его, служившего генералом в Испании (умер в 1825 году). В самую ту минуту, как я дописывал его длинную надгробную надпись, которой тебе не сообщаю, из церкви вышла процессия со священником в облачении и с дамами в трауре, и остановились у гроба Рединга, подле коего вырыта была свежая могила. Священник окропил ее святой водою и отслужил панихиду. Я спросил у одного из предстоявших: «Кто положен в нее?» — «Моя тетка, — отвечал он, — сестра отца моего, Алойса Рединга, за неделю пред этим умершая». — Я говорил с сыном Рединга и находился в кругу его семейства. Дом его был неподалеку от собора, по дороге к Брунеку, куда я сбирался. Я спросил сына: «Для чего отец его не положен в самой церкви?» — «У нас одни духовные имеют на это право», — отвечал он с усмешкою. С кладбища прошел я в ратгауз Швицский. — Главная зала, где держится совет, уставлена простыми скамьями: только для президента кресла. Портреты бургомистров украшают ее. В зале малого совета старинные разные украшения с изразцовой печью, несколько старинных же швейцарских картин, портреты Редингов в их старинных костюмах и других знаменитых бургомистров: вот Гедингер, сказал мне мой Cicerone, früher bei'm Kirsche, то есть, что его первый сановник государственный был прежде хозяином трактира, под вывескою оленя. Над креслами президента надписано: «justitia firmatur solium» (кажется, из притчей). Кантон Швицский замечателен тем, что в нем нет ни одного города, и главное местечко Швиц, давшее имя всей Швейцарии, не город, а местечко или деревня. Здесь все равны, и мужики на совете с Редингами; совершенное равенство в гражданской иерархии. — Все здесь как-то напоминает швейцарскую старину: и дома, и одежда жителей, и какая-то тишина, пустынность в самом городе переносит мысль к векам минувшим. Звон колокола погружает душу в уныние. Из окон ратгауза виды прелестные; но натура также не переменилась; из стареобразного, по 4 сторонам деревянными башнями обнесенного, дома Рединга смотрят дети детей его на те же поля и вдаль на то же озеро 4 кантонов, коим любовались их праотцы.

Осмотрев все историческое в Швице, я побрел по дороге к Брунеку и остановился только близ сада и дома Рединга; почти все окна были закрыты; дом стоит на возвышении, с коего видно озеро 4 кантонов; вокруг все как-то пустынно и говорит воображению только о минувшем; жизнь

заметна в одной только природе, но желтые листья и в ней напоминали тление. Из Швица до Брунека доехали мы в полчаса. И это местечко памятно для швейцаров: на хлебном магазине у самого озера надпись «Hier geschah der erste ewige Bund. Anno 1315 die Grundfeste der Schweitz».[7] Над надписью гербы 3 первобытных кантонов. — Прочитав надпись на месте возрождения Гельвеции, я нанял 4-весельную лодку, с навесом, за который платится особо, и ровно в 5 часов вечера пустился в темнеющее озеро: оно обнесено по берегам перпендикулярными утесами, очень глубоко и часто бурно. Рыбы в нем много, но она так зубаста, что сетями ее ловить нельзя. Уже начинало смеркаться и берега темнели, когда мы приблизились к границам кантона Ури. Я едва мог разглядеть первую деревеньку Урского кантона, Силунен, на крутом берегу озера: вы найдете ее на всех швейцарских видах. Огни уже мелькали в ней, как светлые червячки по дороге. С противного берега дул сильный и холодный ветер: я укутался в плащ моего Жуковского. Смерклось; густой туман спустился на озеро, и только шум весел прерывал глубокое молчание; едва можно было различить одну мрачность близкого берега. Мне стало грустно, но только уже не по-прежнему, и я подумал о *пристани*, но только не о той, к которой плыла лодка; — вдруг, с мрачного, невидимого уже озера, послышался звон вечерний Ave Maria, и молитвы успокоили, утишили мое *католическое* сердце. Через $1^1/_2$ часа от Брунека подъехали мы к месту, у коего выпрыгнул Телль с лодки ландфохта, оттолкнув ее в бунтующее озеро. Мне указали каплицу, в память грозной минуты на берегу построенную; вместо описания покажу вам ее в моем портфеле (но кто не видал Теллевой капеллы на всех трактирных стенах, вместе с портретом Фридриха II и Марии Терезии?) Я не вышел на берег и мог различить только наружную форму часовни, которую воображал себе, судя по рисункам, гораздо менее.

Телль еще и теперь ангел-хранитель Швейцарии, тень его носится на грозных высотах Аргорна и в мирных долинах и в годины испытания, и в минуты решительные для отечества. Дух его еще оживляет швейцар, соединяет разноплеменные кантоны в одно святое, народное чувство. Но я забыл упомянуть о площадке, или о лужке Рютли: истинная колыбель швейцарской свободы, которую проехал я еще засветло. Рютли почти напротив Силунен, в уединенном краю берега, между Унтервальденом и Ури, но принадлежит к Урскому кантону. Здесь сходились три друга-патриота; двое из них спускались по уединенной стези, как говорит Мюллер, третий, Штауфахер, приплывал к Рютле на лодке. «Da vertraute einer dem andern seine Gedanken ohne alle Furcht». Потом каждый из трех: Фюрст, Мельхталь и Штауфахер — привел единомышленников и, дав друг другу руку, поклялся за себя и за своих. Но прочти всю эту повесть в самом Мюллере. Картины, опера и балеты давно познакомили всех нас с этими сценами; но в натуре они все еще сильно действуют на воображение, особливо когда оно возбуждено чтением Чокке и Мюллера.

В продолжение двух часов плыли мы все близ берегов и в 8-м часу пристали к местечку Флюен, где я ночевал и условился на другой день, 1 ноября, в 7-м часу утра выехать через Альгорн до Гошпиталя. Альгорн только за $1/4$ часа от Флюена, в этом городе была сцена яблока над головою сына Телля, которое отец должен был сорвать стрелою. Я измерил глазами расстояние, разделявшее отца, стрелявшего из лука в сына. Это место на главной улице Альгорна, близ старинной церкви, на которой изображена Моргартенская битва. Все шли чинно в церковь: это был день воскресный и праздник всех святых. Novembre avoit sonné sa première journée. Из Альгорна своротили мы к месту рождения Телля: Bürglen (все во Урском кантоне). Здесь нашел я жителей на кладбище церковном, в церкви у капеллы, построенной на самом том месте, где, по преданию, стоял домик Телля. Такие места приличнее всего освящать верою. На алтаре каплицы надписано «Vos in libertatem vocati estis fratres per caritatem servite invicem». «Вы бо на свободу звани бысте, братие, точию да не свобода ваша в вину плоти, но любовию работайте друг другу» (глава V, ст. 13. К Галатам). Внутри каплица также исписана историею Телля и древней Швейцарии. Христианство не исключает патриотизма. Каплица на пепелище Телля построена в 1582 году; она окружена могилами праотцев села; но где прах Телля?.. Вокруг меня собрались соотчичи Телля, вышедшие из церкви, — в костюмах своего кантона: мне понравилось в них какое-то особливое добродушие или радушие, с коим помогали они моему ветурину починивать изломавшуюся коляску, которая не выдержала толчков и переездов по камням, поднимаясь дикими местами и узкими улицами на высоты Бюрглена. Благовест в тишине скал, дальний шум водопадов, дикость пустынных окрестностей Бюрглена, журчание речки Шахен, через которую построен красивый деревянный мост: все это придает какую-то особенную прелесть этому месту, освященному живою верою в предание о Телле.

При самом Бюрглене старинная башня, обвитая со всех сторон плющом, вечно зеленеющим, как слава Телля. Я сошел с подошвы башни к речке Шахен, которая стремится между диких и голых утесов, и остановился у моста с чувством благоговения к почтенной старине и к природе: в эту самую минуту проглянуло солнце сквозь облака и позлатило верх гор. Как накануне ночью, так и теперь раздался в долине благовест колокола и, как голос с того света, проник в мое сердце. Мысль опять устремилась туда, где после бурь жизни, теперь уже почти затихших, хотелось бы сложить котомку неугомонного странника. Но как соединить Колмаюр с Сеною? и прах праотцев села Богоявленского с могилою в Пер-Лашезе?[8] В ожидании коляски я долго пробыл на родине Телля и воротился в Альгорн, один, даже и без проводника. В трактире «Короны», который англичане обесславили во всех записных книгах Швейцарии, позавтракал урским сыром и италианским вином. Здешний сыр славится своею добротою: уверяют, что он вкусен от того, что коровы и козы

пасутся на неприступных почти высотах, орошаемых водопадами, где травы сочные и благоухающие. Прошел еще раз по площади, прославленной подвигом Телля, и остановился на том месте, на котором стоял с яблоком сын его. Для того чтобы Галлер мог постигать природу и воспевать ее, Иоанн Мюллер оживлять тлеющие хартии, а Бонштетен любезничать — надлежало за 5 веков явиться Теллю и оттолкнуть ладью, которая несла Геслера и судьбу его. Меня уверяли, что в Бюртеле за два года пред сим умерла последняя женская отрасль Теллева племени, а Эбель пишет, что в 16-м столетии умер последний мужеский потомок. (Я не нашел уже Эбеля, классического описателя Швейцарии, в Цюрихе. Он умер года за два: в 1827 году он сам был моим путеводителем в Цюрихе, остался со мною до самой минуты отъезда и проводил меня до ворот. Сколько знакомых мне знаменитостей исчезло с того времени, от В. Скотта, Гете и Эбеля — до миланского сапожника Ронкетти!).

Никогда не забуду я минут, проведенных в Альгорне и в Бюрглене, особливо тех, кои простоял я над речкою Шахен, слушая *благую весть*, несомую с гор — с родины Телля, от гробов праотцев села в долины и хижины, по крутизнам рассеянные. Кто знает, на каком месте захватит нас минута энтузиазма или сердечной молитвы! Лишь бы душа всегда была готова принять ее и в самой горе поклониться отцу духом и истиною! Из Альгорна отправился я в 11-м часу. Ветурин указал мне родину одного из трех мужей Рютли, кажется, Вальтера Фюрста. Она в горах, и солнце в сию минуту освещало ее. Любуясь прямо швейцарскими видами с долины на горы, я в то же время перебирал записную книгу, которую случайно увез из Флюена: вероятно, одному из англичан надоели уже беспрерывные остережения его соотчичей от грабительства хозяина Альгорнской короны и он записал и свой совет: «I should recommend to travellers to avoid the hotel de la tête de Mahomet in Astrackan!». Другой подписался: «Nabuchodonosor venant du Antipode» Замечание 3-го: «Nab. fut changé en bête, voilà pourquoi»... Но более других книга измарана италианскими выходцами, коим не удалось быть Теллем для своей отчизны: все они поют на один лад.[9] Мы все еще в кантоне Ури. Горы опоясаны туманом; на вершинах солнце. Кантон Ури самый меньший из 22 братьев; долиной доехали до Анстега, любуясь громадами вокруг нас. Гете, в кратких своих записках, говорит о сем пути: «Der Blick hinunter verkündigt das Ungeheure». Деревенька Анстег придвинута к горам, кажется, что путь замкнут. Рейстань кончилась; но во все время до Анстега сопутствовала нас с шумом и ревом стремящая Рейсс: о ее бурном течении можно сказать с поэтом:

Es wallet und siedet und brauset und zischt!
И валит и хлещет, ревет и кипит!

Кто написал этот стих, тот, конечно, прислушивался к водопадам и к речкам Швейцарии, они почти все быстры, опрометчивы и разруши-

тельны. Я дошел до моста, от коего начинается С.-Готардский путь, идущий по горам и стремнинам, часто под утесами, с коих валятся громады камней. По скату гор построены хижины. Над ними чернеется Бристеншток, в грозном величии, и как бы указывает на сей путь, приклонивший к стопам путешественников некогда неприступных своих товарищей. Бристеншток вышиною в 8165 футов. Близ первого моста обступили меня мальчишки с горными кристаллами и плодами бедных садов своих. Здесь натура истинно швейцарская и жилища также. Праздник всех святых вызвал жителей самых отдаленных и высочайших хижин, в праздничных их нарядах. Они уже возвращались из приходов своих и сворачивали по тропинкам в горы, к уединенным, на высоте белеющимся своим хижинам, кои готовы, кажется, скатиться с крутизны своей. Я начал взбираться по С.-Готардскому пути в полдень. Долина Krachen достойна своего имени, по шуму реки в нее стремящейся. Несколько мостов, прекрасно отделанных, соединяют пропасти и горные расселины; каждому особое имя. Прежде славился один Чертов мост; теперь много ему подобных. Мальчишки вместе с козами, коих пасут, прыгают по утесам. На каждой площадке, едва зеленеющей, — хижина: часто одна висит над другой. Каждая сажень земли обделана: я видел пашню на огромном камне, свалившемся с утеса. Невольно пришло на мысль замечание Мюллера: «So hoch in das Gebirg, als das Gras fortkommen mag, wohnen Hirten und Heerden... das einzige Glück des Oberlandes, die Freiheit fehlt». Пастухи сии и земледельцы очень бедны; несмотря на то, что они все обложены значительною для них податью: 8 бацов с коровы, по два баца с барана и с козы. Особая подать с земли возделываемой, как бы высоко она ни лежала. Они оплачивают подати продажею, в осеннее время, скота. Сверх того, духовные получают не десятину, а 3-ю часть плодов с каждого плодоносного дерева, с каждого овоща. Приходские священники имеют от 600 до 700 гульденов дохода: это много для жителей поднебесных. Пастухи кормятся большею частию картофелем, а мясо идет в продажу.

За деревенькою Гешенем — природа в разрушении. Ущелье Шелекен — царство вечных снегов. Дорога идет извилинами, иногда встречаете вы кресты, означающие падение и смерть на сем месте путешественников; для спасения их от ниспадающих сугробов проделаны в утесах и в шоссе каменные впадины, в коих можно, в случае снежных скатов, укрыться. Под вами пропасть над пропастью, в коих прорывает себе путь шумный Рейсс; над вами скалы и мертвеющая природа: вот и Чертов мост, но уже не тот, по коему перебирались герои Суворова: старый оставлен над ужасною пропастью, как бы в память русского Ганнибала. Новый тверд, как скала, из коей он иссечен, и безопасен. С нового моста смотрел я долго на старый: он гораздо ниже первого и в сооружении его было более смелости, но менее искусства; оглушаемый ревом водопадов, вижу сии громады и пропасти, — вспоминаю минувшее, и во мне одно чувство — Россия; одна мысль — Суворов... о Державин!..

Где только могут ветры дуть,
Проступят там полки орлины.

Мы въехали в темный пролом, иссеченный в утесах. Вдруг проглянул перед нами свет — и мы на Андерматской долине. Перед нами деревенька веселая, приютившаяся к высокой горе, над которой правильным треугольником растет сосновый лесок, прикрывающий Андермат. Долина его кажется еще прелестнее после ужасов Чертова моста и у подножия обнаженного С.-Готарда. Мы проехали по долине в Гошпиталь и видели капеллу св. Антония. Уже смеркалось, когда мы въехали в тесные улицы Гошпиталя: едва успел я осмотреть его окрестности: с одной стороны Андерматская долина, с другой громады, по коим проложена извилинами покойная дорога к С.-Готарду. Она начинается почти в самом местечке. Я нанял с вечера коляску до Ариано; прочел в книге проезжих имена русских, шутки англичан и поэтические излияния немецкого восторга. Я забыл сказать тебе, что искусный строитель нового Чертова и других мостов, равно чудесных, прошлого года казнен здесь за воровство, неоднократно повторенное! Правительство кантона Ури не раз прощало ему, наказывая пенями и тюремным заключением, но наконец объявило, что за первую кражу — отсечет ему голову: так и сделано, relato refero, хотя и не хотелось бы верить, что в одном кантоне казнят за то, что в другом исправляют молчанием и работою.

2 ноября разбудили меня в три часа утра, и чрез полчаса мы были уже на пути к вершине С.-Готарду. Луна слабо освещала его. Сперва взбирались мы по гладкой извилистой дороге, но вскоре стал показываться снег и по сторонам лежали сугробы; ветер дул сильный и холодный; я опять укутался в ветхий плащ Жуковского и выглядывал на дорогу, занесенную снегом. Коляска едва тащилась по ней, мы скользили над пропастьми, не везде обнесенными перилами и кое-где только столбами, с опасными промежутками. Когда снега глубоки, то проезжающим дают здесь сани или верховых лошадей, коих и мне содержательница трактира предлагала, но лень моя предпочла опасность. Странно, что снег и мне, сыну севера, казался чем-то необыкновенным. Италианец, камердинер мой, который с Наполеоном доходил до границ России, сравнивал уже С.-Готард с Сибирью! Луна все еще светила нам, но иногда облака закрывали ее и во мраке белелся один только снег. Звездочки ярко горели в небе; с рассветом увидел я на горе деревянный крест: «Это высший пункт С.-Готарда», — сказал мне ветурин, и я с благоговением преклонил колена сердца, как сказано в нашей восточной молитве, пред знамением спасения рода христианского и путешественников.

Вблизи креста старый Hospitium, Сен-Готардский домик, окруженный двумя или тремя озерками, из коих низвергаются шумные реки, Тессин и Рейсс, в горы и в долины Швейцарии. Между сими озерками идет дорога. Одно из них начинало уже замерзать у берега; но другое блистало еще холодными волнами, в коих отражалось восходящее солнце. На вер-

шине горы ветер усилился, и холод пронял меня, несмотря на ветхий плащ и на Шотландский imperméable; один только малахай генуезский держал в тепле мою голову. От Госпиция начали мы спускаться по извилистой дороге и довольно быстро, беспрестанно поворачивая то взад, то вперед: на поворотах привычные лошади бежали прытко над пропастьми и скалами. Снег становился реже и сугробы мало-помалу исчезли; солнце проглянуло и разогнало туман; стало теплее; начали показываться сперва сосны, ели, потом и светлая зелень; натура как бы с каждым шагом оживала, и на первом лужке увидели уже мы хижину, уединенно стоящую. После диких и безлюдных, голых скал и пропастей жилище человека, хотя и бедное, как-то веселит глаза и сердце. Зелень, как надежда, является здесь вместе с человеком и с его промышленностию: одна только любовь христианская, Caritas, возносит его на скалы и сводит в пропасти, для спасения ему подобных. Был ли Hospitium на Сен-Готарде во времена язычества? Дружился ли тогда человек с собакою для отыскания заблудших? Долу он опять помышляет о земном и продает дорогою ценою страннику пищу и тепло и сопутствие. Мы спускаемся к долине, где укрывается Ариола в прелестной долине. Все оживлено трудолюбием, все еще зелено, и вдали вы угадываете небо Италии; не только небо, природа и цвет ее, но и язык переменился: в Айроло говорят уже по-италиански. Мы в Тессинском кантоне. Долина от Госпитиум до Айроло, которую мы проехали, называется Val-Trémola или Val-Tremblant, она дрожит от порывистого падения Тессина, над коим часто и летом лежат снега. Над рекою дрожащий мост Ponte-Tremolo. Спускаясь по С.-Готарду к Айроло на скале иссечена, как уверяют, русская надпись русским солдатом-сподвижником Суворова; мне удалось видеть ее. На месте русского солдата, я бы вырезал тут одно слово с екатерининской медали, кажется, за взятие Измайла: «был» и прибавил бы только: «с Суворовым».

Я нанял в Айроло коляску до Белинцоны, с проводником, италианским швейцаром: он уже не флегматик, а с лицом оживленным, с глазами горящими. Лошади и упряжь легкие, словом, с нéбом все переменилось. Тессинцы, некогда подданные древних швейцарских кантонов, ныне составляют особый кантон и гордятся именем швейцаров. Примечают, что с тех пор и нравы их улучшились. Кони италианские понесли меня по берегу Тессина, сначала над навесом грозных утесов, с ребр их стремятся водопады, на вершинах виден еще снег. Один из водопадов Colcaccia низвергается с крутой высоты и, разбиваясь о близ стоящий утес, образует как бы кристальный гребень из брызгов своих, шипит и снова спускается по горе серебряною нитью. Тессин, долго пробиваясь сквозь узкие и мрачные ущелины, вытекает из них наконец на ровную широкую долину и течет мирно и плавно, подобно человеку, после бурной и мятежной жизни доживающему спокойно вечер свой. Тессин теряется в великом озере (Lago Majore) — человек в вечности. После шумного и стремительного течения между скал Тессин живит и напояет луга плодотворною

влагою. Как грозный, но благодетельный завоеватель «покоритесь!» шумит он свысока подвластным лугам своим «и облеку вас зеленью, обогащу плодами, — или потопит вас ярость моя».

Через деревеньку Пьота приехали мы в главное местечко, столицу кантона, Файдо. 'Полагают обыкновенно, что здесь начинается климат Италии, потому что в Файдо и в окрестностях растут каштаны и виноград. По дороге из Файдо все еще ревут водопады, хотя с гор, уже зеленеющих: сверху солнце Италии. Оно радужит брызги и серебрит быстрый Тессино. (Я называю реку уже по-италиански). Мне стало жарко: давно ли спутник мой думал о Сибири! Тессино виляет по долине, и мы должны следовать за его течением, переезжая по мостам беспрестанно, с правого берега на левый, с левого на правый. Местечко Giornico лежит по обеим сторонам реки с двумя церквами и с живописным старообразным мостиком; вот и первый италианский виноград, возделанный не по северному, а по Вергилиеву манеру: он не извивается, как в Швейцарии и в Германии, около тычинок, но переплетает деревья и перекладины, кои здесь торчат из тесаного гранита. В Osonia покормили мы лошадей и пустились прямо к Белинцоне, чрез Поллежио, по прекрасной, ровной дороге, где только издали слышен шум Тессино и с правой стороны - по угрюмым, мрачным скалам тянулись водопады серебряными нитями, не слышимы для нас, но только видимы; отдаленность скрывала быстроту их; с левой — голые скалы; кое-где зеленеющие площадки с домиками и с часовнями, кои рядами, по уступам гор, возвышались до белеющейся на самой высоте церкви. Эти часовни называются в католических землях Stations, для того что на них останавливаются молиться и отдыхать... обыкновенно они расписаны страстями господними. Все сии часовни и хижины примыкали к церкви. Когда глаза утомлялись красотами природы, я читал записки Гете о сих же местах, к сожалению, слишком краткие и отрывистые. Не он ли подал Шиллеру первую мысль написать трагедию — Вильгельм Телль! Собираясь сам писать поэму «Телль», он сообщил проект свой Шиллеру, в письме из Швейцарии.

Между тем как лошади мои отдыхали, я побрел пешком вперед; солнце грело и сияло; уже не крупный швейцарский фен (Föhn), — ветер, страшный в горах и на озерах Швейцарии, — но легкий, теплый ветерок освежил меня и ослаблял действия яркого, почти летнего солнца (2 ноября). Я всматривался в характеристические картины италианской Швейцарии вокруг меня. В исходе 4-го часа приехали мы в Белинцону, завидев издалека одно из трех укреплений Швейцарской крепости. Остановившись в трактире «Оленя», я поспешил воспользоваться вечерявшим днем и пошел по дороге к Лугано, отделавшись не без труда от ветуринов, кои предлагали вести меня в Камо и в Милан или по другой дороге, до Мегодина, где следовало сесть на пароход. Я наслаждался вполне прелестию окрестных видов и мирным характером здешней природы. В ней не видно

было уже ничего грозного, даже и в самой твердыне Швейцарии: она обезоружила бы самого разъяренного завоевателя — своею миловидностию. Белинцона составлена из трех главных укреплений и лежит между гор, так, что, если хотя слабо будут вооружены сии три высоты, то легко, кажется, отбить всякой приступ. — Это ключ, коим можно запереть Швейцарию от италианцев.

Возвратившись в город, я взобрался на утесы, на коих построено среднее укрепление, откуда любовался городом и облежащими его горами. Сошел в город: улицы кривые, узкие, темные, словом, *крепостные*. Если вам в них душно, то выдьте за город, по дороге к Лугано: окрестности очаровательны. Зашел в церковь: великолепие храмов Италии уже показывается в колоннах, в мраморах, в живописи; но неизбежно следствие сего великолепия: неопрятность и рубища нищих, у сих храмов сидящих. Кто-то сказал, что в немецких кантонах Швейцарии свиньи опрятнее жителей Тессинского. Если судить по некоторым встречам... О нищенстве я не упоминаю: эта язва Италии и вообще земель католических давно уже явилась на пути моем во всем своем безобразии; в Белинцоне она еще приметнее. Я нанял коляску за 30 франков до Комо, куда выехал 3 ноября, в воскресенье, в 5-м часу утра. Я предпочел не ехать на Мегидин и оттуда озером до Sesto-Calendo; ибо, по описанию Валери, дорога до Мегидина непривлекательна. Почти во всю дорогу до Лугано туман скрывал от меня окрестности: одна только гора Cenere иногда выглядывала сквозь туманное покрывало. По течению Лугано, проехав несколько деревень, я остановился на минуту у капеллы, в честь Мадонны, — и увидел Луганское озеро, а над ним гору С.-Сальвадор. Здесь начали мы спускаться к Лугано. Объехав город под аркадами церкви, я вышел на берег озера, на коем туман начинал рассеиваться, и солнце проглянуло. В воротную щелочку посмотрел я в монастырь св. Екатерины; в двух шагах от него — другой, Капуцинский; по дороге к Комо остановился я у третьего, также Капуцинского, где по описаниям должна находиться прекрасная картина Лугана. Монах, тучный, но добродушный и услужливый, указал мне ее под одною из аркад монастырских. Из келий монастырских — вид на озеро прелестный! — Всего 30 монахов в этом земном рае; но для Лугано, где выходит только один журнал, — и этого много! Недавно начали обвинять Лугано в ультралиберализме, потому что здесь завелась порядочная книжная торговля — и процветает, благодаря *запретительной системе* соседей. Пелико напечатал здесь свою тюремную исповедь. Другой *выходец* публиковал здесь любопытную книгу об австрийском правительстве, и Тессинский кантон преследовал издателя...[10] Здесь же в сем году собиралось и общество швейцарских натуралистов; но, к счастию Австрии, натуралисты не Орфеи: они не одушевят камней. Лугано почитается некоторыми первым италианским городом, но Италия уже в Айроле, где язык и небо Италии, или в Киассе, на границе и таможне австрийской.

Из Лугано. по берегу озера, приехали мы к перевозу porte di Melido. Здесь в 20 минут, на барке, перевезли нас, чрез рукав озера, к пристани Биссоне; но густой туман мешал нам любоваться красотами озера, описанными поэтом Матисоном. Уверяют, что характер окрестных гор Луганского озера напоминает чрезвычайно прибрежные горы островов Отагайти: в том же стиле, по замечанию Бонстетена, разрисованы берега Комского озера. Берегом приехали мы к Capo di lago, последняя деревенька при начале озера. Поворотили к Мендризио, коего окрестности славятся красотами своими. В эту самую минуту служили здесь обедню, и народ в церкви с отворенными дверями и на крыльце лежал простертый, услышав слова спасителя... Такие картины видим только в Италии: они живописны, как ее природа, и принадлежат к характеру здешнего края. В Палерно — то же, но уже в храме, обнесенном гранитными колоннами! На границе, в Киассо, меня не осматривали благодаря открытому листу посла австрийского.

Я опять в Италии!

2

Пять месяцев и три дня провел я в Швейцарии. Из Киасса до Комо $3/4$ часа. Спустился к предместию Комо и увидел озеро: «ce lac est le plus beau», что ни говори поэт Фернейский о своем Женевском. Я любовался всею открывшеюся передо мною панорамою озера и осеннею пестротою высоких и населенных берегов его. В Комо я был в прошлом году, и также в воскресенье, но совсем не в том расположении духа, как теперь: все для меня было тогда покрыто каким-то мрачным покрывалом; накануне провожал я К. Т. в Женеву и в Москву и приехал сюда искать рассеяния от грусти, но она усилилась при виде тихого озера, в коем отражались прелести природы, великолепные виллы и вся старина лунообразного, по берегу раскинутого города, над коим разрушается историческая башня Baradello, где Висконти уморил в клетке своего пленника Торриани. В предместии Borgo-di-vico отдал я карточку и письмо от одной приятельницы графу Санназару.

В Комо народ толпился на улицах, вместе с австрийскими солдатами: в Кроатах узнал я полусоотчичей, славян. С одним из ветеранов (на груди коих медная бляха с надписью: veteranus) заговорил я кое-как по-славянски, но мы с трудом друг друга понимали: ибо *язык* (народ) славянский далек от русского, так и *наречие* их от нашего. — Покоренные покорители Италии топчат здесь прах Плиния и стерегут отечество Сципионов. В Комо остановился я в том же трактире, в той же комнате над озером, где останавливался прошлого года, заказал обед и пошел к графу Санназару. Вилла его великолепна и на самом выгодном месте. Он выводил меня по всем тропинкам. Дача разрисована и отделана на италиано-английский манер: это жилище лорда Италии, перенявшего кое-что и

у русских, например печи. Хозяин живал в Петербурге с графом Литта и представлен был нашему двору. Он охотник до лошадей и показал мне петербургскую упряжь Лопатина, несколько переиначенную на италианский манер. В саду гора с водопадом, с высокой вершины ее стремящимся. Он виден из центральной залы в одно время с озером. Разговорившись о хозяйстве, я узнал, что граф платит едва ли не более 4-й части своего дохода с того имения податьми, между тем как с швейцарского поместья, с всего, получает он до 8 тысяч франков, платит только 100 франков, и то почти добровольно, — на содержание некоторых общественных заведений. «Nulla quies gentium sine tributis» [11] — австрийцы давно постигли силу этого правила во всем его пространстве. После обеда проехался по озеру до виллы Эсте. Прошлого года был далее и, кажется, описал в журнале мое путешествие к виллам Плиния, певицы Пасты и проч.

Недалеко услышали мы выстрел с парохода «Лорио», который ежедневно объезжает все берега озера с гуляющими и путешественниками. В сумерки пристал я опять к берегу. 5 ноября ветер был так силен, что капитан парохода не хотел отчаливать от берега, но пассажиры требовали исполнения условия — и по белым бурным волнам «Лорио» опять пустился в путь. День был впрочем светло-осенний, и солнце ярко сияло на бунтовавшем озере. От 8 часов утра до 6 часов вечера пароход обязан объезжать все виллы и возвращаться в Комо, где уже в 6-м часу ожидает его «Велоцифер», отправляющийся ежедневно в Милан, куда и я, взглянув на древний, богатый собор, отправился в 9 часов утра. Поднявшись на Комскую гору, мы выехали на обширную и плодоносную миланскую дорогу; кормили лошадей в местечке Барлассно, в соседстве коего убит первый ломбардский инквизитор св. Петр, мученик. В память его построен Доминиканский монастырь, в коем теперь семинария. В Комо другая, где учатся на свой счет 150 семинаристов, платя около 400 рублей за 8 месяцев: ибо 4 продолжается вакация. — 10 профессоров обучают их школьному богословию и латинскому церковному языку. Отсюда поступают они в приходские священники, не только в Комском округе, но и в Тессинском кантоне, который по части духовной (in spiritualibus), а не по гражданским отношениям церкви, подчинен Комскому епископу. Я входил во все подробности здешнего учебного управления: но об этом при другом случае. Миланская равнина славится своим изобилием: по дороге все рощи, коих деревья переплетены виноградом. Во 2-м часу я остановился в Милане в том же прекрасном трактире св. Марка, в котором я стоял прежде и который с тех пор рекомендую всем путешественникам. Он же и близ почты, где я нашел письмо от брата: отыскал гр. В<иельгорску>ю, показал ей процессию конгрегации di S. Sacramento, которая шла в красных плащах, с крестами и хоругвями в собор, где праздновали память св. Карла Борромейского. Яркая белизна наружности собора и мрачность внутренности оного снова поразили меня. Там совершали мо-

литвы в честь св. Карла, и хор певчих и инструментальная музыка гремели. В подземной капелле, вылитой из одного серебра и золота, теснился к мощам народ, и я вслед за ним. Молодой монах напоминал прикладывающимся звоном колокольчика, что должно класть деньги на серебряное блюдо. Серебро и золото, коими обложены стены, рака Карла Борромейского, сияли огнями. В церкви более праздношатающихся, чем молящихся. Обедал с пианистом Фильдом, который приехал сюда давать концерты; вечер в la Scala; слышал оперу Доницетти «Il furioso all'isola di S. Domingo» и видел балет «Il masnadiere Siciliano». Театр, пение и игра актеров, костюмы — все достойно одного из лучших театров Италии. Между актерами нашел знакомых, хотя в первый мой приезд в Милан мне не удалось быть в театре: в конце лета он заперт. Почти все ложи огромного театра и партер были полны.

6 ноября я отправился завтракать в любимый мой café, на площадь, перед сияющею массою собора, где уже опять гремела музыка, а на крыльце — продавали четки, житие св. Карла, образки и проч. и проч. Был в Академии Брера с гр. В‹иельгорской›. Любовался Леонардом да Винчи, Рафаэлем... Зашел в огромную библиотеку: все сии здания некогда принадлежали иезуитам; отыскал у гр. С‹амойловой› нашего Брюллова, коего картина — слава России и Италии (ибо русский писал ее в Риме) — теперь выставлена здесь в Брере и привлекает ежедневно толпы знатоков и иностранцев. Я видел ее уже в Риме. — 7 брошюр уже написано на эту картину: все к чести Брюллова; ее воспели и в стихах. Сюжет картины: последний день Помпеи. Землетрясение, поглотившее древний город, изображено живо; улица, которую *я* видел в Помпее, верно списана с натуры; здания, статуи в моменте падения; жрецы укрываются с сосудами; христианское семейство (Помпея засыпана лавой уже по Р. X., кажется, во 70-х годах) спасается от ярости божией; но на христианских лицах выражено не бешенство, а предание воле божией, résignation. В ту же минуту и молния сверкает, и смешение огней подземных с небесным выражено согласно с натурою: случай возможный и потому позволительный художнику. Может быть, нет единства в сюжете и группы слишком развлекают внимание зрителя, но теперь не до критики... Брюллов заглядывал не в одного Плиния, но и наблюдения химиков и «Farbenlehre» Гете служили ему к произведению сей поэмы и картины. Я подписался на издание гравюры с сей картины, и объясню вам оную по ней и по римскому моему журналу.

Теперь спешу кончать слишком длинное письмо. В Милане, где я почти все достопримечательности осмотрел прошлого году, взглянул я снова на триумфальные ворота, кои начал Наполеон и довершает Франц. Первым посвящены они были победе, теперь миру: l'un vaut l'autre. Подле них амфитеатр, Наполеоном же воздвигнутый; вокруг обширное поле, где австрийские войска учатся маршировать. В Амвросианской библиотеке снова пересматривал Вергилия, исписанного рукою Петрарки, и кар-

тины Рафаэля. Поспешим к «Тайной вечере» Леонарда, на стене монастырской ежегодно более и более исчезающей. Лицо спасителя лучше всех сохранилось; рука его не благословляет, как мне прежде показалось, но движение оной согласно с страшным изречением, тихо и поразительно: «Един от вас предаст мя», — и все ученики, сообразно характеру каждого, поражены ужасом и изумлением. Два раза обедал у гр. С‹амойловой› в великолепных чертогах ее, где все дышет негою и роскошью. Я встретил тут австрийских генералов, коих корпус в Милане и в окрестностях, а между ними зятя барона Штейна, гр. Вальмодена, который и в нашей службе был генералом. Осмотрел огромную больницу, в коей тысячи поместиться могут. Она основана узурпатором, герцогом Сфорца.

8 ноября выехал в 4-м часу утра в Парму, сопровождаемый жандармами до самого рассвета. В 8 часов был я уже в Лоди, взглянул на место сражения, которым славится город еще более, нежели сыром своим; ибо так называемый пармезанский сыр делается в Лоди, а не в Парме. Переменили лошадей в Казаль-Пустерленго. Прошлого года отсюда своротил я влево к Кремоне и Мантуе, теперь вправо к Пьяченце (т. е. Plaisance, а как по-русски, право, забыл!) — все на Ломбардской равнине до самого По. На таможне, Caroffa, почти у берега По, прописали паспорты, но, не осматривая, впустили нас во владения вдовы Наполеоновой, Марии Луизы, герцогини Пармской, Пьяченской и Гвастальской. В них 7000 австрийского войска. В Пьяченце пробыл два часа; смотрел здания, площадь, церкви и двух бронзовых коней с двумя герцогами перед готическим зданием. Сии кони славны в истории художеств: на них сидят Alessandre Farnese и Rannucio Farnese. Собор древний. Город обтекают По и Требия, кои здесь сливаются. Тотила осаждал его. В парижском мире уступили его Марии Луизе. Уже Плиний хвалит благорастворение его атмосферы. За Пьяченцой Campo Morto, где римляне разбиты Ганнибалом; далее развалины Веллийские. Из Пьяченцы начинается древний римский путь, называемый Фламиниевым.

Через Фиоренцолу, Borgo-S. Donnino, переехав не раз реку Таро, в 9-м часу вечера приехал я в Парму. В почтовом трактире, в столовой, собрание портретов от Наполеона до кривого генерала Нейперга. 9 ноября осмотрел я церкви, особливо Бенедиктинскую, где Корреджио в молодости своей написал «Вознесение господне» и сею картиною начал славу свою; весь купол и арки им же исписаны. Менгс почитал апостолов, окружающих Христа во всей славе его, чудом живописи, особливо перспективы. Прежде Корреджио никто не доводил перспективы до такого совершенства. Il Chiostro, или внутренние аркады, сени монастырские, также примечательны живописью ученика Корреджио. Собор и крещатик (il battistero) — оба италиано-готической архитектуры. Купол собора росписан также Корреджием. Я влезал почти до самого купола, видел образ «Успения»: это торжество ангельской, чистой жизни и бессмертия! Караччи восхищались им: все сии фрески еще живы и служат образцами

для живописцев. С благоговением приблизился я здесь (в соборе) к памятнику Петрарки; но здесь один памятник и бюст, прах — в Арква. «Per la memoria di quel uomo... caro alla lingua ed al cuore», — эти слова не из надписи, а из Бертолуччи; надпись латинская: «Juvenilium juvenis, senilium senex studiosissimus». Здесь гроб славного Бодони. Крещатик любопытен древностию. Он весь обложен мрамором: ваза, или купель, из одного куска: в ней несколько человек погрузить или *обливать* можно. И здесь некогда крестили по-нашему, par immersion, т. е. погружали в воду, а не обливали, как теперь у католиков, коих мы потому и называем, кажется, в Малороссии, *обливанцами*. Здание сие из 12-го столетия. Осмотрел Palazzo-ducale или del Giardino, где много первоклассных картин и фамильных портретов. Фрески Корреджио и других замалеваны по повелению прежнего герцога Фердинанда для того, чтобы не соблазнять детей наготою и срамотою фигур. Теперь начинают раскрывать их; одна комната отделана А. Карраччи. Старинный театр Farnese помещал 9000 зрителей. Все украшения оного сохранены, между коими и герцог на коне, как привидение в темной зале. В Пармском музеуме древности почти все веллейские: этот исчезнувший с лица земли город — то же для Пармы, что Геркуланум и Помпея для Неаполя. Статуи, монеты, сосуды оного обогатили здешний музей. Замечательны таблицы Траяна и другая, древнейшая, на меди, 100 лет до Р. Х. вырезанная. В этом дворце живал Наполеон консулом; из спальни его виден великолепный сад. В центре Италии, в Риме Наполеон не бывал... Между статуями бронзовый Геркулес — capo d'opera! и Бахус юноша. Их увозили в Париж. Позлащенная голова импер<атора> Адриана; щипцы древние, экземпляр единственный, и орудия, коими мучили первых христианских мучеников. В картинной галерее — Корреджий: Мадонна его божественно-прелестна! 24 000 медалей; библиотека открыта для всех ежедневно. Я спешил ко вдове Бодони, мне показали главные его издания и дали маленький каталог оным. Какое совершенство в черноте чернил, в пунсонах, в бумаге! Вдова Бодони и все ее заведение во дворце. В кабинете мужа бывал император Павел I, великим князем. Для него напечатали 32 раза «Отче наш», на разных славянских наречиях. Мне показали литеры, самим Бодони сделанные: их до 665. В «Manuel typographique» исчислены все труды покойного.

В латинской надписи под портретом Бодони назван великим. Здесь типографщик; во Флоренции — монах-аптекарь. — Издания Грея, Данта славятся отделкою. Лорд Спенсер и граф Бутурлин имеют полное собрание всего, что издано в типографии Бодони: вдова доставила графу Бутурлину даже визитные карточки, у ней напечатанные. Осмотрел и atelier гравера Тоски славного ученика Бервика. Chef-d'oeuvre его — тоскан<ский> герцог, ныне здесь царствующий, и вшествие Генриха IV в Париж, с Жерара. Часто для гравирования одной картины нужно 2, 3 и 4 года. Был и в университете. Канцлер оного, Ломбардини, познакомил меня

с устройством учебной части в трех герцогствах, прочел статистику оной, из коей видно, что здесь не 40 человек учится! По статистическим соображениям Дюпеня это juste milieu между просвещенным государством и *во мраке и сени смертней* седящими! В Парме, в 3 факультетах учатся 420 студентов; 4-й факультет переведен после смут италианских в Пьяченцу. Университетское здание досталось университету после иезуитов, кои отсюда изгнаны вскоре после уничтожения их ордена в Испании и Португалии. Канцлер снабдил меня регламентом университетским. В театре давали драму из романа Манзони «I Promessi sposi». Актеры не дурны. Вдова Наполеона сидела в ложе. Для австрийских офицеров оставляются два ряда кресел; это их привилегия почти во всей Италии. Я был в ложе М. А. ‹Нарышкиной›, и с тех пор (начиная от Женевы до Милана) мы каждый вечер здесь в Модене, в Болонии, и наконец во Флоренции, встречаемся в трактирах, на дороге и в театрах.

10 ноября в воскресенье приехал я в Модену. За несколько миль отсюда увидел я Апеннины, покрытые снегом. На таможне продержали аббата более часу (меня не осматривали по прежней причине) и раскрывали все его чемоданы, наполненные молитвенниками и проповедями, коими запасся бедный миссионер для исполнения обязанностей своего ордена, и за эти проповеди взяли с него пошлину, вопреки русской пословице... Земля богатая, обработанная; река Secchia напояет ее. От нечего делать спорил я с попом-лазаристом-миссионером о чудесах. Он насказал мне много и о чудесах, недавно умершими братьями его ордена совершенных, а я называл его и товарищей его идолопоклонниками, и он продолжал бормотать про себя воскресные молитвы. На половине дороги к Модене Reggio, «il natio nido» Ариоста. Я осмотрел древний собор с колоссальным Адамом и Евою и церковь della Chiara, замечательнейшую в Реджио. Почти напротив собора дом, где родился Ариост, с надписью: «qui nacque Ludovico Ariosto il giorno 8 di Settembre 1474»; но не все полагают, что Ариост здесь родился, хотя Байрон и воспел за это Reggio. Статуи галла Бренна не успел видеть. По дороге беспрестанно спрашивали нас о паспортах: в два часа приехали мы в Модену. Я обежал город, взглянул на огромный, несоразмерный царству, дворец; зашел в древний, но ни чем не замечательный собор; гулял по валу, встретил два или три кабриолета с моденскими fashionable и толпы гуляющих в черных платьях и в покрывалах, «Zandoda» называемых. Любовался голубо-сизыми Апеннинами, кои темнели италианским захождением солнца. Зашел в Доминиканскую церковь, соединенную с дворцом; перед дворцом пушки и две гвардии: немецкая и италианская! Неподалеку дом Меноти...[12] обедал с болонезцами, собирался ехать на Равенну, но они отговорили меня: недавно в Романии ограбили дилижанс; теперь там и проезд труден с большими чемоданами, а в моих уложена италиано-немецко-французско-русско-английская библиотека! К счастию, охранил ее и от моденских досмотрщиков — *охранный лист австрийский*!

Вечер с М. А. <Нарышкиной> в придворном театре. Давали какую-то оперу «Maria di Brabante».[13] Наша Шоберлехнер, некогда в продолжение 10 лет, 10-летняя Далиока, пела порядочно. (Прошлого года слышал я ее в Болонии, в Анне Болена). Костюмы, декорации — лубошного, а не придворного театра. Герцог в ложе со всем семейством; в партере его гвардия, его музыканты, австрийские солдаты: все шумят, корячутся, припевают, хоть бы в отсутствии двора. Балет — несносная фарса![14] На сцене ведьм больше, нежели в балладах Жуковского. Герцогиня, по набожности, не была в театре. На другой день, 11 ноября, отправился я в собор взглянуть на Secchia Rapita. Но ключ от *ушата*, хранящегося в соборе, в ратуше, и я не мог дождаться его: выслушал только описание оного. Ушат окован железом и только. Поэма вам известна. Во дворце ожидал меня придворный брабант, с позволением осмотреть галерею; она из лучших в Италии. Более всего понравились мне картины испанского Рафаэля — Мурилло; «4 стихии» Караччи; «Св. фамилия» Андрея дель Сарто; комната фресков, одна из них с сюжетами из Энеиды; «Аврора» Альбани; но как описывать галерею! «Прииди и виждь!». — В библиотеке нашел я сокровища единственные, в библиотекарях — услужливых ученых. Двое из них подарили мне свои сочинения об италианской словесности, об истории языка и рукописях Тасса, коих здесь множество!

В Моденской библиотеке 5 старинных рукописей Данта, но собственноручных нигде нет. Редкая космография Птоломея, прекрасно раскрашенная. Я раскрыл ее, и что же прежде всего перед глазами? Италия России — Таврида. — Собрание трубадуров многочисленно. Renouard знает его только из St.-Palais. Он многим обязан здешнему библиотекарю Гальвани и с ним в переписке. Обильный источник для крохоборов литературных в обширной всесветной переписке Тирабоски, продолжавшейся 24 года со всеми учеными, поэтами и меценатами его времени. С ним справлялись, как с живым лексиконом, и полигистор Моденский отвечал всем и на все. В библиотеке до 100 000 волюмов; все могут ею пользоваться, не предваряя о сем накануне или за неделю главное начальство библиотеки... Два бюста в ней — Сигония, творца истории среднего века, и Муратори, коему еще приличнее сие титло: ибо им изданы и фолианты самого Сигония. В церкви св. Августина прах их: «L. A. Muratorio mutinensi... Historiae et antiquitatum italicarum parenti... etc.» — на слишком скромной доске в углу. Сигонию почти тоже: «Parenti historiae italicarum...»; церковь разделяет от дворца Академию художеств. В ней 4 главные класса: резьбы, архитектуры, живописи и scuola dell' ornato или украшений; слепки со всех классических статуй Греции и Рима; зала для экспозиции. Книжные лавки в Модене бедны — ничтожны.

В 11 часов выехал из Модены в Болонию, на речке Панаре — опять таможня! Далее Castel-franco — и опять таможня. В 4 часа приехал в Болонию, и опять у трактирщика-француза Mr. Trouvé, в той же комнате, где так грустно было прошлого года! В этот вечер театра не было. Я за-

глянул только в огромнейшую церковь Болонии, св. Петрония. Тот же таинственный незнакомец под аркадами преследовал меня и ныне в сумерки: «Volete, Eccellenza, una bella ragazza?». В сумерки вечера успел еще видеть криво построенную башню Garisenda; наклонность ее тем приметнее, что она стоит подле прямой башни Asinelli. 12 ноября осмотрел городскую ратушу, пустился в гору к мадонне — св. Луки. Церковь сия так названа по образу, якобы св. Лукою писанному, который в ней хранится. К ней ведут аркады, по горе; городом и вне города нужно более часу, чтоб взобраться к церкви. Аркады расписаны священными предметами; с террасы церковной вид очаровательный на всю Болонию и ее окрестности. Священник в облачении раскрыл мне образ богоматери, осыпанный драгоценными каменьями и залитый золотом. Над главною аркою надпись, приличная высоте, на которой стоит церковь: «от горы изыдет спасение!» (Исаия 37). Я спустился к кладбищу, Certosa, которое здесь, как и в Пизе, можно скорее назвать музеем. Campo-Santo полно прекрасных памятников в статуях и в живописи. На этом месте был прежде Капуцинский монастырь, поля его засеяны мертвыми, из коих некоторые ожили — в статуях и бюстах! Первый монумент, остановивший меня, — отцу нашего дипломата Матушевича, в 1819 году здесь умершему. Надпись на латин<ском> и франц<узском>. — Я списал первую. Одна строка заставила меня призадуматься при мысли о сыне: «Fidem constatiamque patriae pereunti probavit suam»... Матушевич скончался 31 октября 1819 года на 55-м году от рождения. Главную из мраморных статуй памятника довершил Канова. Недалеко от Матушевича памятник Клотильде Tambroniae, профессорше греческого языка в Болонском университете: «Litteris dedicta linguam graecam publice docuit» (ум. 1817; ей же и в сенях университетских).

Монумент брюссельскому уроженцу Ferreris. — Ангел или гений держит над ним обручальное кольцо: не мудрено угадать, чья любовь соорудила его... (не мудрено угадать, о ком я подумал, перечитывая сии строки, в Москве, в 1835 году?..). Роскошь в мраморах непомерная! Наследники обязаны сооружать их из мрамора или гранита: живописные истребляются временем; если нет наследников — то городское общество принимает на себя их обязанность. В два часа едва успел осмотреть со вниманием этот *музей смерти*! Старинных и древних монументов также множество. Для povera gente назначены особые поля; в них хоронят даром и кладут номер в могилы, дабы в случае желания родственников можно было отыскать умерших, даже младенцев, для коих особые места. Им ведут реестры. Бог своих отыщет, но для *милых ближних* сделаны свинцовые медали с номера. Одно место на сем кладбище стоит 100 Scudi (500 рублей), памятники — от 2 до 3 тысяч рублей и более. Я ходил около 2 часов под аркадами. Два друга, Lamberini и Molinari, заживо сделали себе монументы, друг подле друга; один уже в могиле ожидает другого. Сверх памятников частных город сооружает тут же особый пантеон,

для знаменитых мужей Болонии; и уже в нем поставлено несколько бюстов.

С кладбища пошел я в Академию художеств, столь богатую картинами Болонской школы. Русские знают ее из описания, кажется, Шевырева, в каком-то журнале напечатанного. Осмотрев главные картины, я стоял долго перед св. Цецилией, chef-d'oeuvre Рафаэля, и перед распятием Гвидо Рени. Лицо спасителя еще живо страданием, коим наполнено было при слове: совершишася! В 1823 году поставлен здесь бюст: «Antonio Canovae sculptori sui temporis primo». Торвальдсен не дал бы своего согласия на эту надпись. Они не любили друг друга. — Отсюда прошел я в университет, еще не открытый после смут болонских. Docta Bolonia, как ее некогда во всей Европе называли, никого теперь не учит, и я с грустию вышел из опустевших великолепных университетских зданий. Профессоры, пережившие славу университета, также теперь безгласны, как и их знаменитые предшественники и предшественницы: ибо между ними были и женщины, в мраморах онемевшие. Ныне и университет кладбище наук! Бюсты в сенях: Монти, Гальвани и других.

Зашел в церковь св. Петра-Инквизитора: костры угасли, но потух и свет наук! Одна из замечательных и древнейших церквей принадлежит доминиканам. Она окружена несколькими памятниками и колоннами, и статуей св. Доминика: все это на площади. Один гроб на 4 колоннах: и эти монументы, и древняя церковь, и самый орден домиников, и белая одежда их принадлежат другому времени, отжили век свой. Уверяют, что здешний провинциал ордена сам признавался в бесполезности ордена, коим цвела и горела инквизиция; теперь благодаря книгопечатанию, хранителю нравственного и гражданского возрождения народов, может еще гр. Мейстер писать панегирики инквизиции, но костры давно уже залиты святою водою просвещения, даже и в отечестве Бруно. — Внутри церковь наполнена историческими гробами: здесь и прах Гвидо. В самом монастыре гнездятся еще сыны инквизиции доминикане, но главный инквизитор — ученый бенедиктинец, пользующийся богатою некогда монастырскою, а ныне городскою библиотекою — Magnoni, сей просвещенный учредитель, хотел, чтоб она была открыта для всех именно в те дни, когда все другие библиотеки закрываются в Болонии. Вечер в театре: давали «La Norma», пела m-lle Гризи, старшая по славе, другая теперь в Париже, превосходит талантом; но как говорить о них и о «Норме», после m-lle Schütz, которая восхищала меня почти каждый вечер во Флоренции. Балет «L'orphelin de Genève». Полишинель плясал на ходулях, совершенно во вкусе италианском. Театр полон; приметна если не роскошь, то какое-то довольство в болонской публике.

13 ноября, в 5 часов утра мы тронулись с места, но в 7-м выехали из Болонии, собирая по городу спутников до Флоренции. Солнце Италии освещало прекрасные окрестности Болонии. В Пьяноро пил кофе и нашел в своей книге-спутнице отметку у этого местечка, что в том же часу пил

здесь кофе прошлого года. Пора, пора усесться! но где?.. Воображение играло сердцем, тоска по отчизне переносила меня на берега Москвы-реки; а между тем солнце освещало прекрасную природу Италии; за Пьяноро спуски с гор становятся круче; снег тает по дороге; мы видели Апеннины в белой одежде севера, но только вершины их белелись. Нам припрягали беспрестанно волов; горы, как хаос, перемешаны; но хаос блестящий красками желто-зеленой осени. В Лояно мы обедали рисом и виноградом. Здесь все в снегу. Местечко Лояно похоже на Валдай положением, окрестностями и — снегом. Оно в горах и на горе. Я вышел на большую дорогу и взглянул на белеющие окрестные горы и долины: но эта зима дышет уже весною: снег тает, солнце греет, и мужики в одних рубашках. Вижу зиму в Италии — увижу ли весну в Москве? Эти слова вырвались из сердца, не оледенелого к России... Мы тащились с горы на гору, любуясь необозримою далью: земля взволнована, как море, и эти горы кажутся взволнованными громадами океана. Приближаемся к Тоскане; товарищи менее трусят, хотя поп все еще не верит безопасности от разбойников — и в Тоскане! Фаготист италианец поглядывает беспрестанно на все стороны и на крутых спусках жалеет о равнинах своей Ломбардии, которую в первый раз покинул, зная горы только по слуху. Мы проехали Scaricalasino; на Папской границе прописали паспорты и просили «buona mano» (на водку). Вот и Тосканская таможня Filigare. Тосканский таможенный пристав сказал мне, что австрийской lascia-passare не спасет меня от осмотра, — не вскрыл, однако ж, чемоданов моих, и — мы в Тоскане.

Уже смеркалось, когда мы приближались к Pietra Mala, откуда увидели горящую Monte di Fo: так называется огнедышущая гора, в полуверсте от дороги. Огонь выходил из кратера и пламя ярко сияло в темноте ночи. Уверяют, что нигде не видно расселин и что трава растет неподалеку от кратера. Когда пламя сильно, то все окрестности освещены им. Геологи несогласны в мнениях своих о сем явлении: одни полагают его уже угасшим вулканом, другие еще готовящимся к сильному извержению. При свете сего огня мы доехали до Covigliajo, где остановились ужинать и ночевать. Попутчиков было так много, что я едва нашел особую комнату, которую выговорил себе в контракте с ветурином, вместе с ужином и завтраком. 14 ноября в 4 часа темной ночи мы выехали: к рассвету мы уже на вершине горы Giogo (самая высокая в этой части Апеннин). Отсюда начали спускаться к Caffaggiolo. На сих вершинах часто сильный ветер был гибелью путешественников; но теперь по дороге построены правительством оберегательные стены. За 10 миль от Флоренции мы кормили лошадей. Три часа спускались мы к Флоренции, любуясь ее прелестными гористыми окрестностями. Мы проехали Fontebona, загородную виллу герцога; виллу певицы Каталани. Куполы собора Pratolino все уже перед глазами; по стенам вьются розы, сливы по скату гор: наконец триумфальные ворота, в честь императора Франциска I, некогда

герцога Тосканского. Я опять в столице Медицисов и повторяю стихи старца Рожерса (в его «Италии»).

Of all the fairest cities of the earth
None is so fair as Florence.

Опять в той же комнате у Больцани, перед окнами цветут розы, растут померанцы и вьется отцветший виноград, вокруг стен монашествующих в кельях францискан, в благочестивом farniente. Обедал в швейцарском салоне, обегал кн. Г<орчакова>, гр. В<иельгорскую>, О<рловых>, записался в кабинет чтения у Vieusseux, здесь все журналы европейские. Петербургская газета, и библиотека избранная. Возобновил знакомство с московскою милой красавицей Х<вощинской>, почти ежедневно в театре. M-me Schütz прелестна и собою, и талантом, и в своих *позах*; никогда музыка не производила на меня такого действия как в «Норме»: Шютц превосходит, как сказывают, Пасту, для которой «Норма» сочинена была. Как мила в обхождении! Я встретил ее на бале у О<рловых>, в галерее Питти, заговорил по-немецки и уже не расставался с ней. Какая музыка и какой голос! Какое благородство в каждом ее движении, в каждом взгляде, поступью — богиня. Я слыхал ее в Париже и в Лондоне, но только здесь увидел ее во всем блеске. 3-го дня (30 ноября) театр закрылся, и прямо со сцены уехала она в Турин, оттуда в Геную, а может быть, и опять во Флоренцию, потом в Триест, где муж ее, в Вену, Миних, Берлин и к будущей зиме в С.-Петербург. Я дал ей свою визитную карточку с именем кн. В<яземского>, описав его милой красавице. Он не расстанется с ней. О Флоренции после: живу здесь приятно. Каждое утро с учителями, читаю Данте и Вергилия, а теперь и Никколини, восхищаюсь его стихами, особливо в «Foscarini» и в «Giovanni di Procida». Нашел новую, запрещенную здесь, его трагедию «Ludovico Sforza». Был на балах у О<рловых>, на вечеринках у экс-короля Вестфальского и у экс-королевы неаполитанской. — Младший сын Иеронима похож более на Наполеона, нежели на отца; дочь — прелесть! в лице много выражения. Познакомился с любезной и умной принцессой Боргезе, с которой люблю беседовать, и с дочерью ее, m-me Mortemar, женою бывшего у нас волонтером. Она почти красавица, мила; но мать еще милее и пленяет умом, выражением лица и европейскою любезностию. Салон ее напомнит мне и аббатство aux bois (l'abbaye aux bois de m-me Récamier), и вечера Сент-Олера. С англичанами гуляю по берегам Арно; осматриваю галереи, дворцы, виллы, древности Флоренции. Как все здесь напоминает минувшее величие средних веков... et nunc magnum manet... nomen.

Et nunc magnum manet ... nomen.
Sed Fortuna fuit.

В этом стихе Вергилий — Тацит. Спешу в оперу восхищаться «Нормой». — Но вот и литературная старина-новинка, которой обязан я сыну

италианского Винкельмана, графу Чиконьяра (автора истории искусств и проч.). Он продиктовал мне стихи Тасса, найденные в рукописи его, принадлежащей ныне капитану римской службы Альберти. — Тасс сочинил их на шитье, присланное ему Элеонорой — для одеяла... Рукопись сия найдена в архиве фамилии Falconieri; Альберти купил ее с аукциона и продает теперь тосканскому герцогу, который предлагает ему 450 скудиев за всю рукопись, и прислал освидетельствовать достоверность оной — каллиграфа!

Вот стихи Тасса:

Questo precioso dono,
Che ornar coll'ago ad Eleonora piacque
Lo vide Arachne e tacque...
Or se la man, che fè la piaga al cuore,
Si bello fa d'amore
Il cieco labyrinto
Come uscir ne potrò se non estinto.

Прости до Рима.

Эолова Арфа.

IX. ОТРЫВКИ ИЗ ЗАГРАНИЧНОЙ ПЕРЕПИСКИ

Париж.

...Из кабинета чтения иду в Королевскую библиотеку, где я уже отыскал много любопытного для русского историка. Библиотекари — Шамполион-Фижак, Фориель, Парис — услужливы чрезвычайно. По каталогу рукописей я требую самые рукописи и замечаю все, что надобно будет переписать для пополнения моего собрания документов в русской истории. Гизо, министр просвещения, хотел предписать всем библиотекарям, чтобы они содействовали мне, а герцог Броглио обещал то же по архиву иностранных дел, и сегодня надеюсь видеть главного архивариуса, историка Минье, и архив его. Остальное утро или гуляю, или иду с визитами, то есть до обеда провожу утро часто у m-me Рекамье [1] с Шатобрианом, Баланшем и с другими авторами и людьми, учеными во всех родах; часто и у нашей С<вечиной>, которой общество по-прежнему занимательно. Иногда бываю в театрах: хотел видеть французский старый театр с новыми пиесами и с новыми актерами; но видел еще и m-lle Mars в новой пиесе,[2] а Лафона слышал у m-me Récamier, где он читал стихи на воздвижение в Реймсе памятника Корнелю.[3] Он уже сошел с театра и целый год не заглядывал в него. Возобновил знакомство с Ламартином и встречаю у него толпу молодых и старых авторов, вижу и у гр. Ш<увалова>. Вчера слышал славную оперу и видел в ней горящий и пылающий Везувий — «La muette de Portici».[4] Танцы прелестны. Юлия и Альберт в танцах,

а Nourrit и Damoreau в пении отличались. Французская музыка, однако ж, никогда мне не нравилась; оркестр превосходный. Раз присутствовал в Палате перов при осуждении тех, которые подписали, или не подписали, как оказалось, оскорбительное для Палаты письмо к журналистам. Грустно было видеть в числе шалунов, собранных в низшем классе народа, и священника Ламене, одного из самых красноречивых писателей Франции. Заседание это было для меня примечательно по импровизации одного подсудимого Пакета. — Но всего занимательнее для меня богослужение в двух так называемых французских церквах; в одной служит называющий себя примасом-архиепископом Шатель, учредитель этой церкви, и проповедует против римской церкви; в другой, отщепенившийся от его церкви, священник, им же поставленный, Auzou, который, не отвергая римской церкви, хочет только служить обедню не на латинском, а на французском языке.[5] Едва усидел я после обедни, которую он служил во всем священническом облачении, слушая его проповедь. Не было национальной слабости, порока, которого бы не похвалил в этой проповеди, двенадцать уже раз произнесенной, так называемый священник французской церкви. И церковь Шатель полна народу! более двух тысяч слушателей! У Auzou менее, но и та проповедь не лучше: явно антихристианская и политическая. Более женщин, чем мужчин, в обеих церквах и из самого простого народа. Всего жалче было видеть детей, девиц, слушающих не только вздор, но насмешки над нравственностию христианскою и похвалы пороку, во всех видах его, слабостям, веселью, танцам, пляскам, пьянству. И архиерей, не признающий Христа богом, в старинном архиерейском облачении, с посохом архиерейским. И какое стадо! Бабье толковало мне свой катехизис! Старухи более всего мне опротивели: их было легион. Пели свои церковные гимны по печатным книжкам! Везде натура и разум; напев из песен народных. И более двух тысяч в обширном подвале, с алтарем, украшенным бюстом Фенелона, картинами из жизни Спасителя и трехцветными знаменами. Посреди церкви два бюста — Иисуса Христа в терновом венке и Наполеона! Я купил все регламенты, катехизисы и проповеди сих двух церквей и упрекал уже *письменно* Баланша и Шатобриана за то, что они не восстают против сих осквернений святыни. Несмотря, однако ж, на все эти отвратительные явления, должно сказать, что церкви здесь никогда не были так полны молящимися; что везде, особливо в юношестве, возникает сильно чувство религии; книг множество самых глубоких по сей части; я уже прочел две прекрасные. В самое воспитание проникает везде учение Христово, и один священник написал превосходно: «Du Catholicisme — а для него католицизм христианство — dans l'éducation ou l'unique moyen de sauver la science et la société»,[6] все это приготовит иную генерацию для потомства, но — повторяю — и теперь уже более религии во Франции, чем когда-либо было здесь.

Рекамье как будто постарела; но душа в ней не стареет, и сердце горит любовию ко всему прекрасному. Она все в том же еще аббатстве, все

в той же комнате, где библиотека, кровать и шедевр Жерара.[7] Недавно в своих двух комнатках дала она нам вечеринку, где я нашел знаменитости Франции всякого рода: авторов, живописцев, экс-актеров, журналистов и старых аристократов; тут видел я Лерминье, Ste-Beuve, который печатал la brochure-monstre, Ламене, Ампера, который дал мне послание свое к отцу, актера Лафона с его живописцем — дочерью-красавицей. Он держится старой школы и важно, педантски судит романтическую. Опять заслушиваюсь и заглядываюсь в салонах St. Aulaire,[8] Broglio,[9] Guizot.[10] У двух последних вижу Тьера, Марк-Жирардена и министерских поклонников. Ламартина не хвалят за его расчетливую публикацию своего путешествия: 4-й том весь не его пера, а публика покупает Ламартина! В книге его много прелестных описаний, много энтузиазма к святыням христианства, но мало истории, искусства, статистики; а говоря о Греции, и эти три предмета не были бы прозою! Для него человечество дело не большое: «Dieu et la Nature: tout est dans ces mots». Он уехал весь и возвратился без дочери. Я не мог без досады читать стихов его на кончину дочери, вверенных, *проданных* книгопродавцу! Впрочем, Ламартин человек добрый, умный, просвещенный и религиозный.

Здесь нашел я и старого лондонского моего приятеля Маколе, полувекового друга и сотрудника Вильберфорсу, друга негров, который посвятил всю жизнь свою на их освобождение и имел утешение перед смертию, почти в последнюю минуту, видеть, что Англия жертвует 20 миллионов стерлингов, то есть 250 миллионов рублей, на вознаграждение помещиков за негров. — Он рассказал мне многое о последних минутах Вильберфорса. Умирая, он сказал: счастлив я, что народ английский смыл с себя это пятно. — Желание, цель всей его жизни достигнута им перед самою минутою бессмертия. Вильберфорс был всегда героем моего сердца, и я радовался всегда, видя портрет его в приемной князя Г<олицына>. Я еще слыхал его, когда он ораторствовал, уже согбенный дряхлостию, но красноречиво, в библейских, в миссионерских и в филантропических обществах всякого рода — в Лондоне. — И здесь Маколе хлопочет по делам христианской благости, и прислал мне свои брошюры, в Париже изданные. Его сын оратор, посланный в Индию, написал на корабле биографию Вильберфорса. Вот деятельность, которой завидую: она в тишине кабинета и каюты, но разливает тихий и благотворный свет на оба полукружия, на белых и черных. Кстати о полушариях земли: вчера водил меня академик и библиотекарь Жомар по географическому депо в здешней библиотеке и показал проект нового атласа Шуберта и первый атлас Российской империи, кажется, в 174... году изданный, с русским текстом. Тут же я видел редкие карты Китая; старинные чертежи Парижа; новое изобретение берлинца Куммера, en relief; шар земной, с двумя *слоями*: один для древней, другой для новой географии, изобретение Лудвига XVI для дофина, и познакомился с успехами лондонского и здешнего географического обществ. — Как ни весело встречать ученых и услужливых академиков, но все

жаль бессмертного Кювье и его субботных собраний, в которых соединялись ученые, литераторы, просвещенные бродяги со всех концов земли. Я еще не был у его вдовы, но видел уже прекрасный бюст его, поставленный в одном из углов новой залы института-академии, которой он был долго краеугольным камнем. Зала эта теперь обставлена только 4 бюстами (из них первый Кювье), двумя статуями учредителей и портретами славных мужей во всех родах. Я сидел перед Руссо, а надо мною носился дух законов — Монтескье.

Желал бы поговорить с вами о малых *театрах*, которые смешат меня. Я иногда захаживаю в них перед вечеринками Сен-Жерменского предместья. «Две кормилицы» видел я в новом для меня театре à Palais-Royal. — В серьезном роде видел только «Анжело» Гюго, где играла m-lle Mars и Дорваль. Я не воображал себе возможным романтизм на французском театре. — Талант гибкий и всепостигающий m-lle Mars скрывал недостатки Гюгова стихотворения; «Анжело ou tyran Padou» заслужил превеселую пародию: «Cornaro — Tyran, pas doux du tout»; в этой пиеске смеются без умолку, но я еще не успел собраться туда. Видел и «Чаттертона» [11] — сумасшедшего, влюбленного поэта на сцене, коего биографию я читал, кажется, в Бристоле, где и памятник ему.

Встретил пера Вильменя, когда он шел из Палаты, судившей адвокатов и его собрата-писателя Ламене! Прошелся с ним с полчаса и болтал о его истории Григория VII. Он сбирается скоро издать ее, но прежде издаст еще один том лекций своих. В печати он, и по его собственному, добродушно-гордому признанию, de la lave refroidie. — Это сущая правда, испытанная моим журналом. Между тем как часовая же лекция Кювье или Гизо занимает в нем пять, шесть страниц, для Вильменевой и полстраницы много; а пока слушаешь — восхищаешься, часто дрожишь от восторга и, кажется, все вспомнишь и перельешь на бумагу холодный кипяток Вильменя, но он разлетится в брызгах и только на минуту опьянит вас. — Жирарден, Ампер, Фориель (последний также имеет адъюнкта) звали на лекции; но не мог еще удосужиться. Еще только обменялся карточками с Талейраном и в чужом салоне видел непотухшие глаза светильника Дино! [12]

Вчера, поработав в отделении рукописей, сошел я в отделение Королевской библиотеки, где находятся древности этрусские, греческие и знаменитый зодиак и где один из библиотекарей, Рауль-Рошет, читает археологические лекции. Вчера он говорил о древностях вавилонских и, к немалому моему удивлению, очень основательно, ясно и иногда даже увлекательно. Публика многочисленна: даже дамы слушали профессора со вниманием, особливо когда он изъяснял характер вавилонской архитектуры, из самого св. писания известный. Величие вавилонских зданий поразило даже врагов Вавилона, писателей библейских и путешественников, какой например Геродот. Quand on lit l'Ecriture, l'idée du gigantesque se joint toujours au nom de Babylone, même dans les anathèmes des prophètes. Voyez

Jérémie. И все сии здания были из кирпича! Кирпичи покрыты и по сию пору, в некоторых остатках, надписями. Эти письмена, сокрытые от глаз народа, не характерическая ли эмблема всего хода или, лучше, всего *окаменения* тогдашнего просвещения? На обломках, хранящихся в лондонском музее, я видел краски, чрезвычайно свежие: это как будто бы одно тело. Рауль-Рошет показал нам персидскую печать, найденную в Марафоне.

На этой лекции встретил я графа Б<роглио>, мужа нашей московской графини, которого я встречал в прошедшем столетии на лекции П. И. Страхова, за семь лет пред этим — у Вильменя, Кювье, Гизо: где-то опять встретимся в будущем столетии?

Русских здесь мало. Из дипломатов видел только кн. М<ещерского> и гр. Ш<увалова>, занимающегося стихами и прозою и меценатством молодых писателей.[13]

Сейчас видел я Mignet-историка. Он теперь начальник Архива иностранных дел, и герцог Броглио, министр, уже говорил ему обо мне. Он обещал приготовить для меня дела и документы по сношениям Франции с Россией, и особенно в царствование Петра I: ибо у него только новейшие дела, начиная à peu près с Ришелье, которому Франция обязана первым устройством иностранного архива; только с Лудвига XIV велено и начали хранить в Государственном архиве акты: прежде дела разбирались по частным архивам и теми же самыми лицами, которые участвовали в тех делах. Я надеюсь найти в этих делах много неизвестного. Минье издает теперь, и первые два тома уже печатаются — о войне за наследство при Лудвиге XIV. — Он подарил мне отрывок, читанный им в Академии, о Лютере. Есть еще архив, зависящий от министра внутренних дел, надеюсь и туда проложить дорогу.

Вчера видел я на французском театре «Магомета» и «Нанину» Вольтера же. Первого играл хорошо Бовале и напоминал иногда Тальму, но слабо; но Элеонора в Пальмире более привлекала прелестным миленьким личиком, чем игрою; в глазах был огонь, но силы в последнем акте, в укоризнах злодею Магомету, менее было, чем искусства. В Нанине — нравилась одна Нанина, m-lle Plessy своею невинностью и красотой и Вольтер. Французский театр теперь magni nominis umbra; но все еще охотники до хорошего не оставляют его. Из театра прошелся по освещенным галереям и аллеям Пале-Ройаля. На другом конце его, в новом театре, давали 4 пиесы, и я мог бы еще застать две последние, но опасался заснуть в Понтинских болотах (les Marais Pontins), а вы знаете, что в них и дремать опасно.

Сегодня встретил Сент-Бева (Ste. Beuve) в библиотеке, он собирает там материалы для истории du Port-Royal, которую хочет украсить особенно философическими портретами тех, которые означили бытием своим характер 17 века. В портретах будет вся история, а богословие будет занимать в ней главное место. Из библиотеки зашел я к живописцу Горацию Верне, он живет в квартале славы и талантов — в соседстве

m-lle Mars, Арно, Тальма, Марета и др. Я застал его за работой: он пишет три картины вдруг и надеется кончить их к маю 1836 года, когда сбирается в Петербург. Одна из картин — Наполеон на Ваграмском побоище. Я осмотрел его рабочую. Портреты лучше исторических картин, а между портретами — Луизы, его милой и умной дочери, которая также вышла недавно за живописца Лароша. Я приходил наведываться о ее приезде: она на днях сюда будет и, надеюсь, привезет мне весть о семействе В<яземского>.

Заехал к Свечиной: там нашел m-me Récamier с другой приятельницей и с ними Баланша и Ампера; они пригласили меня с собой в Concert-Muzard, который обыкновенно бывает aux Champs-Elysées, а в сомнительную погоду Rue St. Honoré, в моем соседстве; но я дал слово Гизо быть у него, на его министерском рауте и, побывав у него, явился и в концерт, провел в милом обществе с час, болтал, слушая музыку; толпы сидели и бродили вокруг нас в огромной зале, где прежде Шатель служил свою безбожную обедню.

По утру, когда я еще хлопотал с Фроже и примеривал фрак его с шитьем на обшлагах, зашел ко мне английский филантроп Маколе, и я провел с ним наставительный для меня час. Он печатает здесь брошюру о *невольничестве* в колониях французских. Вообразите себе, что законы Лудвига XIV там не отменены и негры подвергаются часто ужасным истязаниям. Здесь этого не знают, а если некоторые и знают, то равнодушны к этому делу. Министр морских сил, от которого зависят колонии, сам из колонистов и имеет плантации в колониях...

Эолова Арфа.

X. ОТРЫВКИ ИЗ ЗАГРАНИЧНОЙ ПЕРЕПИСКИ

Лондон.

Здесь нечего делать для истории. Польза от пребывания в Англии только для моей головы, освежаемой ежедневно чтением, наблюдением, сближением с Лансдовном, Брумом (Brougham) и возобновлением тех впечатлений, которые за пять лет перед этим продолжительным пребыванием в Лондоне, в Англии и в Шотландии тогда было укоренились, но теперь начали уже изглаживаться в душе и характере. Мы иногда с тобой встречались в мыслях: ты советуешь собрать все дипломатические сношения с Россиею Франции и Англии, но что же другое делал я в Париже, в последнее время, как не рылся в архивах? Я видел все источники, заметил многие из 13 фолиантов, сделал *краткие* выписки; Петра I узнал коротко, несмотря на то что портреты его писаны не русскими. Но вот беда: дюк Брольи, президент министров и сам министр иностранных дел, по личной доверенности ко мне, позволил мне и предписал историку-архива-

риусу Минье давать мне все оригинальные дипломатические бумаги до времен Петра I; вероятно, не откажут и в следующих царствованиях, по крайней мере — *до новых времен*, где начинается государственная тайна и кончится история, возможная только для времен, давно прошедших. Я ходил туда *ежедневно* и читал более, нежели выписывал, хотя и выписок увез с собой довольно; но я могу быть историческим крохобором, сборником, указателем, выбирателем примечательнейшего, а не переписчиком, не только потому, что сил и времени не достанет, но и от того, что с некоторого времени, от простуды зимою в дороге и от римских жаров, мои глаза так испортились, что мелкое мне читать уже трудно, а ввечеру и невозможно, без сильного, вредного для глаз напряжения. Другого же, кроме меня, не пустят в архив. Я уже намекал о копиисте, но отклонили, потому что я работаю в одной из комнат архива вместе с другими, где лежат другие дела, кроме бумаг, мне доверяемых: как же требовать, хлопотать о сотруднике?

Маркиз Лансдовн, ныне председатель министерского совета и главный leader в теперешнем министерстве, всегда мне особенно благоприятствовал. Ты знаешь, что странный и не любивший его отец, известный своею расточительностию на книги и рукописи, дававший пристанище в Bowood (дача верст за 80 отсюда) всем славным людям его времени, особенно эмигрантам, каков Талейран в начале революции, и проч., продал при жизни своей всю свою библиотеку и редкое, единственное собрание рукописей в Британский музей (и срубил вековые деревья в своей даче, дабы ни то, ни другое не досталось сыну-наследнику), и эти рукописи и редкие книги и по сию пору составляют главное богатство в этом роде Музея британского. Король Георг III и парламент напечатали на счет казны огромный и многотомный каталог библиотеки и рукописям Лансдовна. Передо мною «Catalogue of the Lansdowns manuscripts in the British Museum. 1819, in folio».

Как скоро Лансдовн узнал, что я сюда приехал, то, несмотря на свои необъятые для обыкновенного ума теперешние занятия (теперь дело идет об устройстве муниципальном всех городов и местечек в Англии, где веками вкрались неимоверные злоупотребления), он пригласил меня поутру — поболтать с ним и тут же предложил мне свой каталог на все время моей здесь жизни. Со вчерашнего вечера я и просмотрел его; нашел множество бумаг, до России относящихся, выписал каждый номер и содержание его; но, сравнив эти оглавления с теми, которые я получил через Востокова из Румянцевского музея, увидел, что в 1817 году канцлер наш все это уже выписал отсюда, со многими другими русскими рукописями. Конечно, в лансдовнском каталоге нашел я номера, которых не вижу в румянцевском, но таких немного; может быть, и еще найдутся, ибо я намерен, при досуге, сам сходить в музей и сравнить выписки петербургские с каталогом Лансдовна и с самим оригиналом. — Сверх того, посол наш, гр. С<емен> Р<оманович> В<оронцов>, по желанию брата своего,

гр. А<лександра> Р<омановича>, списал здесь все дипломатические акты по сношениям России с Англиею. Я видел этот гигантский фолиант, в аршин, если не более, мелким письмом, у гр. М. С. В<оронцова>; поэтому и тут мне нечего делать в Лондоне. — Но так как я нашел в каталоге много бумаг, до торговли вообще и именно до Русской компании относящихся, то я просмотрю их и сличу с каталогом подобных бумаг у Румянцева.

Завтра, в 9 часов утра, я завтракаю с экс-канцлером Брумом, но о политике речи не будет; мы будем говорить о метафизике и о человеке вообще: он пишет теперь сочинения, где коснется всего человека; я обещал ему познакомить его с Шубертовой «Историей души».[1] У меня второе, т. е. последнее издание. В нем обо всем; о вселенной и кой еще о чем. Опишу вам после Брума, кабинет его, деятельность всеобъемлющую и талант всесокрушающий, но и на все действующий — день Брума был бы для иного бессмертием. В первый раз пришел я к нему в $9^{1}/_{2}$ часов утра; а в 4 только что кончились парламентские прения, в которых он главною опорою министерства. Здесь теперь все так заняты, что я более читаю и брожу по улицам Лондона и города, city, чем по гостям. Видел празднество Нельсоновой победы в Гриниче, и короля на яхте, по Темзе плывущего, окруженного на несколько миль тысячами лодок, кораблей, пароходов: прежняя Венеция и сочетание дожа с морем живо мне представилась в этом великолепном, единственном зрелище! Осматриваю книжные лавки и магазины всякого рода. Видел уже доки, в них отражается все торговое могущество Англии — возьми свою котомку и плыви во все части, во все уголки света, «где только ветры могут дуть!». О книгах после: много примечательного об истории, о религии и о педагогии.

Вчера осматривал я Британский музей, где хранятся рукописи лансдовнские, и получил позволение работать там от 10-го до 4 ежедневно. Музей с 1831 года, когда я в последний раз его видел, получил новые приращения как в самом здании, так в книгах, рукописях и особенно в древностях. Новая великолепная зала, сияющая бронзою, отделана для помещения многотомной библиотеки Георга IV. Несколько зал, хорошо освещенных, построены для египетских древностей и для нового помещения эльгинских и других мраморов греческих и римских. Это не Ватикан, и даже не Мюнхен, но много прекрасного и — *единственного*! К последней категории принадлежат мраморы, обломки статуй и барельефов, привезенных из Греции лордом Эльгином. Не быв еще в Италии, когда для меня, варвара-вандала, мрамор был только камнем, я в первый раз поражен был красотою и жизнью этих греческих, фидиасовых обломков: с тех пор ничто ни в Италии, ни в других музеях мне так живо жизнь не изображало! Я подошел прямо к обломку одной статуи, без головы, которую выдают за Ирису: она, говорят дочь Океана и бежит по мановению Юноны возвестить богам рождение Минервы. Она точно бежит, хотя и с обломанными ногами, и без головы: вы видите движение в платье и вы угадываете сквозь это платье движение ног! Я старался передать впечат-

ление этого искусства, этих красот одному молодому русскому, который знакомится с Англиею.

В новом здании кабинета натуральной истории вместе с портретами ученых испытателей природы — портреты и гении царственной мудрости: против Петра I Лудовик XIV, а подле них польский король Станислав Август и Карл XII. — Шекспир в костюме своего времени и во весь рост встречает вас в преддверии Музея британского, за ним сибирский медведь, а в центре всего здания обгорелая Великая хартия.

Из музея проехали мы в Лондонский университет, где теперь вакация. По рекомендации Брума меня везде выводили, снабдили 20 брошюрами о лекциях университетских и уставами. Несмотря на покровительство вигов, университет еще не процветает и с медицинскою школою имеет не более 800 студентов! По населению Лондона — это очень немного. Аристократ, сколько ни чувствует превосходства и пользы универсальности этого университета, все еще посылает детей своих туда, где учились отцы и деды их, — в Кембридж и Оксфорд, где образовались *Питты*. При университете устроена школа, род приготовительной гимназии, какая была при нашем Московском до преобразований в 1801 и далее до 1812 года. Это училище весьма полезно, необходимо, особливо в Лондоне, где мало такого рода заведений. Для медицинского факультета, перед самым огромным зданием университетским, гошпиталь для бедных, где медицинские студенты соединяют теорию с практикой.

Из университета проехали мы в другую часть города, в народное, приходское училище, устроенное по методе Беля, недавно умершего, которого я знал еще здесь в 1831 году. Учитель показал мне всю методу свою, экзаменовал мальчишек в евангелии, и я, как некогда в Эдинбурге, не мог нарадоваться успехами в добром, христианском учении и по прекрасной методе этого бедного класса детей. Они не только 7, 8, 9 и 10 лет хорошо читают и понимают евангелие, но объясняют слова, смысл его самым вразумительным образом, и ясно видно было, что они знакомы с св. писанием не только памятью, но и разумением: «им не мешают приходить» к тому, кто не ставит под спудом светильника.

Как вам описать завтрак у Брума? Я провел с ним полтора часа, и разговор самый интересный ни на минуту не прерывался. Тут был и молодой Тиводо, сын автора. Сначала, разумеется, разговор был о происшествиях Франции,[2] но я перевел его на литературу, и Брум перебрал многих и многое, говоря очень легко и свободно по-французски и оживляя мысли анекдотами и характеристикою авторов и людей, так называемых государственных. Говоря о г-же Сталь, которую он знавал в 1814 году в Лондоне, Брум сказал свое мнение о писателях в отношении только к слогу: Сталь, Шатобриана, «La Confession» de Rousseau и — угадайте? — достопамятнейший год в моей жизни Коцебу ставит он в категорию первых талантов по слогу! Я не мог не возразить ему, хотя надобно было удушить немца! Он знавал Сиеса и рассказал нам характе-

рические слова его. После июльской революции предлагали Сиесу быть членом нравственно-политического отделения института, которого он был прежде членом. «Но я был и пер Франции! — возразил он, — почему же не возвратить мне все?». И после, призадумавшись, прибавил: «Non, je ne suis plus bon à rien, je ne sais plus parler, — et je ne sais pas aussi me taire!». Очень много трунил Брум над новейшими знаменитостями Франции. Лафит, например, говоря с Брумом, сравнивал себя то с Фоксом, то с <пропуск>. Брум издал, и во всех окнах книжных лавок видите вы, книгу о естественной религии; она служит и комментарием на книгу, которая была основанием всей нравственной догматики в Англии Paley.[3] — Приметно, что Бруму хочется не одним названием канцлера напомнить собою Бакона. Бакон был выше Брума в сфере наук, но для народа, для масс Англии и для движения интеллектуального в *нижних* сферах — Брум едва ли не *выше* его?

В кабинете и в салоне его я нашел приятный беспорядок: и на столах и под столом книги, подносимые от авторов здешних и континентальных; но выбор собственных замечателен. Я заметил многие. В салоне, где мы завтракали, два или три бюста; портрет Вашингтона, подаренный ему его племянником, Брума уверял он, что это единственно сходный; Джефри, первого издателя «Edinbourgh Review» и наследника его, в должности of the Lord-Advocat of Scotland, Георгия Мурра, которому я обязан и знакомством Джефри и лучшими днями в Эдинбурге. Редкий хлебосол и умный шотландец! С ними и милая Гризи! «Вы, конечно, ее знаете, — сказал Брум, — и восхищались ею. Полюбуйтесь теперь хоть в портрете!» — «Comment déjeunez-vous, — спросил меня Брум, — certainement à la fourchette française?» — «Comme vous voudrez, — отвечал я. — Vous aurez une omelette», — и была яичница, только не глазунья! Чем-то угостит он меня завтра на академическом обеде?

Экс-министр Карла X Канель помешал мне сейчас фанфаронить с вами о Бруме, но я многое узнал и от этого выходца. Он был при Наполеоне префектом в Женеве и хлопотал за m-me Stahl, но без успеха. Он уговорил ее поподличать перед Наполеоном и обещать Наполеону талант свой в пользу его славы. Она написала из швейцарской ссылки письмо к грозному владыке, но в это время Шатобриан сказал свою речь в Институте, рассердил ею Наполеона, который в гневе своем смешал его фразы с гермафродическим талантом m-me Stahl и отвечал Канеле так, что тот едва не подал в отставку за обидный ответ ему на ходатайство за Сталь. Здесь вышла еще любопытная книга в 2 частях: биографические записки Sir James Makintosh, они вроде Босвелевых о Джонсоне. — Сын Макинтоша, лорд Голанд, Джефри, Сидней Смит и, наконец, сам Макинтош рассказывают жизнь его, его слова, его путешествия в Индии и в Париже, где он знавал все знаменитости своего времени; ум резкий и философический, начитанность немецкая, встреча со всей Европой и в разные эпохи, стычки с Бурком за французскую революцию и со всеми славными Тори,

наконец, сочинения его, *написанные, начатые и задуманные* — все это предмет его биографии. Анекдоты о его знакомстве и приятелях — m-me Stahl, Талейране, Лафайете и множестве других, с характеристикою каждого — вот богатая котомка для журнала! Джонсон в Босвеле интересен также разными и знаменитыми индивидуальностями, анекдотами, портретами лиц его века; но Джонсон — уже в истории, Джонсон лексикограф, хотя, как лексикон, и он всего коснулся в жизни и в книгах: Макинтош принадлежит нашему времени.[4]

Книга его заключает интерес современный. Я мало знаю людей, которые в такой высокой степени соединяли бы в себе разнородные цивилизации, немецкую, английскую и французскую, как Макинтош. Он ничего не оканчивал; он любил прежде всего пожить, но он сознавал в себе силу за все браться, и английская история была постоянною мыслию, если не постоянным занятием всей его жизни. От него осталось два тома и несколько отрывков об эпохе этой истории, которая занимала его особенно. Никто не изучивал средних веков так, как он, и если Галлам глубже знал политическую часть этого времени, то Макинтош лучше понимал часть литературную и философскую. Бывши сперва медиком и имев намерение ехать в Россию искать счастья, он с жаром занялся потом отцами церкви, и при первом моем его посещении, в первый день святой недели, в 1828 году, целые 4$^1/_2$ часа он и говорил только что об их заслугах в ученом и богословском отношениях. Я слышал потом речи его в защиту негров и о парламентской реформе. Мы были вместе у Галлама, где он спорил с Брумом о заслугах Бакона и сравнивал книгу Гершеля-сына с «Органоном».[5] Между ним и Мюллером есть заметное сходство в том, что оба они много предполагали, оба подавали самые основательные, обширные надежды, которых ни тот, ни другой не выполнили. Прочтите биографию молодости Мюллера в письмах его к Бонстетеню и сличите то, что он сделал, с тем, что он мог бы сделать: то же вы встретите в действительной жизни и в надеждах Макинтоша.

В воскресенье мы гуляли в Кенгштоновом и в Гайд-парках. Какая унылая великолепная прелесть! Я смотрел на эти тени в полях Елисейских, на красавиц неоживленных, на роскошь экипажей и на необозримость парков, на мрачный памятник Веллингтону и думал — о Пресненских прудах... Товарищ мой вторил мечтам моим чтением стихов гр. Р<остопчино>й. Право, не худо, по крайней мере она угадала мое сердце, в эту минуту тоскою по отчизне настроенное. Из парков поехали мы в Victoria-Road смотреть первый воздушный корабль, the first aerial ship называемый, и по праву, the Eagle — орел. На обширном дворе лежит одна половина, верхняя, надутого овала, во 160 футов длины, 50 вышины и 40 ширины. Он управляется поддельными крыльями, которыми опять управляют 17 воздушных матросов. Назначение его летать между Лондоном и Парижем; но он не начнет свою перелетную почту прежде, пока не испытает сил своих в окрестностях Лондона. Первый опыт его с Монмартра был не

весьма удачен. Француз, объяснявший мне систему его построения, был тогда одним из воздушных пассажиров, между ними была и дама. Что сказал бы Гораций об этом корабле? Мы осмотрели каюту для пассажиров; уже два охотника явились для нового опыта. По сторонам каюты для пассажиров — места для съестных и других припасов. Добрый путь! сказал я французу. Вы перемените систему мира общественного, образ вести войну, будете парить над городами, опускать на крепости и на армию огнь небесный. Куда поведет такое изобретение? — К миру, как и всякий успех в науках. — Дай бог! И «ветер» к великому средство.

Я четвертый раз в Англии, и в каждый мой приезд совершалась какая-нибудь великая перемена в государственном быту Англии: в 1825 году — test act, первый шаг к последующим общественным изменениям, в 1828 — эмансипация католиков; в 1831 — реформа, в 1835 — corporations-act. Это, конечно, не французские революции, но английские *эволюции*, одна из другой необходимо возникающие, без шума парламентского, без разрушения церквей и древностей, с разбитием только стекол у закоснелых тори, без кровопролития, кроме пролитой крови кулачными бойцами, которых нанимают кандидаты избрания в разных партиях: вот что делает неколебимость Англии.[6] Она привыкла к постепенному развитию и к исправлению своих государственных постановлений и привыкает к этому постепенному, законному ходу с каждым годом более и более. На днях были прения в парламенте о существенном изменении всего муниципального порядка во всем государстве — и на улицах тихо. По утру народ узнает *мысли вслух* своих правителей, судит их, бурлит в клобах и шинках и принимается за свое дело или дремлет за кружкою черного портера: все в порядке!

Париж.

Посылаю один экземпляр академических листов для «Наблюдателя» — в них многое и нам понравится, и другой экземпляр этих же листов оставляю до будущего случая для кн. В<яземского>. Поэзия не так замечательна, кроме стихов Биньяна, в честь Кювье. В них есть и промахи, например, на стр. 5.

Après le dur granit et le schiste cuivreux
Recèlent des poissons les squelettes pierreux.

И поэту непозволительно не знать, что в граните, находящемся в горах, так называемых *первобытных*, вместе с миром созданных, нет окаменелостей и что окаменелости — рыбы, растения и проч. — находятся только во второклассных, известковых горах, переворотами, изменениями земли созданных и вмещающих в себе разрушенные остатки из других царств природы. Ce ne sont que les montagnes *calcaires* qui sont les véritables musées du monde primitif, c. à d., anti-déluvien. — Гумбольдт, слушая эти стихи, заметил что-то и против первых начал астрономии. Впрочем, много и прекрасных стихов. В стихах Лебрена, в другой академии читанных — «Stro-

phes faites en mer», есть хорошие строфы; но это море несколько холодно. Лучшее во всех брошюрах — после подвигов благости и христианской добродетели, награжденных Монтионовым завещанием, речь Вильменя. Много блестящих выражений, фраз вильменевских. — Но, повторяю, хроника добродетели имеет какую-то особенную прелесть, и эта проза лучше всех стихов. К одному экземпляру приложил я и портрет Вильменя. В числе дюжины других портретов, посылаемых для И. С. Ар<жевитинова>, нет ни одного несходного. Я отобрал только les illustrations du jour, которых лично знаю. Двух портретов из полной коллекции не мог уже найти: Шатобриана и Ламене. Ламене раскуплен по поводу процесса-monstre и последней брошюры, т. е. предисловия к Боецию. Талант его, кажется, слабеет, нет прежней силы, прежнего убеждения, conviction; тексты, которые он приводит в своем 57-страничном предисловии из Боеция, гораздо красноречивее и сильнее простотою выражений всех его полемических выходок. — Литература богатеет *предисловиями*. На днях вышла первая часть биографических записок m-me Lebrun, — старухи-живописца, которая теперь в дряхлой руке своей держит и кисть и перо. M-me Récamier хвалила книгу ее comme rempli de bienveillance. Во второй части будет жизнь ее в России.[7] Сказывают, что много любопытных, хотя и неважных подробностей; как скоро эта часть выйдет, пришлю ее кн. А. Н. <Голицыну>: он должен помнить это время. — Забыл упомянуть и о «Mémoire de Bignon sur la conciliation progressive de la morale et de la politique». Ему хочется соединить законы строгой нравственности с управлением политическими делами в сношениях между государствами. Долгая дипломатическая деятельность не мешает ему быть мечтателем. И ему-то Наполеон, с Сент-Эленского утеса, завещал написать историю дипломатических сношений в последние 40 лет; но в этой диссертации он искал примеров более в древней истории и в средних веках, чем в новейшей. Биньон делается настоящим анти-Макиавелем в правилах своей христианской политики.

Эолова Арфа.

XI. ПАРИЖ

(ХРОНИКА РУССКОГО)

Не знаю, сберусь ли с силами написать к Б<улгакову>? Я так морально и интеллектуально охилел после шестинедельной простуды, что едва ноги таскаю, а в ногах и в пере вся моя умственная сила! Сколько бы должно было измарать страниц, чтобы передать вам быль и небылицы последних недель, но, право, сил нет! Едва в журнале отмечено виденное, слышанное, читанное! Фиески, балы, отставки министров, убавка процентов. Язык мой, враг мой, мог бы сказать и Броглию — к чему «Est-ce

clair?». Ce qui n'est clair dans tout cela, c'est que cette allocution peu aimable pour une Chambre si complaisante, a fait couler à fond le ministère. Я жалею доктринеров — где найти другого Guizot для просвещения? Он соединяет три элемента европейской цивилизации (четвертого нет, ибо славянский не в счету): французский, английский и германский (для итальянского он выписал сюда Росси). Вчера было воскресенье и день приемный эксминистров Гизо и Тьера; en courtisan de la chute ministérielle, я через силу отправился сперва к Гизо, потом к Тьеру; нашел салоны и прихожие, полные посетителей и посетительниц; академики, депутаты, перы, искатели фортуны, бадо,[1] дюки, генералы — все тут было, кроме дипломатического корпуса. Тех же и то же нашел я и у Тьера, где нас встречала прелестная, под стать мужу, миниатюрная жена его. Они еще не отставлены, но прошения поданы и приняты. Вестовщики разносят списки новым министрам. Угадывают Дюпена — первым министром юстиции. Другой брат председатель Академии, третий старшиною (Doyen) адвокатов, и все трое везде, даже на гробовой доске матери: ci-gît la mère des trois Dupin! (Недавно им за это досталось в суде от одного оскорбленного автора-адвоката). Почти все уверены, что министры возвратятся в свои дворцы, уверяют даже, что и очень скоро, но вряд ли? возврат их основан на неопытности преемников, коих политические мнения не разнствуют существенно от доктринеров; а так как король не возмет никого *с левой стороны* и не распустит теперешней камеры, то и трудно возобновить *то* же другими. Вчера Гизо, желая возвратиться к одной даме, которую оставил для того, чтобы встретить другую, сказал тому, кто занял между тем его место: «Permettez, Mr., c'est la seule place que je veux garder». И для моих трудов в архиве эта перемена не без хлопот. Я должен был еще и прежде кончить работу, но не без надежды идти далее 1742 года или по крайней мере кончить его. Теперь хотя Mignet и остается главным архивистом, но кто будет министром? Да и согласится ли Mignet допускать меня в архив? я и домогаться этого не буду. Они и без того едва не раскаиваются, что впустили козла в огород. — А сколько капусты! чем дальше в лес, тем больше дров! Лес вековый, но еще полный жизни исторической! все это прервалось в начале царствования Елисаветы Петровны и войны ее со Швециею!..

Я возвратился сейчас с последнего раута моего соседа эксминистра Броглио, где нашел тьму кромешную, т. е. дипломатов, депутатов, ротшильдов, чиновников, бальных знакомств и проч., и узнал почти наверное, что министерство устроится завтра (следовательно, и отъезд А‹ндрюши› может ускориться). От него узнаете столько же, сколько и из газет — политические дрязги, а я передам вам всё, что придет в голову из другой сферы здешней народной государственной жизни. С чего начать? с процесса Фиески? но вы знаете его подробно из журналов и даже все прикосновенные к нему обстоятельства; недостает вам портрета его и его товарищей — вот один лист в пяти лицах. Он, т. е. Фиески,

точно так отвратительно изуродован, как он видим в литографии; но не так старообраз, как в особом листе; над одним виском площадка обритая после ужасной раны, иногда пластырем прикрываемая. *Жизни полный* еще и по сю пору, фарсер, итальянский *браво*; но иногда не без примечательных движений в словах и в чувствах: например, один раз он точно поразил слушателей, сказав: «La mort, c'est ma maîtresse à présent». Но обыкновенно он рисуется, дает себе позиции и витийствует по-своему, хотя и не всегда натурально. Morey очень сходен, также и другой, особливо Pepin. Вероятно, решусь идти смотреть казнь их. Для Ч<аадаева> посылаю две статьи в «Gazette de France» о Боссюете. Они писаны бывшими издателями «Quotidienne» и с большим искусством. Куда меня бросило от Фиески? Но, право, что-то не пишется — чтение, по случаю болезни, отучило меня от пера. Кстати о чтении: недавно Ламартин присылал своего приятеля** читать отрывок из своей огромной поэмы С. П. С<вечи>ной — этот отрывок назван, кажется, «Jocelyn». С. П. <Свечина> уверяла меня, что она ничего лучшего в этом роде не читывала: tout y est poésie et vérité. Я слышал, что поэма дойдет до двадцати пяти тысяч стихов и что теперь уже более двенадцати тысяч! Даже и к нему меня не тянет; Шатобриана не видал уже более двух месяцев; редко заглядываю к Рекамье и к Баланшу и встречаю знаменитости только в *раутах* министерских и академических. Погрузился в историю — и недавно нашел в Раумере любопытную компиляцию, биографию императрицы Анны, Бартольда. Именно та эпоха, для которой собрано у меня множество архивских материалов. Много и в печатной статье исторических подробностей; но мои драгоценнее et plus authentiques. Но Бартольд исказил исторические факты своим гнусным умничаньем. За Рейном уж так не пишут, а за морем и подавно! [2] Я бы не огорчился нимало отставкой Тьера и Гизо, если б она привела их к отставной их любовнице — истории; но вряд ли? Они останутся людьми политическими и возвратятся скорее снова к портфелям, нежели к перу. Спасибо, что вы хоть по субботам мои письма читаете, и жалею, что не знал об этом прежде, т. е. тогда, как писал охотно и обо всем. Я не видал еще ни одного нумера «Московского наблюдателя». Я думал, что он подобьет меня или мою письмо-охотливость; но не тут-то было! Мои венские, итальянские и парижские письма, трепетавшие тогдашними новинками, устарели и отцвели. Недавно была у нас на вечеринке вдова Бенжамена Констана, урожденная Гарденберг, племянница князя министра. Умная и образованная женщина, принимающая живое участие в серьезной французско-немецкой литературе и даже присутствующая на шарлатанских лекциях Лерминье. Она долго о нем со мною рассуждала, и, кажется, мне удалось едва ли не разочаровать ее насчет болтуна — философа-профессора, который не выехал еще из Египта в истории о народном праве! Другая девица, лет 19 англичанка, Мезофанти в юбке; знает очень хорошо восемь языков и выучилась по-русски, так что всех вас читать может. И собой не дурна, жаль только, что учи-

лась русской грамоте и литературе у **. Я обещал ей книг, но и за ней волочиться некогда! Вообразите, до какого самоотвержения дошло мое историческое крохоборство! Торопясь кончить 43-й фолиант архивский, я не пошел в Академию на прием Скриба, коего так умно отпел Вильмень. Ни в одном куплете, ни в одной песенке комико-водевилиста нет столько чистого, критического остроумия, сколько в похвалах-критиках бессменного секретаря Академии. Эта новизна останется примерною, и впредь не все хвалить будут в приемных приветствиях; пора и критике воцариться на ришельевском трибунале! — Я возил Л<азаре>ва на последний блестящий бал Броглио, где была вся знать, вся дипломатика, весь *люд нужный, должностный* и красавицы со всех концов Европы и из нашей Митавы.

10 февраля. Так как ты академические тетради называешь *тряпьем*, то я и не посылаю их ни тебе, ни в Москву; советую, однако ж, прочесть посылаемые мною Ар<жевитинову> о Cuvier, о Шаптале, о Т. Юнге — и даже Карла Дюпена об успехах математических наук. Если достану Скриба и Вильменя, то пришлю и для тебя. Но как же европейскому журналисту или даже и не журналисту обойтись без этих указателей хода наук и просвещения вообще? Я совсем не охотник до наук точных, а еще менее знаток в оных, но по необходимости должен изредка заглядывать в Академию по понедельникам для того, чтоб быть au courant главных открытий, даже попыток в том, что делается *немногими* для всех и каждого? Иначе взгляд на мир нравственный, на мир интеллектуальный и даже политический будет не верен.[3] Энциклопедический взгляд не мешает *специальности*, и с тех пор, как я справляюсь об успехах машин и о газе, я лучше сужу о Лудвиге XIV и о Петре Великом. В науках нравственно-политических соображений сего рода справка с другими сестрами-науками еще нужнее, почти необходима, например в политической экономии, в финансах. Впрочем, и здесь депутаты накануне ораторства твердят правила, кои должны руководствовать их в управлении государственной финансовой машины. Промахи дорого им сто́ят, и не одни министры падают, но с ними иногда и кредит государственный![4]

Кстати о науках и о гигантском ходе просвещения: миниатюрное доказательство оному прилагаемый у сего «Annuaire du bureau des longitudes» на этот год, где статьи Араго ставят это ежегодное астрономическое явление наряду, если не выше, с Лихтенберговым <геттингенским> альманахом, где физик-горбушка Лихтенберг, комментатор Гогарда, помещал свои открытия в физике и астрономии, и с Шубертовым петербургским немецким календарем, где наш астроном и классический писатель знакомит Россию с науками и с небом. В «Аннюэре» статья о египетских иероглифах (стр. 238), прекрасная и для нас понятная. По таким книжкам можно, впрочем, судить более об академиях, нежели о народном просвещении. Прочтите Араго о Т. Юнге; нигде с таким искусством не соединяет он науки с биографией: отличительное качество его похвальных речей

в Академии. Fontenelle, Cuvier, Араго, каждый в этом роде имел что-то особенное, и каждый сделался классическим в этом роде.

Полночь. Преодолев лень, провел приятный вечер у нашей знакомой, которая повторила мне свое мнение о поэме Ламартина и обрадовала надеждою, что в течение месяца часть оной выйдет. Стихи (всего восемьсот), кои она слышала, — под заглавием «Les laboureurs, c'est la destinée de l'homme sur la terre et dans le ciel». Отделение поэмы, к коему эта глава принадлежит, из восьми тысяч пятисот стихов. Оно уже кончено. Сей поэмы написано уже до двадцати пяти тысяч стихов. Она не охотница до Ламартина, вероятно, с тех пор, как магометанство ему так понравилось; но эти стихи хвалит с необыкновенным восхищением. «C'est biblique». Тут нашел я и дюшессу St. Simon, которая издала 21 волюм записок предка своего мужа[5] и теперь в процессе с двумя книгопродавцами за второе издание, которое будет дешевле, если выйдет. Она хлопотала, чтобы ей выдали остальные, никогда не печатанные записки предка, хранящиеся в архиве иностранных дел, но ей отказали, хотя право правительства основано на произвольном lettre de cachet, вследствие коего отобраны сии рукописи во время оно. Сверх того, дед дюка С.-Симона, писавшего записки, также написал свои записки, в коих также много любопытного, и Гизо вытребовал их из архива. Она и об этой рукописи хлопотала, но и в этом отказали. Хотелось бы еще покомерировать с вами о прежних министрах, о кандидатах их, о Берье и Дюпене, но сон клонит, и еще не возвратилась письмо-охотливость, хотя и сегодня написал уже пять писем и, как видите, не кратких.

11 февраля. Сейчас прислали мне два экземпляра речей Вильменя и Скриба: более достать не мог, ибо они продаются только с разрешения Академии, а напечатанные в журналах вряд ли так полны, как академические.

12 февраля, полночь. Все еще министерство не составлено, и начинают поговаривать для иностранного о Сент-Олере, который послом в Вене. Для меня было бы это очень выгодно, и я снова мог бы надеяться попасть в архив. On prête un mot à Humann sur la loi financière, qu'on a transformée en loi politique: «C'est bien mon enfant», — сказал он, — mais on l'a changé en nourrice». Уверяют, что сегодня адвокаты в деле Фиески были превосходны. Ségur-Lamoignon обещал мне или на завтра, или на послезавтра, (т. е., вероятно, на последнее заседание) билет. Фиесковы литографии продаются дорогою ценою: уверяют, что он завещал вырученную сумму в пользу Нины Ласав. Я провел вечер с Баланшом, Карне (автором «Considérations sur l'histoire contemporaine» etc. etc.). Первый рекомендовал мне для тебя Musset, «Confession d'un enfant du siècle»,[6] но если эти два тома послать, то нельзя будет послать Кине и проч.

Я давал С. П. С<вечи>ной читать Минье предисловие к испанской войне — она чрезвычайно хвалит его и не ожидала такого взгляда на историю и такой методы, какую нашла в новом труде его. Теперь читает

она Вильменя предисловие к Лексикону и ставит его выше всех других мелких его сочинений.

Я нашел здесь у одного собирателя рукописей собрание писем одного француза-шпиона, полковника драгунского Valcroissant, коего Шуазель в 1780—1782 годах послал в Царьград помогать тайно туркам и полякам (во время Барской конфедерации) против нас. По беглому обозрению я заметил, что это его переписка с послом французским в Турции графом Сен-При из турецкой армии, с воинскими подробностями; но не могу оценить степени исторической важности этих бумаг. Предписание Шуазеля шпиону оригинальное за его подписью: он предписывает ему скрывать от русских цель данного ему поручения. Важен факт, что Франция подбивала и помогала туркам и полякам, будучи в дружбе с нами; но факт этот мы знаем. Подробностей войны и сшибок с турками также много. У него же купил я, вероятно, оригинальную рукопись о Петре, Екатерине I, Меншикове и проч., другая копия хранится в Королевской библиотеке и мною переписана.

О Фиески: [7] уверяют, что по всей дороге от тюрьмы до места казни ни одного окна нет не занятого; а что увидит это кровавое любопытство? — одну фуру закрытую, фуру с преступником или с преступниками, ибо с недавнего времени возят к гильотине, уже не показывая жертв правосудия.

2/14 февраля, воскресенье. Разлученный с архивом вчера провел день по-прежнему: прочитав журналы, отправился в камеру перов, но мой билет был на 16-е заседание, т. е. на сегодня, а вчера было 15-е в деле Фиески, и я возвратился в Rue Tournon, осмотрел литературные новости, у Ренуара встретил <Киселеву> и <Мейендорфшу>. Они возвращались от дюшессы Деказ, живущей в самом Люксембурге: она показывала сквозь потаенное отверстие камеру и подсудимых (дам в камеру перов не пускают). Она уверяла их, что сегодня уже не будет открытого для публики заседания, что перы хотят непременно кончить суд, хотя бы заседание должно было продолжаться за полночь, что референдарий и обед для них заготовил: следовательно, мой билет был для меня бесполезен. Поболтав с М<ейендорфшей>, пошел разносить карточки и себя по Сенжерменскому предместью; поболтать у Мортемарши; она пользуется правом, тобою ей данным, и *медленно спешит* отвечать тебе.

От нее к m-me Récamier, в которой нашел ужасную перемену, продолжительным нездоровьем произведенную; но мила по-прежнему, и я подосадовал на самого себя или на свои архивские хлопоты, что так долго лишал себя этой беседы. Шатобриан, говоря о Франции, о теперешних обстоятельствах и проч., оживился каким-то необыкновенным жаром: тут был Баланш, всегда остроумный и *откровенный* наблюдатель, Beaumont, сотрудник Токевиля, Chateauvieux, писатель женевский и секретарь Государственного совета, который привез нам свежие вести из камеры депутатов о возможности сложения старого министерства на новый лад. Пре-

ния наши начались о политических партиях, о влиянии оных на салоны и на все общество парижское; вспоминали давно прошедшее. M-me Récamier рассказала как *в старину* встречались у нее бареры с роялистами и не расстроивали салона, что даже и в мое время, в ресторацию, люди различных партий и совершенно противоположных мыслей, Mathieu Montmorancy с издателями «Constitutionel» и т. п., сходились у ней и у того же камина любезничали и грелись, но что теперь этого сближения лиц, без сближения мыслей, нет уже более, что она часто в большом затруднении от встреч разнородных, хотя и одного и того же класса общества: именно сие разномыслие в *том* же классе и причиной большего, хотя и не сильного ожесточения. Шатобриан прекрасною фразою резюмировал ее замечание. Но я заспал форму оной, ибо вчера записать не успел: Les Royalistes se rencontraient avec d'autres partis; maintenant ils se rencontrent avec eux-mêmes, но в разных оттенках, и ожесточение сильнее. Удивлялись энтузиазму Ламартина к Фиески: он бывает почти на каждом заседании камеры перов. Тем лучше: впечатления суда и фанфаронства злодея передает он в стихах сильных, и поэзия найдет если не новые образы, то новые наблюдения в психологии. Я проболтал до 6-го часа у *милой* par excellence, и от Фиески перешли мы к сен-симонистам, к немецкой философии и проч. и проч. Поутру звала меня на приятельский обед Thécla<Шувалова>, en s'excusant de la tardive invitation, я отвечал, qu'en poésie, comme en fait de bon dîner, le tems ne faisoit rien à l'affaire, и явился. Туда принесли нам и вечернюю газету с известием, que «la séance a été levée pour être reprise demain dimanche à une heure». Фиески не успел говорить в последний раз; последнее слово еще не вымолвлено, и я, отзавтракав поранее и пробежав колонны «Курьера», в 11-м часу буду уже в камере перов...

Кончил вечер на бале у m-me Ancelot; субботнюю вечеринку на масленице превращает она в бал, где толпа всякой всячины, со всех концов Парижа, всех мнений и всех академий и проч., в комнате двухоконной толкалась в кадриле; но потолковав с Монмерке об Историческом бюллетене и о рукописях о России, с Мериме о литературных новинках, в полночь я был уже в постели с двором Людвига XIV, который все еще царствует, кажется, кое-где в закоулках Сен-Жерменского предместья. Но пора в камеру — оттуда, если участь Фиески и процесса кончится до 7 часов вечера, отправлюсь на фамильный обед к гр. Шленкур (Шувал<овой>), если нет, то останусь до самого нельзя. Турецкий посол дает обеды и льет шампанское; вчера угощал он здешних ученых; само собою разумеется, что ориенталист Sylvestre de Sacy был одним из почетных гостей его. Досада на тех, кои вторят еще с Вольтером: «C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière», — заставляет журналистов превозносить цареградского мецената.

3/15 февраля. Кое-как добрел я домой, встречая маски и блестящие экипажи, кои провожали масленицу. Народное веселье меня как-то потревожило. Но скоро заболтался и я за обедом с поэтом Gans, который в са-

ратовских степях у Скорятиных написал два волюма стихов, между коими и поэма «Моисей». Кажется, в стихах есть и поэзия. Тут же был и издатель записок du Duc de Crequy. Кончил вечер у С<вечи>ной, и, точно, хотелось *отвести с ней душу* и поверить впечатления, полученные поутру.

Ганс, учитель Скорятиных, читал нам вчера из одного своего волюма перевод «Цыганов»; кажется, очень верно и удачно переведено.

16 февраля. Вчера расплатился я с писцами в архиве — и унес из моей каморки все мои бумаги! На моем столе работает уже Bignon! Вы скорее прочтете, вероятно, его умную компиляцию, нежели мои голые выписки; но для русских мои вряд ли не любопытнее?

Между тем сияет весеннее солнце; народ толпится на всех улицах: я встретил *жирного быка*, le boeuf gras (в 3000 пудов), покрытого бархатно-атласным покрывалом и погремушками, в сопровождении музыки, паясов, жандармов и франкониевой кавалерии: шумно и как будто весело, а воображению чудится Фиески босый и под черным покровом и вдали три головы на воздухе! Досадно, что эта кровавая площадь в соседстве Père Lachaise (кладбище): там иного рода воспоминания, там грусть и печаль без ужасов; иду толкаться в толпах народа: авось встретим — быка! Может быть, ввечеру в маскерад — к Мюсару; но вряд ли? В салоне С<вечи>ной приятнее, и в моем кабинете тише и даже забавнее, ибо Сен-Симон рассказывает мне важно важные пустяки двора важного Лудвига XIV.

17 февраля. Вчера был последний день здешней масленицы и первый — парижской весны. Солнце блистало. Я встретил *жирного быка*, коего угощал один мясник вином, перед лавкой своей, увешанной говядиной и гирляндами. Оттуда гость с шумными своими провожатыми отправился с визитами к королю, министрам и по Сен-Жерменскому предместью, где в некоторых старинных домах никогда не отказывают ему в угощении. Везде дарили и деньгами Амура, который сходил для принятия даров с колесницы своей. В три часа я отправился бродить по булеварам, где экипажи тянулись в два ряда (ливрейные имеют право занимать, с масками, средину). Толпы теснились по обеим сторонам булевара. Окна унизаны были зрителями и шляпками. Маски, фуры и коляски с разноцветными костюмами, кавалькады тянулись от храма Магдалины до Бастилии. Полиции мало, порядок сохранялся сам собою, почти как в Риме на святой неделе, где во все время не случилось ни одного несчастия и где еще теснее булеварной масленицы. Одна из многолюднейших фур с масками заехала к Тортони; из окон началась с толпою перестрелка букетами, конфектами, апельсинами; Тортони затворил ставни. Мы прогуляли до 5 часов. Ввечеру маски разъезжали с факелами. Я отказался от Мюсара и провел вечер в чтении Токевиля о *демократии* (в Америке). Талейран называет его книгу умнейшею и примечательнейшею книгою нашего времени, а он знает и Америку, и сам аристократ, так, как и Токевиль, которого все связи с Сен-Жерменским предместьем.[8] Вы согласитесь с заклю-

чением автора. «On remarque aujourd'hui moins de différence entre les Européens et les descendans du nouveau monde, malgré l'océan qui les divise, qu'entre certaines villes du treizième siècle qui n'étaient séparées que par une rivière. Si ce mouvement d'assimilation rapproche des peuples étrangers, à plus forte raison il s'oppose à ce que les rejetons du même peuple deviennent étrangers les uns aux autres» и т. д. Автор кончил сближением двух противоположных народов — русских и англо-американцев: «Leur point de départ est différent, leurs voies sont diverses; néanmoins chacun d'eux semble appelé par un dessein secret de la Providence à tenir un jour dans ses mains les destinées de la moitié du monde».

Вчера сияло солнце и грела нас весна: сегодня пост и пошел снег. На улицах кое-где запоздалые провожают масленицу. Кухарка наша возвратилась с балу в 6 часов утра.

Без масленицы не узнаешь вполне Парижа. Нигде нет такой суматохи: все пляшут, почти в каждом доме бал, по крайней мере в известных кварталах. Работница à 25 sols par jour, несет последний франк на бал и в нарядную лавку. Пьяных меньше, но веселых более. Уверяют, что никогда еще такой свалки экипажей и пешеходов не бывало на гуляньях и в маскерадах. Начнутся проповеди в Notre-Dame и в главных церквах, но посетителей будет более из высшего класса. В воскресенье в Notre-Dame начнет свои поучения Лакордер, экс-сотрудник Ламене. Надобно заранее запастись местом, иначе не услышишь его. Постараюсь не пропустить ни одной проповеди. Есть и другие духовные ораторы, но менее блистательные.

Я видел сейчас в мастерской m-me Lefranc, племянницы m-me Lebrun, сходный портрет Жанена и актрисы Volny (т. е. Leontine Fay) в роли еврейки, когда она пишет роковое письмо. Сходства много; отделка золотом шитого белого платья прекрасная, и в портрете бледная белизна оригинала. Не могу привыкнуть ни к здешним выставкам, ни к здешним картинным галереям после итальянских.

Полночь. Старец Буонаротти (потомок Микеланджело) обедал у нас. Он живая хроника последнего полувека;[9] вот вкратце жизнь его. Он был в молодости другом тосканскаго преобразователя Леопольда и до революции еще, оставив отечество, приехал во Францию. Здесь обольстили его первые идеи революции: он написал к Леопольду, отсылая ему Тосканский орден его, что он душою и помышлением принадлежит тогдашней Франции и не может ужиться в отечестве. С тех пор действовал он в сфере, в которой кружилась тогда Франция; директория посадила его в тюрьму. Наполеон его не освободил, но во все время его владычества он жил или по тюрьмам, или по городам, под присмотром, где застал его и 1814-й год. В заговоре, Бабефом описанном, его едва не повесили. После 1814 года он скитался в бедности, жил трудами и не принимал помощи ни от богатого сына, в Сиене живущего, ни от приятелей: теперь Voyer d'Argenson дает ему конурку, где он философом доживает век, один,

с воспоминаниями. Дряхлая жена в бедности в Женеве. Он характеризирует многих прекрасно и рассказывает подробности о происшествиях и лицах, не многим известных. В молодости и после коротко знавал Наполеона; в Корсике жил в доме его матери, и, когда Наполеон приезжал повидаться с нею, то в последнюю ночь, которую подпоручик Буонапарте провел в доме родительском, Буонаротти спал с ним на одной постели. С тех пор они иногда ссорились, но никогда не мирились. Буонапарте попал на трон, Буонаротти в тюрьму.

Я надеялся видеть m-lle Mars в «Mariage de Figaro» и пошел во Французский театр, но обманулся; давали «Marino Faliero», которого видал не раз. Я зашел в театр du palais Royal и из четырех пьес видел две с половиною. «L'Aumônier du Régiment» очень забавен: он на сцене сперва в своем костюме, но после в егерском! Поет, любезничает и спасает честь своего брата, забываясь, иногда делает пастырские увещания. Другая пьеса «Les chansons de Desaugiers» очень забавна: все его песни в лицах и он сам на сцене. Во втором акте олицетворена песня «Souvenez-vous-en!», в третьем — сцена с живописцем и с его моделью. Все знакомое, но все оживлено действием. Лафонтеновский характер Дезожье изображен в анекдотах его жизни и в песнях его, коими он выкупал из тюрьмы, давал приданое. Скриб называет его: «Le premier chansonnier peut-être de tous les tems. qui faisoit des chansons, comme Lafontaine faisoit des fables». В последнем акте не забыт и Béranger.

Все мои письма отсылайте к ‹А. И. Нефедьевой›, я их пишу более для себя, чем для вас.

18 февраля. Министерство все еще не сложилось: уверяют, что Монтебелло, мой приятель, которого и Ж‹уковский› знает, воспитанник Кузена, будет министром просвещения. Лучше бы ему оставаться послом в Берне! Вернее.

Стезя величия к *отставке* нас ведет.

Я разбираю теперь собранные мною в двух архивах сокровища и привожу их в порядок: бумаги иностранного архива по хронологическому порядку, а другие по материям. Начальство архива, вероятно, с ведома министра, пересмотрев все мои бумаги, кроме тех, кои я сам переписал, вынуло несколько листов, кои почитает неприличным для сообщения в чужие руки, но некоторые из сих бумаг известны мне по содержанию, другие я сам переписал в свои тетради, и, следовательно, потеря почти ничтожная. Существенный труд будет состоять в переписке и в приведении в порядок моих собственноручных отметок, ибо часто я отмечал наскоро, по-русски и по-французски, смотря по удобности; но всегда с педантическою точностию. Конечно, много и неважного, но большая часть существенно принадлежит истории, для нее необходима. Все списки на большой бумаге, самой огромной величины, какую я найти мог; писано довольно мелко — и, конечно, более двухсот листов, а если считать все переписанное, то дойдет и до четырехсот. Сверх того, есть и другие акты.

Окончательный труд будет в Москве, на досуге и, если позволят, с помощию Московского архива и его чиновников.

Б. М. Ф<едоров> издал еще какой-то сборник: если в нем есть что-либо из моего архива, например о Карамзине и проч., то не худо бы прислать его ко мне, с журналом, который так исправно посылает почтенный и любезный С<ербинович>. Обоим кланяюсь всем сердцем.

Я возвратился сейчас от братьев-сиамцев — les jumeaux-Siamois — и жалею, что прежде не побывал у них, когда еще статья, напечатанная в журнале «Дебатов», не выпарилась из головы моей. Я ожидал найти двух сросшихся уродов, но нашел двух хорошо и опрятно одетых мальчиков двадцати четырех лет, хотя по росту и лицу им этих лет и нельзя дать; куртка, панталоны; белье с модными запонками. Черноволосые и сбиваются на китайские или калмыцкие физиономии; довольно смуглые. Они встретили меня английским приветом и подошли ко мне; я взял их за руки, но, признаюсь, долго не мог решиться пристально смотреть на кожаный, живой рукав, который на половине бока связывает тела их.

Я не физиолог и не обязан делать наблюдения над печальною игрою природы. Mr. Bolot (professeur de langues et d'éloquence pratique), служащий им дядькою и объяснителем для публики, рассказывал нам свои наблюдения, уверяя, что в психологическом отношении это явление труднее объяснить, чем в физиологическом. Они любят друг друга *братски;* с самого младенчества привычки, пища и сон — все было им общее, они просыпаются и засыпают в один момент; принимают одну и ту же пищу и в одно время; вкусы их одинаковы, как физические так и интеллектуальные, в одно время развернулись их способности, зажглась в них искра божества — ум. Они оба любят лучше читать поэтов, чем прозаиков, — Шекспира, Байрона. Выучились языкам — английскому и французскому, с одинаковым успехом. Последнему недавно начали учиться и уже понимают много и кое-как говорят. Сверх того, они знают по-китайски и по-сиамски: языки сии, как уверял меня mr. Bolot, совершенно различны, хотя народы, ими говорящие, и соседы. Они почти всегда веселы и во взаимной любви находят источник наслаждений. Странно было видеть их в ходьбе или в разговоре друг с другом, садятся, встают в один момент, как будто повинуясь единственному движению невидимой воли. К родителям пишут всегда заодно, говоря: *я*, а не *мы*, хотя это *я* и к обоим относится. Желают, собрав капитал достаточной, возвратиться восвояси и спешат выехать из Парижа, ибо, странное дело! здесь они менее всего, судя по пропорции многолюдства, собрали денег, чем в других городах. Не удивительно! До них ли? Здесь и Ласенер, и Фиески, и камеры — и смена министров, и булевары, и вечно полные театры! Да и кто здесь делал над ними наблюдения? Но физиологи часто являлись. Geoffroy de St. Hilaire, Flourens, Cuvier уже нет! Но по части психологии? Учитель риторики! Из разговора его заметил я, что он не имеет первых начал науки о душе и о связи ее с телом! Вообразите себе Блуменбаха или

Крейсига — и предоставьте сию двойчатку Шуберту, под высшим надзором друга и наставника его Шеллинга. Какими результатами обогатили бы они, каждый по своей части, науку о человеке! Афишка даст вам слабое понятие о их наружности. Если удосужусь, то еще раз побываю у них и постараюсь предупредить толпу, дабы наедине побеседовать с ними. Вечер провел я в трех русских салонах; поболтал о матушке Москве; поспорил с издателем de la France, Делилем, о нравственном состоянии Франции и пролюбезничал за полночь с нашими дамами: М<ейендорфшей>, К<иселевой>, Ш<уваловой> и проч. Там узнал я, что в 8 часов утра на другой день совершится казнь трех преступников; но принужден был дать слово дамам нейти туда — и сдержал его.

19 февраля. Она совершилась, и я там не был. Пепен ничего не открыл нового о других, но более еще обвинил себя. Журналисты оппозиций восстают за то, что его жену допускали менее и на кратчайший срок к нему, чем Нину к Фиески. Но пора развеселить вас *цветами Луизы* Colet (née Pérvil). Я нашел их вчера в окне книгопродавца «Fleurs du midi», poësie par Louise Colet, и вспомнил, что мне, кажется, когда-то о них говаривал Шатобриан, коего именем, то есть похвалою, желала она украсить заглавие своей книжки. Шатобриан отказал, но так, что и отказ служит ей комплиментом. Два письма его напечатаны в предисловии. В них, кроме комплиментов, есть что-то похожее и на глубокое чувство, и почти на мысль: «Permettez-moi, toutefois, de Vous dire, avec ma vieille expérience, que Vous louez beaucoup trop le malheur; la peine ignorée vous a dicté des stances pleines de charme et de mélancolie; la douleur connue n'inspire pas si bien. Ne dites plus: Laissez les jours de joie à des mortels obscurs» (Tourmens du Poète p. 10).

«Il faut maintenant prier pour Vous-même, Madame, quant à moi, je demande au ciel qu'il ne sépare jamais pour Vous le bonheur de la gloire».

Я, кажется, вам писал о кандидатстве Моле в Академии, на вакансию Лене. Il y avoit hier trois concurrens, Molé, Hugo et Dupaty. Mr. Molé qui saisissait déjà la présidence — n'est *pas même Académicien*; c'est Dupaty qui a obtenu la majorité. On dit que ce sont les Académiciens du tiers parti qui n'ont pas voulu de lui, en disant: «Il n'a pas voulu de nous pour collègues, nous ne pouvions pas vouloir de lui pour confrère». J'en suis d'autant plus fâché pour Ballanche, car ceux qui lui ont conseillé de ne pas se mettre sur les rangs, ne l'ont fait que dans l'espoir de faire entrer Mr Molé. Je n'ai pas pu encore me procurer son ouvrage des années 1806 et 1809. On dit qu'il y est le Platon de l'absolutisme.

19 февраля. Вечер. Сегодня обедал я у легитимистов и с легитимистками и кончил вечер у полурусских с русскими. Сообщу вам четверной каламбур: «Pour être aimé de son peuple il faut au Roi des Grecs quatre choses: coton, soie, fil et laine» (Qu'Othon soit philhellène).

Поутру осматривал бронзовый surtout, который посол наш заказал за сорок тысяч франков dans le goût de la Renaissance первому бронзовому

мастеру в Париже. Журналы расхвалили его, и богачи съезжаются в магазин любоваться. Послезавтра увидит его и король. В самом деле отделка прекрасная. Тут же и бронзово-малахитовый храм, сделанный по заказу Д<емидо>ва для одного из дворцов в С.-Петербурге.

В генварской книжке этого года «London Review» несколько превосходных статей, в числе литературных — о лекциях Гизо и о новой книге Гюго «Les chants du Crépuscule». Описав наружность и характер и всю жизнь Гюго, он разбирает его как поэта и, кажется, довольно беспристрастно; прекрасная характеристика Байрона и Beranger и опять Гюго. Кончил предвещанием близкой литературной кончины Гюго. Но мне недосуг выписывать именно те суждения, с коими хотелось вас познакомить и кои так беспристрастно, с английским практическим взглядом на поэзию и на поэтов, изложены. В конце разбор сочинения Гюго. Как ни говори, а все он имел более права занять место в Академии, чем Дюпати, почти забытый водевилист, коему Скриб проложил туда дорогу. Если бы в Академии шло дело об одних талантах, то лирик Гюго, конечно, может быть соседом Ламартина и проч. Но там, по завещанию Монтьона, раздают призы скромной добродетели: согласится ли юная дева принять венец из рук того, о коем можно бы сказать: «Мать дочери *претит* стихи его читать!».

Скажут, что Академия не церковь, что там не проповедуют и что певец Орлеанской девы был красой ее — но с тех пор Cuvier исполнял строгое завещание добродушного Монтиона, и Академия навсегда приняла на себя сию обязанность. Скажут, что Гюго образцовый муж, образцовый отец семейства, но Академия, но публика знают его по некоторым пьесам, по множеству стихов, кои не могут быть образцовыми в нравственном отношении.

22 февраля. Я не успел кончить дневника моего, ибо с утра до вечера был три дня в хлопотах. M-me J<ulvicourt> приняла меня в своей уборной, которую убрала она во вкусе маркизши Лудв<ига> XV, и обещала отправить с Лебуром несколько книжек, о коих уведомлю в конце письма. От нее прошел я к б<аронессе Мейендорф>, которая познакомила меня с прелестными стихами гишпанскими и с адвокатом-оратором Berryer, коего по сие время знавал я только au Palais de Justice и в камере депутатов. Она учится по-гишпански и перевела мне несколько оригинальных стихов, кои хотелось бы мне запомнить. К ней сбирается весь высший круг, по воскресеньям, до обеда; но *немногих* принимает она в тот же час по субботам. Я рад был встретить Берье и поболтать с ним о деле и о музыке. Он любит *жить* и любит жизнь в большом свете и с артистами; страстен к итальянской музыке и в связи с Россини и проч., но охотник говорить и о делах государственных; несмотря на легитимизм, видит его с высока, так, как и все вещи и людей, имеющих влияние на были и небылицы века сего. От любезной ветреницы прошел он к С<вечиной>, которая не надивится универсальности и его глубокомыслию и таланту, с коим и то и другое выражает он в речах своих и в разговоре. Возвра-

щаясь от М<ейендорфши>, встретил я (полуотставного тогда, а сегодня уже совершенно отставного) министра Гизо; мы пожали друг другу руку, и он приглашал меня в свой скромный домик Rue Ville l'Evêque, где я видал его чаще, нежели в министерских палатах его Сен-Жерменского предместья. Вечер провел у С<вечиной> и кончил у Ш<ленкур> с русскими дамами и с литератором St. Félix; но один из примечательнейших дней в моей парижской жизни — воскресенье первое поста, 21 февраля. В одно утро слышал я две проповеди: одну в соборе Notre-Dame, где молодой (34 лет) Лакордер проповедовал или, лучше сказать, импровизировал с необыкновенным красноречием, с чувством непритворным и с верою истинною и внутреннею. Я приехал туда в одиннадцать с половиною и нашел уже почти всю церковь полною; кое-как пробрался я поближе к кафедре, у коей приятель заготовил для меня стул. В час вся церковь, огромная и пространная, с хорами и переходами, наполнилась большей частию молодежью; на хорах были и дамы. Парижский архиерей с причетом и четверо других епископов прибыли к проповеди. Лакордер, хотя слабый грудью и расстроенный потерею недавно матери, говорил час, с искренним, сильным убеждением. Я еще ничего подобного во французских церквах не слыхал. В Берлине слыхал я часто Шлейермахера, в Англии и в Шотландии других знаменитых проповедников, но католического сильного оратора слышу я в первый раз, и какого же? Не подражателя другим образцовым французским ораторам, а самобытного, оригинального. В Лакордере есть много боссюетовского, но это Боссюет, прочитавший Ламене и знающий умственные буйства нашего века, рационализм и мистицизм Германии, сен-симонистов и проч. Иногда он удивляет глубокомыслием, как Паскаль, и смелыми, оригинальными оборотами и выражениями, кои в другом показались бы площадными. Он приводил слушателей в какой-то энтузиазм и точно поражал их словом своим. С каким глубоким знанием натуры и характера некоторых систем философских обозрел он их хотя бегло, но достаточно для убеждения слушателей. Он характеризировал рационалистов и мистиков. Первых находит уже в веке Августа, а потом за три столетия до нас. Последних доводит он до самого пункта, где они прикосновенны, так сказать, самой церкви, и здесь остановился он в сей блистательной и верной характеристике, до следующего воскресенья. Были движения истинно ораторские, но как их упомнить! Я записал некоторые *обрывки*, кои напоминают мне только мысль его, но порывы красноречия неосязаемы и должны быть представлены в связи с главною мыслию. В заключении прекрасно сказал он, кажется, о слове божием, в коем красоты неистощимы. «Il n'y a rien de nouveau sous le Soleil, mais le Soleil est tous les jours nouveau». Мне хотелось передать вам хотя несколько красот его ораторства, но невозможно. Боюсь так же испортить, как записки Шатобриана.

Из сòбора, проникнутый и растроганный Лакордером, прошел я в другую церковь в Сен-Жерменском предместье: St. Thomas d'Aquin; самая

модная аристократическая. Там проповедует Revellion, иезуит, поступивший в орден из генерал-адвокатов и даже живший на испытании и в уединении более 10 лет. Он пользуется большим кредитом у легитимистов, и церковь так же была полна, как Notre-Dame, но преимущественно аристократками и легитимистами. И здесь едва нашел место близ кафедры. Иезуит декламировал sur les malheurs du tems, sur la société ébranlée dans ses bases et sur des lieux communs dans ce genre; parce qu'il n'y avoit que peu d'élus, и эти избранные едва ли не в Сен-Жерменском предместье. Он сравнивал этот остаток *немногих верных* с плодами, оставшимися на дереве, которое уже отрясено бурею и садовниками. Но эти плоды, кои, несмотря на потрясение дерева, не спали с него, не дозрели и обыкновенно кислы. «Ce sont des fruits peu mûrs et aigres», — прошептал я вслух. Соседка моя поморщилась. Выслушав проповедь, я сказал: «C'est un sermon pour le Faubourg». Соседка моя отворотилась от меня, а я поспешил на обед к Лукуллу Т<юфяки>ну; mais l'impression produite sur mon âme étoit encore toute vivante; j'ai bien senti et je l'ai su après que tous les sermons de Lacordaire sont improvisés; il n'en fait préalablement que la charpente et puis il parle d'inspiration, sans s'embarrasser du public qui l'écoute, ne poursuivant que la pensée, et produisant des émotions qu'il éprouve lui-même; il présente le Christianisme comme la face la plus lumineuse, que la vérité ait revêtue, après avoir tracé en grands traits les ombres du Paganisme, dans toutes ses révolutions. Lacordaire prêchera encore sept fois, jusqu'après Pâques, et puis une fois dans la chapelle de l'institut Chateaubriand. Puis il compte partir pour Rome et y rester, deux, trois et peut-être même cinq ans, pour se remettre et y étudier. Il n'aura pas de grands maîtres pour l'éloquence chrétienne, mais il sera à la source de grandes inspirations, et apprendra à connaître l'église de Rome sous d'autres points de vue. La dernière fois il y a été avec Lamennais.

Mrs. Trolopp parle aussi d'un sermon de Lacordaire, mais elle dit encore moins de celui qu'elle a entendu: elle se borne à décrire le temple et la foule et ne cite que son propre bavardage.

После таких духовных предметов как описывать обед Т<юфяки>на и трюфли и страсбургскую говядину? Вечер у С<вистуновой> с милой Л<абори>, с отцом ее; der Alte ueberall und nirgends! Он был всем и при всех и во все эпохи французской истории, после революции. Помнит все, знает всех — и охотно рассказывает, что видел, слышал за годами.

Вы уже знаете о новом министерстве: маленькие журналы, распределяя по местам старых, рассадили кого в банк, кого в иное место, Mr. Persil au Jardin des Plantes.

24 февраля. Вчера слушал я еще одного превосходного проповедника в церкви Успения богородицы, также модной и аристократической: это аббат Кёр (Coeur), 29 лет. Он говорит с неприятным напевом, но с такою возвышенностию в мыслях, с такою силою и определительностию выражений, что многие — но не я — ставят его выше Лакордера. Il est toujours à la même hauteur. Откуда взялись все эти таланты? С тех пор, как прави-

тельство не покровительствует им — кафедры наполнены прекрасными духовными витиями и церкви слушателями. Кёр проповедует три дня в неделю, и в конце поста из проповедей его составится нечто целое, полное. К сожалению, в воскресенье он говорит в одно время с Лакордером. Любители духовного ораторства делятся здесь на лакордеристов, равиньонистов, кёристов и проч. У первого больше молодежи и публика несравненно многочисленнее. Mrs. Trolopp обманывает, говоря, что он жестикулирует: нельзя быть проще и непринужденнее. От проповеди прошел я к Рекамье, где встретил в первый раз жену Шатобриана, худощавую, умную старушку — супруг обращается с нею с большою и искреннею почтительностию. Тут был и Т. H<ochet>, секретарь здешнего Государственного совета, который накануне представлялся своему начальнику, новому министру юстиции, Sauzet, сказав ему: «Que c'était au 27 garde des Sceaux qu'il faisait son compliment»; а H<ochet> не старик.

Ввечеру слышал я «Норму» в Итальянском театре. M-lle Grizi и Лаблаш превосходно пели; но Рубини плох в этой опере. Гризи играла прекрасно; жаль только, что соперница ее в любви худо вторила, и оттого «Норма» во Флоренции удалась лучше. Я восхищался и по воспоминанию. К последнему duo последнего акта явилась в ложе герцогиня Броглио и красавица-президентша Тьер, с матерью. Взглянув на нее и вспомнив фортуну Тьера, как-то страшно за его будущее. Чего пожелать еще счастливцу мира сего! Но знаете ли, чего он сам себе желает? Военного министерства! Он и спит и видит быть другим Louvois или Carnot, беспрестанно обдумывает планы войны, посылает проекты военных действий в Гишпанию и ползает по карте, как перед ним искатели фортуны. История французской революции дала ему вкус к этому занятию, и министерство иностранных дел показалось ему ближайшим путеводителем к военному. Так уверяли меня ближние его люди.

Послезавтра президент камеры депутатов дает бал и в гиерархическом порядке приглашений поставил камеру свою выше всего; за нею камеру перов, потом принцев, дипломатический корпус и проч. На пригласительной карте наследного принца Орлеанского выставлен № 840, ибо он по алфавитному порядку членов камеры перов после депутатов — и в букве О (Орлеанский) 840-й из приглашенных на бал. Приятели Гизо поговаривают уже, что он будет первым преемником Тьера; между тем он переехал уже в свой скромный домик и будет там жить доходом своим из двенадцати тысяч франков и профессорским жалованьем, из коего часть уделяет заступающему его место Le Normant. Может быть, он снова возьмет и кафедру, но друзья его этого не желают.

Сегодня слышал я, что Ламене также переводит Мильтона. Приятели Шатобриана опасаются этого соперничества; следовательно, будет два перевода в прозе и один в стихах — Делиля. Сказывают, что скоро выйдет перевод Шатобриана, но к курьерскому отправлению уже не поспеет. Я много слышал о Шатобриане сегодня от людей, коротко его знавших

здесь и в Италии. Арто (Artaud), бывший секретарем посольства в Риме при нем и при других, много рассказывает о первых впечатлениях, кои Рим произвел на Шатобриана. Когда он увидел храм св. Петра, то его бросило будто бы в жар; он на площади попросил пить: ему подали яблоко, и он с жадностию съел его.

Une dame, tout en causant, nous a donné ce soir une charmante définition du mysticisme: c'est le christianisme en état de vapeur.

Еще маленькой комераж: философ Кузен, который придерживается предержащих властей, восхищаясь сегодня в присутствии своего наставника, неизменяемого Royer-Collard, Тьером и политическим направлением, которое он дает Франции, воскликнул: «C'est l'Empire!» — «Moins l'Empereur», — отвечал R.-Collard.

25 февраля. Два часа пополудни. Je viens d'entendre encore une fois l'Abbé Coeur. Il a parlé aujourd'hui sur le caractère et l'influence du Sacerdoce chrétien et a passé en revue les grands luminaires de l'Orient et de l'Occident — jusqu'à Bossuet, dont il a fait un portrait magnifique. C'est vraiment une jouissance morale et intellectuelle que ces sermons! Je ne me suis pas endormi un instant. Les dames quêteuses étaient charmantes!

Пять часов пополудни. Знаете ли, кого я видел сейчас? кривую Нину (Ласав), любовницу и предательницу Фиески. Вообразите себе, что в новом Café de la Renaissance, близ биржи, богато убранном, взяли, comme demoiselle de comptoir, Нину, посадили ее за бюро, вместе с другой хозяйкой, — и говорят, что она получает за эту *выставку* самой себя 1000 франков в месяц! — За вход в Café платят по 1 франку с особы, «sans compter la consommation», — кричат негодующие habitués du Café. Вчера была у входа такая толпа, что принуждены были приставить трех караульных. Уверяют, что многие, особливо англичане, говорили колкости Нине, осматривая пристально черты ее и кривой глаз, и будто бы ей сделалось дурно, так, что ее должно было на полчаса вывести из конторки ее. Сегодня только один караульный у входа. Без билета не впускают; любопытные толпились, и я с ними. Мне как-то совестно было смотреть ей прямо в глаза, или в глаз, ибо один почти совсем закрыт. Она красива и румянец во всю щеку, но, кажется, нет стыдливости. Одета нарядно, в шелковом кофейном платье. Она смотрит на всех довольно скромно, не нахально. Я прошел раз пять мимо нее; как-то стало жалко за нее, что такое бесстыдство в красивой и румяной молодости! Но что сказать о тех, кои основывают свои расчеты на этом бесстыдстве и проводят, в таком тесном соседстве, весь день с девкой, которая за пять дней пред сим расставалась с отсеченною головою! Все это материалы для будущего Тацита-христианина.

Полночь. В первый раз по отставке министров провел я вечер у Броглио, в его собственном доме, который напомнил мне 1830 год. Я нашел там сначала немногих, но встретил Вильменя. Хозяйка спросила его, читал ли он «Жоселеня», который теперь во всех салонах. Он начал хвалить эпи-

зод об Оссиане (стр. 75 и след. в 1-й части) и стихи (47 и след. стр.). Броглио отыскала их, прочла и при стихе «A quoi renonce-t-on, quand on se jette à Dieu?» сказала: «Pourquoi ne pas dire simplement, quand on se donne à Dieu?». Вильмеиь находит, что Ламартин позволяет себе странные выражения, образы и проч., что он менее придерживается классицизма, что его избаловали и проч. Броглио также отдает преимущество «Медитациям» и «Гармониям» его перед новыми отрывками поэмы. Смеялись над какими-то стихами, где Ламартин делает сравнение с вывешенным бельем и проч. Я не отыскал их. Нельзя передать беглого и остроумно-легкого разговора. Начали съезжаться дамы, депутаты; вот и принцесса Ваграмская, кузина короля Баварского, — до стихов ли? Я поблагодарил хозяина за его одолжение и уехал пить чай к кн. М‹ещерской›. Здесь познакомился с юристом-адвокатом Генекеном и возвратился домой дочитывать брошюру Леве-Веймара, к вам посылаемую.

Вы, вероятно, прочли статью в «Дебатах» о поэме Ламартина. Aimé Martin превозносит ее с бесстыдной экзажерацией, называя эти отрывки «le plus beau livre qui soit sorti de la main des hommes, un livre comme Platon l'aurait fait, si Platon fut venu après l'Evangile». Руссо (или кто,* не помню) мог сказать это о *подражании Христу*; но где же Платон и Фома Кемпийский, всегда равный своему предмету, в том сборнике прекрасных чувств и мыслей, неровным и часто подающим пером писанных? Вот тайна энтузиазма Эме Мартена. Он хлопотал, чтобы Академия назначила ему приз за его антихристианскую книгу о воспитании[10] и ухаживал за Ламартином, который, имев слабость дать в пользу его голос, увлечет, может быть, и других. Рецензию книги — написала благодарность.

26 февраля. Простите! пора укладывать пакеты. 36-я страница всякой всячины! Все в Москву, когда сами прочтете или недочтете.

XII. ПАРИЖ

‹ХРОНИКА РУССКОГО›

1836 марта 21.[1] Проживу здесь еще недели с три или с четыре, ибо необходимо кончить переписку в архиве королевском бумаг весьма интересных и привести все в порядок с помощию одного ученого бедного немца, который делает теперь реестры моим приобретениям в Париже и пересматривает списки. У меня времени на это не станет, а он кормит и себя и семейство этим трудом.

Мне самому хотелось бы выехать поскорее. У нас весна, т. е. тепло как летом, и меня уже позывает в даль, но в даль родную: хочется опять подышать родным воздухом и попастись на степях Заволжских. Между

* Fontenelle. — *Изд.*

ними и Парижем — Дрезден, Веймар, Берлин, Лейпциг и — Москва! А в ней ожидает меня новый исторический труд: сравнение копий здешних актов с теми, кои, надеюсь, позволят пересмотреть в Московском архиве.

Скажи К<озлову>, что С<вечиной> передал уже его благодарность, а Шатобриана увижу сегодня и прочту ему его строки. Между тем вот вам верные вести о Шатобриане, успокоительные для тех, которые принимают в нем участие. Он продал часть своих биографических записок обществу, составившемуся (большею частию из легитимистов) для приобретения оных, на следующем основании: «Шатобриан обязывается выдать отныне в четыре года: 1) 4 тома о Веронском конгрессе и о войне испанской (переписка его с Канингом составляет почти целую книгу); 2) обещает, сверх того, 12 томов записок своих, из которых шесть уже готовы и находятся у нотариуса. Книгопродавец с своей стороны обязывается выдать Шатобриану: 1) 157 000 франков наличными, 2) выдавать по 12 000 франков ежегодно в течение четырех лет и 3) по истечении четырех лет 25 000 франков пожизненного ежегодного дохода, которые будут уплачиваться и жене его по смерть ее». M-me Récamier и гр. St.-P<riest> подтвердили мне эту сделку. Последний участвует в ней на 48-ю часть и полагает еще быть со временем в значительном выигрыше. Лучшее в этом то, что будущее жены Шатобриана обеспечено. Он, вероятно, не уплатит всего долга своего 157 000 франками, а 12 000 ежегодно в течение 4 лет для него недостаточно, следовательно, он снова наделает долгов, бросая деньги как пыль. (Ему случилось однажды продать карету, чтоб дать обед десяти приятелям). Гр. St.-P<riest> сказывал мне, что тот же книжный откупщик предлагал ему 150 000 (!!) за Мильтона и Историю английской словесности, рассрочивая платеж на несколько сроков; Шатобриан задумался; пришел Лавока с 36 000 франков чистоганом, и Шатобриан отдал ему труд свой за эту сумму! В этом отношении он вроде Ж<уковского>, с тою разницею, что он не шарлатанит и не делает расчетов за год вперед своим расходам, в белых разграфованных тетрадках красными чернилами; но в семействе и здешнего поэта «*нет сирот!*». Он и жена его презирают их в хорошо устроенной обители, как наш везде, от Белева до Дерпта. (Сироты Шатобриана старухи).

Я уже писал вам, что я еженедельно бываю у трех проповедников, недавно прибавил четвертого, Dupanloup, издателя «Фенелона для светских людей» с прекрасным предисловием, который проповедует в St. Roch (приход Тюльерийского дворца, за упразднением de l'Auxerois). Трое из 4 проповедников, коих обыкновенно слышу, восставали против Ламартина,* каждый по-своему: иезуит Равиньян, Лакордер в одной, но сильной фразе, а Dupauloup сказал примечательную проповедь против *врагов и друзей религии*. Последних почитает опаснее первых, и в сем числе Гюго, коего озна-

* Примеч. По поводу его последней поэмы «Jocelyn».

чил *падающими осенними листьями* (les feuilles d'automne), Ламартин и прочие пантеисты. И в других церквах восстали на него; один аббат Кёр (который вчера устрашил нас адом и вечными муками, так что я не на шутку призадумался) ни слова не сказал против своего приятеля-поэта и осуждает собратий своих за их рвение «*не по разуму*». Зато Ресегье в стихах, à Aimé Martin в прозе называют Ламартина, как Платона, *божественным!* — В салонах, как и в церквах, те же распри; в числе защитников — Шатобриан и m-me Récamier, кои не требуют от поэта строгого православия. «Le National» объявил его прямо *пантеистом*, утверждая, что он никогда иным не был. По моему мнению, Ламартин, как и другие-прочие, сам себе еще точного и определительного отчета отдать не может в своем катехизисе; он, вероятно, почитает себя с такою же основательностию строгим католиком, как и глубоким политиком, а он просто — поэт. В нем ни православия, ни тонкой политики искать не должно, а одной поэзии. И пантеизм его случайный, поэтический: он видит бога в натуре — и боготворит ее, как видимую, осязаемую поэзию.

И что в Спинозы он попал,
Нечаянно случилось!

Вольно же легитимистам и ультракатоликам считать на него, как на каменную гору роялизма и православия: от одних юркнул он в камеру, где в некоторых речах его видны здравые начала политической экономии и ум государственный, от других — в мечеть и кувыркается перед Магометом, с коим он очень сдружился во время путешествия своего по святым местам! Не знаю, доходят ли до него все толки салонов и церквей. По субботам у него литературный раут, и я беседую иногда с милой, увядающей от тоски по дочери, женой его: она, кажется, не совсем спокойна на счет православия мужа, ибо для нее «*грех не безделица*».* — Кстати о грехе и о вечных муках: вчера, в воскресенье, из Notre-Dame, от Лакордера, зашел я к Успенью слушать Кёра и увлек с собою моего бывшего библейского сослуживца, <кн. Мещерского>. Церковь была полна по обыкновению, и мы нашли место только у подножия алтаря. Осмотревшись, я нашел себя в кругу, примечательном по разномыслию. Перед одною и тою же кафедрою, с одной стороны, были палингенезист Баланш с примесью пантеизма; Mignet, историк революции и *глобист*, ныне надевающий ливрею Людовика XIV и почитатель века его; строгий галликанский католик и либерал граф Керголай, племянник известного ультрароялиста; с другой стороны — Росси, итальянский либерал и католик-профессор, но в духе XIX века; барон Экштейн, католик с примесью глубокого германского мистицизма; писатель примечательный Марк Жирарден, проповедующий с кафедры и в «Débats» sur les tendances religieuses de notre siècle. Во всем этом N. N. ex omnibus aliquis! И всех нас

* См. брошюру под сим названием, изданную незабвенным М. И. Невзоровым.

поражал проповедник громом слова своего и неизбежностию угроз божиих, доказывал необходимость такого страха для обуздания, для воспитания народов и единиц (индивидуумов). Молчание было глубокое, внимание беспрерывное; проповедь продолжалась полтора часа.

В пятницу слышал я другой раз Dupanloup, в присутствии королевы и дочерей ее. Декламации было более, нежели идей и чувства, но иногда проповедник возносился до крайних пределов духовного мира. Тем смешнее был приходский священник de St. Roch, который после него взошел на ту же кафедру напомнить о посте и молитве субботней и рекомендовать тем, кои захотят рано прийти в церковь, запастись шоколадными дощечками! Я не умел скрыть смеха к соблазну благочестивых. Все сие движение парижской набожности найдете вы в «Dominicale» и в «Univers Religieux». В них же и проповеди Лакордера. «Dominicale» пересмотрите сами для проповедей Лакордера и для других статей, в коих может быть Пушкин найдет покормку и для своей Review-котомки. Сверх того, пошлю вам для прочтения «Акты Исторического конгресса», коих по сию пору вышел первый том; скоро выйдет и второй. Я был раз на этом конгрессе, где *мнимый* казак читал рассуждение о казацкой литературе и выхвалял мнения своих так называемых соотечественников. В «Актах» есть статьи, довольно любопытные и хорошо написанные. Не худо бы объяснить неказакам, что казаки — *не хозары* и что хозары не славяне, и что Баян не казацкий Гомер. Впрочем, и в этих статьях не без исторической истины. О книге, продиктованной Маршану Наполеоном, можно сказать: это живая грамота бессмертного.*

Вечер. Я провел сего дня часа полтора у M-me Récamier и передал ей и Шатобриану все, что писал ко мне об них Козлов.[3] В салоне Рекамье встретил я опять Токевиля, коему недавно в нравственном отделении Института предпочли Лукаса, тюремного филантропа. Если бы не нелюбимый Кузень предлагал первого, то, вероятно, перевес был бы на стороне Токевиля, всеми уважаемого; но Кузень произвольно взял его под свое покровительство — и повредил ему. Он много говорил об Америке, где недавно умерла будто бы кормилица Вашингтона: по расчетам оказалось, что кормилица эта могла быть разве только его молочною сестрою. В другом американском царстве умерла стошестидесятилетняя старуха! Если ей и прибавили несколько десятков, то все-таки она была старее того государства, где скончалась.

Третьего дня был в домашнем театре Юлия Кастеляна, где герцогиня d'Abrantès играла Сильвию, а m-me Lafont, по Петербургу и по смычку мужа вам известная, Лизетту в «Les Jeux d'amour et du hasard». Старуха d'Abrantès играла хорошо, но жалка своими претензиями на молодость: она старее своих записок. У m-me Lafont по крайней мере не погасли еще

---

* Это та самая книга, о которой известие помещено во II томе «Современника», стр. 247—266.[2]

черные глаза и в стане есть необходимая для горничной вострушки гибкость. Я не дослушал первой пьесы и сожалею, что не видал бывшей miss Smithson в 4-й сцене IV акта «Гамлета», который вам посылаю. Сказывают, что она играла прекрасно; а в Лондоне она никогда не нравилась! «Une soirée chez m-me Geoffrin» написан герцогинею d'Abrantès в отмщение врагам Гюго, не избравшим его в Академию. Весь XVIII век на сцене и хватает до XVII. Сама d'Abrantès играла m-me Geoffrin. Вот вам и афишка. Пьеса плохая, как слышно. Я спешил на другие вечеринки, где не нашел того, чего искал. Спектакль Кастеляна в большой моде, и добиваются билетов, как будто бы нет 12 вольных театров, каждый вечер открытых!

И Бальзак видит в Ламартине отступника; он сказал мне: «Il a pris le rôle de Chatel» (архиепископ *французской* церкви, оставивший католическую, в которой был попом).[4] «Le National» говорит без обиняков: «M. de Lamartine est panthéiste comme la génération, à laquelle il appartient». Тот же журнал отметил некоторые небрежности в стихах «Жослена» и сделал несколько дельных замечаний на всю поэму. Впрочем, есть и справедливая похвала, например: «M. de Lamartine a donné une nouvelle vie à la poésie française; il l'a rajeunie et enrichie. Il a trouvé une expression harmonieuse á cette grande mélancolie philosophique et religieuse qui travaille notre génération. Maître de la langue, il l'a assouplie avec une verve toute puissante; il l'a étendue en nappes immenses où chaque vague porte d'éblouissantes couleurs, et chaque flot un reflet». Критики не хочу выписывать.

Хотел послать «Les cris de l'âme» с предисловием Ламене, но оно ничтожно, и *старое по-старому*. Еще появилась книга любопытная и важная для политика и географа-статистика; вышла только первая часть, и много о России в отношении к Турции и к Востоку вообще: «L'Europe et la Turquie de 1829 à 1836». В первой части более о Египте. Она писана двумя французами — de Cadolvène et de Breuvery, кои провели несколько лет в Египте и в Турции, — и во враждебном духе для России. Никогда столько брошюр, журнальных статей и книг не выходило о сем предмете, как в последние два года; даже тогда, когда Россия и Турция, ввиду Европы и Азии, сражались на высотах Балкана, менее ими занимались политические компиляторы, нежели теперь. Здесь и в Англии можно накопить целую библиотеку о России в отношении к Востоку.

О мнимых наблюдениях Гершеля вы конечно уже слышали, и читали шутливое опровержение серьезных шуток. Смешны только те, кои, не смея признаться в невежестве, не знают, как трактовать шутку, шуткой ли или делом.

Начал читать на днях вышедшую «Correspondance inédite de Voltaire avec Frédéric II, le président de Brosse etc. etc.» * Не хочется оторваться; но

---

* Об этой книге также уже говорено в «Современнике», т. III, стр. 158—169, в статье «Вольтер».[5]

для милого дружка чего не оторвешь от себя, кроме сердца, и того, что в нем есть неотрывного.

22 марта. Полночь. Возвратился из театра. M-lle Mars все еще пленяет игрою. В старых пьесах «d'Ecole des vieillards» и «Gageure imprévue» она стариной тряхнула. Удивительно, как много заменяет в ней искусство. Я с 1831 года, т. е. с Лондона, не видал ее. Тальма и она! с другими сравнивать их нельзя. Разве Жорж? Впрочем Французский театр и в падении своем все еще держится хорошими, если и не первоклассными актерами. Я охотно там бываю.

23 марта. Писать в день отправления часто некогда, а заранее как-то не хочется, да и вести теряют свежесть и увядают как цветы. Я живу в церквах столько же, сколько и в архивах и в Сорбонне, более нежели в École de France, и знаюсь с католичками и с католичками более, нежели с шатлистами.

Слышал проповедь аббата Кёра sur le respect humain, в отношении к религии. Ввечеру поздно собрался к Броглио, где хозяйка-протестантка пеняла мне, что я оставил le culte non salarié; я признался, что увлечен Лакордером и его товарищами, но, когда они, после праздника, замолкнут, я снова возвращусь к Гранпьеру, в храмину, где слыхал и сен-симонистов. Я возобновил знакомство с баронессою Сталь, которая недавно приехала из Копета. Я напомнил ей эпоху нашего знакомства — за несколько дней до кончины мужа ее. Я завтракал у них в Копете, и хозяин выводил меня по всем своим владениям, показал свои заведения, все все — кроме того, что мне всего более хотелось видеть: гробницы прадеда и матери его. . . . Вдова его была тогда беременна и родила после смерти мужа. Я обязан ему знакомством с Брумом и Макинтошем в Англии, и он же ввел меня здесь в общество библейское и в другое, где он был главною пружиною в пользу уничтожения торговли неграми. — Книга его об Англии — одна из лучших, но не она переживет автора:

Его переживут его сердечны чувства

и биографические записки m-me Récamier (в конце 1830 года сама она позволила мне прочесть отрывок из сих записок), оставившей Францию для изгнанницы Наполеоновой и Швейцарию для того, чтобы успокоить ее насчет сына, страстно ее любившего.

18/30 Марта. Архивы, проповеди, лекции и какая-то лень мешали продолжать отчет парижской жизни; но всего более парализован я известием газетным, что Пушкин будет издавать Review, а не журнал. Я сбирался быть его деятельным и верным сотрудником и сообщать животрепещущие новинки из области литературы и всеобщей политики; но какой интерес могут иметь мои энциклопедические письма чрез три или четыре месяца? Вся жизнь их эфемерная, и они не выдержат *квартального* срока. Для Review нужны статьи, а не письма. Через 4 месяца кто вспомнит о «Жос-

лене»? А теперь было бы интересно узнать все, что разные голоса поют о нем. Я хотел сделать эту поэму предметом целого письма и сообщить, вместе с выписками из первоклассных журналов, например из «Semeur» etc., и толки салонов, и нападки проповедников. Поэма объяснила бы Париж и салоны, а салоны объяснили бы поэму и самого Ламартина. Теперь ограничусь доставлением одних журналов и указанием на те стихи, кои наиболее возбудили против поэта-католика, а ныне пантеиста, негодование тех, кои ошиблись в нем и в его катехизисе. Я хотел также передать вам и свежие впечатления, производимые проповедниками, например Лакордером, в последней превосходной и едва ли не существеннейшей его проповеди; но между тем как это письмо *пишется* в ожидании случая для отправления, вы уже, вероятно, получили прежние его проповеди, а с сим письмом получите и новейшие, и проповедник будет уже в Риме. — В прошедшее воскресенье с проповеди его из Notre-Dame приехал я уже не к Успенью слушать аббата Кёра, но в театр Chaterain (улица сия прозвана *Победною* с тех пор, как жил в ней Наполеон) слышать и видеть знаменитого импровизатора Праделя, о таланте коего мне рассказывали чудеса. На миниатюрном театре, где я уже недавно слышал итальянского импровизатора, явился Прадель перед публикою и предложил нам задать ему сюжет для трагедии, с одним только ограничением: не касаться политических предметов. Каждый имел право задавать сюжеты, и тот из них, который будет более аплодирован, примет импровизатор для своей трагедии. Предузнать было ему невозможно. Начались крики; перебрали всю древнюю и новую (но не новейшую) историю, чужую и свою, и остановились сначала на двух предметах: St. Mars и Héloise et Abélard; последний был еще более аплодирован, и Прадель взялся за него и не более как через пять минут начал импровизацию. Он объяснил, что натура этого сюжета требует немногих действующих лиц и что он составит всю трагедию из четырех: Элоизы, Абеляра, дяди ее аббата Фюльберта и его слуги, или наперсника. Он играл все роли с необыкновенным талантом; сначала импровизировал он стихи довольно медленно, но медленное течение речи было и в характере старика Фюльберта, который открыл первую сцену. Переходя с места на место, в разговоре, он нимало не останавливался; иногда повторял те же выражения, иногда те же образы и мысли; но вообще было складно и иногда с проблесками истинной поэзии. Il y avoit deux ou trois vers à retenir, особливо в конце, когда совершилось над Абеляром известное мщение. Я жалею, что не взял с собою карандаша и не записал нескольких стихов. Оператор, наперсник дяди, желая успокоить Элоизу, узнавшую о кровопролитии, говорит ей: «Il vit, madame, mais sans vivre pour vous». И потом à peu près так: «Et votre amant ne peut plus être époux!». Убеждая Элоизу не гоняться для него за славою, Абеляр говорит ей: «Des lauriers les plus beaux les feuilles sont amères!». Остальное было плавно, хорошо, но нимало не шевелило сердца.

Вообще любопытно видеть раз усилие ума и памяти, ибо память более воображения снабжает импровизатора стихами и полустишиями; но в другой раз вряд ли я променяю проповедь на импровизированную трагедию. Зритель страдает вместе с автором-актером, следуя за его усилиями и угадывая труд и заботы его в приискании мысли, рифмы, выражения, сцены. Этот страх за импровизатора мешает наслаждению. Нет, трагедии, в тиши кабинета, на досуге и при верном вдохновении писанные, предпочтительнее. Пытка для таланта не есть наслаждение и для зрителя. Мне пришло на мысль сравнить этого рода импровизацию с обедами à la fortune du pot: я предпочитаю те, на кои зовут за неделю печатными билетами.

В этот же день, едва ли не в первый раз, давали на одном из театров драму Абеляра и Элоизы, в которой более отступлено от исторической истины, чем в импровизации Праделя. Каноник Фюльберт не думал мешать тайной связи двух любовников — наставника и ученицы, его племянницы, не хотел и мстить первому, когда оказался первый плод уроков его — младенец Астролаб. Дядюшка желал обвенчать их, но Элоиза не согласилась, предпочитая славу ученого Абеляра своему счастию; она хотела остаться другом, не женою его. Вот à peu près слова ее :«Dulcius mihi semper extitit amicale vocabulum, aut si non indigneris, concubinae vel scorti»... Прадель не раз повторял в стихах эту мысль, не раз напомнил об этом самоотвержении Элоизы. По истории, Элоиза уступила настояниям дядюшки и Абеляра, вышла за него, но под условием тайны. Абеляр свез ее au Couvent d'Argenteuil, но она не постриглась, а только приняла костюм монашеский. Фюльберт и его сродники, полагая, что она постриглась, возгорели мщением: «Puisque Héloise ne peut plus être la femme d'Adélard, celui-ci n'a plus besoin d'être homme», — и мщение совершилось! Вот *быль*, которая сделала Абеляра *баснею* народов и *баснею* для Элоизы![6]

Но возвратимся к Праделю. После трагедии Прадель предложил зрителям задать boutsrimés, поставив правилом, чтобы одно слово выражало предмет отвлеченный, intellectuel, другое материальный; для первого предложили sinistre, для другого, *материальный* — ministre! Шутка отвержена Праделем. Он начал импровизации катренами, а кончил 12-стишиями; переменял слова du haut en bas, перемешивал их и с неимоверною быстротою придумывал стихи для рифм; заключил пением куплетов на данные сюжеты, без малейшего приготовления. Академик Роже знавал Праделя в тюрьме, где он за долги содержался; оттуда позволяли ему заглядывать в свет, и он собирал деньги блистательными импровизациями — одною из лучших почитают элегию на смерть Тальмы, страниц в шесть.

31 марта. Вчера, для великой среды католиков, слушал я нового для меня проповедника в церкви St. Germain des-Près, Гривеля, aumônier de la Chambre des Pairs. Он проповедовал, в пользу общества «des amis de l'enfance», о религиозном воспитании. Православные журналы расхвалили

его, и я, поверив им, отправился на проповедь, но слышал одни безжизненные фразы и риторское пустословие, наполненное текстами св. писания, св. Бернарда, Фенелона и даже — Монтескье! Но с сим последним поступил он по-иезуитски, прибавив одно слово к тексту и тем изменив чистый смысл оригинала. Я не помню в точности фразы, но вы ее угадаете: «Религия, необходимая для будущей жизни, и в этой служит нам лучшим утешением»; проповедник прибавил: «la religion catholique» (как будто нам шизматикам наша и ни на что не годится!). Я почти вслух отвечал ему: «Il n'y a pas de catholique dans Montesquieu».

Вечер провел я в театре au Gymnase. Давали три пьесы, из коих две для меня новые, и я давно так не смеялся. В «Chut» вы видите на сцене Потемкина, поляка Станислава и действие в Эрмитаже. Скриб хотел изобразить Потемкина и двор Екатерины, но без клеветы и без невероятностей не обошлось, как и везде, где дело идет о русских и о России. Портрет Потемкина набросан в нескольких чертах довольно удачно и особенно в контрастах, из коих был составлен нравственный и политический его характер: смесь азиатской пышности, азиатских *замашек*, с европейскою утонченностию XVIII века (не далее). Костюмы двора Екатерины также верны, как и анекдоты о ней. Потемкин в усах, в треугольной шляпе! Нигде не виден «*великолепный князь Тавриды!*». Историческая истина только в *шароварах* кн. Потемкина, кои, говорят, он сам нашивал и надел на всю армию. После «Chut» давали «Gamin de Paris». Эту пьесу надобно видеть в Париже, познакомившись с парижскими гражданами: это badaud низшего класса, известный только в Париже, и он верно списан с оригинала, а еще вернее и превосходно представлен на театре. Le gamin de Paris, всегдашний житель парижских улиц и бульваров, участвующий во всех сшибках, во всех сценах парижских, повеса с добрым сердцем, веселого остроумия и нрава, подшучивающий над смешными оригиналами, но спасающий от беды других по первому движению сердца; добрый сын, нежный брат, готовый принести себя на жертву семейству. Он вступается за сестру, обольщенную знатным баричем; но вступается *по-своему*, с чувством оскорбленного брата; сохраняет уважение к отцу обольстителя, подагрику-генералу из эпохи Наполеоновой, который пленен его благородным и братским поступком, обвиняет сына, срывает с него незаслуженный крест, к досаде тетки его, и, в досаду ее чванству, женит полувлюбленного раскаявшегося сына на бедной дочери своего сослуживца. Резвость, шалости и шутки du gamin de Paris, и особенно его парижские прибаутки, смешили нас; но в сценах чувствительных почти все ложи плакали; везде платки утирали слезы, так что иногда плач был слышим и партер оборачивался на плачущих. Я по сию пору редко ходил в театр, за недосугом. — Сегодня проглянуло солнце, но Longchamps,[7] вчера начавшийся, еще не оживился.

Не удалось быть на проповеди Лакордера à l'Hospice de S-te Thérèse Шатобриана. Лакордер в первый раз проповедовал перед такой блиста-

тельной и многочисленной *дамской* публикой. В Notre-Dame — дамы за загородкой или на хорах и в малом числе в сравнении с мужчинами; у св. Терезы оне занимали всю церковь, и Лакордер едва не смутился. Мне передали только один комплимент его Шатобриану, à peu près в сих словах: «Il est beau de commencer par le Génie du Christianisme et finir par l'Hospice de Ste Thérèse». Службу отправлял парижский архиепископ.

На сих днях послал я Шатобриану статью Чанинга, американского писателя-проповедника, о Мильтоне, превосходную и оригинальную. Долго не мог я отыскать книги его в Париже и не знаю, успеет ли Шатобриан прочесть ее прежде издания перевода Мильтона. Хотя англичане, особливо строгие методисты, и обвиняют Чанинга в социнианизме,[8] но в суждении Мильтона — христианина и поэта он беспристрастен. Чанинг называет его «the subliment of men». Говоря о слепоте Мильтона: «But though sightless, he lived in light». Мильтон начинал терять зрение, когда сочинял «*Защиту английского народа*»; его предварили, что он совсем лишится зрения, если будет продолжать писать эту «*Защиту*»; но патриот Мильтон предпочел пользу народа зрению — и лишился его. Чанинг рассматривает его во всех отношениях. Я уверен, что и для Шатобриана Ansichten его будут новыми. Чанинг писал о Наполеоне и судил его с новой же точки зрения. Третьего дня указал я Шатобриану другую книгу: три части «Путешествия в Иерусалим» трāписта Жерамба.* Не знаю, найдет ли Шатобриан в этой книге много нового, но, кажется, что святые места все еще привлекают его внимание, ибо он тотчас записал книгу Жерамба. Я видел автора уже после его путешествия, в Берне, у знаменитой Иды Бонштетена, дочери m-me Brun и супруги австрийского посла Бомбеля. Он жил в трактире подле меня, спал на голом полу, постился везде и носил какой-то труженический пояс для умерщвления плоти, но любезничал в салоне Иды и балагурил по-прежнему. Не знаю, возвратился ли он к трапистам? Во Франции два монастыря его ордена, как сказывал мне Шатобриан, и процветают святостию своих отшельников.

Скоро выйдет последняя часть лекций Вильменя, лучше первых, как слышно, отделанная и содержащая, между прочим, пребывание Вольтера в Англии и влияние, которое английские и шотландские философы имели на него в то время, с новыми подробностями и документами. «Григорий VII» Вильменев давно оболванен, но не может еще явиться скоро в публику, и биограф образует его по тем впечатлениям, кои он сам получает, обогащаясь новыми материалами, кои открывает во всемирной истории этого папы.

---

* Этот трапист был в Москве в 1809 или в 1810 году и разъезжал тогда по вечеринкам, балам и обедам в черном гусарском мундире с *мертвою головою*, из серебра выделанною, на груди. Его полюбили за оригинальность, веселость и остроумие.

Толки о прежнем и новом министерстве продолжаются; но сколько я и сам ни жалел сначала о некоторых министрах, по личной старинной связи с ними, сколько ни находил я в них

Царей и царств земных ограду,

не могу, однако же, не признать, что они ошиблись в *форме*, которую избрали в гумановском деле. Доктринеры дали промах, говоря по-русски. Им надлежало бы немедленно удалить товарища не заодно с ними или не в один шаг пошедшего, и предоставить самой камере решить вопрос: «est-ce clair?». Это взбесило многих, и Берье в ту же минуту сказал, что ответом камеры на этот вопрос будет отставка министров. Тогда бы камера сделала то же, что и теперь: согласилась бы с министерством, и кредит его от сей неудачи гумановского предложения еще более бы усилился. Оно бы могло прожить еще года два и не прежде как с новою камерою уступить место новой генерации, благоприятствующей более, нежели старая камера, *партии движения*; между тем усилия, подвиги министерства не пропали бы для Франции, умы созрели бы более для беспрестанно развивающегося нового порядка вещей. Тьер, вероятно, воспользуется их ошибкою и сделается мало-помалу представителем уже не отжившей век свой *доктрины*, но новой, возникающей из оппозиции партии, которая принимает прошедшее *прошедшим*, не желая, однако ж, оставаться *неподвижною* и еще менее — возвращаться к старому. Тьеру это легче, нежели другим: он дал более ручательств новой генерации своим прошедшим и в его биографии нет ни похода в Ган (Gand), как у Гизо, ни в гербе его нет герцогской короны — он выходец из нового мира, ученик Манюэля, и «История революции» написана им по его началам. — Я бы предпочел *для себя* политический характер Гизо, предпочел бы и талант его; но превосходная речь его в ответ Пажесу, которою восхищалась и сама оппозиция, от которой едва мог собраться с духом Odillon Barrot, чтобы отвечать ему, — эта самая речь была панихидою для *доктрины*! Она разорвала последнюю связь между новым и старым министерством. Гизо признан превосходным оратором, редким министром просвещения, даже честным человеком, — и Гизо вряд ли уже возвратится в министерские палаты; между тем как Тьера, коего вы знаете по брошюре Лёве-Веймара, более или менее основательной (я не сужу его, а только ссылаюсь на молву), Тьера примут в спутники, если не в корифеи, и молодые депутаты, коим суждено возобновить дряхлеющую с каждым днем камеру. Доктринеры с каждым днем теряют в ней свое прежнее влияние; уже одни *чиновники*, кои волею и неволею были им некоторою опорою, мало-помалу будут приставать к новому министерству и ослаблять старое, которое скажет, наконец, с поэтом: «Und einer nach dem andern wich»!

Министерство просвещения, конечно, потеряет в Гизо знаменитого, блестящего представителя не только французской учености, но и евро-

пейского всеобщего просвещения. Он редкое явление во Франции: Гизо не чужды ни одна из словесностей, ни одна из цивилизаций, коими Европа сделалась Европою. Он знает немцев и их общие идеи, их теории; он историк Англии; он оратор и министр Франции, он выписал для нее из Италии Росси, зная, что ей нужна первая государственная наука нашего времени — политическая экономия, нужна и философия права, которой шарлатан Лерминье французов не научит; Гизо, наконец, дал новую жизнь тлевшим французским хартиям — он учредил исторические общества, кои уже дали плод свой в короткое время их существования. Но, несмотря на все сии неоспоримые достоинства, Гизо отжил век министерский, и Пеле (третий министр просвещения протестантского исповедания, ибо Кювье, по части управления университетом, был также почти министром) — *Пеле*, которого ни науки не знают, ни он их, — будет по необходимости продолжать Гизо, ибо, к счастию, сущность и сила управления сею частию не в министре, а в *совете* его, который остается в прежней своей деятельности и из прежних членов: Вильменя, Кузеня, Дюбуа, и проч. и проч. — Вот вам главная мысль моя о здешней передряге, я почерпнул ее из журналов, из соображения разных мнений и из дел и действующих лиц, коих вижу с утра до вечера. Это мнение согласно со многими в главном, особливо с теми, кои по своему положению могут оставаться беспристрастными зрителями государственных и политических изменений, здесь совершающихся. Конечно, и Гизо еще не без надежды (il a aussi des chances en sa faveur). Ламартин, недавно встретив его после речи его, сказал ему à peu près так: «Cette génération vous appartient, et vous lui appartiendrez encore 10 ans; mais après ce sera au parti social (коей он себя почитает корифеем) à mener la barque». Тьер, недавно встретив Ламартина и депутата Janvier (коего также причисляют к сей же новой партии), поклонился им, приветствуя: «Je salue le parti social». Доктринеры усаживались на канапе: le parti social n'aura besoin que d'une causeuse. Ламартин почитает себя глубоким политиком, и Талейран, подшучивая над ним, уверял его, qu'il étoit encore un plus profond politique que grand poète, но что он взойдет на политический горизонт не прежде как чрез 30 лет, что теперь его еще немногие постигают, и т. д. Ламартину все льстят; недавно Гизо уверял его, что он может прочесть ему наизусть из каждой страницы «Жослена» по десятку стихов. Всего-навсего Ламартин получил до 8000 стихов похвальных, по издании поэмы своей. Все сии панегирики могут повредить только совершенству, отделке стихов, может быть и таланту его, но, конечно, не сердцу и не благородному его характеру. Уверяют, что он сбирается весною, вместе с Берье, в Петербург. Четыре молодые легитимиста точно едут, в числе их Labouillerie (сын бывшего интенданта дворца) и Фалу, умный и молодой литератор, он будет и в Москве.

1 апреля 1836. Вчера был у меня Гейнрихс, издатель «Коммерческого архива». Я показывал ему русскую «Коммерческую газету»; подарил ему английские приложения и предлагал и самую газету. Гейнрихс постара-

ется приискать кого-нибудь для перевода любопытнейших сведений, а между тем просит присылать к нему хоть в литеральном переводе на французском или хотя на немецком статьи из вашего журнала, кои могут иметь общий интерес для европейской или всемирной торговли. Он с благодарностию помещать их будет. Я, кажется, писал из Лондона, что Mac'Culloch, профессор политической экономии в Лондонском университете и известный писатель, издал коммерческий и мануфактурный лексикон, коего вышло уже два издания. Он желал, чтобы он сделался и в России известен. Ныне вышел перевод его на французском «Dictionnaire du commerce et des marchandises, par Mac'Culloch». Оригинал в одном толстом и мелкопечатном томе, из коего выйдут, вероятно, четыре на французском. Его можно назвать коммерческою энциклопедиею во Франции, где со времен Савари начались подобные лексиконы; лучшей книги и полнейшей по сей части еще не было. Не желая шарлатанствовать по такой сухой материи, посылаю газетную статью о сем лексиконе. Она может пригодиться вам и познакомит вас с полезною книгою. Mac'Culloch издал уже, вероятно, статистику Англии, по официальным материалам, и она вам могла бы очень пригодиться.

Регулярно ли вы читаете «la Gazette de France» и знаете ли статьи литературные Нитманов братьев, кои прежде работали для «Quotidienne»? Примечательнейшие о Боссюете (Bossuet Sermonnaire) в двух номерах, о Тьере как историке и ораторе и недавно о философе Лерминье. Все писаны прекрасно и дельно, хотя энтузиазм ко двору Людовика XIV в статьях о Боссюете и подлежит некоторым отметкам, но он справедлив к веку его в литературном отношении. «Le XVII-me siècle, ce paradis perdu de la littérature», в который он «глазами *французской* газеты заглядывает» из недр нынешнего литературного хаоса. Он защищает Боссюета за его проповедь, произнесенную «pour la profession de m-me la Vallière», которую и г-жа Севинье признавала недостойною гения Боссюета. Сии статьи примечательны и тем, что они доказывают, сколько еще здесь симпатии в умах и в сердцах не только высшего класса, но и в литераторах-roturiers, к прошедшему и как еще и теперь ослеплены писатели и даже историки блеском двора, столь чуждым нашему времени. Подумаешь, что они хотят уверить, как будто бы религия христианская сама получила какой-то новый блеск от того, что Людовик *грешный* ее исповедовал с великолепным двором своим; как будто бы *раскаяние* одной из его любовниц действовало на гений, на вдохновение Боссюета! Если в самом деле так, то тем хуже для оратора-христианина. Вот что панегирик Боссюета-*проповедника* (Sermonnaire) говорит по случаю пострижения ла Вальер: «Эта прекрасная дама, на лице которой была написана столь мягкая грусть и на котором отразилось глубокое раскаяние, иногда примешивала к нашим играм (в дни детства, проведенных на развалинах монастыря Шайо) меланхолические мысли. Дети, которые редко понимают идеи, прекрасно понимают чувства, а чувств было так много выражено на этом лице, обла-

гороженном слезами, на котором были видны слезы умиротворения и скорби и на котором любовь к мужчине уступала место любви к богу. Позднее, когда мы стали умнее, мадам де ла Вальер всегда казалась нам изящным олицетворением двора Людовика XIV, где были слабости, но не было рассудочной аморальности и где время от времени проявлялись суровые черты христианства среди радостей и блеска света как бы для того, чтобы напомнить, что этот век принадлежит христианству, так же как и это общество. Герцогиня Луиза де ла Вальер и монахиня-кармелитка Луиза де ла Мизерикорд — вот два имени и две судьбы в одной жизни; они воплощают эпоху и все общество. Вознесясь среди роскоши и удовольствий, каждая из этих жизней шла на склоне лет к раскаянию и покаянию. Например, княгиня Палатинская, герцог де Ларошфуко, маркиз де Севинье отдавали дань религии и морали путем громогласного возвращения на путь истины. И сам великий король, тот, слава и судьба которого вознеслись так высоко, что он счел Европу своим пьедесталом и солнце — своей эмблемой (какой христианин!), не имея возможности удалением в монастырь попрать свою гордость в суровости монашеского образа жизни, с высоты своего трона смиренно подчинялся руке божьей и при превратностях судьбы искал в уединении и в размышлении утоление своей скорби».

Боссюету нужны были знатные грешники. Вспомните, для кого и перед кем проповедовал Иисус Христос, кого он навещал, кого исцелял, кто были друзья его, братья его, — и с сими воспоминаниями о друге бедного Лазаря прочтите следующие строки, кои так понравились читателям de la «Gazette de France»: «В присутствии этой королевы, перед которой за много лет до того Боссюет в этом же самом месте произнес проповедь при пострижении в монахини м-ль де Буйон, в то время когда Мария Тереза в первый раз появилась в своей столице, облеченная блеском королевской власти и изяществом молодости, сегодня превосходный проповедник собирался ввести на путь монашеской жизни жертву не менее знаменитую, чем м-ль де Буйон, ту, чье легкомыслие в течение столь долгого времени наполняло горечью сердце ее королевы и благодаря которой прекрасная и благородная корона Франции, возложенная Анной Австрийской на голову королевы, стала терновым венцом. Величественная и прекрасная картина, достойная взоров этого общества, картина, над которой витала огромная тень Людовика XIV, чье отсутствие говорило само за себя».

Ла Вальер оправдала Боссюета 36-летнею жизнию в монастырском покаянии. «Таким образом, теснимая со всех сторон, она может дышать только устремляясь к небу». Боссюетовское выражение! Он писал о ней: «Я говорю, а она действует. Я произношу речи, а она творит!». Заключу словами Нитмана, после обращения Боссюета к ла Вальер назвавшего ее сестрою: «Как чудесна религия, по мановению которой почитают тех, кто унижает себя, а добродетель говорит раскаянию: сестра моя».

Другая статья того же автора и в той же газете — оЕрминье. Она также мне очень понравилась беспристрастием и основательностию критика, но критик мог бы смелее нападать на того, кто сам осмелился сказать Паскалю: «Vous vous trompez, Pascal», — находить ошибки в Кювье и поправлять Боссюета! — Нитман, критикуя Лерминье, associe à tout moment son nom à celui de Bacon, de Bossuet, de Leibnitz et le prend trop au serieux. И они так же, как и Лерминье, краткими статьями просвещали век свой и потомство. Лерминье объявляет, что хочет следовать примеру Бэкона и Лейбница, собирает все разнородные, в разных журналах рассеянные статьи свои о Пиндаре, о двухкопеечной энциклопедии, об эфемерных явлениях эфемерной литературы — и ставит их в категорию «Опытов» Бэкона, мелких творений Лейбница и полемики Боссюета! Я желал бы, чтоб критик к сильным замечаниям своим присоединил насмешку, которая вернее разочаровала бы молодую толпу, стекающуюся au Collège de France на пустословие экс-сен-симониста. Вот как отвечает критик на гордую фразу болтуна-профессора в его предисловии (я чувствую, что склонен работать таким же образом, как Лейбниц и Бэкон): «Бэкон и Лейбниц действительно опубликовали в течение своей жизни большое количество коротких и содержательных произведений, в которых они давали пример проникновенного разрешения проблем своей эпохи; и к этому высокому примеру профессор Коллеж де Франс мог бы добавить пример Боссюета, этого писателя, столь меткого, громогласные реплики которого не давали заблуждению развиться, едва оставляя ему время для возникновения. Как Бэкон и Лейбниц, Боссюет трактовал вопросы по мере того, как они возникали, кратко, но решительно. Это было периодической прессой той эпохи. Так как эпоха скорее была склонна к философии и религии, нежели к политике, то в философской и религиозной областях были сосредоточены непрерывная деятельность, потребность, в быстрых сообщениях, пылкая полемика, словом, все то, что породило газеты, эти книги дня, творимые ежедневно. Какими потрясающими журналистами предстоят перед нами Боссюет, Лейбниц и Бэкон! Однако эти превосходные журналисты, конечно, не стали бы прибавлять после того, как события совершились, к своим рассуждениям, отражающим умственную потребность данного момента и являющихся продуктом обстоятельств, обширных предисловий, цель которых заставить поверить, что эти статуэтки мысли образуют одну статую и что за этими разрозненными произведениями скрывается общая идея... Почему было не объявить попросту, что речь шла о переиздании различных статей литературного, критического и философского характера уже опубликованных авторов в периодических изданиях? На каких читателей рассчитывает господин Лерминье, если он пытается убедить кого-то, что рассуждение о Пиндаре и статья о господине де Ламенне были вдохновлены одной и той же мыслию и что размышления о христианстве и портрет Саллюстия являются различными сторонами одной и той же картины?».

Критик переходит потом к его *особенным* мнениям о главных вопросах истории и философии и превосходно разбирает его сен-симонистские бредни о христианстве. Вот прекрасные слова Нитмана, к коим он после применяет мнимую философию Лерминье: «Для нас философским единством является христианство. Христианство — это социальная философия, другой, на наш взгляд, не имеется. Мы скажем более: христианство — это само общество. В течение 18 веков эта великая душа нового времени проникла во все части огромного тела, которым она владеет. Произошло не только крещение людей, но и крещение идей. Когда какая-либо непокорная мысль поднимает голову, посмотрите на нее внимательно и вы увидите на ее лбу стертый знак креста. Вокруг этого бесконечного центра вращаются нравы, законы, умы новых времен, и будьте уверены, что если захотят поджечь этот огромный собор, в котором находится человечество в течение стольких столетий, то окажется, что поджигатели зажгли свои факелы от светильников, горящих на алтаре! Эти размышления отлично подходят к господину Лерминье».

Как это справедливо! Как это верно отражается во всей истории! Разве сен-симонисты не христианству обязаны тем, что в них было не нелепого? Разве не оно воспитало, образовало всех и каждого: философов и народ, врагов и друзей своих? Далее критик приводит слова Лерминье, где он уступает христианству века прошедшие, «но отнимает у него верховную власть над живущими и, предоставляя ему царствовать над мертвецами, отводит ему вместо трона могилу».

Он ставит его после Вольтера и Дидеро и сравнивает с отступником Юлианом, «пытавшимся мирным путем задушить христианство в сфере интеллекта, без резкостей, без пыток, после того испытания огнем и мечом, во время которого Нероны и Диоклетианы узнали, что христианство противостоит львам на арене цирка, тиранам Рима, пламени костров и пыткам палачей». Он называет Лерминье «Юлианом философствования». Повторяю, много чести. Я не хочу выписывать; но прочтите Лерминье там, где он перечит св. Павлу, который советовал женщинам молчание: «Мы не скажем (как апостол Павел) женщинам, чтобы они молчали, но скажем, чтобы они говорили». По моему мнению, можно было бы весьма кстати сказать Лерминье то, что апостол Павел говорил женщинам.

Вечер 2 апреля. Вчера был я два раза у Успенья, поутру и ввечеру, но поутру не дослушал проповеди Кёра от тесноты и духоты, а ввечеру не Кёр проповедовал, а другой, и очень плохо, да и публика не развлекала меня, ибо аристократки к вечерней службе не приехали, а выслали свою дворню, — и я ушел бродить по городу, набрел на концерт Мюссе, куда народ валил со всех сторон, пеший и экипажный, вероятно оттого, что шесть больших и лучших театров закрыты, а именно: Opéra, Théâtre Fr‹ançais›, Opéra-Comique, Vaudeville, Variétés, Gymnase — и в Palais Royal вместо театра драматический концерт; только в четырех играют: Porte St. Martin, Gaîté, Ambigu и в театре Comte; в цирке — grand manège. Все

полно. Но и церкви полны, и не одними женщинами? — Нельзя сказать, чтоб народ парижский был теперь «parcus deorum cultor et infrequens!».

Сегодня я зачитался в новых английских Reviews и не попал ни к одной проповеди, зато прочел прекрасную статью о парижских проповедниках.

XIII. ХРОНИКА РУССКОГО

Рим апреля 20/8 1835.

В самый день приезда моего сюда[1] я имел свидание с начальником секретного Ватиканского архива гр. Марино-Марини и на другой день рассматривал у него списанные для меня акты. Получив потом письменное дозволение от кардинала статс-секретаря Бернетти осмотреть секретный архив и хранящиеся в оном рукописи, я отправился туда с Марино-Марини и провел несколько часов в рассмотрении сей сокровищницы европейской и всемирной истории. Желая прежде всего удостовериться в точности списков, коих часть была уже в руках моих, я сличал некоторые с оригинальными документами, на пергамене писанными, и не нашел в списках никакого упущения. Я нарочно требовал не по порядку оригинальные акты для сличения с копиями. Впрочем, так как начальник архива по одним заглавиям документов назначает списки с оных, а писцы исполняют его приказания махинально, то и невероятно, чтобы с умыслом могли быть деланы в копиях упущения или перемены. Так как в первом каталоге рукописей, рассмотренном в Петербурге, находились многие не в хронологическом порядке, то я был вправе предполагать, что он был составлен слишком наскоро и что в архиве могли храниться и другие акты, к российской истории относящиеся. Заметив сие начальнику архива, я получил от него удостоверение, что вместо 91 документа он доставит мне около 140, уже якобы приисканных им в архиве. Он просил меня не обращать внимания при поверке документов на первый каталог, но иметь в виду гораздо большее число оных, кои обещал переписать по хронологическому порядку. В тот же день я получил от него 52 черновые списка для поверхностного рассмотрения и для сличения оных с каталогом ватиканских рукописей, собранных Альбертранди. С первого взгляда я заметил уже, что некоторые из новых помещены и в собрании Альбертранди, но я принял сии списки, желая лучше иметь некоторые документы вдвойне, чем подвергаться опасности не принять и того, что еще не помещено ни в одной исторической коллекции, тем более что один список может быть вернее другого и что по трудности разбирать старинные рукописи в списках могут быть варианты и ошибки. Чрез несколько дней я возвратил ему сии 52 копии, с тем чтобы по переписании оных набело я мог получить их обратно, вместе с другими.

Между тем приехал сюда из Флоренции известный своими историческими компиляциями аббат Чиямпи, в помощь мне назначенный. Я желал знать предварительно, допустят ли и его в Ватиканский архив, но при первом слове увидел, что этого ни в каком случае не должно было надеяться. Марино-Марини отклонил всякую возможность допущения аббата Чиямпи в архив, уверяя, что и для меня это сделано из какой-то особенной личной доверенности, основанной, вероятно, на справедливом предположении, что мои розыски не могут быть столь проницательны, как труды в архиве опытного в сем деле ученого. Я должен был принять на себя одного сношения по сему делу с архивариусом и указать другой круг деятельности аббату Чиямпи. Предметом оной будут частные библиотеки и архивы, в Риме находящиеся, в коих ему уже удалось найти, по крайней мере в рассмотренных им доселе каталогах, некоторые рукописи, до российской истории относящиеся. По возвращении сюда из Неаполя я получил от Марино-Марини списки с 72 документов. Предоставляю себе рассмотреть акты сии во всей подробности и, как скоро представится возможность, сличить оные с актами, в печатных коллекциях помещенными, и с ватиканскими списками Альбертранди, коих у меня здесь нет. Из предварительного же поверхностного обозрения убедился я, что из числа 72 актов, мною ныне полученных, в собрании Альбертранди находится уже 11. Таким образом, если мне не выдадут еще нескольких списков до закрытия здесь на все лето архива и библиотек, то я увезу с собою сии 72 акта и буду ожидать остальных, а между тем займусь поверкою и сличением полученных с прежде известными. Конечно, некоторые находятся уже и в других собраниях; иные из помещенных в сем каталоге не относятся до российской истории и помещены сюда по невежеству в сей части европейской истории здешних архивариусов, но при всем том, кажется, жатва довольно обильная, и материалы сии могут обогатить нашу отечественную историю. Вообще если историки других государств мало, весьма мало воспользовались сокровищами Ватиканского архива, то сие должно приписать не столько желанию скрывать оные или опасения гласности, сколько равнодушию и невежеству, с каким здешние ученые смотрят на сии предметы. Доказательством сему служат выписки из архива, сообщенные английскому и прусскому правительствам, а теперь и нашему. Со временем я надеюсь собрать любопытные сведения о сем архиве как по внутреннему устройству оного, так и по богатствам, кои отличают его от всех других европейских архивов сего рода. Теперь достаточно упомянуть, что в архиве Ватиканском, к коему присоединены и рукописи, хранившиеся прежде в крепости св. Ангела, находится более двух миллионов папских булл, все сношения римского двора с другими государствами, донесения нунций папских, так называемые *Регесты* (Res gestae) или события всего мира — история всемирная или по крайней мере материалы для оной. В особых кипарисных ящиках хранятся грамоты держав, *даровые записи*, клятвенные обещания разных государей, напри-

мер королей Неаполитанских и проч., и множество старинных документов, начиная с конца VII столетия до последних времен. Древнейшая же рукопись есть *codex diurnus Romanorum pontificum*, или журнал папского двора, расходов оного, и проч., писанный на пергамене в конце VII столетия. В нем вместо подписи, по безграмотности духовных, поставлены крестные знаки. Донесения епископов из разных государств, в числе коих и письма Боссюета. Акты вселенских и других соборов в особых шкафах: для одного Тридентского два шкафа. Акт так называемого соединения греческой и римской церкви на Флорентинском соборе за двумя печатьми: папы и греческого императора Палеолога. Копия с сего акта, современная оригиналу, с подписями. Собственноручное исповедание веры Марии, королевы шотландской, перед казнию ее писанное; оригинальное письмо Лудовика XIV к папе, коим уничтожает он знаменитые *четыре статьи* галликанской церкви; любопытные для нас дела Польши, и проч. и проч. Я заметил, что дела новейшие, начиная с последней половины XVIII столетия и последующие, не приведены еще в надлежащий порядок и даже разбросаны по столам, без реестров; так, например, я видел вместе с прусскими нотами бывшего министра Гумбольдта ноты министров императрицы Екатерины II и проч. Я читал грамоту императора Петра Великого, в коей он ходатайствует об оказании покровительства Борису Шереметьеву, отправленному в Венецию, в Рим и к *«славным Мальтийским рыцарям»*. Грамота сия не подписана императором; я списал с оной копию. Но всего любопытнее, по богатству исторических и дипломатических материалов, бумаги *нунциатур*, или донесения послов папских. Акты сии расположены по дворам, между тем как буллы следуют одна за другою, по времени объявления оных, без всякого систематического оглавления по материям или предметам. Несчетные богатства для истории! Но где бенедиктинцы, где Мабильоны и Ассемани для сего хронологического хаоса! Шатобриановы *необенедиктинцы*, к коим он приобщил недавно свое имя и для коих собирает теперь пособия ученая Европа — лепта от вдовицы, — сии новые Монфоконы еще не созрели. Одна Германия в *Перцовом* собрании: *Scriptores rerum Germanicarum*, для коего нарочно приезжал сюда барон Штейн, первоначальный собиратель сих актов, может уже гордиться некоторыми результатами розысканий своих ученых в сих тайниках истории, на коих лежит еще, кажется, мрак средних веков.

Полагаю уехать отсюда, как скоро начнутся сильные жары и архивы и библиотеки закроются, т. е. недели через три.

Рим 21/9 апреля 1835.

Порученное мне дело начато не без успеха; я мог бы уже отправить и самые списки с актов, переписанных в секретном Ватиканском архиве, но тогда невозможно бы мне было сличить оных со списками Альбертранди, кои я давно уже оставил в Париже, предполагая некогда там издать

их и удержав у себя один каталог оным. Там во всякое время года открыты архивы и библиотеки, и, следовательно, все способы для труда исторического. Не имея перед глазами собраний исторических актов, каковы, например, Райнальди, Паги, Ассемани и проч., нельзя знать, которые из приобретенных ныне уже известны и напечатаны вполне или только в выписках. Таким образом, обязанность по делу, на меня возложенному, согласна с желанием моего сердца — провести некоторое время близ могилы моего брата. Конечно, не наслаждения иного рода влекут меня туда, где я еще не совершенно одинок и где надеюсь, в тишине кабинета и в мирных исторических занятиях, коих предмет — Россия, отдохнуть хотя на время от жизни, в которой было для меня столько утрат и столько бедствий!

Париж 12 июня/31 мая 1835.

В самый день моего сюда приезда[2] я был в отделении рукописей Королевской библиотеки, и, имея перед глазами часть каталога, в коей я мог предполагать те бумаги о России, на которые указали мне в Риме, я отложил несколько фолиантов с рукописями; разбор оных занимает меня с того времени ежедневно.

Так как здешнее королевское собрание рукописей в архиве библиотеки составлено из разных частных коллекций, то по рассмотрении общего каталога должно разбирать каждую и особенно те, в коих находятся акты по дипломатическим сношениям. Сии акты начали поступать не прежде, как при Лудовике XIV в особенный архив иностранных дел, при сем министерстве учрежденный. В сем архиве *старые* дела, имеющие токмо одно *историческое* достоинство, не почитаются государственною тайною, и главный архивариус, историк Минье (Mignet), с разрешения министра обещал уже отобрать для меня все бумаги, в коих могут встретиться документы по сношениям Франции с Россиею, в царствовании Петра I и прежде его бывшим.

Сверх сего, есть еще главный государственный архив под ведением министерства внутренних дел, коего главным оберегателем (conservateur) известный Дону (Daunou). Я надеюсь иметь доступ и туда.

Между тем розыски мои в архиве Королевской библиотеки не были бесплодны. Я нашел уже много старинных бумаг и удостоверился, что в сем архиве много сокровищ для нашей истории, но при ежедневном занятии я мог по сие время только отметить и выписать для себя заглавия некоторых статей, кои показались мне любопытными. Прилагаю реестр оным в том порядке, в каком я встречал их в разных местах просмотренных мною фолиантов. Я еще не успел сличить их ни с рукописями, ныне из Рима привезенными, ни с теми, кои нашел в коллекции Альбертранди, остававшимися здесь с 1830 года. Отобрав все, что найду любопытного и важного для российской истории в здешних архивах, я постараюсь приискать писцов верных и исправных в своем деле.

Я купил изданную недавно здесь книгу в двух частях, о российской истории, под названием «Nestor», переведенную с перевода Шерера (а не по изданию Шлецера), и увидел, что сочинитель оной Парис (Paris) к переводу Нестора и к обзору российской истории приложил несколько документов, до России относящихся и найденных им в тех же фолиантах Королевской библиотеки (где брат его помощником библиотекаря), где я нашел их. Но так как многое оставлено им без внимания, то я надеюсь, что мое собрание сохранит свою цену и после книги Париса, тем более что он не продолжает своего труда и находится теперь библиотекарем в Реймсе.

В бытность мою в Лондоне известный книгопродавец Муррай — друг и издатель Байрона — уступил мне найденную мною у него рукопись, содержащую подробный «Журнал генерала Гордона», шотландца, служившего во время двоецарствия и потом при Петре I. В сем собственноручном, как кажется, журнале означает он хронологически и ежедневно, с 1684 по 1698 год, каждое происшествие его времени как в Москве, так и в других городах и во время путешествия его по России, все случаи его жизни и службы, все сношения его с военными и гражданскими начальствами в России, все походы его и все управление по военной части и по разным должностям, кои на него были возлагаемы. Записки Гордона могут быть любопытны не только для истории сего времени, и особенно для биографа Петра Великого, но и для занимающихся историею государственного управления в России вообще.

Не знаю, каким образом рукопись сия попалась в руки английского книгопродавца, тем более что, кажется, она принадлежала к архиву иностранных дел в Москве, ибо, сколько я могу упомнить руку моего первого начальника по службе, на первом листе сей рукописи и в начале 1796 года отметка сделана рукою г. Бантыш-Каменского, бывшего управляющего сим архивом, или его предшественника и сослуживца Соколовского.

Возвращая рукопись сию России, желаю, чтоб она послужила материалом для будущего историка преобразований Петра I, а вместе с сим и доказательством моей преданности и любви к отечеству.[3]

Париж 4 июля/22 июня 1835.

Я продолжаю заниматься ежедневно в Королевской библиотеке разбором рукописей, и, получив позволение от здешнего министра иностранных дел рассмотреть в архиве оного сношения Франции с Россиею, до времен императора Петра I и в его царствование, я занялся сим делом с усердием, соразмерным важности и богатству сих исторических материалов. Так как мне одному, и без писца, позволено в самом архиве разбирать оригинальные документы, то я должен рассматривать, отмечать и выписывать сам все любопытное и достопримечательное в сношениях

французского двора с Россиею. Ежедневно от 10 часов утра до 4 пополудни я работаю сперва в Королевской библиотеке, которая открыта только до 3 часов, а потом в архиве иностранных дел. Я нашел в первом любопытные акты и отметил уже в 16 фолиантах все, что надобно будет выписать, приговорил писцов, но еще не мог сообщить им самых рукописей, здесь отысканных, ибо занимаю их перепискою актов, привезенных из Рима. В архиве же иностранных дел пересмотрел я семь фолиантов, кои заключают в себе эпоху от 1660 до 1716 года включительно. Тут происшествия, особливо царствования Петра I, чрезвычайно интересны и важны, наиболее же в тех документах, в коих описана вся война Петра I с шведами и турками, когда Россия грозно и величественно вошла в систему держав европейских и стала наряду с первейшими. Донесения дипломатов о России, о преобразованиях Петра I, о его сподвижниках, характеристика многих; первые начала наших торговых сношений с Франциею, первые опыты образовать коммерческие кампании в Руане и Париже, соперничество Франции с Англиею и Голландиею за Россию, описания воинских и гражданских подвигов Петра I, донесения о состоянии армии и первого русского флота, таблицы войскам, планы сражений с турками и шведами и донесения о сем разных агентов — все это теперь передо мною. Главное в первых семи фолиантах отмечено и отчасти выписано. Для разобрания некоторых *собственных имен* в донесениях французских и других министров нужно было составить список послам, посланникам и агентам как французским, так и русским. Я достал сии списки, весьма любопытные и нужные для определения каждой эпохи в истории наших дипломатических сношений, кои начались с Франциею прежде 1625 года посольством из Франции и в 1654 году посольством из России. Сии списки служат мне указателями в разборе депешей и дипломатических инструкций. В числе актов находятся грамоты Петра I и другие бумаги на русском языке.

Здесь у меня все под рукою. Я, конечно, телом живу во Франции, но душою весь принадлежу России, и все время и все способности посвящены ее истории. Конечно, я не успею всего выписать, ибо в одном архиве иностранных дел более сотни фолиантов о России, но по крайней мере я отмечу все важнейшее, укажу на те бумаги, кои после правительство наше может выписать отсюда, полагая, что если частному человеку, без всяких связей и только из одного уважения к трудолюбию в истории, позволили пользоваться сими сокровищами, то правительству нашему не откажут в списках с документов, имеющих одну *историческую* важность.

Париж 13 июля/1 июля дня 1835.

Министр коммерции Дюшатель доставил мне сегодня представленные им королю «Статистические документы Франции». Книга сия напечатана в числе немногих экземпляров и не поступит в продажу. Администраторы и ученые отозвались о ней с величайшею похвалою. Сия книга объемлет

все предметы государственного управления и все движения и результаты оного. Каждое министерство доставляло министру коммерции материалы для сей статистики. В самом министерстве коммерции под надзором министра опытные чиновники и ученые трудились над поверкою статистических материалов и над приведением оных в ясный систематический порядок; так, например, известный академик, начальник статистического отделения в министерстве коммерции, Moreau de Jones составил таблицы по торговой части — в сей статье помещена сравнительная таблица торговли Франции с Россиею с 1821 до 1833 года.

Картины сил воинских, по части министерства военного и морского, также примечательны.

Взамен сей книги я послал министерству коммерции отчет министра финансов по департаменту внешней торговли за 1833 год, в С.-Петербурге изданный.

Поспешая теперь оставить Париж, я оставляю до другого времени уведомление о найденной мною здесь, в частных руках, переписке бывшего французского министра иностранных дел Вержена с французским послом при российском дворе маркизом Верраком во время министерства графа Панина. Эпоха сия весьма любопытна в истории нашей дипломатики. Донесение Веррака об отъезде в чужие краи из Царского села 1781 5 октября великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Феодоровны и письмо к нему Вержена от 23 июля 1782 о пребывании их императорских высочеств в Париже заключает любопытные подробности.

Лондон 21/9 августа 1835.

Здесь в Лондоне рассматривал я тщательно в музее Британском каталоги рукописей и нашел в тех, кои бывший лорд Лансдовн, отец нынешнего министра, продал правительству, множество актов, относящихся до российской истории, особливо до торговли, а именно до российско-английской компании, здесь с давних времен учрежденной; но сообразив нумера сих документов с выпискою из каталога Румянцевского музея, которую взял с собою из Петербурга, я усмотрел, что покойный канцлер граф Румянцев выписал отсюда почти все сии рукописи, как русские, так и английские, и в музее его находятся уже те самые нумера, кои я отметил здесь. Особенно любопытны сношения России с Англиею во времена королевы Елисаветы как по делам торговли, чрез Архангельск, так и по личной переписке с королевою царя Ивана Васильевича, коего в английских актах называют уже императором.

Так как я не мог найти здесь ничего нового в отношении рукописей, то я обратился к другому предмету, а именно к трудам здешних юрисконсультов, коим правительство поручило пересмотреть старые и особенно уголовные законы (в коих здесь хаос) и представить проект новому уложению. Часть сего дела уже кончена. Один из главных сотрудников в оном

объяснил мне ход и успехи оного и необходимость исправлений в английском уголовном законодательстве, доставил мне два пространные рапорта королю об учреждении для сего дела комиссии, напечатанные по повелению правительства: 1) First Report from his majesty's Commissioners of criminal law (от 24 июня 1834) in-folio. 2) Report of the Commissioners appointed to inquire into the consolidation of the Statute law, presented by command of his majesty (от 21 июня 1835) in-folio.

При доставлении сих актов, в коих содержится уже полный обзор уголовных английских законов с указанием на недостатки оных и на неимоверную запутанность, Беллендер Кер, один из пяти членов комиссии законов, уведомляет меня, что они занимаются теперь составлением полного уложения (Code), и предлагает доставлять мне сие уложение по частям, по мере отпечатания; я принял сие предложение с благодарностию. Прилагаю у сего копию с письма ко мне Беллендера Кера.

Я снова осмотрел здешние народные училища, новый университет, гимназию, при оном учрежденную, и другие заведения, особливо по части народного просвещения и общественной благотворительности. Ничто так не радует сердце, как успехи в усовершенствовании так называемых Детских школ (Infants-Schools), где видишь всю нежную, отеческую заботливость наставников и смотрителей о малолетних и результат сих попечений. В главной из сих школ, под портретом короля Георга III, написаны слова его, сказанные Ланкастеру: «Я бы желал, чтобы в каждом английском семействе была Библия». Гейнрих IV желал, чтобы в каждом семействе, во Франции, был суп с курицею: Англии и Франции остается пожелать государя, который бы пожелал для своих подданных — и Библию для нравственного их назидания, и — курицу в суп![4]

Париж 3 сентября/22 августа 1835.

На сих днях я возвратился сюда из Лондона и на другой же день начал опять работать в архиве иностранных дел, где мне по-прежнему выдают фолианты дипломатических сношений Франции с Россиею. Вчера начал я рассмотрение 19-го фолианта, до восшествия на престол императрицы Екатерины I простирающегося. Я не успеваю даже всего прочитывать, а только отмечаю те инструкции, депеши и документы, кои по первому обозрению кажутся мне заслуживающими особенное внимание и, следовательно, должны быть переписаны. Я вношу в мой журнал только главное содержание и эпоху каждого фолианта. — По моему мнению, надлежало бы — если министерство здешнее позволит — переписать все сии акты, так как покойный канцлер граф Румянцев и граф Семен Романович Воронцов списали все подобные акты английского министерства иностранных дел. В них множество подробностей, драгоценных не только для истории наших дипломатических сношений, но и для истории гражданской, и особенно военной. Читая донесения французских министров из Москвы

и Петербурга и инструкции, кои они получали из Парижа, мне пришло на мысль, что сия переписка может также служить практическим наставлением для молодых дипломатов, кои могли бы в оной не только наблюдать ход дел политических, но по некоторым депешам и инструкциям учиться, так сказать, практической дипломатике и образоваться в слоге, в редакции бумаг дипломатических всякого рода. Конечно, не все акты равного достоинства в сем отношении, но есть между ними и примерные в своем роде.

Так как сношения наши с Франциею касались часто и других государств, то история оных и сношения с Россиею также объясняются в сих актах: например, Турции, Швеции, Австрии, бывшей Польши; а в последнее время царствования Петра I Франция была посредницею между Англиею и Россиею: Петр за многое негодовал на английское правительство и даже готовился к войне, — Франция мирила нас. История представляется здесь совсем в ином виде, нежели в обыкновенных обозрениях главных событий в государствах: ясно видны тайные политические замыслы, первые, так сказать, зародыши важных исторических происшествий, пружины, коими приводили тогда в действие государственные машины, талант действовавших лиц и правила кабинетов. Для нас, русских, рисуются тени — столь слабо обозначенные в наших собственных исторических материалах — Головкиных, Ягужинских, Меншиковых, Остерманов и наконец Петра, о коем говорят иностранцы: правители и министры, послы и агенты всякого рода, не всегда с равным беспристрастием, но всегда с каким-то невольным, вынужденным энтузиазмом к необыкновенному, великому, везде и во всем являющемуся. Странное действие производит явление Петра на театре мира и в постепенном наблюдателе тогдашних событий, при хронологическом чтении сих актов! Вы видите сначала, даже и при самом Петре, в Москве несколько частных покушений торговых обществ и возникающие из сего материальные интересы, покровительство, оным оказываемое, и какое-то осторожное, неохотное сближение, сперва с частными лицами, потом и с правительствами, и вдруг читаете вы депеши Потемкиных, Матвеевых, Кантемиров, Куракиных, Долгоруких и видите уже обдуманную, опытную политику Остермана и, повторяю, — везде и во всем Петра! Европейские кабинеты вдруг заговорили о нем, о России уже, а не о *Московии!* назвав, по какому-то невольному движению императорами ее государей прежде, нежели согласились давать им сие титло особенными договорами. Кабинеты при Петре I заспорили о сем титле, как бы предчувствуя в титле будущее России и страх Европы...

Из сих актов внутренняя история России также делается нам известнее: каждая перемена в образе управления, каждая осуществленная мысль Петра были замечаемы дипломатами, и документы деятельной жизни его, внутри России и вне оной — грамоты на бессмертие — прилагались часто к депешам. Тогдашние правители Франции дивились. То, что для них

иногда помрачало исторический, нравственный характер Петра изъясняли они необходимостию, не любили, унижали русских, но — извиняли Петра. Смерть его произвела в тех дворах, с коими он был в непосредственном сношении, необыкновенное, разительное действие. Описание последней болезни его читает русской с какою-то досадою: кажется, так легко было спасти его! Он хотел быть сам своим доктором; истинная болезнь его была долго тайною и для самых приближенных. Его лечили только наружными средствами; неосторожность его усиливала болезнь. Доктор-итальянец брался излечить его, но ему не доверяли. Приближение смерти Петр Великий ознаменовал подвигами милосердия: он велел освободить пленников из тяжкого заточения — воля его была в последний раз исполнена с точностию. Приближенные не надеялись, но страшились и за него и за столицу, ибо войско давно уже не получало жалованья. При дворе были партии. Хотя Петр и короновал незадолго перед тем Екатерину, но не все были за нее: хотели регентства. Вероятно, пример Франции действовал тогда на государственные умы в России. В 5 часов утра Петра не стало. Провидение указало ему — не России — предел. «Европа назвала его Великим», — сказал наш незабвенный историограф.

Простите мне сие невольное отступление от предмета письма моего. Мне советуют не заживаться в Париже, но я в Париже заговариваюсь о России, — заговариваюсь, но только в письмах.

К несчастию, я возвратился сюда, когда уже Королевская библиотека заперта для публики и все библиотекари пользуются вакантным временем с 1 сентября до 15 октября. — Я не могу до сего срока брать оттуда рукописей и отдавать их переписчикам, а там также много любопытных актов, относящихся до России прежде Петра I.

Париж 18/6 сентября.

В последние дни я занимался отобранием в архиве Королевской библиотеки тех документов, коих переписка должна начаться с 15 октября, когда снова библиотека откроется для публики. До тех пор начальник сего архива Шампольон-Фижак позволяет мне приходить в архив один раз в неделю, а иногда и два раза, когда он сам там бывает. Он показывал мне тот самый экземпляр записок о России Манштейна, коим пользовался Вольтер при сочинении истории Петра I. Он подарен Фридрихом II лорду Марешалу, который передал его историку Юму, а Юм подарил его известному литератору Сюару, коего рукою все сие отмечено на заглавном листе рукописи. По кончине Сюара букинист купил его бумаги и продал недавно сию драгоценную рукопись здешней Королевской библиотеке. Печатные записки Манштейна совсем не так полны, как сия рукопись, с поправками и пополнениями рукою Манштейна. Сии записки содержат любопытные материалы для русской истории в первой половине XVIII столетия. Так как действ. статский советник Аделунг имел также полный

экземпляр сей рукописи, то вчера я писал к нему с попутчиком и просил уведомить меня, нужно ли, по его мнению, списывать здешний полный экземпляр Манштейна.

Вчера же получил я из Рима еще 85 актов Ватиканского архива, при письме графа Марино-Марини. Бумаги сии лежат передо мною, но я успел просмотреть только реестры.

Теперь я должен прежде всего:

1. Сличить реестр оным, а потом и самые бумаги с теми, кои нашел я в Королевской библиотеке, дабы не списывать некоторых вдвойне. Труд сей не может быть начат прежде 15 октября.
2. Сличить оные с прежними моими ватиканскими рукописями под названием Альбертрандиевых.
3. Отметить те, кои были прежде напечатаны в каких-либо исторических собраниях, дабы не списывать второй копии с тех, кои были уже где-либо напечатаны.
4. Переписать второй экземпляр сих документов, дабы в случае затеряния оригиналов не лишиться оных невозвратно.
5. Привести все сии акты в хронологический порядок.

В архиве иностранных дел рассмотрел я 21 фолиант; в следующем уже кончина Екатерины I. Будущее России решилось в этой эпохе на долгое время. Главными действующими лицами — Голстинский принц и министр его Басевиц, Меншиков, Головкин, Толстой, Остерман, Ягужинский и, страх двора, командовавший войсками в Украйне фельдмаршал князь Голицын. Так как в совет приглашаемы были и иностранные министры на конференции по дипломатическим сношениям с их дворами, то по сему поводу министры сии угадывали и узнавали многое и о внутренних делах России и доносили об оных.

Париж 14/2 октября 1835.

Послезавтра открывается Королевская библиотека для всех, и я приговорил уже двух писцов для копий и приготовил им материалы. — В архиве же иностранных дел продолжаю работать ежедневно, отмечая важнейшее. Там три писца переписывают для меня с оригинальных депешей; так как в них перемешано важное с мелкими случаями тогдашней дипломатики, то выбор иногда затруднителен, но истинно исторических достопримечательностей так много, что труд вознаграждается с избытком. Я прошел уже царствование Петра I, Екатерины I, Петра II. Теперь разбираю — императрицы Анны. Остатки фамилии Меншикова возвращены; дочь любимца Петра I, сестру невесты Петра II, в ссылке умершей, выдают (или сватают) за брата любимца Анны Иоанновны, Бирона. Долгорукие и смелый Румянцев, наперсник Петра I, или в пытках, или в ссылке гибнут; фельдмаршала Голицына не стало; новый полк гвардии, Измайловский, учрежден в Москве, наполнен курляндцами и финляндцами и дан Левенвольду,

другу Бирона; партия *старых русских* ропщет, и двор из Москвы сбирается снова в Петербург; политика все еще сильного в делах дипломатических Остермана торжествует; кабинет наш снова сблизился с венским, но и с Англиею сближают нас взаимные выгоды торговли и устранение влияния якобитов. На сих днях надеюсь кончить 1731 год в 26-м фолианте.

Париж 3 октября/21 сентября 1835.

Сегодня прочел я биографию графа Толстого, которую написал датский министр, при дворе Петра I, Екатерины I и Петра II долго находившийся. Он снабдил ею и тогдашнего французского агента при нашем дворе. Автор был отчасти сам свидетель повествуемых им происшествий и знавал лично тех, коих характер и действия описывает. Я еще ничего не читал любопытнее сей записки о сей эпохе. Весьма примечательны также биография Екатерины I, другим дипломатом составленная, и записка под заглавием «Réflexions d'un solitaire Russe» 1742 года, которую на сих днях пристав Королевской библиотеки нашел между старыми бумагами, в реестр архива еще не вошедшими. В сих же не внесенных еще в каталог бумагах найден в оригинале «Journal du Sieur de Cateux mestre de camp d'un régiment de cavalerie et gentihomme ordinaire du Roy, touchant les Moscovites arrivez en France en l'année 1668». В сем журнале описан приезд нашего первого посланника во Францию Петра Ивановича Потемкина, встреча его чиновниками Лудовика XIV и путешествие из Греньяна (Graignau, à deùx lieux de Bordeaux) в Париж. Все сии бумаги уже переписаны. Но то, что случайно открывается при чтении дипломатических актов и депешей, часто важнее полных статей и бифрафических подробностей. В сию категорию поставляю я, например, важный для нашей истории факт, найденный в оригинальных бумагах 1728 года и теперь преследуемый мною в последующих актах с особенным вниманием; факт, что мысль о разделе Польши не только что не родилась в русской политике, но была отвергаема русским правительством в 1728 году, когда сам польский король Август и король прусский затевали раздел Польши и центром сношений своих избрали — Москву, где тогда находился двор наш; агентом же испанского посла — герцога Лирия, который тогда был, кажется, и под влиянием венского двора. Я выписываю тщательно все то, что до сего факта относится. В сие время главным действующим лицом в нашем кабинете был Остерман, хотя под канцлером графом Головкиным. Теперь я оканчиваю рассмотрение 1729 года в 24-м фолианте.

Чем более работаю в архиве, тем более убеждаюсь, что мне бы надлежало, отметив и записав здесь все нужное, с помощию сих выписок и с копиями целых бумаг, кои время позволит переписать здесь, возвратиться в московский архив и там просмотреть дела тех годов, кои пройду в здешнем дипломатическом архиве, и потом уже со всеми сими сведениями снова возвратиться сюда для окончательной переписки.

Вместе с сим желал бы я иметь здесь, в пособие моим занятиям, все то, что вышло в России в печать, относительно истории Петра I и последующих времен; здешнему же архиву иностранных дел и Королевской библиотеке можно бы, я думаю, подарить, чрез меня или хотя чрез посольство наше, по экземпляру «Государственных грамот», издаваемых при архиве, в Москве, на счет суммы, завещанной канцлером графом Румянцевым. Я знаю, что множество сих экземпляров лежит в Москве без всякого употребления. Желание сие исполнено, и министерствам иностранных дел и народного просвещения в Париже доставлено от нашего двора по экземпляру сего собрания грамот.

Париж 12/1 февраля 1836.

У одного из здешних ученых собирателей рукописей, г. Монмерке, находится оригинальная переписка бывшего французского министра иностранных дел Вержена с тогдашним послом при нашем дворе маркизом Вераком, найденная им в бумагах секретаря посольства в Петербурге Кальяра, умершего здесь в 1807 году. Так как г. Монмерке намерен был напечатать любопытнейшую часть сей переписки в одном из исторических повременных изданий, то я и не домогался о приобретении рукописей покупкою. Недавно он доставил мне листы, содержащие сию переписку. Из депешей Вержена и Верака ясно видно, какое влияние имело министерство графа Панина на дела в Европе и каким уважением пользовалось оно в главных европейских кабинетах. Это была эпоха *вооруженного неутралитета* — система, созданная петербургским кабинетом для обуздания могущества Англии на морях. В этой переписке есть и другие предметы, на кои тогдашние дипломаты обращали внимание, например виды на восток императрицы Екатерины II при рождении великого князя Константина Павловича; падение кредита графа Никиты Ивановича Панина при дворе. характеристика его управления министерством и преемника его графа Остермана; отъезд великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны из Царского села в чужие краи и пребывание их в Париже.

В «Bulletin de la Société de l'histoire de France» напечатано несколько писем Верака и Вержена о России.

Я постараюсь, чтобы г. Монмерке показал мне и остальные бумаги, приобретенные им по смерти Кальяра, и если найду в них любопытные для русской истории акты, то употреблю все зависящие от меня средства для приобретения оных. Бумаги сии, не помещенные в «Исторический бюллетень», не имеют, может быть, довольно исторической важности для французских ученых, но для нас «и дым отечества приятен».

Париж 26/14 февраля 1836.

На сих днях я купил у одного собирателя любопытных рукописей связку бумаг, кои хотя не относятся непосредственно до России, но по

содержанию своему показались мне довольно важными для истории нашей войны с Турцией (1770—1780 годов) и до политических отношений, в коих Россия находилась тогда с Францией и с Польшей. Французское правительство, тайно покровительствуя тогдашним врагам России — Турции и Польше, отправило драгунского полковника Valcroissant в Царьград, и министр иностранных дел герцог Шуазель в инструкции, данной им Валькруасану (которая у меня в оригинале), предписал ему от 7 июня 1770 года, по прибытии в Константинополь и явившись к французскому послу Сен-При (St. Priest, коего дети служили после в России), действовать по его указаниям, отправиться оттуда в Вену (где должен выдать себя за родственника Сен-При) и там сообразить свои дальнейшие действия с целью его экспедиции. «Le Roi désirant avoir des nouvelles certaines et détaillées de l'armée Ottomane qui agit vers le Dniester», — сказано в инструкции. Также: «Le besoin qu'ont les Turcs de conseils pour diriger leurs opérations feroit désirer au Roi qu'il fut possible que le S. Valcroissant trouvât quelque moyen d'influer dans leurs résolutions». — «Si les préjugés et l'orgueil des Turcs rendoient ce plan impraticable, on est persuadé que le S. Valcroissant trouvera d'autres moyens de se signaler. Tel serait par exemple celui de se mettre à la tête des confédérés de Bar ou d'un corps qui serait adjoint et levé et agirait en leur nom». Шуазель заключает свое предписание следующим образом: «On terminera ce mémoire en lui recommandant (т. е. Валькруасану) de ne jamais perdre de vue la position où le Roi se trouve vis-à-vis de la Russie, ni les ménagemens qu'elle doit à cette position dans les mesures mêmes que sa sagesse et le bien de l'humanité le lui dictent».

Вследствие сего Валькруасан вошел в сношение с Барской конфедерацией, получил в команду полк и доносил обо всем как Шуазелю, так и Сен-При из разных мест Турции, в коих в 1771 и 1772 годах турецкая армия находилась как в лагерях, так и при осаде крепостей (из Землина. Варны, Карагулы (близ Варны), Исакча, Бабадаха, Босны (близ Силистрии), Рущука, Черновод). В сих-то донесениях нашел я множество подробностей о действиях русской и турецкой армий и о Барской конфедерации. Нередко встречаются имена Репниных, Румянцевых. Я не в праве судить о стратегической важности сих бюллетеней и донесений, но мне кажется, что они могут пополнить и пояснить историю тогдашних военных действий и, *при случае*, пригодиться на самом деле тем, кои захотят покороче с театром войны.

Я старался по возможности привести в порядок сии бумаги, коим роспись, мною наскоро составленную, при сем препровождаю, отметив в ней, какие из бумаг находятся в оригинале и какие в копиях. В сей связке были и другие бумаги, к экспедиции Валькруасана не принадлежащие; я также означил их в описи.

XIV. ОТРЫВОК ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Веймар. Тифурт. Дом и кабинет Гете. Письмо к нему В. Скотта

Препровождая к вам письмо Вальтера Скотта к Гете, списанное для меня в Веймаре с оригинала, я выписываю для «Современника» то, что в журнале моем упомянуто о посещении Тифурта и городского дома Гете в Веймаре с канцлером Мюллером, другом и многолетним его собеседником, и с Крейтером, секретарем и хранителем бумаг и книг Гете.

21/9 июня 1836 Веймар*

Поутру отправился я с канцлером Мюллером в Тифурт, где я бывал некогда с мечтами и воспоминаниями, с грустию по умершем брате и с благодарностию к *той*, которая не чуждалась этой грусти... *Она* все живет здесь и одушевляет, воскрешает прошедшее, олицетворяет в себе одной — Луизу и Амалию,[1] — и о *ней* со временем скажет Веймар, как Россия о ее матери: «pertransit benefaciendo». Помню, что в беседке, где Шиллер и Гердер любили и заставляли любить человечество, вырезал я на камне несколько слов благодарности.

Мы вошли во двор скромного, сельского домика, где в продолжение более 40 лет расцветал цвет германской словесности, под благотворным влиянием просвещенной хозяйки-владычицы; где живал каждое лето Виланд; где Гердер, Гете, Шиллер, Кнебель, собирались *мыслить вслух при дворе*, во услышание всей Европы и потомства, водворять в Германии владычество 18-го века, поэзии, философии, прагматической истории человечества и в беседах своих, в сей академии возрожденного германизма, воскрешать Древнюю Грецию, изменяя и возвышая ее христианскою философиею. — Паганизм Виланда не чуждался ни библейской поэзии Гердера и «идей» его о судьбе человечества, ни Шиллеровой религии сердца христианского, ни хладных сомнений всеобъемлющего, но не все постигшего гения Гете-Мефистофеля.

В этом домике все просто как гениальное создание, все миниатюрно, но в миниатюрном отражается великое и возвышенное! Для Германии

---

* Я писал это про себя, в тиши трактирной коморки, Zum Erbprinzen, «не думая чувствовать и мыслить вслух», еще менее льстить дружбе, или веку, или Веймару и...,

Теперь — я лишь друзей хочу забавить.

Александр Тургенев.

этот домик то же, что ботик Петра Великого для флота русского, то же, что *летний домик* его для России.

Тифурт — святыня германского гения, ковчег народного просвещения Поэзия влиянием своим на современников Гердера, Шиллера и Гете созидала историю, приготовляла будущее Германии и сообщала новые элементы для всей европейской литературы, для Байрона и Вортсворта, для исторического ума Гизо и Фориеля (о нем сказал кто-то: «C'est le plus allemand des savans français»), для души, которая все поняла и все угадала и все угаданное и постигнутое в Германии передала Франции и Европе, для души — Сталь; наконец, для нашего Жуковского, которого, кажется, Шиллер и Гете, Грей и Вортсворт, Гердер и Виланд ожидали, дабы воскликнуть в пророческом и братском сочувствии:

Мы все в одну сольемся душу.

И слились в душу Жуковского. — Этому неземному и этому *лучшему своего времени* «dem Besten seiner Zeit», этой душе вверили, отдали они свое лучшее и будущее миллионов! Гений России, храни для ней благодать сию. Да принесет она плод свой во время свое.

Веймарский мой cicerone, Мюллер, был и сам два года одним из собеседников сих корифеев немецкой словесности, и его часто приглашали в круг их. — Виланд был одним из старейших членов тифуртской беседы и написал здесь большую часть своих сочинений. Гете провел здесь лучшую часть поэтической и долговременной жизни своей.

Мюллер выводил меня по всем комнатам и в каждой показал мне все предметы, все бесценные безделки, кои напоминают герцогиню и друзей ее, просветителей Германии. По стенам и во всех уголках, — так что нет ни одного незанятого местечка, — ландшафты, портреты, напоминающие тогдашнюю эпоху, тогдашний мир веймарский и тифуртское житье-бытье. Владетельный великий герцог, страстно любящий Тифурт, присылает сюда все, что имеет для него или для семьи его какую-либо цену, сливая, таким образом, родное со славою века и священные тени минувшего сближая с милыми ближними своего времени и своего сердца: эта *кладовая* гения и сердечных воспоминаний служит для него приютом и убежищем во всякое время года; здесь более, нежели где-либо, для потомка Бернгарда, воспетого Шиллером,

Много милых теней восстает!

Столовая, гостиная, кабинет незабвенной герцогини — все сохранено в первобытном виде, и все осталось на прежнем месте; рука человеческая не изменила их, время их еще не коснулось, и хозяйка и гости ее как будто бы удалились в кущу рощей и в беседке забыли и время и приют свой, их еще все ожидающий. Вы видите рукоделья, шитье хозяйки: за стеклом опахало ее. В верхнем этаже — комнатки-клетки, но и там все посвящено воспоминанию. Наконец, Мюллер описал мне весь прежний тифуртский

быт, всю старину, указал место, где собиралось общество, где беседовала герцогиня наедине с мудрецами своими. — Оттуда провел он меня в парк, в беседку, где она проводила с ними послеобеденное время, иногда приносили туда и обед. Мы взглянули на памятники Виланду, Гердеру, дяде нынешнего герцога, умершего на поле сражения противу французов, в саксонской службе: Гете дал идею для памятника и сочинил надпись.

Перед вами аллея в гору, на вершине коей какая-то статуя. — Мы перешли мостик чрез неумолкающую Ильму. Здесь часто останавливались, разговаривали, мечтали поэты-философы Веймара. Гете разыгрывал на берегу Ильмы и на самом мостике одну из пиес своих.

Klein bist du und unbedeutend unter Germaniens Flüßen,
Aber du hast gehört — manches unsterblich' Lied.

В рассказах и воспоминаниях о прошедшем мы обошли весь парк и возвратились в Веймар.

После обеда заехал ко мне обер-гофмаршал Белке сказать, что великая княгиня желает, чтобы на вечеринке у гр. С<анти> я остался только до $8^1/_2$ часов, а остальной вечер провел бы у е<е> и<мператорского> в<еличества>.

Я успел пробежать в прекрасно устроенном музее несколько литературных и политических журналов; в 6 часов зашел ко мне Мюллер, и мы отправились в дом Гете, где уже ожидал нас Крейтер. — Я вошел в святилище с благоговением; у самого входа на полу приветствие древних: «Salve». Гете видел эту надпись в Помпее.

Кабинет Гете о трех окнах, низкий и без всяких украшений. Посреди комнаты круглый стол простого, некрашеного дерева, по стенам такие же шкафы с выдвижными ящиками: в них бумаги, минералы, монеты и всякая всячина. На простых креслах подушка, под креслами для ног сидевшего — другая. — У стены еще стол, на котором Гете писал стоя; он наполнен черновыми бумагами; многие из них диктованы Гете секретарю его. Мне позволили взять три лоскутка с помарками и с исправлениями рукою Гете: сии лоскутки в числе драгоценнейших моих аутографов и хранятся с письмами Шатобриана, Александра Гумбольдта, Баланша, Кювье, Бонштетена, Иоанна Мюллера, Шлецера, Вальтера Скотта и проч.

В альбуме нашел я имена посетителей этой святыни и русские стихи к Гете:

Вот храм, где гений жил, где музы ликовали
И грации цветы так щедро рассыпали.
Послушный сердцу одному,
Страны далекой житель,
Войдя в твою обитель,
Бросает сей цветок к бессмертному венцу.
В. Э.[2]

В этом же альбуме отыскал я несколько милых мне имен: 25 августа 1833 был здесь и Жуковский.

В этом кабинете висят два слепка с портрета Наполеона. Мюллер рассказал мне историю одного из них. Сын Гете был страстный энтузиаст Наполеона; он сбирал все его портреты и в 1815 году купил и принес к отцу и этот слепок. Гете повесил его в своем кабинете: в день лейпцигской битвы этот слепок сам собою упал со стены и расшибся. Гете снова повесил его на стене, надписал на нем следующий стих из Лукановой «Фарсалии» — с переменою одного только слова.

Scilicet immenso superest ex nomine multum.
(В оригинале nihil).[3]

Гете не хотел всего отнять у Наполеона, который все отнимал у других.

Мы вошли в спальню Гете, это не комната, а каморка или чулан с одним окном. Здесь его кровать, без занавеса, и кресла с подушкой, на коей он скончался. Ветхое одеяло, коего Гете не хотел заменить другим, накрывает постель его. Вид из этой спальни, как и из кабинета, в сад. — До самой кончины Гете был в памяти, незадолго перед кончиной, заметив, что в кабинете его окна были полузавешены, он сказал своим приближенным: «Licht, mehr Licht». Это были последние слова его и как бы завет великого просветителя Германии — потомству!

Кончина Гете напоминает и другую, также в Веймаре, и последние слова его современника, Гердера. Поэт-историк, в тоске смертной, сказал плачущему сыну: «Gieb mir einen großen Gedanken, daß ich mich erquicke». (Освежи меня великою мыслию). Гердер в сию великую минуту признавал господство мысли над тлением. — Просьба умирающего отца к сыну была и символом веры его в бессмертие: он исповедовал его, когда уже дух его парил к своему источнику.

В другой раз, также уже в минуты борения со смертию, Гете, увидев на полу записку, упавшую со стола его, сказал с жаром: «Поднимите, это записка, это рука Шиллера! Как можно ронять ее!». Казалось, что душа его в эту минуту была занята последнею мыслию о друге, с коим вскоре она должна была соединиться.

В верхнем кабинете Гете, который можно назвать музеем, перебирали мы собрание писем его корреспондентов: между ними письма Вальтера Скотта, Байрона. Я списал письмо первого от 9 июля 1827 года; я слыхал о нем (в 1828 году) от самого Вальтера Скотта, когда он мне рассказывал историю своего заочного знакомства с Гете.*

---

* Однажды добродушный и гостеприимный хозяин Абботсфорда показывал мне мраморный бюст, подаренный ему Байроном, стоявший в его библиотеке на деревянном пьедестале, внутри коего хранилась прежде его переписка с знаменитыми современниками. Дочь В. Скотта подошла ко мне и просила не спрашивать у отца ее о бумагах, в пьедестале хранящихся. «Воспоминание о них, — сказала она, — огорчит батюшку, ибо один из посетителей, коему также показывал он свои сокровища, украл из пьедестала — письма Байрона!». *А. Т.*

Гете любил собирать и в свободное время иногда пересматривать портреты своих приятелей: в портфеле нашли мы более 200. — Я заказал любимому его живописцу списать портрет сына Гете, для К. В<яземского>. В другом портфеле собственноручные рисунки Гете карандашом (другое сходство с нашим Ж<уковским>). Большею частию ландшафты, виды тех мест, кои ему нравились в его странствии по Германии и Италии. Тут и дерево, нарисованное для Гете нашим воином-живописцем Рейтером: он часто любовался им.

Кабинет Гете дает некоторое понятие о всеобъемлющем его гении, о его разнородных занятиях и вкусах. Нумизматика была одною из любимых наук его, и вы видите редкое собрание древних и новых монет (одной шведской королевы Христины более 20). Все сии сокровища в самых простых ящиках.*

Город Франкфурт (на Майне), место рождения Гете, поднес ему лавровый венок из золота; к нему приложен был лишний, особый листочек, не приделанный к венку: этот листочек был эмблемою надежды на новое произведение Гете, тогда еще полного жизни. Другой подарок города Франкфурта был кубок серебряный, и при нем 48 бутылок вина — ровесника Гете. На сем кубке стихи его. Кубок сей поднесен Гете в 1819 году, когда ему минуло 70 лет.

Вместе с сими дарами от соотчичей видели мы и прекрасно выработанную печать из зеленого камня, на коем вырезана змея кольцом с немецкой надписью, выражающею характер Гетевой деятельности: «Ohne Rast, sonder Hast». «Августа 28, 1831 г.» (день рождения Гете). На ручке вырезаны розы — символ Англии, дубовый венок — эмблема Германии, и вокруг:

From friends in England
To the German master.

В числе признавших Гете своим наставником имена Томаса Мура, певца «Ирландских мелодий», Саути-лауреата, Вортсворта, простотою возвышенного, Вальтера Скотта — некогда the great unknown — и знатнейших издателей разных «Reviews».

Подарок сей получил Гете в 1831 году от 19 друзей в Англии (а не от 15 только, как сказано в самом акте) при следующем письме, которое здесь прилагается.

---

* В другое время опишу вам семь кабинетов Кювье, кои он сам мне показывал в Париже. Почти для каждой отрасли человеческих познаний особый кабинет, истинный храм наук — и в каждом особая библиотека, особые ландкарты, собрания орудий, произведений земли и глубины морской, так что универсальный гений испытателя и историка природы и собратий его — Кювье был секретарем Академии и, следовательно, биографом академиков, имел под рукою и перед глазами все материалы для совершения бессмертных трудов своих, необъятных, как сама природа. *А. Т.*[4]

В альбуме Гете к именам посетителей присоединил я и свое и написал на память четыре стиха переводчика «Вертера», покойного брата Андрея, на 16-летнем возрасте им к портрету Гете написанные:

Свободным гением натуры вдохновенный,
Он в пламенных чертах ее изображал
И в чувствах сердца лишь законы почерпал,
Законам никаким другим непокоренный.

Здесь желал бы я друзьям русской литературы, коей некогда Москва и в ней университет были средоточием, напомнить о том влиянии, какое веймарская афинская деятельность имела и на нашу московскую словесность. Несколько молодых людей, большею частию университетских воспитанников, получали почти все, что в изящной словесности выходило в Германии, переводили повести и драматические сочинения Коцебу, пересаживали, как умели, на русскую почву цветы поэзии Виланда, Шиллера, Гете, и почти весь тогдашний новейший немецкий театр был переведен ими; многое принято было на театре московском. Корифеями сего общества были Мерзляков, Ан<дрей> Т<ургенев>. Дружба последнего с Ж<уковским> не была бесплодна для юного гения.[5] Она увековечена в посвящении памяти его первого и превосходного перевода поэта.[6]

Не упоминая о других первых спутниках жизни, заключу словами спутника поэта: «Где время то?»... Но кто не помнит стихов Жуковского?

Поэту Гете

На 28-й день августа 1831

Милостивый государь!

В числе друзей, которых эта достопамятная годовщина собирает вокруг вас, позвольте нам, английским друзьям вашим, принести вам искренние поздравления наши мысленно и символически, ибо не можем сделать того лично. Мы надеемся, что вы благоволите в день вашего рождения принять от нас этот маленький подарок, который в образе искреннего изъявления чувств наших может иметь некоторую цену.

Мы сказали сами себе: первый долг и величайшее удовольствие есть оказывать уважение тому, кому уважение следует, а как наш руководитель в жизни и, может быть, лучший наставник есть тот, кто словом и делом научает нас мудрости, то мы, признавая поэта Гете нашим умственным наставником, желаем выразить это чувство вместе и гласно; для чего решили просить его в день рождения принять маловажный английский подарок, от нас всех равно посылаемый, дабы доколе почтенный муж сей останется между нами, он имел памятник благодарности, которую мы и, как думаем, весь свет ему обязаны.

Итак, наша слабая дань, может быть, одна из чистейших, которые человек может приносить человеку, ныне облечена в чувственный образ. — Да будет она благосклонно принята и да напоминает беспрестанно о теснейшей связи, хотя широкие моря нас разделяют.

Молим небо, да присоединит еще многие лета к столь славной жизни и дарует вам всякое счастие вместе с силой окончить высокий труд вам так, как продолжали доселе, подобно выспренней звезде

Без спеха, но без отдыха.

От пятнадцати английских друзей.

Письмо В. Скотта к Гете

Почтенный и многоуважаемый барон, я получил через г. Гендерсона высокоценимый знак внимания вашего и редко был так обрадован, как узнав, что некоторые из моих произведений имели счастие обратить на себя внимание барона Гете; я был постоянным его почитателем с 1798 года, когда немного познакомился с немецким языком и вскоре оказал в одно время пример доброты моего вкуса и чрезмерной самонадеянности, попытавшись перевесть произведение барона Гете «Гец фон Берлихинген», совершенно забывая, что восхищаться гениальным творением недостаточно, но, сверх того, нужно хорошо знать язык, на котором оно писано, прежде чем стараться передать красоты его другим. Я признаю, однако же, некоторую цену в моем преждевременном переводе, потому что он доказывает, по крайней мере, что я умел избрать предмет достойный удивления, хотя жестокие ошибки, в которые я впал от несовершенного знания языка, и показывают, что не прибегнул к лучшему способу выразить мое предпочтение. — Я часто слышал об вас от зятя моего Локгарта, молодого человека, весьма уважаемого в литературе, который несколько лет тому и прежде чем вступил по браку в родство с моим семейством, имел честь быть представленным отцу немецкой словесности. Невозможно вам лично упомнить каждого из поклонников ваших между множеством тех, которые желают заплатить вам дань своего почтения, но я не думаю, чтобы кто в числе их был более предан вам, чем молодой Локгарт. Друг мой сир Джон Гопе-Пинке имел еще позднее честь вас видеть. — Я уже принимал смелость писать к вам с двумя его родственниками, которые должны были путешествовать по Германии; но путешествие их было отложено по болезни и письмо мое возвратилось ко мне по прошествии двух или трех месяцев. — Итак я покушался познакомиться с г. Гете и прежде лестного его обо мне отзыва.

Все поклонники гения и литературы радуются тому, что один из величайших писателей европейских при жизни наслаждается счастливою и почетною тишиной и окружен всеобщим уважением. Ненависть уготовила преждевременную кончину бедному лорду Байрону, который пал в цвете

лет, унося навсегда с собою столько надежд и ожиданий. Я знаю, что он почитал за счастие честь, которую вы ему оказали, и имел сознание того, чем был обязан человеку, которому все писатели нынешнего поколения так много обязаны и должны смотреть на него с сыновним почтением.

Я подал новое доказательство тому, что, подобно другим адвокатам (по крайней мере как о том ходят слухи), я не обременен излишнею скромностию, обратясь к гг. Трейтелю и Вюрцу с просьбой найти средство доставить вам беглый или, лучше сказать, скучный опыт о жизни Наполеона,[7] того замечательного человека, который в продолжение многих лет имел столь грозное влияние на свет, ему покорный. Не знаю, не обязан ли я ему в некотором отношении с тех пор, как он заставил меня носить оружие в продолжение двенадцати лет, которые я прослужил в одном из наших отрядов и назло хромой ноге моей сделался хорошим ездоком, охотником и стрелком. Впоследствии эти способности немного изменили мне; ревматизм, печальный недуг нашего северного климата, простер влияние свое и на мои кости. Однако же я не имею права сетовать, видя, как сыновья мои пользуются теми удовольствиями, которые я оставил. Старший командует эскадроном гусар, что много во всяком войске для молодого человека двадцати пяти лет. Меньшой недавно получил степень магистра в Оксфорде и возвратился на несколько месяцев ко мне до вступления своего в свет. Богу угодно было лишить меня их матери, и потому меньшая дочь моя занимается домашним хозяйством, а старшая замужем и имеет свое собственное семейство. Таковы семейные обстоятельства того, о ком вы так обязательно осведомлялись. Впрочем, достаток мой позволяет мне жить по моим склонностям, невзирая на некоторые весьма чувствительные потери; я имею прекрасный древний замок (новодревний) с большою залою, наполненною оружиями, которые в самом Гокгаузе были бы не лишними, и огромным псом на страже. В этом замке всякий приятель барона Гете будет всегда принят добрым гостем.

Однако же я забыл того, кого не забывали при жизни его. Надеюсь, что вы простите недостатки моего сочинения во внимании намерения автора быть беспристрастным к памяти сего необыкновенного человека столько, сколько могли позволить ему вечные предрассудки его острова.

Вынужденный поспешно воспользоваться случаем писать к вам с отъезжающим путешественником, я должен ограничить себя тем, чтобы пожелать барону Гете продолжения здоровья и спокойствия и подписаться искренно его признательным и покорным слугою:

Вальтер Скотт.

XV. ХРОНИКА РУССКОГО В ПАРИЖЕ

18/6 декабря 1837. С террасы близ Риволи видел я приезд короля и фамилии к крыльцу камеры. Vive le roi и пушки оглашали воздух. Я получил билеты для входа в камеру, когда уже нельзя было войти в нее. Там было более дам, нежели мужчин: жены и дочери новых депутатов хотели видеть вступление на политическое поприще мужей и отцов своих. Публичные трибуны наполнились в одну секунду. Уже накануне с вечера и в полночь длинный ряд мужчин тянулся у входа в камеру, ожидая открытия дверей на другой день в 10 часов утра! Когда-то и я покупал места в этом ряду за 5 франков и более. Речь короля уже во всех вечерних журналах была напечатана, и во всех салонах о ней только и говорили.

4 генваря 1838/23 декабря 1837. В нравственно-политической академии было годичное собрание. Посылаю программу, что в нем происходило. Биография Редерера, читанная Mignet, напечатана в первой книжке сего года de la «Revue des deux mondes».[1] Росси, познакомивший нас с главными недостатками гражданского французского кодекса и с требованиями века в отношении к сему праву, сказал мне, что так как читанное им рассуждение представлено было им самой академии и будет ею напечатано в актах, то особого издания и не печаталось, и в журналы оно поступить не может. В нем олицетворился истинный академик XIX века, который обязан обращать ученость свою на пользу общества, приноравливать ее к требованиям, к нуждам сего общества. Он умел сухие предметы гражданского уложения оживить так, что даже дамы слушали со вниманием критические замечания его на недостатки некоторых политических постановлений в сем праве, недостатки, несовместные с успехами французского просвещения, нравственности, даже самой промышленности. Профессор-академик сделался законодателем или наставником законодателей. Если противники министерства Броглио и Гизо восставали на них за то, что они некоренному французу вверили кафедру политического права во Франции, то он устыдил врагов своих таким живым участием и полезным исследованием в предметах существенно отечественных и народных и таким убедительным доказательством пользы занимаемой им кафедры.

Mignet читал похвальное слово графу Редереру с чувством. Он хвалил в нем администратора, патриота, автора, слегка коснулся недостатка в книге Редерера «Louis XII et François I, ou mémoires pour servir à une nouvelle histoire de leur règne», с перепискою Редерера и Дарю. Но похвала книжки «Sur la société polie»[2] едва ли не лучшее в панегирике Минье. Редерер не продавал книгопродавцам, но раздавал приятелям книги свои.

Кстати о книгах. Сальванди, министр просвещения, прислал мне вчера 9 квартантов с приложениями одного атласа и трех тетрадей с французскими древностями, печатаемых на счет правительства. За два года перед сим получил я от Гизо чрез Тьера 4 квартанта Mignet и хроники норманские. Новый дар есть пополнение старого. Между ними:

1. «Histoire de la croisade contre les hérétiques albigeois, écrite en vers provençaux par un poète contemporain», переведенная и изданная Фориелем.

2. «Ouvrages inédits d'Abélard pour servir à l'histoire de la philosophie scholastique en France», par V. Cousin. В предисловии Cousin показывает влияние парижского университета на схоластику средних веков и участие Абеляра в сем влиянии. «Et il ne brilla pas seulement dans l'école; il émut l'église et l'état; il occupa deux grands conciles; il eut pour adversaire St. Bernard, et un de ses disciples et de ses amis fut Arnold de Brescia. Enfin, pour que rien ne manquât à la singularité de sa vie et à la popularité de son nom, ce dialecticien, qui avait éclipsé Guillaume de Champeaux, ce théologien contre lequel se leva le Bossuet du XII siècle, était beau, poète et musicien; il faisait en langue vulgaire des chansons qui amusaient les écoliers et les dames; et, chanoine de la cathédrale, professeur du cloître, il fut aimé jusqu'au plus absolu dévouement par cette noble créature, écrivit quelquefois comme Sénèque, et dont la grâce devait être irrésistible puisqu'elle charma St. Bernard lui-même. Héros de roman, bel-esprit dans un temps barbare, chef d'école et presque martyr d'une opinion, tout concourut à faire d'Abélard un personnage extraordinaire». Сочинение Абеляра, изданное Кузенем, называется «Sic et non». Это любопытный памятник ума философского и, следовательно, независимого в XII веке. К кафедре Абеляра стекалось столько слушателей, не только из Франции, но из всей Европы, что в Париже недоставало квартир для них, ни гостиниц! Абеляр, можно сказать, создал французскую схоластику, которую Декарт разрушил в XVII столетии.

3. «Mémoires militaires relatifs à la succession d'Espagne sous Louis XIV», par de Vault et Pelet, général. 2 квартанта с картами всего театра войны за испанское наследство. Эта книга служит дополнением истории негоциаций о испанском наследстве Минье, коей два тома уже прежде вышли. В них депеши Катина, Буфлера, Вобана, Вилларса и прочих «élèves de Turenne, et qui, par lui, se rattachaient à l'illustre école des Nassau et des Gustave». В их переписке «la guerre devient un art sublime dans ses hautes parties». Карты, к сей истории войны принадлежащие, по мнению знатоков, не так удачны, да и едва ли не бесполезны, ибо кому во всей подробности неизвестны те земли, кои были театром сей войны? Многие жалеют об издержках, на сей атлас употребленных.

4. «Paris sous Philippe-le-bel, d'après des documens originaux, en 1292», publ. par Gérard. Рукопись, служившая основанием описанию Парижа в сей книге, содержит «paroisse par paroisse et rue par rue, la liste de tous les Parisiens qui étaient soumis à la taille l'an 1292». Ce manuscrit «rend facile à suivre le tracé des murailles dont la capitale était alors environnée». Название старинных улиц, площадей, ворот городских, церквей приходских, монастырей — все здесь означено. Какая находка будет этот квартант в 2838 году для французских или американских археологов, когда они придут искать в парижских урочищах столицы Наполеона, заваленной развалинами его колонны и обломками Магдалины. Первый приход в реестре 1292 «Saint-Germain-

L'Auxerrois». Храм сей недавно возвращен богослужению. Такие хроники заставляют любить старину, родину, отечество, но в годину искушений не отвращают сокрушительных ударов и не спасают от преждевременного разрушения: St. Germain-L'Auxerrois в 1830 году был жертвой народного исступления.

5. «Règlemens sur les arts et métiers de Paris, rédigés au XIII siècle, et connus sous le nom des métiers d'Etienne Boileau», publ. par Depping. Реестры ремесл и товаров парижских составлены при Лудовике IX, не правительством, но самими корпорациями, в XIII столетии. Они дают довольно полное понятие о состоянии промышленности и торговли в Париже в сие время. Автор сделал прежде картину самого Парижа: на всей Сене было только два моста! Впоследствии в состав Парижа вошли целые предместья, городища (bourgs) и деревни и приблизились почти полукружием к Сене и к богатым некогда аббатствам, и к древней столице Кесарей: le palais des Thermes, которого основания не изгладились еще с лица земли, и я видел их. Около аббатств составились новые городища, Парижем также поглощенные. Торговля процветала по Сене; граждане завладели ею и утесняли деревенских окрестных жителей. В Париже завелись «marchands de l'eau de Paris»; они торговали не водою, как ныне, mais «faisaient leur trafic par le moyen de l'eau qui traverse cette ville», хотя общество или компания, а не товар их, и называлась только marchandise de l'eau. «Cette marchandise était le corps même des marchands». Законным образом возникло оно уже при Лудовике XI. В пространном предисловии к регламенту парижского профоса, prévôt de Paris, Буало, изложена история торговли и промышленности и, можно сказать, старинная статистика Парижа. Она очень любопытна и знакомит с городскою внутреннею жизнию, с житьем-бытьем старого Парижа. Эта книга богата материалами и для лексикографов.

6. «Chronique des ducs de Normandie par Benoit trouvère Anglo-Normand du XII siècle», publ. par Francisque Michel. Tome I. Мишель, молодой, но неутомимый искатель отечественных древностей во французских и в английских архивах и библиотеках, переплывает беспрерывно канал, разделяющий земли, кои были театром подвигов норманских, и следит кровавые пути их повсюду. Недавно снова возвратился он с богатою историческою добычею из Англии и, угаданный по таланту прежним министром Гизо, представил и ему и его преемнику Сальванди свои сокровищá, им собранные, при любопытном отчете в трудах своих. Нормандия, прежде называвшаяся Нейстриею, богата историческими воспоминаниями. Скандинавы, или варяги, урядники земли русской, названные здесь норманнами, вторглись и сюда почти в то же время, как и в Россию, и, воспользовавшись здесь внутренними раздорами, положили основание внутреннему устройству и новым набегам своим: они забыли прежнее отечество, полюбили мало-помалу гражданственность, но не совсем отстали от морских похождений своих, в коих находили особенную прелесть, добычу и славу. Оригинально опısы-

вает Мишель первое появление их во Франции: «Le vaste empire de Charlemagne tombe, comme un colosse frappé soudain d'un mal caché, et les enfans du grand empereur se disputent ses dépouilles, les armes à la main. Cependant, attirés par l'espoir du carnage et du butin, les Normands, semblables aux ours de leur pays, descendent du pôle, et veulent prendre part à la curée: ils s'élancent sur le moribond, le déchirent, s'enivrent de son sang: puis, bien repus, ils s'endorment sur le sein qu'ils ont laceré. A leur reveil, ils se trouvèrent muselés. Cette tâche glorieuse, Hrolf (или, по-нашему, Раул) se l'était imposée. Alors une nouvelle ère commença pour la Neustrie. Les successeurs de Hrolf continuèrent son oeuvre de civilisation. Ce qu'ils ne perdirent point, ce fut l'esprit de conquête qu'ils tenaient du nord: l'un d'eux, le plus grand de sa race, enjamba un jour un bras de l'océan: et pendant un siècle et demi le Normand peut contempler, nouveau colosse de Rhodes, les navires passant à pleines voiles sous ses pieds. A de si grandes choses, on peut croire que les chroniques n'ont pas manqué». Одну из сих летописей отыскал и публикует ныне издатель (Мишель). Эту рукопись, с прекрасными виньетами, отыскал и списал он в Лондоне, по поручению Гизо, в библиотеке Британского музея. К ней приложен верный снимок первой страницы оригинала, для истории, как и для лингвистики, драгоценного. Следующие томы еще не вышли. Мишель сказывал мне третьего года, что в одно время занимается он здесь, и в Англии, и в Шотландии, изданием 12 или 14 рукописей!

7. «Procès-verbaux des séances du conseil de régence du roi Charles VIII, pendant les mois d'août 1484 à janvier 1485». Publ. par A. Bernier. Записки сии объясняют la haute administration de la France après le règne de Louis XI.

8. «Statistique monumentale. Rapport à mr le ministre de l'instruction publique sur les monumens historiques des arrondissemens de Nancy et de Toul, accompagné de cartes, plans et dessins» (в трех больших тетрадях, к квартанту приложенных). Publ. par Grille de Beuzelin. Путешествие его по некоторым департаментам Франции было вроде Строева по России. К описанию не весьма любопытных древностей Нанси и Туля и их окрестностей приложены старинные заунывные (airs langoureux) песни с текстом и нотами. Мец гораздо древнее Нанси и трактовал последний город всегда en parvenue. Не знаю, стоят ли их памятники и развалины такой траты.

На будущей неделе еду обедать к Сальванди и благодарить его. Но богатый подарок его вряд ли так обрадовал меня, как находка на мосту нескольких русских книг, кои обрадовали меня даже московским переплетом своим. Одна из них «Политическая география, 1758 года» принадлежала Михайле Попову, автору многих сочинений. Другая книжка «Свиток муз» почти вся наполнена стихотворениями Востокова и Попугаева. Третья — «Всеобщий чертеж наук и свободных художеств, Российское сочинение 1792 г.». Я оставил на мосту еще несколько старинных русских книг для проходящих!

В конце этого месяца будет продаваться с аукциона вместе с любопытными книгами и рукописями несколько русских аутографов, коих еще не

успел видеть, но послезавтра увижу. В каталоге четыре номера под статьею писем: 1) Pierre-le-grand, empereur de Russie, au prince Romodanofsky, 2 mai 1710, 2 pages. Les lettres de ce prince célèbre sont rarissimes. Celle-ci est en russe et signée Piter. On y a joint la transcription de la lettre en caractères russes plus modernes. 2) Pierre-le-grand au major (вероятно, не разобрали имени) 26 novem. 1708. En russe. 3) Alexis Petrovitch à Alexis Alexandrovitch Kourbatoff. Smolensk. 31 août 1707. C'est le fils de Pierre-le-grand. 4) Anne, impératrice de Russie (alors duchesse de Courlande) à la tsarevna Prascovie Ivanovna, sa soeur. 20 novem. 1725. Belle pièce, fort rare. La même: diplôme original, donné et signé par l'impératrice Anne de Russie, en 1736, à S. P. bourg, orné des armes impériales et de celles des principautés, avec toutes les marges décorées d'arabesques en couleur et rehaussées d'or. Sur 4 feuilles de velin in fol.

Если не дорого будут продаваться, то куплю, но прежде просмотрю содержание каждой рукописи. Но все сии приобретения не стоят того, что я приобрел на сих днях, хотя и весьма дорогою ценою. Я еще не успел и обозреть порядочно моего нового сокровища, исторического и дипломатического; оно состоит в оригинальных бумагах французских министров о России с 1775 до 1792 года, из коих большая часть — черновые депеши, весьма четко писанные, из С.-Петербурга, Москвы, Гамбурга, Копенгагена и из Парижа. Все важные происшествия того времени, все переговоры дворов петербургского и здешнего, характеристика министров, дипломатов, государственных людей в России — все это в бумагах моих. Вместе с сим все черновые депеши министра французской республики в Берлине, также оригинальные и, по обычаю того времени, трехцветным шелком сшитые, 1791—1798 годов. Сверх того, много других оригинальных бумаг и писем о России; уже отчасти напечатанная оригинальная переписка Вержена с французским послом в России, по случаю военного неутралитета, Паниным придуманного, и по случаю приезда в Париж великого князя Павла Петровича с супругою.

Все сии бумаги чрезвычайно любопытны и содержат многое, не всем доселе известное. Почитав их, я отправился в русскую церковь. Сегодня у нас (6 генваря н. ст.) праздник Р. Х. Там нашел я блестящую толпу московских и с.-петербургских дам и греческого министра Колетти в албанском костюме (т. е. в белой полотняной юбке); к молебну он не остался. Оттуда отправился я в Collège de France на лекцию Лерминье. И что же? Там слышу о завоевании Константинополя русскими! По поводу норманнов он коснулся основания российского государства в IX столетии и искал их у врат Цареграда вместе с норманнами-варягами, но эту быль, актами обоих государств подтвержденную, называл почему-то преданием. Основателей России — Рюрика, Синеуса и Трувора[3] или их преемников, коих он исковеркал по-своему, «ces initiateurs de la Russie, la tradition les jette devant Constantinople. Il était de la destinée de l'histoire (de Russie) que le commencement annonça le dénouement», т. е. что Россия покорит Царьград. Все утро провел

я в сих идеях. Лерминье был очень забавен сегодня своим искусственным жаром и мнимым красноречием. Но фразы его сделались правильнее, и хотя он говорил не о том предмете, который избрал для своего курса, но слушаешь его с удовольствием и в критике своей он иногда прав. Например, сегодня он нападал на гр. Мейстера за греков, древних и новых, коих Мейстер в книге своей о папе поставляет ниже римлян, даже в философии! Он прочел нам несколько страниц из Мейстера с критическими беглыми замечаниями. Мейстер, назвав немногих славных греческих полководцев, дал право Лерминье заметить: «Mr de Maistre n'oublie qu'Alexandre!». Пристрастие его к римлянам подало повод Лерминье сделать великолепный панегирик древним грекам, просветителям Рима и мира. Эпиграммы его не всегда удачны. Они недостойны истории, особливо с кафедры. Я заметил, что Лерминье хотя все еще иногда сен-симонствует, но уже начинает с почтением отзываться и о римской церкви. «Sans l'église que serait devenu le monde!», — вскричал он громогласно и ударив крепко рукою по кафедре. Нападая на Фотия, он почти превозносил папство. Характеризуя IX и X столетия, он видит некоторое устройство только в одной церкви: «Le chaos est partout et l'église domine». При всем том лекции его составлены из каких-то темных намеков, кои Карамзин назвал бы полумыслями. Он слишком гоняется за эффектом, за блестящими фразами, коими облекает самые пошлые идеи или сведения. «Charles a disparu (Карл Великий)! Nous trouvons le commencement de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Russie, de la puissance spirituelle de Rome; nous y trouvons les principía rerum!». И вдруг после латинского изречения начинает рассказ об Англии так: «César alla une fois voir l'Angleterre; c'est le génie romain qui la visita. Il fallait l'attirer à l'histoire». Цезаря не поняли; даже Лукан в своей «Фарсалии» критиковал его за то, что он без пользы был два раза в Англии! «Alfred introduit l'Angleterre dans la grande nationalité de l'Europe. Il reproduit Charlemagne; il traduit Boëce (De consolatione): voilà comment s'ourdit la trame de la solidarité humaine». В этой последней фразе есть что-то похожее на мысль; но в чем состояла тогда, при Альфреде Великом, великая народность Европы? Описывая состояние саксонцев-завоевателей до появления Альфреда Лерминье с важностию и протяжно произнес: «Ils attendaient quelque chose!..». Я усмехнулся, но не без удовольствия дослушал лекцию, на которую пригласил меня земляк. Аудитория его всегда полна; бывают и дамы; вдова Бенжамена Констана не пропускает ни одной лекции. Он ее баловень. Когда ему для приобретения права на депутатство понадобился законом определенный доход с недвижимого имения, то она снабдила его таким имением — но выбор не удался, и Лерминье не в камере! Слушая его сказки о русских пред Цареградом, мне хотелось познакомить его с былью (фактом), состоящей в народном поверье или предании, у турок издавна на востоке известном, что русские овладеют Константинополем. Лерминье, упомянув о Несторе, мог бы вспомнить и его историческую басню, что Олег прибил щит свой ко вратам Цареграда. «Слава была колыбелию народа

русского, — сказал историограф, — и победа вестницею бытия его», — и для греков.

Вчера, во второй приемный день в Тюльери, был и я в числе двух тысяч представлявшихся королю и фамилии (3 генваря представлялось более 3 тысяч). В начале 9-го часа я нашел уже все залы дворца наполненными; вдоль стен сидели дамы по первенству приезда. Первая была герцогиня Броглио с милою своею дочерью. Толпы англичан, депутатов, перов в мундирах, фраках, шитых и простых, и во французских кафтанах с кошельками бродили из одной залы в другую, в виду грозных наполеоновых маршалов и адмиралов, коих портреты в рост висят в залах дворца. Группы депутатов образовывались и расходились. Академики в шитых зеленым шелком кафтанах мешались с национальною гвардиею, но англичане превосходили числом французов и всех иностранцев; островитянки сияли алмазами и некоторые — красотою. Король с фамилией вышел в 8 часов из внутренних апартаментов и поговорил с каждою дамою — так, как и все члены королевской фамилии с англичанками, по-английски. В продолжение $2^1/_2$ часов король с фамилиею обошел всех дам и возвратился отвести дух во внутренние апартаменты. Через $^1/_4$ часа стали впускать к нему кавалеров. Мне досталось первому подойти к нему. Я нашел уже короля и всю фамилию в ожидании представлявшихся. Адъютант назвал меня королю, но он уже знал меня и опять спросил о моих занятиях и долго ли я здесь пробыть намерен? Я успел сказать слова два о надежде снова быть допущену в архив. Герцогини Орлеанской не было, но герцог сказал мне, что недавно принцесса Августа еще раз писала ей обо мне и что он надеется видеть меня иногда у себя. С Аделаидой опять — и довольно подробно, хотя и налету — о моих исторических занятиях. За мною шли генералы, дипломаты и толпы англичан. Я вырвался из Тюльери в 11 часов, представившись прежде всех, и попал в другую веревку, которая тянулась на бал к английскому послу, моему соседу. Я не поехал к нему; было уже за полночь, когда я разоблачился и напился чаю. Передо мною лежали рукописи, в тот день приобретенные. Я предпочел общество французских дипломатов времен Екатерины II салону английского посла в Париже и крепко заснул над одной интересной депешей.

Неандер на сих днях прислал мне из Берлина новый полный экземпляр своего сочинения «Жизнь И. Х.». Domestica facta отвлекают меня от многого. Я еще не успел видеть пьесы «Калигула».[4] Знаю ее только по журналам и рассказам m-me Ancelot, когда она возвратилась с первого представления на свою вторничную вечеринку и передала нам во всей свежести и со всею тонкостию не совсем беспристрастной критики первые впечатления, полученные ею при первом представлении трагедии. Она привезла нам из театра и медаль, которую Дюма (или его приятели) выбил на это важное в летописях французского театра событие! Она продавалась у входа. Весь театр был полон приятелями и приятельницами. Двор и министерство рукоплескали. Декорации необыкновенные. Лошадей на сцену не пустили,

и автор едва не взял назад пьесы. Ему доказали, что ветхость театра не выдержала бы кавалерии.

7 генваря 1838/26 декабря 1837. Воскресенье. На сих днях был я у Сальванди с экземпляром актов Археографической комиссии, подаренным здешней Королевской библиотеке государем императором. Мы разговорились о новой организации, которую он намерен дать французскому университету, где он великий магистр (grand-maître de l'université). Я расспросил его о составе его управления и об отношениях министра к великому магистру. Сальванди подробно и ясно обозначил границы каждого ведомства, права и обязанности министра и магистра. Вся часть собственно педагогическая подведома университету и, следовательно, великому магистру или совету университета, коего он председатель. Доклады королю восходят (говоря деловым слогом) посредством министра, и ответственность перед законом лежит на нем же. Сальванди намеревается дать новое устройство своему министерству и университету и сообразоваться в главных началах с планом, начертанным для университета Наполеоном. Вот фраза его: «J'appliquerai la pensée du grand homme aux besoins du siècle». Определяя сущность двух главных разделений, двух элементов его министерства, он сказал, между прочим, что если бы, например, правительство нашло нужным «créer pour mr Guizot une grande position, il le nommera: grand-maître de l'université», и тогда магистру университета пришлось бы только раза два или три в год сноситься с министром; все прочие и существеннейшие занятия начальника университета, т. е. всей учебной и педагогической части во всей Франции, ограничивались бы для великого магистра сношениями с советом университета (где заседают независимые по местам, а часто и по мнениям своим члены совета, как например вице-президент Вильмень, Кузень) и с подчиненными совету и магистру местами и лицами в департаментах Франции. Из этого намека на Гизо мне показалось, что, может быть, и в самом деле была уже речь о наименовании его великим магистром университета, но вряд ли это состоится так скоро: он метит или в первые министры, или в председатели камеры. Деятельность Гизо более уже политическая, нежели административная. Он когда-то отказался и от посольства в Неаполь, и вы помните ответ его Талейрану на это предложение в присутствии короля: «Vous oubliez, mon prince, que je suis pauvre». Разговор мой с Сальванди продолжался более получаса. Он сообщил мне недавно составленный им регламент для его министерства и устав центрального управления всего университетского ведомства. Если нынешнее министерство устоит, то Сальванди не замедлит представить новый план по ученой и учебной части, в духе Наполеона начертанный. Но примет ли его Франция, т. е. камера и дух века? Наполеону нужны были одни точные науки, из коих извлекал он единое ему на потребу, а теперь возникает уже снова и Сорбонна с ее вечными догматами, и право во всей его святости и неприкосновенности, и любомудрие в не для всех приступном свете своем; политика в лице Росси дружится на кафедре с философией права; Лакордер философствует в соборе, и Лер-

минье в Collège de France коверкает имена Гегеля, Шлегеля и Канта: словом, во всей богословской и интеллектуальной Франции novus ab integro nascitur ordo.

Я был на английских обедах и вечеринках, где встретил множество любопытных лиц. У одного шотландца обедал я с знаменитым адмиралом sir Sydney Smith, постоянным жильцом Франции. Во весь обед слушал я его рассказы о его египетских похождениях и о подвигах при «Жан д'Арк», о тамошних неудачах Наполеона, о переговорах его с генералом Desaix. Тот же Сидней Смит был уже волонтером и в шведской войне с нами при Екатерине II знавал короля в Финляндии, описал мне его, принял от него поручение к тогдашнему королю прусскому, имел с ним свидание исторически любопытное в Потсдаме. Шведский король, заключив мир с Россиею, писал к королю прусскому, что всегда готов возобновить войну с Россией, если не улучшат системы границ его. Смит читал письмо Екатерины II к королю шведскому с предложением мира, в коем якобы императрица писала к нему: «Les folies les plus courtes sont les meilleures». В Англии у короля Лудовига XVIII видал и Густавсона. С императором Александром виделся и долго разговаривал на Венском конгрессе; с Питтом ссорился за Египет; помнит нашего П. И. Полетику при Сенявине и расспрашивал меня о нем; а теперь Смит — per varios casus, per tot discrimina rerum — изобретает нового рода кареты и веселится с своими соотечественниками на литературных пирушках.

Я встретил тут же и другую знаменитость, лорда Эльгина, коего давно воображал я в полях елисейских с теми героями и богами, коих статуи перевез он из языческой Греции в Англию. Статуи его давно уже в Британском музее, а в слепках — во всех музеях Европы и в нашей академии художеств. Обломки сии восхищают знатоков и воспламеняют художников и поэтов. Напрасно Байрон в негодовании своем заклеймил похитителя мраморов бессмертною своею эпиграммою. Лорд Эльгин был некогда послом в Константинополе, а в Египте сменил сира Сиднея Смита.

Здесь же нашел я старого моего знакомца, адвоката Ледрю. Он подал мне вечерний журнал, где напечатано письмо его к пресловутому Видоку об условиях, на коих соглашается он защищать его перед судом. Вы, конечно, уже читали в журналах об аресте Видока и о предании суду. Ледрю, согласившись быть его адвокатом за 1000 франков в пользу бедных (кои Видок уже внес и представил расписку), успел уже рассмотреть некоторые документы, Видоком представленные, и уверяет, что он спасет его; будто Видок имеет неоспоримые доказательства, что он спас жизнь короля в каком-то заговоре; будто в руках его честь и стыд многих сановников, и проч. и проч. Relata refero — и за Видока не ручаюсь. Уже более 3000 дел или документов (dossiers) разобрано; разосланы справки в разные департаменты. Производство суда над Видоком займет дня на три салоны Парижа.

27 декабря 1837/8 генваря 1838. Город занят адресом камеры депутатов. Редактором избран Marc-Gérardin, один из редакторов «Дебатов». Здешние

грамотеи находят в проекте недостатки в слоге, т. е. в оборотах и выражениях. Уверяют, будто Моле объявил, что если статья об испанской войне пройдет так, как она изложена в проекте, то он выйдет из министерства. Тогда Тьер может опять завладеть кормилом правления; но королю, как слышно, этого не хочется. Другая важная статья в адресе есть уменьшение процентов по государственному долгу. Правительство опасается нарушить интересы многочисленного класса частных людей, кои вверили ему капиталы свои. Таких капиталистов тьма в Париже, и особенно в национальной гвардии. Вчера встретил я у m-me Récamier Вильменя, пера Франции, который теперь в полуоппозиции: он также за уменьшение процентов и, кажется, за деятельную защиту королевы испанской против карлистов. К счастию, в салоне милой Рекамье было только нас трое: Вильмень, Баланш и я. Вильмень спросил меня о Гизо, где он прежде часто встречал меня, и начал анализировать его политический характер. Мало-помалу он так оживился, что от характеристики Гизо он перешел ко всем главным вопросам французской политики, упрекал Гизо в какой-то нерешимости, превозносил его как писателя и оратора, но в министре видел какую-то уклончивость, препятствующую ему, вопреки влиянию свыше, решить вопросы, от коих зависит роль, которую Франция должна играть в европейской системе, и степень, которая по праву принадлежит ей и теперь ею не занята. Он перебрал всех знаменитых министров старой и нынешней Франции и спросил, так ли бы они действовали в настоящих обстоятельствах государства? Но с интересом Франции, может быть, связан интерес династический: это завело в область высшей и личной политики. Со времен салона герцогини Дино или Талейрана я не слыхал Вильменя, с таким жаром говорящего. Тогда политика менее занимала его. Перейдем и мы к литературе.

Вильмень печатает два тома своих лекций, снова им пересмотренных и распространенных. Этот курс литературы не был еще напечатан, и публика знала его только по его лекциям в Сорбонне, кои и я слушал в 1828—1829 годах. Книга его выйдет на будущей неделе, и вслед за ее изданием он начнет печатать своего Григория VII.[5] Я обратил его внимание на книгу берлинского профессора Ранке о папах, на сих днях здесь в 4 частях вышедшую. Хотя он и не найдет в ней Григория VII, но в общих идеях Ранке об истории пап Вильмень увидит много оригинального, германского, и, следственно, нового для французского писателя о папстве.[6] Ранке писал не по старым книгам и почерпал факты и соображения свои не из известных источников, давно напечатанных, но из архивов Италии, Австрии и Испании. Баланш подкрепил совет мой, ибо сам читает теперь Ранке. Тут же узнал я, что Шатобриан скоро издаст 4 тома записок своих об Испании, а m-me Ламартин сказывала мне, что муж ее готовит новую поэму в двух томах: отрывок, обширнейший прежнего, du grand poème humanitaire. M-me Récamier все еще шепчет, а не говорит, но милой, ей одной свойственной улыбкой награждает говорунов ее салона, подобных Вильменю. Я вышел

с ним вместе уже в 6-м часу вечера и продолжал слушать его и на улице, не думая об устрицах, кои ожидали меня.

Кстати о Ламартине. Субботы его начались, но в салоне его толпятся депутаты, и политика заглушает литературу. На столе по-прежнему разбросаны брошюры, журналы и все произведения новейшей словесности во всех родах. Несмотря на исключительное господство политики в разговорах, иногда удается и литературе, а особливо поэзии, обратить на себя минутное внимание хозяина. На сих днях был представлен хозяину приятель мой американец Тикнор. Так как за океаном он некогда был профессором литературы, то учтивость требовала завести разговор и об английской словесности. Тикнор и в Англии знавал главнейших ее представителей и был в тесной связи со многими: с Байроном, В. Скоттом, Кампбелем, Вортсвортом и проч. К удивлению своему, мы нашли французского певца «Чайльд Гарольда», Ламартина, весьма несведущим в английской изящной новейшей словесности, несмотря на то что жена его англичанка — милая, умная, начитанная (и с редким талантом в живописи). Как-то речь дошла до Макинтоша, соперника Борка в состязании за французскую революцию, знаменитого оратора в парламенте, историка Англии; Ламартин не знал его! Мы познакомили его и с двумя биографиями Макинтоша, из коих одна даже перепечатана в Париже, а за первую, составленную по запискам фамилии Макинтоша, сын его дрался на дуэли с издателем. Ламартину неизвестны были также Вортсворт (коего талант, впрочем, сродни его таланту) и даже Кампбель!

Тикнор рассказал нам случай из жизни Кампбеля и В. Скотта, который сохранил английской литературе лучшую пьесу Кампбеля на победу при Гогенлиндене. Однажды В. Скотт и Кампбель на пути из Лондона куда-то на дачу читали друг другу стихи свои. Когда очередь опять пришла Кампбелю, то он сказал В. Скотту, что давно уже написал стихи на Гогенлинденскую битву, но что они кажутся ему недостойными печати и он никому еще их не показывал. В. Скотт, выслушав их, сказал Кампбелю: «Это лучшие стихи твои, это твой chef-d'oeuvre!», и с тех пор Гогенлинден — перл английской поэзии — занял первое место в собрании стихотворений Кампбеля. Публика подтвердила приговор В. Скотта.

Вот анекдот, Тикнором же нам рассказанный, служащий к пополнению характеристики Байрона. В 1815 году, когда еще Байрон был в ладах с женою, но уже не совсем с самим собой, Тикнор сидел в его кабинете, в самую ту минуту, когда Буржес, поэт и приятель Байрона, вбежал к нему с известием о победе при Ватерлоо, о которой он сам слышал от приехавшего курьером адъютанта Веллингтона. «J'en suis diablement fâché», — пробормотал Байрон, прибавив à peu près так: «J'espérais que la tête de Castlereagh serait mise à une pique; à présent, à ce qu'il parait, cela n'arrivera pas». Буржес ушел с досады от Байрона. Многие в Англии опасались, что, с низложением Наполеона и с торжеством партии тори, ослабеют виги и возникавшие тогда радикалы. Дух партий бодрствовал в главных своих представителях

и ожидал развязки от решительной битвы на полях бельгийских. Вот еще анекдот, любопытный для характеристики партий и их журнальной тактики. Макинтош был в то время одним из издателей «Edinburg Review» вместе с Jeffry, ныне великим судьею Шотландии, и Sidney Smith, остроумнейшим священником-журналистом, и в надежде, что Веллингтон будет разбит Наполеоном, заготовил сильную статью против тори, и особенно против Веллингтона и тогдашней антигалликанской партии. Книжка «Edinburg Review» с этой статьею была уже напечатана, но вместе с нею, на случай неудачи, т. е. победы Веллингтона, было заготовлено и другое издание того же номера «Edinburg Review». Веллингтон победитель — и «Edinburg Review» вышел со статьею о системе Галя и Шпурцгейма. Тикнор сам видел издание «Edinburg Review» со статьею Макинтоша, уничтоженною вместе с книжкой. История журнализма в Англии составляет теперь любопытнейшую и существенную часть внутренней и политической истории Англии, ее литературы, особенно успехов литературной промышленности. Я жалею, что не купил в свое время в Лондоне статистики журналов, в коей показан дух, направление каждого журнала, число подписчиков и, следовательно, разделяющих его мнения, возвышение и упадок каждого журнала и влияние его на общественное мнение, на ход внешней и внутренней политики Англии, и проч. Эта книжка принадлежит к примечательным явлениям новейшей европейской жизни, и как ни доказывай Леклер и другие, что и у римлян бывали журналы, в этом отношении «мы не греки и не римляне», и римские дневники могли походить разве на «С.-Петербургские ведомости», царствования блаженной памяти Елисаветы Петровны.

Упомянув о Ламартине, мне пришло на память, что я еще не сказал вам ни слова о примечательной критике, вышедшей сначала на его «Жоселеня» в протестантском журнале «Le Semeur»,[7] а ныне перепечатанной и, кажется, пополненной в новой книге Vinet «Essais de philosophie morale et de morale religieuse, suivis de quelques essais de critique littéraire» (Paris, 1837). Первая половина сей книги существенно и преимущественно философическая и объемлет почти все главные начала этики, или науки о нравственных началах в религии и философии, из нее истекающей. Но во второй части автор применяет свои начала к разным системам или доктринам (учению) философским, например: к нравственным началам Монтаня, к утилитаризму, к maximes de la Rochefoucault, к mélanges philosophiques de Jouffroy, к книге своего критика-панегириста Сент-Бева: de la volupté dans son influence sur les individus, et sur la société, к «Агасверусу» Кине, и проч., и наконец в двух статьях Vinet рассматривает в философском и христианском отношении сперва одно предисловие Ламартина к «Жоселеню», а потом и всю поэму или пантеизм оной. Статья о предисловии к «Жоселеню» названа «Du rôle de l'individualité dans l'oeuvre d'une réforme sociale (à l'occasion de la préface de «Jocelyn»)». Вине разбирает сущность системы, в которую, волею или неволею, завлечен поэт-Ламартин. Я был поражен важностию, в отношении нравственно-христианском, замечаний критика. Кто из филантропов, меч-

тая о человечестве вообще и забывая человека, не попадал в заблуждения, подобные Ламартиновым, «qui renversent tout ce qu'on a tenu jusqu'ici pour inébranlable?» <...> [8]

...Но я, кажется, говорил о Ламартине: итак им и кончим, Вине начал упреками за погрешности, за неисправности в языке Ламартина. «Mr. de Chateaubriand daigne soigner sa prose: à quel titre mr de Lamartine dédaignerait-il de soigner ses vers? D'ailleurs il faut tout dire: son génie est à lui, mais la langue est à nous». Иногда, извиняя его, Вине приводит классически прекрасные стихи Ламартина и поэзиею души его объясняет недостатки версификации. «Mr. de Lamartine s'est peu préoccupé des systèmes littéraires. Il est <le> Vergniaud de la poèsie, et pourrait dire, comme ce célèbre orateur: je n'ai pas besoin d'art, il suffit de mon âme». Но я не буду вам исчислять критических, хотя и справедливых замечаний на поэму Ламартина, а передам только превосходную характеристику его Вине. «Catholique dans les vieux temples, panthéiste dans les vieilles forêts, abondant tour à tour dans le sens des rationalistes et dans le sens des orthodoxes, chrétien, parce que sa mère etait chrétienne, philosophe, parce que son siècle est le dix-neuvième, acceptant les prophéties et renversant les miracles, sans prendre garde que les prophéties sont aussi des miracles; mais toujours, il faut l'avouer, ému de la beauté de Dieu, retentissant comme une lyre vivante au contact des merveilles de la création, répandant son coeur avec la simplicité de l'enfance et du génie devant l'Etre invisible dont la pensée tout à la fois l'oppresse et le ravit, mr de Lamartine nous avait mieux fait connaître ses sentimens que son système; mais, aujourd'hui, nous n'en pouvons plus douter, son système est de n'en point avoir».

Прибавим к этой характеристике несколько слов об его нынешних отношениях. Некогда певец роялизма и законности в стане легитимистов, теперь является в салоне Гизо с доктринерами: но, сохраняя по-прежнему благородство и независимость своего характера, ездит к нему тогда только, когда он не министр, превозносит Гизо вслух и в его присутствии, называет его корифеем, необходимым Франции, но в то же время уверяет добросовестно самого Гизо, что через десять лет он займет его первенство в политической иерархии.

8 генваря 1838/27 декабря 1837. Полночь. Сейчас возвратился от m-me Lagrange, милой и пригожей сестры Комона. Ее вечеринки, особливо немногочисленные, очень приятны. Хотя по связям своим она принадлежит и Сен-Жерменскому предместью и живет там, в доме отца своего, но по вкусу придерживается и других партий, особливо с тех пор, как муж попал в камеру депутатов. Поутру, т. е. перед обедом, встретил я у нее герцогиню Fitz-James, а ввечеру издателей Reviews, депутатов и чету Циркуров. Хозяин пересказал нам о прениях в камере. Редактор адреса Marc-Girardin ораторствовал хуже и своего адреса, запинался, сбивался с главной своей мысли и потерялся в мнении камеры, по крайней мере на долгое время. Гарнье-Пажес говорил сильно, убедительно, но против министерства, а Моле, приняв на себя все грехи и подвиги своих предшест-

венников, заслужил пагубное для него одобрение Гизо, который подошел к нему с доктринерскою важностию и объявил, что, соглашаясь с ним во всем, не будет занимать камеры своими объяснениями.

Я встретил у m-me Lagrange барона Экштейна, главного издателя de la «Revue Française et Etrangère», где участвуют Лагранж и Циркур. Из депутатов был тут mr Suleau. Живая энциклопедия Циркур рассказал мне историю отца его. В кровавую эпоху революции он попался вместе с своим приятелем Сомбрелем в руки террористов, и оба приговорены были к казни. Дочь его, молодая и прекрасная, бросалась за отца к ногам судей-палачей, но не могла их умилостивить: они обещали ей спасти отца, если она согласится выпить стакан крови друга его. Она выпила и спасла отца, но ненадолго: через несколько дней он погиб на гильотине.

Я получил зов на бал к королю послезавтра — «les hommes seront en uniforme ou en habit habillé». От депутатов этого уже не требуется. Но пора познакомить вас с новым примечательным сочинением Лакордера «Lettre sur le Saint-Siège, 1838». Письмо это ходило по рукам почитателей автора-проповедника, который дал первый экземпляр рукописи папе и прислал другой сюда. По прочтении нашли, что эта брошюра лучшее произведение Лакордера и ставит его наряду с первоклассными красноречивыми защитниками римского престола.

Оно появилось здесь несколько дней спустя после новой брошюры Ламене. Характер Лакордера благородный и независимый: несмотря на бедность свою, он с посохом и с новыми идеями (на старый лад) вышел из Рима и отказался принять место священника (aumônier) при французском посольстве в Риме. Теперь проповедует он в Меце — и со всех сторон Франции стекаются на его конференции в соборном храме <...> [9]

10 генваря 1838/29 декабря 1837. Вчера был я у Ансело. Там над всем господствует литература, особливо драматическая. Хозяйка отдала на французский театр новую пьесу — и опять три эпохи, но уже девичьей жизни в большом свете. M-lle Mars не могла играть семнадцатилетней, неопытной девушки, вступающей в свет. Роль ее отдана прелестной m-lle du Plessy, которой нельзя еще назваться соперницей, но она начинает уже не нравиться несравненной, но устарелой наставнице своими успехами и красотою. M-lle Mars, по словам m-me Ансело, мешает à la mise en scène ее новой пьесы, обещающей рукоплескание ее ученице. Как ни упал французский театр, но и со времен Тальмы все еще был он первый, хотя без одного великого таланта, ибо m-lle Duchenois умерла недавно, а m-lle Mars еще на сцене. Наполеон прав: французский театр — слава Франции. Помните его ответ Фонтану, который, защищая против Наполеона французскую оперу, сказал ему: «Mais, sire, l'opéra est pourtant une des gloires de la France». «Non, mr, c'est le théâtre Français qui est sa gloire; l'opéra n'en est que la vanité», — отвечал друг Тальмы, Наполеон.

Сейчас получаю от Сальванди ответ на письмо мое при посылке к нему актов Археографической комиссии; он отдарил нас своим подарком. «Je

profite de cette occasion, mr, pour vous donner avis, que par arrêté en date de ce jour, j'ai décidé qu'un exemplaire de la Collection des documens inédits relatifs à l'histoire de France, publiée par ordre du roi, sous les auspices du ministère de l'instruction publique, serait adressé à la bibliothèque Impériale de l'Ermitage». Министру просвещения, Академии наук такие же экземпляры уже посланы от здешнего министерства. Фориель прислал мне статью свою о Данте, перепечатанную из «Revue des deux mondes»: зачатие Данта и смерть в ссылке. «Il savait par expérience ce qu'il devait dire plus tard: combien l'escalier d'autrui est un sentier rude à monter et à descendre». Эту же мысль или чувство выразил он и в прекрасной латинской фразе: «J'ai pitié de tous les malheureux, mais je réserve ma plus grande pitié pour ceux, qui, se consumant dans l'exil, ne revoient leur patrie qu'en songe». Как часто тоска по отчизне отравляла страннического жизнь изгнанника и одушевляла поэта! Данте сохранил это чувство, эту тоску до конца жизни. В Равенне, окруженный семейством (т. е. детьми, ибо жена умерла прежде), друзьями, беспрестанно обращая грустный взор свой на Флоренцию, четыре раза его изгнавшую. «Il y avait dans l'âme de Dante, dans cette âme si fière et si énergique, un côté faible, qui s'émouvait et s'attendrissait, malgré lui, à l'idée de la terre natale. Il avait beau chercher, il ne trouvait rien hors de cette terre chérie, qui pût la lui faire oublier; et ne fut ce que pour y mourir, il désirait vivement y retourner, et n'en avait pas perdu l'espérance. C'est un point sur lequel nous avons son propre témoignage et des aveux qui ont quelque chose de caractéristique et de touchant».

Пусть за себя говорит сам Данте: «Если священная поэма, которой предметом послужили мне земля и небо и над которою бледнел я столько лет, когда-нибудь восторжествует над жестокосердием, отталкивающим меня от благородного стада, где я некогда, быв еще агнцем, враждовал с волками, нападавшими на нас, явлюсь я наконец в это стадо, но с другим голосом и покрытый другим руном: я вступлю в него поэтом и над тою же купелию, где принял крещение, увенчаюсь лаврами». Из многих городов Италии и от многих государей Данте получил уже тогда венки лавровые. «Jusqu'à là, la couronne de laurier n'avait été décernée qu'à des poètes érudits, ayant écrit en latin, et continuateurs supposés des poètes de l'antiquité classique. Dante allait être le premier couronné pour un poëme en langue vulgaire. Son triomphe était donc au fond celui de la langue et de la littérature Italiennes: il commençait, pour l'une et l'autre, une nouvelle ère et de nouvelles destinées». Но ему хотелось получить венок бессмертия из рук милой неблагодарной Флоренции. Он оканчивал последнюю часть своей трилогии «Рай», но ни предчувствие настоящего для него бессмертия, ни гремевшая уже по всей Италии слава его — ничто не заменяло ему отчизны. Изгнание было для него *Адом*, поэзия *Чистилищем*, а *Раем* берега Арно. Он кончил поэму и жизнь в 1321 году. Флоренция приняла в недра свои уже поздно и только прах великого согражданина и как бы в укоризну предкам сказала потомству: «Onorato haltisimo poeta» (стих Данте на его памятнике в храме Св. креста, во Флоренции).

11 генваря 1838/30 декабря 1837. Почти в два часа я воротился с тюльерийского бала. Я отправился туда в $8^1/_2$ часов и опоздал к выходу короля и фамилии: встретил многих, кои, явившись перед королем, уезжали уже из дворца; но дамы и кавалеры массами валили еще во дворец, где я нашел уже танцы. Залы были освещены великолепно; танцы были в двух залах. Самые фешенебельные и аристократические пары, хотя и не без демократической примеси, рисовались в кадрилях и кружились в вальсах перед скамьею, где сидел король, королева, дочь их, герцогиня Орлеанская, принцесса Аделаида; Орлеанский и Немурский в генеральских мундирах стояли у кадрили. Принцесса Клементина протанцевала одну кадриль с племянником австрийского посла Апони. Серебряный кованый пояс спал с его венгерского кафтана и зазвенел на полу. Герцогиня Орлеанская протанцевала кадриль с молодым белокурым сыном английского посла Гранвиля, но в $10^1/_4$ часов она отправилась в свои апартаменты. Английские красавицы участвовали во всех кадрилях в обеих залах. Орлеанский протанцевал кадриль с внучкой Талейрана. В первой кадрили участвовала и национальная гвардия в мундире рядовых. Король, Орлеанский беспрестанно то с тем, то с другим разговаривали. Одна дама держала короля в приступе около получаса. Генерал-адъютанты охраняли первую кадриль от натиску окружавших ее. Посольши, дамы двора сидели подле королевской фамилии. Все были в мундирах или во французских кафтанах. Уверяют, что более пяти тысяч было приглашенных, в том числе семьсот военных и национальной гвардии. Судя по тесноте в комнатах, было столько же, как и третьего года, т. е. около трех тысяч.

В час пополуночи, когда уже многие разъехались, давка у входа в залу, в коей собирались предварительно дамы к ужину, сделалась ужасною. Мы выстроились в два ряда и с полчаса ожидали шествия короля и фамилии в столовую, куда мужчин впускали понемногу в ложи, над столовой устроенные. Третьего года, не дождавшись ужина, я не мог видеть и столовой. Вчера я успел войти из первых в одну из лож и взглянуть на устройство столовой. Одни дамы занимали места и кушали с большим аппетитом. Король и фамилия стояли на ступенях у входа, обозревая залу, блестящую освещением и туалетами. Но, без всякого пристрастия, ни залы, ни столового устройства и великолепия нельзя сравнить с нашим Эрмитажным на бале в день Нового года: нет этих померанцевых деревьев, этой сияющей старинной посуды, которая расставлена по стенам великолепных и огромных зал наших. Наши балы Зимнего дворца более блестящи и очаровательнее. Туалеты здешние также скромнее наших, не в упрек им будь это сказано. Окинув нетерпеливым взором пожирающую толпу, освежив силы замороженным кофе, я вышел из ложи и уехал домой.

На бале разговаривал я долго у камина с Кузенем, экс-профессором, экс-философом, но все еще писателем и пером Франции. Заметив, что я

читал его введение к Абеляру, он сказал мне, что скоро еще издаст любопытную рукопись XIII века, найденную в Douais, Рожера Бэкона. Рукопись сию составляют письма Бэкона к папе (не помню имени его) и объясняют первые начала здравой физики. Открытия в оной и слава Бэкона дадут повод Кузеню изобразить XIII век и знаменитых его представителей как во Франции, так и в других землях Европы. Довольно назвать одного Данта для Италии. Это эпоха усовершенствования схоластики, славы древнейших университетов Европы, деятельности и силы монашеских орденов. «Cette époque», — как сказал где-то Кузень, и я напомнил ему слова его: «Forme les beaux jours de la philosophie du moyen âge». Она произвела доминиканцев: Альберта Великого, святого Thomas d'Aquin, Vincent de Beauvais, знаменитых францисканов: св. Бонавентуру, Денса-Скота, Рожера Бэкона. Она возвысилась на развалинах древней философии. «Ainsi marche l'humanité; elle n'avance que sur des débris». В XV веке древние снова явились на сцене: отыскали всего Аристотеля, Платона. Их читают в оригиналах. «C'est la renaissance de l'antiquité». Этот век в упоении от философии древних, до самого Декарта «qui enfante la philosophie moderne avec ses immenses destinées». Но XIII век, коего славы Кузень хочет быть восстановителем, все приготовил. В одном из найденных писем Рожера-Бэкона он не только физик, но и метафизик. Одно из них было уже напечатано; но Кузень нашел оригинальную рукопись его, в коей много нового, прибавленного самим Бэконом.

От XIII ст<олетия> мы перешли к нашему. Я заметил, что во Франции так мало философии и занимающихся ею, что академии надобно было бы одобрять первые опыты молодых метафизиков, их труды, подобные книге Равиньяна. Кузень отвечал мне, что академия нравственных наук на 1839 год предложила «критический разбор немецкой философии». Вот текст программы: «1) faire connaître, par des analyses étendues, les principaux systèmes, qui ont paru en Allemagne, depuis Kant inclusivement jusqu'à nos jours; 2) s'attacher principalement au système de Kant, qui est le principe de tous les autres; 3) apprécier cette philosophie, discuter les principes sur lesquels elle repose, les méthodes, qu'elle employa, les résultats auxquels elle est parvenue, rechercher la part d'erreur et la part de vérité qui s'y rencontrent, et ce qui, en dernière analyse, aux yeux d'une saine critique, peut légitimement subsister sous une forme ou sous une autre, du mouvement philosophique en Allemagne».

И все это за 1500 франков! Кант в одно время занимал философов и богословов Франции. Вы слышали, вероятно, о прении Страсбургского епископа с его приходским священником аббатом Ботенем. Казалось, что примирение, покорностию Ботеня пастырской власти и пастырскому приговору, должно было воспоследовать. Ботень на сих днях публиковал здесь и в Страсбурге: «Lettre à monseigneur Lepappe de Trevern, évêque de Strasbourg», par L. Bautain. Не упоминая о главном вопросе, т. е. о предмете спора: «Может ли человек одним рассудком дойти до познания бога

и бесчисленных совершенств его» (в слове seul, par le raisonnement seul и было все существо спора), я укажу только в письме Ботеня к епископу на упрек последнего Ботеню за похвалу в книге его («Philosophie du Christianisme»), философии Канта и на оправдание Ботеня. Признавая пользу, принесенную Кантом в главных вопросах философии и религии доказательством невозможности для рационализма разрешить сии вопросы, Ботень исповедует пред епископом разномыслие свое с протестантским философом следующими словами: «Comme philosophe, nous ne sommes point partisan de Kant, nous ne l'avons jamais été, et nous désavouons toute solidarité qu'on voudrait établir entre ses doctrines et les nôtres. Nous sommes convaincus que le système de Kant mène au scepticisme, et c'est pourquoi nous le rejetons». При появлении сего покорного письма Ботеня приятели его разглашали здесь, что состязания его с епископом прекратились. Но теперь слышно, что опять прения между ними возгорелись сильнее прежнего. Читая сию схоластическую брошюру, невольно переносишься в эпоху: «Sic et Non» Абеляра.[10] В то же время по другую сторону Рейна не могут сладить с фанатиком-епископом, за коего аристократия вестфальская, толпы мрачного Мюнстера и фанатизм немецкого Рима—Кельна. Ботень был некогда учеником Кузеня, но отстал от эклектизма своего наставника и перешел на сторону римского мышления. Я жалею, что спросил его об ученике.

Разговор наш у камина перешел и к немецкой философии. Кузень знает Ганца, молодого Фихте, который недавно издал прекрасную биографию и переписку отца своего. Я купил, читал ее и заметил в ней те места, кои могли бы служить новыми, любопытными материалами для современной истории. Фихте был не только первым мыслителем своего времени, но и горячим, деятельным патриотом. Его речи воспламеняли берлинцев и Германию в ее годину испытания. Патриотизм Фихте обращал на него внимание Наполеона в то же время, как панегирик Фридриху Великому, произнесенный И. Мюллером в Берлине, в присутствии завоевателей. Переписка Фихте с женою, с И. Мюллером, с Гуфландом и проч. в сие время весьма любопытна. Кузень, перебирая философических писателей Германии, не нашел между ними первоклассных гениев-систематиков. Я напомнил ему о Шлегеле. «Исключая его», — отвечал Кузень.

11 генваря 1838/30 декабря 1837. Вчера я отправился на обед к Сальванди в 6½ часов. Мне довелось ехать мимо камеры депутатов: она была вся освещена, и экипажи депутатов не шевелились еще у крыльца камеры. Я нашел хозяйку, m-me Salvandy, коей не был еще никем представлен, и нескольких гостей в салоне, но без хозяина, министра-депутата. Мало-помалу съехались дамы: m-me Barante, герцогиня Деказ (урожденная St. Aulaire, от коей узнал, что отец ее сегодня приехал из Вены), сам Деказ; маршал Макдональд, коего портретом любовался я накануне в Тюльерийском дворце. В портрете он полон какой-то отваги; оригинал уже дряхлеет и напоминает более бывшего канцлера de la Légion d'honneur,

преемника Ласепеда-академика и Прадта-аббата, нежели гордого, курносого маршала наполеоновского. Тут же явились брат Монморанси, маркиз Деказ, пер Франции, двоюродный брат герцога, наш посол, папский интернунций, поэты, академики, профессоры и библиотекари: Мишель-историк, Леклер-академик, Вильмень, Патень, преемник его на кафедре, Шамполион-Фижак, брат гиероглифика, библиотекарь и издатель разных хроник, Жанвье, депутат-доктринер и остроумный рассказчик, Carné, один из редакторов «Дебатов», коего статьи на книгу Ламене недавно вы читали.

Ламартин приехал в 7 часов прямо из камеры и рассказал нам все, что в ней происходило; он хвалил чрезвычайно речь философа-депутата Жуфруа, объявил совершенную симпатию свою с высокими началами, кои выразил Жуфруа будто в красноречивой речи, и в эту минуту вошел сам оратор в салон с хозяином. Скоро сели за стол. Гостей было человек тридцать, если не более. Мне пришлось сидеть между папским интернунцием и каким-то молодым, заносчивым полуученым. С первым завел я речь о папе, об изданной святейшим отцом книге, в коей изложил он всю римскую догматику, добросовестно, но ни на шаг не уступая веку. Интернунций сказал мне, что недавно вышло ее третье издание в Венеции, великолепное для любителей роскоши в книгопечатании. Некоторые правительства, в том числе и здешнее, подписались на несколько экземпляров этой книги. Я коснулся в разговоре с представителем его во Франции Кельнского архиепископа: он говорил, как следовало духовному дипломату. Я вмешался в разговор и другого моего соседа, который декламировал перед профессором Патенем о строгом наблюдении над методами преподавания в школах. От школ перешли мы и к университетам, т. е. ко всем высшим училищам, кои входят в состав здешнего университета. Я отдавал справедливость немецким методам преподавания. Французы вступились за свои. Похваливши факультет точных и физических наук, я доказывал почти совершенное *небытие* других факультетов, исключая юридического, также весьма неполного. Взяв в пример науки или курсы исторические, я показал, что нет ни одного профессора, который бы обнимал вполне какую-либо часть истории. Из древней Le Normand предлагает свои гипотезы о Египте, Летрон о колониях, о древней географии и торговле, Лерминье о том, что он прочел накануне, сам Фориель только об Испании. Где же студенты-слушатели найдут полную систему древней, или средней, или новейшей истории? Где найдут они указания на лучшие источники, на критические издания классических историков? Кто будет их руководителем в лабиринте монументов исторических? Кто остережет их от Гиббона, искажавшего факты в духе своего времени, или от Фишера, изобретавшего факты в истории Ганзеатического союза и наполнившего ее вымыслами, поддельными актами, коим поверил Шторх (подлог, открытый Шлёцером)? Сосед мой горячился; но сосед соседа, профессор Патень, начинал уступать моим доказательствам и примерам.

Желая за французское интеллектуальное хлебосольство смягчить негодование моего соседа, я перешел к похвале, самой искренней и невынужденной, достойного и достойных. Я напомнил о лекциях Кювье, Гизо и самого Вильменя, блистательного без методы, основательного в суждениях без глубокого исследования тех предметов, коих касался он на лету, порхая иногда как ласточка долу и касаясь низменных урочищ французской словесности или возносясь как орел к Монтескье, Боссюетам и Малебраншам на высоте ее. Казалось, что соседи отдали справедливость моему космополитическому беспристрастию и начинали уже соглашаться со мною во многом, как хозяйка мигнула хозяину, дала руку нашему послу и гости потянулись в гостиную, где уже сбирались вечерние посетители министра: генералы, депутаты, ученые, журналисты, доктор Паризе, автор похвального слова Кювье, Cazimir Bonjour, и проч. и проч.; министерский huissier беспрерывно возглашал имена новых гостей. Комнаты наполнились к 10-му часу, когда я уехал, оставив Сальванди, не занимавшегося нимало новоприезжими гостями, перед многочисленною толпою ораторствовавшего о том, что было во весь день предметом дебатов камеры.

Любопытно и наставительно прислушиваться к мнениям всех партий, взвешивать основательность каждого, увлекаться красноречием ораторов, досадовать иногда на пустословие говорунов и отдавать справедливость даже и тем, с коими не соглашаешься. Какая школа для дипломатов и даже для государственных людей заседание, подобное нынешнему! Кто бы подумал, что Тьер, вызванный из неизвестности духом времени, что Тьер в народной камере произнесет примечательные слова, коими заключил он вчера блистательную импровизацию: «Rappelez-vous Louis XIV et ce qu'il fit lorsqu'il accepta la couronne d'Espagne pour son petit-fils; on a traité sa résolution de misérable esprit de famille; mais vous avez lu sans doute les grandes et superbes raisons qui décidèrent ce grand roi; il se disait: oui, on m'offre le complément de la France et même mes frontières naturelles; mais j'aime mieux avoir derrière moi une puissance amie, et je termine ainsi la guerre Européenne?».

Посылаю грустные стихи слепца-историка Тьери «La voix de la terre et la voix d'en haut». Он написал их еще до вступления в брак с умною, милою женою, которая теперь освещает для него мрачную жизнь. У них почти каждый вечер собирается ученое, любезное общество. M-me Циркур также часто бывает там. Я намерен возобновить с Тьери знакомство. Я когда-то бывал у него, перебирал и отыскивал для него книги о северной истории и знакомил его с немецкими историками, для коих давно мерцал исторический свет, разлитый слепцом Тьери на старину севера и Франции.[11]

Э. А.

XVI. ХРОНИКА РУССКОГО В ПАРИЖЕ *

25/13 ноября 1837. Сию минуту зашел ко мне американец Тикнор, с коим я познакомился в Бонне у Шлегеля. Некогда он был профессором словесности в Бостоне, но обогатился женитьбою и оставил кафедру, сохранив любовь к наукам и литературную деятельность. Он объехал Европу, долго жил и занимался в Германии, знакомился с учеными и обогащался немецкою ученостию. Здесь вошел он в короткие связи с Броглио, Гизо, Фориелем и проч. Целию его пребывания в Париже было уговорить Гизо быть издателем (ответствующим за точность перевода) сочинений Вашингтона, кои недавно вышли в Америке в 12 частях. Последнюю составляет его биография, другим, т. е. не Вашингтоном писанная, а 11 частей все Вашингтоновы сочинения. Гизо принял на себя охотно издание и, следовательно, пересмотр переводов. Он надеется, что политический образ мыслей Вашингтона очень подкрепит его собственные доктрины. Вашингтон, страстно любивший свое отечество, не был радикалом; он хотел того же, чего и Гизо, — порядка. По крайней мере последний думает, что он во многом сошелся с Вашингтоном, сколько океан и история позволяли сойтись им в доктринах своих. Гизо роздал уже переводы книг Вашингтона и исключил из оных то, что ни для Европы, ни для Франции не будет иметь никакого интереса, а важно для одной только Америки. История войны американцев с англичанами войдет вполне и подробно во французской перевод Вашингтоновых записок. Будет много и нового, особенно объяснятся сношения дипломатические Англии с ее колонией. Известно, что в американцах живет какая-то наследственная сильная ненависть к лорду Норту (North), коего они почитают подстрекателем к войне Англии и, следовательно, виновником тогдашних бедствий Америки. В записках Вашингтона нашлись достоверные акты, из коих видно, что лорд Норт не только не был виновником сей войны, но что всегда и сильно противился оной и остался в Америке только по настоятельному убеждению английского короля. Ему бы надлежало, несмотря на убеждения, согласно порядку в государствах конституционных, оставить место, на коем действовал против своего убеждения; но этого он не сделал. «Итак в Америке будет одною ненавистью меньше», — сказал я Тикнору. «Точно так», — отвечал он. То, что здесь принял на себя Гизо, Тикнор поручил в Берлине года за полтора перед сим историку и профессору Раумеру, который взялся сделать подобный выбор из сочинений Вашингтона для немецких читателей,[1] а самый перевод делается в Дрездене дочерью поэта Тика, которая для отца и под именем отца перевела уже и лучшие пьесы Шекспира.

---

* Некоторые из писем, здесь помещаемых, отправлены были прежде напечатанных в IX т. «Современника», но теперь только получены. Впрочем, их занимательность ничего не потеряла от неисправности доставления. — *Изд.*

Тикнор видел здесь Раумера в сентябре и узнал от него, что английское министерство, позволившее Раумеру сделать некоторые извлечения из исторических и дипломатических бумаг Англии с тем, чтобы он, до обнародования их на немецком, предварительно представил их на рассмотрение английского правительства, ныне запретило ему совершенно что-либо печатать из выписок, сделанных им в Англии. Раумер понять не может, по какой причине или по какому внушению сделано это запрещение. И здесь Раумер у Минье не имел большого успеха. Я похвастался перед американцем и показал ему каталог кенигсбергских рукописей и письмо архивариуса Марини о редкостях, которые выписаны для меня в секретном Ватиканском архиве.

От прошедшего перешли мы к настоящему времени, потолковали о Гизо, о Фориеле и его литературной брошюрке, о коей уведомлю вас после, когда получу ее от автора: ибо в продажу она не поступила. Тикнор описал мне американскую жизнь свою, а я ему нашу московскую, о коей он имел странное понятие. Я обещал ему сообщить некоторые подробности о пребывании Франклина в Париже, кои знаю по бумагам разных архивов, следовательно, по «делам давно минувших лет». Франклин был в Париже в одно время с цесаревичем Павлом Петровичем.[2] Тикнор объяснил мне сущность и цель учреждения ордена Цинцинната, который никогда не был орденом, а филантропическим учреждением, и ныне существующим. И об этом так называемом ордене я видел акт, подписанный Вашингтоном.

2 декабря/20 ноября 1837. После обеда было годичное собрание географического общества. Гизо как новоизбранный его председатель открыл заседание умною, прекрасно написанною речью, исполненною новых видов о пользе географии, о связи наук между собою и доказательств, как одна наука помогает другой и как даже, дщерь воображения, поэзия находит в географических сведениях пищу, материал, краски картинам своим — он намекнул, кажется, на Шатобриана, упоминая о поэтах-путешественниках. Других речей и отчетов я не дослушал, потому что сжат был толпою и не мог найти стула. Все занято было членами общества и дамами. Гизо обедал вчера у короля и заставил нас ждать себя более часу; но никто не упрекнул ему за то, когда оратор занял председательские кресла.

Сегодня был я у m-me Рекамье и слышал ее *шептание*: ей лучше. Я нашел у нее Шатобриана, Ампера, Баланша и Кине, который только что прочел им третий акт своей новой трилогии или драмы «Прометей». Я опоздал к чтению. Шатобриан и Ампер рассказали мне содержание драмы и хвалили ее. Она гораздо лучше всех других поэм Кине, и много в ней нового, прекрасного — истинной поэзии. Явление Прометея в небе с вечным его *сомнением* и страх его возмутить веру ангелов превосходно выражено. Недостаток в излишестве. Ампер сказал: если бы тут вполовину было менее стихов, поэма вдвое была бы лучше. Да, «qui perd — gagne», —

примолвил Шатобриан. Он долго превозносил однако ж красоты поэмы и стихов, находя, впрочем, излишнюю роскошь в описательных формах и уподоблениях. В прежней поэме слушался он советов Фориеля и много сократил. Теперь он уже все печатает, и недель через шесть выйдет вся трилогия. Кине женат на немке, недавно возвратился из Гейдельберга, где он в связи с Крейцером (митологом), коего книгам обязан новыми взглядами на древний мир и на древнее небо, на мир древних космологов.

Не работая еще в архиве иностранных дел, я принялся опять за рукописи Королевской библиотеки и отыскал кое-что любопытное для нашей средней истории. Шамполион, по прежнему разрешению совета библиотеки, позволил мне взять фолиант на дом, и я отдал переписывать отысканное.

3 декабря/21 ноября 1837. Сию минуту возвратился от Гизо. Он принимает приятелей до 11 часов по воскресеньям и большой свет по вторникам ввечеру в одно время с Моле; но уже не столько, вероятно, будет приезжать к нему из салона Моле, сколько бывало из салона Тьера. Доктринеры упадают; но я был у ученого и желал бы забыть члена министерства. Я нашел его расположенного ко мне по-прежнему, рассказал ему бегло, что было со мною, и на вопрос его: не привез ли я книг о русской истории, обещал прислать ему экземпляр нашей археографической комиссии. Никто более его не имел на то права. Он посылал в нашу Академию наук акты исторические, по его предложению здесь печатанные. Посылаю ему четыре квартанта с надписью — но прочтет их его наследник, а не он... Он не Нибур и по-русски не выучился для узнания славянского севера. Мы говорили о многом: о Кельнском архиепископе, о Ботене, о здешних лекциях, об университете. Жаль, что Гизо вздумалось привести в действие мысль: воскресить Сорбонну, пригласив для кафедры оной Ботеня из Страсбурга и ему подобных со всех концов Франции. Но Сорбонна, как и все прошедшее, прошла: мертвеца не оживит могущество самого сильного министра. Это прошедшее — вечно, но в идеальном и интеллектуальном значении. Сорбонна живет в своих представителях и в их сильных противниках. Сорбонна и Port-Royal — вот две колонны, поддерживающие храм интеллектуальной славы, наук и римской религии во Франции. Я нашел у Гизо много интересных лиц.

8 декабря/26 ноября 1837. Вчера был я на открытии курса Жерюзе о французской словесности в начале XVII столетия.[3] Из этой одной полуэпохи составил он свой годичный курс, извиняясь недостатком сведений и таланта для того, чтобы выставить перед своими слушателями гигантов духовного и судебного красноречия последующих столетий, признаваясь откровенно, что легче говорить о Шаплене и Скюдери! Я едва не спросил его со скамьи своей: так зачем же всходит на кафедру Вильменя и Гизо, если робеть пред Боссюетом, Массильоном, Расином и Мирабо? Впрочем, Жерюзе хорошо и занимательно говорил о представителях

избранного им полувека, начав с Ронсара и обещая и Корнеля. Описал заслуги Малерба, Бальзака и беседы Рамбулье.

Вечер провел я с Фориелем в разговоре о недостатках здешнего университета по политико-литературной части — между тем как факультет физико-математический процветает! Гизо желал восстановить богословский факультет, выписав сюда многих, уехавших профессорствовать из Франции в Бельгию: но министру-протестанту не удалось оказать этой услуги галликанской церкви — и четыре профессора богословия также мало исполняют свои обязанности, как и другие профессоры неточных наук. Один Фориель заслуживает трудами недостаточность курсов своих. Росси поддерживает и здесь славу свою. Первый мог бы быть истинным профессором, например истории, но для полных, систематических курсов не нашел бы довольно слушателей, ибо здешняя академическая молодежь привыкла со всех кафедр философского факультета слышать одни отрывки, одни части науки; так, например, Ленорман, вместо Гизо, читает только о финикианах, Ампер ограничил себя несколькими столетиями средней истории, Жерюзе полувеком французской литературы; сам Фориель избрал для этого курса одну Испанию; по крайней мере он рассматривает ее с новой точки зрения и со всех сторон и нынешнюю Испанию в ее политическом, литературном и религиозном быту объясняет ее историей, во всех отраслях оной. Я послал ему недавно Ранка, который пользовался испанскими архивами.

Профессоры открыли курсы свои, но литераторы еще в разброде. Ламартина также нет еще в Париже; он был на выборах и, к удивлению, выбран едва ли не в трех местах, и оставит за собою, кажется, Макон, откуда доктор-поэт написал к нему хвалебное послание в стихах и очень недурно, где сравнивает его с плавателем на океане бурной жизни. Эти стихи обещают напечатать в издании Ламартиновых новых сочинений. Берье дал свое имя толстой книге, изданной молодым Лабори, под названием «Хрестоматии французских ораторов». На переплете видите: par Berryer, а его нет ни предисловия, ни одного слова! Но и за одно имя получил он несколько тысяч франков. Впрочем, книга полезная и любопытная. Здесь многие знаменитости этою выставкою имени промышляют. Уверяют, что Нодье уже не одного автора ссудил своим именем, а некоторых даже и пером своим, наприм., первый том записок дюшессы д'Абрантес написан им. Недавно в академии зашел между ним и Жуи спор о разных записках. Жуи начал хулить записки д'Абрантес, а Нодье, защищая их слегка, сказал: первый том, например, очень хорошо написан. «Верю, — отвечал Жуи, — потому что вы его писали». Нодье замолчал.

16/4 декабря 1837. На сих днях был я в Сорбонне на открытии литературного курса у Марк-Жирарденя. Он должен преподавать историю французской словесности — и на весь курс избрал «Эмиля» Руссо! Большая зала Сорбонны наполнилась слушателями от одного угла до другого: не было и в дверях места! Я думаю, что она вмещает конечно

не менее двух тысяч человек, если не более. Между ними были и приятели, сотрудники по журналу. Кафедра профессора под портретом короля Филиппа, который написан в рост, а по сторонам и напротив колоссальные статуи Боссюета, Расина, Фенелона и Корнеля. Под карнизом изображения великих мужей древности и Франции. Сказав несколько комплиментов слушателям, пришедшим по собственному произволу слушать его лекции, Марк-Жирардень обещал предлагать нам только то, что может возвысить душу нашу и улучшить нас, уверяя при сем, что к исполнению должности своей приступает он с любовию. Для достижения сей цели избрал он Руссо, и в нем «Эмиля». «Это, — сказал он, — нравоучительное исследование вопроса: как воспитать человека? Какому правилу надобно следовать в жизни? Этого правила, этого рода изучения недостает особенно в наше время. Наши нравы смягчены; но занимается ли кто-нибудь правилами нравоучения? В старину было не так. Тогда даже и придворные Людовика XIV, даже Сен-Симон посвящал дни, недели размышлению. Он уединялся. Даже языческие времена имели что-то подобное в нравах и обычаях. Тогда, равным образом, близ общенародных мест, я вижу философов, лицей!.. рассуждаю о нравоучении. То же самое и в Риме, в этом обширном горниле честолюбия, где замышляли о владычестве над вселенною. Это было не честолюбие нашего времени (прибавил в скобках Жирардень), когда дело идет о префектуре или даже и о портфеле, нет, тогда замыслы были обширнее: проконсульство в Греции, в Африке, в целой части света!.. И в такую эпоху является Цицерон, который пишет книгу „О должностях", а при императорах — Эпиктет с своими наставлениями, которыми искупаются все беспорядки Рима. Там всегда заметно было движение, нравственный мир, от которого мир перерождался: но где он теперь? Что с ним сделалось? Пишет ли он? Двигает ли он нас? Спросим самих себя: что мы должны делать? Поступать отчетливо, поучаться, размышлять. Где вы это встретите. (А в проповедях, а в конференциях, а в театрах, а в журналах? Вопрос слушателя.)? Нравственный мир затмился от мира вещественного, который дошел также до какого-то величия. Он поучает, он хочет приводить в восторг; этот вещественный мир уже в величии! Англия... вот его престол, его святилище! Это Лувр промышленности! Все в чудном там движении, которое происходит не от человека; ничто не говорит там, а все трудится; это машина, род Циклопа, который все приводит в движение. Бедность рабочего класса: в этом также величие. А железные дороги! Что подобного в состоянии изобрести и сам сатана? Пространство уничтожено: вы сейчас будете в Берлине на лекции Ганца. (Я чуть не откликнулся на эту фразу, как будто бы он на меня намекнул, особливо судя по следующей фразе). Парижский дурак может съездить потолковать с петербургским дураком. Гражданственность совершенствуется ли от этого? Увеличилось ли число идей от чудес промышленности? Или только ускорили они движение их? (Да в том-то и дело: *ускорить* значит *умножить, сообщать* —

во тьме и сени смертней седящим — мудрость Жирарденя и Герминье, а иногда и Монтескье и Бентама. Без почты или без курьера узнали ли бы вы через месяц, что Жирардень бредил в Сорбонне или что другой мыслил вслух за океаном? А пароходы и железные дороги — не ускоренная ли почта? Нетрудно опровергнуть упреки Жирарденя материальным усовершенствованиям, но для одного пера нет еще паровой машины или сторук. Продолжаю.)? Что произвело это сближение двух отдаленных точек? Спрашивается: что сообщают? Пусть бы идеи. Но если от них мир не становится лучше? А в чем улучшение? Есть и теперь *довольные*, т. е. которые умеют довольствоваться, но нет более счастливых. Довольство зависит от нас самих, как мы образовали душу свою. Жизнь зависит от сердца. Вопрос о воспитании: вот и все. Но под воспитанием многое разумеется: оно не оканчивается с детством. Всю жизнь душа может расширяться, а ум возноситься. Исполнение долга — вот цель». (Как не содрогнулся профессор, говоря о воспитании под сению статуи Фенелона!). Наконец в двух словах, мною в точности сообщаемых, выразил свое credo: «Я верю в совершенствование, которое доведет до совершенства». Я старался следовать течению его мыслей и удержать его выражения, его отрывистые вопросы и загадки так точно, как они следовали одна за другою. После он перешел к Руссо, к «Эмилю», но ничего нового не сказал о них и ничего нового и не обещал, а трунил над новизной в литературе и в морали. Вот как, почти, задел и школы Гюго и других нововводителей всякой всячины в слоге и в предметах литературных и поэтических. «Придумывайте что-нибудь новенькое; это последнее слово современных писателей; я вам советую то же — придумывайте новенькое. Это не значит, впрочем, разрывать французский стих для его обновления, или списывать революционные неистовства; для новости надобно сколько-нибудь спасти нравоучение от упадка, до которого оно доведено». Под конец Марк-Жирардень заговорился, смешался и кончил десятью минутами прежде истечения урочного часа. Мы одобрили его довольно скромным рукоплесканием.

На другой день был я на открытии другого курса au Collège de France. Летрон начал свои лекции историей географии — и, кажется, следуя Герену, предложит особенно историю открытий географических — «картин постепенных усилий для познания земного шара, исследование причин, замедлявших открытия, или способствовавших им, причин, каковы: переселения народов, заведения колоний, военные экспедиции, торговые и ученые путешествия, и проч.». Он не одного Герена назвал между немцами, но упомянул о библейской географии, не забыл и Михаэлиса. Прекрасно описал он приезд Колумба в Ореноко. Утопая в благоухании растений, Колумб думал, что он открыл земной рай! Летрон читает в зале Лагарпа. Было много и слушательниц. Они напомнили мне лекции Кювье в том же Collège de France, где я всякий раз встречал m-me St. Aulaire с милыми дочерьми ее. Последние две лекции Кювье об истории натуральной посвящены были им Лейбницу и Ньютону, и особенно описанию вражды

их. С какою высокою простотой гений нашего времени вызывал на суд свой двух бессмертных!

Послушаю еще Лерминье и Росси; первого — смеха ради; второго, чтобы освежить в памяти методу его и начала новой отрасли прав, им одним преподаваемой. О финикианах Ленормана охотник может прочесть в книге его. Ампер печатает свои лекции в Revues. Здешние юристы, кроме Росси, сухи, как их наука, неоживляемая философией права. Один из лучших юристов Франции, адвокат, ныне президент камеры, Дюпень, запоздалый в науке правоведения от обширной практики в почтенном ремесле своем, насмехался над Журданом, собратом своим au bureau Fraçais, за то, что он советовался с наукою прав у англичан и немцев. Журдана не стало; ученый юридический журнал его прекратился, и французские юристы должны снова слепо верить бредням Лерминье о немецких юристах-профессорах, о Ганцах и Савиньи и проч.

Вчера, в прекрасный солнечный день, бродил я по высотам Пер-Лашеза. Солнце сияло над гробами и над Парижем. Я пошел осматривать новые для меня памятники и поражен был колоссальной статуей Казимира Перье, воздвигнутой ему на центральной почти террассе. Пьедестал еще не совсем отделан. По сторонам надписи: éloquence, fermeté и проч. Он в мантии и в мундире. Выражение лица сильное, и момент избран, когда министр-депутат в пылу ораторского движения. Земля под памятник подарена Парижем. Над прахом Дюшенуа Мельпомена с кинжалом. Я видел памятник, сооруженный еще живущим самому себе на случай смерти. На нем надписано имя имеющего умереть и день его рождения: né—и——mort; за сим словом оставлено место для года и для кончины его.

17/5 декабря 1837. Во вчерашних «Дебатах» я прочел статью о Марк-Жирарденевой лекции, мною описанной. Журналист-приятель дает его лекции какой-то систематический ход, коего я в лекции не заметил. Мои обрывки вернее; я удержал в памяти и записал его полуимпровизацию слово в слово, но не вполне, а только самые оригинальные фразы — ipsissima verba. Нам обоим пришла мысль о книге Фенелона «О воспитании девиц». И мне странно показалось, что, говоря об «Эмиле», профессор предпринимает и курс нравственности, не причисляя впрочем себя к философской секте XVIII столетия, коей Руссо вернейший представитель. Мы оба забыли упомянуть, что Марк-Жирардень намекнул, как бедствия жизни привели его к религии: он потерял милую жену; она утонула в Сене. Моя редакция вернее. Кое-что из влагаемого журналистом в уста профессора можно конечно было угадать из слов его; но ни такой связи в идеях, ни такого прозаического изложения не было. Критические замечания журналиста справедливы. Но как не обратил журналист всей силы порицательной критики против профессора, который в Сорбонне намерен по «Эмилю» преподавать курс христианской нравственности? Журналист заключает: «Не будем требовать от века больше, нежели сколько дать он в состоянии». Так! Но потребуем от профессора то, что

он обещал нам. Марк-Жирардень сам один из главных редакторов «Дебатов»: иначе собрат судил бы его строже; ибо замечания его доказывают, что он не избрал бы «Эмиля» почти руководством для курса нравственности.

23/11 генваря 1838. Сегодня нашел я Рекамье по-прежнему окруженною ее друзьями: Шатобрианом, Баланшем, Ампером. Она подала мне руку и вслух заговорила. Около двух лет не слыхал я этих милых звуков. Она заметила мою радость и рассказала мне об успехах своего выздоровления. К нам присоединился классик-литератор академик Roger, коего я встречал часто у Лабори. Он был при Бурбонах и остался верным легитимистом и строгим католиком. Он разговорился о своих собратах по академии. Вот анекдот о Ламартине. Когда еще, по пророческому выражению Сальванди, на бале у герцога Орлеанского, «on dansait sur un volcan», герцогиня Беррийская просила Roger сделать публичное заседание dans la société des belles-lettres и пригласить короля неаполитанского, отца ее, Roger, желая угодить ей, предложил немедленно Жюсье, одному из умнейших членов общества, приготовить статью в прозе, а Ламартину стихи. Первый соглашался охотно; Ламартин начисто отказал ему. Сперва отговаривался он, что нет у него ничего нового в портфеле. Но когда Roger напомнил ему, что его «Гармонии» печатаются, что он может взять из них любую пьесу и потешить герцогиню Беррийскую и отца ее, то он снова отвечал ему: «Je ne veux pas perdre l'amitié de mes amis, les marchands de vin de Mâcon. Если они узнают, что я пишу и читаю стихи для двора, то разлюбят меня, а я хочу быть депутатом; я должен непременно быть депутатом». И в самом деле, по удалении старшей линии Бурбонов Ламартин поехал на восток и, возвратившись, занял место в камере. Маконцы о нем вспомнили.

От мелочной литературы перешли мы к высшей церковно-духовной. Погоревший третьего года книгопродавец Гом издал недавно полного св. Августина, но не включил в новое издание посланий его, найденных за несколько лет перед сим в Бенедиктинском монастыре на Монте-Кассино (библиотекарь сего архива, открывший их, подарил мне экземпляр оных; я с Монте-Кассино переслал его в С.-Петербург; они переведены и печатались в журнале Духовной академии в С.-Петербурге). Теперь вышла любопытная книга, доказывающая, что сии послания подложные и написаны во время споров о благодати теми, кои желали доказать, что их мнения согласны с августинскими. Roger доказывал, что невозможно подделаться под св. Августина, и сделал прекрасную характеристику творений его. От Августина нетрудно было переступить к аббату Флери, автору превосходной церковной истории.[4] Литератор (да и не академик ли?) Жуи смешал его с кардиналом: тот же qui pro quo напечатан на одной афишке о новом издании церковной истории кардинала Флери.

От невежества Жуи и афишки перешли к невежеству журналистов. Жюль-Жанен, в статье «Дебатов» недавно упомянув о Каннах, где вы-

садился Наполеон, сказал, что это место прославлено и тем, что здесь Ганнибал разбил римлян! Кто-то из приятелей Жанена указал ему ошибку его. «Vraiment, j'ai confondu cela! c'est drôle!», — отвечал он. Анекдоты и рассказы Roger любопытны какою-то литературною стариной. Он без большого авторского таланта, но с талантом искательства. Некогда принадлежал Roger к так называемому «La société du déjeuner», где люди с истинным дарованием перемешаны были с счастливою посредственностию. Мало-помалу члены сего общества втерли друг друга в академию. Roger сделался несколько известнее переводом драмы с немецкого и несколькими другими драматическими пьесами и небольшими литературными статейками. Все это в двух частях издал приятель его Нодье. Он очень хвалил второе издание «Жизни папы Пия VII», написанной Арто, бывшим и при Шатобриане и прежде советником посольства в Риме. В этом издании много любопытного и о Наполеоне, особливо о кончине его. Арто переводчик Данта и биограф Макиавеля. Он сам уверял меня, что перевод его Данта лучший на французском. Roger, Баланш и Рекамье читали его и уверяют, что он довольно верен, но плох.

Я начал вечер в салоне Моле и кончил у Ансело. В первом все то же и те же впредь до нового министерства или до новой камеры. Во втором нашел я хозяина, критически разбирающего «Калигулу», с пьесою в руках. Он читал нам разные сцены из трагедии, останавливался на дурных стихах (следовательно, очень часто), анатомировал их, находил самые грубые ошибки в стихосложении, цезуру не на месте, противоречия в изображении одного и того же характера, или в речах одного и того же лица. Ансело указывал на бессмыслицы, на бесчисленные ошибки против языка и просодии и ставил «Калигулу» ниже всех драматических произведений Гюго с братиею. Я давно не видал Ансело в таком исступлении негодования против дурной трагедии и ее минутных успехов на сцене. В чтении она еще менее понравится. Кстати о Гюго и об успехах драматических произведений в Париже. La reprise d'Hernani удалась теми же средствами, как и первые представления оной. Один из приближенных к театральной дирекции, исчислив все места в ложах, в партере, в галереях и в оркестре, выданные в распоряжение автора, полагает, что Гюго роздал приятелям и приятельским сотрудникам в хлопанье до 800 билетов. «Вот как здесь многим удается».

25/13 генваря 1838. Из посольского журнала, веденного Кальяром в С.-Петербурге, выписываю все, относящееся до покупки библиотеки Вольтера, в переписке Корберона, французского поверенного в делах в С.-Петербурге, с министром иностранных дел, Верженом.[5]

«(Bibliothèque de mr de Voltaire. Le 15 Septembre, 1778.) Mr d'Hornoy écrit à mr de Corberon pour l'instruire que mr de Voltaire avait mis en possession de sa bibliothèque m-me Denis; que ses neveux avaient tirés sa parole qu'elle ne s'en déferait qu'à leur faveur, mais que depuis cette personne faible a cédé aux insinuations de mr Grimm, chargé par l'Impératrice d'en faire l'acqui-

sition. Les conditions du traité étaient une somme quelconque et une statue élevée à Voltaire dans une salle du palais de l'Impératrice, qui voulait venger ses cendres des outrages qu'il a reçu dans sa patrie. Mr d'Hornoy prie mr de Corberon de tâcher d'empêcher l'effet de ce marché et de faire en sorte que la bibliothèque de mr de Voltaire reste à sa famille qui ne s'en verrait pas privée sans la plus vive douleur. Mr de Schouwaloff à qui mr de Corberon s'est adressé, en courtisan adroit, a refusé de se mêler de cette affaire.

«Mr Grimm revient à P. bourg, courtisan adroit autant que modeste, il a captivé la confiance de Catherine II et cette correspondance de France avec cette Souveraine mériterait peut-être quelqu'attention de notre part. Mr de Corberon prie mr de Vergennes de lui donner des lumières à cet égard. Le caractère de mr Grimm n'est pas franc et sa position et son intérêt l'obligent peut-être également à compasser ses discours aves ses démarches».

Вот извлечение, сделанное Кальяром, из ответа умного и благородного Вержена на оба пункта.

«Mr de Vergennes désavoue les démarches de mr de Corberon pour détourner l'Impératrice de l'acquisition de la bibliothèque de mr de Voltaire. Cet objet est étranger à la politique. Mr Grimm par sa position ne pouvant même avoir l'air de l'intimité avec mr de Corberon, il n'y aura entr'eux que les liaisons de la société. Les bontés dont l'Impératrice honore mr Grimm et son caractère particulier doivent porter mr de Corberon à des prévenances. La circonspection de mr Grimm ne doit pas être suspecte».

Я нахожу в отметках Кальяра еще следующую от 27 октября 1778, в С.-Петербурге.

«Lettre de l'Impératrice de Russie à m-me Denis sur l'acquisition de la bibliothèque de mr de Voltaire avec cette adresse, de la main de l'Impératrice ainsi que la lettre: à madame Denis, nièce d'un grand homme qui m'aimait beaucoup. Cette lettre fut apportée par mr Grimm qui en envoya copie à mr de Vergennes».

Вчера кончил я вечер на бале у Свинтонов: сперва пели итальянские и французские артисты, потом начались танцы — и я уехал. Я возобновил там знакомство с шотландцем Коминг-Брюсом. Коминг он сам по себе, а Брюс по жене. Она внучка знаменитого путешественника, который объехал две или три части света, для того чтоб в собственном доме, провожая даму, споткнуться и умереть на лестнице. Коминг-Брюс настоящий горный шотландец, страстно любит отчизну и ее историю. Фамилия Брюсов в древности была во враждебном соперничестве с Комингами. Брюсы и Коминги домогались престола. Счастие благоприятствовало Брюсам: время примирило и переженило враждовавших. Наш Брюс был из того же корня. Отрасль, ближайшая нашей отрасли, недавно еще цвела в Лондоне в особе богатой падчерицы священника. Я знавал ее — и в первое время моего пребывания в Лондоне относился к ней. По кончине графини Брюс-Мусиной-Пушкиной она показывала документы в доказательство ближайшего родства ее с Брюсами, удалившимися в Россию.

22/10 февраля 1838. Вчера был я на бале у короля, поглазел — да и только. Уехал с балу ровно в 10 часов: двух часов довольно было, чтобы наглядеться на толпу, напиться чаю, полюбоваться кадрилью в зале маршалов. Все то же и те же. Принцесса Мария танцевала с молодым пером, герцогом д'Истриа, потом с племянником Апони; Орлеанская сидела подле короля и, кажется, не танцевала. Орлеанский пришел поздно и толковал в кружку с офицерами. Из русских недипломатов был один я. Накануне женился датский министр на французской католичке в Версале (потому что парижский архиепископ не допустил здесь брака с протестантом) и уже представил молодую жену свою. Когда я уезжал с балу, две веревки тянулись еще на бал с набережной и с Rue-Rivoli.

Шумные так называемые веселья как-то уже не занимают меня. Вечеринки люблю только, когда они оживлены необыкновенною любезностию или жаром интересного разговора. В выборе собеседников становлюсь строже. Даже и не все знаменитости привлекают меня. Встречаю многих между ними, но не ищу почти никого. Беседа мертвых или жизнь в мертвой букве вознаграждает за живых. Сейчас ездил к m-rs Fry, знаменитой квакерше, которая приехала сюда на короткое время из Лондона и проповедует два раза в неделю в моем соседстве. Я знавал ее с 1828 года в Ньюгате, где она христианским, героическим терпением обезоруживала самых закоснелых преступников и увлекала их к раскаянию. Она была некогда в переписке с княгиней С. С. М., жила в тюрьме и переносила от невольников не только поругания, но иногда побои и оплевания, от коих она скрывалась в чулан. Я слыхал в тюрьме утешительные ее увещания преступникам и был раз свидетелем, как она ободрила упавшего духом отчаяния одного преступника, шедшего на виселицу. Она тогда возбудила во мне самый сильный энтузиазм, который подействовал на всю жизнь мою.

В «Revue du Nord», сегодня вышедшей, напечатаны выписки Раумера в книге его из английских донесений о России. Во всех государствах принялись теперь разбирать архивы и обнародовать то, что каждому государству кажется безвредным и позволительным для себя: Франция печатает о России, Россия о Франции, Англия об Австрии, Австрия об Англии. Вот извещение о Шатобриановых двух томах. «Великий труд г. Шатобриана о Веронском конгрессе и Испанской войне выйдет в свет в непродолжительном времени. Это сочинение, которого ожидали с живым любопытством, судя по занимательности предмета и имени автора, становится еще важнее по тому обстоятельству, что в это время знаменитый писатель занимал высокий пост. Посланник на Веронском конгрессе излагает содержание совещаний и рассуждений этого собрания; министр иностранных дел вводит нас в тайны истинных причин Испанской войны; он представляет нам, как действовала Испания. Подобно Тациту, г. Шатобриан не только повествует, но и обсуживает происшествия, рассматривает действователей с тем благородством чувствований, с тою высокостию ума, кото-

рые так гармонируют с его маститою опытностию. Нельзя без участия читать прекрасные страницы, где он упоминает о миролюбивых мерах, которыми тщетно желал он предотвратить бедствия войны. Он говорит, что на Веронском конгрессе никто не желал Испанской войны; что она была следствием необходимости, а не усилием партии, и что французскому правительству еще тогда надлежало бы принять против революционного умонаправления Испании те меры, на которые теперь, рано или поздно, должна решиться Франция в защиту королевы. Автор в своем сочинении разбирает все вопросы, которые возникают по сему обстоятельству, и между прочими вопрос об испанских колониях. Увлекательнее всего в сочинении неподражаемое мастерство, как пользовался автор историческими материалами, талант в обрисовке этой двойственной физиономии происшествий и людей, возвышенный и прекрасный слог, которым, так сказать, выгравирована эта история для потомства. Для успеха книги достаточно было бы одних приложений, находящихся в сих новых томах. Здесь помещены письма всех политических и литературных знаменитостей того времени: Лудовика XVIII, Канинга, Виделя, Полиньяка, Бенжамена Констана, Арман-Карреля, Беранже и проч.».

С тех пор как публичные игры здесь запрещены, завелись тайные и размножились до чрезвычайности, несмотря на строгие преследования полиции. Около двухсот домов, под разными наименованиями, открыто для игроков всякого рода и племени; к числу таких домов принадлежат пенсионы, tables d'hôtes, в какую цену угодно — для простолюдинов, для молодежи среднего класса и для сидельцев. Для знатных же посетителей, кои некогда собирались au salon des étrangers, бывшие содержатели дают роскошные обеды и приглашают к себе печатными билетами: как отказать маркизу, или виконту, или графу? Один из моих знакомых, года три перестав навещать бывший salon des étrangers, беспрестанно возвращал прежде пригласительные билеты. Несмотря на то, на сих днях встретив на булеваре одного из виконтов, дающих обед игрокам, он был странным образом опять приглашен туда. Отказавшись в этот вечер, получает он карточку на другой день и новый зов на обед. Вторичный отказ. Через два дня виконт, исчислив некоторых знатных людей, у него обедавших накануне, опять приглашает. Ему хочется непременно увеличить число посетителей и выиграть чью-нибудь доверенность. Иной бы поддался.

23/11 февраля 1838. Вчера я занемог и сегодня отказался от обеда и от балов. Весь день и все утро прочитал и кончил купленные мною депеши французского посла из Москвы и С.-Петербурга. Теперь начал берлинские, где также много о России. Вот рассказ о Рожерсе. Его врачебному искусству обязана Россия спасением Екатерины II во время одной болезни. Для исцеления императрицы надобно было открыть ей кровь. Государыня никак не соглашалась на это. Тогда Рожерс бросился к ногам ее, отвечал за успех и угрожал в противном случае погибелью. Екатерина

согласилась — и Рожерс восторжествовал: перед тем он уже сбирался в Англию, оставив службу при дворе. Императрица выздоровела.

Старейшего ориенталиста, осьмидесятилетнего Сильвестра де Саси вчера не стало. Накануне говорил еще он о делах Канады. Он был пер Франции, не пропускал ни одного заседания и, сверх того, занимал восемь мест, и не только занимал, но и занимался ими как академик, библиотекарь, профессор, инспектор и проч. и проч. Арабская хрестоматия останется памятником его восточной учености.

26/14 февраля 1838. Еще несколько слов о квакерше Fry. Она импровизирует проповеди в двух комнатках у своей приятельницы, также квакерши. Мы едва нашли местечко в уголку для двух стульев. Все погружено было в глубокое молчание, нарушаемое изредка вздохами в глубины сердца. Через четверть часа явилась в квакерском строгом костюме m-rs Fry и уселась на канапе, подле здешнего старейшины квакеров. Но молчание продолжалось. Через полчаса она встала и сперва тихим, едва слышным голосом начала свою проповедь без текста, а потом продолжала нараспев, протяжно, заунывно и однообразно, и, таким образом, около часа мы слушали какое-то благочестивое рассуждение, без особенного красноречия. Это не трогало сердца и не возбуждало сильного внимания, оставляя нас непроникнутыми новым каким-либо ощущением или порывом к добру; холодно, вяло и, следовательно, едва ли не бесплодно. Не дамское дело проповедь. Им даны иные средства увлекать, убеждать, покорять истине. Разве одна m-me Сталь могла бы быть между дамами Боссюэтом, по крайней мере Лакордером (до поездки его в Рим) в Сорбонне. После проповеди m-rs Fry опять получасовое молчание, усыпительное для моего товарища. Один из *возбужденных* (кем и чем — неизвестно) сказал слова два о религиозных брошюрках, им раздаваемых или продаваемых, и опять все замолкло, к счастию, ненадолго. M-rs Fry встала, и все за нею. Я напомнил ей о нашем знакомстве в Лондоне. Она расспросила меня о княгине С. С. М. и звала к себе. Она приехала сюда, сколько, кажется, по банкрутству мужа, необыкновенному между квакерами, столько и для совещания с дюшессой Броглио и с другими благочестивыми филантропками об исправлении тюрем и об эмансипации французских колонистских невольников. В тюрьмах и в борьбе духовной с преступниками m-rs Fry сильнее, нежели на кафедре: там что-то оживляет и возбуждает ее. Какой-то деятельный, могучий дух христианства дает ей силу и победу над закоснелым, ожесточенным пороком. С нами, с обыкновенными прозаическими грешниками, она, как Орлеанская Дева в отсутствие врагов отечества, теряет все свое вдохновение, всю силу, свыше посылаемую.

Я был сегодня на бульваре и видел праздник *жирного быка*. Экипажи тянулись в три ряда, по сторонам толпился народ, встречавший масленицу, но маски были редки.

На вечер я зван с Ламартиншей: она привезет мне вторую речь мужа об уничтожении смертной казни. Она гордится, что имя ее мужа будет на-

поминать два прекрасные происшествия: «L'émancipation des esclaves et l'abolition de la peine de mort». Муж еще не возвратился с маконских выборов. Я видел у нее новую поэму в двух волюмах «L'Italie conquise».

Гуляя по бульвару с толпою, встретил я двенадцатискамейную и осьмиколесную таратайку, в коей сидело до шести—десяти человек, что и похоже на экипаж железных дорог. Завтра явятся маски и вслед за ними опять *жирный бык*, удивляющий публику своею огромностию. Опять тот же скотник откормил его и превзошел всех быков своим, и, вероятно, опять тот же мясник купит его. Три дня он пьет да гуляет по Парижу. В каждой лавке, против которой он останавливается, поят его вином, и с каждым днем он тучнеет; а завтра же, во вторник, в восемь часов вечера он падает под ударами дубины:

Стезя величия ко гробу нас ведет.

Когда граф Сергей Петрович Румянцев был в Париже, в камере депутатов назначено было королевское заседание, но билетов, как и в нынешнем году, достать было трудно, и он очень горевал и досадовал, что ему не удастся видеть этого зрелища и короля, коему он не представлялся. Одна русская дама узнала об этом в самый день камеры, сказала другой, ехавшей от нее во дворец, а эта королеве, которая отвечала, что едва ли и ей возможно будет достать билет так поздно, ибо все уже были розданы; но постараюсь, и если удастся, то немедленно пришлю вашей приятельнице: и в самом деле королева где-то добилась билета и послала его для графа Румянцева, о коем слыхала, что он бывал в обществе Марии Антуанеты.

2 марта/18 февраля 1838. В последние дни были любопытные встречи, прения в салонах, например вчера у Рекамье опять уже голосистой, с Шатобрианом и Баланшем о Лерминье, Занде, Ламене, Монталамбере. Сколько я ни привык к тихому, скромному, но истинному блеску ума Рекамье, но вчера она и меня изумила верностию взгляда своего на литературу, основательностию суждений, обширностию знаний своих в важных вопросах или предметах истории. Монталамбер написал в «Universel Religieux» статью о Кельнском архиепископе. Мы прочли ее. Замечание Шатобриана на последние строки оной, где ставят на одну линию папу на Тибре с епископом на Рейне, были, с точки зрения католика, справедливы. Из этого возникло еще несколько вопросов. Рекамье удивила всех историческою и логическою верностию в своих ответах. И Шатобриан был не только краснобай, но истинно красноречив и возвысился до метафизики христианской. Шатобриан ушел. Явился Ампер — и прение усилилось, но перешло к церковной истории.

Последний маскарад был в пользу бедных. Многие художники прислали лучшие свои произведения: живописцы — картины, модистки — fichus и целые платья, портные — фраки, жилеты и проч.

3 марта/19 февраля 1838. Я видел «Паризину», оперу. В целом ничего нового она мне не сказала и, следовательно, не понравилась. Но в ариях, в пенье Гризи, Рубини и в игре первой столько таланта и силы, что вся публика была в восторге, особливо в последней сцене. У меня было два билета в ложу. Я не мог найти ни одного товарища: все собирались танцевать. Я решился с двумя билетами идти один. Но у входа нашел порядочно одетых немцев, горевавших, что не могли достать билета. Я предложил им ложу. Один из них принял: и, на мое счастие, это был сам композитор, участвующий в лейпцигском музыкальном журнале. Он толковал мне о музыке, о достоинстве и недостатках разных композиторов, замечал ошибки в «Паризине» и вел обстоятельный журнал каждой арии, каждому звуку прелестного горлышка Гризи — все это для статьи в лейпцигском журнале. Немец был доволен мною, я им.

Читали ли вы в английских журналах выговор Оконелю? Он превзошел Шеридана: этот сшутил или скаламбурил в подобном случае, а тот отвечал не на шутку. Когда по прежнему уставу английской камеры Шеридан за сильную болтовню осужден был *на коленах* выслушать выговор камеры, то он, вставая на ноги и отряхиваясь, сказал: «Cette chambre est bien sale».

Сегодня ровно в полдень Талейран в академии нравственных и политических наук будет читать похвальное слово одному из предшественников своих в министерстве иностранных дел графу Рейнгарду, недавно умершему.

4 марта/20 февраля 1838. Сегодня в «Курьере» сказано только два слова о вчерашнем заседании академическом и что находились там гг. Моле, Гизо, Монталиве, Тьер, Дюпень, Пакье и другие. В «Temps» помещено несколько подробностей об этом же случае. Талейран пришел, опираясь на руку Минье, сказавшего о нем в историческом портрете: «Monsieur le grand-maître des cérémonies de tous les pouvoirs». Перед Талейраном читал Naudet: «De l'influence des circonstances morales et politiques sur les lettres, et notamment sur la poésie chez les Romains». Между тем Талейран отдыхал. Naudet не дочитал, желая уступить нетерпению публики. Талейран был еще в Америке, когда его избрали в члены академии, и по приезде сюда был назначен секретарем этого отделения. С того времени прошло сорок лет. Рейнгард был и поэтом: его хвалили Геснер, Клопшток и Гете! Лучшие негоциаторы, заметил Талейран, были богословы (Талейран и сам епископ!); так и Рейнгард. Это характер католического богословия, а не протестантского, и причина этому в истории и в отношениях римской церкви (рассаднике искусных дипломатов) к светским государям. О слоге Талейрана: «C'est le bon style du XVIII siècle». Говорят, что Вильмень, выходя из академии, сказал: «Voltaire n'aurait pas mieux écrit!».

Один журналист наскоро набросал портрет министра иностранных дел, Талейраном начертанный. Вот он: «Un ministre des affaires étrangères doit

avoir assez de tact pour sembler ne rien ignorer de ce qu'il entend pour la première fois, il faut qu'il ait toujours l'air ouvert, tout en demeurant impénétrable, et il doit être assez habile pour affecter quelquefois les dehors de la naïveté. Mais surtout il ne doit pas cesser de penser un seul moment durant les 24 heures, qu'il est ministre des affaires étrangères! Tout cela, d'ailleurs, n'exige que de l'habileté. On croit trop souvent que la diplomatie autorise la ruse et la fausseté. Mr de Talleyrand dit que la bonne foi est la base la plus solide des grandes négociations, et peut seule assurer l'avenir de leurs résultats; mais il ne faut pas confondre la fausseté avec la réserve». В этом портрете все его самого узнали. Вот о нем еще фраза из «Дебатов»: «Mr de Talleyrand doit faire le désespoir des vieillards: ses homélies ne baissent pas». Талейран читал без очков! А глаза служат ему с 1754 года, говорят «Дебаты».

31/19 марта, 1838. Концерты и здесь разоряют нас. Гораздо приятнее посещать сборы для бедных: там не только услышишь хорошую проповедь и оставишь что-нибудь в пользу бедных, да еще полюбуешься на хорошенькую ручку сборщицы, обыкновенно избираемой между красавицами. Недавно были мы à Marie Thérèse, т. е. в богадельне Шатобриана (или жены его), где Равиньян проповедовал на текст «аз есмь путь, истина и живот» — и проповедовал прекрасно, хотя и с излишними жестами и декламациею. Увещание к щедрости в пользу дряхлых священников, в сей богадельне содержимых, было трогательно, и красноречие проникало в сердце. Парижский архиерей произнес благословение. Хор был из лучших певчих. Собрание состояло из легитимистов, между которыми особенно много находилось дам Сен-Жерменского предместья. В числе сборщиц у дверей была графиня Циркур. Собрано 14 400 франков да еще после несколько сотен. После проповеди я встретил Шатобриана в саду, и он показал мне издали все части заведения, а я показал многим его самого. Кажется, он решительно принимается за биографию императора Александра.

Сборы в пользу бедных, по приходам, здесь очень обильны. Ни в одном приходе менее 10 тысяч франков не собиралось. Равиньян кончил свою проповедь словами маршала Люксембурга: «J'aurai donné toutes mes batailles gagnées pour un verre d'eau offert à un pauvre». Я надеюсь, что два тома Шатобриана выйдут до моего отъезда отсюда. Через три недели выйдет еще новая поэма Ламартина.[6]

1 апреля/20 марта 1838. Сегодня после русской обедни ездил я в собор Notre-Dame слушать Равиньяна. Опять почти вся церковь полна; в числе слушателей Берье, Ламартин и сен-жерменские fashionables. Мы не близко стояли, а слышали почти все. Содержание проповеди было: «Sur les variétés de l'erreur et l'unité catholique». Он начал с древних и привел определение религии одного буддиста: «La religion est l'échelle par laquelle les hommes vont au ciel». Но заблуждение буддизма в крайности, до коей он доводит своих последователей: «Le devoir, d'après le bouddhisme, est de s'anéantir». Потом Равиньян разбирал вкратце существо различных религиозных сект

и мнений: «Le panthéisme mystique, l'idéalisme, le quiétisme, le mysticisme allemand, le mysticisme exalté de l'Inde, le stoïcisme, qui disait à Jupiter: „vous n'avez pas plus de vertu que moi“». Таким образом, исчислил он «toutes les inconséquences, ou plutôt toutes les conséquences de la sagesse humaine» и привел нас во второй части своей проповеди à la vérité catholique, которую противопоставил à la laborieuse impuissance des opinions humaines. Тут он возвысился до истинного красноречия и обещал нам к великому четвергу проповедь о христианской любви, charité, в пользу бедных соборного прихода, а в следующее воскресенье конференцию о бессмертии души. Из собора прошли мы чрез Palais-Royal в кабинет чтения, где к 1 апреля нашли новые Revues со статьями Шатобриана («Revue des deux mondes») о Веронском конгрессе (прелесть слога); Вильменя в «Revue de Paris» о влиянии Руссо на французскую литературу, из его новых лекций, кои скоро выйдут; в «Revue Française» также много статей любопытных. Ответ пастора Николая Лакордеру написан не высокопарно, но просто и дельно. Дома нашел приглашение на новую проповедь Равиньяна в пользу построения в Лозане католической церкви. Сборщицы дамы. Барон д'Экштейн прислал мне свою брошюрку о св. Павле. Я еще не читал ее и не знаю, отвечает ли она высокому мнению о его таланте многих его читателей и почитателей.

В трагедии Брифо «Сигизмунд, царь Аустразии» много прекрасных стихов, по правилам строгого классицизма написанных. Я слышал ее чтение. Читали ее автор и его приятель — превосходно. Почти можно было не сожалеть, что она не играна. Враг германцев, озлобленный их неблагодарностию, отвечает:

Et si la voix du monde
Crie: où sont les Germains — que leurs cercueils
répondent!

Подобных стихов много, также и трогающих душу, например отчужденный от друзей и отечества и полузабытый ими говорит со вздохом:

Au foyer des amis je ne manquerai pas.

На кладбище, где погребены знатные и вельможи:

Tous ces grains de poussière autrefois souverains!

Вот другое чувство старого германца к врагу его:

Ce n'est qu'en te voyant que j'ai connu la haine.

Старец-отшельник, потерявший невесту своего сына, вступается за убийцу и требует, чтобы Сигизмунд простил ему убиение дочери, умершей христианкою:

N'as-tu pas entendu son dernier cri: pardon?

Вот и чувство нехристианское:

J'ai goûté le bonheur d'un mortel qui se venge.

Я упомнил еще несколько счастливых стихов:

A côté du héros on respire la gloire.

Или о человеке, подобно <Жуковскому>:

Et citer ses vertus, c'est conter son histoire.

Отшельник, потеряв все надежды земные, говорит, скрываясь в последний раз от мира:

Il me reste un espoir!..

Его спрашивают: «Sur la terre?», он: «Au ciel!». Брифо еще не хочет отдавать «Сигизмунда» на театр, хотя, я уверен, его сыграли бы с успехом. Он легитимист; в сочинении много намеков на верность Бурбонам старшей линии — и это не прошло бы без рукоплесканий.

По милости m-me Рекамье я познакомился с Верраком, сыном и наследником того, который был у нас посланником при императрице Екатерине II. Он сохранил все депеши его, с коих я имею черновые, Кальяром, секретарем его, писанные. Но так как многих номеров у меня недостает, то я и просил у него позволения дополнить их из его собрания, а он обещал привезти мне все рукописи его из деревни, куда на днях сбирается, и сообщить на время все, что имеет. Боюсь, чтобы это меня здесь не задержало.

2 апреля/22 марта 1838. Мы были сегодня в камере перов. На наше счастье, заседание было очень занимательно, как по предмету прений, так и по таланту ораторов. «Следует ли представлять президенту камеры назначение членов комиссий камеры, учреждаемых из среды оной, для точнейшего предварительного рассмотрения проектов, от министров и от других лиц в камеру поступающих, или камера сама должна избирать из себя сих членов?». По сию пору доверенность камеры к ее президенту барону Пакье предоставляла опытности и беспристрастию его сие назначение; но на будущее время власть сия, укорененная привычкою, могла соделаться опасною и затруднительною для камеры. В комиссии, где заседали по сему вопросу Маре (т. е. герцог Бассано), д'Аргу, Барант и другие, произошли не совсем сходные и несколько разногласные мнения; не было совершенного единства в оных. Мы застали графа д'Аргу говорящего в пользу мнения, по-прежнему предоставляющего президенту назначение членов особенных комиссий. Он сделал моральную и политическую статистику жизни или долголетия камеры — и, конечно, не имел намерения рассмешить камеру, исчислив, что сложив все года жизни членов оной, получишь, что камере в сложности 18 582 года. Молодые перы расхохотались; старичкам было не до смеха, особливо, когда по рассчислению

д'Аргу оказалось, что из 300 перов 103 имеют от роду за 60 лет, из коих 19 от 80 до 93 лет! Эта жизненная статистика нужна была оратору для доказательства, что из немногих только членов камеры перов можно избирать в особые комиссии, ибо сверх того более 100 чиновников: 9, кои по молодости не имеют еще совещательного (délibérative) голоса в камере; потом следуют нерадивые или редко являющиеся в камеру и т. п.; а для комиссии нужна особая деятельность и часто специальные сведения по какой-либо части. Д'Аргу, в подтверждение своего мнения, сослался на прежние политические камеры, в коих, за исключением des états généraux, не было особых bureaux для предварительного рассмотрения предлагаемых проектов закона. Но все сии статистические и исторические указания не утешили перов, кои, подобно пирамидам, «ont fatigué le tems», и по рассчислению насмешников-журналистов впятеро старее тех пирамид, «du haut desquelles Napoléon montrait à son armée quarante siècles qui la contemplaient». Вильмень, в язвительной и блистательной своей импровизации нападая слишком жестоко на соображения и на цель (tendance) д'Аргу, предсказал, «que ses calculs sont tout au plus susceptibles d'exercer la verve spirituelle des petits journaux». В самом деле, насмешки над камерою так и хлынули из «Корсара», «Шаривари», «Фигаро» с братиею. Слушая продолжительные колкости Вильменя с оговорками мнимой скромности, я начинал досадовать на самую неистощимость в блестках остроты его. Д'Аргу морщился, бесился и взбежал на кафедру, чтобы защитить и оправдать себя от личностей своего *почтенного друга* (Вильмень называл его беспрестанно «mon honorable ami»). Но нападки Вильменя устремлены были более на оратора-статистика; Кузень, напротив, всю едкость своего таланта обратил на ничтожность самой камеры — и не в бровь, а в глаз метил. Он заклинал ее воспользоваться сим случаем для политического своего возрождения, для новой жизни, для новой деятельности. «Pairs de France, — кричал он, — qui avez perdu l'hérédité et qui n'avez pas gagné l'élection; pairs de France, qui n'avez ni fait ni défait un ministère, проснитесь от глубокого семилетнего сна вашего!». Но справедливы ли все сии укоризны камере de ce pair-parvenu? Разве камера перов, когда еще в ней не было профессоров, не оказала неустрашимости в 1830 году, когда волны народные тщетно разбивались у стен Люксембурга? Во время суда министров один только Лафайет мог удерживать в пределах сии буйные волны, разъяренные против судей и судимых. Когда начало смеркаться, а суд еще не был кончен, то и Лафайет прислал сказать, что он ночью не может отвечать за безопасность Люксембурга — и камера поспешила произнести спасение министрам. К чести перов должно прибавить, что тогда все старики и больные явились в камеру, куда призывали их долг и опасность. Видели тогда, как одного из судей принесли в суд на носилках. Такие минуты незабвенны в жизни частной и общественной — и лавр гражданского мужества должен вечно зеленеть над сединою старцев. С 1830 года переводчик Платона сделался искателем фортуны, т. е. власти

и почестей, и перестал поучать нас с сорбоннской кафедры, ораторствуя в камере перов. Эти упреки в бездействии, в политическом ничтожестве не показывают чистого желания блага отечеству, но заставляют подозревать какую-то скрытую досаду за собственное политическое бездействие, на которое осуждены теперь перы Франции. В камере депутатов более случая ораторствовать в оппозиции. Вопросы, возникающие там, животрепещущи — и на голоса ораторов-депутатов откликается вся Франция. Характер камеры перов более мирный — и она обязана отличаться более государственною мудростию, умеренностию, нежели жаром и опрометчивостию. Ей прилично некоторое самоотвержение, а не искание народного скоропреходящего одобрения (popularité).

В тот же день в камере должен был защищать проект комиссий и Барант; но камера отложила прения до следующего заседания. Я вышел из камеры с какою-то досадою на Вильменя за д'Аргу — и ввечеру жаловался историку Тьери на литератора Вильменя, коего иногда у него встречаю. Но, прочитав прекрасный отрывок его в «Revue de Paris» о влиянии Руссо на современных и последовавших писателей, примирился с ним. Скоро выйдет III часть лекций Вильменя, откуда взят сей отрывок. Рассматривая Руссо как сочинителя и философа и сравнивая действие его на современников и потомство с влиянием Вольтера, Вильмень показал сильное, непреодолимое наитие духа Руссо, и особливо сердечных, психологических откровений его — в его «Исповеди» («Confessions») — не только на писателей Франции XVIII века, но и на новейших, как например на Шатобриана, коему при сем случае воспел хвалебный гимн, на Ламартина, на характер поэзии и на всю жизнь Байрона. «Влияние Руссо отзывается даже в его противнике — Ламене, который и для книги своей „Sur l'indifférence" более, конечно, заимствовал из Руссо, нежели откуда-нибудь, и поражал Руссо собственным его оружием. „Il a, comme l'Hébreu fugitif, enlevé les armes de l'Egyptien, pour le combattre"». Статья Вильменя прекрасна: импровизация с кафедры созрела в книге и под пером не охладела. Вильмень по-своему смотрит на литературу XVIII века и сливает ее с другими элементами общественного возрождения в XIX. По изобилию оригинальных замечаний статья Вильменя любопытнее отрывка Шатобриана «О Веронском конгрессе» в «Revue des deux mondes», сегодня же вышедшей.[7]

В Шатобриане «le style, c'est l'homme, et l'homme est tout». В его слоге опять та же невыразимая прелесть, но в писателе опять то же неистощимое самохвальство. «En 1807 nous nous promenions au bord du Tage dans les jardins d'Aranjuez; Ferdinand parut à cheval, accompagné de don Carlos. Il ne se doutait guère que le pèlerin de Terre-Sainte, qui le regardait passer, contribuerait un jour à lui rendre la couronne». И опять тот же недостаток в том, что Шатобриан слишком часто намекает, не договаривает — может быть, и оттого, что нет полной мысли, что досказать нечего. Есть и замашки национальности, хвастовства, непростительного в наш европейский,

христианский, просвещенный век. Этот французский ш***вианизм еще досаднее в истинном таланте. Но там, где Шатобриан *боссюетничает*, он иногда настигает орла в быстром полете его и в орлином взгляде его с высоты на происшествия долу, особливо, когда не эгоизм, а беспристрастие к великому одушевляет его. Прочтите слова его об Испании. «Ses aventuriers furent de grands hommes; ses capitaines devinrent les premiers généraux de la terre... Elle vit nos rois dans ses prisons et ses soldats à Paris; sa langue et son génie nous donnèrent Corneille. L'Espagne n'expira point avant qu'Anne d'Autriche n'eût mis au jour Louis XIV, qui fut l'Espagne même transportée sur le trône de France, alors que le soleil ne se couchait pas sur les terres de Charles Quint». Шатобриан мог бы иногда быть Тацитом своего времени, если бы не вредили ему излишнее самолюбие и желание угодить толпе французской. «Bonaparte, ayant fait la faute d'enlever un roi, rencontra un peuple». Какая счастливая верность в его портретах! Вы видите Мюрата: «Sabre recourbé au côté, anneaux d'or aux oreilles, plumes ondoyantes à son casque, mameluck, amazone, héros de l'Arioste. — Toute sa bravoure lui fut inutile: les forêts s'armèrent, les buissons devinrent ennemis». Какой поэт-живописец в истории! «Les ruines de Sagonte applaudirent. — Les Espagnols sont des Arabes chrétiens. L'Espagnol convoitait la domination de l'univers, mais de l'univers dépeuplé; il aspirait à régner sur le monde vide». О министре-поэте Мартинесе де ла Роза, удалившемся в отставку: «qui chante est libre». Не в утешение ли себе сказал и следующие слова? «Le coeur noble et le talent — consolateur sont moins bien dans le monde que dans la retraite, où l'on conserve l'honneur d'avoir une âme immortelle». Записки Шатобриана, как я слышал вчера, выйдут после святой; он беспрестанно исправляет редакцию.

У меня сейчас был Le Roy, автор «Des mémoires sur Ducis», «Des études sur les mystères и sur les manuscrits de Gerson», коему он приписывает сочинение «О подражании И. Х.» (а не Фоме Кемпийскому), имея на то доказательства в рукописях «О подражании», кои я видел. В биографии Дюсиса помещены прелестные стихи его, за две недели до кончины написанные, и другие с намеком на Наполеона во время его всемогущества: прелесть! Le Roy принес мне от Генса (Gence), слепца, издателя «О подражании И. Х.», собрание мелких его сочинений, довольно редких. В числе их и биография St. Martin, от которого произошло название мартинистов. Генс был долголетним другом Сен-Мартеня и сохранил многие неизданные им рукописи, кои он желает показать мне и сообщить все, что знает об этом писателе-теософе, умершем в октябре 1803 года. Сен-Мартень отличался и благотворительностию. Дежерандо, ему подобный по благотворению, рассказывает о нем, что он, любя страстно театр, часто собравшись к Расину или Корнелю, «mais en chemin, la pensée lui venait que ce n'était que l'ombre de la vertu (une action vertueuse mise en scène par Racine ou Corneille) dont il allait acheter la jouissance; et qu'avec le même argent il pouvait en réaliser l'image. Jamais il n'a pu, disait-il, résister

à cette idée: il montait chez un malheureux, y laissait la valeur de son billet de parterre, et rentrait chez lui, satisfait, et bien payé de ce sacrifice». В биографии исчислены все сочинения и переводы Сен-Мартеня. Постараюсь выпросить у Генса аутограф его. Вильмень написал любопытную статью о книге Le Roy «Sur les mystères» и напечатал ее в «Journal des Savans».

Апреля 6/марта 25 1838. Я торопился кончить последнее письмо и не досказал многого, что теперь было бы не на своем месте. Но словца Beugnot Наполеону à propos de la statistique нельзя не передать. Beugnot был где-то префектом во время Наполеона. Тогда статистические обозрения департаментов и отчеты префектов были в большой моде. Царедворцы Наполеона уверяли его, что ему трудно будет привести в замешательство Beugnot вопросами о статистических фактах его департамента, что он на все готов и проч. Увидим, отвечал император — и первый вопрос префекту: «Combien avez vous eu d'oiseaux de passage cette année, mr le préfet?» — «Sire, on n'a vu qu'un aigle», — отвечал Beugnot.

По газетам вижу, что Шатобриан выйдет 16-го, т. е. с небольшим через неделю. Сегодня я много слышал о переписке его с Фонтаном. Вдова последнего хранит все письма и записки его. Многие в беспокойствии от появления его записок о Веронском конгрессе, особливо те, коих мнения с тех пор изменились, по крайней мере для публики. Шатобриан назвал «Освобожденный Иерусалим» Тасса поэмою, на щите написанною. Недавно открыта статуя победы в Бресчии, которая пишет на щите подвиги героев и воспевает их. Поспешу сообщить это открытие Шатобриану для новой фразы.

7 апреля/26 марта 1838. Вот несколько слов из лекций Вильменя из нововыходящей части, «qui complétera le plus grand monument critique qui ait jamais été tenté sur l'époque de Voltaire (слова журналиста), de Rousseau et de Buffon». Эта статья называется «Des Confessions de Rousseau et de son influence sur quelques écrivains de notre tems». «Руссо (говорит Вильмень) во Франции и в Европе приготовил то, что составляет поэзию нашего времени, это меланхолическое созерцание человека, последний плод образованности и пресыщения. В начале своей „Исповеди“ Руссо с какою-то гордостию говорит, что он решился на поступок беспримерный и который не найдет подражателей. — Руссо, не чувствуя унижения от своих проступков, не смягчаясь от своих несчастий, является, при помощи таланта своего, патетическим в самом эгоизме».

Влияние Руссо на век его и на литературу и сравнение в этом отношении с Вольтером: «И Вольтер был не чужд постороннего влияния. Вольтер, независимый в своих правилах, сообразовался между тем во многом с общественными требованиями своего времени; он не рознил со вкусом тогдашнего французского двора. Можно подумать, что он рожден был для этого двора, где не преобладала строгая нравственность, а только остроумие, где смеялись над злоупотреблениями, не изгоняя их, и обращали еще в свою пользу то, во что не верили. В Руссо ничего нет подоб-

ного. Его воображение воспламеняется другим. Полевой цветок, деревцо — ему более нравятся, нежели подстриженные Версальские парки. Его свободная мечтательность часто рисует такие предметы, которые показались бы неприличными под пером писателя даже XVII столетия. Руссо походит на больного человека. Вольтер господствовал как драматический писатель, а Руссо, как мыслитель и прозаик; таким образом, он был первым оратором XVIII века. Своею мизантропиею, действительною или подложною, он приобрел от современников новое право на внимание, и приучил их смотреть на себя, как на существо высшего разряда, которое ничем не может быть удовлетворено, и которое не должно ничего иметь общего с прочими людьми, чтобы господствовать над ними. Вольтер действовал более на общественное мнение, Руссо — на характеры и таланты. Вольтер не воспитал ни одного человека оригинального, не был вдохновителем ни одного ума возвышенного: на него как на учителя смотрела только Франция, которой он был органом, и Европа, ослепленная Франциеи. Руссо не действовал так продолжительно на умы. Он остался в разряде писателей созерцательных и людей красноречивых. Его двойственное влияние было вдохновением вдруг для Сен-Пьера и Мирабо, мечтателя и трибуна. Скоро, во время общественного потрясения, оно одушевило первые опыты блуждающего юноши, французского офицера, из отечества брошенного в пламя войны между диких Луизианы, и из безмолвия пустынь попавшего в стан гражданской войны, а оттуда в тягостное одиночество посреди большого чужестранного города: оно служило пищей тоске и надеждам этого самоизгнанника, тогда еще неизвестного, и поддерживало его, представляя пример, что может вынести гений в борьбе с несчастием и безвестностию. Шатобриан был тогда напитан идеями и чувствованиями того, кого называл он *великим Руссо* и кого поместил в числе пяти великих писателей, которых надобно было изучить ему. Он сохранил некоторые черты меланхолии „du Promeneur solitaire“. Они видны еще в Рене, этом оригинальном создании. Но нельзя не чувствовать, что между туманною мечтательностию недовольного философа и стремительным отвращением молодого человека, в это время, разрушился целый мир общественный, в котором не было еще признаков ни новой жизни, ни спокойствия. Поэзия прозы явилась в неведомом блеске, в богатстве невиданных образов, и часто в красоте образцов, более древних и более простых. Ученик красноречивого Руссо сделался его красноречивым соперником — и картинами бедствий возвратил к обновившимся истинам церкви строптивость умов, воображение женщин, гадания политиков, надежды всех. Для Шатобриана открылся новый горизонт. Взамен видов Швейцарии или Пьемонта путешественник-живописец изобразил Океан, Америку, Италию, Грецию, Египет, Иудею — он показал все лучшие точки зрения на земле и в истории.

«В Байроне влияние Руссо отражается как сила, гораздо более испорченная, нежели исправленная. Здесь чувствуешь отпечаток скептицизма.

Руссо образовал поэтический эгоизм певца Чайльд Гарольда и Лары, а Вольтер виден в философическом воспитании певца Дон-Жуана. Байрон имел перед глазами и в памяти „le bosquet imaginaire de Clarens“, равно как очаровательные и столько раз помещенные берега Лемана: Руссо ему сообщил много вдохновения для картин мизантропии и любви.

«В „Méditations“ Ламартина, в восхитительной сладости его стихов, нельзя не чувствовать местами некоторых пленительных звуков „du Vicaire Savoyard et du Promeneur solitaire“. Если много на него действовал божественный язык Расина, то еще более роскошь картин Руссо. Тот и другой почерпали все из одного источника — духовности и любви.

«Влияние Руссо видно также в одном из самых гневных противников, каких только встречали в наше время сочинения женевского философа. Ламене представляет многие черты сходства с автором Эмиля. Видно, что он образовался в этой школе и заимствовал из нее гораздо более, нежели где-нибудь. Воспитанник Руссо носит в душе некоторые смелые и необщежительные мнения своего учителя.

«Руссо как моралист не всегда одинаков, но часто является возвышенным и благотворно-наставительным. В чем можно упрекать его, то ничтожно перед суммою прекрасных истин, которыми ему одолжены. С ним можно поступить так, как древние поступали с своими героями: вознося их над человечеством, они предавали забвению все то, что было в них немощного. В заслугах Руссо исчезают его заблуждения, как человека. Таким образом, он сохранит всегда права свои на удивление наше, как гениальный писатель, несчастный по самому гению своему, как мудрый и наставительный друг первого детства, как красноречивый защитник религиозных чувств в век скептицизма».

14/2 апреля 1838. С тех пор как я отправил к вам последнее свое письмо, многое вошло в универсальные мои заметки, и я сожалею, что не успевал всего записывать подробно. Впечатления живые и воспоминания, теперь, под пером, сделаются мертвою буквою. В прошлую субботу был я в палате юстиции. Там происходило любопытное заседание de la cour de cassation по делу Монтаржиского процесса относительно свободного вероисповедания во Франции. Я видел там Брума (Brougham), которого привез туда генерал-прокурор Дюпень и посадил подле себя. С Брумом приехала в палату m-me Martinetti, болонская красавица, знаменитая умом, любезностию и даже ученостию. В нее можно еще влюбиться, а ей уже 65 лет. Цвет лица свежий и румяный; глаза горящие и прелестно-выразительные. Брум был знаком с нею в Болонии, где он, с Манти читая по утрам Данте, по вечерам с Мартинетти беседовал об итальянской и немецкой литературе. И здесь она отыскивает для него немецкие философические книги, замечает в них то, что ему нужно для издания IV части его «Натуральной философии»,[8] а пятнадцатилетняя дочь Брума переводит для него отмеченное, потому что сам Брум не знает немецкого языка.

18/6 апреля 1838. Вот вам описание того, что происходило в палате юстиции по случаю рассуждения о вероисповедании. Трибунал вошел в камеру. Члены уселись. Президент дал знак члену-советнику Брессону, что время начать изложение дела. Брессон более часу читал сделанную им записку обо всем процессе, как в первой инстанции, так и в королевском суде (coûr royale) в Орлеане, и мнение орлеанского генерал-прокурора, протестовавшего против решения тамошнего королевского суда. После него адвокат Jules de Laborde начал свою plaidoirie в пользу протестантов, осужденных в первой инстанции и оправданных во второй. Он также говорил более часу, с жаром и красноречием, но и не без излишней иногда декламации французских адвокатов. Генерал-прокурор Дюпень слушал со вниманием и готовился возражать адвокату. Дюпень сказал Бруму, что он принужден *написать* все, что намерен *импровизировать* в ответ адвокату, дабы не подать повода враждебным журналистам к толкам и напраслине. Этот навык — все упомнить, не только главный ход мыслей, доказательств, но даже оборотов фразы, выражений своего противника в длинной речи, быстро произнесенной, — покажется почти невероятным; но Дюпень в своем соседстве имел в виду одобрение и образец в сем роде возражений, хотя впрочем Брум и не разделял в сем процессе мнений своего приятеля Дюпеня. Уверяют, что Брум, после ответа Дюпеня на речь адвоката, сказал: «Дюпень не убедил меня» .

Вопрос состоял в том: на основании хартии 1830 года и уголовного уложения, каждый имеет ли право, без предварительного разрешения правительством, публично отправлять всякого рода богослужение? Вот пятый параграф хартии, на коем право сие основано: «Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection». По мнению адвоката Лаборда, все прежние постановления уголовного уложения сим параграфом хартии уничтожаются. По мнению Дюпеня: «La liberté des cultes n'exclut pas la police des cultes». Сими словами, кажется, можно выразить всю сущность его опровержения. С тех пор как во Франции возникло столько французских всякого рода и всякого толка церквей, столько расколов и новых сект религиозных и индустриальных, сей вопрос сделался важным как в политическом и нравственном, так и в полицейском отношении. Лаборд старается доказать, что хартия, относительно свободы вероисповеданий, «ne crée pas un droit, mais qu'elle le constate». Лаборд, рассматривая предмет свой со всех сторон и приводя в пример законодательства Америки и Англии, воспользовался сим случаем, чтобы сказать слова два в честь Брума: «Voilà ce qui se passe en Angleterre, et ce que, sans crainte d'être démenti, je peux énoncer dans cette enceinte, en présence de l'un des plus célèbres représentants de la nationalité britannique».

Речь де Лаборда произвела сильное впечатление на слушателей. Брум и сам Дюпень хвалили красноречие оратора. На несколько минут последовал роздых. Потом Дюпень прочел *предложение* (réquisitoire), написанное им во время ораторства адвоката, и заключил отвергнуть представление

генерал-прокурора орлеанского: заключение сие тем более всех удивило, что он в предложении своем силился опровергнуть все доводы адвоката и ни в чем не соглашался с ним. Трибунал отложил до следующего заседания решение свое — и мы разъехались.

Во время возвращения своего, в карете, мы условились на другой день ехать в Notre-Dáme слушать проповедника Равиньяна, огласившего, что предметом его конференции будет бессмертие души. Сказано, сделано. И там был Брум с m-me Мартинетти. Но церковь была уже так полна за полчаса до конференции, что мы едва нашли места за колоннами, и только два стула. Несмотря на громогласие Равиньяна, Брум худо слышал его и в начале проповеди уехал. Мартинетти осталась. Я дослушал с нею умную, иногда и красноречивую проповедь. Я показал ей Шатобриана, Ламартина, Берье и академика Roger, кои сидели вокруг архиерейских кресел. Парижский архиепископ бывает всякой раз на конференциях Равиньяна, как за два года перед сим бывал у Лакордера. Иезуит Равиньян, до вступления в орден бывший генеральным адвокатом в Париже, пользуется большим уважением в Сент-Жерменском предместии: там я слыхал его à St. Thomas d'Aquin.

Брум предполагает издать в трех частях свои речи, в парламенте произнесенные, с портретами тех лиц, о которых упоминается в его речах. Так, например, к речи своей о Веронском конгрессе написал он портреты императора Александра, Кастлере и Горнера, члена парламента, сделавшегося известным речью о Генуе в 1815 году. Характеристика́ Кастлере примечательна беспристрастием. Хотя Брум не любил его и был главою оппозиции, когда Кастлер был главою министерства, но он отдает полную справедливость твердости его характера, политической и личной его неустрашимости. С невежеством, необыкновенным в Англии, даже и в политической истории своего народа, Кастлер соединял подробное знание дел своего времени и тогдашних отношений английского министерства. Это познание настоящего давало ему какую-то уверенность в самом себе и поверхность над истинными талантами, с коими он встречался на конгрессах, в кабинете Доунингской улицы и в парламенте.

Характеристику Горнера можно назвать похвальным словом. Я знавал брата его в Лондоне, когда он был директором новоучрежденного там университета. Здесь видаюсь я с двумя сестрами его, необыкновенно умными и сведущими. В Италии видел я гроб его, а в Вестминстере памятник, воздвигнутый молодому, но отличному оратору. При жизни Горнера Брум не любил его и почитал своим соперником: по крайней мере так думали об этом обе сестры его. Брум, с жаром говорящий не только о талантах, но даже и о качествах прекрасной души Горнера, узнал, что для его сестер приятно было бы слушать панегирик их брату из уст соперника. Он немедленно согласился приехать к ним, на другой день был у них, а на третий прислал им копию с портрета их брата. Они плакали от радости...

На английском языке, между новейшими сочинениями, есть статистика Мак'Кулоха.[9] Это лучшее творение об Англии, где находится описание ныне действующих там лиц и нравственных элементов сего трехкоронного царства. Это самая полная книга об Англии, особливо в том отношении, что ее конституция, в нынешнем состоянии, подробно описана там самим Брумом. В новом издании включено и изъяснение всего гражданского управления Англии с указанием на недостатки и преимущества всех действующих пружин английской государственной машины. Таким образом, если книгу Мак'Кулоха назвать можно анатомиею Англии, то речи и портреты Брума будут психологиею или моральною статистикою и вместе новейшею историею Великобритании. Мак'Кулоха я знаю лично, бывал в Эдинбурге и в Лондоне на его лекциях о политической экономии, часто беседовал с ним у него и у себя — и помню две незабвенные вечеринки, продолжавшиеся до 5 часов утра; помню прения, коих душою был князь Козловский, навестивший меня в туманном Лондоне и у меня же с ним познакомившийся. Мак'Кулох был прежде профессором в Эдинбурге. Но когда Брум, Лансдовн и прочие реформаторы академического учения в Англии замыслили учредить университет в Лондоне, они перевели Мак'Кулоха, лучшего, если не единственного профессора политической экономии в Англии. Я слушал его первые лекции в Лондоне. Он читал превосходно, соединяя в себе достоинства хорошей методы преподавания с выгодами положения своего в центре всемирной торговли и промышленности, коих он был точнейшим исследователем и в то время издателем коммерческого лексикона. Но слушателей было мало. Дети самих основателей университета, например Лансдовна, продолжали просвещаться или скучать в роскошной академической жизни старых университетов Англии — и кафедры Лондонского оставались с малым числом слушателей. Я, кажется, упоминал в других письмах об этом непреоборимом влиянии навыка и духа английской аристократии на университетское воспитание молодых аристократов.

Возвратимся к Бруму. На другой день он был в академии нравственных и политических наук, где по субботам бывают заседания членов. Брум был избран одним из первых при самом восстановлении сей академии во время бывшего министра просвещения Гизо. Это пятое отделение института собирается в той же зале, где бывают заседания Академии наук. Мы нашли уже там бессменного секретаря Mignet, историка Michelet, герцога Бассано (Maret), Карла Дюпеня и проч. и проч. Брум познакомился здесь с Кузенем. Минье открыл заседание, под председательством Дроза, чтением протокола прошедшего заседания и представлением академии новых книг и периодических изданий. Michel Chevalier предлагает себя в члены академии по части политической экономии. Кузень представляет академии книгу Гурауера, составленную из мелких сочинений Лейбница на немецком языке, доселе еще неизданных, и делает им легкий словесный разбор. Я уже слышал об этой книге и желал прочесть в ней статью Лейб-

ница о Египте, в существовании коей многие сомневались или почитали ее поддельною. Уверяют, что Гурауер отыскал два списка оной: один здесь, другой в Брауншвейге. Кузень представил еще рукопись одного из почетных членов академии, голландца Van-Heusde, который отвечает на вопрос Кузеня об успехах философии в Голландии. Ван-Гейзде прислал, по мнению Кузеня, примечательное сочинение, достойное всего внимания академии: «Vues générales et détaillées sur l'ensemble des connaissances humaines au XIX siècle». Автор рассматривает связь наук, литературы и искусства, и взаимное влияние оных. Кузень намерен прочесть это сочинение в академии; а так как она положила принимать в свои акты лучшие сочинения и чужестранцев, ей присылаемые, то рассуждение Ван-Гейзде не будет и для нас чуждо.

Академик Villermé, желая воспользоваться присутствием лорда Брума в академии и объяснить некоторые сомнения насчет достоверности и точности в показании числа незаконнорожденных в Англии и пропорции оного с Францией, прочел записку «Sur les chiffres mal connus des naissances d'enfants illégitimes en Angleterre». По оффициальным актам, недавно изданным в Англии, открывается, что на 18 законнорожденных 1 незаконный, а в Мидлесекском графстве (где Вавилон — Лондон) будто бы только 1 на 38! Эта пропорция совершенно противна расчетам в других государствах. Загадку сию разрешил наш соотечественник Дюгуров с берегов Черного моря. Бывший с.-петербургский профессор пишет к Виллерме из Одессы: «Qu'on entre dans les paroisses de Londres et qu'on demande à voir les registres de baptêmes, on n'y verra jamais marqué si les enfants sont ou non le fruit d'unions légitimes; les nouveaux-nés y sont apportés par une femme souvent inconnue, à qui le pasteur ne se permet jamais de faire à cet égard la moindre question, le père ne se présente pas, aucun témoin non plus, et le prêtre seul signe le registre. Pourquoi, disais-je à un prêtre qui venait de faire un baptême dans une paroisse, ne demandez-vous pas si le père et la mère sont mariés? Voici sa réponse: «Si l'on se permettait de questionner, les enfans ne seraient plus présentés au baptême». Вот отчего в 1830 году только 20 039 незаконнорожденных показано на всю Англию! Лорд Брум, к коему беспрестанно обращался академик, сделал замечание, которое изумило нас своею странностию. «В Гальской области, где, казалось бы, нравственность должна быть чище, родится, по пропорции, более незаконнорожденных, нежели в Лондоне (это показано и в оффициальном исчислении)». Он, рассуждая об этом предмете, перемешивал шутки с важными законодательными соображениями и сообщил академии, что уже предложен новый закон в парламенте, коего неминуемым последствием будет значительное уменьшение в трех королевствах числа незаконнорожденных. Закон сей постановляет противное прежнему, обращая содержание незаконнорожденного в обязанность не отцу, как было доселе, но матери. Брум заметил, что этот проект закона нашел в камере лордов многочисленных противников, хотя он явно клонится к улучшению общественной нравст-

венности. Старый закон ободрял расчетливость порока: ибо за каждого незаконнорожденного мать получает особую плату, что иногда доставляет не только безбедное содержание, но и жениха. Лорд Брум привел и пример. Присовокупите к сим статистическим результатам странные жесты лорда, его пестроту одежды, его неудобовыразимую движимость — и вы получите живой образ оригинального оратора, и угадаете, почему он, при таких превосходных способностях, при такой всеобъемлющей и неутомимой деятельности, при министерстве, составленном из бывших друзей его и почитателей, не остался канцлером. Ему недостает той степенности (dignité), которая необходима под париком первого государственного сановника, распорядителя и раздавателя первых должностей светских и духовных.

Michelet, коего вы знаете по его истории Франции, по извлечениям из сочинений Лютера и по многим другим книгам о древней и новой истории, прочел статью, приготовленную им для публичного чтения в годичном общем собрании пяти академий, «Sur l'education des femmes au moyen âge». Предмет любопытный и важный, но недовольно обработанный новоизбранным академиком. Он не обозрел его (на пяти или шести страницах, кои представил на суд академии) во всех отношениях — влияния женщин на общество в средние веки, и христианской религии на женщин, а чрез них и на все общество. Примеры, им приведенные, почерпнуты только из французской истории. Сочинения геттингенского компилятора Мейнерса могли бы служить для Michelet обильным источником для соображений. Michelet знает по-немецки и не воспользовался ни Мейнерсом, ни другими писателями о средних веках в Германии, например знаменитым гальским педагогом Нимейером, автором истории воспитания. Главная мысль Michelet в том. что и женщины, и воспитание их так, как и все коренные преобразования, все возрождение человечества, обязаны много христианской религии. Ей одолжена женщина правом, коим ныне в Европе она пользуется. Grâce au christianisme «la femme s'était faite homme». L'apôtre lui adresse des paroles pleines de grâce et de gravité. И первое влияние возрождения женщин отразилось в воспитании детей, а дети обратно подействовали и на матерей своих: в материнских занятиях почерпали они пищу для ума и сердца, образовали душу свою. «Le livre des femmes — c'est l'enfant; l'enfant fait l'éducation de la femme». Женщинам обязаны мы и рыцарством. «Le règne de la femme qu'on appelle chevalerie». Michelet искал примеров в *келейном* воспитании женщин во Франции и указал на знаменитое Аржентельское аббатство, где воспиталась, «*жила и любила*» Элоиза, cette noble créature que etc. (смотри Кузеня в предисловии к неизданным сочинениям Абеляра). Кузеню показалось, что Michelet назвал это аббатство и *школою*: отсюда возник спор об Абеляре и Элоизе между Кузенем и Michelet, в который вмешались Mignet и Брум. Спор был любопытный. Кузень, коему жизнь и сочинения этой нежной четы коротко знакомы, заметал противника своего латинскими цитатами. От истории воспитания перешли к истории страстной любви Абеляра и Элоизы.

Важность академическая обратилась в смех. Брум начал подшучивать над педантством Кузеня и над неполнотою диссертации Michelet: «Son discours est bien maigre, mais aussi nous sommes en carême». О Кузене говорил он после с приметною досадою, хвалил в нем талант писателя, но не признавал в нем ни оригинальности в философии, ни достаточной учености в самом эклектизме его. С Брумом надобно согласиться, прочитавши в «Revue Française», mars 1838, отрывок Кузеня из путешествия его по Германии о немецкой философии и философах. Если сравнивать этот отрывок с другими отчетами французских ученых путешественников о немецких философах, как например Лерминье, Марк-Жирарденя и проч., то, конечно, должно признать превосходство Кузеня в знании хотя поверхностном некоторых систем философии, в Германии возникших; но для профессора философии, для сорбоннского оратора, для академика эти разговоры с Эйхорном, Шлейермахером, Штейдлином, Бутервеком, Сольгером, Ансильоном, эти вопросы де Ветту о важнейших догмах религии и о выспренних началах философии так малозначительны, столь поверхностны, что можно бы сомневаться в подлинности подписи сочинителя, если бы вместе с этими беглыми и неосновательными суждениями и пересказами со слов знаменитых ученых мыслителей Германии в слоге Кузеня не было истинного, блистательного таланта и если бы в самых мелочных отчетах, как например о беседе с Гете в Веймаре, не выражался отпечаток искусного писателя. Вот образчики легкости и неосновательности его суждений: «Eichhorn n'a point de système. Plank est un historien dont les opinions sont celles des théologiens du XVII siècle. Le travail de Staudlin est de mettre la morale chrétienne en harmonie avec celle de Kant. Voilà pour les théologiens de Goettingue. A Berlin, Néander est mystique; de Wette à moitié mystique, à moitié Kantien, et Schleyermacher partisan plus ou moins déclaré de Schelling. A Dresde, Ammon d'abord Kantien, puis Chrétien, puis catholique. A Halle, Wegscheider est rationaliste. A Leipzig, Beck et Rosenmüller sont des érudits. A Jena, Schott est un disciple de Griesbach, dont la critique est matérielle et presque mécanique. A Heidelberg, vous trouverez les deux extrêmes du rationalisme dans Paulus, et du mysticisme panthéistique dans Daub». Кузень уверяет, что он записывал в журнал свой (хотя и наскоро) все, что слышал от своих собеседников во время путешествия по Германии; но, зная сочинения названных им писателей, трудно в том ему поверить.

Я не досказал всего, что слышал в академическом собрании. К окончанию приехал Дюпень, президент камеры. И так как он в тот же день был уже au tribunal de cassation и спешил председательствовать в камеру, то некоторые члены изъявили желание, чтобы он немедленно сообщил академии заготовленный им отчет о новой книге по части юриспруденции. Сим кончились прения об Элоизе, и Дюпень начал чтение комплиментом Бруму: «Приступая к составлению отчета об этом произведении, не думал я видеть в числе слушателей своих ученого иностранца, которого избрали мы в члены нашей академии. Я почитаю себя счастливым, что буду

говорить о юридическом сочинении в присутствии мужа, который, как адвокат в защищении обвиняемых, как оратор парламента в исследовании законов, как канцлер в управлении делами юстиции, показал столь высокое знание общих начал законодательства, и который одно из главнейших орудий своего красноречия заимствовал в глубоком чувстве просвещенной филантропии». Дюпень приступил к разбору книги «Collection des lois civiles et criminelles des états modernes, traduites et publiées sous la direction de mr Victor Foucher». Дюпень сказал несколько слов о пользе таких сборников законодательства в наше время. «В такую эпоху, когда народы стремятся взаимно изучать и познавать один другой, когда новые отношения более и более ежедневно их сближают, в такую эпоху изучение различных действующих законоположений представляется существенною частию правоведения. Это изучение доставляет обширный горизонт взгляду законодателя, ставя его на высшую точку. Оно помогает ему чувствовать пропуски, недостатки и указывает средства исправления. Оно обогащает законоискусников знаниями, необходимыми для обеспечения договоров и выгод, умножающихся от частых сношений, которые, по причине торговли и путешествий, более и более возникают между разными народами».

Следовательно, обнародование подобных собраний полезно и науке законодательства, и жизни общественной. Лекции Лерминье о сравнительном законодательстве были бы также полезны, если бы их содержание отвечало программе или ученость профессора его энциклопедическому предприятию. Но Дюпень даже и не намекнул на шарлатанство своего некогда собрата по адвокатству. Книги Фуше по сие время вышло шесть частей: 1) австрийское уголовное уложение; 2) уголовное уложение Бразильской империи; 3) гражданское уложение Австрийской империи; 4) уголовные законы и устав уголовного судопроизводства королевства обеих Сицилий; 5) устав гражданского судопроизводства и гражданские законы Женевского кантона; 6) коммерческие уложения и устав коммерческого судопроизводства Испанского королевства. Все сии законодательства принадлежат нашему времени, нашему столетию, если не все по духу своему, по крайней мере в хронологическом отношении. Уложения Австрийские 1803 и 1811; Сицилийское 1819, также и Женевское; Испанские 1829 и 1830; Бразильское 1831. Сии законы могли бы служить, по мнению Дюпеня, материалами для истории успехов нравственных и политических наук. Но успехи сии всегда ли были в равной степени? Какой, например, шаг сделала Австрия в уголовных законах со времен Зоненфельса? Дюпень читал выписки из многих уложений, присоединяя тонкие и основательные от себя замечания. Такие занятия делают честь возрожденной академии. Дюпень, Росси практически полезны науке и обществу.

В Париже есть многочисленные так называемые Salles d'asyle. Я посетил одно из сих заведений, известное под именем Institut de mr Cochin. Брум был и там. Года за три я уже видел это общеполезное и человеко-

любивое заведение. Мы нашли детей в зале с учителем и надзирательницами. Но большая часть первых была разобрана родителями, потому что день был субботний. И Брум уже не в первый раз посещал эту залу детского убежища. Около трехсот детей обоего пола, не свыше четырех- или пятилетнего возраста, представлены были Бруму и повторили пред нами все свои первоначальные приемы дисциплины здешней школы. Началось пение. Брум требовал, чтобы текст школьных песен и приговорок был пропет на голос тирольской мелодии. Он слышал эту мелодию здесь прежде и желал, вероятно, возобновить в себе прежние впечатления. Желание его было исполнено. Насмешливое, язвительное выражение лица его изменилось. Казалось, что слезы готовы были навернуться на глазах его. Он посматривал то на детей, то на нас с разнеженною улыбкой. Она так была чужда лицу его, что характер его физиономии совершенно изменился. Ничто так не действует на сердце, не совсем испорченное, как взгляд на этих малюток, почти в рубищах, в эту минуту матерями вверенных чужим рукам, но не чуждому им сердцу. Мне понравилось лицо Брума в эту минуту. В самых гримасах его, беспрестанно повторяемых, я заметил влияние растроганного сердца. Поблагодарив надзирателя и распрощавшись с малютками, мы вышли из залы в комнату, где хранится альбом. Брум взял перо и записал имена наши. Ему показали прежнюю подпись его в том же альбоме. Институт Кошеня почти на краю города, в соседстве Гобелинов. На возвратном пути, растроганные тем, что видели и слышали, мы начали разговаривать о цели сих благотворных заведений. Я напомнил Бруму, что первая мысль их учреждения родилась в голове или в сердце графини Pastoret. Первые покушения ее в Париже были не совсем удачны. Графиня сообщила мысль свою лондонским квакерам: там она принесла немедленно плод свой, ибо была благовременною. В столицах Великобритании чувствовали сильнее пользу, необходимость убежища для детей рабочего класса, сиротствующих шесть дней в неделю! Возвратившись в Париж, графиня Пасторе завела и здесь убежища для малолетних детей — и бог благословил христианскую мысль ее. Заведения сии теперь процветают в Париже. Я не раз осматривал их в разных кварталах города. Брум, с простодушием историка сих заведений, напомнил мне, что, ровно за двадцать лет, он учредил первую salle d'asyle в Лондоне, а я напомнил ему, что он и описал ее, так как и успехи сих школ в Англии, в одной речи, в Лондоне им произнесенной. Если обозреть весь круг деятельности Брума, то нельзя не удивиться универсальности его всеобъемлющего таланта. Адвокат и судья неутомимый, издатель различных периодических сочинений, оратор парламента, шесть часов без роздыха об одном предмете рассуждающий в камере депутатов, и грозный член оппозиции в обеих камерах; канцлер-реформатор судебной части в Англии, друг негров и враг бесчеловечных их притеснителей, куратор Оксфордского университета и один из основателей Лондонского, редактор ученых программ академических и, подобно Д'Аламберу, математик и со-

чинитель классического предисловия к английской энциклопедии; историк колоний, едва ли не прежде Герена; мыслитель и сочинитель натуральной философии в подражание своему предшественнику в канцлерстве Бэкону; историк современных событий в издаваемых им речах и портретах[10] и наконец всегда и во всем желающий добра людям: простим ему его недостатки; он заслужил это прощение бессмертными подвигами. Дети и младенцы благоденствующей Англии и негры Африки усыплют цветами памятник, ожидающий его в Вестминстере подле Чатамов, Вильберфорсов и Канингов, его друзей и соперников. Потомство прочтет его дела в слезах признательных детей и матерей. Вот последняя черта для характеристики Брума: он отец пятнадцатилетней единственной дочери; с самого детства она страдает какою-то редко излечимою болезнию сердца; он истощил все средства науки и опыта английских докторов, чтобы излечить ее: ему удалось только облегчить болезнь ее и приготовить ей в лучшем полуденном климате на берегу моря, близ Канн, сад и покойно-роскошное жилище, куда он будет приезжать на несколько месяцев ежегодно. Заботы государственные и авторские никогда не мешали ему исполнять все обязанности нежного отца. Он с чувством говорит о дочери и надеждах своих. Но вот что à peu près сказал он кому-то однажды в Лондоне, говоря о недолговечной жизни своей дочери: «Я хочу, если возможно, придумать, собрать все наслаждения, совместные с ее возрастом; хочу окружить ее всеми благами мира сего, дабы она, сколько возможно, вполне насладилась не только детскою жизнию, но и тем, что могло бы быть ее уделом в благах жизни совершеннолетней, без зол ее, сосредоточить для нее все, чем Провидение наделяет других в целый век их». Это *материнское* чувство еще более трогает в ученом экс-канцлере. Дюпень, президент камеры, дает ему большой обед и сзывает начальников всех партий. «Ce sera un dîner bien curieux, mais aussi bien ennuyeux», — сказал Брум. На другой день обедает он у короля — и потом отправляется в свое приморское поместье.

Рауль-Рошет отправляется в Грецию и в Малую Азию для археологических разысканий и берет с собою ученого архитектора.

21/9 апреля 1838. Не могу удержаться, чтобы не выписать несколько слов из речи Лафита, вчера произнесенной: «Sur la conversion des rentes»: «Il existe dans le monde, à toutes les grandes époques, une passion dominante à laquelle il a été donné d'imprimer à l'humanité la vie, le mouvement, et de marquer un but à son activité, une direction à ses efforts. Aujourd'hui l'industrie perce les montagnes et les aplanit; l'industrie, passion nouvelle, surgit à la place des passions politiques, et vient achever l'oeuvre de l'émancipation universelle». Истинно банкирская точка зрения; это материализм финансов; банкир видит одну эманципацию — материи, одну жизнь и движение — капиталов, забывая, что не о хлебе токмо жив будет человек.

23/11 апреля 1838. Третьего дня был я опять в академии политических и нравственных наук и не буду пропускать субботних ее заседаний, жалея, что так поздно начал ими пользоваться. Прения и чтения оной любопытны

и для меня наставительны, между тем как медицинские и математические предметы, коими по большой части занимаются в публичных собраниях Академии наук, для меня чужды. В 12 часов я опять явился в залу института, где за неделю пред сим был я с Брумом. Минье разбирал уже секретарские бумаги и приношения академии. Историк Наполеона Биньон тащил с помощию педелей кипу экземпляров IX тома истории Франции при Наполеоне для раздачи оных сочленам своим, а я еще не знал о появлении этой части![11] Минье по-прежнему прочел протокол прошедшего заседания, в коем слегка коснулся и прений о философе и о красавице XII столетия, представил присланные в дар академии книги, в числе коих I том собрания Туринских муниципальных законов, издаваемых от общества истории и древностей в Турине, где правительство позволяет ученым своим заниматься стариною. Чиямпи давно меня познакомил с трудами сего общества, соответствующего нашему историческому обществу в Москве. Председатель Дроз предложил вторичное чтение исторического отрывка Michelet «О воспитании женщин в средних веках», переделанного и обогащенного историческими примерами автором для чтения в публичном собрании пяти академий. Но члены не согласились на вторичное чтение и предоставили особому комитету окончательное рассмотрение сего отрывка.

Тюремный филантроп Lucas, известный практическими и теоретическими занятиями своими по части улучшений в нравственном и материальном тюремном быту (с ним лет за десять осматривал я здешние тюрьмы и богадельни), читал отрывок из печатаемой им книги против так называемой пенсильванской школы «Об образе содержания преступников». Он восставал с жаром против последователей сей школы, к коей принадлежат Токевиль, товарищ его по академии, но отсутствующий, известный пруссак Юлиус, коего мы недавно видели здесь по возвращении его из Америки. Lucas опровергал их сильно и красноречиво: «C'est une épidémie morale (сказал он) empêcher les communications: voici le seul principe de cette école Pensylvanienne». Lucas исчислил вредные последствия сей системы. Он начал с религии. Тюремные затворники не видят своих проповедников; они слышат голос их: но выражение живое, но впечатления, сообщаемые сильным потрясением души проповедника, умиление сердечной молитвы на них не действуют. Влияние, сила проповеди слабеет, когда один и тот же служитель веры должен иногда семь раз сряду повторять в семи разных отделениях тюрьмы одну и ту же проповедь и когда между ним и слушающим не может быть никакой симпатии, никакого взаимного сочувствия, когда проповедник не оживляется видным действием слова своего. Lucas опровергал систему *совершенного уединения* и неравенством сего наказания для преступников разных наций. Молчаливый американец, «qui est un Anglais renforcé» и на свободе неохотно сообщающийся с другими, приученный образом жизни, нравами и обычаями земли своей к молчанию и к уединению, легче перенесет затворничество, совершенное

отлучение от общества, нежели болтливый француз, коему общество необходимо: «La nation la plus antipathique au système Pensylvanien, c'est la nation Française; de là son génie-civilisateur, и проч.». Lucas обратил к чести и славе народа самую болтливость его, стремление сообщаться с другими. Он исчислил все невыгоды системы пенсильванской и в примерах своих упомянул о Сильвио Пеллико и о монастырских затворницах. За первого вступился Росси. Важным, размеренным голосом педанта упрекнул он Lucas в том, что он включил его в число таких людей, коим могло быть полезно *воспитание тюрьмы* или могла быть вредна пенсильванская метода. Он не хотел также, чтобы действие тюремного затворничества смешиваемо было с влиянием монастырской жизни на произвольных затворниц, и, наконец, восставал против формы читанного отрывка, называя его не академическою диссертациею, но полемическою статьею против таких мнений, коих главного последователя и защитника (Токевиля) не было на сей раз в академии. Lucas возразил ему с жаром, говоря, что статью свою прочел не в виде академической диссертации, а как отрывок из книги, с духом и содержанием коей он хотел предварительно познакомить академию, публику и особенно правительство. Цель сего чтения клонилась к тому, чтобы обратить внимание правительства на вред и на издержки, неразлучные с системою пенсильванскою, уже многими Франции предлагаемою. Здания тюрьмы, по сей системе устрояемые, содержание оных стоят втрое более системы противной, которой следует Lucas. Он желал бы, чтобы и академия нравственных и политических наук приносила иногда государству такую же пользу, какую часто приносит Академия наук благовременными указаниями, советами и открытиями.

Lucas прав: в наше время все отрасли наук должны стремиться к общественной пользе и теориями предварять практику, не довольствуясь одними умозрениями, коих, впрочем, отдаленное влияние на благо народов несомнительно. И Тюрго, и Адам Смит, и Филанжиери разве не теоретики? И свет теорий разве не отражается в управлении, в промышленности, в торговле народов — и на бессмертных страницах Наказа? Росси вторично отвечал автору. Минье, Кузень вступились также за противников его, и прения их начинали оживляться, когда Беранже, единомышленник Lucas'а, объявил, что он обратит скоро внимание академии на предмет сих прений мнением своим о книге, относящейся до разных систем тюремного заточения, рассматриваемой им по поручению академии. Сим кончилось заседание. Биньон уехал в камеру перов, чтобы там вместе с Монталамбером и Вильменем говорить о современной политике.

Я забыл сказать, что Кузень представит сочинение одного американца Henry, из Нью-Йорка, написанное по поводу обвинений американцев в том, что они все высшие побуждения, все высокие начала в сердце человека заглушают, подавляют в себе материальными интересами, для коих исключительно они живут и действуют, т. е. торгуют! Кузень хвалит сочинение американца, намерен перевести его и предлагает напечатать

в актах академии. Вот à peu près заглавие оного «De l'importance d'exalter l'esprit de la nation, et du besoin d'une classe savante en Amérique».

Я побрел медленно к своему книгопродавцу в Palais-Royal, чтобы купить IX часть Биньона и справиться о дне появления в свет *Веронского конгресса*. Первая была уже готова для меня. В ней, как и в прежних, также много любопытного о сношениях Наполеона с императором Александром, вся переписка его с его послами в России. Для нас, любителей истории и историков, там есть статья «Sur la nomination de Jean Muller», министром в Вестфалии. Биньон все почерпал из актов, коим верит слепо. Его можно назвать точнее хронографом, а не историком Наполеона. Архивы были ему открыты. Он работал в той же комнате архива иностранных дел, где и я выписывал из оригинальных актов о Петре до Елизаветы. Для него не было государственной тайны в дипломатических сношениях Наполеона — и сим обязан он легитимисту Лафероне, бывшему министру иностранных дел при Карле X. Он, конечно, воспользовался данным ему позволением, но оправдал ли он вполне надежды и выбор Наполеона? (Je l'engage à écrire l'histoire de la diplomatie Française de 1792 à 1815. Наполеон о Биньоне, в своем завещании).

Я справлялся и о Шатобриане: но увы! конгресс Веронский не выйдет прежде 25 апреля. Я упрашивал книгопродавца выхлопотать для меня экземпляр накануне. Но тут случился другой искатель литературных новинок, возвратившийся от издателей и уверивший меня, что они не только не могут, но и не вправе выдать ни одного экземпляра, не подвергнув себя взысканию за нарушение контракта. Вот в чем дело: они обязались с бельгийскими и немецкими книгопродавцами выдать в публику в один день, т. е. 25 апреля, во всех местах книжной торговли давно напечатанные в Бельгии и в Лейпциг уже отправленные заводы *Веронского конгресса*. В один и тот же день начнется продажа не только экземпляров в 8-ю долю листа, но и *перепечатанных* (contre-façon) здесь же пяти тысяч экземпляров в 12-ю долю, ибо бельгийские перепечатники предлагали только 1000 франков за рукопись и издатели решились предупредить их, заготовить здесь и отправить экземпляры в 12-ю долю отсюда, но здесь ни одного из них не выйдет в продажу. Все это объяснил мне граф St. Priest, один из издателей-откупщиков таланта и пера Шатобриана.

Нагруженный Биньоном, академическими брошюрами, я встретил в Орлеанской галерее Ламартина, и мы пошли вместе. Я показал ему Биньона, коего он не уважает как историка. Наполеон желал найти в нем только энтузиаста, и нашел его; талант Биньона ниже своего предмета. Мы заговорили о прениях камеры депутатов и о главном предмете, занимающем теперь умы Франции. «Дело кончено, — сказал Ламартин; — Моле изменил мне. Я ожидал, что он будет еще защищать себя и опровергать конверсионистов, но он сдался им — и я не мог уже говорить еще раз; а речь моя была уже готова». Я передал ему все, что слышал о его первой речи — от друзей и недругов его. Все удивляются великому, неожи-

данному таланту оратора в таком деле, для коего требуется финансовая специальность, где часто красноречивы одни только цифры. «Правда ли,— спросил я, — что Ройе-Колар подошел обнимать вас?» — «Правда», — отвечал он, и его слова меня тронули. Вот они. On avait dit que ce qu'il y avait de mieux dans les tragédies de Racine, c'était Racine lui-même, et ce qu'il y avait de mieux dans Racine, c'était l'honnête homme. Так и в вашей превосходной импровизации *лучшее вы сами*, ваш прекрасный, независимый характер.

На другой день, опять в камере, Ройе-Колар подошел к Ламартину и сказал ему, что он, конечно, восхищался, слушая речь его, но, прочитав ее вчера с женою и дочерью, в тишине кабинета, и даже в неполном и несколько испорченном издании он нашел, что еще недовольно хвалил его и что, по его мнению, Ламартин возвышался над всеми живущими ораторами Франции. Ламартин признался, что похвала Колара приятна была его сердцу и польстила его самолюбию. Мы начали разбирать характер самого Ройе-Колара, чистый и неподкупный ни для соблазнов почестей, ни для молвы народной. Я сказал, что ему идет эпиграф: intaminatis fulget honoribus. Ламартин согласен. Он жалеет, что Р.-Колар перестал принимать деятельное участие в прениях камеры и что редко раздается в ней красноречивый его голос. Он сочиняет, готовит свои речи, обрабатывает, вероятно, каждую фразу, блестящую отделкой и глубокую смыслом и государственною мудростию. Мысль его должна перевариться в умственной его лаборатории, облечься в блестящую форму — иначе она не является перед толпою и исчезает в душе мыслителя, как перла, сокрытая во глубине моря.

От Р.-Колара перешли мы к другим ораторам камеры. Блистательнейшие из них — из адвокатов: Дюпень, Одилон Барро, Берье и проч. В Дюпене много ума, но одностороннего, много остроты, но без всякой возвышенности; он раболепствует своекорыстным видам; груб; без воспитания аристократического; на нем остались неизгладимые следы демократического происхождения; «это наш Брум», — прибавил Ламартин в характеристике своего председателя. Тут я вступился не за Дюпеня, а за Брума. Конечно, и в нем много неприличного важности сана и самой знаменитости его таланта; Брум иногда некстати острится; шутки его, часто колкие и меткие, не всегда во вкусе хорошего общества; но в душе его таится любовь к ближнему, любовь к массам — он всегда за них. В гражданском уложении французских колоний допускается рабство негров во всех его оттенках. Отпущенный на волю из негров сын может иметь отца рабом своим, дочь — рабынею мать свою. В Бурбоне недавно (1836 год) совершен акт, в коем сказано: «Perpétue Créole âgée de 50 ans, esclave et mère de la demoiselle Zelia Forestier de St. Denis». Таких актов множество совершается во французских колониях. Восставал ли против них демократ Дюпень, оракул здешней юстиции? Нет, ему не до того: он нападает на австрийских законодателей, на бедных проповедников Евангелия. Но

в той же статье, в которой публицист заклеймил поношением французское колониальное законодательство, сказано по другому подобному случаю: «Déjà lord Brougham a dénoncé cette nouvelle infamie au parlement d'Angleterre». Порывы, излияния души его переходят в закон, обращаются в факты, благодетельствуют миллионам; вздохи сердца, скорбящего о страждущем человечестве, перелетают океан, падая животворящею росою на братьев наших, черных и белых. Вот действия Брума и Дюпеня-законодателя, и вот еще пример для сравнения их с другой точкой зрения. Уверяют, что Брум завидовал таланту Горнера, опасался потускнуть перед новым светилом, восходившим тогда на горизонте великобританской камеры: верю слабости человеческой в Бруме. Но Горнера, мнимого соперника его, не стало: кто же содействовал к сооружению ему памятника в Вестминистере? Брум. Кто написал ему панегирик, прославивший его *милых ближних*? Брум. Дюпень завидовал таланту, глубоким сведениям молодого адвоката Журдана в юридической литературе Франции, Англии и Германии. Он при жизни Журдана кольнул его в предисловии своем к Домату. Журдан огорчился, а может быть, и пострадал от его колкости. Его не стало. Товарищи его, друзья, наука — пером юридических писателей и журналистов — его оплакали: Дюпень не подумал загладить своей несправедливости. Ламартин выслушал меня со вниманием и, пожав мне руку, сказал: «Вы правы, вы правы; я с вами согласен: в Бруме много души». Он хвалил талант Берье: но выше всех поставлял талант и обширные сведения Гизо.

Мы перебрали еще многих других. Он находил людей с талантами более в толпе адвокатов. Барро, часто оригинальный и смелый, раболепствует перед публикой, страшится потерять кредит свой, популярность свою. Он не имеет достаточных сведений и опытности в делах государственных, чтобы со временем, когда придет и его очередь, явиться на поприще государственном, не только с блеском, но и с пользою. Mauguin легкомыслен и приметчив, хотя и с истинным талантом оратора. «Нет души в них», — заключил Ламартин характеристику.

От людей перешли мы к поэзии, к науке, перебрали многое и многих и уже, прошед несколько улиц, булеваров, очутились в полях Елисейских, как вдруг слышим за собою шум паровой машины, а перед нами лошади кидались в сторону, испуганные шумом и треском паровой огромной колесницы, ехавшей им навстречу. Два дилижанса, наполненные пассажирами, едва не упали в ров; верховые лошади несли седоков своих в сторону; паровая машина продолжала спокойно и шумно путь свой; жандармы смотрели на опасность проезжих в безмолвии. К счастию, паровая машина остановилась.

Очутившись почти у триумфальных ворот, мы возвратились Елисейскими полями и набережной к Ламартину. Разговор наш опять оживился. Ламартин взял меня за руку. «Как вы должны быть счастливы, путешествуя по Европе, собирая сведения в обществе и в книгах, избирая луч-

шее и лучших во всех родах, беседуя с теми, кто вам по сердцу, беспрестанно обогащая ум и питая душу и взаимно обогащая других всеми разнородными сведениями и наблюдениями, и все это обращая в пользу общую, сообщая, вероятно, друзьям своим же, что вы видите, все, что вы слышите: право, ваша участь завидна (тут он прибавил несколько слов, лично до моего характера относящихся)». Помолчав несколько минут, Ламартин с дружеским участием предложил мне: «Вы так привыкли путешествовать: для чего вам не приехать к *нам*? От *Макона*, с большой дороги, вас прямо привезут к нам. Поживете с нами. Мы бы имели время наговориться, ознакомиться покороче и т. д.». Я почти обещал приехать к нему, если не на это лето, то в следующее. Не помню, каким образом разговор зашел о самом Ламартине. Он сделал мне полную подробную свою исповедь, где открыл свою душу и свой характер. Я спросил его, был ли какой-либо повод к журнальным комеражам о предложении ему министерства духовных дел? «Выдумка, ни на чем не основанная», — отвечал Ламартин. «Я никогда не приму никакого министерства, разве par la force de choses буду в необходимости, в ином порядке вещей и при других совершенно обстоятельствах; но теперь это для меня невозможно». Мы встретили депутата-поэта, который остановил Ламартина и прочел ему двустишие, в честь его сочиненное, по выслушании его речи в камере. «Ce n'est pas mal», — сказал мне Ламартин с простодушием. Мы еще кое о чем потолковали; я проводил его до дверей и обещал приехать на вечер к розыгрышу лотереи.

Был, нашел толпу во всех комнатах, кучу стихов и брошюр на столе и уехал еще на вечер.

Вчера, после обедни, ходил я с Циркуром в рабочую живописца Лароша, любовался его проектами и зародышами картин его, и любезничал с его милою женою, дочерью Верне. От Лароша прошли мы к тестю его; застали его с кистью в руках, обложенного алжирскими трофеями, французскими мундирами, алжирскими и азиатскими булатами. Ученик его дописывает картину, изображающую парад Наполеона в Тюльери. Верне писал ее по заказу государя, и она скоро отправится в С.-Петербург. В ней много искусства, истины, жизни. Наполеон в толпе своих маршалов и генералов, перед строем старой своей гвардии: лицо каждого рядового характеристическое и носит на себе печать родины. Верне желал в этот строй собрать физиономии из каждой французской провинции. Портреты маршалов, генералов, принца Евгения — разительны сходством, как уверял меня их сослуживец, тут же случившийся. Верне избрал преимущественно тех маршалов для этой картины, кои умерли на поле чести или, подобно Мортье, другою насильственною смертию. Он заметил, что недаром доставалась честь быть сподвижником Наполеона. Мы угадали портреты Лана, Бертье, Мортье, Дюрока, Жюно, Мюрата, Лассаля и проч. Кони их достойны кисти отца его, Карла Верне: так и пышат огнем битвы; один белый конь Наполеона спокоен, как всадник его в сражении. Над си-

зою шиферною кровлею древнего Тюльерийского дворца носятся черные, разорванные облака, и ветер наклоняет перо Мюратовой шляпы. «L'orage vient du Nord», — сказал мне значительно живописец.

За полночь. Я провел вечер у маркизы Лагранж — и необыкновенно приятный. Я нашел там сначала Апони, Мюрата, племянника экс-королевы, коего милую жену знавал во Флоренции, и Ламартина: он говорил о *рентах*, и все его слушали, ибо он говорил с жаром, почти красноречиво и даже понятно и для незнатоков этой финансовой специальности. Уверяют, что если министерство настоит на прежнем своем мнении, то камера перов охотно отбросит резолюцию камеры депутатов; но надолго ли? Барона д'Экштейна поблагодарил я за его прекрасный подарок: он прислал мне два экземпляра своей рецензии на статью Гизо о религии и познакомил меня с духом автора новой книги «Histoire de la vie de J. C. et de sa doctrine», которую недавно издал Сальватор. В этом же салоне долго разговаривал я с баварским посланником. К полночи съехались дамы и большею почти частию красавицы. Разговор оживился. Я заслушался одной дамы, которая очаровала барона д'Экштейна и меня мыслями вслух и сердечною исповедью о преимуществах прекрасного пола во Франции перед немецким и даже английским. Жалею, что не могу вспомнить одной сердечной мысли, превосходно выраженной или, лучше сказать, брошенной с непритворною небрежностию. Она не хотела повторить фразы, а может быть, и не умела. Завтра увижу ее у Циркура и наведу на тот же разговор: авось не будет ли второго издания этой фразы!

Э. А.

XVII. ХРОНИКА РУССКОГО В ПАРИЖЕ

1

1 мая/19 апреля 1839. Сегодня празднуют Филиппа; в первый раз еще (по крайней мере, сколько я помню) солнце светит и греет в этот день парижан. Все вокруг меня в движении: я живу между булеваром и Тюльерийским садом. Народ рад случаю погулять и пображничать. На Елисейских полях и в других кварталах выставлены театры, но я когда-то уже описывал эти народные увеселения — и теперь все то же, хотя с 1830 года так называемая *чернь*, которая здесь в *синих* балахонах, сделала некоторые успехи в благопристойности. Из дощатых стен балаганов не льется уже вино, и толпы не рвутся уже за колбасами и окороками.[1]

Завтра пять академий собираются в ротонде института; но я не успею уже отдать вам отчета в чтениях. Жалею, что не описал вам последних чтений Шатобриановых «Загробных записок» (d'outre-tombe). В них современная история не одной литературы. Статья о смерти герцога д'Энгиенского написана пером Тацита—Боссюета. Много новых откровений об

участии некоторых лиц в сей кровавой *ошибке* Наполеона. С правосудием историка, с высоким беспристрастием христианина, судит автор генерала Гюлеиа — председателя, судей-губителей, Савари — слепого исполнителя приговора, Талейрана — советника Наполеонова и самого Наполеона. Он сообщает несколько слов из письма Талейрана, кои удалось ему упомнить. Шатобриан после этого политического злодеяния вышел в отставку и уехал в южную Францию. Он нашел в Лионе Баланша и с ним посетил древний монастырь ордена Молчания (ordre du Silence, la Chartreuse), близ Гренобля, гостил в Колете у m-me Сталь и прекрасно описал ее тоску по парижским салонам, в ссылке на Женевском озере: «Mais elle aimait le monde! L'exil lui était impossible! Quel malheur: d'avoir de la gloire et la vue des Alpes! Elle conservait sa royauté et sa couronne, tandis que sont devenues les filles des rois, etc. etc. Il en est des douleurs comme des patries! chacun a la sienne!».

В этом же чтении познакомил он нас с своей умершей сестрою и прочел нам несколько из ее прелестных писем, глубоким чувством проникнутых. В них «вся душа ее слышна». Она скончалась в аббатстве, в Париже, в произвольном заточении. Ее похоронили с *бедными* — и Шатобриан не мог отыскать ее могилы, не знает и теперь, где скрыт прах ее. «Dieu saura reconnaître ma soeur». В ее эмблеме и в девизе — вся жизнь ее: «une lune dans le nuage», с надписью: «souvent obscurcie, jamais ternie». Вот последние слова в статье Шатобриана о сестре: «Soyons doux, si nous voulons être généralement regrettés».

Вот еще новое явление в документальной истории Франции. Martin Boisy издал рукопись Лудвига XVIII. В предисловии говорится о политической жизни короля до обнародования хартии 1814 года. Оригинал сей рукописи, рукою короля писанный, хранится в здешней публичной библиотеке, для всех доступной. Fac-similé в изданной книге совершенно сходно с теми собственноручными рукописями короля Лудвига XVIII, которые сам я видел в Московском архиве, в разряде Affaires des princes. Нельзя сомневаться и легко удостовериться в истине (authenticité) этой рукописи. Вследствие поверхностного обозрения мне показалось, что некоторые из них читал я также в Московском архиве. Эта рукопись должна разочаровать либералов насчет Лудвига XVIII. «Le manuscrit que nous publions, говорит издатель, apporte un document inattendu à l'histoire: il vient renverser les versions écrites et les traditions les plus accréditées sur le compte de Louis XVIII».[2]

Не вхожу в область политики и возвращаюсь к невинным поэтам. «Les recueillemens poétiques» Ламартина вам уже известны; по крайней мере строго-добродушный Ste Beuve познакомил вас с ними в «Revue des Deux Mondes». Разбор его огорчил, кажется, Ламартина; но кто не согласится с критиком в его упреках поэту-депутату за презрение к первой славе его, по крайней мере к первой виновнице славы его — к поэзии? A propos de «la Revue des deux mondes»: читаете ли вы «Кесарей» Шампаньи, ум-

ного сына бывшего наполеоновского министра?[3] Укажу еще на примечательные литературные явления. Туркети — преимущественно поэт католицизма; Роншо — певец первых впечатлений и природы; с своими думами и с планом поэмы он уединился на границе Швейцарии, в Вогезские горы; Фудра — новый баснописец. В романах — m-me Ансело; в поэтических легендах — m-me d'Hautefeuillée, автор «Le lys d'Israël»: она кажется, забыла, что есть предметы, которые должны быть и в истории неприкосновенными — цветы поэзии блекнут перед простотою евангельского повествования. В философии — психология аббата Ботеня; примечательно в нем рассмотрение разных, так называемых систем философии, в XVIII и XIX веках господствовавших, от шотландской школы до мнимого эклектизма Кузеня и проч. (Две части, а после выйдут и другие). Лакордер издал «Sur l'ordre des prêcheurs», который он намерен восстановить во Франции, приняв благословение папы в Риме, куда он недавно отправился. NB. В протестантском журнале «Le Semeur» надобно прочесть рассмотрение «Le Lys d'Israël» de m-me d'Hautefeuillée и брошюры Лакордера о Доминиканском братстве: audiatur et altera pars, особливо в истории!

2 мая/20 апреля 1839. Вчера в Тюльерийском саду любовался я фейерверком, бывшим на другой стороне Сены. Народ толпился в освещенном саду: слабый отблеск огней петергофских! Издали дворец казался мрачным... Министерство еще не сложилось; герцог Монтебелло успел дать министерский обед европейским и азиатским дипломатам. Блестящие экипажи послов и министров, национальная ливрея греческого посланника или турецкого (точно не знаю) обращали внимание булеварных гуляк.

Спешу в академию слушать отчет председателя, ораторов и поэтов пяти отделений института.

Недавно увлек меня Шатобриан в Сорбонну, на лекции Ленормана, заступающего место Гизо на исторической кафедре. Он проходит средние веки; говорил об Абеляре, об Арнольде Бресчианском и о других реформаторах того времени, оправдывая гонения против них римской церкви, и особенно благочестивую ревность св. Бернара, и других, которые в неприкосновенности церкви видели целость политических обществ. Но разве не костры Арнольда и Гуса осветили и проложили путь Лютеру?

От прошедшего перейдем к *будущему*: наблюдатель Америки и демократизма, Токевиль, скоро издает новую книгу,[4] а Рейналь, племянник Жубера, приготовляет новое издание его «Мыслей» и переписки с Фонтаном, Моле и др.[5] Вчера познакомился я с сим новым сокровищем. Будут и стихи: какая прелесть! Мне обещали их вместе с аутографом Жубера. Ребуль, поэт-хлебник, печатает свою поэму «Le dernier homme».

Сейчас возвратился из института. Все трибуны и амфитеатр были полны. Ровно в два часа явились члены пяти академий: немногие из них были в своих шитых светло-зеленым шелком кафтанах — l'habit aux palmes vertes. Многих знаменитостей академических не было. Место президента занимал Chevreuil; в числе секретарей и Араго. Шеврель открыл заседа-

ние речью, коей предмет был почти тот же, как и речи президента в прошлом году: о связи наук и изящных искусств между собою. Пользу тесной связи между науками и, следовательно, единства в академиях чувствовали первые их учредители. Бэкон, в Англии, указал на сию пользу; во Франции мужи государственные и ученые соединились для приведения в действо мысли ученого канцлера. Кольбер в 1666 году оказал сию услугу Франции и наукам. Но в тогдашней Франции[6] не было еще необходимых условий для достижения цели, в сей связи предполагаемой. В 1794 году национальная конвенция совершенно изменила устав академии, вследствие чего науки дружились с изящными искусствами. «Les sciences remerciaient les lettres de leur avoir cédé Fontenelle; d'Alambert devenait l'organe de l'Académie Française; Buffon devint un des quarante». С новым порядком вещей возник во Франции институт наук и искусств. «La loi qui règne fut datée par notre confrère», — сказал оратор; но немногие одобрили рукоплесканиями сей комплимент члену академии нравственных и политических наук Лаканалю,[7] в лоно Франции и академии после 1830 года возвращенному из Америки! Я не заметил его на скамьях академических, но почти всякую субботу вижу его в частных заседаниях академии *нравственных* наук. Президент мог бы обойтись без этого комплимента праздному и никакою ученою или литературною деятельностию не отличающемуся собрату. Он прибавил еще несколько слов в честь гражданских заслуг Лаканаля и заключил похвалу ему тем, что, конечно, тот, кто произнес о себе: «l'état — c'est moi», не учредил бы института по плану, ныне принятому. Но в наше время, сказал он, «le pouvoir a eu la conviction qu'il avait un appui dans les hommes de la science». Учреждению пяти академий способствовал дух времени, «à une époque où des disgressions sur l'histoire, l'économie politique, la législation etc ne compromettaient personne», когда ученый и художник имели равное право на общее уважение и братски подавали друг другу руку в центре всех талантов, всех наук и всех изящных художеств, в центре, коего назначение было — «améliorer la société en l'éclairant». Сим словом заключил химик-оратор речь свою.

После него другой секретарь Академии наук, Flourens, прочел печатный рапорт о конкурсе для сочинения ответа на филологический запрос академии, по задачам Вольнея. Из четырех сочинений только два одобрены, но ни одно не признано достойным назначенной награды. Засим, сребровласый старец — поэт Lemercier читал сочиненную им поэму на изобретение Дагерра, объяснив в предисловии план и сюжет поэмы и названия мифологических лиц, которые действуют в его поэме, намекнув о важных следствиях дагерровского открытия, «qui feront faire aux sciences et aux arts des progrès incalculables, mais déjà pressentis!».

Я не мог вслушаться порядочно в названия мифологических лиц этой поэмы, но заметил улыбку многих, когда поэт, по законам природы теряющий с летами зрение, сравнил себя по сему случаю с Гомером. En parlant du docte pinceau de Daguerre, поэт сказал о предметах, освещаемых солн-

цем: «Sa fuite les efface et l'ombre les récèle». Искусство сие может «braver des monumens la masse et les détails». Поэт, как мне показалось, величает Дагерра «favori du soleil, époux de la lumière» и обещает ему удивление и благодарность «des nations à naître et du monde à venir». На этот раз я даже не заметил в Лемерсье и стихов à retenir. Поэма холодна, утомительна, иногда надута; даже описание недавно бывшего пожара, истребившего Дагеррову диораму, не расшевелило слушателей, хотя между ними, конечно, были и очевидцы.

Вот что говорит один журналист о поэме Непомуцена Лемерсье: «Может быть, еще помнит кто-нибудь, что знаменитый певец Pinto et Frédégonde сочинил свою мифологию и что, олицетворяя отвлеченные истины, открытые Ньютоном, он, простой смертный, новыми богами населил новый Олимп. Г. Лемерсье, к сожалению, явился немножко поздно для подобного дела, и совсем уже не время вызывать к бытию неизвестные божества, когда и греческие боги, которых чтили столько веков, не видят фимиаму на своих жертвенниках. Когда одни боги покидают землю, зачем создавать других? И в Атлантиде бессмертные не прожили более человеческого века. Нельзя не пожалеть, что поэт вздумал изобрести своих богов, когда решился воспеть чудесное изобретение Дагерра. Г. Лемерсье воображает, что художник, влюбленный в одну из дочерей солнца, Лампелию, пользуясь счастливою взаимностию чувств, похищает все тайны Гелиоса, божества света. Порифиза, сестра Лампелии, пришедши в негодование от слабости сестры своей и от дерзости смертного, который узна́л то, что оставалось сокровенным от глаз смертных, восклицает: «C'est un vol au soleil, c'est trahir nos mystères!». Гнев Порифизы не ограничивается тщетными укоризнами: чтобы отмстить художнику за его святотатство, она объемлет пламенем его диораму». Я согласен с журналистом: «что́ нам до этих созданий воображения, которых мы ни представить, ни понять не можем; у которых не только что нет земной жизни, сообщаемой поэтами существам, однородным с нами, но даже нет и жизни небесной, этого бытия, созидаемого воображением и только веками утверждаемого?».

За поэзией следовала историческая проза философа шотландской школы Жуфруа «Fragmens d'une histoire de la révolution Grecque». Он описал первую войну греков за народную независимость, возмущение Пелопоннеса и взятие Триполиса, порыв греков Ионических островов на помощь братьям-героям и холодную английскую политику Метланда (Maitland): «malgré leur parlement, les Ioniens n'étaient point libres»; подвиги Андрея Метаксы, начальника Ионической экспедиции, и грозного Кияю, турецкого военачальника, засевшего в Триполисе с бежавшими от греков турками, унесшими их сокровища; победу греков и народные песни ионийцев, приближавшихся к единоверцам своим. Битва при Варнаци (?) решила участь Пелопоннеса и едва ли не всей войны. Греки догадались, что они на поле брани не уступают туркам. После чтения я спросил Жуфруа: к какому сочинению относится сей отрывок? Он ответил, что пишет исто-

рию освобождения греков от турецкого ига, но не надеется кончить ее за недостатком материалов. Я сказал ему, что я богат ими, что покойный брат мой, в Константинополе, начал уже не только собирать официальные и другие материалы для истории войны освобождения, но что он, возвратившись в Россию, на досуге составил уже обозрение всех главных происшествий и частию описал их.[8] В числе слушателей сего отрывка был и турецкий посол с секретарем своим. Мне казалось, что он слушал с большим вниманием и устремил глаза на читателя при имени Екатерины!.. Турок в Париже слушает историю освобождения греков, и не в чалме, а в синем сертуке, под красным колпаком. Novus ab integro nascitur ordo — и не для одной Европы.

Кто это, разряженный и унизанный крестами академик в шитых белых панталонах? «Это Сантини, возвратившийся из Италии», — отвечали мне. На академический праздник явился и женевский ботаник Декандоль, великий номенклатор и регистратор прозябаемого царства, воспетый в юности своей Делилем, певцом садов и природы, за какое-то важное открытие в физиологии растений. Он, с помощию сына, продолжает заниматься внесением в свой ботанический каталог всех и повсюду открываемых растений и очень доволен корреспондентом своим на Кавказе. Сын его едет скоро в Англию, чтобы оттуда снова обогатить отцовский *травник* новыми растениями из-за океана. Я когда-то заметил уже, что для составления *системы природы* Линнею достаточно было около *семи* тысяч растений, тогда известных. Теперь женевский ботанический кабинет Декандоля и каталог его вмещают уже до *семидесяти* тысяч описанных им растений!.. Эти цифры красноречивы. Декандоль напоминает Кювье любезностию в обществе и всеобъемлющею своею ученостию. Но недавно, разговаривая со мной о своем друге и сотруднике в изучении и описании природы, он признался, что с глазу на глаз Кювье приводил его всегда в некоторое замешательство и что, встречаясь с ним весьма часто и несмотря на дружеские с ним сношения, наедине, в кабинете великого испытателя природы и восстановителя *допотопных* созданий, он приходил в какую-то неодолимую робость. Может быть, велеречие одного многоглаголивого Гумбольдта не подвержено было сему влиянию.

Простите. В Тюльерийском саду кипят толпы народа под вешним солнцем, которое стоит нашего летнего.

Заметьте, что вчера, под тюльерийским балконом, с которого король кланялся народу, опять гремела музыка «Марсельский гимн» и песня «Парижанка» (la Parisienne).

2

10 мая/28 апреля 1839. St. Beuve уехал в Неаполь к весне в гости. У Рекамье нового чтения не было; но о тебе справлялись. В камере суматоха по-прежнему. В книжных лавках кое-что новое, например брошюра

Ламене;[9] сатира m. Barthélémy «Sur la coalition». Это не Мери и Бартелеми,[10] а только их соименник. Поэт-хлебник Ребуль издает здесь «Le dernier jour», но сам в Ниме, где он

как лилия
В пустыне расцветает,
И в хлебне закисает!

11 мая/29 апреля. Вчера спросила меня Рекамье: «Видели ли вы мой новый кабинет?» — и повела меня в ту комнату, где была некогда ее спальня и ее приемная и где в первый раз я видел ее. Так как доктора запретили ей жить в малой комнатке, то она перешла в те покои, где ты бывал у нее, а из прежнего кабинета-спальни сделала библиотеку и музей дружбы и лучших воспоминаний жизни своей. В одной стене сделан шкаф, уставленный книгами; стена, которую занимала картина Жерара (Коринна), заставлена мебелями, и на ней портреты: Шатобриана, добродетельного Комис-Жордана, герцога Матвея Монморанси; на простенке близ камина портрет m-me Stahl вместе с портретом герцогини Броглио в детском возрасте (и гения, и ангела не стало!). Другой силуэт матери лежал на столе: m-me Stahl, но еще в пудре. Этот портрет подарен Рекамье герцогом Матвеем Монморанси. Тут же вид дачи, принадлежавшей Шатобриану, близ Sceaux; вид древнего исторического замка Chaumont, где m-me Stahl провела часть своего изгнания из Парижа во время грозного и для нее Наполеона, с избранными друзьями и с m-me Récamier; вид замка Coppet на Женевском озере. Хозяйка рассказывала мне жизнь свою и подвела к столику, на коем лежала рукопись в несшитых листах... Как прекрасно устроила она вечер жизни своей! Все ее житейское искусство — в душе ее, в любви к изящному, которую она умела уберечь во всех искушениях жизни — c'est le soir d'un beau jour! Эта жизнь прошла и проходит не в одних наслаждениях ума, но и сердца — в благодеяниях. И вчера хлопотала она о бедных затворниках *братства молчания*, у коих отнимают собственность — весь приют их. Давно я не был так растроган, как в эти незабвенные минуты: мне хотелось удержать в памяти эту милую улыбку, с которой она подавала мне руку свою, «ce sourire sérieux d'amour et de grâce, qui exprime à la fois la confiance et la pitié pour les peines de l'épreuve, pour les ennuis d'un exil qui doit finir; présage doux et serein, où se lit, dès à présent, la certitude de nos espérances infinies, la grandeur de nos destinées définitives» (Баланш о *ней*). И вот еще несколько строк Баланша о ней же: «Cette femme, dont je veux taire ici le nom, que je veux laisser voilée comme fit le Dante, est douée de toutes les sympathies généreuses de ce tems. Elle a visité, avec le petit nombre, le lieu qu'habitent les intelligences: c'est dans ces lieux de paix immuable, d'inaltérable sécurité, qu'elle a contracté de nobles amitiés, ces amitiés qui ont rempli la vie, qui, nées sous d'immortels auspices, sont également à l'abri du tems et de la mort, comme de toutes les vicissitudes humaines». Я бы желал, чтобы Ste Beuve написал Рекамье биографию. Кстати о нем. Я купил сегодня IV и V часть его «Critiques et portraits»; первые три давно

уже в Симбирске. В них собраны все его статьи биографические и литературные, в разных Revues напечатанные, за исключением двух последних — «Sur les recueillemens poétiques» Ламартина и о нашем графе (Xavier) Мейстере, коего Ste Beuve узнал здесь лично.

Я кончил день вечеринкой (едва ли не последней?) у английского посла. Посетителей было более обыкновенного, ибо полагают, что Грэнвиль, с переменою английского министерства, должен будет удалиться от дел. Тут был и богатырь коалиции, крошка Тьер. Меня уверяли, что Моле и Тьер более получаса друг с другом беседовали в этот вечер. Я нашел здесь и знаменитого Бовринга, некогда сближавшего народы литературою, теперь сближающего их либеральной системой торговли.

Я был в академии и не зевал! Я не помню, чтобы с тех пор, как принимали в академию Ройе-Колара, ротонда института когда-либо была так наполнена, как сегодня: в центре и в боковых ложах не оставалось ни одного праздного места, даже и на bancs reservés, кои сберегаются обыкновенно для семейств членов института или для министров. Когда все места на скамьях были заняты, принуждены были прибегнуть к стульям и к табуретам, коими заставили все промежутки, оставляемые обыкновенно для спасающихся заблаговременно от академической скуки. Я пришел с моим товарищем, без билета, полагая, что собрание отделения нравственных и политических наук будет в обыкновенной зале института. К счастию, привратник почтил во мне усердие, с коим я посещаю академические собрания, и впустил нас. Приятели и приятельницы оратора, сослуживцы его по министерству иностранных дел, депутаты, канцлер Пакье, юные отрасли фамилии Талейрана, сослуживцы и домочадцы его, между коими и безвласый Монтеран, блестящие толпы здешней аристократии и, наконец, многие англичане в безмолвии ожидали появления членов пяти академий. Старший Дюпень, экс-президент камеры депутатов и временный председатель академии нравственных и политических наук, Росси, вице-президент, и Mignet, бессменный секретарь оной, в шитых кафтанах aux palmes vertes, заняли места свои, и за ними высыпали в амфитеатр все прочие члены; из числа первых всегда являются на местах своих старшие по летам и в списке академическом: между ними граф Лакюе, бывший долго министром военной администрации при Наполеоне и автор многих важных учреждений по части управления воинского, и особенно конскрипции, снабжения и продовольствия войск; Симеон, бывший долго министром эфемерного Вестфальского королевства, во время Иеронима. Обыкновенно являлся с ними и Маре, герцог Бассано; но он лежит теперь на смертном одре и не слышит, как товарищ его по академии осуждает на бессмертие товарища его в ряду деятельных сподвижников Наполеона... Немногих из членов пяти академий недоставало; в этом числе были знаменитости первоклассные: Гизо, Ройе-Колар, Тьер, Ламартин. Их увлекала другая обязанность — выбор секретарей в камеру депутатов.

Ровно в два часа председатель Дюпень открыл заседание *обнародованием* наград, назначаемых по программам, предложенным академиею. Но так как по двум главным задачам, кои были предложены в конкурсе к 1839 году, из шести диссертаций ни одной не присуждено предположенной награды, то академия снова предлагает их к разрешению. Первую из сих задач «Examen critique de la philosophie allemande» трудно решить ученым Франции, ибо предмет оной не обратил еще достаточно их внимание — и кто из них углублялся в системы германской философии? Едва две или три книги зарейнских мыслителей переведены на французский: Кант невполне, Танеман, недавно Штраус — и сии переводы не выдержат строгой критики по своей неточности, особенно в философической терминологии. Прежде Дежерандо и Виллярс несколько познакомили соотечественников с немецкою философиею; Порталис, министр духовных дел Наполеона и отец нынешнего экс-министра и пера Франции, воспользовался удалением своим из революционной тогда Франции и написал несколько страниц о немецкой литературе тогда, когда философия занимала в ней первое место; и потом Кузень, по внушению коего академия, вероятно, задала сии вопросы, справляется иногда об успехах немецкой философии, заглядывает на досуге от камерных прений и от жарких состязаний университетского совета в Брукера и Канта и пишет предисловия для чужих переводов с немецкого. Но я забыл упомянуть о лучшем знатоке немецкой философической литературы во Франции — о Штапфере из Швейцарии. Он здесь укоренился. Его биографические статьи о Лейбнице, о Канте и о других дают лучшее понятие о сих корифеях германской мыслящей деятельности, нежели все краткие очерки различных систем в книге Танемана и даже в путевых записках Кузеня о беседах его с гейдельбергскими и берлинскими мудрецами (см. «Revue Française» прошедшего года). Вот подробное означение программы: «Examen critique de la philosophie allemande. Faire connaître par des analyses étendues les principaux systèmes qui ont paru en Allemagne, depuis Kant inclusivement jusqu'à nos jours (безделица!). S'attacher surtout au système de Kant qui est le principe de tous les autres. Apprécier la philosophie allemande; discuter les principes sur lesquels elle repose, les méthodes qu'elle emploie, les résultats auxquels elle est parvenue. Rechercher la part d'erreurs et la part de vérités qui s'y rencontrent, et ce qui, en dernière analyse, peut légitimement subsister, sous une forme ou sous une autre, du mouvement philosophique de l'Allemagne moderne». Я вижу в сей задаче, особливо в последней половине оной, всего Кузеня, робко теряющегося в генерализациях, в неопределительных выражениях неясной мысли, в смутной, эклектической голове его образовавшейся, для которой немецкая философия более, нежели когда-либо, «темна вода во облацех». Упомянув уже особенно о Канте, вопрос обращается снова к общей оценке немецкой философии, и к началам, на коих она основана, и к методам, ею употребляемым, и проч. Но у каждого оригинального философа своя метода, хотя и не всегда свои начала. Кант и Якоби, Фихте

и Шеллинг имеют каждый свою методу, хотя все они входят в исторический и логический состав немецкой философии. В заключение вопрос становится еще затруднительнее своею неопределительностию и, должно сказать, смелостию требования. «Rechercher la part d'erreurs et la part de vérités qui s'y rencontrent» и проч. Но немецкая, или, если хотите, истинная, философия объемлет весь мир, духовный и вещественный, во взаимном отношении человека к тому и другому: психология, от земли возносящая человека к небу, и философия природы, рассматривающая природу в коренных началах ее, коими связует она человека с природой, чтобы снова первого сблизить с первоначальным его источником, возвратить его к океану жизни:

Al mar . . .
Dove dei lunghi errori
Spera di reposar . . .

Сии две главные части или отрасли общей философии (не национальной, т. е. не германской, не французской, не шотландской) имели каждая свою методу; каждая из них в своих подразделениях, как например в философии права и проч., имела свои результаты, обогатившие область ума и ведения; каждая следовала особым, частным законам развития умственной деятельности — и какой Бэкон или Аристотель новейших времен определит и взвесит сущность того, что останется, уцелеет из умственной лаборатории всей Германии, в самую деятельную эпоху мыслящих сил ее («Ce qui pourra, en dernière analyse, légitimement subsister du mouvement philosophique de l'Allemagne moderne»)? Лучшее, существеннейшее приобретение от сего движения умов, от сих напряжений души и сердца, от сих духовных возношений к источнику жизни и света — лучшее благо заключается в самой сей умственной, душевной и духовной деятельности.

Другой вопрос, заданный академиею по завещанию епископа Грегуара (Grégoire), был следующий: «Les nations avancent beaucoup plus en lumières, en connaissances qu'en morale pratique: rechercher les causes et les remèdes de cette inégalité dans leurs progrès». Вот задача для истинной, прагматической истории человечества; вопрос, достойный занимать Гердеров и Кантов, Гегелей и Шеллингов. В точности самого факта сомневаться, по несчастию, невозможно. Науки уже в самой древности имели своих Аристотелей, но нравственная философия Аристотеля несла печать и пятно века. После средних веков просиял свет наук; успехи умственного просвещения определили также нравственное возрождение народов. Мы имели уже Бэконов и Декартов, Лейбницев и Филанжиери, но ни общественные установления, ни нравственность частной жизни не отвечали той степени, которой достиг гений науки во всех отраслях европейского просвещения. Давно ли начали помышлять об улучшении тюрем, об уничтожении лотерей, домов разврата, публичных игр и проч.? Здравые теории давно были угаданы гением, но давно ли начали приводить их в действо? Две диссертации были одобрены и заслужили награду по равной части. Одна из них

написана дамой Bayle-Mouillard. Она доказывает, что человек совершенствуется скорее и вернее, безошибочнее в порядке *идей* (idées), нежели в порядке *нравственных чувств* (sentimens), законы, по коим действует ум в области наук, открываются легче, нежели законы, коими совершенствуется нравственность, общественная и частная. Для уравнения успехов в ходе наук и нравственности г-жа Bayle-Mouillard предлагает три средства: «Le sentiment religieux qu'il faut développer par une éducation morale et non pas seulement par l'instruction; l'éducation des femmes, qui, en développant leur intelligence, les rend propres à concourir à l'oeuvre de la civilisation, enfin elle demande que le grand principe du respect de la vie humaine cesse de n'avoir que des applications imparfaites». Состязатель сей дамы в разрешении вопроса, m-r Rapet полагает также в воспитании, и особенно в нравственном улучшении низших классов, главное средство уравнения успехов ума с успехами нравственного просвещения.

Дюпень, желая, чтобы отчет его не имел всей сухости программы (la sécheresse du programme), обратил особенное внимание на вопросы, на которые получила академия наиболее диссертаций.

После Дюпеня сошел на кафедру Mignet, бессменный секретарь академии нравственных и политических наук, директор архива иностранных дел, друг Тьера и вместе с ним некогда последователь политических доктрин Манюэля, изгнанного из камеры депутатов во время ресторации,* историк французской революции и войны за испанское наследство, обрабатывающий свое сочинение по оригинальным актам дипломатического архива: он пишет теперь историю реформации, для коей собирает материалы из архивов, не исключая и Ватиканского, еще более, нежели из библиотек; жаль, что язык Лютера и Меланхтона «*не додан ему*».

Наружность Mignet привлекательная; в чертах лица приметны следы размышления; глаза выражают ум и проницательность; открытый, большой лоб и кудреватые длинные волосы; в самом академическом костюме можно было узнать щеголя *хорошего общества* — un fashionable. Все устремили внимание на оратора. Он читал голосом ясным и внятным, изредка оживлялся жаром истинного красноречия. Чтение продолжалось два часа, но не утомило нимало слушателей; оно не раз прерываемо было рукоплесканиями, но не довольно громкими: казалось, что одобрение было не единодушное и что не все разделяли с оратором главные мнения его о Талейране; ироническая улыбка легитимиста Брифо могла ли отразиться на смугло-мрачном лице Лаканаля, его товарища по институту? На других лицах выражалась какая-то недоверчивость к искренности убеждения самого панегириста. Иные, может быть, не без досады, так как другие с явным удовольствием слушали забавно-легкие слова оратора о знаменитом дипломате. Одним не нравилась хула его на Талейрана за восстание против Наполеона на Венском конгрессе, после торжественного побега

* Ресторация — реставрация. — *Ред.*

его с Эльбы. Энтузиасты Наполеона, как например Биньон, не разделяли, казалось, мнения Минье о влиянии советов Талейрана на его политические предначертания. Поспешаю сообщить вам несколько строк из панегирика, кои более других поразили меня. Отрывки оного прочтете вы в журналах, а вполне в «Revue des Deux Mondes» и, вероятно, в «Монитере».

Минье назвал Талейрана «последним великим представителем XVIII века, остроумцем, который беседовал с Вольтером, знаменитым государственным деятелем, который принял столь значительное участие в делах первой революции, другом Сиеса, душеприказчиком Мирабо, советником Наполеона в течение первых восьми лет его могущества, законченным дипломатом, который неоднократно принимал участие в дележе государств».

Умерший за год пред сим, 84 лет, Талейран, отрасль одного из знатнейших родов Франции, старший сын в семействе, «был брошен в одном из пригородов Парижа на попечение небрежной кормилицы». Хромая нога привела его к церкви. Он воспитан и обучался в духовном училище св. Сульпиция и в Сорбонне, «не ночевав со дня рождения ни одного раза под кровлей отчего дома». Сиротство его и одиночество, при многочисленной и знатной фамилии, решили участь его на всю жизнь, образовали его характер: «... он сам образовал его. С юных лет он размышлял и научился сдерживать свои чувства, которые он не мог выразить и излить кому-либо. Он был умен, он стал образован; он был смел, он стал сдержан; он был пылок, он стал холоден; он был сильным, он стал ловким». В большом свете Талейран «с самого начала добился репутации человека, с которым следует считаться и который, будучи знатного происхождения, обладая огромным спокойствием, большим умом, очарованием, которое пленяло, лукавством, которое пугало, пылкостью, которая сдерживалась достаточной осторожностью и чрезвычайной ловкостью, необходимо должен был занять выдающееся положение в обществе».

Кто знавал Талейрана, кто видал его и в дипломатическом кругу и в избранном обществе коротких приятелей, тот узнает его в сем портрете. Его можно дополнить характеристикой времени и самого Талейрана, начертанной Минье в заключении его исторического панегирика: «С ним исчез сильный ум, один из самых блестящих последних представителей былого французского духа, последнее громкое имя. Господин де Талейран был кое-чем обязан своему происхождению, но еще более самому себе. Благодаря своему имени он рано вступил на путь почестей, но оставался долгое время на этом пути лишь благодаря своему собственному умению, так как в нашу чрезвычайно смутную эпоху, в эпоху обширной конкуренции возвышались не благодаря воспоминаниям о предках, не благодаря им удерживались на высоте и снова на эту высоту возвращались, будучи однажды свергнуты. С юных лет честолюбие прокладывало ему дорогу и вдохновляло его устремления; он привык подчинять требования нравственности политической пользе». (Приговор или только эпиграмма?

Но, конечно, не похвала). «Он действовал по расчетам своего ума. Он стал уступчив по отношению к неодолимой воле, легко примирялся с чрезвычайными обстоятельствами. Он полюбил силу не так, как любит силу слабость, которая в ней нуждается, но потому, что он умел эту силу разгадать и ловко использовать ее для своих целей. Он служил различным властям, но он не привязывался к ним; он им служил без преданности, он держался в стороне; его большой заслугой было то, что он заранее предвидел желания общества и после терпеливого выжидания твердо действовал. Так как он в совершенстве владел собой и был уверен в точности своих решений, он любил выжидать, чтобы лучше воспользоваться случаем, считая, что естественный ход событий породит лучшие условия, чем ум сумеет их изобрести или воля их создать. В подобные моменты его деятельность и влияние на других были как у великих людей, а потом он снова возвращался к беззаботности обыкновенных людей. В течение столь многочисленных революций и столь различных поворотов счастья он никому не причинил зла. Своих противников он карал лишь остротами. Он был связан с людьми узами долголетней дружбы, и все те, кто его окружал, были привлечены его любезностью, были привязаны к нему благодаря его доброте. Он проявлял исключительно тонкое чутье во всех своих суждениях; он любил рассказывать, и его рассказы были столь же приятны, сколько его остроты знамениты. Это лицо, которое не изменили события, этот взгляд, который оставался ясным, несмотря на повороты фортуны, оживлялись, когда он говорил о прекрасных днях XVIII века. Господин де Талейран искренне любил свою родину и навсегда сохранил привязанность к идеям своей юности («Уважение перед мечтами своей юности!», Шиллер) и к своим принципам, которые у него пережили все превратности событий и судьбы».

Эту характеристику заключил Минье чем-то похожим на собственное мнение: «Так объяснял он изменения в своем поведении. Однако какие бы услуги ни оказывал человек своей стране, всегда подчиняя свои поступки обстоятельствам, лучше руководиться одним побуждением и благородно служить одному делу в истории».

Прибавлю несколько строк из Минье о Талейране и его времени. Рассказывая, что в американскую войну *аббат* Талейран вооружил на свой счет *корсара* против англичан, Минье характеризует дух времени: «То, что аббат вооружил на свой счет корсара, живописует это странное время, когда двор рукоплескал шуткам Бомарше, направленным против знати». Мне очень понравилось то, что Минье сказал о той эпохе, к которой принадлежал Талейран, «когда энтузиазм, вызванный исполнением надежд, не позволяет сожалеть о том, что потеряли». «В этой эпохе среди окружавших его людей господин де Талейран принадлежал к школе, учителем которой был Вольтер». Талейран-епископ (Оттонский, 1788) «вступил в Генеральные штаты». «Он поставил свое умение на службу революции, как Сиес — свою мысль, Мирабо — свое красноречие, Байи — свою добро-

детель, Лафайет — свой рыцарский характер и т. д.». Он представил в законодательную ассамблею примечательный рапорт о народном воспитании, коего недостатки, неразлучные с духом того времени, слегка выставлены Минье, проект об установлении единства в весе и в мере; восставал против лотерей и содействовал к приведению в действо многих правительственных мер, особливо по части финансов — для сего подружился он с Паншо, одним из крупнейших финансистов того времени, «единственным человеком во Франции, — по словам Мирабо, — который умел заставить курицу нести золотые яйца, не зарезав ее». Епископ Талейран предложил продажу духовных имений — и вместе с тем улучшение участи бедного, низшего класса духовенства.

Талейран — дипломат в Англии, изгнан оттуда Робеспьером и Питтом; Талейран — в Америке, откуда снова усилиями поэта Шенье призван во Францию, в институт и к новому блестящему поприщу: Талейран — министр иностранных дел. Скоро новый метеор на горизонте Италии привлек его внимание. «Народу, который не хочет прозябать в равнодушии, нужна вера во что-либо или в кого-либо. Так как в идеи перестали верить, то господин де Талейран понял, что в скором времени будут верить в людей. Он угадал предмет нового обожания в этом молодом генерале, уже окруженного ореолом бранной славы. . .» и проч. Скоро Талейран представил *юного героя* директории и, в предчувствии его могущества, сказал о нем: «Я не только не боюсь того, что хотелось бы назвать его честолюбием, я чувствую, что нам придется в скором времени, может быть, взывать к этому честолюбию».

Талейран участвует в заключении *конкордата* с папою и за то получает от него «разрешение, которое за десять лет до того он дал сам себе, — вернуться к мирскому образу жизни». Я уже упомянул о степени участия Талейрана в *ошибке* Наполеона касательно герцога д'Энгиенского: степень сию определить трудно. Минье осуждает в нем министра иностранных дел, согласившегося нарушить народное право на счет слабого. Наполеон — император. Наполеон громит Австрийскую империю. «Тогда, считая успех обеспеченным, Талейран предложил императору план договора с Австрией и обширную реорганизацию Европы. Этот план до сих пор неизвестен».

Талейран принимал тогда только четыре главные государства в уважение: Францию, Австрию, Англию и Россию. Пруссию, по его мнению, только на минуту гений великого Фридриха воззвал на ту же степень. Талейран желал разорвать союз Австрии с Россиею, России с Англией и сие политическое междоусобие первых государств европейских основать на политическом интересе, на противоположных выгодах, на размежевании владений каждого. Подробности сего плана прочтете у Минье: само собою разумеется, что русские, «сжатые среди пустынь, обратят свои беспокойные усилия по направлению к южной Азии». Может быть, приведение в действо сего плана основало бы на некоторое время на иных началах владычество Наполеона в Европе, но устоял ли бы Наполеон и

в союзе с Австрией против духа времени, сокрушающего и здания веков и Наполеонов, как дуновение легкого ветра — карточные домики! Наполеон не принял сего проекта и продолжал тешиться над Францией и над Европою — по-своему. Он сокрушил Римскую империю, создал Рейнскую конфедерацию. «Он создавал лишь недовольных». Талейран остался министром недолго после Тильзитского мира и добровольно отказался от портфеля в 1807 году.

В следующей параллели, казалось, не соглашались с Минье приверженцы или энтузиасты Наполеона: «Великий дух Наполеона и здравый смысл господина де Талейрана, казалось, были созданы друг для друга. Все, что было изобретательного, плодотворного, смелого, пылкого у первого, нуждалось в четкости, холодности, обоснованности и точности второго. Один был гений действия, другой был гениален в советах. Один замышлял все великое, другой избегал всего опасного, и созидательный порыв первого был счастливо обуздан осмотрительной осторожностью второго. Господин де Талейран умел сдерживать императора в тех случаях, когда гнев или страсть могли толкнуть последнего на поспешные меры; господин де Талейран давал императору возможность, став более спокойным, проявить себя более ловким. Поэтому он говорил правдиво, но допускал преувеличение в форме выражения: „Император потерял с того дня, когда он смог делать на четверть часа раньше то, чего я добивался от него, чтобы он сделал на четверть часа позже“. Потеря подобного советчика должна была стать несчастьем для императора, а впоследствии она превратилась в опасность».

В Эрфурте все еще Талейран, но уже в качестве обер-камергера, «принимал при императорском дворе». В Эрфурте Наполеон изъявил Талейрану сожаление о том, что они расстались, фразою: «Нам не следовало бы расставаться». За Гишпанию Наполеон разгневался на своего обер-камергера и лишил его сего звания. «Талейран стал еще более порицать». В нашествии на Россию Талейран предвидел и расчислил последствия... Минье показывает, каким образом Талейран приведен был к необходимости принять на себя роль, игранную им в 1814 году. Оратор увлекается действиями Наполеона, славным его падением: «Звезда, перед тем как исчезнуть, излучала великолепный свет. Наполеон отрекся от власти».

Здесь начинается для Талейрана новое поприще. Национальная гвардия не выпустила его из Парижа; волею или неволею, он остался в столице: «Он был там самым главным деятелем и единственным крупным чиновником в тот момент, когда силой оружия там появились иностранные победители. Талейран всегда умел применяться к обстоятельствам».

Талейран — снова министр иностранных дел — на конгрессе Венском. «Он создавал теорию для каждого обстоятельства. Эта теория руководила им». Минье осуждает Талейрана за то, что он предпочел удержать короля Саксонии в его уменьшенном государстве — составлению для него нового государства на левом берегу Рейна. «Не лучше ли было бы, —

говорит Минье, — расположить между Саарой и Рейном, в нескольких переходах от нашей столицы, маленькое государство, а не большое?».

Явление Наполеона во Францию снова соединило единодушием, одною, всем общею мыслию — снова восстановить Европу против честолюбивого завоевателя: «Наполеон был поставлен вне закона в Европе». Бурбоны опять на троне праотцов. Талейран снова советник их, но ненадолго. Он восставал сильно против нашествия на Гишпанию в 1823 году. «Господин де Талейран присоединился к новому строю 1830 года. Будучи назначен послом в Англию, он как бы снова вернулся к тем великим поползновениям, которые привели его в Англию в 1792 г. Он содействовал сближению Франции и Англии, и заключил дипломатическое свое поприще трактатом *четверного союза* (quadruple alliance). Он оставил себе промежуток между делами и смертью. Единственное событие, которое отметило этот последний период его жизни, было похвальное слово графу Рейнгард. Он пожелал закончить существование, наполненное событиями и революционными треволнениями, в мирном святилище науки».[11] Я вам описывал прошлого года это собрание академии в самый день ораторства Талейрана. Два месяца спустя, Талейран угас, наполнив более полувека — «non segnibus annis, sed actis», несмотря на природную лень свою.

По окончании заседания Mignet прочел в академической библиотеке некоторые любопытные акты, коих я не нашел в печатном панегирике, в числе оных и письмо Наполеона, после Шатильонского конгресса.[12]

Я был еще в частном заседании Академии наук и слышал жаркий спор академиков о высших и важнейших вопросах государственного хозяйства; два раза посетил выставку произведений французской промышленности; но скажем еще слова два о книжной промышленности. Завтра выйдут в свет две примечательные книги; одна в прозе — «Ирландия», соч. Бомона,[13] друга и спутника Токевиля; другая в стихах — поэма «Le dernier homme», соч. хлебника Ребуля, коей небольшой отрывок напечатан сегодня в «Quotidienne». Токевиль приготовил также к печати новое произведение; но, опасаясь, чтобы книга его не повредила действию, которое должно произвести сочинение друга его, и не отвлекла от него внимание публики и журналистов, он остановил обнародование собственного произведения. Я бы мог рассказать вам прекрасную черту Ребуля, и не одну, а две, но боюсь оскорбить смирение поэта. По сию пору публика знает Ребуля только по его собранию мелких стихотворений «Poésies», par Jean Reboul, 1836, по письму Ламартина о стихах его и по предисловию к оным Александра Дюма «Une visite à Nismes». Все читали с восхищением «L'ange et l'enfant» и поверили похвалам Ламартина. Ангел призывает младенца от земли в свое небо:

La terre est indigne de toi.
Là, jamais entière allégresse;
L'âme y souffre de ses plaisirs;
Les cris de joie ont leur tristesse,
Et les voluptés leurs soupirs.

Но в пьесе, посвященной Шатобриану «Sainte-Hélène, ou anathème et gloire», еще более поэзии; вдохновение сильнее и возвышеннее: один голос славит, другой карает Наполеона.[14]

24/12 мая 1839. Третьего дня спасся от итальянской поэмы импровизатора Редальди, читанной в салоне нашей милой соотечественницы, а вчера выслушал целую трагедию у Рекамье, читанную автором, маркизом Кюстином. Сюжет из истории итальянской: отцеубийца Ченчи. Трагедия сия уже играна à la porte de St. Martin, но автор несколько переделал ее, в четыре акта, и, по возвращении своем из России, куда скоро сбирается, намерен представить ее на собственном театре, и Рахель берется играть главную роль Ченчи, но нет Тальмы для отца ее. Трагедия писана хорошими, иногда сильными стихами. Четвертый или последний акт наполнен трагическими сценами, и в первый раз на сцене французской является папа: желая спасти душу, а может быть, и жизнь дочери-отцеубийцы, он дает ей аудиенцию в саду Ватикана. Разговор их наполнен превосходными сентенциями и des vers à retenir. По окончании чтения, Шатобриан советовал автору скрыть от папы истинную причину отцеубийства, не заставлять дочь оправдывать себя виною отца, и тем еще более возвысить характер ее. Ампер соглашался с Шатобрианом. Но как согласить сию перемену с участием, которое принимает кардинал, дядя Ченчи, знающий об ужасном преступлении отца ее и умоляющий папу простить невольное преступление? Молчание кардинала было бы противно всякому правдоподобию.[15]

В числе слушателей была и Delphine Girardin, урожденная Gay, поэт-красавица, теперь супруга исключенного из камеры депутатов журналиста. Несчастие мужа послужило ей вдохновением: мы читали в журналах стихи ее если не в честь, то *за честь* мужа. Я простился с Рекамье, исполненный нежнейших чувств благодарности за лучшие минуты парижской жизни моей, за эту улыбку, которую выразить умел только Канова и Баланш.

Сию минуту приносят ко мне «Le dernier jour», poème en 10 chants, par J. Reboul, accompagné de notes et suivi d'une lamentation à la ville de Nismes. Читаю предисловие автора; в последних строках его выражена главная мысль поэмы: «Nous ne sommes ni prophète, ni inspiré du ciel: seulemeut, le soir, nous avons vu l'horizon en feu, et nous avons dit que la journée du lendemain serait brûlante». В прологе два голоса перекликаются, голос неба и поэта, ему повинующегося:

Sinistre précurseur d'immenses funérailles,
Vous voulez que je crie autour de nos murailles:
Jérusalem, malheur à toi!
Malheur à toi, malheur, ô. cité de scandale!
Je redirai malheur! jusqu'à l'heure fatale
Où je dirai malheur à moi!

В первой песни призвание к ангелу разрушения:

Toi qui fis un appel aux vastes océans
Afin d'ensevelir la terre des géans,

Et sur les plus hauts monts, balançant les abymes,
Trouvas des chatimens à la taille des crimes!

25/13 мая. Так как я успел послать экземпляр «Последнего дня», то более и не выписываю. Читайте сами.

Второй час пополуночи того же дня. Сейчас возвратился с блестящего английского бала: празднован день рождения королевы. Все посетители и посетительницы были с букетом розовым, по желанию посольши. Никогда такого многолюдного съезда не бывало. Средний дворик с садиком был устроен палаткой, меблирован, освещен и усажен цветниками благоухающими. Музыка в двух местах гремела. Дамы сияли бриллиантами; принцесса Дория унизана была нитями и филограммами из крупных бриллиантов: один Мальтийский кавалер не уступал ей в сиянии алмазном. Грек-красавец с Ионийских островов, облитый серебром, вальсировал неудачно, но пленял всех бледностию и красотою. Моле опять более получаса шептался с Тьером: уверяют, что последний отказывается на время от политики и возвращается в храм истории — писать деяния Наполеона за 500 тысяч франков, кои предлагает ему книгопродавец.[16]

На бале опять всех занимала телеграфическая весть о возгоревшейся войне между Турцией и Египтом: завтра министерство будет просить усиления бюджета, или сумм, назначаемых на морские силы. Жуанвильский принц просится на войну. Надеются утушить пламя.[17]

Э. А.

XVIII. ХРОНИКА РУССКОГО В ГЕРМАНИИ

Веймар, 6 августа/25 июля 1840. Я приехал сюда третьего дня в 11 часов; справился, когда ожидают сюда из Вильгельмсталя великую княгиню, и узнал, что она должна сегодня выехать оттуда, обедать в Эйзенахе и к вечеру быть уже в здешнем Belvedere. Я решился ожидать ее высочество здесь и возобновил знакомство с г. Липманом, наставником государя наследника, который доживает теперь век свой, в ученом досуге, корреспондентом министерства просвещения. Но возвратимся к последнему дню в Берлин, откуда я в последний раз писал к вам. Я выехал оттуда в 5 часов после обеда 1 августа, в 8 был уже в Потсдаме, проехав прекрасные дачи, на песке построенные, братьев королевских, где я бывал прежде и гостил у принцесс; в Потсдаме остановился по-прежнему, у «Пустынника», zum Einsiedler, и немедленно взял коляску и отправился в Sans-Souci к Гумбольдту, с Лейбницем под рукою (т. е. с его проектом, Петру I представленным). Мне сказали, что Гумбольдт пьет чай у короля в Шарлотенгофе. Начинало уже смеркаться. Я пошел бродить в парк и набрел неожиданно на Шарлотенгоф, откуда выходит король со свитою. Придворные коляски и таратайки ждали королеву; она вышла с двумя дамами, заметила незнако-

мое лицо и, как я после узнал, подождала минуты две, думая, что я имел до нее дело. Но я распознал в числе королевской свиты Гумбольдта: он узнал меня и подошел ко мне; успел сказать мне, что дело мое, как говорят, в шляпе, что король даст приказание об удержанных пяти рукописях. Гумбольдт хотел на другой день зайти ко мне, но я предварил его. Из Шарлотенгофа он поехал к королю в Sans-Souci ужинать, а я побрел в Потсдам с попутчиком, кадетом, который рассказывал мне анекдоты о новом короле, о его деятельности, о приветливости ко всем и о его образе жизни в Потсдаме. Кадету все было известно — и казалось, что он готовился в камер-юнкеры или флигель-адъютанты...

Я добрел до «Пустынника», довольный моей вечернею прогулкою и встречами. На другой день, в воскресение, встал в 6 часов и встретил утро в потсдамских окрестностях. Я попал прямо на бронзовый бюст Александра I, окруженный пушками. Неподалеку другой бюст генерала Шарнгорста, сподвижника государей, спасавших Европу от Наполеона. Зашел в католическую церковь: огромное, но бедное, полукаменное, полудеревянное здание, на дворе оружейной фабрики; побрел по дороге в Sans-Souci, увидел песчаную площадь с какой-то башенкой: тут собиралось некогда... Табашное общество, Tabacks Kollegium, коего трубки разной формы и калибра показывали мне в кунсткамере: теперь — все салоны обратились в табашные коллегии...

Я пришел в Sans-Souci в 8 часов утра: Гумбольдт уже гулял в парке и минут через 10 возвратился. Я успел насладиться в тени аллей прохладою утра и взобрался ко дворцу по каменной лестнице, уставленной померанцевыми деревьями. Италия в песках Бранденбургии! Каприз гения, не угадавшего первых начал политической экономии, создал сии громады для употребления капиталов, для убеждения Европы, что семилетняя война не истощила казны его! Представитель XVIII века, хозяин и строитель сей державной обители, король и Фридрих II и завоеватель, во вражде с пол-Европой, мечтал о *беззаботном* отдыхе. *Беззаботный* — и во вражде с двумя государынями, с коими только смерть и победа примирили его! Я нашел Гумбольдта, читающего моего Лейбница, коего я ему накануне оставил.[1] Он пожелал иметь копию с замечаний о *магнитной стрелке*, кои Лейбниц представил Петру Великому.[2] Я обещал прислать ему сии копии (кажется, тайна природы может быть уже не тайна государственная). Мы проговорили около часа о разных предметах: от политики переходили к книгам, к властям предержащим, к совопросникам века сего. Все, что слышу о новом короле, меня радует: для будущего много надежд. Он долго наблюдал, со многими советовался и приобрел опытность государственную, без личной ответственности в том, что совершалось в глазах его: размышление и опытность употребит он на пользу государства. Кто, на троне, умеет наслаждаться и пользоваться Гумбольдтом, за того *общее мнение*. Уже патриот Арндт, в страшную годину Пруссии сподвижник Штейна, празднует свое политическое и профессорское возрождение с друзьями освобожденной

от Наполеона Германии. Почти накануне дня сего издал он свою биографию: «Erinnerungen aus dem äusseren Leben», von Ernst Mor<itz> Arndt[3] (в ней много и об императоре Александре, много, много и о тогдашних обстоятельствах...)». Скоро после издания его биографических записок оправдались его слова, его вера в провидение. Ян также уже на полной свободе; ветерана поэтов Германии, Тика, из Дрездена призывают в Берлин. Гумбольдт показал мне новый роман его; ожидают, что Эйхгорн, также друг и сподвижник Штейна, занимающий ныне важное место в министерстве иностранных дел (ему поручены дела по сношению со всеми немецкими государствами), будет назначен министром народного просвещения: публика заранее радуется сему назначению.

Гумбольдт знаком не с одними высотами Чимборазо, но и с низостями некоторых литераторов, нам известных. Я удивился его всеведению! он изъявил искреннее негодование на статью против умного и благородного нашего литератора Мельгунова; я хвалил ему книжку Кенига.[4] Гумбольдт повторил мне обещание короля отдать мне и 5 удержанных рукописей о России; я все получу в свое время чрез нашу миссию, а Гумбольдт уведомит меня письменно обо всем, что сделано будет. Еще многое говорено было; все, все сохранится в моем благодарном сердце. Настал час литургии, и Гумбольдт предложил мне довести меня в гарнизонную церковь. Я опять видел там короля, королеву, принца Карла и выслушал довольно посредственную проповедь зятя епископа Эйкерта.

Из церкви я возвратился к своему «Пустыннику»; отобедал, послал за лошадьми и в час уехал из Потсдама; часа два отдыхал на пути и в 7 часов утра приехал в Галле; освежился, побежал к Цвечке, моему знакомому книгопродавцу, бывшему товарищу утопившегося в Неве Мейера; купил университетский каталог и в $7^1/_4$ слушал уже лекцию Эрдмана «Ueber die Religionsphilosophie». Я уже слыхал его прежде; он говорит хотя слишком скоро, но внятно и вразумительно, несмотря на отвлеченность предмета. Содержание лекции я записал только про себя, заметив в Эрдмановой коечто, напоминавшее мне мысли Жубера: он не читал их. Эрдман лифляндец; его приглашают снова в Дерпт; я советовал принять приглашение: это выгодно для него и для Дерпта. После Эрдмана, от 8 до 9, слушал я нравственность (die Moral) у малютки Вегшейдера. Он говорил о любви, о браке, о семейственной жизни: сначала было мало нового, но давно известное разве не входит в план полного курса? От многоженства (полигамии) перешел к полиандрии, т. е. многомужеству: оно еще безнравственнее и противнее выгодам гражданственности, потому что совершенно уничтожает достоинство человека-мужчины и делает невозможным воспитание детей, неизвестностию отца. В Страбоне, в Кесаре, в новейшем путешественнике Форстере указал он на примеры полиандрии: «Брак, в благородном виде своем, есть основание всякого человеческого образования, корень всякой нравственности, и только он делает возможным воспитание детей».[5] Я написал несколько страниц в своей карманной книжке из каждой лекции;

но не хочу вас вести на студентскую скамью. От 9 до 10 слушал я знаменитого Гезениуса, ориенталиста, и особенно гебраиста, коему привез поклон от Гумбольдта. Он читает о книге бытия по еврейскому тексту, для меня непонятному, но он переводит тексты сам на немецкий и объясняет их превосходно. Эрдман перед лекцией познакомил меня с ним. Я и его слыхал уже здесь. Он проходил в тот раз 28-ю главу стих 19-й, о Иакове. Занимательно и любопытно было объяснение восточной идиллии о сватовстве Иакова. Гезениус почитается первым гебраистом в Германии; для богословов необходима книга его.

От 10 до 11 слушал я Толука, моего кисингенского приятеля, коего слыхал только по сию пору в церкви. Я нашел его уже женатым, выздоровевшим. Я люблю книги его. Die kleinen Schriften и теперь со мною. Он был некогда протестантским проповедником, едва ли не первым, при берлинской миссии в Риме; превосходно опровергал Штрауса, а теперь издает здесь и богословскую газету. Он читает несколько лекций; я попал на объяснение Евангелия от Иоанна, 13-й главы. Сверх того, он читает о посланиях св. Павла и толкует пророков. Желал бы передать вам все слышанное или по крайней мере записанное на сей лекции, но времени недостанет; в Толуке много души или, лучше, Gemüt. С некоторого времени на него нападают за некоторое отступление от прежних убеждений, но я еще не успел ознакомиться с этой полемикой; больно мне только было слышать отзыв Толука, искренно мною уважаемого, о моем Неандере. Когда я спрашивал Неандера о Толуке, он отвечал мне более *молчанием* и хвалил только религиозное чувство и многосторонность учености Толука, между тем как сей последний говорил о нем с какой-то внутреннею досадою, трунил над ним по-своему. Толук позвал меня на вечер, с историком Лео и с двумя молодыми богословами.

От 11 до 12 слушал я Юлийса Мюллера, о коем Неандер говорил мне с величайшим уважением. Он читает церковную историю. После лекции я с ним познакомился и передал ему сердечное приветствие Неандера. Мюллер вспомнил, что встречал меня в Геттингене, в 1837, на вековом празднестве. Хвалят очень его книгу «Ueber die Sünde».

От 12 до 1 слушал я Новейшую историю у Лео: вы знаете его по истории Италии, изданной им для Герена и Укерта; по Всемирной истории, коей вышло уже четыре части, знаете, наконец, и по ссоре его с гегелианцами (die Gegelinger — в насмешку над Gegelianer). Я вечерял у него за три года пред сим и тогда слушал лекции его о какой-то древней немецкой поэме. Теперь он проходил французскую революцию во всей подробности; исчислял происшествия, делал характеристику партий и их корифеев, «der Flügelmänner der Zeit», как он их назвал. Описал даже некоторых из живущих, например Пасторета, но удачнее всего сделал портрет Карно, устроителя победы (о нем сказали: il a organisé la victoire), потом и Дантона, Мирабо, Isnard (он был бемист и в духе Сен-Мартена), Мерли де Тионвила, Везина, Шабо, Ла-Круа, Камбо, Рюля, Талейрана и, наконец, описал буй-

ство в Авиньоне. Он оживляет лекции каким-то жаром, не красноречия, а как бы *участия* в происшествиях и в лицах, о коих повествует. Ранке думает более о себе, хочет изумить повествуемым и остротами, может быть, заготовленными; Раумер сух в своем велеречии; но Лео проникнут убеждением искренним, чувством негодования или энтузиазма к повествуемым событиям или к описуемым лицам и к духу времени. Он увлекает за собою: volentem et nolentem trahit.

После лекции мы возобновили знакомство, и я зашел к нему после обеда. Современная история занимает его; он сам был некогда журналистом в Берлине, где не все его любят. После 4-й части своей Всеобщей истории он покоится на лаврах, обрабатывая только свои лекции. Скоро займется 5-ю и последнею частию своей истории. Обыкновенно я спрашиваю знатоков такого разбора, как Лео, о новых книгах; он наименовал мне одну, неизвестного автора, в Базеле изданную, как примечательную в своем роде: «Das göttliche Recht und die <Rechte des> Verstandes trügen»; вышла у книгопродавца Шпитлера.

Отобедав наскоро в трактире, я отправился в книжную лавку Цвечкена, просмотрел новости ученой литературы, обошел часть города и в 4 часа опять явился в университетское здание, где преподаются почти все лекции. От 4 до 5 слушал опять Гезениуса археологию. Это его любимая наука, и книга его признана классическою. С какою подробностию описывал он: die Stiftshütte устроение оной; в ней горел огонь беспрестанно, зажженный Иеговой, «coelo delapsus», все снаряды, орудия, сосуды, явства (артос), подсвешники, размер и форму оных, святую святых — кивот, и проч. Он предложил мнение ученых ориенталистов о каждой части кивота; о херувимах, их назначении; описание храма Соломона также с величайшею точностию; его положение, устройство. Одно из лучших описаний сего храма сделано недавно нашим дерптским ученым, Кейлем, 1840. Жаль, что Гезениусу неизвестно творение Ланчи, профессора и аббата римского, где многое объяснено иначе; но я верю более Гезениусу. Фолиант Ланчи, с превосходными рисунками, о еврейских древностях напечатан в Риме.

От 5 до 6 слушал я древнюю историю у Дункера, экстраординарного профессора, сына парижского книгопродавца, моего знакомого (я закупил у него теперь книг рублей на 150). Дункер читал: о происхождении демократии в Афинах, кажется, более по Беку (Бек, берлинский знаменитый археолог). Он разбирал внутреннее устройство Афинской республики ясно и удовлетворительно. У Дункера мало слушателей; но он еще только в начале своего академического поприща, и сам 27 лет: только в Германии можно в сем возрасте быть глубоким ученым и истинным профессором. Вообще университет в Галле, как и все университеты в Германии, теперь не так богат студентами, как прежде, когда число их простиралось до 2000. Ныне только около 800; но Гезениус, Толук, Мюллер, Эрдман поддерживают еще древнюю славу его; гальские ученые ведомости еще читаются в ученой Европе; но всего более — по крайней мере для меня — процветает

Галле рассадником благочестия и христианского милосердия, насажденным бессмертным Франком: сиротским училищем, школою для миссионеров и библейскою типографиею, рассылающею слово божие во все концы вселенной. Я уже описывал прежде сии заведения, возрожденные лептою Франка и его сподвижников; ветви сего древа внутреннего благочестия расширились и покрыли плодами своими не одну Европу, но и сидевших в сени смертней. Вера в провидение возрастила сие древо, сие зерно горчишно, Франком брошенное в землю. Я поклонился еще раз его памятнику, окруженному рядом огромных зданий, в коих помещаются школы, типография, книжная лавка и многие другие институты. Нимейер, сын знаменитого педагога, хотя и неолога, последовал отцу в устроении франковских заведений. Лучшею чертою в жизни короля Фридриха Вильгельма III есть постоянство, с коим он, в самое критическое время своего царствования, благодетельствовал франковским заведениям; когда Наполеон громил его государство и оно распадалось на части, король не ослабел в щедротах своих к сиротам и к школе Франка (богу поручил их первоначальный установитель, а «в семействе бога нет сирот», сказал наш Жуковский), и Фридрих Вильгельм пребыл отцом их в годину искушения — на верху славы и счастия, после Иенайской битвы и в стенах Парижа. Его называют вторым основателем сих заведений, вторым Франком (король гордился быть *первым* после нищего). В конце XVIII столетия доходы уменьшились до того, что уже помышляли ограничить школы, уменьшить число воспитанников. Уже, когда в 1799 году Фридрих Вильгельм III оживил их своим присутствием и щедротами, он прибавил 4 тысячи талеров ежегодно в пользу педагогического института и сиротского дома. В 1806 году (в какую страшную годину для Пруссии!) король ознаменовал столетнюю благодетельную деятельность сего рассадника просвещения и благочестия новыми дарами, хотя ему представляли уже об ограничении средств, коими он существовал. Вместо сего Фридрих Вильгельм III обеспечил содержание сих заведений и на будущее время указом, подписанным в Потсдаме 26/14 апреля 1806 года. Иенайское побоище и политический хаос, в которое Германию погрузили Наполеоновы победы, ненадолго приостановили благодетельное влияние королевской попечительности о сиротах Франка. Уже из Шомона 2 мая/20 апреля 1814 года, следовательно, прежде совершенного торжества и прежде совершенного возрождения Пруссии и восстановления порядка в финансах и в источниках государственных доходов, король отвечал директорам франковского института, обещая им вспоможение, и послал им из своих собственных доходов 1000 червонцев. Впоследствии дары и привилегии умножились, и в 1829 году, на самом месте, где процветает дело Франка, воздвигнут ему памятник. Колоссальная статуя его, у подножия коей с благодарным благоговением взирает на него Сирота (в слепках во всей Европе известный), стоит посреди зданий, воздвигнутых Франком при жизни его на суммы, им собранные. Здесь приличнее бы увековечить память его одною надписью, посвященною британскому зодчему Врену, «Si monumentum quaeris —

circumspice!» или сказать, как Державин Бецкому: «И камни здесь твой труд гласят!». Но сколь живые монументы (краснейшие памятников сих!) говорят о Франке (как о нашем Бецком: домá воспитания): сироты, *живые и мертвые* благовестники, т. е. миссионеры и библии! Я прошелся по длинному двору, разделяющему два ряда зданий, где прогуливались ученики и сиротки; вместе с ними еще раз подошел к памятнику с молитвою в сердце, которую, казалось, и они разделяли. Это сердечное умиление пред их благотворителем нас как-то сблизило в сию минуту: они понимали меня, я угадывал их сердце; мы простились как единомышленники. Жизнь и подвиги Франка — вот мое любимое бессмертие! вот моя любимая слава, на земле непроходящая и в небе дозревающая!

В блаженном расположении духа пришел я к философу Эрдману — на чай! Мы разговорились о его занятиях: он издает биографию и полные сочинения Лейбница — и ему пригодились мои рукописи из нашего архива; он узнал из них, что Лейбниц был русским *тайным юстиц-ратом* и получал 1000 ефимков жалованья от Петра I: в сие звание пожалован он указом, подписанным в Карлсбаде 1 ноября 1712 года. Так как, может быть, немногим и из русских указ сей известен, то я его сообщаю вам вполне: «Мы, Петр первый, царь и самодержец всероссийский, и пр. и пр. и пр. Изобрели мы за благо всемилостивейше Курфирштского и Княжаго Брауншвиг-Люнебургского тайного юстиц-рата Годфрида Вильгельма фон Лейбница, за его нам выхваленные, и от нас изобретенные, изрядные достоинства и искусства, такожде в наши тайные юстиц-раты определить и учредить: чтобы нам, понеже мы (такожде известны, что он ко умножению математических и иных искусств, к произыскиванию гистории и к приращению наук много вспомощи может, и его ко имеющему нашему намерению, что науки и искусства в нашем государстве в вящей свет произошли, употребить, и мы для вышеупомянутого его чина нашего тайного юстиц-рата годовое жалованье по тысяче ефимков ему определить изволим, которые от нас ежегодно исправно заплачены быть имеют. И к сему мы надлежащий указ дать изволим; а его служба начинается с нижеписанного числа. В уверение того сие за нашим собственным рукописанием и собственныя нашея печати дано в Карлсбаде ноября в первый день 1712 года». Подписано государевою рукою: «Петр».[6]

Эрдман сносился с Гурауером, издателем неизвестных сочинений Лейбница, о некоторых письмах и проектах сего философа, увезенных маршалом Мортье из Брауншвейга; но все еще недостаточно объяснено, которые из них известны публике. От Эрдмана пошел я к Толуку, где уже нашел и Лео. Мы разговаривали о богословах нашего времени, об историках и проч. В 10½ я был уже в трактире. Лео проводил меня.

В 11. в темную ночь, выехал я в Веймар; в семь часов утра 4 августа/23 июля я был уже в Экартсберге, а в 11 — в Веймаре. Я остановился опять zum Erbprinzen; осведомился о великой княгине — она еще в Вильгельмстале, 5-го к вечеру приедет в Бельведер — и я решился ожи-

дать ее здесь. За столом сошелся опять с Липманом. Он живет здесь уже другой месяц и, в исполнение обязанности своей, готовит донесение нашему министру просвещения о том, что заметил нового и примечательного по ученой и учебной части в Германии. Я осмотрел новые комнаты дворца, из коих одна посвящена Виланду, другая Гердеру, третья Шиллеру, четвертая Гете. Виланд и Шиллер в своих главных произведениях уже изображены живописцем: он взял для сего сцены трагедий и баллад Шиллера и поэм Виланда. Гердер и Гете еще не кончены (в Минхене то же, но в большем размере). После обеда обходил парк и был у домика Гете: он был заперт, и все пусто вокруг него: одни розы благоухали бессмертием... Ввечеру пил чай у Липмана и беседовал с ним о России, о Жуковском, о поэзии...

На другой день, 6 августа/25 июля, в 4 часа утра, отправился в Иену ($2^1/_2$ мили отсюда); проехал театр бедственных событий для Пруссии в 1806 году, находившейся под игом Наполеона *семь лет* (как некогда столько же в борьбе с пол-Европою)! Вдали указывают на бивуак Наполеона, с 13-го на 14-е октября, при Ландграфенберге. Пруссаки, как говорят, были побеждены прежде сражения: план Гогенлоге отвергнут; главнокомандующий, герцог Брауншвейгский, прострелен в глаза — и возник раздор между генералами. Деревенька Ауерштет, неподалеку от Иены, дала имя Давусту; но я не в стане воинском, а в тихом, древнейшем убежище муз протестантских! Университет учрежден в 1558 году — первый протестантский. Сначала в грамоте императора Фердинанда I не дозволено было университету производить в богословские ученые степени; но один из медиков здешних вылечил другого императора — и право поставлять в доктора богословия даровано факультету иенайскому. В XVII столетии Иена была немецкою Болонией; число студентов доходило до 5000, ныне — нет и 500! Уже в мое геттингенское время процветала она Кантовою философиею — и Рейнгольдом. Перемещение его в Киль было чувствительно для Иенского университета.*

Иенайские ученые ведомости — при последнем издыхании; скоро их издание прекратится; давно уже, как сказывал мне молодой профессор Люден, сын историка, здешние профессоры не участвуют в сих ведомостях, и печатают статьи свои и критики в Берлинских литературных летописях и в других периодических сочинениях. Издатель Иенайских недостаточно платит им за статьи журнальные. Вообще с тех пор, как для каждой науки, для каждой отрасли человеческих знаний завелись особливые журналы — теологические, философические, исторические, камеральные, юридические, с разными подразделениями сих главных отраслей, — с тех пор универсальные ведомости, каковы, например, иенайские, гальские, геттингенские, гей-

* Здесь Шиллер был профессором истории и переписывался с Вильгельмом Гумбольдтом и Гете и читал прекрасную, первую и, кажется, во всех отношениях единственную лекцию о Всемирной истории (Was heisst und zu welchem Ende studiert man Universal-Geschichte?). Здесь еще и теперь живет биограф и издательница писем его, г-жа Вольцоген.[7]

дельбергские и проч., начали упадать, ибо каждый факультетский ученый, каждый читатель предпочитает *специальные* журналы. Криминалист подписывается на Митермайера, богослов на Толука, медик на Гуфеланда, и проч. и проч. Журналы общие, все части науки и литературы объемлющие, имели и теперь еще имеют большие преимущества: они приносили пользу тем, что *специальный* ученый имел случай, для пользы своей частной науки (они все в связи и отрасли одного древа), заглядывать и в другие области, замечать важнейшие и знакомиться с тем, что для него полезно и часто необходимо в произведениях других отраслей: так, медик из философского факультета выбирал лучшие психологические книги, юрист — исторические, и т. п. Иенайские, гальские, геттингенские ведомости достаточно удовлетворяли сей потребности. Теперь ученый едва имеет время обозреть явления своего отдельного ведомства, журналы, по его особенной части выходящие, и не заглядывает в энциклопедические журналы. В Иене издается и Архенгольцова «Минерва», столь давно нам известная, особливо в России, где она была некогда почти единственным запасом политических статей для наших издателей газет и журналистов; но издатель «Минервы» не совсем верен ей, и на его содержании — или его содержит — и другая газета, коею он, как молодой супругой, кажется, более занимается.

К характеристике Иенайского университета принадлежит и образ жизни и академические привычки студентов, между коими было прежде более так называемых *реномистов*, нежели теперь. Они преимущественно дрались на шпагах, но, впрочем, без большого кровопролития: более шума, гласности, нежели дела. Они давно уже присмирели, а между тем после обеда увидел я в разных местах площади кучки студентов за журналом, или за стаканом легкого *белого пива* — другие ратоборствовали на рапирах, мирно, без всякого задора, сменяясь друг с другом. Многие из ратоборцев на площади были в шлафроках, разноцветных, пестрых. Жители привыкли к сим явлениям и прислушались к невинному шуму бескровных оружий и сшибок. На проезжающего странная одежда, бородки, рапиры — все сии особенности иенайского студента, конечно, сначала произведут невыгодные для академии впечатления. Но здесь все это *в порядке вещей* — без сомнения, не совсем без неудобств для академической тихой жизни — но не мешает полному и свободному развитию юношеских способностей, не мешает талантам созревать, трудолюбию слушать и записывать лекции и дополнять их чтением в библиотеке и ночным бдением. Юность выкипает — жар души и свет ума и привычки труда остаются на всю жизнь; дружба в молодости, спасительная для сердца, оживляет его и в старости — и кто из нас, студентов, равнодушно встречал университетского товарища — и *взора* грустного *назад не обращал*!.. Геттинген, Геттинген! ты еще и теперь жизнь моего *отжившего* сердца; ты еще и теперь разделяешь господство над ним с Симбирском и Волгою...

Я купил и здесь, как в Берлине и Галле, каталог лекций; отметил профессоров, коих желал слышать, и в 7 часов утра был уже на лекции Гюэта

(Gueyt), преподающего пандекты; но зашел к нему ошибкою, ибо намеревался слушать германское и феодальное право у Ортлофа, по книгам мне известного. От 8 до 9 слушал молодого профессора Гримма, объясняющего четырех евангелистов; от 9 до 10 знаменитого богослова Баумгартена-Крузиуса, коего удалось мне слышать один раз, в проезд мой через Иену, за несколько лет пред сим. Он читает догматическое богословие с какою-то особенною важностию, ясно и, в отношении к своей богословской системе, удовлетворительно. Он известен по своим сочинениям. Он объяснял вознесение Христово (ссылаясь на Грисбаха), значение выражения «одесную бога седящего», в смысле владычества над миром; начал третью часть своей Христологии — о св. духе. Я все записал. Хотел слушать еще многих, но зашел к Людену — и вместо историка-отца попал к юристу-сыну, заговорился с ним о Иенайском университете и о германской ученой деятельности вообще. Сын читает юридические лекции, а отец историю Германии, которой издал уже семь или восемь томов, но не дошел в них даже и до реформации! Сын беспристрастно судил книгу отца и желал, чтобы я и с ним познакомился. Я уже слыхал его лекции, но воспользовался предложением сына и нашел старика Людена, диктующего секретарю своему. Глаза его слабы, но он еще трудится, хотя уже и не продолжает немецкой истории. Мы проговорили около часа, так что я не попал уже ни на одну лекцию до обеда! Не жалею: Люден был для меня любопытным явлением, и я жалею только, что не навел разговора на происшествие, бедственное для Германии, в некоторых отношениях едва ли и не для всей Европы, происшествие, к которому особенный случай сделал и его прикосновенным. Я хочу говорить об убийстве Коцебу Зандом.[8] Вы помните, что Коцебу дал одному здешнему писцу Коху, довольно безграмотному, переписать какие-то бумаги. Кох, не разобрав его рукописи, показал некоторые места Линдлю, жившему с ним в одном доме. Заметив, что в бумагах Коцебу много важного, Линдль удержал их, под предлогом лучшего прочтения мест, не разобранных Кохом, списал их и передал Людену, который тогда издавал «Немезиду». Люден напечатал их в своем журнале. Занд прочел их в «Немезиде»; голова его загорелась — и в Мангейме, где совершилось злодеяние, вы видите две могилы: исступленного и жертвы его. Сии подробности рассказывал сам Люден моему приятелю. Я помню это время, ибо читал «Немезиду» и все статьи журналов о сем происшествии. Виланд, сын поэта, издавал в то же время «Oppositions-Blatt». Во всей Германии, в Европе отозвалось это происшествие. И все произошло от одной необдуманной брошюры, напечатанной в Ахене, во время конгресса.[9]

Я просидел у Людена до самого обеда, после коего уже не мог собраться на его лекцию и возвратился в Веймар; провел вечер у гр. Фредро, бродил в здешнем парке, читал на скамье, подходил не раз к домику Гете, где все было так тихо и уединенно! .. взошла луна...

Веймар, 7 августа/26 июля. Великая княгиня приехала вчера прямо в Бельведер, за полчаса отсюда, в 9 часов вечера, и сегодня в 8 часов утра

пригласила меня к себе туда к обеду. Священник наш дал мне знать, что она будет служить благодарственный молебен в русской церкви и что я могу туда явиться ровно в $11^1/_2$ часов. Великая княгиня приехала туда с прусской принцессой, Августой, младшей своей дочерью. В церкви были только они и семейство нашего священника. После молебна с коленопреклонением, за счастливое совершение путешествия и пребывания в Вильгельмстале, великая княгиня, сказав слова два священнику и осведомившись об одном из певчих, не пришедшем за нездоровьем, подошла ко мне, расспросила о моих странствиях после нашего свидания в Кисингене, о новостях европейской литературы и о моих новейших приобретениях, представила меня своей дочери и пригласила опять на обед и на вечер, т. е. на весь день в Бельведер. Принцесса давно знает меня и угощала меня в своей прелестной вилле, в песках потсдамских. Она благодарила меня за присылку ей двух книг г-жи Павловой, хвалила их, расспрашивала об авторе-переводчице и отложила дальнейший разговор до Бельведера. Они отправились пешком во дворец принимать приехавшую вчера же графиню Эделинг, урожденную Стурдзу, мою соседку в трактире: она также с нами обедает и вечеряет. Я рад ее приезду: одна из умнейших женщин в Европе, друг Св<ечи>ной и недавно гостила у нее в Париже. Уже четверть века, как мы не встречались! Она, вероятно, привезла мне весточку и о Жуковском, ибо была недавно в Эмсе.

До молебна я осматривал здешний государственный архив. Много редкого, исторического; древнейшая рукопись 763 года, разумеется, на пергамене: это даровая запись (Schenkung) монастырю Пипина-малого, майорадома. Она принадлежит не к здешнему собранию дипломов, но куплена бывшим герцогом со многими другими для преподавания в Иене дипломатики. Древнейший отечественный документ, Vaterländische Urkunde, 944 года: король Оттон I дарит вассалу своему Белингу дачу, поместье. К записи привешена тяжелая восковая печать; подпись или монограм Оттона представляет две буквы О, из коих одна вверху строки, другая внизу, а по бокам их, с обеих сторон, находятся буквы Т, из чего и выходит Otto. Архивариус показал нам оригинальные рукописи главнейших евангелических реформаторов: связку писем Лютера, большею частию к тогдашним князьям и владетелям Германии. Первое из сих писем 1523 года, последнее 1545, следовательно, года за два до его кончины (1547). Рука твердая, как его характер. Лютер живал в Веймаре, и память его сохранилась еще в имени одной улицы, где было его жилище, Luthers-Gasse. Богослов Dewette, что ныне в Базеле, пользовался сим собранием писем Лютера; Mignet, не знающий по-немецки, выписал, чрез французского поверенного в делах, список с оных; но что он с ними сделает? обогатится ли сим сокровищем его «История реформации»? Почерк Лютера ясный; но какой сотрудник Минье разберет старинные немецкие рукописи! Другая, хотя и не столь толстая, связка писем Филиппа Меланхтона также к князьям немецким того времени. Имена других реформаторов, коих письма здесь:

Major, Menius, Amsdorff, Spalatin, Justus Ionas. Сколько еще сокровищ для немецкой истории! Едва не стало Лютера, как Смалькальдская война загорелась,[10] и сто лет лилась кровь над его пеплом!

Другая любопытная связка в здешнем архиве состоит из переписки героев тридцатилетней войны: Фридриха Ульриха, Георга Брауншвейгского, герцога Лауенбургского; убийцы, как полагают, Густава Адольфа, фельдмаршала Густава Горна. В числе сих писем есть и французские, например Фридриха Вильгельма Кассельского; одно писано из Парижа о тогдашних происшествиях. Этот корреспондент подписался: votre très humble serviteur, «que <vous> cognoissez». Тут же письма герцога Бернгарда, канцлера Оксенштирна. Шиллеру были известны сии бумаги, но прекрасную свою историю тридцатилетней войны черпал он не из неизвестных документов; только из одной здешней рукописи заимствовал он кровавую сцену в «Валенштейне».

Мы видели также переписку Максимилиана I с Фридрихом Мудрым, курфирстом Саксонским. Ранке для своей «Истории реформации», коей недавно вышли две первые части, не пользовался ею. В предисловии к ней он благодарит начальство здешних архивов, особливо общего архива, т. е. Веймарского и Готского (Саксонского дома, Эрнестиновой линии) за свободный доступ к его сокровищам. Он был здесь в 1837 году и уверяет, что для той эпохи в истории реформации, в которую Саксонский дом играл столь блистательную роль, нет богатее архива, как здешний. Ранке в пророческом предчувствии заключает предисловие своей истории словами, которые желал бы я произнести во услышание всех архивариусов *нашего времени*, но старинных правил придерживающихся, от Колпашного переулка до Липовой аллеи. «Ich sehe die Zeit kommen, — говорит историк папства и реформации, — wo wir die neuere Geschichte nicht mehr auf die Berichte selbst der gleichzeitigen Historicker, ausser in so weit Ihnen eine originale Kenntniss beiwohnte, geschweige denn auf die weiter abgeleiteten Bearbeitungen, zu gründen haben, sondern aus den Relationen der Augenzeugen und den ächtesten, unmittelbarsten Urkunden aufbauen werden» («Я вижу, что настает время, — говорит историк папства и реформации, — когда мы перестанем основывать новую историю и на повествованиях современных писателей — разве они представят нам оригинальное знание — не только что на сочинениях, еще более отходящих от этой цели, но будем созидать ее на сказаниях очевидцев и на истинных, непосредственных свидетельствах»). Утешительно было для меня читать то, что Ранке говорит о наших общих занятиях, о занятиях тех, коих некогда заклеймили названием *архивских крыс*. «Man bedauere den nicht, der sich mit diesen anscheinend trocknen Studien beschäftigt, und darüber den Genuss manches heiteren Tages versäumt. Es ist wahr, es sind todte Papiere, aber sie sind ein Residuum des Lebens, dessen Anschauung dem Geiste nach und nach aus ihnen emporsteigt» («Не сожалейте о том, кто занимается этим, по наружности, сухим изучением, и от того лишает себя наслаждения многих светлых дней. Правда, эти бумаги мертвы, но в них — Residuum жизни, которой образ мало-помалу возникает из них»). И я находил новую жизнь

в этих подвалах смерти, «in diesen Grabgewölben der Zeit» («в этих гробовых сводах времени»), и тем более наслаждался, что, углубляясь в область прошедшего, я мог забывать *свое время*, «weil ich darüber», как говаривал Мюллер при Наполеоне, «meine Zeit meist vergessen konnte» («Это заставляло меня забывать большую часть моего собственного времени»). Тени Петра, Екатерины и их колоссальных сподвижников рисовались предо мною. Происшествия двух эпох нашей и европейской истории мог я исследовать в самом их зародыше, планы политические и воинские в первоначальных их начертаниях, и указывать на истинных виновников новых судеб целой части света. *Легитимисты* Франции не вправе винить Екатерину за равнодушие к судьбе Бурбонов. Словом и делом, советами и войсками шла она на помощь их; но слов они не послушались, войска пришли бы поздно для их спасения. Долго ли сии новые патенты на бессмертие, сии оправдательные документы в процессе, еще неконченном, будут оставаться под спудом для обвиняемых? Какая же надежда для слабых, для безгласных, и прежде нежели смерть положит хранение устам их?

Из архива зашел я опять к нашему священнику и снова рассматривал его небольшую, но избранную библиотеку. Я сообщу о некоторых книгах, кои, по мнению его, были бы очень полезны нашим духовным академиям, особливо по части еврейских и христианских древностей. Священник Сабинин с ученостию обширною и глубокою соединяет истинное христианское православие; пишет на русском о предметах высшего богословия; знает еврейский язык и словесность превосходно; следит за всеми новыми явлениями в церковной и богословской литературе; труды Гезениуса и других новейших гебраистов ему известны; тексты переводит он с оригинала и пользуется лучшими, новейшими и старыми комментаторами; отбрасывая лжемудрие, он избирает чистые толкования св. писания; предпочитает Неандеров Штраусам. Он читал мне прекрасное предисловие к переводу Иова, исполненное духа благочестия и глубокого знания библейских древностей. Он уже в Копенгагене занимался церковною и духовною литературою, и особенно еврейскою. Статьи его, хотя не всегда в полном виде, помещаются в «Христианском чтении», издаваемом нашею СПб. академиею (о состоянии иудеев в плену вавилонском, объяснение пророчества Ноева о будущей судьбе потомства его, и проч. и проч.). В Копенгагене имел он удобный случай познакомиться с исландскими сагами и написал об них несколько рассуждений. В Москве, при мне, получена была любопытная статья его о нашей древней истории, в Историческом обществе, коего он сделан корреспондентом, и в Журнале Министерства народного просвещения печатались статьи его, например 1837 года «О происхождении наименований боярин и болярин». Но любимая часть его — библейская филология. Павский был некогда его учителем, и едва ли не один мог бы быть совместником его на кафедру еврейских древностей в наших духовных академиях. Стефан Сабинин делает честь нашему духовенству и в ученой Германии — просвещением, благочестием, ученостию своею и какою-то благородною людскостию

в обхождении.[11] Супруга его также очень образованная и умная женщина; девятеро детей цветут и радуют их. Старший сын издал уже на немецком первую часть повестей Пушкина, в 1840, с небольшою биографиею поэта и с письмом Жуковского о последних минутах его.[12] Это русское милое семейство с жадностию бросилось на мои русские новинки в литературе. Ах! нам, на чужбине — «и смрад отечества приятен». Но я привез и дельную, патриотическую «Оборону русских летописей» Буткова [13] и подарил ему статью того же автора о Шафарике.

В $2^1/_2$ часа отправился я в Бельведер, куда приглашена была и наша соотечественница, графиня Эделинг, урожденная Стурдза. Я тут возобновил знакомство с иенайским куратором университета. Скоро прибыла великая княгиня с дочерью, прусскою принцессою, и с детьми ее, своими внучатами. Я удостоился сидеть за обедом подле последней, и разговор наш не прерывался. Мы перебрали немецкую и французскую литературу, Гумбольдта, берлинских профессоров и проч. Я привез ей Жубера, а великой княгине рукопись о России...

После обеда гостей развели по комнатам; я начал читать книгу, коею на всякой случай запасся; но скоро бросил ее и пошел бродить в парке Бельведера и любоваться прекрасными видами на Веймар, в приютной и живописной долине покоющийся. Глаза наслаждались; воображение оживилось воспоминаниями о корифеях немецкой словесности, кои под сим же горизонтом, в сих же кущах были славою века, Германии и Афин ее. И памятники, и беседки, и кора деревьев, и журчание речки («Klein bist du» и проч. — «Ты мала, но журчишь не одну бессмертную песнь!» — manches unsterbliches Lied) — все здесь переносит вас к Виланду, Гердеру, Шиллеру и Гете — коего опустелый домик обвит плющем и розами. Они напоминают страннику его же стихи:

Morgen wird der Wand'rer kommen
Und wird, und wird — mich nicht finden ...
(Завтра придет странник — и не найдет меня.)

7 часов пробило, и нас пригласили к чаю в беседку; там снова разговор оживился. Графиня Эделинг видела недавно, в Париже и в Эмсе, Жуковского, Рекамье — эту европейскую знаменитую красавицу, еще милую, цветущую душою и сердцем и умом блестящим и образованным, освежаемым всеми приливами европейского общества. Рекамье проводил в Эмс Ампер, но через два часа возвратился в Париж. Верный Баланш не мог, за болезнию, быть снова ее спутником в чуждой ей Германии. Она была бы в Эмсе в совершенном одиночестве, если бы маркиз Кюстин, автор романов и писем о Гишпании, не остался при ней. Полетел бы к ней! Если узнаю, что она еще в Эмсе, может быть, заверну туда и прежде Кисингена! Я забыл сказать, что после обеда я проводил графиню Эделинг в ее комнаты, и мы долго болтали о парижских наших знакомых: о С<вечи>ной, Циркур, Рекамье и других многих. Графиня Эделинг узнала Париж, как не многие и долго там живущие знают его. Она описывает его беспристрастно: в рас-

сказах ее много нового и для меня, например общество из молодых людей, до 1200 простирающееся, под названием братства de Saint-Vincent de Paul, коего целию бедные и больные и лишенные духовной помощи на одре смертном. Мои знакомые, братья Melun, корифеями сего христолюбивого братства милосердия.

После чаю в беседке великая княгиня пригласила нас гулять в парк; мы спустились по дороге к Веймару и скоро возвратились в замок, где снова началась беседа в салоне; потом ужин — и после 10 часов мы разъехались в Веймар, с приглашением опять возвратиться сюда завтра на весь день.

1840, августа 8/июля 27. Утро. Вчера же осмотрел я и здешнюю библиотеку, где некогда часто встречал здешних ученых и литераторов. Главная зала уставлена бюстами и портретами: герцогов, отца и деда нынешнего, Гердера, Шиллера, Виланда и Гете. Два колоссальные бюста Гете и Шиллера по сторонам портрета, в рост, их друга — герцога, который велел похоронить себя посреди их. Под бюстом Гете стихи Шиллера, под Шиллером — Гете; вот первые:

Selig, welchen die Götter, die gnädigen, vor der Geburt schon
Liebten, welchen als Kind Venus im Arme gewiegt,
Welchem Phöbus die Augen, die Lippen Hermes gelöset.
Und das Siegel der Macht Zeus auf die Stirne gedrückt.

Schiller.

(«Блажен, кого боги благие любили еще до рожденья; кого младенцем укачивала на руках Венера; кому Феб открыл глаза, Эрмий — уста, а Зевес положил на чело печать могущества». Шиллер).

Или, как сказал Жуковский:

Блажен, кто, богами еще до рожденья любимый,
На сладостном лоне Киприды взлелеян младенцем;
Кто очи от Феба, от Гермеса дар убеждения принял,
А силы печать на чело от руки громовержца.

Под бюстом Шиллера:

Denn er war unser, mag das stolze Wort
Den lauten Schmerz gewaltig übertönen,
Er mogte sich bei Uns, in sicherm Port
Nach wildem Sturm zum dauernden gewöhnen,
Indessen schritt sein Geist gewaltig fort,
Ins ewige des wahren, guten, Schönen,
Und hinter Ihm in wesenlosem Scheine
Lag was uns alle bändigt — das Gemeine.

Goethe.

(«Он был наш — да раздадутся эти гордые слова громче, гораздо громче нашей громкой печали! Он мог у нас, как в верной пристани после неукротимой бури, приучаться к прочному; между тем как дух его с могучею силою стремился вперед, в бесконечность истинного, доброго, пре-

красного, а за ним, в безжизненном свете, лежала обыкновенность, тяготеющая над нами». Гете).

Я не нашел много нового в библиотеке. Уверяют, что прежде казна отпускала гораздо более на обогащение оной новейшими произведениями европейской литературы. За несколько лет пред сим канцлер Мюллер показывал мне целые тетради писем Гердера, Гете и проч. из Италии. Герцог поручил ему разобрать оные и приготовить к печати: с тех пор письма сии, коих Германия с нетерпением ожидает, все еще не изданы Мюллером. Письма Гете к герцогине и к герцогу кратки, но благоухают Италией и напоминают его прелестные четверостишия. Гердер подробнее в описаниях; его письма, помнится, длиннее. Здесь негодуют на Мюллера за то, что он так долго лишает современников сей общей, германской собственности. Сейчас написал несколько строк к Жуковскому, в Дармштат, адресовав ошибкою во Франкфурт-на-Майне. Спрашиваю его о Вяземском и проч. Сейчас корреспондент Министерства народного просвещения, Липман, прочел мне свое донесение министру о Real und Normal-Schulen в Германии и о новых примечательных книгах в немецкой ученой словесности. Вероятно, вы прочтете сей рапорт умного педагога в Журнале Народного просвещения. Сабинин принес мне свои «Письма в конференцию СПб. духовной академии, написанные из Копенгагена».

9 августа/28 июля, воскресенье, утро. Вчера, осмотрев музей, где есть прекрасные картоны и эскизы славных мастеров, несколько замечательных картин, я зашел и в кабинет чтения, где можно читать множество немецких и иностранных журналов и где книгопродавцы выкладывают на несколько дней все, что получают нового. Оттуда отправился пешком, с книгою, в Бельведер; останавливался два раза под тенистыми деревьями аллеи читать замечания на Пентархию и менее, нежели в час, был уже в парке Бельведерском. Зашел с визитом к графине Фричь, здешней гофдаме, и к прусской фрейлине или гофдаме, ибо в Пруссии фрейлин нет. К обеду явились: наш Липман, священник Фрорин, зять географа Бертуха, известный ученою своею деятельностию... графиня Эделинг и — двор. Я успел написать два слова к Жуковскому с проезжавшим мимо фельдъегерем. После обеда опять роздых — я продолжал читать «Glossen zu der Schrift: die Europäische Pentarchie, v. Giehne» — и в 7 часов опять чай, опять прогулка в саду, опять живой разговор в салоне — и за ужином великая княгиня рассказывала нам много любопытного о пребывании своем в Вене во время конгресса. Я возвратился с графинею Эделинг, моею соседкою. Мы условились сегодня, в воскресенье, идти в 10-м часу слушать веймарского суперинтенданта Рера, который недавно прославился полемикою своею по случаю торжества в память реформации и Гутенберга. Здесь еще есть следы прежнего, взаимного ожесточения двух христианских исповеданий. В церковном богослужении католиков, или лучше, в некоторых несущественных обрядах оного, сделаны ограничения. Прения ратоборцев 30-летней войны тлеют в подвалах архивских: могила

и Вестфальский мир их успокоили. Когда же примирятся проповедники евангелия?

10 августа/29 июля. Вчера, позавтракав два раза, дома и у графини Эделинг, я отправился слушать Рера. Проповедь умная, но сухая. Он коснулся слегка и предмета прений между Ботенем и его епархиальным епископом в Страсбурге. В церкви были и принцесса прусская, и наследный принц здешний, возвратившийся из Дармштата и Эмса. Из протестантской прошел в русскую церковь, где уже нашел великую княгиню, с ее гофдамой, с русскими каммермедхенами и с многочисленным семейством священника. Потом приехали и принц наследный с сестрою. Я опять отправился в Бельведер с Липманом к обеду, на который приглашены были некоторые знаменитости — honoratiores — Веймара, французский поверенный в делах, Ларошфуко (брат принцессы Боргезе). Экипажи императрицы уже приезжают: ее величество ожидают сегодня ввечеру или завтра поутру, если останется ночевать в Эрфурте. После обеда я заехал к графу Фредро: он с семейством живет уже здесь три года под крылом державной хозяйки. В последний приезд государя он вдруг онемел и теперь еще едва кой-какие полуслова намекнуть может. Дети, сыновья, утешают его: оба воспитаны очень хорошо. Старшего пенсионирует государь: он живописец и поедет в Рим совершенствоваться в искусстве своем. В $6^1/_2$ опять у великой княгини; но уже в здешнем парке, где пили чай, играли в карты, в павильоне. К вечерней беседе приглашены были новые лица. К ужину уехала великая княгиня в Бельведер встречать принца Вильгельма прусского.

Графиня Эделинг увела меня к приятельнице своей, госпоже Вольцоген, приехавшей для свидания с нею из Иены. Там она поселилась с воспоминаниями о Шиллере, ее beau-frère, коего написала прекрасную биографию, в 2 частях, 1830 год. Она была дружна с Шиллером и с Гумбольдтами; с Александром и поныне в переписке. Недавно написала роман «Корнелия» — а ей 77 лет! Я нашел в ней необыкновенно умную женщину, не только начитанную, но погруженную в глубины философии Канта. Она хвалила мне лучшего его истолкователя Фриза и пригласила сегодня к себе, в Иену, чтобы познакомить с ним и с другими иенскими знаменитостями, с перепискою Шиллера, Гене, Гумбольдтов. Фриз — друг ее. Я заслушался ее разговора о Шиллере, который был ее другом. Сестра ее, жена Шиллера, не имела ее дарований. Я еду в Иену с графинею Эделинг — и опишу вам салон Вольцоген уже по возвращении или из Кисингена. Великая княгиня приказала отыскать для меня русские грамоты, списанные в Готе, и сегодня мне принесут их: и отсюда возвращусь я не без добычи для русской истории.

Полдень. Сию минуту видел каталог рукописям о России, в Готе хранящимся, из коих многие еще не переписаны для Аделунга. Надеюсь достать копии. В библиотеке видел грамоты французского республиканского правительства, подписанные Дантоном, Шиллеру, переименованному

в m. Gille, и прелестное письмо Виланда 1776 года Фр. Якоби о первом его свидании с Гете, в Веймаре. Все для меня и, следовательно, для нас переписывается. Великая княгиня опять приглашала в Бельведер; а в 8 часов вечера я уже буду пить чай у Вольцоген в Иене, с графинею Эделинг и Fries, коего сейчас видел вторую и последнюю часть «Истории философии», весьма выхваляемой.

Веймар. Августа 12/июля 31, 1840. Вчера, вероятно, отправился к вам пакет с письмами, кои третьего дня приготовил я, перед отъездом моим в Иену с графиней Эделинг. Я обедал в Бельведере. Возвратившись в Веймар, я перешел в коляску графини Эделинг, и к 8 часам вечера мы были уже в Иене; заказали комнаты в «Солнце» и поехали пить чай к г-же фон Вольцоген, о которой я уже писал вам. Профессор Фриз, философ и математик, издавший на сих днях вторую и последнюю часть философии, о коей журналы отзываются с величайшею похвалою, не мог притти на вечер, и мы провели его втроем. Г-жа Вольцоген сама писательница и провела век свой в самой искренней дружбе с Шиллером, с другом его Дальбергом, с Гумбольдтами и со всеми знаменитостями прежнего Веймара. В Париже и здесь знавала она г-жу Сталь; была с нею в переписке — и теперь, над прахом друзей, на том же самом пепелище, где некогда провела несколько лет с Шиллером, в самые поэтические годы его жизни, она живет воспоминаниями, схоронив единственного сына, в совершенных летах, который принял из рук ее ружье, чтобы — умышленно или неумышленно, знает один бог, — застрелиться им. Она говорит о Шиллере и по сию пору с каким-то тихим энтузиазмом, рассказывает подробности его здешней жизни поэтической и семейной; указала мне из окна гору, к которой обращены стихи Шиллера:

Sey mir gegrüßt mein Berg ...

И обещала подарить аутограф Шиллера. Его покровитель и друг, Дальберг, до самой кончины своей был и ее другом, завещал ей написать его биографию из материалов, им оставленных, и по собственным воспоминаниям. Кончив недавно роман, г-жа Вольцоген (почти 80 лет) принимается писать жизнь друга или его апологию для Германии. Она живет теперь в совершенном одиночестве; детей Шиллера, ее племянников, здесь нет (один из них умирает от куренья и горячих напитков, у другого два сына, внучата поэта). Один раз в неделю собирает она у себя некоторых из здешних ученых; но чаще других видит Фриза; занимается с ней астрономиею; показала и расхвалила нам его «Популярную астрономию»; читает Канта, Шеллинга: в дряхлом теле душа ее живет полною духовною жизнию и беседует с гениями всех веков и народов. Профессор Ган читает ей иногда Софокла, Эврипида и — немецкие легенды. Но всего больше душа и сердце ее заняты памятию о Шиллере. В 10 часов мы расстались.

На другой день, в 6 часов утра, я был уже на лекции профессора философии Шейдлера. Он читает педагогику; в этот час проходил системы

Локка, Руссо и диктовал *главные начала* своей науки слушателям. Я заметил какую-то странную перемену в его голосе; иногда он необыкновенно возвышал его, иногда говорил тихо. После мне сказали, что Шейдлер совершенно глух и не слышит самого себя. От Шейдлера пошел я на лекцию молодого богослова Штикеля. Он объяснял пророка Исайю, по еврейскому тексту. Я заметил в своей записной книжке те места, кои, в объяснениях и в импровизированном переводе его, мне особенно понравились, и поверю их на досуге с славянским текстом. Поспешаю довести до сведения русских богословов слышанное от Штикеля: английский профессор в Оксфорде (кажется, Ниль) открыл новое сочинение Евсевия. Содержание оного здесь еще неизвестно. От 8 до 9 часов должен был я слушать Газе; но он не читал сегодня. Студенты очень хвалят его лекции. По мнениям, по системе своей, он приближается к Шлейермахеру; но не смело, не безусловно его придерживается.

Я воспользовался часовым досугом своим и зашел к профессору Фризу, коего предварила обо мне г-жа Вольцоген. Он познакомил меня с своею литературною и академическою деятельностию, которая начинается в эпоху Канта и Рейнгольда, продолжается в бурное время так называемых демагогических затей университетских, от коих страдал в 1817—1819 годах и Фриз, оставив под спудом одну часть (политику и права) своего философического полного курса, расставшись на время с философской кафедрой для преподавания математики. Ныне он занимает обе кафедры и в истории философии передает сущность всех систем, от древнейших времен до Гегеля, не включая, однако ж, в книгу свою гегелианцев. Он горюет по сыне, блуждающем где-то на Востоке... Фриз отличается каким-то детским простосердечием и глубокомыслием: дитя-математик и психолог; такие явления менее редки в Германии. Профессор, в уединенном немецком, не столичном университете — затворник бенедиктинец в келье. В 1833 году вышло второе издание его «Populäre Vorlesungen über die Sternkunde», с таблицами и картами, в Гейдельберге. Книга сия посвящена г-же Вольцоген.

От Фриза пошел я к президенту Верхнего апелляционного суда, фон Зигезаку, с коим познакомила меня давно уже великая княгиня. Он был с ее высочеством в Петербурге и теперь занимает здесь первое место в высшем судебном трибунале, для всех саксонских владений учрежденном, т. е. для Веймарского, Готского, Альтенбургского, Рейского и Мейнингенского княжеств. Человек радушный и образованный, чиновник деятельный, неутомимый. Он познакомил меня с иенскою ученою литературою и с ее главнейшими представителями; но более всего я ему обязан за книгу профессора Шейдлера «Paränesen für Studierende. Zur Methodik des akademischen Studiums», в сем году вышедшую в Иене. Она служит пополнением «Годегитики», того же автора, в прошедшем году изданной. Сии «Paränesen» состоят из введения к оным самого Шейдлера и из рассуждений разных авторов о предмете академического воспитания и учения.

Некоторые из них принадлежат давно известным мыслителям, корифеям философии и учености немецкой, например: Фихте, Стефенсу, Титману и т. д. Я обрадовался статье, взятой из Гершеля. Полагаю, что это перевод его книги о пользе естественных наук вообще, о которой давно я говорил во Франции, Германии и России, желая, чтобы скорее она переведена была с английского. Sir James Makintosh сказал о ней, что после «Органона» Бэкона не было книги в сем роде, примечательнее Гершелевой. Брум и Галлам, за обедом у коего я это сам слышал, согласились с его мнением. Поспешите приобресть книгу Шейдлера «Паренезы» и его же «Годегетику» или путеводительницу (*годос* — путь). Не знаю, послушаются ли моих советов, воспользуются ли моими указаниями, но в них единственная польза моих литературных набегов в ученой области Германии, Франции, Англии — почти всей Европы. *Своим* я беден, я желал бы обогатить *своих* чужим добром; в этом искреннем, постоянном, сильном желании русского сердца все мое утешение, все мое оправдание! Я часто припоминаю себе слова моего наставника Шлейермахера, кои желал бы подписать под его памятником после евангельских:

Thaten am Geiste des Menschen — grössere giebt es nicht.

Зигезак пригласил меня к обеду. Я поспешил на лекцию Баумгартен Крузиуса; он выходил из первой аудитории, кончив лекцию о посланиях к римлянам и галатам. Я успел с ним познакомиться на улице и от 9 до 10 слушал уже у него же догматику. Сначала объяснял он учение о св. троице и рассматривал критически мнение Сака. Потом говорил об искуплении (opus Christi), о царстве божием; рассматривал сочинения Ансельма (из 12-го столетия) «Cur Deus homo?», мнения социниан, пиетистов, гернгутеров. Я записал многое; но сообщу вам только слова его об учении греческой церкви, относительно сих важных вопросов: «Die Griechische Kirche hat sich in diesen Artickeln mit Einfachheit an die alt-biblische Lehre gehalten, und niemals war Streit in Ihr darüber wie in der Lateinischen». Б. Крузиус посмотрел на меня при сих словах, а я преклонил слегка голову в знак согласия и благодарности.

Закупив несколько книг для графини Эделинг, кои везет она к брату, я не мог найти здесь для нее «Критической истории новогреческой и русской церкви» Иосифа Шмита, которую купил для себя в Берлине (Mainz, 1840 год, 8). Имена Стурдзы, преосвященного Филарета, Муравьева встречаются на страницах сей книги, коей и пробежать не успел. Она для нас любопытна, а может быть, и полезна, хотя автор строгий и, следовательно, односторонний католик (я знавал его по другому сочинению). Пригласив милую спутницу, графиню Эделинг, уроженку Невшателя, гулять в окрестностях города и составив план нашей прогулки, я отправился с нею прежде всего в сад Шиллера, в коем теперь устроена обсерватория. Профессор астрономии нас встретил и ввел в садик поэта: он сам живет в доме, где Шиллер написал «Валленштейна» и несколько мелких пьес

своих. В углу садика стояла прежде беседка; в ней Шиллер иногда работал, мечтал... Беседка сломана, место засажено цветами. За этим садом гора с буераками, где часто студенты подслушивали Шиллера, когда он читал вслух стихи свои, сцены из своих трагедий. И отсюда видна, с другой стороны, гора, им воспетая; но в ней мало поэзии. Вообще окрестные горы Иенские зеленеют деревьями или желтеют колосьями только снизу, но вершины их голы и бесплодны.

Из Шиллерова садика отправились мы в сад Грисбаха, бывшего здесь теолога, купленный великою княгиней для воспитания здесь дочерей ее, ныне прусских принцесс. Он обширнее и живописнее других, и виды отсюда во все стороны веселые: горы в некотором отдалении. Здесь поставила великая княгиня памятник Гете еще при его жизни. Над колонною летящий орел. Кто-то сочинил для памятника три надписи, или сентенции, над коими великая княгиня сама слегка смеялась; но, несмотря на них, мысль памятника понравилась Гете, хотя все одобрение его состояло в тихом восклицании: «ого!» Сюда приезжает она иногда отдохнуть от Веймара и Бельведера, в кругу знаменитых ученых. Здесь же, в Иене, провела часть своей ранней молодости и принцесса Орлеанская Мария. Мы прошли загородною аллеею, по течению речки Сале,* в город.

В 2 часа обедал я у президента Зигейсена, в садовом его домике (Gartenhaus); мы пили кофе в саду. Жители северной Германии вряд ли не более наслаждаются природой и ее нещедрыми дарами, нежели баловни ее на юге. Первые живут более в садах и беседках своих, нежели южные; наслаждаются каждым цветком, и если вино не веселит сердца их так, как жителей Рейна, то по крайней мере виноград вьется вокруг их домиков, обрастает окна и позволяет воображению претворять кружку пива в бокал шампанского.

В 4 часа я был уже на лекции старика Людена; но, отягченный сытым обедом, едва мог следовать за победами Карла Великого над саксонцами. К счастию, эта часть его истории мне более известна, с того времени, как я занимаюся славянскими древностями, следовательно, историею славян в Германии, имевшими с саксонцами одну участь от Карла Великого. Одними громил он других и мечом вооружал крест в областях Кродо и Радегаста (рад гостям, хотя и незванным — был бог славянский).**

---

* Имя этой речки подало повод к каламбуру и к насмешке над Иеной; ее называют Sal-Athen (Sale-Athènes).

** Эта лекция напомнила мне путешествие по Гарцу с незабвенным, ранним другом, Андреем Кайсаровым: и он тогда тем же предметом занимался, но с большим успехом. Возвратившись с Гарца, с высот Брокена, прославленного ведьмами и стихами Гете, и познакомившись с классическими местами славянской и германской языческой древности, он написал «Опыт славянской мифологии», не первый на русском (ибо Михайла Попов, отец моего товарища по службе Василья Попова, издал прежде его Славянскую мифологию), но примечательный тем, что автор, после годичного пребывания своего в Геттингене, прилежно посещавший профессорские лекции, при весьма слабом знании сначала немецкого языка, мог сделаться немецким автором и получить право

XIX. ХРОНИКА РУССКОГО В ПАРИЖЕ

1

Шанрозе. 10 июля/28 июня 1841. Третьего дня собрался я в Академию слушать Сент-Олера и Роже, чтобы оттуда ехать прямо сюда, как вдруг — неожиданная радость! мне приносят три пакета с книгами и журналами из Петербурга и два пакета с письмами из Петербурга и из Москвы. За час перед тем я получил письмо от Жуковского, из Дюссельдорфа, первое по наступлении его законного счастия! И какое письмо! Душа Жуковского тихо изливается в упоении и в сознании своего блаженства. Я понял, читая его, по крайней мере половину моей любимой фразы: «Le bonheur est dans la vertu, qui aime... et dans la science qui éclaire». Но било час пополудни, и я побежал с моими едва раскрытыми сокровищами в Академию, оставив печатный груз моему камердинеру, который должен был меня ожидать у железной дороги.

Я нашел академическую ротонду и боковые ложи почти наполненными. Дипломатический корпус почтил общим присутствием своего собрата; даже Апони с семейством и с нашими петербургскими красавицами. Он и папский нунций видели в академике бывшего посла при дворах их. Были и представители духовенства: наименованный епископ d'Evreux (приходский священник св. Рохуса, Olivier) и прочая сен-жерменская аристократия в блестящих своих представительницах заняла почти все полукружие. Многие, как например Циркур и проч., приехали из окрестностей Парижа, из Версали, Сен-Жермена, St. Cloud. Милое семейство Сент-Олера окружено было его ближними и приятелями: герцогом Деказом, канцлером Пакье и проч. Тут находились все академические знаменитости: Вильмень, Ройе-Коллар, Кузень, Росси; Гизо подсел к своему новому собрату и подчиненному и старинному приятелю; Моле издалека присматривал за ними и шептался с Р.-Колларом; даже герцог Броглио присоединился к академикам. Под кафедрою оратора — все постигнувший и во всем участвующий Гумбольдт. Виктор Гюго с полуоткрытым, широким лбом вошел не без расчета после других, и публика тихо прожужжала его имя.

гражданства в Лейпцигском каталоге! Впоследствии немец Аллер перевел его книгу на русский язык! Я всегда жалел, что не мог еще бросить цветка на гроб моего Агатона! Жизнь его прошла в сильных впечатлениях и в грустных предчувствиях сперва в Москве, потом вместе со мною в Геттингене, на Гарце, в землях славянских и в Венгрии и в Венеции. Мы расстались в Вене; я возвратился на родину, потеряв брата, друга его; Кайсаров — в Геттинген. Кончив там академический курс, он поехал в Англию; в Шотландии сделали его гражданином города Думфриса, в России — профессором русской словесности в Дерпте. Отсюда, вопреки моему предчувствию, неодолимое влечение, в самом пылу народной войны, умчало его от тихих муз в стан воинский, где Кутузов, по его предложению, устроил походную типографию.[14] Но перу еще не было дела в стане русских воинов; в Андрее Кайсарове снова загорелся дух воинский, и, в отряде брата, взлетел он на воздух с пороховым ящиком! Мир рассеянному праху твоему, мой милый, ранний, незабвенный друг!

На трибуне явились канцлер Академии Скриб, Lebrun и — Роже, председатель: он открыл заседание, и молчание воцарилось. Я не хочу сообщать вам по-прежнему подробных выписок из речей нового *бессмертного* и его *приемщика*, кащея-Роже: вероятно, сегодня же выйдут статьи в «Дебатах» Филарета Шаля или Сен-Марк-Жирарденя, коих я заметил в ротонде, а в «Revue des deux mondes» прочтете вы речи вполне. С.-Олер не произвел, конечно, всеобщего энтузиазма, ни громких, повсеместных рукоплесканий, но его слушали с глубоким вниманием, одобряли часто.[1] Оратор начал панегирик Пасторе его биографиею, или, лучше сказать, его послужным списком, ибо жизнь его почти началась службою. В самой первой молодости Пасторе уже был «homme public» и в важнейших делах государственных. Он родился в 1756 году. Был адвокатом, советником в суде, поэтом... Издал том стихов, перевел Тибулла, написал рассуждение о *Морских законах* и заслужил *три медали* за три ученые диссертации; был собеседником и приятелем Бюфона, Даламбера, Лапласа, Шамфора, Делиля, Ласепеда и многих других совоспросников века того, и 25 лет был уже академиком и судьею! «Il fit deux parts de son tems: aux affaires et aux lettres». Он написал примечательную по тому времени книгу: об *Уголовных законах*, под неизбежным влиянием XVIII столетия (sous l'influence des opinions dominantes): но существовавшие злоупотребления выведены в ней с силою и смелостью. Филанжьери, Бекариа, упредившие своих современников в теориях уголовного законодательства и гражданского человеколюбия, ободряли молодого своего сотрудника в *запоздалой* тогда Франции. Пасторе оправдал их бескорыстную похвалу не только сочинениями, но и поступком: он дал убежище сыну Филанжьери...[2]

Но впоследствии канцлер de la Restauration изменил первоначальным теориям своим, коими отличался как депутат города Парижа. История, сохранив для потомства смелый поступок его, когда Пасторе, в страшную годину политического искушения, в бурном национальном собрании, сел подле Лудовика XVI, заметит в нем какой-то *политический дуализм*, объясняемый, но не всегда извиняемый *духом времени*. Пасторе укрылся на время от бури в тихие объятия муз и природы в Италии. В Венеции, во Флоренции занялся он греческим и армянским языками, собирая материалы для своей «Истории законодательства». Он возвратился в Париж в 1800 году, но без всякой симпатии к Наполеону. «Il voulait servir dans des emplois qui ne compromettraient pas ses principes». Четыре года на профессорской кафедре преподавал он Пуфендорфа, Гроция и объяснял трагедии Корнеля («Le grand Condé trouvait aussi dans Corneille d'utiles leçons!»). Пасторе нашел себе достойную подругу в m-lle Piscatory. (Вдова его — тетка известному депутату, посланному недавно в Грецию. Я сожалею, что ни один из ораторов не напомнил при сем случае публике, что г-жа Пасторе по добродетелям христианской жизни своей заслуживает не только благодарность Франции, но и самой Англии, подающей Европе пример в своих филантропических институтах: я когда-то уже пи-

сал к вам, что первая *мысль-чувство* о приютах для малолетних (les salles d'asyle) пришла не англичанам, а молодой француженке, г-же Пасторе: она из Парижа, во время революции с площади Лудовика XV, где и теперь живет, перенесла мысль сию в Лондон, сперва безуспешно привила ее к английской почве, возвратилась с нею в Париж; завела и здесь, сначала с малым успехом, *приюты*, ныне процветающие почти во всех европейских государствах и в нашей благословенной России).[3]

Пасторе продолжал профессорствовать и ничего не требовать от Наполеона, но император сделал его сенатором. Потом он служил Лудвигу XVIII avec préférence et dévouement. Louis XVIII et Charles X l'apprécièrent. Он был возведен в достоинство пера, вице-канцлера и в 1826 году — канцлера Франции. En 1830 il refusa de suivre une nouvelle fortune, и скончался в сентябре прошлого года. Смерть застала его над 11-ю частию его «Истории законодательства», из коей Сент-Олер прочел нам несколько красноречивых строк.[4] В заключение дипломат-академик, определив значение и цель *политики* «conduire sans violence les peuples», упрекнул Наполеону за нелюбовь его к так называемым *идеологам*, намекнул на некоторых из своих товарищей по Академии и по дипломации, и в министерстве.* Гизо, Моле, Кузень, Вильмень, казалось, потупили глаза в землю. Сент-Олер напомнил прелестный аполог Шиллера о поэте: «Где был ты?».** У многих дам навернулись слезы, когда он, сказав несколько слов о себе, о тихом семейственном счастии после бурной политической жизни, кончил приветствием и благодарностию Академии, qui lui apparut comme l'arc-en-ciel pendant l'orage. Он применил к ней слова Тертулиана: «Elle est douce, patiente, parce qu'elle est immortelle». Это были последние слова оратора.***

Старик Роже извинялся, что по болезни не может сам прочесть своей речи, и поручил чтение канцлеру академии Скрибу. Он исполнил это по-

---

* Sur ces bancs... je reconnais, dans les premiers personnages de l'état, plusieurs des chefs de notre littérature. Ce n'est plus comme au tems du cardinal de Richelieu, votre illustre fondateur, par une adoption courtoise, ou à titre de protecteurs que les ministres entrent à l'académie. Des titres littéraires sérieux leur en ouvrent l'entrée...».

** Où donc étais-tu, mon favori, спросил Юпитер поэта, quand les, honneurs et les trésors furent distribués par mes ministres? — Hélas! répond le poète; j'étais auprès de toi, c'est la cause de ma misère!» Telle ne sera point, parmi nous, votre condition, poètes, orateurs, philosophes, qui savez instruire et émouvoir le peuple, dans les chaires, au forum, au théâtre etc...».

*** Il me sembla que vous veniez d'assurer le bonheur du reste de ma vie. L'académie m'apparut comme l'arc-en-ciel pendant l'orage; je la parai de tout le charme de l'activité et du repos, de la gloire et des affections douces. Je le savais, Messieurs, dans cette illustre compagnie, où tous les systèmes politiques, philosophiques et littéraires sont représentés par leurs chefs les plus éminens, vous apportez des convictions puissantes (?), des principes inébranlables (!) et cependant la plus intime cordialité préside toujours à vos débats. (!!) Personne ici ne rencontre d'adversaires, et s'il est permis, sans blasphème, de rappeler avec votre devise la pensée de Tertullien, j'oserai dire de l'Académie. «Elle est douce, patiente, parce qu'elle est immortelle».

ручение со всем талантом комического автора, наставника актеров и водевилистов. Роже начал речь свою неизбежным панегириком новому товарищу, а за него и его предку, в V колене,* un de ces hommes ingénieux, qui eût le secret, plutôt que l'art d'arriver à la postérité, par quatre charmans vers à la Duchesse de Maine. Сам Вольтер вписал его имя в «Храм вкуса». «Теперь мы в другой эпохе», — сказал Роже. Он бросил какой-то неверный взгляд на новую литературу, коей представитель, Гюго, исподлобья на него косился (Роже был одним из упорнейших противников принятию его в Академию). Речь его, как долговременного собеседника знаменитостей литературных прошедшего и настоящего века, наполнена любопытными анекдотами и замысловатыми *словцами*. Он принадлежит к ветеранам классицизма и аттицизма XVIII столетия. Он вздыхает по *прошедшем*, ибо оно доставило ему его *настоящее*. Попал ли бы он *теперь* в Академию? Сомневаюсь. Написав давно забытого «Адвоката»,[5] он давно почиет на лаврах своих. За несколько лет пред сим напомнил о нем его приятель изданием двух томиков литературных отрывков: кто из нынешних *фельетонистов* не мог бы предъявить основательнейших прав на академическое бессмертие? Сен-Марк-Жирардень, братья Нетманы, Филарет Шаль, даже баловень публики и гроза театров, легкомысленный и легко пишущий Жюль-Жанень; не говоря уже о Сен-Беве, о Патене, об Ампере и Баланше...

Как верный представитель галликанского благочестия, Роже, похвалив Сент-Олера за его классическую любезность и за его старинную urbanité (ancienne urbanité), напомнил, что Сент-Олер заслужил уважение св. отца, как дипломат и человек. (Я приехал в первый раз в Рим во время его посольства и не забуду завтрака на развалинах Саллустиевой виллы, Сент-Олеру принадлежавшей). Роже рассказал также и о благородном поступке Сент-Олера в поручительстве его за роялиста Ривьера (Rivière) в 1804 году, и под конец коснулся слегка его «Истории Фронды», на сих днях вновь напечатанной.[6] Я радовался счастием его милого семейства. M-me St. Aulaire оставила Вену, чтобы хлопотать здесь за мужа, и избавила его от кандидатских визитов.

Лучшие комплименты Роже памяти Пасторе состояли в анекдотах из благотворительной жизни его; но и он и Сент-Олер забыли или не хотели напомнить нам, что Пасторе — будущий канцлер de la Restauration, сочинил известную надпись над парижским Пантеоном: «Aux grands hommes — la patrie reconnaissante». (Едва ли в комитете, рассматривающем предва-

---

* «Vous ramenez aujourd'hui sur la liste de l'académie le nom d'un de ces hommes ingénieux, qui, dans un siècle plein d'élégance et d'urbanité, se fit remarquer par les agrémens de l'esprit comme par l'aménité du caractère, et, qui sans avoir jamais eu rien à d'emêler avec l'envie, sans avoir jamais prétendu à la renommée das grands écrivains du siècle de Louis XIV, au milieu desquels s'écoulèrent ses longues années, eut pour tant le secret plutôt que l'art d'arriver porté par eux-mêmes, et presque sans le savoir, à la postérité».

рительно речи академиков, не отсоветовали упомянуть о сем?). Странная участь Пантеона и в Риме и в Париже, заметил, кажется, Ампер в салоне Рекамье: там служит он памятником раболепства (Агриппы к Августу), здесь воздвигнут сей храм *всем богам* тогда, когда ни одного не оставалось во Франции! Марата выкинули из Пантеона; Мирабо куда-то скрыли. Вольтер и Руссо, кажется, еще под его сводами; Наполеон присудил его вечному покою безмолвных членов Совета.

Я уже купил для тебя перевод Альфиеровых записок de Latour, моего приятеля.[7] Он учитель принца Montpensier, живет во дворце, любим королевой, которая поручает ему добрые дела, и, несмотря на это, все его любят, и даже журналисты не ругают ни прозы, ни стихов его, коих он издал томик. Без меня кто-то заходил ко мне сказать, что он едет в Петербург и через час опять зайдет: оттого и сажусь все заготовить, хотя и не кончил ничего. Все тихо в Париже, и я не обязан являться в большое общество, ибо нет его. Я совершенно согласен с тобою за Суме, но только ты не отдаешь справедливости поэзии в некоторых отрывках.[8] Он точно поэт и в вымыслах, и в языке! Я прочту завтра твою французскую выходку на него Шатобриану и Баланшу у Рекамье.*

Э. А.

2

Париж. 1841, ноября 12/октября 31. Я все роюсь в своих старых бумагах и нахожу беспрестанно сокровища. Передо мною два письма наших первоклассных поэтов: Батюшкова из Неаполя, от 10 генваря 1820 года и Пушкина из Бессарабии, от 21 августа 1821 года.[9] Письмо Пушкина *не велико, но ноготок остер*. Батюшкова письмо как-то невесело, хотя он еще жил тогда в литературном мире и под небом Неаполя. Пеняя мне за мое молчание, он говорит: «Одни письма друзей могут оживлять мое существование в Неаполе: с приезда я почти беспрестанно был болен и еще недавно просидел в комнате два месяца». Прочитав сии строки, я упрекнул себя в какой-то виновности его последующего бедствия; но кто угадает в Петербурге, в шуму и рассеянии жизни нашей, потребность сердца больного друга на чужбине? Но, повторяю, Батюшков жил еще жизнию души и ума в Неаполе. «Вы читаете Данта, — продолжает он, — завидую вам. Кто писал критику на Историю Карамзина в журнале Ученых? Что говорят о ней в Париже, и нравится ли перевод?». Он еще и в поэзии, и

* При письме нашего парижского корреспондента получена биография Бальзака, принадлежавшая Собранию жизнеописаний знаменитых современников французских Как любопытную новость, мы сообщаем ее читателям «Современника». — *Ред.*

в истории, и в судьбе отечественной литературы принимал искреннее участие! Он расспрашивает о рассеянных в мире приятелях.

Вчера я видел опять Рахель в Марии Стуарт, а Maxime в Елисавете, но не высидел всей пьесы, хотя и в обществе с умными дамами. Я дождался блистательного поединка двух королев и ушел немедленно по одержанной победе Мариею, в полном восторге от ее таланта. Она совершенно уничтожила свою соперницу, хотя кое-где и слышны были рукоплескания Максиме.

Недавно был у меня Raynal, издатель дяди своего Жубера, который скоро выйдет в двух частях. Мы долго разговаривали с издателем о друзьях Жубера: знаете ли, как он ценит Шатобриана? Фонтан, восхищаясь «Гением христианства» друга своего, спросил Жубера, что он думает об этой книге. «J'y ai trouvé une belle page», — отвечал Жубер, и Фонтан более от него не добился. Но Шатобриан может утешить себя тем, что друг его был строг и к — Расину. Письма к Моле будут также напечатаны, и особливо те, в коих он разбирает книгу его, при Наполеоне написанную, о формах правления, за которую недавно автору досталось от журналистов. Удивительно, что сам Моле спешит печатанием сих писем! Строгий приговор найдете вы и Сен-Мартеню, хотя *отчасти* и справедливый.

В салоне Ансело встретил я возвратившегося из Италии Беля (Стендаля).[10] Он постарел и едва ли не охилел и умственно, но бегает за умом и за остротами по-прежнему. Он описывал Didier автору «De la Rome souterraine» и мне *Флорентинский Собор Ученых*, бывший недавно под покровительством великого герцога Тосканского: хвалит его за радушие, с коим угощал он съехавшихся с концов земли ученых, литераторов и дилетантов. Дворцы, сады, музеи, галереи — все было отдано в распоряжение комитета. Для материальной жизни устроена была дешевизна во всем; для нравственной и интеллектуальной — свободомыслие и свободоболтание. Но почти никто не употребил этого во зло: все положили хранение устам своим.

Мне принесли каталог *аутографов*, кои скоро будут продаваться с аукциона. На заманчивом заглавии блестит множество знаменитых имен королей французских, министров их и писателей. Упомяну об одном. Malesherbes, от 20 июня 1793 года, на трех страницах описывает сестре своей, m-me de Senozon, последние минуты Лудвига XVI...[11]

Не знаю, удастся ли купить один из сих аутографов? Dupin на сих днях произнес à la cour de cassation, коего он генерал-прокурор, похвальное слово сему Малербу, а за пять лет перед сим другой: Hello — à la cour royale de Rennes, был также панегиристом его и включил свое похвальное слово в Философию истории Франции, недавно им изданную. «Сеятель» отдает Гело преимущество пред Дюпенем. «M. Dupin est le représentant fidèle de l'opinion de son tems; mais il s'en contente et ne va ni plus haut, ni plus loin; mr. Hello a des besoins plus élevés: il cherche davantage la

raison des choses; aussi ne s'arrête-t-il pas aussi brusquement que mr. Dupin au point où l'opinion du jour s'arrête».

14/2 ноября. Воскресенье. Был у обедни. Из церкви я поехал на выставку проектов гробницы Наполеону, au palais des Beaux-Arts. Описание сей выставки вы читали в «Дебатах». Нет ни одной мысли! кроме той, которая в смерти Наполеона! Лучшие надписи в его изречениях — у пирамид, на св. Елене, в завещании любви своей народу французскому. Один памятник мне понравился: гробница его, полунадкрытая, покрыта щитом, на коем означены главнейшие победы его. Сей щит, не совсем прикрывающий самый гроб, по четырем углам поддерживается орликами. На гробу — меч и короны его. Три залы уставлены проектами, рисоваными и вылепленными. Много rococo, много повторений известных монументов, пирамид, храмов. В сенях выставлен проект, опоздавший к сроку: это один из лучших, напоминающих монумент Исаакиевской площади. В книжке сказано, что 81 проект представлен на выставку; но мне показалось, что их гораздо более. При каждом объяснении их программа. Примечательнейшим полагают проект Висконти, здешнего архитектора: Наполеон на коне в центре Дома инвалидов, из коего галерея ведет под самый купол храма. Галерея уставлена, в трех отделениях оной, трофеями побед Наполеона, гробами губернаторов Дома инвалидов, тремя памятниками гражданских подвигов императора. Саркофаг из корсиканского гранита, из двух гранитных обломков. В одном прах Наполеона, прикрытый другим; над ним блестят восемь золотых букв: Napoléon. Горний свет главного купола падает на бессмертное имя. Проект корсиканца mr. de Ligny также обращает на себя внимание посетителей. Великолепный саркофаг, над коим Наполеон на коне, обставлен по четырем углам: *славой, войной, законодательством, религией.* Каждая из сих колоссальных статуй держит свойственные ей аттрибуты, например: религия — *Конкордат с Римом,* законодательство — *Гражданское уложение.* И в самом деле в сих четырех эмблемах выразился весь Наполеон. На барельефах изображен Наполеон, венчающийся в Notre-Dame. На другом Лудвиг Филипп, принимающий прах его в Храме инвалидов. На многих Наполеон напоминает сокольничьих охотников, держа на одной руке сокола или орла, в другой меч. Орел его часто не парит к солнцу, а рвется из рук его или спустил крылья как мокрая курица. Не думаю, чтобы один из сих проектов утвержден был общим мнением или изящным вкусом.

15/3 ноября. Я возвратился от Рекамье, которая на прошедшей неделе пригласила меня ехать с нею и с детьми ее племянницы Lenormand в Cirque Olympique — смотреть Мюрата! Я нашел ее охриплою и не весьма здоровою; надеялся, что наша экспедиция au boulevard отложится: но дети бы расплакались — и она едет. Предварительно прочла с Баланшем представляемую пьесу, и при сем случае разговорились о самом герое. Тут были Шатобриан и граф Пасторе, сын автора. Когда экс-королева Мюрат была здесь в Париже, года за три пред сим, то Пасторе расспрашивал ее

о смерти герцога д'Энгиенского. Она приписывала всю вину Талейрану. Он первый обратил будто бы внимание на него Наполеона, первый дал мысль... Мюрат, как военный губернатор Парижа, подписал только приказ, но в тот же день был у Рекамье и с бешенством говорил о поступке Наполеона, и впоследствии не раз оправдывался в клевете, на него взведенной, будто бы он бросил горсть земли на расстреленного! Рекамье и Шатобриан с жаром защищали память его.

Снизу доверху театр был полон, но публика — не итальянской оперы! Первой сцены первой картины я уже не застал; но скоро конный топот возвестил Мюрата, уже генералом и князем империи — на его родине в Бастиде. Посылаю вам все *превращения* Мюрата, от бастидского трактира до трона в Неаполе. На 33-й странице (в 7-й картине) увидите и Бородинский редут. Его брали штурмом: пехота и конница! Стрельба ужасная! Дым во всем театре! Сердце дрогнуло при виде русских солдат в редуте! Я не успел пересчитать конницы; но она скакала по театру, как на Марсовом поле. Рубились, дрались в схватку и на конях с мамелюками. Потом Мюрат в Неаполе, королева Каролина, изменник Barbara («Celui — ci n'a pas volé son nom», — примолвил верный до смерти Мюрату Кастальян, земляк его). Рекамье оставила ложу на время, пока судили и вели Мюрата на казнь. Он был одним из ее энтузиастов в свое и в ее время. К *апотеозе* она возвратилась в ложу, и мы видели и Наполеона в *сером сертучке*, как живого в полях Елисейских, встречающего своих маршалов и своего короля-зятя, коего Харон перевозит к нему на барке: анахронизма не заметили, хотя Харон и прежде перевез Наполеона. В 14-й и последней картине собраны полководцы всех времен и народов: и Кесарь, и Александр Великий, и Карл Великий, и Фридрих Прусский. Яркий свет освещает их. Все это продолжалось до полуночи. Мы усадили нашу милую Рекамье в коляску и пожелали не быть больною завтра.

16/4 ноября. Заезжал к Рекамье справиться об ее здоровьи: Мюрат немного расстроил его; но я нашел ее у камина, окруженною Шатобрианом, Баланшем, дамами и еще несколькими мужчинами: она рассказывала о пожаре замка Баранта. Он загорелся в третьем часу утра, неизвестно еще, отчего. Хозяева едва успели спастись в ночном туалете. Но потеря невозвратимая в книгах, в пожитках всякого рода и в драгоценностях фамильных и свезенных туда Барантом в разные эпохи жизни его: он надеялся кончить там, «in otio cum dignitate», жизнь свою! Не погибли ли и рукописи? Никто здесь, кроме одного его родственника и, может быть, Моле, еще не знает подробностей и всей потери. Я пошлю справиться в дом его или заверну к Гизо.

Шатобриан часто расспрашивает меня о Москве, об ее достопамятностях, об исторических древностях прошедшего: весною он замышлял побывать в Петербурге, в Москве, и в Нижнем Новгороде. Старую Европу он почти всю объездил — и в ней ему *душно*: он хочет освежиться на славянском севере?

От трех путешественников — Ампера, Ленормана и Мериме — получены вчера письма. Они были в Смирне еще *вместе*, сбирались в Царьград, но там разъедутся в разные стороны, чтобы снова и скорее собраться в Париже.

Лекции в Сорбонне, au Collège Royal, уже начались. Вчера была лекция Ройе-Колара, племянника старосты доктринеров, преподающего à l'Ecole du droit народное право: он напомнил слушателям, что в Страсбурге преподавал сию науку знаменитый Кох, наставник почти всей Европы, который имел слушателей из всех наций.

Ste-Beuve читал вчера у Рекамье корректурный лист из 2-й части своего *Пор-Рояля*, а именно Паскаля. Шатобриан, Баланш выхваляли сей отрывок. Мне не удалось быть на чтении. К новому году 2-я часть отпечатается.

Э. А.

XX. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

ВЫПИСКА ИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕРЕПИСКИ РУССКОГО ХРОНИКАНТА

15/3 сентября 1842. Сегодня в одной из английских газет читал я статью о новой системе, принятой в управлении ссыльными на острове Норфольк (Norfolk), в V части света, куда посылают теперь часть присужденных в Англии к *транспортации*. Некто капитан Maknochie придумал эту систему и получил от правительства управление тюрьмою или колониею, содержащею 1800 ссыльных. Главные основания сей системы следующие: он разделяет время ссылки на два периода. Если ссылка на *семь лет*, то первые три года почитаются временем возмездия за преступление; остальное время почитается как приготовление к освобождению. И тот и другой срок может быть сокращен. Каждому определяется для семи лет 6 или 7 тысяч знаков, кои выдаются за хорошее поведение, за исправную работу. Каждый может заслужить до 60 знаков в неделю. Чем скорее он приобретет все 6000 знаков, тем скорее он освобождается. На эти знаки каждый может покупать различные приятности и выгоды, например: чай, сахар, чтение книг и проч. Правда, что таким образом время заключения продолжается, ибо число знаков уменьшается покупкою; но надзиратель тюрьмы старается иначе вознаграждать сию потерю. Недавно учреждена там школа для молодых ссыльных и библиотека для чтения. За то и за другое они платят своими знаками. Так как некоторые, случайно или от болезни, могут лишиться возможности работать и, следовательно, приобретать знаки и, следственно, *ускорить освобождение*, то сами ссыльные, без всякого участия директора, составили кассу посредством своих знаков и дают их тем, кои не могут работать, дабы сии последние не теряли надежды скорее освободиться. Директор завел также школу

музыки, и по воскресеньям они поют и играют на различных инструментах. Наконец, были и театральные представления. Директор, в рапорте своем, говорит, что совершенно строптивых или таких, коих нельзя исправить, нет в его колонии, что есть только ленивые и глупые. Благородный энтузиазм основателя сей системы побудил его наконец дать праздник, в день рождения королевы. Были иллюминации, фейерверки, различные игры; и так как невозможно было в сем случае сохранить над бедными ссыльными обыкновенного надзора, то он публиковал, что полагается на их деликатность и, позволяя им оставаться на свободе до 8 часов вечера, надеется, что они сохранят порядок. Никто не нарушил его; все произошло тихо и спокойно.* Лорд Джон Руссель, бывший тогда министром внутренних дел, не одобрил сего последнего опыта, основываясь на том, что, «стремясь к исправлению самих преступников, надлежит также иметь в виду, что пример их участи должен *устрашать* других,** и дал позволение главному губернатору колонии отрешить директора от должности, если найдет нужным. К счастию, губернатор не нашел сей нужды. Если бы лорд Джон Руссель знал немецкую теорию (Геде *** и других) о цели наказаний, то он, конечно, не объявил бы *устрашения* главною целию наказаний. Один из уголовных судей находил,[2] что тюрьма *должна* необходимо быть вредною для здоровья заключенного. Теория лорда Джона Русселя не благоразумнее. Французы много толкуют теперь о тюремной дисциплине. Комитеты, циркуляры следуют один за другим; но я нигде еще не заметил известия о сем новом опыте дисциплины тюремной; а вот уже два года, как она существует. Maknochie весьма не одобряет долговременных ссылок, на 15, 20 лет, находя, что долговременность, лишая надежды, вредит цели наказания.

Английские журналы наполнены толками и спорами о последних беспорядках между работниками. *Тори* говорят, что мануфактуристы, желая уничтожения закона о хлебе, т. е. желая свободного ввоза иностранного хлеба, всячески старались притеснять работников, не увеличивать работ-

* Как бы мне приятно было указать на подобные сему явления и на Воробьевых горах, где обыкновенно между ссыльными дележ подаваемой им милостыни совершается в строгом порядке и с примерною честностию! Никогда еще я не заметил, чтобы получивший уже подаяние принял оное вторично, если полагал, что оно подавалось ему ошибкою.

** Вы видите, что есть *запоздалые*, по крайней мере в отношении к здравым началам уголовной юриспруденции, и в Англии и между вигами.

*** Геде был профессором уголовного права в Геттингене в начале XIX столетия и одним из ученейших и глубоких криминалистов в Германии. Он скончался в цвете лет и оставил по себе только классическое путешествие в Англию, в 4 или 5 томиках, и добрую славу.[1] Геде не успел издать теории уголовного права, но слушатели его сохранили его лекции об оном не для себя только, но и для потомства. Учение его перешло в жизнь и в правосудие, теория его сделалась во многих местах Германии юридическою практикою. Один из учеников его передал мне полный курс его лекций об уголовном праве в рукописи, а я подарил оную Московскому университету, при продаже оному моей библиотеки.

ной платы, чтобы довести их до сих беспорядков, надеясь чрез то заставить парламент дозволить ввоз хлеба и чрез то дать возможность иностранцам покупать английские товары. *Виги* опровергают сию клевету — и, кажется, справедливо. Как бы то ни было, *тори* весьма глупо рассуждают о сих происшествиях и предлагают почти заставить мануфактуристов платить известную плату работникам, à peu près как в 93-м году, во Франции, *конвенция* установила minimum и maximum. Здесь (т. е. во Франции) все спокойно. Журналы пустословят и проч. и проч.

Э. А.

XXI. ХРОНИКА РУССКОГО В ПАРИЖЕ

От ноября 7-го. Париж.

Сегодня уведомляет меня Л‹ютерот› о важном происшествии в английском церковном мире: «Ньюман, глава пусеистов, отделился от англиканской церкви; это, конечно, будет поводом к сильным раздорам».[1]

Ампер сказывал, что Гюго пишет *историю итальянских общин* и хочет войти в камеру перов чрез политику средних веков Италии. Все первоклассные здешние поэты помешались на политике: кто-то объявил в журнале, что Ламартин написал и запродал много стихов, он раздосадовал на это и объявил, что он уже давно бросил поэзию и посвятил себя исключительно политике. Шатобриан сегодня с жаром восставал на поэтов-отступников, утверждая, что и лучшие их речи парламентские придут в забвение, между тем как стихи их долго еще читать будут. — Сент-Бев читал у Рекамье пред Шатобрианом академический панегирик Казимиру Делавиню, и Шатобриан очень им доволен, но жалеет только о том, qu'on n'y voit pas les défauts de mr. de Ste Beuve. — В «Revue de Paris», которая теперь выходит листами и только три раза в неделю, Ste Beuve поместил умно-забавную статью о Théophile Gautier.[2] Я не читал ее.

Ампер описывал утро журналиста, и именно издателя «Constitutionnel», mr. Véron, обогатившегося продажею Pâté de Regnault и рекламациями, т. е. объявлениями и похвалами à tant par ligne. Самые блистательные фельетонисты являются к нему почти каждое утро с предложением услуг своих, и каждому первый вопрос: «Завтракали ли вы?» — «Нет еще». — «Чего хотите? Цыпленка? а вина какого?» — «Шампанского, Бордосского», — все готово, а после завтрака и статья.

Шатобриан начал писать новую историческую монографию после продолжительного, принужденного бездействия. Вчера показалось мне, что он как-то не вполне владеет языком, хотя он говорил много; желаю и надеюсь, что это мне так только почудилось. Скоро уменьшится число приближенных и ежедневных посетителей аббатства: Ампер на сих днях уезжает в Египет. — И слепец Тьери лишается своей хранительницы:

кн. Белжиозо возвращается в Италию. Вильмень, школьный товарищ и всегдашний друг и покровитель Тьери, не оставляет его, особливо после смерти жены.

Читали ли в последней «Revue des Deux Mondes» proverbe о камере? Все поражены истиною и верностию в изображении лиц; два списаны с натуры: журналист аббат Женуд и министр Гизо. Прочие составлены или списаны со многих. Автора никто не знает. Полагают, что m-me d'Agout. Но она не могла подслушать и подсмотреть закулисных действий, закулисных разговоров депутатов с такою точностию! — Журналы так ничтожны, не исключая и «Дебатов», что в руки взять не хочется: в отсутствие камер одни романы фельетонов удерживают подписчиков.

Сегодня заходил ко мне Дежерандо, сын добродетельного отца, и принес речи и стихи с биографией, по случаю его кончины написанные. В примечаниях к стихам много анекдотов, о коих не упомянуто в его биографии. Между прочим, что Дежерандо, будучи простым солдатом в революцию (1798 год), отвечал на заданный ученым обществом вопрос (определить влияние знаков на мыслительную способность) и заслужил премию, «avec le sabre d'un soldat» говорит далее панегирист его. Он сам о себе рассказал анекдот сей в обществе филантропическом, где я некогда часто встречал его. С сими стихами и другие того же автора: на Монлозье, известного прекрасным и сильным ответом своим во время революции, в Assemblée constituante; когда республиканцы хотели отнять у епископов их имения и доходы, Монлозье, явившийся на сонмище из овернских ущелий своих, защитником духовных, поразил депутатов сими словами: «Вы изгоняете их из их дворцов, — они удалятся в хижины бедных, которых они кормили; вы отнимаете у них золотой крест, — они возьмут деревянный, — и не забудьте: деревянным крестом спасен мир!» — Этот крик сердца, это словцо пережило Монлозье. В первые годы моего здесь пребывания я его встречал здесь, когда он приезжал сюда из гор овернских, в самой маститой старости. Защитник угнетаемого во время революции духовенства, он писал сильно против иезуитов, когда правительство на беду свою, при Карле X, снова подпало влиянию неисправимого братства. — Монлозье умер в горах своих, посвятив последние годы исследованию таинств волканической природы, его окружавшей. Соотчич и, кажется, сосед его, Барант, описали жизнь мудреца-мечтателя. Смелому защитнику духовенства оно отказало (в Клермонте) в панихиде; но поселяне, «les courtisans de la Montagne», провожали его остатки до могилы его, вырытой им самим на вершине гор. Он завещал обложить тело его ароматическими травами.

Другой товарищ Дежерандо в поэтическом панегирике, Маре, герцог Бассано и секретарь Наполеона, написавший в австрийской тюрьме и в тяжких оковах драму в 1500 стихов, которую после играли в салоне Бассана министра. Маре был брошен в темницу австрийцами в Мантуе,

когда он отправлен был домогаться после убийства Лудовика XVI о спасении королевы и детей ее. Он не доехал до места своего назначения, и королева погибла. По размене пленных, Цизальпинская республика прислала к Маре депутатов с цепями его, кои он сохранил до своей кончины. «Des glaçons de Moscou, des champs de l'Ausonie» рука Бассана писала указы, приказы и проказы Наполеона:

Il traçait les décrets d'un pouvoir héroïque
Sur l'affût d'un canon.

Он же был единственным имперским министром, оставшимся при императоре в Фонтенебло:

De la fidélité, toi, le vivant exemple,
Toi, le courtisan du malheur!

Лакордер будет два месяца проповедовать à Notre-Dame.

Вчера я встретил на улице профессора Римского университета, знаменитого ориенталиста Ланчи, коего я знавал в Риме. Он шел ко мне с запиской реформатского пастора, который приглашает нас на вечеринку с другим пастором Кокерелем слушать беседу римского аббата Ланчи — о Библии! Ланчи написал новые комментарии на Библию, и так как первая книга его о древностях церковных отобрана и держится под спудом папою, то он печатает новую в Париже, хотя продолжает быть профессором Римского университета. Он намерен читать здесь публично лекции о Библии; что то скажет нунций? Ланчи останется здесь на всю зиму. Он уверял меня, что знаменитый ориенталист и библейский толкователь профессор Гезениус, недавно умерший, коего я $1^1/_2$ года слушал лекции в Гале, многое заимствовал и даже перепечатал из первой книги его о финикийских и прочих древностях.

29/17 ноября. Вчера мне удалось провести приятный и наставительный для меня вечер в жарком и быстром разговоре с умным и ученым священником и с дамою — первоклассною и по уму, и по учености, и по душе. Мы разбирали проповедников здешних и от них перешли к предметам проповедей. Я спорил больше для того, чтобы слушать, наводить на возражения, на доказательства; прения кончились мирно. Священник обещал ввести au cercle catholique, коего он был одним из основателей. В понедельник там будет ораторствовать Тюльский епископ. Это общество составлено для сношений католических писателей между собою: там рассуждают, читают — с целию знакомить членов с успехами католическими и с талантами, кои ему служат и доброхотствуют. Этот священник мне предложил также познакомить и с аббатом Coeur, коего проповедями я наслаждался не одну зиму. Теперь он занимает место в Сорбонне, т. е. кафедру духовного красноречия, и оттого нигде не проповедует: приятель его описал нам его ангельский, детский характер, любовь к бедным и сирым и труды его по долгу проповедника и профессора: он часто более суток работает и

до изнеможения; но если представляется случай помочь хотя ребенку, то он все бросает и предается помощи ближнего, как сестры милосердия. — Этот же аббат (коего имени еще не знаю), при здешнем архиепископе, и может доставлять места близ кафедры в Notre-Dame, когда Лакордер начнет свои конференции. — Послезавтра Ботень проповедует à Louis d'Antin в 3 часа, — а перед тем в полдень проповедь евангелическая — au culte non salarié par l'Etat, Rue de Provence.

Возвратился из аббатства Рекамье, где нашел Токвиля с женою, m-me Tastu, Шатобриана, Баланша, герцога Розена, и умно-говорливого племянника Рекамье. От возрождения разных журналов, получающих новую форму и новую или несколько иную жизнь, как например «La Presse», перешел или спустился разговор до фельетонных романов: «Вечный жид», «Таинства Парижа» и проч. «La Presse» со 2 декабря увеличит объем и листы свои; она более займется политическою и серьезною литературою. Ламартин будет помещать в ней «Историю жирондистов», если не вполне, то большими отрывками. Такие сотрудники могут подорвать «Constitutionnel», хотя фельетонный роман дал ему такую популярность, что в провинциях нанимают чтение по часам — до 3 часов утра! — Спор между Баланшем, m-me Récamier и m-me Tastu зашел о том, до какой степени вредят нравственности читателей и, следовательно, всей публике эти романы, кои поносят или клевещут самые богоугодные заведения, чтобы подольститься к господствующему вкусу, смешивая les associations religieuses с иезуитскими кознями, — Sue уверяет, что хлебника его хотели подкупить иезуиты, чтобы отравить его.

Д'Эстурмель положительно знает, что Ламартин запродал себя на всю жизнь, прошедшую и будущую, так же как Шатобриан, т. е. продал за несколько сот тысяч право на старые свои сочинения и на все новые, и именно на «Историю жирондистов», которая едва ли не распространится, и на историю всей революции. Отныне все, что он напишет, принадлежит не ему.

Прочел статью в «New Quartely Review» о *политическом, нравственном и литературном состоянии Франции;* она мне во многом очень понравилась; обсуживает многое и многих беспристрастно; между прочим, напоминается, что мы не знали; современность *первоклассных* мужей нашей эпохи: Шатобриан, Наполеон, Кювье, Вальтер Скотт, Веллингтон одногодки — все они родились в 1769 году. Выхваляя книгу Rancé «The freshness of its colouring and the vivacity of its emotions», рецензент прибавляет: «A poet of the school of sir Robert Southey has said: The courser with his nostrils of fire who flies over the sand of the desert, never grows old — he dies».

Корреспондент Review упомянул и о здешней выставке художественных произведений, заметив, что *подделка* (imitation) в мануфактурных произведениях показывает уменьшение если не роскоши, то богатства, в одних руках сжатого. Разделение достатка на мелкие или умеренные части

видимо в сей замене дорогих материалов дешевыми. «Поддельные бриллианты, поддельное золото, серебро и все драгоценные вещества. — Камень подражает мрамору; дерево заменяет камень; бумага заменяет дерево, — потом механика, заменяющая руки и т. д. — Как последнюю черту я приведу девиз, вырезанный на медали, которая раздавалась в награду первым фабрикантам на выставке. Медаль представляет Францию, венчающую Гения мануфактуры, с сими словами: *от тебя мне богатство, от меня тебе честь.* — Сказав противное: от тебя мне честь, от меня тебе богатство, они выразили бы мысль более благородную и более просвещенную; но зато избранная ими надпись справедливее».

В последнем нумере «Revue des Deux Mondes» прекрасная статья об английских essayst-ах, и именно о канонике Сиднее Смите, коего я знавал и любил в Лондоне и встречал во многих замках Шотландии и Англии. Он был одним из первых и главных учредителей «Edinburgh Review»; кроме Горнера (коего брата знаю), я знавал их всех: Jeffrey, Муррая, Гамильтона, Брума и проч. Желал бы прочесть сочинения С. Смита: он почитался остроумнейшим писателем и даже проповедником-юмористом. — Чаще всего я встречал его у Галама (историка средних веков и английской конституции), у Макинтоша (историка Англии), у Брума и Ландсдоуна и, помнится, в Шотландии у Джеффрея и Муррая, соиздателей «Edinburgh Review», ныне шотландских лордов-судей. Какое блистательное поприще совершили все сии журналисты! И не подлыми средствами. Жаль одного: они поссорились с Вальтером Скоттом, который после размолвки с ними до самой кончины не брал в руки «Эдинбургское Review», хотя сначала сам ободрял и набирал издателей: первое я слышал или от биографа и зятя его Локарда, или от одной из дочерей В. Скотта.

Я читаю теперь новую книгу: Schlözer. «Ein Beitrag zur Litteraturgeschichte des 18-ten Jahrhunderts», von Adolf Bock. 1844. — Кроме введения, которое темнотою и каким-то неясным взглядом на науки и на людей вообще того времени мне не совсем понравилось, в книге сей превосходно оценены заслуги Шлецера как историка, как педагога, как журналиста и публициста, как писателя о политике, о государственном праве и вообще, как коренного и почти первейшего пробудителя здравых политических идей в Германии; но до французской революции, и, следовательно, не ею и не ее проповедниками увлеченного, хотя, впрочем, Шлецер много заимствовал из либеральных авторов французского 18-го века, коих знавал лично: Вольтера, Goguet («Histoire des lois»), Дегинья и проч. Я узнал из сей книги много подробностей и важных анекдотов из жизни Шлецера, мне неизвестных, хотя я многое знал и знаю о нем другим, и даже немцам неизвестное.

В этой умной и почти пылкой характеристике Шлецера Боком — выставлен он во всех главных действиях своих, как ученый и политик. Она напомнила мне небольшую аутобиографию Шлецера, в коей так много важного и для русской истории, при конце Елисаветы и в первые годы

Екатерины II, особливо по части литературно-исторической. У нас малоизвестна эта аутобиография старика Шлецера. Биография отца, сыном его московским профессором Христианом Шлецером написанная, не заменяет краткой отцовской, хотя и в двух томах. Христиан был плохой ценитель отца: он имел много материалов после него, из коих некоторые и мною ему доставлены; но он не умел вполне ими воспользоваться и был как бы вынужденным энтузиастом (enthousiaste obligé) отца; между ними не было большой симпатии, хотя они и одними науками занимались. Отец любил более дочь свою (Доротею Роде), которая до совершеннолетия своего уже тешила его отцовское самолюбие; в 50-летний юбилей Геттингентского университета возведена в докторское достоинство и помогала ему сочинять книги! Да какие же! О рудниках русских и их произведениях, с математическими вычислениями! За то и он оставил, вдохновенный родительскою к ней нежностию, — едва ли не лучшие по себе памятники в книжках, для нее сочиненных. Weltgeschichte für Kinder, Vorbereitung dazu — и т. д. И теперь я прочитал в книге Бока очень умный и беспристрастный разбор этим книжкам. — *Теория статистики* его превосходная, если не лучшая и для нашего времени (по ней венгерец Швартнер, ученик Шлецера, составил лучшую в его время, а может быть, и теперь статистику Венгрии, и примечательно то, что земля, тогда полудикая в Европе, имела лучшую статистику). — Потом любопытна весьма поздно вышедшая политика, или Staatslehre, Шлецера, где все начала, коими ныне европейские умы движутся, уже обозначены и объяснены были: и в этом после Мозера Шлецер был первый, и в этом, конечно, он не без недостатков; но он — Лютер в политике тогдашней: и папа и Мария Терезия страшились его приговоров: вы найдете тому доказательства в его книжке. Мария Терезия в совете своем не смела решить дела против политической своей совести, сказав министрам своим: а что скажет Шлецер в своем «Staatsanzeiger»?

Вот последние перед смертию стихи, при жизни не разгаданного, преждевременно для друзей, для себя же и для провидения благовременно умершего Новалиса:

Re...
Was paßt, das muß sich ründen,
Was sich versteht, sich finden,
Was gut ist, sich verbinden,
Was liebt, zusammen sein;
Was hindert, muß entweichen,
Was krumm ist, muß sich gleichen,
Was fern ist, sich erreichen,
Was keimt, das muß gedeihn.
Gieb treulich mir die Hände,
Sei Bruder mir, und wende
Den Blick, vor deinem Ende,
Nicht wieder weg von mir:
Ein Tempel, wo wir dienen,

Ein Ort, wohin wir ziehen,
Ein Glück für das wir glühen,
Ein Himmel mir und dir!

2

Вчера проводил я вечер у графа Гих с датским поэтом Эленшлегером, который, объехав самые светлые пункты всей Германии, возобновил знакомство с корифеями ее словесности — ученой и поэтической, — нашел и здесь почитателей своего таланта и заслуг датских новейших ученых по части северной истории и исландских саг. Я полагал, что Эленшлегер, как современник и приятель Багзена, коего я видал в 1827 году, незадолго пред его кончиною,[3] — старик; но нашел в нем человека в силах почти цветущих, на вид 45 лет не более, между тем как Багзен, современник всех знаменитостей европейских своего времени, был спутником Карамзина, кажется, во Франции — в прошедшем столетии. Эленшлегер говорит изрядно по-французски; но так как хозяева немцы, а гости, С. и я, по-немецки говорить могут, то словоохотливый Эленшлегер был в полном ходу. Он не только поэт, но и историк: отдавая справедливость Дальману, ныне столь превозносимому в Германии за его геттингенский подвиг и за историю английской революции, он не хвалит Дальмана за историю Дании, недавно им изданную. Эленшлегер полагает, что история отечества должна быть писана сыном его, исключая эпох, всемирную значительность имеющих, как например революция Англии, Франции, отторжение Америки от матери-отчизны и проч. А Дальман холодно и часто несправедливо судит датчан и их всемирные набеги, до Колумба открывшие Америку. Он не довольно уважает саги, недавно новым светом критики озаренные, как в историческом их достоинстве, так и в поэтическом. Дания, при всей скудости финансов своих, печатает и выводит на свет множество хартий, в холодных тайниках ее хранившихся. Я напомнил Эленшлегеру, что и в этом скандинавском руднике Шлецер едва ли не первый указал на обильную руду, ныне с таким успехом обработываемую: он издал, прежде *Нестора*, книжку «Об Исландских сагах» и в Северной истории своей (31-й том английского издания всемирной) Шлецер объяснил Шенинга и Зума и снял снимки с руд исландских. Зоркий взгляд его угадывал богатую руду по тонким слоям оной.

1844, декабря 16/4. Париж.

Сожалею, что не имею случая доставлять вам некоторые из новейших явлений в словесности: например, издание в новом виде и с большими пополнениями *мыслей Паскаля*. По сию пору мы знали их только в искаженных изданиях Port-Royal, Bossuet, Condorcet и проч. Но *оригинал* лежал, спокойно и невредимо, в здешней библиотеке, весь писанный рукою

бессмертного мыслителя-христианина, хотя и скептика, непримиримого врага иезуитов. Все издатели, начиная с приятелей и единомышленников его, отшельников Пор-Рояля, до наших времен, позволяли себе переменять не только слова и сильные его выражения, но изменять и самый смысл, переделывать фразы, перестанавливать целые страницы, перенося их из одной главы в другую; но всего более выкидывали из Паскаля сильные места, и причина сему находилась в тогдашних обстоятельствах, в духовно-политической распре между Пор-Роялем и иезуитами. Когда возникшие гонения на Пор-Рояль от иезуитов и *за них*, от придворных, по случаю первой книги Паскаля «Les Provinciales» несколько утихли, почитатели Паскаля не хотели раздражать более противников своих, опасаясь новой мести иезуитов (которая, впрочем, скоро постигла Port-Royal и сровняла его с землею) — и всякую фразу, всякое выражение, казавшиеся им не совершенно безвредными, вымарывали, переменяли, заменяли другими словами и даже размышлениями, не всегда с духом Паскаля согласными.

И прежде Кузеня знали, что оригинал Паскалевых мыслей хранится в библиотеке, но он первый занялся сравнением изданий, доселе всеми принятых, и сличением оных с оригинальными мыслями Паскаля. Другой издатель, Faugère, принялся за то же дело; но Кузень представил академии *варианты* и издал их в одном томе, показав, кто, когда сделал перемены в Паскале, и присовокупил *целиком* лучшие рассуждения Паскаля с выкинутыми прежними издателями местами. Недавно сия книга вышла, и вчера объявляет Кузень уже о новом издании оной, с новыми пополнениями из оригинала; вместе с ним другой издатель Faugère напечатал полное издание мыслей Паскаля в двух частях, также по тексту оригинала. Кузень, сверх того, напечатал, а соперник его уже также печатает письма сестры Паскаля, Маргериты, превосходные по чувству и по сильному ее характеру, коего она была жертвою, и вместе с тем жертвою и своего жансенистского энтузиаста. Сии-то четыре книги, и именно: «Les pensées de Pascal», par Cousin: 2-е издание, 1 vol. — «Les pensées de Pascal», par Faugère, 2 vol. — «Les lettres de Marguerite, soeur de Pascal», par Cousin, и те же письма, издания еще не вышедшего par Faugère, желал бы я переслать вам. Еще вышла любопытная книга в другом роде: экс-министр, осужденный и помилованный, кн. Полиньяк издал «Etudes historiques, politiques et morales sur l'état de la société Européenne vers le milieu du 19-me siècle».1845, в одном томе. Много любопытного. Он кратко рассказывает происшествия, приготовившие революцию с Лудвига XIV, но, переходя к нашим временам, объясняет историю Франции и Европы и оправдывает себя и своих единомышленников. Многим достается — часто и поделом! например, Шатобриану. Много дельного; но при всем том едва веришь глазам своим, что человек сего разбора и с такими предрассудками, хотя, впрочем, весьма благородный и доброжелательный, мог еще за 13 лет управлять Франциею!

Знаменитый иезуит Равиньян поступил в орден иезуитский из адвокатов, 10 лет коптел над богословскими книгами и теперь увлекает красноречием и софизмами православных и неверующих — и в великую неделю поста проповедует по три раза в день! — точно до совершенного изнеможения! В день последней проповеди получил он известие, что мать с одра смерти призывает его — принять и дать ему последнее благословение; он мучился недолго нерешимостию, ехать ли тотчас к матери или исполнить другой священный долг наставника-проповедника: он остался, превосходно проповедовал, почти в лихорадке, и поспел к последним минутам матери.

3

Февраля 1-го. Теперь отчет в том, что у меня перед глазами или в ушах звенит. Я вижу немногих, читаю много. Начал снова посещать Ламартина и недавно беседовал с ним о книге Michelet «Du Prêtre». Ламартин ее дочитывал, и, не будучи православным христианином, многое он читал с удовольствием; например, об отношениях François de Sales к m-me de Chaptal, столь соблазнительных для умов, не совсем чуждых нечистым впечатлениям. — Я уверен, что Michelet найдет сильную оппозицию в беспристрастных протестантах, например в «Сеятеле», а в здешнем духовенстве — только врагов, а не отпор. — В ту минуту как я дописывал сии строки, принесли мне «Revue des Deux Mondes», сегодня вышедшую, и новая статья в ней, опровержение книги Michelet, под заглавием «Renaissance du voltairianisme», par Emile Saisset. — Прочел ее и нашел многое, в чем я с рецензентом Мишелета согласен. Жалею, что он, опровергая Michelet так сильно и дельно, показывая беспрестанно неосновательность его мнений, недостаток в сведениях положительных по части богословия, столь часто превозносит и талант и ученость профессора и ставит его почти наравне с Гизо!

2 февраля. Вчера нашел я у Рекамье Баланша, Веррака, герцога Ноаля и Гумбольдта. Шатобриана уже не застал: он, выслушав чтение Ноалем истории m-me Scarron-Maintenon, в 4 часа удалился. Вы знаете, что герцог Ноаль напечатал уже для приятелей одну часть этой небольшой биографии, и именно ту, коей содержание l'institut de St. Cyr. Отрывок, прочтенный вчера у Рекамье, предшествует печатному и, по словам Рекамье, искусно и заманчиво изображает век и двор и тайно обрученную супругу Лудвига XIV. Я жалею, что не был при чтении отрывка, и спросил Баланша, известна ли сочинителю статья, в последнем номере «Сеятеля» (m-me de Maintenon, étudiée dans sa correspondance)? Кальвинист не может с той же точки зрения рассматривать эту *charmante malheureuse*, по выражению Сен-Симона, непримиримого врага ее, как легитимист 19-го века и потомок придворных короля — супруга-любовника. Не знаю также, имел ли перед собою герцог Ноаль те письма m-me Scarron, из коих приводит несколько прелестных образцов «Сеятель», но, по уверению Баланша, Ноаль

пользовался множеством неизвестных доселе документов; книга его, как слышу, более принадлежит к роду панегириков, но автор соединяет талант с энтузиазмом, и, следовательно, книга его лучше той, о коей упоминает «Сеятель», соч. m-me Suard: «M-me de Maintenon, peinte par elle-même.» — В биографии набожной кокетки проявляется не только лучезарный славою Лудвиг XIV, но и вся тогдашняя Франция, коей история во дворце и на войне, и в словце любезного и всемогущего Лудвига, не умевшего примирить двух соперниц (Помпадур и Ментенон): «Il lui était plus aisé de donner la paix à l'Europe que de la donner à deux femmes».

. . . .

Гумбольдт уже был в пылу разговора или *монолога* своего и, прекращая его, обнял меня с приветливым словом участия в моей болезни. Там, где Гумбольдт, там нет разговора, но одно всеобщее внимание, увлеченное потоком речи его, не порывистым, но полным, многообразным, всеобъемлющим, как предмет новой книги его «Космос» или «Weltbeschreibung», как он сам мне назвал ее. Первый том вышел уже в сию минуту, у его верного издателя: Котты, второй, а может быть, и третий выдут после, на немецком. Между тем те части его творения, кои не вмещают технических рассуждений, но в коих или картины природы, или общие размышления, наукою или созерцанием природы вдохновенные, Гумбольдт переводит или пересочиняет сам на французском; другие же, где технические изъяснения составляют главнейшее дело редактора, он предоставил здешним ученым сотрудникам, между коими и астроном Араго, друг его и бессменный секретарь академии, преемник бессмертного Кювье.

Рекамье мастерица давать цену словам других и вызывать их из тайников мыслящей силы, оживлять исповедь ума и души искренним участием, невыразимою улыбкою. Она желала знать подробнее содержание книги Гумбольдта и речь его полилась, как река, светлая и глубокая: он, конечно, щеголял своим полигисторством, говоря о творении своем, коего предмет вселенная; но не было в монологе его фразы непонятной или темной: методу, коей он в сей книге следовал, объяснил он примерами, показав в то же время, каким образом стремился он не размежевывать, как обыкновенно делают энциклопедисты, области наук, отделяя их одну от другой, но изобразить тайную связь оных и влияние одной отрасли человеческого ведения на другую; представить успехи каждой не порознь, но в общем успехе — progrès, в общей массе ведения, от познания природы и от применения к оному начал метафизических истекающего; например результаты открытий Кювье по геологии сближены с результатами открытий в царстве растений или в ихтиологии: так, что *целое* сего систематического состава — объяснить читателю историю природы и последнее явление в оной — пришествие в мир человека: созерцателя и властителя оной.

От книги своей Гумбольдт перешел к самому себе, и, по случаю враждебной ему статьи в «Quotidienne», о коей с негодованием упомянула

Рекамье, он рассказал нам ежедневную жизнь свою: он ее проводит в стенах института, работает не только все утро, но и ночью до двух часов по полуночи. «Это не мешает мне, — примолвил Гумбольдт, — жить и в свете и даже проводить несколько часов в скучных и блестящих салонах, обедать у моей старой приятельницы, вдовы де Г. и проч. и проч. — Мне 75 лет от роду, но силы мои еще крепки (наружно он очень постарел в сии последние $1^1/_2$ года); будучи 60 лет, объехал я часть России, слишком 5 тысяч миль, и не одну тысячу верхом!».[4]

За час перед тем встретил я одного отставного дипломата, который не любит Гумбольдта, и описывал мне его как хвастуна-либерала, гоняющагося за политическими комеражами и за придворными приглашениями: недавно якобы узнал он за обедом, что у принца Немурского — бал, а он не приглашен! вознегодовал и удивился... Тут случился придворный, который дал знать о сем принцу Немурскому: и приглашение получено еще за десертом! — Дело в том, препятствует ли сия *слабость к большому свету* неугомонного всемирного путешественника — препятствует ли она ему поверять Вернера * и Кювье, в преисподних земли, или воскриляться с Араго к светилам небесным, или ходатайствовать пред сильными мира сего, за седящих во тьме, или при дворе друга-венценосца трунить искренно и благодушно над ценсурою министра Эйхгорна, — и в его присутствии!

. . . .

Вильмень совершенно выздоровел! и не только рассудок, но и прежнее блестящее остроумие к нему возвратилось, и уже приводят два или три словца — истинно вильменские, отпечатки его, едва ли не единственного во Франции *дара слова* или *дара словца*, но вместе свидетельствующие и благородный его характер, и его редкое бескорыстие. — Узнав, не без досады, что правительство поспешило уволить его, Вильмень написал лаконическое письмо к королю, из коего приведу вам прелестную фразу, если припомню; в то же время он уведомил канцлера Пакье, как президента в камере депутатов, рассматривающей предложение Сульта о назначении ему пенсии, что он не примет оной и надеется прокормить себя и семейство собственными трудами, как прежде, а приятелям примолвил: «Je suis heureux de pouvoir refuser leur billet d'enterrement»; а о хвалебных статьях в журналах и об отзывах товарищей сказал: «Ils se sont trop pressés de faire mon oraison funèbre». Мы должны еще более уважать это бескорыстие, зная, что он употребляет 10 тысяч франков ежегодно на содержание сумасшедшей жены, что он воспитывает дочерей своих и должен теперь во всем себе отказывать. Он уже говорит о своей болезни, как здоровый, но

* Гумбольдт сказывал нам вчера, что первые учения его по горной части были в Фрейберге, где великий минералог Вернер был его наставником. К Вернеру стекались тогда минералоги и рудокопы со всех частей света: он не издавал книг, но лекции его, содержавшие все его теории, переписывались и переходили из рук в руки — в Европе, и в Азии, и за океаном!

для правительства потеря его таланта невозвратимая. Вильмень являлся уже в академии и мало-помалу возвращается к литературной деятельности. Он поспешит, вероятно, издать давно почти конченную биографию папы Григория VII. В настоящее возрождение средних веков и их явлений, в церкви и в обществе, эта книга, экс-министром просвещения написанная, будет иметь животрепещущий интерес. — Я надеюсь встречать его часто у слепца Тьери, коего навещал он три раза в неделю и во время своего министерства.

. . . .

Вечер провел у Ламартина, он снова *субботничает;* но на его *рауты* являются более индиференты камер, литераторы, артисты, поэты и прочие, чем *люд нужный, должностный*, как прежде. Ламартин не принадлежит никакой партии и может усадить своих единомышленников, как некогда старик R. Collard, доктринеров своих на канапе. — Положение Ламартина в толпе партий — единственное. Я разговариваю с ним только урывками; редко удается насладиться продолжительною его беседою: он должен встречать гостей, а новые лица и представлять жене; она подарила мне блестящую статью его, перепечатанную из Маконского журнала «Du droit au travail et de l'organisation du travail». Выпишу только несколько строк, кои заключают все его pia desideria или по крайней мере сущность оных, и камеры перов, и Сальванди, как президента комиссии совет филантропа, утопистам всех наименований. «Перестанем искать ненаходимого; перестанем шуметь звонкими мыслями над ушами толпы! — Эти мысли так звонки только потому, что пусты, что внутри их нет ничего, кроме ветра и бури. Они лопнут в руке каждого, кто хотел бы втеснить их в жизнь. Не давайте работникам тщетных надежд на насильственное устройство работы, — надежд, которые их обманывают и еще несноснее представляют им тяжелую существенность, сближая ее с теми химерами, которые вы искрите перед их глазами. — Не притворяйтесь, будто у вас есть тайна, когда у вас только неразрешенная задача; не возбуждайте жажды, когда у вас нет воды; не возбуждайте чувства голода, когда не имеете чем накормить».

. . . .

Между французами и англичанами теперь загорается враждебное чувство за миссионера Причара. Англичане видят в нем проповедника слова божия, французы — англичанина! Баланш заметил мне вчера, что здесь даже в камерах не постигают, что англичане или религиозные сектаторы в Англии, методисты, квакеры и проч., думают не о выгодах гражданских, а только о распространении царства божия между людьми, за океаном; что для них христианство — цель, а не предлог, или не повод к господству, как для иезуитов. Этот недостаток религиозной симпатии, религиозного чувства — в самых набожных французах, по мнению Баланша, объясняет, после духа партий, все воспаление камеры против Гизо и Причара. — Протестант Гизо понимает иначе дух и цель английских миссий, но он

уступил духу народному и наказан теперь за свое потворство. С каким негодованием говорил мне в Франкфурте Неандер о сей жертве, добровольно принесенной дипломатом слабости народной! Оратор библейских обществ, Гизо, исторгает евангелие, из рук едва осененных светом его, и посылает им в замену трупы иезуитизма!.. quasi cadavre!

. . . .

Жирный вторник опять вывел на сцену свою жертву: сейчас провели мимо нас *жирного быка*, с обыкновенной процессией; народ валил за ним, но, кажется, масса ежегодно уменьшается, но только масса народа, а не быка: он жирнее прежних. Бык сей носит имя — Père Goriot, одного из героев Бальзаковых.

. . . .

Сейчас прочел во вчерашнем «Siècle» письмо Michelet, слишком краткое, в ответ на критику его книги в «Revue des Deux Mondes», par Saisset. — Исчислив некоторые из обвинений его в антихристианстве, Michelet не оправдывается положительно, но с своей стороны обвиняет *ученика своего* в неблагодарности и в том, что он завел против наставника своего «un procès de tendance!».

. . . .

4 часа пополудни. По улицам, примыкающим к нашей, тянутся в двух веревках экипажи с масками, и я едва пробрался в Palais Royal, чтобы взглянуть на новые произведения книжной промышленности: просмотрел две книги, любопытные для русских и важные для истории. 1) Mémoires posthumes du C-te de Stedingk, в двух частях, — биография генерала и дипломата шведского обогащена оригинальными депешами ко двору его и перепискою с министрами и с послами его времени. Штединг, коего я встречал в петербургском блестящем обществе, принадлежит к двум эпохам нашей новейшей истории — Екатерина II принимала его в круг свой, и он нравился ей как легитимист и бурбонист и как враг тогдашней французской революции. При Александре I Штединг был одним из значительнейших лиц при с.-петербургском дворе — до завоевания Финляндии. Какая благородная, рыцарская осанка! — В биографии его помещены не только его депеши и сношения с нашим министерством, но и депеши наших министров того времени. — Другая книга в том же роде, не столь богатая документами, Sarrans (jeune) «Жизнь Бернадотта», в двух частях; я не успел просмотреть ее.

. . . .

Сегодня в «Siècle» уже ответ на письмо Michelet от ученика, но не одобряемый журналистом за последние строки письма. Заметим, что он не забыл в нем своего наставника (и в самом деле, он задушил его под похвалами). — В «Revue de Paris» также защищают статью Saisset, mais il est temps de cesser d'en parler!

4

Генваря 8-го/декабря 27-го. Вчера я едва успел собраться в 5-м часу к Рекамье и нашел там жаркое прение между архи- или ультрагалликанцем Дюпенем (procuror junior) и историком Mignet, который, занимаясь в досужное от архива и от академического секретарства время историей реформации, напитался духом ее, ознакомился с высокими мыслителями и корифеями протестантизма, и сам, хотя неприметно для самого себя, склоняется к началам лютеранизма, может быть, возбуждаемый к сему и отвратительною, страстною и пристрастною борьбою между иезуитами и университетом, коего представители в числе друзей и единомышленников Mignet. — Dupin и Mignet точно ораторствовали и, к удовольствию нашему, выходили из границ салонного разговора (causerie); Dupin, казалось, говорил с трибуны депутатской, убеждал, обращался часто ко мне, полагая меня лицом беспристрастным в сем прении; Mignet, указывая на первое начало отчуждения Франции при Филиппе в XIV столетии от римского полного ига, проповедовал как бы на кафедре исторической, но с жаром оратора, для коего ободрительная улыбка хозяйки и киванье головою Шатобриана заменяли рукоплескания публики, и воспламенился до того, что уже не слушал возражений Дюпеня. Оба соглашались в том, что иезуиты, возродив во французском духовенстве сии богословские распри, под коими кроется страсть неограниченного владычества, овладев сперва нисшим и должностным духовенством, салонами и некоторыми домами, кои в них господствуют, мало-помалу подкрались к епископам, из коих большая часть принадлежат к разряду — гренадского, и, склонив их на свою сторону, поставили епископство в оппозицию против гражданских предержащих властей и против большинства народного или общего мнения, еще животрепещущего негодованием при одном имени — иезуитов и конгрегаций.

Шатобриан во все время молчал, но слушал внимательно и остался в салоне долее, нежели обыкновенно. Баланш, принадлежа более к умеренному галликанскому католицизму, христианскою философиею проникнутому, и негодуя также против духовенства и епископов, сошедших на журнальный или кулачный бой, оживлял состязателей словцом всегда примечательным. — Полного отчета в окончании этого разговора не могу отдать: герцог Ноаль, легитимист довольно умеренный, редко вмешивался в разговор, но иногда Дюпень вынуждал его к мимолетному замечанию, когда сильное и отчасти грубое (rude) обозначение классов народа и их влияния на участь государства задевало пера и дюка Франции. Дюпень как-то щеголяет здравым смыслом и выражает его с каким-то педантизмом в ясности: адвокат виден и в речах и в формах его; но часто позволяет он себе, в салоне, и ораторские выходки или монологи: тогда он встает и жестикулирует.

Mignet сказал нам об успехе труда своего в «Истории реформации». Труд подвигается, но долго еще публика о нем не узнает. Между тем

талант его, а может быть, и *мнения* зреют, и материалы накопляются. Архивариус и приятель всех министров иностранных дел сбирает дань со всех кабинетов, и не довольно еще: много получил бумаг из Испании, откуда высылались костры с огнем и герцоги Альбы для реформаторов. — Третьего дня статья в «Constitutionnel» приписывает (как слышу, ибо не читаю «Constit.») сумасшествие Вильменя — иезуитам, on prête aux riches. Мы оставили салон Рекамье вместе с хозяйкой. Она отправилась обедать к страдальцу Брифо, коего почти ежедневно навещает. Не желая лишить ни Шатобриана, ни нас минут, кои дает она гостям своим, она уже была в наряде для выезда: все ей к лицу; бледность и худощавость лица были заметнее. . . но улыбка все та же! . .

Ввечеру был я на первом протестантском рауте у Лютерота, издателя «Сеятеля», близ русского посольства, place Vendôme живущего. Более 100 дам, и едва ли не вдвое более мужчин; но раут сей имеет какой-то особенный характер: протестантский элемент в нем преобладает; почти все пасторы, миссионеры и министры держав протестантских. В числе замечательных женских лиц была молодая m-me Gasparin, супруга депутата-оратора и защитника в камере протестантизма во Франции и автор книги, о коей уже писал я вам «Sur le mariage»; Grandpierre, Valette, Verny — все проповедники протестантизма; хозяйка пела; я возобновил знакомство со многими, кого более уже двух лет не встречал, по болезни моей. В библиотеке хозяина-журналиста перебирал все новые литературные явления и книги, присланные из Англии для «Сеятеля»; замечу одну, которую желал бы и для себя и для вас выписать: «The Bible before the age» поэта-богослова Монгомери, 2-е издание; первое разошлось в несколько месяцев, in 8, печать и бумага английские! Я давно слышал о достоинстве этой книги и надеюсь, что скоро немцы переведут и пополнят ее. Кстати о библейской литературе: я купил недавно в протестантской лавке маленькую классическую книжку, коей также разошлось уже несколько изданий вдруг в Англии — и здесь нашел я только 1 экз. (Companion to the Bible, intended for Bible classes, families and young persons in general. With maps of ancient world, Canaan, and the travels of the Apostle Paul). Всего три карты. Сказывают, что m-rs Fry, но не квакерша, недавно умершая, — автор этой книги. Это точно сокровище для прилежных читателей Библии: все указания, наставления, объяснения найдете вы в ней. Ее бы должно было перевести немедленно на русский. Она может заменить своды (concordance) и других указателей. Я нашел у Лютерота и молодого немецкого теолога, который года за два привез мне письмо и книги от Неандера. Он сочиняет «Историю Сорбонны», для коей нашел множество рукописных материалов в здешней, еще не исследованной в тайниках ее, Королевской библиотеке. Французы не имеют такого терпения в изысканиях источников, как немцы. — Рейхель написал лучшую и самую полную историю Пор-Рояля, коею и приятель его Сент-Бев пользовался, но остановился на первом *толстом* томе, переменив, как слышу, образ мнения своего о сем

строгом и высоком гнезде янсенизма или французского протестантизма. Мой новый знакомец укажет здешним теологам на первое начало Сорбонны, прежде нежели она была богословским факультетом Парижского университета, и доведет ее историю от преобразования оной, при Ришелье, в факультет богословия, до наших бесплодных времен, т. е. от славы — до ничтожества. Многих почитают сорбоннцами, кои процветали, когда Сорбонна не была еще Сорбонною в последующем значении этого имени: например Герсон, мнимый или истинный автор подражания И. Христу. В кабинете Лютерота любовался я прекрасным портретом сотрудника его, по «Сеятелю», Vinet: посылаю в двух номерах лекции его, в Лозанне, sur les provinciales de Pascal: превосходно характеризует талант и заслуги Паскаля как писателя и богослова-философа. В *комическом* элементе он ставит его выше Мольера! — Благодаря иезуитам Паскаля слава снова ожила, и все заговорили о нем, но не все поют на один лад: Cousin, Faugère, Vinet, — академия и журналисты. Ультрамонтаны пышут злобою.

9 января меня навестил молодой русский писатель, Б<ецкий>. Я узнал, что он издатель харьковского журнала «Мелодика и антология из Жана Поля Рихтера», которую сегодня он принес мне. Он рассказал мне о своем путешествии в Германию и в Бельгию; он путешественник и писатель и обещал мне отрывки из журнала своего для «Москвитянина»: например посещение его Жуковского, где видел и Гоголя (уже после меня); их беседа с вдовою Жана Поля Рихтера в Барейте, от коей узнал много любопытных подробностей о германском юмористе, или отрывок из путешествия по Бельгии, где осматривал знаменитую тюрьму, со всеми отраслями промышленности. — Если он принесет мне отрывок о Жане Поле, то я постараюсь отыскать в журнале 1825 или 1827 года (не помню) мое посещение самого Жана Поля в Барейте, где он доживал и допивал век свой.[5] Он показывал мне тогда шкаф с ящичками, в кои бросал разного рода мысли, блестящие или оригинальные выражения, предоставляя себе вынимать их — и вставлять туда, где они понадобятся. Жан Поль с милою откровенностию описывал мне свой образ жизни и свою оригинальную методу сочинения. Я уверен, что не он один прибегал к подобным приемам и держал запас мыслей и вдохновений, но не многие, подобно Жану Полю, признавались в употреблении сей методы. Я бы желал, чтобы г. Б<ецкий> доставил мне для «Москвитянина» посещение его и описание салона и образа жизни Жуковского: это по всему принадлежит «Москвитянину», ибо и гений Жуковского — истый москвитянин и Москва была его колыбелью. При первом свидании я напомню об этом г. Б<ецкому>. При сем случае он может известить читателей ваших и о Гоголе, который гнездится над переводчиком «Одиссеи» и читает перевод ее вслух переводчику; думает, что Гоголь *ничего не пишет*: так ему показалось, но Жуковский извещал меня, что он все утро над чем-то работает, не показывая ему труда своего. Гоголь писал сюда к гр. В<иельгорской>, что в Париж не приедет. Может быть, и раздумает еще и не отложит приезда сюда на

время, когда получит приглашение новое, от гр. Т<олстого>, недавно ему посланное.[6]

Из записки NN[7] вижу, что он желал бы знать, что творят здесь так называемые социалисты и коммунисты и какое действие производят в разных слоях здешнего общества, возбуждаемые ими силы или элементы? — Действие сие выражается более в книгах и в журналах, кои сосредоточивают их отголоски, нежели в самом обществе: да и как в него проникнуть? — вообще я весьма мало важности или существенного влияния на настоящее общество приписываю сим социальным или коммунистским проявлениям, не отказывая впрочем социализму в будущем влиянии на европейский общественный быт; но кто это угадать или хотя отчасти определить может? — Социализм будет изменять общества и изменяться сам, смотря не по состоянию тех сословий, из коих он возникать будет, а по государствам, в коих сии сословия находятся: иначе в Германии, иначе в Англии, иначе здесь. Меры или приемы правительств с проявлениями социализма тоже много могут изменить самые направления оного. — Но сии развития разных общественных элементов еще нам совершенно чужды! Мы должны обращать внимание соотечественников на такие события или явления в нравственном или в политическом мире, из коих могут и для нас возродиться — польза или пагуба: остерегать от предстоящей опасности или советовать следовать данному примеру, совершившемуся опыту. Где у нас — почва для социализма? Из каких элементов составиться сим направлениям сил или болезней общественных? — Но как наблюдатель всего, что копышется во всех слоях умственной и гражданской деятельности, укажу вам только на главные, не скажу лучшие, явления коммунистской литературы и на лучшую книгу, которая вышла о сем в Германии, хотя о сем явлении христианского мира умствует и Stein «Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs. Ein Beitrag, zur Zeitgeschichte», von L. Stein, Doktor der Rechte, Leipzig, 1842.[8]

В книге Штейна вы найдете все; он пользовался советами и намеками фурьеристов Considérant, Louis Reybaud, Louis Blanc и Cabet.

История сен-симонизма, фурьеризма, коммунизма и прочего разделена на эпохи до самого 1842 года. Описаны расколы между раскольниками; вы найдете характеристику, и часто превосходно выраженную Lamenais, Leroux, Proudhon, Louis Blanc и до последних — travailleurs-égalitaires. — Fourier и его фаланга подробно описаны: все объяснено, подкреплено документами, из коих некоторые были не всем известны. — Любопытно, но более для французов, видеть значительность или участие сих последователей разных доктрин политических и социальных в политических смутах последнего столетия: все сие было раскрыто, выведено на свет божий или в захваченных бумагах, во время политических процессов или самыми участниками в обществах социальных и проч.

10 генваря. . . . Вчера вышли две части примечательной книги «Histoire des Cabinets de l'Europe, pendant le consulat et l'Empire. 1800—1815. Ecrite

avec les documens réunis aux archives des affaires étrangères, par Armand Leberre, ancien attaché au ministère des affaires étrangères. I-ère Livr. depuis le 18 brumaire jusqu'à la fin de la campagne de Prusse (1860)». Автор — сам дипломат и сын опытного дипломата и собирателя любопытных актов, коими сын воспользовался. Я пробежал 1-й том: автор не может назваться продолжателем ни Флассана (Hist<oire> de la diplomatie Francaise), ни Биньона. Он пользовался ими, но черпал и сам из рудников и тайников государственных и частных: отец многое собрал в течении своего дипломатического поприща.

Отец автора, после 15-летних сношений с большею частию министров и дипломатов его времени, должен был по поручению герцога Ришелье, во время реставрации, заняться сочинением истории французской дипломации с 1789 до 1815 год, но только исключительно для употребления в Министерстве иностранных дел: тогда еще не постигали, что и дипломатическая тайна, отслужив свое урочное время, обращалась в историю. Тогда, конечно, не мог бы я, или Ранке, или Раумер получить позволение черпать из самых источников, работая в архиве иностранных дел, над оригинальными документами! Но и это tempi passati! по крайней мере для меня.

Автор, допущенный в архив иностранных дел, посвятил труд свой чудесной борьбе, начавшейся в равнинах Маренго и кончившейся в пустынях св. Елены! «Cette lutte a paru réunir toutes les conditions du drame à la fois le plus touchant et le plus terrible». Автор ограничил себя одними дипломатическими фактами, «n'admettant dans son cadre que ces grands faits intérieurs qui se lient par des rapports intimes à l'histoire, et qui souvent l'expliquent en la complétant». — Оттого первая глава сей книги или введения вся посвящена внутренней истории Франции после быстрого обозрения отношений ее к другим европейским государствам. — Одним из происшествий, содействовавших спасению Франции после угрожавшей ей опасности от пруссаков в Шампаньи — почитает автор и отпадение Павла I от *второй коалиции*, составившейся для восстановления в Европе законных престолов: он отдает русскому монарху справедливость — редкое явление во французских писателях! «Paul ne saurait jamais ni se brouiller ni se dévouer à demi». Заметив измену в союзниках, император Павел I отстал от них, вызвал свои войска: «Итак Франция была спасена от великой, близкой опасности». Тут начинается деятельность Бонапарте в Париже, — 18 brumaire и проч. — Первый консул. Посольство Дюрока в Берлин, адъютанта и друга Бонапарте. Король прусский сказал двору своему: «Je vous présente l'aide de camp du plus grand homme que je connaisse». Эти слова могли решить систему политики Гаугви, «qui avait pour maxime invariable de se ranger toujours du parti le plus fort».

Duroc был принят и в С.-Петербурге с таким же доброхотством, как и в Берлине: «Александр осыпал его теми деликатными вниманиями, которые выходят из привычек обыкновенного этикета». Здесь узнаем мы о конвенции, заключенной 11 октября между императором и первым кон-

сулом, которая, казалось, подчиняла уже тогда участь Европы двум державам — России и Франции.

...Были и в годину преобладания Наполеона светлые пункты в нашей истории! — Мы должны отыскивать нашу славу везде: и в «Русском вестнике» Глинки, и в депешах Талейрана: в словце Наполеона, который судил Александра по началам Макиавеля, и в стане русских воинов![9]

И какое заключение сделал бы я из всех сих намеков: тоже, какое император Александр в письме своем к Карамзину: «Русский народ достоин знать свою историю».

11 генваря, 7 часов вечера. Зашел к Рекамье, где нашел шесть дам, из коих две сочинительницы: Sophie Gay, мать Дельфины, и Louise Collet. — Я спрашивал Louise Collet, какое, по ее мнению, примечательнейшее явление в самой новейшей словесности? — Она назвала книгу о проповеднике Fléchier, недавно изданную, с найденными его оригинальными записками. Она не хотела назвать «Паскаля» Кузеня, своего приятеля и протектора. Sophie Gay разговорилась о своей дочери, коей талант ею возлелеян, и д'Эстурмен прочел на память несколько прелестных стихов Дельфины. — Добрались и до других писательниц, например герцогини Дюра, и m-me Récamier примолвила, что она не только написала, но и создала Урику; изобразила портрет милой писательницы, страсть ее к одной из дочерей своих (Laroche-Aquelin), которую можно сравнить только с страстию Сталь — к отцу, Неккеру.

...Последний вечер старого года, я провел у гр. Гих, где слышал первые два акта немецкой трагедии Эленшлегера: он читал ее очень внятно и con amore. Предмет оной взят из датской истории, в половине 17-го столетия, из жизни казненного за предательство министра... (забыл имя его). Первые два акта меня так заинтересовали и характерами и драматическими сценами, что я неохотно оставил салон гр. Гих, чтобы ехать с М‹ещерским› на русский раут к гр. Раз‹умовскому› встречать запоздалый православный год. Мы нашли уже гостиную, полную дам... Туалеты блестящие! Англичанки и француженки не уступали русским в щегольстве и роскоши; в столовой гремела полковая музыка; ровно в полночь полилось шампанское и раздался львовский God save the king. Я давно уже не был в таком блестящем рауте; нашел много знакомых. Русских было не так много, как ожидали; знаменитостей еще менее.

14 февраля. Статьи о «Паскале» Кузеня и Фожера, par Mr. Foisset в «Корреспонденте», более за Фожера, нежели в пользу Кузеня. Паскаль воскрес и с новою жизнию. — В этой же книжке и о ереси Товианского. — Теперь не время объяснять вам эту ересь (если не хуже). ...Вчера кто-то заметил, кажется справедливо, что большая часть парижских профессоров университета или несут сумбур, или нападают на церковь, или из-за церкви на правительство и на все гражданское общество, или *накануне* учатся тому, чему сами учат. К первому разделу можно отнести Michelet, который иногда завирается и не в истории; ко второму опять Michelet и

сподвижника его Quinet; к третьему Ленормана, коего ультрамонтанизм везде проявляется: на лекциях, в книгах, в журналах: он принадлежит к университету, а вступается за иезуитов! К четвертому разряду, т. е. к разряду невежества или неведения предмета преподаваемой науки, принадлежит редактор политических и литературных статей в «Дебатах», кои открыли ему вход на кафедру, в академию, в совет, в камеру: Michel Chevalier, экс-сен-симонист, профессор политической экономии, уже на 2-й лекции первого своего курса не знавший, о чем говорить: после определения предмета своего курса, неполного, одностороннего и никак не обнимавшего всей области науки, он запнулся и приостановил на $^{1}/_{4}$ часа получасовую свою лекцию; первую читал он по бумажке: мы не могли приписать этого застенчивости. — Впрочем, это не мешает ему писать дельные статьи о предметах, в круг политической экономии входящих; например о железных дорогах и т. п., но он не профессор. То же можно сказать и о Филарете Шале как о профессоре северной словесности: германской, английской и проч. И он пишет изрядные статейки, и его станет на две или на три лекции, на два или на три разбора какого-нибудь английского классика; и его станет на беглое обозрение книги или автора; но и он не Бутервек. — Я и его слыхал.

18/6 февраля. Когда я писал к вам о Michel Chevalier, печаталась в «Дебатах» умная статья его в ответ Louis Blanc, коего письмо в свое оправдание вчера же напечатано в «Дебатах». Chevalier не пощадил его, и добродушный утопист справедливо наказан за неимоверную неосновательность теорий своих. Louis Blanc, как строитель политических теорий, дитя перед самим собою, перед историком, хотя и в истории его проглядывают, и весьма часто, те же начала; но здесь стремление повести, фактами обильной, увлекает внимание читателя; уроки не только в началах политической экономии, но даже и в государственной нравственности, кои M. Chevalier дает автору «De l'organisation du travail», конечно, строги, но учтивы и не выходят из пределов справедливой критики: он не забывает других заслуг Louis Blanc, иных прав его на уважение литераторов и публики «est-ce un esprit comme le sien, qui a besoin qu'on lui dise: que les plus admirables passions du coeur humain, ne sont pas des intérêts?». — Далее: «nous ne sommes plus au temps, grâce à Dieu, où l'on pouvait se croire un ami du peuple, parce qu'on était un niveleur. La doctrine du nivellement, de quelque métaphore qu'elle se pare, ne doit plus faire illusion à personne. La société n'a qu'un service à en attendre, et celui qui se flatterait d'arriver par elle à une flatteuse popularité, se préparerait les plus amères déceptions».

Конечно, Chevalier прав во многом, но он не на все в книге L. Blanc отвечает. Странно только то, что профессор-депутат противоречит экс-сен-симонисту, ибо прежде Chevalier следовал совсем иной теории, и тогда он не был в таком разногласии с нынешним своим антагонистом. Я не осуждаю его за сие отступничество: он сам себя изъясняет в опровержении L. Blanc. Взгляд на прошедшее свое должен был смягчить строгость его,

особливо к человеку, который душою выше его и поступки свои всегда соображал с своими правилами: когда еще L. Blanc был кормильцем престарелого отца, издатель «Века» («Siècle») предлагал ему главную редакцию журнала с окладом 30 тысяч франков в год. L. Blanc спросил его, должен ли он будет в духе и в направлении журнала сообразоваться с своими началами или с теми, кои господствовали тогда в «Веке». Владелец журнала настоял на своих политических мнениях, впрочем, несущественно различных с *доктринами* L. Blanc, и условие не состоялось. А Michel Chevalier? Некогда ревностный проповедник сен-симонизма — ныне по местам и по участию в журнале получает до 30 тысяч франков в год, уже сосватал богатую невесту и *коммунизм* одобряет только в сем случае. Правительства или те, кои решают судьбою юношества, должны бы иметь в виду такие перемены в образе мыслей, такие перевороты в убеждениях — искренни ли они или нет: не в том дело! — быстро или постепенно совершающиеся, и не спешить исторгать плевела вместе с добрым семенем. Остерегайте других, обороняйтесь — но не лишайте себя радости отца блудного сына, если вы в самом деле отцы! . . . .

. . . .

...Я прочел в одни сутки записи Винского «Мое время». Эта рукопись уже 1/4 века у меня, и я в первый раз вполне прочел ее. Я не мог оторваться от книги. — Винский уроженец Малороссийского городка Почепа (в 1752 году) учился в Малороссии, но оставил ее в первой молодости и переселился в Петербург в первые года царствования Екатерины II (на 18-м году). Он бегло описывает Петербург, но прежде оригинально описал малороссийскую жизнь свою, воспитание, семейство — и отбытие на чужую сторону. Несмотря на отсутствие важных происшествий, повесть его привлекательна какою-то искренностию и подробностями семейной и провинциальной жизни: «мертвые души» снова ожили бы в сей существенности! Для Гоголя эта рукопись была бы кладом. — Киев, Академия, шляхетство, Глухов, общественная жизнь в Малороссии, нравы и справедливый взгляд на влияние французов в России, редкий и в наше время, влияние Екатерины II на смягчение нравов — «*апелляция к потомству*», — учение вместо воспитания — вот содержание первых глав этой биографии; но я не досказал вам дальнейших похождений аутобиографа. В Петербурге он записался в военную службу, как недоросль, и в школу; выключен из оной за негодностью прямо в полк, хотя ученик знал более учителей. — Картина нравов тогдашних в полках и в обществе, ненависть взаимная русских и малороссиян и причина оной. — Винский делает дурные знакомства, мотает, закладывает деревнишку в банк — чрез заклады делается орудием секретной полиции. Донос на Винского — крепость и казематы, но прежде поездка в Москву, к торжеству победы над турками и тамошние приключения: Потемкин, Орлов, кн. Голицын, Шепелев и проч. — Допросы в крепости — Терский. Губернатор петербургский Петр Васильевич Лопухин, к коему привезли его перед крепостию; содер-

жание в крепости. Толстой — ангел-утешитель! Допросы, суд. Взаимная злоба между Вяземским и Потемкиным спасает многих, из полков забранных. Портреты. «*Легкий абрис Европы*», право мастерски написанный, особливо если подумаешь, что писатель был до ссылки своей в Оренбург *едва ли и читатель*! Политика Екатерины, учреждение наместничеств, совестных судов и проч.

Привилегия дворянству и городам — Потемкин и кн. Вяземский. «*Нравы умягчаются, сердца распущаются; роскошь во младенчестве*»: все это живо и верно изображено; слог самоучки, выучившегося писать до Карамзина, но по французским образцам, из коих превозносит Вольтера, Руссо, Бюфона — и особенно Мерсье! Есть какая-то оригинальность, хотя и не всегда правильная. «*Буйная жизнь*» его в Малороссии и в Петербурге носит яркую печать века. — Мы должны дорожить этою верною картиною старого быта русского: кто иной передаст нам его, особливо в низшем или среднем слое общества, в коем жил, гнил и погибал Винский. Описывая законодательство Екатерины, и именно комиссию для проекта нового уложения, под заглавием «*Русские Фоксы и Шериданы*», Винский сообщает важный исторический факт: «Из всего происходившего в сей комиссии достопамятнейшим может почесться публичное прение кн. Щербатова с депутатом Коробьиным, которое прекращено было без дальних пустословий, объявленною чрез Вяземского волею государыни. — Рукопись императрицы, положенная в драгоценный ковчег, отдана для сохранения в Сенат, сочинение же законов под разными начальниками продолжается и по сей день» (Винский писал во время Розенкамфа).

Сосланный, по лишении дворянства, в Оренбургскую губернию, Винский провел там большую часть жизни своей и кончил ее там же: тут началось его нравственное возрождение с молодой, милой женою, последовавшей за ним, вопреки всему, в ссылку. Винский начал заниматься языками, науками, учиться, чтобы быть учителем. Описание эпохи своего *секретарства* при винном распутном откупщике, учительства у губернаторов, помещичьей жизни в городках и в деревнях; обхождение дворян с крестьянами и с дворовыми; охота псовая и ружейная, и различное влияние каждой на нравственность охотников. Портреты помещиков, и жен и детей их: «Жизнь русская домашняя». Чтение и книги: влияние на дворян. Благодарность его некоторым помещикам — Мюллеру, Андреевскому. Знакомство с Рычковым. Биограф, кажется, довел свою рукопись до 19-го столетия, но главная жизнь в 18-м, она отражается и на Руси и в Петербурге, посещаемом Дидеротами, и в Бугульме, где читают Мерсье и Вольтера.[10]

19 февраля. Вчера опять был я на двух вторничных вечеринках и на первой узнал, что профессора Росси назначают если не послом, то органом дипломатическим Франции в Рим. Многие будут сим назначением недовольны. Вы знаете, что Росси, родом из М., был во время итальянских смут приговорен папским правительством к смерти, укрылся в Женеву, где

сначала читал лекции дамам; мало-помалу овладел умами женевцев, приобрел право гражданства и наконец введен был в совет государственный и был одним из деятельнейших правителей *протестантского Рима*. — Но помыслам его честолюбия было тесно в швейцарском кантоне: около 1830 года он переехал сюда, и под покровительством Броглио, написавшего в «Revue Française» Гизо превосходную статью о его теории уголовного права, Росси получил натурализацию (право гражданства), потом кафедры права и политической экономии — не без упреков тогдашней оппозиции мнимому пристрастию тогдашнего министерства к иностранцу, — здесь отличился он как один из весьма немногих профессоров, достойных сего титла, *юная Франция* стекалась на его лекции: мне нравился особенно курс его о государственном праве. С кафедры нетрудно было ему попасть в Академию, потом в государственный совет; в совет университетский и наконец в камеру перов, где он еще недавно сражался под знаменами Вильменя, следовательно, против иезуитов и компании. Единогласно приписывают ему тонкий и хитрый ум, сведения необыкновенные, и талант вкрадываться в сердца людей: король имеет к нему личную, особенную доверенность; одни старые приятели упрекают его в крайнем эгоизме, особливо его прежние соотчичи и единомышленники говорят о нем, что он зазнался; но — sic iter ad astra! — Прямой полет к солнцу принадлежит одним орлам. — Назначение его — предмет всеобщего разговора.

1845, 14 февраля. Париж. Вторник провожу я обыкновенно у Лютерота и у Ц<иркур>. У первого нашел протестанта-ирландца, на сих днях возвратившегося с семейством из Италии; на сардинской границе, несмотря на все его упорство, отняли у него английскую Библию и не позволили ему следовать христианскому правилу: «В законе твоем поучуся день и ночь!». Ирландец узнал на границе, что предписание о невпуске Библии в сардинские владения недавно возобновлено с необыкновенною строгостию. Библию его отослали в Женеву, где ему ее возвратили. — Перед нами лежала рассказчица подобных действий на другом краю римского владычества: книга Боррова «La bible en Espagne». Многие обвиняют автора в юмористическом изложении столь важного предмета; но дело в том — справедливы ли факты? Книга расходится по всем рукам, к досаде некоторых фанатиков; но давно уже ни одна книга не производила такого ожесточения во всех *толках*, как Michelet. Le Normand посвятил ей всю 8-ю лекцию свою в Сорбонне (или в Collège de France) и напечатал ее в тетрадках своего исторического курса. — В «Сеятеле» найдете вы прекрасные замечания на статью закулисного пустомели, Jules Janin, в «Дебатах» о сей книге: кто его просил вмешиваться не в свое дело! — «Revue des Deux Mondes», «Revue de Paris», почти все журналы оппозиции проклинают или превозносят автора! во всех аристократических и политических салонах — вчера у дюшессы Розен и у Ламартина — только о ней и речи! Между тем Michelet торжествует, а товарищ его — в борьбе против иезуитов и на кафедре провозглашает, что он опередил самого Michelet в его образе мыслей против иезуи-

тов и готов подвергнуться всякому гонению. Между тем проповедники *единства церкви и религии любви* скачут из Парижа в Лион, в Марсель — и на проповеди их стекаются толпы не народа, а аристократии по рождению и по капиталам. За неделю ускакал отсюда Лакордер, и уже вчера слышали мы, что в Лионе тысячи слушателей восхищались им! В это время дочитал старшина доктринеров и профессоров, глубоко остроумный Royer-Collard, коего словцо действует и на политику, и на литературу, — книжку Равиньяна о иезуитах, и сказал: «Pauvre jeune homme: il a la candeur de se croire Iésuite!». — Вы читали послание кардинала Бональда в «Дебатах» против Дюпеня и канонических брошюр его и, конечно, заметили ошибку в имени Местра, сделанную редактором статьи, вероятно, не читавшим Иосифа, а только Xavier Мейстера: при сем случае одна дама заметила: «C'est comme qui dirait Jean Jacques Voltaire!».

По моему мнению, лучшая из ультракатолических Revues «Le correspondant», paraîssant le 10 et 25 de chaque mois, вмещающий: Religion, philosophie, politique, littérature, sciences, beaux-arts. Главный издатель — приятель мой Вилькс; участвующие: Lenormand, профессор и автор книги «Sur les associations religieuses», выходившей по частям в «Корреспонденте»; Carné, депутат оратор, автор книги о Германии и проч.; Champagny, сын наполеоновского министра, автор превосходной истории кесарей, недавно (10 января) напечатал прекрасную статью «L'Eglise et ses adversaires en 1825 et 1845». Не разделяя всех мнений его, я читал ее с большим наслаждением. Я бы желал сделать ее известною в Германии, ибо подобные рассуждения заслуживают не такое безмолвие и не такие ответы, какие встречаем в *легких*, а иногда и в *тяжелых* «Дебатах». В одном «Сеятеле» найдутся достойные состязатели! И факты церковной статистики или литературы представлены с выгодной стороны и к утешению благомыслящим! Оборот умов или сердец от Вольтера к церкви в последние 20 лет примечательный: во время Бурбонов, покровительствовавших церкви и иезуитам, перепечатывали Вольтера и Гельвеция, теперь Боссюета, отцов церкви, подражание И. Х. Перепечатывают даже Фому Аквинского, но Кондорсе уже не читают. — Так, — а Блуждающего жида? — Недавно подслушал я герцогиню Ноаль; она признавалась, что не позволяет домочадцам своим касаться «Дебатов», потому что в них les drames inconnus; у нас случилось то же самое: журнал передавался из салона в лакейскую, где пожирали его горничные; теперь брат прячет его, как мышьяк!

В этом же «Корреспонденте» помещают иногда статьи и гр. Монталамбер; в последнем номере начало нового романа m-me d'Hautefeuille (Анны-Марии, автора «Fleur de lys» и проч.): «La famille Cazotte». Напомню вам о самом Казоте словами автора. Во всех гостиных Парижа ходил слух о странном предсказании Казота; впоследствии рассказ об нем найден был в бумагах Лагарпа и напечатан в его сочинениях. Казот прозрел революцию с такими подробностями, что многие не хотели верить, чтобы пророчество это не было сочинено уже после события. — Между тем

некоторые свидетели, слышавшие предсказание, еще тогда же говорили об нем, «хотя не верили ему». Сочинительница исторического романа посвятила его сыну Казота Сцеволе, который доставлял ей материалы об отце, о его жизни и особенно об главнейшем из его пророчеств, Лагарпом описанном. Она напечатала и письмо сына к ней, в коем он не только одобряет ее, но находит в исторических портретах величайшее сходство; вот слова Сцевола Казота к m-me d'Hautefeuille: «В рассказе вашем неистинно — только одна рамка, но судя по верности, с которою вы представили моего отца, мою сестру и маркизу де Ла-Круа, кажется, в изображении вашем я свиделся с самою маркизою де Ла-Круа, и все, что она говорит у вас, все, что говорил мой отец, — все это я слыхал от них самих», и т. д. Свидетельство неподкупное сына дает роману прелесть истории. Уверяют, что в последующей главе революция описана со всеми ее ужасами. «Грозная и разрушительная, она упала на нас, как снежный обвал спадает с горы неожиданно и неумолимо ниспровергая все на пути своем». — И еще два слова женщины, которая написала с глубокою верою милые поверья средних веков: «Я верю, что и революция не осталась без плода для нас, ибо мы стали лучше, чем были прежде. Я не люблю громовых ударов; но когда они минуются, — позвольте мне думать, что воздух стал чище». — Вы прочтете в 1-й главе предсказания Казота уже в его деревенской жизни, сбывшиеся над Франциею. Маркизша de la Croix играет в них важную роль, и ее называют последовательницею иллюминизма Сен-Мартеня; в фактах, как сказывают, много правды; но Сен-Мартень никогда не был иллюминатом или последователем Вейсгаупта, и Анна Мария вероятно приписывает *наобум* ученику Мартинера-Паскваллиса и Якова Бема теории баварских мечтателей. — Но Казота и дочь его увозит комиссар du salut public: деревенское жилище его сбираются грабить — добрые поселяне.

Итак до следующего номера; в этом есть еще две-три статьи примечательные, например «Des divertissements publics», того же профессора ультрамонтаниста, Ленормана: в ней благие советы префекту полиции — Делесеру, коего деятельность Ленорман хвалит, хотя Делесер и кальвинист! Он нападает не столько на театры, сколько на бал, сперва возникший в малых театрах — «pour arriver enfin à trôner au centre d'un établissement que couvre le nom de Louis XIV et qu'ont honoré le génie des Gluck et des Sachini (l'opera)». Странная слабость ума человеческого! В шумных и, конечно, нескромных забавах парижской и иностранной публики справедливо видит автор-историк и моралист в одно время разврат во всей утонченной *наготе* его: и в то же время как бы в противоположность ему — указывает на первого развратителя Европы и вселенной. — Лучше кончить словцом персидского посла в Париже: должно быть, эти люди очень сходны, что должны сами себе плясать!

Правда, что для мусульманов — «il n'y a pas d'outrage comparable à cet envahissement de leurs personnes».

Передайте от меня г. Шевыреву, что в сем же номере «Корреспондента» напечатана новая статья известного ему дантиста профессора Озанама «Des sources poétiques de la Divine Comédie». В «Edinburg Review» напечатана о сем же диссертация Фосколо; после книги Озанама «Dante et la philosophie Catholique du moyen âge», Labitte напечатал статью о «Божественной комедии» до Данта. Озанам в сей новой статье рассматривает — в чем именно состоит оригинальность «Божественной комедии»? — Я люблю Озанама за сильную горячую веру его в средние века, за одушевленный живым словом энтузиазм его на кафедре: но не разделяю его литературного и прочего ультрамонтанизма. Он знаком и с германской словесностию и говорил на лекциях о ее старинной поэзии (Niebelungen и проч.), беспристрастно последуя во многом «Истории немецкой словесности» Гервинуса, на которую я когда-то указал ему: Бутервек был вряд ли ему известен; я не забуду торжества его перед 12 экзаменаторами в числе коих: Вильмень, Фориэль, Кузень, Лакретель и другие знаменитости того времени. — Озанам заставил самого Кузеня признаться, что он, выслушав его ответы и возражения всем и каждому из них, признает в нем не ученика, а наставника в той обширной, хотя и частной области средних веков, которую обнимала Дантова универсальность. — В 17-м столетии было три, в 19-м более ста изданий Данта! открыли предшественников божественному поэту — в XII столетии. Видение монаха Альберика. — «Ныне, — говорит автор, — пустыни средних веков населяются и светлеют, „Божественная комедия“ хотя и не перестает еще господствовать над поэтическими зданиями, ее окружающими и поддерживающими, но вкруг нее видно бесконечное множество подобных изобретений; длинный ряд рассказов того же рода восходит к предыдущим векам, и встречается более или менее во все времена, свидетельствуя, таким образом, об одной постоянной заботе человеческой мысли».

Сравнив поэму Данта с римской базиликой, Озанам начинает характеризовать эпоху, приготовившую это чудесное явление: «В 13-м веке поэзия не пряталась в одинокую мечту флорентинского гражданина, она была везде, она жива в делах того времени, когда совершались последние крестовые походы, когда являлись высшие усилия борьбы между духовенством и империей: падение Фридриха II, призвание святого Людовика, апостольство св. Франциска и Доминика. — Когда провидение рассеивает великие события, я знаю, что тогда зарождаются великие мысли. Такая мысль основала Кельнский и Флорентинский соборы, была вдохновением Монтрельев, Николаев Пизанских и Чимабуев, она, наконец, жила в рассказах, возжигавших веру, мужество и любовь к отечеству. Из каждого подобного повествования образовывалась эпопея. Необъятное множество этих эпических рассказов удивило новейшую науку. Посреди такого очарованного мира проснулся гений Данта». — Далее Озанам указывает на внутренний источник его поэзии: «В сокрушениях сердца разбитого, изорванного, перевернутого до дна, в угрызениях совести, в безутешных сле-

зах, вижу я рождение поэмы. — Уже со смерти Беатрисы вдохновение владело поэтом. Данте предположил себе сделать для возлюбленной сердца своего то, чего еще никто не делал для другой!..». Вот происхождение «Божественной комедии»!

...В субботу, в салоне Ламартина, удалось мне присоседиться к Sophie Gay, к автору «Парижских салонов», в коих сияет красотою и любезностию и дочь ее Girardin, также составляющая современную, салонную хронику; мы часто встречали друг друга, но никогда еще не вступали в такой оживленный и продолжительный разговор. Sophie Gay давно в свете и пережила революцию, реставрацию и красоту свою! Но в глазах еще сверкает огонь, воображение не потухло, память верна; она еще женщина и автор и, следовательно, пристрастна и самолюбива. Она была богата, бывала в Англии и помнит тамошнее и здешнее общество; была дружна с корифеями оного; следила за их воспоминаниями и с пером в руках; рассказала нам многое о Сегюрах, из коих один был послом при дворе Екатерины и обер-церемониймейстером при Наполеоне, другой — историк; обещала показать мне письма их. Исчислила нам toutes les bonnes fortunes de Chateaubriand, — описала характер Бенжамена Констана, страсть к нему m-me Сталь, которая жила в ее доме и скончалась в ее постели. Она уверяет, что Бенжамен Констан никогда страстно не любил Сталь, но желал быть ее супругом из одного чванства: он преследовал ее, она любила его, но не соглашалась быть женою. Самолюбие его раздражалось, и он, желая показать, что он может быть счастливым претендентом на руку аристократки, нашел вдову Гарденберг и женился.

От матери перешли мы к дочери, герцогине Броглио. Sophie Gay не любит ее за мнимую ее гордость, за мнимую сухость ее характера, за нелюбовь якобы к матери — Сталь! Тут я остановил ее и начал вычислять *поклоннице века* — все прекрасные качества души и сердца герцогини Броглио, ее чистое, христианское учение, ее неистощимое милосердие, ее милую непритворную набожность, ее примерный или, лучше сказать, беспримерный поступок в час кончины матери, когда она, объявив пережившего Рокка законным мужем матери, отдала сыну их — Рокка половину всего достояния, наконец я пересказал Софье Gay, какие суммы употреблены Броглио на выкуп писем матери (уверяют, что до 200 тысяч франков). Как она упрашивала самого меня никогда не печатать письма Бенжамена к Сталь в 1805 году (после его свидания с Наполеоном, описанного Бонштетеном изгнаннице на Женевском озере). Я старался оправдать самого Бенжамена Констана, коему Gay отказывает совершенно в бескорыстной любви, — я напомнил ей, как он любил, страдал и писал к Рекамье; она не читала, не слыхала биографии Рекамье Шатобриана: я ее перечитывал; то, что в ней Шатобриан приводит из портрета Рекамье кистью или страстью Бенжамена Констана написанного, превосходит страсть и перо Шатобриана. Приведу несколько запомненных мною слов Бенжамена Констана о Рекамье в шатобриановых загробных записках.

«Сначала удивлялись ее красоте, потом узнали красоту ее души, и душа ее явилась еще прекраснее ее красоты. — Жизнь в обществе доставила уму ее средства к необыкновенному развитию, и ум ее не остался ни ниже красоты, ни ниже души ее. — Ее взгляд, теперь столько выразительный, сколько глубокий, который, кажется, открывает нам тайны ей самой неизвестные, — в первой молодости ее блистал только одною веселостию, живою и беспечною. — Никогда не видали ее при дворе директории, где власть была ужасною без достоинства, и внушала страх, не избегая презрения». Вот как судит Бенжамен Констан о двух приятельницах, из коих одна ему мила, другой он мил: нельзя вообразить ничего привлекательнее разговоров г-жи Сталь и г-жи Рекамье. «Быстрота, с которою одна выражала тысячи мыслей блестящих, новых, огненных; быстрота, с которою другая понимала и судила их; этот сильный мужественный ум, который, проникая всюду, раскрывал все сокровенное, и другой нежный, тонкий изящный ум, который все понимал и ценил; — откровения гения, испытанного жизнию, сообщаемые разуму молодому, достойному принять их, — все это давало обществу их ту прелесть, которую выразить невозможно». — (С подлинным верно). — Так изображал Рекамье Бенжамен Констан, коего Шатобриан назвал «l'homme qui a le plus d'esprit après Voltaire». Но не более ли ума, чем чувства, в этих словах самого Шатобриана о Рекамье, кои к счастью я запомнил: «Когда я мечтал о моей Сильфиде, я старался придать самому себе все возможные совершенства, чтобы ей понравиться; когда думал о Жюльете (имя Рекамье), тогда старался уменьшить ее прелести, чтобы приблизить ее к себе: ясно было, что я любил существенность с большею страстию, чем мечтательный идеал». — Нет, не так говорит истинная любовь, я сказал себе, выслушав Шатобриана.

От Ламартина вместе со многими другими явился я в салон герцогини Розен, — я уже более двух лет не бывал здесь, но нашел все тех же и то же! Милую хозяйку, литераторов, ученых, депутатов, легитимистов, нынешних роялистов; смесь аристократии старой с новой; и наших петербургских дам.

Но знаете ли, отчего трепетало два вечера сряду мое московское сердце? От цыганских песен! — Вообразите себе весь табор Патриарших прудов в парижском салоне! не только знакомые звуки, самый пыл цыганских криков — в самой дикой ярости: топот ногами, размашки и ухватки их и любимая их песня «Общество наше нам запрещает!». И все это с верностию неимоверною! в четыре голоса, коим вторили еще два. Я дрожал, а может быть, и плакал: Петровское, Марьина роща, Сокольники, Москва жили передо мною. Недоставало одной Танюши! — Вдруг услышали мы заунывным, родным голосом: «Вниз по матушке по Волге», — у меня забилось сердце; *другой*[11] закрыл лицо руками: песельники догадались... и вдруг грянули:

Русский я мужик простой, вырос на морозе, и проч.

И это не сон, а *быль*... Французы, итальянцы и немцы восхищаются ими.

Париж. 1845. 23/11 февраля. Здесь и в журналах и в салонах толкуют о делах церковных, и самые *детские* балы нечужды сему влиянию. Недавно на бале министра двора Montalivet, где с милой беспечностию плясали дети министров Гизо, Сальванди с детьми оппозиции, Сальванди, взглянув на 11-летнего Гизо, весьма похожего на отца, и на своих детей, вспомнил словцо свое на бале принца Орлеанского, нынешнего короля, сказанное, применив его к детям: «Voici l'avenir de la France qui danse», Dupin, с досадою: «Je voudrais bien faire sauter le présent». — Но министерство удержалось!

Дюпень известен своею скупостию и грубостию: когда-то на пиринейских водах одна милая и добрая красавица, всем известная, обратилась к нему письменно с просьбою принять участие в лотерее, в пользу бедных устроенной. Дюпень отвечал ей грубо и отказал в пособии, сказав, что у всякого свои бедные: дама отмстила ему по-своему и против воли его заставила участвовать в благодеянии: она выложила записку Дюпеня в числе призов, и другая дама заплатила за нее 40 франков! — Он сделал свою фортуну адвокатством, per fas et nefas, и прославился корыстолюбием. По кончине Наполеона, оставившего Монтолону миллион франков в своем завещании, Монтолон явился к банкиру Лафиту, коему Наполеон вверил все свои капиталы, и предъявил право свое на миллион. Лафит, опасаясь, чтобы сын Наполеона, тогда еще живший, не начал по сему завещанию процесса, присоветовал подать на него в суд жалобу: так и сделано — Монтолон просил Дюпеня быть его адвокатом в сем требовании; в полчаса все дело кончено, и Лафит выдал миллион Монтолону, который, взяв с собою 10 тысяч франков, пошел к Дюпеню и спросил, что он ему должен за легкий труд? Дюпень начал превозносить славу Наполеона, важность процесса, о коем узнает Европа, и потребовал 30 тысяч франков за часовой труд свой! Монтолон, пораженный требованием, идет к другому адвокату, bâtonnier de l'ordre des avocats, в такой же мере участвовавшему в сем деле: этот требует 500 франков. Монтолон думает, что он худо вслушался, и адвокат сбавляет требование на 300 франков. Монтолон платит и возвращается к Дюпеню: он едва согласился принять 12 тысяч франков. Вот черты к портрету Дюпеня, о коем скоро опять заговорят журналы.

5

Париж. 4 марта. Ты, конечно, уже прочел в «Дебатах» речи Сент-Бева и Гюго. Никогда такой тесноты и свалки в Академии не было, как в этот день: даже и при импровизации Р.-Колара, Ламартина, Моле! Билетов было, кажется, более роздано, нежели следовало. Имея место с академиками, я приехал не прежде как за полчаса до открытия заседания и нашел

уже толпу в сенях, которая не могла добраться до входа. Ровно в два часа хлынули на свои места академики, но и для них не было уже достаточного помещения; некоторые вели с собою дам, коих было более в ротонде и в амфитеатрах, чем мужчин. Я уселся подле депутата Dubois (de Nantes), члена университетского совета и короткого приятеля Вильменя, у коего я некогда встречал его. Он предварил меня, что Вильмень вступит в отправление своей должности бессменного секретаря Академии и в самом деле Вильмень явился: мы встретили его громким и почти всеобщим рукоплесканием, два раза повторенным. Гюго сидел между ним и поэтом Lebrun. Подо мною сидели рядом Мериме, Тьер, Mignet; передо мною Моле, Р.-Колар и подле него Сальванди, в шитом мундире и в звезде: торжественность его резко отличалась от жансенистской простоты старца. Подле меня Барант.

Dubois принес с собою новую книгу Порталиса о Конкордате,[12] я новый номер «Корреспондента», в коем превосходная статья Champagny против Michelet; мы разговорились с Dubois о важнейшем вопросе, касающемся литературы и религии, университета и иезуитов, о книге Michelet.[13] Он не одобряет ни книги, ни автора, хотя любит его и не любит ультрамонтанизма и иезуитов. Сказывают, что Мишле был сперва более наклонен к ультрамонтанизму, но охлаждение к нему дочери за религию изменило его. Champagny утешает себя и свою партию тем, что якобы книга не пробудила страстей, для коих она написана, что органы антикатолических мнений на нее не откликнулись: полно, так ли? Я видел и слышал безусловных энтузиастов книги Michelet, хотя я живу более с ультрамонтанами, не разделяя их мнений. Но возвратимся в Академию: рукоплескания Вильменю умолкли, и Dubois сказал мне: «Il va avoir encore les honneurs de la journée: autrefois c'était sa fièvre, aujourd' hui ce sera lui». — Речь Сент-Бева не произвела, и в самых блистательных местах своих, всеобщего энтузиазма, коим иногда одушевляется академическая публика при ораторских порывах Ламартина или при резких анализисах в похвальных словах Mignet; но и Ste-Beuve беспрерывно восхищал нас то верною характеристикою милого поэта, то сатирическими намеками на *великого поэта*, который скоро отплатил ему почти тою же монетою; кто-то сказал о нем: «Ses traits les mieux décochés ont leur dard enveloppé de velours».

Уже в сей первой речи приметно было, что Академия имела на него, на слог его влияние: мысль его выражалась ясно, он менее играл словами, и он поражал иногда того же Гюго, коего не щадил и прежде, сильно, но облекая критику в похвалу Делавиню: «Casimir Delavigne resta et voulut rester homme de lettres; c'est une singularité piquante de ce temps-ci etc». Всем нам пришло на мысль, что Гюго хочет быть пером. Другой удар поэту-трагику, осужденному принимать и, следовательно, хвалить своего неумолимого критика, нанес ему Ste-Beuve статистическим фактом: 66 первыми представлениями «Школы стариков»; к сему блистательному успеху приблизился все не Гюго, а автор «Силлы». — Мы знали, что накануне Гюго, устами милой Жирардень (dans un de ses feuilletons viriles) в «Прессе», уже отмстил

за себя, назвав его *отступником, изменником*, кажется, романтизма. Ste-Beuve готовил ответ наудачу, но попал метко и верно. Ste-Beuve заключил речь — погребением своего предшественника, и ум уступил перо сердцу: «Tous ces souvenirs émus, reconnaissans, se rassemblaient ici une dernière fois, et montaient avec quelque chose de plus doux que la voix même de la gloire».

С педантическою важностию и громогласно отвечал ему Гюго, начались антитезы и декламация; похвалы то демократии, то королю, то христианской религии — опять напомнили старинную критику Сент-Бева: «Ce mélange souvent entrechoqué de reminiscenses monarchiques, de phraséologie chrétienne et de voeux saint-simoniens qui se rencontrent dans M-r. Hugo!» («Revue des Deux Mondes»). Но были и черты, достойные поэта. — Но вот поэзия иного рода: Гюго говорит Сент-Беву: «Comme philosophe vous avez confronté tous les systèmes», — этой похвале позавидовал бы и Кузень! — Не знаю, доволен ли Сент-Бев и категорией, в которую Гюго его поместил, указав ему место за Nodier: «Vous nous rendrez quelque chose de Nodier!!». Я думаю, что Ste-Beuve хотя и сам мужичок с ноготок, не почитает себя ниже и всего Нодье! Приступая к предмету главного творения Сент-Бева, Гюго поставил почти на одну линию Port-Royal и Hôtel-Rambouillet и указал им места хотя противуположные, но в такой области, коей они касались стороною только, в области *человеческой мысли!* — Я слушал с восторгом характеристику и панегирик Пор-Роялю; R. Collard — развалина оного — оживился и одобрял киваньем головы, тихим движеньем рук и важною улыбкою. Сальванди, сосед его, обращался к нему, когда ему казалось, что слова Гюго должны были ему нравиться. Лицо старца просияло. — Само собою разумеется, что строгим католикам похвала жансенистам, сим стоикам христианства, не понравилась. (Каких анафем не слыхал я против сего панегирика!). Но одобрение Ройе-Колара — une des gloires tranquilles — было для оратора полным вознаграждением. (Кстати о Ройе-Коларе, против него сидел *новый* герцог Пакье: при первой встрече после герцогского титла, он приветствовал его по своему: «Je ne vous en estime pas moins»). — Многие ожидали, что скелет иезуитизма, снова животрепещущий, предстанет мысли оратора во всей гнусной наготе своей — над пеплом затоптанного им Пор-Рояля; но Гюго доказал, что и он имеет талант воздержания, и молчание его о иезуитах было красноречиво.

Жаль, что не воздержался и от смешного уподобления, или преувеличения: «Заутра после того дня, как Франция внесла в свою историю новое и мрачное слово: Ватерлоо, она вписала в свои летописи новое и блестящее имя: Казимир де ла Винья». — Сент-Бев опять прав: «Это что-то великолепное и сильное, пустое и звонкое». — Вот приговор «Сеятеля»: «Речь г-на Сент-Бева, столь замечательная в подробностях, много выигрывает при чтении; г. Гюго искал более эффекта. — Он произвел его, но может быть потеряет несколько в печати. Особенно замечен был отрывок о Пор-Рояле; и по достоинству; но — это более критика, чем похвала. Вы хотели совершить дело религиозное, говорит Гюго этим избранным лю-

дям, но осталось от вас только дело литературное: вы старались спасти христианство, но все окончилось хохотом Вольтера. Вы хотели научить нас вере — и мы говорим вместе с г. Гюго: верьте в человечество, в силу гения, в будущее, в себя самих! — Тут много блеску, — но блеску не радостного!!». Вряд ли неправ «Сеятель»? Право, и мне то же пришло на мысль, когда Гюго не остановился на словах: «Croyer, ayez foi, ayez une foi religieuse» — и продолжал дробить веру — «une foi patriotique, une foi littéraire, croyez à l'humanité, à l'avenir, au génie, à vous-même и т. д.!» — Это многоверование похоже на безверие и напоминает мне словцо А. М. П‹ушкина›. Мистификация мнимого безбожника перешла в речь академического оратора.

Вчера Ste-Beuve был уже в первый раз и в обыкновенном заседании Французской Академии и пересказал нам прения о словах, долженствующих получить право гражданства в новом словаре, — и в этих прениях не без разногласия, и право дается по большинству голосов. Он описал и своих сочленов, не только говорунов, но даже и молчаливых, в числе коих R. Collard, не принимающий никакого участия в *слово-прении*. От академиков перешли мы к фельетонистам и к новейшей литературе вообще. Сент-Бев не читал ни «Вечного жида», ни парижских мистерий, ни даже *неизвестных драм* (drames inconnus в «Дебатах»). Шатобриан одобрял его в негодовании к некоторым новейшим произведениям его собратий некогда по романтизму, и от средины 19-го столетия нечувствительно перешли мы к 17-му — от негодования к энтузиазму: «Il faut se sauver dans le 17-ème siècle», сказал Сент-Бев, «чтобы отдохнуть от литературы 19-го». Может быть, у Сент-Бева лежала еще на сердце и комеражная статья умной женщины, вдохновенной против него тем же, который через день после журнальной критики должен был хвалить его в Академии. Вот она: «Спорят, ссорятся за места в Академии! в четверток заседание будет самое блестящее: будут все поклонницы г-на Гюго, будут все покровительницы г-на Сент-Бева, т. е. все литературные дамы классической партии. Но кто объяснит нам эту тайну? — Каким образом г-н Сент-Бев, которого не подложный талант мы ценим вполне, но который известен был прежде как самый неистовый республиканец и романтик, — каким образом сделался он теперь любимцем всех ультраклассических салонов и тех дам, которые царствуют в этих салонах? — На это отвечают нам: он отрекся! — Хороша причина! Разве дамы должны когда-нибудь идти на помощь тем, кто отрекается! Нет, истинное назначение женщин другое: они должны тому помогать, кто борется одиноко и отчаянно; их обязанность: служить доблести в несчастии; им позволено бегать только за теми, кого преследуют; пусть бросают они свои лучшие ленты, свои свежие цветы, свои сладкие взгляды, свои душистые букеты — рыцарю, раненному на поприще; но не должны они рукоплескать победителю вероломному, который торжеством своим обязан хитрости. О! печально это предзнаменование, и великая важность заключается в этом деле! Все погибло, все кончено для той

страны, где отступничество пользуется покровительством женщин. Ибо во всем мире только одни женщины могут сохранять и поддерживать в сердце людей, искушаемых всеми приманками эгоизма, сохранять и поддерживать то возвышенное безумие, которое называют храбростию, ту высокую глупость, которую зовут: честность и самоотвержение»... Подписано: «Vicomte Charles de Launay».

В том же фельетоне, где так жестоко наказывают отступничество, усыпают цветами возвращение Вильменя в салоны и в Академию. «Г-н Вильмень совсем выздоровел и так же умен, как всегда, так умен, что многие даже не хотят сознаться, что он совсем выздоровел, ибо есть люди, которым выгодно приписывать его острые слова остатку его безумия. — Что же у него было? — Воспаление мозга, соединенное с расстройством нервическим и министерским. У него было пять докторов и восемь министров; другой свалился бы и от половины! — Сейчас видели мы прелестную записочку его, писанную к одной из его старинных приятельниц; она послала ему стихи Андрея Шенье: дом ее подле дома Вильменя: „Madame. Un académicien malade qui ne lit plus des vers et ne sait plus par coeur que les vôtres, se fait scrupule de garder ce volume que vous lui avez prêté il y a quelques mois. Il a l'honneur de le faire remettre à votre porte, inutilement voisine de la sienne, et il saisit cette occasion de vous offrir l'hommage de son respect et l'assurance qu'il n'est mort ou imbécile qu'officiellement“».

Завтра издает здешний архиепископ книгу свою об ультрамонтанизме и галликанизме, в коей доказывает, что первый преобладал всегда и ныне преобладает во Франции, и утверждает сие мнение на новейших действиях нынешнего короля. Непосредственно за сим издает он давно написанное (за 7 лет) им рассуждение: «Sur l'appel comme d'abus», в коем, как слышу, рассматривает неосновательность сего права или устава государственного совета относительно властей духовных. — За неделю пред сим тот же Парижский архиепископ издал «Introduction philosophique à l'étude du Christianisme». Через три дня явилось уже 2-е издание сей книжки.

Недавно Вильмень чрез Баланша предлагал Шатобриану напечатать теперь же отрывок из *загробных* его записок, посвященный характеристике и славе Наполеона. Он должен, думает Вильмень, выйти в свет в одно время с «Наполеоном» Тьера, коего через неделю ожидают. Ему не должно избегать сравнения. Шатобриан также великий энтузиаст Наполеона, но смотрит на него с иной точки зрения. Шатобриан принял мысль или совет Вильменя с благодарностию, но не намерен им воспользоваться, и Наполеон воскреснет *за гробом* его. Когда Баланш сказал Вильменю, что Шатобриан оскорбился намерением *откупщиков* его записок — напечатать их, по его кончине в журнальном фельетоне, то Вильмень с жаром отвечал ему: «Et qu'est-ce que cela lui fait! Il sera toujours et partout Chateaubriand». — И это понравилось оскорбленному.

В Лейпциге вышли на французском записки графа Олизара, волынского выходца. — Мармон, герцог Рагузский, издал полезную книгу о во-

енном искусстве (sur les institutions militaires); в главе о стратегии благодарит Чичагова и Капцевича за оказанную Наполеону услугу при Березине.

8 марта. Вчера условились мы с Ц‹иркур› провести вечер у слепца Тьери, куда должен был приехать и Сальванди, но дела задержали его. Мы нашли хозяина уже в салоне, с доктором-секретарем его и с приятелем; после явился и Кергорлай, возвратившийся из Италии к благотворительным своим занятиям в Париже: à l'Hôtel-Dieu и проч. Кто-то сначала навел разговор на некоторые предметы средней истории, на переселение народов, на первые встречи в Европе славян с германцами, на характеристику сих народов и на влияние, которое они имели друг на друга, в развитии первых начал гражданственности, в успехах первоначального общежития, например в земледелии; примеры и доказательства искали мы в языках, в словах коренных каждого народа, например *плуг* славянский и *Pflug* германский, и т. п. Тьери оживился, перебирал хроники северных народов: память его нимало не ослабела: он с такой же точностию указывал на славян в готфском историке Иордане (или Иорнанде) или на описание похождений, нравов, религий их в Гельмольде, как на блестящие места в речах Сальванди и Гюго, накануне произнесенных. При рассмотрении который народ славяне или германцы — могут почесться более *старожилами* — не *аутохтонами* — в Германии, я спросил Тьери: известны ли ему 4 фолианта Лейбница «Scriptores rerum Brunsvicarum»? в коих хранится еще такая богатая, почти не тронутая *славянскими* археологами, руда для германо-славянской истории? Он пользовался сею сокровищницею (хотя многие из хроник писаны на *плоском* немецком наречии, Plattdeutsch). Я часто советовал нашим славянским археологам обратить на это собрание исторических актов, землеописаний и хроник особенное внимание: оно известно мне с 1803 года, когда я, совершив пешком путешествие по Гарцовским горам, с незабвенным А. Кайсаровым, автором славянской мифологии, и с тремя другими соотечественниками, принялся отыскивать следы славян на Брокене, воспетом Гете, и на других высотах и в древних городах Гарца (как например в Госларе, где в церкви хранится языческий алтарь бога — Кродо) и находил везде славян, часто в кровавой борьбе с саксонцами Карла Великого.[14] С того времени многое благодаря трудам немецких историков прояснилось в сей мрачной полосе средних веков. С тех пор не один Антон в Герлице и Кайсаров в Геттингене проникнули в темные леса Герцинии, в ущелья ведьм и к алтарям Святовида; в 1837 году на *вековом* торжестве Геттингенского университета слышал я превосходное рассуждение одного из ученых Георгия Августы, после напечатанное: о влиянии славян на успехи гражданственности в Германии. Если Тьери и не *пан-славянин*, то он разделяет однако же участие наше в судьбе многочисленного славянского племени, столь древнего, пережившего столько переворотов и так терпеливо принимавшего образованность германскую, чтобы в свою очередь явиться исполином и

шагнуть от скал неопрятного тацитовского Финна — до Арарата! Следуя за норманнами, во всех их всемирных набегах от Сицилии до Америки, прежде Веспуция, Тьери встречал на пути их и славян, коих они громили и образовали (рядили). Он приписывает им, как Гердер, — характер *мирный*, возбуждаемый к воинским подвигам только защитою полей и богов своих. — Quantum mutatus ab illo!

Тьери желал знать, в каких авторах можно познакомиться покороче с историей, и особенно с мирными подвигами древних славян, коими они в известной мере содействовали первоначальным успехам европейской гражданственности и, не выдавая себя корифеями просвещений народов (à la tête de la civilisation!), принимали в трудолюбивой тишине участие во всеобщем развитии сельского домоводства и городской промышленности. Я указал ему на книгу Антона, малоизвестную, но из коей многие тихомолком черпали «Geschichte der Deutschen Landwirtschaft», в 3-х частях. Антон мог бы назвать труд свой справедливее — «Geschichte der Deutsch-Slavischen Landwirtschaft», ибо он приписывает названия, изобретение, первое употребление разных земледельческих орудий — славянам.[15] Антон — автор и других сочинений: о мифологии и о происхождении славян; о языке вообще, где много глубоких замечаний об аналогии славянского языка с немецким. Но лучшее, к сожалению, хотя конченное им, но не вполне напечатанное, сочинение его «Geschichte der Deutschen Nation». 1-я часть сей истории вышла в 1793 году, другие три остались в портфеле сочинителя и публика, кажется, навсегда лишилась их. Я когда-то описывал мое посещение из Геттингена, Антона в Герлице, его музей славянских древностей, собрание славянских рукописей, в числе коих и списанный мною полябский словарь и проч. Где его рукописи? его музей? его библиотека? — Никто не мог мне сказать сего при последнем моем посещении Герлица, где я уже не нашел и брата Антона, книгопродавца и издателя периодического сочинения о древностях славянских (Laüfitzische Alterthümer); к счастию, в память славянского археолога, учредилось там общество для открытия и обнародования древностей славянских в обеих Лузациях. Оно сообщило мне вышедшие тогда книжки Revue славянской. — В кратком предисловии к истории немецкого народа Антон предваряет читателя оправданием, подобным карамзинскому: «Я не мог дополнить истории!» — «Wenn ich aber etwas anführen sollte, was dem System einer Religion, eines Staates, einer Provinz nicht gut deuchtet, so liegt die Schuld nicht an mir, sondern an der Geschichte der ich nicht befehlen konnte: Rede anders».

Тьери изложил мне свою систему о сродстве германского со славянским народом и желал знать, сближается ли она с Антоновою: вот что я намерен послать к нему, выписав сии строки из книги немецкого историка, в них вся сущность первоначального родства народов, ныне столь различных! «Armenier und Perser, Gallier und Griechen, Germanien und Slawen gingen von einer grossen Urnation aus, denn alle zeigen in ihren Stammwör-

tern, dass sie ihr die ersten Begriffe verdanken. Verweset ist die Sprache der Thraken, aber nicht in ihren noch der Nachwelt bekannten Sitten der Verwandschaft unleugbare Spur. Armener und Perser trennten sich zuerst, kamen zu glücklichen Gefilden, wo sie ein älteres Volk unterjochten, oder mit sich verbanden; ihnen folgten die Gallier wahrscheinlich in das jetzige Deutschland, aber in neuren Zeiten, drängten die nachfolgenden Teutschen sie nach Gallien Kossatreichen Inseln, dann fanden der Pelasger in Griechenland, Umbrier in Italien bessere Sitze. *Am spätesten entfernten sich die Germanen von den Slawen.* Diese blieben zurück um meist als Sarmaten und Weneten aufzutreten und um noch jetzt mit den Germanischen Stammen um Europens Beherrschung zu buhlen», и т. д. — Первое *приложение* Антона отвечает именно на вопрос Тьери.

Из мрака древности и средних столетий перешли мы к новому явлению, достойному сих последних: к теологическим или схоластическим прениям в камерах и в журналах! В салоне было большинство голосов в пользу галликанизма,[16] в числе коих и хозяйский: Тьери заступался с жаром за университет и нападал на *пастырские послания* архиереев, для коих парламенты и Боссюет, Лудвиг XIV и Наполеон — еретики! Молчание одной дамы, которая не разделяла наших мнений, заставило и нас замолчать. Хозяин обрадовал нас надеждою, что скоро возвратится к нему его ангел-утешитель: принцесса Белжиозо, автор книги «Du dogme catholique» и биограф итальянского философа Vico.[17] Я дописывал еще сии строки, как мне принесли новую книжку здешнего архиерея, о коей упомянул выше, «De l'usage et de l'abus des opinions controverses entre les ultramontains et les gallicans». А сегодня, 9 марта, прочел я в «Дебатах» и лаконический ответ Дюпеня, кажется, автору сей книжки. Вы видите, что и в салонах, и в камерах, и в журналах — одни толки или толки об одном и том же! — Министерство, появлением сей брошюры здешнего первосвященника, поставлено еще в большее затруднение по вопросу: отдавать ли на суд государственного совета и единомышленников кардинала Бональда. Но брошюра Парижского архиепископа гораздо умереннее, но и в ней французский или галликанский синод 1682[18] обвиняется почти в ереси: «l'erreur». Вот примечательные слова о сем синоде и о Боссюете: «Telle fut l'erreur des Evêques de 1682: leur déclaration, censurée par le St. siège, fut abandonnée par les évêques, qui l'avaient adoptée; par Louis XIV qui en avait été le promoteur, par Bossuet, qui en avait été le rédacteur. Mais en s'en débarassant fort lestement par ce mot si connu: qu'elle devienne ce qu'elle voudra, abeat quo libuerit; l'évêque de Meaux, loin de rénoncer à l'opinion que y est exprimée, composa un savant ouvrage pour la défendre».

Сегодня же вышла еще книга Порталиса, отца министра духовных дел при Наполеоне, изданная сыном его, также экс-министром, произнесшим накануне прекрасную речь против Бональда и компании, сегодня в «Дебатах» вполне перепечатанную. Discours, rapports et travaux inédits sur le concordat de 1801, par Portalis, ministre des cultes, etc. publiés par Fr. Portalis, cons. à la cour R‹oyale› de Paris.[19]

Знаменитый адвокат Бервиль, зять и воспитанник поэта Andrieux, издал также свои ораторские и литературные отрывки: Французская Академия наградила его первое сочинение;[20] как адвокат, он прославился защитою классического прозаика Courier и поэта Béranger.

10 марта. Сейчас возвратился от Рекамье: она все страдает и говорить не в силах. С Баланшем и Шатобрианом толковали о посланиях и брошюрах архиерейских и об умножающемся беспрестанно числе единомышленников Бональда; между тем, вопреки сим грозным волнам ультрамонтанским, Боссюет несокрушим, как скала: слава его как бы снова просияла во Франции, все издания его вздорожали — лучшее и самое полное Версальское, в 45 волюмов и с 4 волюмами биографии Боссюета продается почти за 300 франков. — Сегодня объявлено в журнале о новом полном издании reproduction textuelle версальского Лебелем. Всего 28 или 30 томов за 60 франков в 12-ю долю листа, и 70 франков в 8-ю будет выходить ежемесячно по 3 части и все выдет в течение года. Но в то же время и руководство к французскому каноническому праву Дюпеня, Бональдом пораженное и им же из забвения исторгнутое, перепечатывается и раскупается.[21] Адвокат-брошюрник как бы приобщен к бессмертию Боссюета: будущий Флери встретит их имена, на разных побоищах, но под одною и тою же хоругвию, — хотя почти два столетия разделяют их. Приезд герцогини Рагузской (Мармон) с опущенным, не без причины, покрывалом прервал нашу богословскую беседу. — M-me Récamier пригласила меня к себе на концерт в субботу: племянник ее, один из *львов* парижского общества, давно под чужим именем, восхищает знатоков музыки своими произведениями; она хочет огласить талант его и сбирает в аббатство все известные ей знаменитости — от герцога Пакье до биографа *homme-de-rien* (Lomenie). Концерт назначен не в вечеру, но от 3 до 5, вероятно, для того, чтобы захватить и Шатобриана.

Мадам Ламартин приготавливает снова богатую и многообразную лотерею в пользу бедных: за 50 су (полтина серебром) может и незнакомый, с билетом, явиться в салон поэта-депутата и выиграть или картину мастерской кисти хозяйки или аутограф поэта. Третьего дня я провел у него вечер: салон его несколько опустел в сравнении с прежнею толпою, его наполнявшею; депутатов мало; но зато и он редко заглядывает в камеру! *золотое* утро посвящено *жирондистам*, — и *золотое* здесь не в иносказательном смысле — он работает с энтузиазмом и неутомимо. Жаль, что не в одно время с историею Тьери выдут и записки Шатобриана о Наполеоне, и отрывок истории революции — жирондистов Ламартина! Но гений *терпелив*, quia aeternus! — Вчера племянница Ламартина m-lle d'Arcet провела у нас вечер и сказала мне, что через 6 дней фельетон «Прессы» начнет печатать «Историю жирондистов». Я расспросил ее о всех подробностях, до сего издания и вообще до Ламартина касающихся; вот они: он продал новому книгопродавцу, Béthune, все свои старые и новые сочинения, в стихах и в прозе, за 700 тысяч франков, не предполагая, что его

продадут журналисту! Книгопродавец перепродал «Жирондистов» с тем, что он вправе издать историю их, особо или отдельно, не прежде как *два месяца* спустя по отпечатании последнего листка сей книги в журнале. С тех пор как издатель «Прессы» объявил, что он будет печатать «Историю жирондистов», число экземпляров его журнала умножилось *одиннадцатью тысячами*! что же будет, когда имя Ламартина будет под каждым фельетоном, вместо имени виконта Делоне. — Племянница его исчисляла все суммы, кои Ламартин с начала своего поэтического, политического и исторического поприща получил от книгопродавцев: за первое собрание стихов, кажется, «Harmonies», только 600 франков! за второе уже 10 тысяч; за шестое собрание стихов и прозы, в числе коих и «Путешествие на восток» (которое ввергнуло его в бездну долгов), Gosselin обязался заплатить ему 100 тысяч франков, но Ламартин простил ему 20 тысяч франков. Условие их кончилось, и все сочинения проданы, как я сказал выше, Бетюну. Вот прозаический миллион, созданный, как поэзия, воображением; без *вдохновения* нельзя писать и истории, *факты* — одна неодушевленная материя. Теперь вы знаете, как Ламартин наживает деньги; вот как он проживает их. У него три поместья и все в Маконском департаменте: 3 lieux от Макона Monceaux; пять или шесть lieux откуда St. Point, в горах; гораздо далее также в горах гнездо его фамильное Millis, самое малое поместье, где он родился и воспитан, на родимом пепелище, и где он любил мечтать о первых годах детства; в St. Point похоронены мать и дочь его; в Монсо живет он большую часть года, но везде — хлебосолом роскошным; везде устроено так, что он может принять и угостить, как угощают в великолепной и великой Британии: все для него и для многочисленных гостей его — готово: каждому гостю — особый слуга; теток своих, трех или четырех сестер с детьми их, устроил он щедро; стол открытый для всех и всегда почти на 20 особ и более; посетители все лето, осень и зиму — часто до генваря. (Так в сем году жил у него более 6 недель барон д'Экштейн). Переезжая на житье из одного поместья в другое — он находит в каждом все ему и гостям нужное: для себя одежду и обувь, для гостей особую кухню, особую услугу и проч. Везде конюшни полны лошадьми верховыми и разъезжими. Племянниц балует, тешит, говоря, что должен жить для их удовольствия, ибо многочисленность их делает наследство незначущим. — Главное имение оценено в $1^1/_2$ миллиона, другие два — в миллион. 87-летняя тетка оставляет ему в особом имении 25 тысяч франков ежегодного дохода. У него остался долг после путешествия на восток, и, сверх того, он потерпел убыток в 200 тысяч франков, отправив через Гавр свое маконское вино в Америку — бочка обошлась ему с перевозом и с наймом магазинов в 150 франков: а так как в Америке любят бордо, а не бургонское, то он должен был продать бочку по 10 франков. — Теперь платит он 40 тысяч процентов за должный капитал: из 700 тысяч за сочинения он заплатит или мог бы заплатить весь долг, но Ламартин прожил уже часть капитала в прошедшем году с родными в Искиа и уже сбирается — в Египет!

Образ жизни его деятельный и поэтический: сочиняет стихи и на коне, и удерживает в памяти до кабинета: ораторствует в Маконском (здесь) литературном обществе. Потом в камере или в салоне и в разных тюремных или других собраниях; утро — музе истории; вечер — поэзии или политике, или приятелям (по четвергам и субботам). Здоровье его изрядное, довольно крепкое, хотя страдает от невралгии. Прошлого года он почитал себя так раззоренным, что искал дешевой квартиры, но хозяин его убавил цены (1000 франков) и Ламартин остался в старой. Он начал продавать любимые вещи, и один из моих знакомых купил у него большую картину известного испанского мастера за 1000 франков. «J'ai payé ce tableau 6000 francs, je vous le donne pour 1000», и дело было в шляпе. — Узнав о сем поздно, я хотел купить у него Маконскаго вина, коего знатное количество он вывез сюда на продажу; между тем подоспела «История жирондистов» и дан большой задаток, с коим Ламартин уехал, со всем семейством, в Италию.

Один из самых близких приятелей и ежедневных посетителей Ламартина, Champeaux, собирает все статьи и речи его, как здесь, так и в Маконе печатаемые. Собрание его полнее того, которое сделала сама издательница мелких произведений мужа, и составляет всего 165 статей, особо и в журналах напечатанных. В сих разнородных произведениях поэта и публициста отражаются светлый ум его и человеколюбием согретое сердце. Многие современные вопросы по разным отраслям государственного управления и по законодательству объяснены с неимоверным знанием предмета, по теории и в практике; так, например, вопрос: «Sur la conversion des rentes». По выслушании речи об оном в камере депутатов, R. Collard поздравил его с правом на первое место в числе политических экономов французских. К превосходным рассуждениям Ламартина можно отнести и речь об уничтожении смертной казни, об уничтожении рабства в колониях, о призрении незаконнорожденных детей; импровизацию, в обществе английских аболиционистов в Париже в 1840 году произнесенную (все сии речи я слышал), об укреплении Парижа (т. е. против). По литературной части: о стихах Понсара; по религиозной: sur l'état, l'Eglise et l'enseignement.

Ламартин, конечно, не догматически православный католик (orthodoxe), так я думаю, вспоминая суждения его о... и недавно о книге Michelet: но в первых стихах его были какие-то порывы души, на которую христианство действовало: оно отражается во всей жизни его. Кто проникнет тайну сердца и в источник ощущений его! Ламартин в Италии не мог примириться с католицизмом; Ламартин — в Германии был бы другом Неандеров.

11 марта. Я встретил сегодня легитимиста Дефрена, вскоре после Кюстина бывшего в России; но возвратившегося сюда с благодарностию за русское хлебосольство. Так как я у него познакомился с поэтом хлебником Ребулем, то и расспросил его о друге его. Ребуль написал и прислал

к нему трагедию «Антигону»; но греческая соперница предупредила его на сцене. Ребуль в конце месяца будет здесь с новым томом стихов своих, и мы увидимся.

Dentu (книгопродавец) сейчас сказал мне, что только две первые части истории Тьера выдут 15-го, третья — 20-го; что издатели условились с бельгийскими перепечатниками, так что в тот же самый день выдут 10 тысяч экземпляров в Брюсселе, à 30 s. (30 копеек, или $1^1/_2$ франка) le volume, и также в 8-ю, за что здешние получат небольшой барыш, а бельгийцы успеют разослать во все концы земли свое дешевое издание и предупредить немецких перепечатников. — В последнем номере «Иллюстрации» напечатана статья о книге Тьера и выгравирован кабинет его. Посылаю вам этот номер. В нем же портреты Ste-Beuve и Вильменя: последний очень сходен, в первом мало сходства; оригинал не так полон в щеках, но в целом есть что-то сент-бевское. Вот несколько слов из «Иллюстрации» о нетерпеливо ожидаемом творении: «Mr. T. avait clos la première histoire (революции) par la journée du 18 brumaire, c'est donc à la fin de cette journée mémorable qu'il reprend le fil de son récit».[22] (Предисловие Тьера будет не в 1-й, а в 3-й части, и совершенно переделанное для того, чтобы наказать, привести в затруднение американских издателей). «Une préface comme savent en faire les grands écrivains, noble et touchante en sa simplicité, véritable modèle dans notre siècle de personnalités libérales... une-demi page pour dix volumes». Сверх того, атлас, 30 франков, эпизод о переходе Альпов — «Jamais histoire ne toucha de plus près à l'éророée» — заставил меня пожалеть, конечно вместе со всей Россией, что наш Суворов не нашел еще достойного историка. «Ils s'avançaient, ces braves soldats, vétérans de la liberté et de la gloire, ils s'avançaient traînant après eux leur artillerie, — ils s'avançaient en chantant les hymnes patriotiques»... (А наши? Идут в молчании глубоком во мрачной, страшной тишине, сказал поэт). Вот как заключает «Иллюстрация» статью свою об истории Тьера: «L'Histoire du consulat et de l'Empire sera le livre où la France retrouvera ses plus beaux titres de gloire, le livre où dans les temps mauvais chacun de nous cherchera un asile contre les dégoûts du présent, trouvera une nourriture pour son patriotisme, retrempera son esprit et son coeur comme à une source vive et fortifiante».

Сегодня опять другие слухи о «Жирондистах» Ламартина: уверяют, что он начинает процесс против издателей «Прессы» и не позволяет им печатать их в фельетоне; между тем издатель «Прессы», Dujarier, дрался сегодня за известную танцовщицу Lola Montey с Beauvallon, в Булонском лесу. Секунданты, желая сделать поединок безвредным, расставили противников на 45 шагов, но выстрел попал прямо в глаз — и повалил Dujarier. — К пояснению истории Тьера, по теории Лафатера, вышла так называемая *наполеоновская галерея*, или 50 портретов (en pied, по рисункам Изабе) государей, генералов, дипломатов *императорской эпохи*, не одной Франции. Собрание портретов начинается автором истории — Тьером, из русских я нашел только двух — императора Александра и Нессельроде

(если не считать в числе *русских фельдмаршалов* — Веллингтона). Ни Суворова, ни Кутузова, — ни Капцевича!

13/1. Вчера «Дебаты» напечатали уже два отрывка из «Истории» Тьера; желал бы сообщить вам два листка, один на польском и французском, другой только на польском. Сии два листка могли бы служить комментариями на мессианизм, в коем начались уже расколы! Нелепость новой религии уже раскрывается в первом акте, по прочтении я сказал самому себе: et garde-toi de rire à ce grave sujet, потому что все это более жалко, нежели смешно. — Помешательство в уме видно из самого акта: когда прочтете его, согласитесь со мною... Сегодня «Semeur» напечатал любопытную статью о предмете, о коем я сбирался подробно с вами беседовать. В ней все мое *мнение* высказано о самом факте, и факт объяснен приведенными из немецких журналов выписками. Новый *католицизм без папы* давно таился в умах и душах христианских, в разных пунктах Германии, даже в *набожном* Мюнхене, откуда Баадер посылал и предложения свои императору Александру (кажется, в 1820 году) об учреждении *католического патриархатства* для русских и польских римско-католиков. Записка его осталась между бумагами князя А. Н. Голицына, который говорил мне о сем еще при последнем нашем свидании в Москве, в 1843 году. — Не знаю, отыщется ли она в бумагах Баадера и напечатается ли вместе с другими его посмертными сочинениями. Но, кажется, уже и в последней брошюре (где и письмо к нему Шевырева) этот проект был ясно обозначен. Теперь он получает величайшую важность, ибо авторитет Баадера силен в таком деле: он был глубокомысленный католик, напитанный чтением отцов церкви, и в беспрестанной борьбе с рационалистами и с идеалистами, как и с ультракатоликами, с Шеллингом и с Герресом; справедливо ли или нет с первым — другой вопрос, и любил Сен-Мартеня и его учителя Якова Бема, коего не успел издать вполне, как намеревался.

В статье «L'Anti-Romanisme en Allemagne» «Сеятель» описывает реакцию, произведенную выставкою ризы господней в Триере. Фанатики рейнские и других католических стран немецких приписывают протестантам восстание против уставов и обычаев римской церкви; но разве Рунге, автор письма к триерскому епископу, и римский священник, за сие письмо отлученный от прихода и от церкви? разве Регенбрехт, не токмо католик, но и профессор римского канонического права в Бреславле, не последовал примеру Рунге и другого римско-католического священника Лихте? прочтите прекрасное письмо Регенбрехта (в «Сеятеле») к своему епископу; вот последние прощальные слова его к римскому: «Рим хочет царствовать, и чтобы царствовать, нужно ему удерживать народы в невежестве и тьме... Но посреди самого мрака воссияет христианство с беспрестанно возрастающим блеском, если мы не перестанем призывать бога в духе и истине. — Этими прощальными словами разлучаюсь я с церковью, которой усилия не могут согласить с ученьем Иисуса». Я знавал этого Регенбрехта, и в продолжении 4 недель мы почти ежедневно беседовали о духе и о церкви; он

удивил меня сведениями своими не только в римском и протестантском каноническом праве, но и в нашем греческом. Со мною было тогда 2-е издание (в 4-ю долю листа) *Кормчей книги* Розенкампфа, или Анастасевича (?),[23] и он, разбирая греческие и латинские тексты, угадал почти всю сущность этой книги, и указал мне на многие источники нашего церковного права, кои я тогда же старался собрать в Германии.

Пруссия пригласила из Тюбингена профессора Губера, коего я знавал, по возвращении его из Испании, издавать в смысле прусского нынешнего протестантизма Revue, под названием «Janus». Губер слывет отступником либерализма в Германии; он известен книгою своею о Испании, и особенно превосходною статистикою и характеристикою английских университетов.[24] Между тем церковь христиано-апостольско-католическая распространяется видимо в Германии: первый раскол оказался в Шнейдеймюле, где священник Черский 27 октября 1844 года явно отложился с приходом своим от римской церкви и обратился с новым вероисповедыванием своим к прусскому правительству; но первый шаг сей был еще робкий. С тех пор составилось бреславское вероисповедание, уже более согласное с началами реформации, т. е. протестантизма; в Майнце сохраняют епископство, ибо уважают нынешнего епископа Майнцского, к коему отщепенцы и обратились с просьбою оградить их от всех папежских примесей и притязаний; в столице Берлине, в Эльберфельде, где господствует истинное благочестие и процветает промышленность, в высшей степени; в Магдебурге, коего имя напоминает жестокости Тилли и древний свод законов, служивший основанием многим; в Офенбахе, в Дрездене, где Аммон проповедует полу-Штрауса, а двор — папу, но где народ помнит реформацию; наконец, в Лейпциге, в центре книжного просвещения, где на время смолкли богословские прения, ныне снова оживающие в древнем университете, — во всех сих пунктах возникает непринужденно новая религия — novus ab integro nascitur ordo — для католиков. Протестанты только соучаствуют братскими приветствиями: письмо из старой Пруссии, от кенигсбергских протестантов к шнейденмюльскому братству — трогательно и в духе чистого христианства. «Ainsi le branle est donné...».

14 марта. За минуту перед тем, как я вошел к Рекамье вчера, она совершенно потеряла голос, и я нашел ее безмолвною, с красноречивою улыбкою: герцог Дудвиль Ларошфуко и Шатобриан разговаривали о дуэле Dujarrier и Beauvallon; Шатобриан знавал Dujarrier и сбирался сего дня к нему на похороны, но побоялся холода (Beauvallon зять Granier de Cassagniac). Убийца и секунданты ускакали из Парижа. На Dujarrier нашли облитую кровью записку к исполнителю его духовного завещания: «За минуту перед тем, как драться за дело самое ничтожное и глупое, я хочу написать здесь мои последние распоряжения». — В одном из пунктов завещания он отдает 18 акций театра Palais-Royal в пользу одной танцовщицы театра St-Martin. Beauvallon участвовал, кажется, в редакции «Глоба». — Я узнал, что и другого журналиста, старейшего из редакторов «Constitu-

tionnel», академика Этьеия, сегодня не стало! — Еще ваканция в институте: ее займет, без сомнения, Альфред де-Виньи, ибо, перед принятием Мериме и Сент-Бева, они и их доброжелатели обещались дать голоса свои в пользу де-Виньи, при первой ваканции. Если бы де-Виньи не рассердил многих бессмертных странным своим обращением с ними, и именно с канцлером Пакье, то он бы давно был в числе бессмертных. — За ним, вероятно, первым кандидатом будет путешествующий на Востоке Ампер. Графиня Ноаль советовала его приятелям задобрить доктора одного из старейших или хилейших академиков, с тем, чтобы он поддержал жизнь его до возвращения Ампера. Сказывают, что едва-ли не поэт Soumet, издающий на сих днях «Трилогию об Орлеанской деве», очистит первые кресла в Академии. Он видимо исчезает. Я сбираюсь навестить его. — *По старшинству*, и следовательно по всей справедливости, следовало бы Жуи уступить свое место первому кандидату; ибо он, по дряхлости, уже более года как впал в совершенное безумие. Моле, как директору Академии, в минуту кончины Этьеня, придется принимать его преемника.

Герцог Дудвиль ушел с своею собачкою (автор *портретов*, вам известных, и потомок Ларошфуко) и втроем разговорились мы об истории Тьери, из коей отрывок Héliopolis, или целую главу с отъезда Бонапарте из Египта до смерти преемника его Клебера, Шатобриан читал сегодня в «Constitutionnel», а m-me Récamier два отрывка в «Дебатах». Шатобриан с негодованием говорил о пристрастии Тьера, как историка, к Бонапарте! Пристрастие это заставляет его быть несправедливым к некоторым сподвижникам: он, конечно, выставил в полном блеске геройскую решимость Desaix, пред Маренго, спасшую Наполеона и славу его; но Тьер не приписал победы истинному ее виновнику Desaix, а железной воле Бонапарте: admirable puissance de la volonté qui s'obstine, et parvient en s'obstinant à ramener la fortune! Но Бонапарте, до прибытия Desaix к армии, сам почитал сражение потерянным, и генералы его советовали отступить. Шатобриан думает, что полная истина не умалила бы славы Наполеона.

M-me Récamier находит, что Тьер слишком подробно описывает военные движения и утомляет *не военных* читателей; но Тьер почитает себя великим *стратегиком* и хочет быть со временем вторым Carnot, или управлять в качестве военного министра армиями в военное время: он щеголяет своими картами и чертежами, по его указаниям составленными. Многим из живущих, и именно маршалу Груши, не понравится то, что историк замечает мимоходом о звезде первого консула, о счастии, ему благоприятствовавшем, когда Desaix прискакал на помощь ему: «Heureuse inspiration d'un lieutenant aussi intelligent que dévoué! Heureuse fortune de la jeunesse! Si quinze ans plus tard, le premier consul, aujourd'hui si bien secondé par ses généraux, avait trouvé un Desaix sur le champ de bataille de Waterloo, — (куда не подоспел Груши) il eut conservé l'Empire et la France — sa position dominatrice parmi les puissances de l'Europe!».

Я просидел у Рекамье до 6 часов; салон наполнился, и разговор оживлялся с каждым новым посетителем. Были и посетительницы времен и двора Наполеона: m-me Salv. . . . близкая и верная до смерти его семейству. Мало-помалу и голос хозяйки возвратился. — По дороге я зашел к филантропу Melun, издателю «Летописей милосердия» («Annales de la Charité»), на кои я подписался. Я нашел его в кабинете, украшенном предметами христианского и католического благочестия. Жизнь этого нового, молодого Дежерандо посвящена добру, милостыни: он не только учредитель и главный издатель сих летописей, не только словом, но и делом — христианин: 500 экземплярами надеется он уплатить издание ежемесячное летописи, остальной барыш весь для бедных. Барант один из основателей и написал прекрасное *введение*, коего отрывок читали вы в «Дебатах». Он объясняет цель и пользу сих «Летописей милосердия», кои должны знакомить не только публику, но и правительство с *пауперизмом* во Франции. «Много надобно лечить и делать, чтобы исцелить эту необъятную болезнь народов, которую экономисты и правители называют *пауперизмом* и пользуют для безопасности общества. Но милосердие прежде всего видит в ней страдания нищего, а не затруднения и опасности богатых».

Издатели принадлежат ко всем сословиям, но не к *партиям*, и мнение и голоса их мирны, и не враждебны ни правительству, ни частным заведениям. Они не воспламеняют бедный класс народа против богатого и не увлекают первых тщетными надеждами; не угрожают последнему — отчаянием бедности. Вот прекрасное заключение предисловия: «Мы не будем обвинять законы и учреждения земли нашей в этих страданиях бедного класса; мы не станем нападать на основы общества, на необходимые условия его существования; мы не хотим поджигать нищету и труд пустыми и опасными словами; мы не обманем их мечтательными надеждами; мы не хотим вербовать бедных и несчастных на службу политическим страстям; не хотим пользоваться их страданиями, чтобы делать перевороты: мы не вольем яд гордости в их раны, чтобы растравить их еще более; мы не возбудим их гнева против неравенства состояний, неизбежного в каждом обществе, как необходимое следствие свободного развития человеческих способностей; мы не посеем зависти против детей одной родины, против тех, кто равен нищему перед законом и брат ему перед богом. — Нет! Одна религия имеет право произносить богатому свои строгие увещания, и торжественные угрозы, ибо она в то же время научает бедных терпению и кротости, утешая их божественными обетованиями». В числе обещавших принимать деятельное участие в сих летописях — перы Франции, депутаты всех мнений, академики, поэты и проч. Барант уже дал статью; скоро Броглио, Моле, Кормене, Ламартин, Дроз, Гизо, аббат Dupanloup (издатели будут избегать ультрамонтанизма, так как и противных ультра), Монталамбер, Сальванди, Токевиль и проч. и проч. обогатят и украсят летописи своими произведениями.

Мы разговорились с Меленом о подобных предприятиях в Англии, в Германии; он желал бы везде собрать соучастников и везде сделать известным свое предприятие. Мы вспомнили о Дежерандо, о его сношениях с Веймаром... Melun подарил мне изданный им, уже в другой раз, «Manuel des institutions, et oeuvres de charite de Paris», с эпиграфом: «L'aumône n'appauvrit jamais». (Pro. ch. 28. v. 27).

Полезная книжка — подражание английским в сем роде — и достойная подражания у нас. Она знакомит не только с разными степенями нищеты и вообще человеческих страданий, но и с ближайшими средствами облегчить их! Melun обещал в одной из первых книжек летописей объявить всем, любящим подаяние, что они могут обращаться в контору летописей, для немедленного получения верных и полных справок о положении каждого просителя милостыни — это будет великое облегчение и обеспечение для дающих и устрашит бесстыдство тунеядцев-просителей, коих в Париже — легион! — Наконец книжка сия будет в особенности весьма полезна для тех, кои сами навещают больных и бедных: я насчитал всего 307 богоугодных заведений в Париже. К сей статистике христианского общественного милосердия приложен каталог книгам, более приноровленным к потребностям бедных ремесленников и детей. — Я бы желал сделать известным и у нас сей каталог. Я обнял милого светского филантропа, ищущего в салонах не одного рассеяния, но и новой пищи для своих бедных. Melun — автор d'un pèlerinage à Einsiedelh: швейцарская католическая обитель, куда он ходил *по обещанию*, во время болезни матери. Она выздоровела, а он прелестно описал богомолье свое.

В «Реформе» едва ли не лучшая, если не совсем справедливая, статья о принятии Сент-Бева в Академию, соч. George Sand. Она, кажется, вспомнила старую дружбу свою к новому академику; но *великому поэту* досталось за прозу его с антитезами. George Sand, вместе с Академией, прощает первому романтизм его, «car toute véritable intelligence est novatrice». G. Sand требует, по-видимому, от академий, чтобы и они занимались социализмом! «Для чего это святилище, о существовании которого даже не знает народ? .. Оттого, что в этом учреждении нет жизни. — Эпоха живая и верующая могла бы обновить его... И народ узнает язык французский с той минуты, как язык будет выражать что-нибудь существенное, кроме школьного благоговения к словам. Но до тех пор, что сказать, кроме: words, words, words!». — Следует похвала Сент-Беву, с легкою критикою. «Нужно было поберечь живых и мертвых; похвалить все усилия, стремящиеся к увеличению общего сокровища, коротко сказать, нужно было выразить: что tout chemin mène à Rome, c'est-a-dire à l'académie». — От *скептицизма* Сент-Бева George Sand перешла к Гюго, «который даже не скептик, потому что он верит в могущество фразы, в возрождение общества посредством метафоры, в будущее человечество, созданное антитезою» и проч. «de l'humanité par l'antihèse», etc. — После сострадательной симпатии к низшим классам общества, «к нищим духом и всех благ мира сего», George Sand справедливо,

по моему мнению, казнит ироническою насмешкою и оратора за его *многоверие* и публику за рукоплескания необдуманные: «Мое мечтание было прервано восторженными рукоплесканиями; я спросила: что сказал оратор, и мне повторили его фразу. Фраза была прекрасная и я ее запомнила. „Кто бы ты ни был, если хочешь иметь великие мысли и производить великие дела, верь, имей веру! — Имей веру — религиозную, веру — патриотическую, веру — литературную, веру в человечество, в силу гения, в будущее, в самого себя!“. — И я спросила себя, перечитывая эти прекрасные строки, нет ли тут чего-то неопределенного? — Та же ли тут связь в мыслях, какая в словах? — Вера религиозная! верить в человечество! хорошо: о вере в бога вероятно вы поговорите нам когда-нибудь в другое время. — Вера патриотическая! верить в гения! — Гения — чьего? Верить в гений народа? или гения короля? или камер? или может быть в гения академии? — Вера литературная! верить в самого себя!.... Простите: я не совсем понимаю это; верить в самого себя, — мне кажется, эта способность дана не всем. Для этого надобно быть академиком. Если только к академикам относятся слова ваши, то вы правы! Но мы бедные, если по несчастию мы не верим в себя, — что будет с нами? — Покуда я еще думала об этом, раздались новые рукоплескания и Г. Гюго произнес свою последнюю фразу, которой и я рукоплескала за другими: „Счастлив, — говорил он, — счастлив тот сын, о котором можно сказать: он утешил свою мать; счастлив тот поэт, о котором скажут: он утешил свою отчизну!“. — Да, конечно, это прекрасно, и если это опять антитеза, — тем лучше! эта антитеза счастливая. — Но выходя из залы, я спрашивала сама себя: уже ли значение поэта всегда и во все времена ограничивается только одною обязанностию: *утешать*? и не бывает ли для него иногда другой обязанности, кроме той, чтобы проповедовать терпение тем, кто страдает, и веселие тем, кто не страдает? во времена нечестия и неправды, каково наше время, перед лицом этой неправды, вместо сладких звуков, не приличнее ли поэту вооружиться бичем или розгой, особливо когда он так любит употреблять их против своих личных неприятелей... случалось иногда, что ребенок, вырывая ружье из рук солдата, был полезнее для человечества, чем поэт, искусно устроивший звонкое полустишие для утешения падшей монархии... И я вышла из залы, повторяя это не академическое изречение: блаженны нищие духом!».

Сегодня «La Presse» описывает похороны своего издателя Dujarier: Бальзак, Александр Дюма, Méry (Мери) и Эмиль Жирардень шли по четырем сторонам гроба; великое число писателей следовали за гробом. (К этому-то сонму намеревался присоединиться и Шатобриан). Эмиль Жирардень, убийца другого журналиста, Армана Кареля, над товарищем, убитым редактором «Глоба», произнес надгробное слово, и вместе приговор свой: «Moins qu'à tout autre, je le sais, il m'appartient, en cette douloureuse circonstance, de prononcer ici les noms de la Religion et de la Raison, aussi leur langage élevé n'est-il pas celui que je viens faire entendre, mais l'humble langage qui me convient». Для чего же отнимаете вы слово у религии, мира и любви?

Сберегите ваши юридические диссертации о судопроизводстве после поединка, для ваших академий и камер: не отнимайте утешения от предстоящей матери: урока у всех! Эмиль Жирардень в надгробной речи, над прахом друга-сотрудника, старался доказать, что если бы закон предписывал, до начатия поединка, un procès verbal circonstancié débattu et rédigé par les quatre témoins d'usage, то большая часть бедствий сего рода не были бы возможны.

15/3 марта. Сию минуту принесли и новую «Revue des Deux Mondes» и две части Тьера; первый номер берлинского «Януса», и — но уже пора сбираться на утренний концерт к Рекамье.

16 марта, воскресенье. Вчера, несмотря на снег и холод и на заседание в двух камерах, собрались в лесное аббатство[25] представители и представительницы всех салонов, всех мнений в политике и в литературе — журналисты, академики, артисты, перы и депутаты, герцогини и писательницы; жаль, что трудно было пробраться из одного салона в другой. Я нашел уже Шатобриана в первом салоне, сидящего в креслах перед мрамором, на коем Т. изобразил последнюю сцену из его «Мучеников», минуту, когда в римском амфитеатре выпускают из затвора тигров против Эйдора и Кимодосеи — для увеселения тигров-римлян. Шатобриан сказал мне слова два о посетившей его накануне милой и умной нашей соотечественнице, графине В<иельгорской>. — Скоро оба салона наполнились; наименую некоторые знаменитости: герцогиня Нарбон; герцогиня Мармон (Рагузская), де Розан, de la Rochefoucauld, княгиня Сапега, мать княгини Чарторижской, m-me Merlis, Louise Collet, m-me Ancelot, m-me Gay (Sophie), старик Изабе (живописец), Barant, редактор французского «Курьера», экс-сен-симонист, высидевший 6 месяцев в тюрьме за новую религию, долго живший потом на Востоке, где надеялся быть консулом, но Гизо назначил другого, и с тех пор он сделался непримиримым врагом его; с тех пор он живет одним мщением и — журналом! и надеется со временем уничтожить министра-оратора историка в мнении Франции и Европы. — Миниатюрный биограф Ломени, поэт Foudret д'Эстурмель, фельетонист разных журналов и Revues; Wilson и прочие, супруги министров, депутатов и авторов; Salvandy, Токевиль, m-lle Melan, свояченица Гизо; представительница двора Наполеона, она была читательницею de la Reine Hortense, мать ее оставила записки о Жозефине. — Баланш хозяйничал. Я забрался в уголок: меня окружали с одной стороны принц Монлеар, супруг матери короля сардинского (она также здесь), с коим я познакомился и разговорился. Он из французских дворян и пожалован в принцы сыном жены своей; — с другой стороны бормотали Louise Collet, m-me Ancelot и завели *с нами* разговор довольно *щекотливый* об истории Тьера, которую знали только еще по отрывкам.

В 4-м часу явилась m-me Eugenie Garcia и автор музыки Defresnes, названный в афишке I. Michaeli. Хор молодых певчих французской оперы давно уже ожидал их. Концерт начался лирическим ораторио «Les Amours des Anges». Пели m-lle Garcia и m. Rassine — превосходно! Сюжет для сего ораторио взят из шведского мистика Сведенборга: в своих небесных по-

хождениях встретил он ангел-деву Долориду, которая трехтысячелетними молитвами умолила бога простить грехи падшему ангелу Идамиелю, предопределенному до его падения быть супругом Долориды. Ораторио составлен из двух хоров: в одном ангелы света, в другом — тьмы. Первые:

De l'augusticité chantres harmonieux,
Messagers des saintes phalanges.

В другом ангелы тьмы, и с ними Idaméel взывает к первым:

Anges, succombez avec nous!
La douleur et la nuit, dans le funèbre Empire,
Cachent d'indicibles amours,
Et mieux vaut un instant de fièvre et de délire,
Que le calme de vos beaux jours.

И после страстных обетов, в отчаянии, проклинает Долориду:

Je te maudis, retourne aux cieux!

Но Долорида отвечает ему:

Quand près de moi, ton épouse mystique,
Idaméel, tu peux vivre à jamais,
N'hésite pas: de l'amour angélique
Viens partager l'harmonie et la paix.

Ангел света, наконец, торжествует — Идамеил и Долорида счастливы!

Aux banquets immortels de la félicité!

Ангелы тьмы и света слились в один хор:

Hosannah! gloire à Dieu!

Италианские глаза Garcia оживились; она пела превосходно и передала наш восторг автору музыки благодарною улыбкою. Радость разлилась на лице компониста; за час перед тем сказал он, что повесится, если музыка его не будет иметь успеха. Надежда для него просияла. Не только громкие рукоплескания ободряли его, но и одобрительный шепот во всем салоне доходил до него.

Вторая часть концерта составлена была из отрывков из двух опер, кои сюжеты взяты из «Мучеников» — эпизод Велледы; помните, в рассказе Эйдора последние слова Велледы «Gaulois! suspendez vos coups, c'est moi qui ai causé vos maux!». Pitre-Chevalier, историк Бретании, отчизны Шатобриана, переложил эту великолепную прозу в стихи:

Arrêtez! arrêtez! Gaulois, posez les armes!
Romains, daignez m'entendre et suspendez vos coups.

Garcia пела еще сильнее, m-r Pollet вторил ей на арфе. Мы рукоплескали от всей души. Слова для duo из оперы Cymodocée также написаны Pitre-Cheva-

lier по прекрасной прозе Шатобриана, в 24-й главе «Мучеников», когда Cymodocée является добровольно на мученическую смерть, пред Эйдором, в римском амфитеатре, где тигры рвутся растерзать их, для увеселения других тигров, кои с своим императором стеклись на торжество веры христианской.

Enfin je vais mourir pour le Dieu que j'adore

поет Эйдор, но в эту минуту Cymodocée бросается в его объятия. «Pour le sauver ou mourir comme lui!». Борьба любви и веры начинается — и вера торжествует.

Âme qu'en Dieu mon âme adore.
Allons au bonheur éternel.

Шатобриан продолжает: «Les époux martyrs avaient à peine reçu la palme que l'on aperçut au milieu des airs une croix de lumière, semblable à ce labarum qui fit triompher Constantin, la foudre gronda sur le Vatican, colline alors déserte, mais souvent visitée par un Esprit inconnu; l'amphithéâtre fut ébranlé jusque dans ses fondements. Toutes les statues des idoles tombèrent, et l'on entendit, comme autrefois à Jérusalem, une voix qui disait: Les dieux s'en vont».

Но мы остались дослушать прелестную арию того же автора, коею заключила Garcia это двухчасовое пение: «J'ai peur de la raison». Било 6 часов. Все поздравляли молодого автора с необыкновенным талантом и с верною надеждою блистательного успеха; все благодарили милую хозяйку. Шатобриан сидел еще в своих креслах, перед мрамором, гением его одушевленным, умиленный и восторженный произведениями поэта и компониста, им же вдохновенных; сколько блаженных минут доставила ему дружба! Как оживлен, укреплен ею старец, переживший царей и царства, коих лелеял и громил, но не дружбу, для коей сохранил улыбку признательности. Все подходили к старцу с приветливым словом. Он никогда так долго не оставался в аббатстве. Я пожал руку у Рекамье, и не за одно минутное наслаждение, как звук исчезающее! Нет, за пример, за благое чувство, кои оставит она в памяти, в сердце современников: то ободряя талант, то утешая дружбу, то благодаря родине, то прочищая путь для другой *бессмертной* дружбы в храм *бессмертных* (Баланшу в Академию), то заслуживая изгнание верностию к славной изгнаннице (Сталь), то навещая темницы, или разделяя опасности с соперниками (Моро) гениального деспота, или в суде встречая политически осужденного: самая яркая черта в ее скромной жизни! — Сходя с лестницы я почти задохнулся от нервических спазмов в груди, и когда опомнился, увидел, что меня поддерживал старец, к коему ровно за 40 лет пред сим явился я из Геттингена на службу, и старушка теща его.

В сию минуту в цирке Елисейских полей Берлио с своею многочисленною дружиною дает концерт, в коем петербургская певица m-lle Alexandrine Verteuil qui a reçu de l'Empereur Nicolas le gracieux surnom de Solowia. «C'est à dire rossignol! — говорят журналы, — chantera un air du compositeur moscovite Glinka. Ce sera sans doute la première fois que l'on aura entendu dans un con-

cert parisien des vers et de la musique russes». — Глинка давно желал сделаться и здешней публике известным, как миланской и русской; но здесь трудно пробиться сквозь толпу талантов, осаждающих весьма для немногих доступный храм славы.

Сегодня открывается и выставка художественных произведений в Лувре. С первым лучом солнца явлюсь туда.

M-me Ancelot сказала нам, что сегодня же на ее театре Vaudeville дают в первый раз пиесу маркиза Кастеляна, который не удовольствовался забавлять публику на своем домашнем театре, а захотел и сам быть жертвою, или клиентом Жаненя. Завтра же узнаем судьбу маркиза-автора, в «Дебатах». Когда-то я видел иную смесь на театре Кастеляна: m-me Lafont, жену скрипача, в одной пиесе с герцогинею d'Abrantès; последнюю в роли субретки.

17/5 марта. Сегодня опять провел я часа два у Рекамье, и опять в многолюдной беседе. Когда вошел Дефрен, то мы все встретили его рукоплесканием; но разговор, всеобщий и частный, был почти во все время об «Истории» Тьера: Шатобриан прочел уже весь первый том и хвалил слог историка, созревшего в течении 15 лет после его «Истории революции», особенно после первого издания оной, в коем автор сделал и некоторые перемены, и не в одной редакции, смягчив и суждения свои, например о герцогах Орлеанских. Шатобриан сказал мне, что ему всегда казалось, что Mignet был как бы вдохновением Тьера-историка: «C'est Mignet qui l'a inspiré». Я спросил его: «Не Manuel [26] ли их обоих?» — и старался доказать примерами из введения Mignet к царствованию Людовика XIV, в его «Истории войны за испанское наследство», что Mignet давно уже изменил самому себе в политическом направлении идей своих. — Некоторые из дам, бывших в салоне, читали отрывки из V тома Тьера, еще не отпечатанного, где Тьер, не оправдывая совершенно Наполеона в убийстве герцога Ангиенского, находит, что осуждение и казнь его во рве Венсенском «n'était pas juste, mais légale». Тьер силится доказать это признанием самого герцога д'Ангиенского в участии в заговоре против императора. Тьер, как и Шатобриан в своих загробных записках, полагает, что Талейран был главнейшим подстрекателем Наполеона к сему злодеянию.

Вы читали уже портрет Талейрана, Тьером начертанный, вот одна черта из него: M. de Talleyrand était doué d'une adresse utile et il rendait au premier Consul de véritables services par son penchant à ne rien faire! — Тьер помнил, вероятно, когда писал этот портрет, слова самого Талейрана, при вступлении в министерство, обращенные им к чиновникам: «Et surtout, Messieurs, point de zèle». — В портрете Фуше, с негодованием и Шатобриан и дамы прочли эти слова: «M. Fouché était un personnage intelligent et rusé, ni bon, ni méchant». — «Как!» — вскричал современник его злодеяниям — Hochet: Fouché n'était pas méchant, lui, qui, à Lyon, voyant plus de 300 soit-disant révoltés, menés devant sa fenêtre au supplice, s'écriait: «Je nage dans la joie: voilà 300 scélérats qu'on va guillotiner». Я подкрепил этот факт другими злодея-

ниями экс-ораторианца. Обвиняли Тьера также и в пристрастном уменьшении заслуг некоторых лиц, коим сам Наполеон неблагоприятствовал; напр. к Moreau, коего военным талантом Тьер не отдает полной справедливости. (Дочь Moreau, наша пенсионерка, — 30 тысяч рублей!).

M-me Courval, обольщенная, как и Лерминье, некоторыми похвалами в Тьере, говорила вчера об нем с благодарностию. — Келлерману Наполеон никогда не мог простить его быстрое и решительное движение при Маренго (сказывают в полпьяна совершенное), и Тьер, как вы видели, упоминает о нем почти мимоходом. От историка-энтузиаста перешли к его герою: всеведущий и в полвека ничего не забывший Hochet — приводил примеры слабостей и даже мщения Наполеона: он был гонитель добродетели, таланта, красоты; как простить ему изгнание Сталь и Рекамье? Хозяйка наша опустила глаза. Hochet вспомнил словцо одного моралиста времен Империи о Наполеоне: «Il connaissait le bien, mais il préférait le mal». Я припомнил приговор барона Штейна в 1813 году в пылу патриотического его негодования над неумолимым завоевателем произнесенный: «C'est Tibère au 19-me siècle». Но никто не хотел признать в нем качеств римского тирана.

Между тем парижское издание Тьера, в 10 тысяч экземпляров, уже раскуплено в первые два дни; вероятно также и бельгийское, и на новое уже более 6 тысяч подписчиков в одном Париже! Автор получил за свою книгу 540 тысяч франков и сверх того выговорил 20 тысяч франков секретарю своему. Уверяют, что он не пишет, а диктует историю. Я спросил Шатобриана, всегда ли он диктовал свои сочинения? Он отвечал, что он прежде сам писал; но уже лет 6 или 7 как диктует. Если Шатобриан прочел то, что Тьер, кажется в 3-м томе, еще не вышедшем, говорит об нем по случаю статьи Фонтана о «Гении христианства», то он не может быть доволен второстепенным бессмертием, обещаемым его творению «Le génie du Christianisme vivra, fortement lié à une époque mémorable, il vivra, comme ces frises sculptées sur le marbre d'un édifice vivent avec le monument qui les porte». Едва ли не справедливо.

К удивлению моему прочел объявление об «Истории реформации», Лиги (de la ligue) и царствования Генриха IV, par m-r Mignet также в 10 частях: они выйдут в течение этого года! Еще недавно уверял он меня, что труд его медленно подвигается.

Вчера в «Constitutionnel», а сегодня в «Siècle» — новые статьи об истории Тьера, первый — *вассал* Тьера, и похвала его не совсем беспристрастна; второй также не антагонист историку Наполеона в политике. Статья первого примечательна по указаниям, — вероятно из *предисловия* — на источники, из коих Тьер черпал не только *факты*, но самые беглые мысли Наполеона, начатки оных. Не только — оффициальные документы, вся переписка, беспрерывная и непостижимая по своей многочисленности, с маршалами, с дипломатами, с министрами, с государями, с учеными, с префектами; но самые мелкие записки Наполеона, или им диктованные, — самые зародыши планов проектов его о войне и мире, об устройстве армий и о дви-

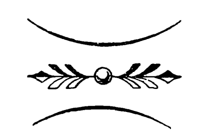
жении их и проч. — инструкции, приказы и проказы полководцев и великого администратора: все сохранилось почти неприкосновенным и покоилось вместе с портфелями Бурбонов старшей линии!

И ничто не было утаено от историка, для коего не было государственной тайны. — Архивариус иностранных дел, Mignet, друг и сотрудник его. Но сия самая неограниченная доверенность правительства к историку экс и будущему министру — налагала на Тьера некоторые обязанности, кои исполнил он, как замечают, добросовестно. (Мы уже можем судить по *одному* отрывку). — Тьер должен был сам себе положить границы и напр., иногда щадить лица, с коими был или будет в сношении. (Например, Меттерниха или одного из важнейших дипломатических особ первоклассного государства). — Конечно, опытность его в делах, личные его отношения дают ему важные и существенные выгоды как историку современных происшествий, но вместе с сим сие положение не стесняет ли его свободу, его беспристрастность, полную откровенность повести? не останавливает ли оно иногда порывов его? не ослабляет ли силу в приговоре, в осуждении действовавших лиц?

Не сравнивая таланта Тьера с другими историками животрепещущей современности, спрашиваю: так ли бы описал оную Louis Blanc? — пощадил ли бы *социалист* то, что щадит питомец и любитель *власти* и настоящего порядка вещей во Франции, наперсник *властей предержащих*. Повторяю: я не сравниваю талантов сих двух историков, но замечаю только, что в самих выгодах находятся неудобства.[27]



ДНЕВНИКИ
(1825—1826 гг.)





1825 год

14 июля 5 часов утра. В $6^1/_2$ переехал границу и выехал в Пруссию. Прости Россия, обожаемое отечество. — Что бы ни было со мною, в тебе и вне пределов твоих, везде я сын твой, везде будет биться русское сердце во мне и жизнь 25 лет, службе твоей посвященная — тебе же посвятится, где бы я ни был. Пусть Фотий и г<осударь> А<лександр> безумствуют и преследуют сынов твоих...

Витенберг — некогда первый центральный пункт немецкого просвещения. — «Would I had never seen Wittenberg, never read book» (Marlow's Faustus?).[1]

В Витенберге король прусский (для чего же не один из курф<юрстов> сакс<онски>х или не вся протестантская Европа) воздвигнул на площади памятник Лютеру (описание оного и надписи). Мне кажется, что гигантам славы европейской или, лучше, всемирной, каков Лютер (но кого сравню с ним в бесконечном действии подвигов?), не нужно бы воздвигать монументы. Или разве только возвеличить их просто надписью, какова была богу в Афинах «Неведомому!» — Тому, кто потребовал бы в Витенберге или в Эрфурте монумента Лютеру, указал бы я на всю проч<ую> Европу, указал бы вдали, за синим океаном, свободную часть света — и повторил надпись анг<линского> архитектора: «Si monumentum quaeris — circumspice!».[2] Я скажу более: самые католические земли обязаны многим лютеранству — следов<ательно>, и там невидимые следы реформации не исчезли.

Витенберг. В комнате Лютера. 2 авг<уста> н. с. 11 часов утра. Рукою нашего реформатора Петра *Petr* за стеклом над дверью в спальню Лютера. (Шадова книга).

Близ сего август<ейшего> монастыря и дом Меланхтона...

Портрет Лютера Луки Кранаха. С него и памятник на площади. Отсюда воссиял свет — и отсюда свобода Сев<ерной> Америки!..

Лейпциг. 10 часов вечера. Нахт-вехтер — вспомнил за 24 года.

Приближаясь к Мейсену, виды становятся прелестнее, берега Эльбы живописнее. Горы и дома увиты виноградными лозами. Вся дорога от Мейсена до Др<ездена> усажена фруктовыми деревьями.

3 августа. Hôtel de Pologne. Дом мрачный, как судьба его имени. Узнав, что Крейсига нет в городе, я пошел к Басанжу, взял письмо от брата Н<иколая> и от Свечиной, которой дружба нашла меня и здесь. Она тронула меня — и я не буду сиротою в Париже.

В 6 часов пошли в итал<ьянский> театр слушать «Cenerentola».[3] Это напомнило мне Москву и ту, которой общество предпочитал я итальянской музыке. Я помню, что часто говаривал ей: «Наслушаюсь в чужих краях», — как она упрекала себя, что лишает меня сего наслаждения. С воспоминанием о ней многое пробудилось в душе; но мир праху твоему — прошедшее! Не преследуй меня в будущем. Оставь душе и сердцу сиротство, но безмятежное. Рана не закроется, но сон души сделает страдание менее для нее чувствительным.

В театре видел Демидова и издали в первый раз в жизни старика Ханыкова, который славился у нас любезностию и французскими стихами и, наконец, при дурноте лица — страстным волокитством.

Из театра пришли домой, напились нашего чаю. Мне было что-то грустно!

4 августа. Первый визит мой к Крейсигу. Не застав его, пошли в сад к Штруве, где собираются пить минеральные воды, но и там не нашли уже его, воротились и дождались его у ворот. Письмо Н<иколая> к нему обрадовало нас несколько состоянием его здоровья. — Консультация отложена до 2-го часа. Оттуда в галерею, где взор мой искал и остановился на Корреджиевой ночи и на богоматери. Тут нашел двух п<етер>бургских живописцев — Боссе и Молинари, и первый взялся все показать, объяснить нам, ибо я терялся в созерцании, глядел — и ничего не примечая. Обошли всю галерею два раза, и я не мог отдать себе отчета ни в одном впечатлении. Все смешано было в голове моей, как таланты и роды художников в галерее. Наконец, мы решились возвратиться сюда после обеда и между тем идти смотреть открытую со вчерашнего дня (день именин короля) выставку произведений художеств и ремесел как отечественных, так и присылаемых сюда иностранных, соседственных художников. Боссе, показав нам здесь и свои труды, повел к лучшим произведениям других художников — Фридрихса, Шадова (отца); M-me Seidelman и муж ее уже слабеют, и я нашел только одного херувимчика, давно и мне известного.

Я бы желал подобное заведение для ремесл в России, но там лучшее в промышленности — казенное. Сюда присылают отовсюду художники труды свои.

Были у Ханыкова, опять у Басанжа; написали к брату. Крейсиг принял перед обедом. Еще не решил, куда нам отправляться, но, кажется, в Карлсбад. И брату и мне самому смешно было слушать описание моих недугов. Мысль, что я, может быть, не расстанусь с братьями, развеселила меня.

После обеда — опять в галерею, где уже Боссе ожидал нас. Но так как она открыта только до 6 часов, то мы только один час могли посвятить

ей; видели лучше — ибо смотрели только лучшее, по указаниям Боссе. Опять любовался ночью и богоматерью; но уже разбирал и чувствовал несколько красоты их (я забыл упомянуть, что перед обедом заходил я к Боссе и видел труды, которые готовит он для нашего Эрмитажа, первые государь подарил уже Академии художеств). После обеда я уже с большим вниманием и с наслаждением, приметно увеличившимся, смотрел на картины и едва мог оторваться от некоторых; но всегда желал возвратиться к Корреджио.

Из галереи пошли чрез Брюлев сад туда, где стреляют в мету и где добрые саксонцы веселились, пили и пели в честь 70-летнего короля своего, празднуя его тезоименитство. Стреляли в цель, на которой висел растрепанный и расстрелянный орел! Худое предзнаменование для Пруссии, думал я — и вспомнил новый национальный саксонский щит, в котором цвета: *зеленый в белом* — надежда в невинности.

Но виды Эльбы, особливо с Брюлевой террасы, увлекали меня к берегам прекрасной реки; на другой стороне ее зеленели виноградные горы, усеянные домиками, а по реке тянулись длинные лодки. Взор не мог насытиться, и, желая спокойнее насладиться видами Эльбы, мы сели в лодку и доплыли опять до крыльца террасы, построенного князем Репниным, минутным правителем Саксонии. Народная гордость наша должна гордиться сим памятником: другие разрушали, мы созидали, и нашими трофеями были устроенные гульбища, которыми и теперь народ пользуется. — В виду мост на Эльбе, где государь восстановил упадший памятник креста — и водрузил его снова над видами живописной Эльбы.

Сии воспоминания возмущаются другими, менее утешительными для саксонцев, коих братья составляют другое великое герцогство и, подобно полякам, с коими некогда были под одним скипетром, потеряли отечество. Венский трактат отрезал прекрасную часть Саксонии — и она сделалась добычею прусского орла.[4] Несмотря на это, король сак<сонский> должен всякий раз угощать своего хищного соседа, когда он из Теплица возвращается ежегодно в Берлин. Может ли, без угрызения совести, пр<усский> король любоваться в присутствии старца Саксонии — его Эльбою и благословенными брегами ее? Какое чувство должно возбуждать каждое слово гостя! Но — *надежда в невинности!*

В сумерки бродил по городу и пришел успокоиться в свою гостиницу. Нахт-вехтер напомнил, что пробило 11 часов.

5 августа. В 7-м часу утра пошел в сад Штруве, где уже гремела музыка и гуляющие упивались водами Карлсбада, Францбрюна и проч. Сей сад устроен доктором и аптекарем Штруве, который в прошедшем году то же завел и в Англии. Я нашел здесь и русских. Отведал карл<сбадской> воды; она мне не понравилась. Сие заведение могло бы быть устроено и у нас. Оно удержало бы в России многих, едущих теперь к водам, — и вместе со здоровьем сохранило бы нам и русские деньги. Бесполезная трата на Екатерингоф могла бы заменена быть полезным за-

ведением. Крейсиг и Штруве здесь ежедневно, и первый сам пьет карлс<бадскую> воду. В 9-м часу все уже расходятся...

5 августа. 10 часов вечера. После обеда в 5-м часу отправился я в коляске в Плавенскую долину и в Тарант. Едва успел выехать за город, как дорога пошла между гор и виды ежеминутно переменялись. Все окрестности усеяны домиками и деревеньками. На самых крутых утесах взор останавливался на беседках, которые и себе и проходящим угрожают падением. Слои гор также казались мне не крепко соединимыми, и натура самая живописная ужасала иногда самыми прелестями своими. На одном из возвышенных и диких мест в Плавенской долине висит на утесе домик, построенный кн. Белосельским, бывшим здесь посланником. Недалеко от него видно в противуположном утесе что-то подобное на пещеру или на большую печь, которую называют шведскою, по преданию, что шведы выкопали ее для печения хлебов, когда Саксония была театром войны.

Виды окрестностей Таранта также прелестны, но еще не видел я ничего, что бы мне столько понравилось, как местоположение самого Таранта, с его излучистыми улицами, висящими на горах домами, с церковию на утесе, и с древними, едва уцелевшими развалинами..... В трактире нашел я гуляющих и вспомнил, что в здешней лесной академии должен быть профессором Тапе, я справился о его жительстве, и услужливый студент повел меня к своему профессору. Я думал найти прежнего плаксивого Тапе, который не раз надоедал мне в П<етер>бурге своими иеремиадами и домогательствами то креста, то чина, то пенсии (первое удалось мне и доставить ему), — и что же? — счастливый, расцветший Тапе живет у подошвы горы, в маленьком, но приятном домике, который он купил за 2000 талеров с уплатою в течение 10 лет и, сверх того, за 90 тал<еров> гору, облежащую его домик и им за 250 талеров обделанную и усаженную фруктовыми деревьями, виноградными и огородными овощами. После первых уверений в дружбе и в привязанности заказал он жене русский чай, а меня повел на гору, где на каждом <шагу> и Тарант и его окрестности с разных сторон нам представлялись. На тропинках, по коим мы взбирались, уставлены беседки и скамьи, и ни с одной вид не похож на другой. Когда взошел я на самое высокое место горы его и окинул взглядом все вокруг лежащее, то я почти позавидовал счастию профессора. Он сам его чувствует и уже не ропщет по-прежнему ни на правительство, ни на судьбу, а наслаждается бытием своим. Везде устроены места для отдохновения, и каждое посвящено или дружбе, или России — или воспоминанию.

Мы толковали о литературе, о ненависти немцев к русским, о его счастии и всеобщем благожелательстве и о благодарности к другу и отцу Карамзину, которого сочинениям он обязан своим благосостоянием и, следовательно, семейственным и гражданским счастием теперешней жизни его. — И в самом деле он беспрестанно обращался к Кар<амзину>, а я

слушал его с наслаждением и грустию, думая, что не только говорить о нем, но и слушать его мог бы в сии минуты, в которые занимал *мое* место у чайного столика. В кабинете — один портрет — Карамзин! Конечно, из ученых германских Тапе — не блистательный, но имя Кар<амзина> сделало его для меня на ту минуту интересным.[5] Признаюсь, и натура, которая здесь приняла его в свои объятия, наводила в глазах моих какой-то интерес на земного счастливца. Он объяснил мне древности города, его развалин; положение академии лесоводства, где около 60 воспитанников и едва 5 на казенном содержании; прочие должны доказать 16 <1 нрзб>, чтобы иметь право вступить в сие училище. Это напоминает по крайней мере 17-е столетие, но будем благодарны и за то добро, которое, хотя и с примесью предрассудков, изливается на общество. Тут же видел я и Шеля, издателя и сочинителя книг и книгопродавца. Тапе дал мне записку к Алюссу, но ночь наступила, и я между утесов, мраком и лесами осененных, в какой-то приятной задумчивости возвратился домой, не заехав к Алюссу, который живет на дороге. Впрочем, я помню его как проповедника, а сегодня читал защищение прав королевских на введение новой литургии. Ex ungue leonem или — другое животное познавать научайся.

Жалею, что завтра не увижу Бастеи и проч., ибо должен обедать у посланника, а потом собраться снова в путь на Карлсбад.

6 августа. 12 часов вечера. Завтра в 5 часов утра выезжаем, не отслушав даже кат<олической> обедни во дворце. Сегодня были у Фридрихса в atelier. Его слушали, а картины его смотрели с необыкновенным удовольствием. У него какая-то bonhomie, которая нравится, а в картинах — его воображение романтическое. Он выражает в них обыкновенно одну простую мысль или чувство, но неопределенное. Можно мечтать над его произведениями, но ясно понимать их нельзя, ибо и в его душе они не ясны. Это мечтания — сон, видения во сне и в ночи. В предметах природы часто избирает он самое простое положение. Льдину, волнуемую в море; несколько деревьев, в долине растущих; окно его комнаты (из коего, впрочем, виды на Эльбу прелестные); задумавшийся над развалиной или над памятником рыцарь; монах, вдаль или в землю устремивший взор свой, — но все трогает душу, погружает в мечтательность, все говорит, хотя не ясно, но сильно воображению!

Так и слова его: он сам говорит, что объяснить ни мысль, ни картины, их изображающие, не может, а всякий пусть находит свое, т. е. свою мысль в чужом изображении: так — сова в мрачных облаках; так — терновый венец в радужном сиянии солнца. Первая картина (у вел. кн. А<лександры> Ф<едоровны>) для меня непонятна, вторую постигает сердце страдальца-христианина (прочесть о нем в J.-P. Richter).

Живописца Даля, так же как и Фрид<риха> профессора здешней академии, не успели видеть. Спешили к Ханыкову, где обедали с мелкопоместными дипломатами и с некоторыми русскими.

Ввечеру пошел я бродить по берегу Эльбы — и любовался на мосту берегами ее и захождением солнца; потом — в отель на террасу и простился с сим гулянием — не знаю надолго ли?

Вечер провели у нас гр. Завад<овская> с Поликарповой и Филиповой.

Поутру получил предписание Крейсига для Карлсбада и имел с ним продолжительную конференцию.

Письма Оленина и Бул<гакова> обрадовали тем, что теперь принужден буду не заживаться в чужих краях. Писал к Кар<амзину> и Жук<овскому>, гр. Толстой и к Булг<акову> и к Оленину. Из Карлсбада напишу к Софье Петровне, которая утешала меня в грусти и в сиротстве.

В 8 часов утра приехали мы в Пирну и, оставив здесь коляску, пошли в Зоненштейн по крутой каменной лестнице, в горе вделанной. Нам указали вход в гофшпиталь, и первый, кого мы издали увидели, был Батюшков.[6] Он прохаживался по аллее, вероятно, и он заметил нас, но мы тотчас вышли из аллеи и обошли ее другой дорогой. Нас привели прямо к доктору Пирницу, а жена его, урожденная француженка, нас ласково встретила. Мы отдали ей письма Жук<овского> и Кат<ерины> Фед<оровны> для доставления Ал<ександре> Ник<олаевне>, и она рассказала нам о состоянии болезни Батюшкова. Потом пришел и Пир<ниц>, физиономия его тотчас понравилась, обращение еще больше. Узнав о причине нашего посещения Зоненштейна, он повел нас прежде по больным, и первый, встретившийся из них, узнал в брате старого геттингенского товарища, прусский Regierungsrath. Его сумасшествие веселое. Он обнял брата, пожал у меня руку, спрашивал о П<етер>бурге, о государе, о великой княгине и просил меня доставить государю какие-то бумажки, которые я возвратил после доктору. Осмотрев других больных как муж<ского>, так и жен<ского> пола, мы видели также и различные механические средства, кои здесь употребляются над больными. Все они отличаются тем, что доказывают человеколюбивую методу доктора... Доктор любим больными: все встречают его с улыбкою на лице. Он говорит с каждым добродушно. Многие шли в церковь: это было воскресенье. По двору ходил один, который почитает себя богом.

Но сколь ни внимательно слушали мы доктора, с нетерпением ожидал я извещения о Бат<юшкове>. Он не полагает его безнадежным. Теперь он принимает лекарства, но не иначе как в присутствии доктора; сердится на Ханыкова, полагая, что он произвольно держит его в Зоненштейне, писал к нему раза два и требовал освобождения. Доктор находит, что он имеет einen festen Sinn, характер или упрямство, которое преодолеть трудно. Осмотрев все заведение и полюбовавшись окрестностями, кои издали прелестны, мы пошли в квартиру док<тора> вне больницы, в которой содержит он 4 пенсионеров и где живет и Ал<ександра> Ник<олаевна> Бат<юшкова>. Она вся задрожала, когда нас увидела, едва в силах была говорить и успокоилась не скоро. Первое слово ее было о брате. Она спросила нас: дает ли нам надежду доктор? Я старался уверить и успокоить

ее и со слезами умиления смотрел на эту жертву братской любви. Нельзя без почтения, без уважения видеть ее! Она так трогательна и внушает, однако же, не сожаление, а высокое уважение к ее горячему чувству. Все и всех оставила — и поселилась между незнакомыми, в виду почти безнадежных страдальцев; к счастию, в религии нашла опору, в любви своей к брату — силу, а в докторе и в жене его — человеколюбие и сострадание. Она всегда с ними и хвалит их добродушие и человеколюбие с больными, которым всю жизнь посвятили. Даже и обедают всегда с ними. Доктор едва находит время ввечеру провести несколько минут за чаем с своими домашними, к коим принадлежит и Ал‹ександра› Ник‹олаевна›. Она радуется детьми их, гуляет с ними — и приобрела не только почтение, но и любовь их.

Она видела только один раз брата, провела с ним целый день, но он сердился на нее, полагая, что и она причиною его заточения. Он два раза писал ко мне, но Ал‹ександра› Ник‹олаевна› изорвала письма. Если я не ошибаюсь, то он, кажется, писал ко мне о позволении ему жениться. Жук‹овского› любит. Да и кто более доказал ему, что истинная дружба не в словах, а в забвении себя для друга. Он был нежнейшим попечителем его и сопровождал его до Дерпта и теперь печется более всех родных по крови, ибо чувствует родство свое по таланту. — Везде нахожу тебя, Жуковский, но более и чаще всего — в своем сердце.

My heart untravelled fondly turns to thee!

Ал‹ександра› Ник‹олаевна› уступила мне одно письмо Бат‹юшкова› к Ханыкову и памятную записочку об Италии, где началась болезнь его...

Дорога от Зоненштейна есть разнообразная цепь гор, долинами прерываемая; развалины замков, рассеянные домики и деревни.

Петерсвольф — граница. За 2 гульдена — не осматривали; мы въехали в Богемию, и признаки католицизма встретили нас на границе и продолжались всю дорогу, охраняемую ликами святых и крестами. Кульм — воздвигаемый памятник авст‹рийским› и уже воздвигнутый прус‹ским› королем. — Но самые горы будут вечным монументом русской храбрости. Слава русских не погибнет с шумом, но сойдет к потомству, как восходит пар с долины Кульма и дымятся горы его вечно, вечно, «*есть ли бы на земле было что-либо бессмертное, кроме души человеческой!*».

Граф Коллорадо — лик его, на железе изображенный, лежал уже у подножия памятника, который готовят — не нам, вероятно, а австрийцам. Имя Остермана известно всем.[7]

Развалины Энгембурга — за милю от Карлсбада. Я узнал некоторые места и развалины по тем картинам и по описанию Мейснера, которое некогда еще брат Андрей купил или Жук‹овский› подарил ему.

Приближаясь к Карлсбаду, мы спускались по излучистой дороге, которая шла вокруг гор, и почти при въезде в город встретили Николая, шедшего к нам навстречу. Это было в пять часов пополудни. Цвет лица его

показался мне хорошим, но этому причиною был жар. Скоро узнал я, что здоровье его худо поправляется и что в Италии было ему лучше. Здесь опять воды слабо действовали. Я ожидал найти его цветущим, а не желтым, каким после его увидел. Это меня огорчило и произвело какое-то уныние, особливо, когда и из слов его заметил есть ли не безнадежность в выздоровлении, то по крайней мере грусть, всегдашнюю спутницу продолжительных болезней. Веселость моя, едва возвратившаяся, опять прошла, и я стал смотреть на жизнь в Карлсбаде и в чужих краях другими глазами. Будущее задернулось облаком, и наше *вместе* представилось мне уже мрачным.

Отдохнув и помывшись, мы пошли бродить по городу и вокруг его, по утесам, памятным мне в описании оных братом Андреем, бывшим здесь с гр. Ан<дреем> Кир<илловичем> Разумовским. Я узнал и некоторые памятники и знаки, поставленные в разных местах над городом, и долго смотрел на три крестика, возвышающимися над всем Карлсбадом. Здесь и брат Андрей любовался и пленялся натурою; здесь и его светлая душа вкушала наслаждения, кои прошли как сон его прекрасной, минутной жизни! — Письма его отсюда сохранились, и я жалею, что не взял их с собою. С каким чувством прочел бы их в том самом месте, где он мечтал и жил для друзей своих — и для меня. — Мы все живы..... Мысль о нем — всегда приводит меня и к Н<иколаю>. И он не от мира сего! Но мы еще *вместе*, в одном мире, в одном городе, почти в одном доме...

На другой день, т. е. <пропуск> июля, я начал пить из Mühlbrunnen и, по совету Крейсига, выпил четыре стакана. Ввечеру доктор Мутербахер велел пить и Schloßbrunnen. Я нашел здесь много русских, представился цесаревичу, который говорил с нами с полчаса; вечер провел у гр. Бобринской. Обедал в Саксонской зале с Чаадаевым и опять бродил по горам.

Вчера был у Дрезеке, но он шел со двора, и я едва успел его видеть; сегодня он был у меня, но ему отказали, и он оставил карточку. Здесь и поэт Багезен, постараюсь с ним познакомиться. Он друг и товарищ Матисону, и я читал с удовольствием стихи его.

У гр. Бобр<инской> возобновил я знакомство с гр. Эдлинг, урожд. Стурдзою, и в памяти своей — все, что она проказила во время оно. — Мы говорили долго и с жаром. Я обвинял ее и брата ее; во многом и она ни себя, ни брата не оправдывала, например в протекции Бадеру, который и ее обманул и утаил часть денег, собранных ею для греческого общества. Князя Гол<ицына> хвалят за его сердце, в этом мы согласны, но она не знает влияния его на просвещение и участие в сем и брата ее, который некогда раздроблял и межевал области наук и прельстил кн. Г<олицына> своею ученою номенклатурою и энциклопедическим обозрением всех отраслей наук и искусств, но Ст<урдза> только ошибался: намерения его были чистые. Об нем можно сказать то же, что сказали о Павле I: «D'autres ont fait le mal, lui a mal fait le bien».

Ежедневно бываю у источников и, осудив себя на *вольное страдание*, пью да гуляю.

Я часто думаю, что действия наши, по-видимому, минутные или скоро преходящие, имеют последствия, коих не предвидит и самая утонченная прозорливость. Наказания так далеко отстоят от преступлений, что надобно преследовать часто всю прошедшую жизнь, чтобы добраться до причины того, что с нами в конце оной случается. И мы часто дорого платим за то, что, по-видимому, дешево нам достается...

4 августа. Сегодня после обеда в 6 часов побрел я на высоту, называемую Hirschsprung, с которой, как говорит предание, бросился олень и открыл Карлу здешние источники. Я еще не видывал такой великолепной панорамы. Карлсбад со всеми его окрестностями и во всех своих извилинах, город, проулки, горы, леса были под ногами моими. Я любовался и восхищался в одно время. — Шум города умолкал на сей вышине, и едва достигало до меня жужжание низкой долины, где расстилался Карлсбад и вилась его речка, как нить, разделяющая карточные домики...

21/9 августа. Вчера подошел к нам трем цесаревич; мы хотели встать, но он троекратно удержал нас и начал разговор, который кончился через 2 часа с половиною. Мы почти во все время сидели, а он стоял и от одного предмета переходил к другому: начали с газет, а в течение разговора доходило было и до Фотия, до почтеннейших Петра и Ник‹олая› Егор‹овичей› Свечиных, Есипова, Бориса Юсупова, Нарышкиной (М‹арии› Антоновны), до законов уголовных, семеновской истории и убийцы Батурина, потом опять к водам и о Польше и ее духовенстве; словом, о многих и о многом. Он любезен и иногда остроумен. Сегодня из окна опять остановил меня и напомнил вчерашнее и спрашивал о слышанной мною проповеди...

22/10 августа. В книжной лавке встретил я сегодня Вибекинга, geheimen Rath und Ritter, известного своими географическими картами, гидравлическими и механическими работами в разных европейских государствах и, наконец, теоретическо-практическою гражданскою архитектурою, которой первые три части и систематический реестр к оным уже вышли, а скоро выйдет и последняя, 4-я. Я спросил о книге Гете о древностях Рейна и Мейна — и он, вместо книгопродавца, сказал мне о содержании сей книги. Узнав, кто я, он пригласил меня к себе на квартиру показать литографические рисунки гражд‹анской› архитектуры и прочесть главу своей книги об истории гражд‹анской› арх‹итектуры› в России. Я пошел с ним — и не раскаиваюсь, что пропустил прогулку и беседу с цесаревичем. В главе о России нашел я много неверностей исторических и еще более недостаток в местных сведениях и в образе строиться простого народа; но нашел и много нового, для меня неизвестного о архитекторах, бывших в России. Многие и из новейших книг, в коих есть рисунки строений старинных, особливо московских, например Lial описание Москвы, прошедшего года вышедшее, и прочие ему неизвестны; но многое мог бы и русский любитель

нестарой старины заимствовать из книги Вибекинга. В чертежах есть и русские, например дворцов и церквей п<етер>бургских, с показанием архитекторов и времени построения или зачатия.[8] Некоторые неизвестны; да вряд ли и в России не забыты уже? — Я пожалел, что наша Академия художеств не знает о сем творении и что государь только на один экз<емпляр> подписался. Напишу в П<етер>бург о заплате В<ибекинг>у за экз<емпляр>, доставленный вел. кн. Николаю Павл<овичу>, который получил только первую часть. Виб<екинг> думает, что гнусные поступки братьев Бадеров причиною тому, что государь не взял большего количества экз<емпляро>в его книги, классической и почти единственной в своем роде, ибо она соединяет историю зодчества в Европе, как-то в Италии, Германии, Англии и Франции, но и вместе и практическую часть сего искусства и представляет вернейшие планы, разрезы и исчисления, так что итальянцы-художники учились в Вибекинге истории построения некоторых зданий, над завершением коих сами трудились. Чего не преодолеет германское трудолюбие — и в этом их гений, и Бюффон прав, что, впрочем, не должно лишать их права на гений, который, по словам поэта,

Еще до начала сраженья победой увенчан.

Когда буду в Мюнхене, то зайду к нему. Он пригласил, чрез меня, и брата.

Сын его служит в Шпейере по той же части, и он написал мне в сей книжке его адрес — и предворил его обо мне.

Вибекинг служил еще Фридриху Великому, думал о наводнении П<етер>бурга и интересен для нас еще и потому, что трудами его в 1784 году и частию под его руководством в 72 листах сняты планы (военно-топографические картины) с Netzdistricte und Cujavien (nahm selbst auf). Он дал мне и полный каталог трудов его.

Есть ли бы сочинения его об архитектуре всех народов не были так дороги и огромны, то их можно бы было взять с собою в руководство при путешествии в Германии, Франции, Англии, Гишпании и Италии — и они служили бы вернейшим указанием на чудеса зодчества в разных веках и у разных народов. Ничто не образует так и самый вкус — после настоящего созерцания.

Вчера был он у вел. князя и много говорил о наводнении п<етер>бургском и о средствах отвратить оное на будущее время; но ни одного из предложенных не одобряет, а своего не предлагает, ибо не знает местного положения, хотя и описывал Кронштадтскую пристань и снял с оной такие планы, коим и государь, который видел его при Наполеоне в Эрфурте, удивился и сказал ему, что не понимает, как он мог достать их — ибо в России, по мнению государя, хранятся они в строгой тайне. Гр. Румянцев в Эрфурте же предлагал Виб<екинг>у взять на выучку 10 русских инженеров; он принял предложение, условие подписано; но он повидался с Спе-

ранским — и из П<етер>бурга написал к нему гр. Рум<янцев>, что ничто не состоялось и что контракт разрушается. — Впоследствии это послужило к счастию Виб<екинга>, ибо что подумали бы вестфальский король и Наполеон, узнав о сношении его с русским правительством.

Виб<екинг> сказывал мне также, что еще не доплачено 10 т<ысяч> франков за телескоп дерптский и что художник намерен обратиться к государю (написать к Мойеру о сем)...

24/12 августа. Вибекинг познакомил меня с Шеллингом. Я не ожидал встретить в К<арлс>баде первую теперь мыслящую голову в Германии. Он пригласил меня к себе. Я просидел у него с час. Говорили о Балере, а Шел<линг> рекомендовал мне участь проф<ессора> виленского *Голуховского*, которого очень хвалит. Я справлялся о нем у гр. Нессельроде и завтра успокою Шеллинга.

Он издает новое сочинение в 3 частях. Теперь живет, но не служит, а только учит в Эрлангене...

25/13 августа. Ввечеру Шеллинг подошел ко мне и с таким добродушием говорил со мною о своей философии, о содержании издаваемой им ныне книги, в которой изложил он всю систему свою, как о трансцендентальной, так и о нравственной философии, и о религии, понятным образом и для дилетантов. Он избрал форму мифологических исследований — для того, что в ней все соединить можно и перейти к началу всего.[9] Обхождение его так ободрило меня, что я спросил у него о причине ссоры его с Якоби, которого люблю и уважаю за некоторые страницы в его Вольдемаре и за понятное изложение нравственной системы Канта. Якоби виноват, ибо начал нападение на Шел<линга> и начал в то время, когда был президентом Академии, коей Ш<еллинг> был только членом, следов<ательно> почти подчиненный ему. Не называя его, а только ясно обозначая его книгу, он называл его безбожником. Шел<линг> отвечал ему.

Теперь он является снова на поприще интеллектуального мира, с полною системою мнений своих, уже не отрывками и не в облачной терминологии изложенною, но ясно и открыто. Теперь, говорит он, пусть судят меня, мою религию, начала, на коих воздвигаю мою систему.

Я спросил его, задолго ли до своей знаменитости, или до появления первой книги его, был он учеником Фихте, полагая, по изданной о нем биографии, что он у него в Иене учился. Но Шел<линг> отвечал, что он не был учеником Фихте, а только один раз слушал его лекцию, желая воспользоваться блистательным способом преподавания лекций Фихте, что о сем ошибочно сказано было в Conversations-Lexicon и что он не учеником Фихте, а товарищем его был в Иене. Шел<линг> уверяет, что он совсем неожиданно для него сделался начальником филос<офской> партии и произвел в то время такое действие на умы в Германии, дав им новое направление в области метафизики, что теперь почитает он своею обязанностию предложить все начала свои удовлетворительным для

всех образом и для того издает свою книгу, которую пришлет ко мне в Париж.

От философии перешли мы к другим отраслям германской словесности и признавали ощутительную скудость оной в наше время. Между историками едва можно поименовать Раумера, но и его книга наполнена рассуждениями поверхностными и полуистинами. Герен давно ничего нового не издал, а книга его о Греции — недостойна старших сестер своих, т. е. первых частей его Идей о Европе и Азии. Риттер в географии более всех теперь отличается своим всеобъемлющим взором, но и он сбился на мифологические догадки, в другой книге. Один блистает человеколюбием и обширными сведениями — Нибур, из государственных советников в Берлине сделавшийся профессором в Бонне. Он предпочел Древний Рим — кормилу правления, которое держал неверною рукою. Это явление принадлежит нашему времени.[10]

Расставшись с Шеллингом, я встретил гр. Нессельроде, который увел меня к Зонтагу, высочайшее место из здешних окрестностей. Сперва остановились мы у так называемого Вавилона и заказали шоколад, для возвратного пути. И отсюда виды уже прелестные с обеих сторон: с одной — Карлсбад виден до самого Постгофа, с другой — отлогие горы, испещренные разноцветными нивами, деревеньками, мимо коих пролегает дорога и в Эгру, в Лейпциг и в другие места. 160 сажен еще до *трех крестов*, кои снизу кажутся весьма в близком расстоянии и от Вавилона и от Зонтага. От трех крестов вид самый разительный и прелестный, хотя Зонтаг около 400 сажен выше их. Они не окружены деревьями, которые заслоняют лучшие точки с Зонтага. Мы пробыли здесь до тех пор, как уже совершенно смерклось и окрестности скрылись от глаз наших: только один огонек блистал вдали и вблизи на различных возвышениях. Взошла луна и осветила нам слабым светом своим возвратный путь наш. Вся прогулка продолжалась около трех часов, а мы отдыхали менее получаса на дороге.

Сюда буду чаще взбираться и один с книгою или с своими мыслями, с мечтами и с чувствами, которым душа в сих местах так охотно и свободно предается.

Послал сочинения Эберта[11] с гр. Шадурским к Булг<акову>. Писал к нему, к Кар<амзину> и к Путяте, со штафетою вел. княгини к Нефед<ьевой> и к Молово...

26/14 августа. После обеда опять я долго гулял с цесаревичем и говорил опять много и о многом: военные поселения. Я уступил ему тетрадь о военных пос<еления>х. Кажется он не расположен к ним. Замечания его о полку, который в сражении потеряет половину — и тогда деревня, к которой он приписан, опустеет. Неуравнительность в растрате людей. О семеновской истории. О М. Орлове и о его ланкастерских таблицах. Хвалит Воронцовские и удержал и ввел и употребляет их по сие время у себя. Глинка. Не определен инспектором в Каз<анский> корп<ус>,

хотя цес<аревич> и представлял о нем гос<ударю> по желанию Коновницына. Я старался оправдать Гл<инку> и выставить его в настоящем виде, как энтузиаста ко всему доброму, не вмешивающегося в политику.[12] — Лунин. Н. Муравьев. Поездка их в военные поселения. Старался оправдать их, особливо Мур<авьева>. — Андреевский! — Греч, которого цес<аревич> смешивал с однофамильцем его. — О Сперанском. Отзывы о Карамзине. Фовицкий сказывал мне, что читает ему ежедневно его «Историю». Обед в день св. Георгия и в два полковые праздника.

Расставшись с велик<им> кн<язем>, я опять пошел к Зонтагу, но уже прямою дорогою, по тропинке весьма узкой и каменистой. Я с трудом и усталый взобрался по крутизне горы и вышел на дорогу уже между трех крестов и Зонтагом. Не доходя до него, сел отдохнуть на скамью, с которой, чрез деревья, смотрел на заходящее за горы солнце. У трех крестов. Отсюда свободно открывалось предо мною почти полукружие всех окрестностей Карлсбада. Гора одна над другою воздымаются; а вдали кое-где от лесных испарений курился фимиам тому, который висит над головою моею между двумя разбойниками! Здесь, в сии блаженные минуты, я все постигаю и конечно не слабым умом, но чувством и тою душою, которой возношусь над сими горами и падаю к ногам распятого!

Взбираясь сюда я намеревался, отдыхая на скамье, прочесть несколько страниц из Жан-Поля, которого ношу с собою, но что скажет он мне, что бы теперь сильнее не отозвалось в моем сердце!

От трех крестов (386 сажень от Зонтага) спустился я в Вавилон, еще 133 сажени ниже трех крестов. Солнце совсем уже закатилось. Часть неба покрылась ярким пурпуровым цветом. Начинало темнеть и в воздухе распространилась уже вечерняя свежесть. Я дождался у камер-обскуры луны. Она взошла и осветила другим светом потемневшие леса и горы. Все было тихо и в душе моей и в окружавшей меня природе. Я насладился еще несколько минут и сею красноречивою тишиною, и благодатным влиянием прекрасного вечера и неизобразимых теней, рисовавшихся между лесов, долин, и наконец какою-то торжественностию прохладной ночи. — Взор мой старался проникнуть вдаль, но бледный свет луны ему не благоприятствовал. Я пошел в палатку, и добрый чех напоил меня опять шоколадом. В 8 часов я начал по большой дороге спускаться к городу, один, по горам, окруженный дремотою лесов...

29/17 августа. Сегодня познакомился с Багезеном, датским поэтом, автором «Партенанцы» и разных мелких стихотворений, более эротических. Он за 34 года пред сим путешествовал с Карамзиным, помнит его.[13] Знает Блудова, Мих<аила> Орлова. С восхищением, со слезами на глазах говорил о принцессе Ловиц — и теперь, по словам его, закроет глаза навеки, ибо другого, подобного ей ангела, уже более на земле не увидит. Готовит какую-то новую поэму, отдохнув 15 лет после издания последнего своего сочинения. О теперешней нем<ецкой> словесности говорит с сожалением; даже и ученые труды Гете, о которых я ему напомнил, по его мнению не

заслуживают той славы, коею возвеличили их литераторы-журналисты, ожидая такой же похвалы и от Гете. 34 года странствует Баг<езен> по Европе и знакомится со всеми; от кедра — до пиона; от Наполеона — до меня...

30/18 августа. Сегодня был у меня два раза Багезен. Поутру просидел более двух часов и помешал мне гулять, и с час после обеда. О чем и о ком не говорил он? — О литературе судит здраво и, кажется, беспристрастно. Шеллинга, ни его философию — не любит, и совершенно винит его в ссоре с Якоби, называя последнего немецким Платоном (Статья в Ж. Поле «Jakobi, der Dichter und Philosoph»). Он восхищается нравственным характером Якоби и изображает его мудрецом в жизни и в сочинениях. Я рад, что нашел подобное моему мнение о Якоби. Ж. Поля описывает, как уже отцветшим, сухим и педантом в обращении. Знавал Наполеона, Лафайета, Benj. Constant, Mad. Stahl и отца ее. Долго жил в Париже, но выговор сохранил датский. Обещает издать 15-летний плод трудов своих. Страдает и пишет беспрестанно. Знавал Фихте и рассказал мне любопытное первое знакомство Фихте с Кантом. Он желал представиться германскому Аристотелю и обратить его внимание к себе, приехал в Кенигсберг и прежде, нежели пошел к нему, решил сделаться ему известным произведением оригинальным, заехал в трактир и написал первое свое сочинение: О религии.

Кант прочел, изумился, и Фихте сделался его частым собеседником в пребывание свое в Кен<игс>берге...

1 сентября/19 августа. Багезен читал мне свои стихи в ответ на послание к нему шведа Бринкмана. Последнее более мне понравилось. Оно короче ответа и в нем более огня. Баг<езен> напротив утомил меня 36 страницами.

После обеда Вибекинг показывал мне сочинение свое и планы водяным строениям — über die Wasserbaukunst; [14] тут видел я и доктора Пешмана, которого совету последую завтра.

Я заходил к мюнхенскому еврею — и видел у него шпагу принца Евгения, осыпанную бриллиантами, с французским имперским орлом. Он продает ее за 1500 дукатов. В мантии его, которую он носил, как вице-констабль, в Мюнхене играют на театре, при представлении «Жанны д'Арк» — Sic transit gloria mundi!

Виб<екинг> показывал мне венского ценсора (Рупрехта), который осматривает все книжные лавки в империи; доносит о запрещаемых Меттерниху. Недавно и здесь взято полицией книг на 2 т<ысячи> гульдинов у книгопродавца. Виб<екинг> уверяет, что ни горничная девка, ни камердинер, без совета Рупрехта, к императору не принимаются.

В Париже кланяться от Виб<екинга> — Cuvier и директору des ponts et chaussées <пропуск> и осмотреть институт его в 12 часов.

2 сентября/20 августа. Сегодня видел я у Шпруца Шеллинга и — Дюпора, дружно разговаривающих; заметил Ч<аадаев>у расстояние между

головою одного и ногами другого;[15] но приятель мой отвечал мне: Есть, однако, между ними нечто общее: Tous les deux ont été dans les espaces? Дюпор оставил свое ремесло и с блистательной сцены, на которой видела его вся Европа, сошел в мирную долину, близ Вены; купил себе там домик и живет в нем с миловидною женою своею, в полной независимости, благодаря ногам своим. Вот и еще с Шеллингом сходство: в нем практическая философия — в том умозрительная. Кто из них довольнее своею участию? Пантеист ли — или le premier caracoleur de l'Europe, как называет Дюпона Лафероне.

«La religion étant la raison des choses», comme le dit M. de St.-Martin, «aucun développement intérieur ne pourrait être interdit par elle». Вот ответ обскурантам и всем тем, кои хотят противиться успехам просвещения, ответ католическим правителям, кои думают удержать свет реформации, во все поры во владения их проникающий и никакими заставами, цензорами и военными массами не отразимый. Напротив: в Австрии и в России блеснул он в последнее время со штыками, кои победа вынесла из бурной Франции...

В Байрейте видеть J. Paul. Сказать ему, чтобы не переменял ничего в своих сочинениях при новом издании, чтобы скорее напечатал полное издание; ибо он очень болен и может умереть скоро. Два замечания на его замечания в критике на Mad. Stahl о нем<ецкой> литературе...

4 сентября/23 августа. Город пустеет примерным образом. На улице нашей, самой многолюдной, уже мало движения. Только поутру, во время обедни, город оживился. Ввечеру, когда зажглись огни, мало их было видно в окнах. В Саксонской зале обедали, кроме нас, только уже двое. Пасмурная погода и дождь навели грусть и на меня. Гулял мало и, возвратившись скоро домой, принялся читать Державина, который напомнил мне детство, или по крайней мере первую молодость и брата Андрея. Я читал его с ним на берегу Волги и Колмогора. Памятник Герою — памятен душе по первым впечатлениям, им произведенным. Мы читали его в ссылке — прежде нежели знали жизнь Репнина.

27 августа/8 сентября. Купил книжку Багезена «Der Karfunkel oder Kling-Klingel Almanach»,[16] по рекомендации Куно, который подарил мне свое сочинение, и досадую, что бросил деньги по пустому и потерял $^1/_4$ часа на чтение. Как можно так несчастливо подражать Ж. Полю и написать 100 глупых сонетов в насмешку над сонетистами того времени в Германии (1809 года). В досаде пошел к автору ее. Но страдания его физические удержали меня от упреков; а он, как обыкновенно с автором случается, о худшем своем произведении говорит мне как о примечательнейшем, и полагает, что эта книжка подействовала на вкус той эпохи и удержала сонетистов. Главные из известных осмеянных авторов суть: Тик, Шлегель, Вагнер и проч. Но, кажется, он имел в виду и философов: по крайней мере имена их тут так, как и m-me *Сталь*, под именем m-me *Dacier*. Каламбур, которым автор очень доволен...

9 сентября/28 августа... Я встретил Шеллинга на дороге к Постгофу, долго разговаривал с ним о сочинениях St.-Martin; он читал некоторые из них; нашел в них свои мысли — и не хочет читать другие до тех пор, пока не издаст полную систему свою, дабы не мешать развитию собственных мыслей своих, так как он не читает почти ничего из области философии и мистики. Он называет St.-Martin — ein geistiges Cadaver потому, сколько я понял, что в нем много истинного духа; но не развитого, сокрытого в мертвой шелухе. Он не успел или не мог раскрыть все, что было в нем духовного.

Шел<линг> сказал мне, что жалеет, что не может объяснить хода или, лучше, внутреннего развития своей системы, — а я еще более о сем жалею, ибо его словесное объяснение послужило бы мне при чтении книги его в Париже...

13/1 сентября. В первый раз ходил к колодцу кислой воды, Sauerbrunnen, который устроен параллельно с дорогою в Постгоф, в итальянском вкусе. Простой народ пьет эту воду вместо квасу, особливо в жаркие дни, и уверяют, что и в жар она не вредит и <не> простужает.

После обеда с Моденом и с Сережей ездили за 2 часа отсюда в Эльбоген, уездный городок, из старой крепости построенный и лежащий в глубокой долине. Старый замок Эйхе, полуразвалившийся, стоит на крутом утесе и почти окружен рекою Эгрою, которая обтекает замок почти со всех сторон, кроме той, по которой выезжают в город. Вокруг крепости идет дорожка. Вид прелестный, и окружность живописная. Мы ходили в ратгауз, где показывали нам аеролит, упадший, как полагают, с неба. Клапрот, Вернер и Мейтербах (!) рассматривали его; отослали часть в Вену; но с цельного сняли слепок, который и сохраняют в здешнем ратгаузе.

Из древнего замка сделали тюрьму, где теперь находятся колодники со всего уезда. Жилища их почти в земле и чистоты неприметно. В одной из комнат замка рыцаря Шенау видел орудие пытки, некогда и здесь бывшей. Лестница с колесом, на которую привязывали страдальца ремнями и вытягивали его так, что кости из суставов выходили. Я сам имею Codex Theresianum (имя женщины-матери украшает законы, кровью и злобою писанные!), где все орудия и все роды пытки изображены. Для богемцев, яко сильнейших по натуре, степени пытки усилены! — Зоненфельс! Я подумал о тебе — благодетель человечества! — увидев сии памятники невежества и ожесточения между древностями, с орудиями хлебопашества. Давно ль восставал ты смелым опровержением закона, который противен человеколюбию и справедливости; ибо основан на слабости человеческой, а не на правосудии и более устрашает слабого и невинного, чем закоренелого и ожесточенного преступника. Мордвинов! Когда кнут будет у нас лежать с древностями, хотя бы и в Грановитой палате, то имя твое перейдет в потомство с именами Говардов и Зоненфельсов; а кн. Л<обановых->Р<остовски>х герб укра-

сится изображением кнута с девизом: близ царя близ кнута! честь променял на кнут?? или иначе: без чести и без кнута и без места. — Историк — ибо и подвиги подлости принадлежат иногда истории — объяснит смысл сего девиза! — Territion — род пытки, только страхом.

Эльбоген, т. е. локоть, точно местоположением своим напоминает фигуру локтя. В 30-летнюю войну была пограничною крепостию. См.: Conv<ersations>-Lex<icon> и Шиллера «Wallenstein».

17/5 сентября... Между тем как в отчизне всякий нищий, каждое поле, худо обработанное, свежие развалины или явная нищета деревни, или слух о злом притеснителе-помещике смущают его <путешественника> душу и располагают ее к какой-то продолжительной внутренней досаде, отравляющей все наслаждения природою и любовию, — в чужом краю те же явления не производят сего действия или по крайней мере оно слабее и умеряется или оказанною помощию, или сравнением с новыми более утешительными явлениями, или при взгляде на божий мир, не обезображенный на ту минуту рукою человеческою! Путешествуя в чужих краях, gazing at mankind хотя и не так, как бы на диких зверей в клетке, то по крайней мере как на собрание редкостей, коим дивимся, не трогая оных — и не будучи тронуты ими! Но в России — кто проезжал в<оенные> п<оселения> и смотрел на них с спокойным духом, <не> помышляя о минутных жертвах настоящего и о ужасах будущего! .... Кто смотрел на развалины екатерининских дворцов, на сии при самом строении развалившиеся памятники необдуманных замыслов в пользу городской промышленности, — и взора горького *вперед* не обращал! Кто проезжал по Ярославским трактам и не думал о том, куда ведут эти дороги..... Губернатора к почестям, народ к разорению! — И сии деревья, изнеможенною рукою посаженные, и негодованием опять вырванные! — или иссохшие преждевременно как те земледельцы, кои, оставив поля свои необработанными, за сто верст пришли садить их!..

18/6 сентября... После обеда ходил я сегодня (в воскресенье) в Schiessengesellschaft близ Kleinversailles и видел здешних стрелков, в цель на 200 и 100 сажень попеременно стреляющих. Общества сии существуют издавна во всей Германии. К здешнему принадлежали из русских: Петр Великий, гр. Ал<ексей> Григ<орьевич> Орлов и кн. Ф. С. Голицын. Сохраняют три меты, в кои державная рука северного героя попадала — и не без благоговения смотрел я на сей памятник забавы его. — Гр. Орлова портрет, в каске, также здесь хранится и щит, в который попал он: на нем изображен лев, с русскою надписью, выражающую неустрашимость русских..... Он жил здесь во время цар<ствования> императора Павла — и укрывал себя и, как сказывают, богатую невесту свою от женихов того времени, сильных при дворе самодержца.....

Петр I подарил стрелкам 20 ведер вина. Кн. Фед<ор> Серг<еевич> Голицын одел всех их на свой счет и угостил — или, лучше, на счет своих наследников...

19/7 сентября... Писал сегодня к Жихар<еву> и к Кар<амзину> и послал и гравюры Бруни с Тютчевым... Последнюю ночь проводил в К<арлс>баде. Вечер сидели у нас Моден и Чаадаев. После обеда был я у Тютчева и со слезами умиления слушал его рассказ о подвигах благости несчастного друга моего в Дерпте. Она учредила на 20 человек гошпиталь; ввела обычай поочередно между городскими жителями кормить бедных, коих число, таким образом питающихся, простирается уже до 90. — И все это соединяла с исполнением прочих семейственных обязанностей, дочери, жены, матери. — И все это она взяла в гроб, оставив пример для других, и благодарность, которая усыпает ежедневно могилу ее цветами. — Мир праху твоему, друг милый, блаженная тень, которую и в этом мире видел я только в отблеске ее добродетелей и нежной ко мне дружбы — храни меня до радостного утра! ..

20/8 сентября... Выезжаем в <пропуск> часов. Прости Карлсбад с твоими источниками, с твоими горами, о которых воспоминание сохранится в душе моей вместе с теми впечатлениями, кои имела она, и с чувствами, которые в ней возбуждались прошедшим и настоящим. Первая станция от К<арлс>бада. 3 мили. Взвода... Простившись с Чаад<аевым>, поехали мы в 5-м часу из Взводы, оставив в левой стороне местечко Фолкенау, которого вид сделался с левой стороны еще живописнее и долина его, по которой течет опять и речка Эгра, привлекательна какою-то мирною, безмятежною красотою, пленительною для того, кто на закате бурного дня ищет успокоения...

22/10 сентября. Байрейт... Потом прошли к Ж.-П. Рихтеру. Жена и дочь его нас приняли. Через три минуты вошел в очках, под глазным зонтиком, худощавый старичок больной наружности, в котором едва ли можно бы узнать Ж. Поля по его портрету и бюсту, в комнате и в нашем трактире стоящим. Шеллинг предварил уже его о моем приходе. Увидев и 2 братьев, сказал он: «Вместо одного — три удовольствия». Говорили о литературе, о Жуковском, о новом издании его сочинений в будущем году, о Багезене, о греках, о России, и радовались свежестию головы его, и бодростию духа в дряхлом, больном теле. Он говорит, как пишет, сказал Ник<олай>, и это правда. Беспрестанно сравнения, уподобления, часто самые разительные своею новостию и неожиданным сходством с предметом разговора. Пробыв у него около часа, — мы расстались, опасаясь повредить его здоровью, ибо старик говорил, а мы более слушали. Он раз удержал нас, и мы остались; но, вспомнив болезнь его, решились оставить его, хотя и желали бы продолжать беседу приятную и любопытную...[17]

25/13 сентября... В Ганау приехали мы около двух часов и, отобедав, тотчас пошли смотреть город, а я, несмотря на праздник, зашел в открытую книжную лавку — и что увидел на двери? Портрет З<анда>, дурно выгравированный на нотах любимого им вальца. Первое движение было купить, как достопримечательность, знаменующую дух Герма-

нии и расположение умов там, где цензура или полиция не душит их; но подумав, что мой путь еще далек, что могу встретиться с дипломатами всех наций и всякого рода и что дипломатическая деятельность сих тунеядцев может истолковать в другую сторону портрет, который и в моем портфеле может для них не остаться тайною, — я оставил З<анда> на дверях книжной лавки! [18]

Я пошел далее смотреть город: проводник наш привел нас из нового города, Neustadt, в старый, разительно отличающиеся друг от друга. Старый — с узкими и излучистыми улицами; в новом — все чисто, улицы шире и дома другой архитектуры. Последний обязан своим построением — уничтожению нантского эдикта, которое изгнало трудолюбивых реформатов из Франции и населило, обогатило промышленность и в некотором смысле просветило Германию, и распространило и в ней вкус к языку франц<узскому> или, лучше, моду к нему в городских обществах. Влияние сего варварского ниспровержения данной раз уже привилегии — неисчислимо в последствиях своих. Надобно бы, чтобы, с одной стороны, беспристрастный немец, собрав в путешествии по разным местам северной и южной Германии все сведения о водворении там французских реформатов, при Лудвиге XIV, исчислил благодетельные от сего последствия для Германии, а француз, если можно, также беспристрастный, отвергнув всякого роду национальную гордость, показал бы нам, чего лишили иезуиты Францию, лишив ее лучших, просвещеннейших граждан; но вместе с тем один только француз может представить нам и добрую или по крайней мере выгодную сторону для французов — сего изгнания: оно, может быть, неприметным образом расположило благодарных немцев в пользу соседей их. — Ансильон, потомок выходца реформата и историк Европы, живущий в центре Германии протестантской, должен бы был заняться сим, отложа на время министериальную свою заботливость и снова подружась с музою, которая его возлелеяла и показала путь к прочной известности, если нельзя назвать славою — завоевания его в области, принадлежащей потомству...

Из Ганау поехали мы не прямо в Фр<анк>фурт, но через Вильгельмбад, куда в воскресенье приезжают из Ганау и Фр<анк>фурта. Сад и дом устраивал Канкрин, отец нашего м<инистра> ф<инансов>, который сам некогда был здешним над<ворным> сов<етником>. Мы нашли здесь множество гуляющих в саду; снаружи осмотрели мы die Burg, прекрасную, искусственную развалину, обвитую с одной <стороны> плющом, коего корни и ветви срослись со стеною. Я зашел и в крестьянский трактир, где мужики чинно и плавно вальсировали и пили здешнее вино и пиво.

Из Вильгельмбада отправились мы в 5-м часу в Фр<анк>ф<урт> и встретили богатые экипажи, открытые коляски, пр<инца> Кумберландского, брата курф<юрста> касельского, на Майне в прекрасном замке по дороге к Ф<ранк>ф<урту> живущего. Встречи сии напомнили нам, что мы приближаемся к богатому, многолюдному — и свободному городу! Въехав

в его область, сердце брата Н<иколая>, а может быть, и мое сказалось нам каким-то милым ему, приветным, но незнакомым чувством..... Но мы вспомнили, что мы с берегов Волги и Невы..... и стали снова любоваться прекрасными окрестностями Фр<анк>фур<та>, натурою, для всех одинаковою в дарах своих, кто умеет ими пользоваться, — и Майном, которого струи освещались тихим, вечерним солнцем и отражали в себе сады виноградные и цепь веселых и красивых домиков. В 6 часов мы были уже в стенах Фр<анк>фур<та> и в гостях *римского императора*; а в $6^{1}/_{2}$ я перенесся уже в Авлиду, видел Ифигению и слушал Глюкову музыку,[19] в Ф<ранк>ф<урте> оживляемую прекрасным и многочисленным оркестром и искусным талантом Добкара в Агамемноне, Низера — в Ахилле и m-lle <1 нрзб> — в Ифигении. Театр был полон. Ни одной праздной ложи, и все места заняты в партере. Хор соответствовал степени совершенству и искусству актеров, и декорации и костюмы хорошие. Бюсты Ифланда и Lux-а стоят по сторонам театра. — Близ театра другая забава; улицы наполнены гуляющими. — До завтра.

26/14 сентября. Рано поутру гулял с братом и заходил в Römer, где видели залу, в которой собирается теперь магистрат здешний, когда прежде собирались курфюрсты. Их гербы и места еще сохраняются. Потом были в зале, откуда император смотрел на народ и на фонтан, из коего било вино для народа, и на избу, в которой жарились быки и выдавались народу, во время коронации. Описание сего, кажется, в жизни Гете. Золотой буллы не могли видеть. Нужно прийти между 9 и 12 час<ами>. Я зашел к Маркелову, узнал о приезде Ан<штета>, был у него (о М<аркелове>), а на почте отдали письмо из Нюренберга от Сережи, до глубины сердца меня тронувшее. Отвечал ему в Лозанну и отправил сегодня, до 11 час<ов> письмо туда.

Был в двух книжных лавках, у Вальмана только виды и описание городов и государств с изображением разных мест. Но Бреннер усовершенствовал немецкое книгопечатание и стереотипное дело. Бр<еннер> некогда предлагал выгодный закуп у него библий и новых заветов нашему библ<ейскому> общ<ест>ву — но мы отклонили; ибо сами уже выписали стереотипного анг<линского> мастера. Он дал мне план для издания классических авторов, с примечаниями. Прочту и скажу ему мнение свое о введении сих книг в России. — Новое издание в одном томе Бейрона, им начатое; последует также в одном томе и В. Скотт, но только поэзия его.

Я долго рассуждал с ним или, лучше, слушал его о книжном деле в Германии. <1 нрзб.> надеется перещеголять не только французов, но и англичан в сей отрасли высшей промышленности. Хвалит переводчика греческих классиков, Швенке, уже издавшего перев<од> с греч<еского> и готовящегося издать новый перевод Гомера и превзойти — Фосса! Он учителем в здешней гимназии. Бреннер — племянник книгопродавца сего имени, устроившего сие давно уже известное заведение. . .

Был опять в театре: давали комедию <пропуск> и играли хорошо. Национальные, классические лица всегда немцам удаются, ибо они списывают их с натуры и подражают ей прекрасно, если только может быть прекрасное в комическом (le bas comique).

27/15 сентября... Бреннер водил меня в сад Бетмана, где устроен музей, которого главным украшением Ариадна Даннекерова. Какое совершенство резца! Какие формы! и какое положение главной фигуры и зверя, на котором она покоится. И та и другая из одного куска мрамора. Даниекер долго размышлял о положении, в коем он должен представить Ариадну сидящую, и наконец, по долгому размышлению и по сравнении различных, изобретенных им рисунков, он решился посадить ее на льва (!) и, желая сохранить всю благопристойность, одну ногу прикрыть несколько другою. От сего изменения форм тела — они сделались еще мягче, грациознее; и вид не пленяет, не разгорячая воображение и не приводя в волнение чувства, а настраивая душу к какому-то высшему сладострастию, неизъяснимому, но понятному. Свет солнца был самый тихий и падал прямо на Ариадну, которая медленно переворачивалась перед нами и, казалось, постигала движения тела своего и, полная жизни и души, вливала душу и в предстоявших. Тут были некоторые из здешних молодых художников, очарованных сим произведением вдохновенного художника. — Я не мог еще видеть Христа его в Ц<арском> селе. — От 2 до 5 часов ежедневно всякий, здешний и странник, может свободно любоваться сим храмом, посвященным изящному художеству. Тут есть и некоторые слепки, например Лаокоона. Оттуда поехали мимо памятника, фр<анк>ф<уртским>и жителями храбрым <1нрзб> (гессенцам) и пруссакам воздвигнутого, за неустрашимость, оказанную при изгнании в 1792 году отсюда французов. Груда гранитных обломков, покрытая львиною кожею и <пропуск>.

И приехали в дом общества естествоиспытателей, учрежденном при Сенелберговом заведении. Я нашел в отделении минерального кабинета сына здешнего первого бургомистра Мейера, трудящегося над составлением каталога по новой системе; другие, тоже охотники, составили каталоги по другим отделениям, например орнитологические, ихтиологические и проч. — все из одного усердия к науке и из любви к отчизне. Память Сенелберга здесь чтима, и монумент его поставлен близ места его падения, со строения, которое воздвигал наукам в пользу отчизны. Он не успел кончить плана своего при жизни; но благодарные сограждане довершили мысль его и к анатомическому театру и к клиническому институту и гофшпиталю присоединили музеум нат<уральной> ист<ории>, обогащаемый беспрестанно путешествующим ныне в Египте <пропуск>, здешним уроженцем. Он уже прислал множество зверей, птиц, рыб — и в числе оных весьма редкие. Чучелы сделаны и сохраняются прекрасно...

Гете — место рождения Фр<анк>фурт. Намерение воздвигнуть памятник на острове, в Майне близ Thor образовавшемся, который я видел с большого моста. — Вероятно, после смерти его...

28/16 сентября... Во 2-м часу ночи прибыли в Нассау, жилище Штейна, коего жизнь и славу изобразил в одном стихе Клопшток (tönt unendlich fort), не думая о нем.

Рано поутру пошел я ходить, но прежде из окна моего трактира увидел я с одной стороны живописные развалины на горе (Schlossberg) die Burg Stein, а с другой — самый замок нынешний Штейна, где патриот, cum otio et dignitate, мечтая о благе отечества, времена минувшие поминает и остатки бессмертных дней своих посвящает бытописателям и дает им новую жизнь, а чрез них и славе Германии.

Переехав реку Лану, я взобрался сперва на Berg-Nassau и на другую сторону горы Schlossberg, откуда новые виды и новые прелести. Ручей Mühlbach извивается по долине, испещренный трудолюбием, а близ нее деревеньки и — тополи, указывающие путь далее. Но вид с развалин Нассау — едва ли с чем сравниться может: в разные стороны — разные виды; амфитеатр гор перед глазами. Горы усажены виноградниками и жатвами и плодовитыми деревьями.

Развалины замка Штейна ниже нассаусских. Глубокий ров, натурою сотворенный, разделяет сии два памятника 11-го столетия. 7 веков здесь фамилия Штейна существует. — Я пошел к его развалинам, другая картина, и не менее прелестная. Вся земля у подошвы сей горы принадлежит Штейну. У подошвы горы течет Лана, а за нею Нассау — и далее горы.

В 10 часов пошли мы в замок к самому Штейну. Он принял нас в башне, построенной им в память 1813, 14 и 15 годов; в среднем этаже башни — его кабинет, и в простенках оного библиотека для древностей германских; украшена портретами героев Германии древних и новых, от Лютера, Максимилиана, Валенштейна и проч. — до Блюхера и Гнейзенау! Тут просидели незабвенные 2 часа в жизни нашей в беседе с мудрецом нашего времени, одним из восстановителей падшей пред Наполеоном Германии. (Не забыть написать к гр. Румянцеву о присылке к нему всех актов, им напечатанных).

Внизу башни — ванна. Самый замок тоже довольно древний; на дверях видел 1621 год, в комнате вырезанный. Здесь живет Ш<тейн> по летам, для вод Эмса. Он водил нас и в сад свой; кажется, как будто окружные горы принадлежат к нему и входят в состав его. И бург его видел. Он подарил нам рисунок с оного, с южной стороны снятый (Тюрнером. 1820).

Его не забудет история.

В башне, воздвигнутой Штейном, вделаны статуи: св. Георга, для России, св. Адальберта, для Пруссии, и на одной двери надписано начало известной духовной песни Лютера: «Eine feste Burg ist unser Gott». И Штейн имеет своего папу, от коего спасло его провидение, и свою Германию и Европу, для коих спасло его провидение. Уединенная жизнь его, посвященная снова отечеству, достойна его деятельной жизни в эпоху министерства в Пруссии, и в другую, для него, для Германии и для чело-

вечества славную. О нем можно, может быть, справедливее сказать, чем о Фрид‹рихе› Вел‹иком› (сказал Мюллер): «Immaculatis fulget honoribus»; а в утешение себе, не видя всех плодов созревшими, может он воскликнуть: «Et voluisse sat est». Но и совершенный им подвиг дает ему право на истинное бессмертие. . .[20]

Эмс. Не более как за милю отсюда лежит Эмс у берегов Ланы. Мы проехали городок Лангенау — и вся дорога, особливо в правую сторону, была живописною цепью гор. В Эмс приехали к самому обеду. Взглянув на бани и на источники и бросив взгляд по ту сторону Ланы и на миниатюрный мостик, из маленьких судов составленный и чрез Лану лежащий, мы сели обедать со свитою цесаревича, а после обеда пошли к нему и опять более часу беседовали с ним или, лучше, слушали его: о прус‹ском› кор‹оле›, о других членах кор‹олевской› фамилии; о Эренбретенштейне, о прусском параде в Кобленце; о названии его именем части укрепления и проч. и проч. — Я сбирался путешествовать на осле по окрестным горам и въехать на schöne Aussicht; но, проговорив долго с цес‹аревичем›, нельзя уже было откладывать поездку в Кобленц, куда мы приехали уже в сумерки и едва застали лучи солнца на позлащенных им горах и на грозных высотах Эренбретенштейна (или Friedrich Wilhelm). За полмили отсюда дорога раздваивается, и одна идет, кажется, на Мюленбах, другая — в Кобленц, и пред сим распутием вдали виден Рейн, излучистый и древний, напояющий несметные села и веси, на пути его усеянные. Солнце уже садилось, и тень покрывала горы, когда я в другой раз в жизни и опять издали увидел тебя, древний поитель племен и градов, и легионов Кесаря и донских полчищ!

Укрепления Эренбретенштейна висят над частию города, им прикрываемого, и я еще не мог насмотреться на крепость и на тонкий, вьющийся виноград у казематов ее, как мы уже очутились на мосту Рейна, который из Эренб‹ретенштейна› перенес нас в Кобленц, в час театра, куда я поспешил видеть или хотя выслушать «Jeanne D'Arc» Шиллера. Публика соответствовала труппе, а труппа публике; но Шиллер, но стихи его — перенесли меня в мир вдохновения, из которого пробудило меня явление на сцену катол‹ического› архиерея с свитою разноцветных монахов и отправление им обедни; в глубине театра представлен был алтарь церкви кат‹олической› — и вместо..... виден был египетский сфинкс! Мальчишки, одетые наподобие тех, кои прислуживают кат‹олическим› священникам во время литургии, звонили в колокольчики и, по обыкновению, приседали у алтаря в минуту звона, что у католиков означает возвышение гостии! Я не мог равнодушно смотреть на сию бутафорскую карикатуру католического священнодействия и, не дождавшись 6 акта, — ушел домой пить чай!. .

1 октября н. ст. Бонн... Узнав, что Шлегель ректор унив‹ерситет›а здесь, я пошел к нему и не раскаиваюсь, что возобновил знакомство с другом m-me Stahl, которого видел с нею в 1812 году в П‹етер›бурге.[21]

Он показывал мне свои индийские древности; две рукописи в свитке означенной величины: |_______________| с рисунками, изображающими божества инд<ийские>. Одну из них он напечатал уже. Дал объявление об издаваемой книге, и говорил с большим уважением о нашем бар<оне> Шилинге.[22] Каталог. Он читает и лекции. Прежде еще дал он приказание педелю показать мне древности римские и германские. Я желал видеть и Гюльмана и в библиотеке нашел его и с ним ходил смотреть и музеум; но сам он был для меня интереснее божков и сосудов германских и римских. Мы говорили о новоиздаваемой им книге «Das Städtewesen des Mittelalters». Он получил из Риги документы — о торговле России в средние века, и полагает, что ни Кар<амзину>, ни Сарториусу они не были известны. Мнение его о книге Галема. — С ним пошел я еще раз взглянуть с террасы на Рейн и на 7 гор. Какая картина! Здесь сливается древность с средними веками: римляне и германцы — Траян, Кесарь — и Наполеон, и колонны ландсвера 1814 года, и наши неустрашимые легионы!..

Едва выехали из Бонна, как на правой стороне увидели верстах в десяти — огромную развалину на высоком утесе, называемую Godesberg, и под нею деревеньку того же имени, в которой и источник целительной воды. — Но вид развалины, насупившейся над Рейном и над веселым ландшафтом под горою — несравненный. Не знаешь, ею ли любоваться, или смотреть вдаль, или назад, или на другую сторону Рейна, и на семь гор, из которых каждая представляет что-нибудь замечательное или какую-нибудь особенную прелесть.

Развалина Годесберга еще осталась от римлян, и полагают, что кастель сей построен Юлианом, ибо смысл народного предания некоторым образом на Юлиана указывает; в древности, говорит предание, чуждый король прибыл в сию страну с сильным войском; король был в союзе с злыми духами, коим приносил жертвы и построил храм для поклонения им. — И властию злых духов — владычествовал он в стране сей до пришествия первых христианских апостолов, коим не могли противиться ни злые духи, ни войска его. — Не Юлиан ли отступник в сей сказке — и не должно ли част<ично> искать историю в баснях народных? — Юлиан в самом деле водил здесь легионы свои и имел долго здесь свое пребывание...

Бинген. 7-й час вечера <2 октября>. Мы приехали сюда уже в сумерки, но я успел еще сходить на террасу, близ которой, как кажется, и пристань для судов, по Рейну идущих, — и взглянуть на Рейн, здесь расширяющийся, на противуположные горы, которые завтра увижу во всем великолепии их.

Какой день! От Кобленца сюда, в особенности когда едешь по левой стороне Рейна, сцены беспрестанно переменяются, одна развалина сменяет другую, один городок красивее, живописнее другого; и горы, усаженные виноградниками или чернеющие от шиферного своего состава, попе-

ременно приковывали наши взоры — и Рейн, в величии покойный, с своими островками, напоминающими, кажется, die Insel der Seeligen. И сии церкви готические и византийские, и кастели, и бурги, кажется, взору одному досягаемые. Иногда развалина на одном берегу стоит напротив другой на противуположной стороне, иногда, как die Brüder, две развалины стоят одна подле другой. Часто, несмотря на излучистое течение Рейна, видно более трех или четырех развалин замков в одно время. Памятники двух народов, историю свою переживших; ибо римская уже заключена, а германская хотя еще одним пером не написана, но живет только в хрониках раздробленных отраслей одного великого древа, не в одной Европе корни свои пустившего.

Может быть, в Италии есть места живописнее, есть замки, есть древности, пред коими бледнеет интерес рейнских, но есть ли в Европе столь обширная полоса земли, соединяющая в себе и вино и древности, и развалины замков и великолепный Рейн, все сие и в картинах столь разнообразных?

Целый день я был в каком-то энтузиазме и жалел только, что память не сохранит впечатлений от беспрерывного, почти утомительного созерцания красот натуры и древностей произведенных.

Счастлив поэт! вместо описания меткого, верного, но всегда растянутого и ослабляющего истину, — он видит Рейн, вспоминает минувшее; века мелькают пред ним; тени римлян и сынов Германа являются в живых образах — и он, в жару души и воображения, восклицает:

О радость! Я стою при рейнских водах!
И жадные с холмов в окрестность брося взоры,
Приветствую поля и горы,
И замки рыцарей — в туманных облаках,
И всю страну обильну славой,
Воспоминаньем древних дней,
Где Альпов вечною струей,
Ты льешься, Рейн величавый!
Свидетель древности, событий всех времен,
О Рейн, ты поил несчетны легионы,
Мечем писавшие законы
Для гордых Германа кочующих племен;
Любимец счастья, бич свободы,
Здесь Кесарь бился, побеждал,
И конь его переплывал
Твои священны, Рейн, воды! [23]

Но нам, прозаикам, даны другие законы, и мы осуждены тащиться прозою и тогда, когда вся природа вокруг нас поэзия; когда и история говорит столько же воображению, сколько уму и сердцу...

На повороте Рейна, между дикими и крутыми утесами, Lurley. Здесь почталион наш остановился и начал играть в рожок. Звуки его повторились ясно и громко в скалах — Lurley, — и мы вслушивались в эхо, кото-

рое умирало, разбиваясь о скалы Рейна. Здесь жила рейнская ундина..... Читатели... вслушайтесь в эхо — Lurley — и вы скажете: сказка эта — быль (имя Lurley — von Lure, Lauter und Ley, Schiffer). Шрейберг заставляет эхо повторять себя 15 раз, но мы одним, но громким отголоском его удовольствовались. — Ундина, жившая в скале из шифера, голосом своим, о скалы повторенном, увлекала за собою судоходцев — к погибели...

3 октября/22 сентября... Рейн в обе стороны к Майнцу и к Кобленцу — лучшая часть всей картины, и едва воображение остановится с грустию над развалинами, как душа снова расцветет одним взглядом на прелесть здешней природы. Осенняя риза не мешает ею радоваться. Нет, она к прелестям и к богатству красок прибавляет еще изобилие — и когда устремляешь взор на необозримое пространство, спелым виноградом позлащенное, то какое-то благодатное, веселое чувство сменяет другое, из развалин и седых утесов в сердце странника преходящее: летит неумолимое время! (fugit irreparabile tempus!). Оставить его можно только, ознаменовав минуту бытия своего добрым делом или хотя добрым чувством — и вздохом молитвы...

В 6-м часу выехали мы в Майнц; и последние лучи солнца освещали нам берега Рейна до тех пор, пока мы не своротили в правую сторону к Ингельгейму, где нашли первую станцию. В 10-м часу приехали в Майнц. Рано поутру осматривали собор здешний и его древности. Надгробный камень: Frauenlob, коего гроб несли дамы, а венец над головою его в знак торжества поэта; Фастрады — жены Карла Великого. — И другие. — Церковь св. Игнатия Augustiner-Kirche и, наконец, вид с цитадели.

Пошли смотреть галерею картин, где видели многие прекрасные: Dominichino, Рубенса и проч. — Римские древности. — Модель моста на 14 дугах, совершение коего стоило бы 36 миллионов гульденов. 12 миллионов было уже ассигновано в 1814 году. По внутренней части моста должны были проходить скрытно гарнизоны Майнца — и прикрываемы самим мостом. Модель сделана в 1812 Кнолем, план — составлен par le directeur des ponts et chaussées Saint-Ford. Napoléon propose et dieu dispose. Картины подарены городу Наполеоном.

Книжная лавка Купферберга. За 16 гульденов всего Чокке в 24 частях, уютное издание; теперь вышли только 16 частей. Всего Шекспира в одной части 4 gul. 48 kr. в Лейпциге 824.

Здесь теперь 6 т<ысяч> войск: 3 прусского и столько же австрийского. Теперь живут они мирно; но редко сходятся вместе. Казармы розно. Город сам принадлежит дармстадскому герцогу. — Сия разнобоярщина не вредит городу, хотя и не приносит значительной пользы финансам его.

После обеда, в 4-м часу вышли мы на мост и по течению Рейна, с помощию весел, помчались вниз, мимо водяных мельниц, почти во всю ширину Рейна на нем устроенных. И здесь Майн, версты за полторы отсюда в Рейн втекающий, отличается своею желтовато-песочною краскою от зе-

леноватого Рейна и всегда течет до самого Бингена, где за Бингеном теряет свою краску, отличную от Рейна. Гребцы указали нам на правой стороне майнскую воду и отличили ее от рейнской. Против самого Майнца, на другой стороне Рейна, лежит город Кастель, где в древности римляне уже имели укрепленный лагерь для частых переправ своих чрез Рейн и для прикрытия моста. Множество найденных близ Кастеля Yotiosteine, которые мы видели сегодня в здешнем собрании римских древностей, доказывает пребывание на сем месте римлян. Полагают, что здесь находилась Mattiscarum отрасли германской, покорившейся римлянам. Близ самого Кастеля, ныне укрепленного, лежит другое укрепление: Fort Montebello.

На противуположной им стороне идет прекрасная аллея из высоких тополей, вдоль по берегу Рейна. Она начинается от бывшего дворца курфюрста, ныне <1 нрзб>, близ коего другой дворец, где жил Наполеон, принадлежащий ныне герцогу дармштадскому, владетелю Майнца и его окрестностей. В третьем большом доме в той же линии на Рейне — арсенал. По другую сторону моста, вдоль по берегу видны мрачные, закопченные здания, из коих четыре определены для тюрем: в одной содержатся военные арестанты, в другой — городские, в третьей — записные прелестницы, нарушившие закон гражданский. Но и с середины Рейна, и с берегов его, и с моста, со всех сторон — соборная церковь, пять раз горевшая и разрушаемая огнем и ядрами, красуется и возвышается над мрачным, черным от черепиц, городом, напоминая своим красивым и стройным великолепием блистательную эпоху Майнца, поднявшего некогда первое знамя против рыцарей-разбойников и возлелеявшего в древних стенах своих Гутенберга (коего дом, сохраненный благодарным потомством, вмещает теперь библиотеку для чтения и казино), коего изобретение переменило нравственное и политическое бытие Европы и распространило благодетельное действие свое и на новый мир, тогда еще не открытый. Так книгопечатание было зарею и вместе залогом (garantie) истинного просвещения, нового гражданского порядка в Европе и ее возрождения (хоть дом Гутенберга и стоял близ гордого костела иезуитов!). Майнц и Витенберг — братья и могут дать друг другу руку через столетие. Как фаросы света, стоят они в летописях мира и из среды Германии, из мрачной монашеской кельи, из-под кровли незначущего гражданина майнского озаряют вселенную светом незаходимым; ибо никакие уже усилия князей тьмы и кровоспросников века сего и властей предержащих не в силах остановить действие открытия одного и смелой деятельности другого. Инквизиция не истребит Библии, Конгресс — идей Германии и Англии. — Есть ли здесь, в пережившей себя Европе, будут одни жертвы, то там, за океаном найдутся алтари и воскурится на них фимиам благодарности за первую печатную азбуку, за первую напечатанную Библию.

Осмотрев город и окружающие его укрепления с одной стороны моста, мы поехали против воды, вверх по Рейну, до самого впадения в него

Майна, и встретили идущую из Фр<анк>фурта водяную дилижансу, ежедневно туда и обратно отправляющуюся.

Ввечеру я был в театре: давали пиесу Коцебу «Die deutsche Hausfrau». Везде та же ложная чувствительность, смешанная с истинною; мораль нечистая и часто отвратительная. Дядя советует племяннице своей, жене мужа-преступника, оставить его на произвол судьбы и, когда повесят его, выйти за генерала, который осудил мужа ее на смерть, хотя и законную. Герой пиесы, адъютант генерала и любовник дочери отца своего, по обыкновению сын любви — и шпион. И никто не нашел отвратительным характер шпиона в любовнике и в храбром, заслуженном офицере. И даже характер der Hausfrau не выдержан. И она не по строгой обязанности и чистой добродетели, но из благодарности только не оставляет мужа в минуту его погибели. Коцебу и не понимал того начала нравственного, которое велит любить добро для добра; истинной бескорыстной нравственности.

5 октября/24 сентября... В тумане лежит передо мною Франция. Всю ночь покрывал он нас, и мы въехали в границы французские на рассвете, окруженные густым, непроницаемым туманом. Прекрасной погодой пользовались мы только до Майнца. Простившись с Рейном, который во все время нашего странствия по берегам и на хребте его показал нам себя во всем блеске осеннем, мы расстались и с прекрасною погодою. Теперь она нам и не так нужна будет. Мы спешим к центру королевства и в Шампании — одно вино и сухая земля. Солнце не освещает ни прекрасных развалин, ни позлащенных гор, и с природою переменилась для нас и погода.

В 11-м часу утра проезжали мы Longeville; здесь кончается язык немецкий и начинает французский. Я не могу еще привыкнуть к разговору с почталионами на языке наших салонов, слова, которые там слышал, слышу теперь от мужиков, кои роют картофель и бьют свиней.

В 12 часов солнце проглянуло, туман рассеялся и день почти летний и жаркий.

В правую сторону от дороги лежит большой замок генерала Дербань, обращенный из монастыря. — Здесь дома имеют уже другую физиономию, нежели в Германии. Помещения более похожи на наши. — Но граница Франции незаманчива. Первые городки и деревни нечисты и домы невыкрашены.

В 4-м часу приехали в Мец; за час перед городом окрестности оживились, и виды во все стороны прекрасные. Опять начались виноградники. Вдали видна прекрасная, готическая, сквозная башня соборной церкви. Отобедав в 4 часа, пошли на эсплакаду, видели Palais de Justice. С эсплакады виды из-под тополей на Мозель, и на долину, и на отдаленную высокую гору — прелестны.

В театре давали «La folie», которая напомнила мне П<етер>бург, ибо ничто так не оживляет в памяти и в сердце прошедшего, как знакомые

звуки. Они переносят в место, в то время, где и когда их слышал, и, кажется, сближают времена и пространства. — Гарнизон.

7 октября/26 сентября. Писал сегодня к Сереже в Лозанну, а в книжной лавке увидел вид Лозанны и обрадовался, как чему-то и мне знакомому. По крайней мере имею понятие о некоторых предметах, на кои и он часто смотрит.

Бродили по городу и зашли в главную церковь: я не ожидал здесь найти такой удивительной и превосходной архитектуры, как сие готическое здание, легкое, прозрачное, как бы только из окон и тонких колонн составленное. Раскрашенные живыми красками стекла с изображением святых — идут во все стены; но с двух концов церкви почти снизу до верху — все в стеклах. Колонны удивительной легкости и тонкости, и я не постигаю то, как купол может держаться на них и на стенах почти à jour построенных. По простенкам висят 16 или 20 больших картин, изображающих страсти господни и называющиеся les stations. Хорошей работы, но, по моему мнению, неуместны, ибо они не отвечают зданию и безобразят колонны, на коих повешены. Глаза на них останавливаются, между тем как взор невольно стремится к вышине купола. От окон во всех стенах — и церковь чрезвычайно светла...

Воскресенье. 9 сентября/28 октября. Шато-Тиери. Утро. Отчизна добродушного Лафонтена. Прежде всего пошли мы искать его дом и набрели на памятник, воздвигнутый ему городом прошлого года и поставленный у моста на Марне. Из белого мрамора стоит его изображение во весь рост. В одной руке держит он перо, в другой тетрадку, в костюме того времени и в парике. Памятник окружен четвероугольной решеткой, а по углам растут четыре деревца. Лицом обращен Лаф‹онтен› к набережной по реке Марне; но он не смотрит на нее, ибо по берегу посажена аллея орехов, коих ветви обрезаны и натура обезображена. Лафонтен опустил глаза и смотрит в свою тетрадку, где более натуры, нежели в деревьях. Подле его статуи новый кофейный дом — Café Jean Lafontaine. На пьедестале с одной стороны написано: «Jean de la Fontaine» с другой:

„donnée
par Louis XVIII
inaugurée
sous Charles X
le 6 S^bre 1824“.

Нам тотчас показали улицу, где жил Л‹афонтен›, и дом, ему принадлежавший. Теперь живет в нем le procureur du roi, но услужливая француженка сказала мне, что нам охотно покажут его комнаты, и мы позвонили. В самом деле, служанка повела нас в кабинет, в коем занимался Л‹афонтен›. Маленькая уютная комнатка, с окном на террасу, также не более комнаты. Дом стоит на возвышенном месте в городе; к нему приделана башня, уже до половины сломанная, с которой Лаф‹онтен›

любовался окрестностями города, Марною и ее гористыми берегами. Из дома повели нас в садик, где прогуливался Л<афонтен> и беседовал с четвероногими; потом в salon его, в нижнем этаже дома...

Из отчизны Лафонтена отправляемся мы в стадо духовное Боссюета, в Meaux.

2-я станция от Шато-Тиери — городок La Ferté-sous-Jouarre, на Марне, которая преследует нас в живописных берегах своих уже третий день, начиная с Меца. La Ferté-sous-Jouarre чистый, из белого камня построенный городок, между горами. Он изобилует камнем, употребляемым для жерновов, и мы видели кучи оных, отделанных для продажи.

Через три часа приехали мы в Мо и пошли прямо в церковь соборную, оставив коляску в трактире Сирены; в церкви гремели органы и голоса каноников и des enfants du choeur в честь св. Денису, которого сегодня празднуют. Церковь прекрасной готической архитектуры, подобная мецовской. И здесь нашли мы множество женщин; но человек 15 мужчин во всем огромном храме. В правой стороне увидели мы статую Боссюета, сидящего на епископском престоле с надписью от имени города и всей бывшей паствы (grata et mirans). Служил le grand vicaire, с канониками. Les frères des Écoles chrétiennes привели и безденежно обучаемых ими школьников, кои без внимания смотрели в свои молитвенники, между тем как швейцар с странной алебардой выгонял собаку. Мы слушали органы и пение des enfants du choeur и каноников — и кривые рога, их сопровождавшие. — И здесь вандализм не пощадил прекрасной древности храма. Близ церкви и дом Боссюета, старинный, но великолепный.

Над главными городскими воротами, в кои мы въехали сюда, надпись в честь городу, который первый отстал от Лиги и пристал к Генриху IV:

Henricum prima agnovi, Regemque recepi.
Et mihi nunc eadem quae fuit illa fides.

Вероятно, первая надпись была только из трех первых слов:
Hen<ricum> pr<ima> ag<novi> — последние прибавлены после.

После обеда, перед театром, бродил я по городу и вышел на булевар, который сделан из старого крепостного валу, и встретил много гуляющих, особливо женщин. В 7 часов начался театр. Труппа не здешняя, а приезжая, и, кроме старого Савояра, все актеры не годились бы и на нашем провинциальном театре. Публика шумная и простонародная. Мальчики шумят, дети плачут, взрослые зрители перекликаются с одного конца театра на другой. После второго акта 1-й пиесы я пришел теперь домой — отдохнуть и не знаю, возвращусь к двум другим пиесам? Публика для меня любопытнее пиесы и актеров. Мы за три почты от Парижа, и завтра я там обедаю.

Не знаю, отчего жизнь, из одних наслаждений и удовольствий, хотя и весьма суетных, составленная, пугает меня. Я не привык жить для себя самого, хотя и прежде мало жил для других. Какой-то голос говорит мне:

не здесь твое отечество, не здесь твои привычки, твои ближние. Я слыл любителем шумного света и долго сам думал в нем находить рассеяние; но какой свет более Парижа шумен, а меня ничего не влечет туда, хотя и сам чувствую, что он будет для меня не без прелести! но главной прелести жизни — дружбы — для меня там не будет; и где я найду дружбу и семейство Карамзина!

10 октября. Первый выход сегодня был опять в церковь, где я списал надпись с памятника Боссюету:

JACOBO BENIGNE BOSSUET
Meldensium praesuli
Hoc monumentum
Dedicavit. Meldensis civitas
Atque propitio Rege
Et famulantibus vicinarum urbium
Majestatibus et populis
Posuit.
Grata et mirens.
Anno R. I. 1820.

По двум сторонам гербы, кажется, города и Боссюета.

Оттуда в книжную лавку, где купил историю Мо, и на рынок, о котором говорится во всех описаниях; но мы нашли только одну деревянную галерею под кровлею на небольшой площади. Хотелось видеть дом Боссюета; но в нем живет сам епископ.

Здешний архитектор, один из тех, коим поручено рассмотреть собор и означить починки его, уверяет, что простенки с колоннами, где стоит памятник Б<оссюету>, хотят закласть и что тогда памятник перенесется. Он, конечно, стоит не у места. Боссюету должно греметь и из мрамора на средние церкви, в открытом месте, где бы все могли видеть и слышать красноречивого оратора и законодателя галликанской церкви, а тут он как бы скрывается от потомства и стыдится, что не перед кем ему проповедовать...

После Clay последняя станция от Парижа — Бонди. Мы переезжали канал de l'Ourcq, который должен снабжать Париж водою, тщательно отделанный, но не знаю, еще конченный или нет.

Бонди — местечко весьма оживленное своим соседством с Парижем. Здесь замок с парком и близ города лес Бонди, во время революции много вырубленный и некогда славный разбойниками, но ныне бесстрашный для путешественников.

Но не доезжая еще Бонди, любовались мы влево идущею с дороги прекрасною тополевою аллеею к замку Kainey и проехали деревню Livig, где прежде была некогда крепость, принадлежавшая шампанским графам.

Недалеко отсюда m-me Sevigné писала свои классические по стилю письма к Полине своей.

Едва выехали мы из Бонди, как атмосфера парижских окрестностей удушила нас. Вонь нестерпимая с полей, и, казалось, самые деревья и все нас окружавшее исторгает одно зловоние.

Мы проехали Pantin, где русские 30 марта 1814 года запечатлели кровию вход в Париж. Сражения были между Pantin и воротами Парижа. В правой стороне увидели мы город Монмартр (с его мельницами). Театр мученического торжества патрона Франции и св. Дионисия и другого торжества святого мщения нашего времени.

И наконец Париж. В 10 минут второго ночи были мы у его заставы и въехали в faubourg St. Martin, который распространяется и отстраивается.

Не знаю, что я чувствовал, въезжая в Париж; но не равнодушно увидел я этот город, где должен приготовить себя к порядку в жизни и устроить его и согласить наслаждения ума и чувства с требованиями души и сердца и с тем, что я предположил себе к пользе службы и моего назначения. Нашли квартиру за 160 fr. в месяц в Rue Traversière, hôtel d'Autriche.

Я побежал за письмами к Шредеру и нашел их от Св<ечиной> и Бул<гакова>. Выспросил у него наставления и записал адресы; он тут же хотел представить меня послу, выждав папского нунция, но я отклонил это предложение до другого дня. У 2 банкиров ничего не нашел. У Roug еще не был.

В 5-м часу, исходив несколько улиц, пришел в Palais Royal, к Rivet, обедать, где нашел уже и брата. — Я сначала стыдился спрашивать, куда пройти в P<alais> Royal, но вежливость французов не давала мне чувствовать стыдливости или по крайней мере необыкновенности моих вопросов.

После обеда я с удовольствием бродил по Пале-Роялю, уже освещенному и освещаемому яркими лампами лавок... В 10 часов я возвратился домой. Лавки были еще освещены, и я не чувствовал усталости, проходив по мостовой целый день. — Жизнь парижская началась!..

11 октября... Мерьян пригласил нас объехать с ним часть города и окружностей. Мы выехали в Champs-Elysées, и в первый раз увидел я Париж с того места, на котором Нап<олеон> затевал палаты для короля римского, а ныне строят памятник Трокадера. Мы остановились над Марсовым полем, — и все, что это название напоминает в новейшей истории, все сильно подействовало на мое воображение, и я терялся в воспоминаниях и в созерцании обширного поля, в виду всего города, который видел отсюда в блеске своем.

Мы проехали по булевару смотреть Europa Rama — и с Марсова поля перенеслись к Кремлю, в зимней его одежде, довольно верно изображенному в панораме. Французы и француженки друг другу объявляли виды Москвы и Кремля и не всегда с историческою точностию. Хозяин Europa Ram'ы также толковал значение Кремля и его истории. — Там же видел Реймскую церковь во время коронации Карла X, башню св. Стефана

в минуту процессии la Fête-Dieu; Вильгельмсгазе кассельскую. Гамбург и несколько других видов.

Отобедав в Palais Royal и заплатив 3 fr сверх цены за билеты au Théâtre Français, я увидел Тальму в Августе Корнельева «Цинны». Во все время я был в восхищении от игры его. Лицо и жесты его и игра его физиономии (мимика) меня еще более обворожили, нежели слова его. Он играл Августа, Лафон — Цинну, Эмилию — m-me Paradol. Какая гармония в их искусстве; даже Firmin в Максиме мне очень понравился; но Тальма, Тальма! Я еще не знал тебя, не знал до какого совершенства довел ты мимику! — Ты оживил мою душу, ты вселил в нее римское чувство, ты заставил меня постигнуть величие Корнеля.

«Les plaideurs», в которой я увидел нашего старого Гранвиля, также хорошо играна.

О Тальма! Я видел тебя!

12 октября/30 сентября. Был в канцелярии посла и получил письмо от Кар<амзина>. Перед обедом таскался по лучшим магазейнам Пале-Рояля и Rue Vivienne и заходил на минуту взглянуть на игроков в café, где они целый день, с утра, собираются. Ввечеру был в театре de Madame и видел четыре пиесы: «Le sourd ou l'auberge pleine», где Le Grand играл роль Danieres и смешил каламбурами и глупостями публику. «Le secrétaire et le cuisinier», где Perlet мастерски представлял mr. Soufflet. «La quarantaine», где все очень хорошо играли, но не было ни одного отличного, ибо Перле не играл, и наконец «L'artiste, avec une scène nouvelle», где опять Перле принимал разные роли и кончил англичанином, приехавшим в Париж закупать картины. Кто видел одного из них, худо говорящего по-франц<узски>, тот не мог удержаться от смеха. Самая верная карикатура англичанина в Париже...

1 октября/13 октября. Наконец видел и m-lle Mars в «Тартюфе» и в «Valérie». Играет с большим искусством, но с искусством заметным и, следовательно, с некоторой афектацией. Публика восхищалась ею в роли Valérie, осыпала ее рукоплесканиями и стуком ног и палок; и я был растроган ею; но думал о Тальме, который, кажется, живет римлянином и Августом в «Цинне».

14/2 октября. Обедали близ булевара à 2 francs par tête и с вином (бутылка на двух). Суп и три блюда на выбор и десерт, du pain à discrétion. Я буду часто ходить в сию ресторацию для встреч с разными лицами и состояниями. Более четырех или пяти блюд мне и не нужно, а в сем случае экономия согласна и с моим аппетитом. Перед обедом долго бродил я по городу и в книжных лавках купил «Панораму Парижа» Дюлора, автора «Истории Парижа», пространной и многотомной. Из кратких описаний Парижа его «Панорама», кажется, лучшее. Он соединяет исторические указания с местными и с картинками, порядочно выгравированными.

Послал письма к Кар<амзину>, к Жихар<еву>, к Дружин<ин>у в письме к Булгакову. На его же имя надписал и цветы и материи. — Вве-

черу был у графини Камон и познакомился со всем семейством. Просидев у них с час, возвратился домой пить чай.

15/3 октября. Еще писал к Булг<акову>, к Кар<амзину>и к гр. Толстой... Вчерашний вечер у m-me Caumont будет для меня памятен, ибо в первый раз был я в приемной, хотя и в дружеском кругу, в аристократическом обществе; хотя и два русские, а после и три были в том числе. Приятно было для меня видеть и возобновить в памяти моей превосходство умной и любезной Свечиной над ее подругами. И здесь она не теряет права своего на первенство в первом обществе. И здесь блестит умом, глубокомыслием, с любезностию и со вкусом соединяемым. Говорил о театре и особенно о m-lle Mars. Я осмелился заметить, что при всем таланте ее она показалась мне несколько affectée. Св<ечина> начала объяснять почему-то, что мне кажется афектациею — не есть афектация, что в Париже — это есть натуральность. — Потом перешла к Beaumarchais, и все удивлялись уму его. Она напомнила un mot de lui. Говорили d'une femme galante и, приписывая ей нового любовника, сказали: «Un tel a succédé à un tel». — «Oui, rép<ondit> Beaum<archais> comme Louis XVI a succédé à Dagobert».

Тальма должен познакомить меня с лучшими франц<узскими> трагиками: сегодня видел я его в Гофолии, а с ним опять Лафона. Тальма играл роль Иоанна, Лафон — Абнера. Никогда не восхищался я так стихами Расина, как сегодня. С каким вдохновением произнес он пророчество и воспламенял священников спасти Иоан<на> и умереть за него и с какою нежностию отца и важностию первосвященника давал он ему последний совет на царство. — И m-me Paradol в Гофолии достойна быть на одной сцене с Тальмой. — Сегодня понравилась мне m-lle Mars в «Le Legs» более, нежели в «Valérie». Она играла натурально — и Armand в роли маркиза отвечал искусству игры ее.

В первый раз гулял я в саду сегодня, с Свист<уновой>.

Поутру, руководимые par le nouveau Guide ou Conducteur parisien и прочитав в нем статью «Musée Royal des monumens français», отправились мы смотреть сей музеум в означенный в книжке час, но, к удивлению нашему, вместо корол<евско>го музеума древних памятников нашли там выставку картин и рисунков сего года, и нам объявили, что уже за восемь лет пред сим, как развезены памятники по тем церквам и зданиям, из коих во время революции они были исторгнуты.

Путеводитель уверяет читателей своих, что Lenoir расставил памятники по векам и что история благодаря сему хронологическому распорядку обязана ему столько же, сколько и художества, что в самом музеуме можно достать собрание гравированных рисунков с сих памятников, что собрание сие начинается с египетских, греческих и римских монументов, проходит цельтические и наконец веков средних, исчисляет, какие именно в зале каждого века находятся памятники — и все это было за 8 лет или в воображении автора; но мы не нашли ничего, кроме старинного здания,

полуразрушенного, с наружной стороны коего находятся некоторые памятники, в честь французским артистам.

Оттуда пошли смотреть La Monnay, но без билета от коменданта туда никого не пускают; оттуда в библиотеку Мазарини, но в ней делали внутренние перестройки — и мы должны были на сей раз прекратить наше преследование достопримечательностей Парижа.

16/4 октября 1825. Париж. Воскресенье.

В 8-м часу утра зашел я в приход нашей части города: Saint-Roch, rue Saint-Honoré; церковь сия принадлежала прежде к предместию St.-Honoré. Основания оной положены в половине 17-го столетия. Король и мать его, Anne d'Autriche торжественно закладывали церковь 28 марта 1653. Le portail — довольно величествен, ибо возвышается над ступенями наружного входа, с фронтоном коринфского ордена; но внутренность храма не поражает взора и не вселяет того благоговения, с коим должно входить в здания сего рода. Некоторые украшения, как например улетающий ангел, на толстых, массивных облаках, не отвечает идее, которую он должен выражать, не отвечает характеру посланника, возвещавшего Марии благодать. Самое густое облако не удержало бы тяжелых крыльев ангела. Вообще облака и все воздушные подобные явления всегда, как у нас, так и в здешних храмах, производят на меня неприятные впечатления в скульптуре. Резец едва ли может выразить легкость, прозрачность сих минутных, полупрозрачных метеоров, подвластных и покорных токмо одной кисти живописца. — Посмотрите на облака в церквах наших и на небесных жителей, кот<орые> спускаются в оных к нам земнородным: и те и другие не имеют легкого, эфирного характера, который должен отмечать их. Облака, как лепешки, одна на другой дружно лежащие. Ангелы и херувимчики — как дородные мальчики, напоминающие более амуров и бахусов, нежели тех, коих легионы с трепетом предстоят вездесущему. Скульптура должна оставаться в границах, резцом ей определенных, и не переходить в область живописи, более обширную.

Две статуи видны по сторонам (aux extrémités du crucifix) св. Августина и St. François de Salles. В сей же церкви — прах Мопертуи и Корнеля! Герцог Орлеанский, по настоянию архитектора Леграна, вырезал sculpté портрет Корнеля на одной из чаш, где хранится св<ятая> вода (bénitier) с левой стороны, при входе в церковь, с сею надписью: «Pierre Corneille, né à Rouen le 6 Juin 1606, mort à Paris, rue d'Argenteuil, le 6 Octobre 1684, est inhumé dans cette église». Мавзолей Мопертуи. Медальон маршала d'Asfeld, живописца Миньяра (Mignard) и проч.

Я был у посла и опоздал в нашу церковь, потом бродил по бульвару: везде встречал толпы гуляющих. Отобедал à 2 fr. par tête. Был у М. А. Нарыш<киной> и прочел статью в «Débats» о щегольстве попадей наших. Лучше бы подумать о их дневном пропитании и о средствах доставить детям их безбедное содержание. Там же узнал и о злодействе, совершенном над наложницей.[24] Все сии вести, справедливые или ложные, возму-

щают душу патриота. Я спешил к С<офье> П<етровне> и там в разговорах о вечных истинах религии — успокоил себя...

18/6 октября. Отправил с А. П. Новосил<ьцевым> письмо к Воей<кову>, гр. Тол<стой> и Кар<амзину> с лентами. Вчера обедал у посла с Галем и с некоторыми русскими. С первым говорил о его лекциях. Он опасается, чтобы министерство не запретило ему в эту зиму преподавать его лекции, почитая систему его безбожною. О Блуменбахе говорил с уважением, и один помогал другому в наблюдениях над черепами. Выходит 6-я и последняя часть сочинений Галя, из коих у меня только 5-я.[25] В этот раз я еще довольнее послом, и есть ли б неотступный Н<овосельцев> не помешал нам, то разговор был бы для меня еще интереснее. Посол обещал познакомить меня с Гумбольдтом, Cuvier и с другими. Последний, как слышу, подделывается под образ мыслей мин<истр>а и уже согласует систему свою с библейскою. Оттуда прошел к Мерьяну.

Сегодня на Place Grenclu видел почти всю гвардию и короля с свитой его, толкался в народе и между солдатами и слушал их характеристические разговоры. Король приехал в 1-м часу в исходе. В 11 войско было уже собрано. Свита его немногочисленнее свиты нашего государя, не перед ним идут конюшие и другие, коих товарищи мои назвать не умели. C'est un roi à cheval. — Разговаривал с швейцарским солдатом по-немецки. Число швейц<арски>х полков здесь и в других местах Франции. 3 т<ысячи> в каждом полку. Немецк<ие> швейцары называют швейцаров других кантонов: Welsche. Жандармы. Принц прусский ехал возле короля.

19/7 октября. Писал к Булг<акову> и послал к нему 2 экз. certificats de vie за Ник<олая> и за себя, для Молово, вследствие полученного от Сережи письма с копиею письма Молово. Узнав о приезде гр. Раз<умовской>, пошел к ней и к<нягине> Волкон<ской>, не застал их; но это путешествие привело меня к Palais Luxembourg, потом к Pont-Neuf и к Лувру. — Все это видел я в первый раз, так, как и церковь Saint-Supliсe, и мимоходом. Не знаю даже, удастся ли сохранить первое впечатление, ибо оно несильно и может легко изгладиться привычкою видеть часто одно и то же. Впрочем, я видел одну наружность и смотрел с большим любопытством с моста — нового на мелкий рукав Сены и на черные, нечистые, закоптелые берега ее. — Я терялся в созерцании обширного и древнего Парижа с сей точки и жалел, что в эту минуту достопримечательности сей части города, прошедшие и настоящие, мне не пришли на память.

Меня приглашали к слушанию проповеди в церкви <пропуск>, где Давыдова и <пропуск> под эгидою дофины собирают милостыню. Жалею, что не мог видеть этого обыкновения, о котором слыхал так часто. Конечно, оно более принадлежит моде, нежели милосердию христианскому, но первый источник его и цель достойные уважения; но часто напоминает оно о нищете — богатым и о подаянии — беспечным счастливцам, а по-

этому пусть лучше мода собирает деньги для бедных, нежели расточает их на драгоценные безделки.

Писал с Шредером к кн. С. Г. Волконской.

20/8 октября. Провел утро с гр. Разум<овской>: Conoin, Guizot, Royer-Collard, M. A. Нар<ышкиной> и проч. Ввечеру в театре. Тальма в «Регуле» Арно-сына, — он мне еще более понравился в сей роли, нежели в двух первых. «A Carthage», — произнес он с яростию римлянина, когда он думает о Карф<агене>. — Англичанин, сидевший подле меня, восхищался, но все смотрел в пиесу, а не на актеров, и казалось, по печатному, поверял Тальму, который в конце забыл ролю или вместо одного стиха начал другой.

Другая пьеса также очень хорошо играна, и всеми актерами почти равно хорошо «Le Roman» par Delaville.[26] — Мне кажется, что комедии сего рода сближают (rattachent) старый театр французский с новым и делают смешение, которого необходимо требуют нравы, обычаи 19-го века и теперешняя публика, возникшая из смешения разных классов нации, из коих высший разделяется еще на два рода, к двум эпохам принадлежащие. — Гений комический, которого еще теперь нет во Франции, обозначит, сотворит сию новую французскую комедию, для коей материалы соберет он во всех классах, но более всего в народе. Le peuple, par suite de modifications politiques, le peuple est désormais partout: c'est donc lui qu'il faut montrer. C'est que l'art perdra en *noblesse*, il le gagnera en *vérité*. La nature qu'il reproduira sera moins belle: mais on peut choisir même dans le peuple («L'observateur au 19^{me} siècle», par S. Prospère).

Революция все изменила. Прежде актеры искали и находили некоторые образцы для своих ролей в высшем классе публики: теперь их нет там. Им надобно знакомиться с знатными другого рода, с аристократами финансов, с Лафитами и Ротшильдами. Оттого нынешние актеры в пиесах Мольера и его современников играют, следуя преданию, de mémoire, и угадывают тон и приемы тогдашних маркизов; теперь они в пиесе, каков «Le Roman», где представлен обогатившийся банкир и, баловень богатства и роскоши, сын его должны подражать Ротшильду и знакомиться с его слабостями и пороками и с подлецами нового рода (например, piqueur d'assiettes), кои питают сии пороки и от них сами питаются. Иначе comment pourraient-ils rappeler la loi, le caractère, les moeurs et les simples attitudes d'une société dont ils ne savent plus même porter l'habit?

Старый répertoire для них не существует более. — Прежде влияние блестящего двора и старой аристократии были часто вдохновением авторов и актеров: ныне, повторяю, везде и почти во всем господствует более влияние народа, — смешение разных классов. Франция та же, — но французы изменились и в первой сохранились кое-где только памятники, полуразрушенные, прошедшего; но и самые сии остатки, сии развалины свидетельствуют противоположностию своею — с новою, возрожденною жизнию, что прошедшее прошло и что «novus ab integro nascitur ordo», и

на театре это заметнее, нежели в других национальных созданиях, ибо сцена есть вернейший отпечаток времени и все сокрушающего, равно как и все оживляющего духа его! —

Прежде, т. е. до революции, кто наиболее посещал театр? — Люди высшего класса. Теперь? — Все. И авторы искали образцов для своих созданий в области одного высшего класса: там находили они le père noble, les valets et les tuteurs. Модели сии разбиты революциею. Они только уже в истории драматического искусства, а не в мире существенности. Теперь *толпа* предпочитает маленькие театры, где находит верные изображения самой себя.

Сказывают, что автор «Романа» в банкире хотел представить Ротшильда, другие полагают, что он намекал на Лафита. У первого нет взрослого сына-повесы, который в лице Charles изображен добрым, но ветреным мотом-повесою, любящим отца своего, но готовым принести ему в жертву привязанность свою к m-lle de Rosbelle; но в обхождении своем с ним не наблюдающим того наружного уважения, которое я прежде оказывал родителям. Когда степенный приятель его напоминает ему о почтительном обращении с отцом, он отвечает ему:

Mon père veut qu'on l'aime, et non qu'on le respecte.
Les enfants respectaient du tems de ses aïeux
Et devant leur parents n'osaient lever les yeux.
Nous avons réformé le préjugé maussade,
De son fils maintenant un père est camarade.
Tous sont libres, amis, et quelquefois rivaux,
Leurs devoirs sont légers, et leurs droits sont égaux.
... Et comme on le craint moins, on aime mieux son père.

В этих словах выражены характер сына и образ обращения его с отцом, допускающим сие обращение, хотя иногда и не без досады на себя за сию систему воспитания, которая сделала его в конце пиесы соперником сына в любви к прекрасной вдове, живущей в доме его. — Отец, тщеславный банкир, гордящийся нажитым скоро богатством, в тайне питает любовь к почестям и ненависть к тем, кто получил на них право рождением. — Образ мыслей своих, на оскорбленном честолюбии основанных, выражает он так:

Je dis plus; avec vous franchement je m'explique,
Notre gouvernement eat fort mal entendu,
Les gens riches n'ont pas le rang qui leur est dû!
Car enfin de l'état nous sommes les arbitres.
Ce n'est pas que je tienne aux dignités, aux titres,
Mais à tous ces honneurs, frivoles, j'en conviens,
Qui peut avoir des droits mieux fondés que les miens?
J'ai, moi, touchant à peine au midi de ma vie,
Acquis des millions; il faut plus de génie,
Certes, pour obtenir un pareil résultat
Que pour être ministre et gouverner l'Etat.

И угодник Преваль отвечает ему: Cent fois plus! Коего характер изображен им самим... Oh! J'en conviens moi-même;

> Je suis approbateur par goût et par système.
> Je suis garçon, je n'ai ni neveux, ni parens
> Et mon revenu net monte à dix mille francs;
> Ayant peu de désirs, et tant d'indépendance,
> Je n'ai point à rougir de ma condescendance.
> Oui, j'approuve toujours: c'est peut-être un défaut:
> Mais il me rend heureux; et c'est ce qu'il me faut.

Героиня пьесы — женщина-автор; но любовник ее не любит женщин-писателей и, не зная, что m-lle Rosbelle в тайне пишет и поддерживает себя вырученными за сочинения деньгами, ей самой объясняет мнение свое о писательницах:

> Je ne saurais souffrir les auteurs en jupons...

Далее:

> Si l'homme doit prétendre à la célébrité,
> L'éloge d'une femme est son obscurité;
> Ou bien de ses talens si le mérite brille,
> Que ce soit en secret, au sein de sa famille,
> Les femmes de la gloire, évitant les sentiers,
> Doivent cueillir des fleurs, et non pas des lauriers.

Она с сердцем отвечает ему: «Le talent n'exclut pas les vertus domestiques» — и спасает его тетку, qui a joué la baisse и проиграла 10 тысяч франков, вырученной за роман суммою.

Адвокат и его благородство — в лице Henri. Развязка — свадьбою Росбеллы с адвокатом, который примиряется с женщинами-писательницами, и сочинительница романа заключает пиесу:

> Mon roman est fini, je n'écrirai qu'à vous.

21/9 октября. Читал St.-Prosper «L'observateur au 19-me siècle», статью «Coup d'oeil sur la capitale».

Обедал и просидел до 12 часов у гр. Раз<умовской> с братом, и с зятем Guizot, и с детьми последнего, и с каким-то либералом Bourgeois. Говорили о Лафайете, Benj. Constant, Royer-Collard и о — и<мператоре>. Их вежливость и мое молчание прекратили разговор о последнем; но мысль угадать нетрудно было. — И<мператор> хочет остановить движение к лучшему порядку вещей в Европе и действует на фран<цузский> кабинет и на всю европейскую политику.

22/10 октября. Ровно год, как я простился с матушкою в Москве — навеки.

23/11 октября. Слушал обедню в русской церкви и познакомился с священником. В Тюльери опоздал: в 2 часа пошел на лекцию Робертсона, который объяснял пользу мнемоники, или науки о памяти, и примерами удивительной силы и развития памяти в учениках своих доказывал

легкость и превосходство своей методы. Сам он также представлял себя в пример: в короткое время выучили ученики его на англинском и французском языках по нескольку сот стихов из Попе, из Буало и других и не только могли прочесть их наизусть, но на вопрос посетителей, назначавших номер стиха, читали каждый стих и не только один после другого, но и в обратном порядке. Напр<имер>, из 300 или 600 выученных наизусть стихов посетители предлагали прочесть 321-й, и, подумав несколько секунд, ученик или ученица прочитывала оный и от него до 300-го обратно. Таким же образом одна из учениц на вопрос по хронологической таблице, происшествия нескольких столетий в себе заключающей, отвечала, определяла, в котором году до или после Р. X. случилось происшествие, о котором ее спрашивали. В доказательство, что метода сия не требует продолжительного времени, Робертсон роздал 60 и более карточек, на коих каждый из посетителей написал имя или название растения или целую фразу, между коими были самые длинные и даже для выговора затруднительные слова: греческие, кроатские, немецкие, итальянские и из разных наук, напр<имер> из анатомии, из ботаники и проч. — Робертсон произносил каждое слово или фразу внятно, несколько секунд давал для запамятования и спрашивал о последующем номере. Когда все 60 слов и фраз были сказаны и на карточках записаны, он начал повторять одно за другим по порядку, и ученики его так же и редко ошибались, несмотря на трудность иностранных слов для французского произношения. Изобретатель сей методы, сидевший подле нас, француз <пропуск> объяснял нам оную и намерен впоследствии предложить оную в особенных уроках.

Прямо от Робертсона пошли мы в Пале-Рояль в ресторацию Hurbain обедать за 2 fr. par tête и с вином и с десертом и тут нашли пример, не менее удивительный, памяти в мальчиках, кои нам за столом служили. Более 200 человек обедали в сей ресторации. Не было ни одного праздного места. В нашей компании было 40 обедавших и двое служили. Каждый из нас заказывал особое блюдо, мальчик ничего не записывал; но помнил и приносил каждому свое. Из пяти блюд и одного десерта каждый хотел разное: имена блюд составили бы целую энциклопедию поваренного искусства — и мальчик ни в одном не ошибался. Я не упоминаю о проворстве и скорости, с какою каждый приносил требуемое, ибо это не относится к памяти; но память названий и лиц, коим блюда разносились, едва ли уступает Робертсоновой, и, вероятно, ни один из garçons не учился мнемонике; но нужда есть лучший наставник, и методы и усовершенствование оных суть следствия утонченной промышленности, т. е. потребности сохранения жизни.

В первый раз был в Variétés — и видел 4 пиесы: 1) «Les entrepreneurs», 2) «Le Commissaire du bal», 3) «Les Cochers» и 4) «Le bénéficiaire». В первой играл Брюнет, в последней Potier и я их тоже видел в первый раз.

Театр des Variétés разнообразен, как капризы и вкус парижской публики, которой он есть верный, почти ежедневный отпечаток. В каждой из

сих пиес представлена какая-либо особенность, на ту минуту Париж занимающая, или обыкновение, или мода, или новое постановление правительства.

В «Les Entrepreneurs» смеются над господствующею склонностию к предприятиям всякого рода: торговли, промышленности, поставки и проч., и Брюнет играл старого жителя предместия, который во что бы то ни стало хочет войти в подряд и обогатиться вдруг каким-либо предприятием, соседом его ему, одно после другого предлагаемым. Каждое несбыточно и неправдоподобно, но Jobin всему верит и готов рисковать всею фортуною.

В другой пиесе «Le commissaire du bal ou les deux modes» представлены провинциалы, коим, за отсутствием sous-préfect'a, дает комиссар бал, и в нем смешные стороны разночинцев-провинциалов и интриги их для получения приглашений на бал префекта для своих приятелей, любовников и даже для слуг своих, любимцев хозяек дома.

В «Кучерах» изображены все виды здешних извозчиков, начиная от тех, кои возят так называемые кукушки, до самого щеголеватого кучера англинского лорда. Каждый кучер fiacre, cabriolet, cocher bourgeois, т. е. принадлежащий знатной частной фамилии, и англинский толстый кучер лорда одет и говорит по-своему, и в нравах, и в обычаях, и в приемах видны особенности, каждому из них принадлежащие. Они же изображают и некоторые привычки тех, коим служат, и парижские обыкновения, до сего класса людей, в некотором отношении, касающиеся. — При сем случае сидевший близ меня пол‹ицейский› офицер объяснил мне все права и обязанности наемных экипажей в Париже и некоторые злоупотребления фиакров и кабриолетчиков, особливо когда их нанимают за город.

В четвертой пиесе «Le Bénéficiaire», где Потье по обыкновению много импровизировал, представлен, бедный за старостию, отставной суфлер, которого играл Потье, уговаривающий известных актеров и танцовщиц играть в бенефис его. Тут изображены обычаи и характеры закулисных героев, интриги их, и опять англинский лорд смешит публику желанием учиться декламации у славного актера и танцовать у кокетки-танцовщицы. Потье был оригинален и изобиловал в подробностях своей роли и в верности, с какого изображал характер представляемого им лица: но в этом он не блестит, ибо его сила в Niais, а тут он играет почти плута, который разными хитростями уговаривает актера, певца и танцовщиц участвовать в его бенефисе. — И здесь верный сколок с закулисного мира и особенности парижского.

Есть ли сии зеркала здешних и провинциальных нравов, отражая оные, не исправляют французов, то по крайней мере смешат их, а этого и довольно! по крайней мере для них, а еще более для проходящих, каковы здесь все иностранцы.

Театр был полон. Слышал и видел высылку из партера одного, который занял не свое место.

Театр в Париже, а особенно Variétés, есть точно курс французской

этнографии. В нем отсвечиваются нравы, обычаи, слабости, пороки — словом вся домашняя нравственная и политическая жизнь французов; преимущественно же можно поверять минутные явления оной и действия правительства и чувство, с коим оные приемлются публикою — на сцене. Едва надели на фиакров и кабриолетчиков особенные единообразные платья, как уже смеются над сим постановлением в Variétés — от безделицы до важнейшего, все представлено во всех видах! — Смейтесь — но повинуйтесь et ça ira!

24/12 октября. В Лондоне вышла «Жизнь Шеридана», изд. Муром. Все раскупают книгу и для автора и для предмета, им избранного.

Посол снабдил меня приказаниями префекта Сены Шаброля, виконта La Rochefoucauld и начальника монетного двора к разным начальствам, и сегодня в первый раз воспользовался я первым и отправился смотреть Hospice de la vieillesse, женское отделение, которое для женщин то же, что Bicêtre для мужчин. Его называют также «La Salpêtrière ou Hospital général», потому что некогда здесь делали селитру. Гофшпиталь сей близ королевского саду Jardin des Plantes и недалеко от Сены. Пространство, на котором устроены разные заведения, к сей больнице и к богадельне принадлежащие, содержит более 55 000 квадратных сажен. Но здания не по одному плану и, следовательно, не регулярно выведены. При входе concierge поручил нас женщине, которая воспитана в сем заведении с малолетства и до тех пор не оставляла его, прожив здесь всю грозу революции и быв свидетельницей, что на дворе здешнем во время революции казнили приговоренных к смерти женщин, хотя, по уверению ее, больница, богадельня, дома сумасшедших и неизлечимых остались в сем заведении во все время неприкосновенными. Она повела нас сперва в церковь, довольно огромную и хорошо убранную. Мы нашли в ней несколько дряхлых женщин, молящихся...

Оттуда поспешили мы в королевский сад разогнать мрачные мысли. Jardin des Plantes et Cabinet d'histoire naturelle, коим Париж гордится с 17-го столетия, равно как и именами натуралистов, кои увековечили славу сего великолепного национального музеума.

Мы вошли в пространный сад, в глубине коего возвышается здание. Сад разделен на разные участки, в коих воспитываются растения всех климатов. Мы успели бросить беглый взгляд на многочисленные растения, мимо коих проходили к дому. Огромные залы оного уставлены редкими произведениями всех царств природы и бюстами тех, кои прославились испытанием оной: Линней, Добантон, Jussieu и при входе статуя Бюффона с надписью: «Majestati naturae par ingenium». Нужно более времени и подробное описание кабинетов, чтобы оценить хоть несколько богатство редкостей, от слона до башкирской лошади, коей чучело здесь со времен войны с Россиею. — В другое время с описанием Делейза осмотрю этот сад, со всеми его достопримечательностями. Histoire et Descriptions du Musée par Deleuze. 2 части. 21 francs, с картинами (отдавали за 18 francs).

В амфитеатре, в саду построенном, читаются лекции о химии, анатомии, ботанике и проч.

В ménagerie видели мы 4 медведей и множество зверей, словом, как говорит Dulaure, это «сокращение вселенной», ибо здесь видите вы собрания минералогические, ископаемых, зверей, птиц, рыб, насекомых, полипов — и все в многочисленных видах. 13 профессоров преподают курсы. Недавно скончался Ласепед, который читал эрпетологию. Из числа 13 профессоров один, m. Vanopacadonck, учит иконографии, т. е. искусству рисовать и живописать произведения натуры. Кафедра сия установлена еще во время революции и послужила существенно к усовершенствованию славных изданий французских естествоиспытателей.

Все курсы преподаются безденежно, даже и для иностранцев.

Богатства природы, коими Франция завоеваниями в разных европейских государствах ущедрила свой национальный музеум, возвращены вследствие известной ноты Кастлера; по десять тысяч предметов, возвращенных другим государствам, не сделали музеум бедным.

Мы видели медведей за решетками и в земляных, камнями обделанных ложах, прогуливающихся и забавляющих любопытных покорностию своею и вниманием к куску хлеба. Неподалеку овцы и обезьяны проводят мирную жизнь подле хищной понтеры..... Здесь всегда Астрея царствует.

Отсюда, по берегу Сены, пришли мы на внешний двор: Entrepôt et halle aux vins et eaux de vie, которая нынешним устройством своим обязана декрету 30 марта 1808 года (см. статьи о нем в Dulaure). Заведение сие беспрестанно расширяется и скоро поглотит и соседственную тюрьму, бывший hôtel d'Azincourt (казненного в революцию). Мы видели погреба и магазины винные. По окончании всех зданий la halle aux vins будет вмещать 165 тыс гектолитров вина. Каждый гектолитр содержит 134 бутылки, или 100 литров. Литр содержит 4 <1 нрзб>, в коем 4 больших стаканов вина. Halle aux vins пользуется вследствие упомянутого декрета свободою от пошлин (Les vins et eaux de vie conduits à entrepôt conserveront la faculté d'être réexportés hors de la ville sans acquitter l'octroi).

Наконец, несмотря на дождь, пришли мы по берегу Сены и в Prison d'Essai, так названную по цели, с коей она учреждена. Это дом исправления, учрежденный для молодых развратных людей, от 10-летнего до 21-летнего возраста, коих родители по приговору президента <пропуск> отдают в сей дом, в надежде исправления. Директор сего заведения <пропуск>, молодой человек, с французскою вежливостию и охотно объяснил нам порядок и устройство тюрьмы и приема в оную, излагал правила (и дал экз. оных), коим они следуют и утвержденных префектом. Теперь в тюрьме 18 молодых людей; между коими есть граф и пажи королевские. В 1820 или 1821 году был и русский князь Додьянов. За каждого платят от 15 до 30 fr. в месяц, бедные содержатся на счет правительства. Все одеты в одинаковое тюремное платье, весьма скудное, и всем одна пища:

только 2 раза в неделю мясо, в прочие дни зелень и хлеб с супом. Им дается работа и бедным, вырабатывающим, позволяется иногда покупать зелень, хлеб или плоды на приобретенные деньги. Главным правилом, строго наблюдаемым, за нарушение коего положено наказание, есть *молчание*. Они не могут говорить друг с другом, даже и в тот час, в который один раз в день сходятся в одну комнату. Некоторым же и никогда не позволяется выходить из камеры. И в церкви они должны молчать. Иные, по желанию родителей, совершенно отдельно стоят и в церкви и неизвестны своим товарищам-затворникам. Молчание есть лучшее средство к исправлению нравственности и к охранению их друг от друга; ибо иначе, так, как прежде и случалось, они сообщали порок каждого всем и всех каждому. Кажется, и в американских penitentiary также.

Директор уверял нас, что многие исправляются, но не все, и что большая часть из тех, кои, имея достаток, получили некоторое образование; бедные же более прочих ожесточены и редко улучшаются в нравственности, но все почти во время заточения ведут себя порядочно и весьма редки случаи, требующие особого наказания в тюрьме. Особенный карцер на дворе, темный и холодный, куда вместо постели кладется солома, пуст и редко обитаем. Мы видели двух или трех заточенных мальчиков и нашли у них книги, у одного благочестивые, у другого неприличные по возрасту его, по положению, в коем находится. Между ними бывают закоренелые злодеи, и один из таковых вчера только выпущен, по прошествии положенного для содержания в сей тюрьме срока.

По утрам первое занятие молитва в капелле, где им читается глава из христианского нравоучения (doctrine chrétienne). Потом работа и в 9 часов суп, после коего час прогулки на дворе. Потом опять работа до 2 часов — и распределение зелени в пищу. От 4 до 5 — чтение евангелия или катехизиса. Опять работа до 8 часов летом и до сумерков — в другие времена года.

Ввечеру был в итальянском театре и восхищался музыкою «Танкреда». Она напомнила мне эпоху в моей жизни, в которой я большого горя не имел: жизнь опять текла неприметно и я беспечно проживал молодость, последний год ее, спокойный за братьев, беспечный о себе. M-me Borgondio певала для меня: «Non posso esperemere la mia felicite», — и я восхищался ее полуденным голосом и милым выражением лица; но скоро настала эпоха в жизни, которая все дала на минуту и все унесла навеки. Ничто, ничто так не воскрешает прошедшего, как знакомые звуки!

Танкреда играла m-me Pasta, лучшая певица здешнего театра, Александру — Cinti, другие актеры и превосходный оркестр отвечали первым талантам оперы.

25/13 октября. Был в Сорбонне у аббата Николя и в первый раз видел здание, напоминающее века прошедшие и угасшее пламя, которое снова стараются возжечь в прениях бесконечных. Николь живет в самой Сорбонне, и хотя не в тесной связи с Фресиносом, но еще имеет влияние на

методы учения в коллегиях и на составление классических книг — а это главное. И его преследуют иезуиты; хотя он мне на них и не жаловался. Кто бы подумал за несколько лет пред сим, когда аб<бат> Николь приходил ко мне хлопотать то за иезуитов, то за лицей Одесский, что я буду у него изгнанником других иезуитов — а он, почти враг настоящих сынов Лойоллы, будет принимать меня в Академии сорбоннской и почти в таких отношениях к Фресиносу, в каких я был некогда к к<нязю> Голицыну.[27] И он играет ролю, подобную бывшей моей. Я очень доволен его приемом: он обещал познакомить меня с Сорбонной и с методом и с преподающими лекции и ввести во все классы; говорил о недостатках Академии и о рвении учащихся. Теологический факультет почти не существует. Занимаются преобразованием оного. Хвалил Вильменя и его лекции и внимание многочисленных слушателей.

Получил письмо № 5 от Сережи и потом старое письмо из Луцерны. . .

Ввечеру был в театре и видел Тальму в «Клитемнестре» Soumet. Он играл Ореста превосходно. Желал бы повторить некоторые стихи, особливо в ту минуту, когда объявляет себя Эгисту Орестом и убийцею его сына. Клит<емнестру> играла Paradol, Электру — Bourgoing. Другая пиеса «Le Grondeur» de Brueys et Palapras в первый раз представлена в 1691 году. Тут отличаются Гранвиль и Лафит.

26/14 октября. Теперь город отстраивается в некоторых частях своих. Целый faubourg, в который мы въехали, пополнен новыми зданиями, и новые улицы получают новые названия, например Charles X. Все обратилось к сей отрасли дохода, т. е. к строению домов, особенно капиталисты. — И прежде в один год выведены были целые улицы, например Гейнрих IV, коему Париж обязан первыми регулярными площадями, завершением du Pont-Neuf менее, нежели в год, выстроил улицы: Dauphine, Christine et d'Anjois. Миллионы, которые гишпанский двор расточал в Париже для поддержания Лиги, обогатили здешних граждан. Иностранное золото и теперь оживляет Париж.

Кардинала Ришелье политика заманила в Париж маленьких провинциальных тиранов, кои прежде восставали в замках своих против королевской власти. Они домогались тесного помещения во дворце — и воздвигали великолепные палаты в городе. . .

По дороге зашли мы в церковь Saint-Gervais, église, située entre les rues de Monceau, du Pourtour, de Long-Pont et des Barres; начало ее неизвестно, но портал в ней построен по плану славного архитектора Debrosses, воспет Вольтером в его «Храме вкуса». Он жалеет, что церковь сия так окружена и в самом положении оной совершенно закрыта домами и храм сей как бы стыдится явиться из-за домов — во всем своем наружном великолепии. (NB. стихи Вольтера).

Своды удивляют зрителя высотою и отделкою своею: on voit les nervures des voûtes se réunir en faisceaux, se courber, et former en descendant ce qu'on appelle une clef pendante, ou cul-de-lampe.

Древние, раскрашенные стекла, из 16-го столетия — придел богоматери примечателен архитектурою своею. — Портал церкви в греческом вкусе и отличается от других частей здания. Три ордена — дорический, ионический и коринфский — возвышаются один под другим, но все сии красоты скрываются для проходящих соседственными домами.

Hôtel de ville, situé Place de Grève, коему основание положено в половине 16-го столетия, а довершено уже в 1605 году при Гейнрихе Великом, коего изображение па коне (en bas-relief) украшает фасад здания. Революция пощадила его. Это лучшее произведение de Biard. Все строение на площади Грев — довольно обширно, ибо по бокам главного здания павильоны. Здесь теперь и префектура департамента Сены. Двор внутри возвышенный, с аркадами; под одной из них статуя Лудвига XIV, в греческом костюме — и в парике своего времени, так что, по замечанию Дюлора, между раздутой от парика головой и корпусом статуи — анахронизм нескольких тысячелетий! —

Нам позволили войти и в залу, где город часто угощал победителей и побежденных. В ней statue équestre en petite proportion Гейнриха IV; портреты Людвигов XV и 18-го. — Тут и городская библиотека, в коей собираются разные ученые общества, а именно: la Société Royale et Centrale d'Agriculture.

Площадь Грев напоминает казнь — хотя и законную!

Мы перешли мост через Сену — и к Palais de Justice; и, входя во двор, увидели прежде всего нагруженную преступниками фуру на рессорах. Между ними были и дети, как мне сказывал предстоявший: мы их не могли уже видеть. Фура была закрыта, и отверстия были только для воздуха. Она загремела, выезжая со двора, а мы, глазами проводив ее, пошли в караульню и немедленно были впущены во внутренность здания, древнейшего в Париже. Некогда оно было резиденциею королей французских первого поколения и 12 королей 3-го поколения. Здесь жил и св. Людвиг, и ему приписывают устроение des salles basses, situées au dessous de la grande salle du palais, dite des pas perdus. — Вид сего здания свидетельствует о его древности. Какая-то мрачность покрывает его снаружи. Сказывают, что во Франции не существует залы более обширной: длина 222 pieds, ширина 84. Ее называют salle des procureurs, grand'salle ou salle des pas perdus. Здесь сходятся все челобитчики и plaideurs. Над дверями надписи почти всех парижских присутственных мест.

Мы вошли в parloir для заточенных и видели тюрьму, из которой бежал Лафайет, другую, в которой два дня содержался Робеспьер. Эта часть du Palais de Justice называется Conciergerie, maison de détention du gouvernement (построена на старом месте королевского дворца, называвшемся Préau du palais?), древнейшая и самая страшная тюрьма во Франции. Темный коридор ведет к ней заключаемых. — Мы видели дверь и замок, которым запирали королеву и близ ее темной тюрьму и пр<инцессы> Елисаветы. Тюрьма королевы обращена в капеллу, и три картины

изображают свидание ее с фамилиею, при Симоне, и причащение св. тайнам от Антония, который еще жив и теперь. — Тут вырезано письмо ее к детям, в котором она заклинает не мстить убийцам ее. Тут и памятник Лудвигу XVI. Религия — и действие ее: прощение врагам освятило сие жилище ужасов и преступников. С благоговением к памяти великодушных страдальцев и с состраданием к буйству фанатиков — вышел я из conciergerie.

27/15 октября. Несколько раз переходил Новый мост, но в первый еще раз рассматривал статую на коне Гейнриха IV — du seul roi dont la France ait gardé la mémoire. Она стоит на особой площадке и на мраморном пьедестале. (Elle est située sur le terre-plein du Pont-Neuf, à l'extrémité de l'île de la Cité, et en face de la place Dauphine: elle remplace celle qui fut renversée en 1792). Я думал, что прежняя статуя сохранилась и во время революции и что варвары почтили память единственного любимца народного; но я ошибался. 92-й год и ее разрушил. — Новая, ныне существующая статуя вылита par Piggiani в 1817 году, по модели Lemot. Король, в присутствии всей фамилии, положил первый камень, и в сем камне скрыты медали, на одной стороне коих надпись: «Ludovicus XVIII, Lapidem posuit, Die XXVIII, M. oct., ann MDCCCXVIII. Regni XXIII», и на обороте: «Henrico Magno. Et pour exergue: Pietas civium restituet». Вышина статуи в 14 pieds, цена оной 337 860 франков. Конь утвержден только двумя ногами на пьедестал, так что вся статуя покоится только на двух точках. — Публике открыта она торжественно 25 августа, в день св. Лудвига, в присутствии короля и его фамилии. — На пьедестале следующие надписи <пропуск>.

Гейнрих IV был первый из королей французских, коему воздвигнута была статуя. Презрение и память Гейнриха IV даже и в бурю революции оскорбительно для народа, для человечества. И, не будучи французом, я бы желал, чтобы они в честь королю, который желал, чтобы у каждого хозяйства каждый день была курица в супе, сделали известие и сохранили памятник народной благодарности. Для чего в их политическом или нравственном катехизисе не сохранилась черта его любви к народу французскому — et ce cri du coeur, это движение сердца, с которым он заключил однажды разговор свой с герцогом Guise: «Vous ne me connaissez pas maintenant, vous autres; mais je mourrai un de ces jours, et quand vous m'aurez perdu, vous connaîtrez tout ce que je valais, et la différence qu'il y a de moi aux autres hommes». Гейнрих произнес сии достопамятные слова за несколько часов перед кончиной своей.

Писал к Сереже № 4 (?).

Наконец-то видел я, хотя и в быстром обозрении, Королевскую библиотеку со всеми принадлежащими к ней отделениями, т. е. рукописи, эстампы, камеи, древности греческие и римские и проч. Клапрот познакомил нас с Ремюза и с другими библиотекарями. Поговорив о китайских трудах нашего Иоакинфа, я спешил взглянуть на собрание рукописей ко-

ролей и писателей французских, в двух шкафах на показ выставленных. — «Телемак», рукою Фенелона писанный, попался мне в глаза. Сказывают, что он не сделал во всей рукописи ни одной поправки, а печатал с первоначального оригинала; но, к удивлению моему, я нашел одну поправку: впрочем, он только почернил одно слово, не заменив его другим, и продолжал писать... Близ него — Боссюет, Монтескье, Père La Chaise, Voltaire, коего писем целая связка, m-me Sevigné, Gresset, Racine, Corneille, m-me Maintenon, Scarron, над рукописью коего подписано: «Lettre de Scarron, qui contient les démélés avec Boileau et n'a jamais été imprimée, elle est très amusante». Une signature de St. Vincent de Paul, D'Agnès Sorel; письма Лудвига XIV, François Ier — Трагедия Лафонтена «Ахилл», его рукою писанная; une signature de Molière; самая древняя латинская рукопись из 4-го или 5-го столетия золотыми буквами. География Птоломея из 15-го, с раскрашенными в то время картами. Une tablette enduite de cire, contenant des dépenses faites par la cour en 1283.

Вот à peu près достопримечательности, кои заметил я почти мимоходом, ибо, читая раскрытые страницы Фенелона и Боссюета и проч., я едва мог обратить внимание на содержание рукописей, наблюдая разные формы почерков, определяющих часто характер автора-человека.

Мы видели и китайские рукописи — и сотни тысяч на разных языках. Едва ли в Европе найдется собрание манускриптов богатее здешнего? — И сколько еще отсюда развезено по Европе, и например в Петербург благодаря проворству и пронырству Дубровского! [28]

Из собрания рукописей пошли мы смотреть эстампы, кои могут представить полную историю гравирования, от начала оного до наших времен. —

И здесь так, как в библиотеке и в собрании рукописей, всякий может требовать и смотреть что угодно и срисовывать на столах, для сего нарочно приготовленных.

Здесь художники учатся костюмам, монументам и украшениям, в коих имеют нужду для разнообразных целей своих.

Число эстампов, в шести тысячах портфелей содержащихся, простирается до 1 м<иллиона> 200 т<ысяч>. В них найдете вы все школы: итальянскую, германскую, нидерландскую, англинскую и наконец французскую. Одних портретов до 60 т<ысяч>.

История Франции в эстампах, в 80 портфелях.

Топографическая коллекция в 42 портфелях. Каталог сего собрания поучителен во многих отношениях, для художников и для любителей.

Один из библиотекарей, писатель давно мне известный, <пропуск> позволил, несмотря на то что мы избрали день, в который древности не показывают, видеть их мумии, зодиак, греческие и римские древности и проч. В кабинете гемм удивлялись мы апотеозе Августа и другим редкостям, о коих замечу, когда рассмотрю их на досуге.

Посмотрев библиотеку, отправились мы в фиакре смотреть гобелины, Rue Mouffetard, faubourg St. Marceau, Manufacture des Gobelins, ou Manufacture Royale des tapisseries de la couronne. Название сие получили они от Jean Gobelin, в 1450, который перенес красоты живописи на обои, был основатель сей мануфактуры, некогда единственной в Европе и по живости красок и по совершенству des teintures. И здесь животворящий ум Кольберта оставил благотворные следы по себе. Он (в 1662) скупил дома и сад, ныне составляющие собственность сей фабрики, и поручил управление оных славному живописцу Лебрюну, который лучшие свои картины представил в великолепных тканях гобелина.

Нас повели прямо в рабочие комнаты (ткацкие), и смотритель раскрывал начатую работу каждого стола, чтобы показать нам производство работ и то, что уже сделано на каждом столе. Живость красок и прочность тканей удивительные! Все черты, все оттенки живописи выражены во всем их блеске и с удивительною верностию. Картины, с коих ткачи списывают свои ткани, вывешены у них за спиною. Художник имеет перед собою ткань свою (canevas), а за собою модель, на которую он иногда взглядывает для сравнения оттенков (la teinte des fils), с тою частию картины, которую он выражает на ткани своей. Подражание природе кистию повторяется еще раз шерстяною тканию.

К сожалению нашему, теперь в доме перестройки, ибо сюда же переносят и фабрику de la savonnerie, и мы не могли видеть других, полных тканей в галереях, но ex ungue leonem. Мы видели портрет герцогини Берри с детьми ее; разные мифологические и исторические предметы в картинах французской школы и ковры для церковных надобностей.

Для работников есть школа рисования, и в сем же самом заведении ежегодно делается курс химии, appliquée à la teinture. Dans ces tapis des gobelins, l'aiguille et la teinture surpassent la nature. 4 ateliers, в каждом несколько станов.

Des gobelins l'aiguille et la teinture
Dans ces tapis surpassent la Nature.

Voltaire.

У кн. Разумов<ской> познакомился с Cousin.

28/16 октября. Получил письмо от Сережи.

В первый раз еще нам отказали показать одно из здешних заведений, именно St.-Pélagie, где содержатся за долги — и за политические преступления. Мы представили дозволение префекта Сены, но Pélagie зависит от префекта полиции, и нас обратили к нему, а мы отложили осмотр сей до следующего дня и пошли по соседству в гофшпиталь, называемый Pitié, который также под надзором des filles de St.-Thomas и ныне вмещает до 500 больных, из коих много и раненых, требующих хирургических пособий, и одержимых оспою, свирепствующей теперь в Париже. По многочисленности больных — постели поставлены не только по стенам зал, но

и в средине оных; и чистота опять напомнила нам, что больница сия в ведомстве женщин — и религии. Вообще заметить должно, что все здешние заведения лучше содержаны женщинами, нежели мужчинами. По наружности уже судить можно, кому поручено попечение о доме: опрятность в белье и в комнатах отличает владычество прекрасного пола. Я уверен, что и больные лучше желают быть на руках у них, нежели у нас. Они обрекли себя благотворению и неутомимы, как милосердие. Pitié может вмещать до 600 больных.

Отсюда, по соседству, прошли мы в институт слепых: Institution Royale des aveugles, где память изобретателя средств поправлять недостатки натуры, Найу, сохраняется в почтении. Мы нашли в salle d'exercices на одной стороне мраморную доску, на которой вырезано имя его, с означением года изобретения его методы учить слепых и осязанием и другими чувствами заменять им зрение, и года кончины в 1822 году. Он умер в Париже, у брата своего славного минералога. Я знавал его в России и был употреблен, кажется, Новосильцовым к вспомоществованию ему в первых его предприятиях к утверждению его заведения в пользу слепых. Помню и сохранил множество его записок, которые более делают честь его рвению, нежели грамотности. И на доске, сохраняющей память заслуг его, упомянуто о введении им и в России его методы обучения слепых.[29] Теперь место его заступает Lignier, Directeur général de l'Institution Royale des jeunes aveugles.

Казенных воспитанников 90, из коих 60 мальчиков и 30 девиц. Сверх того, пять или шесть пенсионеров, платящих известную сумму, кажется 800 фр<анков> в год, за свое содержание и обучение в сем институте. Я застал в зале слепых мальчиков, играющих в кубари и веселящихся в кругу своем, сколько вечный мрак совместен с веселостью. Многие из них до 20-го распущены по домам, ибо теперь ваканция; следовательно, узы родства существуют и святы, и они хотят слышать *родимые* звуки, хотя и не могут читать в чертах родителей радость и горе сердечное.

Другая доска, в той же зале, поставлена в память 1816 года, когда сей институт был отделен от другого, называемого des 15—20 (во время министерства Воблана) et rendu à sa première destination et transféré dans ce local.

На третьей доске золотыми буквами вырезано имя одного из слепых воспитанников, Paingeon, который сделался профессором и теперь еще преподает лекции.

Учреждение сего заведения висит на стене и, в 1815 году начертанное, подписано тем же Вобланом. Надзирательница заставила некоторых воспитанниц показать пред нами их искусство в исчислении, или в первых 4 правилах арифметики, знание в географии и в набирании литер и в составлении из оных, по нашим задачам, фраз. Мы сделали им и некоторые вопросы из географии и арифметики, и они отвечали удовлетворительно. Нам показали и труды их рукоделия, кои продаются в их пользу.

Надзиратель водил нас в их типографию и показывал собрание напечатанных у них для их употребления разных книг — нравственных и учебных. Целая библиотека напечатана для них, у них и ими.

Оттуда прошел я смотреть старинную церковь: Saint-Nicolas du Chardonef, rue St.-Victor. Она суккурсальная только, т. е. приписанная к приходской. Примечательна памятниками матери славного королевского живописца Lebrun и поэта Иоанна Баптиста Santeuil, умершего в Dejou в 1697 году и перенесенного сюда в 1818 году... и — проповедью одного фанатика, о которой St.-Foix рассказывает в своих анекдотах о Париже в 3-й части.

Идучи куда глаза глядели, набрел я на соборную церковь (Notre-Dame) Богородицы и в первый раз вблизи ее видел. Есть ли она не первая церковь, построенная в Париже, то, конечно, теперь древнейшая (ибо первая была во имя св. Стефана) и по многим отношениям примечательнейшая. Ее начали строить в 1160 году в царствование Louis le jeune, и строили в течение двух столетий. Впрочем, точно означить время ее начала нельзя. Думают, что сам папа Александр III в 1163 году положил первый камень в ее основание. Черная и от времени потемневшая фасада вселяет какое-то благоговение независимо от священного ужаса церковных старинных зданий. На одном из порталов вырезан зодиак, примечательный тем, что 11 знаков, с надлежащими принадлежностями оных, вырезаны tout autour de la voussure du portique, а 12-й, изображающий Деву, не вместе с другими, но в гораздо большей пропорции приставлен к колонне (pilier), разделяющей две двери сего портика, и изображает образ богоматери, которая, вместо Цереры, держит в руках спасителя.

На одной из башен повешен славный колокол, называемый bourdon, в который звонят только в чрезвычайных случаях. В 1686 году его торжественно окрестили и восприемниками были Лудвиг XIV и супруга его; и в святом крещении колокол назван Emmanuel-Louis-Thérèse.

Внутренность церкви огромная: un double rang de bas-côtés разделен 120 колоннами, поддерживающими своды en ogive. Около nef et choeur et au-dessus des bas-côtés еще целая галерея из 108 колонн, каждая из одного камня. Прежде 45 приделов окружали сию церковь и служили ей как бы оградою, rempart. Теперь только 32 придела.

Я видел в «Marie Stuart» Тальму и Duchesnois.[30] Талант первого блестящ, даже и в роли весьма второклассной, и я не понимаю, как он решился играть в сей трагедии, где нет первенства для актера, даже и в роли Лейчестера. Тут все внимание разделено между Елисаветою и Мариею. Дюшенуа — несравненная актриса, но я не смею повторить замечание о первых талантах здешнего театра между актрисами. И в ней есть какая-то аффектация, которой нет в Тальме; в нем все естественно, даже и те позиции, в которых он подражает древним статуям. С какою выразительностью произнес он слова: «My lord, vous ne répondez pas?». — Публика в восхищении осыпала его рукоплесканиями.

Вторая пьеса — «Les étourdis», играна хорошо, но первоклассных талантов в ней не было.

29/17 октября. Сегодня мы отдыхали от обязанности путешественника, которую Стерн называет inquisitive; но физически я не менее устал. Поутру был у гр. Модена, Rue de l'Université, hôtel des Ministres; потом у посла, с которым говорил долго о здешних тюрьмах и о преимуществе тюрем английских, но..... Получил от Боннара 10 660 фр<анков>. Купил шелковых чулок у Heloin и видел произведения его фабрики чулочной. Он поставляет чулки и для государя; бродил по булеварам, торговал книги; потом беседовал с Мерьяном и обедал в Пале-Рояле.

Вечер провел сперва у гр. Раз<умовской>, где видел m-me Tortonvall, о которой так часто слыхал от княгини Гаг<ариной> в СПб., с которою она уже...., а кончил вечер с гр. Раз<умовской> у Гизо в кругу его семейства и друзей, между коими нашел славного Biot. — Общество сие напомнило нам семейство Кар<амзиных>. И здесь ум и благородство души отличительные черты: Гизо был factotum не столько в Министерстве внутр<енних> дел, но в Министерствах, при Деказе, не имея никакого состояния, кроме жалованья, коего получал до 60 т<ысяч> фр<анков> и квартиру и почести; и все оставил и предпочел бедность перемене правил в управлении.[31] Примеры сии редки и в наше время. Теперь живет сочинениями умной жены и своими, сохраняет независимость правил при всей зависимости недостатка в средствах жизни. Предметы разговора менялись, но обращались почти всегда к России..... Я рад, что мог с жаром чувства и согласно с истиною говорить об императрицах.... Био сидел при нас недолго. Гизо живет в двух или трех комнатах; в маленькой комнате, где мы едва могли уместиться, кажется, и спальня их, а подле ее уютная столовая, или прихожая, как угодно. Но совесть его спокойна...

30/18 октября. Воскресенье. Был у русской обедни, видел многих соотечественников, между прочим, и бар. Строг<анова>, оттуда к княгине Гагар<иной> и к Ал<ександру> Льв<овичу> Нар<ышкину> и к Клапроту. Первую застал и сидел у ней.

Заходил на погребение офицера национальной гвардии в церковь St. Roch и слушал проповедника, который увещевал к благочестивой жизни и к составлению домашних обществ для чтения религиозных книг; упрекал католиков в равнодушии к религии и к церкви, и несколько раз повторил, что les enfants de l'erreur, les hérétiques, гораздо прилежнее к чтению слова божия — детей правды и истинной церкви, что первые посвящают воскресные дни слову божию и чтению евангелия, между тем как сыны православия не думают о спасении души своей. Едва ли это не правда? — Церковь наполнена была слушателей и молящихся, и Les ignorantius привели детей не слушать проповедника, а литургию, начавшуюся после. На малолетних детях кресты отличия и у не умеющих читать четки, по коим должны творить молитвы.

Писал к Булг<акову> с почтою, которая пойдет завтра. Посмотрел канц<елярию> пос<ла>.

Обедал у гр. Бобр<инской> с Бреем и его семейством, и казалось, что я переселился в П<етер>бург. Und manche liebe Schatten stiegen auf. За малым круглым столом, как некогда на Мойке у Б<обринской>, когда я ловил еще призрак счастия. Мир праху твоему, бедное сердце мое! ..

Мне напомнили, что здесь княгиня Куракина, сумасшедшая, и спросили, видел ли я ее? В самом деле, давно бы я должен был о ней понаведаться, хотя видеть ее и трудно будет; ибо каждый, напоминающий ей о ее семействе и родине, приводит, как уверяют, ее в бешенство. Однако я отыщу ее.

31/19 октября. Мерьян сообщил мне сегодня свой рапорт м<инистру> ф<инансов> о некоторых книгах, вышедших в Париже, особливо о правилах для усиления промышленности во Франции и Англии. Между прочим, он хвалил Dupin и книгу его о применении наук к ремеслам, в которой он доказывает, что ремесла не могут теперь обойтись без наук и что совершенство оных зависит от соединения ремесл с науками.[32] Это правило принято и в политехнической здешней школе. Превосходство Англии в ремеслах и искусствах — есть последствие сей давно ими признанной истины... В самом деле, свет науки освещает и скромную храмину ремесленника, и ученый не чужд трудам его. Между ними существует какое-то взаимное обучение, которое совершенствует методы в науках и приемы в рукоделиях и в ремеслах, и способы улучшения материалов.

Гумбольдт зашел к нам сегодня и повел нас в Академию, усадил близ Cuvier и других должностных ученых и называл на ухо каждого известного или славного ученого, кои окружали нас. Почти все ученые — Лаплас, Дефонтен, и проч. проч. — были в собрании; по чинам — два академика и один почетный адъюнкт. Предметы чтения были на этот раз из анатомии рыб и о желтой лихорадке и язве. К Гумбольдту все подходили с большим уважением, и по окончании заседания он представил нас Cuvier, который пригласил нас по субботам к себе. У него собираются ученые и литераторы всех партий. Гумбольдт проводил нас до набережной и предложил познакомить и с Газе, что в библиотеке, и ввести в Академию так, чтобы мы могли брать из библиотеки оной книги.

Обедал у гр. Брея — и думал о прошедшем. Вечер кончил у Стурдза. Устал — и продолжать не в силах журнала, жалею, что интересное знакомство нынешнего дня не оживило сил моих для записи в книгу всего, что видел и слышал...

2 ноября/21 октября... В первый раз еще обошел я почти всю Тюльери и взглянул со вниманием на некоторые статуи. План тюльерийского сада первоначально был начертан Ленотром.

Группа, которая прежде всего остановила меня, одна из прекраснейших в сем саду — это Эней, уносящий, после разрушения Трои, отца своего

Анхиза, который держит за руку внука своего Аскания. Lepautre был творец сей группы.

Другая группа, им же конченная в Париже, но начатая Теодоном в Риме, представляет смерть Лукреции — в 3 фигурах.

Нил, Тибр, Сена, Марна и проч. и другие изображения, коими Париж обязан пенсионерам короля, в Риме обучавшимся.

Мы вышли в поля Елисейские и оттуда, по берегу Сены — пришли в Сад инвалидов и в их великолепное убежище. Большими аллеями и эспланадой, деревьями усаженной, прошли мы во двор, где стража у ворот из инвалидов. Один из них указал мне, где найти путеводителя для осмотра всего заведения.

Hôtel Royal des Invalides. — Строение сего огромного здания началось еще в 1670 году, церкви — в 1675. Libéral Bruant, архитектор, начертал план церкви и алтаря, а Jules Hardouin-Mansard продолжал их — и составил план du dôme. Двор окружен 12 пушками. Фасада в 102 саженях длины, в 4 этажа и в 133 окна. В центре ворота, над коими в барельефе изображен Лудвиг XIV с следующею надписью <пропуск>.

На противоположной стороне входа — портал церкви. Вероятно, храм был созидаем по двум планам и первый был не столь обширен, как второй, по коему Лудвиг XIV воздвиг le dôme. Le maître-autel разделяет dôme от церкви, и вид позлащенных колонн оного гораздо великолепнее и изящнее из dôme. Когда смотришь из церкви, то даже не все колонны главного алтаря видны. Лудвиг XIV истощил искусства и великолепие на украшение du dôme. Пол из мрамора. Живопись, скульптура — все напоминает пышность его правления. Шесть приделов в dôme. Ни одна церковь в Париже столько нам не понравилась изящностию, освещением и украшениями своими, как Храм инвалидов.

В dôme у одной стены памятник Тюренесу и на медном барельефе над его статуей изображено Тюркеймское сражение, с надписью: «Bataille de Turkheim, donnée en 1675». Памятник сей был воздвигнут Тюренну Лудв<игом> XIV и находился в St. Denis, с прахом королей французских, рассеянным революционистами; но памятник сохранился и перенесен сюда. Тюреннова статуя в минуту смерти его — мешок с сыплющимися деньгами — напоминает его сокровища, коими кормил он войско. Инвалид прочел нам стихи, кои написаны в честь Лудвигу XIV и Тюренну, когда гроб его поставлен был в St. Denis.

На противоположной стороне сему памятнику — другой Вобану, в 1807 году воздвигнутый, в день и год (anniversaire) его смерти. Прежде 1417 знамен, отнятых у неприятеля, с верху купола прикрывали сеи два монумента, но в 1814 году в ночь с 30 на 31 марта, перед первым вшествием союзных войск в Париж — знамена сии сожжены. За два года перед тем Бонапарте, будучи уже в России, позлащал купол Инвалидов! Позолота 1812 года осталась: знамена его с дымом исчезли и развеяны.

Вышед из церкви, видели мы славный régulateur, подаренный инвалидам Лудвигом XVI. Мы входили в спальни солдат. Каждая вмещает обыкновенно от 50 до 56 кроватей. Все чисто; воздух свежий и комнаты теплые. В библиотеке нашли мы несколько инвалидов, читающих книги и журналы и в них — свои подвиги. Она состоит из 20 тыс‹яч› книг. Другие в особой комнате беседовали друг с другом. В библиотеке бюст Лудвига XVIII, венок из цветов на голове его, и под бюстом надпись: «Les vieux défenseurs de l'Etat en ont ici placé le père. Janvier. 1816». Прежде в сей же комнате и на сем же месте был портрет Наполеона, переходящего Альпы!

Вид из библиотеки прелестный: возвышающийся над Парижем Montmartre с его мельницами; сооружаемый чрез Сену Мост инвалидов, вправо колонна Вандом — и необозримые массы домов парижских.

От 6 час‹ов› утра до 9 вечера солдаты могут отлучаться по их произволу; офицеры могут приходить домой и позже, предваряя инвалидное начальство. Солдат получает суп, мясо, зелень и un peu de vin. Офицер — суп, говядину, entrée, la viande, légumes и бутылку вина. Солдат теперь более 3 тыс‹яч›, офицеров 250. В 1811 году солдат было 11 тыс‹яч›. Более тысячи теперь в Авиньоне.

Вчера привели сюда одного инвалида 119 лет. В зале, где обедали солдаты, — победы Лудвига XIV. Мы с почтением смотрели на сидящих за обедом офицеров. Безруким помогали безногие. Губернатором теперь здесь Latour-Maubourg.

Дом окружен двором, в коем 300 садиков, обделываемых инвалидами. Издали видели мы статуи Луд‹вига› XIV, les quatre nations enchaînées: памятник побед его.

Во всех церквах, как и в здешней, вывешено завещание Лудвига XVI, как у нас акт св. Синода.

Портреты умерших маршалов ставятся в зале собрания.

Thomas d'Aquin. Церковь. Прежде монастырь якобинцев. Картины в ней: снятие со креста и St. Vincent de Paul, призирающий младенцев. Мимоходом были в сей церкви.

Обед у посла. В 6 часов приехали мы к представителю русского императора в Карикле. Один только приехал прежде нас, Дивов, но вместе с нами многие. Около семи часов сели за стол, великолепно освещенный и серебром отмеченный. Посол сидел между княгиней и графин‹ей› Разумовскими. Перед ним к‹нязь› Раз‹умовский›, некогда пышный, важный, великолепный, prenant tous les coeurs après soi, теперь un ci-devant jeune homme, в узком фраке, в узких панталонах, в тонких башмаках с ленточками, с молодой женою..... Присутствие князя Разумовского, коего я видел за 20 лет в Вене на сей степени, еще более напомнило мне где, у кого я..... Корсиканец дает обед русским и представляет им и Франции русского императора. Едва успел об этом подумать, как оглянулся на блестящий круг гостей, и — смирил движение, порыв национальной гордости. —

Князь Р<азумовский>, промотав жизнь и имение, доставшееся ему известною службою Елисавете дяди его, живет на счет России, без всякой для нее пользы, и в 78 лет играет в Италии французскую комедию. Жена и свояченицы его иностранки. — Другая гр. Раз<умовская> оставила одного мужа и вышла за другого, определив первому от щедрот второго пенсию. . . . . Гр. Шувалова, устроив мнение на счет казны, тучнеет в сладострастии; княгиня Багратион, забыв мать и Россию, проживает последние прелести; княгиня Голицына-Суворова — с новым мужем и с старыми морщинами. Графиня Брюсс — без мужа, но с тем же. — Свистунова. . . . . Теперь кавалеры: гр. Моден, но он не русский. Кологривов! к<нязь> Гагарин! — к<нязь> Лобан<ов> — Рост<овский>, к<нязь> Щербатов, <1 нрзб> Стурдза, но и он не русский, к<нязья> Голицыны!! Ланжерон! Тюфякин, Броглио.

Есть ли все сии русские могут представлять Россию, то П<оццо> д<и> Б<орго> может представлять императора (не судите, да не судимы будете, подумал я и замарал написанное).

Едва отобедали, как уже двор наполнился каретами, а посол у камина читал вечернюю «Звезду».

3 ноября/22 октября. Был два раза сегодня в Тюльери, во дворце и осматривал залу, в которой увижу завтра короля за обедом. Сколько искателей билетов, для впуска в столовую завтра, приходили к швейцару дюка Дюмона — и возвращались с пустыми руками.

Взглянув на развод и услышав пушку Инвалидов, я пустился вслед за другими в тюльерийский сад и оттуда в Елисейские поля; но узнав, что вино польется и увеселения начнутся позже, зашел к гр. Боб<ринской> и с княг<иней> Г<олицыной> отправился снова в Елисейские поля. Издали уже увидели на открытом пред площадью и народом театре — балет. Кажется, представляли «Jeanne d'Arc» (нет: «Les principaux traits de la vie d'Henry IV») и французы торжествовали над англичанами. Выстрелы на театре заглушались жужжанием народа, который озирался беспрестанно на выставленные посреди площади высокие мачтовые жерди, к коим привязаны были пять призов, из коих первый — золотые часы.

На другом театре, в конце площади, играли водевиль и comédies-proverbes. Актеры и актрисы и костюмы были по погоде и по публике.

В других местах театры с вольтижерами, с китайскими тенями, марионетками; восемь оркестров с музыкою инструментальною и вокальною. В два часа начали подниматься на mâts de cocagne — охотники; но я не заметил большого проворства и с сожалением смотрел на труд и на истощение, с коими полуобнаженные взбирались медленно на мачты. Кое-как проворные сорвали с венцов призы, и народ устремился к колбасам и хлебам, кои кидали из нескольких избушек, построенных вдоль по плацу Лудвига XV, и к вину, которое лилось из таких же избушек, в коих скрыты были бочки. С какою жадностию ловили они хлебы и колбасы; но более всего забавляли меня мальчишки, кои, подкрадываясь, взлезали

по стене на верх домнка и уносили оттуда хлебы. Вино доставали они, также становясь друг на друга, и теснились вокруг красного источника. У одного домика жандарм хотел учредить порядок между продиравшимися к вину и беспрестанно бил палашом и отгонял самых смелых удальцов. Этот жандарм был так похож на гр. А‹ракчеева›, что я поражен был сим сходством и указал на него моим соотечественникам. Скоро подъехал к нему жандармский офицер и запретил ему учреждать без службы порядок там, где его быть не может. «Laissez les faire», — закричал он ему — и рукоплескания благодарности загремели для офицера...

Около 4 часов стало во всех концах шумнее. Сначала показалось нам что-то мертво и невесело. Я ожидал более шума и веселости. Подошед к одному оркестру, увидел я кадриль французскую; кавалеры были в рубашках; между женщинами были две лет в 60.

Сверх официальных безденежно поставленных увеселений, как-то качелей и проч., все поле и сад наполнились тысячами промышленников разного рода. Лотерей более всего. Там вешают за копейку, в другом месте меряют. Там ворожат — и можно бы целый день провести, переходя от одной забавы к другой.

Возвращаясь из Елисейских полей, увидел я мальчика в рубище, с essential мармоткой лежащего, лицом к земле, у сада тюльерийского. Народ уже толпился вокруг него; мы спросили его, болен ли он? «Да», — отвечал бедняжка на вопрос мой. Не голоден ли он? «Да», — повторил он мне. Когда ему дали денег, он встал и пошел с мармоткой своей. Мне уже сказывали, что недавно нашли на улице человека, несколько дней не евшего...

Был в театре. Тальма прекрасно играл Ореста в «Андромахе», Дюшенуа в Гермионе, Bourgoing в Андромахе. Слова: «Et vous le laissez?», кои Тальма с упреком говорит Гермионе, и Allez, dans cet état soyez sûre de me plaire, произнесенные Гермионой Оресту, врезались в моей памяти.

Другая пиеса «Le mariage secret».

После 1-й пьесы публика беспрестанно кричала и требовала Тальмы. Началась музыка, и крик заглушал ее; началась вторая пиеса, и крик не переставал. Наконец, вышел актер и с некоторым презрением объявил, что во всех коридорах объявлено запрещение префекта полиции актерам являться на зов публики, и — скоро крики и топанье унялись...

4 ноября/23 октября. Сегодня сбирался я видеть открытие префектом новой биржи и опоздал. Зато видел съезд в Тюльери на поздравление к королю. Карета нашего посла великолепнее всех других. Видел двенадцать экипажей 12 парижских меров, приехавших для поздравления короля, и ливрею с разноцветными рукавами Монморанси. Потом гулял в саду Тюльери, и когда король проходил из церкви в другие комнаты и остановился у окна, то слышал: «Vive le roi!» — в разных местах, но слабо, очень слабо — и не поддержанное голосами гулявшей толпы народа. По улицам, в Тюльери, в полях Елисейских везде толпы гуляющих, везде опять те же почти увеселения, как и вчера.

В 4 часа явились мы во дворец, pour le grand couvert, en gradin по лестнице, ведущей к покоям du premier gentilhomme de la chambre du Roi, Le duc d'Aumont, но двери были еще заперты, и я с своими решился войти в его прихожую и дожидаться отворения дверей; за нами последовали гр. Броглио, московский некогда житель, и две другие русские дамы. В 4½ нас впустили в залу. Дамы стали на gradin, мы на другой стороне, но на выгоднейшем месте. Мое было лучшее из всех, ибо я приехал ранее других. Скоро собралась публика, и поставили *табуреты для герцогинь*. Придворная челядь суетилась вокруг нас; поставили четыре прибора на столе: один — особо, для короля; два на одной стороне для дофина и супруги его и один на противуположной для герцогини Берри. В 6 часов пришел король, с свитой его, в которой был и архиерей (кардинал) <пропуск>, стоявший также вместе с другими за стулом его. Зала узкая и еще уменьшена перилами для проходящей публики и оркестром, с одной стороны, для музыки и ступенями — с другой, для дам. Я был ближе всех к королю:

Стоял близехенько к нему,
Не веря счастью моему ...

Он кушал с аппетитом и мало говорил с тремя членами своей фамилии, обращаясь довольно часто к стоявшим за ним придворным. Мимо его проходили за перилами зрители, не останавливаясь..... Он уже кончил обед свой, но заметив, что публика еще не вся его видела, остался, пока все успели пройти, и потом встал — и ушел с небольшою свитою во внутренние апартаменты. Хоры певчих, весьма посредственных, и музыка инструментальная, гремели во весь стол, кончили национальною песнею «Vive Henry IV», и король, казалось, подтягивал и бил в такт музыке.

Всякий раз, когда он хотел пить, кравчий требовал вслух питье, которое, по древнему обыкновению, должен le sommelier, отведав, подносить королю... Ни зала, ни двор, ни музыка — ничто не может равняться с великолепием нашего двора. Это заметили другие — и я также. Trois services — в столе. Услуга состояла из разных чинов двора; но и придворные многое не могли объяснить мне. Между женщинами-зрительницами заметил я прекрасное, значительное лицо — и это была Sophie Gay, автор многих сочинений и переводчица Крылова.

Завтра прочту во всех журналах, что видел сегодня во дворце и в народе и чего не видел в театрах, в коих безденежно везде играли, и в местах увеселений, и на балах, куда приглашены были les dames et les forts des Halles...

5 ноября/24 октября... Обедал у гр. Брея с русскими и нашел у него записку Гумбольдта, в которой он приглашает меня приехать сегодня к Cuvier, где он будет дожидаться меня до половины десятого. Вскоре после стола я отправился в Jardin des Plantes и пробрался к Cuvier, вызвал Гумбольдта, который представил меня хозяевам. Тут нашел я в малой гостиной толпу славных ученых: астрономов, натуралистов, путешественников и проч. К счастию, между ними и Abel Remusat, коего знал уже

по библиотеке. Заговорили о Востоке, а Cuvier указывал мне каждого ученого, называя по имени и упоминая о заслугах их. Приемная, уже и без того тесная, наполнилась дамами и новыми гостями — и я хотел ускользнуть, но Cuvier проводил меня до сеней.

6 ноября/25 октября. Вчера был у Клапрота и записал некоторые книги в его библиотеке, купленные им в Англии и, по мнению его, классические об Индии и вообще об Азии. Он уверяет, что большую часть анг<линских> книг можно купить у букинистов за половину цены; ибо книгопродавцы, выручив деньги за 200 или 300 экземпляров, остальные экземпляры продают за 3-ю часть цены букинистам, а сами предпринимают новые издания. Только новейшие книги надобно платить дорогою ценою, т. е. вполне; в числе книг об Азии заметил я:

1. Historical account of discoveries and travels in Asia from the earliest ages to the present time, by Murray. Edinburg. 1820. Три части in 8. У букин<истов> можно купить. В ней упомянуто и о всех путешественниках, древних и новых, в азиатскую Россию.

2. Hamilton's Description of Indostan. 2 vol. Тут об Индии, Тибете, Кабуле. Интересная книга, в отношении к России.

3. History of Indian Archipelago, by Crawford.Три части, in 8.

4. A. Memoir of Central India, by Malcolm. 2 части, in 8.

5. Mirborne oriental commerce. Новое издание. Главная книга для всех отраслей торговли...

Просидев весь вечер дома, прочел я «Ласкариса» Вильменя и жалею о потерянном времени. Это слабое произведение, которое формою своею напоминает только «Анахарсиса». Это не роман и не картина того времени, богатого зародышами для будущего. Вильмень коснулся оных, но ни об одном не сказал ничего замечательного. Ему хотелось изобразить влияние покорения Царьграда и рассеяния греков в Италии на Европу, и современность сего происшествия с другими, всемирную значительность имеющих; но он едва упомянул о книгопечатании и об открытии Америки, и едва ли найдется читатель, которому бы не пришло более в голову, чем он найдет в книге.

Ученость его также не обширна: он не знает ни тогдашних греков, ни нынешних. Я не могу кончить его исторический опыт о греках, составляющий отдельную часть книги, хотя и нашел в нем усилия автора представить картину сношений Греции с Россией с того, как религия и политика связали их узами единоверия и противуборства туркам, т. е. взаимных выгод. Выпишу несколько строк из всей первой части книги:

«Triste image de la destinée! La vie des ruines est plus longue que celle des Etats; et nous trouvons encore aujourd'hui tant de grandeur dans les débris de ce qui n'est plus depuis deux mille ans!».

Эта мысль или, лучше, это чувство приходило мне часто на ум в путешествии по Рейну, которого развалины пережили Рим, Германию, Наполеона!..

Не помню в Витенберге при виде памятника Лютеру или в Майенце при виде дома, принадлежавшего Гутенбергу, я думал тоже о синхронизме или о современности важных происшествий мира, что Вильмень в одном примечании говорит о времени изобретения книгопечатания, которое сошлось с эпохой водворения искусств и наук в Италии из Греции: «Plusieurs écrivains avaient remarqué cette heureuse coïncidence de la découverte de l'imprimerie avec l'émigration des lettres grecques en Occident. L'imprimerie fut inventée à l'époque précise où elle était le plus néccessaire et sans doute parce qu'elle l'était. En effet ces prétendus hasards qui ont fait trouver tant de choses admirables, n'étaient presque toujours qu'une réponse aux besoins et à l'activité de l'esprit humain tourné plus particulièrement sur un objet».[33]

7 ноября/26 октября... Ввечеру видел Тальму и Дюшенуа в «Германике», в славной трагедии Арно-отца, и потом m-lle Mars в «Béarnais» или «La jeunesse d'Henry IV», в новой маленькой комедии, в которой были намеки в пользу короля; но рукоплескания были вынужденные и очень слабы и редки...

8 ноября/27 октября... Желая воспользоваться улыбнувшимся на нас солнцем, мы отправились на кладбище отца Лашеза, но по дороге заехали в бойню, называемую Abattoir de Popincourt ou du Ménilmontant, огромнейшую во всем Париже. Строение оной напоминает несколько нашу бойню, что у заставы П‹етер›бурга к Царскому селу; но, кажется, здешняя обширнее. Теперь в Париже *пять* боен; но Попинкурская самая деятельная и одна только Монмартрская равняется с нею обширностью строений и дворов; прочие три меньше сих двух; но и в Монмартрской 200 быками в год убивается менее.

Сим кровоточивым заведением город обязан Наполеону: до 1809 года не было в Париже ни одной особой, отдельной бойни. Мясники водили купленных ими в Sceaux и в Poissy быков по городу, и нередко случались от сего несчастия. В городе были рассеяны по разным местам малые бойни, называемые les tueries. Строение Попинкурской бойни началось в 1810 году. В ней 7 отделений для овец, bergeries, семь для быков, bouveries, и так далее. 1200 быков и 280 коров убивается в неделю, а овец 4500 в неделю. Бойня сия доставляет городу от 80 до 100 тысяч кило (кот‹орый› содержит 2 фунта) одного сала в неделю. Кровь бычачья, употребляемая в сахарных заводах, продается по 10 sols за каждую saignée. Ночью гораздо более трудятся мясники, нежели днем, и в одну ночь выпускают до 500 фур мяса, перед днями, в кои бывают торги, как-то в пятницу и в понедельник.

Иногда быки вырываются с канатов, коими прикрепляются к столбам в минуту жертвы, — и тогда горе мясникам. Недавно один из них убит вырвавшимся на волю быком. Проводник наш, опытный убийца быков, уверял нас, что они предчувствуют участь свою — в бойне. Когда их пригоняют сюда, то их оставляют два, три, а часто и четыре дни без пищи — и они, сколько от усталости, столько и от предчувствия смерти, сами не

едят и не пьют, когда им дают пищу и пойло. То же случается и с овцами. Мы видели, с каким усилием тащили быка на бойню. Он упирался и как бы знал, куда вели его.

По сие время не уменьшили жестокости, с коею убивают их несколькими ударами и продолжают мучение бедных животных. Мне пришла мысль заказать от правительства или от Академии наук задачу и обещать награду тому, кто изобретет легчайший способ лишать жизни употребляемых в пищу животных: от цыпленка — до буйвола! Я уверен, что эта мысль многим уже приходила в голову и может быть приведена уже в исполнение, но кто из нас — охотников до бифштекса — думает о жертвах нашей утонченной, ненасытимой гастрономии. Я взглянул на трепещущего быка под ударами мясника, и картина сия никогда не выйдет из моего воображения.

В сей же бойне устроен колодец и обширный réservoir, кажется о 2 этажах, с водою, снабжающего все заведение. В 1814 году в сей бойне, прежде нежели она была отдана в употребление мясникам, были казармы для войск при вступлении в Париж Лудвига XVIII.

Другие три бойни гораздо меньше этой и Монмартрской. Мы обошли сараи, в коих обреченные жертвы, большие и малые, ожидали в унынии своего жребия.

Мы шли по окровавленному двору — и спешили к жилищу спокойствия, где же несть ни печали, ни воздыхания..... к отцу Лашезу.

У самой заставы des Amendres et dans la commune de Charonne устроено кладбище de l'Est, de Mont-Louis ou du Père la Chaise. Сей духовник Лудвига XIV и любимец его выпросил себе это место, и выстроил на нем для лета домик, который уничтожен только в 1820 году.

Вид отсюда на весь Париж прелестный. Я еще не видел здесь ничего подобного. Надобно подняться несколько на гору, чтобы очутиться между памятниками надгробными. Здесь население едва ли не многочисленнее парижского и столица мертвых богаче жителями столицы живых или по крайней мере живущих и умирающих ежеминутно. Здесь найдете вы более славных имен, теней, нежели достойных жизни после смерти в Париже. Тени великих авторов и полководцев, министров и полезных граждан витают над печальными кипарисами и над цветами, которыми любовь и память сердца оставшихся осыпала почти каждую могилу, каждый памятник, гордо к небу возносящийся, каждый крест, смиренно в земле утвержденный. Не доезжая кладбища, увидели мы уже на соседственных улицах венки и гирлянды и кресты из цветов, которые продаются желающим усыпать ими гроб милых ближних... (Никогда не забуду дерптской могилы и цветов ее.....).[34] Гробы и памятники на этом кладбище так часто уставлены, что вряд ли долго может служить сие пространство беспрестанно увеличивающемуся населению всех возрастов и всех религий; ибо и еретиков здесь не чуждаются: я видел гробы немцев-протестантов и англичан епископальной церкви. На большей части памятников заметил

я слова «concession à perpétuité» и спросил о их значении (ибо на что бы, казалось бы мне, сказывать живущим, что сажень сия навеки будет жилищем праха мертвых), и мне объяснил один гробокопатель смысл сих слов. *Уступкою навсегда* отдается место сие в вечное владение покупающих оное для погребения умерших. Иначе тела остаются тут только *пять лет*, время, полагаемое для сгниения оных, и место отдается новым пришельцам. Любовь родственников и ближних обыкновенно старается сохранить место с прахом, драгоценным сердцу или фамильной гордости, и в таком случае она приобретает землю сию, что называется concession à perpétuité.

Ах! сердце нежное, природу покидая,
Надеется друзьям оставить пламень свой,

а друзья надеются сохранить сие сердце как вечную, неотъемлемую собственность.

Множество великолепных памятников, пирамид, катакомб, каплиц воздвигнуто простым, незначущим, но, вероятно, богатым гражданам, богатыми же наследниками. Не раз, пораженный гордою пирамидою и надеясь прочесть или значительную надпись или славное имя, я подходил к ней — и находил неизвестное имя неизвестного парижского гражданина.

Но и славные не забыты! С некоторым чувством если не почтения, то по крайней мере любопытства, увидел я ряд великолепных памятников славным сынам Франции. Маршалы: Lefebvre, soldat, maréchal, duc de Danzig, pair de France, напоминающий Fleurus (avant-garde), passage de Rhin, Altenkirchen, Danzig, Montmirail; близ него Массена — с славою Риволи, Zürich, Генуи, Эслинга.

Неподалеку от них Cambacérès и морской министр вице-адмирал Ducres, с барельефом корабля Вильгельма Телля, 30 марта 1800 года.

Но какое-то общее европейское чувство любви и почтения влекло нас к славным сынам Франции в других родах и в другой эпохе: памятники Molière и Лафонтена остановили наше внимание. И кто же их воздвигнул? Нынешний префект Сены Шаброль!! — На памятнике Лафонтена в барельефе изображены его басни; между прочими: волк и лисица, и наверху сидит <пропуск>.

Я сорвал лавровый лист, растущий на его гробе, и сохраню для московского Лафонтена.[35] Здесь и Jacques Delylle. С благоговением подошли мы к мавзолею Камиля Журдана. Надпись: «à la mémoire de Camille Jordan».

Есть и русские, кои и здесь блеснули роскошью... На 8 колоннах мраморных поддерживается надпись над могилою Елисаветы Александровны Демидовой, урожд<енной> бар<онессы> Строгановой...

Мы видели и памятник актрисы Marie-Antoinette-Joséphine Raucourt, умершей в 1815 году. Спор о том, хоронить ли ее в св<ященной> земле, — памятен в истории театра.

Наконец, зашли мы поклониться праху установителя аббатства Абеляру, в одной могиле с своей Гелоизой покоящегося. Памятник сей в древнем готическом вкусе и готическими же литерами написано: «Héloyse Abayllare, L'an M.D.L. XIII». — Новейшими: «Les restes d'Héloise et Abayllard sont réunis dans ce tombeau...» и проч. Pierre Abayllard fondateur de cette abbaye. Памятник сей воздвигнут аббатиссою Катериною Larochefoucauld...[36] Часто буду ходить в сие жилище смерти и славы.

Я забыл упомянуть о памятнике французскому Баркову — Буфлеру. На урне гробовой вырезаны сии слова: «mes amis, croyez que je dors».

Видел «Cenerentola» и слушал Rubini с восхищением. И эти звуки напомнили мне прошедший год и Москву!

9 ноября. Разговор: о М<арии> А<нтоновне>, о П<оццо> д<и> Б<орго>, о П. Б., о письмах Г., о непризнании д<еспотизма>. — О католицизме Г<агарина> и об уничтожении раб<ства> в Р<оссии>.

Сегодня сбирались в монетный двор, в Palais de Justice, но Мер<ьян> заехал, и я просидел с ним до 3 часов, после чего пошел бродить в Пале-Рояль и к букинистам. У последних нашел много книг за половину цены: например «L'Esprit de l'Encyclopédie»; «L'histoire de la littérature chez les Arabes» и проч. Перед отъездом надобно многое закупить у бук<инисто>в.

Вчера в театре и в постели прочел я из первой части книги «Discours et leçons sur l'industrie, le commerce, la marine, et sur les sciences appliquées aux arts», par Dupin, — прочел я 8-ю речь, читанную им в 1823 году в Академии наук: «Du commerce et des travaux publics en Angleterre et en France». Блистательное описание владычества и могущества Англии во всех частях света.

...Enfin aussi redouté sur le golfe Persique et dans la mer Erythrée que sur l'océan Pacifique et dans l'Archipel de l'Inde, l'Empire Britannique, possesseur des plus belles contrées de l'Orient, voit régner ses facteurs sur quatre-vingt millions de sujets. Les conquêtes de ses marchands commencent en Asie, où s'arrêtérent les conquêtes d'Alexandre, où ne put arriver le Dieu Therme des Romains! Aujourd'hui des rives de l'Indus aux frontières de la Chine, et des bouches du Gange aux sommités du Thibet on reconnaît la loi d'une compagnie mercantile, confinée dans une étroite rue de la Cité de Londres...

И в самом деле, что́ завоевания Александра в сравнении с завоеваниями и с богатствами Остиндской компании! и с владычеством Англии! У них одна земля — римлян, по их завоеваниям можно в некотором смысле назвать: glebae adscriptae! Англичане покорили море и сушу — и le trident de Neptune est le sceptre du monde! 800 лет осаждал Рим вселенную, и полудикие германцы поставили оплот их оружию; Наполеон и с ним Европа не одолели Англию.

Торговля и промышленность цвели во время войны более, нежели в мире, — и Чатам отгадал правило, следуя коему, Великобритания сего достигла. Она сражалась вне границ своих — и цвела внутри. Промышленность ее была в войне с промышленностию всего мира и победила мир сей.

Une fois supérieure dans cette lutte, elle jette son antique cuirasse et fait tomber les remparts de ses prohibitions.* Elle ouvre ses ports aux étrangers et leur offre ses entrepôts.** Elle n'implore plus qu'une faveur de ses rivaux en industrie: c'est de descendre nuds comme elle, dans l'arène où ses exploits récents l'assurent de la victoire.

Qu'a donc fait l'administration britannique pour produire en aussi peu de tems, des travaux publics, qui seuls ont rendu possibles les grands résultats dont nous venons d'offrir le tableau? — Rien... Elle a laisse faire au commerce, qu'elle a cru servir assez, en lui garantissant protection à l'extérieur, justice partout, et liberté dans l'intérieur. Elle a laissé les fabricants, les propriétaires et les négociants, à grandes, à médiocres, à petites fortunes, conférer entre eux sur leurs besoins mutuels, sur les ouvrages et d'exécuter eux-mêmes ces ouvrages.

В конце диссертации Dupin привязывается к некоторым славным именам Франции, чтобы славить патриотизм их и показать вдали надежду и для французской торговли и промышленности, — но видна натяжка. Перед колоссом Англии исчезает карла французский.[37]

После сего и русским позволено подумать о России и пожелать ей возможного благоденствия. И из моего сердца вырывается последний вздох патриота: Esto perpetua!

10 ноября/29 октября. Прочел «Analyse des discours prononcés dans l'Assemblée tenue pour l'érection d'un monument en l'honneur de James Watt, précédée de conversations générales sur les assemblées publiques», того же Dupin.

В многочисленных, публичных собраниях удобнее и лучше можно познавать народный характер, нежели в характере или в физиогномии одного человека. Там лучше оттеняется общий характер народа или по крайней мере одного класса оного. — В Англии подобные собрания весьма часто бывают: «Pour opérer toutes les améliorations sociales, les citoyens ont besoin de se communiquer leurs idées et de réunir leurs moyens pécuniaires. Ils ont besoin surtout d'exciter, par leur présence mutuelle, la sympathie des grandes pensées et des sentimens généraux. Tel est le but des assemblées, si fréquentes et si nombreuses, au milieu desquelles on peut surtout étudier le caractère de la nation britannique».

Целью некоторых было воспитание юношества, практическое и учебное; другие имели предметом распространение христианской религии и с нею тесно связанное уничтожение рабства, например в Африке. Так другие общества собирались для сооружения памятника славным сынам отечества на поле чести или пользы общественной. Watt был благодетелем Англии и споспешествовал не только ее обогащению, расширению ее торговли и промышленности, но и уменьшению расходов навсегда, изобретением паровой машины, коей последствия неисчислимы.

---

* Depuis 1820, le parlement britannique révoque successivement les plus odieuses restrictions des lois fameuses, connues sous le nom d'Actes de Navigation.

** Par la loi relative aux entrepôts, Londres est destinée à devenir le rendez-vous des Nations et le marché de l'univers.

Watt a produit cette universalité d'avantage, en diminuant le travail nécessaire aux productions de l'industrie, en ajoutant à la régularité, à la rapidité, à l'excellence des fabrications les plus variées, pour satisfaire aux besoins, aux désirs, aux convenances de toutes les classes. Par ces travaux matériels vous améliorez aussi *la condition* morale de l'espèce humaine...

Провел приятный наставительный вечер у Guizot, видел там <пропуск>, который на сих днях возвратился из Греции и опять туда едет, посвящая себя их пользе, из одного усердия ко благу страдальцев-патриотов. Гизо показывал мне две части in folio «Reports from the commissioners appointed by his majesty to execute the measures recommended by a select committee of the House of Commons respecting the public records of the Kingdom. 1819». В одной части рапорты о напечатанных в другой актах. Акты сии напечатаны in fac-simile. Тут видел я и древнейшую грамоту короля Стефана, и Magna Charta, и хартию королевы Марии. Англичане будут издавать собрание трактатов и грамот государственных. Почти во всей Европе принялись за сие дело в одно время. У нас гр. Румянцев, в Германии барон Штейн, в Швеции, в Дании также изданы уже подобные собрания, в Англии издаются; и здесь трудятся над изданием записок, с древних до наших времен. Сии две части Reports не продаются, но можно достать их в Англии.

Гизо хвалит лекции философии одного молодого профессора Jouffroy. Он читает не публично, но желающим слушать его курс месяцев 8 в год и, вероятно, скоро начнет.

Молодой профессор юриспруденции Ducaurroy, также изрядный, читает лекции публично, Rue St. Jacques, Collège de Plesse. Надобно только иметь позволение от унив<ерситетского> начальства, которое, впрочем, никому не отказывает.

11 ноября/30 октября. Получил письмо от Сережи, № 9, все еще из Лозанны.

Сегодня в первый раз в жизни был при производстве дела в присутственном судебном месте, и именно по делу, возникшему об обвинении в прелюбодеянии маркизом Cairon жены своей и mr. Soubiranne. Дело сие производилось в шестой камере de la police correctionnelle. Я пришел к самому началу оного. Вызвали маркиза Cairon, mr. Soubiranne и жену первого. Двое явились, жена не предстала пред судьями. Прокурор королевский прочел обвинение Субирани и жены маркиза. Жену защищал адвокат Barthé, но не оправдывал ее в преступлении, а только старался <пропуск>. Жалобу мужа защищал Charles Ledru, assisté de mr. Berryer. Молодой адвокат с жаром читал составленное им обвинение; но читал, а не импровизировал. — Потом начали приводить свидетелей поочередно и выслушивать их. Президент делал вопросы и напоминал им существо сделанных уже ими показаний. Остался один маркиз, Субиран и адвокат его ушли при самом начале состязания. По выслушании адвокатов, королевского прокурора и свидетелей президент и 4 судьи вышли в другую комнату и

через час возвратились — и президент прочел причины приговора и самый приговор: к двухлетнему заключению в тюрьму жены маркиза и Субирана и к заплате судебных издержек. Между тем как судьи совещались в другой комнате по сему делу, праздные адвокаты спорили с жаром о..... романтической и классической поэзии. Я вслушивался в их речи и заметил одного очень умного, начитанного в литературе древней и новейшей.

Принесли Mémoire de consultation pour m. Auguste Cairon, и при выходе из трибунала адвокат, выигравший по сему делу, повел меня к редактору новой юридической газеты «Gazette de Tribunaux», которую с 1 ноября сего года начали некоторые из адвокатов издавать здесь; предложили мне участвовать в издании оной доставлением к редактору разных статей в форме писем или какой угодно, о практической и теоретической юриспруденции в России, дали мне первые 9 номеров, вышедшие сей газеты, и объявление об оной. Я отклонил предложение, по известной причине, но намерен подписаться на журнал сей, ежедневно выходящий, кроме понедельника, и сообщить о нем М. М. Сперанскому. Редакторы с жаром говорили мне о пользе их предприятия, о сношениях их с Англиею и о доставлении в их журнал подобных статей англинским юрисконсультом.

Провел вечер у гр. Брея, познакомился с дюком Монморанси, который приглашал меня в тюрьму, под его смотрением находящуюся, кажется Pélagie, но я уже был там — и обещал прислать рапорты о тюрьмах, в разное время от тюремного общества изданные. Там видел и дюшессу Дальберг с сестрою и опять гр. Реберга, который купил и издал путешествие Корняева.

Последняя глава книги, впрочем, хорошей (D'Eyraud: De l'administration, justice et de l'ordre judiciaire en France, в 3-х частях) — de la barbarie, наполнена смешною злобою к России и невежеством насчет ее управления. Кто бы думал найти в книге о гражданских судебных установлениях во Франции — казаков, представленных, по обыкновению французов, страшилищем Европы, следующим образом: «Connaît-on bien l'organisation de ces sauvages centaines? Sait-on assez que trois hommes sur quatre montent à cheval quand le signal des batailles est donné?». Есть ли бы сия сказка и могла превратиться в быль, то что она доказывает в книге юридической?

Далее, в примечании, из статьи Булгарина о Черной речке, «населенной летом учеными, литераторами, богословами и должн‹остными› чиновниками». Статью сию написал он в то время, когда желал сделать нам комплимент в своем журнале. Что бы, вы думали, заключает из слов Фадея наш юрисконсульт? «Le délaissement de ces professions suffit pour démontrer que les Russes ne sont pas encore *des Européens*».

Я давно думал, что Стурдза ничтожной книжкой своей, в Ахене напечатанной, много содействовал к озлоблению против нас просвещенной Европы.[38] Гизо вчера подтвердил мне сие замечание. Образ мыслей С‹турдзы›, вероятно, уже не тот; но действие книги, которой приписы-

вают высочайшее одобрение, существует и поныне во всей Европе. Она изощрила кинжал Занда, она вооружила против нас либералов Франции и Германии, она дала повод тайным врагам России огласить свои мнения против варваров Севера.

12 ноября/31 октября... Видел Лувр. Сказав, что я иностранец, я не имел нужды даже показывать моего паспорта. Швейцар впустил меня в залу антиков, или музей. В первой комнате купил я каталог древностям, первоначально составленный славным Visconti, но переделанный и умноженный графом Clarac, conservateur des antiques du dit musée, с суплементом. Я обошел все залы, где поставлены мраморы, порфиры и граниты древности и славнейших новых художников, взглянул на потолки, с прекрасною живописью Barthélemy, и начал, хотя и без руководства, осматривать отдельно те из статуй и барельефов, кои более говорили моему воображению, но скоро оно утомилось или, лучше, пришло в некоторое рассеяние, и я почувствовал, что, не будучи знатоком, нельзя входить в сие святилище, не имея верного истолкователя красот резца, и что лучше, заметив два или три примечательнейших произведений древности в разных родах, посвятить созерцанию оных все утро и учиться постигать и ценить красоты их.

Со мною ходили по залам, наполненным греческими богами и полубогами и римскими императорами, две или три англинские фамилии и так же, как и я, на все смотрели — и, вероятно, мало видели.

Некоторые статуи, однако же, более других поражали меня и заставляли меня останавливаться при виде их. Так, например, изображение императора Тита, в минуту, когда он говорит речь легионам своим..... или статуя Тиверия, из паросского мрамора, прикрытого римской тогой, коей складки (draperies) выработаны с удивительным искусством. Статую сию нашли в острове Кипре, где обыкновенно Тиверий проводил время. Я прочитал некоторые римские надписи и прошел по великолепной лестнице в верхнюю часть Лувра, где находится галерея картинная, разделенная на девять частей: три первые вмещают произведения французской школы, три другие — немецкой, фламандской и голландской, и три последние — различные школы Италии.

Между окнами в некоторых простенках поставлены мраморные бюсты славнейших живописцев как французских, так и иностранных. Здесь глаза мои еще более утомлены были пестротою и разнообразием творческой кисти почти всех славных живописцев. Начинало уже смеркаться, и стрелка часовая приближалась уже к четырем часам, время, в которое выходят из Лувра. Я прошел до конца галереи, которая соединяет Лувр с Тюльери, как мне показалось, и едва мог заметить некоторые картины, кои достойны внимания. Возвращусь сюда с каталогом и изберу для осмотра то, что неопытному и невежественному моему глазу более понравится в каждой школе, и постараюсь выучиться различать их по характеристическим их приметам и по отделке...

Провел вечер у Cuvier, где познакомился с профессорами юриспруденции, издателями «Фемиды». Один из них обещал принести ко мне журнал свой. Им знакома и немецкая и английская словесность, и один из них недавно был в Бонне и в Англии. Приглашал нас к обеду издателей литературных анналов, из числа коих Julien. Первый вторник каждого месяца бывают там обеды. За месяц пред сим обедал там Бентам; в последний вторник обедали депутаты гаитские. Постараюсь выписать для них все, что вышло о законодательстве нашем на немецком языке в П‹етер›бурге.

Возвращаясь от Cuvier, встретил пехотных жандармов, ведущих каждый двух дам, под руки, и дамы сии — *записные прелестницы*, не заплатившие положенной подати. Любопытные путешественники, посещающие заведения всякого рода, могут, вероятно, завтра же встретить их в petite Force. Учтивость французских кавалеров и в этом видна: их не гнали, а вели, как дюшесс, на табуреты королевские.

13/1 ноября. Ныне мода на сокращения, résumés, так, как некогда на энциклопедии, на краткое понятие о всех науках и проч. На всех окнах в книжных лавках, у каждого букиниста, видите вы résumés и то, чего некогда желал Шлецер и отчасти начал уже сам приводить в исполнение изданием истории Корсики, России, Лейпцига в 12-ю долю и в одной книжке, то исполнили французы, сделав сокращения не только истории каждого государства, но и уже некоторых главных частей оной, или продолжительных происшествий, имевших влияние на участь человечества, так, например, есть уже résumé крестовых походов (кажется, реформации) и, наконец, сокращение истории иезуитов.

Выиграет ли от сего образа писать и читать историю самая наука или метода преподавания и обучения оной, — не знаю, но сия карманная ученость может еще усилить вкус к чтению, и тот, кто принялся читать в 16-ю долю, может кончить фолиантом. Любопытство возбуждено, вкус изощрен и богатство идей, фактов, размененное на мелкую монету, достанется в удел не только капиталистам, т. е. кабинетным ученым, но и поденщикам и бедным торгашам en détail. Сокращения сии могут произвести в области ума и народного просвещения то же, что журналы произвели в политике, внешней и внутренней. Они подействуют и на ученых, кои будут соображать методы и самые сочинения свои не с вкусом писателей и читателей одного высшего образованного класса, но с потребностями массы народа, и все школьное, все, непрактическую цель имеющее, будет забыто или сохранено в других книгах. Народ получит одну эссенцию, один крепкий бульон, животворящий силы ума или убивающий. . . . .

Теперь, кажется, более 20 томов сокращений. Новейшее — история иезуитов, и заключение книги мне очень понравилось: автор кончил текст истории указом Петра I о высылке из Москвы (которому, кажется, мы дали первую гласность благодаря Каменскому, добывавшему мне копию с архивского оригинала) и приводит слова его; а свое сокращение заключает à peu près так: «Тот, кто написал в десяти строках этот résumé исто-

рии иезуитов, назывался Петром Великим!». — Я прочел это сегодня в Palais Royal и не завидовал чудесам царствования Лудвига XIV.

Сегодня опять был в Лувре и в картинной галерее рассматривал уже только некоторые картины Рафаэля, Доминикина, Claude Lorrain и любовался им пристально и с большим наслаждением, чем вчера. Я начинаю присматриваться к ним и стараюсь отыскивать, чувствовать и постигать красоты, коими прежде неопытный глаз мой не наслаждался. Надобно создать себе новый мир красот, и с ними — и наслаждений, и к миру вещественному прибавить идеальный. Не менее поэта восхищаюсь я поэзией и считаю минуты чтения между немногими приятными и некоторые из них — незабвенными в жизни; для чего же и живопись не может возбудить в душе и в воображении спящей, может быть, только способности наслаждаться ею. Быть может найдутся для меня Шиллер и Гете — в творениях Рафаэля и Корреджио!

Сегодня воскресенье, и мы нашли залы наполненными публикою из всех классов народа, ибо всем открыт Лувр. Я видел крестьян, бедных поденщиков в рубищах — перед картиною Корреджио.

В первый раз был в большой франц‹узской› опере: давали или, лучше, кричали Аристипа, музыка Крейцера, где Dérivu в роли Поликсена ревел, как «буйвол в дебрях», а Dabocri в роли Аристипа делал французские рулады, в греческом костюме. Другая опера — «Les prétendus» — во всем смысле французская, по содержанию, по музыке, и по (экзекуции) действию и пенью актеров. — Актриса Грассари играла служанку, устраивающую, как обыкновенно, любовные дела своей госпожи и всего хозяйства, принята была с громким рукоплесканием; сосед мой сказал мне, что она и хорошо играет и поет и собой прекрасна. О последнем знает он, может быть, только по преданию.

Балет «Cendrillon» вознаградил меня за скуку в двух операх и за досаду на французов, кои восхищались музыкою и пеньем своих единоземцев. Танцовщики и танцовщицы, устройство балета и действие оного — все превосходно и с помощию декораций очаровывают зрителя, который не знает быстротою ли ног или неизъяснимою прелестию и сладострастием в движениях должен восхищаться: вкус, и ум, и поэзия в телодвижениях и в ногах. Не раз вспомнил я прекрасные стихи Пушкина о Колосовой![39] Пушкин и опера напомнили мне стихи Вольтера:

Il faut se rendre à ce palais magique
Où les beaux vers, la danse, la musique,
L'art de charmer les yeux par les couleurs,
L'art, plus heureux, de séduire les coeurs
De cent plaisirs font un plaisir unique.

Законодатель вкуса и тогдашней философии так сильно убедил французов в превосходстве их оперы, что и по сие время, когда уже вкус к италианской музыке сделался всеобщим, все еще полны ложи и партер оперы французской. . .

15/3 ноября... Прошел я в Сорбонну взять карту позволения слушать профессорские лекции и прочесть программу оных. В секретарской комнате (de la faculté des Lettres) факультета словесности встретил и познакомился с профессором m. Maugras, professeur suppléant (à Milon), кот<орый>, après avoir assigné les caractères distinctifs de la vraie philosophie, exposera les opinions des diverses écoles sur l'origine des connaissances, sur le dénombrement et le classement des facultés intellectuelles de l'homme; и эту лекцию причисляют к древней философии; новейшую должен бы был читать (т. е. историю оной) профессор Royer-Collard или suppléant его Cousin, но ему запрещены лекции. — Вильмень начнет курс французского красноречия не прежде как в генваре.

В другом факультете, наук, не дали мне программы, а выдали карту, позволяющую слушать лекции.

Из Сорбонны прошел я в училище правоведения: l'école du droit. Там должен я явиться во вторник, четверг или в субботу до 10 часов. Blondeau et Ducaurroy читают Юстиановы институты. С первым, издателем Фемиды, познакомился я у Cuvier. Второго хвалил мне очень Гизо...

16/4 ноября... По приглашению Дежерандо был в комитете, учрежденном для распространения учебных книг и методы взаимного обучения во Франции и в иностранных государствах, в котором сегодня, после текущих дел общества, представлен Дежерандо рапорт особого отделения комитета о сношениях с депутатами острова Гаити и Южной Америки, из коих один сенатор <пропуск> тут присутствовал. Он из мулатов; а другой Deverreux, из Коломбии, за болезнию, не был. Тут же находился и англичанин Blaquières, известный филогрек, и представил рапорт о состоянии народных училищ в Греции и мнение о нужнейших потребностях для народного просвещения в Греции. Общество приняло меры к удовлетворению оных. Рапорт, читанный Дежерандо, о мерах в пользу Гаити и Южной Америки, ясен и с жаром, сердцу его свойственным и долженствующим одушевлять все подобные мирные, но к благу человечества клонящиеся подвиги. Благодетельная для Гаити мысль содействовать тамошнему правительству в мерах просвещения и воспитания народного пришла сему обществу по признании независимости сего острова. Пусть другие, сказал Д<ежерандо>, устремляют внимание к соображениям торговли, мы будем посредниками между Гаити и Франциею с иною целию — споспешествуя развитию мыслящих и душевных сил и нравственному образованию. Там наш язык, там влияние нашего правительства. Никто не помешает нам в сей мирной экспедиции, — и вся наша иностранная дипломатика должна состоять в доставлении сим возникающим государствам, à ces nations adolescentes, хорошего народного воспитания. On ne juge ni les événemens, ni les institutions, mais on voit du bien à faire — и делают добро. Toutes les espérances de ces nouveaux empires устремлены к Франции. Нельзя без соучастия слушать совещания сих филантропов в пользу отдаленных народов.

В начале рапорта о таблицах ланкастерских Дежерандо упомянул и о тех, кои некогда de malheureuse mémoire составлены были в корпусе гр. Воронцова, где первые ланкастерские таблицы были на русском печатаны. Дежерандо не знал, что подле гаитского сенатора сидел брат того, который составлял сии русские таблицы. После Деж<ерандо> заметил сие соседство северного жителя с островитянином Гаитской республики. Тут был и Julien, издатель «Revue Encyclopédique». Председательствовал фабрикант Терно, известный по займу гаитскому. Другой председатель — фельдмаршал Мармон, герцог Рагузский.

Получил письмо от Сережи из Женевы.

Читал в кабинете чтения «Edinburg Review», последний номер, и в нем статью о Мильтоне по случаю вышедшей в Лондоне книги: Joan Miltoni, Angli, de Doctrina Christiana, libri duo posthumi. A Treatise on Christian Doctrine, compiled from the Holy scripture alone, from the orig<inal> translated by Summer, 1825. Рукопись Мильтона, содержащая сие сочинение латинское, открыта в 1823 году Lemon'ом. — О слоге латинском Мильтона говорят то же, что Denham сказал о Cowley: «He wears the garbs, but not the clothes of the ancients». Мил<ьтон> не старается достигнуть до совершенства классической точности в редакции латинской; но пишет смело и с погрешностями против языка. — Еще несколько дней, говорит Ed<inburg> Rev<iew>, и сия книга поставится на одной пыльной полке с его *Защищением народа*, Defensio populi. — Подобно капуцинам, кои не начинали славить своего святого, не показав прежде клочка его волос или одежды и не приписав оным чудес его, — так и о Мильтоновой новой книге должно говорить не прежде, как напомнив предварительно о его поэме. Мильтон о поэзии:

.....As imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shape, and give to air nothing
A local habitation and a name.

Я нашел в сей статье строку, которую бы можно, кажется, отнести к résumés: «The men of our time cannot be converted or perverted by quartos»...

17/5 ноября. Сегодня в 8 часов утра, даже без кофе, отправился слушать три юридические лекции, и первую в училище Plessy, где, по неимению места à l'école du droit, читает проф. Ducaurroy римское право.

Узнав, что я иностранец, он велел поставить для меня кресла в аудитории, но я не воспользовался сим отличием и сел с другими на лавке. Аудитория была так наполнена, что человек с 50 не могли сидеть и слушали лекцию стоя.

Ducaurroy читает римское право по своей книге, где текст и франц<узский> перевод напечатаны. Книга вышла, кажется, в 1821 году. Он изъясняется внятно и проходил историю Юстинианова законодательства, показав, из каких частей оно составлено, кто после пополнял и издавал

Римское право и говорил с благоговением о славном юрисконсульте 16-го столетия Куясе. Ducaurroy рекомендует слушателям книгу, на которую часто ссылается: Juris Civilis Ecloga, qua cum Justin. Instit. novellae ad usum praelectionem, 1822, в Париже. Он объяснял значение институтов, пандектов, новеллов, кодекса и проч. и комментировал *три стиха Корнеля*, в коих поэт упоминает об *аутентиках* и проч. Лекция продолжалась с лишком час.

Из Плесси пошел я к другому профессору (против Geneviève) в училище правоведения, также на Римское право, Blondeau, изд<атель> «Фемиды». — Сей профессор преподает по другой методе и не дошел еще до Римского права, а по сие время дает только предварительное понятие о науке правоведения или означает части и слова, в оную входящие. Так, например, объяснял он различие между законодательством, législation, и droit — право. Первое занимается составлением законов, des lois à faire, второе — уже написанным и изданным законом: de la loi faite. И то и другое предполагают науку и искусство... Немцы могли бы с большею логическою точностию и с философским глубокомыслием разобрать энциклопедию права.

3-я лекция, в той же аудитории: Procédure, par Berriat St. Prix. Он читает по своей книге о процедуре французской в 3 частях. Ясно и определительно, и для меня лекция сия была всех наставительнее. Каждое действие процедуры, обязанности и права каждого лица или места — все входит в состав сей лекции, и курс юридический был бы полнее, если бы соединить с ним практику...

20/8 ноября. Пол<учил> письмо от Сережи из Женевы и Лозанны и от гр. Толстой из Москвы и отвечал ей сегодня и писал к Жихар<еву>, Вяземск<ому>, Карамзи<ну>, Булгакову и Сперан<скому>...

По приглашению Жюльена, издателя de la Revue Encyclopédique, мы были в заседании публичном филотехнического общества, под председательством барона de la Doucette.[40] Собрание открыл секретарь общества Villenave отчетом sur les travaux de la société depuis la séance publique du 31 octobre 1824. Он исчислял труды в сем году живущих и умерших членов фил<отехнического> общества. Между ними: Лавинь, Say, Lacepède. О первом сказал он, что он поехал в Италию, хотя il n'a pas besoin de ses inspirations. Мне понравилось выражение его о нравственном характере Гельвеция: Ses actions avoient refuté son livre, и замечание насчет издателей рецензий Geoffroy, которые собрание оных назвали драматическим курсом, titre trop factueux — о чтении Lenoir'ом, gardien du tombeau de St. Denis, описания древностей Египта, où les pierres étoient des souvenirs et le marbre de l'histoire, упомянул он с большим уважением, хотя мы могли оценить оное по собственному убеждению и, может быть, иначе. Выхваляя статью Жюльена, кажется о франц<узской> словесности, приводил стих его «Le pouvoir absolu n'est jamais légitime»[41] и слишком превозносил «Revue Encyclopédique», которая ничтожна по оригинальным пиесам и слиш-

ком мелка об иностранной словесности. — Не помню, к чему упомянул он стих «les longs ouvrages me font peur», но его бы можно взять эпиграфом для всех résumés.

Секретарь говорил и о баснях Крылова, изданных гр. Орловым,[42] и, подделываясь к некоторым журналистам, кои тешатся над Mathieu Montmorency, сказал, что один из его сочленов не избран в Академию потому только, что кресла сие занял Монморанси. По обыкновению соотечественников ставил Францию à la tête de la civilisation. Где же Англия? Да и Германия не захочет уступить Франции первенства. Она укажет на свои университеты; на свои народные училища; на мыслящих, оригинальных философов, коих гений совершил новые поприща в области ума и воображения, и спросит, где же теперь Канты во Франции (и были ли они и прежде?) и где Геттинген? В Париже средоточие и, можно сказать, главная масса просвещения и нации; но Гумбольдт не француз, а Cuvier — разве не немцам обязан остроумнейшими соображениями своими в исследовании натуры и ее истории? — Le reste ne vaut pas la peine d'être nommé, там, где дело идет о корифеях учености и таланта.

После отчета mr. F<a>bré прочел три басни: Le menteur et le faux monnoyeur, la girouette et paratonnerre и l'ignorance conduite par l'habitude, ou les deux vieilles. Первая и последняя лучшие и очень замысловаты. Японский самодержец, желая из двух преступников простить только одному, избирает между жрецом-ласкателем и фальшивым монетчиком — последнего и прощает ему. Первый портит царей и вредит благосостоянию целых областей, представляя их в ложном виде; последний похищает только то, что нажить можно. «Courtisan, n'allez pas à la cour du Japon», — заключает автор. Эта басня напомнила мне Крылова о вреде Вольтера.[43] — Либеральная басня двух старух, слепой и кривой, хочет изобразить тех, кои восстают против каждого полезного нововведения; против усовершения старых методов; кривая ведет слепую и не позволяет ей воспользоваться искусством глазного оператора: обе падают.

Lenoir читал Rapport sur le riche cabinet d'antiquités Egyptiennes, nouvellement apportées à Paris, par M. Passalacqua. Naudet — элегию, Le dissipateur mourant... Naudet же читал еще две басни: le cerf aux abois и le juge de village. В последней льстецы советуют судье наказывать очень строго

Ceux qui dénoncent nos sottises.
Nous, comment nous punira-t-on?

Президент de la Doucette сбирался читать еще две басни: le Pinson, и le Rosier et le Chèvre-feuille, но время не позволило, и Bouilly, автор *детских* сказок, прочел длинную и плоскую сказку: La Dot au Berceau, qui doit faire partie du second volume des Contes aux enfants de France. Сказка сия о *царевиче Богдане* (Duc de Bordeaux, Dieu donné) напомнила мне чтение в некотором царстве, в некоторой библиотеке..... Я хотел закричать ему с Вяземским: «Баюкаешь ты ловко».

Viennet прочел песнь из «Филиппиды» («Philippide»), поэмы в стихах. Описание сражения и пожара довольно блистательное. Наконец, секретарь Villenave — заключение его похвального слова Ласепеду, и примечательнейшее в жизни, что вы думаете? То, что когда он был членом Академии, то у него было только три рубашки; когда поступил в президенты — то еще три сшил. Началась музыка, и я ушел.

21/9 ноября. Был в торжественном собрании королевского трибунала, и тот же адвокат королевский m. de Broë читал réquisitoire противу журнала «Курьер». Нападения точно такого же рода, как и на «Constitutionnel», но не столь многочисленны, и есть ли один, то и другой оправдан будет. Те же президенты и судьи: опять 1-й президент Séguier, но публика была уже не столь многочисленная. Нас посадили с журналистами-стенографами (борзописцами), и я рассматривал их стенографию. С неимоверною скоростию записывали они каждое слово (но особыми знаками) адвоката, и завтра прочтем мы в «Газете трибуналов» от слова до слова речь адвоката. Тут были стенографы от «Курьера», «Constitutionnel» и от прочих, но в одной «Газете трибуналов» выдет полная речь, без сокращения. Ответ адвоката-защитника отложен до другой субботы. Адвокат кончил похвалою судей вообще и надеждою, что они поддержат дело религии, которая всегда находила в судебной власти во Франции свою вернейшую опору.

Я прочел вчера в «Revue Encyclopédique» (Mai 1825, стр. 586 и след.) описание открытия в Москве в генваре сего года театра. Думал ли я, будучи свидетелем оного, что в сем же году прочту об этом в Париже!

22/10 ноября. В 1-м часу слушали мы лекцию Berriant St. Prix о французском судопроизводстве. Он объяснял сегодня значение и должности арбитров, juges de paix, prud'hommes и проч. Учреждение последних относит к 10-му столетию. Они составились из рыбаков в Провансе, Марселе и проч. Никогда решение их не было уничтожаемо и prud'hommes сохранились в величайшем уважении там, где существуют. . .

У Maugras, в Сорбонне, professeur suppléant de Millon, слушали лекцию философии. Он, кажется, старался объяснить коренные начала и существо философии; нападал на Канта и на других философов — и вряд ли имеет сам достаточное понятие о его системе. Слушателей мало — да и нечего слушать. Я встретил его после лекции: с национальною легкостию говорил он мне о плане своего курса, и я мог только заметить, что у него нет плана.

Мы зашли на лекцию опытной физики и в огромной зале не нашли места сидеть, да и стоять почти невозможно было: по глазомеру, я полагаю, что было около 2 тыс<яч> студентов, есть ли не более. Читал лекцию также suppléant, а не сам профессор (кажется, Ферюсак). По этой лекции можно судить о рвении, с каким здешнее юношество ищет науки и стремится в храм их. Это уже не одно любопытство, а истинная

жажда к просвещению. Конечно, молодые люди предпочитают, кажется, положительные или математические науки; но этому причиною превосходство профессоров по сим частям и недостаток в хороших по другим кафедрам. Когда Cousin начал лекции философические, и Guizot, то и к ним толпами шли записываться на лекции, но правительство — устранило их от кафедры!

Ввечеру был в театре Variétés и видел Потье и Brunet в двух пиесах. — Всего было опять четыре. Первую — «Кучера» — я уже видел. Все актеры на этом театре играют почти в совершенстве, и Variétés заслуживает по многим отношениям имя национального театра. Я бы его назвал: Théâtre français. Здесь их нравы, обычаи, вкус их, слабости и проч. Сюда надобно ходить учиться познавать народ — или Париж, во всех его оттенках и во всех классах оного. Другая пиеса — «Pique-assiette», характер, какой есть и у нас, но здесь он в другом виде, хотя и несколько сходным и с нашими оригиналами в сем роде. Пикасьета играл Потье, и мастерски. Кажется, он, по своему обыкновению, много импровизировал. Третия пиеса — «Le duel ou le déjeuner» — тут представлены были в ролях <пропуск> бывшие здесь славные актеры: Du Gazon et Desserart. Новая актриса <пропуск> дебютировала на Variétés. 4-я пиеса по П<етер>бургу мне известна — «Le précepteur», которого играл Потье и смешил нас. — В пиесе «Pique-assiette» Потье смеется над разными нациями; но о русских упоминает только по имени: граф Салтыков попался ему на язык, но о нем говорит как о выдуманном лице, который будто бы пригласил его обедать à l'hôtel d'Enfer.

23/11 ноября... Наконец, мы видели и кабинет медалей и производство всего медальерного дела. При нас действовали машины. В кабинете хранятся медали с 15-го столетия до сего дня; но 30 лет недостает, т. е. со времени смерти Лудв<ига> 16-го до возвращения 18-го. Эта коллекция хранится и продается особо. Медалей Наполеона до 140. Полное собрание оных едва ли можно иметь менее <чем за> 4000 fr. Медалей с начала их чеканки до сегодня 770, от 1500—1825. Вся коллекция стоит 3000 fr. или несколько более. Каждую можно иметь особо. Мне дали каталог, но только на подержание. Его уже нельзя достать, ибо весь вышел. Нет медали дороже 12 франков и дешевле 1 fr. 25 s. — Цена соображается с величиною. Мне дали и тариф медалям и жетонам.

Обедал у гр. Брея со всеми первыми чинами двора, между коими un des grands officiers de la cour, le grand aumônier du roi, кардинал <пропуск>, и по лицу и по репутации гордый дурак. Что за лица, приставленные к именам знаменитым во французской аристократии: Матвей Монморанси, Grand-Ecuyer duc de Polignac, duc de Dansas, duc de Luxembourg, Rosin и проч. и проч. И наши Ланжерон и Моден. Кардинал после обеда играл с хозяином в биллиард.

Оттуда к Гизо. Здесь узнал многое о влиянии духовенства на к<ороля> чрез духовника арх<иепископа> Рейнского. Процесс «Cons<titu-

tionnel» и «Courrier» начат кор<олевским> прок<уроро>м по его приказанию. Духовенство не имеет ни знатной роли, ни богатства — следов<ательно>, стремится к тому и другому и приводит умы в движение посредством влияния своего на окружающих короля прелатов, составляющих l'aumônerie du roi. — Главного выбрал Вилель, по известной его ничтожности...

24/12 ноября... Я прочел в журнале о кончине Jean Paul Рихтера в Барейте 14 ноября, и это известие меня опечалило. Так недавно я его видел, и так приятно мы с ним беседовали. Шеллинг в Карлсбаде как бы предварял меня, что скоро его не станет, зная его болезнь и его самолечение, опаснейшее самой болезни. Но наружность Рихтера, хотя и не обещавшая продолжительной жизни, и надежда его на выздоровление и в нас вселили ее. Он обещал заняться полным изданием своих сочинений. Именем Шеллинга советовал я ему оставить недостатки и странности первого издания et du premier jet и в новом, и, кажется, он согласился в трудности исправлений оригинального, особливо же юмористического сочинения. — Теперь он сам предстал пред автором всего живущего, в новом исправленном и неизменяемом издании, которому нет последующего и при котором нет страницы с опечатками.

25/13 ноября... В 8-м часу вечера был в заседании Генерального географического общества под председательством новоизбранного президента графа Шаброля de Volvic, здешнего префекта (в Hôtel de Ville). Я нашел тут всех известных географов французских и некоторых путешественников. Гр<аф> Шаброль открыл заседание речью, в коей благодарил за избрание его в президенты общества, напомнил о правах своих на сие почетное место: участие в египетской экспедиции с Деноном и издание каких-то географических или статистических книг; исчислял заслуги Бурбонов в географии: Лудвиг XIV посылает путешественников для открытия земель; XV в детстве сочиняет ученую книгу по географии и хочет печатать ее; 16-й сам написал инструкцию посылаемым в его время путешественникам.

Избирают нового члена на место бар. Денона. Секретарь общества Malte-Brun читает журнал прошедшего заседания — 25 марта 1825 — и реестр новым членам, между коими и два русские: Кутузов и <пропуск>. Mr. Roux, secrétaire de la commission centrale, читал годовой отчет о трудах общества с 26 ноября 1824 года, в коем изложил довольно блистательно и ясно пользу географии, распространение географических сведений, влияние успехов сей науки — на благоденствие и на мирные связи народов; упомянул о тех, кои существенно споспешествовали сему: миссионеры, ученые, экспедиции, — и русских: Крузенштерна и Коцебу; о смерти членов и заслугах некоторых из них.

Путешественник, кажется, Pacho читал отрывок из путешествия своего в Циренаику (la Cyrénaïque), африканскую Грецию, описывал памятники и миролюбное гостеприимство жителей сего края, обе-

жал впоследствии продолжение (см. о сем путеш<ествии> через 10 листов).

M. Girard читал mémoire sur les moyens de parvenir au nivellement de la France; пять главных рек Франции должны быть пятью линиями, к коим должно примыкать сие nivellement. Он советует поручить труд сей инженерам или чиновникам по рудокопной части. Нигде еще нет полной гидрографической карты. Франция представит первый образчик труда сего. Мне хотелось довести до сведения общества о *плане большого чертежа*, изданном в России, кажется, при Петре I или вскоре после его, в коем отчасти приведена в исполнение мысль Жерара; но я не дождался конца заседания, ибо оно кончилось избранием нового члена: dépouillement du scrutin.

Вечер провел у гр. Брюсс, которую тешили сюрпризами друзья и свои. Я видел театр из-за кулис; потолкался в тесноте комнат, освежая себя мороженым, расстроившим мой желудок, — и решился реже пользоваться подобными приглашениями. — Видел я там Дюмонте, но в тесноте не мог и думать начать разговора.

26/14 ноября. И во времена Платона не было в Успенском соборе такой тесноты, такой давки, в какой я находился сегодня между адвокатами, пришедшими слушать своего товарища Дюпеня, защищавшего «Constitutionnel». Мы сжаты были dans le barreau. Что же публика, ожидавшая у дверей почти от растворения? Четыре жандарма едва, с ружьями, могли удерживать толпу рвавшегося в дверь народа и наконец принуждены были затворить их, хотя президент Séguier и кричал с своего места, что двери должны быть отворены; но необходимость заставила нарушить закон, иначе бы никто ничего не услышал, а многие бы сделались жертвою любопытства или любви к юридическим прениям.

Слушав часа полтора адвоката, я вышел, и huissier ввел меня в судейскую комнату, из которой, в дверь, мог я еще слышать красноречивого адвоката. Он говорил с жаром и убеждал не одним красноречием, но и каноническими доводами и ссылкою на тексты св. писания и на знатнейших юрисконсультов Франции. Одно мне не понравилось в его plaidoyer: это место, где он приводит на память распрю Фенелона и Боссюета, выставляя первого в свете, для него невыгодном, и как бы потворствовавшего тайным замыслам секты пиетистов, вопреки господствующей законной религии. Над Фенелоном носилась тогда гроза подобно той, которая теперь носится над свободомыслящими; следовательно, адвокат «Конституционала» не должен вооружаться против товарища...

Я успел уже получить два mémoires в пользу журнала; решение отложено до следующей субботы.

На сих днях выйдет в свет новое сочинение герцогини Дюрас «Эдуард». Журналисты уже объявили о нем. Это молодой адвокат, коего отец был дружен с отцом молодой герцогини, assez malheureux pour être aimé d'une duchesse; но не довольно смел, чтобы превозмочь силу предрассудка,

полагающего препону для обитателей предместия St.-Germain, неодолимую в их состоянии. Эдуард и дюшесса любят друг друга, но один — адвокат, а другая — носит имя древней фамилии. Это история Урики под другою формою.[44] Эдуард в кипящей молодости своей, любовию к независимости и к смелым забавам напоминает и Рене. «Le malheur est écrit sur le front de quiconque rêve jeune, et se laisse aller à l'indépendance de la nature, pour venir subir ensuite les lois de la société», — говорит сегодня «le Globe», выписывая несколько страниц из «Эдуарда» и желая обозначить характер его.

27/15 ноября. «Леонид»[45] принят с громкими рукоплесканиями: автор отчасти обязан успехом трагедии и глубокой игре Тальмы и некоторым счастливым стихам (mots), коих мысль находим в истории греков при Фермопилах. Напр<имер>, когда Леонида стараются устрашить многочисленностию неприятеля, коего щиты заслоняют лучи солнца, он отвечает:

Nous combattrons à l'ombre!

Этот один ответ мог покрыть героя лучами немерцаемой славы.

Провел вечер у Гизо; разговор о здешнем дворе: все обычаи прежнего, а с ними и все злоупотребления остались. Двор стоит более 30 миллионов франков. Неподвижный Лудвиг 18-й содержал на конюшне своей 200 лошадей, более, нежели Наполеон, из края света в край метавшийся. Есть ли королю делают дюжину рубашек, то столько же на его счет и первому камер-юнкеру. Le bouillon de Louis XIII сохранился и поныне. Однажды спросил Лудв<иг> 13-й чашку бульона по утру. Ему подали, и с тех пор куча дичины тратится ежедневно на бульон сей. Луд<виг> 18-й не мог уже есть оного и не любил, но бульон сохранился и его камердинер поедал оный.

Глупость дюка Дюра. Важность места префекта полиции и начальника почты, хотя и подчиненного мин<истру> финансов по доходам почт, но по префекту полиции ежедневно с королем работающего.

Дофина не может некоторые платья надевать два раза и после одного раза должна отдавать его своей горничной.

28/16 ноября. Сейчас возвратился из Cour Royale, где с лишком три часа слушал защищение адвоката Mérilhou журнала «Курьера». Сперва он опровергал королевского адвоката пункт за пунктом и выставлял журнал защитником прав галликанской церкви и противником токмо злоупотреблений и некоторых членов духовенства, а не церкви галликанской и еще менее христианской религии вообще. В заключение он представил в сильных и красноречивых чертах опасность, которая предстоит Франции от тайных, но уже гласных покушений иезуитов, и показал, что они теперь еще опаснее для государства, нежели были прежде; ибо тогда парламент, главные члены духовенства и светское правительство и Сорбонна — все согласны были во вражде к иезуитам и в средствах, коими должно было

противудействовать их замыслам; теперь, напротив, мелкое духовенство, светское, законом признанное, монашеские общества, противузаконно в государстве водворившиеся, не страшатся их, а готовы принять их в недра церкви галликанской и Франции, ко вреду обеих и к утверждению владычества папского, иностранного, к нарушению конституции и к порождению новых бедствий для королей и королевства. Сильно, красноречиво — и con dignita — исчислил адвокат все последствия от сего послабления и напомнил судьям их предков и предшественников и важные их обязанности к соотчичам и к потомству. Давно не слушал я с таким вниманием! Для чего жар сей должен угаснуть, не воспылав в России! Для чего не могу я разделять с русскими пользы свободного и открытого судопроизводства и уличать порок и беззаконие гласно в самую минуту его порождения! Тогда и у нас были бы Сегье, Décès и D'Arno, а между нами Дюпени и.....

Сегодня в первый раз видел выставленных у столба преступников, с замкнутыми руками, и вина каждого написана на особом плакате, над головою преступника. Народ толпился вкруг сих несчастных, прикованных к столбам, и смотрел им в глаза. Некоторые потупили вниз глаза, другие без стыда и равнодушно, казалось, смотрели на толпы народа. В 12 часов должны были быть выставлены на них знаки. Завтра женщины будут у столбов выставлены...

29/17 ноября... В третьем часу отправились мы в Conservatoire Royal des arts et des métiers, где три или 4 профессора читают cours normal à usage des artistes et des ouvriers, des sous-chefs et des chefs d'ateliers et de manufactures. — Каждый профессор читает лекцию 2 раза в неделю от 3 до 4. Les cours sont publics et gratuits. Дюпень, брат адвоката, известный по своим классическим сочинениям об Англии, и особенно о морской, торговой и <пропуск> силе ее, преподает механику, применяя оную к искусствам и ремеслам (la mécanique, appliquée aux arts). Clément des Orènes преподает химию, применяя оную к ис<кусствам> (la chymie, appliquée aux arts), и славный Say — хозяйство промышленности (l'économie industrielle), Gaultier — описательную геометрию (la géométrie descriptive).

Сегодня Дюпень открыл курс свой лекциею блистательною, которую стеклись слушать ученые, художники, адвокаты (между коими заметил я и его брата), ремесленники и, вероятно, журналисты, которые везде ищут пищи уму и себе.

Дюпень описывал пользу, на все художества и ремесла распространяющуюся, от механики, которая есть наука о движении (la science du mouvement), и от геометрии, науки о пространстве (la science de l'étendue). Он исчислил 80 ремесл и художеств и показал влияние наук сих на каждое из оных и совершенствование, которое могло бы последовать для ремесленников, если бы они не от одного опыта научались, а предваряли бы его теоретическими знаниями в сих двух науках, правила коих входят в состав каждого искусства, как бы оно ни казалось чуждым соображениям

теоретическим и расчетам математики... «Il y a de l'écho en France chaque fois qu'on vient d'entendre la voix du bien public et de l'homme сказал Foy», — воскликнул Дюпень, Foy, о кончине коего весть разнеслась сегодня в Париже. Его словами заключил Дюпень свою лекцию...

Вечер провел в италианском новом театре; любовался прекрасною его отделкою, когда умолкали голоса нежной Италии; ходил в блестящий foyer его и слушал музыку, которая отдавалась в душе — и в памяти; ибо ровно за год пред сим ту же «Сороку-воровку» видел я в итал<ианской> опере в Москве...

30/18 ноября. Был у дюка Матвея Монморанси и получил от него два отчета о тюрьмах.

В 1-м часу отправился на похороны к генералу Foy, который умер третьего дня. Журналы возвестили о кончине героя-оратора. Армия потеряла son vaillant capitaine; la liberté — son éloquent défenseur. Он оставил жену и 5 малолетних детей в бедности; mais la France sera leur mère adoptive. Soldat à 18 ans, général à 30; l'armée n'a pas conquis une couronne, où il n'ait attaché un laurier. C'est parmi ses guerriers que la France a trouvé son Demosthène, и после Мирабо — он красноречивейший франц<узский> оратор. Так à peu près написал о нем друг его: Etienne.

Оттуда на первую лекцию Say: Sur l'économie industrielle.

Вечер в театре «Leonidas». Я описал в письме к Кар<амзину> и к Вяз<емскому> эту пиесу и представление оной и сообщил им несколько стихов, кои запомнил или записал в театре. Вот эпиграмма:

Entre Leonidas et Monsieur de Villèle
Il y a un parallèle:
L'un a conduit ses trois cents à l'immortalité,
L'autre mène ses trois pour-cent à la mendicité... [46]

1 декабря/19 ноября. Benj. Constant не говорил речи на погребении Foy; но Ternaux от имени купечества, Méchin от депутатов, генерал Миолли от армии и Casimir Perrier. При словах последнего «La France adopterait la famille de son défenseur», тысячи голосов закричали: «Oui, oui, la France l'adopte». При окончании его речи acclamation universelle: Honneur, éternelle honneur au général Foy. Честь и вам, французы, за то, что вы умеете помнить заслуги соотечественников! Уже я видел во многих лавках сегодня изображение Foy на одре смертном. «Le peuple adore sa mémoire», — сказал один журналист, — и память его в сердце. M-lle Gay написала стихи на кончину его, и два последние мне понравились:

Hélas! au cri plaintif jeté par la patrie
C'est la premiére fois qu'il n'a pas répondu!

«Parler devant vous, — сказал Perrier, — du général Foy, comme <d'un> orateur, c'est toucher aux armes d'Achylle; je m'arrête; je confie à vos souvenirs ce prince de la tribune. Il servait la patrie et ne lui demandait rien». Просто

и прекрасно истиною. Я подумал о Карамзине, прочитав слова сии, так, как и при других в той же речи: «Sa conversation avoit un charme singulier, parce que les traits de son esprit avoient passé par son coeur».

Сын Канариса с другими греками был при втором представлении «Леонида», в ложе Орлеанского. Публика заметила их и изъявила восхищение свое громкими рукоплесканиями. Леонид—Тальма, Дюшенуа и Канарис разделяли благодарность и восторг зрителей...

3 декабря/21 ноября. Вчера провел вечер у m-me Récamier, и она мне чрезвычайно полюбилась. Милая, прелестная физиономия, которая носит на себе печать прекрасной жизни — и черты красоты душевной, неувядаемой. Я думал найти пожилую красавицу, строгую, неприступную, как ее добродетель; а нашел добрую, еще прекрасную женщину, для которой в нашем языке одно выражение: *милой*, по душе, по уму — и по глазам, в коих и душа и сердце и ум ее выражаются. — Имя ее напоминает век революции и империи, богатство и пышность — и безрассудность мужа; уважение и любовь всех, кто были ей близки, ненависть Наполеона и приют всех партий. Она сохранила строгий долг — чести и нравственности не только в пожертвовании всем, что имела, безрасчетливости мужа, но покорила ему и чувство, один только раз, как сказывают, воспылавшее в девственной, невинной груди ее; превозмогла страсть — и хотела возвысить к беспорочной любви и того, кто возжег ее; но Шатобриан не мог владеть собою, не мог следовать примеру слабой женщины и удалился от ее неумолимых прелестей.

M-me Récamier живет в 4-м этаже, в одной комнате, в которой и спальня и приемная ее. Один портрет во всю стену m-me Stahl, камин и маленькая causerie, около которой литераторы, журналисты, лорды, перы и депутаты оппозиционной партии собираются два раза в неделю; милая, молодая племянница мужа ее, которую она воспитала и теперь выдает замуж, сидела у ног ее; а мы толпились и говорили большею частью о почестях, отдаваемых праху и памяти Генриха Foy, коего детей призрел Орлеанский герцог, и весь народ участвует в сооружении памятника и в обеспечении всего семейства защитника конституции; говорили и о процессе против журналов, и много о поэте Пушкине, коего дядю, Вас‹илия› Льв‹овича›, m-me Récamier знавала, о m-me Genlis, о скупости Bernardin de St.-Pierre и о его характере вообще и наконец о «Леониде».

Прием ее, дружелюбное приветствие, непринужденное, ободрительное, —все влечет меня к ней, и я редко буду пропускать вечера понедельника и пятницы, в которые можно ее видеть. *И милой быть лишь ей пристало!*

Сегодня слушал я с восхищением необыкновенным plaidoyer Дюпеня на возражение Broë, Дюпень импровизировал ответ, говорил и о военных поселениях и, следов‹ательно›, о России, которая ввела там взаимное обучение, и вынудил неуместное рукоплескание, которое остановлено было тотчас председателем. Суд оправдал журналиста...

4 декабря/22 ноября. Вчера записал я то, что читал в журнале о путешествии Pacho в Циренаику, а ввечеру у Cuvier видел и самого путешественника, и его путешествие в планах и в картинах, но разговор мой с адвокатом Журданом, умным и ученым, которого мне не хотелось прервать, помешал мне со вниманием рассмотреть путешествие Пашо и познакомиться с автором. Тут был и адмирал английский Смит, поселившийся во Франции, известный командою флота во время египетской экспедиции Наполеона и, как мне сказывали, любовною связью с бывшей английской королевой.

Остался пить чай у Cuvier и много говорил с женою и дочерью: Масон, писатель о России, родственник Cuvier. Последний родом из Монбельяра...

5 декабря/23 ноября. Я забыл записать в журнале своем, что третьего дня собрался я слушать открытие публичных курсов в Афенеи Benj. Constant. Пришел за полчаса перед чтением и не только не нашел места в аудитории, где едва ли не более тысячи слушателей и слушательниц ожидали оратора, но и в передней едва оставалось место для входа. Я не мог видеть Benj. Constant и только издали слышал звуки его голоса, но не слова — и ушел при начале чтения...

6 декабря/24 ноября. Был на place Vendôme, где собраны были войска, в присутствии коих и перед колонною, где изображены торжества войск французских, разжаловали сегодня двух солдат и третьего осудили на travaux forcés в продолжении 3 лет. С двух первых сняли тесáк и мундир и шапку солдатскую — и отвели в тюрьму. Последний приговорен к сему наказанию, кажется, за побег внутри государства. У нас 1000 ударов сквозь строй палочный! С тяжелым вздохом и с печальными размышлениями оставил я сие зрелище, которое, верно, сильнее действовало на воображение солдат и публики, чем наше жестокое и потому несправедливое наказание, коему подвергаются часто рекруты, рекруты! не приученные к службе. А кто из них охотно становился в ряды чести и будущей славы и взора горького назад не обращал! — Вырванный из среды семейства, отчизны, на чужой стороне, в одежде, к коей не привык, может быть, не в очередь отторженный от всего, к чему стремится его сердце, от святой родины, и от милых ближних! — Можно ли наказывать его тысячью ударами за первый побег!

Сегодня, по приглашению здешнего библейского общества, я был в месячном заседании du comité d'administration, собравшемся в 2 часа пополудни. Президент маркиз de Jaucourt, посадив меня подле себя, открыл заседание. Из вице-президентов был только Stapfer, ministre du St. Evangile de la confession Helvétique, которого я знавал по участию в библ<ейском> обществе и по речам его. Других вице-президентов, как-то Cuvier, графа Boissy d'Anglas и пр<очих>, не было. В числе секретарей был и бар<он> Stael-Holstein, сын автора и сам автор книги об Англии. Тут же были и Monod-пастор, которого я слышал третьего дня в реформатской

церкви, и сын его. Между асессорами известный Kieffer, профессор турецкого языка, книгопродавцы Freittel и Вюруз.

Секретарь представил переписку президента и занятия комитета в прошедшем месяце, а Monod-fils письмо частное, в коем извещают его, что англичане, по настоянию эдинбургского общества, скоро откажутся подкреплять те библейские общества, кои будут печатать апокрифические книги. Это известие произвело некоторое впечатление в комитете. Начали рассуждать о переписке пар‹ижского› комитета с лондонским по случаю слегка упомянутого предложения к исправлению переводов библии реф‹орматской› Остервальда и Мортина, которое отклонено лондонским, яко противное цели общества, занимающегося только одним *печатанием и распространением* Библии и новых заветов.

Президент предложил мне дать некоторые сведения комитету о деле библейском в П‹етер›бурге, но я отклонил сие, сказав, что давно не имею оттуда никакого известия и что со временем постараюсь исполнить желание комитета...

7 декабря/25 ноября. Был сегодня у Arnault-отца и нашел его в кабинете, окруженного книгами и его рукописями. Бюст Вольтера и двух славных сочинителей музыки в кабинете; в библиотеке один Наполеон.[47] Теперь он пишет его историю in folio, с великолепными эстампами. Много и с благодарностию говорил о Сереже, опасаясь, не повредил ли он ему тем, что брат для него сделал! Спрашивал о ‹1 нрзб› и гр. Орлове и хвалил последнего.

Я надеялся, что он будет нашим корифеем в Академии des belles lettres; но он исключен при новом ее образовании. О сочинении его, т. е. о 2 частях недостающих, — справ‹иться› у Бассанжа.

Потом слушал лекцию Сея... Брат назвал его лекцию азбукой политической экономии. И в самом деле, он проходил слишком кратко важнейшие предметы оной и, например, сегодня едва упомянул о различных системах, кои появлялись во второй половине прошедшего и в 1-й текущего столетия. Впрочем, он читает sur l'économie industrielle...

8 декабря/26 ноября. Получив от Жюльена приглашение к обеду de la Revue Encyclopédique, который бывает ежемесячно за 6 fr. $^{1}/_{2}$ с особы, я пошел в bureau de la Revue отдать деньги и нашел там самого Жюльена, который предложил мне письма в Англию и, разумеется, писать статьи о России для его журнала. Я отклонил последнее предложение как несогласное с волею государя, который должен повиноваться. Жюльен переменил предложение на другое: написать статью об улучшении здешних тюрем и богаделен или вообще мнение о состоянии оных. Я сказал, что постараюсь. Он дает мне письма в Англию к некоторым приятелям, например к поэту Campbell. Héreau, счетчик du bureau de la Revue, долго был в России, в Вятке, учителем, знает по-русски и пишет статьи о русской словесности для Revue. Он дал мне свою статью об издании басен Крылова, а я советовал ему к журналам п‹етер›бургским Греча и Булга-

рина и к библиографическим статьям, кои он выписывает, присовокупить журнал московский *Полевого*, в котором помещаются статьи не только о литературе, но и о модах, нравах и достопримечательностях московских, к коим можно отнести и самого издателя-купца. Жюльен знает Кривцова и взял адрес его. . .[48]

9 декабря/27 ноября. Бассанж-père, книгопродавец, у которого я был для получения 4-го и 5-го томов Arnault-père — старого издания, за кои давно уже я заплатил деньги за 5 экз., рассказал мне, сколько он, а особливо сын его потеряли от пересылки книг в П<етер>бург, от — до самых невинных возвращены сюда, яко запрещенные в России. Он дал мне билет на чтение журналов, брошюр в его книжной лавке, где устроены два кабинета, под названием musée encyclopédique et la galerie de Bassange-père (R<ue>Richelieu № 60). Стены зеркальные — и все сообразно сей роскоши. В одной комнате все журналы и брошюры политические и литературные, в другой — ученые. Каждый имеет стул — и перед ним журнал и брошюры, и все это — даром!. .

Странно! Cousin[49] не хочет нас видеть, будучи уверен, что мы посланы правительством узнавать все, что есть примечательного во Франции, и доносить ему. Мнение сие о нашем путешествии я уже здесь не в первый раз слышу. И Гизо то же думал; но он ничего не опасался. Cousin — пуганая ворона или, может быть, и — орел, но опасающийся своего двуглавого собрата! Мы лишены удовольствия и пользы, которую надеялись <иметь> от его беседы! Я честию уверял Г<изо>, что одна́ любовь к изящному, к пользе России влечет нас всюду, где надеемся найти или наставлений для себя, или обогащение идей, или указание общеполезных открытий, заведений; от адвокатов до Гумбольдта; от богадельни — до Академии; мы ничего и никого не чуждаемся. Везде ищем пользы; везде ищем извлекать ее для отечества, которое для нас выше и дороже всего. . .

Вечер провел у m-me Récamier. Кажется, и муж ее был тут. В одно время со мною взошел англичанин, живущий с лордом Голандом. После узнал я, что это Адер, известный по дипломатическим своим миссиям. Он был и в России еще во время вице-канцлера Остермана, а в Швеции, кажется, с гр. Марковым. — Анекдот об известии, полученном в Париже о кончине Павла. «Il est mort d'une maladie de famille», — сказал гр. Марков, выходя из театра, где узнал о сем. Адер представлен в карикатуре, которая напоминает о посольстве Фокса, л<орда> Голанда, между коими и он, к имп<ератору> Наполеону.

Я заметил, что m-me R<écamier> с удовольствием вспоминает о Шатобриане и всегда кстати и с похвалою. Так, сказала она нам вчера, что статья в «Débats» о Греции с письмами Канариса к сыну его, в Париже воспитывающемуся, им писана. Снова говорили о важности политической для Франции похорон Foy. У меня с языка сорвалось выражение: «Il y a de l'avenir dans c<ela>». — M-me R<écamier> подхватила эту фразу и повторила ее два раза Адеру и другим. Она напомнила ей, конечно, не

Шатобриана, но *Chateaubriantisme*, как называют противники его, слабую сторону его слога...

Cuvier, у которого провели мы вечер, показывал мне кабинеты свои и объяснял методу наблюдаемую им в *разделении работ* или трудов своих. Для каждой главной части его как ученых, так и административных занятий он имеет особый кабинет, в коем, по известному, им составленному плану, поставлена и особая библиотека, относящаяся до того занятия, коему посвящена комната. Так, напр<имер>, в одной все книги, принадлежащие до учебной правительственной части; в другой — исторические книги, в третьей — геологические, в 4-й — ихтиологические (в этой занимается он теперь), в 5-й — о натуральной истории вообще, des généralités, в 6-й — разные постановления, литература и проч. Он провел меня чрез 7 или 8 отдельных библиотек, и в каждой особый столик с бумагами и с раскрытыми книгами, картами и прочим или с препаратами зоологическими и анатомическими, коим также определен особый кабинет. По стенам и по дверям развешены подробные новейшие географические карты, кои облегчают ему также приискание мест и рек и урочищ для справок и трудов его по части натур<альной> истории. Особая стена уставлена лексиконами. Он уверяет, что эта метода, этот порядок облегчают ему чрезвычайно труды его, коих разнообразность многочисленна, ибо он не только академик, но и администратор и, кроме воскресения, каждое утро проводит в исправлении многосложных должностей своих; иначе бы, по словам его, ему недостало бы времени для совершения предпринятых трудов; но, оставляя рукописи и книги в особой комнате, он возвращается к труду и продолжает оный, употребляя на сие каждую свободную минуту.

11 декабря. Какой-то молодой человек Marchais доставил мне знакомство Тальмы. Он принял меня сегодня в 10 часов по утру, и я просидел с ним около часу, и, вероятно, бы долее, есть ли бы не пришли к нему другие. Сначала говорил он о Франции, о господствующем здесь духе, о новейших происшествиях, свидетельствующих образ мыслей нынешних французов и общее стремление к конституционному порядку вещей, которому правительство должно бы только следовать, чтобы привлечь к себе все партии или по крайней мере большую часть народа. Тальма путешествует ежегодно внутри Франции: при кончине Лудвига 18-го был он в Лионе. Там никто не смел надеть траура, и одна дама обратила на себя негодование публики тем, что осмелилась явиться в театр в черном платье, которое надела по причине фамильного траура. Но как скоро в Лионе узнали о первых словах (mots), которые сказал король, ou qu'on lui a fait dire, о цензуре, о свободе книгопечатания, — Лион обратился к королю с любовию. — Оставив политику, я спешил навести разговор с Тальмою на театр. Он спросил меня, видел ли я его в Нероне «Британника»? — «Нет, — отвечал я, — и ожидаю этого с живым нетерпением».* « Я должен

* Я забыл, что видел его в сей пиесе.

играть Леонида до тех пор, пока пиеса начнет упадать, а потом, вероятно, дадут другую новую пиесу, так что прежде вашего возвращения из Англии вряд ли дойдет очередь до „Брит<анника>" и до других пьес». Я заговорил с ним о его предисловии к запискам Лекеня и сказал, что я постараюсь перевести или заставить перевести его на русский, ибо в самом деле почитаю сие сочинение классическим в своем роде и полезным не только для актеров, но и для драматических авторов.[50] Тальма доказал им, что он ни одною догадкою, ни одним подражанием лучшим актерам превзошел всех их, но и тщательным исследованием действий, изменений голоса, учением древних и — сердца человеческого. — Он не столько говорит о Лекене в сем предисловии, сколько о самом искусстве, и все наблюдения его поражают истиною и даже силою и верностию слога. Он высказывает самого себя и тайну своего таланта и творческого гения; о нем с большою справедливостию можно сказать, то, что он говорит о Лекене. «Lekain n'eut point de maître».

«Le génie ne s'apprend pas». Тальма постиг всю тайну своего искусства и был собственным своим наставником, следуя указаниям Мольера и Шекспира; но более — своему гению и, может быть, намекам Наполеона и наставительной беседе его. — Рассматривая талант и искусство Лекеня, он раскрывает нам свои собственные глубокие и практические наблюдения. — Кажется, что и эпоха, в которую созрел талант его, много способствовала его развитию и совершенству. Революция воспитала Тальму,* и воспоминания Рима и Греции оживились в его воображении, воспламененном дружбою Мирабо, Vergniaud, Дюмурье и многих других. — Смерть франц<узского> Демосфена сделала Тальму и поэтом. Над воротами дома, где умер Мирабо, поставил он изображения *натуры и свободы* и над ними написал следующий дистих:

L'âme de Mirabeau s'exhala dans ces lieux:
Hommes libres, pleurez! Tyrans, baissez les yeux!

Я напомнил ему слова, сказанные им в его предисловии и, соглашаясь в главной мысли, изъявил желание, чтобы он прочел, хотя в слабом переводе, то, что Шиллер говорит в прологе к «Валленштейну» об участи театрального искусства, обещал принести ему литературный перевод стихов Шиллера, кои кончаются следующими:

Denn wer den Besten seiner Zeit genug
Getan, der hat gelebt für alle Zeiten.

Напротив того, Тальма, как бы соболезнуя о судьбе актеров и о скоротечности славы и влияния их на современников, говорит: «Un des grands

---

* Он сам в том признается: «Les grands événements de cette Revolution, les crises violentes dont elle m'a rendu témoin, m'ont souvent servi d'étude».

malheurs de notre art, c'est qu'il meurt, pour ainsi dire, avec nous, tandis que tous les autres artistes laissent les monumens dans leurs ouvrages; le talent de l'acteur quand il a quitté la scène n'existe plus que dans le souvenir de ceux qui l'ont vu et entendu».

Так, конечно, — ваше бессмертие в наших восторгах, в сих движениях души и сердца, в сих порывах воображения, кои, конечно, скоро утихают; но разве не оставляют они во всем нравственном существе нашем следов возвышенного, пламенного чувства, которое не остывает совершенно, а переходит из рода в род, как семя добра, падшее на хорошую землю? Разве молитва, сие дыхание души (да простится мне сие сравнение!) не подобное же минутное действие на нас производит и разве сие умягчение сердца, сия теплота душевная, коею согреты мы в минуты священного recueillement, не оставляет следов на весь день, на всю жизнь нашу? Есть ли бы в минуту опасности и гибели отечества Тальма возбудил в нас священный трепет к памяти Леонида, с каким бы чувством полетели мы умереть за отчизну. Есть ли бы, вопреки закону государственному, здешний трибунал угрожаем был изгнанием, казнию, за смелый, но законный приговор, оправдывающий журналистов, с каким чувством положили бы они голову свою на плаху, из повиновения к словам закона. — Слушая Тальму, кажется, учишься читать Историю и постигать характеры ее героев. — Говоря о скоротечности действия искусства мимического, Тальма едва ли не противоречит сам себе или по крайней мере приведенному им же анекдоту о Лекене. Однажды Лекень играл в присутствии Лудвига 15-го. По окончании пиесы король сказал: «Cet homme m'a fait pleurer, moi qui ne pleure jamais». Вот действие таланта и на кого же? На короля, который никогда не плакал! — Пусть теперь поднесут королю, по выходе из театра, приговор несчастному, не столько правотою, как пристрастием и кровию написанный, и увидим, подпишет ли его в первый раз прослезившийся самодержец?! — Нежное предстательство титловой любовницы вряд ли более Лекеня подействовало бы на сердце королевское! Наконец, можно образовать эстетическое чувство публики, которая в свою очередь может иметь и на него влияние, есть ли вкус ее достиг некоторого совершенства и чистоты. Le théâtre doit offrir à la jeunesse en quelque sorte un cours d'histoire vivante. И в этом случае актер разве не профессор истории? Он или Гаттерер, усыпляющий учеников своих, или Шлецер, оживляющий их.

А молодые художники — разве актер не может быть теперь наставником так, как некогда скульпторы и живописцы снимали костюмы свои с картин Давида? ..

Ганц приходил с Журданом ко мне в то время, как я был у Тальмы. Первый — профессор юрисп<руденции> в Берлине — возвратился, говорил много и хорошо об Англии, о состоянии юрисп<руденции> в особенности и наук вообще в Англии. В Оксфорде 22 collèges, кои суть гимназии. Проф<ессор>ы унив<ерситет>а редко преподают сами лекции...

13/1 декабря... По приглашению Жюльена мы отправились обедать à la Revue Encyclopédique, Rue Dauphine, № 24. Нашли там еще немногих, но мало-помалу начали съезжаться, и в числе особ замечательных назову: Тальму, Alexandre Лаборда, автора известной книги «Sur l'esprit d'association» и других, сына Ланженя, Villenave, англ<инского> адмирала Смита, Lemercier, автора нескольких трагедий, самого Жюльена и многих молодых людей, не без почетного имени в малой франц<узской> словесности. Меня посадили подле Тальмы, брата — подле Лаборда; я обратил разговор на Наполеона, и Тальма рассказал нам несколько анекдотов, весьма любопытных и замечательных; засвидетельствовал мне полуистину тех, о коих упомянуто в 2 биографиях Тальмы о Наполеоне и о его сношениях с ним. Анекдот о том, что Нап<олеон> поправлял Тальму в роли Нерона, не совсем таков, как его рассказывает биограф Тальмы; но замечание Нап<олеона> о роли Кесаря еще любопытнее, и Тальма последовал оному и играет с тех пор Кесаря по указанию Наполеона. Он говорил о нем с чувством и с некоторым фанатизмом, который питает к нему еще со времени республики. Он угадывал, что Наполеон имел в голове своей замысел дальней экспедиции, и просил его взять с собою, не зная, куда буйная голова Н<аполеон>а устремит свое направление; но Нап<олеон> имел в виду Египет и не хотел жертвовать верною стезею, которою шел его фанатик, удовольствию иметь с собою умного и приятного собеседника и отговорил Тальму следовать за ним. Мало-помалу начали вслушиваться в наш разговор соседи, обратили его на другой предмет — на театр и сделали почти общим; но главным оратором был Тальма — ибо он говорил умно и живо о своем искусстве, но говорил для меня знакомое, ибо повторял замечания свои об искусстве театральном, кои объяснил в предисловии к Лекеню. После обеда Тальма говорил с Лемерсье о Дюсисе, о милом, честном его характере, об остроте ума его, о том, что он, несмотря на бедность свою и на убеждения всей семьи своей, отказал Наполеону принять сенаторство, а с тем вместе и 36 тысяч франков дохода. Однажды упрекал он Тальме его беспорядок в издержках. Тальма показал ему свою расходную книгу, в которой записана была каждая издержка. «Oui, c'est du désordre en registre», — возразил Дюсис. — Он был друг и неразлучен с Bernardin de St.-Pierre. За обедом было много греков: мы упросили Тальму произнести несколько стихов из «Леонида». — Он с таким жаром, с таким, смею сказать, вдохновением прочел тираду, в которой Леонид пророчествует славу греков и особенно Спарты, что мы все были тронуты, а один из греков плакал — и по окончании монолога начал целовать руку Тальмы!

До 10 часов пробыл Тальма: много говорил о революции. О Робеспьере и Дантоне в театре; о неудовольствии Робес<пьера> за игру Тальмы в «Нероне». Он признался, что страшился исчислять злодейства Нерона и едва помнил, что говорил. Дантон был в театре и при каждом стихе, который напоминал злодейство Робеспьера, сидевшего в ложе, вспрыги-

вал и провокировал рукоплескания, но, повстречавшись взглядом с Роб<еспьером>, робко опустился в кресла и не смел более приподнять мятежническую, но робкую свою голову.[51]

Я познакомился и с Лабордом, говорил с ним о здешних тюрьмах (он был членом комитета тюремного) и о пользе, которую может принести его книга России и Франции.

Он воспитывал сына своего в Геттингене и теперь едет с ним путешествовать в Италию, на север, в Германию и заключит Англиею.

Получил письмо от Сережи из Милана.

Тальма исчислял славных людей, в разных родах, живущих в его соседстве, в новом квартале: m-lle Mars, прекрасный дом в новейшем вкусе, Maret, фельдъмаршал <пропуск>, Vernet, Арно, Изабе.

Тальма намерен чрез два года, когда минет 40 лет его театральному поприщу, ехать путешествовать в Италию, в Вену, на север — и в Петербург и в Москву! — Т<альма> рассказывал также, что он играл Кесаря и лицо его было так сходно с Нап<олеоном>, что многие плакали, а один — вышел из театра, не в силах будучи удержаться от горестных воспоминаний — незабвенного! . .[52]

15/3 декабря... Был в Атенее и слышал две лекции. Первую лекцию — Вильнева о французской словесности, в которой он говорил обо всем, кроме словесности, беспрестанно льстил господствующему ныне расположению умов во Франции, направленных снова против духовенства, укорял друидов в кровожадности и в корыстолюбии и вместе с тем уверял, что греки и римляне заняли философию у друидов, что первые философы и ораторы в Греции и в Риме были — галлы! и что сим новым открытием ученый свет и история Франции обязаны ему, Вильневу. Исчислял все смешные или ругательные наименования, данные историею французским королям, как-то: débonnaire, le simple, le fainéant и проч., так что и во время революции могли бы некоторые фразы и намеки его понравиться (и это теперь, после 30-летней утомленной сими плоскими нападениями литературы!). Напомнил и les réquisitoires и генерала Foy — и все это в истории словесности, и наконец слова два о классиках и романтиках, и в пример два или три стиха, кажется, из Маршанжи. — Слушатели были в восхищении. Безмозглый поляк, по окончании лекции, с миною знатока, сказал сыну своему: «Cela s'appelle parler!».

Галь произвел во мне подобное впечатление и в продолжение его лекции не раз приходило мне в голову, что в Германии он бы себе не позволил таких противоречий, таких нападений на философов и такого самохвальства. Материализм системы его, на наблюдениях основанный, ощутительнее его органов, коих он считает от 27 до 30, полагая, что могут быть открыты еще и другие; ибо места порожнего на черепе, т. е. не занятого найденными и определенными им органами, еще довольно. — Пять или шесть раз с презрением говорил он о заблуждениях философов, и есть ли можно употребить его терминологию, то я бы сказал, что ему

именно органа философии, qui généralise et établit des catégories là où le simple naturaliste, comme Gall par ex<emple> ne voit que des faits isolés — недостает. Оттого беспрестанные его противоречия самому себе. Сперва сказал, что животные имеют все органы, кроме органа религии или богопочитания, предоставленного одному человеку, а потом вычислял и другие органы, коих лишены животные: например du juste et de l'injuste и проч. — Разительная мысль и выражение не ему принадлежат: Les animaux sont des fragmens de l'homme. Это я давно где-то читал; да и он сам нашел эту мысль в св. отцах, например в св. Григории. Только во Франции — и то вряд ли в нынешней — можно позволить себе говорить с такою самонадеянностию...

16/4 декабря... В Cour Royale адвокат <пропуск> защищал содержателей борделя для игры карточной в заплате по контракту за дом, который нанят был на Вольтеровой набережной для игры, по определению полиции, выведенной оттуда. Генекень защищал владетеля дома и между прочим доказательствами выгод и преимуществ дома сего упомянул и о том, что он некогда принадлежал Вольтеру, что в зале его был устроен им театр. Странная участь домов! В салоне Вольтера игра, следовательно, разврат; в доме И. Л. Лопухина — церковь евангелическая!

Ввечеру был в центральном комитете Географического общества. Прочли письмо от нашего Крузенштерна, в котором, кажется, он дает отчет о некоторых путешествиях, нашими соотечественниками предпринятых. Потом выбирали президента, и вице-президентов, и генерального секретаря центральной комиссии. Первым избран Эйриес, вторым — Girard, с коим я говорил о *большом чертеже*; de la Renaudière — секретарем.

Геогр<афическое> общество учреждено для споспешествования успехам географии: оно посылает путешественников в земли неизвестные; предлагает и назначает призы; учреждает переписку с учеными обществами, путешественниками и географами; издает не вышедшие еще в свет путешествия и другие до географии относящиеся сочинения и карты.

Французы и иностранцы могут быть членами общества, и натурально! ибо все части света должны содействовать в сем деле. Гр<аф> Орлов, также член Геогр<афического> общества, предложил на сей год сумму для медали, а центральная комиссия избрала следующую задачу: «Analyser les ouvrages de géographie publiés en langue russe et qui ne sont pas encore traduits en français. On désirera que l'auteur s'attache de préférence aux statistiques du Gouvernement les plus récentes, et qui ont pour objet les régions les moins connues, sans néanmoins exclure aucun autre genre de travail et notamment les mémoires relatifs à la géographie russe du moyen-âge».

Изданы также Questions proposées aux voyageurs. 1824.

Писал к Сереже во Флоренцию и послал письма Крейсига и Пушкиной.

Оттуда к m-me Récamier, которая принимала в постели. Я сел у ног ее и не отходил во весь вечер. К<нязь> Тюф<якин> тараторил о театре, Kératry — о религии; я мало слушал, еще меньше говорил — и весь был

в созерцании. Племянница ее показала мне кабинет, где копия с портрета m-me Récamier, который Gérard сделал. Теперь он у пр<инца> пр<усского> Августа.

17/5 декабря. В 8-м часу утра отправился я сегодня в дом Парижского архиепископа и в его капелле видел посвящение около 200 поддьяконов, дьяконов и священников. Лица, набожные ужимки сих служителей церкви, напомнили мне Тартюфа. При посвящении, кажется, дьяконов, все они, около 60 человек, повалились ниц на землю и лежали около 20 минут, в продолжение коих архиепископ читал молитвы. Не зная обряда каждого посвящения, я не могу заметить разницы между простым посвящением в первый сан церковника и рукоположением в священники. Первая степень (les 4 points) не налагает еще неразрешимого обета; но другие все — неразрешимы. После посвящения, более двух часов продолжавшегося, должна была быть обедня; но я ушел.

И тут, как и у нас, прислужники архиерейские важничают перед посвящаемыми, поправляют им ризы; но не колотят их в шею, как наших бедных деревенских священников и дьяконов, громогласные архиерейские протодьяконы, — и при слове: Аксиос — отзывается у наших оно и в ушах и под затылком!

Был у посла, у Сея на лекции...

Сегодня читая, кажется, «Les Débats» я заметил нечто сходное с тем, что я думал, слушая Вильнева в Атенее: «La littérature devrait être le refuge de la véritable indépendance. Pourquoi les gens des lettres se plient-ils sous le joug des partis? Quel serait en France le refuge des esprits fatigués des discussions haineuses et envenimées de la politique, si les musées, les académies et les théâtres (прибавлю et les athénées) n'étaient plus que de nouvelles lices ouvertes aux fureurs des passions? — La littérature n'est donc souvent qu'un prétexte». За нею скрывается политика. Tout est allusion. О чем ни говорят — все об одном думают. В лекции, которой цель должна быть разбор поэмы или мадригала, говорят о друидах и иезуитах и о заслугах генерала Foy. Обыкновенное убежище посредственности, особливо в Париже, минутное господствующее мнение. И это направление умов называют les moeurs sévères d'un pays constitutionnel. В Англии не так: Скотт и Байрон принадлежали к разным политическим партиям, но ils sont confondus dans une même gloire par l'admiration nationale, le laurier n'a qu'une couleur!

Что-то грустно. По кому, или по чем — не знаю:

Est-ce un regret? Est-ce un soupir?

Разогнал грусть в обществе Гизо с Минье, автором «Истории французской революции» (которую я читал в Карлсбаде), с Bourgeois и с умною женою Гизо. Говорили о состоянии умов во Франции, о степени просвещения до и после революции в некоторых классах народа. О правительствах. M-me Guizot как-то кстати сказала: «Ce sont des grenouilles mortes». На другой день после приговора, произнесенного par la Cour

Royale в пользу «Курьера», король спросил одного из своих приближенных: может ли он перевести Séguier в Корсику председателем? — К счастию, он попал на человека благоразумного. Когда многие возражали, Séguier утверждал, что les congrégations не имеют никакого влияния и что это одна химера, которую создали либералы; а <1 нрзб> отвечал со слезами: «В моем семействе есть доказательство, что это не химера». В воскресение, на другой день после оправдания «Курьера», дочь и зять его не пришли к нему обедать и расстались с ним, по убеждению приходского попа св. Сюльпиция.

Villèle, сказывают, утверждает, что король в первый раз думает иметь в нем нужду.

18/6 декабря. Сердце вещун: вчера в 7-м часу вечера я записал в сем журнале, что мне было очень грустно и что какая-то неизвестная мне самому причина тоски волновала грудь мою. Я выразил это стихом, что на обороте сего листа. Сегодня, по условии с аб<батом> Николем в 9-м часу утра отправился к нему, вхожу в его комнату. Он был не один. Сажая меня у камина, он повторял слова: «C'est terrible! Quelle nouvelle!». Я спросил, что такое? — «Разве вы не читали газету?», — отвечал он. — «Нет». — «L'Empereur de Russie est mort! Вот читайте». Сперва я не понял слов его, хотя и слышал их, спросил снова и все слушал как остолбенелый, начал читать статью dans «Les Débats» и не дочитал. Хотел уйти, чувствовал что-то необыкновенное в душе моей. Николь хотел освежить меня стаканом воды, но я отказал; уехал к послу. Здесь все узнал. Еще не могу опомниться. Россия! И надежды твоей не стало! Забываю его политику — помню и люблю человека. Сердце не переставало верить в него, любить его, не переставало надеяться. Надежды с ним во гробе. Душа стремится к России, обожаемой России! Может быть, при нем — Россия! Ты не забудешь его. Мы жили спокойно. Он у себя отнял славу быть твоим благодетелем, народ в рабстве! Но не отнимал у нас надежды быть твоим восстановителем! В сердце моем бьется к нему чувство привязанности, которое таилось в последние годы его жизни и открывалось только в некоторые минуты, читая иногда решение советское,[53] где обнажалась душа его, близкая к справедливости и к милосердию. Тогда и у нас воскрешала любовь, оживлялись надежды. Здесь, примечая негодование к его политике, страдало сердце и народная гордость, с бытием его, с именем Александра, спасителя Парижа, неразлучная. Теперь смерть примиряет и либералов с Александром-человеком; вспомнят его — память его не с шумом погибнет, но в сердцах народа сохранится...

Вечер. Мысль о русской потере не покидает меня: она представляется воображению беспрестанно, и чем более с нею знакомишься, тем она становится мрачнее, ужаснее, неизмеримее. Я открыл в себе какую-то нежность к государю, которой не знал *в его время*. Теперь, когда для него настала вечность, я сделался не судьею его; но нежным другом, прощающим слабости в кладущим на весы — и самое намерение добра. Есть ли

он оставил 14 миллионов еще в рабстве, то да примет благодарность России хотя за три *примерные* губернии. Да успокоится тень его наградою за желание блага, а мы будем думать, что он носил в сердце язву России и надеялся довершить и для нее то, что сделал для остзейских провинций.

Вспоминаю, где в последний раз видел его: в Царском селе, в 7-м часу утра, на большой аллее, ведущей чрез парк из Царскосельского дворца. Он скакал в коляске, за ним фельдъегерь. Увидев меня на дороге, остановил коляску, подозвал фельдъегеря, послал его зачем-то во дворец — и ускакал в П<етер>бург. Я не увижу его более.

Завтра сбирался я к m-me Récamier, где должен был встретить и лорда Голанда. При жизни государя я не упрекал себя в желании видеть его пасквилянта. Теперь и не желаю его видеть и увидел бы с чувством неприятным. Не раз вспомнил и думал о Карамзиных. Они лишились друга на престоле — и теперь это украшает государя в глазах моих. — При жизни его я ему не верил!

19/7 декабря. Видел в Variétés 4 пиесы; в двух — Брюнета, в последней Potier dans «L'ami intime».

1. Jocrisse maître et Jocrisse valet.
2. Le marchand de parapluies.
3. La chambre de Suzon.
4. L'ami intime.

Три первые оживляются несколько искусством актера; но третью и Vernet не мог поддержать: она освистана. Ни о чем не хочется думать, ни за что приняться: одна мысль о России, о судьбе ее!

Замечу несколько стихов, которые прочел сегодня в «Childe-Harolde»:

Greece! Change thy lords, thy state is still the same!
Thy glorious day is over, but not thine years of shame...

20/8 декабря. Был у С. П. Свечиной, оттуда домой и потом в Арсенал, стоящий на конце набережной Morland, коего часть прежде называлась: Champ-au-plâtre. Первое литье пушек было тут при Франце I в 1533 году. Гейнрих IV завел здесь сад, а Сюлли, в качестве генерал-фельдцейгмейстера, grand-maître d'Artillerie, жил здесь во все продолжение своего министерства. Часть дома, где были его покои, сохранена невредимо: даже обои, зеркала, картины его — все уцелело и во время революции. Маленький кабинет его, с двумя окнами на две стороны, где он беседовал с Гейнрихом IV о благе королевства, сохранен в том виде, в каком он его оставил. Одно небольшое, в сравнении с нынешными, но великолепное по тогдашнему, зеркало венецианское осталось над камином его, и здесь-то отражало оно оживленное думами о благе отечества и любовию к нему лица государя и любимца его. На стене в другой комнате историческая картина, изображающая въезд Гейнриха в Париж.

Прежде, нежели пошли мы осматривать библиотеку Арсенала, St. Martin, путешествовавший в Армении и знающий по-русски,[54] главный инспек-

тор библ<иотек>и, показывал нам некоторые древние рукописи, с живописью в самых ярких красках, почти невредимо в течение веков сохранившиеся. Древнейшая рукопись принадлежала святому Лудвигу и из упраздненного монастыря досталась здешней библиотеке. Другая рукопись, коей картины и виньетки с большим искусством раскрашены, принадлежала René d'Anjou (Bréviaire), Лудвиг 18-й купил еще до революции главную библиотеку у маркиза Paulmy, и по сию пору выплачивается наследникам его сумма за приобретение сей библиотеки. Два тома в лист оригинальных писем Гейнриха IV, которые доказали, что добрый и умный король был не весьма грамотен. Более всего книг исторических и беллетрических, особливо романов, всего около 200 тыс<яч> волюмов. 300 книг песен на Мазарини. Вот истинно национальная библиотека.

У сего Арсенала были некогда ворота с колоннами в виде пушек, над коими на мраморной доске находилась следующая надпись Николая Бурбона:

Aetna haec Henrico vulcania tela ministrat,
Tela giganteos debellatura furores.

Santeuil, в восхищении от сей надписи, вскричал: «Dussé-je être pendu, je voudrais en être l'auteur». Другой (Dulaure) замечает, что это сказано или сумасшедшим, или поэтом, paroles d'un fou ou d'un poète.

В 1788 году Арсенал уничтожен, сохранена только библиотека, известная под названием библиотеки Paulmy.

Оттуда, чрез обширный дровяной двор и чрез Енский мост, который Блюхер хотел взорвать, а наш Александр — уже более не земной, а небу принадлежащий — сохранил, перешли в Jardin des Plantes; любовались львами, леопардами, волками, лисицами, земляком-медведем и наконец слоном, который резвился и хоботом ворочал землю неподалеку от Мишки, также забавлявшегося ворочанием разных орудий, вокруг него лежащих. День был прекрасный; мы гуляли под деревьями, окруженные и мирными животными, и птицами из всех климатов. Там попугаи всех цветов и разной величины, ястребы, и орлы, из коих один расширял крылья свои, — поднимался вверх клетки, но, подобно орлу русскому, удержан был железною силою в полете своем. Право, смотря на сего царя пернатых, я думал о русском народе и его порывах к солнцу, но клетка его хотя и обширная — все клетка и символ неволи.

Из Jardin des Plantes в Тюльери, где все было наполнено гуляющими; потом чрез весь булевар к Porte St. Martin, весь булевар казался ярмаркою и уставлен был торгашами. Крик à 2 sols, à 4 s<ols> la pièce отвсюду раздавался, и сальные свечки горели под навесами.

От Porte St. Martin к С. П. Свечиной, Rue Grenelle № 105, где познакомился с m-me Ségur. — Отсюда к послу и на базар, около 11 часов вечера. Уже складывали товары, но еще народ толпился на базаре и любовался сею новою беспрерывною ярмаркою, где выставлены все предметы роскоши, прихотей — и литературы.

Один из придворных говорил Сегье, президенту de la Cour Royale в деле журналов, что он окажет истинную услугу королю и проч. «La cour rend des arrêts, et non des services», — отвечал Séguier.

21/9 декабря. Целое утро в дождь бродил по букинистам и сторговал некоторые книги, кои будут читать в России. Узнав о назначенной сегодня казни Plessy, я пошел в Palais de Justice, он уже был привезен туда à la Conciergerie, в 6 часов утра. Николай видел, как его вывели оттуда и посадили на фуру, чтобы везти sur la Place de Grève. В 3-м часу уже все улицы от Palais de Justice до Place de Grève и мост усыпаны были народом, несмотря на проливной дождь. Дам было более, нежели мужчин; во всех окнах по улицам видны были модные шляпки; но на самом месте казни, где поставлена была красная гильотина, с красным ящиком, в который бросили тело, было более мужчин. Несмотря на конных жандармов, кои разъезжали вокруг гильотины, толпа волновалась, и едва устоять можно было от беспрерывного напора с места казни. Наконец в 47 минут 4-го часа привезли несчастного. Я едва мог видеть фуру — и уже увидел осужденного в ту минуту, как его взводили на лестницу, <на> гильотину. Сперва вошел туда палач. Потом привели его трое других палачей, шея до плеч была обнажена; он был в белом саване. Палач взял его за волосы затылка, положил шею на плаху и его самого перпендикулярно; с полминуты был он в сем положении. — Железо опустилось — и голова отлетела в красный ящик, стоявший на гильотине, куда в ту же минуту бросили и тело. Кровь смыли помелом и начали снимать гильотину. Удар последовал в 4 часа без 10 минут. Около меня толпились простолюдины, рабочие с лицами, коих выражение трудно описать. Один из них держал и поднимал на плечи мальчика шести или семи лет, чтобы он мог лучше видеть удар гильотины. Разошлись спокойно, со смехом; ужаса или содрогания не приметил я ни на одном лице, стараясь, впрочем, всматриваться в физиономии, меня окружавшие. И прежде и после казни за копейку продавали печатную сентенцию de la Cour Royale. Толпы начали расходиться во все стороны. Дождь промочил меня до костей, я шел тихим шагом — и в эту минуту опять думал о России и завидовал французам — что же? Их смертную казнь, в самую минуту совершения оной! Вспомнил о князе Я. И. Лобанове-Р<остовском> и о его девизе, который, вероятно, не отнимется от него. — (С осужденным сидел на фуре священник). Плесси пожаловался, что его называют отравителем, а сам подал повод к суду.

Я бы отвечал французам-либералам, спокойно теперь об Александре рассуждающим: «Наполеон не затмил его», — а французам королевской партии: «Король ваш в Париже, и Париж еще во Франции...».

22/10 декабря... В первый раз был в Водевиле и видел 4 пиесы, но 4-й не дослушал. 1-я — Le retour à la ferme; 2-я <нрзб>; 3-я — Frontin mari-garçon; 4-я La lanterne sourde et les deux porte-faix. В 3-й, в куплете,

который обыкновенно поют в честь публики, актриса сравнивает водевиль с лакейской, а франц<узский> театр — с гостиной и кончила словами:

Daignez parfois en allant au salon
Vous arrêter á l'anti-chambre!!

«Les Français sont le salon de Thalie», — пропела она. И в самом деле я сидел в лакейской, окруженный даже и не камердинерами, а, кажется, поваренками, и не высидел до конца.

Театр не велик и не великолепен. Музыка и пение по французской публике — все те же напевы, которые слышишь в каждом кабаке французском и от каждого слепого, напоминающего проходящим смычком и голосом бедность и слепоту свою.

На занавесе прочел я след<ующую> надпись: «Le Français, né malin, créa le vaudeville».

В промежуток между пиесами читал я статью Crayon о Вестминстерском аббатстве и думал о нашей крепости Петропавловской, которая скоро примет новый прах в свою землю! — Я спешил домой и дворник встретил меня с запискою от Ломоносова: он возвещал меня — о восшествии на престол императора Константина I, о присяге вел<икого> к<нязя> Ник<олая> Павл<овича>, сената, гвардии и проч. — Итак, при 4-м государе живу — и маюсь! — Елизавета закрыла глаза его: утешение для него, для нее и для любящих их! Государь скончался 19-го в $10^{3}/_{4}$ пополуночи. Прости, о дух! — иль прах, но для меня священный!

23/11 декабря. По желанию посла советовался сегодня с священником, служить ли панихиду и молебен или нет. Гр<аф> Нессельроде уведомляет о новом императоре официально и о присяге, ему в П<етер>бурге учиненной. Разве посол не в том же здесь положении, как п<етер>бургские сословия в минуту получения известия о кончине А<лександра>? — Так я думаю и сказал свое мнение послу. Завтра он решится. Поспешность в сем случае не может повредить ему.

Пол<учил> письмо от Гордона...

Вечер провел у милой Рекамье, много говорил о России и старался объяснить им (rectifier) ложные их понятия на счет народа и правительства. Приезд Матвея Монморанси и потом матери и дочери Gay прекратил разговор о России и обратил к поэзии. Я уже видел Gay во дворце, но не слыхал ее и шепнул m-me Récamier предложить ей прочесть стихи свои. Недолго противилась она ее просьбе; сперва прочла стихи, кои на днях <пропуск> написал на m-me Récamier, а кончила своими из поэмы своей, еще не напечатанной, предметом коей, кажется, Магдалина! — Читает хорошо, собой почти прекрасна и довольно мила; но стихи слабы, хотя и не без чувства. — Монморанси сказал мне, что Lamennais написал брошюру против приговора de la Cour Royale о журналах.

24/12 декабря. Опять посол заставил меня потерять половину утра. Писал письма от его имени свящ<енник>у; вел переговоры об ответе его;

потом говорил об Англии с Поццо и с кн<язем> Разум<овским> — и едва успел побродить по букинистам и прочесть несколько страниц из Ламене. — Между тем кто разгадает l'avenir ténébreux vers lequel nous marchons.

Royer-Collard приглашает меня завтра к себе.

Провел вечер у Свечиной с m-me Ségur — и не забуду разговора о католической и галликанской церкви. Жалею только, что не имею времени записать всего, что С. П. говорила об отношениях катол<ической> церкви к папе и к Боссюету, как виновнике 4 статей гал<ликанской> церкви. — Он прав, но так, как сын, который спорил с отцом о законном наследстве. Вот главная мысль; но развитие оной и доказательства в пользу католической системы блистательны, хотя и неудовлетворительны.

Кончил вечер с русскими у к<нязя> Щерб<атова>.

25/13 декабря. 1 час пополудни. Сию минуту возвратился из русской церкви: мы служили панихиду по незабвенном императоре, — и возносили на литургии имя нового! Почти все русские были в церкви. Трудно выразить впечатление, которое произвела на меня молитва о усопшем! Я озирался вокруг себя и видел памятники, живые, царствования Александра, из коих некоторые принадлежат истории, другие останутся в записках двора или по крайней мере в анекдотах его. Посол, коего политическое бытие сотворил Александр всемогуществом своего сана — и стечением необыкновенных обстоятельств; за ним памятник пяти царствований — светлейший Разумовский, еще бодрящийся, но уже не бодрствующий у чужих престолов, обязанный Александру настоящим благосостоянием своим, утратив прежнее с обгорелыми развалинами великолепного дворца своего в Вене. Далее Чичагов, непримиримый враг русского правительства, смелый говорун в собрании министров и Совета, мечтающий иметь право злословить Россию в лице ее правителей и привязавший имя свое к некоторым внутренним происшествиям России и к звезде Наполеона, не от него померкшей. — Около меня барон Строганов, напоминающий пагубную политику Ал<ександра> с Турциею и с единоверными нам греками, и гр<аф> Головкин, который переносит воспоминание к первым годам царствования Александра, устремлявшего некогда взор свой и не на одну Европу, но и на неподвижный Китай. Там плачет Сеславин, которого слез не заметили предстоявшие и не узнали в нем смелого наездника славных годов в летописях России и Александра. Кн<язь> Тюфякин, царедворец юного Александра, который доживает бесплодный век свой в праздности парижской, в товариществе Кологривого, носящего незаслуженные знаки добродушия монарха и напоминающего слабость его жизни и его сердца, в которой он пред богом и в излияниях сердечных с теми, кого отличал доверенностию, давно покаялся и которую, может быть, искупил уже последним тяжким для отца ударом, положившим в свежий еще гроб едва распустившийся цветок, которого назвать запрещает и скорбь и закон..... Там и Свечин, скоротечность счастия при Павле и медлительность судопроизводства при Александре

собою напоминающий. — Толпа молодых царедворцев, адъютантов — и женщин, кои напоминали многое и многих и плакали по человеке более, нежели об императоре. Взглянув на четырех фельдъегерей, я живее вспомнил о государе. Я видел их обыкновенно при лице его! Они разносили веления его во все концы империи, что говорю? — в концы земли! Я видел их и у дверей его кабинета, и некогда с быстротою молнии за ним скачущих, и с трепетом, неподвижно стоявших в позлащенном дворце Царскосельском, которого сад не увидит уже в весеннем блеске своем попечительного хозяина..... Я вспомнил и себя, и последнее слово его ко мне, два раза повторенное, когда я благодарил его за последние знаки благоволения: «Кто старое помянет, тому..... знаешь», — сими словами начал и кончил он в Зимнем дворце монолог свой, $^{1}/_{4}$ часа продолжавшийся.....[55] Для чего после сего воспоминания должен сказать я и о том, что думал и чувствовал, когда запели причастный стих «Господи! скажи мне день кончины моей!». — Есть ли бы возвещал всеведающий и от века сущий смертным число дней их и кончину, то Александр, конечно, не оставил бы по себе 14 мил<лионов> в рабстве; а нас в неизвестности...

Провел вечер у мудреца Royer-Collard, которого почитал издавна, а читал в прошедшем году и выписал речь «Sur le sacrilège». Я думал найти его старее. Жизнь и правила и душа его изображены в чертах и в спокойствии лица его. Он напоминает древних и физиогномиею столько же, сколько и поведением своим на трибуне и в делах государственных. В 1815 году призван он был королем к образованию университета парижского и сделан был президентом совета оного. Он желал дать ему республиканскую форму и даже собственное место президента сделать избирательным, а не от назначения королевского зависящим; но король отказал ему в этом, говоря, что все места правительственные от него зависят и, следов<ательно>, и президент университета должен быть им определяем. 4 года управлял он университетом, и это была лучшая и блистательная эпоха оного. Он был возведен в сие звание из профессоров факультета. Будучи в должности пред<седателя> и сложив должность председателя, удержал кафедру профессора, чтобы сохранить место адъюнкта (suppléant) Кузеню, которого бы в противном случае вытеснили определением на место Royer-Collard какого-нибудь <нрзб>. Он хотел показать уважение и к почетной должности профессора. В 1816 и 1817 годах, по просьбе Поццо ди Борго, заставил он кого-то сделать mémoire об управлении университета. Вероятно, записка сия доставлена к<нязю> Гол<ицыну> (справиться у Поццо). — И он говорил о государе с чувством и с глубоким уважением, утверждая, что он пойдет в ряду с великими людьми (des grands hommes), хотя и не первого разряда, что моральный характер его внушил во все партии, во все классы народа во Франции любовь и уважение, несмотря на то, что политика его *тяготила* Францию.

Royer-Collard думал, что русские настоящие только от Москвы до П<етер>бурга, что остальное населено какими-то народами иноплеменными. Шутя говорил он, что наши предместья целые провинции и проч. И мудрец Франции невежда о России...

27/15 декабря... Получил письмо от моего милого Жуковского, и сердцу моему стало легче. Он не писал ко мне тогда, как дни его текли в безмятежном положении души; но когда бедствие настигло его и Россию, в сердце его отозвалось старое, прежнее чувство его ко мне, которое во мне никогда не затихало. Жалею, что не мог отвечать ему с курьером, который уехал в 5-м часу. Посол желал, чтобы я опять остался у него обедать и перевел для него письмо Ж<уковского>. Тут обедал и Галь. Много говорили о системе Ганемана, которую он почитает сумасбродною и уверен, что скоро она будет забыта, как и многие подобные. Опять говорил посол и о Royer-Collard с уважением и полагает, что Ройе-Колар к нему хорошо расположен. Он вспомнил одно слово его, как возражение на доказательство фактами: «Je méprise cela comme un fait», — сказал Р<ойе>-К<олар>.

Много говорили о Венском конгрессе, по проекту отделения П<ольши> от Р<оссии>; уверял, что он был один из главных противников сему разделу и что гос<ударь> не говорил с ним 6 недель за его мнение, что он готовился подать просьбу об отставке и проч.

Получил письма от Сережи, Дружин<ина>. Вечер у Свечиной и Сегюр, и у кн. Гол<ицын>а.

В монетном дворе купил три медали на и<мператора> Александра и заказал выбить четыре старые на некоторые случаи, до России относящиеся.

28/16 декабря. Узнав, что в собрании рукописей находится русская трагедия, как меня уверяли, сочинение царевны Софии, сестры Петра Великого, я пошел сегодня смотреть сию рукопись и в зале манускриптов мне тотчас подали оную, сказав, однако ж, что уже многие русские ее видели и что некоторые списали уже копию с оной, следовательно, французская отметка на заглавном листе: Ce manuscrit est unique, уже несправедлива теперь. — На загл<авном> листе написано рукою, который почерк напомнил мне что-то знакомое: Nabuchodonossor, tragédie composée par la fameuse princesse Sophie Alexievna, soeur de Pierre le Grand. Предисловие русское, старинным слогом, на 2 или 4 страницах. В нем же и посвящение, кажется, царю Алексею Михайловичу. — Потом сказано: «Первого действа. Сень первая». После названия действующих лиц написано: «Четыре протозанщики, спальники». — Рукопись без конца. Слог странный, и много слов, вышедших из употребления...[56]

29/17 декабря... Поутру был у m-me Récamier и читал брошюру Шатобриана о государе и о греках, которую она мне подарила. — Ввечеру у гр. Сегюр и С. П. Свечиной. Много говорили опять о Шатобриане. Сна-

чала государь почитал его фразером и не любил, так что в Вероне он в первое время чуждался Шат<обриана>. Но гр. Толстая его с ним сблизила.

Сегодня выпал первый снег...

30/18 декабря... Вечер провел опять у милой Рекамье, лежавшей в полутрауре на кушетке: «не так чтобы больна, не так чтобы здорова». Две или три старомодных француженки сидели у ног ее, и рой журналистов, придворных и либералов, муж, Кератри — окружали ее ложе. Государь, военные поселения, выбор депутата на место Foy, брошюра Шатобриана и министерство Виллеля — все было предметом разговора. Кератри спросил меня, видел ли я новое произведение Прадта о иезуитах.[57] — Видел, отвечал я, но еще не читал. — Он поместил ваше слово о иезуитах, продолжал он, сказанное вами недели за две пред сим на сем канапе. Знаете ли вы Прадта? Нет, отвечал я, и никогда не сообщал ему моего мнения о иезуитах. — «Странно! — он употребил даже ваше выражение: *существование их есть анахронизм,* — и объяснил мысль сию почти вашими словами». — «Не трудно, — отвечал я, — если он со вниманием читал их историю и знает нынешних членов сего ордена. Они вредны тем, что отстали от своего века и невежи, в сравнении с другими, занимающимися воспитанием юношества». M-me Récamier вслушивалась в разговор наш и одобряла нас улыбкою. — Она сказала мне, что король получил известие об отречении К<онстантина> П<авловича> и о провозглашении им<ператором> Н<иколая> П<авловича>.

31/19 декабря. Я так много наслышался об игрушках Giroux, что, наконец, решился сегодня зайти в сей магазин, в котором с 10-го часа утра до позднего времени толпится лучшая и богатейшая публика, ибо немногие из людей посредственного состояния могут решиться мотать на игрушках. Магазин сей, близ Лувра, называется «Exposition d'une variété d'objets utiles et agréables, offerts pour étrennes, sous des salons de tableaux modernes». В сей выставке 8 салонов, из коих три наполнены одними детскими игрушками; прочие — для взрослых детей. В самом деле детская роскошь доведена до совершенства. Чего здесь нет? Вычисление токмо различных разрядов игрушек и предметов искусств и мелочной промышленности составило бы целую книгу.

Первая комната, salon, блестит стальными производствами, серебряными, бронзовыми, амброю, кристаллами, раковинами, слоновою костью, кедром, опалами — и все сии богатства природы обречены на дамские и детские изделия. Вы видите опахала, кошельки, корзинки, сувениры, баульчики, vide-poches календари и проч. и проч. и проч.

2-я комната вмещает другие безделки, не совсем бесполезные. Здесь любуетесь вы прекрасными ящиками для рисования, несессерами, сюрпризами. (Славенофилы! Простите мне сие чужеземное выражение! в выражении *несессеров* так, как и в самой вещи, большой нужды нет!).

3-я комната уставлена стендами, альбумами, экранами, пюпитрами, портфелями, чернильницами во всех видах и формах, разными мелочами и припасами для дамской роскоши.

4-я, 5-я и 6-я комнаты заняты единственно детскими игрушками: куклами, военными и дамскими в многообразных костюмах.

В 7-й комнате литографические листы и гравюры, альбумы для рисования и живописи, пейзажи, картон с рисунками, видами из разных частей света и разных художников.

8-я комната, самая великолепная, в ней лучшие произведения в бронзе, в кристалле и в опалах, лампы, presse-papiers, garde-vues, канделябры, bougeoirs, vases à l'antique, pendules и проч.

В числе первых видел я и mules de Sibérie. Словом, магазин сей есть энциклопедия мелочной и детской роскоши. Все забавы детские нашли здесь убежище, и все придумано для тех, кои желают потешить своих любезных игрушками. Промышленность ничего не забыла, чтобы привлечь внимание матери-баловницы и любовника, который желает сорвать минутную улыбку милой.

Пробираясь от гр. Брея, увидел я ряд карет, колясок, кабриолет, и в них сидели разряженные придворные и гражданские чиновники. Швейцар Рошефуко сказал мне, что сегодня приемный день соседа их, министра de la maison du Roi, и что здесь обычай накануне Нового года развозить поздравления. Кареты и коляски въехали на двор, поклонники министра вышли из них, и через $^1/_4$ часа все вдруг разъехались. Я смотрел на лица, на мундиры, на толпу, на встречу их со швейцаром и на телодвижения прозябших кучеров и думал про себя: C'est tout comme chez nous!

Перед великолепным hôtel гр. Брея, в углу, куда сваливают всякую всячину, увидел я chiffonnier — Диогена с фонарем, который железным крючком взрывал кучу навоза, или pot pourri, выбрасываемого из домов, со всею нечистотою оных. Он клал в свою корзину все клочки бумаги, не исключая и самых подозрительных, тряпки, разбитые стекла и куски железа или гвозди. Полагая, что они берут только то, что само по себе имеет или может иметь некоторую цену, я остановился и, при свете фонаря *искателя фортуны*, вступил с ним в разговор. Веселым голосом и с каким-то беспечным напевом отвечал он мне на мои вопросы и вычислил все предметы, кои они подбирают в свои корзинки. Они продают их на фабрики: бумажные, холстяные, стеклянные. Сих искателей в Париже более 2000. Они проводят весь день, с 6 часов утра за полночь, с крючком и с корзиною и обходят почти весь город в разных его извилинах; набирая таким образом в день на 30 или на 35 копеек, что составит почти полтора рубли по нашему счету. Они не имеют уже и не могут иметь никакой другой промышленности, ибо все время употребляют на искание — тряпок! (Чего ищут те, коих видел я сегодня поутру на поклоне у министра?). Целые семейства кормятся сими трудами, и мальчик в 10 или 12 лет уже помощник в содержании семейства своего. Мой Диоген был

кривой и с смехом на свой счет сказал: «Что же мне делать с одним глазом, как не шарить в навозе, при свете этого фонаря, моего второго глаза? Я был сапожником, когда смотрел в оба; теперь питаюсь хотя в бедности, но еще своими трудами». На вопрос мой, случается ли находить драгоценные вещи? — отвечал он: «Мне никогда не случалось, но вчера товарищ мой нашел прекрасные золотые часы в куче навоза и должен был тотчас продать их за безделицу, ибо они были краденые. Мошенник, укравший их, желая спастись, бросил их в угол — и ушел», — и искатель фортуны на сей раз нашел ее.

1826 год

1 генваря/20 декабря. Встретил чужой Новый год, думая о нашем старом. Был у посла, где отдали мне письмо от Жихарева. Завтра присягаем К<онстантину> П<авловичу>, а может быть, послезавтра..... Greece! Change thy lords, thy fate is still the same! После русской обедни слушал американскую. Видел съезд к Орлеанскому, а ввечеру — дам к королю. Вечер провел у Гизо.

2 генваря/21 декабря. Отслушав обедню в нашей церкви, мы присягнули новому императору Константину и подписали присяжный лист... Вечер кончил у гр. Сегюр и m-me Récamier. Всякий день милее...

4 генваря/23 декабря. Прощался с Тальмою, но не успел прочесть ему стихов Шиллера, ибо оба заговорились, а между тем его позвали пить чай — и я ушел. Он подарил мне на память брошюру свою о драматическом искусстве, в которой, кроме глубокого знания в своем ремесле, виден и талант автора-наблюдателя. — Клапрота встретил у ворот.

В Люксембурге не мог ничего видеть, ибо в картинной галерее производят переделки. Но зато благодаря гр. Бобр<инской> видел все чудеса Брегетов. Один из братьев (двоюродных) показывал мне все роды часов, ими изобретенных и доведенных до возможного совершенства. Цены разные, между золотыми и серебряными одинакого же разбора разница от 120 до 200 франков. Звон стенных часов, ландшафт с башнею представляющих, напоминает звон деревенского колокола, в отдалении. — Pendule, который он сделал для гр. Б<обринской> стоит 5500 франков. Но, в самом деле, красота и простота отделки удивительные. Часы для Ротшильда — 2500 франков. Но он после покражи у него миллионов почти уже отказался взять сии часы, под предлогом, что имеет уже Брегетов régulateur. Есть часы сер<ебряные> в 800, зол<отые> в 1100 франков, в 1600, 1800. 60 франков стоит шагоисчислитель, но неудобство оного в том, что при каждом шаге надобно тронуть пальцем машинку. Один раз заводят на 10 тысяч шагов.

Отца Брегета, прославившего свое искусство, уже нет более. Мы видели его бюст. Теперь племянник и сын его поддерживают славу его имени и вместе работают и производят продажу часов.

От Брегета перешли мы к Vincent Chevalier, aîné, ingénieur opticien, между титлами коего и то, что он первый составил *ахроматический микроскоп* нашего славного Эйлера. Он показал мне магазин свой оптических, физических, математических и минералогических инструментов. В числе предпоследних видел я так называемый *русский компас*, отличающийся точностию и удобностию своею. Vinc‹ent› Chevalier изобрел и новую камеру-обскуру, которой превосходство пред другими объяснено в «Bulletin de la Société d'Encouragement» 1823 года. Я смотрел в нее и видел противуположный берег Сены с самыми мелкими оттенками, движение людей и кабриолетов; искусство рисования может быть доведено посредством сей машины до удивительной точности, puisqu'il ne s'agit que de calquer l'image des objets qui viennent se peindre sur le papier; il résulte de là que les dessins faits à la chambre obscure sont absolument un calque de la nature. Кроме пользы, извлекаемой из употребления сей машины для верного изображения предметов, нас окружающих, можно наслаждаться и зрелищем оживленной вокруг нас натуры, в уменьшенном виде, но со всею живостию красок и оттенков предметов, в сей машине отражающихся.

В микроскопе видел я жизнь и обращение соков в волосе, и в одной капле клея — несколько червячков, кои все двигались в оном с быстротою и, казалось, спешили насладиться жизнию на пространстве булавочной головки...

6 генваря/25 декабря. С Жюльеном и с гр. Раз‹умовской› отправились мы к живописцу Legros, которого atelier устроено там, где прежде был франц‹узский› театр и, след‹овательно›, где представляли шедевры Расина и Корнеля. — Там выставлены образцовые произведения франц‹узской› школы. Мы видели картину, представляющую *Зараженных в Яффе*, где Наполеон, сопровождаемый доктором Дежане, осматривал и прикасался умиравших от чумы солдат своих. Искусство живописца неподражаемо в выражении лица одного уже зараженного чумою офицера, который с последним чувством удивления и радости устремляет взор на великого полководца в ту минуту, как он не страшился заразы и прикоснулся зачумленного, с лицом, в коем в одно время выражено сострадание и какая-то доверенность к звезде своей, тогда еще не потухшей в снегах севера. — Дежан, с страхом и с опасением, но вместе и с каким-то благоговением хочет удержать Наполеона от прикосновения к страдальцу, но тщетно. Наполеон уже коснулся его..... Вокруг него умершие и умирающие; но взор первых устремлен еще на героя пирамид, в лице коего все будущее отечества и Вселенной и у ног его пирамиды.

Но нигде лицо Наполеона так не выразительно, не идеально, если можно употребить сие выражение, как на картине Легро, где он представлен на поле при Эйлау, окруженный Мюратом, Бертье и поляками,

лобызающими стремя его. Тут он прелестен: что-то неизъяснимо поэтическое в его физиогномии и в глазах его какая-то *геройская томность*. Сии картины прежде стояли в Лувре, но после сняли и Легро взял их в свою рабочую комнату, где они вместе с 3-ю картиною его, принадлежавшею Мюрату и находившеюся сперва в Дюссельдорфской галерее, когда город сей принадлежал ему: по смерти его, Легро выручил свою картину и теперь она принадлежит ему. Мюрат, в минуту жаркой битвы, выставлен спокойным на бодром коне своем. Legros хотел с школою молодых живописцев усыпать цветами портрет умершего Давида и картины его в Люксембурге; но устрашились сего движения благодарности к подписавшему приговор Лудв<игу> 16-му, уложили картины Давида в ящики для переноса в Лувр — и не пускают из школы, из публики и по сию пору в Люксембург. — Тут видел я прекрасный портрет Лудв<ига> 18-го, о котором пели французы Legros l'a peint (Lapin).[58]

Мы видели после дамский atelier, которым руководствует живописец Merier. Там портрет Бентама, как уверяют, весьма сходный. M-me Michel, в рост. Весь дом построен и расположен так, что главное назначение оного — для разных ateliers, с большими итальянскими окнами.

Оттуда к <пропуск>, другу Давида. Здесь видел картину его и лица Клитемнестры и Ифигении, в ту минуту как Агамемнон объявляет им о жертве им обреченной. В Ифигении une pleine résignation и скорбь дочери, которою отец жертвует народному предрассудку; в матери — гнев, нежность, негодование, все сии страсти в ее лице; в глазах блестят слезы и ярость, в движении уст ее — уже негодование и начало злобы к мужу. — Ифигения выражает покорность христианки. — Она опустила глаза в землю, как будто бы уже слышан закон, преобразивший Вселенную и сердце человека, гласящий покорность провидению и прощение обид. Лицо ее бледно не от ужаса, которого нет в чертах ее, но от приготовления к неизбежной смерти и от присутствия нежной матери и страстного Ахилла. Я думаю, что только сии две фигуры — Клитемнестра и Ифигения — написаны самим Давидом; две другие — Агамемнон и Ахилл — вряд ли его же кисти? — Разве токмо одно строгое, неумолимое лицо Агамемнона. Рука его — ненатурально искривлена и коротка; лицо гневного Ахилла, грозно взирающего на Агамемнона, также недостойно той кисти, которая заронила слезы в глаза матери и воспламенила их чувство гнева и нежности, оставив улыбку яростного негодования на устах ее.

<пропуск> дал мне проводника в Люксембург, и я еще застал три картины Давида неуложенными, но уже снятыми со стен.

Музей Люксембурга первоначально был составлен из картин Рубенса, изображающих предметы из истории Генриха IV и Марии Медицис. По переселении оных в Королевский музеум они заменены произведениями французских художников. — Я спешил восхищаться кистию Давида, как бы опасаясь, чтобы страх двора не скрыл остальных картин от любопытства иностранца, как от благодарности питомцев французской школы.

Первая из картин его, которую я увидел, была клятва Горациев. Они изображены в ту минуту, когда спрашивают позволения у отца сразиться. Восхищенный отец заклинает их победить или умереть, а мать, жена и девы погружены в глубокую горесть. Сабина, жена старшего Горация и сестра Куриациев, страшится за них всех; Камилла — за братьев и за любовника Куриация. Мать Горациев обнимает с чувством страха и нежности младшего сына.

Я видел уже живые Термопилы и картина напомнила мне Тальму! — Она изображает спартанцев в ту минуту, когда глас трубный возвестил им первое движение Ксерксовых полчищей. — Спартанцы, обнимаясь в последний раз, хватаются за оружие. Леонид, на утесе, погруженный в думу, кажется, помышляет токмо об участии 300 друзей-товарищей, обреченных на славную, но неизбежную смерть. — Под ним, в тени, брат жены его, Афис, ожидает мановения повелителя и уже сложил венок из цветов с главы своей и готов прикрыть ее шлемом воина. Два юноши, прослышав звук трубы, бегут снять оружие с дерева. — Далее первосвященник перстом указывает небо одному из военачальников, который устрояет войско к битве. — В отдалении видна армия персидская. На стене, заграждающей le détroit, два юноши, коих Леонид хотел удалить от сражения, по их молодости, спешат стать в ряды бессмертных. Один надевает уже котурн, другой навеки прощается с отцом своим.....

Один из воинов мечом начертывает на гранитном утесе слова, которые переживут утес сей: «Странник, скажи спартанцам, что мы умерли здесь, повинуясь их велениям».

Четыре спартанца, друзья-юноши, крепко прижав друг друга, в последний раз обнимаются и клянутся исполнить долг, начертанный мечом воина на граните.

Слепец предстал Леониду и молит о смерти с соотчичами..... Вся сбруя, орудия, жертвоприношения отсылаются из лагеря; нет уже ничего общего с землею, которая скоро сокроется от них: они готовы в царство Плутона.

Так Леониды погибали!
Пример героям и друзьям!

Я видел картину Давида — видел и слышал Тальму на Термопилах!

Третья картина Давида, изображающая ликторов, приносящих Бруту тела сыновей его, осужденных им на казнь. — Брут приходит домой после казни детей своих, и у подножия статуи Рима душа его ищет успокоения. Он держит в руке письмо детей к Тарквинию..... Предтеча Петру Великому, он победил самого себя и кровию детей своих пожертвовал благу отечества. Жена и дочери его, увидев ликторов с телами детей и братьев, в ужасе содрогаются. Младшая сестра закрывает лицо свое, другая падает без чувств.

Другие картины Давида: «Велизарий, просящий милостыню», «Любовь Париса и Гелены» и портрет Пия VII, писанный в Париже, 1805 года.

Я любовался также и картиною St. Vincent de Paul, который обращает снова к христ‹ианской› вере отпадшего от оной господина своего, который, тронутый раскаянием и наставлениями своего невольника, падает к ногам его, со слезами умиления и благодарности St. V‹incent› de Paul удерживает его — и спрашивает прощения раскаявшемуся от того, который не хочет смерти грешника.

Несколько картин Granet: внутренность церквей. В одной из них совершается обряд церковный с великолепною церемониею; в другой — в монастыре женском одна из девиц постригается. Мать ее, навеки разлучаясь с нею, падает без чувств в объятия монахинь.

Картина барона Жерара (Gérard): Психея получает первый поцелуй Амура и с ним — душу. Бабочка, эмблема души, порхает над ее головою.

Картина Guerrin (Pierre): Phèdre et Hyppolite в ту минуту, когда Гипполит говорит Тезею:

D'un mensonge si naïf justement irrité...

Gaillemot представил уже смерть Гипполита, на основании повести Фирамена:

La timide Aricie est alors arrivée;
Elle approche, elle voit...
. . . .
La rappelle à la vie ou plutôt aux douleurs.

Галилей в тюрьме инквизиции за то, что утверждал, что земля вращается. — На колонне, поддерживающей тюрьму, начертал он свою систему астрономическую и, полный утверждения в истине, им открытой, кажется говорит: «Пусть они гонят меня, но земля вертится!». Картина сия написана Laurent (J. A.). Цветы радуги.

Госпиталь, учрежденный в замке Мариенбурга для французов и русских, раненных под Фридландом. Молодая девушка под эгидою матери печется о спасении раненого офицера.

Скульптура. На одном из произведений Dupaty (Charles) увидел я венок из цветов, покрытый черным крепом. Художник недавно скончался, и почитатели его таланта положили сию гирлянду на лучшей его статуе. Он был сын автора «Путешествие в Италии», прославившегося своим оригинальным описанием некоторых произведений художников и у нас в России — школою его неудачных подражателей.

В 2 часа живописец Жерар ожидал нас в своей мастерской. Тут увидел я картины и портреты, о коих так часто слыхал. Сражение под Аустерлицем. Портрет к‹нязя› Репнина, верхом, в плену, и раненого офицера, в виде к‹нязя› Николая Гагарина, который служил не Марсу, а m-lle Mars в то время, как Жерар предавал его бессмертию в своей картине. Il servait non le Dieu Mars, mais une divinité du même nom, dans ce tems, подумал я.

В сей мастерской несколько раз был государь и с него списывал Ж<ерар> два портрета, что в П<етер>бурге. Портрет Поццо ди Борго и других; я искал портрет милой Рекамье, chef d'oeuvre Жерара; но не оставил у себя копии с того, который она подарила пр<инцу> пр<усскому>. — Подтвердил желание императора не писать его вечно улыбающимся. И Жер<ар> одобряет оное, сказав, что улыбку в портретах государей ввели токмо со времен Лудвига 15-го, когда вкус испортился.

Вечер у m-me Récamier. Говорил с поэтом Parseval о пирамидах и обелисках египетских (он был там с Наполеоном) и m-me Récamier a cité un mot du Duc de Choiseul, qui répondit à ces archi-aristocrates sur son observation que les colonnes Romaines n'étaient rien, quant à l'antiquité, auprès des obélisques de l'Egypte· «*Ce sont pourtant de belles parvenues*».

7 генваря/26 декабря... В первый раз был в Одеоне: одну пиесу, «Le naufrage», освистали, и она того достойна; другую, «L'enfant trouvé», играли хорошо, и в роли avoué было несколько колких слов гг. адвокатам и прокурорам, которых avoué называл аристократией du barreau, а следовательно, почти бесполезным классом общества.

«Le Robin des Bois» или Фрейшюц. Оркестр изрядный, но пели — французы! Я, выслушав первый акт, спешил к Cuvier, где провел приятный вечер, слышал стихи молодого поэта с талантом, m-r Ampère, и перевод его из «Фауста» Гете и из «Манфреда» Байрона. Отец его — известный профессор физики. Простился с Cuvier.

8 генваря/27 декабря. Помолившись, может быть, в последний раз в Париже, заупокой души Александра I, я пошел в Conservatoire Royal des arts et métiers, где по воскресным дням всем позволено видеть собрание проектов машин, орудий и моделей, иноземцами и французами изобретаемых; обширный архив промышленности народной и иностранной, коего происхождением обязана Франция Лудвигу 16-му.

Я вошел в первую залу, в которой поставлены разные земледельческие и другие орудия, как-то: гидравлические и пр<очие> мельницы. Один из приставов показал мне образцы произведений, коих нет в каталоге. Я заметил шелковые шляпы, наподобие соломенных...

Vaucanson в 1782 году первый завел собрание машин и моделей и завещал оное Лудв<игу> 16-му. Grégoire, Conté, коему Египет обязан разными полезными заведениями, и славный Монгольфьер были в числе директоров сего conservatoire. Теперь по четвер<гам> и воскр<есениям> может публика видеть залы; но есть особые, куда впускают только по билетам префекта, и завтра я надеюсь увидеть их. При Деказе заведены здесь три курса для художников и ремесленников: механики, химии и экономики, приноровленной к искусствам...

Вечер у гр. Сегюр и Royer-Collard с Гизо, Cousin, Bourgeois, Rémusat. Последние, кажется, очень заняты соображениями, кто заступит место Foy, — и Royer желает выбора Себастиана. Он говорил о камерах с чистосердечием и при мне.

Получ<ил> письма от Булг<акова>, Жук<овского>, гр. Тол<стой>.

Оттуда к одиннадцати часам поспел к концу французского театра, чтобы видеть «Le malade imaginaire» и обряд, совершаемый ежегодно всеми актерами и актрисами франц<узского> театра в сей пьесе. Когда *мнимый больной*, обожатель докторов, решается сам получить докторскую степень и выйти на испытание, то в театре сооружаются две кафедры, одна над другою, а по бокам оных становятся лавки в нескольких рядах. Мнимый больной всходит на одну кафедру, экзаменатор на другую, над ним, в одежде факультета, а потом актеры, по два в ряд, проходят, также в багряном докторском облачении с горностаевою опушкою, и покорно кланяются публике и садятся на скамьи. После актеров являются также попарно все актрисы, но только франц<узского> театра в таком же наряде и с такою же почтительностию кланяются публике и садятся на скамьи. Публика размеряет рукоплескания по таланту каждого и каждой. — Я видел всех актеров, Лафона и прочих и актрис также, не исключая Марс и Дюшенуа, но одного Тальмы не было. Перед ними церемониальным маршем и предводимые аптекарем вошли с клистирными трубками вместо ружий служки театральные и также обошед вокруг театра, важно и величаво, уселись с своими не смертоносными, но поносными орудиями под актерами-докторами. Началось испытание; известны вопросы на французско-латинском языке и ответы мнимого доктора: segnare, purgare et mysterium donare. Некоторые из актеров и актрис также задавали смешные вопросы и после каждого ответа пели все хором:

Signum est intrare in nostro docto corpore!

По окончании испытания все опять попарно и тем же порядком, сделав поклон публике, уходили с театра — и занавес закрыл *поносное* зрелище! Не знаю, почему не было Тальмы, но можно думать, что и он хотел показать, что чувствует оскорбление, сделанное ему в детях его. — На другом испытании, на котором присутствовал здешний архиепископ, в школе, где учатся дети его, инспектор оной, по внушению какого-то обскуранта, удалил детей Тальмы, коим присуждено было награждение, при раздаче призов архиепископом. Награждение дано было детям его, но не из рук парижского святителя. На другой же день журналы возвестили о сем оскорблении таланта, не согласном ни с справедливостию, ни с духом любви христианской. Архиепископ, узнав о сем, посылает к Тальме викарного, извиняется и уверяет, что не он сему причиною. Король узнает о сем извинении — и выговаривает архиепископу, который отвечал королю, что если бы он в минуту раздачи призов знал детей Тальмы, то еще нежнее бы других прижал их к пастырскому сердцу, в надежде привлечь их в лоно матери-церкви сею нежностию. Король замолчал — и пастырь оставил его, но унес с собою *чувство доброго слова*.

9 генваря/28 декабря. Писал к Сереже в Рим, на имя к<нязя> Гаг<арина> и послал письма Мерьяна.

Город наполнен вестию, что Николай I воцарился. M-me Récamier, у которой я провел вечер, сказывала, что Шатобриан читал уже ей новое, третье, издание его ноты о греках, переделанное на воцарение Николая. Можно удивляться не только проворству, но и силе вымысла...

10 генваря/29 декабря... Мы обедали в «Revue Encyclopédique». Подле меня сидел академик Girard, известный инженер, коему Франция обязана обогащением ее сведениями и проектами, для усовершенствования коммуникаций клонящимися. Адм‹ирал› Смит угощал меня вином. Сей, Галь и несколько других ученых были нашими собутыльниками.

Ввечеру узнал о кровопролитии в П‹етер›бурге. Кого винить? Не уважение ли к присяге, а следовательно, к данному слову, вооружило их? Перед сердцеведцем равнодушный ли к сему священному акту или жертвующий своему долгу жизнию и более — найдут себе помилование? — Вечер у гр. Раз‹умовской›.

11 генваря/30 декабря... Я видел Сену, покрытую снежным льдом, который стремится по ее течению, плавно..... Нева! Что с тобою? Не покрыты ли берега твои новыми жертвами?

13/1 генваря. Сегодня был у меня маркиз Жокур, президент здешнего библ‹ейского› общества.

О подписке в пользу детей Foy говорят: «Ce sont de petits foy-gras».

Приехал наш курьер и привез русский манифест и‹мператора› Николая. Послезавтра присягаем ему.

Обедал у посла, потом с гр. Мод‹еном› у С. П. ‹Свечиной› и оттуда кончил вечер у m-me Récamier.

14/2 генваря... В первый раз был я, по приезде в Париж, в театре и видел Тальму в Августе («Цинне») Корнеля. Вероятно, сею пиесою заключу я мои наслаждения франц‹узским› театром в Париже. Я вспоминал каждое слово, каждую черту таланта, который нравился мне в первый раз. Дюшенуа, несмотря на ослабевший голос и на морщины некрасивого лица ее, также играла прекрасно: *в ней морщинка не беда*! — Она мила, хотя не натурою игры своей и не собою, но, конечно, искусством. Лафон также с чувством иногда и понимает роль свою.

Вторая пиеса «L'hôtel garni ou la leçon singulière». Я не дослушал, ибо спешил к кн. Щ‹ербатову›. Mess‹ieurs› Castigny и Perrier играли хорошо.

15/3 генваря. Присягал императору Николаю. Слышал ужасы о П‹етер›бурге...

16/4 генваря... Мы записались в дилижанс: de l'union française et anglaise, и завтра едем в Англию. Три месяца и неделю пробыли мы в Париже. Я старался пользоваться временем, читал, учился, смотрел, знакомился с людьми умными и примечательными, с учеными, и редко предпочитал одно приятное полезному; но на всяком шагу чувствовал, что мало приготовился к путешествию во Францию и к долговременному пребыванию в Париже, где многое, другим известное, было для меня чуждо. Англия еще труднее для меня по языку — и по своим установлениям...

Вечер, последний в Париже, провел у С. П. <Свечиной>, m-me Récamier и гр. Шуваловой. M-me Récamier предложила мне прийти к ней сегодня от 3 до 6, чтобы познакомить меня с Шатобрианом, но места взяты в Англию! Britannia rule! ..

20/8 генваря. Мы проехали городок Гравезид и вдали увидели великолепную Темзу, покрытую льдом и кораблями из всех частей света. В Гравезиде таможня (custom-house), осматривающая прежде лондонской все корабли, идущие к Лондону. Паруса белеют вдоль по реке, и я смотрел на сию владычицу морей и частей света с благоговением. Туманы скрывали ее течение в отдалении, но говорят, что отсюда можно видеть ее на 10 миль.

Приближаясь к Лондону, туман и какая-то тусклость в воздухе становятся сильнее и запах каменного уголья чувствительнее. Мы въехали в предместие, не примечая, что мы уже почти в столице торговли всего света. Я смотрел вдаль и старался увидеть Лондон, но уже был в Вестминстере — и предо мною аббатство его, и мост, и необозримая громада домов и замков Лондона!

Гринвич оставили мы в стороне, милях в шести от Лондона.

Мы проехали, таким образом, большую часть Кентского графства, значительного торговлею, промышленностию жителей, достопримечательностями историческими, особливо по связи его и по близости к твердой земле. Оно разделено на 8 уездов, по главным натуре почвы и ее произведениям.

Лондон. Мы приехали в 3-м часу в исходе и, оставив дилижанс в <пропуск>, уклали наши чемоданы в фиакр, отправились за ними в трактир Hôtel de la Sablonnière (Leicester square), где обыкновенно пристают бесприютные иностранцы. Пошли искать квартиру и бродили по туманному Лондону до 6 часов вечера. Уже в 4 часа на главных улицах засвещены были фонари, светлые, подобно нашим на Невской перспективе, поздешнему устроенным. Чувствую неудобство от непривычки говорить поанглински, и уже мне кажется, что в Париже и более приветливости, учтивости и что там охотнее входят в разговор, отвечают иностранцам и отгадывают их желания и потребности. Я не нашел той толпы на улицах, которой ожидал найти, ни той чистоты, о которой наслышался так давно; но тротуары прекрасные и ноги не чувствуют усталости, которой они подвержены от неровной мостовой парижской. Квартиры немногим дороже парижских, но для двоих неудобны. Этаж часто в одну комнату, — она занимает гостиную или приемную с камином; спальня вверху и то для одного; другая в 3-м этаже, для человека комната в 4-м.

Чувство, с которым въезжаешь в незнакомый, обширный и многолюдный город, особливо когда ввечеру очутишься один с собою и подумаешь о том, что предстоит все испытующему путешественнику, это чувство рождает какой-то spleen, о котором невольно вспомнишь в туманах Англии. Может быть, оно сильнее в нас и оттого, что

Поздно мы пустились в путь,

и в первой молодости он скорее проходит и касается нас как бы мимолетом, но, прожив более полжизни в отечестве и для отечества, душа не всегда способна принимать живые впечатления новых предметов, сколь бы поучительны и примечательны они ни были.

Сегодня, 20/8 генваря, ровно шесть месяцев, как я выехал из П<етер>бурга: в тот же час, как я выезжал из заставы, въезжал я в Лондон.

21/9 генваря. Желая поскорее оставить свою мрачную келью, я пошел бродить, в грусти, по туманным улицам и уже нашел некоторые лавки открытыми, в других — чистили светлые окна и крыльца. Остановился у эстампов, и первая гравюра, которую заметил, представляла капуцина Бернарда в минуту решительной, также грустной, но и утешительной думы, указывающего на небо и говорящего: «La nostra patria è il cielo». Слова сии ободрили меня; на минуту и в моей душе просветлело, и я подумал о жертвах необдуманного патриотизма с верою и упованием, а о России — с надеждою. Но якорь сей надежды утвержден только — в небе.

Был в канцелярии посла, получил письма парижские, писал в П<етер>бург к Булгакову. Наняли квартиру за $2^1/_2$ гинеи в неделю, у портного Мостера, Jermyn Street, St. Jame's Square, № 91. Мы обошли несколько улиц, скверов и не нашли квартиры удобнее и дешевле. Камин с огнем за ту же цену. Seeting-room хорошо прибрана. Спальня и постели чистые, и для камердинера приют удобный. Пробыл около часа у Крейтона, и званы к нему сегодня на чай. Обедали за 10 шиллингов порядочно в полуфранцузской ресторации. В одном блюде я ошибся. Я полагал, что черный пудинг есть то же самое блюдо, что и у нас под сим именем: мне подали черную сосиску!

Перед нами церковь и кладбище; вокруг нас беспрерывный туман, в отечестве — смерть Александра и — жертвы! В 9 часов еще горел газ на улицах, туман все покрывал полумраком, и к 4 часам опять все потемнело. Где же солнце? Недаром один земляк его приказывал своему товарищу, возвращавшемуся не в подлунную, но в подсолнечную обитель, поклониться от него солнцу.

Провел приятный вечер в семействе Крейтона, разговаривая об Англии...

22/10 генваря. Воскресенье. Отправились пешком в церковь св. Павла, где в 10 часов началась служба. Туман препятствовал нам различать предметы (перед нашим домом не могли мы различить церкви), и мы смотрели на все, что нам указывал проводник наш — глазами веры. Вот мост Ватерлоо! — Где? — На правой стороне. Увидим, когда просветлеет. Вот ворота, в которые и король не смеет въехать торжественно, без позволения лорда-мера. Подошли и увидели городские ворота, Temple Bar, разделяющие Вестминстер от city, или города, преимущественно так называемого. Вот дом герцога Нортумберландского, англинского Шереметьева, мрачной и древней архитектуры.

Наконец, пришли мы в церковь св. Павла и вошли в боковые двери. Наружностию церкви мы не могли любоваться, ибо туман еще покрывал ее; главная паперть была пуста. Швейцар отпер нам двери на хоры; мы слышали пение мальчиков и церковников в алтаре, или в <пропуск>. Слушателей было весьма немного. В ложе сидел епископ. По совершении литургии проповедник <пропуск> сказал проповедь на текст «И сотвори его по образу и подобию своему»; говорил ясно, не красноречиво, но убедительно и в чистом евангельском разуме. Нам хвалили сего проповедника. В 12-м часу проповедь кончилась. Едва начали мы осматривать внутренность церкви, едва увидел я памятник Нельсону и Корнвалису, друг против друга стоящие, едва успел взглянуть на надпись строителю храма, Врену: «Si monumentum requiris, circumpice», как уже нас погнал неумолимый педель с жезлом вон из церкви, и только мимоходом заметил я памятник критику Johnson'y. Перед церковью статуя кор<олеве> Елисавете, в ограде.

По дороге заходили мы в пять или шесть церквей и везде находили еще службу, которая, кроме св. Павла, во всех приходах начинается в 11 часов, а кончится в час, и потом в 3 опять начинается в Вестминст<ерском> аббатстве. Опоздали только в немецкую церковь, к моему товарищу по библ<ейскому> обществу — Штейнкопфу. Служба в сей церкви уже кончилась; но я узнал его жилище и зайду к нему с письмом. Были у посла, разговаривали о происшествиях в П<етер>бурге и узнали новое..... но справедливо ли? — Не знаю. Возвратимся к нему обедать, от него в Вестминстерское аббатство. Желая застать еще служение, мы спешили в церковь и едва успели взглянуть на узорчатые колонны и стены и раскрашенные окна. Мы вошли с того угла, который называется poet's corner, и ряд бессмертных или, лучше, беспорядочная толпа их поразила меня: я увидел памятники и имена Дрейдена, Мильтона, другого Джонсона, и против воли оставил их, чтобы войти в церковь, где уже начиналось пение, приятно сопровождаемое прекрасными органами. Пасмурная древность храма оживлялась голосами поющих детей. Слабое освещение не позволяло всего видеть; но под сими стройными сводами и колоннами устроены деревянные ложи с резными украшениями.

Не дослушав проповедника, спешили мы в Hyde-park застать модную публику на гулянье. Проводник наш при входе указал нам Веллингтона и почти перед самым жилищем его увидели мы Ахилла, вылитого из завоеванных Веллингтоном в Гишпании и при Ватерлоо пушек, в память победам его и в честь ему и его войску королем Георгом IV поставленного. Памятник сей окружен железною решеткою. Ничего не отделано еще вокруг него, и самый парк, оживленный каретами, конными и пешими гуляющими, кажется, ожидает еще зелени или утоптанных песчаных тропинок. Начинало смеркаться, и мы возвратились домой.

(О Вестм<инстерском> аббат<стве> — Нимейер 1-я часть Пут<ешествие> в Англию; Göde — об Англии и особенно аб<батство> Вестм<инстерское>; Irving, Westminster abbey).

Не всем предоставлена судьба созерцать, подобно Веллингтону, под своими окнами свое бессмертие и благодарность современного потомства — в памятнике! Но первый взгляд его из окна напоминает ему и столпы Геркулесовы и Геркулеса нашего времени, им и Александром сокрушенного! Пусть время ниспровергнет памятник, — но Вел<лингтон> уже вкусил бессмертие. В меди, им растопленной, читает он дела свои. На ней блистают Сарагосса, <пропуск>, Waterloo, и отсвечивают в мертвых буквах вечную славу.

Обедал у посла с гр. Эйнзиделем. Познакомился с граф<ине>й Л<ивен>. Ввечеру читал Ирвинга.

23/11 генваря... Поутру познакомились с нашим вице-консулом и с почтенным Смирновым, которого наружность отвечает его званию и доброй славе его.

Был у Steinkopf-а, но не застал. Оттуда в первый раз в анг<линский> театр: в Covent-garden. Давали «Отеллу» и я хотя немногое понимал, но мог судить об игре актера, о ходе трагедии и о вкусе публики и сравнивать все сие с французским театром, видев ровно за неделю пред сим Тальму в Августе. Фарсы Арлекина — Harlequin or the magic Rose — точно самые национальные. Более двух часов продолжались они, и ежеминутно новые перемены в сценах и в декорациях. — Все национальное, особливо лондонское, выведено было на сцену. Я присутствовал множеству народных увеселений, сцен всякого рода на улицах, в трактирах, у мостов, в банях, в дилижансах, в питейных домах. — В декорациях видел П<етер>бург, Лондон в разных частях города, Дувр и множество других городов и явлений натуры и общества англинского. Я не мог дождаться конца всех фарс, хотя они мне и не наскучили. Во многих узнавал я черты народные, и Гогарт полюбовался сим балетом и обогатил бы свое изобильное воображение новыми характеристическими замечаниями.

Крик Отеллы можно только сравнить с криком в райке, несколько раз возобновлявшимся. Он заглушал актеров и один раз продолжался несколько минут, так что актеры перестали говорить и ожидали окончания сцены в райке. Мало-помалу зрители умолкли, и актеры опять заговорили; но изредка голоса громко вскрикивали и не заботились о тех, кои пришли слушать трагедию, а не кашлять в театр.

Вероятно, благоразумная часть публики уже привыкла к сим явлениям, ибо переносила крик, громкие разговоры, кашель, смех, сморканье безропотно и не смела требовать тишины, как то бывает во Франции при малейшем шуме, по крайней мере на главных театрах.

Сосед мой, француз, который ни слова не понимал по-англински и спрашивал меня, что значит надпись на одной из декораций: «Soda

water», предполагая, что ватер значит вино, — не переставал сердиться на шум зрителей и смеяться над пронзительным криком Отеллы, над ходом всей трагедии, в которой, конечно, есть и повторения и слишком длинные сцены и монологи. Он не мог найти не только искусства Тальмы, но и Лафона в Kemble, кот‹орый› играл Отелло. Здешней публике, может быть, Тальма сначала не так понравился, ибо и в сценах, где бешенство и ярость его беспрестанно увеличиваются, как например в Августе, когда он узнает мало-помалу, что заговор в его семействе и что главные заговорщики — суть те, коих незадолго осыпал он благодеяниями, Тальма не кричит, но видишь возрастающие в нем гнев и негодование. Голос, черты его лица, взгляд его — все выражает ярость оскорбленного императора; но достоинства он нигде не теряет и одна душа его в волнении: не слышно криков.

24/12 генваря. Были у Major General Sir Neil Campbell и отдали письма б‹арона› Мерьяна. Сам он живет: Quadrant, № 61.

Нас приняли в посетители (visitors) здешнего клоба для путешественников (the travellers) на два месяца, который находится на улице Pall Mall, № 49. Там можно обедать и читать все журналы и газеты на европейских языках.

Мы провели более двух часов в созерцании и в рассматривании подробном Вестминстерского аббатства, всех его памятников и в чтении надгробных надписей. Там, где покоятся короли и королевы, cicerone наш, указывая на безмолвные мрамор и бронзу, беспрестанно говорил — убит в таком-то году, казнен и проч. Ни в одной истории не встречается столько цареубийств, как в англинской, и она была всегда и во многом предтечею французской. — Нынешнее положение анг‹линского› народа изъясняется только сим прошедшим: Sanguina fundata es tu, Anglia. Sanguina cresit! В сей же церкви по разным сторонам покоятся две соперницы-королевы, из коих одна пала жертвою на эшафоте. Елисавета возвеличила Англию, но не смыла пятна крови, которая брызнула на нее с прелестной Марии! — Памятники Питта и Фокса, — гробы их едва ли не вместе! Сколько полководцев, умов государственных! Ряды бессмертных, оставивших блистательный след в истории, толпятся в сей сени смертной. Там лики их вылиты и оживотворены в воске. Нельсон, желавший победы или Вестминстерского аббатства! Гатон в том самом наряде, в коем гремел с трибуны, как Нельсон на морях Европы и Африки! — Мы спешили к поэтам и гениям музыки. Статуя Аддисона, Гендель — пленяемый ангельской гармониею. Шекспир!! с тремя главами (лицами его трагедий). Томсон. Мильтон! O Kare Ben Johnson! Rowe! John Gay, Грей (при имени его я вспомнил о моем Жуковском!). Автор оставленной деревушки — Гольдсмит. Гаррик! — 152-летний ‹1 нрзб›, присужденный на 130 возрасте (!) к церковному покаянию — for bastardy.

Питт! в одеянии of Chambre of the Exchequer. Лондондери (Castlereugh) лежит близ Фокса и Питта! Исаак Невтон! опирается на 4 фолианта: бо-

гословие, хронология, оптика и философия, указывая на свиток, который поддерживают херувимы! Над ним глобус, с означением кометы 1680 года. Астрономия сидит на сем шару с закрытою книгою.

Стангоп близ Невтона!

Паоли, скрывшийся под эгиду Англии в бурное время Наполеона!

В голове моей не привел я еще в порядок сих бессмертных и записал только имена их, но ощущение полученных впечатлений при созерцании памятников сохраню.

Я несколько раз обошел и церковь. Оттуда в вестм<инстерскую> залу, где обедает король в день коронации. Тут же зашли и в гражданский суд (common pleas) — и от предметов истории важной веков прошедших перешли к минутным распрям о кабриолете. В первый раз видел я гражданское судопроизводство в Англии. Потом в King's bench, где слышали двух адвокатов по делу государственному. Завтра услышим Брума, которого сегодня в первый раз видели в числе адвокатов. Трудно приучить себя видеть на сей скромной гряде человека, которого Европа признает одним из первых ученых и которого влияние на многочисленный класс народа неисчислимо.

Был в *клобе путешественников*. Я нашел там все газеты и периодические сочинения: нем<ецкие>, франц<узские> и англ<инские>; новые книги на сих языках; библиотеку, в которую авторы присылают свои сочинения, и все потребности для грешного тела, не исключая и ванн!

25/13 генваря. Не застал Брума дома. Он уже ушел в King's bench, и мы вслед за ним; но другие адвокаты начали нелюбопытные playdoyers — и мы пошли в вестм<инстерскую> залу; были в Court of Equity по части казначейства; возвратились в King's bench. Я познакомился с Брумом. Завтра авось услышу его. Между тем прислушиваюсь к английским звукам и приучаю глаза к парикам. Кажется, все лица приноровлены к ним. Судьи в красных мантиях, с белою опушкою и подбоем. Таких важных физиогномий редко встретишь на континенте, но здесь они сохранились еще для замков и зал готических и для судейской важности. Был у адвоката Sharpe, и его не застал. Обоим оставил письма б<арона> Сталя и Журдана.

У нас был ген<ерал>-майор Campbell, провожавший Наполеона и писавший против Вильсона.

Ввечеру был в Drury-lane и видел «Гамлета», которого играл в первый раз в Лондоне mr. Pelby, приехавший из Нью-Йорка и Бостона. По окончании пиесы публика долго и громко вызывала его — но не по заслугам. На театре лучше замечаешь превосходство театра фран<цузс>кого в плане пиес. Как слабо и бессмысленно читал он прекрасный монолог Гамлета «To be or not to be» и как вся сцена холодна в сравнении с тем, что слушатель воображает при воспоминании глубокого ощущения при чтении сих стихов! — Я уверен, что Тальма сделал бы превосходную сцену из сего монолога.

После «Гамлета» — «Harlequin, Jack of all trades». Опять фарсы и прелестные декорации. Буря и море, с замком Дувра, покрытое кораблями, кораблекрушение — неподражаемы! Чудесное кувыркание на веревке, в самой вышине театра. Качаяся, держась одною ногою за веревку, кувыркался и в то же время играл на валторне.

Английские актеры не следуют советам великого своего учителя Шекспира, которые сумасшедший Гамлет дает актеру: «Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on the tongue; but if you mouth it, as many of your players do, I had as lief the town-crier spoke my lines» ... «use all gently»... Но town-crier не так сильно кричит, как актер трагический, и совет Шекспира остался без пользы. — Тальма лучше понял его и не только в игре следует Шекспиру, но и в брошюре своей ссылается на сие классическое место для искусства драматического.

Апельсины полетели из райка, когда долго не являлся Pelby принять рукоплескания публики.

26/14 генваря. Вчера отказал я послу обедать у него сегодня; но узнав от Н‹иколая›, что он хотел свести нас с Веллингтоном, который у него также обедает, и получив вторичное приглашение посла, я принял оное и просил Крейтона извинить меня, что я не сдержал слова ехать с ним в заседание Академии наук. Веллингтон возвратится сюда, вероятно, когда уже меня здесь не будет; Академию же могу я увидеть и после и, вероятно, с большею пользою, ибо привыкну более к языку. Лорда Бристоля не застал: он уехал вчера в Брейтон.

В King's bench слушал, наконец, Брума, но недолго. Видел White-house, в котором теперь церковь, и в ней все трофеи Веллингтона и других: имена Наполеона и побед его на всех знаменах. Отсюда, из окна, брошен король ‹пропуск› и казнен на площади.

Видел католическую церковь: прекрасная картина, весь алтарь занимающая.

Wilks. Был у него в конторе, здесь он живет у банкира Raikes. W. et Th. Raukes et C°, London Wall № 79.

Обедал у гр. Ливен с Веллингтоном, с sous-sécretaire d'Etat Plante и с лордом Росселем и женою его, принадлежащим к оппозиции. Физиогномия Веллингтона примечательная, и есть ли бы я его встретил и в обществе людей неизвестных, я бы, кажется, спросил: кто он? и не прошел бы его без замечания. Он сбирается в Петербург 4 февр‹аля›. Тут же обедал и португальский посол.

Получил письма Кар‹амзина› и Жук‹овского›. Перечитывал их с чувством дружбы и с грустию по отечестве, где ужасы — без пользы!

Писал к б‹арону› Мерьяну, к гр. Разумовскому и Бобринской, и завтра пошлю письма чрез посольство (и к графу лорду Бристолю).

27/15 генваря. Отправил письма. Отдал письма б‹арона› Сталя и Вилькса: Zacharia Macaulay, Esquare, № 50, Great Ormond Street, Russel-square. Его не было дома. Застать можно в $8^1/_2$ утра и в 5 перед обедом.

Колоссальная бронзовая статуя Фокса, с простою надписью его имени и фамилии, сооруженная в 1816 году на Bloomsbury-Square, которая прежде называлась Southhampton-square. Статуя на гранитном пьедестале. Весь монумент около 16 футов вышины. Уверяют, что ни один портрет, ни одно изображение Фокса так не сходно, как в сей статуе. Он представлен сидящим в консульском костюме. В правой руке держит *Великую хартию*. Надпись: «Charles James Fox. Erected 1816».

Через улицу на Russel-square, в виду его статуи, другая статуя: герцогу Бедфорду; того же артиста: Westmacott... Герцог опирается рукою на плуг, другою принимает дары Цереры. Четыре времени года в лице детей играют у подножия статуи, и пьедестал в барельефах украшен земледельческими орудиями. Надпись: «Francis Duke of Bedford. Erected 1809».

The British Museum. Одно из богатейших собраний в Европе. Первое основание оному положил знаменитый натуралист Sir Hans Sloane с тем, чтобы публика могла свободно пользоваться сим заведением. Он отказал британскому парламенту собрание естественных произведений, книг и рукописей на 20 т<ысяч> ф<унтов> с<терлингов>. Музеум вмещается теперь в большом здании. Библиотека, reading-room тут же, но в нее впускают по особым билетам, на известных правилах. Тут и Cottorian library и Harleian library. В последней при основании было более 7000 рукописей.

Разные коллекции музеума разделены по комнатам. В одной из первых видели мы добычи путешественников вокруг света, в орудиях, доспехах, одеждах и проч. разных народов. Например, Кука.

В 7-й комнате находился на столе, под стеклом, оригинал *Великой хартии*... Далее минералогический кабинет. Орнитологическое собрание. Окаменелости и остатки выкопанных из земли животных, между коими и сибирский мамут. Зоофиты. Ихтиологическое собрание. Но мы спешили к древностям, коими сей музей отличается пред другими европейскими. Здесь Тонлеево, Эльгиново и Гамильтоново собрание древностей: египетские, греческие и римские. Мозаики. Славный египетский саркофаг. Рукописи на папирусе. Ваза Barbarini или Портландова: темно-синего стекла с фигурами молочного цвета. Но всего примечательнее для любителя древностей и даже не для знатока есть собрание Эльгинова древностей греческих, коих он лишил отечество, обогатив свое. Я вспомнил стихи Байрона на сие похищение красот и произведений искусства! Лорд Эльгин приобрел сеи мраморы во время посольства своего к Порте. Они принадлежат к первоклассным произведениям древности, — и знатоки не могут еще решиться, трем ли образцовым произведениям — Аполлону Бельведерскому, Лаокоону и Торсу — или сим мраморам отдать преимущество?.... Полагают, что они произведены Фидиасом и что они составляли часть Парфенона.

Около 2 часов восхищались мы ими с книгою в руках; но не одна статуя так не поразила меня, как *Ириса*, одна из дщерей Океана и послан-

ница богов, особливо Юноны. Она представлена в быстром движении. Забываешь, что пред глазами мраморная громада: кажется, она бежит и движение не остановлено, не окаменело в мраморе, а выражено в минуту быстроты оного. Покрывало Ирисы надулось от воздуха и летит за нею. Она спешит исполнить поручение, ей данное: возвестить в отдаленных краях земли — рождение Минервы! — Здесь должны учиться художники, здесь образовать вкус свой. У сих колонн полуразрушенных, у сих барельефов, коих и время и турки пощадили, должны образовать вкус свой зодчий и каменотесец, живописец и — сам поэт должен искать вдохновений у подножия сих статуй, у сих обломков, свидетельствующих славу Греции и — нашу неблагодарность!

К счастию, в нашей Академии худ<ожеств> есть слепки с некоторых барельефов...

Ввечеру был в театре Adolphi Theatre Strand и видел две пиесы — мелодраму «The pilot, or the tale of the sea», в которой главный актер, Terry, играл порядочно; другие плохо, особливо женщины. И одеты так же. Впрочем, этот театр более для простого народа, чем для fashionable. Другая пиеса: «Anaconda. New burlesca. The terrific serpent of Lesboa». Везде, где могут действовать машины, англичане превосходны. И тут явление змеи, ее быстрые и искусные движения заслужили полное одобрение публики. Большой комической пантомимы, которой заключили спектакль, я не дождался: «The golden lamps, or Harlequin and the Wizard Dwarf».

28/16 генваря... Прежде всего пришли мы в дом общества, учрежденного для споспешествования успехам искусств, мануфактур и торговли в Англии. Оно дает награды за улучшения, изобретения и открытия всякого рода, клонящиеся к сей цели. Суммы для сего поступают от добровольных пожертвований и от завещаний в пользу общества. По лестнице, украшенной слепками греческих барельефов, нас ввели в залу, где поставлены славные картины James Barry, Esq<uare>, которого произведения должны опровергнуть мнение Монтескье, Dubos и Винкельмана о неспособности англичан к изящным искусствам. В самом деле, *шесть* картин, коими завешаны стены сей залы, свидетельствуют об искусстве и воображении художника. Сии шесть произведений живописи англинской должны доказать нравственную истину «that the attainment of happiness, individual as well as public, depends on the development, proper civilisation, and perfection of the human faculties, physical and moral, which are so well calculated to lead human nature to its true rank, and the glorious designation assigned for it by providence».

Первая картина, сообразно сей цели, представляет человечество во всей наготе его, в диком его состоянии; вторая — a harvest-time (жатва) или принесение благодарности Церере и Бахусу. 3-я — победы на Олимпийских играх. 4-я — Мореплавание, или торжество Темзы. 5-я — распределения наград обществом и 6-я — Элизиум, или последнее воздаяние за

подвиги (в сей последний и наш Петр Великий). Первые три предметы относятся к поэзии, последние — к истории.

В 1-й картине, изображающей гористые и дикие урочища Фракии, Орфей, с лирою в руках, подъемля другую к небу, напоминает собою основателя греческой богословии. Barry не окружил его, как другие, прыгающими камнями и внимающими пению его птицами и четвероногими, но он представил его как законодателя и философа пред народом, столь же диким, как и земля его.

Во 2-й картине, которая красотою фигур и живостию (нежностию) колорита отличается от первой, живописец избрал жатву и вечерние игры. Тут видны Сильван и Пан, с их принадлежностями, вокруг них молодость скачет и пляшет.

Ты, весна, гряди, младая,
Пой, скачи и восклицай!

В отдалении — земля, хорошо обработанная, и сельские забавы и хлопоты. На зодиаке означено время года.

3-я картина изображает победы при Олим<пе> в ту минуту, когда победители проходят мимо, пред судьями, и увенчиваются оливами, в присутствии всех греков. Диагораса Родосского несут на плечах юные атлеты. В молодости своей сам прославляем был за победы на Олимпийских играх, в старости видит торжество сыновей своих — и путь его усыпают цветами греческие юноши, между тем как один из друзей его хватает его за руку, говоря: «Теперь умри, Диагорас, ибо богом быть тебе невозможно». Дитя держит руку одного из коронованных героев, отца своего. Мудрецы Греции внимают Периклу, между тем как Аристофан смеется над длинною его головою. Вдали Минерва и Нептун в споре за патронатство афинское. Гиерон сиракузский в колеснице, около которой греки с цевницами и хор юношей, предводительствуемый Пиндаром, поющим одну из од своих, при звуке лиры своей. Статуи Геркулеса и Минервы по сторонам картины означают крепость тела и души, в чем греки поставляли цель воспитания.

4-я картина олицетворила Темзу. Гений ее сидит с приятною важностию и держит морской компас, с помощию коего навигаторы <проникают> from Indus to the Pole. Колесницу везут знаменитые мореплаватели Англии: Drake, Raleigh, Cabot и Кук. Четыре части света приносят дары свои Темзе.

His (Темзы) fair bosom in the world's exchange!

Человеколюбие национальное и здесь не забыло африканских тружеников. Порабощенный африканец, с веревкою на шее и со слезою, катящеюся по мрачной ланите его, гремит, кажется, цепями своими и напоминает эпоху, когда еще торг неграми не был уничтожен в Великобритании. — Меркурий, эмблема торговли, сбирает народы. Нереиды несут главные произведения анг<линской> мануфактуры.

5-я картина представляет раздачу наград обществом. Лорд Ромней, один из первых президентов оного, подле него принц Валисский; William Shipley с актом установления сего общества; Артур Юнг, в виде фермера, представляет президенту образцы хлебов в зерне. M-me Montagu, герцогиня Нортумберландская, граф Percy, D-r Samuel Johnson и проч. Подле герц<ога> Ричмондского — Эрмунд Burke.

Но замечательнее всех прочих — 6-я картина: Elysium, во всю длину стены. Здесь собраны великие мужи и благодетели человечества всех времен и народов. Херувимы славословят невидимого — и свыше льется свет на всю картину. Мы видим один тихий свет, но источник его сокрыт для нас: он неприступен. Первую группу составляют: Roger Bacon, Архимед, Декарт и Фалес; за ними Francis Bacon, Коперник, Галилей и Невтон устремляют взоры свои на систему солнечную, которую объясняют и раскрывают им два ангела. Подле первого ангела, держащего покрывало, Христ<ос>, Колумб, с картою его путешествия, а за ним Эпаминонд с щитом своим, Сократ, младший Катон, старший Брут и Томас Мор: шестерик, коему не нашли седьмого во всех веках, как говорит Свифт. За Марком Брутом — William Molyneux, с книгою of the case of Ireland. Подле Колумба — лорд Шефтсбери, Локк, Zeno, Аристотель и божественный Платон, а между сими двумя группами — William Harvey, объяснивший обращение крови, и Robert Boyle.

Следующая группа составлена из законодателей — и король Альфред Великий опирается на Пена, который показывает свою книгу законов Ликургу. Вокруг их: Минос, Траян, Антонин, Эдуард (the black prince), Гейнрих IV, Андрей Дориа Генуезский и — наш Петр I. — Сердце затрепетало во мне, когда я распознал черты его! Везде пойдешь в ряду с полубогами! Покровитель талантов и гениев во всех родах — Лоренцо Медицейский.

В сей же комнате портреты лорда Folkstone, 1-го президента общества, и лорда <1 нрзб>, 2-го президента. Бюсты Вильямина Франклина и самого Barry. Статуя доктора Ward. Мы прошли в комнаты, где хранятся модели разных изобретений в художествах и в ремеслах и улучшенные машины. Это заменяет Conservatoire des arts et métiers. И у нас начиналось что-то подобное при Новосильцеве. Но семена, засеянные в первые пять лет царствования Ал<ександр>а, во прахе — и скоро бурный ветр и самый прах развеет!

Продолжая путь к city, зашли мы на Adelphy terrace и в первый раз еще благодаря солнцу увидели Темзу в блеске утреннем, который проницал туманы ее. Мы стояли над Темзою — и любовались мостом Ватерлоо (за нами дом, в котором жил Гаррик), сооруженным вследствие акта парламента менее, нежели в 7 лет; ибо хотя первоначальный план оному составлен был в 1806 году Калоном, но в 1811-м Kernic, esq<uare> переделал оный во многих частях, и первый камень положен в октябре 1811-го, а 18 июня 1817 года, в день Ватерлооского сражения, мост открыт для

проходящих, в присутствии принца-регента и героя ватерлооского. Мост сей единственный в своем роде по строению и отличается от всех других уже тем, что он совершенно ровный и ни с одной стороны ни мало не возвышается. Арки его — необыкновенной величины и во всех частях соблюдены простота и единообразие, что придает ему еще более величия. Архитектор избрал для построения сего моста материал несокрушимый — первобытный гранит! Наружные части из Cornish granite, балюстрады — из альберденского. И материалы, и художники, и слава Ватерлоо — все принадлежит Англии. Вся отделка моста, особливо при впуске на оный проходящих, удивительной прочности и со вкусом. Более 1 100 000 с<терлингов> употреблено на сооружение сего полезного памятника. Вид с оного прелестный. Сперва назвали его the Strangebridge; имя Ватерлоо дано ему актом парламента в 1816 году. Благодарность, польза и слава народа подают друг другу руку — и каменотесец передает их векам!

По дороге вошли мы на несколько минут во двор Сомерсетских палат, четвероугольное строение от Стренда до Темзы простирающееся, в коем ныне помещаются Академия художеств, Королевское общество и другое общество древности и многие правительственные места. Мы спешили в Temple, древнее строение, напоминающее именем своим (knight-templers) крестоносцев, имевших на сем месте первое свое учреждение. По уничтожению сего ордена, профессоры of the common law купили жилища крестоносцев и обратили их into inns. Двор и сад — для всей публики. Последний простирается вдоль по берегу Темзы. В библиотеке есть редкие рукописи. В церкви храма (the Templechurch), примечательной по своей архитектуре, лежат крестоносцы, из коих трое принадлежат к фамилии графов Пенброков, узами родства связанной с знаменитым родом гр<афов> Воронцовых.

Кто читал Скотта, тот смотрит на сии древности иными глазами. Надпись на часах <пропуск>.

От воспоминаний древностей перешли мы к печальной существенности, в так назыв<аемую> тюрьму флотскую (Fleet-prison), где содержатся за долги и за маловажные проступки (for contempt of the court of Chancery). Строение из 4 этажей, по коим распределены заключенные. В средине оного обширный, чистый двор, огражденный высокою стеною. Мы застали в нем содержащихся играющими в меловой мяч, коим вся стена была испещрена белыми пятнами. Для чего бы и в других тюрьмах не завести для маловажных нарушителей общ<ественного> порядка такое здоровое увеселение? Те, кои могут платить одну гинею в неделю (что состав<ляет> около 25 руб. ас<сигнациями>), имеют особые комнаты; но все пользуются правом жить здесь с семейством. Мы видели детей, играющих в темнице отца.

Недалеко и New-gate, здание обширное и мрачное, украшенное цепями снаружи. Мы не могли видеть внутренность оного за недостатком смотрителей, и нас пригласили прийти в другой день. (Дальнейшие похождения сегодня впредь).

29/17 генваря... Бродил по городу, был в Гайд-парке и видел тысячи прекрасных экипажей и народ — и солнце! День был прекрасный. Не видно полиции, а везде тишина и порядок, при многочисленности народа. Все одеты хорошо, и бедности ни в чем и ни в ком не заметно. Говорят, что император А<лександр> в Лондоне спросил: «Где же народ?» — В самом деле его нет здесь, в русском смысле этого слова; но в смысле английском, он везде — и одно самодержавие мешает видеть его...

30/18 генваря...В церковь св. Павла. Купол, унизанный трофеями. Памятники. Первый поставлен Говарду. Надпись на оном и в ней: «Russian Tartary», где он умер жертвою своей филантропии.[59] Samuel Johnson. Ему воздвигли памятник приятели. Нельсону, и гроб его под центром церкви: место, которое готовил себе, так, как и гроб Вольсей. Мы всходили на галерею, где малейший шепот слышен. Обошли ее и снова шепот на одной стороне галереи слышен ясно на противуположной. Взошли выше и, несмотря на туман от каменного уголья образующийся над городом, любовались им и Темзою и шпицами готических церквей и памятниками. Отсюда можно судить о величине города и о его многолюдстве.

Сходили вниз, в подземелье церкви, где стоят гробы и лежат бессмертные, каков Нельсон и сам зиждитель храма — Врен. Здесь-то первоначально надписана над могилою известная надпись: «Si monumentum quaeris, lector, circumspice!». Факел освещал нам темные ходы и пещеры, где сокрывают знаменитых <за> заслуги Великобритании с того времени, как в Вестм<инстерском> аббатстве для них не ста́ло более места.

Долго, долго бродил по церкви и рассматривал памятники. Они точно украшениями оной и поставлены симметрично и в надлежащих местах. Много еще и — праздных. Дорого будет стоить миру и Англии пополнение оных!

Видели трофеи Нельсона и первую модель церкви, составленную Враном; лестницу, которая ведет вокруг стен к библиотеке, напоминает нашу на черном дворике; библиотеку и рукописи; колокола не пошли смотреть, ибо против московского — он зазвончик.

Мы нашли в газетах объявление, что сегодня в Лондонской таверне будут праздновать день рождения of Thomac Paine, записались на обед и в 5 часов явились туда. К 6 часам собрались гости, уселись (около 100 чел<овек>). Пообедали довольно скромно, и каждый за полбутылкою шереса начали пить за председателем Carlile тосты.

1-й — Пену: «We meet to respect his memory, and to extent his principles». «Hurra!» — раздался в зале, но ни шума, ни смеха, ни малейшего признака веселости!

2-й тост Richard Carlile, сам президент, коего имя известно по процессу за перепечатание с примечаниями книги Пена и по тюремному заключению: «We thank him for his fortitude and rejoice that his sufferings have established the right of free discussion».

Карлиль отблагодарил и снова предложил другие здоровья; но между каждым проходило в молчании около получаса.

3-й тост — mr. Carlile's fellow-sufferers. «We feel indignant that any of them remain in prison». Вместо него самого это здоровье предложил Taylor, поп-растрига, который учредил the Christian Evidence Society.

4-й тост. The Chr<istian> Ev<idence> Soc<iety>. «Its extension — and thank to its founder, the R<everend> Robert Taylor». Он благодарил речью, весьма примечательною.

Потом предложено здоровье, которое не вписано в печатную: «Lists of the toasts and sentiments intended to be offered to the company assembled at the city of London Tavern to celebrate the birthday of Thomas Payne. January 30. 1826». За греков!

5-й тост — the mechanics Institute, and Schools of science generally.

6-й — Robert Owen. «We admire his perseverance in his career of humanity and generosity».

7-й — the female Republicans. «Their presence would have added grace to our company». Один из тех, кои наставляли президента Карлиля, что ему делать и говорить, объявил за него, что дамы обещали приехать к обеду, но раздумали

8-й. The States of America. «May their republicanism extinguish their superstition». (Taylor опять говорил речь, нападал, сам поп, на попов протестантских и католических).

9-й. The republicans of Haity. «May the neighbouring Isles became equally independent».

10-й. The representative newspaper. «If an organ of any portion of the ministry, we hail their approach to the principles of Thomas Paine». Тут опять Taylor ораторствовал, указывая на герб Англии над окном, близ президента, смеялся над королевским достоинством, в виде льва и единорога, и заслужил громкие рукоплескания и крики: «Hear! hear!». Этот тост намекает на новую газету, в издании коей полагают участником Канинга.

11-й. Protestant, as well as catholic, emancipation.

Taylor опять ораторствовал, хвалил ирландцев и нападал на притеснителей их и на попов обоих исповеданий.

12-й. The memory of Rousseau and Voltaire, of Diderot and D'Holbach. Заступающий место президента объяснил, что прежде всегда пили за здоровье Мирабо, яко за автора книги «Système de la Nature», но с тех пор как узнали, что истинный автор ее барон D'Holbach, вписали его имя в тост.

Три раза трое импровизировали стихи и пели их. Оставалось еще четыре здоровья; но мы не дослушали и оставили в 10-м часу не шумную, но спокойно-буйную кампанию и возратились домой. — В таверну съезжались уже на бал.

13-й. The memory of Benj. Franklin and Elihu Palmer.

14-й. The memory of Tindal, Toland, and Annett; of the archbishop Tillotson and Dr. Conyers Midleton; of Byron and Shelley; and of all Englishmen who have written to the end of human improvement.

15-й. The memory of all others who have laboured for the improvement of mind.

16-й. Universal benevolence.

Я неохотно пил тосты Вольтеру и Гольбаху и, признаюсь, с стесненным сердцем молчал, когда англичане осыпали одобрениями Taylor'a, основателя of the Christian Evidence Society, которое собирается с тем, чтобы доказывать, что вся история христианства наполнена ложью, и вызывает, чрез газеты, доказывать противное в собраниях общества. — Неприятно было также пить за здоровье человека, который, будучи огражден английскою свободою говорить, что придет в голову против бога и правительства, с смешною важностию нападает на royalty, выхваляя республиканизм, и на штукатурного льва, изображенного на карнизе в гербе Англии. Допуская титло reverend в печати в тосте: «Protestant, as well as catholic, emancipation», — ругает попов и самое священство и доказывает, что надобно и католиков и прот‹естанто›в освободить от них. Физиогномия почти безмолвного президента напоминала тюрьму, из которой он едва вышел и где сидел за распространение книг противу религии. Сосед мой объявил нам свое мнение, что почитает Thomas Paine, автора книги «The reason of the age» и других, величайшим человеком, на что теперешнее поколение слишком искажено, чтобы чувствовать всю цену и достоинство его.

Переезжая из одной страны в другую, хотя и одним каналом разделенные, примечаешь в одной господство, хотя и тайное, конгрегации или иезуитов и духовника королевского, а вследствии оного в Испании, по указанию франц‹узского› посла, запрещение Монтескье, Руссо, Вольтера — и Урики! А в другой — гласное ругательство над королем, монархиею и над христианством, коему хула произносится в тосте Тайлору и его обществу...[60]

2 февраля/21 генваря. Наконец, просветлело и на небе и в St. James Park. До завтрака гуляли мы в парке и в первый раз еще могли видеть прекрасные окрестности: луг, в правую сторону простирающийся, и замки, на горе возвышающиеся. По другую сторону парка слышна была военная музыка, и мы увидели гвардейских солдат в их красных мундирах; они сбирались к параду и скорым маршем шли к нам навстречу. Музыка и барабанный бой оглушили нас, но я любовался двумя арапами между музыкантами и их великолепным и чистым нарядом. Над каскою их катались два шара, переплетенные золотым шнуром. Офицеры и солдаты молодые и маршируют непринужденно, но стройно. Одежда спокойная: белые широкие панталоны. — Они пришли во дворец св. Иакова; на дворе, между тем как сменялись часовые, играла музыка и народ окружал ее, а с ним и мы, вспоминая о парадах нашей Дворцовой площади!

Малькольм был у меня, пригласил в библ<ейское> общ<ест>во и обещал познакомить с другими филантропическими обществами, в коих сам участвует.

В Traveller's Club нашел я английский перевод путешествия Кар<амзина> и в первый раз в жизни читал то, что он пишет об Англии. Конечно, в нем нет того, что русский в теперешнем положении будет писать в путешествии по Англии; но живо описаны первые впечатления при въезде в Лондон, и замечание о том, что надобно пользоваться сими первыми ощущениями, по моему мнению, весьма справедливо. Оно дает лучшее понятие об особенностях города и страны, которую в первый раз видишь, чем отчет путешественника, привыкшего к созерцанию предметов, кои он описывает. То, что ново и разительно для нас, передается и в описании живее.

Во втором часу отправились с русскими Смирновым, гр. Ливеном, <пропуск> и поляком Валасским в парламент, который сегодня открывается. При входе и на улице толпился уже народ. Смирнов объявил 2 приставам у дверей в парламент, что мы от русского посла, и нас немедленно впустили к решетке, которая отделяет трон от дверей и от членов парламента. Мы нашли уже speaker'а в мантии и в парике, заступающего места председателя лорда <пропуск>, несколько членов парламента из светских во фраках, а некоторых, а именно членов комиссии, в мантиях, так же как и епископов, сидевших отдельно. Неподалеку от них две дамы. У противуположного входа, также загородкой отделенного, было уже несколько зрителей. Один из секретарей прочел указ об открытии парламента, и вице-президент дал знать одному из приставов, чтобы пригласил нижнюю камеру. Поклонившись в дверях, он вышел и ввел депутатов нижней камеры, из коих один, speaker, был в парике и в черной мантии; другие во фраках и сапогах. Они остановились у загородки и вице-през<идент> прочел речь короля. Потом заключили открытие. Сия камера лордов находится в древнем Вестминстерском дворце, там где прежде был the old court of requests. Большая зала украшена шитыми обоями, на коих изображена победа над гишпанскою армадою в 1588 году. — Креслы в виде трона и с 1800 года, т. е. со времени соединения парламентов англ<инского> и ирландского, на них вышит общий их герб. Лорд-канцлер, который в парламенте speaker, и судьи и officers of the house сидят на широких канапе, набитых шерстью (woolsacks), покрытых with crimson baize; а перы или лорды сидят, по старшинству, на скамьях, with similar baize. Архиепископ по правую сторону трона так, как и герцоги и маркизы; графы и епископы по левую; бароны же on cross-benches, in front. Так как сегодня король не присутствовал, то перы были во фраках; в присутствии же его они одеты в мантии. Всего их 364 пера (?), из коих <пропуск>.

Отсюда прошли мы in the House of Commons и дожидались там открытия камеры до 5-го часа. Она построена из старой церкви первомученика Стефана. По присоединению Ирландии в 1800 году, когда к английским

репрезентантам прибавилось еще 100 ирландских, камеру сию привели в теперешнее ее положение, для помещения 658 членов.

Простые дубовые скамьи и кафедра для speaker'а. Бронзовые паникадилы освещают мрачную сию камеру. Нет церкви, нет дворца, нет замка лорда, которые бы не были богаче отделаны. Но дуб напоминает твердость и жизнь вековую.

Мало-помалу начали сходиться члены камеры в сапогах, с хлыстами, с палками, в сертуках и в шпорах. Оппозиционные садились на левой, правительственные — с правой стороны. Некоторые наклеили с своим именем бумажки на местах, кои они себе назначали. Иные пошли в верхнюю галерею. Явился и Brougham и сел на левой стороне. На правой показали нам Canning'а и других министров. Близ меня, по другую сторону дверей, увидел и узнал я Роберта Вильсона, которого не видел с Бартенштейна и с 1811 или 1812 года. Два депутата с правой стороны были одеты отличным от других образом: один в гусарском мундире, другой в светлосинем франц<узском> кафтане, в белых штанах и в башмаках и с кошельком, пришитым к кафтану. Мне сказали, что они должны открыть камеру речью и что всегда одеты открывающие камеру в парадных платьях.

Перед кафедрою speaker'а стол, у которого сидят секретари (the clerks), скамьи в пять рядов возвышаются одна на другой. Напротив оппозиционной стороны скамья называется the treasury-bank, потому что там обыкновенно сидят министры. Для посетителей и скорописцев галереи; но нам позволили сидеть внизу с членами.

И здесь speaker опять прочел речь короля, и два вышеупомянутые депутата отвечали ему. После них встал с места Брум и говорил около часа. Все внимали ему и беспрестанно слышно было: «Hear! hear!». По окончании Брума, заговорил какой-то Робертсон, но несмотря на приглашение speaker'ом к порядку: order! order! никто не слушал Робертсона и многие вышли из камеры. Примеру их и мы последовали и пошли опять в парламент, где уже давно собрались члены. Нас впустили к самому престолу, за загородку. У трона сидели и лежали посетители в сертуках. Один из членов ораторствовал; после него начал говорить Ливерпуль о банках. Тут я видел Веллингтона во фраке и в шляпе на woolsack; других, как например Хаткарт, Гастингс, едущий опять в Индию, во фраках и в звездах.

В семь часов я вышел из парламента и в 8 был уже в Королевском обществе и в обществе древностей, кои собрались сегодня в своих заседаниях в Somerset-house. — Члены каждого общ<ест>ва предложили меня и вписали имя мое. Президенты прочли его, и меня тотчас впустили. Сперва был я в обществе древностей. Там читали, кажется, письма некоторых жертв политики Елисаветы и между прочими Марии Стюарт. Меня представили президенту Кор<олевского> учен<ого> общ<ества> Humphry Dawy. Наслышавшись о его европейской славе, которая давно гремит в ученом свете, я ожидал найти в нем важного англичанина, и нашел красную ев-

рейскую физиогномию, в замаранном фраке; но прежде, нежели он занял кресла председателя, надел он франц<узский> кафтан и смешную треугольную шляпу. По сторонам его кресел сидели: секретарь общества Гершель, сын славного астронома и сам известный уже астроном, и Брасет, известный химик. Вся зала украшена портретами председателей, над президентскими креслами портрет Невтона! Далее Мальпигий, Вельямин Франклин и проч. Бюст Банкса, короля Карла II, учредителя общества. На столе пред председателем лежит такая же булава с короною, какая и в парламенте. Это преимущество только одного Кор<олевского> общ<ест>ва.

Прочли протокол и предложили новых членов общества, между коими и Гольман, смелый шпион (?), вывезѐнный с фельдъегерем из Сибири.

Гершель читал диссертацию о каком-то физическом предмете одной дамы. — Заседание продолжалось менее часа. По окончании мы пошли в библиотеку общества. Здесь показали мне рукопись Невтона, с которой напечатаны его «Philosophiae Naturalis principia mathematica»...

Происхождением своим Королевское общество обязано, так, как почти все здешние ученые, филантропические и религиозные сословия, частным людям. Несколько приятелей, между коими народная благодарность называет Robert Boyle, Petty, Матвея Врена, сходились в Оксфорде у доктора Вилькинса и рассуждали о предметах учености как по части наук естественных, так и богословия. Обязанности по службе рассеяли сих друзей наук по разным частям Великобритании; но многие из них опять сошлись в Лондоне, где в Grasham College они снова начали сбираться, раз или два в неделю, имея в виду одну только цель: взаимное сообщение открытий, наблюдений и мнений своих о предметах, коими каждый из них занимался. Кончина Кромвеля снова рассеяла на время сии собрания, ибо Grasham College был обращен в казарму; но Карл II актом 22 апреля 1663 года учредил в сем общество, названное им «The Royal Society of London, for improving natural knowledge», президента, совет и членов (fellows) и дал ему права политического сословия. Статуты общ<ест>ва составлены после и утверждены королем. Каждый член платит несколько гиней ежегодно за честь быть членом общ<ест>ва, которое публикует ежегодно a volume in two parts под названием «Philosophical transactions of the R<oyal> S<ociety> of London». В сих актах можно видеть историю наук, открытий и просвещения в Англии.

Булава серебряная, позолоченная, которую я видел на столе пред председателем, дана обществу Карлом II, всегда носится пред ним; а Георг III определил для общ<ест>ва в Somerset-house комнаты, кои оно ныне занимает. Есть и музеум. Нынешний пред<седатель> Humphry Dawy заступил место незабвенного Банкса, которого имя и Georgia Augusta произносится с благодарностию, в 1820 году. В день св. Андрея годичное собрание.

Society of Antiquaries. Сие общество, коего цель сохранение и объяснение памятников древности всякого рода, началось еще в 16-м столетии; но

нынешнее образование оного получило оно при Георге III в 1761 году. Акты его, по усмотрению совета, печатаются под названием «Археология».

В зале, подле Королевского общ<ест>ва, где члены собираются для чтения диссертаций, получаемых от корреспондентов своих, и для предложений дел общ<ест>ва, видел я старинные картины, до истории Англии относящиеся. Они драгоценны и верностию костюмов того времени и как памятники степени, на которую возведено было искусство живописи во времена <пропуск>...

3 февраля/22 генваря... Продолжая путь наш по городу, в Fishstreet приблизились мы к памятнику. Высокая колонна, воздвигнутая славным Хр. Вреном в 1677 году, дорического ордена, в память великого пожара, начавшегося неподалеку от сего места, превратившего в пепел большую часть Лондона. 202 feet high, including its massy piedestal and surmounting cippus and blazing urn. На одной стороне пьедестала эмблематический резец Cibber'a изобразил разрушение города, окруженного Свободою, Гением и Наукою, кои указуют образ восстановления Лондона. Другая сторона покрыта надписями. Внутри колонны есть ход на балкон, сооруженный above the capital, откуда вид прекрасный! Колонна сия 24 футами выше Трояновой. Но и здесь то же неудобство встречает зритель, как и при взгляде на церковь св. Павла: колонна сия так окружена строениями, что нет точки, с которой бы можно было видеть ее беспрепятственно. Зритель пресмыкается у ее основания — и не видит вершины иначе, как с улицы; но когда взор его достигает вершины, то ни основания, ни всей колонны уже не видно. Действие сего памятника на обширной площади или в уединенной равнине напоминало бы чувство, с которым приближаются к пирамидам (описание пам<ятника> и надписи в Leigh. pictures of L<ondon>).

Прочел путешествие К<арамзина> по Англии. Многое весьма справедливо. Есть страницы, кои мог бы я вписать в журнал свой, переменив только год и месяц, и некоторые имена. Описывая заседание в British Institution, нужно только поставить Dawy на место Банкса и оставить остальное без малейшей перемены. Те же обряды при выборе новых членов; та же булава лежит пред президентом и тот же образ предлагать предметы к рассуждению членов.

Читал книгу «London and Paris, comparative sketches» (1823) и выписал несколько строк.

В другой нашел эпиграф, который изображает расположение моего духа, когда я писал к Жук<овскому>: «I'll live a private, pensive, single life».

4 февраля/23 генваря. Писал с Веллингтоном к Булгакову и к Жихареву. Мы ждали Морг. <?> и опоздали идти смотреть славного делателя фортепиано. Я пошел бродить по городу, заходил в книжные лавки и не нашел *Вавилона Великого*, т. е. Лондона; спрашивал о цене эссеистов, Ed<inburg> Rev<iew> и проч. Сначала жалел я, что день прошел даром; но в большом, незнакомом еще городе можно и без плана, без цели ходить не

без пользы. На главных улицах любовался я богатствами, у окон вывешенными, смеялся от доброго сердца, глядя на карикатуры; в одной представлено хозяйство: муж и жена и домочадцы живут согласно и бедно. Холостой *друг дома* пришел звать их смотреть, как будут вешать. Нет, отвечают супруги. Сегодня мы не расположены. Take any pleasure!

Тротуары здешние облегчают гулянье: не опасаешься легких кабриолет и тяжелых колесниц, коих тащат кони-гиганты. Беззаботно идешь по прекрасным и чистым тротуарам, коим и особого имени нет в языке англинском. У французов — название; здесь — вещь. Иногда только, когда видишь толпу народа и в ней босых и оборванных, хотя весьма редко, невольно положишь руку в карман и вспомнишь о записной книжке.

Всего более изумляет иностранца, особенно русского, отсутствие видимой полиции в Лондоне при таком ужасном многолюдстве и при множестве мелких и больших экипажей, которые не объезжают друг друга, а в тесноте города тащутся один за другим *веревкою* и часто около получаса, не двигаясь с места, ожидают движения первой навьюченой ‹пропуск›, которая остановлена или другим рядом экипажей или каким-либо случаем. Никого не видно для соблюдения порядка и никто не нарушает его. Тысячи полицейских не увеличивают тесноты разъездов и крики их — шума.— О палашах и нагайках, разумеется, и помину нет. Здесь не нужно быть 14-го класса, чтобы быть à l'abri кулаков офицерских. Иначе бой был бы неравный! Тот же порядок, ту же тишину примечаешь и на большом гулянье Гайд-парка. Конечно, туда не пускают фиакров или наемных карет, но тысячи кабриолет и щегольских карет и колясок всякой формы перегоняют друг друга тогда только, когда одна другой повредить не может, и лорд не теснит простого гражданина, да и в голову ему не приходит пользоваться своею первостепенностию, как разве там только, где с титлом его соединены права политические, то есть в камере перов.

Я видел на пруде, образующемся из ручейка, который извивается близ Hyde-park'а и St. James-park'а, the Serpentine-river, толпы мальчиков, бегающих по льду на коньках, дети, особливо мальчики, здесь, как и везде, очень резвы, но за ними нет присмотра. Они привыкают к свободе с малолетства и вкушают ее с молоком материнским: их не пеленают так, как нас в младенчестве, ни в зрелых летах! Но правительство, подражая матери-природе, действует невидимо, не душит, но животворит или по крайней мере оставляет естественным силам непринужденное свободное развитие.

Вечер провел в чтении «Edinb‹urg› и Quarterly Review» и книги б‹арона› Сталя об Англии.[61] В «Quart‹erly› Rev‹iew›» разбор книги Pichot об Англии — забавный и умный.[62] Бесстыдство и невежество, кои можно бы назвать национальные, есть ли б с некоторого времени французы сами не признавались в дерзости своих соотчичей, с какою они рассуждают о предметах им неизвестных...

6 февраля/25 генваря. Писал к Сереже в Неаполь. Получил письма от Сережи из Рима старое и новое из Неаполя; от Жихар‹ева›,

И. И. Дмитр<иева>, к<нязя> Вязем<ского>, от б<арона> Мерьяна, от гр. Бобр<инской>.

Сегодня совершили новый дальний поход и дивились неизмеримости Лондона. Мы проехали с Pall-Mall до Вест-Индского дока. Едва ли не более 10 верст ехали мы все городом, не замечая никакой разницы в населении, ибо все улицы оживлены были народом, все домы, в нижних этажах, наполнены лавками, и я не заметил ни одного, где бы ни было лавки или трактира, хотя сии последние здесь гораздо реже, нежели в Париже. Надобно из конца в конец проехать Лондон и не в воскресение, чтобы судить о богатстве его, о торговой жизни, а по ним и о влиянии, которое сия необъятная метрополия должна иметь не только на всю Великобританскую империю, но и на весь торгующий, т. е. знаемый, мир!

Обширность доков и краткое время, в кои они иждивением частных обществ сооружены были, дает еще вернейшее понятие о всемирной торговле англичан и изумляет самое смелое воображение, которое желало бы постигнуть обширность оной. Построение доков составляет эпоху в истории здешней торговли по удобности, которую они доставляют кораблям выгружать и нагружать товары всего света и укрываться в сии морские приюты, кои открыла им столица Великобритании на берегах Темзы. Одни купцы начертали и совершили сие гигантское предположение.

Мы предъявили билеты и нас впустили во внутренность Вест-Индских доков, из коих один, северный, назначен для разгрузки кораблей, пришедших из Вест-Индии и могущий вмещать триста кораблей, а другой, южный док, для нагрузки и вмещающий 200 кораблей.

Вошед в первый, мы не знали обратить ли прежде внимание на магазины (warehouses), кои сохраняют все товары всей Вест-Индской торговли до заплаты пошлин (until the duty is paid), или на корабли, стоявшие в самом доке, или на товары, кои из оных выгружались. Мы пошли вдоль дока, вошли во второй, покрытый весь кораблями, тесно друг подле друга стоящими: мачты — точно как густой лес; почти не было ни одного промежутка на всем пространстве дока, следов<ательно>, на 24 acres! И первый из сих доков совершен был в два года, а второй — в один год!..

Проехав версты три или четыре городом из Вест-Индского дока, приехали мы к Лондонскому. Здесь нашли мы более движения, нежели в первом, и здесь точно были мы в центре всемирной торговли. На многих кораблях видел я объявление о скором отъезде оных в разные части света: «Speedy to Rio-Janeyro, to Jamaica, to Malta» и т. д. Еще несколько дней и где они? Воображение мое носилось за ними по неизмеримости океанов, и я видел могущество Англии, покоренное другому могуществу — стихий! Есть ли бы можно было следовать мыслию хотя за одним кораблем, нагруженным в Лондоне товарами, для состава коих содействуют не только разные государства, но разные части света, преследовать, говорю, от первого семени, брошенного рукою первого промышленника-земледельца в русскую землю — до его последнего назначения, в последнем изменении, то какое

пространство облетело бы наше воображение! И пусть другой опишет путешествие одного сахара!

Лондонский док менее по пространству Вест-Индского; но мне казалось, что здесь-то стечение всех народов и здесь мог я услышать все языки и видеть истинный космополитизм, в расчетах взаимных выгод..... Напрасно искал я русского флага и подслушивался к грубым звукам матросов. Я не слыхал русского слова, и сведения, собранные нами от консула нашего, подтверждались сим.

Мы обошли весь док, который может содержать 500 кораблей; к нему принадлежит другой бассейн, for the reception of small craft. Первый камень заложен в июне 1802 года — и в генваре 1805 уже док принимал в недра свои мореходцев мира! Он стал, по сравнении величины оного, дороже Вест-Индского: ибо множество домов скупили для сооружения на месте оных обширных магазинов, особенно же великого магазина табашного, на четыре акра простирающегося. Но компания получает ежегодно за сей один магазин от правительства 15 600 ливров стерлингов!..

Возвратившись домой, нашли кучу писем из России, Парижа и Неаполя. Я успел только пробежать их, спешил на обед к гр. Воронцову, которого видел в первый раз в жизни, но узнал по портретам. Почтенный 82-летний старец принял нас ласково. Я сказал ему несколько слов об императрице Елисавете, его любимице, напомнил ему о путешествии его с нею в Финляндию, он заговорил о ее ангельской душе — и слезы покатились из глаз, и дрожащий голос пресекся. В другой раз, говоря со мною о незабвенном Александре, он также плакал. Граф В<оронцов> познакомил меня с гр. Мюнстером, с зятем своим лордом Пенброком и двумя или тремя посланниками: старым голландским, который названием сим напомнил мне <1 нрзб>, и сардинским, коих имен не упомню. — С гр. Мюнстером говорил о Геттингене, о нем<ецких> унив<ерситетах> вообще. За обедом пили мы тосты друг за друга, и добрый старик менялся со мною.

7 февраля/26 генваря. Писал к Ломоносову в Париж и послал письмо к<нязю> Вяз<емскому>, к к<нязю> Гагар<ину>. Спраш<ива>л о деньгах. Писал к Жих<ареву> и к<нязю> Вяз<емскому> вместе, и послал письма к Вейд<емейер> и к Путяте на имя Булг<акова> чрез Веллинг<тона>.

King's bench. Тюрьма для должников и для политических преступников. Мы показали записку от вице-консула, и директор дал нам проводника, который показывал нам все части тюрьмы. Теперь здесь 700 человек, но они пользуются большою свободою и не приметно следов заточения. Двор обширный, и в нем играют в мяч, гуляют, продают апельсины, словом, двор тюремный более похож на гулянье, чем на место заточения. Директор имеет право, по разрешению судебного места, позволять заключенным отлучаться из тюрьмы в окружности трех миль около оной, но директор за увольняемых таким образом отвечает заимодавцам. Он получает за это увольнение положенные проценты, кои составляют главный доход. К 9 часам вчера все должны возвращаться в тюрьму; но уверяют, что

некоторые уезжали в Париж и возвращались в King's bench. Отсюда ушел Cochrane, хотя стены гладки и над ними железные шпицы. Мы были в кофейном доме, здесь устроенном. Здесь бывают балы, театры; получаются газеты и немногие в других городах, и в самих столицах пользуются такими выгодами и приятностями, какие заточенные находят в King's bench. Здесь есть и церковь. Женщин очень мало.

The Tower. Наконец, мы видели сей древнейший памятник Лондона, напоминающий и ужасы деспотизма, и славу народную, и измену счастия Анны Болейн, и тирана ее Гейнриха VIII. Прежде всего при самом входе в старинный двор замка показывают: The king's menagerie. Мы хотели все видеть и, след<овательно>, зашли и к зверям и к птицам королевским, собранным здесь из всех частей света. И где же, как не в центре всего мира сообщений, можно удобнее собрать граждан его. Здесь кричат попугаи всех цветов и видов; здесь пресмыкаются в великолепных клетках змеи ужасной величины. Между ними и a great boa-constrictor serpent из Цейлона, «чудо века», как называют его смотрители менажери, никогда еще в Англии не виданное; другая змея, называемая Арлекином блестящим, по разнообразию своих чешуй и красок; крокодил с Нила; хамелеон из Африки; в затворах мирно прохаживается эфиопский зебр и дружно лежат пара кенгаров (male and female), воспитанных уже в добрых нравах Виндзорского парка. Маленькая кангарская крыса (a Kangaroo rat, the smallest of that species) из Ботан-бея. A remarkable beautiful ocelot, or tiger in miniature; the civer cat из Хины, который дает муск<ус>. В другом отделении лев и львица, silver maked, величественно возлежат в своем логовище, и недалеко два молодых льва с мыса Доброй Надежды с негодованием смотрят на затворы, необоримые для их царской силы. Леопарды из Серинганитама, употребляемые там на охоту (hunting — leopardes), и два черные волка из полярных стран, прекрасные в своем роде, коих мех дорого бы заплатили и наши невские щеголи. The Bradypus pextadactylis, or five-fingered sloth и наш большой медведь, но только не земляк наш, а из Hydson's bay; другой белый медведь с Северного полюса, следов<ательно>, наш сосед, и прекрасный североамериканский мишка. Обезьяны разных видов и величины.

Тут же и множество редких птиц, соотечественниц четвероногим: пеликан, ardea dubia, или адъютант бенгальский, commonly called the gigantic crane. Величественный солнечный орел из Сев<ерной> Америки; совы с рогами; журавли из Эльзинера; китайские фазаны, золотые и серебряные, и множество птичек, коих радужными перьями я любовался — и жалел, что бедняжки не освещаются солнцем своего отечества и здесь, под туманным небом, живут только для равнодушных глаз посетителей, и в клетках невинность — с зверством!

Я жалел, что не мог по приглашению надзирателя быть в три часа к обеду сих животных, ибо спешил к другим тиграм, кои уже в гробах и коих клетка напоминает жертвы их кровожадности самым названием первого входа: The traitor's gate, или ворота изменников, коих с Темзы при-

возили под сим названием для заключения в Tower или отсюда выводили на казнь! Ворота сии называются и water-gate: the water of the ditch having here a communication with the Thames by means of a stone-bridge on the wharf.

Tower на северном берегу Темзы, почти на конце города, хотя здесь почти начало оному. Думают, что первый терем построен еще Вильгельмом I и укреплен норманнами, кои должны были держать в страхе и повиновении новых подданных северного завоевателя. Замок сей управляется коннетаблем оного, который хранит и регалии. Ворота отворяются и запираются с большою церемониею, и вообще здесь удержаны и древние костюмы. Проводник наш, вероятно, a yeoman или a sergeant, принадлежит к шести приставам, кои берегут ключ и всякий вечер относят его в дом губернатора. Он одет в каком-то красном жупане, испещренном разноцветными вышитыми узорами. Шляпа круглая, плоская, похожая на наши кучерские и украшенная разноцветными лентами. Он напоминал мне бубнового валета своим костюмом. Заплатив довольно дорого за позволение видеть все сокровища, арсеналы: Spanish, конный, морской, артиллерийский и пехотный, мы начали с гишпанской Spanish armoury, составленной из трофеев «непобедимой Армады» Филиппа II.

Победа сия живет в летописях и в памяти народной. Ею гордятся англичане, и она поддержала народную любовь к счастливой, но жестокой сопернице бедной Марии Шотландской! — «Я посылал флот мой против англичан, а не против природы», — сказал с притворным равнодушием гордый и мрачный Филипп (см. Шиллер), когда узнал об уничтожении армады своей. Но не один король гишпанский низложен сею победою; папа потерял с сим флотом еще более, ибо Рим навсегда лишился Англии, которую посредством могущества Филиппа II хотел снова покорить римской церкви. Буря и счастие Елисаветы погубили 132 корабля. Надпись побежденному и рассеянному флоту: Venit, vidit, fugit. Замечают, что победитель и побежденные бурлили хвалебные песни богу; но одни, because it was so well, а другие, because it was no worse. Трофеи армады состоят из старинных орудий разного рода и для различного употребления; но и орудия пытки, которую, как уверяют, готовили еретикам в случае победы. Тут и сама Елисавета в минуту, когда обозревает at Tilbury camp, где произнесла славную речь перед войском, незадолго перед бурею, рассыпавшею армаду. — Сей момент в ее истории напоминает подобный в истории матери Терезии в 7-летнюю войну, когда она вынесла венгерцам младенца Иосифа и возбудила восторг и крики маджиаров: «Moriamur pro rege nostro Maria Theresia!».

В числе гишпанских трофеев и the invincible banner, с крестом, так названный папою, когда, благословляя оный, послал его к армаде в минуту снятия с якоря кораблей ее. — Тут же и the axe by which queen Anne Boleyn was beheaded. Ее трогательная история, жестокость Гейнр‹иха› 8-го. Письмо ее к мужу.

Horse armoury. Целый ряд коней и сидящих на них вооруженных королей и рыцарей: каждый конь в особом положении головы. Французские оружия, взятые при Ватерлоо.

The volunteer armoury. The small armoury· The sea armoury. The crown jewel-room, но сии сокровища не ослепили того, кто видел Грановитую палату. The royal train of artillery...

9 февраля/28 генваря. Благодаря послу мы получили от Валласа позволения смотреть монетный двор, куда не всех пускают и еще менее иностранцев. Sir Neil Campbell пожелал ехать туда вместе с нами. Нам показали все машины, коими делают гинеи, и золото, приготовленное для сего в слитках, или кусках. То же производство для серебряной монеты и для меди. Я уже видел подобную здешней машину, за несколько лет пред сим привезенную англичанином в П<етер>бург. Скорость в производстве монет удивительная здесь, и немногие монеты откладываются для перечеканки. Для прорезывания кружков монетных употребляются мальчики и получают по шиллингу в день за 10 часов работы. За лишние против всего время получают они и другую плату. Им дается полчаса на завтрак и полчаса на обед-отдохновение.

Потом повели нас туда, где плавят серебро, и мы видели, как оно, обращенное в совершенную жидкость, вытекает из железного ушата, в железные же формы, в коих простывает. Комнаты, в коих работают, светлы, и воздух в них свежий, кроме той, где машина паровая, заменяющая силу 12 лошадей. Там обдало меня салом, и я должен был немедленно уйти. В присутствии монетном показали нам список генералам, офицерам и солдатам, получавшим медали за Ватерлоо: товарищ наш Sir Campbell в числе 40 тысяч, получивших медаль сию.

Отсюда прошли мы в город, на аукцион, где продаются сукна, книги, билеты на разные компании страховые и другие. Мы вошли туда, где продавали книги. Отсюда в кофейный дом, куда купцы заходят с биржи и из города и находят закуску à 3 penny, уже готовую, и на тарелках означено, из чего каждая закуска составлена: говядина, баранина, ветчина; все вымерено и всему определенная цена.

Позавтракав, пошли в Common pleas, где по соседству живут известные адвокаты. Lee не нашли мы дома, но в камере присутствия, где известный адвокат Lushington, товарищ Брума в процессе за королеву,[63] уже с 10 часов утра говорил в пользу какого-то завещания. Адвокат Lee дал нам совет зайти в Herald's office и взглянуть на разные гербы и генеалогии и между прочими на подпись Исаака Невтона, в архиве геральдии хранящуюся. В самом деле, директор оной показал нам разные генеалогии (pedigree) и в числе оных Невтонову, лорда Exmouth, коего за час пред тем встретили мы в Военном клубе, и копию письма к нему имп<ератора> Александра, 25 августа 1816 года, который благодарит и поздравляет его за уничтожение рабства христиан (opérer l'abolition de l'esclavage des chrétiens); видели подпись левою рукою Нельсона; гербы

кавалеров ордена Бани: князей Барклая де Толли и Волконского. Меч Карла II и кольцо его с бирюзою.

Кампбель сказывал нам, что ему дорого стоило вписать себя кавалером русских орденов в сей геральдии. Известно, что одним военным англичанам дают позволение получать иностранные ордена; гражданские чиновники не имеют сего права, но они получают подарки, портреты и проч.

Описание здешнего монетного двора, который сегодня осматривали, находится и в «Rees Encyclopedia or universal dictionary of arts, sciences and litterature». 1819. 4. под словом Mint.

В книге Colghoum «A Treatise on the wealth, power and ressources of the British Empire» (1815) на стр. 239 в числе расходов Англии помещена и сумма, данная англ<ичанам> в России, потерпевшим от нашествия Наполеона; а на стр. 429 о пособиях, кои Россия получила для избавления себя от ига Наполеона. — Как не благодарить императрицу Елисавету за то, что она отказала в 1813 году принять от Англии пособие, которое в то время предлагал парламент России? Она настояла в отказе, несмотря на многих членов комитета о призрении разоренных, коим отказ сей не нравился. Иначе бы и Москва была бы в числе получивших милостыню от купцов англинских...

11 февраля/30 генваря... Во втором часу зашел за мною молодой соотечественник мой Д<авыдов>, воспитывающийся на казенном иждивении в Лондоне, и мы отправились к квакеру Аллену, на дачу его за город или, лучше, в предместие оного. До city дошли мы пешком, а оттуда за 7 шил<лингов> взяли фиакр и два раза заплатили за мостовую.

Давно уже желал я видеть квакерское семейство и домашнее хозяйство оного. Аллен принадлежит к числу немногих просвещенных друзей человечества, посвятившего жизнь свою богу и людям. Богатство его не мешает ему давать лекции астрономии и химии в лондонском училище квакеров, учреждать и содержать школы для бедных крестьянских детей в Линдфильде, делать наблюдения за движением тел небесных и подряды для нескольких десятков аптек в городе; счастливить свое семейство; быть счастливым ласками внучка своего, которого принял он из рук умирающей матери.

В три часа звал он меня к себе обедать, и я приехал вовремя. Нас ввели в его кабинет, и в первую четверть часа я был уже с ним, как с старым знакомым. По обычаю своей секты он говорил мне ты и, расспросив о судьбе С. М. Попова, который две недели жил у него в сем доме, повел меня в нижний этаж, в столовую.

Но я забыл описать первую встречу или, лучше, первую черную рожу, которая встретила нас у крыльца его. Это был арап, но с какою счастливою и добродушною физиогномиею, какой я еще не встречал и в белых неграх! На лице его было изображено какое-то приветливое разумение, и можно было угадать, что господин его примет гостей с тем же дружелюбием, которого черты отражались на черном лице его. Я бы угадал

характер и прием его хозяина по улыбке арапа: в ней было и сердце одного и судьба другого; но я замечаю, что пишу после обеда, ибо заговорил об арапе и оставил столовую, где ожидают меня двоюр<одный> брат, сестра и приемыш Аллена, молодая девушка, в квакерской повязке и в черном простом платье, коего покрой им предписан правилами их братства или, лучше, их *содружества*, ибо они называют друг друга — *друзьями*.

Мы сели за стол, приклонили головы и сложили руки в молчании, которое не более 2 минут продолжалось, в знак внутренней сердечной молитвы. По окончании оной я перекрестился, как православный, и сказал моему хозяину, что соблюдаю обыкновение народное и моих праотцев. Он одобрил поступок мой. Обед простой, но сытный, вкусный и здоровый и по образцу англинских обедов, т. е. с десертом, особо поданным и подкрепленным вином, но с тою разницею, что дамы не оставили нас за бутылками и мы встали вместе тогда уже, когда пришло время вести меня в огород и на скотный двор Аллена; он показывал мне домашние свои заведения, школу для бедных детей, в коей обучаются более 80 мальчиков околодка сего, почти даром, чтению, письму, арифметике и некоторым полезным и необходимым для них рукодельям. Аллен подарил мне учебную книгу религии, на анг<линском> (Scripture lessons for schools on the British system of mutual instruction, adopted in Russia, by order of the Emperor Alexandre I. 1820. London). В предисловии к оной сказано, что подобный выбор мест из св. писания, без примечаний, сделан и для наших школ и введен в оные, по представлению высочайше утвержденному, к<нязем> Г<олицыным>, «so well known for his exertions in the course of the Bible», но с того времени и к<нязя> Г<олицына> нет в министерстве и книги сей в школах; она заменена введенною снова: О долж<ности> и проч., которую изгнал к<нязь> Г<олицын>.

Я начал с Алленом разговор об учредителе квакерства Фоксе и о главном их светильнике Пене, которого имя живет почти в целой части света и вечно будет памятно сердцу *друзей*. Он объяснял мне правила своей секты, к которой можно бы справедливо применить стихи нашего Карамзина:

Кто в мире и в любви умеет жить с собою,
Тот счастье и друзей во всех странах найдет.

Или кто в мирной, но постоянной деятельности умеет сохранить праотцами приобретенное, трудами и наукою умножить их достояние, тот упрочит и для себя истинную независимость и приют — бедности.

Возвратившись к чаю, мы нашли уже дам опять в той же комнате; один арап служил нам во все время, и я не заметил ни суеты, ни недостатка в прислуге. Молодая приемыш хозяина разливала чай и кофе, а внук играл у деда на коленах и утешал старость его невинными своими ласками. — Мы говорили о государе, с которым не раз Аллен беседовал; о благих намерениях его сердца и, следовательно, об уничтожении раб-

ства, коего Аллен неумолимый гонитель в Африке. Он подал мне сахарницу и показал слова на ней написанные. Они означали, что сей сахар — *сделан не рабами.* Я вздохнул, подумал о России и взглянул с глубоким чувством зависти и умиления на счастливого арапа!

Eat your pudding, slave, and hold your tongue.

Я принялся снова за горенки..... с горя! Вероятно, Ал<лен> угадал меня и повел меня в сад, над которым блистали уже светила небесные и где поставлена была для наших наблюдений зрительная большая трубка. Он навел ее сперва на луну, потом на созвездия, и я терялся в созерцании их, забыв и рабство и свободу, и Россию и Англию. В бессмертной душе моей отзывались бессмертные стихи Шиллера:

Über Sternenzelt, dort oben
Muß ein guter Vater wohnen!

И я перестал завидовать негру.

В семь часов ровно подъехала, по моему заказу, stage-coach, и я, распростившись с добрыми квакерами и обещав Аллену возвратиться к нему завтра на молитву и с братом через две недели в субботу, прискакал в city, где пересел в фиакр и через час с $^1/_4$ очутился перед своим камином. Догорающие уголья и крикун с улицы напоминают мне, что уже half past 12! До радостного утра, друзья мои! А тебя, добрый квакер, благодарю и за весь день и за этот тихий вечер у моего камина...

12 февраля/31 генваря... Перед обедом заходил к Шимановской, видел портрет Вяз<емского> и поговорил о России. Обедал у гр. Воронцова с генерал<ом> Море, который был начальником штаба у Веллингтона и теперь командует армией в Ирландии...

14/2 февраля... The British institution. По соседству от клоба путешественников, где ежедневно бываю, на той же улице Pall-Mall, находится Британский институт, учрежденный в 1805 году для ободрения англинских художников, под покровительством короля, и для усовершенствования тех отраслей мануфактур, кои имеют нужду в разных изящных художествах, как например в живописи, в рисовании, скульптуре и проч. С сей же целию положено установить ежегодную выставку (a public exhibition) для продажи национальных произведений и для награды отличнейших художников премиями. Выставка делается в пользу токмо британских художников или живущих в одном из соединенных трех королевств, и преимущественно ободряются живопись, скульптура и modelling. В числе живописцев, однако же, коих картины здесь выставлены, нашел я и русское имя: Stephanoff. Я спросил у смотрителя, русский ли он или англичанин, и он отвечал мне, что Степанов, кажется, происхождения русского, но что он родился и воспитан в Англии и принадлежит по всем правам к числу ее художников. — Президент и директор сего института: the Earl of Aberdeen.

Три комнаты наполнены картинами и несколькими произведениями британского резца. В первой комнате картина, которая мне бросилась в глаза, отображает *последний день*, the last day, «когда солнце потемнеет и луна будет кровавого цвета» (Откров<ение>), писанная Говардом. Но я смотрел на нее без страха и с доверенностию к провидению — и подошел к Вестм<инстерскому> абб<атству>, живо с берега Темзы изображенному, где ожидают истинного бессмертия те, коим люди уже присудили его.

Большая картина, которая представилась мне в другой комнате, изображает суд над лордом Вильгельмом Рюсселем (The trial of William Lord Russel, at the Old Bailey) в 1683 году, писанная Hayter'ом. Подсудимый изображен говорящим, и на лице его выражены твердость духа и негодование. Внизу женщина записывает, кажется, слова его и страшится пропустить смелые опровержения доносчиков, кои на особой <скамье> шепчут друг с другом. Не зная еще ни предмета картины, ни значения лиц, на ней изображенных, я угадал жену его (Lady Rashel Russel), по вниманию ее, по участию, которое выражено в глазах ее, устремленных к говорящему. В расположении комнаты, в костюме — нет никакой перемены. Кажется, и теперь видишь то же в Old Bailey, что было при лорде Рюсселе, изменился токмо один дух народа, свободою и законами возрожденного.

Еще одною из больших картин я долго и пристально любовался: она изображает Марию Магдалину, и Иоанну, и Марию, матерь Иакова в ту минуту утром, после воскрешения Христа, как они, послышав глас: «Что ищите живого с мертвыми?», пали ниц на землю. Тень чудесной белизны рекшего сии слова ангела видима и вдали — и снова слышатся слова: «Его нет здесь; он вознесся, вспомните, что он сказал вам в Галилее, „в третий день воскресну“», — и устрашенные жены вспомнили слова спасителя и поверили. Страх и радость, любовь и вера написаны в чертах, внемлющих словам ангельским.

«Потоп» мне не понравился. Вид волнующихся вод, покрывающих землю, не ужасает зрителя, и он не понимает, от чего укрываются в утесах толпы полунагих мужчин и женщин. «Хляби небесные растворились»; но еще вершины утесов не покрыты водою и на одном из них видим мы людей, кои спасутся в ковчеге; на других горах патриархи подвергаются общей участи. Нежные супруги спасают друг друга, детей, между тем как безбожное отчаяние рвет на себе волосы и в ярости своей, кажется, хочет еще остановить воздымающуюся волну, готовую поглотить остатки человеческого рода (Genesis, ch<apter> VII, v<erse> 12).

Я засмотрелся на милую женщину, которая теряется в *созерцании* луны и посребренных ею окрестностей, в коих *видима тишина ночи* и где ей все о нем лишь только говорит!

Now, while the busy world lies lost in sleep,
Let me associate with the serious night.
And *contemplation*, her sedate compeer.

Картина сия называется «Contemplation».

Я видел три головы жидовские, и мои рабины и депутаты ожили в моей памяти. Черты лиц характеристические, и живописец, верно, бывал в Польше.

Но долго мечтал я, смотря на *сон* Рафаэля, и страшился разбудить его, дабы не исчезло прелестное, божественное сновидение! Очам его, легким сном отягченным, видима была богоматерь с младенцем, как она изображена им в славной его картине.

Подле этого блаженного сновидения другая картина счастливой, хотя и бедной семейственной жизни. Она изображает рыболова, довольного своим состоянием, в кругу его семейства, в минуту как

The weary husband throws his freigh aside,
A living mass, which now demands the wife,
Th'alternate labours of their humble life.

Crabbes „Borough".

Pharoah's submission, картина писанная по словам Исхода (Exodus, <chapter> XII, ver<ses>, 29, 30, 31). Умирающий младенец и страх матери изображены мастерскою кистию. Вдали, кажется, слышен вопль младенцев и матерей.

Картины Степанова (Fr. P. Stephanoff) представляют одна — Henry the 8^{th}, and Francis the 1^{st} crowned victors at the Tournaments of the Cloth of Gold, а другая — the Pleaders, а 3-я — The ghost laid.

Иосиф толкует сон фараонов (Chief Baker) в темнице и предвещает ему казнь (Genesis, chap<ter> XI, v<erse> 19). Писано John Hayter'ом.

Тот же живописец изобразил Alashtar'а, задумчивого, но не прелестного, не очаровательного, каким поэт изображает его:

It was not love, perchance, not hate, nor aught
That words can image to express that thought;
But they who saw him, did not see in vain,
And once beheld, would ask for him again:
And those to whom he spoke remembered well,
And on the words, however light, would dwell:
None knew, nor how, nor why, but he entwined
Himself perforce around the hearers mind.

Lara.

Бароны, требующие от <пропуск> Великую хартию в Runnemede, 15 июня 1215; но эти бароны не похожи на наших в П<етербурге> и в Житомире!

Долго стоял я перед ландшафтом и любовался италианским небом, под коим теперь беспечно гуляет оклеветанный брат мой:[64]

Fair Italy! thy hills and olive groves
A lovelier light empurples (or when morn
Streams o'er the cloudless van of Apennines)

Or more majestic eve, on the wide scene
Of columns, temples, arcs, and acqueducts,
Sits like reposing Glory, and collects
Her richest radiance at that parting hour,
While distant domes, touch'd by her hand, shine out
More solemnly. — (Bowler's «Grave of the last Saxon»).

Потом перешел к спящей Магдалине, но, глядя на нее, я не о раскаянии думал, и мне приходили в голову piu dolce pensieri. Она так роскошно почивает, и херувим бережет ее от стрелы Купидона, прилетевшего к груди ее.

Soft! She sleeps!
And even now she dreams of penitence,
And sweet forgiveness of her erring youth.
Thee, wake her not!
Thus spoke the watchful cherub, as he chid
The arch design of the insid'ous boy.

На лице ее прелестном изображались другие сновидения, а не dreams of penitence.

Всего выставлено 406 картин и 8 произведений скульптуры. Я не жалею ни 2 шиллингов, кот<орые> истратил, ни 2 часов, кои провел в сей галерее...

19/7 февраля... Я пошел к Шимановской полюбоваться ее альбумом, наполненным стихами и нотами известных авторов и виртуозов нашего времени и всей Европы,[65] — и послушать *le murmure* ее сочинения. Задумавшись под музыку, я летал воображением и в Москву и на берега Невы и с душою растроганною пошел бродить в Гайд-парк, где тысячи карет, кабриолет и пешеходов мелькали передо мною, — но ни одной улыбки, ни одного знакомого лица я не встретил...

22/10 февраля... Sir Neil Campbell познакомил нас с одним богатым любителем произведений искусства и с родственником его, королевским архитектором Нешом, который отстраивал Regent-street, и самому себе и тому, у кого мы были, построил также прекрасное общее здание, образец вкуса, отделки и comfortable'ности. Полы железные, и не чувствуешь ни малейшего потрясения, когда по ним ходишь. Лестницы в обоих отделениях дома светлые, покойные, лепные и украшены итальянскими картинами и моделями римских древностей. В кабинете <пропуск> видели мы несколько итал<ьянских> моделей и в столовой картину Лагрене, точно такую, какую он написал для государя, изображающую внутренность монастыря.

Галерея Неша освещена сверху и с боков превосходно. Она вмещает в себя статуи, картины, портрет короля А<нглии> и расписана, как ложи Рафаэля, лучшими живописцами и так, что каждый, отличающийся в какой-либо особенной части живописи, списывал с оригиналов Рафаэля только те предметы, в коих он отличается, например один писал зверей, другой — цветы и т. д., так что сии копии почитают наравне, если не

выше оригиналов. Мы видели и план Букингамского дворца, для короля Нешом начертанный. Сии два отделения в одном доме дают понятие о здешней просвещенной роскоши у некоторых богачей. В Англии я еще ничего подобного не видел.

Из сих палат в обитель нищеты и разорения шпитальфильдских фабрикантов. Это один из самых отдаленных кварталов города и недавно прославившийся разорением его жителей, которое произошло от прекращения работ на шелковых фабриках. Ими наполнен квартал сей, и, по словам некоторых журналистов, 30 т<ысяч> фабричных вдруг очутились без дела, т. е. без промысла и, следов<ательно>, без куска хлеба. Король заказал им какие-то славные обои для нового дворца, желая доставить праздным работу; британская щедрость и здесь сказалась, но бедность немногим уменьшилась, начался ропот, явились афишки на стенах, угрожавшие мятежом, если не будет хлеба у фабричных. Наружность тех, кои нам попадались в сем квартале, подтвердила нам слышанное. . .[66]

24/12 февраля. Писал к Сереже в Неаполь и к б<арону> Мерьяну в Пар<иж>. Сообщил Сереже известие, от б<арона> М<ерьяна> полученное. Вероятно, оно произведет в нем тоже одно чувство негодования и презрение к клевете, впрочем, весьма тягостное, особливо на чужой стороне, когда чувствуешь сильнее и привязанность к России и горесть о потери того императора, на которого сердце не переставало надеяться и любить искренно. От лорда Бекслея прошел я парком, которого зелень напоминает и весну и в душу вселяет какую-то грусть по родине и по весне жизни, давно, давно миновавшей. Никогда так не желал возвратиться и никогда не чувствовал так сильно, что возврат в теперешних обстоятельствах невозможен: могут подумать, что желание оправдываться влечет нас туда. Здесь, «в свободной Англии невинность не погибнет», но мы не хотим быть под щитом ее, и при первой опасности я буду в России.

По Пикадилли прошел я за черту города к Виллерсу, который желал возобновить со мною петербургское знакомство. Не застав его, побрел назад и вышел на другой парк, освещаемый весенним солнцем. День прекрасный; множество гуляющих; дети резвились около пруда, и тусклое сияние лучей солнечных, вдали вид башни, громады домов с чистыми садиками и дорожками — все могло бы развеселить сердце, есть ли бы в нем не таилась какая-то безнадежность на будущее и для себя и еще более для братьев.

И невозвратное надежд уничтоженье!

Зашел в Traveller-club дочитать газеты. В «Representation» нашел замечание, которое сам не раз уже делал, читая в газетах, фран<цузских> и англ<ински>х, имена исковерканные, без малейшего основания помещаемые в число обвиняемых, и ожидая беспрестанно найти и свое имя в числе обвиняемых: «One of the features of the present unhappy period is the shameless disregard with which names are mentioned, without any investigation

of circumstances. The decorum by which men are governed in ordinary cases is quite extinct; and as no one, in the opinion of the alarmists, can be deemed really safe, the reported fall of any house obtains immediate belief».

То, что журналист говорит о купеческом доме, можно применить и к другим...

В «Spirit of the age», в статье о поэте Кампбеле нашел я определение характеристическое его стихотворений, которое можно применить и к сочинениям Дмитриева. Автор говорит о Кампбеле: «He is a *high finisher* in poetry, whose every work must bear inspection, whose slightest touch is precious». И Дмитриев high finisher в своих стихотворениях. То, что далее говорит автор о Кампбеле, также и к Дмитриеву отнести можно: «There are those who complain of the little that Mr. Campbell has done in poetry, and who seem to insinuate that he is deterred by his own reputation from making any further or higher attempts. But after having produced two poems (Ермак и к Волге) that have gone to the heart of the nation, and are gifts to a world, he may surely linger out the rest of his life in a dream of immortality. There are moments in our lives so exquisite that all that remains of them afterwards seems useless and barren; and there are lines and stanzas in our author's early writings in which he may be thought to have exhausted all the essence of poetry, so that nothing further was left to his efforts or his ambition».[67]

Радости земные, как посещения ангелов, кратки and far between. Так и письма друзей из России:

Like angel's visit, short and far between...

3 марта/19 февраля... Выехал из Лондона в 6 час<ов> вечера, пожав у милого брата руку, надолго ли? не знаю. Я никогда так горько с ним не расставался. В карете — в мыслях и в душе моей прояснилось. Я смотрел в ясное небо и на его звезды! и свет их вливал утешение в грудь мою; но мысль об одиночестве Николая долго, долго не покидала меня. Я рассчитывал часы, в которые он возвращается домой, и когда наступил час ночи и я мог думать, что усталый от парламентских прений возвратился он домой и спит спокойно, и мне легче стало до самого утра, которое настанет для него в тяжкой грусти по нас и в неизвестности о судьбе своей. Вера в провидение и в нашу невинность подкрепляла меня.

Русский разговор с Ай..... несколько развеселил меня. В Дувре нашел гр. Ливена поутру 5-го числа, сел с ним на пароход, страдал и очутился, гонимый бурею отечества и сильным ветром, чрез три часа в Кале, где встретили гр. Бальм<ена>. Успел отсюда так, как и из Дувра, написать к Николаю и еще раз к Булг<акову> и Жук<овскому> с послом. В Кале памятник Лудв<игу> 18-му, вступившему на первую франц<узскую> землю.

Из Кале в 6 часов вечера отправились в Париж через Амиен, где 2 духовные процессии, мир 1803 года, прах Грессета и..... В <пропуск> обедал с барабанным боем. St.-Denys — и прекрасная готическая церковь с прахом королей, бурею революции рассеянным, и в 10 часов 6 марта снова в Париже...

8 марта/24 февраля. Был в 1-й раз в камере, видел 6 статуй древних ораторов, разделение залы, министров: Виделя, Шаброля, Фрейсиноса, le garde de secours — <1 нрзб.> — председатель, трибуна, речь по тетрадке, мундиры ораторов; с замечанием б<арона> Сталя согласен. — Benj. Constant, R. Collard, Sebastiani. Говорил Berthier о противузаконности уступки св. Доминго. Отвечал Шаброль (см. «Монитер»). Гр. Комон ввел, усадил меня dans la galerie réservée и объяснил порядок.

Писал к Ник<олаю> чрез К. и Р., к Серг<ею> в Рим и в Неаполь...

10 марта/26 февраля. У m-me Récamier знакомство с Шатобрианом, разговор о его сочинениях, об имп<ераторе> Александре и его с ним переписке, о Канинге и о сочинениях, издаваемых Шатобр<ианом>. Церковь в аббатстве, дофина приезжала faire une station с дюк<ом> Монморанси.

Обед у гр. Брея, писал с секр<етарем> его в Мюних к брату. Писал к брату по почте в Неаполь, Рим, Венецию, Верону и Мюних.

Вечер у С. П. Св<ечиной> и у Гизо.

11 марта/27 февраля. Писал к Ник<олаю> чрез Р. Был у R. Collard, и Жюльен. Разговор о гос<ударе>, о П<етербурге>.

9-й час утра. Воскресенье, 12 марта. Ferté à Ferme de Paris. 9 миль от Парижа, откуда выехал в 1-м часу ночи. Еду по той же дороге, по которой в воскресенье же ехал с братом: Бонди, Клей, Мо, St. Jean Laferté — и сюда. Солнце зеленит уже луга. Все светло вокруг меня, но в душе моей беспокойство о братьях, грусть по чем-то невыразимом и досада на субботу, кот<орая> не позволила совершить путешествие по прежнему плану и принуждает возвратиться в Россию. Что найду я там? А здесь оставляю брата, приятелей — и что-то милое, новую встречу в жизни...

В Мо приехал на рассвете, не успел заглянуть в храм Боссюета; но узнал его изрубленные старые стены, которые осматривали мы с братом. Где-то он? И где Сережа? Я бы желал для Николая это солнце, которое озаряет меня и проникает в мрачную душу. Туманы Англии не разгонят грусть его одиночества и беспокойство его за нас и за Россию не затихнет там. Светлое небо иногда не без утешения, не без надежды — для сердца! Простите, милые!

J'allais à Petersbourg et je pensais à vous!

Иперне. В 5 часов приехал я сюда и остановился в том же почтовом трактире, где обедал с братом. Грустно. Холодный ветер сжигает тело, а тоска по братьям и встреча в П<етер>б<урге> — сердце. Я проехал

от городка Dormant до самого Иперне вдоль долины; по другую сторону оной — горы, усаженные виноградником. Уж черенки приготовлены и лежат кучками по горам. Стада ходят по равнинам. Селения нагорные с башнями и церквами. Я в Иперене, откуда брыжжет шампанское на все части света; но одному и пить невесело. И оно не развеселит сердца братского...

14/2 марта. Франкфурт-на-М<айне>. В 68 часов приехал я сюда по знакомой дороге. Только две станции от Мейнца мне не были известны, ибо мы поехали отсюда осенью по Рейну. В Мейнце взглянул на Мейн, переехал мост его, на древний город и на церковь красную — с моста; вдали лучи заходящего солнца отражались в знакомых струях Рейна; как что-то родное, увидел я красивые берега его, подумал о времени, которое пролетело и как сон исчезло.

Писал к братьям, к Пуш<киной>, к б<арону> Мер<ьяну>, видел Но<осильцева> и Маркелова и в ночь пускаюсь в путь на Веймар.

15/3 марта. Грусть и дождь провожали меня во всю ночь. Солнце прогнало обоих, хотя первую не совсем. Courier, Ламене и бар<он> Экштейн заняли меня на несколько минут, но читать трудно (выписать несколько строк из Ламене и Courier). Я проехал Гельмгаузен — до Фульды, старинный город, славный своим аббатством и, помнится, историком оного. Опять надобно было заметить, что монахи умели выбирать место своего жительства. Прекрасные долины, селениями усеянные. Вдали, в правую сторону, представилось мне огромное, великолепное здание: это фасанерия, или птичня курфюрста кассельского. Я подумал про себя, и не без приятного чувства, что ферма царскосельская русского императора скромнее этой птични немецкого принца. Не успел зайти в церковь старинную; на горе монастырь; попавшийся мне навстречу францисканец сказал мне, что в нем 27 чел<овек> его братства. Я спросил, нет ли истории аббатства фульдского. Пишут, отвечал он, подробную, полную, где все, все будет. Он напоминал наших неопрятных тружеников и, казалось, желал кончить разговор о летописцах монастыря своего. Я успел только спросить, богаты ли они книгами. Большая библиотека, отвечал он.

16/4 марта. Утро в Эрфурте. Остановился в трактире подле дома, который занимал император; не мог видеть его комнат, ибо в них живет прусский дивиз<ионный> генерал. Проехали мимо домов, в коих Наполеон и бав<арский> король жили. И о всех трех должно сказать: жили. Великие тени двух носятся еще над вселенною.

Город снова оживает и жизнию новою обязан промышленности и торговле жителей, особенно фабрике лент. Здесь бывал университет, теперь только семинария и гимназия; но гласность некоторых ученых привлекает сюда учащихся; у Тромсдорфа, славного химика, учится наш Боровский и двое русских немцев: Ludwig и <пропуск>.

Веймар. Нем<ецкие> Афины. В 12-м часу утра явился к великой княгине. В 2 часа прислала за мною карету, отдала письмо к имп<ератриц>е,

говорила о России, об имп<ератор>е со слезами. «Поведение братьев достойно незабвенного», — лучшего ни о ком сказать нельзя, и опять слезы блеснули в глазах ее. Поручила поклониться Кар<амзину>, уверена, что он не переменился ни в чувствах, ни в образе мыслей. Вот что удержал в памяти, смотря на милые черты ее, изображающие глубокую горесть, ум и душу высокую! Поклон от гр. Эглофштейн Плещеевой.

Был у Гете.[68] На пороге — Salve. Издает полные сочинения; сказал о занятиях своих по нат<уральной> ист<ории>: «Они нашли меня, не я набрел на них». В книжной лавке нет ничего нового. Желал видеть веймарский Вестминстер — St.-Jakobskirche, где над Гердером

свет, любовь и <пропуск> сияют незаходимою славою
где <в> бозе <пропуск> ожидают награды полезным трудам своим

и где над Шиллером — нет памятника! (Здесь и Лука Гранах и музеус). Но церковь сия была заперта, и я издали поклонился праху их! Вся Германия читает Шиллера — и прах его сиротствует. Приписывают это не холодности Германии, но обстоятельствам, в коих была Германия в год его кончины. Речка Ильм. Струи ее журчат бессмертием. Стихи Шиллера на Ильм...

21/9 марта. Эльбинген. $2^{1}/_{2}$ попол<удни>. Вчера минуло 8 месяцев, как я выехал из П<етер>б<урга>. Не думал я так скоро déposer le bâton et le manteau du voyageur! Я видел одни темницы, гофшпитали, богодельни, суды, казни, в Париже: грозные похороны Фоу, шумное торжество либеральных журналов; в Лондоне: падение мелких ассигнаций и Гольдсмита и шелковых фабрик в Шмитфильде, сопровожденное голодом для фабричных. Путешествие мое, которое забвением должно было излечить раны и горе мое в П<етер>б<урге>, попало в бурную эпоху и для России — и я не унесу с собою из чужих краев ни сладких воспоминаний, ни надежд утешительных! ни даже желания возвратиться на чужую сторону, где я страдал и за себя, и за братьев, и за Россию...

27/15 марта. Понедельник в 1-м часу пополудни въехал в П<етер>-бург. — Думал ли так скоро поставить в уголок страннический посох мой!..

29/17 марта... Рескрипт Кар<амзину>. Все спрашивают: *кто писал*? Примечательная черта в нашей публике: не радость за семейство и за ясность последних дней Карамзина; не признательность к высокому чувству императора, умеющего ценить семейственные и гражданские добродетели, трогают наших паразитов; но они спешат узнать — к кому бы обратиться с поклоном; кто тот, который орудием таких милостей? Авось и нам перепадет малая толика? Все ищут временщика, и только одного не видят — императора и заслуг Карамзина. Впрочем, более радостных, чем завидующих лиц...

Берлин. В пять часов утра 13 июля выехал я из Петербурга — в самый день казни!

18-го числа ровно в час пополудни переехал я границу в Нимерзате и в тот же день, получив в Мемеле письма из П<етер>бурга и Лондона, писал к Н<иколаю>.

Одна мысль давила душу во всю знойную дорогу, но взор на небо, особливо ночью на звезды, над коими отец несчастных утешал меня, иногда возвышал душу и примирял с землею. История Лютера развлекала и укрепляла меня. Физическое томление от сильного жару (ибо десять дней без туч пылает горизонт!), жестокое одиночество и воспоминания о брате, с коим выезжал из России за год пред сим, но с другими чувствами и надеждами, — все это заставляло сердце мое беспрестанно <обращаться> к единому всегда на потребу — к богу-утешителю, и к невинности милого брата, жившего для блага людей и страдающего ныне от того наиболее, что милейшие душе его не совершилися желания.

В 9-м часу утра приехал сегодня в Берлин, остановился в той же скромной комнате, где за 4 месяца с $^1/_2$ жил один в страшном беспокойстве за братьев и поспешал в Россию, где ожидали меня — смерть Карамзина, болезнь Жуковского и несомнительность в обвинениях на брата и в.....

Теперь я дышу свободнее.

Сию минуту получил письмо от Сережи из Мариенбада — и первое движение души и сердца благодарность создателю и молитва за них же.

Писал к Н<иколаю>, послал донесение след<ственной> ком<иссии>, записку о нем и приговор суда; письма мои к к<нязю> Гол<ицыну> и к государю — 3, и одно написанное, но неотправленное — к государю же. Упоминаю об отзыве гос<ударя> по прочтении оправдания. Сообщил мнение, как писать оправдание. Каких книг прислать? Везу бумаги для него и Сергея.

Писал к Карамзиной в Ревель и просил переслать письмо и к Жих<ареву>.

Дрезден. Приехал в 9 часов утра, 5 авг<уста>, в воскресение. В понед<ельник> писал к Н<иколаю> и послал выписки из доклада, манифеста и проч.

Разменял 110 черв<онцев> на сакс<онские>, прус<ские> и австр<ийские> деньги. Получил за 94 тал<ера> от Басанжа австр<ийские> бумажки.

Зау на Эгре. 7 августа. 4-й час пополудни. Прекрасный городок, который памятен мне своим местоположением и товариществом милого брата. Здесь, в той же комнате, где был с ним за год, сижу и пишу сии строки. Те же города, те же виды гор и смеющихся селений, но не то уже чувство в мрачной душе, редко светом религии и сильного сердечного прибежища к богу подкрепляемой. Вчера ввечеру заезжал в Пильниц, более часу беседовал с Крейсигом в кабинете его, во дворце, потом гулял с ним на патриархальном дворе короля-патриарха, слушал Крейсига, говорящего о нем с любовию и благодарностию, любовался прелестными

окружностями и, переехав живописную Эльбу на лодке, уже в сумраке вечера пустился с молитвою за братьев в путь. Дача и деревня и странный своею архитектурою дом к<нязя> Путятина рассеяли мои мрачные мысли. Я зашел во внутренность двора, оглядел все странности строения. Дворник желал познакомить меня с моим соотечественником; но мне не до новых знакомств. Подожду возвращения сюда Сережи. Отчуждение же к<нязя> Пут<ятина> из России привело меня к мысли о Н<иколае> и о всех нас. Что, есть ли судьба приведет жить и умирать вне отечества, далеко от Кар<амзиных>, Жук<овского>, Жих<арева> и еще немногих! И как возвратиться к тем, кои.....

...Карлсбад. Приехали сюда в 7 час<ов> утра 8 августа. Обегал колодцы, был в доме гр. Н<ессельроде>, видел Татищева и других русских. Старался задушить в себе воспоминания и спешил оставить город, где все меня приводило к брату, — и то, что я чувствовал, гуляя с ним и глядя на него, как бы с каким-то предчувствием бедствия и разлуки и думая о его болезни.

На первой станции от К<арлс>бада в Взводах обедал в той же комнате, где обедали и расстались с Чаадаевым. В Эгру приехали уже к вечеру и через час пустился уже по незнакомой дороге в Мариенбад, куда приехал с трепещущим сердцем и с молитвою в полночь. Не смел разбудить Сережу и только издали увидел его в 9-м часу утра, идущего к колодцу. В 10 часов мы свиделись и обнялись у П<ушкиной>. С тех пор душа моя спокойнее. Не верю еще блаженному состоянию души и ума, которое ощущаю с тех пор, как здесь.

Вчера, 17 августа, Жуковского приезд сделал меня как-то тихо счастливым, и я поверил и будущему лучшему, когда в настоящем может быть еще для меня столько счастия; и, может быть, осень и зиму с ним! Недостает одного Н<иколая>. Но когда же в этом мире счастие сердца было совершенно!

Два раза писал к Ник<олаю>, 12 и 16 авг<уста>. Первое с оказией, второе по почте.

20/8 августа. Вчера ввечеру был в первый раз с П<ушкиной> на высоте Jägershaus и оттуда на schöne Aussicht и сожалею, что десять дней прожил в Мариенбаде, не любовавшись прелестными видами с сих высот. С первой видел весь Мариенбад, в долине, и с его колодцами, с другой — другую сторону, которую гора, на которой мы стояли, разделяет от Мариенбада. Вид обширный и прелестный! По сторонам два небольшие озера, деревеньки, рощи — и все почти одним взором обнять можно. Справедливо назвали эту площадку: die schöne Aussicht. Для к<нязя> Меттерниха недавно устроили здесь скамьи и зеленый стол. Мы за ним отдохнули и спустились в мирную нашу долину, глядя в окна нашего дома!

Сегодня, воскресение, я возвратился сюда пить сливки с черным хлебом и читать журнал брата Н<иколая>, вчера из Карлсбада присланный. Сколько различных ощущений в душе и в сердце! Какая душа, какое ми-

лое простодушие в этом каторжнике! Черта примечательная по его правилам, по коим он возвратился из дрезд<енского> театра, чтобы додать лакею то, что он предполагал заплатить за билет; беспрестанная мысль о России и о крестьянах — и любовь к семейственной жизни. — С вечною благодарностию буду хранить в душе память о купленной им в Карлсбаде печатке, и воспоминание ощущений им за меня радости, в 1824 году, по случаю отставки моей.

22/10 августа. Ездил в Францбрун к Жуковскому; провел с ним день и в час пополуночи возвратился, опять чрез Эгру, в Мариенбад. Сер<гей> худо провел ночь и встал расстроенный. День 23 авг<уста> было лучше. Сегодня, 24 авг<уста>, проводили Пуш<киных> в Дрезден; после обеда я страдал за С<ергея> — и молился. Писал к Ник<олаю> 24 авг<уста>.

25/13 августа. В 7-м часу утра выехали из Мариенбада в Францбрун. Отсюда выезжаем сегодня в час 27 авг<уста>...

Дрезден. Мы приехали сюда в 10-м часу утра 31 августа. Жуковский приехал 11 сентября.

Прогулка в Финлетер с Пушкиными в воскресение, также 11-го. Ездили в Тарант с Жук<овским>. В <1 нрзб> с Жук<овским> 18-го в воскресение.

Два раза писал к Свечиной, раз к б<арону> Мерьяну 18 сентября...

Сегодня (18 сентября) был при открытии в Landtümer общества немецких любителей натур<альной> истории и медицины, коего известный Окен и Carus секретарями. Цель сего общества взаимное сообщение открытий, примечаний и наблюдений герм<анских> натур<алистов> и медиков. Они собираются ежегодно в одном из городов, удобных для большей части докторов. В Лейпциге общество сие получило свое начало. Славнейшие натуралисты, например Блуменбах, съезжаются к сему времени в назначенное сборное место. Прошедшего года было оно в Франкфурте, и я едва не застал и там сего собрания, но Блум<енбах> не мог быть там, потому что торжествовали его 50-летнее докторство или профессорство. Статуты общества. Зала собрания, обширная, была наполнена...

19/7 сентября. Видел выставку предметов художеств изящных и народной промышленности. Тут вместе с произведениями Фридрихса находятся и скромные изделия печника и красильника. Не одни туземцы, но и иностранцы присылают сюда свои труды, и мы нашли и русского живописца. Ежегодно печатается каталог всем выставленным статьям, и вход в галерею позволен за 2 гроша всякому. Это напоминает парижское подобное заведение и British institution в Pall-Mall, где, впрочем, одни живописцы и скульпторы выставляют труды свои. Издатель Британского магазина (March, 1825) жалуется, что и в Лондоне мало ободряют отечественные художества и что в сем году (1825), в котором я видел Brit<ish> institution, из знатных один только маркиз Страффорд посетил

the private view of the painters and sculptors, который всегда предшествует публичному открытию выставки...

30/18 сентября. Писал к Алексеевым, к Булгакову, кн<язю> Голиц<ыну>, Жихареву, Вяземскому, Козлову, Карамзиным, Сушковой, Вейдемейер, Путятиной и послал свидетельство о жизни.

Читаем Mignet «Histoire de la Révolution française» и вместе с сим заглядываем и в биографию генерала Фуа и в речи его, а когда дошли до эмиграции, то прочли в Ласказе записку, которую он делал для Наполеона о кобленцских эмигрантах, кои мечтали, под предводительством своих принцев, произвести переворот в революции французской и восстановить падающую монархию. Минье более склонен в пользу революционистов, нежели монархистов, и сколько ни старается он скрыть свои мнения или казаться беспристрастным — замечания или намеки, кои он примешивает к повествованию происшествий, показывают друга нового порядка вещей. И он многое извиняет в актерах революции, чего другая партия ни простить, ни забыть не может. — Революция изменила все внутреннее бытие народа, не одни политические его отношения. Произвол заменила законом, привилегии — равенством. Несмотря сперва на анархию, впоследствии на деспотизм, цель почти достигнута.

О Лудвиге XIV. Le despotisme épuise ses moyens par ses succès, et il dévore d'avance son propre avenir.

Минье в сих словах раздробил определение деспотизма, сделанное Монтескье, как Пристлей — луч солнца. Монт<ескье> вместо определения деспотизма говорил только, что когда дикие хотят иметь плод — они рубят все дерево, т. е. достигают до цели, плода, истощением средств и поглощая самое будущее (épuisent les moyens par le succès et dévorent d'avance leur propre avenir). Так гений освещает историю или из мрака ее выводит свет теоретической мудрости...

«Histoire de la Révolution d'Angleterre, depuis l'avènement de Charles I jusqu'à la restauration de Charles II», par Guizot.

В предисловии автор, полагая, что после французской революции английская есть величайшее происшествие в бытописаниях Европы, доказывает сходство оных и тождество начал, из коих проистекли сии революции. Он опровергает тех, кои начала сии почитают чем-то новым, неслыханным дотоле в Европе, — и отделяют так сказать, сии события от всего минувшего, прежде бывшего, возлагая на них и ответственность за все последствия, бедственные и славные. Но Гизо утверждает, что ни английская, ни французская революции не прерывали хода вещей, до них начавшегося в Европе; что они ничего не возвестили нового, ни к чему не стремились, чего бы ни желали и прежде сего достигнуть некоторые народы в Европе. Беззаконность неограниченной власти; свободное согласие для законных постановлений и для налогов и право сопротивления вооруженною рукою — были и прежде началами феодального правления и правами 4-го Толедского собора, на словах св. Исидора основанные, не раз были

повторяемы церковью: «Celui-là est Roi qui régit son peuple justement, s'il fait autrement il ne sera plus Roi».

Обе революции старались ввести более равенства в общественном порядке: к тому же стремилась и королевская власть, и успехи гражданского равенства соразмерялись успехами королевской власти. Революции требовали, чтобы общественные должности открыты были всем гражданам, раздаваемы по заслугам токмо...

Сие стремление, сии начала не только предшествовали сим революциям веками; но они те же самые, коим Европа обязана всеми своими успехами. Аристократия противилась королевской власти и поддержала свободу. За что народы благословляют королей? За ниспровержение феодального правления, аристократических привилегий; за единство в законодательстве, в управлении, за содействие успехам равенства.

Откуда сила духовенства? Какими средствами способствовало оно просвещению? Смешением, под властию и под законом божеским и в церквах своих, великих и малых, сильных земли и слабых, богатых и убогих; учреждением училищ, распространением науки, просвещения народного и деятельности умственной. Вопросите историю владык земли и тех классов народа, кои решали судьбу его: везде, где токмо заметно благо его, везде и всегда, когда токмо продолжительная признательность людей свидетельствует о великом благе, оказанном человечеству, — всегда тем самым означится и шаг, сделанный к достижению той же цели, к которой стремились франц‹узская› и англин‹ская› революция: «On se sentira en présence de quelques-uns des principes qu'elles ont voulu faire prévaloir. — Elles ont poussé la civilisation dans la route qu'elle suit depuis 14 siècles; elles ont professé les maximes, avancé les travaux auxquels l'homme a dû, de tout tems, le développement de sa nature et l'amélioration de son sort; elles ont fait ce qui a fait tour à tour le mérite et la gloire du clergé, de la noblesse et du Roi».

Сколько я помню, та же идея развита и в книге Круга «Geschichte des Liberalismus» или что-то подобное.

Революции прибавили ходу, так сказать, ускорили дело веков, continué l'oeuvre commencé ‹depuis› des siècles.

Европейская образованность началась феодальными отношениями, аристократией и ее обычаями, законами, идеями ее и самым чувством, которое тогда в ней господствовало.

Но сии самые феодальные правители тяготели над народами, и одно духовенство дерзало в пользу всех напоминанием о справедливости, о правах человечества. Одни церкви были убежищем для тех, кои не принадлежали к феодальной гиерархии, и одно духовенство открывало потребности мыслить, познавать, надеяться и верить, словом, всему возвышенному и моральному в человеке — убежище верное и постоянное. Церковь, уже и сама по себе сильная, сделалась еще могущественнее, поддерживая власть королевскую, — и преобладание перешло из рук воинственной аристократии к духовенству. Союзом с церковью и собственною силою коро-

левская власть возвысилась над своими соперниками; но едва духовенство оказало ей деятельную помощь, как уже оно стремилось поработить оную. При сей угрожавшей опасности короли прибегали то к баронам, уже не столь страшным, то к мещанам или гражданам, то к народу. С их содействием короли снова восторжествовали, и власть их, обличенная доверенностию народов, утвердилась и соделалась в другой раз господствующею. Telle est l'histoire de l'ancienne Europe: l'aristocratie féodale, le clergé, la Royauté l'ont .our à tour possédée, ont successivement présidé à la destinée et à ses progrès.

Au 17-me siècle en Angleterre, au 18-me en France, toute lutte entre ces trois pouvoirs avoit cessé; ils vivaient ensemble dans une molle paix: аристократия уже не защищала общественных прав и вольностей, даже и своих собственных; королевская власть уже не старалась уничтожить привилегии аристократов; их раболепство, казалось, обезоружило королей; духовенство страшилось разума человеческого и, не умея управлять оным, угрозами убеждало его остановить полет свой.

Между тем просвещение разливалось и распространялось ежедневно. Масса народа (le public), оставленная предводителями классов своих, взяла на себя труд их и — réclama à la fois la liberté contre la couronne, l'égalité contre l'aristocratie, les droits de l'intelligence humaine contre le clergé. Alors éclatèrent les révolutions.

Они дали обществу правителей, кои были в состоянии руководствовать их успехами, точно так же, как некогда Европа по той же причине передавала власть из рук аристократов, церкви, королям.

В сем состояло дело обеих революций, сим означился характер их.

Не должно искать его исключительно в одном: в стремлении к равенству; ни в другом: в стремлении к свободе; ни в политике, ни в догматизме. Оттенки различий в их истории, т. е. во времени: в Англии свободные установления, произведение самого варварства, пережили даже деспотизм, коего отвратить были они бессильны. Революция нашла там, т. е. в Англии, в самой национальной церкви — сообщницу, которая своими нововведениями вызвала les hardiesses de l'esprit humain. Напротив, во франц‹узской› революции господствовало страшное единство всего нового. Au jour de l'explosion, un seul fait restoit réel et puissant, *la civilisation générale du pays.*

Можно ли согласиться на сие последнее утверждение; где общая образованность во Франции — в минуту революции? И тот ли был бы характер оной, есть ли бы она разразилась над просвещенною во всех классах народа Франциею? ..[69]

31/19 октября. Сегодня праздник реформации, день, в который Лютер прибил свои *положения* (thèses) к церкви в Вюртемберге, торжествуют лютеране по всей Саксонии; не знаю, и в других ли местах; но здесь за два года пред сим постановили включить в число праздников день сей, и все лавки закрыты. . .

Этот день напомнил мне и мой вечер в 1817 году, когда я сближал пасторов протестантских и реформатских и поэт Пушкин угощал их у меня пуншом и ужином, а под конец и бичевал веселым умом своим — вином разогретого пастора. — Буссе, Ласозе, Мюральт.[70]

Начал читать «Историю» Карамзина. 31 окт‹ября›...

4 ноября/23 октября. Где же иначе начиналась словесность, как не поэзией? В России, где словесность только вполовину заслуживает сие название, ибо чужда совершенно философическим созерцаниям, — поэзия с самого начала нашего государственного бытия оживляет нравственную жизнь нашу. И в заунывных песнях, вместе с народною музыкою, утешает рабов татарских или помещичьих и отличает народный характер, часто и в оковах веселый...

6 ноября/25 октября. Вчера видел я на здешнем театре «Юлия Кесаря» Шекспира, перев‹од› Шлегеля, 4 акта. 5-го не дослушал, а в постели прочел статью о Тальме в «Globe», 28 oct. 1826, где взяты некоторые места из Tillot: Souvenirs historiques sur la vie et la mort de F. Talma и где выписаны замечания Наполеона на игру Тальмы в Кесаре в «Смерти Помпея» и в Бруте в «Смерти Кесаря», ролью сотворенною Тальмою в 1792 и 1793 годах. «En débitant, — criait Napoléon, — ôtez cette longue tirade contre les rois, dans laquelle se trouve ce vers:

Pour moi qui tiens le trône égal à l'infamie,
César ne pense pas un mot ce qu'il dit» и проч.

Я бы желал прочесть теперь всю статью вчерашним актерам и даже самому Шлегелю. Может быть, один токмо, игравший Брута, несколько угадал исторический характер его и римскую древность (une telle bonté de coeur unie à un stoïcisme si inflexible, une simplicité tellement inconnue jusqu'à).

Talma и проч. Другие двигались, говорили как дрезденские немцы, и ни в походке, ни в речах, ни в лице их не было ничего римского...

15/2 ноября. Вчера здешний англ‹инский› министр Шад сказывал мне, что В. Скотт, по его мнению, дает поправлять другому свои романы, ибо в письмах его, самим им писанных, заметил ошибки, коих нет в печатных сочинениях; например в одном письме к Шаду употребил он слово *will* вместо *shall*. Эту ошибку часто делают, особливо в Шотландии, но не первоклассные писатели, каков W. Scott.

16/4 ноября. Получил «le Catholique» от гр. Разумовского чрез M. de Schoenberg Roth Schoenberg и прочел статью «Sur l'instruction publique en France». Общие замечания или введение темны, как и многое в Экштейне, но в изъяснении причин, от коих университет бесполезен для просвещения и для наук во Франции, много справедливого, так, как и в мнении автора об устройстве, какое бы надлежало ввести в университеты, заведенные по разным провинциям королевства, а не сосредоточивая всего, до наук и учебного порядка относящегося, в одном Париже, откуда дается тон, хороший и

дурной, всему государству, без малейшего сопротивления извнутри Франции. Тогда и либерализм был бы менее опасен правительству; ибо, несмотря на усилия обскурантов и ректоров университета, он всегда останется гнездом его, потому что лекции официальные, мнения и убеждения вынужденных ли или свободных профессоров не сильны потушить тех убеждений, мнений, кои учащиеся заимствуют извне, в книгах, в журналах, в общем мнении, в общем движении умов, словом, во всем, что они слышат, видят и читают не на официальных лекциях. Les jeunes gens s'adresseront à l'opinion du jour et ne manqueront pas conséquemment d'embrasser le libéralisme. Un pays comme la France, où les idées sont dans un mouvement progressif, не может удовольствоваться схоластическими формами и, следовательно, училищами, где они господствуют. Италия и Гишпания доказывают, сколь невыгодно для самого правительства в высших училищах не достигать степени и объема просвещения, на которую оно возведено ныне. De nos jours un ensemble de toutes doctrines et connaissances solides peut seul être efficacement opposé aux systèmes libéraux. — On n'y réussira pas par un régime peureux et rétréci.

Так и в России министерство вздумало нападать на невинную книгу о естеств<енном> праве Куницына,[71] и угодник Лаваль, вслед за якобинцами М<аратом> и Р<обеспьером>, восстал противу народного права, смешивая оное с естественным, между тем как в книжной лавке в одну неделю разошлось несколько экземпляров комментарий Траси на Монтескье, в коих публика, не приготовленная лекциями профессора, которые и яд делают или должны делать безвредным, с жадностию почерпала в книге Destutt de Траси правила, противные не только монархическому правлению, но и первым началам христианства. Строгость и другой цензуры, т. е. на иностранные книги, была уже в высшей степени; но кто из цензоров, или из министров пол<итики> и просв<ещения>, коим они подведомы, знал Траси и мог предвидеть в нем врага монархизма и христианства.[72] Они взрывали пуховики студентов и искали в них Раупаховых тетрадей об индийской мифологии,[73] а гвардейские офицеры выкупали весь либерализм французской новейшей словесности.

Никогда не забуду вечера, который провели у меня, больного, Лаваль и Карамзин, по окончании заседания главн<ого> учил<ищ> правления и прения о книге Куницына. Он увеличил и болезнь мою сильным негодованием к невеже-просветителю и спором с ним. Я просил Лаваля повторить Кар<амзин>у чтение его мнения о естес<твенном> праве, и Кар<амзин> разделил со мною мнение, что Лаваль смешал его с народным. На другой день узнал я источник Лавалевой ошибки: он прочел накануне франц<узскую> брошюру о правах, из Парижа ему присланную. — И там уже не был Ройе-Колар главою университета и темнело на горизонте просвещения. Лаваль слышал от нас жестокие истины и с тех пор долго не советовался со мною по занятиям главного училищ правления. Тогдашнее министерство хотело опереться на Лаваля — и скоро упало. «On ne

peut bien s'appuyer que sur ce qui résiste», — сказал один смельчак-министр королю своему; а Лаваль уступал всему, даже и Р...у...[74]

Способствовать универсальности познаний et non l'isolement, l'absorption de toutes les facultés de l'esprit par une étude unique. — La véritable universalité marche avec la profondeur et n'exclut nullement la spécialité. Depuis qu'il existe des peintres de genre et des peintres académiciens, les arts ont séché. Рафаэль, Леонард де Винци и Микель-Анж были и живописцы и писатели, архитекторы и музыканты!

Учение философии, прав и богословия совершенно упало во Франции. История также: я разумею на лекциях, ибо нет в самом деле ни одного знаменитого профессора, коего имя только носит Гизо. — Публика читает résumés.

О так наз<ываемых> hommes de lettres — во Франции напоминают риторов древности.

Les industriels: L'intelligence peut être entrée dans le commerce comme les produits d'une manufacture. St.-Simon и журнал его «le Producteur» — главные распространители сей промышленности.

Не нужно разделять ученого от государственного человека: Гроций был публицист и дипломат, Бэкон — философ и канцлер Вел<ико>британии, Данте — поэт и один из первых госуд<арственных> людей в своем отечестве. Так Фукидид, Ксенофон, Демосфен, Кесарь, Саллюстий и Цицерон, Боссюет и Фенелон. Напомним ли наших министров юстиции — поэтов? Нет, по крайней мере один из них доказал бы скорее противное...

«Le meilleur moyen d'imposer silence à la basse littérature est de faire prospérer et d'honorer la haute».

Сими словами заключает барон свою статью о народном учении во Франции. В ней много справедливых замечаний, кои не к одной Франции применить можно, и в сей статье еще не весьма заметна наклонность автора к иезуитам и к их системе народного воспитания. Как согласить сию наклонность с начитанностию автора немецких протестантских книг, коею питает он свои мелкие рассуждения о разных предметах словесности, наук и вообще просвещения? Желанием добиться чего-нибудь или пробиться куда-нибудь: *и эдак многим удается*!..

31/19 ноября. Вчера видел я «Исидору и Ольгу», соч<инение> Раупаха,[75] на здешнем театре. Костюмы, которые должны были быть русскими, не похожи ни на какие и скорее напоминают старые польские. Играли дурно, хотя некоторые актеры и хорошие чтецы стихов; но главный характер, князь Володимир, коверкался и рисовался и декламировал без всякой меры. Зачем одели актеров в такие платья? Разве они не видят нас ежедневно? Разве мы не русские? Разве мы не помещики? И разве между нами нет уже князя Владимира, готового закабалить брата своего, ссылаясь на закон государственный, но, к несчастию и к стыду нашему, еще существующий, еще во всей силе своей действующий? Мы в европейском

платье, мы без бороды, мы более fashionable, нежели все жители всех столиц немецких; нам обрили бороды, но нам оставили права наши, кои нас делают извергами и более несчастными, нежели те, над коими мы их имеем. Ах! отдайте нам наши бороды и сарафаны и отнимите от нас то, что более всего разделяет нас от Европы, от просвещения и христианской религии, чем все костюмы в мире! Отнимите у нас право отнимать жениха у невесты, невесту у жениха и закрепощать брата, коего мать обольстил, изнасиловал отец наш! Что я говорю — обольстил? На что обольщение, изнасилование там, где ничто и никто не противится беззаконному сладострастию, и в земле, где генерал-губернатор первой и древнейшей столицы смеет отвечать своему человеколюбивому государю, что не должно наказывать и отнимать у помещика жены его крестьянина, для того чтобы не возбудить сим примером и в других ему подобных требовать жен своих от своих помещиков! При чтении сей трагедии я не столько был поражен истиною и справедливостию вымысла поэта, как при представлении. Осуждали автора. За что? Пиеса его есть верное, справедливое и нимало не увеличенное изображение существенности. Оно тягостно, прискорбно для русского; но виноват ли в этом поэт? Разве он, вместе с сим, и не истиннолюбивый изобразитель того, что в самом деле и в законах наших существует; то, что случается беспрестанно и завтра случиться может. Разве история виртуоза Семенова, крепостного кн<язя> Кураки<на> — не хуже, не постыднее для России и человечества? Там, в трагедии Раупаха, страсть ослепляет законами необузданного помещика, и он предается ей. Князь Кур<акин> действовал из корыстолюбия или из пустого тщеславия, или по чувству, варварским правом в нем воспитанному. Exempla sunt odiosa! Но разве Ржевский не продавал недавно танцовщиц и театральных королей, и разве бояры наши не раздавали в великолепно-скучных гостиных своих объявления о продажной труппе актеров и поодиночке?

Трагедия Раупаха сильно действует психологическим наблюдением характера, искаженного, развращенного рабством, в помещике, а еще более в рабе Осипе. Я понимаю чувство сего несчастного шута и угодника, который мстит за любовницу-невесту, которую отняли у него, чтобы выдать ее силою за конюха; которую он погреб, но еще не забыл после многолетней, в шутовстве и в мщении проведенной жизни!

Этот характер, это чувство в натуре человеческой или, лучше, в натуре раба. Несчастный, он желает, чтобы и другие не были его счастливее, и радуется товариществу, в бедствии, хотя сердце его первоначально и не было чуждо — что я говорю? — было способно любви, и любви страстной, не угасшей ни с временем, ни с рабскою жизнию. Не отнимайте у него того, что ему было дороже жизни, не заставляйте его быть свидетелем ее бесчестия, ее преждевременной смерти и тоски — за конюхом, — Осип остался бы и верным слугою, и добрым мужем, и не находил бы наслаждения в мщении и в несчастии других, ему подобных.

Характер управителя Петрова и привязанность его к господину, верность, ничем не потрясаемая, также в рабской натуре наших старинных, добрых и в страхе господском воспитанных управителей.

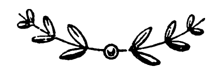
Сердиться должно не на автора! Иначе мы будем походить на детей, разбивающих зеркало, в котором видят они свое безобразие... Und doch!

> Ich erwerbe mir kein anderes Land,
> Zum Vaterland,
> Wäre mir auch frei die große Wahl!

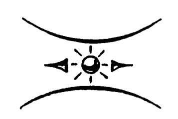
Но это доказывает только, что и эскимосы любят свою отчизну, что мы любим своих родителей, должны любить их в рубищах, и в парче, и в незаслуженном несчастии, и в оковах, законом и правосудием наложенных, везде и всегда!

Отечество!

> Когда вздохнем в последний раз,
> Сей вздох тебе же посвятится!..



ПРИЛОЖЕНИЯ



А. И. ТУРГЕНЕВ И ЕГО ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

Литературное наследие А. И. Тургенева огромно. Из его обширной переписки с друзьями, опубликованной далеко не полностью, можно было бы подготовить к изданию несколько томов писем; полный текст его дневников потребовал бы выпуска 10—12 солидных книг. «Хроника русского» и дневники А. И. Тургенева за 1825—1826 годы — лишь небольшая часть его литературного наследия.

А. И. Тургенев является выдающимся мастером русского эпистолярного жанра, получившего всестороннее развитие в первые десятилетия прошлого века. Как справедливо пишет М. П. Алексеев, «в начале XIX столетия письма русских литераторов представляли собою важный фактор общего литературного развития; эти письма выходили за сравнительно узкие пределы бытового средства связи, приобретая тогда особую функцию, как и вся рукописная литература, живее и полнее отображавшая умственные запросы русского общества, чем подцензурная печать... Письма служили тогда и другой цели, являясь своего рода опытным участком для разнообразных жанровых и стилистических экспериментов: они содействовали разработке литературного языка, мастерству воспроизведения непринужденной, живой, звучащей речи».[1]

Блестящий представитель эпистолярного жанра, автор интереснейших дневников и путевых корреспонденций, А. И. Тургенев имеет неоспоримое право на внимание современного читателя. О писательском даре А. И. Тургенева проникновенно и точно сказал его ближайший друг П. А. Вяземский: «Полагаем, что не было никогда и нигде *борзописца* ему подобного. Он мог сказать с поэтом: „Как много я в свой век бумаги исписал". Но ни друзья его, ни потомство, если оно захватит его, не оставили и не оставят того ему в упрек. Деятельность письменной переписки его изумительна... Он переписывался и с просителями своими, и с братьями, и с друзьями, и с знакомыми, и часто с незнакомыми, с учеными, с духовными лицами всех возможных исповеданий, с дамами всех

---

[1] М. П. Алексеев. Письма И. С. Тургенева. В кн.: И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем в 28 томах, т. I, Изд. АН СССР, М.—Л., 1961, стр. 17—18.

возрастов, *различных лет и поколений*, был в переписке со всею Россиею, с Францией, Германией, Англией и другими государствами. И письма его — большею частью образцы слога, живой речи. Они занимательны по содержанию своему и по художественной отделке, о которой он не думал, но которая выражалась, изливалась сама собою под неутомимым и беззаботным пером его. Русским пером в особенности владел он, как немногим из присяжных писателей удается им владеть. Этого еще мало: при обширной, разнообразной переписке, он еще вел про себя одного подробный дневник. В фолиантах переписки и журнала его будущий историк нашего времени, от первых годов царствования Александра Павловича до 1845 года, найдет, без сомнения, содержание и краски для политических, литературных и общественных картин прожитого периода».[2]

I

Александр Иванович Тургенев (1784—1845) был одним из четырех сыновей Ивана Петровича Тургенева, богатого симбирского помещика, приятеля писателя Н. И. Новикова и некоторых московских масонов. Их дружеский кружок, в котором масонство служило выражением гуманистических и просветительских идей, был разгромлен правительством Екатерины II: Новиков был посажен в крепость, И. В. Лопухин жил в Москве под присмотром полиции, И. П. Тургенев получил приказание ехать на жительство в родовое имение Тургенево, где он и прожил со всем семейством с 1792 до конца 1796 года. Воспитание Александра Ивановича и его старшего брата Андрея в эти годы было поручено женевцу Георгу Кристофу Тоблеру, родственнику швейцарского писателя Лафатера. Если не считать позднейших упоминаний Александра Ивановича о том, что со своим учителем они читали идиллические стихотворения швейцарского поэта Саломона Геснера, то у нас нет сведений о характере его занятий с Тоблером. Однако с большой долей вероятности можно предположить, что Тоблер наряду с отцом заронил первые зерна человеколюбия и свободомыслия в душу маленького Александра. Герцен в романе «Кто виноват?» нарисовал обаятельный образ женевца Жозефа, учителя Бельтова. По-видимому, одним из таких бескорыстных и просвещенных педагогов был воспитатель старших братьев Тургеневых Тоблер, о котором Александр Иванович сохранил светлую память на всю жизнь: уже в 30-е годы, странствуя по Швейцарии, он пытался разыскать родственников своего первого учителя.

Воцарение Павла I положило конец ссылке Ивана Петровича: он был назначен директором Московского университета. Тургеневы переехали в Москву и поселились на казенной квартире, на Моховой, в здании уни-

[2] П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. VIII, СПб., 1883, стр. 282.

верситета. Старший сын Андрей поступил в университет, а Александр — в университетский пансион, где он учился с 1797 по 1800 год.

В Москве в доме Ивана Петровича возник литературный кружок: молодые Тургеневы часто встречались с братьями Лопухиными, М. И. Невзоровым, Херасковым, И. И. Дмитриевым; к этому же времени относится и знакомство А. И. Тургенева с Карамзиным, который также бывал в доме его отца. Приверженность масонским идеям не мешала И. П. Тургеневу прислушиваться к мнениям инакомыслящих: в его доме господствовал вольный обмен литературными и общественными воззрениями.

Помимо домашнего кружка старшего поколения, своему быстрому умственному возмужанию А. И. Тургенев во многом обязан Московскому университетскому пансиону, в котором придавали первостепенное значение развитию литературных способностей учащихся: первые опыты Александра Ивановича в области словесности — речи и переводы — относятся ко времени его пребывания в университетском пансионе.[3]

Наконец, существенное воздействие на становление личности Александра Ивановича оказал дружеский кружок, состоявший из воспитанников университета и университетского пансиона. В 1797—1800 годах в него входили, кроме Андрея и Александра Тургеневых, Жуковский, Мерзляков, Воейков, Андрей и Михаил Кайсаровы, Семен Родзянко. В начале 1801 года кружок стал именоваться «Дружеским литературным обществом». Александр Иванович произнес на собраниях этого содружества две речи: в одной из них он восхвалял человеколюбие И. В. Лопухина, в другой говорил о том, «что люди по большей части сами виновники своих несчастий и неудовольствий, случающихся в жизни». Обе речи — явно моралистического характера, показательные для той умственной атмосферы, которая царила в доме Тургеневых.

В. М. Истрин, посвятивший несколько статей изучению «Дружеского литературного общества», установил, что среди его участников преобладал интерес к немецкой словесности, к произведениям Гете, Шиллера, Виланда, Гердера, Коцебу; из французской литературы наибольшее сочувствие вызывали сочинения Руссо, входившие «в то течение к нравственному самосовершенствованию, которое составлялось из разных источников, в том числе и из всей вообще сентиментальной литературы и масонско-мистического настроения старшего тургеневского кружка»;[4] из английской литературы участникам «Дружеского литературного общества» более близки были писатели сентиментального и предромантического направления — Стерн, Ричардсон, Юнг, Томсон, Грей.

«Общество» не было монолитным. Изучение печатных и архивных материалов позволило Ю. М. Лотману прийти к выводу о том, «что в нем

---

[3] Подробнее о первых литературных опытах А. И. Тургенева см.: В. И. Резанов. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского, вып. 1. СПб., 1906, стр. 228—231.

[4] В. М. Истрин. Младший тургеневский кружок и Александр Иванович Тургенев. Архив братьев Тургеневых, вып. 2, СПб., 1911, стр. 87.

в момент своего зарождения столкнулись три ведущие тенденции литературы допушкинского периода: направление мечтательного романтизма, связанное с именем Жуковского; представленное Мерзляковым направление, чуждое дворянской культуре и развивавшее традиции демократической литературы XVIII в., и, наконец, направление Андрея Тургенева и Андрея Кайсарова (литературная и общественная позиция последнего находилась в ту пору в стадии формирования), в деятельности которых отчетливо проступают черты, подготавливающие литературную программу декабризма».[5] По своим литературным вкусам и общественным воззрениям Александр Иванович примыкал к группе Жуковского.

А. И. Тургенев оказался у первоисточника всех наиболее значительных литературно-общественных течений того времени: в доме отца он встречался с Херасковым, патриархом позднего классицизма, с наиболее колоритными представителями русского масонства; в кругу своих сверстников он присутствовал при первых баталиях между сторонниками различных направлений, борьба которых во многом определила многоплановый характер литературного развития в первые два десятилетия XIX века. Любознательный юноша жадно вслушивался в разноголосицу литературных и общественных мнений. Благоприятные внешние условия способствовали быстрому развитию богатых природных задатков А. И. Тургенева: он становится широко образованным человеком своего времени.

По окончании Московского университетского пансиона А. И. Тургенев был зачислен 16 июня 1800 года на службу в Московский архив коллегии иностранных дел. Однако служебные занятия не приносят ему удовлетворения: он мечтает о продолжении образования за границей. Вслед за старшим братом Андреем Александр Иванович вместе с отцом отправляется в Петербург в начале 1802 года; начинаются хлопоты по ведомству иностранной коллегии. Получив желанное разрешение, А. И. Тургенев в конце апреля 1802 года возвращается из столицы в Москву, а в июле месяце того же года вместе с Андреем Кайсаровым и некоторыми другими молодыми людьми выезжает в Геттинген.

II

Геттингенский университет, в котором обучались три брата Тургеневых (Александр, Николай и Сергей), Андрей Кайсаров, автор диссертации об освобождении крестьян, А. П. Куницын, лицейский учитель Пушкина, и некоторые другие, был прогрессивным учебным заведением того времени. Можно не сомневаться, что Пушкин, представляя читателям Владимира Ленского, «с душею прямо геттингенской», воплотил в нем живые

[5] Ю. М. Лотман. Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. Уч. зап. Тартуск. унив., вып. 63, Тарту, 1958, стр. 25.

черты своих свободолюбивых друзей и знакомых, обучавшихся в Геттингене, — трех братьев Тургеневых и А. П. Куницына.

Дневник А. И. Тургенева, который он вел в 1802—1804 годах, позволяет утверждать, что пребывание в Геттингенском университете значительно расширило его умственный горизонт, дало ему солидную подготовку по многим и в первую очередь по историческим дисциплинам, укрепило гуманистические начала его мировоззрения, возбудило первые сомнения в законности неограниченного самодержавия в России. 9 июня/28 мая 1803 года он записал в дневник: «Приехав в Москву, первое мое старание будет собирать, сколько можно, совершенную библиотеку для русской истории, между прочим, и источников ее (Urkunden), особливо в Московском архиве, где еще по сю пору множество лежит неизвестных сокровищ для русской истории, особливо для новой. Например: условие, которое поднесли бояре Михаилу Федоровичу при возложении на него бремя правления. Оно может решить вопрос: к какому образу правления отнести русское — к неограниченной ли монархии или к ограниченной? Назначено ли там род совета или сената, с которым государь разделять должен законодательную власть, или нет? И надобно ли почитать неограниченное правление русских государей, как похищение не принадлежащей им власти, или, и в самом деле, и условие сие дает право государю на неограниченное правление? Последнее сомнительно: иначе, для чего бы по сю пору не публиковать сей интересной и важной древности?».[6]

Уже в эти годы, слушая лекции Шлецера, Александр Иванович задумывается над законностью революций. И хотя он вполне согласен со Шлецером, что «сколь далеко ни простирается история, везде почти показывает она, что, хотя мятежи кой-когда и удавались, всегда почти приносили они с собою больше пагубы и бедствия для народа, нежели сколько бы претерпел он, снося тиранские действия», тем не менее он с полным пониманием отнесся к словам Шлецера о том, что при нарушении государем своих прав и обязанностей народ имеет право восстать и даже «казнить своего государя».[7] Четверть века спустя, после разгрома восстания декабристов, А. И. Тургенев вновь будет внимательно изучать и осмысливать этот кардинальный вопрос общественного развития, читая вместе с Жуковским и братом Сергеем труды Минье и Гизо по истории французской и английской революций.

Лекции Шлецера, Геерена и Сарториуса на всю жизнь привили А. И. Тургеневу любовь к истории: истоки исторического критицизма, пронизывающего его общественные воззрения, берут свое начало в Геттин-

---

[6] Архив братьев Тургеневых, вып. 2. СПб., 1911, стр. 225—226.

[7] Там же, стр. 240. — Как уже отметил В. И. Саитов в своих ценных комментариях к сочинениям К. Н. Батюшкова (т. 1, СПб., 1887, стр. 355—372), А. И. Тургеневу принадлежит перевод из «Шлецерова введения во всеобщую историю», напечатанный в «Утренней заре» (кн. III, 1805, стр. 47—66; кн. IV, 1806, стр. 101—129; переводчик обозначен инициалами «А. Т.»).

гене; многолетние археографические разыскания, которыми отмечена вторая половина его жизни, стали возможны благодаря солидной исторической эрудиции, полученной им в стенах Геттингенского университета.[8]

В 1803 году А. И. Тургенев послал в журнал «Вестник Европы» две статьи — «Письмо из Геттингена, от 23 мая 1803» [9] и «О Геттингенском университете (сочинения одного из молодых россиян, которые ныне там учатся)».[10] В последней статье он писал о русской литературе: «Без сомнения, приближается время, когда литература моего отечества распространится по всей Европе и когда язык наш будет одною из существенных принадлежностей хорошего воспитания».[11]

В 1804 году в журнале «Северный вестник» появилась статья А. И. Тургенева «Критические примечания, касающиеся до древней славянорусской истории»,[12] в которой он ратовал за создание картин на сюжеты, заимствованные из отечественной истории: «Давно бы пора нашим артистам, вместо разорения Трои, представить разорение Новгорода, вместо той героической спартанки, радующейся, что сын ее убит за отечество, представить Марфу Посадницу, которая не хочет пережить вольности новгородской».[13] Призыв А. И. Тургенева прославить новгородскую вольницу, опоэтизировать граждан древнего Новгорода ясно указывал на свободолюбие автора статьи. И вполне закономерно, что тема новгородской вольности, предложенная А. И. Тургеневым в качестве сюжета для картин русских художников, стала впоследствии излюбленной темой писателей-декабристов.

Сообразуясь с духом исторического критицизма, А. И. Тургенев призывал живописцев соблюдать верность истории даже в мелочах, пропускать «сквозь чистилище критики каждое сказанное слово, каждое историческое известие, застарелое ли или новое, не полагаясь на *авторитет* славного писателя».[14]

Отстаивая принцип исторического критицизма, А. И. Тургенев на три десятилетия предвосхитил развитие отечественной исторической науки: лишь в 30-е годы XIX века в России оформилась «скептическая школа», внесшая ценный вклад в методику источниковедения и подорвавшая многие ложные положения официальной историографии.

---

[8] Подробнее о жизни и учении А. И. Тургенева в Геттингенском университете см.: В. Истрин. Русские студенты в Геттингене в 1802—1804 гг. ЖМНП, нов. сер., XXVIII, 1910, № 7, отд. 2, стр. 80—144; Е. Тарасов. Русские «геттингенцы» первой четверти XIX века и влияние их на развитие либерализма в России. Голос минувшего, 1914, № 7, стр. 195—209.

[9] Вестник Европы, 1803, ч. IX, стр. 303—306.

[10] Там же, ч. XII, стр. 166—207.

[11] Там же, стр. 190.

[12] Северный вестник, 1804, ч. II, стр. 267—293.

[13] Там же, стр. 268.

[14] Там же, стр. 293.

Ко времени пребывания А. И. Тургенева в Геттингене относится его первая путевая корреспонденция. Осенью 1803 года компания русских студентов совершила путешествие на Гарц (горный массив, расположенный на северной окраине Средне-Германских гор), поднявшись на его вершину — гору Брокен. Сохранилось два описания этого увлекательного путешествия, принадлежащих перу А. И. Тургенева. Одно из них было напечатано в «Вестнике Европы» под названием «Путешествие русского на Брокен в 1803 году».[15] Живым слогом запечатлел А. И. Тургенев восход солнца на Брокене, рассказал читателю о брокенских ведьмах, о возмутительных и бесчеловечных процессах, которые устраивались в прежние годы против лиц, облыжно обвиненных в колдовстве, о корыстолюбии католических монахов, о языческих обычаях, сохранившихся в Германии и в России. Если судить по этой публикации, то можно подумать, что повседневная жизнь людей, с которыми сталкивался А. И. Тургенев во время своего путешествия, не привлекала его внимания. Однако подобный вывод был бы ошибочен, он был бы сделан без учета цензурных условий того времени. Более подробное описание этого путешествия, сохранившееся в бумагах А. И. Тургенева, было опубликовано в 1911 году В. М. Истриным под названием «Отрывки из путешествия по Гарцу в 1803 году».[16] Сравнение журнального текста с рукописным вариантом приводит к выводу, что перед нами две различных по своему содержанию корреспонденции: видимо, готовя к печати описание своего путешествия, А. И. Тургенев выбрал наиболее нейтральный в политическом отношении отрывок о восхождении на Брокен, самый же злободневный материал был оставлен по цензурным соображениям за пределами журнальной публикации. Так, например, в не попавшей в журнал части корреспонденции содержится яркая зарисовка тяжелого, изнурительного и нищенски оплачиваемого труда немецких горнорабочих: «Работники получают по талеру в месяц; пища и квартира казенные. Какая незначительная плата в сравнении с их геркулесовою работой и с тою потерею здоровья и жизненных сил, которой они неминуемо подвержены! День и ночь должны они попеременно жариться на сильном огне, слышать беспрестанный стук толчеи и после сих утомительных трудов спать в бедной избе, наполненной несколькими семьями. И самый плач малолетних детей покажется им гармоническою музыкою, и, верно, уже не помешает переселиться из Вулканова в Морфеево царство! К чему человек не привыкнет? При стуке молотов, как и при журчании ручейка, на пуховом диване и на гранитном отломке — он спит покойно».[17]

В этой же корреспонденции А. И. Тургенев резко осудил русские крепостнические порядки: «. . . я думаю, что не один северный климат, не одна физическая причина склонности русского к пьянству; но есть и дру-

[15] Вестник Европы, 1808, ч. XLII, стр. 77—93.
[16] Архив братьев Тургеневых, вып. 2, стр. 289—302.
[17] Там же, стр. 294.

гой источник сей пагубной для нас страсти, есть причины моральные (которых основание находится в государственной нашей конституции). Россия большею частию состоит не из подданных, но рабов, хотя не в римском и венгерском смысле этого слова, — и большая часть крестьян принадлежат помещикам. Русский мужик с молоком матерним всасывает в себя чувство своего рабства, мысль, что все, что он ни выработает, все, что он ни приобретет кровию и потом своим, — все не только может, но и *имеет право* отнять у него его барин. Он часто боится казаться богатым, чтоб не навлечь на себя новых податей; и так ему остается — или скрывать приобретенное (оттого со времен татарского нашествия обычай русских мужиков зарывать свои сокровища в землю), или жить в беспрестанном страхе; а чтоб избежать того и другого, он избирает кратчайшее средство и несет нажитое в царев дом, как говорят наши простолюдины. Словом, гораздо большая часть русских крестьян лишены собственности. И вот одна из главнейших подпор, на которых вознесен в России престол Бахусу».[18]

Путевая корреспонденция 1803 года обнаруживает в А. И. Тургеневе талант зоркого наблюдателя, умеющего вдумываться в окружающее и способного запечатлеть на бумаге свои впечатления, чувства и мысли. Именно эта способность схватывать на лету сменяющиеся как в калейдоскопе жизненные события способствовала тому, что во второй половине своей жизни А. И. Тургенев стал превосходным мастером эпистолярного жанра, чьи пространные и животрепещущие письма-корреспонденции надолго пережили своего автора и с интересом читаются в наши дни.

Весной 1804 года А. И. Тургенев вместе со своим другом Андреем Кайсаровым выехал в путешествие по славянским землям, входившим в то время в состав Австро-Венгерской империи. Друзья посетили Чехию, Венгрию, Сербию, доехали до Триеста и Венеции. На обратном пути они расстались в Вене: Кайсаров поехал продолжать учение в Геттинген, а А. И. Тургенев в конце января 1805 года вернулся в Россию.

Путешествуя по славянским землям, А. И. Тургенев с присущей ему исключительной любознательностью знакомился с бытом, нравами и историей славян.[19] Уже в эти годы вояжи настраивали его на писательский лад: сохранились наброски с описанием его странствий 1804 года. И хотя эти записи остались в черновом виде и не были окончательно отделены, среди них встречаются яркие зарисовки, написанные легким и в то же время энергичным слогом. Изяществом мысли и галантностью XVIII века

---

[18] Там же, стр. 292.

[19] Письма А. И. Тургенева к родителям за время его поездки 1804 года и другие материалы, связанные с этой поездкой, см.: Путешествие А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова по славянским землям в 1804 году. Под ред. В. М. Истрина. II, 1915; В. М. Истрин. Русские путешественники по славянским землям в начале XIX века. ЖМНП, 1912, № 9, стр. 78—109; Ю. М. Лотман. Рукопись А. Кайсарова «Сравнительный словарь славянских наречий». Уч. зап. Тартуск. унив., вып. 65, Тарту, 1958, стр. 191—203.

проникнуто описание «жемчужины Адриатического моря»: «Когда подъезжаешь к Венеции, особливо со стороны Триеста, то кажется, что сия масса великолепных зданий — как бы подобие Венеры — рождается из морской пены; с каждым опущением весла раскрываются новые виды; глаза теряются в созерцании одного из величайших городов в Европе; издали кажется, что лагуны, из коих он составлен, все сливаются вместе, огромными палатами и храмами застроенные; острова, окружающие Венецию, кажется, с уважением смотрят на старшую сестру свою — и собою придают ей еще более величия. Лагуны, беспрестанно пересекаемые быстрыми гондолами, возвещают многолюдство торгового города; есть ли Венеция, которую хоть и называют уже отцветшею красавицею, и прежней тени своей изумленному путешественнику представить не может, то все же она велика и в своем падении».[20]

Наброски 1804 года обличают не только возмужание литературного дарования А. И. Тургенева, но и характеризуют отличительные особенности его творческой натуры, указывают на ясное понимание им той ответственности, которая лежит на путешественнике, решившемся поведать миру о своих странствиях. Поверять свои впечатления литературными и историческими трудами предшественников — таково правило, которым А. И. Тургенев неизменно руководствовался на всем протяжении своего писательского пути. В конце черновиков 1804 года он уже писал по этому поводу: «Описывая мое путешествие, приводя в порядок собранные мною материалы для статистического и исторического описания тех земель, которые я проехал, мне казалось, я снова путешествую; снова вижу те города, здания, памятники, коих изображения лежали перед глазами моими; беседую с теми великими литераторами, кои на память о себе оставляли мне лучшие произведения пера своего или скромно вписывали славные имена свои в мой дорожник. Труд соединен был с удовольствием воспоминания и авторской надежды. Мне нужно было поверить мои замечания, сравнить их с замечаниями моих предшественников; входя в подробные исторические описания некоторых происшествий, которых свидетелями были места, мною виденные, я должен был часто справляться с частною их историею, и, таким образом, одно незначущее известие вводило меня в целый лабиринт исторических изысканий. Но все это имело свою пользу, и часто находил я случайно то, чего прежде напрасно искал с большею потерею времени. Но один только тот, кто сам бывал в подобном положении, может судить, чего стоит автору *достоверность повестей*».[21]

Привлечение исторических и иных источников как в корреспонденциях начала века, так и в дальнейшем в «Хронике русского», писавшейся три

---

[20] ИРЛИ, ф. 309, № 1058. — Мы цитируем записи А. И. Тургенева о его путешествии 1804 года, которые, как полагал В. М. Истрин, не дошли до нас. На самом деле они хранятся в фонде братьев Тургеневых.

[21] ИРЛИ, ф. 309, № 1058.

десятилетия спустя, придало достоверность, глубину и познавательную ценность письмам-корреспонденциям А. И. Тургенева, и в соединении с несомненной литературной одаренностью, с ярко выраженной индивидуальной манерой письма создали ту неповторимую творческую амальгаму, те взволнованные путевые заметки, которые покоряли, покоряют и долго еще будут покорять их читателей.

III

1805—1824 годы — время быстрых служебных успехов А. И. Тургенева. В 1805 году он поступил в Комиссию составления законов, а 4 мая 1812 года был назначен членом этой комиссии. С 13 сентября 1810 года по 17 мая 1824 года он состоял, имея чин действительного статского советника, директором Главного управления духовных дел иностранных исповеданий; в 1819 году он был пожалован званием камергера. Кроме того, он деятельный участник филантропических и других обществ: секретарь Библейского общества, секретарь Женского патриотического общества и некоторых других. Привлекательный облик А. И. Тургенева этих лет сохранил потомству П. А. Вяземский, который писал в «Старой записной книжке» о своем друге: «Он вставал рано и ложился поздно. Целый день был он в беспрестанном движении, умственном и материальном. Утром занимался он служебными делами по разным отраслям и ведомствам официальных обязанностей своих. Остаток дня рыскал он по всему городу, часто ходатаем за приятелей и знакомых своих, а иногда и за людей, совершенно ему посторонних, но прибегавших к посредничеству его... Список всех людей, которым помог Тургенев, за которых вступался, которых восстановил, во время служения своего, мог бы превзойти длинный список любовных побед, одержанных Дон-Жуаном, по свидетельству Лепорелло в опере Моцарта. Русская литература, русские литераторы, нуждавшиеся в покровительстве, в поддержке, молодые новички, еще не успевшие проложить себе дорогу, всегда встречали в нем ходатая и умного руководителя. Он был, так сказать, долгое время посредником, агентом, по собственной воле уполномоченным и акредитованным поверенным в делах русской литературы при предержащих властях и образованном обществе. Одна эта заслуга, мало известная, ныне забытая, дает ему почетное место в литературе нашей, особенно когда вспомнишь, что он был другом Карамзина и Жуковского».[22]

Особое значение для дальнейшей литературной деятельности А. И. Тургенева имело его участие в арзамасском братстве, где ему была присвоена кличка «Эолова арфа», ставшая впоследствии его псевдонимом. Переписка Вяземского с А. И. Тургеневым, опубликованная в первых двух томах Остафьевского архива, свидетельствует о том, что на своих заседа-

[22] П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 273, 281.

ниях арзамасцы обсуждали не только литературные, но и злободневные общественные вопросы: о конституционных замыслах, об отходе царя от либеральных идей, о Священном союзе, о крепостном праве и т. д. До последнего времени эти письма использовались лишь как справочный и подсобный материал при разработке историко-литературных проблем того времени. Между тем переписка Вяземского с А. И. Тургеневым этих лет имеет и самостоятельное значение, свидетельствуя о литературно-общественной значимости и длительности арзамасских связей. Из этой переписки, а также и из других сохранившихся материалов следует, что арзамасское братство не было монолитным: внутри него все время шла борьба между оппозиционным и лояльным направлениями. Эта борьба — по мере нарастания в стране общественных противоречий — закономерно привела к расслоению арзамасского братства на два крыла: на умеренное крыло во главе с Карамзиным, Жуковским и Блудовым и на радикальное крыло, состоявшее из А. С. Пушкина, М. Ф. Орлова, Н. И. Тургенева и Вяземского. А. И. Тургенев, не разделявший оппозиционных взглядов своих младших братьев Николая и Сергея, примкнул к умеренным арзамасцам. Полемика между умеренными и радикальными арзамасцами возникала по самым различным поводам, начиная от кардинальных вопросов общественного развития России и кончая, казалось бы, мало значимыми проблемами грамматики и стилистики. Так, например, в 1822 году между Вяземским и А. И. Тургеневым шла ожесточенная полемика в письмах, из которой видно, что различие в общественных взглядах приводило к различным позициям и в чисто литературных вопросах: умеренный А. И. Тургенев выступал за увековечение стиля Карамзина, в то время как оппозиционно настроенный Вяземский, напротив, ратовал за непрерывную эволюцию языка и стиля.[23]

Однако аракчеевский курс Александра I привел к дальнейшей перегруппировке общественных сил в лагере либерального дворянства; происходит размежевание и среди умеренных арзамасцев: некоторые из них (Кавелин, Блудов) становятся ревностными сторонниками монархии, в то время как А. И. Тургенев, оставаясь поборником освобождения крестьян от крепостной зависимости, вольно или невольно оказывается в оппозиции к правительственной политике по основному вопросу общественного развития. Вслед за отставкой Н. И. Тургенева в апреле 1824 года в середине

---

[23] О политических и литературных спорах между членами арзамасского братства см.: Ю. М. Лотман. П. А. Вяземский и движение декабристов. Уч. зап. Тартуск. унив., вып. 98, 1960, стр. 24—142; М. И. Гиллельсон. Материалы по истории арзамасского братства. В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. IV. Изд. АН СССР, М.—Л., 1962, стр. 287—326; С. С. Ланда. О некоторых особенностях революционной идеологии в России. В сб.: Пушкин и его время. Исследования и материалы, вып. 1. Л., изд. Гос. Эрмитажа, 1962, стр. 67—231; В. В. Пугачев. Из истории русской общественно-политической мысли начала XIX века (от А. Н. Радищева к декабристам). Уч. зап. Горьк. унив., вып. 57, 1962, стр. 3—174.

мая того же года был отрешен от своей должности и Александр Иванович. Правда, сам А. И. Тургенев полагал, что он «жертва лжи и клеветы самой гнусной, почти невероятной».[24] Между тем следует признать, что Александр I был вполне последователен в своих действиях: отказавшись от обещанных реформ, он должен был, в первую очередь, избавиться от тех лиц, которые верили в эти реформы и стремились их осуществить.

Отстранив А. И. Тургенева от государственной деятельности, Александр I с недоверием и тревогой следил за его поведением. Когда в конце 1824 года А. И. Тургенев ехал в Москву к умирающей матери, Аракчеев писал 10 ноября 1824 года московскому генерал-губернатору князю Д. В. Голицыну: «Дошло до сведения государя императора, что помощник статс-секретаря, действительный статский советник Александр Тургенев получил вторично отпуск для пребывания в Москве по случаю будто бы болезни матери его.

«Его величество, подозревая, что поводом такового г. Тургенева желания пользоваться новым отпуском для пребывания в Москве может быть его неудовольствие на случившиеся в службе его перемены и затем расположение к каким-либо неблагоприятным для правительства разглашениям насчет бывших здесь на сих днях несчастий от наводнения, — высочайше повелеть мне соизволил уведомить о сем ваше сиятельство, дабы вы приняли по вашему званию секретные меры как к разведанию о сем предмете, так и к предупреждению последствий оного, донося о всем непосредственно его императорскому величеству в собственные руки».[25]

Вслед за Н. И. Тургеневым А. И. и С. И. Тургеневы уезжают за границу. Отъезд Тургеневых в Западную Европу в какой-то степени был связан с советами врачей, с необходимостью укрепить расстроенное здоровье. Но не только медицинские показания заставили братьев Тургеневых покинуть родину: одним из мотивов, вынудивших их предпринять заграничное путешествие, было их несогласие с аракчеевским курсом Александра I — это явствует из дневниковой записи А. И. Тургенева от 14 июля 1825 года и из черновика его письма к Александру I, написанного незадолго до отъезда за границу и впервые публикуемого в настоящем издании.

Дорогой ценой заплатили братья Тургеневы за свою оппозицию русскому самодержавию. Н. И. Тургенев был приговорен по делу декабристов к смертной казни; в начале 1826 года английский посол в Петербурге писал своему правительству о просьбе Николая I выдать находившегося в то время в Англии Н. И. Тургенева.[26] Однако английское правительство предоставило Н. И. Тургеневу политическое убежище,

---

[24] ОА, т. III. СПб., 1899, стр. 46.

[25] Русская старина, 1904, т. 117, стр. 232.

[26] Подробнее об этом см.: И. Звавич. Восстание 14 декабря и английское общественное мнение. Печать и революция, 1925, кн. 8, стр. 46.

а спустя несколько лет он смог переехать во Францию, где и жил полвека в эмиграции. С. И. Тургенев тоже был на подозрении у царских властей: из дневника А. И. Тургенева (запись от 24 сентября 1832 года) видно, что после разгрома восстания декабристов С. И. Тургенева пытались арестовать в Италии и только болезнь спасла его от заключения. Разгром восстания на Сенатской площади, осуждение брата Николая, крах вольнолюбивых надежд губительно подействовали на С. И. Тургенева: он заболел психически и умер в Париже в 1827 году. Трудное время наступило для Александра Ивановича: смерть брата, вынужденная жизнь на чужбине другого брата и собственное полуопальное положение; почти двадцать лет — с небольшими перерывами — скитался по Европе А. И. Тургенев.

IV

Сразу же по отъезде за границу летом 1825 года А. И. Тургенев заводит дневник и с тех пор неутомимо день за днем на протяжении двух десятилетий пишет о виденном, слышанном и прочитанном. Изучение его дневников за 1825—1845 годы убеждает в том, что их форма не была постоянной: заграничные дневники значительно полнее дневниковых записей за время его пребывания в России; кроме того, с годами записи постепенно становятся более лаконичными.

Публикуемые нами дневники за 1825—1826 годы А. И. Тургенев вел весьма подробно: выехав из крепостнической России в страны Западной Европы, он с лихорадочной поспешностью знакомится со всеми сторонами общественной жизни этих стран и щедро заносит в свои дневники впечатления и мысли, возникающие во время его странствий.

Живя за границей, А. И. Тургенев не перестает напряженно размышлять о судьбах родины. С особенной силой русская тема звучит в его дневниках в декабре 1825 года, когда он узнает в Париже о внезапной смерти Александра I; на страницах его дневника появляются сетования и сожаления, что царь не успел завершить задуманную им отмену крепостного права на всей территории Российской империи. Несмотря на жестокие уроки, преподанные Александром I в 20-е годы, у А. И. Тургенева тлела надежда, что царь вернется к благим начинаниям своей юности. Со смертью Александра I для А. И. Тургенева гибла последняя надежда на скорое освобождение крестьян. Поэтому с такой настойчивостью сверлит ему мозг строка из «Чайльд-Гарольда» о днях позора, о бесплодности смены владык для порабощенной родины. Гневной иронией наполнены страницы дневника А. И. Тургенева, в которых он описывает русских аристократов в Париже, почтенных столпов дворянства, которые были верной опорой самодержавия.

Вместе с тем о самом восстании декабристов А. И. Тургенев упоминает в немногих словах. Конечно, в какой-то мере лапидарность записи о де-

кабристах вызывалась опасением, что его дневник может попасть в руки III Отделения: обозначение в дневнике некоторых политически-одиозных слов начальными буквами (в настоящем издании в редакционных скобках дана расшифровка подобных сокращений) подтверждает эту догадку. Однако было бы преувеличением считать, что осторожность была единственной причиной немногословности А. И. Тургенева по поводу восстания на Сенатской площади — по-видимому, сказалось и его отрицательное отношение к революционным методам борьбы.

В марте 1826 года А. И. Тургенев возвращается в Россию: над Н. И. и С. И. Тургеневыми нависла опасность быть осужденными по делу декабристов. А. И. Тургенев усиленно хлопочет, пытаясь отвести удар от братьев. Вскоре выясняется, что Сергей Иванович не был организационно связан с декабристами и его признают непричастным к делу о восстании на Сенатской площади. Намного сложнее оказывается положение Николая Ивановича: следствию становится ясным, что он был одним из влиятельнейших деятелей декабристского движения. Усиленные хлопоты А. И. Тургенева и Жуковского не приводят к желаемому результату: Н. И. Тургеневу выносят обвинительный приговор. И в целом события развертывались совсем не так, как предполагал А. И. Тургенев. Известно, что Николай I, еще будучи великим князем, отрицательно относился к военным поселениям. Видимо, А. И. Тургенев узнал об этом летом 1825 года, беседуя с Константином Павловичем, который также не одобрял военных поселений. Надо думать, что этому частному расхождению во взглядах Александра I и его братьев А. И. Тургенев придал неправомерно большое значение. Так или иначе, но к началу 1826 года А. И. Тургенев не представлял себе в истинном свете Николая I. Он даже надеялся вернуться к государственной деятельности — повествуя о посещении больного Карамзина, К. С. Сербинович записал 21 марта 1826 года: «...Александр Иванович вызвал меня в другую комнату, где собирались пить чай, и сказал, что надобно дать Николаю Михайловичу возможность откровенно переговорить с Сперанским о употреблении его, Тургенева, вероятно, к этому же делу, потому что Александр Иванович уже и прежде был при Сперанском в Комиссии составления законов».[27] Мы лишены возможности проверить свидетельство К. С. Сербиновича собственноручной записью А. И. Тургенева, так как в марте—июле 1826 года, живя в Петербурге, он почти не вел своего дневника: было не до того, с утра до вечера писались оправдательные записки по делу Н. И. Тургенева. Впрочем, у нас нет оснований не доверять К. С. Сербиновичу: вполне вероятно, что А. И. Тургенев лелеял мысль о большой законодательной работе. Однако ход событий опрокинул его планы и доказал их несбыточность. Наступила кровавая развязка по делу декабристов. Н. И. Тургеневу был вынесен смертный приговор, замененный пожизненным изгнанием. 13 июля

---

[27] Русская старина, 1874, № 11, стр. 263.

1826 года в 5 часов утра, в день казни декабристов, А. И. Тургенев выезжает из Петербурга за границу. С этого времени окончательно определяется оппозиционное отношение А. И. Тургенева к деспотическому режиму Николая I. Пожалуй, трудно найти, кроме А. И. Тургенева, другого деятеля, который бы так неизменно выказывал свое отрицательное отношение к политике Николая I на протяжении двух десятков лет; в свою очередь, царь и его ближайшее окружение настороженно и неприязненно относились к нему: ведь А. И. Тургенев не скрывал, что он мечтает об уничтожении рабства в России.

А. И. Тургенев не принадлежал к славной когорте дворянских революционеров. Более того: он осуждал тех, которые были сторонниками революционных мер для изменения государственного строя России. Но, будучи умеренным в свох *политических* взглядах (его идеалом была конституционная монархия, причем он твердо надеялся на мирное установление конституции), он не шел ни на какие компромиссы по главному *социальному* вопросу русской действительности — всю свою сознательную жизнь он стоял за отмену крепостного права.

Своеобразна была позиция А. И. Тургенева в сфере религиозных вопросов. Он был глубоко и искренне верующим человеком. И вместе с тем А. И. Тургенев в зрелые годы с явным осуждением относился к православию и католичеству,[28] которые, как он утверждал, исказили первоначальную сущность христианства. Из всех религиозных течений ему ближе всего был протестантизм, в котором он, в первую очередь, ценил обличение ханжества и лицемерия римской церкви. При чтении дневников А. И. Тургенева необходимо все время помнить о сложном и во многом противоречивом облике их автора, одного из образованнейших и интереснейших людей своего времени.

Центральное место в дневнике А. И. Тургенева за 1825 год занимают его парижские впечатления. Он попал в столицу Франции в период значительного обострения общественной борьбы. После прихода к власти в 1820 году правительства Ж. Виллеля силы старого порядка стали играть все более заметную роль в политике Франции. Смерть Людовика XVIII в 1824 году и восшествие на престол Карла X усилили позицию самых реакционных элементов аристократии и высшего духовенства. Приехав в Париж в октябре 1825 года, А. И. Тургенев оказался в самой гуще событий, которые с неумолимой последовательностью привели в конечном счете к июльской революции 1830 года.

---

[28] Враждебное отношение А. И. Тургенева к католицизму возникло значительно раньше, чем к православию: уже 7 ноября 1805 года он отмечает в своем дневнике о замысле написать «Историю глупостей единоспасающей церкви»; из дальнейшего текста дневника явствует, что он имеет в виду римскую католическую церковь (ИРЛИ, ф. 309, № 2, л. 19). Нетрудно заметить связь между названием этого неосуществленного труда А. И. Тургенева и памфлетом Эразма Роттердамского «Похвальное слово глупости».

А. И. Тургенев повсюду наблюдает бурный рост новых буржуазных отношений, рождение аристократии финансов, могущество Лафиттов и Ротшильдов. В его дневнике мы встречаем многочисленные записи о быстром развитии ремесел во Франции, о стремлении сблизить ремесла с наукой, об огромном успехе лекций по точным наукам у многотысячной аудитории французского юношества, о стремительном росте книгопечатания в стране, о выходе в свет взамен тяжеловесных фолиантов «резюме», предназначенных для широких слоев читателей, об изменении репертуара французских театров, о появлении нового демократического зрителя.

Сбросив феодальные путы, пережив наполеоновскую эпопею, Франция быстро шла по пути капиталистического развития. Но ее реакционные правители во главе с Карлом X стремились возродить дореволюционные порядки. А. И. Тургенев видит, как под покровительством властей пытаются вернуть себе утраченные позиции иезуиты и другие религиозные конгрегации; как по требованию королевского прокурора возбуждаются судебные преследования против оппозиционных газет; как запрещают чтение лекций тем профессорам гуманитарных дисциплин, которые понимают обреченность попытки Карла X повернуть вспять ход истории.

Широкую панораму встревоженного Парижа запечатлел для последующих поколений дневник А. И. Тургенева. Его автор черпает свою информацию как из собственных наблюдений, неутомимо посещая театры, народные гуляния, музеи, филантропические и судебные учреждения, тюрьмы, различные научные общества, так и из бесед с умнейшими представителями парижской интеллигенции. В салонах мадам Рекамье, Гизо и Кювье он — свидетель и участник горячих политических споров. А. И. Тургенев знакомится со взглядами оппозиционных доктринеров из первоисточника, из уст Гизо и Ройе-Коллара. Доктринерство было, пожалуй, наиболее влиятельным оппозиционным течением французской интеллигенции в эпоху Реставрации. Без характеристики этого умственного течения в истории французской общественной мысли того времени нельзя себе ясно представить ту накаленную атмосферу общественных разногласий, в которой жил и писал свой парижский дневник А. И. Тургенев.

Наиболее четкое определение доктринерства сделано Б. Г. Реизовым, который пишет: «Смысл политической философии доктрины заключался в том, что она хотела сочетать „прогресс" и „традицию" и отвергала ортодоксальный роялистский догматизм так же, как и чистое „логизирование" левых буржуазных либералов... Доктринерам, как и всем почти представителям умеренных буржуазных партий, нужно было отделить „идею" революции от ее практического осуществления. Идея была хороша, осуществление было „искажением идей". Доктринеры противопоставляли революционному методу постепенную эволюцию, в которой, по их мнению, и проявляется историческая закономерность... Доктрина была учением тех кругов буржуазии, которые резко противопоставляли свои интересы интересам дворянства, но пытались сохранить монархию и ари-

стократию как необходимый для общества консервативный элемент — оправдать 1789 г. и отвергнуть 1793-й».[29]

Можно предположить, что умеренная позиция доктринеров импонировала А. И. Тургеневу, в высказываниях которого мы встречаем отрицательное отношение лишь к якобинскому периоду Французской революции. Попутно отметим, что исторические взгляды доктринеров оказали в дальнейшем существенное влияние на мировоззрение А. И. Тургенева; как доказал в своем исследовании Б. Г. Реизов, историко-философские взгляды доктринеров во многих отношениях определили методологию французской романтической историографии, а ведь именно по трудам ее выдающихся представителей, по книгам Гизо и Минье изучали А. И. Тургенев и Жуковский во второй половине 1826 года историю английской и французской революций.

После исключительно напряженной трехмесячной жизни в Париже А. И. Тургенев вместе с Н. И. Тургеневым выезжает в Англию. Они приехали в Лондон 20 (8) января 1826 года. Общественная и политическая обстановка в Англии была, пожалуй, не менее накаленной, нежели во Франции. В 1825 году в стране разразился промышленный кризис, приведший к массовой безработице и выступлениям рабочих в защиту своих прав; напуганный борьбой пролетариата, английский парламент принимает закон о запрещении рабочих союзов. Промышленный кризис вызвал перебои и в деятельности могущественных английских банков: в декабре 1825 года сильная финансовая буря обрушивается на Англию. Кроме того, в стране продолжается многолетняя упорная борьба за отмену законов, ограничивавших права католиков и диссидентов. С первых же дней пребывания в Англии А. И. Тургенев попадает в кипучий водоворот этих событий. Любознательный, жадный до новых впечатлений, А. И. Тургенев с головой уходит в изучение жизни английской столицы. Он посещает Вестминстерское аббатство, Гайд-парк, театры, Британский музей, парламент — камеру лордов и нижнюю палату, Королевское общество, Общество древностей, колоссальные лондонские доки, тюрьмы, знаменитый Тауер, монетный двор, Британский институт, отдаленные рабочие кварталы, в которых отсутствие работы у фабричных угрожает мятежом, Пикадилли и многое другое. За полтора месяца жизни в Англии А. И. Тургенев посетил множество общественных заведений, пролистал уйму книг и журналов, познакомился со многими политическими деятелями, в том числе с Веллингтоном и Брумом. Разнообразные лондонские впечатления наслаиваются на воспоминания о недавней парижской жизни. А. И. Тургенев напряженно сравнивает Францию с Англией — посетив общественный обед в лондонской таверне, посвященный празднованию дня рождения Томаса Пейна, он записывает: «Переезжая из одной

---

[29] Б. Г. Реизов. Французская романтическая историография (1815—1830). Изд. ЛГУ, 1956, стр. 128—132.

страны в другую, хотя и одним каналом разделенные, примечаешь в одной господство, хотя и тайное, конгрегации или иезуитов и духовника королевского, а вследствии оного в Испании, по указанию франц‹узского› посла, запрещение Монтескье, Руссо, Вольтера — и „Урики“! А в другой — гласное ругательство над королем, монархиею и над христианством, коему хула произносится в тосте Тайлору и его обществу».

Умеренная общественная позиция А. И. Тургенева как нельзя отчетливее сказалась в этом сравнении Франции и Англии. Ему не по душе ни католическо-монархическая реакция Карла X, ни открытые нападки на религию и государя под сенью английских законов. Он ищет царство «чистого разума», просвещенную и конституционную монархию, в которой благоденствие граждан было бы первейшим помыслом государственных мужей. Это была благородная, но несбыточная утопия! Крупнейшие европейские государства — Франция и Англия — были ареной напряженной классовой борьбы между различными общественными группировками. Тем более не нашел А. И. Тургенев царства «чистого разума» в крепостнической России, куда он ненадолго вернулся в конце марта 1826 года. Разгром восстания на Сенатской площади и осуждение декабристов стали началом николаевской реакции. События на родине, равно как и ход общественного развития в странах Западной Европы, требовали своего осмысления, надо было подвести черту, сделать обоснованное заключение о закономерности и направленности исторического процесса. А. И. Тургенев уезжает в Германию и там, в Дрездене, совместно с Жуковским и С. И. Тургеневым изучает труды по истории французской и английской революций: «После обеда обыкновенно читаем мы все трое вместе: я чтец, а Жуковский и брат слушатели...», — писал 17 октября 1826 года А. И. Тургенев Николаю Ивановичу.[30] Правда, он посещает литературные салоны в Дрездене, бывает на выставках, присутствует на заседаниях общества любителей натуральной истории и тому подобное, но не это является главным, самым существенным для него в это время. Характеризуя жизнь А. И. Тургенева в Дрездене в 1826 году, можно с уверенностью сказать, что самое важное для него в эти недели заключалось в тщательном штудировании исторических трудов Гизо, Минье и других авторов.

Вышедшая в середине 1824 года книга Минье «История французской революции» имела столь значительный успех, что на протяжении 1824—1825 годов выдержала несколько изданий. В своем труде Минье на большом фактическом материале обосновал и развил мысль мадам де Сталь о том, что революция — не случайный эпизод в истории, а закономерный результат длительного развития человеческого общества. Та же концепция пронизывает и книгу Гизо «История английской революции», первый том которой вышел из печати в 1826 году. Дневник А. И. Тургенева убеждает

[30] Письма А. И. Тургенева Н. И. Тургеневу. Лейпциг, 1872, стр. 8.

нас, что ему была близка и понятна эта центральная идея трудов Минье и Гизо по истории европейских революций. Он с наибольшей тщательностью конспектирует те места книги Гизо, в которых отчетливо изложена эта главенствующая мысль. Полемизирует ли А. И. Тургенев с концепцией, изложенной в этих трудах Минье и Гизо? Нет, он с ней соглашается; его разногласия с французскими историками проявляются лишь в оценке якобинской диктатуры. Возражая Минье, он считает, что последний слишком беспристрастно отнесся к деятельности Робеспьера. А. И. Тургенев патетически восклицает: «Как назвать в авторе сие беспрерывное желание умерить выражениями ужас, который должна возбуждать в сердце человеческом жажда крови? Робеспьер „не имел никакого отвращения от кровопролития!“ — и только. Где же цель истории? Где святая обязанность свидетеля времен и судии людей?».[31]

Единственный упрек в адрес Гизо, который вырывается из уст А. И. Тургенева, также имеет непосредственное отношение к якобинской диктатуре. Гизо в своей книге утверждал, что в дореволюционной Франции просвещение было разлито во всех классах общества. Не соглашаясь с этим утверждением Гизо, А. И. Тургенев полагает, что характер французской революции был бы иным, «есть ли бы она разразилась над просвещенною во всех классах народа Францией», т. е., иными словами, при этом условии революция избежала бы эпохи террора.[32] Таковы возражения А. И. Тургенева, которые он считает долгом сделать при чтении трудов Минье и Гизо. Принятие А. И. Тургеневым концепции европейских революций, изложенной представителями французской романтической историографии, не является неожиданным. Воспитанник Геттингенского университета, ученик Шлецера и Геерена, А. И. Тургенев с юных лет приходит к твердому убеждению о закономерности исторического процесса. И естественно, что, встретив приложение этой мысли к истории европейских революций в книгах Минье и Гизо, А. И. Тургенев соглашается с французскими историками. Концепция Минье и Гизо безболезненно, можно сказать, органически вошла в воззрения А. И. Тургенева.

Значение дрезденских «штудий» книг Минье и Гизо по истории европейских революций не ограничивается их влиянием на мировоззрение А. И. Тургенева. Они оказали, несомненно, воздействие на эволюцию исторических взглядов Жуковского, а через него, можно полагать, способствовали первоначальному ознакомлению Пушкина с трудами француз-

---

[31] ИРЛИ, ф. 309, № 7, лл. 20—21.

[32] Дилемма «свобода или просвещение» была предметом острых общественных споров еще со времен французских просветителей. Подробнее об этом см.: Ю. Г. Оксман. Пушкин в работе над «Историей Пугачева» и повестью «Капитанская дочка» (гл. X, Философия истории Гринева и политические дискуссии конца XVIII и начала XIX столетия о путях и сроках ликвидации рабства русских крепостных крестьян). В кн.: Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева. Саратовск. кн. изд., 1959, стр. 66—77.

ской романтической историографии. Но это — тема специального исследования, выходящая за рамки настоящей статьи.

Трудно в полной мере дать оценку всему изобилию фактов и богатству идей, содержащихся в дневниках А. И. Тургенева за 1825—1826 годы. Мы старались выделить лишь наиболее существенное и важное для понимания идейной атмосферы той эпохи, для уяснения отношения автора дневника к историческим событиям, свидетелем которых он являлся, для определения его взгляда на европейскую историю последних столетий.[33]

V

Осуждение брата Николая по делу декабристов окончательно привело А. И. Тургенева в ряды дворянской оппозиции. После поражения декабристов на Сенатской площади центром идейной оппозиции самодержавию стала небольшая группа передовых дворянских писателей во главе с Пушкиным и Вяземским. Именно к этой группе свободомыслящих писателей примкнул А. И. Тургенев. Его пространные письма, адресованные Вяземскому и Жуковскому, постоянно обсуждались писателями пушкинского круга, знакомили их с животрепещущими событиями политической и литературной жизни Западной Европы, помогали им, вопреки жестокой цензуре царского правительства, быть в курсе важнейших вопросов европейской политики. Пушкин и Вяземский сразу же оценили общественную и литературную ценность заграничных корреспонденций А. И. Тургенева, и с их помощью эти письма стали печататься в журналах.

Переход в лагерь дворянской оппозиции способствовал расцвету писательской деятельности А. И. Тургенева: потеряв в лице А. И. Тургенева государственного деятеля, Россия приобрела в нем первоклассного литератора.

«Хроника русского», охватывающая период с 1827 по 1845 год, знакомит читателя с многоликой жизнью Западной Европы, увиденной глазами передового русского путешественника. Корреспонденции, вошедшие в «Хронику русского», составлены из писем, адресованных А. И. Тургеневым своим русским друзьям. Однако с самого начала получения этих писем-корреспонденций стало ясно, что они выходят за рамки частной эпистолярии и как по своим литературным достоинствам, так и по широкому охвату общественной и культурной жизни Западной Европы предназначены для широкой публики.

Ознакомление с богатейшим архивом братьев Тургеневых, хранящимся в Пушкинском доме, изучение писем А. И. Тургенева к друзьям и издателям (Жуковскому, Вяземскому, Плетневу, Е. А. Свербеевой) убеждают

---

[33] О дневниках А. И. Тургенева за эти годы см.: В. В. Пугачев. А. И. Тургенев в 1825—1826 годах. Уч. зап. Горьк. унив., вып. 58, 1963, стр. 465—476.

в том, что предпринимаемая нами реконструкция текста «Хроники русского» является лишь первоначальной работой по восстановлению этого литературного памятника в том виде, в каком он представлялся их автору. Надо иметь в виду, что корреспонденции А. И. Тургенева имеют двойную историю — печатную и рукописную. Публикуя журнальный текст «Хроники русского», мы в настоящем издании воспроизводим печатный текст этого памятника, добавляя в примечаниях лишь наиболее значительные разночтения и купюры тех корреспонденций, которые попали в печать. Однако многие письма А. И. Тургенева, написанные им как куски «Хроники русского», до сего времени остаются неопубликованными. Это обстоятельство и вызывает необходимость говорить о рукописной истории «Хроники русского». Сличение журнальных публикаций с сохранившимися письмами А. И. Тургенева дает возможность утверждать, что лишь часть рукописной «Хроники русского» попала на страницы тогдашней периодической прессы: дало себя знать отсутствие постоянного печатного органа, во главе которого стояли бы передовые писатели того времени.

Правда, большое количество писем А. И. Тургенева к Вяземскому за интересующие нас годы было впоследствии опубликовано во втором и третьем томах «Остафьевского архива», а также в шестом томе «Архива братьев Тургеневых». Однако далеко не все письма А. И. Тургенева к Вяземскому попали в эти издания. Помимо неопубликованных писем к Вяземскому, сохранилось огромное количество писем А. И. Тургенева к Жуковскому, которые в своем подавляющем большинстве до сего времени не печатались. Сохранилась пачка писем А. И. Тургенева к Е. А. Свербеевой за январь—апрель 1841 года, которые по своему содержанию, безусловно, представляют из себя часть «Хроники русского», не попавшей на страницы журналов: в одном из этих писем А. И. Тургенев предлагал Е. А. Свербеевой передать их в журнал и печатать под ее присмотром. Однако в Москве не нашлось печатного органа, в котором можно было опубликовать эти письма. В архиве братьев Тургеневых хранится кусок «Хроника русского», написанный рукой Плетнева, подготовленный им для одного из номеров «Современника», но не попавшей в печать.

Лишь после опубликования всех этих материалов, которые составят несколько томов, можно будет попытаться восстановить полный текст «Хроники русского». Подобная реконструкция тем более необходима, что рукописная «Хроника русского» входила в круг литературных интересов передовых русских писателей того времени, не говоря уже о том, что неопубликованные письма-корреспонденции А. И. Тургенева помогут уточнить, а в некоторых случаях и заново выявить небезынтересные аспекты русско-западноевропейских культурных связей.

Начало «Хроники русского» было положено печатанием в «Московском телеграфе» в 1827 году дрезденских писем А. И. Тургенева. В этих

письмах он давал характеристику французских журналов, писал о выходе в свет новых книг, сообщал о знаменитом обеде Эдинбургского театрального фонда, на котором Вальтер Скотт публично признал себя автором «Веверлея», знакомил русских читателей с самыми разнообразными событиями литературной и культурной жизни Западной Европы.

Участие А. И. Тургенева в «Московском телеграфе» не ограничивалось печатанием на его страницах корреспонденций «Письма из Дрездена». Вот запись А. И. Тургенева в его дневнике, сделанная 21 января 1840 года: «Вечер у Карамз<иных>. Спор с кн. Одуевс<ким> о Полевом. Жук<овский>, Вяз<емский> со мною или лучше я с ними и за них. О Полев<ом> Вяз<емский>: „Его журнал держался мной, письмами и книгами Т<ургене>ва, мне сообщаемыми“».[34] Конечно, споря с В. Ф. Одоевским по поводу Н. А. Полевого, Вяземский допускает полемическое преувеличение; однако доля истины, бесспорно, есть в его утверждении: получение от А. И. Тургенева западноевропейских книжных новинок и его заграничные письма к Вяземскому значительно помогли последнему в его журнальной деятельности. В позднейшей приписке к своим статьям «Письма из Парижа» Вяземский писал: «Это письмо и следующие из Парижа писаны просто в Москве. Участвуя в „Телеграфе“, хотел я придать этому журналу разнообразие и, так сказать, движение жизни, которого лишены были тогдашние журналы наши. Я получал много французских газет, имел в Париже двух-трех приятелей, с которыми переписывался и которые передавали мне все свежие новости: из всего этого сообщал я что мог и что хотел и под заглавными буквами имен составлял я свои подложные письма. . .».[35] Одним из этих приятелей был А. И. Тургенев. Сравнение, например, «Письма из Парижа» Вяземского, в котором он описывает похороны генерала Фуа, с соответствующими страницами дневника А. И. Тургенева не оставляет сомнения в источнике информации. Интерес к личности знаменитого французского артиста Тальма, о котором Вяземский написал для «Московского телеграфа» пространную статью, был вызван, по всей вероятности, также письмами А. И. Тургенева, лично познакомившегося с Тальма в 1825 году. Кроме того, по совету А. И. Тургенева в «Московском телеграфе» была введена библиография иностранной литературы. Эти факты дают возможность утверждать, что скрытое для читателей воздействие А. И. Тургенева на подбор материала в «Московском телеграфе» было не менее существенным, нежели его собственные корреспонденции из Дрездена.

Все сношения А. И. Тургенева с редакцией «Московского телеграфа» шли через Вяземского. Прекращение сотрудничества Вяземского в журнале Н. А. Полевого, наступившее в конце 1827 года, привело к прекращению участия А. И. Тургенева в «Московском телеграфе».

---

[34] ИРЛИ, ф. 309, № 319, л. 31 об.

[35] П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. I, 1879, стр. 222.

Отсутствие печатного органа у писателей пушкинского круга сильно затрудняло публикацию иностранных корреспонденций А. И. Тургенева; восстановить многие события его напряженной умственной жизни ряда лет мы имеем возможность лишь по его дневникам и письмам.

Прожив в Дрездене до 26 апреля 1827 года, А. И. Тургенев едет во Францию: в середине мая он уже в Париже слушает лекции Вильменя, встречается с мадам Рекамье, Бенжаменом Констаном, Кювье, Лафайетом. Смерть брата Сергея в Париже 1 июня 1827 года вынуждает его искать успокоения в путешествии по Европе. 6 августа он проводит в Веймаре в гостях у Гете.[36] Затем Иена, Дрезден, Лейпциг, где его навещает Жуковский, и снова в путь: Тургенев уезжает в Швейцарию — Берн, Лозанна, Женева, встречи с Лагарпом, Сисмонди, Бонштетеном.

17 октября 1827 года А. И. Тургенев возвращается в Париж, а 8 февраля 1828 года он уже в Лондоне обнимает брата Николая. А. И. Тургенев вновь посещает музеи и ученые общества, возобновляет старые и заводит новые знакомства. 11 апреля в доме миссис Александер он знакомится с Вальтером Скоттом, получает от него приглашение посетить Абботсфорт и в начале августа гостит в его родовом замке в Шотландии. К январю-февралю 1829 года относится знакомство и встречи А. И. Тургенева с ирландским поэтом Томасом Муром.[37]

18 апреля 1829 года Александр Иванович уезжает из Англии в Бельгию и Голландию; он посещает музеи и соборы в Брюсселе, Антверпене, Гааге, Амстердаме, знакомится с произведениями Рубенса, Ван-Дейка и других прославленных голландских живописцев. Посетив домик Петра I в Амстердаме, А. И. Тургенев 24 апреля 1829 года сделал запись в книгу, о чем в дневнике отметил: «Петр I уничтожил суд присяжных, породил табель о рангах и ничего не сделал в пользу эмансипации русских крестьян. Европа назвала его Великим; русский скажет с Боссюетом: „Dieu seul est grand“ ‹Один только бог велик›. И потом 4 стиха из Дмитриева „Ермака“ „И время на косу падет!“».[38]

Из других высказываний А. И. Тургенева известно, что он глубоко понимал значение государственной деятельности Петра I для исторического развития России. Но антидемократический характер некоторых петровских реформ и, главное, то, что Петр I не отменил крепостное право, вызывали осуждение А. И. Тургенева.

В начале мая 1829 года А. И. Тургенев едет в Германию — Утрехт, Мюнстер, Эйзенах, Эрфурт, Веймар, где он видится и беседует с Гете, затем Лейпциг, Дрезден, Берлин. В Берлине А. И. Тургенев живет два

---

[36] О посещениях А. И. Тургенева Гете см.: С. Дурылин. Русские писатели у Гете в Веймаре. Литературное наследство, т. 4—6, М., 1932, стр. 287—323.

[37] Подробнее об этом см.: М. П. Алексеев. Томас Мур, его русские собеседники и корреспонденты. В кн.: Международные связи русской литературы. Сб. статей под ред. акад. М. П. Алексеева, Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, стр. 233—285.

[38] ИРЛИ, ф. 309, № 308, л. 45 об.

месяца, усердно посещает лекции в университете, слушает Гегеля, Шлейермахера, Раумера и других профессоров.

Воспользовавшись приездом в Берлин Николая I и Бенкендорфа, А. И. Тургенев возобновляет хлопоты о брате, но терпит неудачу. Считая Н. И. Тургенева деятельным участником декабристского движения, Николай I не изъявил согласия пересмотреть приговор до его явки с повинной в Россию. Справедливо полагая, что царское правительство хочет заманить брата и арестовать его, А. И. Тургенев отклоняет соответствующее предложение Бенкендорфа.

Пребывание А. И. Тургенева в Берлине ознаменовалось его знакомством с Адамом Мицкевичем — оно состоялось 13 июня 1829 года, а три дня спустя, 16 июня он записывает в свой дневник: «...просидел с Мицкевичем и слышал ужасы о Польше».[39] Уничтожив сеймовые свободы и проводя насильственную руссификацию, Николай I вызвал резкое недовольство в Польше, которое через год переросло в вооруженное восстание против русского самодержавия. О тяжелом положении Польши, о притеснениях, чинимых полякам царской администрацией, и шла речь во время беседы Мицкевича с А. И. Тургеневым.

В августе 1829 года А. И. Тургенев через Брюссель едет в Париж, где снова окунается с головой в политическую и литературную жизнь французской столицы, бывает у Гизо, Кювье, в салонах мадам Рекамье и Свечиной, мадам Ансело и Сен-Олера, встречается с Шатобрианом, Стендалем, Бенжаменом Констаном, Проспером Мериме.[40] В своем дневнике и в письмах к друзьям он живо запечатлел пестрый калейдоскоп встреч с общественными и литературными деятелями Франции.

В начале 1830 года возникла надежда продолжить печатание писем-корреспонденций А. И. Тургенева: при ближайшем участии Пушкина и Вяземского стала выходить «Литературная газета» Дельвига. Письма Вяземского А. И. Тургеневу свидетельствуют о том, что издатели «Литературной газеты» стремились сделать А. И. Тургенева своим зарубежным корреспондентом. 25 апреля (ст. ст.) 1830 года Вяземский писал в Париж А. И. Тургеневу: «Посылаю тебе, любезнейший друг, от Дельвига его „Газету“ и седьмую песню „Онегина“. В „Газете“ означил я имена авто-

---

[39] Там же, л. 61 об. — Об отношениях А. И. Тургенева с Мицкевичем см.: И. С. Зильберштейн. А. И. Тургенев — ходатай за Адама Мицкевича. Изв. АН СССР, отд. лит. и языка, т. 14, вып. 6, 1955, стр. 544—546; S. Fiszman. Archiwalia Mickiewiczowskie. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1962, стр. 90—113.

[40] О встречах А. И. Тургенева с Проспером Мериме см.: Madame Ancelot. Un salon de Paris. 1824 à 1864. Paris, 1866, pp. 96—98; Анатолий Виноградов. Мериме в письмах к Дубенской. М., 1937, стр. 16—27. — Позднейший биограф Мериме П. Траар допустил досадную неточность, спутав А. И. Тургенева с И. С. Тургеневым; он писал, что Мериме встречался в 30-е годы в салоне мадам Ансело с романистом И. С. Тургеневым (P. Trahard. Jeunesse de Mérimée, t. II. Paris, 1925, p. 238). Об этой ошибке см.: H. Mongault. Mérimée, Beyle et quelques Russes. Destruction d'une légende. Mercure de France, 1928, 1 mars, pp. 341—365.

ров над некоторыми статьями... Пиши литературные письма для „Газеты“ нашей и присылай ко мне; пиши, хотя не письма, а так, кидай на бумагу свои литературные впечатления и пересылай ко мне, а мы здесь это сошьем. Надобно же оживлять „Газету“, чтобы морить „Пчелу“-пьявку, чтобы поддержать хотя один честный журнал в России».[41]

А. И. Тургенев готов был принять предложение издателей «Литературной газеты». В ответном письме от 2—4 июня 1830 года он писал Вяземскому в Петербург: «Поблагодари Дельвига за журнал. Право, давно не читал такой занимательной газеты. В ней столько оригинальных статей: твои, Пушкина, Дельвига и другие можно прочесть и перечесть, хотя во многом я и не согласен с тобою. Как много знаете вы о нас, европейцах! Как умно многое судите или как дельно по крайней мере о многом намекаете! „Газета“ Дельвига — петербургский „Globe“... Не успею кончить письма, в котором хотелось дать тебе понятие о некоторых авторах и авторшах, и книгах, и проектах, кои теперь занимают меня, и отблагодарить Дельвига за „Газету“ отчетом о всем том, что вижу, слышу я в Париже».[42]

Однако ход политических событий во Франции опрокинул расчеты на сотрудничество А. И. Тургенева в «Литературной газете»: вскоре началась июльская революция и печатание корреспонденций из Парижа стало немыслимо. Участие А. И. Тургенева в «Литературной газете» ограничилось опубликованием в «смеси» небольшого отрывка из его письма к Вяземскому и присланных им «Речей, произнесенных в публичном заседании Французской академии, при принятии в члены оной г. Ламартина».[43]

30 июня 1830 года А. И. Тургенев отправляется в путешествие по Франции. Он посещает Нант, Бордо, Тулузу, Марсель, Авиньон и многие другие города и местечки, осматривая исторические достопримечательности, музеи и различные общественные заведения. 14 июля он вступает на испанскую землю, но Испания производит на него тягостное впечатление и спустя сутки он с радостью возвращается во Францию. Известие об июльской революции застает А. И. Тургенева в Марселе — 1 августа по городу распространились слухи о революции в Париже, а 5 августа, увидев первый раз в жизни развевающееся трехцветное знамя и узнав о сформировании нового французского правительства, он записывает в свой дневник: «Гизо и Броглие министры: это и для нас может быть эпохою».[44] Июльская революция, которая вызвала крайнее раздражение Николая I, была сочувственно встречена А. И. Тургеневым: его вольно-

---

[41] ОА, т. III. СПб., 1899, стр. 192—194.

[42] Там же, стр. 202—207.

[43] Литературная газета, 1830, т. 1, № 25, стр. 200—202; № 26, стр. 205—210; № 27, стр. 213—217.

[44] ИРЛИ, ф. 309, № 308, л. 75. — Эта запись впервые опубликована в статье О. В. Орлика «Русские — участники и очевидцы французской революции 1830 г.» (История СССР, 1964, № 1, стр. 141).

любивой натуре претил реакционный режим Карла X и естественно, что приход к власти Луи-Филиппа радовал его, вселяя надежды на улучшение политического климата в Европе и в России. Помимо этих общих соображений, он не без основания предполагал, что перемена властителя в Тюльерийском дворце создаст благоприятные условия для переезда опального брата Николая из Англии во Францию, и действительно — правительство Луи-Филиппа позволило Н. И. Тургеневу поселиться в Париже.

Посетив во второй половине августа 1830 года Швейцарию, А. И. Тургенев 5 сентября возвращается в Париж, где и живет до конца года. Снова столичная сутолока, посещение лекций, театров, салонов; 12 декабря он провожает в последний путь Бенжамена Констана. Раздумывая над своей кочевой жизнью, которую он вынужден был вести последние годы, А. И. Тургенев пишет 3 декабря 1830 года в своем дневнике: «Книга сия начата в Брейтоне, 12 ноября 1828 года, следовательно, за два года, один месяц и 20 дней: черная полоса или продолжение черной полосы в моей жизни. В ней мало и редко означено то, что происходило в глубине души, столь редко выразимой, одни внешние происшествия, одна *быль* — на горах, реках и в долинах и в городах — означены, для воспоминания скоропроходящей жизни в трактирах, на больших дорогах, в столицах, на реках и на каналах — и у берегов морей Брайтонского, Марсельского, Тулонского; в твердынях Рейна, Гишпании, Франции, в горах Савойи и Швейцарии, и в салонах предместия Сен-Жерменского, и в столовых, смешанных из всех классов и из всех народов, от востока и запада и севера и юга!».[45]

23 декабря 1830 года А. И. Тургенев выехал в Англию и четыре дня спустя увиделся с братом Николаем после двадцатимесячной разлуки. Пять месяцев Александр Иванович живет в Англии, встречается и беседует со своими английскими друзьями и знакомыми — Брумом, маркизом Лансдоуном, — часто посещает салон Дино и Талейрана, слушая увлекательные рассказы последнего о политической и общественной жизни Франции за последние полвека.

Живя в Англии, А. И. Тургенев особенно остро ощущал политическую отсталость России, отсутствие в ней элементарных гражданских свобод. Сопоставляя конституционные гарантии английской монархии с произволом русского самодержавия, А. И. Тургенев неизменно возвращался к суровому приговору над декабристами — размышления об их судьбе неоднократно появляются в его дневнике. 24 января 1831 года он пишет об И. И. Дмитриеве: «Для чего наш Вольтер — Иван Иванович, он же и эксминистр юстиции, не заступился за Каласов 1826 года, между коими были братья и дети друзей его».[46] 28 января, прочитав во французской газете

[45] ИРЛИ, ф. 309, № 308, л. 142.
[46] Там же, № 325, л. 19.

«Constitutionnel» письмо о декабристах, радуется, что «начинают уже славить имена наших — погибших. . .».[47]

Среди высказываний А. И. Тургенева о декабристах весьма знаменательна его оценка стихотворения Пушкина «В надежде славы и добра»: «Но и Пушкин написал стансы в 1827 году! В чем они видят Петра Великого? И зачем сравнивать бывших друзей сибирских с стрельцами? Стрельцы были запоздалые в век Петра: эта ли черта отличает бунт П‹етер›бургский?».[48]

Знакомство с дневниками и письмами А. И. Тургенева позволяет утверждать, что во второй половине 20-х годов он проделал значительную идейную эволюцию: политика Николая I помогла ему понять иллюзорность надежды на возможность отмены крепостного права и установления конституции верховной властью. Сопоставляя ход исторического развития в странах Западной Европы с русской историей, А. И. Тургенев сумел по достоинству оценить прогрессивный характер движения декабристов.

VI

В июне 1831 года А. И. Тургенев возвращается в Россию, где вновь пытается добиться отмены приговора по делу брата Н. И. Тургенева. Приехав в Москву, он пишет 27 июня (ст. ст.) в дневнике: «. . . в хлопотах, сердцу моему ненавистных».[49]

Судьи, вынесшие обвинительный приговор брату Николаю и другим декабристам, неизменно вызывали открыто враждебное отношение к ним со стороны А. И. Тургенева. В своих записках А. О. Смирнова-Россет писала: «Александр Тургенев встречал графа Блудова у madame Карамзиной. Блудов — воплощенная доброта и совсем не злопамятный. Он протянул руку Тургеневу, который ему сказал: „Я никогда не подам руки тому, кто подписал смертный приговор моему брату“. Представь себе всеобщее замешательство, и я там присутствовала. M-me Карамзина покраснела от негодования и сказала Тургеневу: „Monsieur Тургенев, граф Блудов был близким другом моего мужа, и я не позволю оскорблять его в моем доме. Больше не будет неприятных встреч, слуги будут предупреждены, и когда присутствует граф, то monsieur Тургенев не войдет, и наоборот“. Бедный Блудов вышел со слезами на глазах. Тургенев сказал: „Перемените ему фамилию, а то просто гадко: от блуда происходит“. Екатерина Андреевна ему сказала: „Ваши шутки совершенно неуместны в эту минуту“».[50]

---

[47] Там же, л. 20 об.
[48] Там же, л. 40 об.
[49] Там же, л. 97. — О хлопотах по делу Н. И. Тургенева см.: Б. Л. Модзалевский. Жуковский и братья Тургеневы. В кн.: Декабристы. Изд. «Общество политкаторжан», М., 1925, стр. 149—154.
[50] А. О. Смирнова-Россет. Автобиография. М., 1931, стр. 174—175.

Подобным же образом встретил А. И. Тургенев графа П. А. Толстого. Отмечая в дневнике о своем посещении Двора, который в октябре 1831 года находился в Москве, А. И. Тургенев делает следующую запись: «Был во дворце, перед представлением подошел ко мне гр. П. А. Толстой; я встретил его как Блудова у Карамз‹иных› — не дал руки, отвечал сухо, отрывисто, почти не смотрел на него; он постоял передо мною минуты две, с видимым замешательством — и отошел. — Я не мог броситься в объятия — подписавшего приговор невинному. . .».[51] Столь благородное и прямое поведение А. И. Тургенева вызывало настороженность III Отделения, тайно надзиравшего за братом осужденного декабриста: «И камердинеров подсылали ко мне жандармы»,[52] — гласит дневниковая запись от 6 октября 1831 года.

Живя в Москве, А. И. Тургенев постоянно встречается с Вяземским, Чаадаевым, И. И. Дмитриевым, Киреевскими, А. П. Елагиной и многими другими московскими знакомыми, присутствует при рождении журнала «Европеец». Заочное знакомство А. И. Тургенева с будущим издателем «Европейца» И. В. Киреевским произошло в мае 1830 года; получив от Вяземского первые номера «Литературной газеты», А. И. Тургенев прочитал рецензию Пушкина на альманах «Денница», в котором была напечатана статья И. В. Киреевского «Обозрение русской словесности 1829 года». Ознакомившись с подробным разбором этой статьи в рецензии Пушкина, А. И. Тургенев писал 2 июня 1830 года Вяземскому: «Кто таков Киреевский? Пришлите мне скорее его обозрение в „Деннице“. Не сын ли он приятельницы Жуковского? Не он ли будет жить или уже живет в Мюнхене? Высылайте его скорее в Европу: дайте ему дозреть! Я уже люблю его за Новикова... Я всегда досадовал, что никто в истории нашего просвещения ни слова не сказал о Новикове, а он точно и просветитель, и мученик».[53] В Москве А. И. Тургенев лично познакомился с И. В. Киреевским — 19 октября 1831 года в его дневнике появляется запись: «... к Киреевскому, где окрестили в шампанском „Европейца“, напоили поэта Языкова тем же и слушали до 3 утра стихи его о милой *незабвенной* и о проч.».[54]

Первый номер «Европейца» А. И. Тургенев получил в доме Елагиных-Киреевских 1 января 1832 года.[55] Естественно, что при возникших сразу дружеских отношениях издатель «Европейца» обратился к А. И. Тургеневу с просьбой предоставить для печати его корреспонденции. А. И. Тургенев передал И. В. Киреевскому несколько старых записей, которые тот для возбуждения читательского интереса обозначил 1 и 2 января 1832 года, что не соответствовало действительности, так как А. И. Тур-

[51] ИРЛИ, ф. 309, № 325, л. 113 об.
[52] Там же, л. 111 об.
[53] ОА, т. III, СПб., 1899, стр. 202.
[54] ИРЛИ, ф. 309, № 325, л. 113 об.
[55] Там же, л. 133 об.

генев жил в это время не в Париже, а в Москве. Но «Письмо из Парижа» было напечатано анонимно, что дало возможность И. В. Киреевскому прибегнуть к подобной редакторской вольности.

«Европеец» должен был стать органом оппозиционных дворянских писателей, в нем намечалось участие Пушкина, Вяземского и других писателей их круга. Перспектива иметь в Москве второй независимый журнал (первым был «Московский телеграф») не понравилась царскому правительству: сразу же, как стало ясным направление и состав сотрудников «Европейца», он был запрещен по личному распоряжению Николая I. А. И. Тургенев участвовал в обмене мнений, состоявшемся между Жуковским, Вяземским и И. В. Киреевским по поводу закрытия «Европейца» — в письме от 25 января 1832 года он писал Вяземскому: «Европейцу <т. е. И. В. Киреевскому> прочел совет твой — и я, и другие с тобой были согласны».[56] Безусловно, в письме А. И. Тургенева речь идет о совете Вяземского—Жуковского протестовать против запрещения «Европейца».

Декабрь 1831 года знаменателен для А. И. Тургенева встречами с Пушкиным, которого он не видел много лет. А. И. Тургенев помог устроить юного Пушкина в Царскосельский лицей; вместе с ним он являлся участником арзамасского братства; 8 ноября 1817 года помечено стихотворное послание Пушкина к А. И. Тургеневу, в котором легкая ирония прикрывает глубокое дружеское чувство; ода Пушкина «Вольность» была написана на квартире братьев Тургеневых. После высылки Пушкина на юг в 1820 году между ним и А. И. Тургеневым не прекращается переписка. В письме от 1 декабря 1823 года Пушкин благодарит А. И. Тургенева за «дружеское попечение», которому он обязан разрешением переехать в Одессу, посылает ему строфы из стихотворения «Наполеон», текст стихотворения «Свободы сеятель пустынный», сообщает ему, одному из первых, что пишет «новую поэму, „Евгений Онегин", где захлебываюсь желчью. Две песни уже готовы».[57] И в последующие годы А. И. Тургенев неизменно находится в курсе литературных планов и начинаний Пушкина. Однако личная встреча между ними состоялась лишь спустя много лет, в начале июня 1831 года, когда Александр Иванович, по дороге в Москву, был недолгое время в Петербурге. Затем они встретились уже в Москве 7 декабря 1831 года в доме И. И. Дмитриева. На следующий день, 8 декабря, А. И. Тургенев навестил Пушкина и разговаривал с ним о Петре I, а вечером он рассказывал Пушкину и Вяземскому о кипучей интеллектуальной жизни Западной Европы, о своих

---

[56] Там же, № 2720, л. 10.

[57] Автограф этого письма Пушкина к А. И. Тургеневу воспроизведен в издании: Автографы рукописей А. С. Пушкина. СПб., изд. журн. «Исторический вестник», 1899, стр. 11—19. — О других рукописях Пушкина, хранившихся в бумагах А. И. Тургенева, см.: А. Фомин. Новые рукописи А. С. Пушкина. Русский библиофил, 1911, № 5, стр. 7—30. Отзывы А. И. Тургенева о Пушкине см.: А. Н. Шебунин. Пушкин по неопубликованным материалам архива братьев Тургеневых. В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 1. М.—Л., 1936, стр. 196—200.

встречах с Гете, Стендалем, Проспером Мериме, Бенжаменом Констаном, Гумбольдтом, Кювье, Гизо, Шатобрианом, В. Скоттом, Т. Муром и многими, многими другими. Сведения, которые А. И. Тургенев сообщал Пушкину и Вяземскому, были для них «живительным кислородом» в затхлой атмосфере николаевского царствования; они открывали им широкую панораму умственной жизни Западной Европы.

В разговорах об общественной и литературной жизни западноевропейских стран, в ожесточенных спорах по польскому вопросу, в чтении новых произведений Пушкина промелькнул для А. И. Тургенева декабрь 1831 года. Считая Александра Ивановича в числе самых близких друзей, Пушкин читал ему, одному из немногих, полный текст «Евгения Онегина», включая и крамольные строфы о деятелях декабристского движения. Понятно, что с особым волнением слушал А. И. Тургенев строки, посвященные брату Николаю, в которых Пушкин писал, что Н. И. Тургенев предвидел в «толпе дворян Освободителей крестьян». Занеся строки из «Евгения Онегина» о брате Николае в свой дневник, А. И. Тургенев приписывает рядом: «Поэт угадал: одну мысль брат имел: одно и видел в них, но и поэт увеличил: где видел брат эту толпу? пять, шесть — и только!».[58]

В 1913 году В. М. Истрин в статье «Из документов архива братьев Тургеневых» опубликовал отрывок из письма А. И. Тургенева к брату Николаю от 11 августа 1832 года, в котором также приведена строфа Пушкина о Н. И. Тургеневе, причем против строки «Хромой Тургенев им внимал» А. И. Тургенев приписал: «т. е. заговорщикам; я сказал ему, что ты и не внимал им и не знавал их».[59] Хотя в дневнике А. И. Тургенев более откровенен, нежели в разговоре с поэтом, однако и в дневниковой записи, сделанной для себя, он явно полемизирует с формулировкой Пушкина, стараясь преуменьшить размах декабристского движения, — не толпа, а пять-шесть человек! В то же время жестокая расправа Николая I над декабристами неизменно вызывала осуждение со стороны А. И. Тургенева.

24 декабря 1831 года А. И. Тургенев проводил Пушкина из Москвы в Петербург, а вскоре, 4 апреля 1832 года, Александр Иванович также уезжает в столицу, где неоднократно встречается с Пушкиным. К середине 1832 года относятся хлопоты Пушкина, собиравшегося издавать газету «Дневник». Как видно из дневниковой записи от 4 июня 1832 года, А. И. Тургенев имел в этот день разговор с Жуковским и Пушкиным «о журнале» (т. е. о газете «Дневник»). Видимо, Пушкин предполагал

[58] Эта и другие записи о встречах с Пушкиным впервые напечатаны в моей статье «Пушкин в дневниках А. И. Тургенева 1831—1834 годов» (Русская литература, 1964, № 1, стр. 125—134).

[59] ЖМНП, 1913, нов. сер., ч. XLIV, март, отд. 2, стр. 17; см. также: Б. Томашевский. Десятая глава «Евгения Онегина». Литературное наследство, т. 16—18, М., 1934, стр. 388—389.

привлечь Александра Ивановича в сотрудники этого издания и хотел печатать в нем иностранные корреспонденции А. И. Тургенева, как он это потом осуществил в «Современнике».

Неприязненное отношение Николая I и высших правительственных сфер, которое А. И. Тургенев все время ощущал, вызывало у него опасения о невыдаче ему заграничного паспорта. И действительно, разрешение на выезд было дано ему лишь по личному распоряжению царя. Его положение в то время было настолько неопределенным, что он предлагал Жуковскому не ехать вместе с ним на одном пароходе, опасаясь неприятных последствий для Жуковского. Однако последний отклонил все возражения А. И. Тургенева и настоял на совместном выезде за границу, все ближайшие друзья пришли проводить их. 18 июня 1832 года Пушкин, Вяземский и В. В. Энгельгардт сели вместе с А. И. Тургеневым и Жуковским на пароход и проводили путешественников до Кронштадта. С тяжелым чувством покидал Александр Иванович друзей и родину, опасаясь, что ему не дозволят вернуться в Россию.

После благополучного плавания и пребывания в Ганновере, 12 июля н. с. А. И. Тургенев расстается с Жуковским и спешит в Геттинген. Без малого три десятилетия прошло с тех пор, как юный А. И. Тургенев впервые вошел в аудитории Геттингенского университета, но он по-прежнему жаждет новых, самых разнообразных знаний. Ему 48 лет, однако он, словно не чувствуя груза лет за плечами, спешит узнавать, узнавать, узнавать. Он посещает лекции по самым разнообразным предметам. Древняя история, римское право, библейская мифология, этнография, археология, философия, из естественных наук — ботаника, физиология, хирургия. С поразительным трудолюбием он конспектирует и разъяснения сложных философских терминов, и детали технологии крашения стекол! Волнующие встречи со своими старыми учителями Гееренам и Блуменбахом, знакомства с новыми геттингенскими профессорами, десять дней напряженной жизни в Геттингене, и снова в путь; 30 июля 1832 года он приезжает в Мюнхен, слушает лекции в местном университете, встречается с Шеллингом, видится с Тютчевым, а две недели спустя, 13 августа выезжает в Италию. 9 сентября 1832 года в Милане А. И. Тургенев знакомится с Глинкой, «который расположил меня тотчас в пользу свою несколькими словами о брате, для коего играл у В. В. Энгельгарда. Он сочинитель музыки и сам музыкант, играл прекрасно свои сочинения и пел изрядно; но „Соловьем“, коего так часто слыхал я за год пред сим в Москве, он почти до слез очаровал меня: все московское, недавно прошедшее, поднялось к сердцу — и оно словно замерло, когда я вспомнил, что вряд ли, без большого несчастия, приведется опять жить в Москве. Глинка сбирается там поселиться, по возвращении из Италии. . .».[60]

---

[60] ИРЛИ, ф. 309, № 12, л. 86.

Из Милана А. И. Тургенев едет в Венецию и там, наблюдая каторжников, пишет 20 сентября в свой дневник: «Смотря на этих колодников, гремевших цепями вокруг своего страждущего товарища, — я вспомнил, что наши сестры и дочери плясали в коронацию, под звук цепей, в коих шли их друзья и братья в Сибирь!.. Но другое воспоминание усладило сердце: молодые супруги летели туда же к супругам своим, зарыться с ними в вечных снегах!! до радостного утра!..».[61] Где бы ни был А. И. Тургенев, он носил в своем сердце боль за томящихся на каторге и в ссылке декабристов.

В начале декабря 1832 года А. И. Тургенев приезжает в Рим. 7 декабря он обедает с русскими художниками, знакомится с Брюлловым, посещает его мастерскую, где любуется знаменитой картиной «Последний день Помпеи» и заказывает ему свой портрет, воспроизведенный на фронтисписе настоящего издания. Вместе с изображением Александра Ивановича на полотне видна книга Н. И. Тургенева «О налогах», письмо С. И. Тургенева из Константинополя и «Элегия» брата Андрея. По замыслу А. И. Тургенева, его портрет должен был вызывать память о всех четырех братьях Тургеневых. Внизу портрета начертан жизненный девиз Александра Ивановича «Без боязни обличаху».

Помимо Брюллова, А. И. Тургенев постоянно видится в эти дни с художниками Кипренским и Александром Ивановым, Зинаидой Волконской, Соболевским, Н. М. Рожалиным, со всей многочисленной русской колонией. Сразу же по приезде в Рим А. И. Тургенев полностью отдáется изучению его достопримечательностей, древних и новых; в прогулках по вечному городу его сопровождает Стендаль, блестящий знаток итальянской истории архитектуры и живописи. Как свидетельствует А. И. Тургенев, Стендаль в свои искусствоведческие и исторические экскурсы беспрестанно вмешивал «любопытные сведения о теперешнем Риме и о римлянах, о папе и о кардиналах, о духовенстве и о здешней внутренней политике».[62] В конце декабря 1832 года А. И. Тургенев знакомится с Келером, поверенным в делах герцогства Вюртембергского, и записывает в свой дневник: «По его мнению, Италия накануне революции и Тоскана только *толерирует* свое правительство. Все готово вспыхнуть, как скоро австрийские войска оставят папские владения. Бель <Стендаль> так же думает».[63]

---

[61] Там же, л. 16.

[62] Там же, № 14, л. 13. — О встречах А. И. Тургенева со Стендалем и их отношениях см.: Переписка Александра Ивановича Тургенева с кн. Петром Андреевичем Вяземским, т. 1. Под ред. и с прим. Н. К. Кульмана (Архив братьев Тургеневых, вып. 6), II, 1921; Т. В. Кочеткова. Ранние переводы Стендаля в России. Стендаль в русской печати 1820—1840-х годов. Изв. АН Латв. ССР, № 4 (153), стр. 65—76; T. Kotchetkova. 1) Stendhal, Viazemski et les décabristes. Stendhal Club, № 8, 1960, pp. 311—319; 2) Stendhal en Russie. Stendhal Club, № 12, 1961, pp. 161—170; N. Kauchtschischwili. Stendhal et Tourgueniev à Florence en 1833. Stendhal Club, № 15, 1962, pp. 267—270.

[63] ИРЛИ, ф. 309, № 14, л. 19.

Как бы далеко в глубь веков ни проникала мысль А. И. Тургенева, какие бы древние памятники ни привлекали его внимание, какая бы чарующая природа ни окружала его, он ни на минуту не забывал, что он путешественник XIX века, что кругом кипит новая жизнь, которая столь же интересна и столь же достойна пристального внимания, как и величественные развалины минувших столетий.

В конце 1832 и в начале 1833 года А. И. Тургенев осматривает Рим и его окрестности, бывает в Неаполе, где в конце апреля встречает приехавшего на пароходе Жуковского. Неаполь, Флоренция, Сиена, Генуя, быстро мелькают сорок дней пребывания Жуковского в Италии — и снова разлука.

В начале июля 1833 года А. И. Тургенев спешит в Швейцарию, куда приезжает и брат Николай — в середине октября Александр Иваирович присутствует на свадьбе брата, женившегося на Кларе Виарис. Радуясь за брата, Александр Иванович с еще большей остротой ощущает свое одиночество, свою оторванность от друзей и родины.

Обратное трехнедельное странствование А. И. Тургенева от Женевы до Флоренции живо изображено им в его «Письме из Флоренции в Симбирск», напечатанном в «Московском наблюдателе» в 1835 году.

С ноября 1833 по 6 марта 1834 года А. И. Тургенев живет сначала в Милане, а затем в Риме, усиленно занимаясь латинским и итальянским языками — выписки из «Энеиды» Вергилия и «Божественной комедии» Данте непрерывно мелькают на страницах его дневника.

В начале марта 1834 года А. И. Тургенев направляется в родные края — Женева, Мюнхен, Вена, Киев, и, наконец, 20 мая ст. ст. он приезжает в Москву. Оживленные встречи со старыми друзьями и знакомыми: Вяземским, Чаадаевым, И. И. Дмитриевым, Баратынским, М. Ф. Орловым, И. В. и П. В. Киреевскими, Хомяковым, К. К. и Н. Ф. Павловыми.

В России А. И. Тургенев вновь столкнулся с проявлением цензурного гнета — 5 июня он записывает: «Полторацкий привез ко мне Полевого: он рассказал мне историю запрещения „Телеграфа". Увар‹ов› является во всем блеске. Я только слушал и сказал свое мнение об одном Ув‹арове›».[64] Экс-арзамасцы Уваров и Блудов, перешедшие на сторону правительства, вызывали в те годы резко отрицательные отзывы Пушкина, Вяземского и А. И. Тургенева. Хотя Н. А. Полевой разошелся с начала 30-х годов с пушкинским кругом, правительственная кара, обрушившаяся на «Московский телеграф», вызвала осуждение А. И. Тургенева.

16 июня 1834 года А. И. Тургенев выехал из Москвы в Симбирск и посетил свое имение: «Кончена сия книга в Тургеневе 1 июля 1834 г. в малом флигеле, на столе управляющего, в 7-м часу утра, в воскресенье. Меня прерывали крестьяне с дарами; но помеха эта не затрудняла меня. Женева и Тургенево слиты в сей книге, как в моей душе и в судьбе моей.

[64] Там же, № 311, л. 111 об.

О брат! отсутствие твое не мешает мне действовать здесь по сердцу твоему. Тени праотцев, утешьтесь и вы! Отец, призри на своего сына, прах твой мысленно лобызающего».[65] Слова о брате Николае подразумевают гуманное отношение последнего к крестьянам: еще летом 1818 года, несмотря на противодействие их матери, ярой крепостницы, Н. И. Тургенев перевел крестьян в Тургеневе с барщины на оброк:[66] «Ярем он барщины старинной Оброком легким заменил», — как писал Пушкин в «Евгении Онегине».

Возвратившись 1 сентября в Москву, А. И. Тургенев съехался с Пушкиным, который в первых числах сентября посетил ее вместе с женой и свояченицами. 9 сентября А. И. Тургенев навестил Пушкина, поэт прочел ему несколько страниц из «Истории Пугачева». Как пишет А. И. Тургенев, своим чтением Пушкин расшевелил его душу, «заснувшую в степях Башкирии»; «История Пугачева» показалась ему любопытной и оригинальной.

Дневники А. И. Тургенева неоспоримо доказывают, что Пушкин, считая Александра Ивановича в числе ближайших друзей, любил читать ему свои неопубликованные произведения. 15 октября в Петербурге он читал А. И. Тургеневу поэму «Медный всадник», запрещенную Николаем I. Прослушав «Медного всадника», А. И. Тургенев делает лаконичную и выразительную запись: «Превосходно». На следующий день А. И. Тургенев беседовал с Пушкиным о Чаадаеве. Скорее всего, разговор шел о «Философических письмах» Чаадаева. Ведь с рукописью шестого и седьмого «Философических писем» Пушкин был знаком еще с середины 1831 года; также известно, что Чаадаев давал читать А. И. Тургеневу «Философические письма» и имел с ним неоднократные беседы на исторические и историко-религиозные темы.

Два с половиной месяца прожил А. И. Тургенев в Петербурге и за это время 16 раз виделся с Пушкиным, беседуя с ним на самые разнообразные темы. Новые произведения Пушкина, памятники древнерусской письменности, татарское иго, деятельность Петра I, Екатерины II, Вольтера, Карамзина, Ермолова, Паскевича, нашествие Наполеона на Россию — «все подвергалось их суду». Особый интерес представляет запись от 16 ноября, в которой А. И. Тургенев рассказывает о том, что он «обедал у новорожденной Карамзиной с Жуковским, Пушкиным, Кушниковым. Последний о Суворове говорил интересно. Проврался о гр. Аракчееве по суду Жеребцова, „лежачего не бьют“, и казнивший беременных женщин спасен

[65] Там же, л. 117 об.

[66] Подробнее об отношении братьев Тургеневых к крестьянам см.: А. Н. Шебунин. Братья Тургеневы и дворянское общество Александровской эпохи. В кн.: Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. Изд. АН СССР, М.—Л., 1936, стр. 79—86; В. М. Тарасова. Экономика Симбирской губернии в первой трети XIX века и хозяйство Тургеневых. Уч. зап. Марийск. пед. инст., т. 9, 1955, стр. 24—86.

от казни, а сидевшие в крепости — казнены». Эта лаконическая и на первый взгляд мало понятная запись А. И. Тургенева скрывает разговор на остро политическую тему. С. С. Кушников, племянник Карамзина, адъютант Суворова во время итальянского похода 1799 года, говорил о заступничестве Аракчеева за новгородского губернатора Д. С. Жеребцова, который бесчеловечно вел следствие над заподозренными в убийстве любовницы графа: «Губернатор превратил свой дом в застенок, с утра до ночи возле его кабинета пытали людей. Старорусский исправник, человек, привычный к ужасам, наконец изнемог, и, когда ему велели допрашивать под розгами молодую женщину, беременную во второй половине, у него недостало сил. Он взошел к губернатору — это было при старике Попове, который мне рассказывал, — и сказал ему, что эту женщину невозможно сечь, что это прямо противно закону; губернатор вскочил с своего места и, бешеный от злобы, бросился на исправника с *поднятым кулаком:* „Я вас сейчас велю арестовать, я вас отдам под суд, вы — *изменник*!". Исправник был арестован и подал в отставку <...> Женщину пытали, она ничего не знала о деле..., однако ж умерла <...> Губернатора велено судить сенату..., оправдать его даже там нельзя было. Но Николай издал милостивый манифест после коронации; под него не подошли друзья Пестеля и Муравьева — под него подошел этот мерзавец».[67]

Так рассказывает Герцен, знавший о злодеяниях Жеребцова от новгородских очевидцев. Подобно А. И. Тургеневу, Герцен невольно сопоставляет помилование новгородского губернатора с суровым приговором декабристам, на которых не был распространен манифест царя: таково было «правосудие» Николая I.

Оппозиционный образ мыслей А. И. Тургенева вызывал враждебное отношение к нему в верноподданнических дворянских гостиных. Брат декабриста, осмеливающийся не подавать руки высшим царским сановникам, осудившим брата, друг Пушкина, Вяземского, Чаадаева, А. И. Тургенев был предметом пересудов и клеветы. Вернувшись в декабре 1834 года в Москву, он узнает, что досужие кумушки поторопились похоронить его, распустили слух, «что якобы он отравился от долгов: жаль, что нет Грибоедова! Комедия готова»,[68] — с возмущением записывает он в дневник.

А. И. Тургенев приехал в Москву 11 декабря 1834 года, в самый разгар хлопот по организации нового журнала «Московский наблюдатель». Он постоянно встречается с учредителями этого журнального начинания. Вот несколько записей из дневника: «19 декабря... Обедал у Орлова с Баратын<ским>, Чадаев<ым>, Ден<исом> Давыдов<ым> и с Раевскими новобрачными»; «23 декабря... Обед у Орлова с Дмитр<иевым> и с Раев<скими>. После и Хомяков»; «24 декабря... у Свербеев<а>, разби-

---

[67] А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. IX, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 88—89.

[68] ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 27 об. (Запись от 29 декабря 1834 года).

рал с ним и с Мельгуновым мои журналы — до полуночи»; «26 декабря... у Орлова: об энциклоп<едическом> журнале; ответ Цинского»; «27 декабря. Писал ко всем Путятиным одно письмо и к Жук<овскому> о Цинском, о позволении дать стихи его в *Наблюдателя*. Мельгунов у меня».[69]

Из этих записей видно, что А. И. Тургенев не только был осведомлен о подготовке нового издания, но и участвовал некоторым образом в его делах. Недовольные каким-то ответом московского обер-полицеймейстера Цынского по поводу своего издания, учредители обратились за помощью к А. И. Тургеневу, который немедленно написал об этом в Петербург Жуковскому, одновременно прося у него разрешения передать его стихотворения для опубликования их в «Московском наблюдателе».

Учредители предложили А. И. Тургеневу принять участие в новом печатном органе. В дневнике за январь 1835 года встречаются записи, имеющие прямое отношение к этому вопросу: «4 генваря... Кончил вечер у Свербеев<а> с Хомяков<ым>, Чадаев<ым>, Андросов<ым>, Мельгунов<ым>, Шевырев<ым>, т. е. с большею частию издателей нового журнала: я, а потом Хомяков рассуждали с Чадаев<ым> о католицизме»; «Генваря, 13... Но забыл главное в утре: два часа почти у Мельгун<ова> читал им письмо к Аржев<итинову> от Женевы до Флор<енции>. Тут и Павлов и издатель журнала»; «Генваря 14... Получил записки мои от Мельгунова»; «Генваря 15. Разбирал журналы с Мельгунов<ым> и дал ему стихи Мезофанти к кн. Вязем<ско>му, обещал и копию с письма моего к нему»; «22 генваря... Баратынский привез ко мне экз<емпляр> нового издания своих сочин<ений>, взятый им у жены; перевел стих Гете <пропуск> и приписал в моем письме из Швейцарии, которое отдаю в журнал. Павлов прислал свою книгу. Мельгунов сидел у меня».[70]

Как мы видим, А. И. Тургенев знакомил редакцию «Московского наблюдателя» со своими дневниками и бумагами, читал им письма из Флоренции (1833 года) к своему двоюродному брату А. И. Аржевитинову, жившему в Симбирске: поэтому корреспонденция А. И. Тургенева и озаглавлена «Письмо из Флоренции в Симбирск». Подготовленная самим автором к печати, эта обширная корреспонденция знакомит нас с писательской манерой А. И. Тургенева: если сравнить «Письмо из Флоренции в Симбирск» с другими публикациями писем А. И. Тургенева, отредактированными не им самим, то легко понять неоднократные жалобы А. И. Тургенева, обращенные к Вяземскому и другим издателям его корреспонденций, — «Письмо из Флоренции в Симбирск» тщательно стилистически выправлено, из него удалены мелочи личного порядка, словом, из частного письма оно превращено в занимательный путевой очерк.

Спустя несколько дней после передачи «Письма из Флоренции в Симбирск» учредителям «Московского наблюдателя», 27 января 1835 года

[69] Там же, лл. 26 об.—27.
[70] Там же, лл. 30, 32 об., 33, 35 об.

А. И. Тургенев покинул Москву и отправился в свое очередное заграничное странствие.

Март—май 1835 года А. И. Тургенев проводит в Италии, июнь — в Париже, август — в Лондоне. Посетив в день приезда в английскую столицу итальянский театр и прослушав в нем оперы «Пуританe», «Марино Фальеро» и «Анна Болейн» с участием Тамбурини, Рубини, Гризи и Иванова, А. И. Тургенев пишет в своем дневнике: «Гордиться ли русским талантом Иванова и рукоплесканиями ему лонд<онской> публики? Нет. Мы давно на все это мастера; у нас и пляшут и поют по-итальянски, и по-русски, и по-цыгански! Но не в этом дело! Я бы вскочил от биения русского сердца при первой книге в пользу прав и народа, при первой здравой мысли в пользу правосудия, в пользу крестьян, при первой книге философической — при первом благородном подвиге благородного или раба русского! Дотоле отпущу бороду русскую, в знак русского барбаризма, который не выбрит нам Петром I, нет. Я был в Симбирске, в Москве, в п<етер>бургских салонах с Сухозанетом и у московских приятелей с самохвалом — Д<авыдовым>. Я сохраню бороду».[71]

В этом страстном высказывании А. И. Тургенев противопоставляет себя, ратовавшего за отмену крепостного права и проповедовавшего гуманность в отношении Польши, участнику расстрела на Сенатской площади И. О. Сухозанету и Денису Давыдову, хваставшему 31 октября 1831 года в присутствии А. И. Тургенева своим участием в подавлении польского восстания.[72]

О своей жизни в Риме и в Лондоне в 1835 году А. И. Тургенев рассказал в «Отрывках из заграничной переписки», опубликованных в октябрьском и ноябрьском номерах «Московского наблюдателя». Печатанием этих «Отрывков» закончилось его участие в этом журнале. Поведение редакции, которая забывала высылать А. И. Тургеневу даже те книжки «Московского наблюдателя», в которых печатались его корреспонденции, не располагало к постоянному сотрудничеству. К тому же в начале 1836 года он получил известие из Петербурга, что Пушкину дано разрешение на издание «Современника»: А. И. Тургенев прекращает всякие сношения с «Московским наблюдателем» и становится сотрудником пушкинского журнала.

VII

В сентябре 1835 года А. И. Тургенев возвращается из Лондона в Париж и до середины июня 1836 года живет во французской столице. Полтора года, проведенные вдали от родины, он отдает кропотливым разысканиям в архивах Рима, Ватикана, Лондона и Парижа материалов,

[71] Там же, л. 101 об.
[72] Там же, № 325, л. 116.

относящихся к русской истории. Подробно о своих занятиях в иностранных архивах А. И. Тургенев рассказал в «Хронике русского», опубликованной в 1837 году в «Современнике». Эта «Хроника» была прочитана в рукописи Пушкиным и одобрена им. В своем письме к А. И. Тургеневу Пушкин писал 16 января 1837 года: «Вот Вам Ваши письма. Должно будет вымарать казенные официальные фразы и также некоторые искренние, душевные слова, ибо не мечите etc. Чтó Вы вставите, то постарайтесь написать почетче. Думаю дать этому всему вот какое заглавие: труды, изыскания, *такого-то* или *А. И. Т.* в Римских и Парижских архивах. Статья глубоко занимательная».[73]

Разыскания исторических документов о России, хранившихся в европейских архивах, проводились А. И. Тургеневым с исключительной настойчивостью. Благодаря его неистощимой энергии и многочисленным знакомствам перед ним раскрылись двери секретнейших итальянских и французских архивов, куда в те времена почти не допускали исследователей, а тем более иностранцев. А. И. Тургенев справедливо считал свою работу в иностранных архивах выполнением своего патриотического долга, своей посильной помощью будущим историкам России. В то же время он не отделял своих исторических разысканий от неустанных размышлений о настоящем и будущем своей родины. В этом отношении исключительный интерес представляет его запись в дневнике, сделанная 28 марта 1836 года в Париже: «Опять новая книга! Удастся ли ее кончить здесь же и когда? Предшествующую начал я в Тургеневе за 21 месяц пред сим. Бу́дет ли и эта моей спутницей заволжской? Надеюсь опять дышать родным воздухом прежде двух лет разлуки. Судьба мыкает меня из края в край, не в пользу ни мне, ни другим. Ум и сердце желают быть на месте, угомониться; а что-то неодолимо мчит меня от Колмогора до Неаполя, с берегов Сены и Дуная на Москву-реку, с Темзы на Волгу! Едва могу я дать отчет самому себе в побудительной причине странствий моих: прежде брат и хлопоты хозяйственные; теперь также брат, — но уже более для себя, нежели для него — и устройство дел деревенских. Но сверх того в сем последнем странствии было и — дело отечественной истории. Я возвращусь в Россию с богатыми приобретениями, с сокровищами старой России о недавно и давно прошедшем быте ее. Здесь и в Италии собрал я материалы ее истории, я могу обогатить ими нашу словесность, могу дополнить (les lacunes) недостающее в нашей новейшей истории. Я *трудился* не для себя, не по одной прихоти, не из одного удовлетворения собственному

---

[73] А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в десяти томах, т. X, Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 618—619. — В комментарии к этому письму Б. В. Томашевский ошибочно указал: «*Труды, изыскания* — Тургенева в форме писем в „Современнике" не появились» (там же, стр. 755). Совершенно очевидно, что в письме Пушкина речь идет о «Хронике», которая была напечатана в первом номере «Современника», вышедшем после его смерти.

любопытству. Я провел здесь все лето и часть зимы в архивах; я хлопотал с библиотекарями в Ватикане, и в Лондоне, и во Флоренции. Есть видимый плод трудов моих: могу указать на него; могу быть издателем важных государственных бумаг, озарить светом истории тайны дипломатические, уличить интриги министров и людей государственных и придворных, доказать предательство и корыстолюбие знатных и даже — прекрасного пола. В вихре парижской зимы и в зефирах весны римской я жил — для России. Здешние дипломаты не помогали мне, соотчичи нередко чуждались; и вряд ли и те и другие сплетнями не вредили моим занятиям: но я в труде находил награду труда; в архивах иностранных — русскую старину; в донесениях чужеземных — пользу и выгоды России; от клеветы отличал истину, часто стыдился за русских, но сравнивая своих с чужеземцами, Талейрана с Остерманом, одну эпоху с другою в возрастах народов, видел в законах, по коим растут, падают и гниют народы, а с ними и единицы — одно повторение, одно и то же. Посол-церемониймейстер Шетарди в П<етер>бурге разве менее смешон к<нязя> Куракина при Наполеоне? Первого провела хитрая Елисавета, другая Ольга; к<нязь> Куракин был дипломатическою жертвою французского императора. Чья оскорбленная гордость народная не утешится, видя двор и деспотизм и эгоизм Лудвига XIV? Кто не уживется с слабостями, с пороками своих, видя, что Тацит 17-го и 18-го века, St.-Simon, муж по уму государственный, выпускает из рук единственный прекрасный случай пособить бедам государственным, тяготевшим над последними годами царствования Лудвига XIV, советами внуку-наследнику и в первые две аудиенции толкует ему не о бедствиях народных, не о разврате двора, не о пакостях иезуитских, а — о правах и привилегиях герцогов и перов! — У нас по крайней мере к<нязь> Димитрий Голицын ищет в смутах двора и в смене государей — средство к лучшему государственному устройству: — конечно немногие отозвались на глас патриота! Пытки, кнут и плаха были уделом смелых патриотов, и они погибли вместе с их надеждами, погибли и для истории, для благодарного потомства; но спаслось хоть одно имя. Узнает ли Россия, кто сочувствовал тогда патриоту Голицыну? Может быть и прах Самсониевской ограды скрывает святых мучеников гражданской свободы? Может быть могила их не навсегда заросла травою; может быть зеленеющий кипарис осенит ее своею тению и луч бессмертия загорится на прахе их».[74]

Не вдаваясь в правильность тех или иных оценок А. И. Тургенева (в частности, современная историческая наука не подтверждает его догадки о том, что расправа Анны Ивановны с Д. М. Голицыным была вызвана борьбой последнего за гражданские свободы, так как Д. М. Голицын был типичным представителем дворянской фронды, стремившимся подчинить царскую власть воле высшего боярства), укажем на общий

---

[74] ИРЛИ, ф. 309, № 316, л. 1.

прогрессивный характер его исторических воззрений; на его явное осуждение государственных деятелей, не считающихся, в первую очередь, с народными нуждами (в качестве образца А. И. Тургенев вспоминает французского политического деятеля, автора многотомных мемуаров герцога Луи Сен-Симона де Ревруа); на его стремление отыскивать в анналах отечественной истории борцов за гражданские свободы — внося в дневник строки о Д. М. Голицыне, А. И. Тургенев, конечно, не мог не думать о своих друзьях-декабристах; однако, собираясь возвращаться на родину, он по понятной причине не рискнул дать волю своему перу: ведь в России его дневники могли попасть в руки III Отделения.

Документы, собранные А. И. Тургеневым в иностранных архивах, были изданы Археографической комиссией под наблюдением А. Х. Востокова.[75] Первому тому этого ценнейшего издания предпослано предисловие от Археографической комиссии, в котором, в частности, даны сведения о происхождении и составе этого собрания: «Началом ему послужили выписки, сделанные ученым аббатом Альбертранди из Ватиканской и других римских библиотек на латинском, италианском и польском языках для историка Нарушевича, по воле польского короля Станислава Августа. Экземпляр их, писанный рукою Альбертранди, подарен был королем тогдашнему российскому посланнику в Варшаве, от которого он впоследствии достался действительному статскому советнику и камергеру А. И. Тургеневу. Карамзин пользовался упомянутыми выписками при сочинении III, VII, VIII, IX, X, XI и XII томов Истории Государства Российского и в одном месте (том IX, прим. 408) именно объявил о будущем их издании г. Тургеневым. Но разные обстоятельства с одной стороны отвлекали последнего от исполнения сего намерения, а с другой доставили ему самому случай собрать обильнейшую для отечественной истории жатву в иностранных библиотеках и архивах, во время путешествий по Германии, Италии, Франции, Англии, Дании и Швеции. В одном Риме удалось ему составить коллекцию, богаче Альбертрандиевой, которую предполагал напечатать. При содействии начальника Ватиканского тайного архива графа Марино Марини, он извлек более 400 актов из сей, можно сказать, всемирной сокровищницы, где лежит более двух миллионов одних папских булл, и хранятся, начиная с VII столетия, все сношения Рима с прочими государствами, дела нунциатур или донесения папских послов из мест их пребывания, и так называемые регесты (Res gestae) или современные описания событий целого мира, и где все сие еще ожидает трудолюбивых деятелей, чтобы пролить новый свет на

[75] Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек А. И. Тургеневым, т. I. Выписки из Ватиканского тайного архива и из других римских библиотек и архивов, с 1075 по 1584 год (СПб., 1841); том II. Выписки из Ватиканского тайного архива и из других римских библиотек и архивов, с 1584 по 1719 год. Прибавление, содержащее в себе акты, относящиеся до других славянских земель, с 1231 по 1308 год. Акты, извлеченные из архивов и библиотек Англии и Франции, с 1557 по 1679 год (СПб., 1842).

историю европейских народов. Но доселе только германцы могли похвалиться составленным отчасти из Ватиканских актов Перцовым собранием Monumenta Germaniae historica, для которого приезжал в Рим барон Штейн, первоначальный их собиратель; теперь же и русские приняли участие в столь полезном деле. Библиотеки и архивы других столиц открыли г. Тургеневу также весьма любопытные документы для отечественной истории, особенно Королевская Парижская библиотека и архив Французского министерства иностранных дел».[76]

Этим двухтомным изданием документов, относящихся к древней истории России, исчерпываются материалы из исторической коллекции А. И. Тургенева, опубликованные при его жизни. Как он и опасался, печатание документов по русской истории со времен Петра I было признано несвоевременным. Некоторое понятие о сокровищнице тургеневского собрания могло быть получено читателем из нескольких обозрений, напечатанных Б. М. Федоровым в «Журнале Министерства народного просвещения» за 1843 и 1844 годы. Документы, собранные А. И. Тургеневым, были частично использованы его братом Н. И. Тургеневым во втором томе его труда «La Russie et les Russes» (Paris, 1847). Выписками А. И. Тургенева воспользовался П. Пекарский, издав книгу «Маркиз де ла Шетарди в России 1740—1742 годов». Перевод рукописных депеш французского посольства в Петербурге. Издал с примечаниями и дополнениями П. Пекарский (СПб., 1862). Книга «La cour du Russia il y a cent ans 1725—1783», напечатанная в Берлине и выдержавшая три издания (два в 1858 г., третье в 1860 г.), составлена также по донесениям французских и английских посланников, собранных А. И. Тургеневым.[77]

Однако большая часть выписок А. И. Тургенева осталась под спудом. Лишенный возможности публиковать многие исторические документы, А. И. Тургенев широко знакомил со своими находками русских историков и писателей. Копии бумаг по истории России, снятые в Римском архиве, он показывал М. П. Погодину и Н. А. Полевому,[78] материалы по истории славян — Ю. И. Венелину. Как видно из письма А. И. Тургенева к Ф. Аделунгу от 22 мая 1837 года, он давал ему исторические документы

---

[76] Там же, т. I, стр. V—VII. — В архиве А. И. Тургенева сохранилась его переписка с Марино Марини (1833—1840), историческая справка о членах фамилии Марини и материалы о награждении Марино Марини русскими орденами (ИРЛИ, ф. 309, №№ 1844—1847).

[77] Позднее донесения французских послов в Петербурге были вновь скопированы по просьбе русского посла в Париже и изданы в сборниках Русского исторического общества (т. 34, 1881; т. 40, 1884; т. 49, 1885; т. 52, 1886).

[78] В бумагах А. И. Тургенева сохранились письма к нему Н. А. Полевого от 8 марта и 8 сентября 1834 года, а также две докладные записки (одна краткая, другая более пространная), излагающие историю возникновения выписок А. И. Тургенева из Ватиканского архива. Эти записки были написаны Н. А. Полевым по просьбе А. И. Тургенева и должны были облегчить последнему хлопоты по изданию его коллекции исторических документов (ИРЛИ, ф. 309, № 1022 б.).

из своей коллекции;[79] в бумагах Ф. Аделунга сохранились списки документов XII—XVII веков из иностранных архивов, полученные им от А. И. Тургенева.[80]

В последнее время исторические бумаги А. И. Тургенева привлекли внимание И. Фейнберга: ему удалось установить на основании дневника А. И. Тургенева, что последний знакомил Пушкина в конце 1836 года и в начале 1837 года с наиболее интересными документами из своего богатейшего архива.[81]

Коллекция исторических бумаг А. И. Тургенева — неотъемлемая часть его литературного наследия, оценка которого немыслима без учета его плодотворной деятельности по созданию русского исторического источниковедения.

VIII

Как уже сказано выше, прекратив печатание своих корреспонденций в «Московском наблюдателе», А. И. Тургенев становится сотрудником пушкинского «Современника». Письма А. И. Тургенева до своего появления в печати читались и обсуждались в пушкинском кругу. 29 декабря 1835 года Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Я читал твое письмо в субботу у Жуковского, который сзывает по субботам литературную братью на свой олимпический чердак. Тут Крылов, Пушкин, Одоевский, Плетнев, барон Розен etc, etc. Все в один голос закричали: „Жаль, что нет журнала, куда бы выливать весь этот кипяток, сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего!“».[82] Естественно, что сразу же, после получения Пушкиным разрешения на издание журнала, встал вопрос о помещении на его страницах заграничных корреспонденций А. И. Тургенева — 19 января 1836 года Вяземский сообщал ему: «Пушкину дано разрешение выдавать журнал, род „Quarterly Review“. Прошу принять это не только к сведению, но и к исполнению и писать свои субботние письма почище и получше; только с тем, что ты не последуешь русскому обычаю вышереченному, то есть, „тех же щей, да пожиже“; нет, „тех же щей, да побольше“, потому что мы намерены расходовать тебя на здоровье журналу и читателям. Пушкин надеется на тебя».[83]

Предложение Пушкина и Вяземского обрадовало А. И. Тургенева — он с радостью дал согласие на печатание его писем в «Современнике». Однако получив первый номер «Современника», в котором некоторые его письма

---

[79] Архив АН СССР (Ленинград), ф. 89, оп. 2, № 102.
[80] Там же, оп. 1, №№ 24, 25, 60.
[81] См.: И. Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина. Изд. третье, дополненное. Изд. «Сов. писатель», М., 1962, стр. 162—187.
[82] ОА, т. III, СПб., 1899, стр. 281.
[83] Там же, стр. 286.

были опубликованы, он вышел из себя. 1 июня (20 мая) 1836 года он пишет следующую отповедь Вяземскому и Жуковскому: «Сию минуту прочел я „Современник": я еще весь в жару и в бешенстве. Никогда я не ожидал от вас такой легкости, едва ли не преступной, и неосмотрительности — разве я позволял вам печатать все ничтожности и личности? Разве вы не могли обдумать, что для меня от этого в Париже выйти может? Разве могу я явиться пестрым шутом даже и в ваш свет? Разве имена и комеражи позволяются? ... Теперь ваша обязанность, обязанность Пушкина и Вяземского спасти меня от дальнейших неприятностей, сказав, что это я посылал к себе мой дневник, не скрывая ни дел, ни мнений от друзей, но никогда не желая о других мыслить вслух с публикой. Я не могу опомниться от такого чтения! .. Повторяю запрещение печатать что-либо во второй книжке, кроме объяснения в мою пользу. Но чтобы объяснение не повредило мне более и не обратило более еще внимания и здешних и ваших дипломатов и проч.».[84]

Упреки А. И. Тургенева Вяземскому и Пушкину за недостаточно тщательный отбор материала для «Хроники русского» справедливы лишь отчасти — он не учитывал, что сведения о многих французских политических событиях, в частности описание процесса над Фиески и другими участниками покушения на жизнь Луи-Филиппа, были вымараны по требованию царской цензуры[85] — эти вынужденные изъятия обеднили текст «Хроники русского» и некоторые второстепенные события заняли в ней неподобающее своему значению положение.

Пушкин и Вяземский охотно откликнулись на просьбу А. И. Тургенева — во втором номере «Современника» было напечатано написанное Вяземским редакционное объяснение,[86] которое, защищая автора «Хроники русского» от возможных нареканий, в то же время с поразительной верностью характеризовало своеобразие этих писем-корреспонденций: «Глубокомыслие, остроумие, верность и тонкая наблюдательность, оригинальность и индивидуальность слога полного жизни и движения, которые везде пробиваются сквозь небрежность и беглость выражения, служат лучшим доказательством того, чего можно было бы ожидать от пера, писавшего таким образом *про себя*, когда следовало бы ему писать *про других*. Мы имели случай стороною подслушать этот à part, подсмотреть эти ежедневные, ежеминутные отметки, и торопились, как водится ныне в эпоху разоблачения всех тайн, поделиться удовольствием и свежими современными новинками с читателями „Современника". Можно было бы, и по не-

---

[84] Литературное наследство, т. 58, М., 1952, стр. 128—129.

[85] О цензурных затруднениях с опубликованием «Хроники русского» см.: С. А. Переселенков. Материалы для истории отношений цензуры к А. С. Пушкину. Пушкин и его современники, вып. VI, СПб., стр. 4—6.

[86] Авторство Вяземского устанавливается свидетельством Н. И. Тургенева — см.: Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу, стр. V.

которым отношениям следовало бы для порядка, дать этим разбросанным чертам стройное единство, облачить в литературную форму. Но мы предпочли сохранить в нем живой, теплый, внезапный отпечаток мыслей, чувств, впечатлений, городских вестей, булеварных, академических, салонных, кабинетных движений, — так сказать *стенографировать* эти горячие следы, эту лихорадку парижской жизни».[87]

Редакционное объяснение полностью удовлетворило А. И. Тургенева — 14 июля 1836 года он писал Вяземскому: «Прочитав статью во второй книжке, я тронут был благодарностию к незаслуженной похвале и за скорое исполнение моей просьбы; сбирался сегодня же писать к вам и предоставить опять печатанию всякой всячины из писем моих, с тем, однако ж, что для избежания неприятностей или привязок можно бы доставлять мне в Москву или в Симбирск на предварительное рассмотрение и пополнение приготовленных к печати отрывков... Извините и простите, если озаботил вас требованием не печатать ничего в следующих книжках. Если Пушкин может взять на себя пересмотр и исправление писем моих, то пусть печатает, что ему угодно, но предварительно пусть доставит и письма, и выборку из них для печати на мое рассмотрение».[88] Печатание «Хроники русского» было возобновлено в четвертом томе «Современника».

Пушкин, как и Вяземский, высоко ценил «Хронику русского». До нас, к сожалению, не дошла записка Пушкина к А. И. Тургеневу от первой половины марта 1836 года, о которой имеется краткая запись в дневнике А. И. Тургенева.[89] Но сохранилось письмо Вяземского к А. И. Тургеневу от 8 апреля 1836 года, в котором мы читаем: «Пушкин просит тебя, Христа и публики ради, быть отцом-кормилицею его „Современника" и давать ему сосать твои полные и млекоточивые груди, которые будут для него слаще птичьего молока».[90] Позднее, уже после гибели Пушкина, А. И. Тургенев записал 18 (6) февраля 1838 года в своем дневнике: «Теперь все приутихло в уме, как и в сердце, особливо с тех пор как журнал Пушкина предпочитает статьи о *тамбовском патриотизме* письмам, коих строки Пушкин хотел вырезать на меди — золотыми буквами!».[91]

Чтение корреспонденций «Хроники русского», опубликованных в пушкинском «Современнике», позволяет утверждать, что Пушкин был прав, давая высокую оценку письмам А. И. Тургенева. Даже обескровленные цензурными изъятиями, корреспонденции А. И. Тургенева знакомили читателей журнала со многими французскими политическими событиями и литературными новинками. В «Хронике русского» уделено много места

[87] Современник, 1836, т. II, стр. 311—312.
[88] ОА, т. III, СПб., 1899, стр. 323—324
[89] ИРЛИ, ф. 309, № 316, л. 10 об.
[90] ОА, т. III, СПб., 1899, стр. 312.
[91] ИРЛИ, ф. 309, № 318, л. 26.

смене французского кабинета: в феврале 1836 года пал кабинет доктринеров во главе с Гизо, уступив место правительству Тьера. Яркие портреты этих двух государственных деятелей Франции, определявших ее политику в те годы, встают со страниц корреспонденций А. И. Тургенева. И хотя мы явно чувствуем симпатию автора по отношению к Гизо — он всегда отдавал должное его историческим трудам, — тем не менее А. И. Тургенев сумел стать выше этой дружеской приязни и высказал нелицеприятное мнение о его буржуазных политических взглядах. А. И. Тургенев был достаточно дальновиден и искушен в современной ему политике, чтобы понять незначительность в расхождениях между доктринерами и сторонниками Тьера. Он прозорливо отмечает, что политические мнения преемников «не разнствуют существенно от доктринеров».

Красочные картины народных гуляний сменяются в письмах А. И. Тургенева описанием театральных представлений, беглым пересказом религиозных проповедей, повествованием о посещениях литературных салонов, сообщением о новых произведениях Гюго, Шатобриана, Ламартина, о чтении наиболее примечательных книг и журналов. Признаваясь, что он «совсем неохотник до наук точных», А. И. Тургенев советует следить за их развитием. Живя с веком наравне, он понимает, что «иначе взгляд на мир нравственный, на мир интеллектуальный и даже политический будет не верен». «С тех пор, как я справляюсь об успехах машин и о газе, я лучше сужу о Лудвиге XIV и о Петре Великом», — с полным основанием пишет он в «Хронике русского». Такая позиция А. И. Тургенева безусловно встречала полное понимание со стороны Пушкина, поместившего в первом томе «Современника» обширную статью П. Б. Козловского о «Парижском Математическом ежегоднике».

Суждения А. И. Тургенева о возрастающем влиянии точных наук на дальнейшее развитие человеческого общества указывают на устремленность его мысли в будущее, на его прозорливость. Мысль А. И. Тургенева о взаимном проникновении различных наук получила блестящее подтверждение в наши дни.

Наконец, в корреспонденциях А. И. Тургенева живо и привлекательно рассказана биография известного революционера Буонаротти, участника заговора Бабефа, — цензура явно оплошала, пропустив в печать жизнеописание Буонаротти, а А. И. Тургенев боялся, чтобы «Хроника русского» не повредила Буонаротти, который нелегально жил во французской столице. Но как бы то ни было, русский читатель с интересом знакомился по корреспонденциям А. И. Тургенева с величественной фигурой французского революционера.

При первоначальном беглом чтении «Хроники русского» может сложиться мнение об излишней пестроте повествования, о салонной словоохотливости автора. Однако такое мнение было бы глубоко ошибочным. Именно непринужденная форма светских на первый взгляд писем

А. И. Тургенева позволила Пушкину, несмотря на цензурные затруднения, напечатать в «Современнике» эти корреспонденции, в которых было так много нового и поучительного для русского читателя.

IX

14 июня 1836 года А. И. Тургенев выехал из Парижа на родину. Посетив по дороге осиротевший Веймар и поклонившись праху Гете, А. И. Тургенев через Дрезден и Варшаву направляется в Москву. Здесь он видится с Чаадаевым, И. И. Дмитриевым, Соболевским, Погодиным, Венелиным, Загоскиным и многими другими друзьями и знакомыми, посещает спектакли московских театров. 21 июля (ст. ст.) он смотрит комедию Гоголя: «. . . в театр: давали „Ревизора“ — и прекрасно, если красота в истине, в точности изображения нравов или безнравственности, разврата русского народа. Всякий из нас, служивших и имевших власть, встречал в жизни служебной их оригиналов; даже едва ли не каждый из нас бывал plus ou moins <более или менее> в положении ревизора; хотя и не каждый брал взятки».[92] Творчество Гоголя (с самим писателем А. И. Тургенев познакомился не позднее декабря 1834 года) было близко А. И. Тургеневу обличением крепостнической и чиновничьей России. В последующие годы он много раз встречался с Гоголем и за границей, и в России.

Август и сентябрь 1836 года Александр Иванович провел в Симбирске и Тургеневе в хлопотах по продаже имения своему двоюродному брату Б. П. Тургеневу. Семейная жизнь брата Николая во Франции требовала больших расходов, и А. И. Тургенев, скрепя сердце, решился на продажу Тургенева — ему было жалко расставаться с родным гнездом, стыдно продавать землю вместе с крестьянами: «Сердце не спокойно за них, хотя совесть и не упрекает в главном; — но и моя совесть — *помещичья!* Так ли я бы судил другого на моем месте? Так ли бы я судил не в России!».[93]

5 октября 1836 года А. И. Тургенев вернулся в Москву, где ему в третий раз пришлось столкнуться с закрытием неугодного царскому правительству журнала: в 1832 году «Европеец», в 1834 году «Московский телеграф», теперь, в 1836 году, «Телескоп». Как известно, за напечатание первого «Философического письма» Чаадаева автор, по приказанию царя, был объявлен сумасшедшим, журнал запрещен, а его редактор Н. И. Надеждин сослан в Усть-Сысольск под надзор полиции. 30 октября А. И. Тургенев записывает: «Шевырев привез ко мне выписки из моих итал<ьянских> бумаг. Я ими очень доволен; в ту же минуту и он и Павлов уведомили меня об отобрании бумаг у Чаад<аева> и о слухе о Вологде. Я поехал к нему с Павл<овым>, нашел его хотя в душевном страдании, но довольно спокойным; он уже писал ко мне и просил книг, и пред-

---

[92] Там же, л. 40 об.
[93] Там же, л. 52 об.

лагал писать к гр. Бенк<ендорфу>!! И мой портрет взяли у него! И верно донесено будет о сем визите».[94] В руки III Отделения при обыске у Чаадаева попал брюлловский портрет А. И. Тургенева с подписью: «Без боязни обличаху». Хотя изъятие портрета вызвало беспокойство А. И. Тургенева, он продолжал навещать опального друга.

20 ноября 1836 года А. И. Тургенев покидает Москву и едет в столицу, где вновь встречается с Пушкиным, отбирает с ним письма-корреспонденции для «Современника», знакомит его с материалами своих исторических разысканий, беседует с ним на различные темы. Как подсчитал П. Е. Щеголев, «в дневнике А. И. Тургенева за период с 25 ноября 1836 года по 26 января 1837, т. е. за два месяца нашлось 28 упоминаний о Пушкине, его семье и его обстоятельствах».[95] В письме к И. С. Аржевитинову от 30 января 1837 года А. И. Тургенев писал: «...последнее время мы часто виделись с ним и очень сблизились, он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные. Сколько пропало в нем для России, для потомства, знают немногие».[96] Записи дневника А. И. Тургенева неопровержимо свидетельствуют, что он не преувеличил своей близости к поэту: Пушкин делился с ним своими историческими раздумиями, своими мыслями по самым разнообразным предметам. Одной из самых животрепещущих тем в то время была чаадаевская история. Пушкин написал Чаадаеву 19 октября подробное письмо со своей оценкой первого «Философического письма», однако разразившиеся репрессии побудили Пушкина воздержаться от отсылки письма: серьезная полемика была небезопасна в условиях, когда Чаадаев стал жертвой правительственных гонений. Скорее всего, именно это письмо к Чаадаеву, в котором Пушкин подробно изложил свое мнение о ходе исторического развития России, поэт прочел А. И. Тургеневу 15 декабря 1836 года. Соглашаясь с чаадаевской оценкой современного состояния родины («я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, что равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству —

---

[94] Там же, л. 58.

[95] П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 3-е, ГИЗ, М.—Л., 1928, стр. 272.

[96] РА, 1903, кн. 1, стр. 143. — Ср. также с письмом А. И. Тургенева к Е. А. Свербеевой от 21 декабря 1836 года: «Пушкин мой сосед, он полон идей, и мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах; иные находят его изменившимся, озабоченным и не вносящим в разговор ту долю, которая прежде была так значительна. Но я не из числа таковых, и мы с трудом кончаем одну тему разговора, в сущности не заканчивая, то есть не исчерпывая ее никогда» (подлинник по-французски. — Московский пушкинист, 1. Статьи и материалы под ред. М. Цявловского. М., 1927, стр. 24—25).

поистине могут привести в отчаяние»; подлинник по-французски), Пушкин полностью отверг мысль о том, что у России нет прошлого; он писал Чаадаеву о многих славных страницах русской истории. Зная исторические и политические взгляды А. И. Тургенева, можно со всей ответственностью утверждать, что он разделял все основные положения письма Пушкина к Чаадаеву.

Беседа 15 декабря 1836 года, затянувшаяся до полуночи, знаменательна также тем, что Пушкин прочел А. И. Тургеневу свое стихотворение «Памятник»: «Портрет его в подражание Державину — „весь я не умру!“», — гласит дневниковая запись А. И. Тургенева. Как установил М. П. Алексеев, сохранилось только два достоверных свидетельства о «Памятнике» Пушкина, относящихся к 1836 году, т. е. ко времени его создания, — это письмо Александра Карамзина к его брату Андрею из Петербурга, датированное 31 августа 1836 года, в котором сообщалось, что Пушкин читал это стихотворение Н. Муханову, и запись А. И. Тургенева от 15 декабря 1836 года.[97]

А. И. Тургенев записал, что, помимо чтения «Памятника» и письма к Чаадаеву, в этот вечер он беседовал с Пушкиным о восстании декабристов: «О М. Орлове и Кисел<еве>, Ермол<ове> и кн. Менш<икове>. Знали и ожидали: „без нас не обойдутся“». Судя по записи в дневнике А. И. Тургенева, сначала Пушкин прочел «Памятник», затем разговор перешел на восстание декабристов и, наконец, Пушкин ознакомил его со своим неотправленным письмом к Чаадаеву. Итак, стихотворение «Памятник», в котором Пушкин писал, «что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал», естественно направило разговор в русло декабристского движения. Беседуя с А. И. Тургеневым о декабристах, Пушкин вспомнил о своем письме к Чаадаеву, в котором, как указано выше, он писал об истории России и о ее современном состоянии: тема неотправленного письма от 19 октября 1836 года органически входила в круг тех острых политических вопросов, которые были предметом обсуждения между Пушкиным и А. И. Тургеневым в этот вечер.

В декабре 1836 года и в январе 1837 года А. И. Тургенев неоднократно встречает Пушкина у Карамзиных, Вяземского, Фикельмонов, бывает на квартире поэта, принимает его у себя. 15 января 1837 года Пушкин читает А. И. Тургеневу «стихи к Морю о брате». 21 января Александр Иванович спешит сообщить Н. И. Тургеневу в Париж: «Когда-то к. Вяземский написал стихи к морю; вскоре после того прошел слух, что тебя схватили в Англии; вот что Пушкин написал тогда к морю:

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой

---

[97] М. П. Алексеев. «Памятник» Пушкина по исследованиям последнего двадцатипятилетия. Уч. зап. Горьк. унив., вып. 57, 1962, стр. 239—243.

Нептуна грозного трезубец.
Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник».[98]

Видимо, неслучайно в тяжелые преддуэльные дни разыскал Пушкин в своих бумагах трагическое восьмистишие о судьбе декабриста Н. И. Тургенева: пессимистический афоризм, завершающий это стихотворение, с особой силой звучал в душе поэта, отвечал его душевному состоянию в то время.

21 января А. И. Тургенев беседовал с Пушкиным о Шатобриане и Гете, об успехах современной промышленности, которые безусловно отразятся на будущем России, «о пароходе, коего дым проест глаза нашей татарщине», — пишет А. И. Тургенев: из текста дневника, к сожалению, нельзя заключить, кому принадлежит это смелое образное выражение, Пушкину или А. И. Тургеневу.

23 января А. И. Тургенев заносит в дневник: «Кончил переписку *Веймарского дня*, прибавил письмо 15 англичан к Гете и ответ его в стихах, и после обеда отдал и прочел бумагу Вяземскому, а до обеда зашли ко мне Пушкин и Плетнев и читали ее и хвалили». Под названием «Отрывок из записной книжки путешественника» описание посещения А. И. Тургеневым Веймара было напечатано вскоре после смерти Пушкина в «Современнике» (т. V). Вспоминая о похвале Пушкина этой корреспонденции, А. И. Тургенев писал 31 января 1837 года брату в Париж: «Никто не льстил так моему самолюбию; для себя, а не для других постараюсь вспомнить слова, кои он мне говаривал, и все, что он сказал мне о некоторых письмах моих, кои уже были переписаны для печати в 5-й книжке Журнала его».[99] Узнав, что Вяземский и Жуковский будут издавать в 1837 году «Современник» в пользу семейства Пушкина, А. И. Тургенев писал в том же письме к брату: «Я даю все мои письма, кои хотел напечатать Пушкин в нем».[100]

26 января 1837 года А. И. Тургенев еще читал Пушкину выписки из своих парижских исторических бумаг, а 27 января поэт был смертельно ранен на дуэли. Вместе с ближайшими друзьями поэта А. И. Тургенев провел многие часы на квартире Пушкина. 28 января он записал: «. . . опять к Пушкину, простился с ним. Он пожал мне два раза, взглянул и махнул тихо рукою».

Печальные события, связанные с гибелью Пушкина, подробно рассказаны А. И. Тургеневым в его письмах к друзьям.[101] Повествуя о народном горе, о многочисленных проявлениях симпатии простого народа к погибшему поэту, А. И. Тургенев с горечью пишет 1 февраля А. И. Нефедьевой:

---

[98] А. А. Фомин. Новые материалы для биографии Пушкина. Пушкин и его современники, вып. VI, СПб., 1908, стр. 47.

[99] Там же, стр. 59.

[100] Там же, стр. 61.

[101] Там же, стр. 46—116.

«Одна так называемая *знать* наша или высшая аристократия не отдала последней почести Гению Русскому: она толкует, следуя моде, о народности и пр., а почти никто из высших чинов двора, из генерал-адъют<антов> и пр. не пришел ко гробу П<ушкина>. Но она, болтая по-французски, по своей русской безграмотности, и не в праве печалиться о такой потере, которой оценить не могут».[102] Гневные, обличительные строки А. И. Тургенева невольно вызывают в памяти стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». Найдя в стихах Лермонтова на смерть Пушкина отражение собственных чувств, А. И. Тургенев называл их прекрасными и списки с них отсылал в Москву и в Париж.

После смерти Пушкина А. И. Тургенев по приказанию Николая I сопровождал прах поэта в Святогорский монастырь. «Я сказал, что не приму ни казенных прогонов etc, ни от семейства. Недаром же любил меня Пушкин, особливо в последние дни его», — писал он А. И. Нефедьевой.[103]

X

В конце июня 1837 года А. И. Тургенев выехал из России в очередное заграничное путешествие. Трагическая гибель Пушкина отозвалась на всю Европу, и в дневнике А. И. Тургенева мелькают упоминания о его разговорах на эту тему с самыми разнообразными собеседниками. Так, 18 (6) июля 1837 года, находясь в Бабельсберге, под Берлином, он записывает свою беседу с принцессой Августой: «Потом расспросила об истории Пушкина и Экерна, коего знает. Я сказал, что знал и что думал... Уселись к чаю, меня представили придворным дамам и кавалерам. Посадили подле принца; опять и он о Пушкине; я дал ему понятие о его правилах и мнениях. О поступке с ним государя».[104]

Находясь во Франкфурте-на-Майне, А. И. Тургенев 1 сентября 1837 года отмечает свой разговор с русским посланником П. Я. Убри о Пушкине и встречу с Гоголем, с которым он дважды в этот день беседовал о Пушкине: несомненно, что от А. И. Тургенева Гоголь узнал многие неизвестные ему подробности гибели Пушкина.[105]

К концу сентября 1837 года А. И. Тургенев заканчивает свое путешествие по Германии и 28 сентября приезжает в Париж, где живет, за исключением недолгих поездок в Англию и Германию, до конца мая 1839 года. Окунувшись с головой в круговорот парижской жизни, возобновляя старые знакомства и заводя новые, А. И. Тургенев неотступно думает о России,

---

[102] Там же, стр. 66.
[103] Там же, стр. 70.
[104] ИРЛИ, ф. 309, № 316, л. 119 об.
[105] Здесь и в последующем изложении приведены наиболее существенные факты и сведения из моей публикации «Н. В. Гоголь в дневниках А. И. Тургенева» (Русская литература. 1963, № 2, стр. 138—143).

внимательно следит за выходом новых номеров «Современника», в которых, как он полагал, должно было печататься продолжение его «Хроники». Но, вопреки его ожиданиям, во второй половине 1837 года «Хроника» в «Современнике» не появляется, и А. И. Тургенев с досадою пишет в дневнике 21 ноября: «Золотарев занес ко мне II часть Соврем<енника>, читаю его. Моих писем не поместили и ни слова ко мне».[106] Возобновление печатания «Хроники» в 1838 году, после девятимесячного перерыва, явилось полной неожиданностью для А. И. Тургенева — 1 мая 1839 года он писал издателям «Современника»: «На сих днях получил я письмо ваше от 4 ноября прошедшего года, а вчера другое от 28 декабря 1838 (9 января 1839), с четырьмя н<умерами> Современника. Признаюсь вам: я очень досадовал на ваше упорное молчание, хотя, не писав к вам лично, не имел полного права ни на письма ваши, ни на Современника. Теперь благодарю вас за все, но не перестаю сожалеть, что в свое время не получил писем ваших. С отсутствием Вяземского из России мне не к кому было описывать всего, „что слышу, вижу за горами", и есть ли бы не крохоборство мое, есть ли бы я не продолжал обогащать котомки моей важными историческими материалами, особливо до царствования Екатерины II, Павла I относящимися, то последнее пребывание в Германии, особливо по берегам Мозеля, памятниками римской и германской древности усеянными, — все это пропало для минутной забавы читателей вашего журнала! Я только во Франкфурте узнал о новой „Хронике русского", во 2-м томе напечатанной, и только вчера сам прочел ее, прочел — „и сердцем сокрушился!" — и на вас подосадовал!.. нет никакой расстановки в письмах и в былях и в небылицах, мною сообщаемых: меня бросает парижская суматоха из салона в камеру, из академии в театр, от Шатобриана к Ансело, и все это, без малейшей расстановки, остается в утомительном рассказе. Религия перемешана с литературой, политика выпущена совершенно, хотя в комеражах или в отчетах моих только факты или взгляды на общее движение умов в Европе, и особливо в подвижной и животрепещущей Франции. Я пишу свободно, не стесняемый никакими уважениями, даже не перечитываю быстро написанного, все в надежде, что друг-корреспондент не выдаст меня, в кабинетном шлафроке, в публику, что он успеет оболванить меня и не выпустит меня в свет неряхой...

«Я подписался на полные сочинения Пушкина, но не получил их. Где экз<емпляр> мой? И не имею ли я право на него? Мне очень досадно, что я здесь не получил его, ибо мог бы обнародовать о полном издании его сочинений, и дополнить статью Фарнгагена, в берлинских Jahrbücher напечатанную, и переделанную графом Циркуром на франц<узский> для одного из здешних revue. Теперь, прочитав ваш биографический отрывок, я предложу Циркуру пополнить статью его о Пушкине. Я был глубоко тронут сло́вами бедного отца: „да узнает Россия, что она Тургеневу обязана лю-

[106] ИРЛИ. ф. 309, № 318, л. 8.

бимым своим поэтом!“. Благодарю вас, что вы осмелились упомянуть об имени друга Жуковских, Батюшковых, Баратынских, Мерзляковых, Карамзиных, Дмитриевых: меня переживет моя дружба к ним; но я, казалось, уже пережил эту дружбу, хотя в ней и в воспоминаниях о ней и о времени, когда цвела она, нахожу услаждение и утешение в настоящем забвении всего прошедшего».[107]

Этот отрывок из письма А. И. Тургенева, кончающийся проникновенной элегией в прозе, ярко характеризует отношение его автора к печатанию «Хроники русского» в плетневском «Современнике», к изданию сочинений Пушкина и к появлению в печати биографических материалов о поэте.

Хотя А. И. Тургенев сетовал на то, что письма печатались в первозданном виде, остается лишь быть благодарным его редакторам, не засушившим и не исковеркавшим его корреспонденций — именно в полной непосредственности, в свободном повествовании, не стесненном «никакими уважениями» особое очарование «Хроники русского». Богатая интеллектуальная жизнь Франции так и брыжжет со страниц его писем. Он спешит сообщить о наиболее примечательных лекциях, о выходе в свет новых книг, об аукционе редких автографов, относящихся к русской истории, о своих увлекательных беседах с политическими деятелями, писателями, учеными. Достойный представитель русской образованности, А. И. Тургенев обращает внимание на некоторую односторонность своих французских друзей и знакомых; он удивляется неосведомленности Ламартина в английской литературе, обращает внимание Вильмена на неизвестные ему немецкие источники по истории папства. А. Н. Пыпин с полным основанием писал по этому поводу об А. И. Тургеневе: «...для нашего путешественника были одинаково поучительны и Германия, и Франция, и Англия, но он не один раз замечает их литературное разъединение... в то время международная связь европейских литератур была гораздо слабее, чем теперь, когда она уже стала весьма значительна, и Тургенев мог делать весьма образованным, даже ученым французам и англичанам такие указания о немецкой литературе, которые были для них и полезны, и совершенно новы».[108] Как мы видим, А. И. Тургенев был не только «культурным атташе» передовой России на Западе, не только способствовал знакомству западноевропейских деятелей культуры с Россией и ее литературой, а русских — с достижениями общественной и литературной мысли европейских стран, но благодаря своим многосторонним знаниям и исключительно подвижному уму он принимал непосредственное участие во взаимном ознакомлении французских, английских и немецких ученых с плодами их образованности.

Во второй половине 1839 года А. И. Тургенев снова живет в России. К этому времени относится его знакомство с Лермонтовым и встречи с Го-

---

[107] Там же, № 2549.

[108] А. Н. Пыпин. Русский путешественник в двадцатых годах. Вестник Европы, 1872, № 8, стр. 731—732.

голем. У Карамзиных и Валуевых А. И. Тургенев присутствует при чтении Гоголем глав из «Мертвых душ». Впервые он ознакомился с отрывками из этого произведения еще в Париже в октябре 1838 года, когда автор читал ему, одному из первых, свой новый труд, и тогда же А. И. Тургенев записал в дневник: «Гоголь был у меня и читал отрывки из романа своего „Мертвые души". Верная, живая картина России, нашего чиновного, дворянского быта, нашей госуд<арственной> и частной, помещичьей нравственности. Покупает мертвых — для обмана ими правительства, для залога несуществующих крестьян в ломбард, и потом земли, правитель<ство>м для населения продаваемые, — характеры, язык, вся жизнь помещиков, чиновников: все тут; и смешно и больно!».

В феврале—мае 1840 года А. И. Тургенев неоднократно встречался с Гоголем в Москве у Киреевских, Свербеевых, Чаадаева, М. Ф. Орлова. Прослушав 21 февраля в салоне Киреевских повесть Гоголя «Рим», А. И. Тургенев записывает: «...я бы не с этой стороны желал видеть и следить римлян и Рим. Конечно, и в этом много истины, но всеми ли истинами должно заниматься эстетическое чувство?». Высказывание А. И. Тургенева о «Риме» («Аннунциата») совпало с позднейшей оценкой этого произведения Белинским. А. И. Тургеневу, как и Белинскому, была чужда идейная атмосфера этой повести: противопоставление величия древности суетному духу XIX века, явная неприязнь к европейской цивилизации. Но несогласие с Гоголем еще не приводит А. И. Тургенева к спору с ним по основным общественным вопросам. Их разномыслие, вызванное усилением консервативных тенденций в мировоззрении Гоголя, проявляется позднее, в начале 1845 года, при их встрече в Париже.

9 мая 1840 года А. И. Тургенев присутствовал на именинном обеде Гоголя в саду у М. П. Погодина. Среди гостей находился Лермонтов, с которым А. И. Тургенев беседовал о его дуэли с Эрнестом де Барантом. Дневниковые записи А. И. Тургенева о его встречах с Лермонтовым в 1839—1840 годах были введены в научный оборот Э. Г. Герштейн.[109] Однако чтение дневников за октябрь—декабрь 1839 года показывает, что ряд записей в ее работах не учтен.[110] Как выясняется, А. И. Тургенев виделся с Лермонтовым в сентябре—декабре 1839 года не менее одиннадцати раз, причем он встречал поэта не только у Карамзиных и Валуевых, но и в более интимной обстановке — 22 декабря 1839 года он посетил М. А. Щербатову, в которую в то время Лермонтов был влюблен, и видел там поэта. Дневниковые записи А. И. Тургенева и письмо Лермонтова к нему позволяют утверждать, что между ними, несмотря на большую раз-

---

[109] Э. Г. Герштейн. 1) Дуэль Лермонтова с Барантом. Литературное наследство, т. 45—46, М., 1948, стр. 399, 419—420; 2) Лермонтов и семейство Мартыновых. Там же, стр. 694.

[110] Эти записи из дневника А. И. Тургенева публикуются в кн.: В. А. Мануйлов. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. Изд. «Наука», М.—Л., 1964.

ницу лет, существовали дружеские отношения. Как указано ранее, А. И. Тургенев высоко оценил стихи Лермонтова на смерть Пушкина — это и определило дальнейшее сближение между ним и Лермонтовым. К сожалению, до нас не дошло отзывов А. И. Тургенева о других произведениях Лермонтова.

Постоянные приезды в Россию позволяли А. И. Тургеневу быть в курсе всех литературных событий и давали ему возможность поддерживать знакомство с обширным кругом русских писателей. Дальнейшее изучение «русских» дневников А. И. Тургенева поможет восстановить многие эпизоды литературной жизни тех лет.

XI

В июле—сентябре 1840 года А. И. Тургенев путешествует по немецким землям. Приехав в Берлин 19 (7) июля, он в тот же день «познакомился с проф. Вердером, учеником Гегеля и наставником Ивана Тургенева».[111] И. С. Тургенев был не первым русским учеником Вердера: еще с конца 1837 года Н. В. Станкевич слушал лекции и брал частные уроки логики у Вердера; эти занятия способствовали установлению дружеских отношений между молодым немецким профессором и его юным русским учеником.[112]

А. И. Тургенев усердно посещает лекции в берлинском университете; логику, метафизику и историю новой философии он слушает у Вердера. 20 июля Вердер читал лекцию о философии Фихте — присутствовавший на ней А. И. Тургенев записывает: «Говорил ясно, живо, но материя темна для меня. Тут видел и <И. С.> Тургенева».[113] В тот же день А. И. Тургенев встретился с Вердером, «с коим проговорил почти весь вечер о Фихте, Шеллинге, Канте, Гегеле и коротко познакомился... Вердер мне очень полюбился, хвалил <И. С.> Тургенева».[114] Воспитанник философов XVIII столетия, А. И. Тургенев, как он сам откровенно признавался, плохо понимал умозрительные построения последних немецких идеалистических теорий. И тем не менее он старался вникнуть в суть новейшей философии, старался не отстать от умственных запросов молодого поколения. Отсутствие умственного консерватизма, постоянное желание быть в курсе последних достижений наук и литературы — самая разительная черта в духовном облике А. И. Тургенева. Именно это счастливое свойство его натуры, поразительно восприимчивой ко всему новому, позволило ему без предрассудков и без

---

[111] ИРЛИ, ф. 309, № 319, л. 57

[112] Подробнее об этом см.: Переписка Н. В. Станкевича. 1830—1840. Москва, 1914; П. В. Анненков. Н. В. Станкевич. Переписка его и биография. М., 1857, стр. 176—177.

[113] ИРЛИ, ф. 309, № 319, л. 57.

[114] Там же, л. 57 об

предубеждений относиться к исканиям и достижениям во всех областях человеческих знаний.

Первую половину августа 1840 года А. И. Тургенев проводит в Веймаре, Галле и Иене, о чем он поведал читателям в «Хронике русского в Германии». Продолжая путешествие по германским землям, он посещает Кисинген, Швейнфурт, Ганау, Франкфурт-на-Майне, Кастель, Бонн, Кельн. В Дюссельдорфе он встретился с Жуковским, который познакомил его со своей невестой. 22 сентября А. И. Тургенев выезжает на пароходе в Роттердам, а оттуда в Гаагу. В начале октября 1840 года он возвращается в Париж.

Неоднократные посещения Германии нашли свое отражение как в дневниках, так и в «Хронике русского». Обозревая отзывы А. И. Тургенева о немецкой культуре, в первую очередь необходимо остановиться на веймарской теме в его литературном наследии. Уже в 1827 году в «Письмах из Дрездена», опубликованных в «Московском телеграфе», А. И. Тургенев писал о жарких спорах вокруг творчества и личности Гете и, опровергая нападки на него, ясно заявлял: «Я не умаляю и не возвышаю Гете, а ставлю его на его место в Германии, в применении к месту занимаемому Шекспиром в Англии и Вольтером во Франции». После смерти Гете А. И. Тургенев стал ревностным сторонником культа Гете в России. Его «Отрывок из записной книжки путешественника» — восторженный дифирамб в честь Гете. С. Дурылин дал точную характеристику этого «Отрывка»: «Ал<ександр> Ив<анович> сказал очень прочувствованное „bene“ о Веймаре, о его писателях и властителях. Оно имело бы цену только как доброе излияние чувств доброго „карамзиниста“, если бы в нем Тургеневу не удалось сделать большего: во-первых, сохранить для нас несколько веймарских преданий, не лишенных цены для биографа Гете, во-вторых, передать ту атмосферу первых лет после смерти Гете, в которой складывался уже тогда веймарский „культ Гете“, и, в-третьих, сделать более трудное: Тургенев так описывает дом и комнаты Гете, что в них чувствуется присутствие самого их хозяина. Невидимый, но живой образ Гете вызывается самым описанием мелочей его домашней обстановки. Это немалое мастерство и немаловажная заслуга писателя. Для русского же читателя 30-х годов это была отличная рекомендация живого Гете как европейского деятеля, связанного и с русской культурой».[115]

«Хроника русского в Германии» продолжала веймарскую тему корреспонденций А. И. Тургенева. Как и в других «Хрониках», текст А. И. Тургенева подвергался редакционно-цензурным изменениям и безжалостным сокращениям, что, понятно, возмущало автора. 2 марта 1841 года А. И. Тургенев писал по этому поводу Е. А. Свербеевой: «Всего досаднее, что то, что́ всего любопытнее для читателей, не признано достойным к напечатанию: напр. письмо французской директории к Шиллеру, письмо

[115] Литературное наследство, т. 4—6, М., 1932, стр. 316—317.

Виланда о первом свидании с Гете».[116] А. И. Тургенев в то же время безусловно понимал, что письмо революционного Конвента, которое извещало Шиллера о присвоении ему, как другу свободы и человечества, звания «почетного гражданина Французской республики», было немыслимо опубликовать при цензурных условиях николаевского режима. И все-таки, несмотря на цензурные препоны, в «Хронике русского в Германии» А. И. Тургенев сообщает о лекциях немецкого историка Лео, описавшего «во всей подробности» события французской революции 1789 года, приводит некоторые факты, имевшие отношение к убийству Зандом Коцебу. Современного читателя не должна смущать подобная непоследовательность царской цензуры, которая по своей тупости порой пропускала «крамольные» высказывания и в то же время запрещала значительно более невинные сообщения.

С октября 1840 года по начало июня 1842 года А. И. Тургенев живет в Париже. С неуемной энергией он продолжает посещать литературные салоны, театры, лекции; его постоянные собеседники — Шатобриан, Гизо, Ройе-Коллар и многие другие французские литераторы, историки, политические деятели. Он превосходно осведомлен о всех событиях, совершающихся во Франции. Когда А. И. Тургенев сказал в салоне мадам Рекамье, что он удивлен, насколько Барант, бывший несколько лет послом в Петербурге, хорошо знает Россию, то сейчас же услышал ответ любезной хозяйки: «Но ведь и вы, господин Тургенев, знаете Францию лучше нас». И можно думать, что это был не банальный комплимент в устах мадам Рекамье: своими словами она выразила признательность французской интеллигенции А. И. Тургеневу за его неизменный интерес ко всем областям французской культуры.

Полутарагодовое пребывание А. И. Тургенева в Париже скупо отражено в печатной «Хронике русского»: лишь две его небольшие корреспонденции были опубликованы в «Современнике».

В середине 1842 года А. И. Тургенев возвращается в Россию и живет в Москве с августа 1842 года по июнь 1843 года (не считая кратковременной поездки в Петербург в середине апреля 1843 года). Он приехал в Москву в то время, когда там шли ожесточенные споры между западниками и славянофилами. Выход в свет первого тома «Мертвых душ» в середине 1842 года особенно накалил страсти. 29 июля 1842 года Герцен записал в своем дневнике: «Толки о „Мертвых душах“. Славянофилы и антиславянисты разделились на партии. Славянофилы № 1 говорят, что это апотеоза Руси, Илиада наша, и хвалят, след., другие бесятся, говорят, что тут анафема Руси, и за то ругают. Обратно тоже раздвоились антиславянисты. Велико достоинство художественного произведения, когда оно может ускользать от всякого одностороннего взгляда. Видеть апотеозу смешно, видеть одну анафему несправедливо».[117] Как видно из письма

---

[116] РА, 1896, кн. I, стр. 205

[117] А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. II, 1954, стр. 220.

К. С. Аксакова к Ю. Ф. Самарину от конца мая 1842 года, из антиславянистов на «Мертвые души» горячо нападал П. Я. Чаадаев.[118] В то же время антиславянист А. И. Тургенев энергично защищал поэму Гоголя, считая ее одним из наиболее веских аргументов, доказывающих неосновательность идеализации русского быта славянофилами. Упоминая в своем дневнике о споре в салоне Свербеевых по поводу первого тома «Мертвых душ», А. И. Тургенев пишет 25 декабря 1842 года: «Спор за славян и за Россию в прошедшем. Против Аксакова — за Мертвые души и проч.». Антагонист А. И. Тургенева в споре о коренных русских началах и об оценке «Мертвых душ», видимо, К. С. Аксаков, страстный полемист славянофильского лагеря. А. И. Тургеневу была близка и понятна антикрепостническая направленность «Мертвых душ»: ведь всю свою сознательную жизнь он был непримиримым противником крепостного права. Передовая общественная позиция А. И. Тургенева обусловила высокую оценку им поэмы Гоголя.

Московский дневник А. И. Тургенева за январь—март 1843 года повествует о многих событиях литературной и общественной жизни Москвы, о непрекращающихся баталиях между славянофилами и западниками, о постановке в театре «Женитьбы» и «Игроков» Гоголя, о чтении С. Т. Аксаковым произведений Гоголя. Восторженно отозвавшись о «Шинели» и о «Театральном разъезде», А. И. Тургенев отрицательно отнесся к «Женитьбе»: ее язык оказался чужд его художественному сознанию, воспитанному на лучших образцах школы Карамзина.

С сентября 1843 года до 10 мая 1845 года А. И. Тургенев снова живет в Париже, выезжая лишь летом 1844 года лечиться на воды в Германию. К январю—февралю 1845 года относится несколько записей о парижских встречах А. И. Тургенева с Гоголем. В то время Гоголь уже находился под сильным влиянием своих друзей из реакционного лагеря: в Париже Гоголь жил в доме графа А. П. Толстого, который во многом способствовал усилению мистического настроения писателя. Естественно, что между Гоголем и А. И. Тургеневым возникали резкие споры. Как видно из записи от 30 января 1845 года, Гоголь отказался высказать А. И. Тургеневу свое мнение и об А. П. Толстом, и о М. А. Бакунине, который в то время напечатал в органе французской радикальной партии «La Réforme» нашумевшую статью против крепостного права и деспотического режима Николая I. Не желая обнаружить собственную точку зрения на основные общественно-политические проблемы, Гоголь не высказывался ни о демократических воззрениях М. А. Бакунина, ни о реакционных взглядах А. П. Толстого. Однако в обстановке резких идеологических схваток между представителями различных общественных течений писатель не мог сохранить до конца позицию беспристрастного наблюдателя: несмотря на его молчание, А. И. Тургенев чувствовал, что Гоголь находится под сильным и губительным влиянием А. П. Толстого. Разойдясь с Белинским и другими передо-

[118] Литературное наследство, т. 58, М., 1952, стр. 624.

выми деятелями той эпохи, Гоголь невольно очутился в противоположном стане: «На чьем возу сидит, ту и песенку поет», — с непривычной для себя резкостью записывает А. И. Тургенев.

Попытка Гоголя занять промежуточную позицию отразилась в записи А. И. Тургенева от 5 февраля 1845 года, в которой речь идет о пасквильном стихотворении Н. М. Языкова «К не нашим». Эти доносные стихи Н. М. Языкова, направленные против московских западников, вызвали бешенство А. И. Тургенева. В резкой оценке стихотворения «К не нашим» А. И. Тургенев полностью сошелся с Герценом: как известно, этот стихотворный пасквиль послужил поводом для окончательного разрыва отношений между Герценом и славянофилами.

В свою очередь, Гоголь крайне неодобрительно отозвался об А. И. Тургеневе в письме к Н. М. Языкову от 12 февраля 1845 года. Взаимные враждебные отзывы Гоголя об А. И. Тургеневе и последнего о Гоголе указывают на существование в это время значительных идейных расхождений между ними. Подобно точному сейсмографу, дневник А. И. Тургенева отразил колебания в общественном сознании Гоголя. Как известно, первым трагическим результатом идейного кризиса Гоголя явилось сожжение им в середине 1845 года первоначальной редакции второго тома «Мертвых душ».

Парижский дневник А. И. Тургенева за 1845 год любопытен не только приведенными нами записями о встречах с Гоголем; мы узнаем, что на квартире братьев Тургеневых бывали М. А. Бакунин, Н. А. Мельгунов, Н. М. Сатин, немецкий поэт Георг Гервег, итальянский революционер Теренцио Мамиани делла Ровере. Декабристский ореол Н. И. Тургенева и свободомыслие А. И. Тургенева привлекали к ним русскую передовую молодежь, прогрессивных деятелей европейских стран.

К 1845 году относятся последние публикации «Хроники русского»; они появились в «Москвитянине» в то время, когда этот журнал возглавляли не М. П. Погодин и другие представители официальной народности, а славянофилы; редактором журнала в это время был И. В. Киреевский, отличавшийся широтой взглядов и терпимостью к воззрениям своих идейных противников. Поэтому расхождение во взглядах между ним и А. И. Тургеневым не помешало ему печатать в «Москвитянине» парижские корреспонденции А. И. Тургенева. Отход И. В. Киреевского от редактирования «Москвитянина» и переход его обратно в руки М. П. Погодина и его друзей немедленно привел к прекращению сотрудничества А. И. Тургенева в журнале. 17 августа 1845 года он записал в своем дневнике: «Читал журналы, присланные Булгаковым и свои письма в 4 №. В 5 и 6 уже нет, ибо издатель Погодин».[119]

В рецензии «„Москвитянин“ и вселенная», написанной А. И. Герценом по поводу первой книжки «Москвитянина» за 1845 год, Герцен одобри-

[119] ИРЛИ, ф. 309, № 300, л. 45 об.

тельно отозвался о «Хронике русского в Париже», назвав ее интересной.[120] А. И. Герцен был лично знаком с А. И. Тургеневым. В дневнике Герцена за 1842 год дана блестящая характеристика А. И. Тургенева: «18 <ноября>. А. И. Тургенев — милый болтун; весело видеть, как он, несмотря на седую голову и лета, горячо интересуется всем человеческим, сколько жизни и деятельности! А потом приятно слушать его всесветные рассказы, знакомства со всеми знаменитостями Европы. Тургенев — европейская кумушка, человек au courant <в курсе> всех сплетней разных земель и стран, и все рассказывает, и все описывает, острит, хохочет, пишет письма, ездит спать на вечера и faire l'aimable <любезничать> везде».[121]

В свою очередь, заинтересованность А. И. Тургенева публицистической деятельностью Герцена явствует из наличия в архиве братьев Тургеневых писарской копии статьи Герцена «Публичные чтения г. Грановского (Письмо второе)».[122] Статья Герцена должна была привлечь особое внимание А. И. Тургенева, так как в ней дана оценка ряда западноевропейских историков, труды которых внимательно читал А. И. Тургенев, а также потому, что в ней содержится скрытая полемика со славянофильской доктриной, против которой А. И. Тургенев выступал с начала сороковых годов.

Многое сближало А. И. Тургенева с Герценом: отрицание самодержавия и крепостничества, сочувственное отношение к декабристам, неприятие славянофильских идей, понимание роли западноевропейских общественных движений и просвещения для развития России, сознание большой значимости для будущего человечества социалистических теорий. Отвечая на записку одного своего знакомого (скорее всего, под инициалами NN скрыто имя М. А. Бакунина) о том, «что творят здесь <т. е. в Париже> так называемые социалисты и коммунисты, и какое действие производят в разных слоях здешнего общества, возбуждаемые ими силы или элементы», А. И. Тургенев писал в «Хронике русского»: «Действие сие выражается более в книгах и в журналах, кои сосредоточивают их отголоски, нежели в самом обществе: да и как в него проникнуть? — вообще я весьма мало важности или существенного влияния на настоящее общество приписываю сим социальным или коммунистским проявлениям, не отказывая впрочем социализму в будущем влиянии на европейский общественный быт; но кто это угадать или хотя отчасти определить может? — Социализм будет изменять общество и изменяться сам, смотря не по состоянию тех сословий, из коих он возникать будет, а по государствам, в коих сии сословия находятся: иначе в Германии, иначе в Англии, иначе здесь. Меры или приемы правительств с проявлениями социализма тоже много могут изменить са-

[120] А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. II, 1954, стр. 138—139.

[121] Там же, стр. 242.

[122] ИРЛИ, ф. 309, № 1345. — Эта статья Герцена была разыскана и недавно впервые опубликована И. Г. Птушкиной по авторизованной копии, хранящейся среди бумаг Д. Н. Свербеева (см. «Новый мир», 1962, № 3, стр. 231—238). Список этой статьи из архива братьев Тургеневых совпадает с опубликованным текстом, за исключением двух последних фраз, которые в нем отсутствуют.

мые направления оного». Остается лишь удивляться, как А. И. Тургенев, начавший свою сознательную жизнь на рубеже XVIII и XIX веков, смог отрешиться от признания извечности классового общества, как он сумел признать историческую правоту социалистического идеала, как он верно предугадал разнообразный характер будущего воплощения этого идеала.

Насколько было возможным в подцензурной печати, А. И. Тургенев в «Хронике русского» обращал внимание своих соотечественников на теории французских утопических социалистов, советовал читать труд Л. Штейна «Социализм и коммунизм в нынешней Франции», в котором, как он сообщал читателям «Москвитянина», изложена история сен-симонизма, фурьеризма и коммунизма до 1842 года.

Весной 1845 года А. И. Тургенев в последний раз покинул Париж. В мае он посетил Жуковского во Франкфурте-на-Майне и несколько раз виделся там с Гоголем. Приняв курс лечения на водах, А. И. Тургенев выехал на родину. С конца августа 1845 года он живет в Москве, посещает друзей и знакомых, перебирает свой богатейший архив, мечтает написать воспоминания... но смерть уже подстерегала неутомимого странствователя: простудившись во время раздачи денег каторжникам на Воробьевых горах, А. И. Тургенев занемог и вскоре, 3 декабря 1845 года, умер в своей скромной квартире в Москве.

По справедливому мнению А. А. Сабурова, «жизнь Ал. И. Тургенева за границей при всей ее внешней рассеянности и беспорядочности была очень плодотворна. Все двадцать лет своих скитаний он выполнял постоянно две задачи первостепенной важности и значения. Прежде всего он был хроникером — русским литературным корреспондентом за границей, постоянно осведомлявшим литературные круги о европейских событиях и о европейской жизни, и при цензурных условиях николаевского времени служил для России настоящим „окном в Европу“... У Ал. И. Тургенева есть еще одна заслуга, оцененная значительно менее, чем его заграничные корреспонденции. Он — один из основоположников русского исторического источниковедения... Александр Тургенев поставил перед собой задачу собирания памятников русской истории в заграничных архивах и составил огромную коллекцию копий с найденных им за границей подлинников».[123]

После смерти А. И. Тургенева его бумаги были опечатаны московскими властями. По личному распоряжению Николая I часть документов (дела по истории раскольников; бумаги, относящиеся к управлению корпуса графа Воронцова во время пребывания во Франции; переписка Александра I с английским королем Георгом III и некоторые другие) была отправлена в Петербург, в III Отделение — судьба их до сего времени остается неизвестной.[124]

---

[123] А. А. Сабуров. Александр Тургенев. В кн.: Письма Александра Тургенева к Булгаковым. Соцэкгиз, М., 1939, стр. 19—21.

[124] Подробнее об этом см.: А. А. Дунин. «Секретные» бумаги А. И. Тургенева. Наша старина, 1914, № 7, стр. 666—671.

XII

Полвека русской и западноевропейской жизни, бурные десятилетия, ознаменованные наполеоновскими войнами и общественными потрясениями, прошли перед глазами А. И. Тургенева; в молодости он слушал прения масонов, в последние годы — споры западников и славянофилов. Его имя неразрывно связано с «золотым веком» русской литературы: он был верным другом Карамзина, Жуковского, Пушкина, Вяземского, почитателем таланта Гоголя. Русский до мозга костей, А. И. Тургенев был в то же время деятельным участником умственной жизни Западной Европы. «Хроника русского», его письма к друзьям, его ценнейшие дневники талантливо отразили русскую и западноевропейскую литературную и общественную жизнь второй четверти XIX века.

За годы писательской деятельности А. И. Тургенева русская литература претерпела существенные изменения; неизмеримо расширились ее границы; умерли старые жанры, ведшие свою родословную от поэтики классицизма, и народились новые, связанные с художественной системой реализма; некоторые из них, имевшие ранее второстепенное значение, постепенно выдвинулись на передний план и стали играть более заметную роль в литературном процессе — к таким жанрам, в первую очередь, относятся дневники, автобиография, мемуары. «Былое и думы» Герцена и многие другие произведения автобиографического жанра, появившиеся во второй половине XIX века, свидетельствуют о широком распространении и расцвете мемуарной литературы. Но классические образцы никогда не возникают на пустом месте; вначале идет кропотливое и чаще всего малозаметное возделывание почвы. Появление ряда блестящих автобиографических произведений во второй половине XIX столетия стало возможным благодаря огромному труду русских литераторов предшествующих поколений, вложенному ими в писание дневников, писем, воспоминаний. В истории этих жанров заметное место должно быть по праву отведено литературному наследию А. И. Тургенева.

В дневниках, автобиографиях, воспоминаниях отразился общий процесс расширения сферы литературы. В мемуарном жанре этот процесс имел в основном двоякий характер: с одной стороны, проникновение в недра человеческой психологии вызвало к жизни ряд автобиографических произведений, в которых в первую очередь подвергались аналитическому рассмотрению и художественному воссозданию чувства, поступки самого писателя. «Исповедь» Жан Жака Руссо, «Детство, отрочество и юность» Льва Толстого — наиболее выдающиеся памятники этой отрасли мемуарной литературы. С другой стороны, в область художественного вовлекалось все многообразие внешнего мира, возникало понимание обусловленности человеческих поступков окружающим бытом, «мелочи» жизни становились предметом пристального изучения и творческого восприятия. В мемуарном жанре эта тенденция развития особенно ярко проявилась в дневнике Пушкина,

в «Старой записной книжке» Вяземского, в дневниках и письмах-корреспонденциях А. И. Тургенева.[125] Во всех этих произведениях личная жизнь автора и его переживания почти полностью оттеснены в подтекст. Образ автора возникает не путем психологического раскрытия его чувств и мыслей, а совершенно иным образом — из сопоставления круга явлений, занесенных в дневник и, следовательно, привлекших его внимание; общественный и литературный кругозор писателя, его заинтересованность теми, а не иными событиями современности, направленность его исторических интересов, словом, целый комплекс сложных ассоциаций позволяет читателю нарисовать умственный портрет автора. Особое значение в этих произведениях приобретает интонация, которая во многих случаях заменяет авторскую оценку. Порой отношение писателя к тому или иному явлению может быть обнаружено лишь в общем контексте дневника или письма: предшествующие и последующие записи являются взаимным фоном, на котором с большей рельефностью выступает их значение и смысл. Беспорядочная на первый взгляд композиция писем-корреспонденций А. И. Тургенева имела глубокую внутреннюю логику, являясь как бы разновидностью «эзопова языка». При чтении «Хроники русского» явно чувствуется, что из колоссального потока заграничных впечатлений автор отбирает для своих корреспонденций наиболее примечательное, то, что могло дать наилучшее представление о тенденциях общественного развития, о достижениях научной и философской мысли, о событиях в области литературы и других изящных искусств.

Отбор целенаправленной информации осуществлялся А. И. Тургеневым постоянно, в ежедневных дневниковых записях, являющихся как бы конспективной черновой заготовкой будущих писем. И вполне естественно, что его дневники и письма-корреспонденции воспринимаются как различные стороны единого творческого процесса, дополняющие друг друга: «Между письмом и дневником решительной грани у него не было. Письмо свое он рассматривал как живой элемент в непрерывном потоке корреспонденций, мыслившихся им как связное целое и подлежащих в дальнейшем какой-то обработке. Письмо было страницей из дневника, отправленной к другу. Эти страницы должны были нередко обойти целый ряд друзей, живших иной раз в разных городах, и затем остановиться в месте постоянного хранения. Постоянная тургеневская фраза „По прочтении отправь к сестрице“ имеет именно это значение».[126] Письма-корреспонденции А. И. Тургенева — это автобиографическая эпопея 20—40-х годов XIX столетия, лишь отдельные

[125] Помимо указанных двух основных разновидностей мемуарной литературы, появлялись произведения, в которых в различных пропорциях сочетался психологический анализ и быт. Так, например, «Записки» Ф. Ф. Вигеля ближе к литературным медальонам, к галерее портретов. На грани воспоминаний и романа находится «Семейная хроника» С. Т. Аксакова (об этом см.: С. Машинский. С. Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Гослитиздат, М., 1961, стр. 378).

[126] А. А. Сабуров. Александр Тургенев, стр. 10.

страницы и главы которой смогли появиться в журналах; во всем своем объеме рукописная «Хроника русского» — отрасль потаенной литературы того времени, своеобразное «Былое и думы» пушкинской эпохи.

Письма-корреспонденции А. И. Тургенева по своей стилистике и композиции принадлежат к жанру дружеского письма начала XIX века. Точная характеристика этого жанра сделана Н. Л. Степановым: «Дружеское письмо редко бывает построено на однообразном материале — обычнее всего в нем мозаика, пестрота разных тем, пластов материала и стиля. Их „беспорядок", неожиданное сталкивание мотивированы „разговорностью", случайностью болтовни... Но, несмотря на „пестроту" тем и подчеркнутую их случайность, в дружеском письме можно заметить более или менее устойчивые пласты материала, которые уже, в свою очередь, постоянно перетасовываются по принципу „мозаичности". Благодаря „перетасовке" домашнего материала с литературным (литературными новостями, критикой, стихами), весь материал „олитературивается", мелочи писательского быта сплетаются с литературными суждениями о писателях, бытовой анекдот, каламбур — тесно связаны с разбором стихов, и в результате получается письмо, как бы рассчитанное на широкого читателя, где мелочи быта создают впечатление „писательской личности"».[127] Используя стилистические и композиционные принципы дружеского письма, А. И. Тургенев в своих корреспонденциях существенно трансформирует границы этого жанра. Во-первых, он сужает личный элемент писем за счет политических и литературных новостей, исторических экскурсов и других материалов познавательного характера; во-вторых, личный элемент писем приобретает общественную значимость, так как, сообщая о себе, А. И. Тургенев в первую очередь описывает свои исторические разыскания в архивах и на аукционах, свои встречи и беседы с государственными деятелями, учеными, писателями; интимная жизнь автора полностью исключена из писем-корреспонденций. Подобная последовательная трансформация жанра дружеского письма, усиление общественной проблематики в его «мозаике» превратили письма А. И. Тургенева в хронику современной жизни. Пушкин, который исключительно чутко воспринимал жанровые отличия, сразу же заметил эту особенность корреспонденций А. И. Тургенева и метко окрестил их «Хроникой русского».

Связанные генетически с жанром дружеского письма, корреспонденции А. И. Тургенева примыкают в то же время к жанру путешествий, путевого очерка. Этот жанр широко разрабатывался русскими писателями в послед-

---

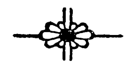
[127] Н. Степанов. Дружеская переписка 20-х годов. В кн.: Русская проза. Сборник под ред. Б. М. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова. «Academia», Л., 1926, стр. 85. Об эпистолярном жанре пушкинского времени см.: Л. Гроссман. Культура писем в эпоху Пушкина. В кн.: Письма женщин к Пушкину. Ред. Л. Гроссмана. М., 1928, «Современные проблемы», стр. 7—23; Г. Винокур. Культура языка. М., «Федерация», 1929; М. П. Алексеев. Письма И. С. Тургенева. В кн.: И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем в 28 томах, т. 1, Изд. АН СССР, М.—Л., 1961, стр. 15—144.

ние десятилетия XVIII века и в XIX веке. По своему характеру и материалу «Хроника русского» продолжает линию «Писем русского путешественника»: подобно Карамзину, А. И. Тургенев сообщает огромное количество сведений о быте, культуре, искусстве и людях Западной Европы. Правда, в отличие от «Писем русского путешественника», в «Хронике русского» субъективное начало полностью оттеснено на задний план.

Если у эпигонов Карамзина (В. Измайлова, П. Шаликова, М. Невзорова) жанр путешествий заметно оскудел и приобрел черты литературного штампа, то А. И. Тургенев развил плодотворное начало, которое было заложено в «Письмах русского путешественника». Продолжая традицию Карамзина, сделав свою «Хронику» зеркалом общественных движений, волновавших Западную Европу, А. И. Тургенев по своей публицистической настроенности сблизился с писателями декабристской ориентации («Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки, «Поездка в Ревель» А. А. Бестужева, заграничные письма В. К. Кюхельбекера), отразившими освободительные веяния эпохи. Его корреспонденции являются связующим звеном между литературой путешествий писателей декабристского лагеря и последующими образцами этого жанра (например, «Письма из Франции и Италии» Герцена).[128]

Созданная после разгрома декабристского движения и до формирования революционно-демократической идеологии, «Хроника русского» талантливо и своеобразно отразила умственные интересы и общественные искания писателей пушкинского круга.

М. Гиллельсон.



[128] О литературе путешествий см.: Т. Роболи. Литература путешествий. Русская проза..., стр. 42—73; В. Базанов. Очерки декабристской литературы. Публицистика. Проза. Критика. Гослитиздат, М., 1953; Г. П. Макогоненко. Денис Фонвизин. Гослитиздат, М.—Л., 1961, стр. 214—237.

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ СТРАНСТВИЙ А. И. ТУРГЕНЕВА

Середина июля—сентябрь 1825 г.	— Германия.
Октябрь 1825 г.—середина января 1826 г.	— Франция.
Середина января—февраль 1826 г.	— Англия.
Март 1826 г.	— Франция, Германия.
Апрель—середина июля 1826 г.	— Россия (Петербург).
Середина июля 1826 г.—первая половина мая 1827 г.	— Германия.
Середина мая—июль 1827 г.	— Франция.
Август—середина октября 1827 г.	— Германия, Швейцария.
Середина октября 1827 г.—январь 1828 г.	— Франция.
Февраль 1828 г.—середина апреля 1829 г.	— Англия.
Вторая половина апреля 1829 г.	— Бельгия, Голландия.
Май—июль 1829 г.	— Германия.
Август 1829 г.—июль 1830 г.	— Франция.
Вторая половина августа 1830 г.	— Швейцария.
Сентябрь—декабрь 1830 г.	— Франция.
Январь—май 1831 г.	— Англия.
Июнь 1831 г.—середина июня 1832 г.	— Россия (Москва, Петербург).
Июль—август 1832 г.	— Германия, Австрия.
Сентябрь 1832 г.—июнь 1833 г.	— Италия.
Июль—октябрь 1833 г.	— Швейцария.
Ноябрь 1833 г.—февраль 1834 г.	— Италия.
Март—апрель 1834 г.	— Швейцария, Австрия, Германия.
Середина мая 1834 г.—январь 1835 г.	— Россия (Москва, Симбирск, Петербург).
Март—май 1835 г.	— Италия.
Июнь—июль 1835 г.	— Франция.
Август 1835 г.	— Англия.
Сентябрь 1835 г.—середина июня 1836 г.	— Франция.
Июль 1836 г.—июнь 1837 г.	— Россия (Москва, Симбирск, Петербург, Псков, Михайловское).
Июль—сентябрь 1837 г.	— Германия.
Октябрь 1837 г.—май 1839 г.	— Франция.
Июнь—август 1839 г.	— Германия, Дания, Швеция.
Сентябрь 1839 г.—июнь 1840 г.	— Россия (Петербург, Москва).
Июль—сентябрь 1840 г.	— Германия.
Октябрь 1840 г.—май 1842 г.	— Франция.
Июнь—июль 1842 г.	— Германия.
Август 1842 г.—июнь 1843 г.	— Россия (Москва, Петербург).
Сентябрь 1843 г.—апрель 1845 г.	— Франция.
Май—июль 1845 г.	— Германия.
Конец августа—3 декабря 1845 г.	— Россия (Москва).

ПРИМЕЧАНИЯ

ХРОНИКА РУССКОГО

Корреспонденции А. И. Тургенева, печатавшиеся при его жизни в журналах, начиная от «Московского телеграфа» (1827) до «Москвитянина» (1845), в собранном виде представляют собой ценный литературный памятник второй четверти XIX в. Переиздавая вместе эти разрозненные корреспонденции и сохраняя журнальные названия отдельным частям («Письма из Дрездена», «Письмо из Флоренции в Симбирск», «Хроника русского в Париже», «Хроника русского в Германии» и т. д.), мы сочли целесообразным дать им и общее условное название — «Хроника русского». С подобным подзаголовком корреспонденции А. И. Тургенева печатались в пушкинском «Современнике», это же название неоднократно встречается в письмах самого автора, оно, по нашему мнению, удачно характеризует существо и жанр этих корреспонденций.

Журнальные тексты корреспонденций А. И. Тургенева сличены нами с сохранившимися оригиналами его писем, а также с его дневниками; наиболее существенные разночтения и цензурные купюры приведены в примечаниях. Мы не сочли возможным делать соответствующие вставки в основной текст, желая дать читателю литературный памятник в том виде, в каком он печатался при жизни А. И. Тургенева и, следовательно, каким он уже вошел в историю русской культуры. Однако явные опечатки, которые вызывали нарекания А. И. Тургенева, нами по возможности устранены. Кроме того, в ломаных скобках раскрыты — по оригиналу писем и дневникам — фамилии тех лиц, которые в журнальных текстах обозначены лишь начальными буквами. Перевод иноязычных текстов приведен в основном корпусе лишь в тех случаях, когда он соответственно печатался в журнальных публикациях. Перевод иноязычных текстов, отсутствующий в журнальном тексте, выделен составителем в раздел «перевод иноязычных текстов», помещенный в конце издания.

Корреспонденции, вошедшие в «Хронику русского», составлены из писем, адресованных А. И. Тургеневым своим русским друзьям (Вяземскому, Жуковскому и другим). Однако с самого начала получения этих писем-корреспонденций стало ясно, что они выходят за рамки частной эпистолярии и — как по своим литературным достоинствам, так и по широкому охвату общественной и культурной жизни Западной Европы — предназначены для широкой публики.

Заглавия «Письма из Дрездена», «Иностранная переписка» принадлежат П. А. Вяземскому, подготовлявшему эти письма к печати. Заглавие «Отрывок из письма из Парижа» принадлежит составителю настоящего издания — в «Литературной газете» оно было напечатано без заглавия. Ряд названий принадлежит А. И. Тургеневу («Письмо из Парижа», «Письмо из Флоренции в Симбирск», «Отрывки из заграничной переписки», «Отрывок из записной книжки путешественника», «Корреспонденция. Выписка из европейской переписки русского хроникапта»). Название «Хроника русского», впервые поставленное редакцией пушкинского «Современника», было одобрено

А. И. Тургеневым и употреблялось им самим для дальнейших публикаций своих корреспонденций.

После «Хроники русского» печатается дневник А. И. Тургенева за 1825—1826 гг.: ведь именно в эти годы завязались его многочисленные знакомства, которые, продолжаясь и укрепляясь в последующее время, нашли свое отражение в его корреспонденциях. Таким образом, ознакомление с этими дневниками в ряде случаев облегчает понимание «Хроники русского» — отсылки к соответствующим местам дневников даны в примечаниях.

Поскольку роль А. И. Тургенева и обстоятельства его сотрудничества в журналах, где печатались его письма-корреспонденции, а также общественная и литературная характеристика соответствующих частей «Хроники русского» даны во вступительной статье «А. И. Тургенев и его литературное наследство», то примечания сообщают лишь краткие сведения о событиях, книгах, статьях и журналах, которые упоминаются в тексте. Кроме того, как указано выше, в примечания включены наиболее существенные купюры и сокращения, произведенные редакторами журналов из-за цензурных соображений.

Сведения о лицах, встречающихся в тексте, отнесены, как правило, в указатель имен.

Курсив принадлежит А. И. Тургеневу, за исключением курсива в редакционных сносках, где он проставлен в основном тексте — редакторами журналов, в примечаниях — составителем.

При сохранении лексических и стилистических особенностей языка того времени составитель приблизил по возможности орфографию текстов к современной норме. Транскрипция личных имен в большинстве случаев также исправлена и приведена к тому написанию, которое закрепилось за этими именами в современных изданиях.

Римская нумерация отдельных частей «Хроники русского» принадлежит составителю настоящего издания.

В России в XIX в. даты ставились по старому стилю. Однако, выезжая за границу, русские путешественники вынуждены были пользоваться и новым стилем: в корреспонденциях А. И. Тургенева указаны даты по новому и по старому стилю.

I. Письмо из Дрездена (извлечение). — Впервые: Московский телеграф, 1827, ч. XIII, отд. IV, стр. 90—98.

Эти и последующие дрезденские письма А. И. Тургенева — выдержки из его писем к Вяземскому, который предоставил их в распоряжение журнала. Ему же принадлежат заголовки, подзаголовки, вступительные краткие аннотации, предваряющие текст писем, и примечания, подписанные буквой «В».

[1] Имеется в виду барон Ф.-М. Гримм, который был посредником между Екатериной II и родственниками Вольтера при покупке императрицей библиотеки Вольтера (об этом см. настоящее издание, стр. 149—150). За неутомимые странствования и обширную переписку друзья называли А. И. Тургенева «маленьким Гриммом».

[2] Ф. Экштейн издавал в Париже в 1826—1829 гг. журнал «Le Catholique». Экштейн совместно с Мейстером, Бональдом и Баланшем представлял так называемую теологическую школу во французской философии того времени. Выражая взгляды аристократических сословий, представители этого философского течения боролись с философами-эклектиками (Кузень, Ройе-Коллар, Жуффруа), отражавшими в своих философских построениях умеренно-либеральные тенденции французской буржуазии.

[3] «Revue Britannique» — французский журнал, основанный в 1825 г. Солнье (сыном). В этом журнале печатались переводы статей из английских журналов и произведения английской художественной литературы.

[4] Профессор философии Эдинбургского университета Д. Стюарт был автором книги «Outlines of Moral Philosophy» (1793), переведенной в 1826 г. Жуффруа на французский язык. Остановившись в своем развитии на трудах Лейбница, Д. Стюарт не признавал философии Канта. Вспоминая о том, что Д. Стюарт трунил над сочине-

ниями Канта, А. И. Тургенев, по-видимому, имеет в виду переписку между Д. Стюартом и Т. Виргманом, опубликованную последним в «Encyclopedia Londinensis» (1823). В своих письмах Д. Стюарт отклонял советы Т. Виргмана об изучении философии Канта.

[5] «Globe» (1824—1830) — оппозиционный журнал, в котором принимали участие П. Леру, Дюбуа, Минье, Жуффруа, Сент-Бев, Ремюза и др. Во время спора классиков с романтиками журнал выступал на стороне последних.

[6] А. И. Тургенев имеет в виду многотомное издание сочинений Шатобриана, которое начало выходить в свет в Париже в 1826 г. В первом томе этого издания помещено обширное предисловие автора.

[7] Статьи Д. В. Дашкова «Русские поклонники в Иерусалиме. Отрывок из путешествия по Греции и Палестине в 1820 году» и «Еще несколько слов о серальской библиотеке», опубликованные в альманахе «Северные цветы на 1826 год», были, кроме того, выпущены двумя отдельными изданиями, которые А. И. Тургенев и переслал Шатобриану.

[8] Имеется в виду издание: The life of Napoleon Buonaparte, emperor of the French. With a preliminary view of the French Revolution. By the author of «Waverley», etc. Edinburgh, 1827, 9 vol. Перевод обширной рецензии французского критика (Ф***) из «Journal des Debats» на труд В. Скотта был напечатан в «Московском телеграфе» (1827, ч. XVI, отд. I, стр. 140—151, 318—332; 1828, ч. XIX, стр. 376—396, 501—529), равно как и отрывки из этого труда (1827, ч. XVI, отд. II, стр. 38—46; ч. XVII, отд. I, стр. 69—102).

[9] И. И. Козлов дебютировал на литературном поприще в возрасте 42 лет, когда он уже ослеп и был разбит параличом.

[10] Подпись «Э. А.» — сокращение арзамасской клички А. И. Тургенева — Эолова арфа.

II. Письмо из Дрездена (извлечение). — Впервые: Московский телеграф, 1827, ч. XIII, отд. IV, стр. 162—165.

[1] О посещении А. И. Тургеневым Ш.-Е.-К. Рекке и Х.-А. Тидге см.: Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу. Лейпциг, 1872, стр. 13—15. Указывая на авторство Рекке, А. И. Тургенев имеет в виду ее сочинения: Nachricht von des berüchtigten Cagliostro Aufenthalt in Mitau und von dessen magischen Operationen. Berlin, 1787 (в том же году русский перевод); Tagebuch einer Reise durch einen Theil Deutschlands und durch Italien. 4 Bände.

III. Письма из Дрездена. — Впервые: Московский телеграф, 1827, ч. XIII, отд. IV, стр. 341—350.

[1] Это примечание принадлежит издателю «Московского телеграфа» Н. А. Полевому. Он выполнил свое обещание, сделав иностранную библиографию постоянной частью библиографического отделения своего журнала.

[2] А. И. Тургенев придавал большое значение изданию résumés для широкого распространения просвещения и подробно изложил свою точку зрения в дневнике (см. настоящее издание, стр. 350—351).

[3] Речь идет о труде Ф.-Х.-А. Гассе «Geschichte der Lombardei» (Dresden, 1826—1828, 4 B.).

[4] Во второй половине 1820-х годов литератор А. Раббе выпускал отдельными книжками «Biographie universelle des contemporains». Одну из книжек этой серии, по-видимому, и имеет в виду А. И. Тургенев.

[5] Речь идет о немецком историке Христиане Готлибе Гейне.

[6] А. И. Тургенев имеет в виду Вяземского, автора статей «О жизни и сочинениях Озерова» (1817) и «Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева» (1821).

[7] Первые два тома воспоминаний М. Огинского «Mémoires de Michel Oginski sur la Pologne et les Polonais depuis 1788 jusgu'à la fin de 1815» (Paris, 1826—1827)

вышли в свет в 1826 г. и были присланы А. И. Тургеневым Вяземскому (см.: ОА, т. III, стр. 147).

[8] Речь идет о книге стихов К. Делавиня «Sept messéniennes nouvelles» (Paris, 1827). Двустишие, приведенное А. И. Тургеневым, взято из первой элегии «Le départ» (р. 24).

[9] К 1827 г. существовало две оперы с этим названием. Вероятно, А. И. Тургенев видел оперу «Pietro il Grande» композитора Н. Ваккаи, впервые поставленную в Парме в 1824 г.

[10] А. И. Тургенев имеет в виду роман А. Ремюза «Ю Киао-ли, или двоюродные сестры». Предисловие автора к этому роману «Сравнение романов китайских с европейскими» было переведено Н. М. Рожалиным и напечатано в «Московском вестнике» (1827, ч. III, № 9).

[11] А. И. Тургенев описывает свое посещение литературного салона Т.-Э. Винкель в Дрездене. Винкель занималась литературой, живописью и музыкой, в 1817—1826 гг. вместе с писателем И.-Ф. Киндом издавала «Abendzeitung». Литературным знакомствам А. И. Тургенева в Дрездене посвящена специальная статья Александра Веселовского «В. А. Жуковский и А. И. Тургенев в литературных кружках Дрездена» (1826—1827 гг.) (ЖМНП, 1905, ч. CCCLIX, № 5, отд. 2, стр. 159—183), в которой автор использовал и неопубликованные дневники А. И. Тургенева. С. Дурылин в своем этюде «А. И. Тургенев и Гете» (ЛН, М., 1932, т. 4—6, стр. 287—322) напечатал рассказ о вечере у Винкель по «Выписке из письма к Козлову», которая почти не отличается от текста «Московского телеграфа». По-видимому, эти несущественные расхождения возникли в результате редакторской правки. Нельзя согласиться с С. Дурылиным, который видит в защите А. И. Тургеневым «Германа и Доротеи» его отход от передовых взглядов. Он пишет: «Это в своем роде апология Гете, несмотря на заявление автора, что он не „возвышает" Гете, и очень характерно, что она вызвана защитой „Германа и Доротеи", этой бюргерской идиллии, в которой Гете дальше всего ушел и от весеннебурного вертерьянства и от „томлений духа" Фауста, которым бывало увлекался А. Тургенев» (там же, стр. 298). Думается, что это очень субъективная оценка точки зрения А. И. Тургенева. «Герман и Доротея» лишь частный случай для нападок на Гете, причем предмет спора был выбран не А. И. Тургеневым, а Киндом. Говоря о «Германе и Доротее», А. И. Тургенев защищает не только эту идиллию, а творческий метод Гете вообще от обвинений в заимствованиях и плагиате. Конечно, называя Гете «всеобъемлющим зеркалом германизма», А. И. Тургенев имеет в виду все творчество Гете, в том числе и «Страдания молодого Вертера» и «Фауста».

[12] Примечание Н. А. Полевого. Анонимный биографический очерк о жизни и творчестве Гете с цитатами о нем мадам де Сталь и Лафатера (цитата из Лафатера в переводе Жуковского) был вскоре напечатан в «Московском телеграфе» (1827, ч. XIV, отд. I, стр. 92—97). Затем в журнале был напечатан перевод статьи «Гете и Шиллер» (1827, ч. XV, отд. I, стр. 5—16) из немецкой газеты (какой именно, не указано), в которой автор, всячески защищая Шиллера, резко нападал на Гете. Этой статье предпослано редакционное примечание, в котором упомянуты «Письма из Дрездена» А. И. Тургенева: «Из письма, напечатанного в № 4 Телеграфа, читатели видели, что какой-то дух недоброжелательства возникает против Гете в задних рядах германской литературы. Сообщаем здесь доказательство сему известию, почерпнутое из немецкой газеты» (там же, стр. 5).

[13] О чтении А. И. Тургеневым вместе с братом Сергеем Ивановичем и Жуковским «Истории французской революции» Минье см. дневник А. И. Тургенева и статью в настоящем издании (стр. 431—433, 458—460).

IV. Письмо из Дрездена. — Впервые: Московский телеграф, 1827, ч. XIV, отд. IV, стр. 150—155.

«Письмо из Дрездена» — отрывок из письма А. И. Тургенева к Вяземскому от 10 марта 1827 г. Полный текст этого письма см.: ОА, т. III, стр. 146—151.

Публикуя в «Московском телеграфе» сведения о Вальтере Скотте из письма А. И. Тургенева, Вяземский, конечно, учитывал повышенный интерес русской читающей

публики к творчеству и личности английского романиста. Ведь в 1820-е годы исторические романы и повести Вальтера Скотта усиленно издавались в России; русские переводы частично делались с английского оригинала, по большей части с французских изданий. В 1823 г. на русском языке был издан «Кенильворт», в 1824 г. — «Шотландские пуритане», «Выслужившийся офицер, или Война Монтроза», «Маннеринг, или Астролог», «Таинственный карло», в 1825 г. — «Эдинбургская темница», «Аббат, или Некоторые черты жизни Марии Стуарт, королевы шотландской», в 1825—1826 гг. — «Антикварий», в 1826 г. — «Ивангое, или Возвращение из Крестовых походов», в 1827 г. — «Веверлей, или Шестьдесят лет назад», «Кентень Дюрвард, или Шотландец при дворе Людовика XI», «Невеста Ламмермурская», «Талисман, или Ришард в Палестине». Таким образом, дрезденское письмо А. И. Тургенева было, без сомнения, прочтено со вниманием в России.

Отметим, что вскоре, в апреле 1828 г., А. И. Тургенев в Лондоне лично познакомился с Вальтером Скоттом. О посещении А. И. Тургеневым Вальтера Скотта в Абботсфорде в августе 1828 г. см.: Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу. Лейпциг, 1872, стр. 396—400.

[1] В 1825 г. в Париже были изданы мемуары Лекена с предисловием Тальма, которое, по совету А. И. Тургенева, было переведено и напечатано в «Московском телеграфе» (1827, ч. XVII, отд. I, стр. 5—23, 149—182). О личном знакомстве А. И. Тургенева с Тальма и об его беседах с ним об этом предисловии см. настоящее издание, стр. 367—369.

V. Иностранная переписка (извлечение). — Впервые: Московский телеграф, 1827, ч. XV, отд. IV, стр. 67—73.

Это извлечение из письма А. И. Тургенева к Вяземскому (см.: ОА, т. III, стр. 151—160).

[1] Надо думать, что отсутствие биографии Карамзина, написанной пером его литературных друзей, не является случайностью. В «Воспоминаниях литератора» А. Старчевский писал: «Не могу объяснить себе, почему кн. Вяземский, долго живший в доме Карамзиных, близко знавший историографа и даже составивший программу вопросов для его биографии, изменил свое намерение и занялся биографией Фонвизина» (Исторический вестник, 1888, № 10, стр. 125). По-видимому, написание биографии Карамзина не давало Вяземскому достаточного повода для выявления своего оппозиционного настроения. Если бы победили декабристы, то Вяземский, по всей вероятности, написал бы монографию о Карамзине, доказывая, что торжество просвещения и свободы в России обязано деятельности Карамзина. В условиях николаевской реакции писать такую работу было невозможно, и Вяземский, отбросив в сторону вопросник о Карамзине, продолжал работать над книгой о Фонвизине.

[2] Рецензия на немецкий перевод восьми томов «Истории государства российского» из «Leipziger Literatur-Zeitung» (1827, № 22) за подписью L. L. Z. и ответ А. И. Тургенева на эту рецензию, помещенный в «Blätter für literarische Unterhaltung» (1827, № 156), были напечатаны на русском языке под заглавием «Спор в немецких журналах об „Истории государства российского“» (Московский телеграф, ч. XVIII, отд. II, стр. 207—220).

[3] В 1820-е годы под псевдонимом «Лужницкий старец» печатались статьи редактора журнала «Вестник Европы» М. Т. Каченовского, в которых встречались выпады против Карамзина.

[4] Немецкий рецензент обвинял Карамзина в том, что последний в «Истории государства российского» (т. 1, гл. 3) повторил известие немецкого средневекового хрониста Гельмольда («Хроника славян», кн. 1, гл. 2) о Винете, которая, следуя его описанию, находилась при впадении Одера в Балтийское море и затем погибла от наводнения. Последующие хроникеры развивали легенду о процветавшей Винете. Еще в начале XIX в. некоторые историки признавали существование Винеты, в том числе и известный историк Иоганн Мюллер, который писал о гибели Винеты в труде «Vier

und zwanzig Bücher Allgemeiner Geschichte» (Tübingen, 1810). Впервые сомнения в существовании Винеты были высказаны историком Румором в книге «Sammlung für Kunst und Historie» (Hamburg, 1816). Подробно этот вопрос исследован в магистерской диссертации Т. Н. Грановского «Волин, Иомсбург и Винета» (1845).

[5] А. И. Тургенев использовал в данном случае письмо Н. И. Тургенева, который писал ему о книге Д. Босвелла. Весь этот отрывок, как уже установил В. И. Саитов, в подлинном письме А. И. Тургенева взят в кавычки, так как он является выпиской из письма Н. И. Тургенева. Речь идет о книге Д. Босвелла «The Life of Samuel Johnson» (1791, 2 vol.), представляющей обширную биографию Самуила Джонсона, автора многократно переиздававшегося словаря английского языка «A Dictionary with a Grammar and History of the English Language» (1755) и других трудов.

[6] Король Саксонии Фридрих Август I умер 24 апреля 1827 г. Престол наследовал его брат Антон Клеменс Теодор. Утраты 1814 года — по решению Венского конгресса, за переход в 1806 г. на сторону Наполеона от Саксонии была отторгнута в пользу Пруссии приблизительно половина территории всего королевства.

[7] Это издание, подготовленное к печати Карлом Мартенсом, вышло в свет в Лейпциге и Париже, с посвящением Николаю I. Дядя Мартенса — Г.-Ф. Мартенс, автор трудов по международному праву, профессор Геттингенского университета, лекции которого слушал А. И. Тургенев в студенческие годы.

[8] А. И. Тургенев имеет в виду А. А. Матвеева, которому, несмотря на то что он был в Лондоне с дипломатической миссией, полиция нанесла оскорбление, арестовав его за частный долг. Выпущенный на поруки, Матвеев выехал из Англии, не дожидаясь отзывных грамот. Затем английский посол в Петербурге принес извинение английской королевы перед Петром I за этот инцидент. Подробнее об этом см. статью В. Н. Александренко «Дело об оскорблении русского посла в Лондоне А. А. Матвеева» (ЖМНП, 1893, т. 289, отд. III, стр. 158—172).

[9] Речь идет об издании: Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in den Jahren 1794—1805. Stuttgart, 1828—1829.

[10] Переписка немецкого философа Якоби была издана в Лейпциге в двух томах под названием «Auserlesener Briefwechsel».

[11] Псевдоним «N. N.» следует внести в список псевдонимов А. И. Тургенева, собранных И. Ф. Масановым (И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей, т. IV. М., изд. Всесоюзной книжной палаты, 1960, стр. 478).

VI. Отрывок из письма из Парижа. — Впервые: Литературная газета, 1830 г., т. I, № 29, стр. 235—236.

[1] Филипп Поль Сегюр был избран во Французскую академию 25 марта 1830 г. А. И. Тургенев имеет в виду его труды «Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant l'année 1812» (Paris, 1824) и «Histoire de Russie et de Pierre le Grand» (Paris, 1829).

[2] Жан Батист Эме Сансон де Понжервиль в 1823 г. перевел на французский язык «De natura rerum» Горация.

[3] По-видимому, речь идет о книге Шатобриана «Etudes au discours historiques sur la chute de l'empire romain ... suivies d'une analyse raisonnée de l'histoire de France» (Paris, 1831).

[4] Под «переводом некоторых творений русского театра» А. И. Тургенев имеет в виду книгу «Chefs-d'oeuvre du Théâtre Russe» (Paris, 1823), в которой дан французский перевод следующих произведений русских драматургов: «Фингал» и «Дмитрий Донской» Озерова, с приложением описания Куликовской битвы и характеристики Дмитрия Донского из «Истории государства российского» Карамзина; «Недоросль» Фонвизина; «Модная лавка» Крылова; «Казак-стихотворец» Шаховского. Краткие биографические справки об этих писателях написаны А. Сен-При.

[5] Статья А. Сен-При об Испании вышла и отдельным изданием «L'Espagne, fragment de voyage» (Paris, 1830).

VII. Письмо из Парижа. — Впервые: Европеец, 1832, № 2, стр. 278—280.

VIII. Письмо из Флоренции в Симбирск. — Впервые: Московский наблюдатель, 1835, ч. I, отд. I, стр. 296—327, 529—550.

[1] 22 июня 1476 г. ополчение швейцарских кантонов при поддержке французских вассалов французского короля Людовика XI одержало победу над войском бургундского герцога Карла Смелого (Дерзкого).

[2] По цензурным соображениям А. И. Тургенев в своем рассказе о встрече с Цшокке (Чокке) обошел молчанием те места их разговора, в которых они касались политических акций русского самодержавия. В дневнике А. И. Тургенева за 27 октября 1833 г. в частности записано: «Переходили от Швейцарии к общей политике, к Польше и к России и к Немезиде в делах человеческих!» (ИРЛИ, ф. 309, № 311, л. 8 об.). Несомненно, в беседе А. И. Тургенева с Цшокке осуждалась кровавая расправа Николая I над Польшей. Далее Цшокке с негодованием говорил о союзном договоре 1815 г., согласно которому Швейцария была фактически превращена в ряд самостоятельных государств, центральная власть ослаблена, а кантональные конституции изменены в аристократическом духе: «Он осуждал все, что три державы чрез своих репрезентатов... в 1815 г. для и из Швейцарии сделали. Они *полячили* Швейцарию и возбудили негодование масс народных» (там же). После французской революции 1830 г. в швейцарских кантонах усилилось демократическое движение и начался пересмотр кантональных конституций в демократическом направлении, что вызывало сопротивление со стороны аристократии. Эту борьбу и имеет в виду А. И. Тургенев, передавая со слов Цшокке сведения о недавнем междоусобии в Швейцарии.

[3] Речь идет о путешествии И. Ф. Крузенштерна вокруг света в 1803—1806 гг. на кораблях «Надежда» и «Нева».

[4] А. И. Тургенев ошибся: старейший швейцарский университет был основан в Базеле в 1460 г., а университет в Цюрихе — в 1833 г.

[5] По народной легенде, убийство Вильгельмом Теллем австрийского наместника Геслера послужило сигналом к началу восстания швейцарских кантонов против владычества династии Габсбургов.

[6] По преданию, Вильгельм Телль отказался поклониться шляпе австрийского герцога и вынужден был по его приказу стрелять из лука в яблоко, которое было положено на голову его маленького сына.

[7] В 1273 г. кантоны Швиц, Ури и Унтервальден заключили первый союзный договор против Габсбургов. Хотя Габсбургам удалось на короткое время подчинить себе Швиц, однако уже в 1291 г., который отмечается в Швейцарии как год основания Швейцарской конфедерации, союз этих трех кантонов был возобновлен, а в 1332 г. к ним примкнул Люцерн — отсюда и название «озеро 4 кантонов». 1315 год, указанный на надписи, является годом победы швейцарских кантонов в битве при Моргартене над австрийскими войсками.

[8] На парижском кладбище Пер-Лашез в 1827 г. был похоронен брат А. И. Тургенева — Сергей Иванович Тургенев.

[9] В дневнике А. И. Тургенева о записях итальянских путешественников сказано более ясно: «...но более всех велеречивы итальянцы в сетованиях своих за Италию, против тиранов ее, и здесь, за порогом оной, голоса их чаще слышатся и раздаются в горах свободы и независимости» (ИРЛИ, ф. 309, № 311, л. 13).

[10] Речь идет о книге С. Пеллико «Le mie prigioni» (1832) и труде Мислея «L'Italie sous la domination autrichienne» (1832).

[11] Эти слова были взяты Н. И. Тургеневым в качестве эпиграфа к его книге «Опыт о налогах» (1818).

[12] Далее по цензурным соображениям опущены слова «недавно казненного». Итальянский революционер, глава заговора в Модене Ч. Меноти был повешен 26 мая 1831 г.

[13] Опера композитора Алессандро Гандини.
[14] Как видно из дневника А. И. Тургенева, он был на балете композитора Вигано «Il noce di benevente».

IX. Отрывки из заграничной переписки. — Впервые: Московский наблюдатель, 1835, ч. IV, октябрь, кн. II, смесь, стр. 624—633.

А. И. Тургенев приехал из Рима в Париж 26 мая 1835 г. «Отрывки...», опубликованные в «Московском наблюдателе», являются обработкой его дневниковых записей за конец мая—июль 1835 г.

[1] А. И. Тургенев познакомился с мадам Рекамье в декабре 1825 г. (об этом см. настоящее издание, стр. 363), став с того времени постоянным посетителем ее знаменитого салона. В салоне мадам Рекамье он сблизился с писателем Шатобрианом и многими другими французскими литераторами. О салоне мадам Рекамье см. книги: Souvenirs et correspondance tirés des papiers de madame Récamier. Paris, 1859, 2 vol.; Edouard Herriot. Madame Récamier et ses amis. Paris, 1905, 2 vol.; Maurice Levaillant. Chateaubriand, madame Récamier et les Mémoires d'outretombe. Paris, 1936.
[2] Побывав на представлении драмы Гюго «Анжело» в Théâtre français, А. И. Тургенев записал 30 мая в своем дневнике: «...видел m-lle Mars в „Анжело" — пытка для ума и для классического вкуса — игра мастерская... M-me Dorval играла также прелестно» (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 70 об.).
[3] Запись от 1 июня в дневнике А. И. Тургенева: «Лафон после долгих отговорок прочел стихи Казимира, произнесенные им в Руане, когда воздвигали статую Корнелю. И стихи хороши и декламировал прекрасно! Рассказал нам, как он, по желанию автора, заставил публику встать при последних четырех стихах (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 71). Казимир — поэт Делавинь. В журнальном тексте явная опечатка: вместо «Корнелю» напечатано «королю».
[4] «Немая из Портичи» («Фенелла») — опера Д. Обера, либретто Э. Скриба и К. Делавиня, впервые поставлена в Париже в 1828 г.
[5] Аббат Шатель стремился реформировать церковные порядки, он отвергал церковную иерархию, безбрачие католического духовенства, был сторонником женской эмансипации. Аббат Озу был в то время ревностным сторонником Шателя.
[6] «Du Catholicisme...», принадлежащая перу аббата Гома, вышла в свет в 1835 г.
[7] Шедевр Жерара — портрет мадам Рекамье, написанный Жераром.
[8] О салоне Сент-Олера А. И. Тургенев писал Вяземскому в апреле 1830 г.: «Есть и еще умная и некогда слабая и прелестная женщина — St.-Aulaire, жена пера-писателя, с милыми и умными дочерьми, с коими слушаю я курс истории естественных наук Cuvier и болтаю о немецкой и английской поэзии; а они могли бы болтать и о греческой, если бы я знал по-гречески, как они» (ОА, т. III, стр. 185—186).
[9] Хозяйкой литературного салона дюка Броглио была его жена Альбертина, которая была не чужда писательской деятельности: ее сочинения собраны в книге «Fragments sur divers sujets de religion et de morale» (Paris, 1840).
[10] Хозяйкой салона Гизо была в то время его вторая жена — Маргарита Андре Элиза, которая участвовала в периодических изданиях своего мужа.
[11] А. И. Тургенев видел драму Альфреда де Виньи «Чаттертон», которая за несколько месяцев до его приезда во Францию впервые появилась на сцене — ее премьера состоялась в Париже 12 февраля 1835 г.
[12] А. И. Тургенев со свойственной ему галантностью называет «светильником Дино» глаза своей парижской знакомой, жены племянника Талейрана — Доротеи Дино де Курланд.
[13] Речь идет о сотрудниках русского посольства в Париже Элиме Мещерском и Григории Шувалове; они оба были литераторами. Подробнее об этом см.: Андре Мазон. «Князь Элим». ЛН, т. 31—32, М., 1937, стр. 373—490.

X. Отрывки из заграничной переписки. — Впервые: Московский наблюдатель, 1835, ч. V, ноябрь, кн. II, стр. 251—264.

А. И. Тургенев приехал в Лондон 30 июля 1835 г. и пробыл там до 23 августа того же года; к этому времени и относятся описанные им встречи с английскими политическими деятелями.

[1] Речь идет о книге немецкого ученого и философа Готхильфа Гейнриха фон Шуберта (1780—1860) «Geschichte der Seele» (Stuttgart, 1830).

[2] В Англии в эти дни оживленно обсуждалось неудачное покушение на французского короля Луи Филиппа, предпринятое корсиканцем Жозефом Фиески с помощью митральезы. Об этом покушении и его возможных последствиях для политической обстановки в Европе и шла речь при посещении А. И. Тургеневым 8 августа 1835 г. лорда Брума. Генри Брум — политический деятель и юрист, с 1830 г. — член палаты лордов, в 1830—1834 гг. — лорд-канцлер в правительстве вигов. А. И. Тургенев слушал речи лорда Брума еще в свой первый приезд в Англию, в начале 1826 г. (об этом см. настоящее издание, стр. 416).

[3] Труд Вильяма Пэли «Естественная теология» (1802) неоднократно переиздавался на протяжении первых десятилетий XIX в.; А. И. Тургенев имеет в виду издание 1836 г., вышедшее в свет, надо полагать, в середине 1835 г.: Paley's Natural Theology... by Henry, lord Brougham and Sir Charley Bell... London, 1836, 2 vol.

[4] А. И. Тургенев имеет в виду книги: Memoirs of the life of the Right Honourable sir James Mackintosh. Edited by his son R. J. Mackintosh... Philodelphia, 1835; J. Boswell. The life of Samuel Johnson. 1791, 2 vol. Книгу Дж. Босвелла А. И. Тургенев уже упоминал в своих «Письмах из Дрездена».

[5] Речь идет о книге астронома Д.-Ф.-В. Гершеля «Preliminary Discourse on the Study of the Natural Philosophy» (1830). Сравнение книги Гершеля с «Новым Органоном» Френсиса Бэкона последовало вскоре после выхода ее в свет в статье Уэвелла (Whewell), напечатанной в июльском номере «Quarterly Review» за 1831 г.

[6] С 1826 г., когда А. И. Тургенев впервые посетил Англию, по 1835 г. парламент принял целый ряд постановлений, приведших к ускорению промышленного и общественного развития страны. В 1826 г. были приняты билли по упорядочению финансово-банковской системы; в 1828 г. отменены законы, ограничивавшие права католиков (эмансипация католиков); в 1832 г. был принят билль об избирательной реформе, согласно которой было увеличено представительство новых промышленных центров и деревенских округов за счет уничтожения многих «гнилых местечек»; в 1835 г. последовала муниципальная реформа, явившаяся продолжением избирательной реформы 1832 г.

[7] Первые два тома «Souvenirs», написанные мадам Л.-Э. Лебрюн, вышли в свет в Париже в 1835 г., а третий том — в 1837 г. Во втором и третьем томах несколько глав посвящены ее жизни в России с 1795 г. до середины 1801 г. (см.: т. II, гл. XV—XX, стр. 257—368; т. III, гл. I—V, стр. 1—96).

XI. Париж (Хроника русского). — Впервые: Современник, 1836, т. I, стр. 258—295.

[1] Бадо (badaud) — ротозей, зевака.

[2] В подлиннике письма о Бартольде сказано более резко: «Но Бартольд с старинными немецко-лакейскими правилами исказил исторические факты. За Рейном уже так не пишут, а за морем и подавно! Бартольд сбивается иногда на *народность* Уварова» (ИРЛИ, ф. 309, № 1217).

[3] В подлиннике письма далее следовало: «...и не узнаешь, куда повезут нас на железных дорогах? назад или вперед? и как повезут, быстро или на долгих? Не узнаешь даже, откуда, с какой станции, выедешь? и долго ли простоишь на будущей и с какими попутчиками, и не помешают ли быстроте бега *запоздалые*» (ИРЛИ, ф. 309, № 1217). Понятно, что по цензурным условиям эти фразы, в которых А. И. Тургенев

писал обиняками об исторических судьбах России, не могли быть напечатаны в «Современнике».

[4] Далее исключено рассуждение А. И. Тургенева о русском министерстве финансов: «...à propos: долго ли вашему министерству хвастать, сколько золота и серебра перешло через русские руки? Что в этом пользы? Разве это признак богатства? или чего другого? Разве это не пустое шарлатанство, вычислять эти суммы серебра и золота, перешедшие через Россию? Qu'est-ce que cela prouve? Разве вы забыли пример Гишпании? Разве деньги — представители богатства народного? Но я только намекаю, ибо совестно проходить азбуку полит‹ической› экономии, когда пора бы нам не только по складам читать, но перейти и к философической грамматике финансов?» (ИРЛИ, ф. 309, № 1217). Вяземский не согласился с этим рассуждением А. И. Тургенева и подробно ответил ему в письме от 7 марта 1836 г. (см.: ОА, т. III, стр. 307—309).

[5] Впервые мемуары Луи Сен-Симона де Рувруа были изданы полностью в 1829—1830 гг. На русском языке эти мемуары изданы частично: Мемуары. Избранные части «Подлинных воспоминаний герцога де Сен-Симона о царствовании Людовика XIV и эпохе регентства». Пер., комментарии и статья И. М. Гревса, т. 1—2, М.—Л., «Academia», 1934—1936.

[6] Совет Баланша Вяземскому прочитать роман Альфреда Мюссе «Исповедь сына века» запоздал — уже 23 января 1836 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Я в восторге от „L'enfant du siècle". Немного сбивается на „Адольфа", но это не беда... Альфред Мюссе решительно головою выше в современной фаланге французских литераторов. Познакомься с ним и скажи ему, что мы с Пушкиным угадали в нем великого поэта, когда он еще шалил» и т. д. (ОА, т. III, стр. 289). Надо думать, что А. И. Тургенев исполнил просьбу Вяземского и сообщил Альфреду Мюссе оценку его творчества Пушкиным и Вяземским; ведь уже в середине 1836 г. А. И. Тургенев был знаком с А. Мюссе: 4 июня 1836 г. в дневнике появляется запись о его разговоре с А. Мюссе о скульптуре (ИРЛИ, ф. 309, № 316, л. 8).

[7] Далее опущено подробное описание судебного процесса над Жозефом Фиески и его товарищами, организовавших в 1835 г. покушение на Луи Филиппа: исключение из журнального текста этого описания было вызвано цензурными условиями того времени. Пушкин писал Вяземскому по этому поводу: «...бедный Тургенев!.. все политические комеражи его остановлены. Даже имя Фиески и всех министров вымараны»... (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в десяти томах, т. X, Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 567—568).

[8] Далее восстанавливаем текст, исключенный из журнальной публикации явно по цензурным соображениям: «...и несмотря на это, в *направлении общества* или, как прежде говаривали, в *духе времени* он видит в новом и в старом мире — un fait générateur — c'est la démocratie s'avançant vers le pouvoir ‹главный фактор — это демократия, идущая к власти›, и необходимый результат оного — уравнение в классах общественных. Тот, кто внимательно и *бесстрастно* смотрит на нравственные явления на главных пунктах европейского и заокеанного мира и знает, какие элементы преобладают в составе, из коего выходит нравственная и политическая жизнь народа, тот убедится, как тщетны, как ничтожны покушения тех, кои хотят *капиталами* и *учреждениями* (ordonnance) сохранить, воздвигнуть развалины в прежнее целое, — словом одушевить тление. Самые просвещенные правительства не чужды сим надеждам. Вчера я читал в журналах, что в Пруссии хотят создать аристократию; в Пруссии, где так много других живых и здравых и охранительных от нравственного гниения элементов, где knowledge is power ‹знание — сила› и где так давно уже и так успешно, так благодетельно для всех частей государства, для всех сфер и для всех классов — „the schoolmaster is abroad" ‹наставник — заграница›. Оставим мертвое мертвым. То же à peu près, по крайней мере в том же смысле сказал создатель (всего и следов‹ательно›) демократии, брат бедного Лазаря и всех трудящихся и обремененных! Его всемощное слово, его всемощный пример действует и поныне везде, где учение его словом и делом воплощается в мире, где оно не в мертвой букве, не в православии, не в народности экс-арзамасцев, а в духе и истине истинных поклонников. — Сама

церковь не перестает молиться о соединении церквей, т. е. мнений, а мнения увлекут за собою и интересы, ибо материя не может долго противиться духовному. Еще один или два порыва к великой, евангельской цели, и мы все в одну сольемся душу. Оглянитесь на средние века и измерьте мысленно путь, человечеством уже совершенный и...» (ИРЛИ, ф. 309, № 1217). Речь идет о книге А. Токвиля «De la démocratie en Amérique» (1834), четвертое издание которой вышло в 1836 г. и было переслано А. И. Тургеневым в Россию для А. Н. Татаринова (см.: ОА, т. III, стр. 298—299). Хотя А. И. Тургенев истолковывал в евангелическом духе мысль Токвиля о возрастающей роли демократии в современном обществе, все его рассуждения об уравнении сословий были совершенно неприемлемы для николаевской цензуры.

[9] Далее в оригинале письма была дана следующая характеристика Буонаротти: «...он лелеял в колыбели дитя-революцию; знавал всех главных ее родителей и воспитателей; характеризует каждого с беспристрастием мертвого об умерших» (ИРЛИ, ф. 309, № 1217). Однако наиболее интересные подробности о беседе с Буонаротти А. И. Тургенев не рискнул сообщить в письме; но, к счастью, они сохранились в его дневнике: «У нас обедал Буонаротти, le doyen des proscrits <старшина изгнанников>. Жизнь его: четверть века провел в тюрьме или в городах, под надзором. Знавал и хвалит Робеспьера, как некровожадного, но строгого и дальновидного. Марат также бескорыстен. Дантона не хвалит. Он знавал и Рома, наставника Строг<ановы>х, также гильотинированного... В конспирации Бабефа участвовал и описал ее. Едва не погиб с другими!» (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 162). Но даже то немногое, что было напечатано о Буонаротти в «Современнике», вызвало сильное опасение А. И. Тургенева, который писал 1 июня (20 мая) 1836 г. Вяземскому и Жуковскому: «О Буонаротти; знаете ли, что он здесь под другим именем и что его могут выгнать из Парижа, если официально узнают о том, что известно под рукою?» (ЛН, т. 58, М., 1952, стр. 129). Речь идет о Филиппе Буонаротти, видном деятеле революционного движения во Франции конца XVIII—первой половины XIX в., коммунисте-утописте, соратнике Бабефа, который был «крупнейшим пропагандистом бабувистских традиций революционного коммунизма» (В. П. Волгин. Французский утопический коммунизм. Изд. АН СССР, М., 1960, стр. 348).

[10] Книга Л.-Э. Мартена «De l'éducation des mères de famille ou De la civilisation du genre humain par les femmes» (Paris, 1834, 2 v.) была удостоена премии Французской Академии.

XII. Париж (Хроника русского). — Впервые: Современник, 1836, т. IV, стр. 234—266.

[1] В начале этого письма А. И. Тургенев дает восторженный отзыв о стихотворении Пушкина «На выздоровление Лукулла (подражание латинскому)»: «Спасибо переводчику с *латинского* (жаль, что не с *греческого*!). Биографическая строфа будет служить эпиграфом всей жизни арзамасца-отступника. Другого бы забыли, но Пушкин заклеймил его бессмертным поношением. — Поделом вору и вечная мука!» (ИРЛИ, ф. 309, № 2454; опубликовано: ЛН, т. 58, М., 1952, стр. 120). Стихотворение Пушкина было направлено против министра народного просвещения и президента Академии наук С. С. Уварова, который наряду с Д. Н. Блудовым постоянно вызывал осуждение А. И. Тургенева за свой переход в правительственный лагерь. Понятно, что редакция журнала не сочла возможным печатать эти строки.

[2] Речь идет о статье П. А. Вяземского «Наполеон и Юлий Цезарь» (Современник, 1836, т. II, стр. 247—266), написанной по поводу книги «Précis des guerres de Jules César, par l'Empereur Napoléon, écrit à l'île Sainte-Hélène sous la dictée de l'Empereur par m. Marchand ...» (Paris, 1836).

[3] Далее по цензурным условиям опущено: «Там слышал я разные вести о Баранте и о том, как приняли у нас известие о Тьерсовом председательстве, но вас это не так интересует, как нас. Баранта и здесь обвиняли в сухости, которую замечали и в его сочинениях и в его обхождении. Я опять пожалел, что к вам не Сент-Олера назначали»

(ИРЛИ, ф. 309, № 2454). А. И. Тургенев имеет в виду назначение А. Тьера председателем Совета министров Франции, а Баранта — французским посланником в России.

[4] А. И. Тургенев познакомился с Бальзаком не позднее 1835 г. 12 июля (30 июня) 1835 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Твой Федоров выдает диковинки нашей литературы; в первой тетради досталось Бальзаку и, кажется, Сенковскому, переводчику его, за „Père Goriot", который, не во гнев будь сказано нравственному Федорову, очень замечателен, и одно из лучших произведений последней французской нагой литературы» (ОА, т. III, стр. 268). Издание «диковинок» Б. М. Федорова, по-видимому, не вышло в свет, а А. И. Тургенев писал по поводу их 14 (2) ноября 1835 г. из Парижа К. С. Сербиновичу: «Передайте дружеский поклон Б. М. Федорову. Слышу о каких-то *диковинках нашей литературы;* а здесь встречаю, хотя и редко, жертву его: Бальзака... в Бальзаке много ума и воображения, но и странностей: он заглядывает в самые сокровенные, едва приметные для других, щелки человеческого сердца и нашей искони прокаженной натуры. Он физиолог и анатом души: его ли вина, что души часто без души? а кое-где еще и с *крепостными душами*? (что хуже всякого бездушия)» (Русская старина, 1881, т. 31, стр. 202). Записывая посещение художника Жерара 19 апреля 1836 г., А. И. Тургенев отмечает: «Он начал рассказывать мне разговоры с ним им‹ператора› Александра, любопытные, но намеками. С Бальзаком о многом и о многих» (ИРЛИ, ф. 309, № 316, л. 8). Эта запись свидетельствует о широком обмене мнений между Бальзаком и А. И. Тургеневым, указывая на то, что их знакомство к этому времени уже не было случайным и мимолетным.

[5] Речь идет о статье Пушкина «Вольтер», напечатанной анонимно в «Современнике» (1836, т. 3, стр. 158—169).

[6] Имя средневекового французского философа, богослова и поэта Пьера Абеляра неоднократно появляется в корреспонденциях А. И. Тургенева. Трагическая история любви П. Абеляра к Элоизе отражена в их переписке. Его сочинения были недавно переизданы на русском языке (см.: П. Абеляр. История моих бедствий. Изд. АН СССР, М., 1959).

[7] Longchamps — место прогулок парижан, находящееся на правом берегу Сены, вблизи Булонского леса.

[8] Социнианство — рационалистическое течение протестантов, возникшее в Швейцарии в XVI в. Социниане отрицали божественную троицу и считали Христа человеком, а не богом; заботились о распространении просвещения.

XIII. Хроника русского. — Впервые: Современник, 1837, т. V, отд. II, стр. 22—51.

[1] А. И. Тургенев приехал в Рим 26 (14) марта 1835 г. и сразу же навестил Вяземского, который там жил в одном доме со Стендалем. Стендаля А. И. Тургенев в тот день не застал дома, но в последующие дни он неоднократно с ним встречался. В день приезда в Рим А. И. Тургенев встретил художника «Иванова — в запачканном сертуке: вспомнили о Рожалине» (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 49). На следующий день, 27 марта, А. И. Тургенев встречает у Вяземского Зинаиду Волконскую. Позднее он видится с гр. Марино-Марини, а от него идет «в ватик‹анскую› библ‹иотеку› к Мезофанти, который разговорился со мной о слав‹янском› языке, спрашивал о Жук‹овском›, о Вяз‹емском›, о переводе Гомера, обещанном ему Жук‹овски›м» (там же, л. 49 об.). 28 марта А. И. Тургенев посетил К. П. Брюллова в его студии. В начале апреля А. И. Тургенев вместе с Вяземским посещает окрестности Рима.

[2] А. И. Тургенев пробыл в Риме до 16 мая 1835 г., и, выехав в этот день в Париж, он через 10 дней, 26 мая, приехал в столицу Франции.

[3] Дневник Патрика Гордона находится в настоящее время в Москве, в Центральном государственном военно-историческом архиве, а, как установил И. Фейнберг, его копия, приобретенная А. И. Тургеневым, хранится в ГПБ.

[4] О посещении Англии в августе 1835 г. А. И. Тургенев писал также в «Отрывках из заграничной переписки», опубликованных в «Московском наблюдателе» (см. настоящее издание, стр. 59—65).

XIV. Отрывок из записной книжки путешественника. — Впервые: Современник, 1837, т. V, отд. II, стр. 294—310.

«Отрывок из записной книжки путешественника» был напечатан в «Современнике» уже после смерти Пушкина. Однако, как видно из дневниковых записей А. И. Тургенева за январь 1837 г., опубликованных уже П. Е. Щеголевым, Пушкин читал этот «Отрывок» и готовил его к печати.

[1] А. И. Тургенев имеет в виду герцогиню Амалию, мать веймарского герцога Карла Августа.

[2] В копии этих стихов, полученных С. Дурылиным от дирекции Гете-Шиллеровского архива в Веймаре, подпись не «В. Э.», а «В. Ф.» и, кроме того, имеется заглавие: «На Гете». Кто автор этих стихов, неизвестно.

[3] Стиху римского поэта Лукана «От великого имени не остается ничего» Гете заменой одного слова придал противоположное значение: «Многое остается от великого имени».

[4] Описание кабинетов Кювье — см. стр. 367 настоящего издания.

[5] Речь идет о «Дружеском литературном обществе», в которое входили братья Андрей и Александр Тургеневы, Андрей и Михаил Кайсаровы, Мерзляков, Жуковский, Воейков, С. Родзянко. Рано погибший Андрей Тургенев переводил «Вертера» Гете и произведения Шиллера. Большинство трудов Андрея Тургенева до нас не дошло. Сохранившееся его поэтическое наследие впервые было собрано и опубликовано Ю. М. Лотманом в книге «Поэты начала XIX века» (Советский писатель. Малая серия Библиотеки поэта, Л., 1961, стр. 255—275).

[6] Жуковский посвятил Андрею Тургеневу свой перевод элегии Грея «Сельское кладбище», напечатанный в журнале «Вестник Европы» (1802, № 24, декабрь, стр. 319—325).

[7] В. Скотт имеет в виду свой труд «Жизнь Наполеона», вышедший в свет в 1827 г.

XV. Хроника русского в Париже. — Впервые: Современник, 1838, т. IX, отд. V, стр. 1—56.

[1] Речь идет о статье Минье «Roederer, sa Vie et ses Travaux», опубликованной в «Revue des Deux Mondes» (1838, t. XIII, pp. 78—100).

[2] Говоря о книге Редерера «L'influence de la société polie», Минье указывает, что ее автор соединяет изощренность женской наблюдательности с воображением юноши (там же, стр. 99).

[3] В последнее время Б. А. Рыбаковым отмечено, что Синеус и Трувор — не исторические личности, а их имена произошли от искажения слов: «Смысл старошведского текста таков: „Рюрик со своими родичами (синеус) и верной дружиной (трувор)". В переводе же появились братья Рюрика — Синеус и Трувор» (Литературная газета, 1963, 5 декабря). Исследователь также отмечает, что и «сам Рюрик, как показывают данные археологических исследований, никогда не играл той роли, какая ему была приписана» (там же).

[4] А. И. Тургенев имеет в вниду пьесу Дюма-отца «Калигула»; сдержанный отзыв на эту пьесу см.: Revue des Deux Mondes, 1838, t. XIII, pp. 130—136 (подпись «А. С. Т.»).

[5] Труд Вильменя «Histoire de Grégoire VII» был напечатан лишь посмертно (Paris, 1873, 2 v.). Как явствует из предисловия издателя, выход в свет этого сочинения был задержан автором, который неоднократно к этому труду возвращался, и изменяя и дополняя ранее написанное.

[6] Речь идет о труде немецкого историка Леопольда Ранке «Die römischen Päpste» (Berlin, 1834—1836, B. I—III).

[7] Орган французских протестантов журнал «Le Semeur» выходил в свет с 1 сентября 1831 г. по 31 августа 1850 г. Редактором этого журнала был Анри Люттерот, с которым во второй половине 30-х и в начале 40-х годов был коротко знаком

А. И. Тургенев: в его дневниках за эти годы встречаются неоднократные упоминания о встречах с А. Люттеротом. После смерти А. И. Тургенева в журнале был напечатан его некролог (см. «Le Semeur», 1846, t. XV, № 2, pp. 13—15).

[8] Опускаем обширные цитаты религиозно-этического содержания на французском языке из вышеупомянутой книги Вине.

[9] Опускаем обширные цитаты на французском языке из религиозной брошюры Лакордера.

[10] «Sic et Non» — произведение П. Абеляра, представляющее собой, помимо пролога, сборник цитат из сочинений различных церковных авторов, которые давали противоположные ответы на одни и те же вопросы. Пролог к «Да и нет» опубликован на русском языке (см.: П. Абеляр. История моих бедствий. Изд. АН СССР, М., 1959, стр. 106—112).

[11] А. И. Тургенев описывает свое посещение французского историка Огюстена Тьерри, автора книг «Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands» (Paris, 1825, 3 v.), «Lettres sur l'histoire de France» (Paris, 1827) и др.

XVI. Хроника русского в Париже. — Впервые: Современник, 1838, т. X, отд. V, стр. 1—88.

[1] «The works of Washington» (1834—1837, 12 v.) были изданы (в сокращении) под редакцией Гизо на французском языке (Париж, 1840, 6 т.) и под редакцией Раумера на немецком языке (Лейпциг, 1845, 2 т.).

[2] О пребывании Франклина в Париже, о встрече его с Фонвизиным и о русско-американских отношениях того времени см.: Г. П. Макогоненко. Денис Фонвизин. Творческий путь. Гослитиздат, М.—Л., 1961, стр. 174—194.

[3] Курс Эжена Жерюзе, который слушал А. И. Тургенев, был продолжением его труда «Histoire de l'éloquence politique et religieuse en France au XIV, XV et XVI siècles» (Paris, 1837—1838).

[4] А. И. Тургенев имеет в виду Клода Флери (1640—1723), автора книг по истории церкви: «Histoire ecclésiastique» (Paris, 1749) и др.

[5] История покупки библиотеки Вольтера подробно изложена в статье М. П. Алексеева «Библиотека Вольтера в России» в кн.: Библиотека Вольтера. Каталог книг. Изд. АН СССР, М.—Л., 1961, стр. 13—19.

[6] Далее по цензурным условиям опущено: «Теперь передо мною „Semaine d'exil" Островского: жаль, что личности мешают мне прислать его. Много поэзии, и язык иностранца необыкновенно правильный и чистый. Ste-Beuve сказал об Островского стихах: „Je ne sache guère d'Italiens, d'Espagnols, qui aient su faire convenablement des vers Français. Le prince de Ligne, Fréd‹éric› de Prusse, plus d'un Russe qui jouait la tragédie à St.-Petersbourg, vers 1787, avec Mr. de Ségur, tournaient fort aisément le vers". ‹Я не знаю ни итальянцев, ни испанцев, которые могли бы сносно сочинять французские стихи. Только принц де Линь, Фридрих Прусский, да еще один русский, который играл в трагедии с господином де Сегюр в С.-Петербурге, около 1787 года, с поразительной легкостью писал стихи›.

«Жаль, что Ste-Beuve не знал твоей ‹П. А. Вяземского› прозы французской — передам его экз‹емпляр› пожара,* когда возвратится сюда. — С Островским много напечатано и Мицкевича: перевод хорош, а поэзия лучше, но опять жаль, что слишком много *народности* или того, к чему ведет она в стихах этих поэтов. Им можно писать на падение В‹аршавы›, но лежачих бить не должно. Да, во мне тихо горит такое чувство, чувство более сродное душе Жуковского, с коим и никакое мщение ужиться не может, а торжество над слабыми и подавно ему чуждо. — Как же оно может одушевлять Жуковского? Что же это, есть ли не ошибка в самом себе, не следствие дурной привычки обманывать, *морочить* самого себя? Разве ты не был согласен со мною в Москве,

---

* Имеется в виду брошюра, написанная Вяземским по-французски, о пожаре Зимнего дворца. — *Ред.*

в Чернышевом переулке, стоя у своего камина, после богомерзкого, отвратительного хвастовства, чтобы не сказать сильнее, Д<ениса> Д<авыдова>, когда ты <П. А. Вяземский> так сильно, благородно и возвышенно нападал на Пушкина и так сладко примирял меня с твоим салоном, из коего я хотел уйти наслышавшись Д<ениса> Д<авыдова>. — С тех пор я не переменился. Люблю Россию, люблю поэзию; но люблю и человечество, люблю истину выше всего — скорее соглашусь *других обманывать*, нежели *самого себя;* а вы не хотите других обманывать и позволяете себе самих себя обманывать, ко вреду любящих вас. — Шиллер написал братскую песнь радости, но о Париже, из коего для Германии, для обожаемого им отечества „die Lava stieg", сказал он только: „. . . und in den Krater darf man wiedersteigen".

«Страсть, взаимные озлобления *народности* немецкой оставил он героям и калмыкам Валенштейнова лагеря; но в нем святая, чистая любовь торжествует и освящается жертвою девы любимой и любящей, которая могла сказать о себе: „жила и любила".

«*Заполночь.* Начал вечер у Ламартина, полагая, что там будут Полуектовы; но последняя италианская опера переманила их. Ламартинша дала мне для тебя <П. А. Вяземского> экз<емпляр> последней речи мужа ее в камере о смертной казни. Посылаю. Муж досадует, что я послал тебе поэму: *Италия,* полагая, что она даст тебе дурное понятие о теперешней поэтич<еской> литературе Франции. Через три недели выйдет его новая поэма, уже почти отпечатанная. A peu près в то же <время> выйдут и дипломатические комеражи Шатобриана. Он восстановит против себя многих, ибо напечатает несколько писем к нему Лафероне с чистосердечными подробностями о Меттернихе, четыре письма Марцеллуса (всего было 12, но упросили не печатать) и между прочими примечательное о Канинге, уже умершем. Но всего скандалезнее будет письмо дипломата Флавиньи, бывшего секретарем в Мадриде, о Гишпании. Теперь тесть его, Фегезак, назначен туда послом, а Флавиньи описывает Гишпанию самыми мрачными, безнадежными красками. Шатобриан сохранил сии письма, писанные к нему, когда он был министром иност<ранных> дел, по его вызову и как частные откровения дипломатов, подчиненных министру, оставшиеся в руках министра. От Ламартина приехал я к гр. Сегюру, сыну Филиппа, где весь блестящий свет по субботам же собирается. Отец его, благодаря за твою брошюру, едва верил, что писал ее русский! Там видел нового посла, Фегезака, генерала и пера Франции, за назначение коего в послы сильно нападают на Леоне оппозиционные журналы, а исподтишка и подчиненные дипломаты, кандидаты на посольства» (ИРЛИ, ф. 309, № 2549).

Говоря о стихах Христиана Островского, А. И. Тургенев имеет в виду второе издание его сборника «Semaine d'exil» (Paris, 1837), к которому Сент-Бев написал предисловие, процитированное в письме А. И. Тургенева. В сборник, помимо французских стихов самого Островского, входят его переводы на французский язык произведений Немцевича, Мицкевича и поэмы Т. Мура «Любовь ангелов». Автор книги — офицер-артиллерист, эмигрант, крайне враждебно относившийся к России. Порицая царское правительство за жестокое подавление польского восстания 1830—1831 гг., А. И. Тургенев в свою очередь не одобрял тех поляков, которые не отделяли самодержавие от русского народа и высказывали узконационалистические взгляды. Именно в этом аспекте А. И. Тургенев отдает предпочтение Шиллеру, который не дал себя увлечь чувству враждебности в отношении Франции. Не одобряя Островского, А. И. Тургенев с еще большей страстностью нападает на тех русских поэтов, которые сочли возможным писать стихи на падение Варшавы или сами принимали участие в подавлении польского восстания. В первую очередь речь идет о Д. Давыдове, Жуковском и отчасти о Пушкине. А. И. Тургенев вспоминает споры, которые имели место в Москве в конце 1831 г. и отражены в его дневнике. Вот запись от 31 октября 1831 г.: «После обеда и за обедом у кн<язя> Вязем<ского> с Жуков<ским>, с кн<язем> Голиц<ыным> и с Денисом Давыдовым, который хвастался своим зверством и, вероятно, шарлатанил им, как подвигами наездника. И Жук<овский> слушал его со вниманием и с каким-то одобрительным чувством! Один Вяземский чувствовал и говорил как европеец. — Я только чувствовал и молчал! Перед кем и для кого дал бы я волю моему

негодованию? — Давыдов говорил, жесткюлировал — о виселицах! Рассказывал свои визиты с войском в разоренных селах и видел в поляках одну подлость! — „Скорей! скорей! я в лес хочу!“* — Оттуда к Бравуре, где любезничал с милой красавицей, забыв огорченное зверством и непросвещением сердце» (ИРЛИ, ф. 309, № 325, л. 116).

В те дни польская тема постоянно вторгалась в разговоры. Вскоре в Москву приехал Пушкин, и 8 декабря 1831 г. А. И. Тургенев записал в дневнике: «Был у Пушкина и разговаривал о Петре I. Вечер у Вяз<емского> с Пушк<иным>. Разговор с ним, с Вяз<емски>м об Англии, Франции, их авторах, их интеллектуальной жизни и проч. И они моею жизнию на минуту оживились, но я вздохнул по себе, по себе в России, когда мог бы быть с братом! Спор Вяз<емского> с Пушк<иным>: оба правы <последние два слова зачеркнуты, — *М. Г.*>» (там же, л. 129 об.). Судя по времени разговора, можно с уверенностью предполагать, что Польша служила предметом спора между Пушкиным и Вяземским. Публикуемый нами отрывок из письма А. И. Тургенева к Вяземскому документально подтверждает это предположение. Характерно, что, осуждая позицию Д. Давыдова и Жуковского, находясь целиком на стороне Вяземского, А. И. Тургенев в то же время с вниманием прислушивается к аргументации Пушкина, который делал упор на необходимости не дать европейским державам использовать русско-польский спор в своих интересах. И хотя А. И. Тургенев зачеркивает слова «оба правы», тем не менее запись их в дневник свидетельствует о том, что слова Пушкина показали ему необычайную сложность проблемы и возможность различного подхода к ней.

[7] Речь идет о статье Шатобриана «Fragmens du Congrès de Vérone», напечатанной в «Revue des Deux Mondes» (1838, t. XIV, pp. 111—123).

[8] Брум собирал материалы для своей книги «Dissertations on subjects of science connected with natural theology», которая была напечатана в виде III—IV томов «Paley's Natural theology...» (London, 1839).

[9] По-видимому, А. И. Тургенев имеет в виду известный труд Д.-Р. Мак-Кулоха «A descriptive and statistical account of the British Empire».

[10] Брум делился с А. И. Тургеневым замыслами книг, которые он написал и опубликовал в последующие годы: «Sketches of statesmen of the time of George III» (London, 1840—1843, 3 v.); «Lives of men of letters and science of the time of George III» (London, 1845, 3 v.); «Speeches of the Bar and in Parliament» (Edinburg, 1845, 4 v.).

[11] Над историей наполеоновской Франции Биньон трудился свыше двадцати лет, издав с 1829 по 1850 г. 14 томов. В 1838 г. вышли в свет 4 тома: Histoire de France sous Napoléon. Deuxième époque, depuis la paix de Tilsitt en 1807 jusqu'en 1812, t. VII—X.

XVII. Хроника русского в Париже. — Впервые: Современник, 1839, т. XV, отд. I, стр. 5—17; т. XVI, отд. I, стр. 5—30.

[1] Описание народных гуляний в Париже в 1825 г. — см. Дневник А. И. Тургенева (настоящее издание, стр. 338—339).

[2] Далее по цензурным условиям опущено: «И вот в чем разочарование: автор либеральной хартии (1814 года) не был никогда либералом! Ни в революции 1789 года à l'assemblée des Notables, ни в уединении в Бланкенбурге 1800, ни на троне в 1814!» (ИРЛИ, ф. 309, № 2549). В приведенной А. И. Тургеневым цитате из предисловия Мартина Буаси говорится о том, что при всем различии в тактических средствах правление Людовика XVIII по существу не отличается от царствования Карла X.

[3] Исторические очерки Ф. де Шампаньи «Les Césars» с середины 1836 г. печатались в отдельных номерах «Revue des Deux Mondes» и не вызывали особого интереса А. И. Тургенева. Однако когда в начале 1839 г. начал печататься очерк о Нероне (т. XVIII, стр. 5—55), то он не утерпел, чтобы не обратить на него внимание чита-

* А. И. Тургенев неточно цитирует строку из «Братьев-разбойников» Пушкина: «Мне душно здесь... я в лес хочу...». — *Ред.*

телей: слишком соблазнительно было провести параллель между царствованием Нерона и Николая I.

[4] По-видимому, речь идет о первом полном издании труда Токвиля «Démocratie en Amérique» (Paris, 1839—1840, 4 v.).

[5] А. И. Тургенев имеет в виду книгу Ж. Жубера «Pensées, essais, maximes et correspondance de Joubert», изданную в Париже в 1842 г. его племянником Полем Рейналем. А. И. Тургенев пишет, что это будет новое издание, так как Шатобриан ранее издавал «Мысли» Жубера. Однако это первое издание, выпущенное ограниченным тиражом, в продажу не поступало, а было роздано друзьям и знакомым Шатобриана и даже не значится во французских библиографических справочниках.

[6] В оригинале письма указано, что разобщение наук имело место в монархической Франции — в журнальном тексте эпитет «монархической» опущен по цензурным соображениям.

[7] Здесь по цензурным условиям пропущено слово «цареубийца». Иосиф Лаканаль (1762—1845) — французский политический деятель, в эпоху Реставрации был изгнан из Франции как цареубийца: будучи членом Конвента, он голосовал за казнь Людовика XVI.

[8] Далее в оригинале письма следовало: «...что все это хранится у меня, вместе с другими сокровищами» (ИРЛИ, ф. 309, № 2549). А. И. Тургенев имеет в виду труд С. И. Тургенева, посвященный восстанию греков против турецкого господства в 1821 г. Будучи сотрудником русского посольства в Константинополе в это время, С. И. Тургенев был хорошо осведомлен о ходе событий и писал по горячим следам этого национального восстания против чужеземного ига. Труд С. И. Тургенева сохранился до наших дней и находится в настоящее время в Рукописном отделе Пушкинского дома в составе Архива братьев Тургеневых (ф. 309, № 1128). Наряду с рукописью С. И. Тургенева имеется и писарская копия с авторской правкой. Рукопись датирована августом 1821 г. Размер рукописи — приблизительно 3.5 авторских листа.

[9] В 1839 г. Ламенне выпустил две брошюры: «De l'Esclavage moderne» (Paris) и «De la Lutte entre la Cour et le Pouvoir parlementaire» (Paris). А. И. Тургенев имеет в виду одну из этих двух брошюр.

[10] Французские сатирики Жозеф Мери и Огюст Марсель Бартелеми некоторые свои произведения писали совместно.

[11] А. И. Тургенев цитирует речь Минье по тексту «Revue des Deux Mondes», где она была опубликована под названием «Le prince de Talleyrand» (1839, т. XVIII, стр. 441—473). Сравнение цитат с журнальным текстом дает возможность утверждать, что цензура вычеркивала те места из речи Минье, в которых он указывал на связь Талейрана с французской революцией конца XVIII в. Так, например, характеризуя Талейрана, Минье писал о «великом поколении, к которому он принадлежал». Это и подобные ему места цензура тщательно вычеркивала.

[12] В журнальном тексте исключено описание народных волнений в Париже: «Теперь следовало бы в парижской „Хронике русского" описать волнение и буйство народное 11 и 12 мая, встречу в толпе с Вильменем, за час до его наименования министром народного просвещения, движения войск и национальной гвардии, беспрерывный барабанный бой на улицах, вызывающий к ружью мирных, но вооруженных для собственной защиты граждан; почти все это подробно описано в читаемых вами журналах» (ИРЛИ, ф. 309, № 2549). Речь идет о восстании бланкистов «Общества времен года». Не получив поддержки в массах парижского пролетариата, восстание было подавлено.

[13] Речь идет о книге французского публициста Густава Огюста де Бомона «l'Irlande politique, sociale et religieuse» (Paris, 1839, 2 v.).

[14] Далее в оригинале письма А. И. Тургенев цитировал французские стихи о Наполеоне и затем писал: «Ему ‹Наполеону› и нам покой, думали поэты и политики; июль 1830 и май 1839 разочаровал их!» (ИРЛИ, ф. 309, № 2549). Это явный пропуск по цензурным соображениям упоминания об июльской революции во Франции в 1830 г. и восстания бланкистов в мае 1839 г.

[15] Еще в 1820 г. английский поэт Шелли напечатал трагедию «Ченчи», в которой он изобразил события, имевшие место в Италии в 1599 г. и приведшие к гибели одного из знатнейших римских родов. На этот же сюжет написана трагедия А. Кюстина «Beatrix Cenci» (1833).

[16] Тьер прославил Наполеона в своем двадцатитомном труде «Histoire du Consulat et de l'Empire» (1845—1862).

[17] Под давлением английской дипломатии Турция объявила в 1839 г. войну Египту, но потерпела поражение. В результате англо-австрийской интервенции 1840 г. Египет был вынужден возвратить Турции ряд территорий.

XVIII. Хроника русского в Германии. — Впервые: Современник, 1841, т. XXI, отд. I, стр. 5—51.

[1] О русских проектах Лейбница и о его переписке с Петром Великим см. труды: Moritz C. Posselt. Peter der Grosse und Leibnitz. Dorpat und Moskau, 1843; В. Герье. Отношение Лейбница к России и Петру Великому. СПб., 1871; Сборник писем и мемориалов Лейбница, относящихся к России и Петру Великому. Издал В. Герье, СПб., 1873. — В 1840 г., когда происходил разговор А. И. Тургенева с Гумбольдтом, эти документы еще не были изданы. Таким образом, А. И. Тургенев показывал Гумбольдту, по-видимому, рукописную копию с проекта Лейбница, сделанную по материалам Московского архива.

[2] Текст записки Лейбница о магнитной стрелке впервые был опубликован в 1843 г. в книге Поссельта и затем перепечатан в «Сборнике писем и мемориалов Лейбница...» (стр. 346—348). Здесь речь идет о рукописной копии этого документа.

[3] А. И. Тургенев имеет в виду книгу воспоминаний немецкого писателя, историка и общественного деятеля Э.-М. Арндта, она вышла в Лейпциге в 1840 г. В 1812 г. Арндт приезжал в Петербург по поручению немецких патриотов для установления сотрудничества со Штейном.

[4] Речь идет о книге немецкого литератора Кенига «Literarische Bilder aus Rußland (Stuttgart und Tübingen, 1837), написанной при ближайшем участии Н. А. Мельгунова.

[5] Вегшейдер приводил примеры полиандрии, описанные в трудах древнегреческого историка Страбона «География в семнадцати книгах», «Записках о галльской войне» Юлия Цезаря, «Путешествии вокруг света» (1777) немецкого ученого Георга Форстера, участника экспедиции Дж. Кука. Ранее, в 1765 г., вместе с отцом Г. Форстер путешествовал по России, а в 1767 г. перевел на английский язык книгу Ломоносова «Краткий российский летописец».

[6] Указ Петра I о назначении Лейбница тайным юстиц-ратом был подписан царем после его встречи с немецким ученым в Карлсбаде в последних числах октября 1712 г. Об этом подробнее см.: В. Герье. Отношение Лейбница к России и Петру Великому, стр. 154—163. Там же напечатан и указ Петра I по подлиннику, хранившемуся в Ганноверской библиотеке. Между подлинником и черновым текстом, приведенным А. И. Тургеневым по материалам Московского архива, имеются лишь незначительные и несущественные разночтения.

[7] А. И. Тургенев имеет в виду двухтомный труд Каролины Вольцоген «Schillers Leben, verfaßt aus Erinnerungen der Familie, seinen eignen Briefen und den Nachrichten seines Freundes Körner» (Stuttgart und Tübingen, 1830).

[8] Отрывок из подлинного текста письма А. И. Тургенева, в котором он писал об обстоятельствах, приведших к убийству Коцебу, П. А. Плетнев сообщил в своем письме к Я. К. Гроту от 15 ноября 1840 г. (см.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I. СПб., 1896, стр. 136—137). Сравнение текста «Современника» с письмом П. А. Плетнева показывает, что в журнале рассказ А. И. Тургенева об этом остром политическом событии сглажен и сокращен из-за цензурных соображений. Так, например, в журнальном тексте сказано глухо: «Коцебу дал... переписать какие-то бумаги», а в подлиннике точно и ясно: «Коцебу дал... переписать свои донесения императору о немецких университетах» (там же, стр. 136); в «Современнике» опущена следующая харак-

теристика Линдля: «Этот Линдль был одним из соглядатаев Германии и служил двум господам, или правительствам» (там же); после слов «Oppositions-Blatt» в «Современнике» пропущен текст: «...в коем помещались сильнейшие отзывы тогдашних либералов. И Виланд пострадал от сего. Знаменитый богослов Dewette, написавший к матери Занда письмо, лишился в Берлине кафедры и нашел убежище в Швейцарии» (там же); после слов «это происшествие» в «Современнике» пропущен текст: «...кабинеты призадумались; обскуранты всей Европы воспользовались злодеянием частным, минутным исступлением сумасшедшего, чтобы устрашить правительства: не одно прусское приняло меры к обузданию так называемого свободомыслия в университетах...» (там же). В последней фразе А. И. Тургенева явный намек на правительство Александра I, которое в начале 1820-х годов принимало репрессивные меры против передовой профессуры и студенчества Петербургского и Казанского университетов.

[9] Речь идет о брошюре чиновника русского дипломатического корпуса А. С. Стурдзы, направленной против германских университетов, которые автор обвинял в распространении революционных идей и в атеизме. Напечатанная на французском языке в ограниченном количестве экземпляров эта брошюра, по распоряжению Александра I, была вручена участникам Аахенского конгресса, заседавшего в октябре и ноябре 1818 г. Вскоре, вопреки желанию автора, брошюра была перепечатана различными газетами. В ее защиту выступил А. Коцебу, убитый за это 23 февраля 1819 г. немецким студентом Зандом. А. С. Стурдзе удалось бежать из Германии.

[10] В 1546—1548 гг., а затем в 1552 г. шла война между императором Карлом V и Шмальканденским союзом протестантских князей и имперских городов. Этот союз отстаивал завоевания Реформации от посягательств императора.

[11] С 1823 г. С. К. Сабинин был священником русской посольской церкви в Копенгагене, а с 1837 г. — настоятелем русской церкви в Веймаре. Помимо богословия, он занимался историей и археологией. О нем подробнее см.: Русский биографический словарь. Сабанеев—Смыслов. СПб., 1904, стр. 7—9.

[12] А. И. Тургенев имеет в виду издание «Alexander Puschkin's Novellen. Für das Deutsche bearbeitet vom Dr. Tröbst und D. Sabinin» (B. I. Jene, 1840), в которое вошли «Пиковая дама», «Выстрел», «Гробовщик», «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель». Второй том этого издания, состоявший из перевода «Капитанской дочки», был подготовлен одним Требстом и вышел в свет в 1848 г. в Иене. Об этом издании повестей Пушкина и его переводчиках см. статью Ф. Каппеллера «Erste deutsche Übersetzung von Puschkins Novellen». (Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena—Thüringen, Jahrgang 8, 1958/1959, H. I, SS. 161—178).

[13] Речь идет о книге П. Г. Буткова «Оборона русской летописи от наветов скептиков» (СПб., 1840), направленной против воззрений М. Т. Каченовского и его последователей, отрицавших подлинность русских летописей.

[14] Точность данного мемуарного свидетельства А. И. Тургенева подтверждается документально: сохранился доклад профессоров Дерптского университета Ф. Э. Рамбаха и А. С. Кайсарова военному министру и главнокомандующему 1 Западной армии М. Б. Барклаю-де-Толли об организации при западных армиях походной типографии, с резолюцией последнего: «Высочайше велено привесть немедленно в исполнение...». Этот ценный документ недавно опубликован Р. Е. Альтшуллером и А. Г. Тартаковским в книге: Листовки Отечественной войны 1812 года. Изд. АН СССР, М., 1962, стр. 145—148.

XIX. Хроника русского в Париже. — Впервые: Современник, 1841, т. XXIV, отд. I. с. 5—14; 1842, т. XXV, отд. I, стр. 5—14.

По получении этой корреспонденции от А. И. Тургенева, П. А. Плетнев писал 15 августа (ст. ст.) 1841 г. Я. К. Гроту: «Она <А. О. Смирнова> читала для меня полученные мною накануне письма А. Тургенева, из которых выписки я помещу в „Современнике“. Он извещает, что получил „Фритиофа“ и так пленился им, что много стихов помнит наизусть. От Жуковского он имеет уже известие о совершившемся *небесном* его

счастии» (Переписка П. А. Плетнева с Я. К. Гротом, т. 1. СПб., 1896, стр. 376). А. И. Тургенев писал П. А. Плетневу о своем впечатлении от перевода на русский язык «Саги о Фритьофе» Тегнера. Этот первый русский перевод, сделанный Я. К. Гротом, вышел в свет в 1841 г. Сообщая П. А. Плетневу о «небесном счастии» Жуковского, А. И. Тургенев имеет в виду женитьбу последнего в мае 1841 г. на дочери художника Рейтерна.

[1] После слов «одобряли часто» в подлиннике письма следовало: «и только один раз сосед мой, какой-то неугомонный легитимист, сильно зашикал при скромной и заслуженной похвале королю Филиппу» (ИРЛИ, ф. 234, оп. 3, № 664, л. 5).

[2] После слов «сыну Филанжьери» в подлиннике письма следовало: «преследуемому правительством» (там же, л. 5 об.).

[3] Вместо слов «в благословенной России» в подлиннике письма следовало: «в нашей доброй России, которую хотят отучить от подражания! ..» (там же, л. 5 об.). При переделке этого места по цензурным соображениям исчез иронический подтекст, который имеется в оригинале.

[4] А. И. Тургенев имеет в виду следующие труды К.-Э.-Ж.-П. Пасторе: Elégies de Tibulle. Paris, 1783; Quelle a été l'influence des lois maritimes des Rhodiens sur la marine des Grecs et des Romains? Paris, 1784; Des lois pénales. Paris, 1790; Histoire de la législation. Paris, 1817—1837, 11 vol.

[5] Комедия Ж.-Ф. Роже «Avocat» (1806) имела к этому времени 35-летнюю давность.

[6] Сочинение Сент-Олера «Histoire de la Fronde», впервые напечатанное в 1827 г., было переиздано в 1841 г. Отмечая актуальность основной доктринерской идеи этого труда Сент-Олера для второй половины 20-х годов, Б. Г. Реизов пишет: «В ответ на государственный переворот, которым непрерывно угрожали народу правительственные и ультрароялистские газеты, должны были вспыхнуть народное восстание или новая революция. Понятно поэтому, что не только доктринеры, но все их современники в истории Лиги и Фронды видели аналогию истории Реставрации и пытались обнаружить в событиях прошлого то, что ожидало страну в ближайшем будущем. В этом смысле слова Сент-Олера оказались пророческими» (Б. Г. Реизов. Французская романтическая историография. Изд. ЛГУ, 1956, стр. 495).

[7] Речь идет об издании: Mémoires de Victor Alfieri, d'Asti, écrits par lui-même et traduits de l'italien par Antoine de Latour. Paris, 1840. По просьбе Вяземского А. И. Тургенев выслал ему эту книгу.

[8] Отрицательная оценка поэзии Суме дана в письме Вяземского к А. И. Тургеневу от 25 (13) июня 1841 г. (см.: ОА, т. IV, стр. 137).

[9] Письмо К. Н. Батюшкова к А. И. Тургеневу от 10 января 1820 г. в печати не появлялось; не значится оно и в описи фонда братьев Тургеневых, хранящегося в Пушкинском доме. Письмо Пушкина от 21 августа 1821 г. адресовано С. И. Тургеневу. В этом письме Пушкин называет Петербург «северным Стамбулом» и, выражая желание приехать в Одессу, пишет, что «Инзов не выпускает меня, как зараженного какою-то либеральною чумою» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в десяти томах, т. X, стр. 30).

[10] А. И. Тургенев познакомился со Стендалем в 1829 г. и часто встречался с ним в последующие годы в салоне Ансело в Париже, а также в Риме. О русских связях Стендаля и об оценке его творчества в России см.: Стендаль. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. 1822—1960. Сост. и предисл. Т. В. Кочетковой, изд. Всесоюзной книжной палаты, М., 1961.

[11] Далее в журнальном тексте было напечатано письмо Малерба, опущенное в настоящем издании.

XX. Корреспонденция. Выписка из европейской переписки русского хроникачта. — Впервые: Современник. 1842, т. XXVIII, стр. 98—102.

[1] Речь идет о Христиане Августе Готлибе Геде (1774—1812), немецком криминалисте, с 1807 г. профессоре Геттингенского университета, авторе книги «England, Wales, Irland und Schottland» (1802—1805, 5 Th.). Н. И. Тургенев называл его «ге-

ниальным» и писал о нем: «Геде (Göde) преподавал в Геттингене, между прочим, уголовное право. Смерть постигла его в средних летах. Излагаемая им теория „Наказаний“ поражает силою здравого смысла и логики. Она принята теперь, сколько мне известно, всеми криминалистами в Германии. Францию познакомил с нею известный писатель Росси. Я старался, по моим тетрадям, изъяснить ее в книге „La Russie et les Russes“» (цит. по предисловию Н. И. Тургенева, датированному 30 июня 1870 г., к книге: Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу. Лейпциг, 1872, стр. VIII).

[2] Вместо слов «один из уголовных судей» в подлиннике «Князь Алексей Бор<исович> Куракин» (ИРЛИ, ф. 234, оп. 8, № 103). Исправление сделано по требованию цензуры. А. Б. Куракин — генерал-прокурор при Павле I, затем генерал-губернатор Малороссии, в 1807—1811 гг. — министр внутренних дел.

XXI. Хроника русского в Париже. — Впервые: «Москвитянин», 1845, ч. 1, № 1, отд. IX, стр. 1—9; ч. 1, № 2, отд. IX, стр. 59—66; ч. 2, № 3, отд. IX, стр. 1—23; ч. 2, № 4, отд. IX, стр. 59—90.

[1] Видный деятель оксфордского движения высокоцерковников Джон Генри Ньюман в октябре 1845 г. порвал с англиканской церковью и перешел в католичество. Этот пример не имел особого успеха: ему последовали лишь ближайшие сторонники Ньюмана, а в целом религиозные распри в Великобритании продолжали идти по линии столкновений различных течений внутри англиканской церкви.

[2] Как отметил А. И. Тургенев в своем дневнике, статья о Теофиле Готье в «Revue de Paris» принадлежала перу писательницы Луизы Колле (ИРЛИ, ф. 309, № 300, л. 20 об.).

[3] А. И. Тургенев познакомился с датским поэтом Е. Баггесеном в 1825 г. (об этом см. настоящее издание, стр. 295—297).

[4] Александр Гумбольдт посетил Россию в 1829 г. Он побывал на Среднем Урале, в Западной Сибири, Москве и Петербурге. Пребывание Гумбольдта в России широко освещалось в русской периодической прессе. В «Литературной газете» Дельвига была напечатана переписка Гумбольдта с Перовским, которой было предпослано предисловие от редакции, написанное П. А. Вяземским. В этом предисловии дана высокая оценка научной деятельности Гумбольдта. О пребывании Гумбольдта в России и о его знакомстве с русскими общественными деятелями, писателями и учеными см. статью Л. А. Черейского «Пушкин и Александр Гумбольдт» (в кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. 1. Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 249—256) и книгу В. А. Есакова «Александр Гумбольдт в России» (Изд. АН СССР, М., 1960), в конце которой приложена ценная библиография литературы о Гумбольдте и его трудах в России. Связи Гумбольдта с Россией отражены также в книге «Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России» (отв. ред. Д. И. Щербаков, вступ. статья В. А. Есакова, Изд. АН СССР, М., 1962). В приложении к этой книге дана «Аннотация писем А. Гумбольдта, хранящихся в архивах Москвы, Ленинграда и Казани, не включенных в настоящий сборник», среди которых значатся четыре письма А. Гумбольдта к А. И. Тургеневу и два письма к Н. И. Тургеневу.

[5] О посещении А. И., Н. И. и С. И. Тургеневых Ж.-П. Рихтера в сентябре 1825 г. см. настоящее издание, стр. 300.

[6] Гоголь приехал в Париж 14 января 1845 г. по приглашению А. П. Толстого и жил у него до 1 марта. Во время своего полуторамесячного пребывания в Париже Гоголь неоднократно встречался с А. И. Тургеневым.

[7] По всей вероятности, под «NN» А. И. Тургенев подразумевает М. А. Бакунина, с которым в это время часто встречались братья Тургеневы. Вот три записи из дневника А. И. Тургенева за 1845 г.: «10 фев<раля>... Бакунин привел Гервега. Мамиани, Poisson, Мельгун<ов> с Гервегом, высылают немцев: Маркса, Рюга, хотя саксонец и проч.» (ИРЛИ, ф. 309, № 300, л. 28); «17 февр<аля>... Вечер дома. У нас Бакунин, Мамиани. Ермол<ов> сын, спор Бак<унина> с Мам<иани> о философии Гегеля, о Платоне» (там же, л. 29); «4 марта... У нас Бакун<ин>, читает записки брата» (там же, л. 30). Таким

образом, выясняется, что на понедельниках у братьев Тургеневых наряду с русской молодежью (Бакунин, Мельгунов, Сатин и др.) бывали и немецкий поэт Гервег, жизненный путь которого вскоре пересекся с путем Герцена, и итальянский философ, участник революционного движения в Романьи граф Теренцио Мамиани делла Ровере. Благодаря этим знакомствам на страницах дневника А. И. Тургенева появляется имя Карла Маркса, который в те дни вместе с А. Руге и некоторыми другими сотрудниками издававшейся в Париже немецкой газеты «Vorwärts» был выслан из Франции по настоянию правительства Пруссии. Всеведущий А. И. Тургенев отмечает это событие в своем дневнике. Однако частые посещения Бакуниным братьев Тургеневых не проходили мирно — давали себя знать и расхождения во взглядах, и резкий, неуживчивый характер Бакунина. 9 апреля 1845 г. А. И. Тургенев записал в своем дневнике: «Аржевитинов слышал, что Бакун<ин> везде меня ругает: со всеми в ссоре. Брат: „зачем же к нам ходите?“. Я просил оставить понедельники по-прежнему» (там же, л. 32 об.). Подробнее о Бакунине этих лет и его интересе к коммунистическим и социалистическим учениям см.: Ю. Стеклов. Михаил Александрович Бакунин, т. 1, 1814—1861. Изд. Коммунистической академии, М., 1926.

[8] Немецкий историк и экономист Лоренц Штейн (1815—1890) в книге «Социализм и коммунизм современной Франции» (1842) «пытался изложить связь социалистической литературы с действительным развитием французского общества» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 3, стр. 496). Автор вслед за Сен-Симоном показал зависимость между развитием французского рабочего движения и распространением идей социализма. Несмотря на консервативные взгляды Л. Штейна — он был противник социализма и коммунизма, — его книга способствовала распространению сведений о французских социалистических учениях вне пределов Франции. В дальнейшем Л. Штейн написал работу «История социалистического движения во Франции с 1789 до наших дней» (3 т., 1850), в которой излагал идеалистическую идею надклассовой «социальной монархии».

[9] По-видимому, А. И. Тургенев подразумевает широко известное стихотворение Жуковского «Певец во стане русских воинов» (1812).

[10] Рукопись Г. Винского «Мое время» попала в руки А. И. Тургенева, по всей вероятности, от его дальнего родственника Александра Михайловича Тургенева, который служил в Астрахани начальником пограничного таможенного округа. Г. Винский с 1808 по 1818 г. жил в г. Бузулуке и, часто приезжая в Астрахань к своей замужней дочери, посещал А. М. Тургенева. Впервые мемуары Г. Винского были напечатаны в «Русском архиве» в 1877 г. (январь, стр. 76—123, февраль, стр. 150—197). Отдельным изданием они были изданы в 1914 г.: Мое время. Записки Г. С. Винского. Редакция и вступительная статья П. Е. Щеголева. Изд. «Огни», СПб.

[11] Другой — Н. И. Тургенев, имя которого в то время нельзя было упоминать в русской печати. А. И. Тургенев описывает вечер у графа А. П. Толстого 13 февраля 1845 г., на котором, помимо братьев Тургеневых, были И. И. Панаев с женой и, по всей вероятности, Гоголь (ИРЛИ, ф. 309, № 300, л. 28 об.).

[12] Речь идет о книге министра духовных дел при Наполеоне — Жана Этьенна Мари Порталиса «Discours, rapports et travaux inédits sur le concordat de 1801...» (1845), изданной его внуком, Фредериком Порталисом. Ж.-Э.-М. Порталис принимал деятельное участие в подготовке и заключении Конкордата 1801 г.

[13] По-видимому, А. И. Тургенев имеет в виду книгу Мишле «Du peuple» (Paris, 1845). За эту книгу, которая, как и две предыдущие работы Мишле, — «De jésuites» (Paris, 1843, совместно с Эдгаром Кине) и «Du prêtre, de la femme et de la famille» (Paris, 1844), разоблачала реакционное духовенство, Мишле, по настоянию церковных иерархов, был отстранен от преподавания в Коллеж де Франс.

[14] Свои впечатления об этом путешествии А. И. Тургенев изложил в очерке «Путешествие русского на Брокен в 1803 году», напечатанном в журнале «Вестник Европы» (1808, ч. XLII, стр. 77—93). А. И. Тургенев имеет в виду книгу А. С. Кайсарова «Versuch einer slavischen Mythologie» (Göttingen, 1804), которая была издана на русском языке под названием «Мифология славянская и российская» (М., 1807 и 1810).

[15] Упомянутый трехтомный труд немецкого историка Карла Готлиба фон Антона

(1751—1818), содержащий историю немецкого сельского хозяйства с древнейших времен до конца XV столетия, был издаи в 1799—1802 гг.

[16] Традиция галликанской церкви берет свое начало в XIII столетии: французское духовенство, поддерживаемое светской властью, пыталось ограничить суверенитет папской власти. После французской революции 1789 г. французское духовенство стало отходить от принципов галликанской церкви, ища во владычестве римского папы опору против веяний нового времени. Этот процесс получил особенно интенсивное развитие после революции 1830 г. Боссюет, Людовик XIV, Наполеон — сторонники галликанизма.

[17] Речь идет об итальянской писательнице Христине Бельджийозо. авторе книги «Essai sur la formation du dogme catholique» (Paris, 1842—1843, 4 v.; анонимно), переводчице на французский язык основного труда итальянского философа Джамбаттиста Вико «Новая наука» — «La Science nouvelle» (Paris, 1844). Этому изданию переводчица предпослала обширную статью «Vico et ses oeuvres» (там же, pp. I—CXX), за которую А. И. Тургенев называет ее биографом Вико.

[18] На соборе французского духовенства 1682 г., проходившем при деятельном участии Боссюета, была принята «Декларация галликанского клира», которая значительно ограничивала папскую власть во Франции.

[19] Конкордат 1801 г. восстановил на некоторое время права галликанской церкви, утраченные ею в 1790—1800 гг.

[20] А. И. Тургенев имеет в виду следующие произведения Сена Альбина Бервиля: «Eloge de Rollin» (Paris, 1818) и «Fragments oratoires et littéraires» (Paris, 1845).

[21] Речь идет о труде французского юриста Андре Дюпена «Manuel du droit-public ecclésiastique français...» (Paris, 1844), в котором были перепечатаны наиболее важные документы в защиту галликанской церкви (Декларация 1682 г., Конкордат 1801 г. и др.). Эта книга имела явный успех: за 1844 и 1845 гг. она была издана четыре раза.

[22] Шатобриан критикует первый том многотомного труда А. Тьера «Histoire du Consulat et de l'Empire», который вышел в свет в 1845 г.

[23] А. И. Тургенев вспоминает об оконченном В. Г. Анастасевичем втором издании труда «Обозрение кормчей книги барона Розенкампфа» (1839).

[24] Речь идет о трудах немецкого публициста Виктора Эме Губера «Skizzen aus Spanien...» (Göttingen, 1833, 2 Th.) и «Die englischen Universitäten...» (Kassel, 1839—1840, 2B.)

[25] Лесное аббатство — квартира мадам Рекамье.

[26] По-видимому, А. И. Тургенев имеет в виду французского публициста Луи Пьера Мануеля (1751—1793), автора книг «Coup d'oeil philosophique sur le règne de Saint Louis» (Paris, 1786), «Lettres sur la Révolution, recueillies par un ami de la constitution» (Paris, 1792) и др.

[27] Сравнение А. Тьера и Луи Блана как историков указывает на прозорливость А. И. Тургенева. Труд Луи Блана «Histoire de dix ans. 1830—40» (Paris, 1841—1844, 5 v.), в котором он выступил с резкой критикой июльской монархии, вышел одновременно 4 изданиями, имел небывалый успех, и, конечно, именно этот труд, пронизанный демократическими идеями, вызвал сочувственную оценку Луи Блана-историка в корреспонденции А. И. Тургенева. С другой стороны, уже в первом томе «Истории Консульства и Империи» А. И. Тургенев справедливо увидел значительную эволюцию исторических взглядов Тьера, эволюцию, которая привела последнего в конечном счете в лагерь крайней буржуазной реакции, превратив автора прогрессивной «Истории французской революции» в палача Парижской коммуны.

Дневники (1825—1826 гг.). — Публикуются впервые по рукописи, хранящейся в рукописном отделе ИРЛИ:

ф. 309, № 3 — 20 июня 1825 г.—16 сентября 1825 г.
ф. 309, № 4 — 17 сентября 1825 г.—8 октября 1825 г.
ф. 309, № 5 — 9 октября 1825 г.—15 октября 1825 г.
ф. 309, № 6 — 16 октября 1825 г.—11 марта 1826 г.
ф. 309, № 7 — 12 марта 1826 г.—30 декабря 1826 г.

Большой объем дневников, в состав которых входят пространные выписки из книг, прочитанных за эти годы А. И. Тургеневым, вынуждает давать несколько сокращенную публикацию: исключены выписки из книг, не имеющих прямого отношения к тексту дневников; пересказ церковных проповедей; часть записей о многочисленных посещениях филантропических учреждений Парижа и Лондона. В публикуемый текст включено все, что сохраняет историко-общественное значение. Пропуск текста всюду отмечен троеточием (...), а авторское многоточие обозначается пятью точками (.....).

Дневники А. И. Тургенева являются частью обширного фонда братьев Тургеневых, поступившего в начале XX в. в архив Академии наук в дар от Петра Николаевича Тургенева, сына Н. И. Тургенева. Подробности постепенного возвращения в Россию из Франции этой богатейшей коллекции писем, дневников, документов и других материалов, а также полные драматизма эпизоды, сопровождавшие передачу этого архива, изложены в обстоятельной статье А. А. Фомина «Петр Николаевич Тургенев и его дар русской науке. 1853—1912. Материалы для биографии» (Отчет о деятельности ОРЯС Академии наук за 1912 год. СПб., 1912, стр. 1—66 (III пагинации)). Научное описание этого ценнейшего архива до сих пор не издано. Таким образом, единственным печатным источником в данном вопросе остается по-прежнему очерк академика В. М. Истрина «Архив братьев Тургеневых», помещенный в виде предисловия в первом томе академического издания Архива (СПб., 1911). С 1911 по 1922 г. было издано 6 томов этого Архива (седьмой том был подготовлен к печати, но не увидел света. Уникальный экземпляр этого тома, содержащий дневники Н. И. Тургенева за 1824—1825 гг., хранится в библиотеке Пушкинского дома). Вышедшие тома смогли вместить лишь небольшую часть Архива братьев Тургеневых. В дальнейшем это издание, к сожалению, было прекращено.

Дневники А. И. Тургенева, которые он вел с 1825 по 1845 г., — документы первостепенного значения для изучения развития литературы и общественной мысли России и Западной Европы за вторую четверть XIX в. Исследователи неоднократно обращались к этим дневникам при изучении жизни и творчества того или иного писателя. Еще в 1905 г. Александр Веселовский опубликовал в «Журнале Министерства народного просвещения» статью «В. А. Жуковский и А. И. Тургенев в литературных кружках Дрездена (1826—1827 г.)» с подзаголовком «Заметки к дневнику А. И. Тургенева» (затем вошло в его книгу: В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». «Жизнь и знание», Пгр., 1918). В дальнейшем к дневникам А. И. Тургенева прибегали пушкинисты (П. Е. Щеголев, И. Л. Фейнберг), лермонтоведы (Э. Г. Герштейн, В. А. Мануйлов, И. А. Боричевский), ученые, изучающие русско-западноевропейские литературные связи (М. П. Алексеев, С. Н. Дурылин, А. К. Виноградов), и др. Однако все эти ученые ограничивались использованием отдельных записей из дневников по тому или иному интересовавшему их вопросу. Настоящее издание представляет собою первый опыт публикации связного текста этих дневников.*

[1] А. И. Тургенев приводит слова Фауста из произведения Кристофера Марло «Трагическая история доктора Фауста» (Ch. Marlowe. The best plays. London, 1947, p. 225).

[2] Это изречение архитектора Рена А. И. Тургенев неоднократно цитирует в своих дневниках.

[3] К этому времени на сюжет сказки Ш. Перро о Золушке было писано 4 оперы: «Cendrillon» композитора Ж.-Л. Ларюэта (1759), Н. Изуара (1810), Д. Штейбельта (1810) и «Cenerentola, ossía La Bonta in trionfo» композитора Дж. Россини (1817). По-видимому, А. И. Тургенев слушал оперу Дж. Россини.

* Речь идет о дневниках А. И. Тургенева за 1825—1845 гг. Его студенческие дневники за 1802—1804 гг. опубликованы в кн.: Архив братьев Тургеневых, вып. 2-й, СПб., 1911. Дневники А. И. Тургенева за 1805—1814 гг. хранятся в Рукописном отделе Пушкинского дома. За исключением небольшого количества дневниковых записей, этот дневник в основном наполнен многочисленными выписками из различных книг. Дневники А. И. Тургенева за 1815—1824 гг. отсутствуют в сохранившемся архиве братьев Тургеневых — можно думать, что в эти годы он не вел дневника.

[4] О территориальных потерях Саксонии см. комментарий на стр. 511.

[5] А. И. Тургенев рассказывает о своем посещении Дитриха Августа Вильгельма Таппе, который до 1819 г. жил в России, занимаясь преподавательской деятельностью и писанием учебников русского языка для немцев. Одной из книг учебного характера, составленной Таппе, была «Russisches historisches Lesebuch aus Karamsins Geschichte Russlands» (Petersburg, Riga und Leipzig, 1819). Подробнее о Таппе см.: Русский библиографический словарь. Суворова—Ткачев. СПб., 1812, стр. 291—292.

[6] А. И. Тургенев описывает свое посещение поэта-арзамасца Константина Николаевича Батюшкова, душевно заболевшего в начале 1820-х годов и находившегося в 1825 г. на лечении за границей.

[7] В сражении под Кульмом (1813) Наполеон пытался окружить войска союзников, но потерпел неудачу из-за упорного сопротивления русского отряда под командованием генерала А. И. Остермана-Толстого, а на следующий день союзные войска, действиями которых руководил Барклай-де-Толли, разгромили французский корпус Вандама.

[8] Речь идет о четырехтомном труде Карла Фридриха фон Вибекинга «Theoretisch-praktische bürgerliche Baukunde...» (München, B. I — 1821; B. II — 1823; B. III — 1825; B. IV — 1826), в котором излагается история гражданского строительства у различных народов с древнейших времен до XIX в. В третьем томе, который Вибекинг показывал А. И. Тургеневу, глава XVIII посвящена России и Польше: «Geschichte der bürgerlichen Baukunde von Russland und von Polen...» (там же, B. III, SS. 305—409). Основное внимание Вибекинг уделил строительству Петербурга. В атласе к третьему тому даны чертежи и планы многих зданий Петербурга: Зимнего дворца, Таврического дворца, Академии художеств, Публичной библиотеки, домика Петра Великого, многих соборов и церквей (см.: Trente-neuf Planches appartenantes au troisième Volume de l'Architecture civile fondée sur la théorie et la pratique par le Chevalier de Wiebeking, 1825, tabl. 110, 113, 121, 122).

[9] А. И. Тургенев познакомился с Шеллингом в те годы, когда последний перерабатывал свою натурфилософскую систему, оказавшую большое влияние на Гегеля и других мыслителей в начале XIX в., в мистико-религиозном направлении. В беседах с А. И. Тургеневым Шеллинг делился с ним планом своего курса в «форме мифологических исследований», с которым он выступил сначала в Мюнхене в 1831 г., а затем значительно позднее (в 1841 г.) в Берлинском университете, читая там лекции по философии откровения и мифологии. В виде книги этот курс был опубликован посмертно: F. Schelling. Die Philosophie der Mythologie und Offenbarung. 1857. Помимо А. И. Тургенева, с Шеллингом были лично знакомы многие русские писатели и мыслители: П. Я. Чаадаев, Тютчев, братья Киреевские, Шевырев и др. В России шеллингианская философия оказала воздействие на мировоззрение любомудров. Однако в пушкинском кругу философия Шеллинга вызывала скептическое отношение. «Я не дам шиллинга за всего вашего Шеллинга, не потому, что не уважаю его, — уважаю всякое действующее лицо в сфере умственной деятельности; но потому, что не понимаю его и слишком стар, чтоб учиться понимать. Еще несколько лет потерпеть, и само собою сравняемся с ним в знании», — иронически писал 27 августа (ст. ст.) 1833 г. Вяземский А. И. Тургеневу (ОА, т. III, стр. 249).

[10] Немецкий историк Бартольд Георг Нибур в начале 1820-х годов ушел в отставку с должности прусского посланника в Риме, которую он занимал с 1816 г. Его основной труд «Römische Geschichte», оказавший большое влияние на развитие исторической науки в Европе, выходил с 1811 по 1832 г.

[11] По-видимому, А. И. Тургенев посылал в Россию сочинения немецкого поэта Карла Эгона Риттера фон Эберта (1801—1882). Впрочем, возможно, что речь идет о труде Фридриха Адольфа Эберта (1791—1834) «Zur Handschriftkunde» (1825).

[12] В разговоре с Константином Павловичем А. И. Тургенев заступался за Ф. Н. Глинку, активного члена Союза Благоденствия; как видно из их разговора, Ф. Н. Глинка был на сильном подозрении у властей. В последние годы жизнь и творчество Ф. Н. Глинки подвергнуты внимательному изучению в трудах: В. Г. Базанов. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949, стр. 14—26, 101—124; Ф. Н. Глинка. Избранные произведения. Вступительная статья, подготовка

текста и примечания В. Г. Базанова. «Сов. писатель», Л., 1957 (Библ. поэта. Большая серия, изд. 2-е) и др. Со своей стороны отметим, что из поля зрения исследователей и библиографов выпали патриотические стихотворения Ф. Н. Глинки, печатавшиеся в 1829 г. в «С.-Петербургских ведомостях» (см. №№ 120, 125, 131, 133, 136).

[13] О личных встречах датского писателя Енса Баггесена с Н. М. Карамзиным и о сходных мотивах в их творчестве см. работу К. Тиандера («Лабиринт» Баггесена и «Письма русского путешественника» Карамзина) (К. Тиандер. Датско-русские исследования, вып. 1. СПб., 1912, стр. 1—82).

[14] Речь идет о труде Вибекинга и Кренке Клауса: Allgemeine auf Geschichte und Erfahrung gegründete theoretish-praktische Wasserbaukunst. München, 1811—1817, 5B (или Darmstadt, 1798—1807). К изданию приложено 5 томов чертежей.

[15] А. И. Тургенев в шутку сравнивает Шеллинга с французским танцором Людовиком Дюпором, выступавшим в России в 1808—1816 гг.

[16] Полное название этой книги: Der Karfunkel oder Kling-Klingel-Almanach. Ein Taschenbuch für vollendete Romantiker und angehende Mystiker. Auf das Jahr der Gnade 1810... Herausgegeben von Baggesen. Альманах содержит произведения Баггесена, подписанные различными псевдонимами.

[17] Запись о посещении Жана-Поля Рихтера братьями Тургеневыми дополняет наши сведения по теме «Ж.-П. Рихтер и русская культура», которая исследована в статье М. Л. Тронской «Жан-Поль Рихтер в России» (Западный сборник. Изд. АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 257—290, с библиографией переводов, статей, рецензий, упоминаний и цитат из Ж.-П. Рихтера в русской печати).

[18] О Занде см. комментарий на стр. 524.

[19] А. И. Тургенев слушал оперу Глюка «Ифигения в Авлиде».

[20] Как установлено М. Вишницером на основании дневника Н. И. Тургенева, при свидании братьев Тургеневых со Штейном в Нассау разговор шел о политическом и социальном состоянии Европы и Америки. Штейн был озабочен падением влияния аристократии в Англии, хвалил Боливара и называл «важным происшествием» освобождение Южной Америки от испанского господства (М. Вишницер. Барон Штейн и Николай Иванович Тургенев. «Минувшие годы», 1908, вып. X, стр. 276). Как известно, Н. И. Тургенев знал Штейна с декабря 1813 г., когда он приступил к исполнению обязанностей секретаря Штейна в Центральном административном совете, созданном Россией и Австрией для управления территорий, освобожденных от наполеоновского владычества. О совместной работе со Штейном Н. И. Тургенев писал в своем сочинении «Россия и Русские» (т. 1, М., 1915, стр. 19—37, 307—317). По этому вопросу см. также исследование Е. И. Тарасова «Декабрист Николай Иванович Тургенев. Очерки по истории либерализма в России» (Уч. изв. Самарского унив., вып. I, 1918; вып. IV, 1923).

[21] О пребывании мадам де Сталь в России в 1812 г. см. статью С. Дурылина «Г-жа де Сталь и ее русские отношения» (ЛН, т. 33—34, М., 1939, стр. 263—279). Судя по тексту дневника А. И. Тургенева, можно предполагать, что в 1812 г. он познакомился не только с Августом Шлегелем, но и с мадам де Сталь. Таким образом, имя А. И. Тургенева, по-видимому, следует добавить к списку ее русских знакомых, приведенному в статье С. Дурылина.

[22] В разговоре А. И. Тургенева с А. Шлегелем речь шла о бароне Павле Львовиче Шиллинге, изобретателе электромагнитного телеграфа, знакомого Батюшкова, Жуковского, Пушкина, А. И. Тургенева, Вяземского. О П. Л. Шиллинге см. статью М. П. Алексеева «Пушкин и наука его времени» (Пушкин. Исследования и материалы, т. 1. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 55—75).

[23] А. И. Тургенев приводит отрывок из стихотворения Батюшкова «Переход через Рейн» (1817).

[24] Речь идет об убийстве Н. Ф. Минкиной, наложницы графа А. А. Аракчеева.

[25] Речь идет о труде французского френолога Франца Иосифа Галля «Sur les Fonctions du Cerveau et sur celles de chacune de ses parties» (Paris, 1822—1825, 6 v.).

[26] Драма «Le roman» принадлежит перу французского драматурга Александра Жана Жозефа Лавилль де Мирмон (1782—1845).

[27] Аббат Николь был отстранен в 1820 г. от руководства Ришельевского лицея по доносам попечителя Харьковского учебного округа архимандрита Феофила. Подробнее о жизни аббата Николя в России см.: П. О. Юрченко и В. А. Яковлев. Аббат Николь и первые годы Ришельевского лицея. В сб. «Ришельевский лицей и императорский Новороссийский университет», Одесса, 1898, стр. 1—70. Указывая на свою близость к князю А. Н. Голицыну, А. И. Тургенев имеет в виду свою службу в Министерстве духовных дел и народного просвещения в те годы, когда министром был А. Н. Голицын.

[28] А. И. Тургенев имеет в виду П. П. Дубровского (1754—1816), сотрудника русского посольства в Париже, начавшего свою собирательскую деятельность во Франции в 1778 г. Подробнее о П. П. Дубровском см. статью М. П. Алексеева «Из истории русских рукописных собраний» в кн.: Неизданные письма иностранных писателей XVIII—XIX веков. Изд. АН СССР, М.—Л., 1960, стр. 36—62, а также в кн.: Каталог писем и других материалов западноевропейских ученых и писателей XVI—XVIII вв. из собрания П. П. Дубровского. Под ред. М. П. Алексеева. Составители: Е. В. Бернадская и Т. П. Воронова. Л., 1963.

[29] В. Гаюи жил и работал в России с 1806 по 1817 г. О его деятельности в России по введению метода обучения слепых см.: А. Скребицкий. Создатель методов обучения слепых, Валентин Гаюи, в С.-Петербурге. СПб., 1886.

[30] А. И. Тургенев смотрел трагедию Лебрена «Мария Стюарт» (1820).

[31] После убийства Лувелем герцога Беррийского в феврале 1820 г. правительство Деказа пало, а Гизо и другие доктринеры вышли в отставку, отказавшись способствовать новому правительственному курсу, направленному к усилению феодальной реакции.

[32] Речь идет о книге Шарля Дюпеня «Discours et leçons sur l'industrie, le commerce, la marine, et les sciences appliquées aux arts» (Paris, 1825).

[33] А. И. Тургенев читал книгу Абеля Франсуа Вильменя «Lascaris, ou les Grecs du quinzième siècle, suivi d'un essai historique sur l'état des Grecs, depuis la conquête musulmane» (Paris, 1825). Современный исследователь следующим образом характеризует этот труд Вильменя: «„Опыт“, рассказывающий историю Греции в продолжение четырех веков и имеющий своей целью вскрыть корни греческого Рисорджименто, посвящен преимущественно новогреческой цивилизации, пробивающейся из-под турецкого владычества, но имеющей мало общего с цивилизацией древней. Вильмень широко использует переписку административную и церковную, сообщения путешественников, греческую литературу, не пренебрегает ни чертами нравов, ни внешними условиями жизни и быта» (Б. Г. Реизов. Французская романтическая историография. Изд. ЛГУ, 1956, стр. 65). Как отмечает далее Б. Г. Реизов, тема сочинения Вильменя «в эпоху филэллинизма была в высшей степени актуальна, и сочинение имело исключительный успех» (там же). Отрицательный отзыв А. И. Тургенева о «Ласкарисе» контрастирует с одобрением, проявленным современниками к этому труду. Мнение А. И. Тургенева вызвано в основном двумя соображениями: во-первых, он полагает, что Вильмень придал слишком большое значение рассеянию греков в Италии, не подчеркнув в то же время в должной мере влияния книгопечатания и открытия Америки на ход всемирной истории; этим двум факторам А. И. Тургенев отводил очень важное место в истории нового времени, что явствует из многих мест его дневника, и особенно ясно выражено при посещении им Майнца (см. настоящее издание, стр. 308—309) в восторженном дифирамбе Гутенбергу; во-вторых, хорошо знакомый с современной Грецией по рассказам жившего там С. И. Тургенева, он считает, что Вильмень недостаточно осведомлен о событиях, которые он описывает.

[34] А. И. Тургенев вспоминает М. А. Мойер, умершую в Дерпте в 1823 г.

[35] «Московским Лафонтеном» А. И. Тургенев именует, конечно, И. И. Дмитриева.

[36] Об Абеляре см. комментарий на стр. 517.

[37] Страницы дневника А. И. Тургенева о чтении им произведений Шарля Дюпеня расширяют наши знания о знакомстве представителей русской культуры с его трудами. Подробнее о распространении работ Шарля Дюпеня в России, и в частности его двухтомного труда «Forces productives et commerciales de la France» (Paris, 1827), см. статью

М. П. Алексеева «Пушкин и наука его времени» (Пушкин. Исследования и материалы, т. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 95—100).

[38] О брошюре Стурдзы см. комментарий на стр. 524.

[39] По-видимому, А. И. Тургенев имеет в виду стихотворение Пушкина «Кто мне пришлет ее портрет» (1821), впервые напечатанное в 1826 г. и, следовательно, известное ему по рукописи.

[40] О своем посещении филотехнического общества А. И. Тургенев подробно писал Вяземскому в письме от 20 ноября 1825 г. (см.: ОА, т. III, стр. 134—137). Политехническое общество, основанное в Париже в конце XVIII в., разделялось на три отдела: физических и моральных наук; литературный; изящных искусств.

[41] Стих взят из книги Жюльена «La France en 1825, ou mes regrets et mes espérances» (Seconde édition. Paris, 1825, p. 20).

[42] Речь идет о книге «Fables russes tirées du recueil de M. Kriloff, et imitées en vers français et italiens par divers auteurs» (Paris, 1825) с предисловиями на французском языке — Лемонте, на итальянском — Салфи. По поводу французского предисловия Пушкиным была написана статья «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова», напечатанная в «Московском телеграфе» (1825, ч. V).

[43] А. И. Тургенев имеет в виду басню Крылова «Сочинитель и разбойник», которая уже в 1819 г. была истолкована Н. И. Гречем как направленная против Вольтера, хотя сам Крылов не был согласен с подобной интерпретацией его замысла. Подробнее об этом см. комментарий А. П. Могилянского в кн.: И. А. Крылов. Басни. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 445—446; и комментарий В. И. Саитова (ОА, т. III, с. 493).

[44] «Урика» (1824) — напечатанный анонимно в Париже роман Клер де Дюра (1778—1829). В этом романе, основанном на истинном происшествии, писательница изобразила любовь негритянки-невольницы, воспитанной в аристократическом семействе, к молодому человеку, который по своему общественному положению не мог жениться на ней. «Урика», имевшая шумный успех, была переведена на многие языки, в том числе и на русский. Русский перевод «Урики», исполненный В. С. Филимоновым, был напечатан в «Новой библиотеке для чтения» (приложение к «Сыну отечества»), 1824, ч. III, стр. 3—58 и отдельно.

[45] Трагедию «Леонид» написал французский литератор Амедей Пишо. Обязанная своим появлением на свет широко распространенным во Франции того времени филэллинским настроениям, эта трагедия имела шумный успех.

[46] Эпиграмма направлена против главы французского правительства Виллеля, реакционно-монархическая политика которого вела к обнищанию широких народных масс.

[47] А. И. Тургенев записывает свое посещение французского писателя Антуана Винсена Арно, участника итальянского похода Наполеона. А.-В. Арно писал в то время второй том своего труда «Vie politique et militaire de Napoléon» (Paris, I v.—1822; II v.—1826).

[48] О редакторе «Revue Encyclopédique» М.-А. Жюльене, деятельном участнике этого журнала Э.-И. Геро и об их русских связях см. статьи: К. Державин. Марк Антуан Жюльен де Пари и его пьеса «Обеты гражданок». ЛН, т. 29—30, М., 1937, стр. 539—544; П. Н. Берков. Изучение русской литературы во Франции. ЛН, т. 33—34, М., 1939, стр. 732, 762; В. Нечаева. П. А. Вяземский как пропагандист творчества Пушкина во Франции. ЛН, т. 58, М., 1952, стр. 309—312; Ю. П. Иваск. Два письма князя П. А. Вяземского. Русский литературный архив. Нью-Йорк, 1956, стр. 40—55.

[49] Речь идет о французском философе Викторе Кузене, который в 1820-е годы был видным представителем либеральной оппозиции. Об эклектических философских взглядах В. Кузеня писал в последнее время Б. Г. Реизов: «Как философская система, эклектизм не представляет ценности, но как историческое явление, как военная машина, действовавшая против католической и феодальной реакции, он имеет право на пристальное внимание историка. Общественную функцию эклектизма нельзя объяснить, назвав его опошлением Шеллинга или Гегеля или указав на его философскую „несамостоятельность“. Смысл его можно понять лишь в связи с общественной и идеологической борьбой эпохи» (Б. Г. Реизов. Французская романтическая историография. Изд. ЛГУ, 1956,

стр. 295—296). Нежелание Кузеня знакомиться с братьями Тургеневыми объясняется провокационными слухами, которые распространили о них в Париже, по-видимому, агенты русского правительства.

[50] О печатании перевода предисловия Тальма к «Запискам» Лекена в «Московском телеграфе» см. комментарий на стр. 510.

[51] Тальма рассказывал А. И. Тургеневу о премьере трагедии Легуве «Эпихарис и Нерон, или Заговор ради свободы», которая состоялась 4 февраля 1794 г. Ссылаясь на воспоминания Непомюсена Лемерсье, А. Дейч утверждает, что на этой премьере произошла дантонистская демонстрация, направленная против присутствовавшего на спектакле Робеспьера (см.: Александр Дейч. Тальма. «Молодая гвардия», М., 1934, стр. 187).

[52] Как известно, книга «Mémoires de F.-Y. Talma, écrits par lui-même» (Paris, 1850, 4 v.; русский сокращенный перевод: М.—Л., «Academia», 1931) не считается подлинными мемуарами Тальма. Ученые полагают, что Александр Дюма, опубликовавший эти мемуары, писал их в небольшой мере по бумагам Тальма, а опирался преимущественно на мемуары жены Тальма и на воспоминания: Regnault-Warin. Mémoires historiques et critiques sur Talma. Paris, 1827. Тем большее значение, при указанных обстоятельствах, приобретают страницы дневника А. И. Тургенева, описывающие его встречи с Тальма и непосредственно, без временного интервала, фиксирующие его разговоры с великим французским актером. Тальма, как видно из дневника А. И. Тургенева, полагал посетить Россию в 1827 г., когда должно было исполниться 40 лет его сценической деятельности. Однако смерть (в 1826 г.) помешала ему осуществить это путешествие.

[53] Имеются в виду решения Государственного совета.

[54] А. И. Тургенев упоминает о своем знакомстве с французским ориенталистом Антуаном Жаном Сен-Мартеном, автором труда «Mémoires sur l'histoire et la géographie de l'Arménie» (Paris, 1818—1819, 2 v.).

[55] Свидание Александра I с А. И. Тургеневым в Зимнем дворце имело место по просьбе последнего. Сохранилось начало черновика письма А. И. Тургенева царю, из которого видно, что Александр Иванович, обеспокоенный ухудшением отношения самодержца к нему и братьям, решил начистоту объясниться с монархом. Вот текст этого черновика: «Простите, гос<ударь>, моей дерзости, но опасение, чтобы не укрепилось в вас мнение, от которого зависит участь всего нашего семейства, и скорый отъезд ваш, заставили меня прибегнуть к средству необыкновенному, в первый и, конечно, в последний раз в жизни.

«Я умоляю вас — позволить предстать пред вами не столько с оправданием, сколько с чистосердечною исповедью. Ваше в<еличество>, можете вы выслушать меня в полчаса и даже менее. Выслушайте, умоляю вас, и тогда накажите за теперешнюю дерзость, если найдете, что старшему в семействе, которое служило и служит вам с честию, не следовало прибегать к сему средству.

«Есть ли вы спросите, какие причины заставляют меня некоторым образом оправдываться, тогда как никто гласно не обвинял нас. Именно негласность сих обвинений, глухие, по-видимому, незначущие и неопределительные отзывы — и следствие сих отзывов, влияние их на службу нашу, смею сказать, на самые дела. Несколько минут неприказного объяснения лучше покажут правила наши, нежели догадки, основанные часто хотя и на вероятных, но не всегда справедливых донесениях. 20 лет тому назад я воспитывался в иностр<анном> университете; но первое образование получил в русском, под непосредственным надзором отца, которого и неприятели не укоряли в вольнодумстве. Братья также. — Пусть спросят у русских и иностранцев, какую память оставили мы по себе в чужих краях.

«Возвратившись, я желал продолжать службу в иностранной коллегии; но повиновался воле отца и назначению Новосильцова, с вредом для службы; ибо кн. Чарто<рыжский> принял мой переход к Нов<осильцову> дурно — и лишил меня чина, который дал моему товарищу по университету и по службе.

«У Нов<осильцова> служил и был употреблен по делам разного рода. Отклонял

всегда разные предложения, наблюдая правило постоянства в службе. — Я не помню, чтобы начальство, невзирая на тогдашнюю неопытность мою и, тоже смею сказать, прямодушие, заметило меня в каком-либо предосудительном поступке; старался употребить в пользу сведения, приобретенные в чужих краях; тогда никто не думал еще упрекать европейскою образованностию и щеголять, выслуживаться невежеством. — Я думал служить в духе правительства и не подвергнул себя ни малейшему нареканию по делам, несмотря, что тогда в словах был часто неосторожен, в чем признаюсь пред вами с радостию, вспоминая, что грехи юности, и то грехи словом, а не делом, вами с радостию же и прощены будут. Горе тому, кто в тогдашние мои лета не был грешен таким образом!

«Новосильцова не покинул я и тогда, когда почти все его покинули, и думал с гордостию, что вы это заметите, государь. — Меня передали по службе Сперанскому и кн. Лопухину. От первого ожидал себе неприятностей, не зная его и полагая, что до него доходили мои дерзкие суждения о его редакциях. Я же ему был совсем неизвестен и в первый раз в жизни увидел его тогда, как он уже был моим начальником. Но он употребил меня деятельно — хотя и не надолго. По неизвестным причинам мне показалось, что он со мною холоден, и я принял предложенное мне место при кн. Голицыне, сохранив комиссионное и отказавшись от предложений гр. Разумовского, Гурьева и Дмитриева. Не для корысти сохранил я место в комиссии законов, но по собственному желанию начальников и не желая отвыкнуть от части, по которой служил так долго и к которой несколько приготовился в самом университете» (Отдел письменных источников Государственного исторического музея, ф. 247, ед. хр. 4, лл. 48—49).

Как видно из дневника Тургенева, Александр I в ответ на либерально-просветительскую позицию своего собеседника сказал примирительно и уклончиво: «Кто старое помянет...». Это была обычная тактика Александра I, не желавшего, несмотря на аракчеевский курс своей политики этих лет, обострять отношения с передовою частью дворянства: события 11 марта 1801 г., в которых он сам принимал косвенное участие, были живы в его памяти, и, по-видимому, он опасался возможности их повторения.

[56] В пьесе Симеона Полоцкого «О Навуходоносоре...» нет упоминаемых А. И. Тургеневым «протозанщиков» и «спальников». По-видимому, речь идет о пьесе «Иудифь», в которой представление разбито на «действа» и «сени», а в числе действующих лиц фигурируют Навуходоносор, «протозанщики» и «спальники» (см.: Н. Тихонравов. Русские драматические произведения 1672—1725 годов, т. 1. СПб., 1874, стр. 76—203). В начале «Иудифи» посвящение царю Алексею Михайловичу, что также сходится с описанием А. И. Тургенева. Ошибочна, видимо, надпись на рукописи, удостоверяющая авторство якобы Софии Алексеевны; эта надпись объясняется традицией, приписывающей последней сочинение одной трагедии (см.: Словарь русских светских писателей митрополита Евгения, т. 1. М., 1845, стр. 174). Как считают исследователи, сочинением пьес занималась другая сестра Петра I — Наталья Алексеевна. Однако и ей не приписывают авторство «Иудифи»; кто написал эту пьесу, до сих пор не установлено. Учитывая некоторые особенности «Иудифи», П. О. Морозов полагал, что она сочинена в Польше каким-нибудь немецким актером и затем переведена в нашем посольском приказе (см.: П. О. Морозов. История русского театра до половины XVIII столетия. СПб., 1889, стр. 164—166).

[57] Речь идет о книге французского дипломата Доминика Дюфура де Прадта (1759—1837) «Du Jésuitisme ancien et moderne» (Paris, 1825).

[58] Политический каламбур: Легро его нарисовал, а также: толстый кролик, как в насмешку именовали французы Людовика XVIII.

[59] Английский филантроп Джон Говард умер в 1790 г. в Херсоне во время обследования военных госпиталей.

[60] А. И. Тургенев присутствовал на собрании, устроенном одной из левых групп английского радикального движения: «Карлейль и его группа... требовали уничтожения государственной церкви из-за ее несовместимости с гражданской свободой, но одновременно вели в своей прессе деятельную критику христианской религии с позиции

просветительства» (Е. Б. Черняк. Демократическое движение в Англии. 1826—1820. Изд. АН СССР, М., 1957, стр. 151—152).

Как видно из перечня тостов, приводимых в дневнике А. И. Тургенева, идеологи радикального движения считали своими духовными отцами французских просветителей, английского социалиста-утописта Роберта Оуэна и плеяду английских деистов XVIII в.: Роберта Тейлора, Матвея Тиндала, Джона Толанда, Петра Аннета и, наконец, Томаса Пейна, автора широко известного труда «Rights of men» (1791—1792, 2 v.), памфлетов в защиту независимости Америки и других работ. Возмущение А. И. Тургенева взглядами Ричарда Карлейля вполне естественно: ни республиканизм, ни деистические построения этого английского радикала не вызывали симпатии у русского дворянского либерала, являвшегося сторонником конституционной монархии. В то же время платформа партии тори не была близка А. И. Тургеневу. Наиболее сочувственно он относился к программе вигов, подружившись с видными деятелями этой партии — лордом Генри Брумом и лордом Генри Лансдовном.

61 Речь идет о книге французского литератора Августа Луи де Сталя-Гольштейна, сына мадам де Сталь, «Lettres sur l'Angleterre» (Paris, 1825).

62 А. И. Тургенев имеет в виду рецензию на книгу Амедея Пишо «Voyage en Angleterre et en Ecosse» (Paris, 1825).

63 В 1820 г. Брум выступал защитником королевы Каролины, обвиненной в нарушении супружеской верности, и добился ее оправдания. Подробнее об этом см.: Histoire du procès de la Reine d'Angleterre. [Б/г.].

64 Оклеветанный брат — С. И. Тургенев, который лечился в то время в Италии. В начале следствия по делу декабристов он был заподозрен в участии в нелегальных организациях, и, как видно из дневника А. И. Тургенева за 24 сентября 1832 г., русский чрезвычайный посланник и полномочный министр в Неаполе Г. О. Штакельберг даже пытался арестовать С. И. Тургенева в Италии, и лишь болезнь спасла последнего от насильного возвращения в Россию (ИРЛИ, ф. 309, № 13, л. 19). В ходе дальнейшего следствия С. И. Тургенев был признан непричастным к делу о тайных обществах.

65 А. И. Тургенев рассматривал известный альбом польской пианистки Марии Шимановской; об этом альбоме Вяземский написал вскоре статью для «Московского телеграфа» (1827, ч. XVIII, стр. 110—127). В последнее время об альбоме Шимановской писал М. П. Алексеев в своих статьях «Автографы Байрона в СССР» (ЛН, т. 58, М., 1952, стр. 960—963); «Из истории русских рукописных собраний» (Неизданные письма иностранных писателей XVIII—XIX веков. Изд. АН СССР, М.—Л., 1960, стр. 17—24) и И. Бэлза в книге «Мария Шимановская» (Изд. АН СССР, М., 1956).

66 Шелкоткацкое производство Спитфильда было единственной отраслью английской промышленности, в которой рабочие добились в 1773 г. парламентского акта о регулировании заработной платы. В мае 1824 г. предприниматели подали в парламент петицию с просьбой аннулировать Спитфильдский акт, мотивируя свою просьбу тем, что судьи устанавливают одинаковый минимум зарплаты за ручной труд и за машинную работу, и стали переводить свои предприятия в другие районы страны, где имелись более дешевые рабочие руки. В июне 1824 г. Спитфильдский акт, несмотря на протесты и петиции рабочих, незначительным парламентским большинством был отменен, что привело к стачкам и разрушениям машин в шелкоткацкой промышленности, к пауперизации ремесленной аристократии и к победе машинного труда над ручным в этой отрасли производства. Подробнее об этом см.: Г. Быков. Очерки по истории социального движения в Англии. 1764—1836. Соцэкгиз, 1934, стр. 85—87.

67 А. И. Тургенев сравнивает И. И. Дмитриева с английским поэтом Томасом Кампбеллом, который в 1820—1831 гг. был издателем «New Monthly Magazine». Поэмы Кампбелла, о которых говорится в рецензии, по-видимому, «The Pleasures of Hope» (1799) и «Gertrude of Wyoming» (1809).

68 О посещениях Веймара А. И. Тургеневым см. также настоящее издание, стр. 113—118, 210—212.

[69] О совместном чтении А. И., С. И. Тургеневых и Жуковского исторических трудов Минье и Гизо см. статью на стр. 458—460.

[70] Встреча Пушкина с пасторами на квартире А. И. Тургенева может быть датирована июнем-декабрем 1817 г. Подробнее об этом см. статью С. Дурылина «Пушкин и пасторы (Из забытых свидетельств о Пушкине)» («30 дней», 1937, № 2, стр. 83—86), в которой впервые была приведена выписка из дневника А. И. Тургенева об этой встрече. Иоанн Генрих Буссе (1763—1835) с 1785 по 1819 г. жил в Петербурге. Он был с 1785 г. директором Академической гимназии, с 1795 г. — адъюнктом Петербургской Академии наук, с 1801 г. — пастором в церкви св. Екатерины на Васильевском острове. Мюральт — с 1810 г. пастор реформатской церкви и содержатель пансиона в Петербурге. Ласозе, — по-видимому, тоже пастор.

[71] Речь идет о книге А. П. Куницына «Право естественное», которая по решению Главного управления училищ была конфискована и уничтожена. Выдержка из решения Главного управления училищ о книге А. П. Куницына приведена в книге Б. С. Мейлаха «Пушкин и его эпоха» (Гослитиздат, М., 1958, стр. 70), в которой дан разбор лицейских курсов А. П. Куницына и выяснено их влияние на Пушкина и лицеистов его круга.

[72] А. И. Тургенев имеет в виду третье французское издание (1822) труда Дестю де Траси «Комментарий к Духу законов Монтескье» (впервые напечатано в переводе на английский язык в 1811 г.), в котором подвергнут резкой критике в духе социальной доктрины Руссо английский парламентаризм. Утверждая необходимость установления республиканского строя, автор отрицал американскую федеративную систему и видел в президентской власти возможный источник реставрации монархии. Демократическая доктрина Дестю де Траси, оказавшая громадное влияние на карбонарское движение, была воспринята и декабристами, главным образом, членами Южного общества. Свидетельство А. И. Тургенева об успехе труда Дестю де Траси в России, который был быстро раскуплен гвардейскими офицерами, подтверждается и показаниями М. Ф. Орлова на следствии. Об использовании декабристами взгляда Дестю де Траси на организацию верховной власти см.: В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, стр. 545—549; С. С. Ланда. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России. В сб.: Пушкин и его время. Исследования и материалы, вып. 1. Л., изд. Гос. Эрмитажа, 1962, стр. 137—138, 167—168.

[73] Осенью 1821 г. во время гонений правительства Александра I на передовых профессоров Петербургского университета подвергся преследованию Э.-Б. Раупах, читавший курс всеобщей истории. Подробные материалы по делу петербургских профессоров приведены в труде М. И. Сухомлинова «Исследования и статьи по русской литературе» (т. 1, СПб., 1889, стр. 271—397).

[74] Видимо, имеется в виду А. К. Разумовский.

[75] Э.-Б. Раупах был не только профессором истории, но и плодовитым писателем. Прожив много лет в России, он писал и драмы из русской жизни. А. И. Тургенев видел его драму «Die Leibeigenen, oder Isidor und Olga. Trauerspiel in fünf Akten» (Leipzig, 1826). Об этой драме Раупаха и о возможном ее влиянии на первую редакцию юношеской драмы Белинского см. статью: Р. Шор. К источникам «Дмитрия Калинина» (Драма Раупаха «Крепостные»). — Венок Белинскому. Сб. под ред. Н. К. Пиксанова. «Новая Москва», 1924, стр. 205—221.

ПЕРЕВОД ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ

Стр. 10. Светотень (фр.).

Стр. 12. Их несокрушимая рука утомила Время (фр.).

Стр. 16. Интересом данной минуты (фр.).

Стр. 16. «Путешествие в южную Россию, и особенно в Закавказье, в 1820—1824 гг.» (фр.).

Стр. 17. «Три эпохи современной истории, или торговая, политическая и религиозная революции» (фр.).

Стр. 17. Какой аромат отчизны приносит этот свежий ветерок! Как прекрасна отчизна в тот миг, когда ее покидаешь! (фр.).

Стр. 18. Своему поэтическому таланту он обязан всем, что творит (нем.).

Стр. 24. Прощай, святая душа! (лат.).

Стр. 26. Ведущих статей (англ.).

Стр. 26. Экстравагантности (фр.).

Стр. 26. «Всякий раз, когда ваше величество изволит придумать должность, бог рождает дурака, чтобы ее купить» (фр.).

Стр. 27. «Репетиция оперы» (ит.).

Стр. 27. Цивильный лист (фр.).

Стр. 27. Король-гражданин (фр.).

Стр. 27. Кассе погашения (фр.).

Стр. 29. Мещанскими аристократами (нем.).

Стр. 32. В этом ответе я узнал привычки духовенства (фр.).

Стр. 32. «Я уже вижу, что Вы за человек» (нем.).

Стр. 33. Высокомерие, сраженное Теллем, — отсюда возникла свобода; как долго, однако, будет она продолжаться? Еще долго — если бы мы были подобны древним (нем.).

Стр. 33. Я уж внушу вам отвращение к крестьянам (нем.).

Стр. 34. Алоизус Рединг де Биберег, наставник, чье имя — высшая похвала (лат).

Стр. 34. Царство укрепляется справедливостью (лат.).

Стр. 35. Здесь был заключен первый вечный союз. Год 1315, основание Швейцарии [7] (нем.).

Стр. 35. Там без всякого страха поверяли один другому свои мысли (нем.).

Стр. 36. Ноябрь прозвонил свой первый день (фр.).

Стр. 37. Я бы советовал путешественникам избегать гостиницы «Голова Магомета» в Астрахани (англ.).

Стр. 37. Навуходоносор, идущий из Антипод (фр.).

Стр. 37. Навуходоносор был превращен в животное, вот почему (фр.).

Стр. 37. Взгляд вниз возвещает чудовищное (нем.).

Стр. 38. Столь высоко в горах, где растет трава, обитают пастухи и стада... Единственное счастье горцев — свобода — отсутствует у них (нем.).

Стр. 39. Продаю, за что купил (лат.).

Стр. 40. Непромокаемый плащ (фр.).

Стр. 43. Это озеро самое прекрасное (фр.).

Стр. 44. «Нет спокойствия людей без налогов» (лат.).
Стр. 45. «Бешеный с острова Сан-Доминго»... «Сицилианский бандит» (ит.).
Стр. 45. «Учение о красках» (нем.).
Стр. 45. Одно стоит другого (фр.).
Стр. 47. «Чтобы память того человека... драгоценна в языке и в сердце» (ит.).
Стр. 47. Молодому более всего свойственна молодость, старому — старость (лат.).
Стр. 47. Образцовое произведение (ит.).
Стр. 47. «Руководство по типографскому делу» (фр.).
Стр. 48. Золотая середина (фр.).
Стр. 48. «Обрученные» (ит.).
Стр. 48. «Родное гнездо» (ит.).
Стр. 48. «Здесь родился Людовик Ариосто, дня 8 сентября 1474» (ит.).
Стр. 48. Щеголями (англ.).
Стр. 49. «Похищенное ведро» (ит.).
Стр. 49. «Л. А. Мураторио мутинскому, отцу истории и италийских древностей... отцу истории италийских...» (лат.).
Стр. 50. «Не нуждается ли ваше превосходительство в прелестной девушке?» (ит.).
Стр. 50. «Он доказал свое постоянство и верность гибнущему отечеству» (лат.).
Стр. 50. «Посвятив себя наукам, она обучала греческому языку от имени государства» (лат.).
Стр. 50. Бедного люда(ит.).
Стр. 51. «Антонию Канове, первому скульптору своего времени» (лат.).
Стр. 51. Ученая Болонья (лат.).
Стр. 51. «Женевский сирота» (фр.).
Стр. 52. Пропуск (ит.).
Стр. 53. Из всех чудесных городов земли самый прелестный — Флоренция (англ.).
Стр. 53. В лесах (лесное аббатство мадам Рекамье) (фр.).
Стр. 53. И ныне остается великое имя. Но судьба была такова (лат.).
Стр. 54. Этот драгоценный дар, что Элеонора изволила иглою вышить, увидела Арахнея и замолкла... Так, если рука, которая ранила сердце, столь прекрасной творит любовь, то как смогу выйти из ее тайного лабиринта, не расставшись с жизнию (ит.).
Стр. 54. «Немая из Портичи» (фр.).
Стр. 55. О католицизме... в образовании, или единственное средство спасти науку и общество (фр.).
Стр. 56. Огромная брошюра (фр.).
Стр. 56. Бог и природа: все в этих словах (фр.).
Стр. 56. В рельефах (фр.).
Стр. 57. Корнаро — тиран, совсем не кроткий (фр.).
Стр. 57. Остывшая лава (фр.).
Стр. 57. Когда читаешь святое писание, то всегда идея величия соединяется с именем Вавилона, даже в анафемах пророков. Смотрите Иеремию (фр.).
Стр. 58. Тень великого имени (лат.).
Стр. 60. Лидер (англ.).
Стр. 60. Каталог рукописей коллекций Лансдауна в Британском музее (англ.).
Стр. 62. «Исповеди» Руссо (фр.).
Стр. 63. Нет, я более ни к чему не годен, я уже не умею говорить, — и я также не умею молчать (фр.).
Стр. 63. В должности генерального прокурора Шотландии (англ.).
Стр. 63. Как вы завтракаете... Конечно, а ля фуршет, по-французски? — Как вам угодно... Вы получите омлет (фр.).
Стр. 65. Там твердый гранит и известковые скалы таят окаменелости скелетов рыб (фр.).
Стр. 65. Только одни лишь известковые горы представляют из себя настоящие музеи первобытного мира, т. е. допотопного (фр.).

Стр. 66. Строфы, написанные на море (фр.).
Стр. 66. Иллюстрации этого дня (фр.).
Стр. 66. За то, что она полна доброжелательности (фр.).
Стр. 66. Мемуары Биньона о постепенном сближении морали и политики (фр.).
Стр. 66—67. «Ясно ли это?». Ясно в этом только одно, это то, что данное малолюбезное выступление в отношении столь услужливой палаты вызвало падение министерства (фр.).
Стр. 67. Как сторонник падшего министерства (фр.).
Стр. 67. Здесь покоится мать троих Дюпенов (фр.).
Стр. 67. «Разрешите, сударь, это единственное место, которое я желал бы сохранить» (фр.).
Стр. 68. «Смерть — это сейчас моя единственная любовница» (фр.).
Стр. 68. В ней все поэзия и правда (фр.).
Стр. 68. И более достоверны (фр.).
Стр. 69. В курсе (фр.).
Стр. 69. «Ежегодник бюро долгот» (фр.).
Стр. 70. «Пахари — это судьба человека на земле и на небе» (фр.).
Стр. 70. «Это как в Библии» (фр.).
Стр. 70. Приказ об аресте (фр.).
Стр. 70. Передают высказывание Гуманна о финансовом законе, который превратили в закон политический: «Это мое дитя... но его подменили у кормилицы» (фр.).
Стр. 70. «Размышления о современной истории» и т. д., и т. д. (фр.).
Стр. 70. «Исповедь сына века» (фр.).
Стр. 72. Роялисты встречались с представителями других партий; теперь они встречаются друг с другом (фр.).
Стр. 72. В высшей степени (фр.).
Стр. 72. Текла... извиняясь за позднее приглашение... что в поэзии, так же как и в отношении хорошего обеда, время ничего не меняет (фр.).
Стр. 72. Что «заседание было закрыто и будет продолжено на следующий день, в воскресение, в час дня» (фр.).
Стр. 72. Нынче свет проникает к нам с севера (фр.).
Стр. 74. «В настоящее время меньшее различие заметно между европейцами и выходцами из Нового света, несмотря на океан, который их разделяет, чем в тринадцатом веке между некоторыми городами, которые были разделены лишь рекой. Если ассимиляция сближает чуждые народы, она тем более препятствует тому, чтобы сыны одного и того же народа стали чуждыми друг другу» (фр.).
Стр. 74. Их происхождение различно, их пути неодинаковы; тем не менее каждый из них кажется, по тайному замыслу Провидения, призван держать однажды в своих руках судьбу половины вселенной (фр.).
Стр. 74. За 25 су в день (фр.).
Стр. 75. «Свадьба Фигаро» (фр.).
Стр. 75. «Марино Фальеро» (фр.).
Стр. 75. «Полковой священник» (фр.).
Стр. 75. «Песни Дезожье» (фр.).
Стр. 75. Вспомните об этом! (фр.).
Стр. 75. Первым куплетистом, может быть, всех времен, который создавал песенки, как Лафонтен писал басни (фр.).
Стр. 76. Господин Боло (преподаватель языков и практики красноречия) (фр.).
Стр. 77. Коле (урожденная Первиль)... «Цветы юга», стихи Луизы Коле (фр.).
Стр. 77. «Разрешите мне, однако, сказать вам, опираясь на мой старый опыт, что вы слишком восхваляете несчастие; неизведанное страдание внушило вам стансы, полные очарования и меланхолии; испытанная боль не служит источником такого вдохновения. Не говорите более: Предоставьте дни радости безвестным смертным» (Страдание поэта, стр. 10). «Теперь, сударыня, надо молиться за вас. Что касается меня, то я прошу небо, чтобы оно никогда для вас не отделяло счастия от славы» (фр.).

Стр. 77. Вчера было три конкурента: Моле, Гюго и Дюпати. Господин Моле, который уже был близок к председательству, даже не академик. Большинство получил Дюпати. Идет молва, что академики третьего сословия были против него, говоря: «Он не хотел, чтобы мы были его коллегами, мы не хотим, чтобы он был нашим собратом». Я тем более огорчен за Баланша, что те, кто ему советовал не выставлять свою кандидатуру, дали этот совет только потому, что надеялись, что господин Моле станет академиком. Я еще не смог достать его труда за 1806 и 1809 годы. Говорят, что он проявил себя там Платоном абсолютизма (фр.).

Стр. 77. Чтобы быть любимым своим народом, греческому королю нужны четыре вещи: хлопок, шелк, волокно и шерсть (фр.).

Стр. 77. Ваза... во вкусе Возрождения (фр.).

Стр. 78. «Песни сумерок» (фр.).

Стр. 78. Во дворце правосудия (фр.).

Стр. 79. Нет ничего нового под солнцем, но само солнце каждый день новое (фр.).

Стр. 80. О несчастьях нашего времени, о том, что общество потрясено в своих основах, и о других общих местах подобного рода; потому что избранных было мало (фр.).

Стр. 80. Это плоды неспелые и кислые (фр.).

Стр. 80. Это проповедь для ‹Сент-Жерменского› предместия (фр.).

Стр. 80. Но впечатление, произведенное на мою душу, было еще очень живо; я почувствовал, и я уверился в этом впоследствии, что все проповеди Лакордера являются импровизациями; он составляет заранее лишь план и затем говорит по вдохновению, не обращая внимания на публику, которая слушает его, следуя лишь ходу своей мысли и вызывая те чувства, которые он сам испытывает; он изображает христианство как наиболее яркое проявление истины, причем предварительно рисует в общих чертах мир язычества в его развитии. Лакордер будет еще семь раз говорить проповедь до пасхи и затем один раз в часовне Института имени Шатобриана. Потом он намерен уехать в Рим и оставаться там два, три, а может быть, даже пять лет, чтобы отдыхать и заниматься. Он не найдет великих мастеров христианского красноречия, но он будет у самого источника великих вдохновений и познакомиться с римской церковью с различных точек зрения. В последний раз он был там с Ламенне.

Миссис Тролоп рассказывает также об одной проповеди Лакордера, но она меньше всего говорит о том, что она слышала; она ограничивается тем, что описывает храм, толпу и цитирует лишь собственную болтовню (фр.).

Стр. 80. Старик всюду и нигде (нем.).

Стр. 80. Господин Персиль в Ботаническом саду (фр.).

Стр. 80. Он остается на той же высоте (фр.).

Стр. 81. Что он свидетельствует свое почтение 27-му хранителю печати (фр.).

Стр. 82. Одна дама, беседуя, дала нам в этот вечер очаровательное определение мистицизма: это христианство в состоянии возбуждения (фр.).

Стр. 82. «Это империя!» — Без императора (фр.).

Стр. 82. Я снова слушал аббата Кера. Сегодня он говорил о характере и влиянии христианского духовенства, перечислил великих светочей Востока и Запада, вплоть до Боссюета, великолепный портрет которого он набросал. Его проповеди, действительно, интеллектуальное и моральное наслаждение! Я не заснул ни на миг. Дамы, собиравшие на церковь, были очаровательны (фр.).

Стр. 82. Кафе «Ренессанс»... буфетчицей (фр.).

Стр. 82. «Не считая платы за заказанные напитки»... завсегдатаи кафе (фр.).

Стр. 83. От чего отказываются, когда обращаются к богу?...
Почему не сказать попросту, когда предаются богу? (фр.).

Стр. 83. «Самой прекрасной книгой, созданной человеческой рукой, книгой, какую мог бы написать Платон, если бы Платон пришел после Евангелия» (фр.).

Стр. 85. О религиозных направлениях нашего века (фр.).

Стр. 85. Некто из всех (лат.).

Стр. 86. «Игра любви и случая» (фр.).

Стр. 87. «Вечер у мадам Жофрен» (фр.).

Стр. 87. «Он поступает так же, как Шатель» (фр.).

Стр. 87. «Господин Ламартин — пантеист, как и все поколение, к коему он принадлежит» (фр.).

Стр. 87. «Господин Ламартин возродил к новой жизни французскую поэзию; он ее омолодил и обогатил. Он нашел гармоническое выражение тому глубокому религиозному и философскому унынию, которое подтачивает наше поколение. Мастер слова, он с огромным воодушевлением сделал наш литературный язык более гибким; он создал из него необразимые водяные просторы, где каждая волна сверкает красками и отцветами» (фр.).

Стр. 87. «Крик души» (фр.).

Стр. 87. «Европа и Турция с 1829 по 1836» (фр.).

Стр. 87. «Неизданная переписка Вольтера с Фридрихом II, с президентом де Бросс и т. д., и т. д.» (фр.).

Стр. 88. «Школа стариков»... «Непредвиденное пари» (фр.).

Стр. 88. Об уважении человека (фр.).

Стр. 88. Богослужение с безвозмездным духовенством (фр.).

Стр. 88. Трехмесячный журнал (англ.).

Стр. 89. Там было два или три стиха, которые следует запомнить (фр.).

Стр. 89. «Он жив, мадам, но не для вас»... приблизительно... «И ваш возлюбленный не может больше быть супругом»... «Листья самых прекрасных лавров горьки» (фр.).

Стр. 90. Где гости собрались невзначай (фр.).

Стр. 90. Приблизительно (фр.).

Стр. 90. Мне всегда казалось более приятным дружеское слово, или если ты не отвергаешь любовницы или наложницы (лат.).

Стр. 90. В монастырь Аржантей (фр.).

Стр. 90. Поскольку Элоиза не может более быть женой Абеляра, ему не нужно больше быть мужчиной (фр.).

Стр. 90. Буриме (фр.).

Стр. 90. Умозрительный (фр.).

Стр. 90. Мрачный (фр.).

Стр. 90. Министр (фр.).

Стр. 90. Сверху донизу (фр.).

Стр. 90. Настоятель Палаты перов (фр.).

Стр. 90. Друзья детства (фр.).

Стр. 91. Католическое вероучение (фр.).

Стр. 91. В Монтескье нет ничего католического (фр.).

Стр. 91. «Тише» (фр.).

Стр. 91. «Парижский мальчуган» (фр.).

Стр. 91. В приюте св. Терезы (фр.).

Стр. 92. Приблизительно... «Прекрасно начать „Гением христианства“ и закончить приютом св. Терезы» (фр.).

Стр. 92. Великим человеком (англ.).

Стр. 92. Хотя лишенный зоенья, он видел свет (англ.).

Стр. 92. Взгляды (нем.).

Стр. 93. Ясно ли это? (фр.).

Стр. 93. И один за другим отступают! (нем.).

Стр. 94. Он также имеет шансы (фр.).

Стр. 94. «Это поколение принадлежит вам, и вы будете принадлежать ему еще в течение 10 лет; но потом наступит очередь социальной партии... стать во главе» (фр.).

Стр. 94. «Я приветствую социальную партию!» (фр.).

Стр. 94. Что вся социальная партия сможет разместиться на казетке (фр.).

Стр. 94. Что он еще более глубокий политик, чем великий поэт (фр.).

Стр. 95. «Словарь коммерции и товаров, Мак'Кулоха» (фр.).

Стр. 95. «17 век — это потерянный рай литературы» (фр.).

Стр. 95. «По поводу профессии мадам ла Вальер» (фр.).
Стр. 95. Разночинцах (фр.).
Стр. 97. «Вы ошибаетесь, Паскаль» (фр.).
Стр. 97. Ежеминутно произносит его имя рядом с именами Бэкона, Боссюета, Лейбница и принимает его слишком всерьез (фр.).
Стр. 98. Высшая школа верховой езды (фр.).
Стр. 99. «Слабый и неусердный почитатель богов!» (лат.).
Стр. 101. Германские историки (лат.).
Стр. 106. 1) Первый отчет королевской парламентской комиссии по уголовному праву... 2) Отчет парламентской комиссии, назначенной для выяснения вопроса об упорядочении писанных законов, по приказу короля (англ.).
Стр. 110. «Размышления одинокого русского» (фр.).
Стр. 110. «Дневник господина де Кате, адъютанта кавалерийского полка и дворянина, по поводу московитов, приехавших во Францию в 1668 году» (фр.).
Стр. 110. В двух лье от Бордо (фр.).
Стр. 111. «Бюллетень французского исторического общества» (фр.).
Стр. 112. «Так как король желает иметь верные и подробные известия о турецкой армии, которая действует в направлении к Днестру» (фр.).
Стр. 112. «Потребность турок в советах для руководства своими военными операциями заставила бы короля желать, чтобы Валькруасан нашел какой-нибудь способ влиять на их решения». — «Если предрассудки и высокомерие турок сделали бы этот план невозможным, то все уверены, что Валькруасан найдет другие способы отличиться. Например, он мог бы возглавить Барскую конфедерацию или корпус, который был бы придан и действовал от их имени» (фр.).
Стр. 112. «Эту записку следует закончить, рекомендуя ему... не терять никогда из виду положение, в котором находится король по отношению к России, а также то, что и Россия должна считаться с этим положением короля в той мере, в какой это требуют от нее ее собственное благоразумие и благо человечества» (фр.).
Стр. 113. Прожила, хорошо поступая (лат.).
Стр. 113. Наследному принцу (нем.).
Стр. 114. Среди французских ученых он наиболее проникнут немецким духом (фр.).
Стр. 114. Чичероне (ит.).
Стр. 115. Мала ты и незначительна между германских рек, но ты слышала много бессмертных песен (нем.).
Стр. 115. Добро пожаловать! (лат.).
Стр. 116. Без сомнения, многое остается от великого имени... ничего[3] (лат.).
Стр. 116. Света, больше света (нем.).
Стр. 117. Без передышки, без поспешности (нем.).
Стр. 117. От английских друзей — немецкому мастеру (англ.).
Стр. 117. Великий неизвестный (англ.).
Стр. 121. Да здравствует король! (фр.).
Стр. 121. «Лудвиг XII и Франциск I, или мемуары, которые должны служить для создания новой истории их королевства» (фр.).
Стр. 121. «Об образованном обществе» (фр.).
Стр. 122. «История крестового похода против альбигойских еретиков, написанная в стихах на провансальском языке поэтом того времени» (фр.).
Стр. 122. «Неизданные сочинения Абеляра, которые должны служить для создания истории схоластической философии во Франции», В. Кузеня (фр.).
Стр. 122. «И он блистал не только в школе; церковь и государство были потрясены им; два собрания князей церкви занимались им; его противником был св. Бернард, а одним из его последователей и друзей — Арнольд де Бречиа. Наконец, для того чтобы в его жизни не было недостатка в оригинальности, а его имя стало бы весьма популярным, этот диалектик, который затмил Гильома де Шампо, этот теолог, против которого поднялся Боссюет XII века, был красив, был поэтом и музыкантом; он сочинял на французском языке песни, которые забавляли студентов и дам, и, являясь соборным ка-

ником, монахом, он был любим до самозабвения этим благородным существом; писал иногда, как Сенека, и его очарование было настолько неотразимым, что он пленил даже св. Бернарда. Романический герой, он обладал изящным умом, хотя жил в невежественную эпоху; глава школы, едва не ставший мучеником из-за своих убеждений, — все способствовало тому, чтобы сделать Абеляра исключительной личностью» (фр.).

Стр. 122. «Да и нет» (лат.).

Стр. 122. «Воспоминания о военных походах, относящиеся к борьбе за испанское наследство во времена Лудвига XIV». Де Во и генерала Пеле (фр.).

Стр. 122. «Ученики Тюренна, которые через него были связаны со знаменитой школой Нассау и Густава» (фр.).

Стр. 122. В своих высших проявлениях война становится высоким искусством (фр.).

Стр. 122. «Париж при Филиппе Красивом, по подлинным документам, в 1292 году», опубликовано Жераром (фр.).

Стр. 122. «Приход за приходом, улица за улицей, список всех парижан, которые подлежали налогу в 1292 году». Эта рукопись «позволяет легко следить за линией стен, которые окружали тогда столицу» (фр.).

Стр. 123. Правила об искусствах и ремеслах Парижа, составленные в XIII веке и известные под названием «Ремесла Этьенна Буало», опубликованы Деппингом (фр.).

Стр. 123. Дворец Терм (фр.).

Стр. 123. Парижские торговцы водой... но «вели свою торговлю посредством воды, которая пересекает этот город»... Водный товар. «Этим товаром являлась сама корпорация торговцев» (фр.).

Стр. 123. Хроника герцогов норманских, написанная Бенуа, англонорманским трувером XII века, опубликована Франциском Мишелем, том 1 (фр.).

Стр. 124. Обширная империя Карла Великого падает как гигант, внезапно сраженный скрытой болезнью, а дети великого императора с оружием в руках оспаривают друг у друга его наследие. Однако привлеченные надеждой на кровопролитие и добычу, норманны, похожие на медведей своей отчизны, спускаются с полюса и хотят принять участие в травле загнанного зверя: они кидаются на смертника, разрывают его, опьяняются его кровью; затем, насытившись, они засыпают на растерзанном ими чреве. Пробудившись, они оказываются в намордниках. Эту славную задачу поставил себе Грольф... Тогда началась новая эра для Нейстрии. Преемники Грольфа продолжали насаждать культуру. Но дух захватничества владел ими, они унаследовали его с севера; один из них, самый великий из их рода, однажды перешагнул через рукав океана, и в течение полутора веков норманн, новый колосс Родосский, может созерцать у своих ног корабли, несущиеся на всех парусах. По столь великим делам можно думать, что в хрониках не было недостатка (фр.).

Стр. 124. Протоколы заседаний совета регентства Карла VIII, с августа 1484 до января 1485. Опубликовано А. Бернье... высшую администрацию Франции после Лудвига XI.

Статистика памятников. Доклад господину министру общественного образования по поводу исторических памятников в округах городов Нанси и Туль, с картами, планами и рисунками... Опубликовано Грий де Безлен (фр.).

Стр. 124. Как выскочку (фр.).

Стр. 125. 1) Петр Великий, русский император, письмо князю Ромодановскому, 2 мая 1710, 2 страницы. Письма этого знаменитого государя очень редки. Это письмо на русском языке и подписано Питер. Добавлена транслитерация письма русскими буквами более современного характера. 2) Петр Великий майору... 26 ноября 1708. По-русски. 3) Алексей Петрович Алексею Александровичу Курбатову. Смоленск. 31 августа 1707. Это сын Петра Великого. 4) Анна, русская императрица (тогда великая княгиня Курляндская) царевне Прасковье Ивановне, ее сестре. 20 ноября 1725. Прекрасный документ, очень редкий. Того же лица: подлинный диплом, выданный и подписанный русской императрицей Анной в 1736, в Санкт-Петербурге, скрепленный императорским гербом и гербами княжеств, на полях украшенный цветными арабесками и золотом. На 4 листах веленевой бумаги, ин-фолио (фр.).

Стр. 125. Эти основатели России, которые, по преданию, стояли у врат Цареграда. Истории России суждено было, чтобы начало возвести о развязке (фр.).

Стр. 126. Господин де Местр забывает только Александра (фр.).

Стр. 126. «Чем стал бы мир без церкви!» (фр.).

Стр. 126. «Повсюду хаос и церковь господствует» (фр.).

Стр. 126. «Карл исчез... Мы видим начало Франции, Германии, Англии, России, духовной мощи Рима; мы там находим основы государств... Цезарь однажды посетил Англию; это посетил ее римский гений. Надо было вовлечь Англию в историю» (фр. и лат.).

Стр. 126. «Альфред ввел Англию в круг великих государств Европы. Он следовал примеру Карла Великого; он перевел Боеция (Об утешении): вот как создается единая история человечества» (фр. и лат.).

Стр. 126. «Они что-то ожидали» (фр.).

Стр. 127. Домашние дела (лат.).

Стр. 128. «Я применю мысль великого человека к потребностям века» (фр.).

Стр. 128. «Создать для господина Гизо высокое положение, оно его назначит великим магистром университета» (фр.).

Стр. 128. «Вы забываете, князь, что я беден» (фр.).

Стр. 129. Снова рождается новый порядок (лат.).

Стр. 129. «Самые короткие глупости — наилучшие» (фр.).

Стр. 129. По разным причинам, по столь различным вещам (лат.).

Стр. 129. Продаю, за что купил (лат.).

Стр. 130. Большой гуманной поэмы (фр.).

Стр. 131. «Я чертовски огорчен этим»... приблизительно... «Я надеялся, что голова Кестлери окажется вздетой на копье; в настоящее время это, по-видимому, не случится» (фр.).

Стр. 132. Вине: «Очерки философской и религиозной морали, с несколькими этюдами литературно-критического характера» (фр.).

Стр. 132. К «Максимам» де Ларошфуко, к «Философскому сборнику» Жуфруа... о наслаждении и о его влиянии на людей и на общество (фр.).

Стр. 132. «О роли индивидуума в создании социальной реформы (по поводу предисловия к «Жоселеню»)» (фр.).

Стр. 133. «Которые ниспровергают все, что до сих пор считалось незыблемым» [8] (фр.).

Стр. 133. «Господин Шатобриан соизволит шлифовать язык своей прозы; на каком основании господин де Ламартин пренебрег бы отделкой своих стихов. Впрочем, надо высказаться до конца: его гений принадлежит ему, но язык принадлежит нам» (фр.).

Стр. 133. «Господин де Ламартин мало обращал внимания на литературные системы. В поэзии он — Верньо, и мог бы сказать, как этот знаменитый оратор, я не нуждаюсь в искусстве, достаточно моей души» (фр.).

Стр. 133. «Католик в старинных храмах, пантеист в древних лесах, все время колеблющийся между рационалистическим мышлением и догмой ортодоксального вероучения, христианин, потому что его мать была христианкой, философ, потому что он принадлежит XIX веку, он признает пророчества и отвергает чудеса, не заботясь о том, что пророчества — те же чудеса; но, надо отдать ему должное, он всегда взволнован красотой божества, отзывается наподобие живой лиры при соприкосновении с чудесами природы, изливает свое сердце с простотой ребенка и гения перед лицом невидимого существа, мысль о котором непрерывно его угнетает и восхищает, — господин де Ламартин яснее высказывает нам свои чувства, нежели свою систему; но в настоящее время уже нельзя сомневаться в том, что его система состоит в отсутствии системы» (фр.).

Стр. 134. «Мужчины являются в форме или во фраке» (фр.).

Стр. 134. «Письмо о папстве» (фр.).

Стр. 134. Постановке (фр.).

Стр. 134. «Но, ваше величество, опера, однако, является славой Франции». — «Нет, господин, славой Франции является Комеди Франсез; опера лишь тщеславие Франции» (фр.).

Стр. 135. «Пользуюсь случаем, господин, сообщить вам, что, согласно постановлению от сего дня, я решил, что один экземпляр Коллекции неизданных документов, относящихся к истории Франции, опубликованных по приказу короля и под покровительством министерства народного просвещения, будет направлен императорской библиотеке Эрмитажа» (фр.).

Стр. 135. «По собственному опыту он знал то, что высказал позднее: чужая лестница — это дорога, по которой трудно подниматься и спускаться» (фр.).

Стр. 135. «Я испытываю сострадание ко всем несчастным, но я особенно сожалею тех, которые, томясь в ссылке, видят отчизну лишь во сне» (фр.).

Стр. 135. «В душе Данте, в этой душе, столь гордой и энергичной, были струны, которые вопреки его воле дрожали от растроганности при мысле о родной земле. Как он ни искал, он не находил ничего вне этой, столь дорогой для него земли, что могло бы заставить ее забыть, и хотя бы для того, чтобы умереть там, он страстно желал вернуться туда и не терял надежды на это. По этому поводу мы имеем его собственное свидетельство и признания, столь характерные и трогательные» (фр.).

Стр. 135. «До сего времени лавровым венком венчали лишь ученых поэтов, которые писали по-латыни и которых признавали последователями классической античной поэзии. Данте суждено было стать первым, которого венчали за поэмы, написанные на итальянском языке. Таким образом, его триумф был, в сущности, победой итальянского языка и литературы; и для той и для другой начиналась новая эра, новая судьба» (фр.).

Стр. 135. «Преклонитесь перед высочайшим поэтом!» (ит.).

Стр. 137. «Эта эпоха... представляет собой расцвет философии средних веков» (фр.)

Стр. 137. «Так движется человечество; оно идет вперед только по обломкам» (фр.).

Стр. 137. «Это возрождение античности» (фр.).

Стр. 137. «Который породил на свет современную философию с ее великими судьбами» (фр.).

Стр. 137. «1) Путем обстоятельных исследований разъяснить основные системы, появившиеся в Германии начиная от Канта (включительно) и до наших дней. 2) Особо обозреть систему Канта, которая является основой всех других систем. 3) Оценить эту философию, обсудить принципы, на которых она основывается, методы, которыми она пользуется, результаты, которых она достигла, отделить ошибочное от истины в ее построениях, отыскать то, что при тщательном анализе, с точки зрения здравой критики, в той или иной форме может быть законным образом извлечено из философского движения в Германии» (фр.).

Стр. 137. Письмо его преосвященству Лепап де Треверн, епископу страсбургскому, от Л. Ботеня (фр.).

Стр. 138. Один, одним рассудком (фр.).

Стр. 138. «Философия христианства» (фр.).

Стр. 138. В философии мы вовсе не являемся последователем Канта, мы никогда не были им, и мы отвергаем всякую общность, которую хотели бы найти между его доктриной и нашей. Мы убеждены, что кантианство ведет к скептицизму, и по этой причине мы его отвергаем (фр.).

Стр. 138. «Да и нет» (лат.).

Стр. 138. Ордена Почетного легиона (фр.).

Стр. 140. Швейцар (фр.).

Стр. 140. «Вспомните Людовика XIV и как он поступил, приняв испанскую корону для своего внука; его решение осуждали, считая, что оно внушено низменными соображениями семейного характера; но вы, без сомнения, читали о тех важных и прекрасных побуждениях, которыми руководствовался этот великий монарх; он говорил сам себе: да, мне предлагают увеличение Франции до размера ее естественных границ; но я предпочитаю иметь подле себя дружественную державу, и я кончу таким образом войну в Европе» (фр.).

Стр. 140. «Голос земли и голос свыше» (фр.).
Стр. 142. Кто теряет, тот выигрывает (фр.).
Стр. 147. Красноречие, твердость (фр.).
Стр. 147. Родился... умер (фр.).
Стр. 147. Совершенно те же самые слова (лат.).
Стр. 148. «Танцевали на вулкане» (фр.).
Стр. 148. В обществе словесности (фр.).
Стр. 148. «Я не хочу терять дружбу моих друзей — виноторговцев Макона» (фр.).
Стр. 148. Недоразумение (лат.).
Стр. 149. «Правда, я это спутал, это смешно» (фр.).
Стр. 149. «Обществу совместных трапез» (фр.).
Стр. 149. Возобновление «Эрнани» (фр.).

Стр. 149—150. «(Библиотека господина Вольтера. 15 сентября, 1778). Господин д'Орнуа пишет господину де Корберону, чтобы оповестить его, что господин Вольтер передал свою библиотеку мадам Дени, что ее племянники взяли с нее слово, что она откажется от нее только в их пользу, но что с тех пор эта слабовольная особа уступила настояниям господина Гримма, который имел поручение от императрицы купить библиотеку. Условиями соглашения являлись определенная сумма, а также установка статуи Вольтера в зале дворца императрицы, которая хотела отомстить за гонения, которым Вольтер подвергался на родине. Господин д'Орнуа просит господина де Корберона приложить усилия к тому, чтобы помешать осуществлению этой сделки и сделать так, чтобы библиотека господина Вольтера осталась собственностью его семьи, которая была бы крайне опечалена, если бы она оказалась лишенной этой библиотеки. Господин Шувалов, к которому обратился господин де Корберон, будучи ловким придворным, отказался вмешаться в это дело. Господин Гримм возвращается в Петербург, и, будучи столь же ловким, сколь и скромным придворным, он завоевал доверие Екатерины II, и эта переписка из Франции с императрицей, может быть, заслуживает некоторого внимания с нашей стороны. Господин де Корберон просит господина де Вержена высказать свое мнение по этому поводу. У господина Гримма скрытный характер; его положение и его интересы, возможно, заставляют его в равной степени соизмерять свои речи с предпринятыми им действиями» (фр.).

Стр. 150. «Господин де Вержен дезавуирует предпринятые господином де Корбероном действия, имеющие целью отклонить императрицу от приобретения библиотеки господина Вольтера. Этот вопрос не имеет отношения к политике. Так как по своему положению господин Гримм не может иметь сколько-нибудь близких отношений с господином де Корбероном, то между ними не может быть других отношений, кроме светских. Благодеяния, которые императрица оказывает господину Гримму, и в особенности его характер, должны склонить господина де Корберона к предупредительности. Осмотрительность господина Гримма не должна давать повода к подозрениям» (фр.).

Стр. 150. Письмо русской императрицы к мадам Дени о приобретении библиотеки господина Вольтера, со следующей надписью, написанной, как и письмо, рукой императрицы: мадам Дени, племяннице великого человека, который меня очень любил. Это письмо было привезено господином Гриммом, который послал его копию господину де Вержену (фр.).

Стр. 152. В салоне иностранцев (фр.).
Стр. 154. «Освобождение рабов и уничтожение смертной казни» (фр.).
Стр. 154. «Покоренная Италия» (фр.).
Стр. 154. Косынки (фр.).
Стр. 155. Эта камера (комната) очень грязная (фр.).
Стр. 155. «Господин главный церемониймейстер всех правительств» (фр.).
Стр. 155. «О влиянии морали и политики на литературу, и в особенности на римскую поэзию» (фр.).
Стр. 155. «Это отличный слог XVIII века» (фр.).
Стр. 155. «Вольтер не мог бы лучше написать» (фр.).

Стр. 155—156. «Министр иностранных дел должен иметь достаточно такта, чтобы казалось, что он осведомлен о том, о чем он слышит впервые; нужно, чтобы, будучи непроницаемым, он казался бы чистосердечным, и он должен быть достаточно ловким, чтобы иногда притворяться наивным. Но особенно он не должен ни на минуту в течение суток забывать, что он министр иностранных дел. Впрочем, все это требует только ловкости. Часто думают, что дипломатия основана на коварстве и лжи. Господин де Талейран говорит, что добросовестность является самой надежной основой для важных переговоров и что только она одна может обеспечить результаты этим переговорам в будущем; но не следует смешивать лживость со сдержанностью» (фр.).

Стр. 156. «Господин де Талейран должен приводить в отчаяние стариков: его скучные проповеди не слабеют» (фр.).

Стр. 156. «Я бы отдал все мои выигранные сражения за стакан воды, предложенной нищему» (фр.).

Стр. 156. «О разнообразии заблуждений и о католическом единстве» (фр.).

Стр. 156. «Религия — это лестница, по которой люди поднимаются на небо» (фр.)

Стр. 156. «Следуя буддизму, долг — это самоуничтожение» (фр.).

Стр. 157. «Мистического пантеизма, идеализма, квиетизма, немецкого мистицизма, экзальтированного мистицизма Индии, стоицизма, который говорил Юпитеру: „Вы не более добродетельны, нежели я“» (фр.).

Стр. 157. «Все непоследовательности или, лучше сказать, все последствия человеческой мудрости» (фр.).

Стр. 157. Католической истине.., достигнутому путем большого труда бессилия человеческих мнений (фр.).

Стр. 157. Благотворительности (фр.).

Стр. 157. И если голос вселенной воскликнет: где же германцы? — пусть ответят их гробы (фр.).

Стр. 157. Я буду у дружеского очага (фр.).

Стр. 157. Эти пылинки были когда-то властителями (фр.).

Стр. 157. Только увидев тебя, я познал ненависть (фр.).

Стр. 157. Разве ты не слышал ее последнего крика: прости? (фр.).

Стр. 158. Я испытал счастье смертного, который отомстил (фр.).

Стр. 158. Рядом с героем все дышит славой (фр.).

Стр. 158. Перечислить его добродетели — значит рассказать историю его жизни (фр.).

Стр. 158. У меня осталась одна надежда.., на земле?,.. на небе (фр.).

Стр. 159. Генеральных штатов (фр.).

Стр. 159. Канцелярий (фр.).

Стр. 159. Утомили время (фр.).

Стр. 159. С высоты которых Наполеон указывал своей армии сорок веков, которые взирали на нее (фр.).

Стр. 159. Что его расчеты лишь способны возбудить остроумие ничтожных газет (фр.).

Стр. 159. «Перы Франции..., которые потеряли наследственные права и не приобрели прав путем избрания; перы Франции, которые не образовали ни одного министерства и не распустили его...» (фр.).

Стр. 159. Этого пера-выскочки (фр.).

Стр. 160. «О безразличии» (фр.).

Стр. 160. Подобно древнему еврею-беглецу, он отнял оружие у египтянина, чтобы сразить его (фр.).

Стр. 160. «Стиль — это человек, а человек — это все» (фр.).

Стр. 160. «В 1807 году мы прогуливались по берегу Тахо в аранхуэских садах, Фердинанд появился верхом на лошади, в сопровождении дона Карлоса. Он совсем не подозревал, что паломник из святой земли, который смотрел, как он проезжает, будет некогда способствовать тому, чтобы возвратить ему корону» (фр.).

Стр. 161. «Его авантюристы были великими людьми, его полководцы стали первыми генералами на земле.., Наши короли были в ее тюрьмах, а ее солдаты — в Па-

риже; ее язык и ее гений дали нам Корнеля — Испания прекратила свое существование лишь тогда, когда Анна Австрийская родила Людвига XIV, который был сама Испания, перенесенная на трон Франции, в то время как солнце не заходило во владениях Карла V» (фр.).

Стр. 161. Бонапарт, совершив ошибку устранения короля, встретил перед собою народ (фр.).

Стр. 161. «Изогнутая сабля на боку, золотые кольца в ушах, развевающиеся перья на его каске, мамелюк, амазонка, герой Ариосто. — Вся его смелость оказалась для него бесполезной: леса вооружились, кустарники стали врагами» (фр.).

Стр. 161. «Руины Сагунта рукоплескали. — Испанцы — это арабы-христиане. Испанец мечтал о владычестве над вселенной, но над вселенной, лишенной человечества. он мечтал царить над пустынным миром» (фр.).

Стр. 161. «Кто поет, тот свободен» (фр.).

Стр. 161. «Благородное сердце и дар утешения менее уместны в свете, чем в уединении, где сохраняется честь иметь бессмертную душу» (фр.).

Стр. 161. «Записки о Дюсисе», «Очерки о тайнах и о рукописях Герсона» (фр.).

Стр. 161—162. Но по дороге ему пришла мысль, что он собирался приобрести лишь пользование отражением добродетели (добродетельный поступок, поставленный на сцене Расином или Корнелем) и что за те же деньги он мог совершить добродетельный поступок. Он говорил, что он никогда не мог противостоять этой мысли: он поднимался к какому-нибудь несчастному, оставляя там стоимость своего билета в партер, и возвращался домой удовлетворенный и хорошо вознагражденный за свою жертву (фр.).

Стр. 162. «О тайнах» (фр.).

Стр. 162. По поводу статистики (фр.).

Стр. 162. «Сколько было перелетных птиц в этом году, господин префект?» — «Ваше величество, видели только орла» (фр.).

Стр. 162. Которая завершит самый грандиозный памятник критической мысли, который когда-либо пытались воздвигнуть эпохе Вольтера... Руссо и Бюффона (фр.).

Стр. 162. «Об „Исповеди“ Руссо и о ее влиянии на некоторых писателей нашего времени» (фр.).

Стр. 163. «Одинокого любителя прогулок» (фр.).

Стр. 164. «Воображаемую рощу Кларенса» (фр.).

Стр. 164. «Савойского священника и одинокого любителя прогулок» (фр.).

Стр. 164. Кассационного суда (фр.).

Стр. 165. Речь (фр.).

Стр. 165. «Каждый исповедует религию с равной свободой и получает равную защиту закона для своей веры» (фр.).

Стр. 165. «Свобода вероисповеданий не исключает охраны отправлений культа» (фр.).

Стр. 165. «Не создает права, но лишь констатирует его» (фр.).

Стр. 165. «Вот как это происходит в Англии, и, без боязни быть уличенным во лжи, я могу это высказать в настоящем собрании, в присутствии одного из наиболее именитых представителей английского народа» (фр.).

Стр. 168. «Генеральное и частное обозрение совокупности человеческих знаний в XIX веке» (фр.).

Стр. 168. «О малоизвестной статистике незаконнорожденных детей в Англии» (фр.).

Стр. 168. «Зайдя в приходы Лондона и попросив для обозрения списки крещеных, нельзя усмотреть в них, являются ли дети плодом законного брака или сожительства; новорожденных часто приносят туда незнакомые женщины, и священник никогда не позволяет себе задать вопрос по этому поводу; отец не присутствует, равно как нет и никакого свидетеля, и лишь священник подписывает акт о крещении. Я спросил одного приходского священника, который только что совершил обряд крещения, почему он не спрашивал, состоят ли в браке родители ребенка? Вот его ответ: „Если я позволю себе спрашивать, то детей не принесут крестить“» (фр.).

Стр. 169. «О воспитании женщин в средние века» (фр.).

Стр. 169. Благодаря христианству «женщина сделалась человеком». Апостол обращается к ней со словами, полными милости и серьезности (фр.).

Стр. 169. Книга женщин — ребенок; ребенок образует женщину (фр.).

Стр. 169. Владычество женщин, которое мы называем рыцарством (фр.).

Стр. 170. Его речь довольно тощая, но ведь у нас сейчас пост (фр.).

Стр. 170. «У Эйхгорна нет системы. Планк — историк, во взглядах которого господствуют мнения богословов XVII века. Штейдлин стремится привести христианскую мораль в соответствие с моралью Канта. Вот о богословах Геттингена. В Берлине Неандер — мистик; де Ветт — полумистик, полукантианец, а Шлейемахер — более или менее явный приверженец Шеллинга. В Дрездене Аммон — прежде всего кантианец, потом христианин и затем лишь католик. В Галле Вегшейдер — рационалист. В Лейпциге Бек и Розенмюллер — эрудиты. В Иене Шотт — ученик Грисбаха, критика которого материалистична и почти механистична. В Гейдельберге вы найдете две крайности — рационализм у Паулюса и пантеистический мистицизм у Дауба» (фр.).

Стр. 170. В кассационном трибунале (фр.).

Стр. 171. «Собрание гражданских и уголовных законов современных государств, переведенные и опубликованные под редакцией господина Виктора Фуше» (фр.).

Стр. 171. Детские приюты (фр.).

Стр. 173. Приблизительно (фр.).

Стр. 173. «Это будет довольно любопытный, но и довольно скучный обед» (фр.).

Стр. 173. «О понижении процента ренты»: «Во все великие эпохи в мире существует господствующая страсть, в которой запечатлевается для человечества жизнь, движение; в ней отражается цель деятельности, направление усилий. В наше время промышленность прорезает горы и выравнивает их; промышленность — эта новая страсть — заступает место политических страстей, и она завершает всеобщую эмансипацию» (фр.).

Стр. 174. «Препятствовать общению — это нравственная эпидемия. Вот единственный принцип этой пенсильванской школы» (фр.).

Стр. 174. «Который является утрированным англичанином» (фр.).

Стр. 175. «Нация, которая относится с наибольшей антипатией к пенсильванской системе, это французская нация; отсюда ее цивилизаторский гений» (фр.).

Стр. 176. Приблизительно (фр.).

Стр. 176. «О важности возбудить дух нации и о потребности Америки в ученом сословии» (фр.).

Стр. 176. «О назначении Жана Мюллера» (фр.).

Стр. 176. Я предлагаю ему написать историю французской дипломатии с 1792 до 1815 года (фр.).

Стр. 177. Говорили, что самое лучшее в трагедиях Расина — это сам Расин, а самое лучшее в Расине — это образ порядочного человека (фр.).

Стр. 177. Сверкает незапятнанной честью (лат.).

Стр. 177. «Перпетуя, креолка в возрасте 50 лет, рабыня и мать девицы Зелии Форестье де Сен-Дени» (фр.).

Стр. 178. «Уже лорд Брум заклеймил в английском парламенте эту новую гнусность» (фр.).

Стр. 179. Силой вещей (фр.).

Стр. 179. «Это недурно» (фр.).

Стр. 180. «Гроза идет с Севера» (фр.).

Стр. 180. «История жизни Иисуса Христа и его учение» (фр).

Стр. 181. «Но она любила свет! Ссылка была ей невыносима! Какое несчастье: иметь славу и лишь лицезреть Альпы! Она сохраняла свой королевский сан и свою корону, в то время как дочери королей стали... и т. д., и т. д. С горем дело обстоит так же, как с родиной, — у каждого свое!» (фр.).

Стр. 181. «Бог сумеет распознать мою сестру» (фр.).

Стр. 181. «Луна в облаках» (фр.).

Стр. 181. «Часто затемненная, никогда не потускневшая» (фр.).

Стр. 181. «Будем кроткими, если мы хотим, чтобы о нас все сожалели» (фр.).

Стр. 181. Дела владетельных особ (фр.).

Стр. 181. «Рукопись, которую мы публикуем, является для историков неожиданным документом; она опровергает письменные версии и считавшиеся наиболее достоверными традиции в отношении Людовика XVIII» (фр.).

Стр. 181. «Поэтические размышления» (фр.).

Стр. 182. «Лилии Израиля» (фр.).

Стр. 182. «По поводу ордена проповедников» (фр.).

Стр. 182. Пусть будет выслушана и другая сторона! (лат.).

Стр. 182. «Последний человек» (фр.).

Стр. 183. «Науки благодарили изящные искусства за то, что они им уступили Фонтенеля; Даламбер говорил от имени французской академии; Бюффон стал одним из сорока» (фр.).

Стр. 183. «Существующий порядок был установлен нашим собратом» (фр.).

Стр. 183. «Государство — это я» (фр.).

Стр. 183. «Власть была убеждена, что ее поддерживают люди науки» (фр.).

Стр. 183. «Времени, когда разногласия по поводу истории, политической экономии, законодательству и т. п. никого не компрометировали» (фр.).

Стр. 183. «Улучшать общество, просвещая его» (фр.).

Стр. 183. «Которые приведут науки и искусство к успехам, размеры которых предвидеть нельзя, но которые уже можно предчувствовать» (фр.).

Стр. 183—184. Говоря об ученой кисти Дагерра (фр.).

Стр. 184. «Его исчезновение их стирает, а мрак их таит» (фр.).

Стр. 184. «Противостоять времени, подобно монументам, со всей их массой и со всеми деталями» (фр.).

Стр. 184. «Любимец солнца, супруг света» (фр.).

Стр. 184. «От имени народов, которые родятся, и мира, который будет» (фр.).

Стр. 184. Которые следует запомнить (фр.).

Стр. 184. «Это грабеж солнца, выдача наших тайн!» (фр.).

Стр. 184. «Отрывки из истории греческой революции» (фр.).

Стр. 184. «Несмотря на свой парламент, ионийцы не были свободны» (фр.).

Стр. 185. Новый порядок рождается снова (лат.).

Стр. 186. «О коалиции» (фр.).

Стр. 186. «Последний день» (фр.).

Стр. 186. Это вечер прекрасного дня! (фр.).

Стр. 186. «С серьезной улыбкой любви и расположения, которая выражает одновременно доверие и сострадание к тяготам испытания, к тоске изгнания, которое должно окончиться; ясное и нежное предзнаменование, в котором уже теперь сквозит уверенность в том, что наши постоянные надежды обоснованы и наша окончательная судьба полна величия... Эта женщина, чье имя я хочу здесь умолчать и оставить неизвестной, как это сделал Данте, одарена всеми привлекательными качествами и великодушием этого времени. Она посетила с небольшим числом приближенных место, где живет духовная аристократия: в этом краю невозмутимого спокойствия, неизменной безопасности она нашла друзей, благородная дружба которых наполнила жизнь; подобная дружба рождается для бессмертия, она не зависит от времени, от смерти и от всех превратностей человеческой жизни» (фр.).

Стр. 186. «Критические статьи и портреты» (фр.).

Стр. 187. «О поэтическом созерцании» (фр.).

Стр. 187. Запасных скамьях (фр.).

Стр. 187. С зелеными пальмами (фр.).

Стр. 188. «Критический разбор немецкой философии» (фр.).

Стр. 188. См. перевод к стр. 170.

Стр. 189. К морю..., где от долгих ошибок надейся отдохнуть (ит.).

Стр. 189. «Народ значительно более развивается в отношении знаний, просвещения, чем в отношении нравственности: разыскать причины этого неравномерного развития и какие средства имеются против этого явления» (фр.).

Стр. 190. «Религиозные чувства, которые следует развивать, не только образованием, но нравственным воспитанием; воспитание женщин, которое, развивая их ум, сделает их способными содействовать делу цивилизации. Наконец, она просит, чтобы великий принцип уважения человеческой жизни был бы на самом деле применен» (фр.).

Стр. 195. Не медлительностью лет, а поступками (лат.).

Стр. 195. «Последний человек» (фр.).

Стр. 195. «Стихотворения Жана Ребуля» (фр.),

Стр. 195. «Посещение города Ним» (фр.).

Стр. 195. «Ангел и дитя» (фр.).

Стр. 195. Земля недостойна тебя. Там никогда нет полного веселья; душа там страдает от удовольствий. Крики радости окрашены грустью, а миг наслаждения — вздохами (фр.).

Стр. 196. «Св. Елена, или анафема и слава» (фр.).

Стр. 196. Стихами, которые следует запомнить (фр.).

Стр. 196. «Последний день». Поэма в 10 песнях, Ж. Ребуля, с замечаниями и сетованиями по поводу города Ним (фр.).

Стр. 196. «Я не являюсь пророком, и небо не вдохновило меня, но однажды вечером я увидел горизонт в огне и подумал, что следующий день будет знойным» (фр.).

Стр. 196. Мрачный предвестник огромных похорон, ты хочешь, чтобы я кричал под нашими стенами: Иерусалим, горе тебе! Горе тебе, горе, о, город разврата я буду повторять горе до того зловещего часа, когда я возвещу горе самому себе (фр.).

Стр. 196—197. Ты, который воззвал к огромным океанам, чтобы похоронить землю гигантов, и на самых высоких горах, раскачивая бездны, нашел кару, столь же великую как и преступление (фр.).

Стр. 199. «Воспоминания событий жизни» Эрнста Мориса Арндта (нем.).

Стр. 199. «О философии религии» (нем.).

Стр. 200. Небольшие сочинения (нем.).

Стр. 200. «О грехе» (нем.).

Стр. 200. Фланговые времени (нем.).

Стр. 201. Вольно или невольно увлекает (лат.).

Стр. 201. «Божественное право и права разума обманывают» (нем.).

Стр. 201. Храм (нем.).

Стр. 201. «Брошенный с неба на землю» (лат.).

Стр. 202. Если вопрошаешь памятник — оглянись! (лат.).

Стр. 204. Что называется всемирной историей и с какой целью ее изучают? (нем.).

Стр. 206. «Оппозиционный листок» (нем.).

Стр. 208. Ваш покорный слуга, которого вы знаете (фр.).

Стр. 212. Средних учебных заведений (нем.).

Стр. 212. Глоссы к писанию: европейская Пентархия, Гина (нем.).

Стр. 214. Приветствую тебя, моя гора (нем.).

Стр. 215. «Популярные лекции по астрономии» (нем.).

Стр. 215. «Паренезы для студентов. К методике академических занятий» (нем.).

Стр. 216. Помощь человеческому духу — более великого нет ничего (нем.).

Стр. 216. Почему бог человек? (лат.).

Стр. 216. «В этих вопросах греческая церковь попросту придерживалась древнего библейского учения, и в ней никогда не было споров об этом, подобно тем, которые были в католической церкви» (нем.).

Стр. 218. «Счастье заключается в добродетели, которая любит... и в науке, которая освещает» (фр.).

Стр. 219. Общественный деятель (фр.).

Стр. 219. «Он делил свое время на две части: одну часть употреблял на дела, другую — на литературу» (фр.).

Стр. 219. Под влиянием господствующего мнения (фр.).
Стр. 219. Реставрации (фр.).
Стр. 219. «Он хотел исполнять должность, которая не компрометировала бы его принципы» (фр.).
Стр. 219. «Великий Конде также находил в Корнеле полезные наставления» (фр.).
Стр. 220. С предпочтением и преданностью. Людовик XVIII и Карл X ценили его (фр.).
Стр. 220. В 1830 году он отказался искать новое счастье (фр.).
Стр. 220. «Управлять без насилия народами» (фр.).
Стр. 220. На скамьях... я узнаю среди первых лиц государства многих наших великих писателей. Министры уже не вступают в академию по вежливому приглашению или в качестве покровителей, как во времена кардинала Ришелье, знаменитого основателя академии. Серьезные литературные заслуги открывают им вход в академию (фр.).
Стр. 220. Которая казалась ему радугой во время грозы (фр.).
Стр. 220. Она кратка и терпелива, потому что она бессмертна (фр.).
Стр. 220. Где же ты был, мой любимец..., когда почести и сокровища распределялись между моими министрами? — Увы! — ответил поэт, — я был около тебя, вот причина моей нищеты. Поэты, ораторы, философы, вы, которые умеете учить и волновать народ с кафедры, на форуме, в театре, да не будет таковым ваше положение среди нас! (фр.).
Стр. 220. Мне показалось, что вы только что осчастливили оставшиеся дни моей жизни. Академия появилась передо мной, как радуга во время грозы; в уме своем я украсил ее всем очарованием деятельности и отдыха, славы и нежных привязанностей. Я знал, господа, что в этом слабом обществе, где представлены самые выдающиеся деятели всех политических, философских и литературных течений, господствуют твердые убеждения, непоколебимые принципы, и, однако, при всех обсуждениях царит задушевная сердечность. Здесь нет духа соперничества, и, если возможно, не святотатствуя, привести наряду с вашим девизом мысль Тертуллиана, я осмелюсь сказать об академии: она нежна, терпелива, потому что она бессмертна (фр.).
Стр. 221. Один из тех изобретательных людей, который сумел остаться в веках благодаря четырем милым стихам, написанным в честь герцогини де Мен (фр.).
Стр. 221. Вы сегодня привели на листе академии имя одного из тех изобретательных людей, который, живя в эпоху, полную элегантности и галантности, обратил на себя внимание как благодаря приятной игре своего ума, так и благодаря своему прекрасному характеру, и который, никогда никому не завидуя и не претендуя на славу великих писателей века Людовика XIV, среди которых протекла его долгая жизнь, сумел остаться в веках благодаря тому, что эти писатели его вознесли, а он сам почти этого не заметил (фр.).
Стр. 221. Учтивость (фр.).
Стр. 221. Реставрации (фр.).
Стр. 221. «Великим людям — признательная отчизна» (фр.).
Стр. 223. «Я нашел в этой книге прекрасную страницу» (фр.).
Стр. 223. «О подземном Риме» (фр.).
Стр. 223. В кассационном суде (фр.).
Стр. 223. В королевском суде города Ренн (фр.).
Стр. 223—224. Господин Дюпень является верным представителем общественного мнения своей эпохи; но ему этого достаточно, и он не идет ни дальше, ни выше; у господина Гелло более высокие запросы: он более склонен искать причины событий; поэтому он не останавливается там, где останавливается общественное мнение его эпохи, как это делает господин Дюпень (фр.).
Стр. 224. Во дворец изящных искусств (фр.).
Стр. 224. На бульвар (фр.).
Стр. 225. «Его недаром так зовут» (фр.).
Стр. 225. «На досуге с достоинством» (лат.).

Стр. 226. В училище правоведения (фр.).
Стр. 228. Приблизительно (фр.).
Стр. 228. Что там не видно недостатков господина де Сент-Бева (фр.).
Стр. 228. Паштета де Реньо (фр.).
Стр. 228. Столько-то за строчку (фр.).
Стр. 229. Пословицу (фр.).
Стр. 229. «Саблей солдата» (фр.).
Стр. 229. Законодательной ассамблее (фр.).
Стр. 229. «Сторонники Монтаньяров» (фр.).
Стр. 230. От льдин Москвы, от полей Авзонии (фр.).
Стр. 230. На лафете пушки он набрасывал декреты императорской власти (фр.).
Стр. 230. Ты — живой пример верности, ты — злополучный царедворец (фр.).
Стр. 230. В католический кружок (фр.).
Стр. 231. В церкви, где духовенство не получает плату от государства, на улице Прованс (фр.).
Стр. 231. Религиозные объединения (фр.).
Стр. 231. «Свежесть ее красок и живость ее эмоций»... «Поэт школы сера Роберта Саути сказал: конь с огнедышащими ноздрями, летящий над песком пустыни, никогда не стареет — он умирает» (англ.).
Стр. 232. Эссеистах (англ.).
Стр. 232. Шлецер, «К истории литературы XVIII столетия», Адольфа Бока (нем.).
Стр. 232. Гоге («История законов») (фр.).
Стр. 233. Мировая история для детей. Материалы к ней (нем.).
Стр. 233. Учение о государстве (нем.).
Стр. 233—234. Те, кто подходят друг другу, должны объединиться, те, кто понимают друг друга, должны встретиться, все добрые должны объединиться, те, кто любят, должны быть вместе, то, что препятствует, должно устраниться, то, что криво, должно выравниться, те, кто далеко друг от друга, должны встретиться, то, что пускает ростки, должно созреть. Дай мне на верность руку, будь мне братом и до своей смерти не отводи взгляда от меня: храм, где служим, место, куда мы направляем шаги, счастие, для которого мы горим, небо для тебя и для меня (нем.).
Стр. 235. «Письма к провинциалу» (фр.).
Стр. 235. «Мысли Паскаля», изданные Кузенем... 1 том (фр.).
Стр. 235. «Мысли Паскаля», изданные Фожером, 2 тома. — «Письма Маргариты, сестры Паскаля», изданные Кузенем (фр.).
Стр. 235. «Моральные, политические и исторические очерки о состоянии европейского общества к середине XIX века» (фр.).
Стр. 236. Мишле «О священнике» (фр.).
Стр. 236. «Возрождение вольтерианства» Эмиля Сесе (фр.).
Стр. 236. «Портрет мадам де Ментенон, по ее письмам» (фр.).
Стр. 236. Очаровательную, несчастную женщину (фр.).
Стр. 237. Мадам Сюар «Мадам де Ментенон, по ее письмам» (фр.).
Стр. 237. «Ему легче было установить мир в Европе, чем между двумя женщинами» (фр.).
Стр. 238. «Я счастлив, что могу отказать им в приглашении на похороны» (фр.).
Стр. 238. «Они слишком поспешили составить мой некролог» (фр.).
Стр. 239. «О праве на труд и об организации труда» (фр.).
Стр. 239. Набожные пожелания (ит.).
Стр. 240. Почти труп (фр.).
Стр. 240. Несправедливую судебную тяжбу! (фр.).
Стр. 240. «Посмертные воспоминания графа Стединга» (фр.).
Стр. 240. Сесе, но пора прекратить говорить о нем! (фр.).
Стр. 241. Младший прокурор (лат.).
Стр. 242. Взаймы дают богатым (фр.).
Стр. 242. «О браке» (фр.).

Стр. 242. «Библия до нашей эры» (англ.).

Стр. 242. «Справочник по Библии, предназначенный для библейских классов, семейного обихода и молодых людей. С картами древнего мира, обетованной земли и путешествиями апостола Павла» (англ.).

Стр. 244. Штейн «Социализм и коммунизм в современной Франции. К истории нашего времени» Л. Штейна, доктора права. Лейпциг (нем.).

Стр. 244. Трудящихся-эгалитаристов (фр.).

Стр. 244—245. «История министерств Европы во время Констульства и Империи. 1800—1815. Написана по документам, собранным в архиве Министерства иностранных дел», Армана Леберра, бывшего атташе при Министерстве иностранных дел. Первая часть. От 18 брюмера до конца прусской компании (фр.).

Стр. 245. «История французской дипломатии» (фр.).

Стр. 245. Прошедшие времена! (ит.).

Стр. 245. Эта борьба, казалось, соединила все условия трагедии, которая была одновременно самой трогательной и самой ужасной (фр.).

Стр. 245. Описывая только те значительные факты внутреннего развития, которые тесно связаны с историей и которые часто дополняют и объясняют историю (фр.).

Стр. 245. Павел никогда не сумеет ни ссориться, ни быть другом наполовину (фр.).

Стр. 245. Представляю вам адъютанта самого великого человека, которого я когда-либо знал (фр.).

Стр. 245. Неизменным правилом которого было всегда становиться на сторону сильнейших (фр.).

Стр. 246. С любовью (ит.).

Стр. 246. Боже, царя храни (англ.).

Стр. 247. «Об организации труда» (фр.).

Стр. 247. Нужно ли говорить человеку подобного ума, что корысть не является самой прекрасной страстью человеческого сердца... Слава богу, сейчас уже не то время, когда можно было считать себя другом народа на том основании, что являешься сторонником уравнения. Учение об уравнении, какими бы метафорами его ни украшали, уже никого более не введет в заблуждение. Общество должно ждать от этого учения лишь одной услуги, и тот, кто льстил бы себе, что благодаря этому учению достигнет лестной популярности, готовил бы себе самое горькое разочарование (фр.).

Стр. 250. Таков путь к звездам! (лат.).

Стр. 250. «Библия в Испании» (фр.).

Стр. 251. Несчастный молодой человек, он настолько наивен, что мнит себя иезуитом (фр.).

Стр. 251. Это так, как если бы кто-нибудь сказал: Жан Жак Вольтер (фр.).

Стр. 251. Журналов «Корреспондент», выходящий 10 и 25 числа каждого месяца.: Религию, философию, политику, литературу, науки, искусства (фр.).

Стр. 251. «О религиозных объединениях» (фр.).

Стр. 251. «Церковь и ее противники в 1825 и 1845 годах» (фр.).

Стр. 251. «Лилии» (фр.).

Стр. 252. Общественного спасения (фр.).

Стр. 252. «Об общественных увеселениях» (фр.).

Стр. 252. «Чтобы наконец занять центральное место в учреждении, связанном с именем Людовика XIV и в котором сиял гений Глюка и Сакини (опера)» (фр.).

Стр. 252. «Нет оскорбления, равного подобному захвату их личности» (фр.).

Стр. 253. «О поэтических источниках „Божественной комедии"» (фр.).

Стр. 253. «Данте и католическая философия средневековья» (фр.).

Стр. 254. Все любовные связи Шатобриана (фр.).

Стр. 255. «Самый умный человек после Вольтера» (фр.).

Стр. 256. «Вот будущее танцующей Франции»... «Я очень хотел бы сбросить настоящее» (фр.).

Стр. 256. Через дозволенное и недозволенное (лат.).

Стр. 256. Старшина адвокатского сословия (фр.).

Стр. 257. «Он снова будет в чести: когда-то почитали его мечту, теперь будут чтить его самого» (фр.).

Стр. 257. «В его самых удачных ударах острие завернуто в бархат» (фр.).

Стр. 257. «Казимир Делавинь желал остаться писателем и остался им; в эту эпоху подобная особенность пикантна» (фр.).

Стр. 257. В одном из своих фельетонов, написанных под мужским псевдонимом (фр.).

Стр. 258. «Здесь в последний раз собраны все эти взволнованные, благодарные чувства, и вместе с ними восходит к сердцу нечто более нежное, чем даже голос славы» (фр.).

Стр. 258. «Эта противоречивая смесь монархических реминисценций, христианской фразеологии и сен-симонистских пожеланий часто встречается у господина Гюго» (фр.).

Стр. 258. «Как философ, вы сопоставили все системы!» (фр).

Стр. 258. «В вас есть что-то от Нодье!» (фр.).

Стр. 258. Один из людей, пользующийся неоспоримой славой (фр.).

Стр. 258. «От этого я не меньше уважаю вас» (фр.).

Стр. 259. «Верьте, имейте веру, имейте религиозную веру... веру патриотическую, веру литературную, верьте в человечество, в будущее, в человеческий дух, в самого себя» (фр.).

Стр. 259. «Надо удалиться в XVII век» (фр.).

Стр. 260. Мадам, больной академик, который уже не читает стихов и знает наизусть только ваши стихи, считает своим долгом вернуть вам эту книгу, которую вы дали прочесть ему несколько месяцев тому назад. Он имеет честь прислать ее к вашей двери, которая напрасно соседствует с его дверью, и пользуется этим случаем, чтобы заверить вас в своем уважении и в том, что он умер или поглупел только официально (фр.).

Стр. 260. «О призыве как злоупотреблении» (фр.).

Стр. 260. «Философское введение в изучение христианства» (фр.).

Стр. 260. Ему все едино, он всегда и повсюду будет Шатобрианом (фр.).

Стр. 261. «Историки брунсвикского государства» (лат.).

Стр. 262. Насколько он изменился! (лат.).

Стр. 262. Во главе цивилизации! (фр.).

Стр. 262. «История немецкого сельского хозяйства» (нем.).

Стр. 262. «История немецко-славянского сельского хозяйства» (нем.).

Стр. 262. «История немецкой нации» (нем.).

Стр. 262. «Но если я должен был привести нечто, не вполне соответствующее системе религии, государства, провинции, то вина не на мне, но на истории, которой я не мог приказывать: повествуй иначе» (нем.).

Стр. 262—263. «Армяне и персы, галлы и греки, германцы и славяне произошли от одного большого пранарода, так как в своих коренных словах все они показывают что их первые понятия восходят к этому пранароду. Исчез язык фракийцев, но не исчез несомненный след обычаев известных потомков, в которых проявляется родство. Армяне и персы разъединились сначала, они пришли в счастливые края, где они подчинили себе более древний народ или объединились с ним. За ними последовали галлы, вероятно в нынешнюю Германию, но в более позднее время следовавшие за ними тевтоны вытеснили их в Галлию, на острова, на которых жили бедные крестьяне, затем пелазги нашли более благоприяные места в Греции, а умбры — в Италии. Позднее всех отделились германцы от славян. Славяне остались позади, выступали чаще всего как сарматы и венеты и еще теперь соперничают с германскими племенами за владычество над Европой» (нем.).

Стр. 263. «О католической догме» (фр.).

Стр. 263. «О противоположных мнениях ультрамонтанов и галликан. и о злоупотреблениях, возникающих из этих мнений» (фр.).

Стр. 263. «Ошибке» (фр.).

Стр. 263. «Такова была ошибка епископов в 1682 году: епископы отказались от принятого ими заявления, которое было отвергнуто папским престолом; от этого заявле

ния отрекся Людовик XIV, который был его вдохновителем, Боссюет, который его со ставил. Но весьма ловко отделавшись от этого заявления при помощи столь известных слов: „Пусть с ним будет что угодно“ ‹эти же слова повторены на латинском языке›, епископ города Мо вместо того, чтобы отказаться от мнения, которое в нем выражено, написал ученое сочинение в защиту этого мнения» (фр.).

Стр. 263. «Речи, доклады и неизданные труды по поводу Конкордата 1801 года». Сочинение Порталиса, министра вероисповеданий и т. д., опубликованное Фр. Порталисом, советником парижского королевского двора (фр.).

Стр. 264. Текстуальное воспроизведение (фр.).

Стр. 264. Человека, ничего из себя не представляющего (фр.).

Стр. 264. Как вечность! (лат.).

Стр. 266. Я заплатил за эту картину 6000 франков, я вам ее уступаю за 1000 (фр.)

Стр. 266. «О превращении ренты» (фр.).

Стр. 266. О государстве, о церкви, об обучении (фр.).

Стр. 267. За один том (фр.).

Стр. 267. Господин Т‹ьер›закончил первую историю... днем 18 брюмера, следовательно, он возобновляет свой рассказ с конца этого памятного дня[22] (фр.).

Стр. 267. Такое предисловие, какое умеют делать крупные писатели, благородное и трогательное в своей простоте, истинный образец в наш век либеральных умов... полстраницы на 10 томов (фр.).

Стр. 267. Никогда история не была ближе к эпопее (фр.).

Стр. 267. Они продвигались вперед, эти верные солдаты, ветераны свободы и славы, они продвигались вперед, таща за собой артиллерию, они продвигались вперед распевая патриотические песни (фр.).

Стр. 267. «История Консульства и Империи» будет книгой, в которой Франция увидит свои самые славные дела, книгой, где в трудные времена каждый из нас будет искать убежища против вызывающего отвращение настоящего; каждый из нас найдет в ней пищу для своего патриотизма, укрепит свой дух и сердце, как бы припав к живительному источнику (фр.).

Стр. 268. И воздержись от смеха над этой серьезной темой (фр.).

Стр. 268. «Антироманизм в Германии» (фр.).

Стр. 269. Снова рождается новый порядок (лат.).

Стр. 269. «Таким образом, сигнал подан» (фр.).

Стр. 270. Замечательная сила воли, которая упорствует и которой, упорствуя, удается вернуть себе счастье (фр.).

Стр. 270. «Счастливое вдохновение лейтенанта столь же умного, сколь и преданного! Счастливое везение молодости! Если бы 15 лет спустя первый консул, которому сегодня так отменно помогают его генералы, встретил бы Десеза на поле битвы при Ватерлоо..., он сохранил бы империю, а Франция — свое господствующее положение среди европейских великих держав» (фр.).

Стр. 272. «Справочник об учреждениях и благотворительных обществах в Париже»... «Дающий нищему не обеднеет» (Библия, притчи Соломона, гл. 28, стих 27) (фр.).

Стр. 272. Паломничество к отшельникам (фр. и нем.).

Стр. 272. Так как каждому истинному уму свойственно стремление к новому (фр.)

Стр. 272. Слова, слова, слова! (англ.).

Стр. 272. Все дороги ведут в Рим, т. е. в академию (фр.).

Стр. 273. «Менее чем кому-либо, я это знаю, мне следует в этих скорбных обстоятельствах говорить здесь языком религии и разума. Поэтому я хочу говорить не их высоким языком, а той смиренной речью, которой мне надлежит говорить» (фр.).

Стр. 274. Протокол, в котором были бы указаны все обстоятельства и который был бы обсужден и составлен четырьмя свидетелями, согласно существующему обычаю (фр.).

Стр. 274. «Любовь ангелов» (фр.).

Стр. 275. Благозвучные певцы высокого, посланники святого воинства... Ангелы, умрите с нами, скорбь и ночь в царстве тьмы скрывают несказанную любовь, и лучше

мгновение лихорадочного бреда, чем спокойствие ваших безмятежных дней... Я тебя заклинаю, вернись на небеса!.. Когда близ меня, твоей мистической супруги, Идамиель, ты можешь жить вечно, не колеблись: приди и раздели гармонию и мир любви ангелов... К бессмертным пирам блаженства... Осанна, слава господу (фр.).

Стр. 275. Галлы, не разите, это я причина ваших бедствий (фр.).

Стр. 275. Остановитесь! Остановитесь! Галлы, положите оружие! Римляне, соблаговолите услышать меня и остановите свои удары (фр.).

Стр. 276. Наконец, я умру за господа, которому я поклоняюсь... Чтобы его спасти или умереть, как и он!.. Душа, которую моя душа любит в боге, полетим к вечному счастью (фр.).

Стр. 276. «Супруги-мученики едва получили пальму, как заметили в воздухе светящийся крест, похожий на тот крест, который принес победу Константину; гром загремел над Ватиканом, холмом, который был тогда пустынным, но который часто посещал неизвестный дух; амфитеатр был потрясен до основания; все статуи идолов упали, и услышали, как когда-то в Иерусалиме, голос, который сказал: боги уходят» (фр.).

Стр. 276. «Я боюсь разума» (фр.).

Стр. 276. Мадемуазель Александрина Вертей, которая получила от императора Николая изящное прозвище соловья..., споет арию московского композитора Глинки. Без сомнения, в первый раз в парижском концерте прозвучат русские стихи и музыка (фр.).

Стр. 277. «Были несправедливыми, но законными» (фр.).

Стр. 277. Господин де Талейран был чрезвычайно ловок и оказывал первому консулу истинные услуги благодаря своей склонности ничего не делать (фр.).

Стр. 277. «И самое главное, господа, никакого усердия!» (фр.).

Стр. 277. «Господин Фуше был человеком умным и хитрым, не добрым и не злым»... Оше: Фуше не был злым, он, который в Лионе, видя более трехсот человек, будто бы восставших, которых вели под его окном на казнь, воскликнул: «Я испытываю блаженство — вот триста негодяев, которых обезглавят» (фр.).

Стр. 278. «Он знал добро, но он предпочитал зло» (фр.).

Стр. 278. «Это Тиберий XIX века» (фр.).

Стр. 278. «Гений христианства» будет жить, так как он тесно связан с достопамятной эпохой, он будет жить, подобно тому как фризы на мраморе памятника живут до тех пор, пока живет то здание, на котором они созданы (фр.).

Стр. 283. «Не видеть бы мне никогда Виттенберга, не читать бы книг» («Фауст» Марло?) (англ.).

Стр. 283. «Если вопрошаешь памятник — оглянись!» (лат.).

Стр. 287. По когтям узнают льва (лат.).

Стр. 287. Добродушие (фр.).

Стр. 288. Государственный советник (нем.).

Стр. 289. Мое неизменное сердце с любовью обращается к тебе! (англ.).

Стр. 290. «Другие делали зло, а он дурно делал добро» (фр.).

Стр. 291. Прыжок оленя (нем.).

Стр. 291. Тайного советника и рыцаря (нем.).

Стр. 292. Сетка округов и земли Куявской (сняты им самим) (нем.).

Стр. 296. «Якоби, писатель и философ» (нем.).

Стр. 296. Об искусстве возводить водяные строения (нем.).

Стр. 296. Так проходит слава мира! (лат.).

Стр. 296. Путей сообщения (фр.).

Стр. 297. Оба витали в пространстве (фр.).

Стр. 297. Первый прыгун Европы (фр.).

Стр. 297. «Так как религия является основанием всех вещей, — как это сказал Сен-Мартин, — никакое внутреннее развитие не могло бы быть запрещено ею» (фр.).

Стр. 298. Сен-Мартина духовным трупом (нем.).

Стр. 299. Глядя на человечество (англ.).

Стр. 299. Общество стрелков... малого Версаля (нем.).

Стр. 301. Замок (нем.).

Стр. 303. Комедия — низменный жанр (фр.).
Стр. 304. Продолжает бесконечно звенеть (нем.).
Стр. 304. Замок Штейна (нем.).
Стр. 304. На досуге и с достоинством (лат.).
Стр. 304. Господь наш — надежная крепость (нем.).
Стр. 305. Сияет незапятнанной честью (лат.).
Стр. 305. И желания имеют предел (лат.).
Стр. 305. Прекрасный вид (нем.).
Стр. 306. «Значение городов в средние века» (нем.).
Стр. 307. Остров блаженных (нем.).
Стр. 307. Братья (нем.).
Стр. 308. Директором путей сообщения Сен-Фором. Наполеон предполагает, а бог располагает (фр.).
Стр. 310. «Немецкая хозяйка дома» (нем.).
Стр. 310. Дворец правосудия (фр.).
Стр. 311. Поставлено Людовиком XVIII, открыто при Карле X 6 ноября 1824 (фр.).
Стр. 311. Королевский прокурор (фр.).
Стр. 312. Дети из церковного хора (фр.).
Стр. 312. Благодарная и восторгающаяся (лат.).
Стр. 312. Главный викарий (фр.).
Стр. 312. Монахи из церковных школ (фр.).
Стр. 312. Я первый признал Генриха и принял короля. И теперь у меня та же вера, какая была прежде (лат.).
Стр. 312. Я первый признал Генриха (лат.).
Стр. 313. Жаку Бенину Боссюету посвящен этот памятник прелатами города Мо. Поставлен городом Мо, а также милостью короля и помощью ближних городов, знатью и народом. Благодарная и восторгающаяся <паства>. 1820 от Р. X. (лат.).
Стр. 314. Елисейские поля (фр.).
Стр. 315. Праздник св. причастия (фр.).
Стр. 315. «Сутяги» (фр.).
Стр. 315. «Глухой, или переполненная харчевня» (фр.).
Стр. 315. «Секретарь и повар» (фр.).
Стр. 315. «Карантин» (фр.).
Стр. 315. «Артист, с новой сценой» (фр.).
Стр. 315. 2 франка с человека... хлеба неограниченно (фр.).
Стр. 316. Аффектированной (фр.).
Стр. 316. Одну его остроту... о женщине, которая имела много любовников... Такой-то последовал за таким-то. — Да, ответил Бомарше, как Людовик XVI последовал за Дагобером (фр.).
Стр. 316. «Наследство» (фр.).
Стр. 316. «Новым гидом или путеводителем по Парижу»... «Королевский музей французских памятников» (фр.).
Стр. 317. Монетный двор (фр.).
Стр. 317. Портал (фр.).
Стр. 317. По обе стороны распятия (фр.).
Стр. 317. Художественным образом (фр.).
Стр. 317. Пьер Корнель, родившийся в Руане 6 июня 1606 года, умерший в Париже на улице Аржентей 6 октября 1864 года, погребен в этой церкви (фр.).
Стр. 317. 2 франка с человека (фр.).
Стр. 318. Это король верхом (фр.).
Стр. 318. Удостоверений о том, что живы (фр.).
Стр. 319. На Карфаген (фр.).
Стр. 319. «Роман» Делавиля (фр.).
Стр. 319. Народ, в связи с политическими веяниями, народ отныне повсюду: следовательно, показывать надо его. То, что искусство потеряет в благородстве, оно при-

обретает в правдивости. Натура, которую оно будет воспроизводить, будет менее прекрасной: но выбирать можно даже среди народа (Обозреватель XIX века, Сен-Проспера) (фр.).

Стр. 319. По памяти (фр.).

Стр. 319. Нахлебник (фр.).

Стр. 319. Как могли бы они показывать законы, характер, нравы и даже поведение общества, одежду которого они уже не умели носить? (фр.).

Стр. 319. Репертуар (фр.).

Стр. 319. Снова рождается новый порядок (лат.).

Стр. 320. Благородного отца, слуг и опекунов (фр.).

Стр. 320. Мой отец хочет, чтобы его любили, а не уважали. Во времена его дедов дети уважали отцов и не смели поднять глаз перед своими родителями. Мы изменили сей мрачный предрассудок. Теперь сын — товарищ своего отца. Все свободны, друзья а иногда соперники; их обязанности легки и их права равны... И так как меньше боятся своего отца, то сильнее его любят (фр.).

Стр. 320. Я скажу более, я откровенно объяснюсь с вами; наше правительство поступает весьма неразумно. Богатые не имеют положения, которое они заслуживают. Ибо в конце концов мы судьи государства. Я не ищу званий, титулов, но кто с большим основанием, чем я, имеет право на эти, пусть суетные, почести. Я сам, едва прожив до половины жизни, приобрел миллионы; чтобы достичь подобного результата, нужно обладать большим гением, нежели чем быть министром или управлять государством (фр.).

Стр. 321. Сто раз больше! (фр.).

Стр. 321. О, я сам с этим согласен. По своим склонностям и по своим взглядам я все одобряю. Я холостяк, у меня нет ни племянников, ни родных, и мой чистый доход достигает десяти тысячи франков; у меня мало желаний и много независимости; потому я не должен краснеть за свою снисходительность. Да, я всегда одобряю: может быть, это недостаток; но этот недостаток дает мне счастье; а счастье — это то, что я ищу (фр.).

Стр. 321. Я терпеть не могу авторов в юбках... Если мужчина может претендовать на известность, то слава женщины в ее неизвестности; если же она блещет талантами, то пусть это будет тайна, хранящаяся в лоне семьи. Избегая тропинок славы, женщина должна срывать цветы, а не лавры (фр.).

Стр. 321. «Талант не исключает домашних добродетелей»..., которая играла на понижение (фр.).

Стр. 321. Мой роман закончен, я буду писать только вам (фр.).

Стр. 321. Сен-Проспера «Обозреватель XIV века»..., Беглый взгляд на столицу (фр.).

Стр. 322. 2 франка с человека (фр.).

Стр. 322. Лакеев (фр.).

Стр. 322. 1. «Предприниматели». 2. «Комиссар бала». 3. «Кучера» и 4. «Бенефициант» (фр.).

Стр. 323. «Комиссар бала или две моды»... су-префекта (фр.).

Стр. 323. Фиакра, кабриолета, частный кучер (фр.).

Стр. 323. «Бенефициант» (фр.).

Стр. 323. В роли простака (фр.).

Стр. 324. И все будет хорошо! (фр.).

Стр. 324. Богадельня (фр.).

Стр. 324. Швейцар (фр.).

Стр. 324. Сад и музей естественной истории (фр.).

Стр. 324. Ум, равный величию природы (лат.).

Стр. 324. «История и описание музея» Делейза (фр.).

Стр. 325. Зверинце (фр.).

Стр. 325. Склад и рынок вин и водок (фр.).

Стр. 325. Рынок вин (фр.).

Стр. 325. Вина и водки, привезенные на склад, сохраняют право снова быть вывезенными за черту города без оплаты пошлины (фр.).

Стр. 325. Опытная исправительная тюрьма (фр.).
Стр. 326. Каторжных тюрьмах (англ.).
Стр. 326. Не могу выразить мое блаженство (ит.).
Стр. 327. «Ворчун» (фр.).
Стр. 327. Предместие (фр.).
Стр. 327. Сен-Жерве, церковь, расположенная между улицами Монсо, Пуртур, Лон-Пон и Барр (фр.).
Стр. 327. Видно, как ребра сводов соединяются пучками, загибаются и образуют при спуске то, что называют замком свода или украшением наподобие лампады (фр.).
Стр. 328. Ратуша, расположенная на площади Грев (фр.).
Стр. 328. Небольшую статую всадника (фр.).
Стр. 328. Центральное и королевское общество сельского хозяйства (фр.).
Стр. 328. Дворцу правосудия (фр.).
Стр. 328. Низких зал, расположенных под большою залой дворца, называемых залой для прохаживания (фр.).
Стр. 328. Футов (фр.).
Стр. 328. Зала прокуроров, большая зала или зала для прохаживания... имеющие тяжбу (фр.).
Стр. 328. Приемную (фр.).
Стр. 328. Дворца правосудия (фр.).
Стр. 328. Консьержери, правительственная тюрьма (фр.).
Стр. 328. Внутренний двор дворца (фр.).
Стр. 329. Единственного короля, память о котором сохранилась во Франции (фр.).
Стр. 329. Она стоит на площадке на мосту, носящем название Пон-Неф, в конце острова Сите и напротив площади Дофин: эта статуя поставлена вместо той, которая была свергнута в 1792 году (фр.).
Стр. 329. Людовик XVIII положил сей камень в день 28 октября месяца 1818 года, в год царствования 23-й... Генриху Великому. И надпись: да будет восстановлено благочестие граждан... футов (лат. и фр.).
Стр. 329. И этот крик сердца (фр.).
Стр. 329. «Теперь вы все не знаете, каков я; но я вскоре умру, и, когда вы меня потеряете, вы поймете, чем я был, и ту разницу, которая существует между мной и другими людьми» (фр.).
Стр. 330. «Письмо Скаррона, в котором содержатся его расхождения с Буало и которое никогда не было напечатано; оно очень забавно». Одна подпись св. Винсента де Поль, Агнессы Сорель... Франциска I... Подпись Мольера... Дощечка, покрытая воском, на которой записаны расходы двора в 1283 году (фр.).
Стр. 330. Приблизительно (фр.).
Стр. 331. Улица Муфтар, предместье Сен-Марсо, мануфактура Гобеленов или королевская мануфактура стенных ковров (фр.).
Стр. 331. Раскраски (фр.).
Стр. 331. Канву (фр.).
Стр. 331. Цвета ниток (фр.).
Стр. 331. Производство мыла (фр.).
Стр. 331. По когтям узнают льва (лат.).
Стр. 331. В применении к окраске. В этих коврах игла и окраска превосходят натуру. 4 мастерские (фр.).
Стр. 331. Монахини ордена св. Фомы (фр.).
Стр. 332. Королевский приют для слепых (фр.).
Стр. 332. Зал для прогулок (фр.).
Стр. 332. Генеральный директор королевского приюта для молодых слепых (фр.).
Стр. 332. И возвращен к своему первоначальному назначению и переведен в это помещение (фр.).
Стр. 333. Повсюду вокруг сводов портика (фр.).

Стр. 333. Двойной ряд приделов... стрельчатые... центральной части и хоров и над приделами (фр.).
Стр. 333. «Лорд, вы не отвечаете?» (англ. и фр.).
Стр. 334. «Рассеянные» (фр.).
Стр. 334. Мучительной (фр.).
Стр. 334. Правой рукой (фр.).
Стр. 334. Заблуждающиеся чада, еретики (фр.).
Стр. 334. Непосвященные (лат. и фр.).
Стр. 335. И много милых теней восстало (нем.).
Стр. 336. Королевский приют инвалидов (фр.).
Стр. 336. Собора (фр.).
Стр. 336. Собор. Главный алтарь (фр.).
Стр. 336. Тюркеймское сражение, которое было дано в 1675 году (фр.).
Стр. 337. Часы (фр.).
Стр. 337. «Старые защитники государства поместили здесь отца родины. Январь 1816 года» (фр.).
Стр. 337. Немного вина... закуску, мяса, овощи (фр.).
Стр. 337. Четыре нации, закованные в цепи (фр.).
Стр. 337. Увлекавший все сердца... бывший молодой человек (фр.).
Стр. 338. «Главные события в жизни Генриха IV» (фр.).
Стр. 338. Комедии-пословицы (фр.).
Стр. 338. Шест (фр.).
Стр. 339. Не мешайте им! (фр.).
Стр. 339. И вы его оставляете?.. Будьте уверены, что в подобном состоянии вы мне любезны (фр.).
Стр. 339. «Тайный брак» (фр.).
Стр. 339. Да здравствует король! (фр.).
Стр. 340. К парадному обеду, ступенями... первого дворянина королевского покоя герцога де Амонь (фр.).
Стр. 340. Да здравствует Генрих IV! (фр.).
Стр. 340. Кравчий (фр.).
Стр. 340. Три перемены блюд (фр.).
Стр. 340. Торговки и грузчики Центрального рынка (фр.).
Стр. 340. Ботанический сад (фр.).
Стр. 341. «Исторический очерк открытий и путешествий по Азии с древнейших времен до настоящего времени» Мюррая (англ.).
Стр. 341. «Гамильтоновское описание Индостана». 2 тома (англ.).
Стр. 341. «История индийского архипелага» Крауфорда (англ.).
Стр. 341. «Воспоминание о центральной Индии» Малькольма (англ.).
Стр. 341. «Восточная торговля» Мерборна (англ.).
Стр. 341. «Печальный образ судьбы! Руины переживают государства. И до сей поры мы еще находим столько величия в обломках того, что не существует уже две тысячи лет» (фр.).
Стр. 342. «Многие авторы подметили это счастливое совпадение: изобретение книгопечатания с распространением греческой литературы на Западе. Книгопечатание было изобретено именно в то время, когда оно было наиболее необходимо и, без сомнения, именно по этой причине. Действительно, то, что принято считать случаем и что привело к открытию такого количества чудесных вещей, почти всегда было лишь ответом на нужды и на деятельность человеческого ума, обращенного особенно на один предмет» (фр.).
Стр. 342. «Беарнец»... «Молодость Генриха IV» (фр.).
Стр. 342. Овчарни (фр.).
Стр. 342. Бычачьих хлевов (фр.).
Стр. 342. Кровопускание (фр.).
Стр. 343. Резервуар (фр.).

Стр. 343. Де Амандр и в коммуне де Шарон... восточное, Мон-Луи и Пер-Лашез (фр.).

Стр. 344. На вечное пользование (фр.).

Стр. 344. Лефебр, солдат, маршал, герцог Данцигский, пер Франции... Флерюс (авангард), переход через Рейн, Альтенкирхен, Данциг, Монмирай... Цюрих (фр.).

Стр. 344. Памяти Камилла Жордана (фр.).

Стр. 345. «Элоиза Абеляр. Год 1563... Останки Элоизы и Абеляра соединены в этой могиле»... Пьер Абеляр, основатель этого аббатства (фр.).

Стр. 345. «Друзья мои, верьте, что я сплю» (фр.).

Стр. 345. «Дух энциклопедии», «История литературы у арабов» (фр.).

Стр. 345. «Рассуждения и уроки промышленности, коммерции и морского дела, и о науках в применении к искусствам» Дюпеня (фр.).

Стр. 345. «О коммерции и общественных работах в Англии и во Франции» (фр.).

Стр. 345. В конце концов Британская империя, которую одинаково боятся в Персидском заливе и в Эритрейском море, в Тихом океане и на Индонезийском архипелаге, владеющая наилучшими землями на Востоке, через своих купцов царит над 80 миллионами подданных. Завоевания ее купцов начинаются в Азии, там, где остановились завоевания Александра, куда не мог дойти римский бог Терм. В настоящее время от берегов Инда до границ Китая и от устья Ганга до вершин Тибета признают власть торговой компании, находящейся на узкой улице лондонского Сити (фр.).

Стр. 345. Приписанные земли (лат.).

Стр. 345. Трезубец Нептуна является скипетром мира! (фр.).

Стр. 346. Победив в этой борьбе, она сбросила свои древние доспехи, а также опрокинула охранительный вал своих пошлин. Она открыла свои порты иностранцам и предложила им свои склады. Она лишь об одном просит своих соперников в области промышленности: вместе с ней выйти обнаженными на арену, на которой ее недавние подвиги обеспечивают ей победу.

Стр. 346. 1) Начиная с 1820 года английский парламент отменяет одно за другим наиболее отвратительные из ограничений, установленных знаменитыми законами, носящими названия актов о мореплавании. 2) Благодаря закону, относящемуся к складам, Лондон должен стать местом встречи народов и рынком мира (фр.).

Стр. 346. Что же предприняла английская администрация для создания в столь короткий срок общественных работ, которые сделали возможным достичь столь внушительных результатов, как описанные выше? — Ничего... Она предоставила свободу торговле и гарантировала ей защиту за пределами Англии, обеспечила для нее повсюду законность и свободу внутри Англии. Она предоставила фабрикантам, землевладельцам и купцам, каково бы ни было их состояние, возможность согласовывать между собой взаимные нужды и самим производить необходимые для них работы (фр.).

Стр. 346. Пусть будет вечна! (лат.).

Стр. 346. «Разбор речей, произнесенных в Ассамблее, собравшейся для воздвижения памятника в честь Джемса Ватта, которым предпослано общее рассуждение о публичных ассамблеях» (фр.).

Стр. 346. «Чтобы произвести все социальные улучшения, граждане должны сообщать свои соображения и объединять свои денежные средства. Своим союзом они должны особенно возбуждать симпатию к великим мыслям и к проявлениям великодушия. Такова цель столь частых и столь многочисленных ассамблей, по которым можно особенно хорошо изучить характер английского народа» (фр.).

Стр. 347. Ватт способствовал всеобщей выгоде, уменьшив количество труда, необходимое для промышленного производства, увеличив регулярность, быстроту, высокое качество самых разнообразных предметов, служащих для удовлетворения нужд, желаний, потребностей всех классов. Этими материальными предпосылками вы улучшаете также моральные условия жизни человеческого рода (фр.).

Стр. 347. «Отчеты членов королевской парламентской комиссии, назначенной его величеством для исполнения мер, рекомендованных избранным комитетом палаты общин в отношении публичных актов государства» (англ.).

Стр. 347. Великую Хартию (лат.).
Стр. 347. Отчетов (англ.).
Стр. 347. Уголовного суда (фр.).
Стр. 347. Шарль Ледрю, помогал ему господин Берье (фр.).
Стр. 348. Памятную записку для господина Огюста Керона (фр.).
Стр. 348. Д'Ейро: «Об администрации, правосудии и судебных порядках во Франции»... о варварстве (фр.).
Стр. 348. «Известна ли организация этих диких сотен? Известно ли, что из четырех людей трое садятся на лошадь, когда дан сигнал сражения?» (фр.).
Стр. 348. «Тот факт, что эти профессии оставлены, сам по себе достаточен для доказательства того, что русские не являются еще европейцами» (фр.).
Стр. 349. Кларак, хранитель древностей в вышеуказанном музее (фр.).
Стр. 350. В розницу (фр.).
Стр. 351. «Помолвленные» (фр.).
Стр. 351. «Золушка» (фр.).
Стр. 351. Надо отправиться в этот волшебный дворец, где прекрасные стихи, танцы, музыка, искусство прельщать глаза красками, более высокое искусство обольщать сердца создают из сотни удовольствий одно единое (фр.).
Стр. 352. Господин Могра, профессор, заменяющий Мелона... определив отличительные черты истинной философии, изложит мнение различных школ о происхождении знаний, о перечислении и классификации умственных способностей человека (фр.).
Стр. 352. Заменяющий (фр.).
Стр. 352. Этим молодым нациям... Не судят ни события, ни институты, но смотрят, что можно сделать доброго... Все надежды новых империй (фр.).
Стр. 353. Злосчастной памяти (фр.).
Стр. 353. Джона Мильтона, англичанина, О христианском учении, две посмертные книги. Трактат о христианском учении, составленный исключительно по св. писанию, переведено с оригинала Саммером (лат. и англ.).
Стр. 353. «Одеяние древних, в которое он рядится, ему не подходит» (англ.).
Стр. 353. Когда фантазия дает форму неизвестным предметам, перо поэта воплощает их в образ, обретая воздушному ничто границы существования и имя (англ.).
Стр. 353. Сокращению: людей нашего времени нельзя обратить в веру или развратить наполовину (англ.).
Стр. 354. Гражданское право в выдержках, с постановлениями из кодекса Юстиниана, для чтения учащимися (лат.).
Стр. 354. Судопроизводство, читал Берья Сен-При (фр.).
Стр. 354. О работах общества после публичного заседания 31 октября 1824 года (фр.).
Стр. 354. Ему не нужно искать там вдохновения (фр.).
Стр. 354. Его поступки опровергли его книгу (фр.).
Стр. 354. Слишком помпезное заглавие (фр.).
Стр. 354. Хранителем могилы Сен-Дени (фр.).
Стр. 354. Где камни были воспоминаниями, а мрамор — историей (фр.).
Стр. 354. Абсолютизм никогда не является законным (фр.).
Стр. 355. Длинные сочинения пугают меня (фр.).
Стр. 355. Во главе цивилизации (фр.).
Стр. 355. Об остальном не стоит упоминать (фр.).
Стр. 355. «Лжец и фальшивомонетчик», «Флюгер и громоотвод»... «Невежество, ведомое привычкой, или две старухи» (фр.).
Стр. 355. Царедворец, не идите к двору японского императора (фр.).
Стр. 355. Отчет о богатом собрании египетских древностей, недавно привезенном в Париж господином Пассалаква... «Умирающий расточитель»... «Загнанный олень»... «Деревенский судья»... «тех, кто изобличает наши глупости. Как же нас накажут?» (фр.).
Стр. 355. «Чижик»... «Розовый куст и жимолость»... «Приданое в колыбели», эта сказка должна войти во второй том сказок для детей Франции (фр.).

Стр. 356. Обвинительный акт (фр.).
Стр. 356. Мировых судей, судебных экспертов (фр.).
Стр. 356. Профессора, заменяющего Мелона (фр.).
Стр. 356. Заменяющий (фр.).
Стр. 357. «Нахлебник» (фр.).
Стр. 357. «Дуэль или завтрак» (фр.).
Стр. 357. «Наставник» (фр.).
Стр. 357. «Нахлебник» (фр.).
Стр. 357. Один из видных офицеров двора, главный духовник короля (фр.).
Стр. 357. Главный конюший (фр.).
Стр. 358. Синклит королевского духовенства (фр.).
Стр. 358. И непосредственность (фр.).
Стр. 358. Ратуше (фр.).
Стр. 358. Господин Ру, секретарь центральной комиссии (фр.).
Стр. 359. Записку о средствах достигнуть единого уровня рек во Франции (фр.).
Стр. 359. Нивелирование (фр.).
Стр. 359. Подсчет голосов (фр.).
Стр. 359. В местах, отведенных для адвокатов (фр.).
Стр. 359. Швейцар (фр.).
Стр. 359. Речи (фр.).
Стр. 359. Записки (фр.).
Стр. 359. Достаточно несчастлив, чтобы его любила герцогиня (фр.).
Стр. 360. «Несчастье написано на лбу того, кто, будучи молодым, мечтает, предается независимости своей натуры, а затем подчиняется законам общества» (фр.).
Стр. 360. Мы будем сражаться в тени! (фр.).
Стр. 360. Бульон Людовика XIII (фр.).
Стр. 361. С достоинством (ит.).
Стр. 361. Королевское высшее ремесленное училище (фр.)... Курс для художников и рабочих, мастеров и начальников мастерских, а также для заведующих мануфактур (фр.).
Стр. 361. Лекции доступны для всех и бесплатны (фр.).
Стр. 362. «Каждый раз, когда раздается голос, призывающий к общественному благу человека, он имеет широкий отклик во Франции» (фр.).
Стр. 362. Своего славного полководца, свобода — своего красноречивого защитника... Но Франция их усыновит. В 18 лет он был солдатом, в 30 — генералом; во всех венках, венчавших армию, были и его лавры. Франция нашла своего Демосфена среди воинов (фр.).
Стр. 362. Приблизительно (фр.).
Стр. 362. «Об экономике промышленности» (фр.).
Стр. 362. Между Леонидом и господином де Виллель имеется параллель: один привел свои три сотни к бессмертию, другого его доход три процента годовых приведет к нищете (фр.).
Стр. 362. «Франция усыновит семью своего защитника»... «Да, да, Франция ее усыновляет»... Всеобщая овация. Слава, вечная слава генералу Фуа (фр.).
Стр. 362. «Народ поклоняется его памяти» (фр.).
Стр. 362. Увы, впервые он не ответил на жалобный крик, который испустила родина!.. «Говорить перед вами... о генерале Фуа как об ораторе — это касаться оружия Ахилла; я останавливаюсь; я рассчитываю на воспоминания об этом первейшем трибуне. Он служил родине и ничего не просил у нее взамен» (фр.).
Стр. 363. «Его беседа имела удивительное очарование, потому что черты его ума проходили через его сердце» (фр.).
Стр. 363. Речь в суде (фр.).
Стр. 364. Каторгу (фр.).
Стр. 364. Административного комитета (фр.).

Стр. 364. Штапфер, священник швейцарской церкви (фр.).
Стр. 365. Изящной словесности (фр.).
Стр. 365. «Об экономике промышленности» (фр.).
Стр. 365. Контору журнала (фр.).
Стр. 366. Энциклопедический музей и галерея Басанжа-отца (фр.).
Стр. 366. «Он умер от семейной болезни» (фр.).
Стр. 366. «В этом есть будущее» (фр.).
Стр. 367. Общие сведения (фр.).
Стр. 367. Или которые ему приписали (фр.).
Стр. 368. «Лекен не имел учителя». «Гению нельзя научиться» (фр.).
Стр. 368. В этом месте улетела душа Мирабо: свободные люди, плачьте! Тираны, опускайте глаза (фр.).
Стр. 368. Потому что тот, кто достаточно сделал для лучших людей своего времени, тот заслужил бессмертие во все времена (нем.).
Стр. 368. Мне часто служили для размышлений великие события этой революции, жестокие потрясения, свидетелем которых я был (фр.).
Стр. 368—369. «Одним из больших несчастий нашего искусства является то, что оно, так сказать, умирает вместе с нами, в то время как другие художники оставляют памятники в своих творениях. Талант актера, когда он покинул сцену, существует только в воспоминаниях тех, кто его видел и слышал» (фр.).
Стр. 369. Размышления (фр.).
Стр. 369. «Этот человек заставил меня плакать, а я никогда не плачу» (фр.).
Стр. 369. Театр должен стать для молодежи чем-то вроде курса живой истории (фр.).
Стр. 370. «О духе ассоциаций» (фр.).
Стр. 370. «Да, это зарегистрированный беспорядок» (фр.).
Стр. 371. Кроткий, простак, ленивец (фр.).
Стр. 371. Обвинительные речи (фр.).
Стр. 371. «Вот это называется говорить!» (фр.).
Стр. 372. Который обобщает и устанавливает категории там, где простой естествоиспытатель, как например Галь, видит только разрозненные факты (фр.).
Стр. 372. О справедливом и о несправедливом... Животные — фрагменты человека (фр.).
Стр. 372. Королевском суде (фр.).
Стр. 372. «Анализировать опубликованные на русском языке труды по географии, которые еще не переведены на французский язык. Желательно, чтобы автор придерживался предпочтительно наиболее свежих правительственных статистических данных, относящихся к наименее известным местностям, не исключая тем не менее никакие другие данные, как например записки по географии средневековой России... Вопросы для путешественников (фр.).
Стр. 373. Четыре степени (фр.).
Стр. 373. «Литература должна была бы быть прибежищем истинной независимости. Почему писатели склоняются под ярмо партии? Каким было бы во Франции прибежище умов, уставших от ядовитых и злобных политических обсуждений, если бы музеи, академии и театры (... и литературно-научные общества) были бы лишь новой ареной, предоставленной ярости страстей? И так литература часто только повод.»... Все является намеком (фр.).
Стр. 373. Строгие нравы конституционной страны (фр.).
Стр. 373. Народ равно гордится их славой, лавры их едины! (фр.).
Стр. 373. «Это мертвые лягушки» (фр.).
Стр. 373—374. Королевским судом (фр.).
Стр. 374. Конгрегации (фр.).
Стр. 374. «Это ужасно! Какая новость!... Русский император умер!» (фр.).
Стр. 375. Потье в пьесе «Близкий друг». 1) «Жокрис-хозяин и Жокрис-лакей». 2) «Торговец зонтиками». 3) «Комната Сюзон». 4) «Близкий друг» (фр.).

Стр. 375. Греция! Меняются твои властители, но твое положение без изменений! День твоей славы прошел, но не прошли годы позора (англ.).
Стр. 376. Молитвенник (фр.).
Стр. 376. Эта вулканическая Этна поставляет Генриху оружие, которое сметет с лица земли грозные напасти (лат.).
Стр. 376. «Даже если бы меня повесили, я хотел бы быть автором этого изречения»... Слова безумца или поэта (фр.).
Стр. 376. Ботанический сад (фр.).
Стр. 376. По 2 су, по 4 су за штуку (фр.).
Стр. 377. Королевского суда (фр.).
Стр. 377. «Суд выносит постановления, но не оказывает услуг» (фр.).
Стр. 377. Дворец правосудия... из тюрьмы Консьержери... на площадь Грев (фр.).
Стр. 377. Королевского суда (фр.).
Стр. 377—378. 1) «Возвращение на ферму». 2) 1 нрзб. 3) «Фронтен, муж-холостяк». 4) «Потайной фонарь и два грузчика» (фр.).
Стр. 378. Соблаговолите иногда, идя в салон, остановиться в лакейской! ! Французы, это салон музы комедии (фр.).
Стр. 378. «Француз, рожденный хитрецом, создал водевиль» (фр.).
Стр. 378. Поправить (фр.).
Стр. 378. Королевского суда (фр.).
Стр. 379. Смутное будущее, к которому мы идем (фр.).
Стр. 380. «О святотатстве» (фр.).
Стр. 380. Записку (фр.).
Стр. 381. «Я презираю это как факт» (фр.).
Стр. 381. Это рукопись, единственная в своем роде... «Навуходоносор, трагедия, написанная знаменитой царевной Софией Алексеевной, сестрой Петра Великого» (фр.).
Стр. 382. «Выставка разнообразных предметов, полезных и приятных, для рождественских подарков, под салонами современных картин» (фр.).
Стр. 383. Пресс-папье, козырьки для защиты глаз от света... подсвечники, вазы в античном вкусе, часы (фр.).
Стр. 383. Сибирских домашних туфель (фр.).
Стр. 383. Королевского двора (фр.).
Стр. 383. Совсем как у нас! (фр.).
Стр. 383. Тряпичника (фр.).
Стр. 383. Мусора (фр.).
Стр. 384. Греция! Меняются твои властители, но твое положение без изменений! (англ.).
Стр. 384. Часы (фр.).
Стр. 385. Винсан Шевалье старший, инженер-оптик (фр.).
Стр. 385. «Бюллетень общества споспешествования» (фр.).
Стр. 385. Так как речь идет лишь о том, чтобы копировать образ предметов, который вырисовывается на бумаге, то отсюда вытекает, что рисунки, сделанные в камере-обскуре, являются точной копией натуры (фр.).
Стр. 385. Мастерская (фр.).
Стр. 386. Легро его написал (кролик)[58] (фр.).
Стр. 386. Полное смирение перед судьбой (фр.).
Стр. 387. Ущелье (фр.).
Стр. 388. Справедливо рассерженный столь наивной ложью (фр.).
Стр. 388. Тогда появилась робкая Арисея, она приближается, она видит... ее возвращают к жизни или скорее к скорби (фр.).
Стр. 388. Он служил не богу Марсу, но божеству, носившему то же имя в эту эпоху (фр.).
Стр. 389. Мадам Рекамье привела остроту герцога де Шуазель, который ответил этим архиаристократам по поводу его наблюдений, что в отношении древности римские

колонны — ничто в сравнении с египетскими обелисками. «Однако это прекрасные выскочки» (фр.).

Стр. 389. «Кораблекрушение»... «Найденное дитя»... Частный поверенный... судейского сословия (фр.).

Стр. 389. Королевское высшее ремесленное училище (фр.).

Стр. 390. «Мнимый больной» (фр.).

Стр. 390. Пускать кровь, давать слабительное и мистифицировать! (лат.).

Стр. 390. Знак вошел в нашу ученую корпорацию! (лат.).

Стр. 391. «Это блюдо из гусиной печенки» (фр.).

Стр. 391. «Гостиница или удивительный урок» (фр.).

Стр. 391. Англо-французского союза (фр.).

Стр. 392. Правь, Британия! (англ.).

Стр. 392. Сплин (англ.).

Стр. 393. Наша родина — небо (ит.).

Стр. 393. Гостиная (англ.).

Стр. 394. Если ты вопрошаешь памятник, оглянись (лат.).

Стр. 394. Уголок поэтов (англ.).

Стр. 395. Арлекин или волшебная роза (англ.).

Стр. 395. Содовая вода (англ.).

Стр. 396. Чичероне, провожатый (ит.).

Стр. 396. На крови стоишь ты, Англия! Кровью создана! (лат.).

Стр. 396. За незаконнорожденных детей (англ.).

Стр. 396. Казначейской палаты (англ.).

Стр. 397. Речи защитников (фр.).

Стр. 397. Суде Справедливости (англ.).

Стр. 397. «Быть или не быть» (англ.).

Стр. 398. «Арлекин, мастер на все руки» (англ.).

Стр. 398. «Говорите речь, прошу вас, так, как я говорю ее вам, легким языком; а если вы станете горланить, подобно многим из ваших актеров, то я буду чувствовать, словно мои строки глашатай произносит»... «Но будьте во всем ровны»... глашатай (англ.).

Стр. 398. Помощником секретаря ведомства земледелия (фр.).

Стр. 399. «Чарльз Джеймс Фокс. Сооружено в 1816» (англ.).

Стр. 399. «Френсис Дюк Бедфордский. Сооружено в 1809» (англ.).

Стр. 399. Читальный зал (англ.).

Стр. 400. «Лоцман, или морская повесть» (англ.).

Стр. 400. Светского общества (англ.).

Стр. 400. «Анаконда. Новый бурлеск. Ужасный лесбийский змей» (англ.).

Стр. 400. «Золотые лампы, или Арлекин и Волшебник-гном» (англ.).

Стр. 400. «Что достижение счастья, как частного, так и общественного, зависит от развития цивилизации и усовершенствования человеческих способностей, физических и моральных, которые так хорошо приспособлены к тому, чтобы привести человека к его истинному званию и к его славному предназначению, указанному ему провидением» (англ.).

Стр. 401. От Индии до полюса (англ.).

Стр. 401. Его чудные глубины в мировом обмене (англ.).

Стр. 402. Положение Ирландии (англ.).

Стр. 402. Черный принц (англ.).

Стр. 402. Высшее ремесленное училище (фр.).

Стр. 403. Корнуэльского гранита (англ.).

Стр. 403. Обычного права (англ.).

Стр. 403. В гостиницы (англ.).

Стр. 403. За оскорбление суда лорда-канцлера (англ.).

Стр. 404. Русская Татария (англ.).

Стр. 404. «Если ты вопрошаешь памятник, читатель, оглянись!» (лат.).

Стр. 404. «Мы встречаемся, чтобы почтить его память и распространять его принципы». «Ура!» (англ.).

Стр. 404. «Мы благодарны ему за его твердость и радуемся, что его страдания дали основание права свободной дискуссии» (англ.).

Стр. 405. За лиц, страдавших вместе с мистером Карлейлем. «Мы негодуем на то, что некоторые из них еще находятся в тюрьме» (англ.).

Стр. 405. Христианское эвиденс общество (англ.).

Стр. 405. За христианское эвиденс общество (англ.). «За его расширение — и благодарность его основателю, преподобному Роберту Тейлору» (англ.).

Стр. 405. «Перечень тостов, предназначенных быть предложенными лицам, собравшимся в Лондонской таверне почтить день рождения Томаса Пейна. 30 января 1826» (англ.).

Стр. 405. За Институт механики и за все научные училища! (англ.).

Стр. 405. За Роберта Оуена! «Мы восхищены его настойчивостью на стезе гуманности и великодушия» (англ.).

Стр. 405. За женщин-республиканок! «Их присутствие увеличило бы привлекательность нашего собрания» (англ.).

Стр. 405. За Соединенные Штаты Америки! «Пусть их республиканизм уничтожит их предрассудки!» (англ.).

Стр. 405. За республиканцев острова Гаити. «Пусть соседние острова станут также независимыми!» (англ.).

Стр. 405. За газету Палаты представителей! «Если это орган в какой-то мере кабинета министров, то мы приветствуем приближение их к принципам Томаса Пейна» (англ.).

Стр. 405. «Слушайте! Слушайте!» (англ.).

Стр. 405. За эмансипацию протестантов, равно как и католиков! (англ.).

Стр. 405. Слава Руссо и Вольтеру, Дидро и Гольбаху! .. «Система природы» (англ. и фр.).

Стр. 405—406. Слава Беньямину Франклину и Элиу Пальмер. Слава Тиндалу, Толанду и Аннетту; архиепископу Тиллотсону и доктору Кониерсу Мидлетону; Байрону и Шелли; и всем англичанам, которые писали, имея своею целью усовершенствование рода человеческого (англ.).

Стр. *406.* Слава всем другим, которые трудились для успехов разума! Пожелание успеха всем (англ.).

Стр. 406. Королевское достоинство (англ.).

Стр. 406. Преподобный (англ.).

Стр. 406. За эмансипацию протестантов, равно как и католиков! (англ.).

Стр. 406. «Разум века» (англ.).

Стр. 407. Спикер, председатель Палаты общин (англ.).

Стр. 407. Старинный суд по рассмотрению жалоб лиц низших сословий (англ.).

Стр. 407. Должностные лица палаты (англ.).

Стр. 407. Темно-красным сукном (англ.).

Стр. 407. В Палату общин (англ.).

Стр. 408. Скамья министров (англ.).

Стр. 408. «Слушайте, слушайте!» (англ.).

Стр. 408. К порядку! (англ.).

Стр. 408. Шерсти (англ.).

Стр. 409. «Математические начала натуральной философии» (лат.).

Стр. 409. «Королевское лондонское общество для споспешествования натуральных знаний» (англ.).

Стр. 409. «Философские труды Королевского лондонского общества» (англ.).

Стр. 409. Общество любителей древностей (англ.).

Стр. 410. Вышиной 202 фута, включая его массивный пьедестал, и увенчанный площадкой с ярко горящей урной (англ.).

Стр. 410. Над капителью (англ.).

Стр. 410. «Лондон и Париж, сравнительные очерки» (англ.).

Стр. 410. «Я проживу уединенную жизнь в одиночестве и в раздумьях» (англ.).
Стр. 411. Веселитесь, как вам угодно!
Стр. 411. Под защитою (фр.).
Стр. 412. Скоро на Рио-Жанейро, на Ямайку, на Мальту (англ.).
Стр. 413. Для приема небольших судов (англ.).
Стр. 414. Королевский зверинец (англ.).
Стр. 414. Удав (англ.).
Стр. 414. Самец и самка (англ.).
Стр. 414. Кангарская крыса, самая маленькая из этого вида (англ.).
Стр. 414. Примечательный красивый оцелот, или тигр в миниатюре; виверра циветовая (англ.).
Стр. 414. Серебристые (англ.).
Стр. 414. Пятипалый медведь (англ.).
Стр. 414. Гудзонского залива (англ.).
Стр. 414. Обычно называемый гигантским журавлем (англ.).
Стр. 415. Затвор: вода, находящаяся во рву, имеет здесь сообщение с Темзой посредством каменного моста на набережной (англ.).
Стр. 415. Старшина или сержант (англ.).
Стр. 415. Испанский арсенал (англ.).
Стр. 415. Пришел, увидел, убежал (лат.).
Стр. 415. Потому что было так хорошо... потому что не было еще хуже (англ.).
Стр. 415. «Умрем за нашу королеву Марию Терезию!» (лат.).
Стр. 415. Непобедимое знамя (англ.).
Стр. 415. Топор, которым была обезглавлена королева Анна Болейн (англ.).
Стр. 416. Конный арсенал (англ.).
Стр. 416. Арсенал волонтеров. Малый арсенал. Морской арсенал. Королевская комната драгоценностей... Королевский артиллерийский парк (англ.).
Стр. 416. Геральдическая палата (англ.).
Стр. 417. Энциклопедия или универсальный словарь искусств, наук и литературы (англ.).
Стр. 417. «Трактат о благосостоянии, силе и ресурсах Британской империи» (англ.).
Стр. 418. Уроки св. писания для школ по британской системе взаимного обучения, принятые в России по распоряжению императора Александра I. 1820. Лондон (англ.).
Стр. 418. Столь хорошо известного за его распространение Библии (англ.).
Стр. 419. Ешь пуддинг, раб, и держи язык за зубами (англ.).
Стр. 419. Там, где звездный шатер, в вышине должен обитать добрый отец (нем.).
Стр. 419. Почтовая карета (англ.).
Стр. 419. Половина после (англ.).
Стр. 419. Британский институт (англ.).
Стр. 419. Лепка (англ.).
Стр. 419. Граф Эбердинский (англ.).
Стр. 420. Теперь, когда суетный мир забылся во сне, да будет мне позволено побыть наедине с молчаливой ночью и размышлением, ее невозмутимым спутником (англ.).
Стр. 421. Размышление (англ.).
Стр. 421. Усталый муж бросает в сторону свою ношу, трепещущую массу, и сейчас же жена начинает расспрашивать об его переменчивом промысле, источнике их скудного существования. «Городок» Крэбба (англ.).
Стр. 421. Покорение фараона (англ.).
Стр. 421. Генрих VIII и Франциск I венчают победителей на состязаниях золотой одеждой... Защитники... Побежденный призрак (англ.).
Стр. 421. То не любовь была, возможно, ни ненависть, ни ничто такое, чтобы словами можно было выразить эту мысль; но те, кто видели его, глядели не напрасно и,

видев только раз, хотели снова лицезреть; и те, с кем он говорил, запоминали крепко; его слова, даже незначущие, приковывали внимание; никто не ведал, каким образом, почему, но его образ волей-неволей западал в душу слушателей. Лара (англ.).

Стр. 421—422. Дивная Италия! твои холмы и оливковые рощи обагряет прекрасное светило (или когда утро струится по безоблачному крылу Апеннин) или величественным вечером на широкой арене, на которой виднеются колонны, храмы, арки и виадуки; сидишь, подобно отдыхающей Славе, собираешь ярчайший отсвет заката в час разлуки, когда отдаленные соборы, тронутые его рукою, торжественно меркнут. «Могила последнего сакса» Боулера (англ.).

Стр. 422. Более сладостные мысли (ит.).

Стр. 422. Тише! Она спит! И даже сейчас ее сон полон раскаяния и сладости прощения заблуждений юности. Так говорил стороживший ее херувим, упрекая за хитрый умысел коварного мальчика (англ.).

Стр. 422. Сны раскаяния (англ.).

Стр. 422. Журчание (фр.).

Стр. 423—424. «Одной из черт современного несчастливого времени является бесстыдное равнодушие, с каким называют имена без всякого исследования обстоятельств. Порядок, который установлен для обычных случаев, полностью аннулирован; и так как никто, по мнению паникеров, не может быть признан действительно благонадежным, то донос, павший на любой дом, немедленно приобретает достоверность» (англ.).

Стр. 424. «Он в поэзии мастер высшего класса, каждая работа которого должна вызывать изучение, малейшее прикосновение драгоценно» (англ.).

Стр. 424. Мастер высшего класса (англ.).

Стр. 424. «Имеются лица, которые жалуются на то, что мистер Кампбелл мало сделал в области поэзии, и намекают на то, что его репутация удерживает его от дальнейших попыток добиться более совершенного результата. Но после того, как он создал две поэмы. . ., которые дошли до сердца нации и являются сокровищами мира, он может провести остаток жизни, грезя о бессмертии. Бывают в нашей жизни такие удивительные мгновения, что все последующее представляется ненужным и бесплодным; и встречаются строки и строфы в ранних произведениях наших авторов, в которых, можно полагать, они исчерпали всю сущность своего поэтического дара, так что ничего более не осталось для их усилий или их честолюбивых стремлений» (англ.).

Стр. 424. Редки (англ.).

Стр. 424. Как посещения ангела, кратки и редки (англ.).

Стр. 425. Охрану (фр.).

Стр. 425. На запасной галерее (фр.).

Стр. 425. Слушать «Страсти Господни» (фр.).

Стр. 425. Я ехал в Петербург, а мысли мои были с вами! (фр.).

Стр. 427. Привет! (лат.).

Стр. 427. Отложить в сторону посох и плащ путешественника! (фр.).

Стр. 429. Охотничьего домика. . . прекрасный вид (нем.).

Стр. 431. Закрытый просмотр картин и скульптуры (англ.).

Стр. 431. Минье «История французской революции» (фр.).

Стр. 431. Деспотизм истощает свои возможности своим успехом, и он пожирает свое будущее (фр.).

Стр. 431. «История английской революции от восшествия на престол Карла I до реставрации Карла II» Гизо (фр.).

Стр. 432. Король тот, кто справедливо правит своим народом; если он поступает иным способом, то он более не король (фр.).

Стр. 432. Будут ощутимы некоторые из принципов, которые они стремились утвердить. Они двинули вперед цивилизацию по тому пути, по которому она следует уже 14 веков; они придерживались правил и продвинули работы, которым человек во все времена был обязан развитием природы и улучшением своей судьбы; они сделали то, что являлось заслугой и славой то духовенства, то знати, то королей (фр.),

Стр. 432. «История либерализма» (нем.).

Стр. 433. Такова история древней Европы: феодальная знать, духовенство, королевская власть поочередно господствовали и вершили ее судьбы. В XVII веке в Англии, в XVIII веке во Франции всякая борьба между этими тремя силами прекратилась; они уживались друг с другом (фр.).

Стр. 433. Одновременно потребовала свободу, направленную против королевской власти; равенство, направленное против аристократии; права человеческого разума, направленные против духовенства. Тогда разразились революции (фр.).

Стр. 433. Смелость человеческого ума (фр.).

Стр. 433. В день взрыва только один факт сохранял свою реальность и мощь: общая цивилизация страны (фр.).

Стр. 434. Тийо: «Исторические воспоминания о жизни и смерти Ф. Тальма» (фр.).

Стр. 434. «Декламируя, — кричал Наполеон, — уберите эту длинную тираду, направленную против королей, в которой находится стих: „Я считаю трон — позором, и полагаю, что Цезарь не думает ни одного слова из того, что он говорит“» (фр.).

Стр. 434. Подобное добродушие, соединенное со столь несгибаемым стоицизмом; простота, столь не известная до Тальма (фр.).

Стр. 434. «О народном образовании во Франции» (фр.).

Стр. 435. Молодые люди будут прибегать к общественному мнению и не преминут, следовательно, обратиться к либерализму. Такая страна, как Франция, где идеи развиваются (фр.).

Стр. 435. В наше время лишь совокупность всех учений и солидных знаний может быть противопоставлена либеральным системам, — трусливому и близорукому режиму это не удастся (фр.).

Стр. 435—436. «Твердо опираться можно лишь на то, что сопротивляется» (фр.).

Стр. 436. А не изоляции, поглощению всех способностей ума изучением одной науки, — подлинная универсальность сопутствует глубине и отнюдь не исключает специальности. С тех пор как существуют жанровые художники и художники академические, искусства истощились (фр.).

Стр. 436. Писателях (фр.).

Стр. 436. Промышленники: Разум может проникнуть в обиход, подобно фабричным изделиям. Сен-Симон... «Производитель» (фр.).

Стр. 436. «Лучший способ заставить замолчать низкую литературу — это дать возможность процветать высокой литературе, окружив ее почестями» (фр.).

Стр. 436. Светского тона (англ.).

Стр. 437. Примеры отвратительны! (лат.).

Стр. 438. И все-таки! (нем.).

Стр. 438. Я не променял бы родину на любую другую страну, даже имей я вольный и большой выбор (нем.).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГПБ — Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.
ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом).
ЛН — Литературное наследство.
ОА — Остафьевский архив.
РА — Русский архив.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

* В скобках приведено современное написание собственных имен.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Александр Иванович Тургенев
ХРОНИКА РУССКОГО
ДНЕВНИКИ (1825—1826 гг.)

Утверждено к печати
Редколлегией серии «Литературные памятники»
Академии наук СССР

Редактор издательства *В. А. Браиловский*, Художник *М. И. Разулевич*
Техн. редактор *М. Н. Кондратьева*. Корректоры *Е. В. Вивчар*, *Р. Г. Гершинская* и *А. И. Кац*

Сдано в набор 7/IX 1964 г. Подписано к печати 19/XI 1964 г. РИСО АН СССР № 4—222В. Формат бумаги 70×90 1/16. Бум. л. 19,5. Печ. л. 39 = 45,63 усл. печ. л.+1 вкл. Уч.-изд. л. 43,23 + 1 вкл. (0,05). Изд. № 2319. Тип. зак. № 937. Тираж 30 000. ТП 1964 г. № 428. *Цена 2 р. 80 к.*

Ленинградское отделение издательства «Наука». Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. изд. «Наука». Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
62	3 сн.	в моей жизни	в моей жизни:
83	21 св.	подающим	падающим
158	19 сн.	22 марта	21 марта
246	17 св.	д'Эстурмен	д'Эстурмель
273	19 св.	Г. Гюго	г. Гюго
274	15 сн.	Foudret	Foudras,
276	13 сн.	благодаря	благотворя
308	7 св.	22 сентября	21 сентября
310	16 св.	24 сентября	23 сентября
311	3 св.	26 сентября	25 сентября
311	20 св.	9 сентября/28 октября	9 октября/27 сентября
318	19 св.	не перед	но перед
329	18 сн.	и память	к памяти
338	6 св.	мнение	имение
434	14 сн.	2 ноября	3 ноября
545	2 св.	возвести	возвестило